МОНТЕНЬ

ОПЫТЫ

Перевод с французского
А.С. Бобовича,
Ф.А. Коган-Бернштейн,
Н.Я. Рыковой

Опыты

Мишель Экéм де Монтень

Аннотация
Мишель Монтень. Опыты
К читателю
Книга первая
Глава II. О скорби
Глава III. Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»
Глава VII. О том, что наши намерения являются судьями наших поступков
Глава VIII. О праздности
Глава IX. О лжецах
Глава X. О речи живой и о речи медлительной
Глава XI. О предсказаниях
Глава XII. О стойкости
Глава XIII. Церемониал при встрече царствующих особ
Глава XV. За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание
Глава XVI. О наказании за трусость
Глава XVII. Об образе действий некоторых послов
Глава XVIII. О страхе

Глава XIX. О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер
Глава XXI. О силе нашего воображения
Глава XXII. Выгода одного – ущерб для другого
Глава XXIII. О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы
Глава XXVI. О воспитании детей
Глава XXVII. Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности
Глава XXVIII. О дружбе
Глава XXX. Об умеренности
Глава XXXI. О каннибалах
Глава XXXII. О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью
Глава XXXIII. О том, как ценой жизни убегают от наслаждений
Глава XXXIV. Судьба нередко поступает разумно
Глава XXXV. Об одном упущении в наших порядках
Глава XXXVI. Об обычае носить одежду
Глава XXXVII. О Катоне Младшем
Глава XXXVIII. О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же
Глава XL. Рассуждение о Цицероне

Глава XLII. О существующем среди нас неравенстве
Глава XLIII. О законах против роскоши
Глава XLIV. О сне
Глава XLV. О битве при Дрё
Глава XLVI. Об именах
Глава XLVII. О ненадежности наших суждений
Глава XLIX. О старинных обычаях
Глава L. О Демокрите и Гераклите
Глава LI. О суетности слов
Глава LII. О бережливости древних
Глава LIII. Об одном изречении Цезаря
Глава LIV. О суетных ухищрениях
Глава LV. О запахах
Глава LVI. О молитвах
Книга вторая
Глава I. О непостоянстве наших поступков
Глава II. О пьянстве
Глава III. Обычай острова Кеи
Глава IV. Дела – до завтра!
Глава V. О совести
Глава VI. Об упражнении
Глава VII. О почетных наградах
Глава VIII. О родительской любви
Глава IX. О парфянском вооружении
Глава X. О книгах

Глава XI. О жестокости
Глава XIII. О том, как надо судить о поведении человека пред лицом смерти
Глава XIV. О том, что наш дух препятствует себе самому
Глава XV. О том, что трудности распаляют наши желания
Глава XVI. О славе
Глава XVII. О самомнении
Глава XVIII. Об изобличении во лжи
Глава XIX. О свободе совести
Глава XX. Мы не способны к беспримесному наслаждению
Глава XXI. Против безделья
Глава XXII. О почтовой гоньбе
Глава XXIV. О величии римлян
Глава XXV. О том, что не следует прикидываться больным
Глава XXVI. О большом пальце руки
Глава XXVIII. Всякому овощу свое время
Глава XXIX. О добродетели
Глава XXX. Об уродце
Глава XXXI. О гневе
Глава XXXII. В защиту Сенеки и Плутарха
Глава XXXIV. Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря

Глава XXXV. О трех истинно хороших женщинах
Глава XXXVI. О трех самых выдающихся людях
Книга третья
Глава II. О раскаянии
Глава III. О трех видах общения
Глава IV. Об отвлечении
Глава VI. О средствах передвижения
Глава VII. О стеснительности высокого положения
Глава IX. О суетности
Глава XI. О хромых
Глава XII. О физиогномии
Глава XIII. Об опыте
Содержание

Аннотация

Мишель Монтень – знаменитый французский мыслитель XVI века.

Как и многие философы Ренессанса он разработал собственную философскую концепцию с опорой на античное наследие. Главным литературным трудом его жизни стали «Опыты» – сборник литературно-философских эссе, где Монтень, выступая в роли тонкого наблюдателя, со свойственным ему юмором размышляет о самых важных вопросах бытия. Объектами исследования его пытливого ума становятся история и наука управления государством, отношения между людьми и природа человеческого духа. Свои размышления он подкрепляет остроумными замечаниями и занимательными примерами из собственного опыта.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет.

Мишель Монтень
Опыты

© А.С. Бобович, перевод, наследники, 2020
© Н.Я. Рыкова, перевод, наследники, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020

К читателю

Это искренняя книга, читатель. Она с самого начала предуведомляет тебя, что я не ставил себе никаких иных целей, кроме семейных и частных. Я нисколько не помышлял ни о твоей пользе, ни о своей славе. Силы мои недостаточны для подобной задачи. Назначение этой книги — доставить своеобразное удовольствие моей родне и друзьям: потеряв меня (а это произойдет в близком будущем), они смогут разыскать в ней кое-какие следы моего характера и моих мыслей и благодаря этому восполнить и оживить то представление, которое у них создалось обо мне. Если бы я писал эту книгу, чтобы снискать благоволение света, я бы принарядился и показал себя в полном параде. Но я хочу, чтобы меня видели в моем простом, естественном и обыденном виде, непринужденным и безыскусственным, ибо я рисую не кого-либо, а себя самого. Мои недостатки предстанут здесь как живые, и весь облик мой таким, каков он в действительности, насколько, разумеется, это совместимо с моим уважением к публике. Если бы я жил между тех племен,

которые, как говорят, и посейчас еще наслаждаются сладостной свободою изначальных законов природы, уверяю тебя, читатель, я с величайшей охотою нарисовал бы себя во весь рост, и притом нагишом. Таким образом, содержание моей книги — я сам, а это отнюдь не причина, чтобы ты отдавал свой досуг предмету столь легковесному и ничтожному. Прощай же!

Де Монтень

Первого марта тысяча пятьсот восьмидесятого года.

Книга первая

Глава II
О скорби

Я принадлежу к числу тех, кто наименее подвержен этому чувству. Я не люблю и не уважаю его, хотя весь мир, словно по уговору, окружает его исключительным почитанием. В его одеяние обряжают мудрость, добродетель, совесть — чудовищный и нелепый наряд! Итальянцы гораздо удачнее окрестили этим же словом коварство и злобу. Ведь это — чувство, всегда приносящее вред, всегда безрассудное, а также всегда малодушное и низменное. Стоики воспрещают мудрецу предаваться ему.

Существует рассказ, что Псамменит, царь египетский, потерпев поражение и попав в плен к Камбизу, царю персидскому, увидел свою дочь, также ставшую пленницей, когда она, посланная за водой, проходила мимо него в одеждах рабыни. И хотя все друзья его, стоявшие тут же, плакали и громко стенали, сам он остался невозмутимо спокойным и, вперив глаза в землю, не промолвил ни слова; то же самообладание сохранил он и тогда, когда увидел, как его сына ведут на казнь.

Заметив, однако, одного из своих приближенных в толпе прогоняемых мимо него пленных, он начал бить себя по голове и выражать крайнюю скорбь.

Это можно сопоставить с тем, что недавно произошло с одним из наших вельмож. Находясь в Триенте, он получил известие о кончине своего старшего брата, и притом того, кто был опорою и гордостью всего рода; спустя некоторое время ему сообщили о смерти младшего брата, бывшего также предметом его надежд. Выдержав оба эти удара с примерною твердостью, он по прошествии нескольких дней, когда умер один из его приближенных, был сломлен этим несчастьем и, утратив душевную твердость, предался горю и отчаянью, что подало некоторым основание думать, будто он был задет за живое лишь этим последним потрясением. В действительности, однако, это произошло оттого, что для скорби, которая заполняла и захлестывала его, достаточно было еще нескольких капель, чтобы прорвать преграды его терпения.

Подобным же образом можно было бы объяснить и рассказанную выше историю, не будь к ней добавления, в котором приводится ответ Псамменита Камбизу, пожелавшему узнать,

почему, оставаясь безучастным к горькой доле сына и дочери, он принял столь близко к сердцу несчастье, постигшее одного из его друзей. «Оттого, — сказал Псамменит, — что лишь это последнее огорчение может излиться в слезах, тогда как для горя, которое причинили мне два первых удара, не существует способа выражения».

Здесь было бы чрезвычайно уместно напомнить о приеме того древнего живописца, который, стремясь изобразить скорбь присутствующих при заклании Ифигении сообразно тому, насколько каждого из них трогала гибель этой прелестной, ни в чем не повинной девушки, достиг в этом отношении предела возможностей своего мастерства; дойдя, однако, до отца девушки, он нарисовал его с закрытым лицом, как бы давая этим понять, что такую степень отчаянья выразить невозможно. Отсюда же проистекает и созданный поэтами вымысел, будто несчастная мать Ниобея, потеряв сначала семерых сыновей, а затем столько же дочерей и не выдержав стольких утрат, в конце концов превратилась в скалу —

Diriguisse malis[1].

---

[1] Примечания: 1

Окаменела от горя (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы*, VI, 303.

Они создали этот образ, чтобы передать то мрачное, немое и глухое оцепенение, которое овладевает нами, когда нас одолевают несчастья, превосходящие наши силы.

И действительно, чрезмерно сильное горе подавляет полностью нашу душу, стесняя свободу ее проявлений; нечто подобное случается с нами под свежим впечатлением какого-нибудь тягостного известия, когда мы ощущаем себя скованными, оцепеневшими, как бы парализованными в своих движениях, — а некоторое время спустя, разразившись наконец слезами и жалобами, мы ощущаем, как наша душа сбросила с себя путы, распрямилась и чувствует себя легче и свободнее.

Et via vix tandem voci laxata dolore est[2].

Во время войны короля Фердинанда со вдовою венгерского короля Иоанна, в битве при Буде, немецкий военачальник Рейшах, увидев вынесенное из схватки тело какого-то всадника, сражавшегося на глазах у всех с отменною храбростью, пожалел о нем вместе со всеми; полюбопытствовав вместе с остальными, кто

---

[2] Примечания: 2

И с трудом наконец горе открыло путь голосу (*лат.*) *Энеида,* IX, 151.

же все-таки этот всадник, он, после того как с убитого сняли доспехи, обнаружил, что это его собственный сын. И в то время как все вокруг него плакали, он один не промолвил ни слова, не проронил ни слезы; выпрямившись во весь рост, стоял он там с остановившимся, прикованным к мертвому телу взглядом, пока сила горя не оледенила в нем жизненных духов, и он, оцепенев, не пал замертво наземь.

> *Chi può dir com' egli arde, è in picciol fuoco*[3].

Говорят влюбленные, желая изобразить терзания страсти:

> *misero quod omnes*
> *Eripit sensus mihi. Nam simul te,*
> *Lesbia, aspexi, nihil est super mi*
> *Quod loquar amens.*
> *Lingua sed torpet, tenuis sub artus*
> *Flamma dimanat, sonitu suopte*
> *Tinniunt aures, gemina teguntur*

---

[3] Примечания: 3

Кто выражает свой пыл, тот горит слабым огнем (*um.*). Петрарка. Сонет CXXXVII.

Lumina nocte[4].

Таким-то образом, в те мгновения, когда нас охватывает живая и жгучая страсть, мы не способны изливаться в жалобах или мольбах; наша душа отягощена глубокими мыслями, а тело подавлено и томится любовью.

Отсюда и рождается иной раз неожиданное изнеможение, так несвоевременно овладевающее влюбленными, та ледяная холодность, которая охватывает их по причине чрезмерной пылкости, в самый разгар наслаждений. Всякая страсть, которая оставляет место для смакования и размышления, не есть сильная страсть.

Curae leves loquuntur, ingentes stupent[5].

Нечаянная радость или удовольствие также ошеломляют нас.

Ut me conspexit venientem, et Troia circum
Arma amens vidit, magnis exterrita monstris,

---

[4] Примечания: 4

Лишает меня, несчастного, всех чувств. Ведь едва тебя, Лесбия, увижу, уже не могу говорить, язык замирает, по суставам растекается нежное пламя, собственным звоном звенят уши и двойные светочи покрываются ночью (*лат.*). Катулл, LI, перевод из Сафо.

[5] Примечания: 5

Легкие печали гласят, большие немеют (*лат.*). Сенека. *Федра.* С. 607.

Diriguit visu in medio, calor ossa reliquit,
Labitur, et longo vix tandem tempore fatur[6].

Кроме той римлянки, которая умерла от неожиданной радости, увидев сына, возвратившегося после поражения при Каннах, кроме Софокла и тирана Дионисия, скончавшихся также от радости, кроме, наконец, Тальвы, умершего на острове Корсике по прочтении письма, извещавшего о дарованных ему римским сенатом почестях, мы располагаем примером, относящимся и к нашему веку: так, папа Лев X, получив уведомление о взятии Милана, чего он так страстно желал, ощутил такой прилив радости, что заболел горячкой и вскоре умер. И чтобы привести еще более примечательное свидетельство человеческой суетности, укажем на один случай, отмеченный древними, а именно, что Диодор Диалектик умер во время ученого спора, так как испытал жгучий стыд перед своими учениками и окружающими, не сумев отразить выставленный против него аргумент.

---

[6] Примечания: 6

Едва заметила, как я подхожу, и в изумлении узрела вокруг троянское оружие, устрашенная великим чудом обомлела, его созерцая, тепло покинуло ее кости, она падает и лишь спустя долгое время молвит (*лат.*). *Энеида,* III, 306 сл.

Что до меня, то я не слишком подвержен подобным неистовствам страсти. Меня не так-то легко увлечь — такова уж моя природа; к тому же благодаря постоянному размышлению я с каждым днем все более черствею и закаляюсь.

Глава III
Наши чувства устремляются за пределы нашего «я»

Те, которые вменяют людям в вину их всегдашнее влечение к будущему и учат хвататься за блага, даруемые нам настоящим, и ни о чем больше не помышлять, — ибо будущее еще менее в нашей власти, чем даже прошлое, — затрагивают одно из наиболее распространенных человеческих заблуждений, если только можно назвать заблуждением то, к чему толкает нас, дабы мы продолжали творить ее дело, сама природа; озабоченная в большей мере тем, чтобы мы были деятельны, чем чтобы владели истиной, она внушает нам среди многих других и эту обманчивую мечту. Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая нас тем, что будет хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не будет.

Calamitosus est animus futuri anxius.[7]

Вот великая заповедь, которую часто приводит Платон: «Делай свое дело и познай самого себя». Каждая из обеих половин этой заповеди включает в себе и вторую половину ее и, таким образом, охватывает весь круг наших обязанностей. Всякий, кому предстоит делать дело, увидит, что прежде всего он должен познать, что он такое и на что он способен. Кто достаточно знает себя, тот не посчитает чужого дела своим, тот больше всего любит себя и печется о своем благе, тот отказывается от бесполезных занятий, бесплодных мыслей и неразрешимых задач. Ut stultitia, etsi adepta est quod concupivit nunquam se tamen satis consecutam putat: sic sapientia semper eo contenta est quod adest, neque eam unquam sui poenitet[8].

Эпикур считает, что мудрец не должен предугадывать будущее и тревожиться о нем.

Среди правил, определяющих наше отношение к умершим, наиболее обоснованным, на мой взгляд, является то, которое предписывает об-

---

[7] Примечания: 7

Несчастна душа, тревожащаяся о будущем (*лат.*). Сенека. *Письма,* 98, 6.

[8] Примечания: 8

Глупость, даже достигнув того, чего желала, никогда не сочтет, что приобрела достаточно, а мудрость довольствуется имеющимся, и ей свое не противно (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* V, 18.

суждать деяния государей после их смерти. Они — собратья законов, если только не их господа. И поскольку правосудие не имело власти над ними, справедливо, чтобы оно обрело ее над их добрым именем и наследственным достоянием их преемников: ведь и то и другое мы нередко ценим дороже жизни. Этот обычай приносит большую пользу народам, которые его соблюдают, а также крайне желателен для всякого доброго государя, имеющего основание жаловаться, что к его памяти относятся точно так же, как к памяти дурных государей. Мы обязаны повиноваться и покоряться всякому без исключения государю, так как он имеет на это бесспорное право; но уважать и любить мы должны лишь его добродетели. Так будем же ради порядка и спокойствия в государстве терпеливо сносить недостойных меж ними, будем скрывать их пороки, будем помогать своим одобрением даже самым незначительным их начинаниям, пока их власть нуждается в нашей поддержке. Но лишь только нашим взаимоотношениям с ними приходит конец, нет никаких оснований ограничивать права справедливости и свободу выражения наших истинных чувств, отнимая тем самым у добрых подданных славу верных и почтительных слуг государя, чьи недо-

статки были им так хорошо известны, и лишая потомство столь поучительного примера. И кто из чувства личной благодарности за какую-нибудь оказанную ему милость превозносит не заслуживающего похвалы государя, тот, воздавая ему справедливость в частном, делает это в ущерб общественной справедливости. Прав Тит Ливий, говоря, что язык людей, выросших под властью монарха, исполнен угодливости и суетного притворства; каждый расхваливает своего повелителя, каков бы он ни был, приписывая ему высшую степень доблести и царственного величия.

Быть может, некоторые и осудят дерзкую отвагу тех двух воинов, которые не побоялись бросить Нерону в лицо все, что они о нем думали. Первый из них на вопрос Нерона, почему он желает ему зла, ответил: «Я был предан тебе и любил тебя, пока ты заслуживал этого; но после того как ты убил свою мать, как ты стал поджигателем, скоморохом, возницею на ристалищах, я возненавидел тебя, ибо чего же другого ты стоишь?» Второй же, когда ему был задан Нероном вопрос, почему он замыслил его убить, сказал на это в ответ: «Потому, что я не видел другого способа пресечь твои бесконечные злодеяния». Но кто же в здравом уме

вздумал бы осуждать те бесчисленные свидетельства о мерзких и чудовищных преступлениях этого императора, которые заклеймили его после смерти и останутся на вечные времена?

Меня огорчает, что, при всей безупречности принятого у лакедемонян образа жизни, мы находим у них нижеследующий весьма лицемерный обряд: после смерти царя все союзники и соседи, все илоты, мужчины и женщины, собравшись беспорядочной толпой, раздирали себе в знак скорби лицо и громко стенали и плакали, возглашая, что покойный — каков бы он ни был на деле — был лучшим из их царей; таким образом, они воздавали сану умершего ту похвалу, которая принадлежит по праву только заслугам и должна воздаваться лишь тому, кто имеет совершенно исключительные заслуги, хотя бы он и принадлежал к самому низшему званию. Аристотель, который не упустил, кажется, ни одной вещи на свете, задается вопросом в связи со словами Солона, что никто прежде смерти не может быть назван счастливым: а можно ли назвать счастливым того, кто жил и умер как подобает, если он оставил по себе недобрую славу и если потомство его презренно? Пока мы движемся, мы устремляем наши заботы куда нам угодно, но лишь только

мы оказываемся вне бытия, мы не поддерживаем больше общения с тем, что существует. И потому Солон был бы более прав, если б сказал, что человек никогда не бывает счастливым, раз он может быть счастлив лишь после того, как перестал существовать.

Quisquam
Vix radicitus e vita se tollit, et elicit:
Sed facit esse sui quiddam super inscius ipse…
Nec removet satis a proiecto corpore sese, et
Vindicat[9].

Бертран Дю Геклен умер во время осады замка Ранкон, расположенного близ Пюи в Оверни. Осажденных, сдавшихся уже после его смерти, принудили возложить ключи крепости на тело покойного. Бартоломео д'Альвиано, начальствовавший над войсками венецианцев, скончался в Брешии, руководя там военными действиями. Чтобы доставить его тело в Венецию, надо

[9] Примечания: 9
Едва ли кто вырвет себя с корнем из жизни и выбросит вон; не осознавая того, каждый старается, чтобы после него нечто осталось… не отделяет себя вполне от простертого трупа и не освобождается (*лат.*). Лукреций, III, 847 сл.

было проследовать через земли враждебных веронцев. Большинство в войске венецианцев находило, что для этого следует испросить у веронцев пропуск. Теодоро Тривульцио, однако, воспротивился этому: он предпочел пробиться открытою силой, подвергнув себя случайностям битв. «Не подобает, — сказал он, — чтобы тот, кто при жизни никогда не боялся врагов, высказал после смерти страх перед ними».

Здесь будет кстати вспомнить о том, что, согласно обычаям греков, всякий, обращавшийся к врагу с просьбой выдать для погребения чье-либо тело, как бы отказывался тем самым от чести быть победителем и лишался, таким образом, права на то, чтобы воздвигнуть трофей. Победителями считались те, к кому обращались с подобною просьбой. Именно по этой причине Никий не мог воспользоваться тем преимуществом, которого он добился в войне с коринфянами, и, напротив, Агесилай закрепил за собой сомнительную победу над беотийцами.

Эти обычаи могли бы казаться странными, если бы людям всегда и везде не было свойственно не только простирать заботы о себе за пределы своего земного существования, но, сверх того, также верить, что милости неба довольно часто

следуют за нами в могилу и изливаются даже на наши останки. Сказанное можно подтвердить таким обилием примеров из древности, — не говоря уже о примерах из нашего времени, — что я не вижу нужды распространяться об этом. Эдуард I, король английский, удостоверившись во время продолжительных войн своих с шотландским королем Робертом, насколько его присутствие способствовало успеху в делах, — ибо всему, чем он лично руководил, неизменно сопутствовала победа, — умирая, связал своего сына торжественной клятвой, чтобы тот после его кончины выварил его тело и, отделив кости от мяса, предал погребению плоть; что до костей, то он завещал сыну хранить их и возить с собою и с войском всякий раз, когда ему случится драться с шотландцами, — словно судьба роковым образом привязала победу к его костяку.

Ян Жижка, возмутивший Богемию ради поддержки заблуждений Виклефа, высказал пожелание, чтобы с него после смерти была содрана кожа и чтобы эту кожу натянули на барабан, который будет созывать на битву с врагами; он полагал, что это поможет закрепить преимущества, достигнутые им в упорной борьбе. Равным образом, некоторые индейцы, отправляясь сра-

жаться с испанцами, несли с собой кости одного из умерших вождей, памятуя о тех удачах, которые сопровождали его при жизни. Да и другие народы Нового Света берут на войну останки своих доблестных, погибших в сражениях воинов, дабы они служили им примером храбрости и залогом победы.

В первых наших примерах за умершими сохраняется только та слава, которую они приобрели своими былыми деяниями, тогда как последние приписывают им, сверх того, способность действовать и после их смерти. Гораздо прекраснее и возвышеннее поступок нашего полководца Баярда, который, почувствовав, что смертельно ранен выстрелом из аркебузы, на убеждения окружающих выйти из боя ответил, что не станет под конец жизни показывать врагу спину, и продолжал биться, пока его не покинули силы; чувствуя, что теряет сознание и что ему не удержаться в седле, он приказал своему слуге положить его у подножия дерева, но так, чтобы он мог умереть лицом к неприятелю; так он и скончался.

Мне кажется необходимым присоединить сюда также следующий пример, который в этом отношении еще примечательнее, чем предыдущие. Император Максимилиан, прадед ныне

царствующего короля Филиппа, был государем, наделенным множеством достоинств и среди них — необыкновенною телесною красотою. Но наряду с этими качествами он обладал еще одним, вовсе не свойственным государям, которые, дабы поскорее разделаться с важнейшими государственными делами, превращают порою в трон свой стульчак: он не позволял видеть себя за нуждою никому, даже самому приближенному из своих слуг. Он всегда мочился в укромном месте и, будучи стыдлив, как девственница, не открывал ни перед врачами, ни перед кем бы то ни было тех частей тела, которые принято прикрывать. Что до меня, то, обладая языком, не ведающим ни в чем стеснения, я тем не менее также наделен от природы стыдливостью подобного рода. Если нет крайней необходимости и меня не толкает к этому любовное наслаждение, я никогда не позволяю себе нескромных поступков и не обнажаю ни перед кем того, что по обычаю должно быть прикрыто. Я страдаю скорее застенчивостью, и притом в большей мере, чем подобает, как я полагаю, мужчине, особенно же мужчине моего положения. Но император Максимилиан до такой степени был в плену у этого предрассудка, что особо оговорил в своем завещании, чтобы ему

после кончины надели подштанники, и добавил в особой приписке, чтобы тому, кто это проделает с его трупом, завязали глаза. Если Кир завещал своим детям, чтобы ни они, ни кто другой ни разу не взглянули на его труп и не прикоснулись к нему, после того как душа его отлетит от тела, то я склонен искать объяснение этому в каком-нибудь религиозном веровании; ведь и его историк, и сам он, помимо прочих великих достоинств, отличались еще и тем, что насаждали на протяжении всей своей жизни рвение и уважение к религиозным обрядам.

Мне очень не по душе нижеследующий рассказ, услышанный мною от некоего вельможи, об одном из моих свойственников, оставившем по себе память и на мирном и на военном поприще. Умирая в преклонном возрасте у себя дома и испытывая невыносимые боли, причиняемые каменною болезнью, он в последние часы своей жизни находил утешение в разработке мельчайших подробностей церемониала своих похорон, причем заставлял навещавших его придворных клясться ему, что они примут участие в похоронной процессии. Он обратился с настойчивой просьбой даже к самому королю, которого видел перед своей кончиной, чтобы

тот велел своим приближенным прибыть на его погребение, подкрепляя свое ходатайство многочисленными соображениями и примерами, подтверждавшими, что человек его положения имеет на это бесспорное право; он скончался, по-видимому, успокоенный и довольный, так как успел добиться от короля столь желанного обещания и распорядиться по своему усмотрению устройством и церемониалом своих собственных похорон. Столь упорного и великого тщеславия я еще никогда не встречал.

А вот еще одна странность совершенно противоположного свойства, образчики которой также найдутся в моем роду; она представляется мне единокровной сестрой упомянутой выше. Эта странность также состоит в том, чтобы предаваться со страстью заботе о своей похоронной процессии, но проявлять при этом исключительную, совершенно не принятую в таких случаях, бережливость, ограничивая себя только одним слугою и одним фонарем. Я знаю, что многие хвалят подобную скромность и, в частности, одобряют последнюю волю Марка Эмилия Лепида, запретившего своим наследникам устраивать ему после смерти обычные церемонии. Неужели, однако, умеренность и воздержанность в том

только и заключаются, чтобы избегать расточительности и излишества, когда они уже не могут более доставить нам пользу и удовольствие? Вот действительно легкий и недорогой способ самосовершенствования! Если бы требовалось перед смертью оставлять на этот счет распоряжения, то, полагаю, и здесь, как и во всяком житейском деле, каждый должен был бы считаться с возможностями своего кошелька. И философ Ликон поступил весьма мудро, наказав друзьям предать его тело земле там, где они сочтут наилучшим; что же касается похорон, то он завещал, чтобы они не были ни слишком пышными, ни слишком убогими. Лично я предоставляю обычаю установить распорядок похоронного обряда и охотно отдам свое мертвое тело на благоусмотрение тех, — кто бы это ни оказался, — кому придется взять на себя эту заботу: Totus hic locus est contemnendus in nobis, non negligendus in nostris[10]. И святая истина сказана одним из святых: Curatio funeris, condicio sepulturae, pompa exsequiarum, magis

[10] Примечания: 10

Следует пренебречь этими заботами, поскольку речь идет о нас, но не пренебрегать по отношению к близким (лет.). Августин. *О граде Божием,* I, 12.

sunt vivorum solatia, quam subsidia mortuorum[11]. Вот почему, когда Критон спросил Сократа в последние мгновения его жизни, каким образом желает он быть погребенным, тот ответил ему: «Как вам будет угодно». Если бы я простирал заботы о своем будущем столь далеко, я счел бы более заманчивым для себя уподобиться тем, кто, продолжая жить и дышать, ублажает себя мыслями о церемониале своих похорон и о пышности погребальных обрядов и находит удовольствие видеть в мраморе свои безжизненные черты. Счастлив тот, кто умеет тешить и ублажать свои чувства тем, что бесчувственно, кто умеет жить своей собственной смертью.

Я проникаюсь ненавистью к народоправству, хотя этот образ правления и представляется мне наиболее естественным и справедливым, когда вспоминаю о бесчеловечном произволе афинян, беспощадно казнивших, не пожелав даже выслушать их оправданий, своих храбрых военачальников, только что выигравших у лакедемонян морское сражение при Аргинусских островах, самое значительное, самое ожесто-

[11] Примечания: 11

Заботы о похоронах, обустройство гробницы, пышность погребальной процессии — это скорее утешение для живых, нежели подспорье умершим (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, I, 45.

ченное среди всех, какие когда-либо давались греками на море. Их казнили только за то, что, одержав победу над неприятелем, они воспользовались предоставленными ею возможностями, а не задержались на месте, дабы собрать и предать погребению тела убитых сограждан. Особенно гнусною представляется мне эта расправа, когда я вспоминаю о Диомедоне, одном из осужденных на казнь, человеке замечательной воинской доблести и гражданских добродетелей. Выслушав обвинительный приговор, он вышел вперед, чтобы произнести речь, и, хотя ему впервые позволили беспрепятственно выступить перед народом, воспользовался ею не для самозащиты и не для того, чтобы показать очевидную несправедливость столь жестокого решения судей, но для того, чтобы проявить заботу об ожидающей этих судей судьбе; он обратился к богам с мольбою не карать их за приговор и, опасаясь, как бы боги не обрушили на них своего гнева за невыполнение тех обетов, которые были даны им и его товарищами, в ознаменование столь блистательного успеха, уведомил своих судей, в чем они состояли. Не сказав больше ни слова, ничего не оспаривая и ни о чем не прося, он мужественно, твердой походкой направился к месту

казни. Через несколько лет, однако, судьба при сходных обстоятельствах отмстила афинянам. Хабрий, главнокомандующий афинского флота, одержав верх над Поллисом, возглавлявшим морские силы спартанцев, в сражении у острова Наксоса, упустил все преимущества этой бесспорной победы, столь существенной для афинян, только из опасения, как бы не подвергнуться столь же печальной участи, какая постигла его предшественников. И, чтобы не потерять в море несколько трупов своих убитых друзей, он позволил ускользнуть множеству живых и невредимых врагов, заставивших впоследствии дорогою ценою заплатить за этот нелепейший предрассудок.

Quaeris quo iaceas post obitum loco?
Quo non nata iacent[12].

Другой поэт также наделяет бездыханное тело ощущением ничем не нарушаемого покоя:

Neque sepulcrum, quo recipiatur, habeat portum corporis.
Ubi, remissa humana vita, corpus requiescat

[12] Примечания: 12
Ты спрашиваешь, где будешь лежать после смерти? Там, где еще не родившиеся (*лат.*). Сенека. *Троянки,* 407 сл.

a malis[13].

[13] Примечания: 13

Пусть не найдет могилы, которая бы его приняла, пристанища для тела, где, по окончании человеческой жизни, тело отдохнуло бы от бед (*лат.*).

Глава VII
О том, что наши намерения являются судьями наших поступков

Говорят, что смерть освобождает нас от любых обязательств. Я знаю, что эти слова толковали по-разному. Генрих VII, король Англии, заключил соглашение с доном Филиппом, сыном императора Максимилиана, или — чтобы придать его имени еще больший блеск — отцом императора Карла V, в том, что вышеупомянутый Филипп передаст в его руки герцога Сеффолька, его врага из партии Белой Розы, бежавшего из пределов Англии и нашедшего убежище в Нидерландах, при условии, что он, Генрих, обязуется не посягать на жизнь этого герцога. Тем не менее, уже будучи на смертном одре, он велел своему сыну в оставленном им завещании немедленно после его кончины умертвить герцога Сеффолька. Недавняя трагедия в Брюсселе, которая была явлена нам герцогом Альбой и героями которой были несчастные графы Горн и Эгмонт, заключает в себе много такого, что заслуживает внимания. Так, например, граф Эгмонт, уговоривший своего

товарища графа Горна отдаться в руки герцогу Альбе и уверивший его в безопасности этого шага, настойчиво домогался умереть первым; он хотел, чтобы смерть сняла с него обязательство, которым он связал себя по отношению к графу Горну. Но ясно, что в первом из рассказанных случаев смерть не освобождала от данного слова, тогда как во втором обязательство не имело никакой силы, даже если бы принявший его на себя и не умирал. Мы не можем отвечать за то, что сверх наших сил и возможностей. И поскольку последствия и даже самое выполнение обещания вне нашей власти, то распоряжаться, строго говоря, мы можем лишь своей волей: она-то и является неизбежно единственной основой и мерилом человеческого долга. Вот почему граф Эгмонт, и душою и разумом сохранявший верность данному им обещанию, хотя не имел никакой возможности его исполнить, без сомнения, был бы освобожден от своего обязательства, если бы даже и пережил графа Горна. Но бесчестность английского короля, намеренно нарушившего свое слово, никоим образом не может найти себе оправдание в том, что он отложил казнь герцога до своей смерти; равным образом нет оправдания и тому каменщику у Геродота, который, соблюдая

с безупречною честностью в течение всей своей жизни тайну сокровищ египетского царя, своего владыки, умирая, открыл ее своим детям.

Я видел на своем веку немало таких людей, которые, хотя совесть и уличала их в том, что они утаивают чужое имущество, тем не менее легко мирились с этим, рассчитывая удовлетворить законных владельцев после своей кончины, путем завещания. Такой образ действий ни в коем случае нельзя оправдать: плохо и то, что они откладывают столь срочное дело, и то, что желают возместить причиненный ими убыток ценою столь малых усилий и столь мало поступаясь своей выгодой. Право, им надлежало бы поделиться тем, что им взаправду принадлежит. Чем тяжелее им было бы заплатить, чем больше трудностей пришлось бы в связи с этим преодолеть, тем справедливее было бы такое возмещение и тем больше было бы им заслуги. Раскаяние требует жертв.

Еще хуже поступают те, которые в течение всей своей жизни таят злобу к кому-нибудь из своих ближних, выражая ее лишь в последнем изъявлении своей воли. Возбуждая в обиженном неприязнь к их памяти, они показывают тем самым, что мало пекутся о своей чести и еще

меньше о совести, ибо не хотят угасить в себе злобного чувства хотя бы из уважения к смерти и оставляют его жить после себя. Они подобны тем неправедным судьям, которые без конца откладывают свой приговор и выносят его лишь тогда, когда ими уже утрачено всякое представление о сути самого дела.

Если только мне это удастся, я постараюсь, чтобы смерть моя не сказала ничего такого, чего ранее не сказала моя жизнь.

Глава VIII
О праздности

Как пустующая земля, если она жирна и плодородна, зарастает тысячами видов сорных и бесполезных трав и, чтобы заставить ее служить в наших целях, необходимо сначала подвергнуть ее обработке и засеять определенными семенами; как женщины сами собою в состоянии производить лишь бесформенные груды и комки плоти, а для того, чтобы они могли породить здоровое и крепкое потомство, их необходимо снабдить семенем со стороны, — так же и с нашим умом. Если не занять его определенным предметом, который держал бы его в узде, он начинает метаться из стороны в сторону, то туда, то сюда, по бескрайним полям воображения:

Sicut aquae tremulum labris ubi lumen ahenis

Sole repercussum, aut radiantis imagine lunae

Omnia pervolitat late loca, iamque sub auras

Erigitur, summique ferit laquearia tecti[14].

И нет такого безумия, таких бредней, которых не порождал бы наш ум, пребывая в таком возбуждении,

velut aegri somnia, vanae
Finguntur species[15].

Душа, не имеющая заранее установленной цели, обрекает себя на гибель, ибо, как говорится, кто везде, тот нигде:

Quisquis ubique habitat, Maxime, nusquam habitat[16].

Уединившись с недавнего времени у себя дома, я проникся намерением не заниматься, насколько возможно, никакими делами и провести в уединении и покое то недолгое время, которое мне остается еще прожить. Мне показалось, что

---

[14] Примечания: 14

Как дрожащая поверхность воды в медном сосуде отражает солнце или образ сияющей луны и отблеск разлетается во все стороны, взлетает в воздух, касается резного потолка (*лат.*). *Энеида*, VIII, 22 сл.

[15] Примечания: 15

Создаются образы, бессмысленные, как сон больного (*лат.*). Гора- ций. *Наука поэзии.* 7 сл.

[16] Примечания: 16

Кто повсюду живет, Максим, тот нигде не живет (*лат.*). Марциал, VII, 73.

для моего ума нет и не может быть большего благодеяния, чем предоставить ему возможность в полной праздности вести беседу с самим собою, сосредоточиться и замкнуться в себе. Я надеялся, что теперь ему будет легче достигнуть этого, так как с годами он сделался более положительным, более зрелым. Но я нахожу, что

variam semper dant otia mentem[17]

и что, напротив, мой ум, словно вырвавшийся на волю конь, задает себе во сто раз больше работы, чем прежде, когда он делал ее для других. И действительно, ум мой порождает столько беспорядочно громоздящихся друг на друга, ничем не связанных химер и фантастических чудовищ, что, желая рассмотреть на досуге, насколько они причудливы и нелепы, я начал переносить их на бумагу, надеясь, что со временем, быть может, он сам себя устыдится.

[17] Примечания: 17

Праздность приводит к изменчивости настроения (*лат.*). Лукан, IV, 704.

Глава IX
О лжецах

Нет человека, которому пристало бы меньше моего затевать разговоры о памяти. Ведь я не нахожу в себе ни малейших следов ее и не думаю, чтобы во всем мире существовала другая память столь же чудовищно немощная. Все остальные мои способности незначительны и вполне заурядны. Но в отношении этой я представляю собой нечто совсем исключительное и редкостное и потому заслуживаю, пожалуй, известности и громкого имени.

Не говоря уже о понятных каждому неудобствах, которые я претерпеваю от этого — ведь, принимая во внимание насущную необходимость памяти, Платон с достаточным основанием назвал ее великою и могущественною богинею, — в моих краях, если хотят сказать о том или ином *человеке,* что он совершенно лишен ума, то говорят, что он лишен памяти, и всякий раз как я принимаюсь сетовать на недостаток своей, меня начинают журить и разуверять, как если бы я утверждал, что безумен. Люди не видят раз-

личия между памятью и способностью мыслить, и это значительно ухудшает мое положение. Но они несправедливы ко мне, ибо на опыте установлено, что превосходная память весьма часто уживается с сомнительными умственными способностями. Они несправедливы еще и в другом отношении: ничто не удается мне так хорошо, как быть верным другом, а между тем на моем наречии неблагодарность обозначается тем же словом, которым именуют также мою болезнь. О силе моей привязанности судят по моей памяти; природный недостаток перерастает, таким образом, в нравственный. «Он забыл, — говорят в этих случаях, — исполнить такую-то мою просьбу и такое-то свое обещание. Он забывает своих друзей. Он не вспомнил, что из любви ко мне ему следовало сказать или сделать то-то и то-то и, напротив, умолчать о том-то и том-то». Я и в самом деле могу легко позабыть то-то и то-то, но сознательно пренебречь поручением, данным мне моим другом, — нет, такого со мной не бывает. Пусть они удовольствуются моею бедой и не превращают ее в своего рода коварство, которому так враждебна моя натура.

Кое в чем я все же вижу для себя утешение. Во-первых, в этом своем недостатке я нахожу

существенную опору, борясь с другим, еще худшим, который легко мог бы развиться во мне, а именно с честолюбием, ибо последнее является непосильным бременем для того, кто устранился от жизни большого света. Далее, как подсказывают многочисленные примеры подобного рода из жизни природы, она щедро укрепила во мне другие способности в той же мере, в какой обездолила в отношении вышеназванной. В самом деле, ведь я мог бы усыпить и обессилить мой ум и мою проницательность, идя проторенными путями, как это делает целый мир, не упражняя и не совершенствуя своих собственных сил, если бы, облагодетельствованный хорошею памятью, имел всегда перед собою чужие мнения и измышления чужого ума. Кроме того, я немногословен в беседе, ибо память располагает более вместительной кладовой, чем вымысел. Наконец, если бы память была у меня хорошая, я оглушал бы своей болтовнею друзей, так как припоминаемые мною предметы пробуждали бы заложенную во мне способность, худо ли хорошо ли, владеть и распоряжаться ими, поощряя тем самым и воспламеняя мои разглагольствования. А это — сущее бедствие. Я испытал его лично на деле, в общении с иными из числа моих близких друзей; по мере

того как память воскрешает перед ними события или вещи со всеми подробностями и во всей их наглядности, они до такой степени замедляют ход своего рассказа, настолько загромождают его никому не нужными мелочами, что, если рассказ сам по себе хорош, они обязательно убьют его прелесть, если же плох, то вам только и остается, что проклинать либо выпавшее на их долю счастье, то есть хорошую память, либо, напротив, несчастье, то есть неумение мыслить. Право же, если кто разойдется, тому нелегко завершить свои разглагольствования или оборвать их на полуслове. А ведь нет лучшего способа узнать силу коня, как испытать его уменье останавливаться сразу и плавно. Но даже среди дельных людей мне известны такие, которые хотят, да не могут остановить свой разгон. И, силясь отыскать точку, где бы задержать наконец свой шаг, они продолжают тащиться, болтая и ковыляя, точно люди, изнемогающие от усталости. Особенно опасны тут старики, которые сохраняют память о былых делах, но не помнят о том, что уже много раз повторяли свои повествования. И я не раз наблюдал, как весьма занимательные рассказы становились в устах какого-нибудь почтенного старца на редкость скучными; ведь каждый из

слушателей насладился ими по крайней мере добрую сотню раз. Во-вторых, я нахожу для себя утешение также и в том, что моя скверная память хранит в себе меньше воспоминаний об испытанных мною обидах; как говаривал один древний писатель, мне нужно было бы составить их список и хранить его при себе, следуя в этом примеру Дария, который, дабы не забывать оскорблений, нанесенных ему афинянами, велел своему слуге трижды возглашать всякий раз, как он будет садиться за стол: «Царь, помни об афинянах». Далее: местности, где я уже побывал прежде, или прочитанные ранее книги всегда радуют меня свежестью новизны.

Не без основания говорят, что кто не очень-то полагается на свою память, тому нелегко складно лгать. Мне хорошо известно, что грамматики устанавливают различие между выражениями: «говорить ложно» и «лгать». Они разъясняют, что «говорить ложно» это значит — говорить вещи, которые не соответствуют истине, но тем не менее воспринимаются говорящим как истинные, а также, что слово «лгать» по-латыни — а от латинского слова произошло и наше французское — означает почти то же самое, что «идти против собственной совести». Здесь, во всяком случае,

я веду речь лишь о тех, которые говорят одно, а про себя знают другое. А это либо те, чьи слова, так сказать, чистейший вымысел, либо те, кто лишь отчасти скрывает и искажает истину. Но, слегка скрывая и искажая ее, они рано или поздно, если наводить их снова и снова на один и тот же сюжет, сами изобличат себя во лжи, так как немыслимо, чтобы в их воображении не возникало всякий раз то представление о вещи, как она есть, которое первым отложилось в их памяти и затем прочно запечатлелось в ней, закрепившись в процессе познания, а затем и знания ее свойств; а это первоначальное представление понемногу вытесняет из памяти вымысел, который не может обладать такой же устойчивостью и прочностью, поскольку обстоятельства первого ознакомления с вещью, всплывая всякий раз снова в нашем уме, заслоняют воспоминание о привнесенном извне, ложном и извращенном. В тех же случаях, когда все сказанное людьми — сплошной вымысел и у них самих нет противоречащих этому вымыслу впечатлений, они, очевидно, имеют меньше оснований опасаться промаха. Однако и тут, раз их вымысел — призрак, нечто неуловимое, он так и стремится ускользнуть из их памяти, если она недостаточно цепкая.

Я не раз наблюдал случаи таких промахов, и, что всего забавнее, они приключались именно с теми, кто, можно сказать, сделал своею профессией строить свою речь так, чтобы она помогала в делах, а также была бы приятна влиятельным лицам, к которым обращена. Но раз обстоятельства, которым они готовы подчинить душу и совесть, подвержены бесчисленным изменениям, то и им приходится бесконечно разнообразить свои слова. А это приводит к тому, что ту же самую вещь они принуждены называть то серой, то желтой, и перед одним из своих собеседников утверждать одно, а перед другим — совершенно другое. Если те при случае сопоставят столь несходные между собой суждения, то во что превращается великолепное искусство этих говорунов? А кроме того, и они сами, забывая об осторожности, изобличают себя во лжи, ибо какая же память способна вместить такое количество вымышленных, несхожих друг с другом образов одного и того же предмета? Я встречал многих моих современников, завидовавших славе, которою пользуются обладатели этой блистательной разновидности благоразумия. Они не замечают, однако, того, что слава славою, а толку от нее — никакого.

И действительно, лживость — гнуснейший

порок. Только слово делает нас людьми, только слово дает нам возможность общаться между собой. И если бы мы сознавали всю мерзость и тяжесть упомянутого порока, то карали бы его сожжением на костре с большим основанием, чем иное преступление. Я нахожу, что детей очень часто наказывают за сущие пустяки, можно сказать, ни за что; что их карают за проступки, совершенные по неведению и неразумию и не влекущие за собой никаких последствий. Одна только *лживость* и, пожалуй, в несколько меньшей мере упрямство кажутся мне теми из детских пороков, с зарождением и укоренением которых следует неуклонно и беспощадно бороться. Они возрастают вместе с людьми. И как только язык свернул на путь *лжи*, прямо удивительно, до чего трудно возвратить его к правде! От этого и проистекает, что мы встречаем людей, в других отношениях вполне честных и добропорядочных, но покоренных и порабощенных этим пороком. У меня есть портной, вообще говоря, славный малый, но ни разу не слышал я от него хотя бы словечка правды, и притом даже тогда, когда она могла бы доставить ему только выгоду.

Если бы ложь, подобно истине, была одноликою, наше положение было бы значительно

легче. Мы считали бы в таком случае достоверным противоположное тому, что говорит лжец. Но противоположность истине обладает сотней тысяч обличий и не имеет пределов.

Пифагорейцы считают, что благо определенно и ограниченно, тогда как зло неопределенно и неограниченно. Тысячи путей уводят от цели, и лишь один-единственный ведет к ней. И я вовсе не убежден, что даже ради предотвращения грозящей мне величайшей беды я мог бы заставить себя воспользоваться явной и беззастенчивой ложью.

Один из отцов церкви сказал, что мы чувствуем себя лучше в обществе знакомой собаки, чем с человеком, язык которого нам не знаком: Ut externus alieno non sit hominis vice[18]. Но насколько же лживый язык, как средство общения, хуже молчания!

Король Франциск I хвалился, как ловко он обвел вокруг пальца посла миланского герцога Франческо Сфорца — Франческо Таверну, человека весьма прославленного в искусстве заговаривать зубы своему собеседнику. Тот был послан ко двору вашего короля, чтобы принести его

[18] Примечания: 18

Иноземец чужаку не сойдет за человека (*лат.*). Плиний Старший. *Естественная история,* VII, 1.

величеству извинения своего государя в связи с одним весьма важным, излагаемым ниже делом. Король, которого незадолго до того вытеснили из Италии и даже из Миланской области, желая располагать сведениями обо всем, что там происходит, придумал держать при особе миланского герцога одного дворянина, в действительности своего посла, но проживавшего под видом частного человека, приехавшего туда якобы по своим личным делам. И это было тем более необходимо, что герцог, завися больше от императора, чем от нас, а в то время особенно, так как сватался за его племянницу, дочь короля Дании, ныне вдовствующую герцогиню лотарингскую, не мог, не причиняя себе большого ущерба, открыто поддерживать с нами сношения и вступать в какие-либо переговоры. Лицом, подходящим для поддержания связи между обоими государями, и оказался некто Мервейль, королевский конюший и миланский дворянин. Этот последний, снабженный тайными верительными грамотами и инструкциями, которые вручаются обычно послам, а также, для отвода глаз и соблюдения тайны, рекомендательными письмами к герцогу, относившимися к личным делам этого дворянина, провел при миланском дворе столь долгое время,

что вызвал неудовольствие императора, каковое обстоятельство, как мы предполагаем, и явилось истинною причиной всего происшедшего дальше. А случилось вот что: воспользовавшись как предлогом каким-то убийством, герцог приказал в два дня закончить судебное разбирательство и повелел в одну прекрасную ночь отрубить голову названному Мервейлю. И так как король, требуя удовлетворения, обратился по поводу этого дела с посланием ко всем христианским государям, в том числе и к самому миланскому герцогу, мессер Франческо, посол последнего, заготовил пространное и лживое изложение этой истории, которое и представил королю во время утреннего приема.

В нем он утверждал, стремясь обелить своего господина, что тот никогда не считал Мервейля никем иным, как частным лицом, миланским дворянином и своим подданным, прибывшим в Милан ради собственных дел и пребывавшим там исключительно в этих целях; далее, он решительно отрицал, будто герцогу было известно о том, что Мервейль состоял на службе у короля Франциска и даже что этот последний знал его лично, вследствие чего у герцога не было решительно никаких оснований смотреть на Мервейля как

на посла короля Франциска. Король, однако, тесня его, в свою очередь, различными вопросами и возражениями, подкапываясь под него различными способами и прижав наконец к стене, потребовал у посла объяснения, почему же в таком случае казнь была произведена ночью и как бы тайком. На этот последний вопрос бедняга, запутавшись окончательно и стремясь соблюсти учтивость, ответил, что герцог, глубоко почитая его величество, был бы весьма опечален, если бы подобная казнь была совершена днем. Нетрудно представить себе, что, допустив такой грубый промах, к тому же перед человеком с таким тонким нюхом, как король Франциск I, он был тут же пойман с поличным.

Папа Юлий II направил в свое время посла к английскому королю с поручением восстановить его против вышеназванного французского короля. После того как посол изложил все, что было ему поручено, английский король, отвечая ему, заговорил о трудностях, с которыми, по его мнению, сопряжена подготовка к войне со столь могущественной державой, как Франция, и привел в подкрепление своих слов несколько соображений. Посол весьма некстати заметил на это, что и он подумал обо всем этом и даже сооб-

щил о своих сомнениях папе. Эти слова, очень плохо согласовавшиеся с целями посольства, состоявшими в том, чтобы побудить английского короля немедленно же начать войну, вызвали у этого последнего подозрение, впоследствии подтвердившееся на деле, что посол в душе был на стороне Франции. Он сообщил об этом папе; имущество посла было конфисковано, и сам он едва не поплатился жизнью.

Глава X
О речи живой и о речи медлительной

Не всем таланты все дарованы бывают.

Это относится, как мы можем убедиться, и к красноречию; одним свойственна легкость и живость в речах, и они, как говорится, за словом в карман не полезут, во всеоружии всегда и везде, тогда как другие, более тяжелые на подъем, напротив, не вымолвят ни единого слова, не обдумав предварительно своей речи и основательно не поработав над нею. И подобно тому как дамам советуют иногда, в каких играх и телесных упражнениях им лучше участвовать, чтобы выставить напоказ все, что в них есть самого привлекательного, так и я на вопрос, какой из этих двух видов красноречия, которым в наше время пользуются преимущественно проповедники и адвокаты, под стать первым и какой — вторым, я посоветовал бы человеку, говорящему медлительно, стать проповедником, а человеку, говорящему живо, адвокатом. Ведь обязанности первого предоставляют ему сколь-

ко угодно досуга для подготовки, а кроме того, его деятельность постоянно протекает в одном направлении, спокойно и ровно, в то время как обстоятельства, в которых живет и действует адвокат, в любое мгновение могут принудить его к поединку, причем неожиданные наскоки противника выбивают его подчас из седла, и ему тут же на месте приходится изыскивать новые приемы защиты.

Между тем при свидании папы Климента с королем Франциском, происходившем в Марселе, вышло как раз наоборот. Господин Пуайе, человек, всю жизнь выступавший в судах, можно сказать, там воспитавшийся и высоко там ценимый, получив поручение произнести приветственную речь папе, имел достаточно времени, чтобы хорошенько поразмыслить над нею и, как говорят, привез ее из Парижа в совершенно готовом виде. Но в тот самый день, когда эта речь должна была быть произнесена, папа, опасаясь, как бы в приветственном слове ему не сказали чего-нибудь такого, что могло бы задеть находившихся при нем послов других государей, уведомил короля о желательном и, по его мнению, соответствующем месту и времени содержании речи. К несчастью, однако, это было совсем не то, над чем трудил-

ся господин Пуайе, так что подготовленная им речь оказалась ненужною, и ему надлежало в кратчайший срок сочинить новую. Но так как он почувствовал себя неспособным к выполнению этой задачи, ее пришлось взять на себя господину кардиналу Дю Белле.

Труд адвоката сложнее труда проповедника, и все же мы встречаем, по-моему, больше сносных адвокатов, чем проповедников. Так по крайней мере обстоит дело во Франции.

Нашему остроумию, как кажется, более свойственны быстрота и внезапность, тогда как уму — основательность и медлительность. Но как тот, кто, не располагая досугом для подготовки, остается немым, так и тот, кто говорит одинаково хорошо, независимо от того, располагал ли он перед этим досугом, представляют собою крайности. О Севере Кассии рассказывают, что он говорил значительно лучше без предварительного обдумывания своей речи и что своими успехами он скорее обязан удаче, чем прилежанию. Рассказывают также, что ему шло на пользу, если его раздражали во время произнесения речи, и что противники остерегались задевать его за живое, опасаясь, как бы гнев не удвоил его красноречия. Я знаю, по личному опыту, людей с

таким складом характера, с которым несовместима кропотливая и напряженная подготовка. Если у таких людей мысль в том или ином случае не течет легко и свободно, она становится не способною к чему-либо путному. Мы говорим об иных сочинениях, что от них несет маслом и лампой, так как огромный труд, который в них вложен авторами, сообщает им отпечаток шероховатости и неуклюжести. К тому же стремление сделать как можно лучше и напряженность души, чрезмерно скованной и поглощенной делом, искажают ее творение, калечат, душат его, вроде того, как это происходит иногда с водой, которая будучи сжата и стеснена своим собственным напором и изобилием, не находит для себя выхода из открытого, но слишком узкого для нее отверстия.

У людей с таким характером, о котором я здесь говорю, бывает иногда так: им вовсе не требуется толчков извне, пробуждающих бурные страсти, как, например, ярость Кассия, — такое волнение было бы для них слишком грубым; их натура нуждается не в возбуждении, а во вдохновении — в каких-либо особых впечатлениях, неожиданных и внезапных. Человек подобного душевного склада, предоставленный себе, бывает вял и бесплоден. Легкое волнение придает ему жизнь и

пробуждает талант.

Я плохо умею управлять и распоряжаться собой. Случай имеет надо мной большую власть, чем я сам. Обстоятельства, общество, в котором я нахожусь, наконец, звучание моего голоса извлекают из моего ума больше, чем я мог бы обнаружить в себе, занимаясь самоисследованием или употребляя его на потребу себе самому.

Мои речи, вследствие этого, стоят больше, чем мои писания, если вообще допустимо выбирать между вещами, которые не имеют никакой ценности.

Со мной бывает и так, что я не нахожу себя там, где ищу, и вообще я чаще нахожу себя благодаря счастливой случайности, чем при помощи самоисследования. Допустим, что мне удалось выразить на бумаге нечто тонкое и остроумное (я очень хорошо понимаю, что для другого может быть плохо то, что для меня очень хорошо; оставим ложную скромность: каждый старается в меру своих способностей). И вдруг моя мысль настолько от меня ускользает, что я уже больше не знаю, что я хотел сказать; и случается, что сторонний человек понимает меня лучше, чем я сам. Если бы я пускал в ход бритву всякий раз, когда в этом является надобность, от меня бы ров-

но ничего не осталось. Но может настать такой час, когда забытое мною озарится светом более ясным, чем белый день, и тогда я буду только удивляться моей теперешней растерянности.

Глава XI
О предсказаниях

Относительно оракулов известно, что вера в них стала утрачиваться еще задолго до пришествия Иисуса Христа. Мы знаем, что Цицерон пытался установить причины постигшего их упадка: Cur isto modo iam oracula Delphis non eduntur non modo nostra aetate sed iamdiu ut modo nihil possit esse contemptius?[19] Но что касается других предсказаний: по костям и внутренностям приносимых в жертву животных, у которых, по мнению Платона, строение внутренних органов в известной мере приспособлено к этому, по тому, как роются в земле куры, по полету различных птиц, aves quasdam rerum augurandarum causa natas esse putamus[20], по молнии, по извилинам рек, multa cernunt aruspices, multa augures provident, multa oraculis declarantur, multa

---

[19] Примечания: 19

Почему из Дельф уже не исходят таким же образом оракулы и не только в наше время, но уже давно, так что они сделались всего презреннее? (*лат.*) Цицерон. *О гадании,* II, 57.

[20] Примечания: 20

Мы считаем некоторых птиц предназначенными для гадания (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* II, 64.

vaticinationibus, multa somniis, multa portentis[21] и иным приметам, на которых древние по большей части основывали свои начинания, как государственные, так и частные, то наша религия упразднила их. Но все же и у нас сохраняются кое-какие способы заглядывать в будущее: при помощи звезд, духов, различных телесных признаков, снов и еще многого другого, что служит ясным свидетельством неудержимого любопытства нашей души, жаждущей заглянуть в будущее, точно ей не хватает забот в настоящем:

> *cur hans tibi rector Olympi*
>
> *Sollicitis visum mortalibus addere curam,*
>
> *Noscant venturas ut dira per omina clades,*
>
> *Sit subitum quodcunque paras, sit caeca futuri*
>
> *Mens hominum fati, liceat sperare timenti*[22].

---

[21] Примечания: 21

Многое различают гаруспики, многое предвидят авгуры, многое возвещается оракулами, многое пророчествами, многое снами, многое знамениями (*лат.*). Там же, II, 65.

[22] Примечания: 22

Почему тебе, правитель Олимпа, угодно прибавлять эту заботу к тревогам смертных, чтобы они через грозные знамения узнавали о будущих несчастьях? Пусть внезапным будет то, что ты готовишь, пусть человеческий разум останется слеп к грядущей судьбе, позволь устрашенному еще надеяться! (*лат.*) Лукан, II, 4 сл.

Ne utile quidem est scire, quid futurum sit. Miserum est enim nihil proficientem angi[23], и это действительно так, ибо наша душа бессильна перед обстоятельствами.

Вот почему случившееся с Франческо, маркизом Салуцким, показалось мне весьма примечательным. Командуя той армией короля Франциска, что находилась по ту сторону гор, бесконечно обласканный нашим двором, обязанный королю своим титулом и своими владениями, конфискованными у его брата и отданными маркизу, не имея, наконец, ни малейшего повода к измене своему государю, тем более что душа его противилась этому, он позволил запугать себя (как было выяснено впоследствии) предсказаниями об успехах, ожидающих в будущем императора Карла V, и о нашем неминуемом поражении. Об этих нелепых предсказаниях толковали повсюду, и они проникли также в Италию, где получили настолько широкое распространение, что, вследствие слухов о грозящем нам якобы разгроме, в Риме бились об заклад, что именно так и случится, ставя огромные суммы. Маркиз Салуцкий нередко с горестью говорил своим приближен-

[23] Примечания: 23

Нет пользы знать, что будет. Ведь жалкая участь — терзаться, не в силах помочь (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* III, 6.

ным о несчастьях, неотвратимо нависших, по его мнению, над французской короной, а также о своих французских друзьях. В конце концов он поднял мятеж и переметнулся к врагу, что оказалось для него величайшим несчастьем, каково бы ни было расположение звезд. Но он вел себя при этом как человек, раздираемый противоположными побуждениями, ибо, имея в своих руках различные города и военную славу, находясь всего в двух шагах от неприятельских войск под начальством Антонио де Лейва, он мог бы, пользуясь нашим неведением о задуманной им измене, причинить значительно больше вреда. Ведь его предательство не стоило ни одной жизни, ни одного города, кроме Фоссано, да и то после долгой борьбы за него.

Prudens futuri temporis exitum
Caliginosa nocte premit deus,
Ridetque si mortalis ultra
Fas trepidat.
. . . . . .
Ille potens sui
Laetusque deget, cui licet in diem
Dixisse: Vixi. Cras vel atra

Nube polum pater occupato
Vel sole puro[24]*.*

Laetus in praesens animus, quod ultra est,
Oderit curare[25]*.*

Напротив, глубоко заблуждается тот, кто согласен со следующими словами: Ista sic reciprocantur, ut et, si divinatio sit, dii sint; et, si dii sint, sit divinatio[26]. Гораздо разумнее говорит Пакувий:

Nam istis qui linguam avium intelligunt,
Plusque ex alieno iecore sapiunt quam ex suo,
Magis audiendum quam auscultandum censeo[27]*.*

Столь прославленное искусство тосканцев уга-

---

[24] Примечания: 24

Бог благоразумно скрывает мраком ночи события будущего и смеется, если смертный трепещет сверх рока… Тот владеет собой и счастлив, кто может сегодня сказать: «Этот прожил. А завтра пусть Отец займет небо хоть черной тучей, хоть чистым солнцем» (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 29, 29 сл.

[25] Примечания: 25

Довольная настоящим душа ненавидит заботу о будущем (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, 16, 25 сл.

[26] Примечания: 26

Так они связаны друг с другом: если существует гадание, должны быть и боги, а если существуют боги, должно быть гадание (*лат.*). Цицерон. *О гадании,* I, 6.

[27] Примечания: 27

Полагаю, что следует слушать, но не слушаться тех, кто понимает язык птиц и лучше разбирается в чужой печени, чем в своей (*лат.*). *Пакувий* — римский поэт (220–130 гг. до н. э.). Цитату приводит Цицерон. *О гадании,* I, 57.

дывать будущее возникло следующим образом. Один крестьянин, подняв лемехом своего плуга большой пласт земли, увидел, как из-под него вышел Тагет, полубог с лицом ребенка и мудростью старца. Сбежался народ. Речи Тагета и все его наставления по части гаданий собрали вместе и в течение долгих веков бережно сохраняли. Дальнейшее развитие этого искусства стоит его возникновения.

Что до меня, то я предпочел бы руководствоваться в своих делах скорее счетом очков брошенных мною игральных костей, чем подобными бреднями.

И действительно, во всех государствах с республиканским устройством на долю жребия выпадала немалая власть. В воображаемом государстве, созданном фантазией Платона, он предоставляет жребию решать многие важные вещи. Между прочим, он хочет, чтобы браки между добрыми гражданами заключались посредством жребия; этому случайному выбору он придает настолько большое значение, что только родившиеся от таких браков дети, по его мысли, должны воспитываться на родине, тогда как потомство от дурных граждан подлежит изгнанию на чужбину. Впрочем, если кто-нибудь

из изгнанников, выросши, обнаружит добрые нравы, то он может быть возвращен на родину; равным образом, кто из оставленных на родине, достигнув юношеского возраста, не оправдает надежд, тот может быть, в свою очередь, изгнан в чужие края.

Я знаю людей, которые изучают и толкуют на все лады свои альманахи, ища в них указаний, как им лучше в данном случае поступить. Но поскольку в таких альманахах можно найти все, что угодно, в них, очевидно, наряду с ложью должна содержаться и доля правды. Quis est enim qui totum diem iaculans non aliquando conlineet? [28]Я не придаю им сколько-нибудь большей цены от того, что вижу порою их правоту. Уж лучше бы они всегда лгали: тогда люди знали бы, что о них думать. Добавим, что никто не ведет счета их промахам, как бы часты и обычны они ни были; что же касается предсказаний, оказавшихся правильными, то им придают большое значение именно потому, что они редки и в силу этого кажутся нам чем-то непостижимым и изумительным. Вот как Диагор, по прозвищу Атеист, находясь в Самофракии, ответил тому,

[28] Примечания: 28

Какой человек, целый день бросая дротик, не угодит в цель хотя бы один раз? (*лат.*) Цицерон. *О гадании,* II, 59.

кто, показав ему в храме многочисленные дарственные приношения с изображением людей, спасшихся при кораблекрушении, обратился к нему с вопросом: «Ну вот, ты, который считаешь, что богам глубоко безразличны людские дела, что ты скажешь о стольких людях, спасенных милосердием?» «Пусть так, — ответил Диагор. — Но ведь тут нет изображений утонувших, а их несравненно больше». Цицерон говорит, что между всеми философами, разделявшими веру в богов, один Ксенофан Колофонский пытался бороться с предсказателями разного рода. Тем менее удивительно, что иные из наших властителей, как мы видим, все еще придают значение подобной нелепости, и нередко себе во вред.

Я хотел бы увидеть собственными глазами два таких чуда, как книгу Иоахима, аббата из Калабрии, предсказавшего всех будущих пап, их имена и их облик, и книгу императора Льва, предсказавшего византийских императоров и патриархов. Но собственными глазами я видел лишь вот что: во времена общественных бедствий люди, потрясенные своими невзгодами, отдаются во власть суеверий и пытаются выискать в небесных знамениях причину и предвестие обрушившихся на них несчастий. И так как мои современники

обнаруживают в этом непостижимое искусство и ловкость, я пришел к убеждению, что, поскольку для умов острых и праздных это занятие не что иное, как развлечение, всякий, кто склонен к такого рода умствованиям, кто умеет повернуть их то в ту, то в другую сторону, может отыскать в любых писаниях все, чего бы он ни искал. Впрочем, главное условие успеха таких гадателей — это темный язык, двусмысленность и причудливость пророческих словес, в которые авторы этих книг не вложили определенного смысла с тем, чтобы потомство находило здесь все, чего бы ни пожелало.

«Демон» Сократа был, по-видимому, неким побуждением его воли, возникавшим помимо его сознания. Вполне вероятно, однако, что в душе, столь возвышенной, как у него, к тому же подготовленной постоянным упражнением в мудрости и добродетели, эти влечения, хотя бы смутные и неосознанные, были всегда разумными и достойными того, чтобы следовать им. Каждый в той или иной мере ощущал в себе подобного рода властные побуждения, возникавшие у него стремительно и внезапно. Я, который не очень-то доверяю благоразумию наших обдуманных решений, склонен высоко ценить такие

побуждения. Нередко я и сам их испытывал; они сильно влекут к чему-нибудь или отвращают от какой-либо вещи, — последнее у Сократа бывало чаще. Я позволял этим побуждениям руководить собою, и это приводило к столь удачным и счастливым последствиям, что, право же, в них можно было бы усмотреть нечто вроде божественного внушения.

Глава XII
О стойкости

Если кто-нибудь пользуется славой человека решительного и стойкого, то это вовсе не означает, что ему нельзя уклоняться, насколько возможно, от угрожающих ему бедствий и неприятностей, а следовательно, и опасаться, как бы они не постигали его. Напротив, все средства — при условии, что они не бесчестны, — способные оградить нас от бедствий и неприятностей, не только дозволены, но и заслуживают всяческой похвалы. Что до стойкости, то мы нуждаемся в ней, чтобы терпеливо сносить невзгоды, с которыми нет средств бороться. Ведь нет такой уловки или приема в пользовании оружием во время боя, которые мы сочли бы дурными, лишь бы они помогли отразить направленный на нас удар.

Многие весьма воинственные народы применяли внезапное бегство с поля сражения как одно из главнейших средств добиться победы над неприятелем, и они оборачивались к нему спиною с большей опасностью для него, чем если бы стояли к нему лицом.

Турки и сейчас еще знают толк в этом деле.

Сократ — у Платона — потешается над Лахетом, определявшим храбрость следующим образом: «Неколебимо стоять в строю перед лицом врага». «Как! — восклицает Сократ. — Разве было бы трусостью бить неприятеля, отступая пред ним?» И в подкрепление своих слов он ссылается на Гомера, восхваляющего Энея за уменье искусно применять бегство. А после того как Лахет, подумав, должен был признать, что таков действительно обычай у скифов, да и вообще у всех конных воинов, Сократ привел ему в пример еще пехотинцев-лакедемонян, народ, столь привыкший стойко сражаться в пешем строю: в битве при Платеях, после безуспешных попыток прорвать фалангу персов, они решили рассыпаться и податься назад, чтобы, создав, таким образом, видимость бегства, разорвать и рассеять грозную массу персов, когда те бросятся преследовать их. Благодаря этой хитрости они добились победы.

Относительно скифов рассказывают, будто Дарий во время похода, предпринятого им с целью покорить этот народ, обрушился на их царя с жестокими упреками за то, что он непрерывно отступает пред ним и уклоняется от открытого боя. На что Индатирс — таково было имя царя

— ответил, что отступает не из страха пред ним, ибо вообще не боится никого на свете, но потому, что таков обычай скифов на войне; ведь у них нет ни возделываемых полей, ни городов, ни домов, которые нужно было бы защищать, дабы враг ими не поживился. Однако, добавил он, если Дарию так уж не терпится сойтись с противником в открытом бою, пусть он приблизится к тем местам, где находятся могилы предков Индатирса: там он найдет, с кем померяться силами.

И все же, когда оказываешься мишенью для пушек, что нередко случается на войне, считается позорным бояться ядер, поскольку принято думать, что от них все равно не спастись вследствие их стремительности и мощи. И не раз бывало, что тот, кто при таких обстоятельствах поднимал руку или наклонял голову, вызывал по меньшей мере хохот товарищей.

Но вот что произошло однажды в Провансе во время похода императора Карла V против нас. Маркиз дель Гуасто, отправившись на разведку к городу Арлю и выйдя из-за ветряной мельницы, служившей ему прикрытием и позволившей приблизиться к городу, был замечен господами де Бонневалем и сенешалем Аженуа, которые прохаживались в амфитеатре арльского цир-

ка. Последние указали на маркиза дель Гуасто господину де Вилье, начальнику артиллерии, и тот так метко навел кулеврину, что если бы названный выше маркиз, заметив, что по нему открыли огонь, не стал быстро на четвереньки, то, наверно, получил бы заряд в свое тело. Нечто подобное произошло за несколько лет перед тем и с Лоренцо Медичи, герцогом Урбинским, отцом королевы, матери нашего короля, во время осады Мондольфо, крепости в Италии, расположенной в области, называемой Викариатом: увидев, что уже поднесли фитиль к направленной прямо на него пушке, он спасся лишь тем, что бросился на землю, нырнув, можно сказать, словно утка. Ибо иначе ядро, которое пронеслось почти над его головой, угодило бы, без сомнения, ему прямо в живот. Говоря по правде, я не думаю, чтобы такие движения производились нами обдуманно, ибо как можно составить себе суждение, высок ли прицел или низок, когда все совершается с такою внезапностью? И гораздо вернее будет предположить, что в описанных случаях этим людям благоприятствовала судьба и что, действуя в состоянии испуга подобным образом, можно с таким же успехом угодить под ядро, как и избегнуть его попадания.

Когда оглушительный треск аркебуз внезапно поражает мой слух, и притом в таком месте, где у меня не было никаких оснований этого ожидать, я не могу удержаться от дрожи; мне не раз доводилось видеть, как то же самое случалось и с другими людьми, которые похрабрее меня.

Даже стоикам и тем ясно, что душа мудреца, как они себе его представляют, не способна устоять перед внезапно обрушившимися на нее впечатлениями и образами и что этот мудрец отдает законную дань природе, когда бледнеет и съеживается, заслышав, к примеру, раскаты грома или грохот обвала. То же самое происходит, когда его охватывают страсти: лишь бы мысль сохраняла ясность и не нарушалась в своем течении, лишь бы разум, оставаясь непоколебимым и верным себе, не поддался чувству страха или страдания. С теми, кто не принадлежит к числу мудрецов, дело обстоит точно так же, если иметь в виду первую часть сказанного, и совсем по-иному, если — вторую. Ибо у людей обычного склада действие страстей не остается поверхностным, но проникает в глубины их разума, заражая и отравляя его. Такой человек мыслит под прямым воздействием страстей и как бы повинуясь им. Вот вам полное и верное изображение душевного

состояния мудреца-стоика:

> *Mens immota manet, lacrimae volvuntur inanes*[29].

Мудрец в понимании перипатетиков не свободен от душевных потрясений, но он умеряет их.

[29] Примечания: 29
Дух неколебим, понапрасну катятся слезы (*лат.*). *Энеида,* IV, 449.

Глава XIII
Церемониал при встрече царствующих особ

Нет предмета, сколь бы ничтожен он ни был, который оказался бы неуместным среди этой моей причудливой смеси. Согласно принятым у нас правилам, было бы большой неучтивостью даже по отношению к равному, а тем более к тому, кто занимает высокое положение в обществе, не быть дома, если он предуведомил нас о своем прибытии. Больше того, королева Наваррская Маргарита добавляет по этому поводу, что со стороны дворянина невежливо выйти из дому, как это часто случается, навстречу тому, кто должен его посетить, сколь бы знатен последний ни был, но что гораздо почтительнее и учтивее ожидать его у себя, хотя бы из опасения разминуться с ним в пути, и что в таких случаях достаточно проводить его в предназначенные ему покои.

Что до меня, то я частенько забываю как о той, так и о другой из этих пустых обязанностей, поскольку стараюсь изгнать из моего дома всякие церемонии. Есть люди, которые иногда на это

обижаются. Но что поделаешь! Лучше обидеть кого-нибудь один-единственный раз, чем постоянно терпеть самому обиду: это последнее было бы для меня нестерпимым гнетом. К чему бежать от придворного рабства, если заводишь его в своей собственной берлоге?

А вот еще одно правило, неуклонно соблюдаемое на собраниях всякого рода: оно гласит, что нижестоящим подобает являться первыми, тогда как лицам более видным приличествует, чтобы их дожидались. Однако же перед встречею папы Климента с королем Франциском, имевшею произойти в Марселе, король, отдав все необходимые распоряжения, удалился из этого города, предоставив папе в течение двух или трех дней устраиваться и отдыхать, и лишь после этого возвратился, чтобы встретиться с ним. Равным образом, когда тот же папа и император назначили встречу в Болонье, император предоставил папе возможность прибыть туда первым, сам же приехал несколько позже. При свиданиях царствующих особ руководствуются, как говорят люди знающие, следующим правилом: кто среди них самый могущественный, тому и полагается быть в назначенном месте прежде других и даже прежде того государя, в чьих владениях происхо-

дит встреча; считают, что эта уловка применяется ради того, чтобы таким способом создать видимость, будто низшие разыскивают высшего и домогаются встречи с ним, а не наоборот.

Не только в каждой стране, но и в каждом городе, и даже у каждого сословия есть свои особые правила вежливости. Я был достаточно хорошо воспитан в детстве и затем вращался в достаточно порядочном обществе, чтобы знать законы нашей французской учтивости; больше того, я в состоянии преподать их другим. Я люблю следовать им, однако не настолько покорно, чтобы они налагали путы на мою жизнь. Иные из них кажутся нам стеснительными, и если мы забываем их предумышленно, а не по невоспитанности, то это нисколько не умаляет нашей любезности. Я нередко встречал людей, которые оказывались неучтивыми именно вследствие того, что они были чересчур учтивы, и несносны вследствие того, что были чересчур вежливы.

А впрочем, уменье держать себя с людьми — вещь очень полезная. Подобно любезности и красоте, оно облегчает нам доступ в общество и способствует установлению дружеских связей, открывая тем самым возможность учиться на примере других и вместе с тем подавать пример и

выказывать себя с хорошей стороны, если только в нас действительно есть нечто достойное подражания и поучительное для окружающих.

Глава XV
За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание

Храбрости, как и другим добродетелям, положен известный предел, преступив который, начинаешь склоняться к пороку. Вот почему она может увлечь всякого, недостаточно хорошо знающего ее границы — а установить их с точностью действительно нелегко, — к безрассудству, упрямству и безумствам всякого рода. Это обстоятельство и породило обыкновение наказывать во время войны — иногда даже смертью — тех, кто упрямо отстаивает укрепленное место, удержать которое, по правилам военной науки, невозможно. Иначе не было бы такого курятника, который, в надежде на безнаказанность, не задерживал бы продвижение целей армии.

Господин коннетабль де Монморанси при осаде Павии получил приказание переправиться через Тичино и захватить предместье св. Антония; задержанный защитниками предмостной башни, оказавшими упорное сопротивление, он все же взял ее приступом и велел повесить всех

оборонявшихся в ней. Так же поступил он и впоследствии, когда сопровождал дофина в походе по ту сторону гор; после того как замок Виллано был им захвачен и солдаты, озверев, перебили всех, кто находился внутри, за исключением коменданта и знаменосца, он велел, по той же причине, повесить и этих последних. Подобную же участь и в тех же краях испытал и капитан Бони, все люди которого были перебиты при взятии укрепления; так приказал Мартен Дю Белле, в ту пору губернатор Турина. Но поскольку судить о мощи или слабости укрепления можно, лишь сопоставив свои силы с силами осаждающих (ибо тот, кто достаточным основанием стал бы сопротивляться двум кулевринам, поступил бы как сумасшедший, если бы вздумал бороться против тридцати пушек), и так как здесь, кроме того, принимается обычно в расчет могущество вторгшегося государя, его репутация, уважение, которое ему должно оказывать, то существует опасность, что на весах его чаша всегда будет несколько перевешивать. А это, в свою очередь, приводит к тому, что такой государь начинает настолько мнить о себе и своем могуществе, что ему кажется просто нелепым, будто может существовать хоть кто-нибудь, достойный сопротивляться

ему, и пока ему улыбается военное счастье, он предает мечу всякого, кто борется против него, как это видно хотя бы на примере тех свирепых, надменных и исполненных варварской грубости требований, которые были в обычае у восточных властителей да и ныне в ходу у их преемников.

Также и там, где португальцы впервые начали грабить Индию, они нашли государства, в которых господствовал общераспространенный и нерушимый закон, гласящий, что враг, побежденный войском, находящимся под начальством царя или его наместника, не подлежит выкупу и не может надеяться на пощаду.

Итак, пусть всякий, кто сможет, остерегается попасть в руки судьи, когда этот судья — победоносный и вооруженный до зубов враг.

Глава XVI
О наказании за трусость

Я слышал как-то от одного принца и весьма крупного полководца, что нельзя осуждать на смерть солдата за малодушие; это мнение было высказано им за столом, после того как ему рассказали о суде над господином де Вервеном, приговоренным к смерти за сдачу Булони.

И в самом деле, я нахожу вполне правильным, что проводят отчетливую границу между поступками, проистекающими от нашей слабости, и теми, которые порождены злонамеренностью. Совершая последние, мы сознательно восстаем против велений нашего разума, запечатленных в нас самою природою, тогда как, совершая первые, мы имели бы основание, думается мне, сослаться на ту же природу, которая создала нас столь немощными и несовершенными; вот почему весьма многие полагают, что нам можно вменять в вину только содеянное нами вопреки совести. На этом и основано в известной мере как мнение тех, кто осуждает смертную казнь для еретиков и неверующих, так и правило, согласно

которому адвокат и судья не могут привлекаться к ответственности за промахи, допущенные по неведению при отправлении ими должности.

Что касается трусости, то, как известно, наиболее распространенный способ ее наказания — это всеобщее презрение и поношение. Считают, что подобное наказание ввел впервые в употребление законодатель Харонд и что до него всякого бежавшего с поля сражения греческие законы карали смертью; он же приказал вместо этого выставлять таких беглецов на три дня в женском платье на городской площади, надеясь, что это может послужить им на пользу и что бесчестие возвратит им мужество. Suffundere malis hominis sanguinem quam effundere[30]. Римские законы, по крайней мере в древнейшее время, также карали бежавших с поля сражения смертной казнью. Так, Аммиан Марцеллин рассказывает, что десять солдат, повернувшихся спиной к неприятелю во время нападения римлян на войско парфян, были лишены императором Юлианом военного звания и затем преданы смерти в соответствии с древним законом. Впрочем, в другой раз за такой же проступок он наказал виновных лишь тем,

[30] Примечания: 30

Пусть лучше кровь приливает к щекам, чем проливается (*лат.*). Тертуллиан. *Апологетика,* IV.

что поместил их среди пленных в обозе. Хотя римский народ и подверг суровой каре солдат, бежавших после битвы при Каннах, а также тех, кто во время той же войны был с Гнеем Фульвием при его поражении, тем не менее в этом случае дело не дошло до наказания смертью.

Есть, однако, основание опасаться, что позор не только повергает в отчаянье тех, кто наказан подобным образом, и не только доводит их до полнейшего равнодушия, но и превращает порой во врагов.

Во времена наших отцов господин де Франже, некогда заместитель главнокомандующего в войсках маршала Шатильона, назначенный маршалом де Шабанном на пост губернатора Фуэнтарабии вместо господина дю Люда и сдавший этот город испанцам, был приговорен к лишению дворянского звания, и как он сам, так и его потомство были объявлены простолюдинами, причислены к податному сословию и лишены права носить оружие. Этот суровый приговор был исполнен над ними в Лионе. В дальнейшем такому же наказанию были подвергнуты все дворяне, которые находились в городе Гизе, когда туда вступил граф Нассауский; с той поры то же претерпели и некоторые другие.

Как бы там ни было, всякий раз, когда мы наблюдаем столь грубые и явные, превосходящие всякую меру невежество или трусость, мы вправе прийти к заключению, что тут достаточно доказательств преступного умысла и злой воли, и наказывать их как таковые.

Глава XVII
Об образе действий некоторых послов

Во время моих путешествий, стремясь почерпнуть из общения с другими что-нибудь для меня новое (а это — одна из лучших школ, какие только можно себе представить), я неизменно следую правилу, состоящему в том, чтобы наводить своего собеседника на разговор о таких предметах, в которых он лучше всего осведомлен.

Basti al nocchiero ragionar de'venti,
Al bifolco dei tori, et le sue piaghe
Conti'l
guerrier, conti'l pastor gli armenti[31].

Впрочем, чаще всего наблюдается обратное, ибо всякий охотнее рассуждает о чужом ремесле, нежели о своем собственном, надеясь прослыть, таким образом, знатоком еще в какой-нибудь области; так, например, Архидам упрекал Периандра в том, что тот пренебрег славою выдающе-

---

[31] Примечания: 31

Пусть кормчий рассуждает только о ветре, а земледелец — о быках; пусть воин рассказывает о ранах, а пастух — о стадах (*ит.*). Проперций, II, 1, 43–44, в итальянском переводе Стефано Гуаццо.

гося врача, погнавшись за славою дурного поэта.

Поглядите, сколь многословным становится Цезарь, когда он описывает нам свои изобретения, относящиеся к постройке мостов или военных машин, и как, напротив, он краток и скуп на слова всюду, где рассказывает о своих обязанностях военачальника, о своей личной храбрости или о поведении своих воинов.

Его деяния и без того достаточно подтверждают, что он выдающийся полководец; ему хочется, однако, чтобы его знали и как превосходного военного инженера, а это нечто совсем уже новое. Не так давно некий ученый юрист, когда ему показали рабочий кабинет, где было множество книг, относящихся к его роду занятий, а также к другим отраслям знания, не обнаружил в нем ничего такого, о чем, по его мнению, стоило бы поговорить. А между тем он остановился, чтобы с ученым и важным видом потолковать по поводу заграждения на винтовой лестнице, что вела в эту комнату, хотя человек до ста офицеров и солдат ежедневно проходит мимо, не обращая на него никакого внимания.

Дионисий Старший был отличнейшим полководцем, как это и приличествовало его положению, но он стремился достигнуть славы

преимущественно в поэзии, в которой решительно ничего не смыслил.

> *Optat ephippia bos piger, optat arare caballus*[32].

Но таким образом вы никогда не добьетесь чего-либо путного.

Итак, всякого, кем бы он ни был, — зодчий ли это, живописец, сапожник или кто-либо иной, — подобает неукоснительно возвращать к предмету его повседневных занятий. И по этому поводу замечу: читая сочинения по истории, — в каковом жанре упражнялись самые различные люди, — я усвоил обыкновение принимать в расчет, кем именно были писавшие: если это люди, не занимавшиеся ничем иным, кроме литературных трудов, я смотрю прежде всего на слог и язык; если врачи, я доверяю с большей охотой тому, что говорится ими о температуре воздуха, о здоровье и складе характера государей, о ранениях и болезнях; если юристы, то в первую очередь следует направить свое внимание на их рассуждения по вопросам права, о законах, о государственных учреждениях и прочих вещах такого же рода;

---

[32] Примечания: 32

Ленивый вол мечтает о скачках, а конь предпочел бы пахать (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 14, 43.

если теологи — то на дела церковные, отлучения от церкви, эпитимии, разрешения на вступления в брак; если придворные — на описание обычаев и церемоний; если военные — на то, что относится к их ремеслу, и главным образом на их повествования о походах и битвах, в которых они принимали участие; если послы — то на всевозможные хитрости, шпионаж, подкупы и на то, как все это проделывалось.

По этой причине я выделил и отметил в «Истории» сеньора де Ланже, человека в высшей степени сведущего в этих делах, много такого, мимо чего я прошел бы, будь автором кто-либо иной. Рассказав о весьма выразительных предупреждениях, сделанных императором Карлом V римской консистории в присутствии наших послов, епископа Маковского и господина дю Велли, к чему император добавил немало оскорбительных выражений, направленных против нас, и, среди прочего, то, что если бы его военачальники, солдаты и подданные были столь же преданы своему господину и столь искусны в военном деле, как те, которыми располагает король, то он тут же навязал бы себе на шею веревку и отправился бы смиренно молить о пощаде (он, по-видимому, и сам в некоторой степени верил, что так оно в

действительности и есть, ибо и позже, в течение своей жизни, раза два или три повторял то же самое), а также сообщив о том, что он послал вызов нашему королю, предлагая ему поединок в лодке, в одних рубахах, на шпагах и на кинжалах, — вышеназванный сеньор де Ланже добавляет, что упомянутые послы, написав королю донесение, утаили от него большую часть слов императора и даже те оскорбления, о которых было рассказано выше. Я нахожу весьма странным, как это посол позволил себе решать, о чем докладывать своему государю, а что скрыть от него, тем более что дело было чревато такими последствиями, что эти слова исходили от такого лица и были произнесены на столь многолюдном собрании. Мне кажется, что обязанность подчиненного — точно и правдиво, со всеми подробностями, излагать события, как они были, дабы господин располагал полной свободою отдавать приказания, оценивать положение и выбирать. Ибо искажать или утаивать истину из опасения, как бы он не принял ее неподобающим образом и как бы это не толкнуло его к какому-нибудь неправильному решению, и из-за этого оставлять его неосведомленным о действительном положении дел — подобное право, как я полагаю, принадлежит

тем, кто предписывает законы, а не тем, для кого они предназначены, принадлежит руководителю и наставнику, но вовсе не тому, кто должен почитать себя низшим, и притом не только по своему положению, но и по опытности и мудрости. Как бы там ни было, я отнюдь не хотел бы, чтобы мне, при всей ничтожности моей особы, служили вышеописанным образом.

Мы стремимся, пользуясь любыми предлогами, выйти из подчинения и присвоить себе право распоряжаться; всякий из нас — и это вполне естественно — домогается свободы и власти; вот почему для вышестоящего не должно быть и в подчиненном ничего более ценного, чем простодушное и бесхитростное повиновение.

Если повиновение оказывают не беспрекословно, но сохраняя за собой известную независимость, то это большая помеха для отдающего приказание. Публий Красс, тот самый, которого римляне считали пятикратно счастливым, пребывая во время своего консульства в Азии, велел одному инженеру-греку доставить к нему большую из двух корабельных мачт, которые он видел при посещении им Афин, дабы соорудить из нее задуманную им метательную машину; грек же, основываясь на своих знаниях, позволил себе

нарушить приказ и привез ту из мачт, которая была меньше, но вместе с тем, как подсказывал ему опыт, и более пригодной для указанной цели. Красс, терпеливо выслушав его доводы, велел все же подвергнуть его бичеванию, считая, что дисциплина прежде всего, даже если это ведет к ущербу для дела.

С другой стороны, нелишне отметить, что безусловное повиновение полезно лишь при наличии точного и определенного приказания. Обязанности послов допускают больше свободы в действиях, ибо в ряде случаев принимать решения приходится им самим: ведь они не только исполнители воли своего государя, они также подготавливают ее и направляют своими советами. На своем веку я видел немало высокопоставленных лиц, которых упрекали за слепое подчинение букве королевских распоряжений и неумение учитывать обстоятельства дела.

Люди сведущие порицают еще и теперь обыкновение персидских властителей предоставлять своим наместникам и доверенным лицам настолько куцые полномочия, что тем приходилось из-за любой мелочи испрашивать дополнительно указания. Подобное промедление, принимая во внимание огромные пространства персидского

царства, нередко вредило, и весьма основательно, их делам.

И если Красс в письме к человеку, опытному в своем ремесле, указал на употребление, которое он намерен дать мачте, то не означало ли это, что он вступал с ним в обсуждение своего замысла и дал ему право выполнить приказание с теми или иными поправками?

Глава XVIII
О страхе

Obstupui, steteruntque comae, et vox faucibus haesit[33].

Я отнюдь не являюсь хорошим натуралистом (как принято выражаться), и мне не известно, посредством каких пружин на нас воздействует страх; но, как бы там ни было, это — страсть воистину поразительная, и врачи говорят, что нет другой, которая выбивала бы наш рассудок из положенной ему колеи в большей мере, чем эта. И впрямь, я наблюдал немало людей, становившихся невменяемыми под влиянием страха; впрочем, даже у наиболее уравновешенных страх, пока длится его приступ, может порождать ужасное ослепление. Я не говорю уже о людях невежественных и темных, которые видят со страху то своих вышедших из могил и завернутых в саваны предков, то оборотней, то домовых или еще каких чудищ. Но даже солдаты, которые, казалось бы, должны меньше других поддаваться

[33] Примечания: 33

Я оцепенел, волосы встали дыбом, и голос замер в гортани (*лат.*). *Энеида*, II, 774.

страху, не раз принимали, ослепленные им, стадо овец за эскадрон закованных в броню всадников, камыши и тростник за латников и копейщиков, наших товарищей по оружию за врагов и крест белого цвета за красный.

Случилось, что, когда принц Бурбонский брал Рим, одного знаменщика, стоявшего на часах около замка св. Ангела, охватил при первом же сигнале тревоги такой ужас, что он бросился через пролом, со знаменем в руке, вон из города, прямо на неприятеля, убежденный, что направляется в город, к своим; и только увидев солдат принца Бурбонского, двинувшихся ему навстречу, — ибо они подумали, что это вылазка, предпринятая осажденными, — он, наконец опомнившись, повернул вспять и возвратился в город через тот же пролом, через который вышел только затем, чтобы пройти свыше трехсот шагов в сторону неприятеля по совершенно открытому месту. Далеко не так счастливо окончилось дело со знаменщиком Жюля. Когда начался штурм Сен-Поля, взятого тогда у нас графом де Бюром и господином дю Рю, этот знаменщик настолько потерялся от страха, что бросился вон из города вместе со своим знаменем через пролом и был изрублен шедшими на приступ неприятельски-

ми солдатами. Во время той же осады произошел памятный для всех случай, когда сердце одного дворянина охватил, сжал и оледенил такой ужас, что он упал замертво у пролома, не имея на себе даже царапины.

Подобный страх овладевает иногда множеством людей. Во время одного из походов Германика против германцев два значительных отряда римлян, охваченных ужасом, бросились бежать в двух различных направлениях, причем один из них устремился как раз туда, откуда уходил другой.

Страх то окрыляет нам пятки, как в двух предыдущих примерах, то, напротив, пригвождает и сковывает нам ноги, как можно прочесть об императоре Феофиле, который, потерпев поражение в битве с агарянами, впал в такое безразличие и такое оцепенение, что не был в силах даже бежать: adeo, pavor etiam auxilia formidat[34]. Кончилось тем, что Мануил, один из главных его военачальников, схватив его за плечо и встряхнув, как делают, чтобы пробудить человека от глубокого сна, обратился к нему с такими словами: «Если ты не последуешь сейчас за мною, я предам тебя

---

[34] Примечания: 34

В страхе даже подмога кажется угрозой (*лат.*). Квинт Курций, III, 11.

смерти, ибо лучше расстаться с жизнью, чем, потеряв царство, сделаться пленником».

Крайняя степень страха выражается в том, что, поддаваясь ему, мы даже проникаемся той самой храбростью, которой он нас лишил в минуту, когда требовалось исполнить свой долг и защитить свою честь. При первом крупном поражении римлян во время войны с Ганнибалом — в этот раз командовал ими консул Семпроний — один римский отряд численностью до десяти тысяч пехоты, оказавшись во власти страха и не видя, в своем малодушии, иного пути спасения, бросился напролом, в самую гущу врагов, и пробился сквозь них с вызывающей изумление дерзостью, нанеся тяжелый урон карфагенянам. Таким образом, он купил себе возможность позорно бежать за ту самую цену, которою мог бы купить блистательную победу. Вот чего я страшусь больше самого страха.

Вообще же страх ощущается нами с большею остротой, нежели остальные напасти.

Многих из тех, кого помяли в какой-нибудь схватке, израненных и еще окровавленных, назавтра можно снова повести в бой, но тех, кто познал, что представляет собой страх перед врагом, тех вы не сможете заставить хотя бы

взглянуть на него. Все, кого постоянно снедает страх утратить имущество, подвергнуться изгнанию, впасть в зависимость, живут в постоянной тревоге; они теряют сон, перестают есть и пить, тогда как бедняки, изгнанники и рабы зачастую живут столь же беспечно, как все прочие люди. А сколько было таких, которые из боязни перед муками страха повесились, утопились или бросились в пропасть, убеждая нас воочию в том, что он еще более несносен и нестерпим, чем сама смерть.

Греки различали особый вид страха, который ни в какой степени не зависит от несовершенства наших мыслительных способностей. Такой страх, по их мнению, возникает без всяких видимых оснований и является внушением неба. Он охватывает порою целый народ, целые армии. Таким был и тот приступ страха, который причинил в Карфагене невероятные бедствия. Во всем городе слышались лишь дикие вопли, лишь смятенные голоса. Всюду можно было увидеть, как горожане выскакивали из домов, словно по сигналу тревоги, как они набрасывались один на другого, ранили и убивали друг друга, будто это были враги, вторгшиеся, чтобы захватить город. Смятение и неистовства продолжались до тех

пор, пока молитвами и жертвоприношениями они не смирили гнева богов.

Такой страх греки называли паническим.

Глава XIX
О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер

Scilicet ultima semper
Exspectanda dies homini est, dicique beatus
Ante obitum nemo, supremaque funera debet[35].

Всякому ребенку известен на этот счет рассказ о царе Крезе: захваченный в плен Киром и осужденный на смерть, перед самой казнью он воскликнул: «О, Солон, Солон!» Когда об этом было доложено Киру и тот спросил, что это значит, Крез ответил, что он убедился на своей шкуре в справедливости предупреждения, услышанного им некогда от Солона, что, как бы приветливо ни улыбалось кому-либо счастье, мы не должны называть такого человека счастливым, пока не минет последний день его жизни, ибо шаткость и изменчивость судеб человеческих таковы, что достаточно какого-нибудь ничтожнейшего

[35] Примечания: 35
Человеку всегда нужно дождаться последнего дня, и никого нельзя назвать счастливым до кончины и погребения (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы,* III, 135 сл.

толчка, — и все тут же меняется. Вот почему и Агесилай сказал кому-то, утверждавшему, что царь персидский — счастливец, ибо, будучи совсем молодым, владеет столь могущественным престолом: «И Приам в таком возрасте не был несчастлив». Царей Македонии, преемников великого Александра, мы видим в Риме писцами и столярами, тиранов Сицилии — школьными учителями в Коринфе. Покоритель полумира, начальствовавший над столькими армиями, превращается в смиренного просителя, унижающегося перед презренными слугами владыки Египта; вот чего стоило прославленному Помпею продление его жизни еще на каких-нибудь пять-шесть месяцев. А разве на памяти наших отцов не угасал, томясь в заключении в замке Лош, Лодовико Сфорца, десятый герцог Миланский, перед которым долгие годы трепетала Италия? И самое худшее в его участи то, что он провел там целых десять лет. А разве не погибла от руки палача прекраснейшая из королев, вдова самого могущественного в христианском мире государя? Такие примеры исчисляются тысячами. И можно подумать, что подобно тому как грозы и бури небесные ополчаются против гордыни и высокомерия наших чертогов, равным образом там,

наверху, существуют духи, питающие зависть к величию некоторых обитателей земли:

> *Usque adeo res humanas vis abdita quaedam*
> *Obterit, et pulchros fasces saevasque secures*
> *Proculcare,*
> *ac ludibrio sibi habere videtur*[36].

Можно подумать также, что судьба намеренно подстерегает порою последний день нашей жизни, чтобы явить пред нами всю свою мощь и в мгновение ока извергнуть все то, что воздвигалось ею самою годами; и это заставляет нас воскликнуть, подобно Лаберию: Nimirum hac die una plus vixi, mihi quam vivendum fuit[37].

Таким образом, у нас есть все основания прислушиваться к благому совету Солона. Но, поскольку этот философ полагал, что милости или удары судьбы еще не составляют счастья или несчастья, а высокое положение или могущество

---

[36] Примечания: 36

Некая скрытая сила рушит дела людские и забавляется, попирая великолепные фасции и грозные секиры (*лат.*). Лукреций, V, 1233 сл.

[37] Примечания: 37

Ясно, что я прожил на один день дольше, чем следовало (*лат.*). Макробий. *Сатурналии,* II, 7, 3, 14–15.

считал маловажными случайностями, я нахожу, что он смотрел глубже и хотел своими словами сказать, что не следует считать человека счастливым, — разумея под счастьем спокойствие и удовлетворенность благородного духа, а также твердость и уверенность умеющей управлять собою души, — пока нам не доведется увидеть, как он разыграл последний и, несомненно, наиболее трудный акт той пьесы, которая выпала на его долю. Во всем прочем возможна личина. Наши превосходные философские рассуждения сплошь и рядом не более, как заученный урок, и всякие житейские неприятности очень часто, не задевая нас за живое, оставляют нам возможность сохранять на лице полнейшее спокойствие. Но в этой последней схватке между смертью и нами нет больше места притворству; приходится говорить начистоту и показать наконец без утайки, что за яства в твоем горшке:

> *Nam verae voces tum demum pectore ab imo*
>
> *Eliciuntur, et eripitur persona, manet res*[38].

[38] Примечания: 38

Только тогда наконец из глубины сердца вырываются истинные слова, срывается личина и остается сущность (*лат.*). Лукреций, III, 57–58.

Вот почему это последнее испытание — окончательная проверка и пробный камень всего того, что совершено нами в жизни. Этот день — верховный день, судья всех остальных наших дней. Этот день, говорит один древний автор, судит все мои прошлые годы. Смерти предоставляю я оценить плоды моей деятельности, и тогда станет ясно, исходили ли мои речи только из уст или также из сердца.

Я знаю иных, которые своей смертью обеспечили добрую или, напротив, дурную славу всей своей прожитой жизни. Сципион, тесть Помпея, заставил своей смертью замолкнуть дурное мнение, существовавшее о нем прежде. Эпаминонд, когда кто-то спросил его, кого же он ставит выше — Хабрия, Ификрата или себя, ответил: «Чтобы решить этот вопрос, надлежало бы посмотреть, как будет умирать каждый из нас». И действительно, очень многое отнял бы у него тот, кто стал бы судить о нем, не приняв в расчет величия и благородства его кончины. Неисповедима воля Господня! В мои времена три самых отвратительных человека, каких я когда-либо знал, ведших самый мерзкий образ жизни, три законченных негодяя умерли как подобает порядочным людям и во всех отношениях, можно

сказать, безупречно.

Бывают смерти доблестные и удачные. Так, например, я знавал одного человека, нить поразительных успехов которого была оборвана смертью в момент, когда он достиг наивысшей точки своего жизненного пути; конец его был столь величав, что, на мой взгляд, его честолюбивые и смелые замыслы не заключали в себе столько возвышенного, сколько это крушение их. Он пришел, не сделав ни шагу, к тому, чего добивался, и притом это свершилось более величественно и с большей славой, чем на это могли бы притязать его желания и надежды. Своей гибелью он приобрел больше могущества и более громкое имя, чем мечтал об этом при жизни.

Оценивая жизнь других, я неизменно учитываю, каков был конец ее, и на этот счет главнейшее из моих упований состоит в том, чтобы моя собственная жизнь закончилась достаточно хорошо, то есть спокойно и неприметно.

Глава XXI
О силе нашего воображения

Fortis imaginatio generat casum[39], — говорят ученые.

Я один из тех, на кого воображение действует с исключительной силой. Всякий более или менее поддается ему, но некоторых оно совершенно одолевает. Его натиск подавляет меня. Вот почему я норовлю ускользнуть от него, но не сопротивляюсь ему. Я хотел бы видеть вокруг себя лишь здоровые и веселые лица. Если кто-нибудь страдает в моем присутствии, я сам начинаю испытывать физические страдания, и мои ощущения часто вытесняются ощущениями других. Если кто-нибудь поблизости закашляется, у меня стесняется грудь и першит в горле. Я менее охотно навещаю больных, в которых принимаю участие, чем тех, к кому меньше привязан и к кому испытываю меньшее уважение. Я перенимаю наблюдаемую болезнь и испытываю ее на себе. И я не нахожу удивительным, что воображение причиняет горячку и даже смерть тем, кто

---

[39] Примечания: 39
Сильное воображение порождает события (*лат.*).

дает ему волю и поощряет его. Симон Тома был великим врачом своего времени. Помню, как однажды, встретив меня у одного из своих больных, богатого старика, больного чахоткой, он, толкуя о способах вернуть ему здоровье, сказал, между прочим, что один из них — это сделать для меня привлекательным пребывание в его обществе, ибо, направляя свой взор на мое свежее молодое лицо, а мысли на жизнерадостность и здоровье, источаемые моей юностью в таком изобилии, а также заполняя свои чувства цветением моей жизни, он сможет улучшить свое состояние. Он забыл только прибавить, что из-за этого может ухудшиться мое собственное здоровье. Вибий Галл настолько хорошо научился проникаться сущностью и проявлениями безумия, что, можно сказать, вывихнул свой ум и никогда уже не мог вправить его; он мог бы с достаточным основанием похваляться, что стал безумным от мудрости. Встречаются и такие, которые, трепеща перед рукой палача, как бы упреждают ее, — и вот тот, кого развязывают на эшафоте, чтобы прочитать ему указ о помиловании, — покойник, сраженный своим собственным воображением. Мы покрываемся потом, дрожим, краснеем, бледнеем, потрясаемые своими фантазиями, и,

зарывшись в перину, изнемогаем от их натиска; случается, что иные даже умирают от этого. И пылкая молодежь иной раз так разгорячится, уснув в полном одеянии, что во сне получает удовлетворение своих любовных желаний:

> *Ut, quasi transactis saepe omnibus rebus, profundant*
>
> *Fluminis ingentes fluctus vestemque cruentent*[40].

И хотя никому не внове, что в течение ночи могут вырасти рога у того, кто, ложась, не имел их в помине, все же происшедшее с Циппом, царем италийским, особенно примечательно; последний, следя весь день с неослабным вниманием за боем быков и видя ночь напролет в своих сновидениях бычью голову с большими рогами, кончил тем, что вырастил их на своем лбу одной силою воображения. Страсть одарила одного из сыновей Креза голосом, в котором ему отказала природа; а Антиох схватил горячку, потрясенный красотой Стратоники, слишком сильно подействовавшей на его душу. Плиний рассказывает, что ему довелось видеть некоего

---

[40] Примечания: 40

Как будто все уже совершив, извергают обильные потоки и марают свою одежду (*лат.*). Лукреций, IV, 1035 сл.

Люция Коссиция — женщину, превратившуюся в день своей свадьбы в мужчину. Понтано и другие сообщают о превращениях такого же рода, имевших место в Италии и в последующие века. И благодаря не знающему преград желанию, а также желанию матери,

> *Vota puer solvit, quae femina voverat Iphis*[41].

Проезжая через Витри Ле-Франсе, я имел возможность увидеть там человека, которому епископ Суассонский дал на конфирмации имя Жермен; этого молодого человека все местные жители знали и видели девушкой, носившей до двадцатидвухлетнего возраста имя Мария. В то время, о котором я вспоминаю, этот Жермен был с большой бородой, стар и не был женат. Мужские органы, согласно его рассказу, возникли у него в тот момент, когда он сделал усилие, чтобы прыгнуть дальше. И теперь еще между местными девушками распространена песня, в которой они предостерегают друг дружку от непомерных прыжков, дабы не сделаться юношами, как это случилось с Марией-Жерменом. Нет никакого

---

[41] Примечания: 41

Юноша исполнил обеты, которые дала девушка Ифис (*лат.*) Овидий. *Метаморфозы*, IX, 794.

чуда в том, что такие случаи происходят довольно часто. Если воображение в силах творить подобные вещи, то, постоянно прикованное к одному и тому же предмету, оно предпочитает порою, вместо того чтобы возвращаться все снова и снова к тем же мыслям и тем же жгучим желаниям, одарять девиц навсегда этой мужской принадлежностью.

Некоторые приписывают рубцы короля Дагобера и святого Франциска также силе их воображения. Говорят, что иной раз оно бывает способно поднимать тела и переносить их с места на место. А Цельс — тот рассказывает о жреце, доводившем свою душу до такого экстаза, что тело его на долгое время делалось бездыханным и теряло чувствительность. Святой Августин называет другого, которому достаточно было услышать чей-нибудь плач или стон, как он сейчас же впадал в обморок, и настолько глубокий, что, сколько бы ни кричали ему в самое ухо, и вопили, и щипали его, и даже подпаливали, ничто не помогало, пока он не приходил наконец в сознание; он говорил, что в таких случаях ему слышатся какие-то голоса, но как бы откуда-то издалека, и только теперь, опомнившись, он замечал свои синяки и ожоги. А что это не было

упорным притворством и что он не скрывал просто-напросто свои ощущения, доказывается тем, что, пока длился обморок, он не дышал и у него не было пульса.

Вполне вероятно, что вера в чудеса, видения, колдовство и иные необыкновенные вещи имеют своим источником главным образом воображение, воздействующее с особой силой на души людей простых и невежественных, поскольку они податливее других. Из них настолько вышибли способность здраво судить, воспользовавшись их легковерием, что им кажется, будто они видят то, чего на деле вовсе не видят.

Я держусь того мнения, что так называемое наведение порчи на новобрачных, которое столь многим людям причиняет большие неприятности и о котором в наше время столько толкуют, объясняется, в сущности, лишь действием тревоги и страха. Мне доподлинно известно, что некто, за кого я готов поручиться, как за себя самого, в том, что его-то уж никак нельзя заподозрить в недостаточности подобного рода, равно как и в том, что он был во власти чар, услышав как-то от одного из своих приятелей о внезапно постигшем того, и притом в самый неподходящий момент, полном бессилии, испытал, оказавшись в сход-

ном положении, то же самое вследствие страха, вызванного в нем этим рассказом, поразившим его воображение. С тех пор с ним не раз случалась подобная вещь, ибо тягостное воспоминание о первой неудаче связывало и угнетало его. В конце концов он избавился от этого надуманного недуга при помощи другой выдумки. А именно, признаваясь в своем недостатке и предупреждая о нем, он облегчал свою душу, ибо сообщением о возможности неудачи он как бы уменьшал степень своей ответственности, и она меньше тяготила его. После того как он избавился от угнетавшей его сознание вины и почувствовал себя свободным вести себя так или иначе, его телесные способности перешли в свое натуральное состояние; первая же попытка его оказалась удачной, и он добился полного исцеления.

Ведь кто оказался способным к этому хоть один раз, тот и в дальнейшем сохранит эту способность, если только он и в самом деле не страдает бессилием. Этой невзгоды следует опасаться лишь на первых порах, когда наша душа сверх меры охвачена, с одной стороны, пылким желанием, с другой — робостью, и особенно если благоприятные обстоятельства застают нас врасплох и требуют решительности и быстро-

ты действий; тут уж действительно ничем не поможешь. Я знаю одного человека, которому помогло от этой беды его собственное тело, когда в последнем началось пресыщение и вследствие этого ослабление плотского желания; с годами он стал ощущать в себе меньше бессилия именно потому, что сделался менее сильным. Знаю я и другого, которому от того же помог один из друзей, убедивший его, будто он обладает целой батареей амулетов разного рода, способных противостоять всяким чарам. Но лучше я расскажу все по порядку. Некий граф из очень хорошего рода, с которым я был в приятельских отношениях, женился на прелестной молодой женщине; поскольку за нею прежде упорно ухаживал некто, присутствовавший на торжестве, молодой супруг переполошил своими страхами и опасениями друзей и в особенности одну старую даму, свою родственницу, распоряжавшуюся на свадьбе и устроившую ее у себя в доме; эта дама, боявшаяся наваждений и сглаза, поделилась своею тревогой со мной. Я попросил ее положиться во всем на меня. К счастью, в моей шкатулке оказалась золотая вещица с изображенными на ней знаками зодиака. Считалось, что, если ее приложить к черепному шву, она помогает от солнечного удара

и головной боли, а дабы она могла там держаться, к ней была прикреплена лента, достаточно длинная, чтобы концы ее можно было завязывать под подбородком. Короче говоря, это такой же вздор, как и тот, о котором мы ведем речь. Этот необыкновенный подарок сделал мне Жак Пеллетье. Я вознамерился употребить его в дело и сказал графу, что его может постигнуть такая же неудача, как и многих других, ибо тут находятся личности, готовые подстроить ему подобную неприятность. Но пусть он смело ложится в постель, так как я намерен оказать ему дружескую услугу и не пожалею для него чудесного средства, которым располагаю, при условии, что он даст мне слово сохранять относительно этого строжайшую тайну. Единственное, что потребуется от него, это чтобы ночью, когда мы понесем к нему в спальню свадебный ужин, он, буде дела его пойдут плохо, подал мне соответствующий знак. Его настолько взволновали мои слова и он настолько пал духом, что не мог совладать с разыгравшимся воображением и подал условленный между нами знак. Тогда я сказал ему, чтобы он поднялся со своего ложа, как бы за тем, чтобы прогнать нас подальше, и, стащив с меня якобы в шутку шлафрок (мы были почти одного

роста), надел его на себя, но только после того, как выполнит мои предписания, а именно: когда мы выйдем из спальни, ему следует удалиться будто бы за малой нуждою и трижды прочитать там такие-то молитвы и трижды же проделать такие-то телодвижения; и чтобы он всякий раз опоясывал себя при этом той лентою, которую я ему сунул в руку, прикладывая прикрепленную к ней медаль к определенному месту на пояснице, так чтобы лицевая ее сторона находилась в таком-то и таком-то положении. Проделав это, он должен хорошенько закрепить ленту, чтобы она не развязалась и не сдвинулась с места, и лишь после всего этого он может наконец с полной уверенностью в себе возвратиться к своим трудам. Но пусть он не забудет при этом, сбросив с себя мой шлафрок, швырнуть его к себе на постель, так чтобы он накрыл их обоих. Эти церемонии и есть самое главное; они-то больше всего и действуют: наш ум не может представить себе, чтобы столь необыкновенные действия не опирались на какие-нибудь тайные знания. Как раз их нелепость и придает им такой вес и значение. Короче говоря, обнаружилось с очевидностью, что знаки на моем талисмане связаны больше с Венерой, чем с Солнцем, а также, что они ско-

рей поощряют, чем ограждают. На эту проделку толкнула меня внезапная и показавшаяся мне забавною прихоть моего воображения, в общем чуждая складу моего характера. Я враг всяческих ухищрений и выдумок. Я ненавижу хитрость, и не только потехи ради, но и тогда, когда она могла бы доставить выгоду. Если в самом проступке моем и не было ничего плохого, путь, мною избранный, все же плох.

Амасис, царь египетский, женился на Лаодике, очень красивой греческой девушке; и вдруг оказалось, что он, который неизменно бывал славным сотоварищем в любовных утехах, не в состоянии вкусить от нее наслаждений; он грозил, что убьет ее, считая, что тут не без колдовства. И как бывает обычно во всем, что является плодом воображения, оно увлекло его к благочестию; обратившись к Венере с обетами и мольбами, он ощутил уже в первую ночь после заклания жертвы и возлияний, что силы его чудесным образом восстановились.

И зря иные женщины встречают нас с таким видом, будто к ним опасно притронуться, будто они злятся на нас и мы внушаем им неприязнь; они гасят в нас пыл, стараясь разжечь его. Сноха Пифагора говаривала, что женщина, которая

спит с мужчиною, должна вместе с платьем сбрасывать с себя и стыдливость, а затем вместе с платьем вновь обретать ее. Душа осаждающего, скованная множеством тревог и сомнений, легко утрачивает власть над собою, — и кого воображение заставило хоть раз вытерпеть этот позор (а он возможен лишь на первых порах, поскольку первые приступы всегда ожесточеннее и неистовее, а также и потому, что вначале особенно сильны опасения в благополучном исходе), тот, плохо начав, испытывает волнение и досаду, вспоминая об этой беде, и то же самое, вследствие этого, происходит с ним и в дальнейшем.

Новобрачные, у которых времени сколько угодно, не должны торопиться и подвергать себя испытанию, пока они не готовы к нему; и лучше нарушить обычай и не спешить с воздаянием должного брачному ложу, где все исполнено волнения и лихорадки, а дожидаться, сколько бы ни пришлось, подходящего случая, уединения и спокойствия, чем сделаться на всю жизнь несчастным, пережив потрясение и впав в отчаянье от первой неудачной попытки.

Не без основания отмечают своенравие этого органа, так некстати оповещающего нас порой о своей готовности, когда нам нечего с нею делать,

и столь же некстати утрачивающего ее, когда мы больше всего нуждаемся в ней; так своенравно сопротивляющегося владычеству нашей воли и с такою надменностью и упорством отвергающего те увещания, с которыми к нему обращается наша мысль. И все же, предложи он мне соответствующее вознаграждение, дабы я защищал его от упреков, служащих основанием, чтобы вынести ему обвинительный приговор, я постарался бы, в свою очередь, возбудить подозрение в отношении остальных наших органов, его сотоварищей, в том, что они, из зависти к важности и приятности принадлежащих ему обязанностей, выдвинули это ложное обвинение и составили заговор, дабы восстановить против него целый мир, злостно приписывая ему одному прегрешения, в которых повинны все они вместе.

Предоставляю вам поразмыслить, существует ли такая часть нашего тела, которая безотказно выполняла бы свою работу в согласии с нашей волей и никогда бы не действовала наперекор ей. Каждой из них свойственны свои особые страсти, которые пробуждают ее от спячки или погружают, напротив, в сон, не спрашиваясь у нас. Как часто непроизвольные движения на нашем лице уличают нас в таких мыслях, которые мы хотели

бы утаить про себя, и тем самым выдают окружающим! Та же причина, что возбуждает наши сокровенные органы, возбуждает без нашего ведома также сердце, легкие, пульс: вид приятного нам предмета мгновенно воспламеняет нас лихорадочным возбуждением. Разве мышцы и жилы не напрягаются, а также не расслабляются сами собой, не только помимо участия нашей воли, но и тогда, когда мы даже не помышляем об этом? Не по нашему приказанию волосы становятся у нас дыбом, а кожа покрывается потом от желания или страха. Бывает и так, что язык цепенеет и голос застревает в гортани. Когда нам нечего есть, мы охотно запретили бы голоду беспокоить нас своими напоминаниями, и, однако, желание есть и есть не перестает терзать наши органы, подчиненные ему, совершенно так же, как то, другое желание; и оно же, когда ему вздумается, внезапно бежит от нас, и часто весьма некстати. Органы, предназначенные разгружать наш желудок, также сжимаются и расширяются по своему произволу, помимо нашего намерения, и порой вопреки ему, равно как и те, которым надлежит разгружать наши почки. Правда, св. Августин, чтобы доказать всемогущество вашей воли, в ряду других доказательств ссылается также на

одного человека, которого он сам видел и который приказывал своему заду производить то или иное количество выстрелов, а комментатор св. Августина Вивес добавляет пример, относящийся уже к его времени, сообщая, что некто умел издавать подобные звуки соответственно размеру стихов, которые при этом читали ему; отсюда, однако, вовсе не вытекает, что данная часть нашего тела всегда повинуется нам, ибо чаще всего она ведет себя весьма и весьма нескромно, доставляя нам немало хлопот. Добавлю, что мне ведома одна такая же часть нашего тела, настолько шумливая и своенравная, что вот уже сорок лет, как она не дает своему хозяину ни отдыха, ни срока, действуя постоянно и непрерывно и ведя его, подобным образом, к преждевременной смерти.

Но и наша воля, защищая права которой, мы выдвинули эти упреки, — как же дело обстоит с нею? Не можем ли мы по причине свойственных ей строптивости и необузданности с еще большим основанием заклеймить ее обвинением в возмущениях и мятежах? Всегда ли она желает того, чего мы хотим, чтобы желала она? Не желает ли она часто того — и притом к явному ущербу для нас, — что мы ей запрещаем желать? Не отказывается ли она повиноваться реше-

ниям нашего разума? Наконец, в пользу моего подзащитного я мог бы добавить и следующее: да соблаговолят принять во внимание то, что обвинение, выдвинутое против него, неразрывно связано с пособничеством его сотоварищей, хотя и обращено только к нему одному, ибо улики и доказательства здесь таковы, что, учитывая обстоятельства тяжущихся сторон, они не могут быть предъявлены его сотоварищам. Уже из этого легко усмотреть недобросовестность и явную пристрастность истцов. Как бы то ни было, сколько бы ни препирались и какие бы решения ни выносили адвокаты и судьи, природа всегда будет действовать согласно своим законам; и она поступила, вне всякого сомнения, вполне правильно, даровав этому органу кое-какие особые права и привилегии. Он — вершитель и исполнитель единственного бессмертного деяния смертных. Зачатие, согласно Сократу, есть божественное деяние; любовь — жажда бессмертия и она же — бессмертный дух.

Иной благодаря силе воображения оставляет свою золотуху у нас, тогда как товарищ его уносит ее обратно в Испанию. Вот почему в подобных вещах требуется, как правило, известная подготовка души. Ради чего врачи с таким рвением

добиваются доверия своего пациента, не скупясь на лживые посулы поправить его здоровье, если не для того, чтобы его воображение пришло на помощь их надувательским предписаниям? Они знают из сочинения, написанного одним из светил их ремесла, что бывают люди, которые поправляются от одного вида лекарства.

Обо всех этих причудливых и странных вещах я вспомнил совсем недавно в связи с тем, о чем мне рассказывал наш домашний аптекарь, — его услугами пользовался мой покойный отец, — человек простой, из швейцарцев, а это, как известно, народ ни в какой мере не суетный и не склонный прилгнуть. В течение долгого времени, проживая в Тулузе, он посещал одного больного купца, страдавшего от камней и нуждавшегося по этой причине в частых клистирах, так что врачи, в зависимости от его состояния, прописывали ему по его требованию клистиры разного рода. Их приносили к нему, и он никогда не забывал проверить, все ли в надлежащем порядке; нередко он пробовал также, не слишком ли они горячи. Но вот он улегся в постель, повернулся спиною; все сделано как полагается, кроме того что содержимое клистира так и не введено ему внутрь. После этого аптекарь уходит, а па-

циент устраивается таким образом, словно ему и впрямь был поставлен клистир, ибо все проделанное над ним действовало на него не иначе как действует это средство на тех, кто по-настоящему применяет его. Если врач находил, что клистир подействовал недостаточно, аптекарь давал ему еще два или три совершенно таких же. Мой рассказчик клянется, что супруга больного, дабы избежать лишних расходов (ибо он оплачивал эти клистиры, как если бы они и в самом деле были ему поставлены), делала неоднократные попытки ограничиться тепловатой водой, но так как это не действовало, проделка ее вскоре открылась, и, поскольку ее клистиры не приносили никакой пользы, пришлось возвратиться к старому способу.

Одна женщина, вообразив, что проглотила вместе с хлебом булавку, кричала и мучилась, испытывая, по ее словам, нестерпимую боль в области горла, где якобы и застряла булавка. Но так как не наблюдалось ни опухоли, ни каких-либо изменений снаружи, некий смышленый малый, рассудив, что тут всего-навсего мнительность и фантазия, порожденные тем, что кусочек хлеба оцарапал ей мимоходом горло, вызвал у нее рвоту и подбросил в то, чем ее вытошнило, изогнутую

булавку. Женщина, поверив, что она и взаправду извергла булавку, внезапно почувствовала, что боли утихли. Мне известен также и такой случай: один дворянин, попотчевав на славу гостей, через три или четыре дня после этого стал рассказывать в шутку (ибо в действительности ничего подобного не было), будто он накормил их паштетом из кошачьего мяса. Это ввергло одну девицу из числа тех, кого он принимал у себя, в такой ужас, что у нее сделались рези в желудке, а также горячка, и спасти ее так и не удалось. Даже животные и те, совсем как люди, подвержены силе своего воображения; доказательством могут служить собаки, которые околевают с тоски, если потеряют хозяина. Мы наблюдаем также, что они тявкают и вздрагивают во сне; а лошади ржут и лягаются.

Но все вышесказанное может найти объяснение в тесной связи души с телом, сообщающими друг другу свое состояние. Иное дело, если воображение, как это подчас случается, воздействует не только на свое тело, но и на тело другого. И подобно тому как больное тело переносит свои немощи на соседей, что видно хотя бы на примере чумы, сифилиса или главных болезней, переходящих с одного на другого, —

Dum spectant oculi laesos, laeduntur et ipsi:

Multaque corporibus transitione nocent[42],

так равным образом и возбужденное воображение мечет стрелы, способные поражать окружающие предметы. Древние рассказывают о скифских женщинах, которые, распалившись на кого-нибудь гневом, убивали его своим взглядом. Черепахи и страусы высиживают свои яйца исключительно тем, что, не отрываясь, смотрят на них, и это доказывает, что они обладают некоей изливающейся из них силою. Что касается колдунов, то утверждают, будто их взгляды наводят порчу и сглаз:

Nescio qui teneros oculus mihi fascinat agnos[43].

Чародеи, впрочем, по-моему, плохие ответчики. Но вот что мы знаем на основании опыта: женщины сообщают детям, вынашивая их в своем чреве, черты одолевающих их фантазий;

---

[42] Примечания: 42

Глядя на больных, наши глаза и сами заболевают, и многое вредит телу заразой (*лат.*). Овидий. *Лекарство от любви,* 615.

[43] Примечания: 43

Не знаю, чей глаз испортил моих ягняток (*лат.*). Вергилий. *Эклоги,* III, 103.

доказательством может служить та, что родила негра. Карлу, королю богемскому и императору, показали как-то одну девицу из Пизы, покрытую густой и длинною шерстью; по словам матери, она ее зачала такою, потому что над ее постелью висел образ Иоанна Крестителя. То же самое и у животных; доказательство — овны Иакова, а также куропатки и зайцы, выбеленные в горах лежащим там снегом. Недавно мне пришлось наблюдать, как кошка подстерегала сидевшую на дереве птичку; обе они некоторое время смотрели, не сводя глаз, друг на друга, и вдруг птичка как мертвая свалилась кошке прямо в лапы, то ли одурманенная своим собственным воображением, то ли привлеченная какой-то притягательной силой, исходившей от кошки. Любители соколиной охоты знают, конечно, рассказ о сокольничем, который побился об заклад, что, пристально смотря на парящего в небе ястреба, он заставит его, единственно лишь силою своего взгляда, спуститься на землю и, как говорят, добился своего. Впрочем, рассказы, заимствованные мной у других, я оставляю на совести тех, от кого я их слышал.

Выводы из всего этого принадлежат мне, и я пришел к ним путем рассуждения, а не опираясь

на мой личный опыт. Каждый может добавить к приведенному мной свои собственные примеры, а у кого их нет, то пусть поверит мне, что они легко найдутся, принимая во внимание большое число и разнообразие засвидетельствованных случаев подобного рода. Если приведенные мною примеры не вполне убедительны, пусть другой подыщет более подходящие.

При изучении наших нравов и побуждений, чем я, собственно, и занимаюсь, вымышленные свидетельства так же пригодны, как подлинные, при условии, что они не противоречат возможному. Произошло ли это в действительности или нет, случилось ли это в Париже иль в Риме, с Жаном иль Пьером, — вполне безразлично, лишь бы дело шло о той или иной способности человека, которую я с пользою для себя подметил в рассказе. Я ее вижу и извлекаю из нее выгоду, независимо от того, принадлежит ли она теням или живым людям. И из различных уроков, заключенных нередко в подобных историях, я использую для своих целей лишь наиболее необычные и поучительные. Есть писатели, ставящие себе задачей изображать действительные события. Моя же задача — лишь бы я был в состоянии справиться с нею — в том, чтобы изображать вещи, которые

могли бы произойти. Школьной премудрости разрешается — да иначе и быть не могло бы — усматривать сходство между вещами даже тогда, когда на деле его нет и в помине. Я же ничего такого не делаю и в этом отношении превосхожу своею дотошностью самого строгого историка. В примерах, мною здесь приводимых и почерпнутых из всего того, что мне довелось слышать, самому совершить или сказать, я не позволил себе изменить ни малейшей подробности, как бы малозначительна она ни была. В том, что я знаю, — скажу по совести, — я не отступаю от действительности ни на йоту; ну а если чего не знаю, прошу за это меня не винить.

Кстати, по этому поводу: порой я задумываюсь над тем, как это может теолог, философ или вообще человек с чуткой совестью и тонким умом браться за составление хроник? Как могут они согласовать свое мерило правдоподобия с мерилом толпы? Как могут они отвечать за мысли неизвестных им лиц и выдавать за достоверные факты свои домыслы и предположения? Ведь они, пожалуй, отказались бы дать под присягою показания относительно сколько-нибудь сложных происшествий, случившихся у них на глазах; у них нет, пожалуй, ни одного знакомого им че-

ловека, за намерения которого они согласились бы полностью отвечать. Я считаю, что описывать прошлое — меньший риск, чем описывать настоящее, ибо в этом случае писатель отвечает только за точную передачу заимствованного им у других. Некоторые уговаривают меня описать события моего времени; они основываются на том, что мой взор менее затуманен страстями, чем чей бы то ни было, а также, что я ближе к этим событиям, чем кто-либо другой, ибо судьба доставила мне возможность общаться с вождями различных партий. Но они упускают из виду, что я не взял бы на себя этой задачи за всю славу Саллюстия, что я заклятый враг всяческих обязательств, усидчивости, настойчивости; что нет ничего столь противоречащего моему стилю, как распространенное повествование; что я постоянно сам себя прерываю, потому что у меня не хватает дыхания; что я не обладаю способностью стройно и ясно что-либо излагать; что я превосхожу, наконец, даже малых детей своим невежеством по части самых обыкновенных, употребляемых в повседневном быту фраз и оборотов. И все же я решился высказать здесь, приспособляя содержание к своим силам, то, что я умею сказать. Если бы я взял кого-нибудь в поводыри, мои шаги едва ли

совпадали б с его шагами. И если бы я был волен располагать своей волей, я предал бы гласности рассуждения, которые и на мой собственный взгляд, и в соответствии с требованиями разума были бы противозаконными и подлежали бы наказанию. Плутарх мог бы сказать о написанном им, что забота о достоверности, всегда и во всем, тех примеров, к которым он обращается, — не его дело; а вот чтобы они были назидательны для потомства и являлись как бы факелом, озаряющим путь к добродетели, — это действительно было его заботой. Предания древности — не то что какое-нибудь врачебное снадобье; здесь не представляет опасности, составлены ли они так или этак.

Глава XXII
Выгода одного – ущерб для другого

Демад, афинянин, осудил одного из своих сограждан, торговавшего всем необходимым для погребения, основываясь на том, что тот стремился к слишком большой выгоде, достигнуть которой можно было бы не иначе как ценою смерти очень многих людей. Этот приговор кажется мне необоснованным, ибо, вообще говоря, нет такой выгоды, которая не была бы связана с ущербом для других; и потому, если рассуждать как Демад, следовало бы осудить любой заработок.

Купец наживается на мотовстве молодежи; земледелец — благодаря высокой цене на хлеб; строитель — вследствие того, что здания приходят в упадок и разрушаются; судейские — на ссорах и тяжбах между людьми; священники (даже они!) обязаны как почетом, которым их окружают, так и самой своей деятельностью нашей смерти и нашим порокам. Ни один врач, говорится в одной греческой комедии, не радуется здоровью даже самых близких своих друзей, ни один солдат — тому, что его родной город в

мире со своими соседями, и так далее. Да что там! Покопайся каждый из нас хорошенько в себе, и он обнаружит, что самые сокровенные его желания и надежды возникают и питаются по большей части за счет кого-нибудь другого.

Когда я размышлял об этом, мне пришло в голову, что природа и здесь верна установленному ею порядку, ибо, как полагают естествоиспытатели, зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой.

> *Nam quodcunque suis mutatum finibus exit,*
>
> *Continuo hoc mors est illius, quod fuit ante*[44].

[44] Примечания: 44

Если что-то, изменившись, выходит за свои границы, оно тут же становится смертью того, что было прежде (*лат.*). Лукреций, II, 753 сл.

Глава XXIII
О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы

Прекрасно, как кажется, постиг силу привычки тот, кто первый придумал сказку о той деревенской женщине, которая, научившись ласкать теленка и носить его на руках с часа его рождения и продолжая делать то же и дальше, таскала его на руках и тогда, когда он вырос и стал нарядным бычком. И действительно, нет наставницы более немилосердной и коварной, чем наша привычка. Мало-помалу украдкой забирает она власть над нами, но, начиная скромно и добродушно, она с течением времени укореняется и укрепляется в нас, пока наконец не сбрасывает покрова со своего властного и деспотического лица, и тогда мы не смеем уже поднять на нее взгляда. Мы видим, что она постоянно нарушает установленные самой природой правила: Usus efficacissimus rerum omnium magister[45].

В связи с этим я вспоминаю пещеру Платона

---

[45] Примечания: 45

Привычка — лучший наставник (*лат.*). Плиний Старший, XXVI, 6.

в его «Государстве», а также врачей, которые в угоду привычке столь часто пренебрегают предписаниями своего искусства, и того царя, который приучил свой желудок питаться ядом, и девушку, о которой рассказывает Альберт, что она привыкла употреблять в пищу исключительно пауков.

И в Новой Индии, которая есть целый мир, были обнаружены весьма многолюдные народы, обитающие в различных климатах, которые также употребляют в пищу главным образом пауков; они заготовляют их впрок и откармливают, как, впрочем, и саранчу, муравьев, ящериц и летучих мышей, и однажды во время недостатка в съестных припасах там продали жабу за шесть экю; они жарят их и приготовляют с приправами разного рода. Были обнаружены и такие народы, для которых наша мясная пища оказалась ядовитою и смертельною. Consuetudinis magna vis est. Pernoctant venatores in nive: in montibus uri se patiuntur. Pugiles caestibus contusi ne ingemiscunt quidem[46].

Эти позаимствованные в чужих странах приме-

[46] Примечания: 46

Велика сила привычки. Охотники проводят ночь на снегу, страдают от мороза в горах. Борцы, избитые цестами, не издают стона (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* II, 17.

ры не покажутся странными, если мы обратимся к личному опыту и припомним, насколько привычка способствует притуплению наших чувств. Для этого вовсе не требуется прибегать к рассказам о людях, живущих близ порогов Нила, или о том, что философы считают музыкою небес, а именно, будто бы небесные сферы, твердые и гладкие, вращаясь, трутся одна о другую, что неизбежно порождает чудные, исполненные дивной гармонии звуки, следуя ритму и движениям которых перемещаются и изменяют свое положение на небосводе хороводы светил, хотя уши земных существ — так же, как, например, уши египтян, обитающих по соседству с порогами Нила, — по причине непрерывного этого звучания не в состоянии уловить его, сколько бы мощным оно ни было. Кузнецы, мельники и оружейники не могли бы выносить того шума, в котором работают, если бы он поражал их слух так же, как наш. Мой колет из продушенной кожи вначале приятно щекочет мой нос, но если я проношу его, не снимая, три дня подряд, он будет приятен лишь обонянию окружающих. Еще поразительнее, что в нас может образоваться и закрепиться привычка, подчиняющая себе наши органы чувств даже тогда, когда то, что породило ее, воз-

действует на них не непрерывно, но с большими промежутками; это хорошо знают те, кто живет поблизости от колокольни. У себя дома я живу в башне, на которой находится большой колокол, вызванивающий на утренней и вечерней заре Ave Maria. Сама башня и та бывает испугана этим трезвоном; в первые дни он и мне казался совершенно невыносимым, но спустя короткое время я настолько привык к нему, что теперь он вовсе не раздражает, а часто даже и не будит меня.

Платон разбранил одного мальчугана за то, что тот увлекался игрою в бабки. Тот ответил ему: «Ты бранишь меня за безделицу». «Привычка, — сказал на это Платон, — совсем не безделица».

Я нахожу, что все наихудшие наши пороки зарождаются с самого нежного возраста и что наше воспитание зависит главным образом от наших кормилиц и нянюшек. Для матерей нередко бывает забавою смотреть, как их сыночек сворачивает шею цыпленку и потешается, мучая кошку или собаку. А иной отец бывает до такой степени безрассуден, что, видя как его сын ни за что ни про что колотит беззащитного крестьянина или слугу, усматривает в этом добрый признак воинственности его характера, или, наблюдая, как тот же сынок одурачивает, прибегая к обману

и вероломству, своего приятеля, видит в этом проявление присущей его отпрыску бойкости ума. В действительности, однако, это не что иное, как семена и корни жестокости, необузданности, предательства; именно тут они пускают свой первый росток, который впоследствии дает столь буйную поросль и закрепляется в силу привычки. И обыкновение извинять эти отвратительные наклонности легкомыслием, свойственным юности, и незначительностью проступков весьма и весьма опасно. Во-первых, тут слышится голос самой природы, который более звонок и чист, пока не успел огрубеть; во-вторых, разве мошенничество становится менее гадким от того, что речь идет о нескольких су, а не о нескольких экю? Оно гадко само по себе. Я нахожу гораздо более правильным сделать следующий вывод: «Почему такому-то не обмануть на целый экю, коль скоро он обманывает на одно су?» — вместо обычных рассуждений на этот счет: «Ведь он обманул только на одно су; ему и в голову не пришло бы обмануть на целый экю». Нужно настойчиво учить детей ненавидеть пороки как таковые; нужно, чтобы они воочию видели, насколько эти пороки уродливы, и избегали их не только в делах своих, но и в сердце своем; нужно, чтобы

самая мысль о пороках, какую бы личину они ни носили, была им ненавистна. Я убежден, что если и посейчас еще, даже в самой пустячной забаве, я испытываю крайнее отвращение к обманам всякого рода, что является внутренней моей потребностью и следствием естественных моих склонностей, а не чем-то требующим усилий, то причина этого в том, что меня приучили с самого детства ходить только прямой и открытой дорогой, гнушаясь в играх со сверстниками (здесь кстати отметить, что игры детей — вовсе не игры и что правильнее смотреть на них как на самое значительное и глубокомысленное занятие этого возраста) каких бы то ни было плутней и хитростей. Играя в карты на дубли, я рассчитываюсь с такою же щепетильностью, как если бы играл на двойные дублоны, и тогда, когда проигрыш и выигрыш, в сущности, для меня безразличны, поскольку я играю с женою и дочерью, и тогда, когда я смотрю на дело иначе. Во всем и везде мне достаточно своих собственных глаз, дабы исполнить как подобает мой долг, и нет на свете другой пары глаз, которая следила бы за мной так же пристально и к которой я питал бы большее уважение.

Недавно я видел у себя дома одного карлика

родом из Нанта, безрукого от рождения; он настолько хорошо приучил свои ноги служить ему вместо рук, что они, можно сказать, наполовину забыли возложенные на них природой обязанности. Впрочем, он их и не называет иначе, как своими руками; ими он режет, заряжает пистолет и спускает курок, вдевает нитку в иглу, шьет, пишет, снимает шляпу, причесывается, играет в карты и в кости, бросая их не менее ловко, чем всякий другой; деньги, которые я ему дал (ибо он зарабатывает на жизнь, показывая себя), он принял ногой, как мы бы сделали это рукой. Знал я и другого калеку, еще совсем мальчика, который, будучи также безруким, удерживал подбородком, прижимая его к груди, алебарду и двуручный меч, подбрасывал и снова ловил их, метал кинжал и щелкал бичом с таким же искусством, как заправский возница-француз.

Но еще легче обнаружить тиранию привычки в тех причудливых представлениях, которые она создает в наших душах, поскольку они меньше сопротивляются ей. Чего только не в силах сделать она с нашими суждениями и верованиями! Существует ли такое мнение, каким бы нелепым оно нам ни казалось (я не говорю уже о грубом обмане, лежащем в основе многих религий и

одурачившем столько великих народов и умных людей, ибо это за пределами человеческого разумения, и на кого не снизошла благодать Божья, тому недолго и заблудиться), так вот, существуют ли такие, непостижимые для нас, взгляды и мнения, которых она не насадила бы и не закрепила в качестве непреложных законов в избранных ею по своему произволу странах? И до чего справедливо это древнее восклицание: Non pudet physicum, id est speculatorem venatoremque naturae, ab animis consuetudine imbutis quaerere testimonium veritatis![47]

Я полагаю, что нет такой зародившейся в человеческом воображении выдумки, сколь бы сумасбродною она ни была, которая не встретилась бы где-нибудь как общераспространенный обычай и, следовательно, не получила бы одобрения и обоснования со стороны нашего разума. Существуют народы, у которых принято показывать спину тому, с кем здороваешься, и никогда не смотреть на того, кому хочешь засвидетельствовать почтение. Есть и такой народ, у которого, когда царь пожелает плюнуть, одна

[47] Примечания: 47

Не стыдно ли физику, исследователю и испытателю природы, искать свидетельство истины в душах, порабощенных привычкой! (*лат.*). Цицерон. *О природе богов*, I, 30.

из придворных дам, и притом та, что пользуется наибольшим благоволением, подставляет для этого свою руку; в другой же стране наиболее влиятельные из царского окружения склоняются при сходных обстоятельствах до земли и подбирают платком царский плевок.

Уделим здесь место следующей побасенке. Один французский дворянин неизменно сморкался в руку, что является непростительным нарушением наших обычаев. Защищая как-то эту свою привычку (а он был весьма находчивый спорщик), он обратился ко мне с вопросом: какие же преимущества имеет это грязное выделение сравнительно с прочими, что мы собираем его в отличное тонкое полотно, завертываем и, что еще хуже, бережно храним при себе? Ведь это же настолько противно, что не лучше ли оставлять его где попало, как мы и делаем с прочими нашими испражнениями? Я счел его слова не лишенными известного смысла и, привыкнув к тому, что он очищает нос описанным способом, перестал обращать на это внимание, хотя, слушая подобные рассказы о чужестранцах, мы находим их омерзительными.

Если чудеса и существуют, то только потому, что мы недостаточно знаем природу, а вовсе не

потому, что это ей свойственно. Привычка притупляет остроту наших суждений. Дикари для нас нисколько не большее чудо, нежели мы сами для них, да к этому и нет никаких оснований; это признал бы каждый, если б только сумел, познакомившись с чуждыми для нас учреждениями, остановиться затем на привычных и здраво сравнить их между собой. Ведь все наши воззрения и нравы, каков бы ни был их внешний облик, — а он бесконечен в своих проявлениях, бесконечен в разнообразии — примерно в одинаковой мере находят обоснование со стороны нашего разума. Но вернусь к моему рассуждению. Существуют народы, у которых никому, кроме жены и детей, не дозволяется обращаться к царю иначе, как через посредствующих лиц. У одного и того же народа девственницы выставляют напоказ наиболее сокровенные части своего тела, тогда как замужние женщины тщательно прикрывают и прячут их. С этим обычаем связан, до некоторой степени, еще один из числа распространенных у них: так как целомудрие ценится только в замужестве, девушкам разрешается отдаваться, кому они пожелают, и, буде они понесут, делать выкидыши с помощью соответствующих снадобий, ни от кого не таясь. Кроме того, если сочетается

браком купец, все прочие приглашенные на свадьбу купцы ложатся с новобрачною прежде него, и чем больше их будет, тем больше для нее чести и уважения, ибо это считается свидетельством ее здоровья и силы; если женится должностное лицо, то и тут наблюдается то же самое; так же бывает и на свадьбе знатного человека, и у всех прочих, за исключением земледельцев и других простолюдинов, ибо здесь право первенства — за сеньором; но в замужестве полагается соблюдать безупречную верность. Существуют народы, у которых можно увидеть публичные дома, где содержатся мальчики и где даже заключаются браки между мужчинами; существуют также племена, у которых женщины отправляются на войну вместе с мужьями и не только допускаются к участию в битвах, но подчас и начальствуют над войсками. Бывают народы, где кольца носят не только в носу, на губах, на щеках и больших пальцах ноги, но продевают также довольно тяжелые прутья из золота через соски и ягодицы. Где за едой вытирают руки о ляжки, мошонку и ступни ног. Где дети не наследуют своим родителям, но наследниками являются братья и племянники, а бывает и так, что только племянники (впрочем, это не относится к престолонаследию). Где все

находится в общем владении и для руководства всеми делами назначают облеченных верховною властью должностных лиц, которые и несут заботу о возделывании земли и распределении взращенных ею плодов в соответствии с нуждами каждого. Где оплакивают смерть детей и празднуют смерть стариков. Где на общее ложе укладывается десять или двенадцать супружеских пар. Где женщины, чьи мужья погибли насильственной смертью, могут выйти замуж вторично, тогда как всем прочим это запрещено. Где женщины ценятся до того низко, что всех новорожденных девочек безжалостно убивают; женщин же для своих нужд покупают у соседних народов. Где муж может оставить жену без объяснения причин, тогда как жена не может этого сделать, на какие бы причины она ни ссылалась. Где муж вправе продать жену, если она бесплодна. Где вываривают трупы покойников, а затем растирают их, пока не получится нечто вроде кашицы, которую смешивают с вином, и потом пьют этот напиток. Где самый желанный вид погребения — это быть отданным на съедение собакам, а в других местах — птицам. Где верят, что души, вкушающие блаженство, наслаждаются полной свободой, обитая в прелестных полях и

испытывая самые разнообразные удовольствия, и что это они порождают эхо, которое нам доводится иногда слышать. Где сражаются только в воде и, плавая, метко стреляют из лука. Где в знак покорности нужно поднять плечи и опустить голову, а входя в жилище царя, разуться. Где у евнухов, охраняющих женщин, посвятивших себя религии, отрезают вдобавок еще носы и губы, чтобы их нельзя было любить, а священнослужители выкалывают себе глаза, дабы приблизиться к демонам и принимать их прорицания. Где каждый создает себе бога из всего, чего бы ни захотел: охотник — из льва или лисицы; рыбак — из той или иной рыбы, и они творят идолов из любого действия человеческого и из любой страсти; их главные боги: солнце, луна и земля; клянутся же они, прикоснувшись рукой к земле и обратив глаза к солнцу, а мясо и рыбу едят сырыми. Где самая страшная клятва — это поклясться именем какого-нибудь покойника, который пользовался доброю славой в стране, прикоснувшись рукой к его могиле. Где новогодний подарок царя состоит в том, что он посылает князьям, своим вассалам, огонь из своего очага; и когда прибывает царский гонец, доставляющий этот огонь, все огни, до этого горевшие в княжеском дворце,

должны быть погашены; а подданные князей должны, в свою очередь, заимствовать у них этот огонь под страхом кары за оскорбление величества. Где царь, желая отдаться целиком благочестию (а это случается у них достаточно часто), отрекается от престола, и тогда ближайший наследник его обязан поступить так же, а власть переходит к следующему. Где изменяют образ правления в государстве в соответствии с требованиями обстоятельств: царя, когда им кажется это нужным, они смещают, а на его место ставят старейшин, чтобы они управляли страной; иногда же всеми делами вершит община. Где и мужчины и женщины подвергаются обрезанию, а вместе с тем и крещению. Где солдат, которому удалось принести своему государю после одной или нескольких битв семь или больше голов неприятеля, причисляется к знати. Где люди живут в варварском и столь непривычном для нас убеждении, что души — смертны. Где женщины рожают без стонов и страха. Где на обоих коленях они носят медные наколенники: они же, когда их искусает вошь, обязаны, следуя долгу великодушия, в свою очередь, укусить ее; они же не смеют выходить замуж, не предложив прежде царю, если он того пожелает, своей девственно-

сти. Где здороваются, приложив палец к земле, а затем подняв его к небу. Где мужчины носят тяжести на голове, а женщины — на плечах; там же женщины мочатся стоя, тогда как мужчины — присев. Где в знак дружбы посылают немного своей крови и жгут благовония, словно в честь богов, перед людьми, которым желают воздать почет. Где в браках не допускают родства, и не только до четвертой степени, но и до любой, сколь бы далекой она ни была. Где детей кормят грудью целых четыре года, а часто и до двенадцати лет; но там же считают смертельно опасным для любого ребенка дать ему грудь в первый день после рождения. Где отцам надлежит наказывать мальчиков, предоставляя наказание девочек матерям; наказание же у них состоит в том, что провинившегося слегка подкапчивают, подвесив за ноги над очагом. Где женщин подвергают обрезанию. Где едят без разбору все произрастающие у них травы, кроме тех, которые кажутся им дурно пахнущими. Где все постоянно открыто, и дома, какими бы красивыми и богатыми они ни были, не имеют никаких засовов, и в них не найти сундука, который запирался бы на замок; для вора же у них наказания вдвое строже, чем где бы то ни было. Где вшей щелкают зубами,

как это делают обезьяны, и находят отвратительным, если кто-нибудь раздавит их ногтем. Где ни разу в жизни не стригут ни волос, ни ногтей; в других местах стригут ногти только на правой руке, на левой же их отращивают красоты ради. Где отпускают волосы, как бы они ни выросли, с правой стороны и бреют их с левой. А в землях, находящихся по соседству, в одной — отращивают волосы спереди, в другой, наоборот, — сзади, а спереди бреют. Где отцы предоставляют своих детей, а мужья жен на утеху гостям, получая за это плату. Где не считают постыдным иметь детей от собственной матери; у них же в порядке вещей, если отец сожительствует с дочерью или сыном. Где на торжественных праздниках обмениваются на утеху друг другу своими детьми.

Здесь питаются человеческим мясом, там почтительный сын обязан убить отца, достигшего известного возраста; еще где-нибудь отцы решают участь ребенка, пока он еще во чреве матери, — сохранить ли ему жизнь и воспитать его или, напротив, покинуть без присмотра и убить; еще в каком-нибудь месте мужья престарелого возраста предлагают юношам своих жен, чтобы те услужили им; бывает и так, что жены считаются общими, и в этом никто не усматривает греха;

есть даже такая страна, где женщины носят на подоле одежды в качестве почетного знака отличия столько нарядных кисточек с бахромой, скольких мужчин они познали за свою жизнь. Не обычай ли породил особое женское государство? Не он ли вложил в руки женщины оружие? Не он ли образовал из них батальоны и повел их в бой? И чего не в силах втемяшить в мудрейшие головы философия, не внушает ли обычай своей властью самому темному простолюдину? Ведь мы знаем о существовании целых народов, которые не только с презрением относятся к смерти, но встречают ее даже с радостью, народов, у которых семилетние дети дают засечь себя насмерть, не меняясь даже в лице; где богатством гнушаются до того, что самый обездоленный горожанин счел бы ниже своего достоинства протянуть руку, чтобы поднять кошелек, полный золота. Нам известны также чрезвычайно плодородные и обильные всякими съестными припасами области, где тем не менее обычной и самой лакомой пищей считают хлеб, дикий салат и воду.

Не обычай ли сотворил чудо на острове Хиосе, где за целых семьсот лет не запомнили случая нарушения какой-нибудь женщиной или девушкой своей чести?

Короче говоря, насколько я могу представить себе, нет ничего, чего бы он не творил, ничего, чего бы не мог сотворить; и если Пиндар, как мне сообщили, назвал его «царем и повелителем мира», то он имел для этого все основания.

Некто, застигнутый на том, что избивал собственного отца, ответил, что таков обычай, принятый в их роду; что отец его также, бывало, поколачивал деда, а дед, в свою очередь, прадеда; и указывая на своего сына, добавил: «А этот, достигнув возраста, в котором ныне я нахожусь, будет делать то же самое со мною».

И когда сын, схватив отца, тащил его за собой по улице, тот велел ему остановиться у некоей двери, ибо он сам, по его словам, никогда не волочил своего отца дальше; здесь проходила черта, за которую дети, руководствуясь унаследованным семейным обычаем, никогда не тащили своих отцов, подвергая их поношению. По обычаю, не менее часто, чем из-за болезни, говорит Аристотель, женщины вырывают у себя волосы, грызут ногти, поедают уголь и землю; и скорее опять-таки в силу укоренившегося обычая, чем следуя естественной склонности, мужчины сожительствуют с мужчинами.

Нравственные законы, о которых принято

говорить, что они порождены самой природой, порождаются в действительности тем же обычаем; всякий, почитая в душе общераспространенные и всеми одобряемые воззрения и нравы, не может отказаться от них так, чтобы его не корила совесть, или, следуя им, не воздавать себе похвалы.

Жители Крита в прежние времена, желая подвергнуть кого-либо проклятию, молили богов, чтобы те наслали на него какую-нибудь дурную привычку.

Но могущество привычки особенно явственно наблюдается в следующем: она связывает нас в такой мере и настолько подчиняет себе, что лишь с огромным трудом удается нам избавиться от ее власти и вернуть себе независимость, необходимую для того, чтобы рассмотреть и обсудить ее предписания. В самом деле, поскольку мы впитываем их вместе с молоком матери и так как мир предстает перед нами с первого же нашего взгляда таким, каким он ими изображается, нам кажется, будто мы самым своим рождением предназначены идти тем же путем. И поскольку эти общераспространенные представления, которые разделяют все вокруг, усвоены нами вместе с семенем наших отцов, они кажутся нам всеобщими

и естественными.

Отсюда и проистекает, что все отклонения от обычая считаются отклонениями от разума, — и одному Богу известно, насколько по большей части неразумно. Если бы и другие изучали себя, как мы, и делали то же, что мы, всякий, услышав какое-нибудь мудрое изречение, постарался бы немедленно разобраться, в какой мере оно применимо к нему самому, — и тогда он понял бы, что это не только меткое слово, но и меткий удар бича по глупости его обычных суждений. Но эти советы и предписания истины всякий желает воспринимать как обращенные к людям вообще, а не лично к нему; и, вместо того чтобы применить их к собственным нравам, их складывают у себя в памяти, а это — занятие весьма нелепое и бесполезное. Вернемся, однако, к тирании обычая.

Народы, воспитанные в свободе и привыкшие сами править собою, считают всякий иной образ правления чем-то противоестественным и чудовищным. Те, которые привыкли к монархии, поступают ничуть не иначе. И какой бы удобный случай к изменению государственного порядка ни предоставила им судьба, они даже тогда, когда с величайшим трудом отделались от какого-нибудь независимого государя, торопятся посадить

на его место другого, ибо не могут решиться возненавидеть порабощение.

Дарий как-то спросил нескольких греков, за какую награду они согласились бы усвоить обычай индусов поедать своих покойных отцов (ибо это было принято между теми, поскольку они считали, что нет лучшего погребения, как внутри своих близких): греки на это ответили, что ни за какие блага на свете. Но когда Дарий попытался убедить индусов отказаться от их способа погребения и перенять греческий способ, состоявший в сжигании на костре умерших отцов, он привел их в еще больший ужас, чем греков. И всякий из нас делает то же, ибо привычка заслоняет собою подлинный облик вещей;

> *Nil adeo magnum, nec tam mirabile quicquam*
> *Principio, quod non minuant mirarier omnes*
> *Paulatim*[48].

Некогда, желая укрепить одно наше довольно распространенное мнение, считаемое многими

---

[48] Примечания: 48

Все, великое и дивное на первый взгляд, со временем вызывает меньшее изумление (*лат.*). Лукреций, II, 1028 сл.

непререкаемым, и не довольствуясь, как это делается обычно, простой ссылкой на законы и на соответствующие примеры, но стремясь, как всегда, добраться до самого корня, я нашел его основание до такой степени шатким, что едва сам не отрекся от него, — и это я, который ставил своей задачей убедить в его правильности других.

Вот тот способ, который Платон, добиваясь искоренения противоестественных видов любви, пользовавшихся в его время распространением, считает всемогущим и основным: добиться, чтобы общественное мнение решительно осудило их, чтобы поэты клеймили их, чтобы каждый их высмеивал. Именно этому способу мы обязаны тем, что самые красивые дочери не возбуждают больше страсти в отцах, а братья, какой бы они выдающейся красотою ни отличались, — в сестрах; и даже сказания о Фиесте, Эдипе и Макарее наряду с удовольствием, доставляемым декламацией этих прекрасных стихов, закрепляют, по мнению Платона, в податливом детском мозгу это полезное предостережение.

Надо правду сказать, целомудрие — прекрасная добродетель, и как велика его польза известно всякому; однако прививать целомудрие и принуждать блюсти его, опираясь на природу, столь

же трудно, сколь легко добиться его соблюдения, опираясь на обычай, законы и предписания. Обосновать изначальные и всеобщие истины не так-то просто. И наши наставники, скользя по верхам, торопятся поскорее подальше или, даже не осмеливаясь коснуться этих вопросов, сразу же ищут прибежища под сенью обычая, где пыжатся от преисполняющего их чванства и торжествуют. Те же, кто не желает черпать ниоткуда, кроме первоисточника, т. е. природы, впадают в еще большие заблуждения и высказывают дикие взгляды, как, например, Хрисипп, во многих местах своих сочинений показавший, с какой снисходительностью он относился к кровосмесительным связям, какими бы они ни были. Кто пожелает отделаться от всесильных предрассудков обычая, тот обнаружит немало вещей, которые как будто и не вызывают сомнений, но вместе с тем и не имеют иной опоры, как только морщины и седина давно укоренившихся представлений. Сорвав же с подобных вещей эту личину и сопоставив их с истиною и разумом, такой человек почувствует, что, хотя прежние суждения его и полетели кувырком, все же почва под ногами у него стала тверже. И тогда, например, я спрошу у него: возможно ли

что-нибудь удивительнее того, что мы постоянно видим перед собой, а именно, что целый народ должен подчиняться законам, которые были всегда для него загадкою, что во всех своих семейных делах, браках, дарственных, завещаниях, в купле, в продаже он связан правилами, которых не в состоянии знать, поскольку они составлены и опубликованы не на его языке, вследствие чего истолкование и должное применение их он принужден покупать за деньги? Все это ни в малой степени не похоже на остроумное предложение Исократа, советующего своему государю обеспечить возможность подданным свободно, прибыльно и беспрепятственно торговать, но вместе с тем сделать для них разорительными, обложив высокой пошлиной, ссоры и распри, и вполне согласуется с теми чудовищными воззрениями, согласно которым даже человеческий разум и тот является предметом торговли, а законы — рыночным товаром. И я бесконечно благодарен судьбе, что первым, как сообщают наши историки, кто воспротивился намерению Карла Великого ввести у нас римское и имперское право, был некий дворянин из Гаскони, мой земляк. Есть ли что-нибудь более дикое, чем видеть народ, у которого на основании освященного

законом обычая судебные должности продаются, а приговоры оплачиваются звонкой монетой; где опять-таки совершенно законно отказывают в правосудии тем, кому нечем заплатить за него; где эта торговля приобретает такие размеры, что создает в государстве в добавление к трем прежним сословиям — церкви, дворянству и простому народу — еще и четвертое, состоящее из тех, в чьем ведении находится суд; это последнее, имея попечение о законах и самовластно распоряжаясь жизнью и имуществом граждан, является наряду с дворянством некоей обособленной корпорацией. Отсюда и возникает два рода законов, противоречащих во многом друг другу: законы чести и те, на которых покоится правосудие. Первые, например, сурово осуждают того, кто, будучи обвинен во лжи, стерпит подобное обвинение, тогда как вторые — отмщающего за него. По законам рыцарского оружия такой-то, если снесет оскорбление, лишается чести и дворянского достоинства, тогда как по гражданским законам тот, кто мстит, подлежит уголовному наказанию. Значит, тот, кто обратится к закону, дабы защитить свою оскорбленную честь, обесчещивает себя, а кто не обратится к нему, того закон преследует и карает. И разве действитель-

но не является величайшею дикостью, что из этих двух столь различных сословий, подчиненных, однако, одному и тому же властителю, одно заботится о войне, другое печется о мире; удел одного — выгода, удел другого — честь; удел одного — ученость, удел другого — доблесть; у одного — слово, у другого — дело; у одного — справедливость, у другого — отвага; у одного — разум, у другого — сила; у одного — долгополая мантия, у другого — короткий камзол.

Что до вещей менее важных, как, например, нашего платья, то тому, кто вздумал бы согласовать его с подлинным его назначением, а именно — служить нашему телу и доставлять ему возможно больше удобств, — что и определило изящество и благопристойность одежды при ее появлении, — я укажу лишь на самое что ни на есть чудовищное из того, что, по-моему, можно представить себе, и среди прочего на наши квадратные головные уборы, на этот длинный, свисающий с головы наших женщин хвост из собранного складками бархата, расшитого к тому же пестрыми украшениями, и наконец, на нелепое и бесполезное подобие того органа, назвать который мы не можем, не нарушая приличия, и воспроизведение которого, да еще во всем блеске

наряда, показываем тем не менее всему честному народу. Эти соображения не отвращают, однако, разумного человека от следования общепринятой моде; более того, хотя мне и кажется, что все выдумки и причуды в покрое нашего платья порождены скорее сумасбродством и спесью, чем действительной целесообразностью, и что мудрец должен внутренне оберегать свою душу от всякого гнета, дабы сохранить ей свободу и возможность свободно судить обо всем, — тем не менее, когда дело идет о внешнем, он вынужден строго придерживаться принятых правил и форм. Обществу нет ни малейшего дела до наших воззрений; но все остальное, как то: нашу деятельность, наши труды, наше состояние и самую жизнь, надлежит предоставить ему на службу, а также на суд, как и поступил мужественный и великий Сократ, отказавшийся спасти свою жизнь лишь на том основании, что это явилось бы неповиновением власти, пусть даже весьма неправедной и пристрастной. Ибо правило правил и главнейший закон законов заключается в том, что всякий обязан повиноваться законам страны, в которой живет:

Νὸμοις ἑπεσναι τοίσιν ἐγχωρίοισ καλόν[49].

А вот кое-что в ином роде. Весьма сомнительно, может ли изменение действующего закона, каков бы он ни был, принести столь очевидную пользу, чтобы перевесить то зло, которое возникает, если его потревожить; ведь государство можно в некоторых отношениях уподобить строению, сложенному из отдельных, связанных между собой частей, вследствие чего нельзя хоть немного поколебать даже одну среди них без того, чтобы это не отразилось на целом. Законодатель фурийцев велел, чтобы всякий, стремящийся уничтожить какой-нибудь из старых законов или ввести в действие новый, выходил пред народом с веревкой на шее с тем, чтобы, если предлагаемое им новшество не найдет единогласного одобрения, быть удавленным тут же на месте. А законодатель лакедемонян посвятил всю свою жизнь тому, чтобы добиться от сограждан твердого обещания не отменять ни одного из его предписаний. Эфор, так безжалостно оборвавший две новые струны, добавленные Фринисом к его музыкальному инструменту, не задавался вопросом, улучшил

[49] Примечания: 49

Прекрасно повиноваться законам своей страны (*греч.*). *Сборник афоризмов XVI века.*

ли Фринис свой инструмент и обогатил ли его аккорды; для осуждения этого новшества ему было достаточно и того, что старый, привычный образец претерпел изменение; то же обозначал и древний заржавленный меч правосудия, который бережно хранился в Марселе.

Я разочаровался во всяческих новшествах, в каком бы обличье они нам ни являлись, и имею все основания для этого, ибо видел, сколь гибельные последствия они вызывают. То из них, которое угнетает нас в течение уже стольких лет, не было, правда, непосредственною причиною всего происходящего; но тем не менее можно с уверенностью сказать, что именно в нем, в силу несчастного стечения обстоятельств, причина и корень всего, даже тех бедствий и ужасов, которые творятся с тех пор без и помимо его участия. Пусть оно пеняет поэтому на себя самого.

Heu! patior telis vulnera facta meis[50].

Те, кто расшатывает государственный строй, чаще всего первыми и гибнут при его крушении. Плоды смуты никогда не достаются тому, кто ее вызвал; он только всколыхнул и замутил воду, а

[50] Примечания: 50

Увы! Я страдаю от ран, нанесенных моим же оружьем (*лат.*). Овидий. *Героиды*, II, 48.

ловить рыбу будут уже другие. Так как целость и единство нашей монархии были нарушены упомянутым новшеством, и ее величественное здание расшаталось и начало разрушаться, и так как это произошло к тому же в ее преклонные годы, в ней образовалось сколько угодно трещин и брешей, представляющих собою как бы ворота для названных бедствий. Величие государя, говорит некий древний писатель, труднее низвести от его вершины до половины, чем низвергнуть от половины до основания.

Но если зачинатели и приносят больше вреда, нежели подражатели, то последние все же преступнее первых, следуя образцам, зло и ужас которых сами ощутили и покарали. И если даже злодеяния приносят известную долю славы, то у первых перед вторыми то преимущество, что самый замысел и дерзость почина принадлежат именно им.

Все виды новейших бесчинств с легкостью черпают образцы и наставления, как потрясать государственный строй, из этого главнейшего и неиссякаемого источника. Даже в наших законах, созданных с целью пресечения этого изначального зла, и то можно найти наставления, как творить злодеяния всякого рода, и

попытки оправдания их. С нами происходит теперь то самое, о чем говорит Фукидид, повествуя о гражданских войнах своего времени; тогда, угождая порокам общества и пытаясь найти для них оправдание, давали им не их подлинные названия, но, искажая и смягчая последние, обозначали словами новыми и менее резкими. И таким-то способом хотят подействовать на вашу совесть и исправить наши взгляды! Honesta ratio est[51]. Однако как бы благовиден ни был предлог, все же всякое новшество чревато опасностями: adeo nihil motum ex antiquo probabile est[52]. По правде говоря, мне представляется чрезмерным самолюбием и величайшим самомнением ставить свои взгляды до такой степени высоко, чтобы ради их торжества не останавливаться пред нарушением общественного спокойствия, пред столькими неизбежными бедствиями и ужасающим падением нравов, которые приносят с собой гражданские войны, пред изменениями в государственном строе, что влечет за собой столь значительные последствия, — да еще делать все это в своей собственной стране. И не просчиты-

[51] Примечания: 51
Благовидный предлог (*лат.*). Теренций. *Девушка с Андроса,* 141.

[52] Примечания: 52
Нельзя одобрить отклонение от старины (*лат.*). Тит Ливий, XXXIV, 54.

вается ли тот, кто дает волю этим явным и всем известным порокам, дабы искоренить недостатки, в сущности спорные и сомнительные? И есть ли пороки худшие, нежели те, которые нестерпимы для собственной совести и для здравого смысла?

Римский сенат в разгар распри с народом по поводу распределения жреческих должностей решился прибегнуть к уловке такого рода: Ad deos id magis quam ad se, pertinere: ipsos visuros ne sacra sua polluantur[53], — подражая в этом ответу оракула жителям Дельф во время греко-персидских войн. Опасаясь вторжения персов, дельфийцы обратились тогда к Аполлону с вопросом, что им делать со святынями его храма — укрыть ли их где-нибудь или же вывезти. Он ответил на это, чтобы они ничего не трогали: пусть они заботятся о себе, а он уже сам сумеет охранить свою собственность.

Христианская религия обладает всеми признаками наиболее справедливого и полезного вероучения, но ничто не свидетельствует об этом в такой мере, как выраженное в ней с полной определенностью требование повиноваться

[53] Примечания: 53

Это больше касается богов, чем их, пусть сами боги заботятся, чтобы их святыни не были осквернены (*лат.*). Тит Ливий, X, 6.

властям и поддерживать существующий государственный строй. Какой поразительный пример оставила нам премудрость Господня, которая, стремясь спасти род человеческий и осуществить свою славную победу над смертью и над грехом, пожелала свершить это не иначе как опираясь на наше общественное устройство и поставив достижение и осуществление этой великой и благостной цели в зависимость от слепоты и неправедности наших обычаев и воззрений, допустив, таким образом, чтобы лилась невинная кровь столь многих возлюбленных чад ее и мирясь с потерею длинной чреды годов, пока не созреет этот бесценный плод.

Между подчиняющимся обычаям и законам своей страны и тем, кто норовит подняться над ними и сменить их на новые, — целая пропасть. Первый ссылается в свое оправдание на простосердечие, покорность, а также на пример других; что бы ни довелось ему сделать, это не будет намеренным злом, в худшем случае — лишь несчастьем. Quis est enim quem non moveat clarissimis monumentis tes-tata consignataque antiquitas?[54]

---

[54] Примечания: 54

На кого не произведет впечатление древность, запечатленная в стольких славнейших памятниках? (*лат.*)

Сверх того, как говорит Исократ, недобор ближе к умеренности, чем перебор. Второй оправдывать гораздо труднее.

Ибо, кто берется выбирать и вносить изменения, тот присваивает себе право судить и должен поэтому быть твердо уверен в ошибочности отменяемого им и в полезности им вводимого. Это столь нехитрое соображение и заставило меня засесть у себя в углу; даже во времена моей юности — а она была много дерзостнее — я поставил себе за правило не взваливать на свои плечи непосильной для меня ноши, не брать на себя ответственности за решения столь исключительной важности, не осмеливаться на то, на что я не мог бы осмелиться, рассуждая здраво, даже в наиболее простом из того, чему меня обучали, хотя смелость суждений в последнем случае и не могла бы ничему повредить. Мне кажется в высшей степени несправедливым стремление подчинить отстоявшиеся общественные правила и учреждения непостоянству частного произвола (ибо частный разум обладает лишь частной юрисдикцией) и тем более предпринимать против законов божеских то, чего не потерпела бы ни одна власть на свете в отношении законов гражданских, которые, хотя и более доступны

уму человеческому, все же являются верховными судьями своих судей; самое большее, на что мы способны, это объяснять и распространять применение уже принятого, но отнюдь не отменять его и заменять новым. Если божественное провидение и преступало порою правила, которыми оно по необходимости поставило нам пределы, то вовсе не для того, чтобы освободить и нас от подчинения им. Это мановения его божественной длани, и не подражать им, но проникаться изумлением перед ними, вот что должно нам делать: это случаи исключительные, отмеченные печатью ясно выраженного особого умысла, из разряда чудес, являемых нам как свидетельство его всемогущества и превышающих наши силы и наши возможности; было бы безумием и кощунством тщиться воспроизвести что-либо подобное, — и мы должны не следовать им, но с трепетом созерцать их. Это деяния, доступные божеству, но не нам.

Здесь весьма уместно привести слова Котты: Cum de religione agitur T. Coruncanium, P. Scipionen, P. Scaevolam, pontifices maximos, non Zenonem aut Cleanthem aut Chrysippum, sequor.

В настоящее время мы охвачены распрей: речь идет о том, чтобы убрать и заменить новыми

целую сотню догматов, и каких важных и значительных догматов; а много ли найдется таких, которые могли бы похвастаться, что им досконально известны доводы и основания как той, так и другой стороны? Число их окажется столь незначительным — если только это и впрямь можно назвать числом, — что они не могли бы вызвать между нами смятения. Но все остальное скопище — куда несется оно? Под каким знаменем устремляются вперед нападающие? Здесь происходит то же, что с иным слабым и неудачно примененным лекарством; те вредные соки организма, которые ему надлежало бы изгнать, оно на самом деле, столкнувшись с ними, только разгорячило, усилило и раздражило, а затем, сотворив все эти беды, осталось бродить в нашем теле. Оно не смогло освободить нас от болезни из-за своей слабости и вместе с тем ослабило нас настолько, что мы не в состоянии очиститься от него; действие его сказывается лишь в том, что нас мучат нескончаемые боли во внутренностях.

Бывает, однако, и так, что судьба, могущество которой всегда превосходит наше предвидение, ставит нас в настолько тяжелое положение, что законам приходится несколько и кое в чем уступить. И если, сопротивляясь возрастанию

нового, стремящегося насильственно пробить себе путь, держать себя всегда и во всем в узде и строго соблюдать установленные правила, то подобное самоограничение в борьбе с тем, кто обладает свободою действий, для кого допустимо решительно все, лишь бы оно шло на пользу его намерениям, кто не знает ни другого закона, ни других побуждений, кроме тех, что сулят ему выгоду, неправильно и опасно: Aditum nocendi perfido praestat fides[55]. Но ведь обычный правопорядок в государстве, пребывающем в полном здравии, не предусматривает подобных исключительных случаев: он имеет в виду упорядоченное сообщество, опирающееся на свои основные устои и выполняющее свои обязанности, а также согласие всех соблюдать его и повиноваться ему. Действовать, придерживаясь закона, значит — действовать спокойно, размеренно, сдержанно, а это вовсе не то, что требуется в борьбе с действиями бесчинными и необузданными.

Известно, что и посейчас еще упрекают двух великих государственных деятелей, Октавия и Катона, за то, что первый во время гражданской войны с Суллою, а второй — с Цезарем готовы

[55] Примечания: 55

Доверие предоставляет изменнику возможность вредить (*лат.*). Сенека. *Эдип*, 686.

были скорее подвергнуть свое отечество самым крайним опасностям, чем оказать ему помощь, нарушив законы, и ни за что не соглашались хоть в чем-нибудь поколебать эти последние. Но в случаях крайней необходимости, когда все заключается в том, чтобы как-нибудь устоять, иной раз и впрямь благоразумнее опустить голову и стерпеть удар, чем биться сверх сил, не желая ни в чем уступить и доставляя возможность насилию подмять все под себя и попрать его. И пусть лучше законы домогаются лишь того, что им под силу, когда им не под силу все то, чего они домогаются. Так, например, поступил тот, кто приказал, чтобы они заснули на двадцать четыре часа, и таким образом урезал на этот раз календарь на один день, и тот, кто превратил июнь во второй май. Даже лакедемоняне, которые с таким усердием соблюдали законы своей страны, как-то раз, будучи связаны одним из своих законов, воспрещавшим вторичное избрание начальником флота того же лица, — а между тем обстоятельства настоятельно требовали от них, чтобы эту должность снова занял Лисандр, — нашли выход в том, что поставили начальником флота Арака, а Лисандра назначили «главным распорядителем» морских сил.

Подобной же уловкой воспользовался один их посол, который был направлен ими к афинянам с тем, чтобы добиться отмены какого-то изданного этими последними распоряжения. Когда Перикл в ответ сослался на то, что строжайшим образом запрещается убирать доску, на которой начертан какой-нибудь закон, посол предложил повернуть доску обратною стороной, так как это, во всяком случае, не запрещается. Это то, наконец, за что Плутарх воздает хвалу Филопемену: рожденный повелевать, он умел повелевать не только согласно с законами, но в случае общественной необходимости и самими законами.

Глава XXVI
О воспитании детей

Госпоже Диане де Фуа, графине де Гюрсон.

Я не видел такого отца, который признал бы, что сын его запаршивел или горбат, хотя бы это и было очевидною истиной. И не потому — если только его не ослепило окончательно отцовское чувство — чтобы он не замечал этих недостатков, но потому, что это его собственный сын. Так и я; ведь я вижу лучше, чем кто-либо другой, что эти строки — не что иное, как измышление человека, отведавшего только вершков науки, да и то лишь в детские годы, и сохранившего в памяти только самое общее и весьма смутное представление об ее облике: капельку того, чуточку этого, а в общем почти ничего, как водится у французов. В самом деле, я знаю, например, о существовании медицины, юриспруденции, четырех частей математики, а также, весьма приблизительно, в чем именно состоит их предмет. Я знаю еще, что науки, вообще говоря, притязают на служение человечеству. Но углубиться в их дебри, грызть

себе ногти за изучением Аристотеля, властителя современной науки, или уйти с головою в какую-нибудь из ее отраслей, этого со мною никогда не бывало; и нет такого предмета школьного обучения, начатки которого я в состоянии был бы изложить. Вы не найдете ребенка в средних классах училища, который не был бы вправе сказать, что он образованнее меня, ибо я не мог бы подвергнуть его экзамену даже по первому из данных ему уроков; во всяком случае, это зависело бы от содержания такового. Если бы меня все же принудили к этому, то, не имея иного выбора, я выбрал бы из такого урока, и притом очень неловко, какие-нибудь самые общие места, чтобы на них проверить умственные способности ученика, — испытание для него столь же неведомое, как его урок для меня.

Я не знаю по-настоящему ни одной основательной книги, если не считать Плутарха и Сенеки, из которых я черпаю, как Данаиды, непрерывно наполняясь и изливая из себя полученное от них. Кое-что оттуда попало и на эти страницы; во мне же осталось так мало, что, можно сказать, почти ничего.

История — та дает мне больше поживы; также и поэзия, к которой я питаю особую склонность.

Ибо, как говорил Клеанф, подобно тому как голос, сжатый в узком канале трубы, вырывается из нее более могучим и резким, так, мне кажется, и наша мысль, будучи стеснена различными поэтическими размерами, устремляется гораздо порывистее и потрясает меня с большей силой. Что до моих природных способностей, образчиком которых являются эти строки, то я чувствую, как они изнемогают под бременем этой задачи. Мой ум и мысль бредут ощупью, пошатываясь и спотыкаясь, и даже тогда, когда мне удается достигнуть пределов, дальше которых мне не пойти, я никоим образом не бываю удовлетворен достигнутым мною; я всегда вижу перед собой неизведанные просторы, но вижу смутно и как бы в тумане, которого не в силах рассеять. И когда я принимаюсь рассуждать без разбора обо всем, что только приходит мне в голову, не прибегая к сторонней помощи и полагаясь только на свою сообразительность, то, если при этом мне случается — а это бывает не так уж редко — встретить, на мое счастье, у кого-нибудь из хороших писателей те самые мысли, которые я имел намерение развить (так было, например, совсем недавно с рассуждением Плутарха о силе нашего воображения), я начинаю понимать,

насколько, по сравнению с такими людьми, я ничтожен и слаб, тяжеловесен и вял, — и тогда я проникаюсь жалостью и презрением к самому себе. Но в то же время я и поздравляю себя, ибо вижу, что мои мнения имеют честь совпадать иной раз с их мнениями и что они подтверждают, пусть издалека, их правильность. Меня радует также и то, что я сознаю — а это не всякий может сказать про себя, — какая пропасть лежит между ними и мною. И все же, несмотря ни на что, я не задумываюсь предать гласности эти мои измышления, сколь бы слабыми и недостойными они ни были, и притом в том самом виде, в каком я их создал, не ставя на них заплат и не подштопывая пробелов, которые открыло мне это сравнение. Нужно иметь достаточно крепкие ноги, чтобы пытаться идти бок о бок с такими людьми. Пустоголовые писаки нашего века, вставляя в свои ничтожные сочинения чуть ли не целые разделы из древних писателей, дабы таким способом прославить себя, достигают совершенно обратного. Ибо столь резкое различие в яркости делает принадлежащее их перу до такой степени тусклым, вялым и уродливым, что они теряют от этого гораздо больше, чем выигрывают.

Разные авторы поступали по-разному. Философ

Хрисипп, например, вставлял в свои книги не только отрывки, но и целые сочинения других авторов, а в одну из них он включил даже «Медею» Эврипида. Аполлодор говорил о нем, что, если изъять из его книг все то, что принадлежит не ему, то, кроме сплошного белого места, там ничего не останется. У Эпикура, напротив, в трехстах оставшихся после него свитках не найдешь ни одной цитаты.

Однажды мне случилось наткнуться на такой заимствованный отрывок. Я со скукою перелистывал французский текст, бескровный, немощный, настолько лишенный и содержания и мысли, что иначе его не назовешь, как французским текстом, пока наконец после долгого и скучного блуждания не добрался до чего-то прекрасного, роскошного, возвышающегося до облаков. Если бы склон, по которому я поднимался, был пологим и подъем, вследствие этого, продолжительным, все было бы в порядке; но это была столь обрывистая, совсем отвесная пропасть, что после первых же слов, прочтенных мною, я почувствовал, что взлетел в совсем иной мир. Оказавшись в нем, я окинул взором низину, из которой сюда поднялся, и она показалась мне такой безрадостной и далекой, что у меня пропа-

ло всякое желание снова спуститься туда. Если бы я приукрасил какое-нибудь из моих рассуждений сокровищами прошлого, это лишь подчеркнуло бы убожество всего остального.

Порицать в другом свои недостатки, думается мне, столь же допустимо, как порицать — а это я делаю весьма часто — чужие в себе. Обличать их следует всегда и везде, не оставляя им никакого пристанища. Я-то хорошо знаю, сколь дерзновенно пытаюсь я всякий раз сравняться с обворованными мной авторами, не без смелой надежды обмануть моих судей: авось они ничего не заметят. Но я достигаю этого скорее благодаря прилежанию, нежели с помощью воображения. А кроме того, я не борюсь с этими испытанными бойцами по-настоящему, не схожусь с ними грудь с грудью, но делаю время от времени лишь небольшие легкие выпады. Я не упорствую в этой схватке; я только соприкасаюсь со своими противниками и скорее делаю вид, что соревнуюсь с ними, чем в действительности делаю это.

И если бы мне удалось оказаться достойным соперником, я показал бы себя честным игроком, ибо вступаю я с ними в борьбу лишь там, где они сильнее всего.

Но делать то, что делают, как я указал выше,

иные, а именно: облачаться до кончиков ногтей в чужие доспехи, выполнять задуманное, как это нетрудно людям, имеющим общую осведомленность, путем использования клочков древней мудрости, понатыканных то здесь, то там, словом, пытаться скрыть и присвоить чужое добро — это, во-первых, бесчестно и низко, ибо, не имея ничего за душой, за счет чего они могли бы творить, эти писаки все же пытаются выдать чужие ценности за свои, а во-вторых, — это величайшая глупость, поскольку они вынуждены довольствоваться добытым с помощью плутовства одобрением невежественной толпы, роняя себя в глазах людей сведущих, которые презрительно морщат нос при виде этой надерганной отовсюду мозаики, тогда как только их похвала и имеет значение. Что до меня, то нет ничего, чего бы я столь же мало желал. Если я порой говорю чужими словами, то лишь для того, чтобы лучше выразить самого себя. Сказанное мною не относится к центонам, публикуемым в качестве таковых; в молодости я видел между ними несколько составленных с большим искусством, какова, например, одна, выпущенная в свет Капилупи, не говоря уже о созданных в древности. Авторы их по большей части проявили свое дарование и в других

сочинениях; таков, например, Липсий, автор ученейшей, потребовавшей огромных трудов компиляции, названной им «Политика».

Как бы там ни было, — я хочу сказать: каковы бы ни были допущенные мною нелепости, — я не собираюсь утаивать их, как не собираюсь отказываться и от написанного с меня портрета, где у меня лысина и волосы с проседью, так как живописец изобразил на нем не совершенный образец человеческого лица, а лишь мое собственное лицо. Таковы мои склонности и мои взгляды; и я предлагаю их как то, во что я верю, а не как то, во что должно верить. Я ставлю своею целью показать себя здесь лишь таким, каков я сегодня, ибо завтра, быть может, я стану другим, если узнаю что-нибудь новое, способное произвести во мне перемену. Я не пользуюсь достаточным авторитетом, чтобы каждому моему слову верили, да и не стремлюсь к этому, ибо сознаю, что слишком дурно обучен, чтобы учить других.

Итак, некто, познакомившись с предыдущей главой, сказал мне однажды, будучи у меня, что мне следовало бы несколько подробнее изложить свои мысли о воспитании детей. Сударыня, если я и впрямь обладаю хоть какими-нибудь познаниями в этой области, я не в состоянии

дать им лучшее применение, как принеся в дар тому человечку, который грозит в скором будущем совершить свой торжественный выход на свет Божий из вас (вы слишком доблестны, чтобы начинать иначе как с мальчика). Ведь, приняв в свое время столь значительное участие в устройстве вашего брака, я имею известное право печься о величии и процветании всего, что от него воспоследует; я не говорю уж о том, что давнее мое пребывание в вашем распоряжении в качестве вашего покорнейшего слуги обязывает меня желать всею душой чести, всяческих благ и успеха всему, что связано с вами. Но, говоря по правде, я ничего в названном выше предмете не разумею, кроме того, пожалуй, что с наибольшими и наиважнейшими трудностями человеческое познание встречается именно в том разделе науки, который толкует о воспитании и обучении в детском возрасте.

Приемы, к которым обращаются в земледелии до посева, хорошо известны, и применение их не составляет труда, как, впрочем, и самый посев; но едва то, что посеяно, начнет оживать, как перед нами встает великое разнообразие этих приемов и множество трудностей, необходимых, чтобы его взрастить. То же самое и с людьми: невелика

хитрость посеять их; но едва они появились на свет, как на вас наваливается целая куча самых разнообразных забот, хлопот и тревог, как же их вырастить и воспитать.

Склонности детей в раннем возрасте проявляются так слабо и так неотчетливо, задатки их так обманчивы и неопределенны, что составить себе на этот счет определенное суждение очень трудно.

Взгляните на Кимона, взгляните на Фемистокла и стольких других! До чего непохожи были они на себя в детстве! В медвежатах или щенках сказываются их природные склонности; люди же, быстро усваивающие привычки, чужие мнения и законы, легко подвержены переменам и к тому же скрывают свой подлинный облик.

Трудно поэтому преобразовать то, что вложено в человека самой природой. От этого и происходит, что, вследствие ошибки в выборе правильного пути, зачастую тратят даром труд и время на натаскивание детей в том, что они не в состоянии как следует усвоить. Я считаю, что в этих затруднительных обстоятельствах нужно неизменно стремиться к тому, чтобы направить детей в сторону наилучшего и полезнейшего, не особенно полагаясь на легковесные предзнаме-

нования и догадки, которые мы извлекаем из движений детской души. Даже Платон, на мой взгляд, придавал им в своем «Государстве» чрезмерно большое значение.

Сударыня, наука — великое украшение и весьма полезное орудие, особенно если им владеют лица, столь обласканные судьбой, как вы. Ибо поистине в руках людей низких и грубых она не может найти надлежащего применения. Она неизмеримо больше гордится в тех случаях, когда ей доводится предоставлять свои средства для ведения войн или управления народом, для того чтобы поддерживать дружеское расположение чужеземного государя и его подданных, чем тогда, когда к ней обращаются за доводом в философском споре или чтобы выиграть тяжбу в суде или прописать коробочку пилюль. Итак, сударыня, полагая, что, воспитывая ваших детей, вы не забудете и об этой стороне дела, ибо вы и сами вкусили сладость науки и принадлежите к высокопросвещенному роду (ведь сохранились произведения графов де Фуа, от которых происходит и господин граф, ваш супруг, и вы сами; да и господин Франсуа де Кандаль, ваш дядюшка, и ныне еще всякий день трудится над сочинением новых, которые продлят на многие

века память об этих дарованиях вашей семьи), я хочу сообщить вам на этот счет мои домыслы, противоречащие общепринятым взглядам; вот и все, чем я в состоянии услужить вам в этом деле.

Обязанности наставника, которого вы дадите вашему сыну, — учитывая, что от его выбора в конечном счете зависит, насколько удачным окажется воспитание ребенка, — включают в себя также и многое другое, но я не стану на всем этом останавливаться, так как не сумею тут привнести ничего путного. Что же касается затронутого мною предмета, по которому я беру на себя смелость дать наставнику ряд советов, то и здесь пусть он верит мне ровно настолько, насколько мои соображения покажутся ему убедительными. Ребенка из хорошей семьи обучают наукам, имея в виду воспитать из него не столько ученого, сколько просвещенного человека, не ради заработка (ибо подобная цель является низменной и недостойной милостей и покровительства муз и к тому же предполагает искательство и зависимость от другого) и не для того, чтобы были соблюдены приличия, но для того, чтобы он чувствовал себя тверже, чтобы обогатил и украсил себя изнутри. Вот почему я хотел бы, чтобы, выбирая ему наставника, вы

отнеслись к этому с возможной тщательностью; желательно, чтобы это был человек скорее с ясной, чем с напичканной науками головой, ибо, хотя нужно искать такого, который обладал бы и тем и другим, все же добрые нравы и ум предпочтительнее голой учености; и нужно также, чтобы, исполняя свои обязанности, он применил новый способ обучения.

Нам без отдыха и срока жужжат в уши, сообщая разнообразные знания, в нас вливают их, словно воду в воронку, и наша обязанность состоит лишь в повторении того, что мы слышали. Я хотел бы, чтобы воспитатель вашего сына отказался от этого обычного приема и чтобы с самого начала, сообразуясь с душевными склонностями доверенного ему ребенка, предоставил ему возможность свободно проявлять эти склонности, предлагая ему изведать вкус различных вещей, выбирать между ними и различать их самостоятельно, иногда указывая ему путь, иногда, напротив, позволяя отыскивать дорогу ему самому. Я не хочу, чтобы наставник один все решал и только один говорил; я хочу, чтобы он слушал также своего питомца. Сократ, а впоследствии и Аркесилай заставляли сначала говорить учеников, а затем уже говорили сами. Obest plerumque iis qui discere

volunt auctoritas eorum, qui docent[56].

Пусть он заставит ребенка пройтись перед ним и таким образом получит возможность судить о его походке, а следовательно, и о том, насколько ему самому нужно умерить себя, чтобы приспособиться к силам ученика. Не соблюдая здесь соразмерности, мы можем испортить все дело; уменье отыскать такое соответствие и разумно его соблюдать — одна из труднейших задач, какие только я знаю. Способность снизойти до влечений ребенка и руководить ими присуща лишь душе возвышенной и сильной. Что до меня, то я тверже и увереннее иду в гору, нежели спускаюсь с горы.

Если учителя, как это обычно у нас делается, просвещают своих многочисленных учеников, преподнося им всем один и тот же урок и требуя от них одинакового поведения, хотя способности их вовсе не одинаковы, но отличаются и по силе и по своему характеру, то нет ничего удивительного, что среди огромной толпы детей найдется всего два или три ребенка, которые извлекают настоящую пользу из подобного преподавания.

Пусть учитель спрашивает с ученика не только

---

[56] Примечания: 56

Тем, кто хочет научиться, часто мешает авторитет учителя. Цицерон. *О природе богов,* I, 5.

слова затверженного урока, но смысл и самую суть его и судит о пользе, которую он принес, не по показаниям памяти своего питомца, а по его жизни. И пусть, объясняя что-либо ученику, он покажет ему это с сотни разных сторон и применит ко множеству различных предметов, чтобы проверить, понял ли ученик как следует и в какой мере усвоил это; и в последовательности своих разъяснений пусть он руководствуется примером Платона. Если кто изрыгает пищу в том самом виде, в каком проглотил ее, то это свидетельствует о неудобоваримости пищи и о несварении желудка. Если желудок не изменил качества и формы того, что ему надлежало сварить, значит, он не выполнил своего дела.

Наша душа совершает свои движения под чужим воздействием, следуя и подчиняясь примеру и наставлениям других. Нас до того приучили к помочам, что мы уже не в состоянии обходиться без них. Мы утратили нашу свободу и собственную силу. Nunquam tutelae suae fiunt[57]. Я знавал в Пизе одного весьма достойного человека, который настолько почитал Аристотеля, что первейшим его правилом было: «Пробным

[57] Примечания: 57
Они никогда не выходят из-под опеки (*лат.*). *Письма,* 33.

камнем и основой всякого прочного мнения и всякой истины является их согласие с учением Аристотеля; все, что вне этого, — химеры и суета, ибо Аристотель все решительно предусмотрел и все высказал». Это положение, истолкованное слишком широко и неправильно, подвергало его значительной и весьма долго угрожавшей ему опасности со стороны римской инквизиции.

Пусть наставник заставляет ученика как бы просеивать через сито все, что он ему преподносит, и пусть ничего не вдалбливает ему в голову, опираясь на свой авторитет и влияние; пусть принципы Аристотеля не становятся неизменными основами его преподавания, равно как не становятся ими и принципы стоиков или эпикурейцев. Пусть учитель изложит ему, чем отличаются эти учения друг от друга; ученик же, если это будет ему по силам, пусть сделает выбор самостоятельно или по крайней мере останется при сомнении. Только глупцы могут быть непоколебимы в своей уверенности.

> *Che*
> *non men che saper dubiar m'aggrada*[58].

---

[58] Примечания: 58

Сомнение доставляет мне не меньшее наслаждение, чем знание (*um.*). Данте. *Ад,* IX, 93.

Ибо, если он примет мнения Ксенофонта или Платона, поразмыслив над ними, они перестанут быть их собственностью, но сделаются также и его мнениями. Кто рабски следует за другим, тот ничему не следует. Он ничего не находит; да ничего и не ищет. Non sumus sub rege; sibi quisque se vindicet[59]. Главное — чтобы он знал то, что знает. Нужно, чтобы он проникся духом древних мыслителей, а не заучивал их наставления. И пусть он не страшится забыть, если это угодно ему, откуда он почерпнул эти взгляды, лишь бы он сумел сделать их собственностью. Истина и доводы разума принадлежат всем, и они не в большей мере достояние тех, кто высказал их впервые, чем тех, кто высказал их впоследствии. То-то и то-то столь же находится в согласии с мнением Платона, сколько с моим, ибо мы обнаруживаем здесь единомыслие и смотрим на дело одинаково. Пчелы перелетают с цветка на цветок для того, чтобы собрать нектар, который они целиком претворяют в мед; ведь это уже больше не тимьян или майоран. Точно так же и то, что человек заимствует у других, будет преобразовано и переплавлено им самим, чтобы стать его

[59] Примечания: 59

Над нами нет царя; пусть каждый располагает собой (*лат.*). *Письма,* 38, 7.

собственным творением, то есть собственным его суждением. Его воспитание, его труд, его ученье служат лишь одному: образовать его личность.

Пусть он таит про себя все, что взял у других, и предает гласности только то, что из него создал. Грабители и стяжатели выставляют напоказ выстроенные ими дома и свои приобретения, а не то, что они вытянули из чужих кошельков. Вы не видите подношений, полученных от просителей каким-нибудь членом парламента; вы видите только то, что у него обширные связи и что детей его окружает почет. Никто не подсчитывает своих доходов на людях; каждый ведет им счет про себя. Выгода, извлекаемая нами из наших занятий, заключается в том, что мы становимся лучше и мудрее.

Только рассудок, говорил Эпихарм, все видит и все слышит; только он умеет обратить решительно все на пользу себе, только он располагает всем по своему усмотрению, только он действительно деятелен — он господствует над всем и царит; все прочее слепо, глухо, бездушно. Правда, мы заставляем его быть угодливым и трусливым, дабы не предоставить ему свободы действовать хоть в чем-нибудь самостоятельно. Кто же спрашивает ученика о его мнении относительно риторики и

грамматики, о том или ином изречении Цицерона? Их вколачивают в нашу память в совершенно готовом виде, как некие оракулы, в которых буквы и слоги заменяют сущность вещей. Но знать наизусть еще вовсе не значит знать; это — только держать в памяти то, что ей дали на хранение. А тем, что знаешь по-настоящему, ты вправе распорядиться, не оглядываясь на хозяина, не заглядывая в книгу. Ученость чисто книжного происхождения — жалкая ученость! Я считаю, что она украшение, но никак не фундамент; в этом я следую Платону, который говорит, что истинная философия — это твердость, верность и добросовестность; прочие же знания и все, что направлено к другой цели, — не более как румяна.

Хотел бы я поглядеть, как Палюэль или Помпей — эти превосходные танцовщики нашего времени — стали бы обучать пируэтам, только проделывая их перед нами и не сдвигая нас с места. Точно так же многие наставники хотят образовать нам ум, не будоража его. Можно ли научить управлять конем, владеть копьем, лютней или голосом, не заставляя изо дня в день упражняться в этом, подобно тому как некоторые хотят научить нас здравым рассуждениям и искусной речи, не заставляя упражняться ни в рассужде-

ниях, ни в речах? А между тем при воспитании в нас этих способностей все, что представляется нашим глазам, стоит назидательной книги; проделка пажа, тупость слуги, застольная беседа — все это новая пища для нашего ума.

В этом отношении особенно полезно общение с другими людьми, а также поездки в чужие края, не для того, разумеется, чтобы, следуя обыкновению нашей французской знати, привозить с собой оттуда разного рода сведения — о том, например, сколько шагов имеет в ширину церковь Санта-Мария Ротанда, или до чего роскошны панталоны синьоры Ливии, или, подобно иным, насколько лицо Нерона на таком-то древнем изваянии длиннее и шире его же изображения на такой-то медали, но для того, чтобы вывезти оттуда знание духа этих народов и их образа жизни, и для того также, чтобы отточить и отшлифовать свой ум в соприкосновении с умами других. Я бы советовал посылать нашу молодежь за границу в возможно более раннем возрасте и, чтобы одним ударом убить двух зайцев, именно к тем из наших соседей, чья речь наименее близка к нашей, так что, если не приучить к ней свой язык смолоду, то потом уж никак ее не усвоить.

Недаром все считают, что неразумно воспи-

тывать ребенка под крылышком у родителей. Вложенная в последних самой природой любовь внушает даже самым разумным из них чрезмерную мягкость и снисходительность. Они не способны ни наказывать своих детей за проступки, ни допускать, чтобы те узнали тяжелые стороны жизни, подвергаясь некоторым опасностям. Они не могут примириться с тем, что их дети после различных упражнений возвращаются потными и перепачкавшимися, что они пьют, как придется, — то теплое, то слишком холодное; они не могут видеть их верхом на норовистом коне или фехтующими с рапирой в руке с сильным противником, или когда они впервые берутся за аркебузу. Но ведь тут ничего не поделаешь: кто желает, чтобы его сын вырос настоящим мужчиною, тот должен понять, что молодежь от всего этого не уберечь и что тут, хочешь не хочешь, а нередко приходится поступаться предписаниями медицины:

Vitamque sub divo et trepidis agat
In rebus[60].

Недостаточно закалять душу ребенка; столь

[60] Примечания: 60

Пусть живет под открытым небом в непогоду (*лат.*). Гораций. *Оды*, III, 2, 5.

же необходимо закалять и его тело. Наша душа слишком перегружена заботами, если у нее нет должного помощника; на нее тогда возлагается непосильное бремя, так как она несет его за двоих. Я-то хорошо знаю, как тяжело приходится моей душе в компании со столь нежным и чувствительным, как у меня, телом, которое постоянно ищет ее поддержки. И, читая различных авторов, я не раз замечал, что то, что они выдают за величие духа и мужество, в гораздо большей степени свидетельствует о толстой коже и крепких костях. Мне довелось встречать мужчин, женщин и детей, настолько нечувствительных от природы, что удары палкою значили для них меньше, чем для меня щелчок по носу: получив удар, такие люди не только не вскрикнут, но даже и бровью не поведут. Когда атлеты своею выносливостью уподобляются философам, то здесь скорее сказывается крепость их мышц, нежели твердость души. Ибо привычка терпеливо трудиться — это то же, что привычка терпеливо переносить боль: labor callum obducit dolori[61]. Нужно закалять свое тело тяжелыми и суровыми упражнениями, чтобы приучить его стойко переносить боль и

[61] Примечания: 61
Труд притупляет боль (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* II, 15.

страдания от вывихов, колик, прижиганий и даже от мук тюремного заключения и пыток. Ибо надо быть готовым и к этим последним; ведь в иные времена и добрые разделяют порой участь злых. Мы хорошо знаем это по себе! Кто ниспровергает законы, тот грозит самым добропорядочным людям бичом и веревкой. Добавлю еще, что и авторитет воспитателя, который для ученика должен быть непререкаемым, страдает и расшатывается от такого вмешательства родителей. Кроме того, почтительность, которою окружает ребенка челядь, а также его осведомленность о богатстве и величии своего рода являются, на мой взгляд, немалыми помехами в правильном воспитании детей этого возраста.

Что до той школы, которой является общение с другими людьми, то тут я нередко сталкивался с одним обычным пороком: вместо того чтобы стремиться узнать других, мы хлопочем только о том, как бы выставить напоказ себя, и наши заботы направлены скорее на то, чтобы не дать залежаться своему товару, нежели чтобы приобрести для себя новый. Молчаливость и скромность — качества, в обществе весьма ценные. Ребенка следует приучать к тому, чтобы он был бережлив и воздержан в расходовании зна-

ний, которые он накопит; чтобы он не оспаривал глупостей и вздорных выдумок, высказанных в его присутствии, ибо весьма невежливо и нелюбезно отвергать то, что нам не по вкусу. Пусть он довольствуется исправлением самого себя и не корит другого за то, что ему самому не по сердцу; пусть он не восстает также против общепринятых обычаев. Licet sapere sine pompa, sine invidia[62]. Пусть он избегает придавать себе заносчивый и надменный вид, избегает ребяческого тщеславия, состоящего в желании выделяться среди других и прослыть умнее других, пусть не стремится прослыть человеком, который бранит все и вся и пыжится выдумать что-то новое. Подобно тому как лишь великим поэтам пристало разрешать себе вольности в своем искусстве, так лишь великим и возвышенным душам дозволено ставить себя выше обычая. Si quid Socrates et Aristippus contra morem et consuetudinem fecerint, idem sibi ne arbitretur licere: magnis enim illi et divinis bonis hanc licentiam assequebantur[63]. Следует научить

[62] Примечания: 62

Можно быть ученым без надменности и зависти (*лат.*). *Письма,* 103, 5.

[63] Примечания: 63

Если Сократ и Аристипп делали что-то вопреки нравам и обычаям, пусть другие не считают, что им дозволено то же, ибо эти двое по своим божественным достоинствам имеют право на вольность (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях,* I, 41.

ребенка вступать в беседу или в спор только в том случае, если он найдет, что противник достоин подобной борьбы; его нужно научить также не применять все те возражения, которые могут ему пригодиться, но только сильнейшие из них. Надо приучить его тщательно выбирать доводы, отдавая предпочтение наиболее точным, а следовательно, и кратким. Но прежде всего пусть научат его склоняться перед истиной и складывать перед нею оружие, лишь только он увидит ее, — независимо от того, открылась ли она его противнику или озарила его самого. Ведь ему не придется подыматься на кафедру, чтобы читать предписанное заранее. Ничто не обязывает его защищать мнения, с которыми он не согласен. Он не принадлежит к тем, кто продает за наличные денежки право признаваться в своих грехах и каяться в них. Neque, ut omnia quae praescripta et imperata sint, defendat, necessitate ulla cogitur[64].

Если его наставником будет человек такого же склада, как я, он постарается пробудить в нем желание быть верноподданным, беззаветно преданным и беззаветно храбрым слугой своего государя; но вместе с тем он и охладит пыл сво-

[64] Примечания: 64

Никакая необходимость не принуждает его защищать все предписанное и приказанное (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы,* I, II, 3.

его питомца, если тот проникается к государю привязанностью иного рода, нежели та, какой требует от нас общественный долг. Не говоря уже о всевозможных стеснениях, налагаемых на нас этими особыми узами, высказывания человека, нанятого или подкупленного, либо не так искренни и свободны, либо могут быть приняты за проявление неразумия или неблагодарности. Придворный не волен — да и далек от желания — говорить о своем повелителе иначе, как только хорошее; ведь среди стольких тысяч подданных государь отличил его, дабы осыпать своими милостями и возвысить над остальными. Эта монаршая благосклонность и связанные с ней выгоды убивают в нем, естественно, искренность и ослепляют его. Вот почему мы видим, что язык этих господ отличается, как правило, от языка всех прочих сословий и что слова их не очень-то достойны доверия.

Пусть совесть и добродетели ученика находят отражение в его речи и не знают иного руководителя, кроме разума. Пусть его заставят понять, что признаться в ошибке, допущенной им в своем рассуждении, даже если она никем, кроме него, не замечена, есть свидетельство ума и чистосердечия, к чему он в первую очередь и

должен стремиться; что упорствовать в своих заблуждениях и отстаивать их — свойства весьма обыденные, присущие чаще всего наиболее низменным душам, и что умение одуматься и поправить себя, сознаться в своей ошибке в пылу спора — качества редкие, ценные и свойственные философам.

Его следует также наставлять, чтобы, бывая в обществе, он присматривался ко всему и ко всем, ибо я нахожу, что наиболее высокого положения достигают обычно не слишком способные и что судьба осыпает своими дарами отнюдь не самых достойных. Так, например, я не раз наблюдал, как на верхнем конце стола, за разговором о красоте какой-нибудь шпалеры или о вкусе мальвазии, упускали много любопытного из того, что говорилось на противоположном конце. Он должен добраться до нутра всякого, кого бы ни встретил — пастуха, каменщика, прохожего; нужно использовать все и взять от каждого по его возможностям, ибо все, решительно все пригодится, — даже чьи-либо глупость и недостатки содержат в себе нечто поучительное. Оценивая достоинства и свойства каждого, юноша воспитывает в себе влечение к их хорошим чертам и презрение к дурным.

Пусть в его душе пробудят благородную любознательность, пусть он осведомляется обо всем без исключения; пусть осматривает все примечательное, что только ему ни встретится, будь то какое-нибудь здание, фонтан, человек, поле битвы, происходившей в древности, места, по которым проходили Цезарь или Карл Великий:

> *Quae tellus sit lenta gelu, quae putris ad aestu,*
> *Ventus in Italiam quis bene vela ferat*[65].

Пусть он осведомляется о нравах, о доходах и связях того или иного государя. Знакомиться со всем этим весьма занимательно и знать очень полезно.

В это общение с людьми я включаю, конечно, и притом в первую очередь, и общение с теми, воспоминание о которых живет только в книгах. Обратившись к истории, юноша будет общаться с великими душами лучших веков. Подобное изучение прошлого для иного — праздная трата времени; другому же оно приносит неоценимую пользу. История — единственная наука, которую

---

[65] Примечания: 65

Какая почва застывает от мороза, какая становится рыхлой в жару, какой ветер надувает паруса, подгоняя в Италию (*лат.*). Проперций, IV, 3, 39 сл.

чтили, по словам Платона, лакедемоняне. Каких только приобретений не сделает он для себя, читая жизнеописания нашего милого Плутарха! Пусть, однако, наш воспитатель не забывает, что он старается запечатлеть в памяти ученика не столько дату разрушения Карфагена, сколько нравы Ганнибала и Сципиона; не столько то, где умер Марцелл, сколько то, почему, окончив жизнь так-то и так-то, он принял недостойную его положения смерть. Пусть он преподаст юноше не столько знания исторических фактов, сколько уменье судить о них. Это, по-моему, в ряду прочих наук именно та область знания, к которой наши умы подходят с самыми разнообразными мерками. Я вычитал у Тита Ливия сотни таких вещей, которых иной не приметил; Плутарх же — сотни таких, которых не сумел вычитать я, и, при случае, даже такое, чего не имел в виду и сам автор. Для одних — это чисто грамматические занятия, для других — анатомия, философия, открывающая нам доступ в наиболее сокровенные тайники нашей натуры. У Плутарха мы можем найти множество пространнейших рассуждений, достойных самого пристального внимания, ибо, на мой взгляд, он в этом великий мастер, но вместе с тем и тысячи таких вещей, которых он

касается только слегка. Он всегда лишь указывает пальцем, куда нам идти, если мы того пожелаем; иногда он довольствуется тем, что обронит мимоходом намек, хотя бы дело шло о самом важном и основном. Все эти вещи нужно извлечь из него и выставить напоказ. Так, например, его замечание о том, что жители Азии были рабами одного-единственного монарха, потому что не умели произнести один-единственный слог «нет», дало, быть может, Ла Боэси тему и повод к написанию «Добровольного рабства». Иной раз он также отмечает какой-нибудь незначительный с виду поступок человека или его брошенное вскользь словечко, — а на деле это стоит целого рассуждения. До чего досадно, что люди выдающегося ума так любят краткость! Слава их от этого, без сомнения, возрастает, но мы остаемся в накладе. Плутарху важнее, чтобы мы восхваляли его за ум, чем за знания; он предпочитает оставить нас алчущими, лишь бы мы не ощущали себя пресыщенными. Ему было отлично известно, что даже тогда, когда речь идет об очень хороших вещах, можно наговорить много лишнего и что Александр бросил вполне справедливый упрек тому из ораторов, который обратился к эфорам с прекрасной, но слишком длинной речью: «О,

чужестранец, ты говоришь то, что должно, но не так, как должно». У кого тощее тело, тот напяливает на себя много одежек; у кого скудная мысль, тот приукрашивает ее напыщенными словами.

В общении с людьми ум человеческий достигает изумительной ясности. Ведь мы погружены в себя, замкнулись в себе; наш кругозор крайне узок, мы не видим дальше своего носа. У Сократа как-то спросили, откуда он родом. Он не ответил: «Из Афин», а сказал: «Из вселенной». Этот мудрец, мысль которого отличалась такой широтой и таким богатством, смотрел на вселенную как на свой родной город, отдавая свои знания, себя самого, свою любовь всему человечеству, — не так, как мы, замечающие лишь то, что у нас под ногами. Когда у меня в деревне случается, что виноградники прихватит морозом, наш священник объясняет это тем, что род человеческий прогневил Бога, и считает, что по этой же самой причине и каннибалам на другом конце света нечем промочить себе горло. Кто, глядя на наши гражданские войны, не восклицает: весь мир рушится и близится светопреставление, забывая при этом, что бывали еще худшие вещи и что тысячи других государств наслаждаются в это самое время полнейшим благополучием? Я же,

памятуя о царящей среди нас распущенности и безнаказанности, склонен удивляться тому, что войны эти протекают еще так мягко и безболезненно. Кого град молотит по голове, тому кажется, будто все полушарие охвачено грозою и бурей. Говорил же один уроженец Савойи, что, если бы этот дурень, французский король, умел толково вести свои дела, он, пожалуй, годился бы в дворецкие к его герцогу. Ум этого савойца не мог представить себе ничего более величественного, чем его государь. В таком же заблуждении, сами того не сознавая, находимся и мы, а заблуждение это между тем влечет за собой большие последствия и приносит огромный вред. Но кто способен представить себе, как на картине, великий облик нашей матери-природы во всем ее царственном великолепии; кто умеет подметить ее бесконечно изменчивые и разнообразные черты; кто ощущает себя, — не только себя, но и целое королевство, — как крошечную, едва приметную крапинку в ее необъятном целом, только тот и способен оценивать вещи в соответствии с их действительными размерами.

Этот огромный мир, многократно увеличиваемый к тому же теми, кто рассматривает его как вид внутри рода, и есть то зеркало, в которое нам

нужно смотреться, дабы познать себя до конца. Короче говоря, я хочу, чтобы он был книгой для моего юноши. Познакомившись со столь великим разнообразием характеров, сект, суждений, взглядов, обычаев и законов, мы научаемся здраво судить о собственных, а также приучаем наш ум понимать его несовершенство и его врожденную немощность; а ведь это наука не из особенно легких. Картина стольких государственных смут и смен в судьбах различных народов учит нас не слишком гордиться собой. Столько имен, столько побед и завоеваний, погребенных в пыли забвения, делают смешною нашу надежду увековечивать в истории свое имя захватом какого-нибудь курятника, ставшего сколько-нибудь известным только после своего падения, или взятием в плен десятка конных вояк. Пышные и горделивые торжества в других государствах, величие и надменность стольких властителей и дворов укрепят наше зрение и помогут смотреть, не щурясь, на блеск нашего собственного двора и властителя, а также преодолеть страх перед смертью и спокойно отойти в иной мир, где нас ожидает столь отменное общество. То же и со всем остальным.

Наша жизнь, говорил Пифагор, напомина-

ет собой большое и многолюдное сборище на Олимпийских играх. Одни упражняют там свое тело, чтобы завоевать себе славу на состязаниях, другие тащат туда для продажи товары, чтобы извлечь из этого прибыль. Но есть и такие — и они не из худших, — которые не ищут здесь никакой выгоды: они хотят лишь посмотреть, каким образом и зачем делается то-то и то-то, они хотят быть попросту зрителями, наблюдающими жизнь других, чтобы вернее судить о ней и соответственным образом устроить свою.

За примерами могут естественно последовать наиболее полезные философские правила, с которыми надлежит соразмерять человеческие поступки. Пусть наставник расскажет своему питомцу,

quid fas optare: quid asper
Utile nummus habet; patriae carisque propinquis
Quantum elargiri deceat; quem te deus esse
lussit, et humana qua parte locatus es in re:
Quid

sumus, aut quidnam victuri gignimur[66]*;*

что означает: знать и не знать; какова цель познания; что такое храбрость, воздержанность и справедливость; в чем различие между жадностью и честолюбием, рабством и подчинением, распущенностью и свободою: какие признаки позволяют распознавать истинное и устойчивое довольство; до каких пределов допустимо страшиться смерти, боли или бесчестия,

Et quo quemque modo fugiatque feratque laborem[67]*;*

какие пружины приводят нас в действие и каким образом в нас возникают столь разнообразные побуждения. Ибо я полагаю, что рассуждениями, долженствующими в первую очередь напитать его ум, должны быть те, которые предназначены внести порядок в его нравы и чувства, научить его познавать самого себя, а также жить и умереть подобающим образом. Переходя к

---

[66] Примечания: 66

Чего дозволено желать; в чем польза чеканных монет; какая щедрость подобает по отношению к родине и близким; кем Бог назначил тебе быть и какое место занимаешь среди людей; что мы такое и для чего родились (*лат.*). *Персей,* III, 69 сл.

[67] Примечания: 67

Каким образом уклоняться от трудностей и как их переносить (*лат.*). *Энеида,* III, 459.

свободным искусствам, мы начнем с того между ними, которое делает нас свободными.

Все они в той или иной мере наставляют нас, как жить и как пользоваться жизнью, — каковой цели, впрочем, служит и все остальное. Остановим, однако, свой выбор на том из этих искусств, которое прямо направлено к ней и которое служит ей непосредственно.

Если бы нам удалось свести потребности нашей жизни к их естественным и законным границам, мы нашли бы, что большая часть обиходных знаний не нужна в обиходе; и что даже в тех науках, которые так или иначе находят себе применение, все же обнаруживается множество никому не нужных сложностей и подробностей, таких, какие можно было бы отбросить, ограничившись, по совету Сократа, изучением лишь бесспорно полезного.

Sapere aude,

Incipe: vivendi recte qui prorogat horam,

Rusticus exspectat dum defluat amnis; at ille

Labitur, et labetur in omne volubilis

aevum[68].

Величайшее недомыслие — учить наших детей тому,

Quid moveant Pisces, animosaque signa Leonis,
Lotus et Hesperia quid Capricornus aqua[69],

или науке о звездах и движении восьмой сферы раньше, чем науке об их собственных душевных движениях:

Τὶ Πλειάδεσσι. κάμοί
Τὶ δὰ᾽στράσι. Βοὠτεω[70].

Анаксимен писал Пифагору: «Могу ли я увлекаться тайнами звезд, когда у меня вечно пред глазами смерть или рабство?» (Ибо это было в то время, когда цари Персии готовились идти походом на его родину.) Каждый должен сказать

---

[68] Примечания: 68

Дерзай быть мудрым. Начни: кто оттягивает начало правильной жизни, как деревенщина ждет, пока иссякнет река, а она все течет и будет течь вовеки (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 2, 40 сл.

[69] Примечания: 69

Каково влияние Рыб или грозного знака Льва или Козерога, омываемого гесперийскими водами (*лат.*). Проперций, IV, 1, 85 сл.

[70] Примечания: 70

Что мне до Плеяд и Волопаса (*греч.*). Анакреонт. *Оды,* 17.

себе: «Будучи одержим честолюбием, жадностью, безрассудством, суевериями и чувствуя, что меня раздирает множество других вражеских сил, угрожающих моей жизни, буду ли я задумываться над круговращением небесных светил?»

После того как юноше разъяснят, что же собственно ему нужно, чтобы сделаться лучше и разумнее, следует ознакомить его с основами логики, физики, геометрии и риторики; и какую бы из этих наук он ни выбрал, — раз его ум к этому времени будет уже развит, — он быстро достигнет в ней успехов. Преподавать ему должно то путем собеседования, то с помощью книг; иной раз наставник просто укажет ему подходящего для этой цели автора, а иной раз он изложит содержание и сущность книги в совершенно разжеванном виде. А если сам воспитатель не настолько сведущ в книгах, чтобы отыскивать в них подходящие для его целей места, то можно дать ему в помощь какого-нибудь ученого человека, который каждый раз будет снабжать его тем, что требуется, а наставник потом уже сам укажет и предложит их своему питомцу. Можно ли сомневаться, что подобное обучение много приятнее и естественнее, чем преподавание по способу Газы? Там — докучные и трудные правила, слова,

пустые и как бы бесплотные; ничто не влечет вас к себе, ничто не будит ума. Здесь же наша душа не останется без прибытка, здесь найдется, чем и где поживиться. Плоды здесь несравненно более крупные и созревают они быстрее.

Странное дело, но в наш век философия, даже для людей мыслящих, всего лишь пустое слово, которое, в сущности, ничего не означает; она не находит себе применения и не имеет никакой ценности ни в чьих-либо глазах, ни на деле. Полагаю, что причина этого — бесконечные словопрения, в которых она погрязла. Глубоко ошибаются те, кто изображает ее недоступною для детей, с нахмуренным челом, с большими косматыми бровями, внушающими страх. Кто напялил на нее эту обманчивую маску, такую тусклую и отвратительную? На деле же не сыскать ничего другого столь милого, бодрого, радостного, чуть было не сказал — шаловливого. Философия призывает только к праздности и веселью. Если перед вами нечто печальное и унылое — значит, философии тут нет и в помине. Деметрий Грамматик, наткнувшись в дельфийском храме на кучку сидевших вместе философов, сказал им: «Или я заблуждаюсь, или, — судя по вашему столь мирному и веселому настрое-

нию, — вы беседуете о пустяках». На что один из них — это был Гераклеон из Мегары — ответил: «Морщить лоб, беседуя о науке, — это удел тех, кто предается спорам, требуется ли в будущем времени глагола βάλλω две лямбды или одна или как образована сравнительная степень χεῖρον и βέλτιον и превосходная χείριστον и βέλτιστον. Что же касается философских бесед, то они имеют свойство веселить и радовать тех, кто участвует в них, и отнюдь не заставляют хмурить лоб и предаваться печали».

> *Deprendas animi tormenta latentis in aegro*
> *Corpore, deprendas et gaudia; sumit utrumque*
> *Inde habitum facies*[71].

Душа, ставшая вместилищем философии, непременно наполнит здоровьем и тело. Царящие в ней покой и довольство она не может не излучать вовне; точно так же она изменит по своему образу и подобию нашу внешность, придав ей исполненную достоинства гордость, веселость и живость, выражение удовлетворенности и

[71] Примечания: 71
Ты можешь обнаружить страдания души, скрытой в больном теле, и ее радость, ведь лицо отражает и то и другое (*лат.*). Ювенал. *Сатиры,* IX, 18 сл.

добродушия. Отличительный признак мудрости — это неизменно радостное восприятие жизни; ей, как и всему, что в надлунном мире, свойственна никогда не утрачиваемая ясность. Это baroco и baralipton[72] марают и прокапчивают своих почитателей, а вовсе не она; впрочем, она известна им лишь понаслышке. В самом деле, это она успокаивает душевные бури, научает сносить с улыбкой болезни и голод не при помощи каких-то воображаемых эпициклов, но опираясь на вполне осязательные, естественные доводы разума. Ее конечная цель — добродетель, которая пребывает вовсе не где-то, как утверждают схоластики, на вершине крутой, отвесной и неприступной горы. Те, кому доводилось приблизиться к добродетели, утверждают, напротив, что она обитает на прелестном, плодородном и цветущем плоскогорье, откуда отчетливо видит все находящееся под нею; достигнуть ее может, однако, лишь тот, кому известно место ее обитания; к ней ведут тенистые тропы, пролегающие среди поросших травой и цветами лужаек, по пологому, удобному для подъема и гладкому, как своды небесные, склону. Но так как тем мнимым философам, о

[72] Примечания: 72
Baroco и *baralipton* — схоластические силлогизмы.

которых я говорю, не удалось познакомиться с этой высшею добродетелью, прекрасной, торжествующей, любвеобильной, кроткой, но вместе с тем и мужественной, питающей непримиримую ненависть к злобе, неудовольствию, страху и гнету, имеющей своим путеводителем природу, а спутниками — счастье и наслаждение, то, по своей слабости, они придумали этот глупый и ни на что не похожий образ: унылую, сварливую, привередливую, угрожающую, злобную добродетель, и водрузили ее на уединенной скале, среди терниев, превратив ее в пугало, устрашающее род человеческий.

Мой воспитатель, сознавая свой долг, состоящий в том, чтобы вселить в воспитаннике желание не только уважать, но в равной, а то и в большей мере и любить добродетель, разъяснит ему, что поэты, подобно всем остальным, подвержены тем же слабостям; он также растолкует ему, что даже боги и те прилагали гораздо больше усилий, чтобы проникнуть в покои Венеры, нежели в покои Паллады. И когда его ученик начнет испытывать свойственное молодым людям томление, он представит ему Брадаманту и рядом с нею Анджелику как возможные предметы его обожания: первую во всей ее непосредственной,

не ведающей о себе красоте, — деятельную, благородную, мужественную, но никоим образом не мужеподобную, и вторую, исполненную женственной прелести, — изнеженную, хрупкую, изощренную, жеманную; одну — одетую юношей, с головой, увенчанной сверкающим шишаком шлема, другую — в девичьем наряде, с повязкой, изукрашенной жемчугом, в волосах. И, остановив свой выбор совсем не на той, которой отдал бы предпочтение этот женоподобный фригийский пастух, юноша докажет своему воспитателю, что его любовь достойна мужчины. Пусть его воспитатель преподаст ему и такой урок: ценность и возвышенность истинной добродетели определяются легкостью, пользой и удовольствием ее соблюдения; бремя ее настолько ничтожно, что нести его могут как взрослые, так и дети, как те, кто прост, так и те, кто хитер. Упорядоченности, не силы, вот чего она от нас требует. И Сократ, первейший ее любимец, сознательно забыл о своей силе, чтобы радостно и бесхитростно отдаться усовершенствованию в ней. Это — мать-кормилица человеческих наслаждений. Вводя их в законные рамки, она придает им чистоту и устойчивость; умеряя их, она сохраняет их свежесть и привлекательность. Отметая те, которые

она считает недостойными, она обостряет в нас влечение к дозволенным ею; таких — великое множество, ибо она доставляет нам с материнской щедростью до полного насыщения, а то и пресыщения, все то, что согласно с требованиями природы. Ведь не станем же мы утверждать, что известные ограничения, ограждающие любителя выпить от пьянства, обжору от несварения желудка и распутника от лысины во всю голову, — враги человеческих наслаждений! Если обычная житейская удача не достается на долю добродетели, эта последняя отворачивается от нее, обходится без нее и выковывает себе свою собственную фортуну, менее шаткую и изменчивую. Она может быть богатой, могущественной и ученой и возлежать на раздушенном ложе. Она любит жизнь, любит красоту, славу, здоровье. Но главная и основная ее задача — научить пользоваться этими благами, соблюдая известную меру, а также сохранять твердость, теряя их, — задача более благородная, нежели тягостная, ибо без этого течение нашей жизни искажается, мутнеет, уродуется; тут нас подстерегают подводные камни, пучины и всякие чудовища. Если же ученик проявит не отвечающие нашим чаяньям склонности, если он предпочтет побасенки

занимательному рассказу о путешествии или назидательным речам, которые мог бы услышать; если, заслышав барабанный бой, разжигающий воинственный пыл его юных товарищей, он обратит свой слух к другому барабану, сзывающему на представление ярмарочных плясунов; если он не сочтет более сладостным и привлекательным возвращаться в пыли и грязи, но с победою с поля сражения, чем с призом после состязания в мяч или танцев, то я не вижу никаких иных средств, кроме следующих: пусть воспитатель — и чем раньше, тем лучше, причем, разумеется, без свидетелей, — удавит его или отошлет в какой-нибудь торговый город и отдаст в ученики пекарю, будь он даже герцогским сыном. Ибо, согласно наставлению Платона, «детям нужно определять место в жизни не в зависимости от способностей их отца, но от способностей их души».

Поскольку философия учит жизни и детский возраст совершенно так же нуждается в подобных уроках, как и все прочие возрасты, — почему бы не приобщить к ней и детей?

Udum et molle lutum est; nunc properandus et acri

Fingendus sine fine rota[73].

А между тем нас учат жить, когда жизнь уже прошла. Сотни школяров заражаются сифилисом прежде, чем дойдут до того урока из Аристотеля, который посвящен воздержанию. Цицерон говорил, что, проживи он даже двойную жизнь, все равно у него не нашлось бы досуга для изучения лирических поэтов. Что до меня, то я смотрю на них с еще большим презрением — это совершенно бесполезные болтуны. Нашему юноше приходится еще более торопиться; ведь учению могут быть отданы лишь первые пятнадцать-шестнадцать лет его жизни, а остальное предназначено деятельности. Используем же столь краткий срок как следует; научим его только необходимому. Не нужно излишеств: откиньте все эти колючие хитросплетения диалектики, от которых наша жизнь не становится лучше; остановитесь на простейших положениях философии и сумейте надлежащим образом отобрать и истолковать их; ведь постигнуть их много легче, чем новеллу Боккаччо, и дитя, едва выйдя из рук кормилицы, готово к их восприятию в большей мере, чем к

[73] Примечания: 73

Глина влажна и мягка, нужно поспешить вылепить ее на гончарном круге (*лат.*). Персий, III, 23 сл.

искусству чтения и письма. У философии есть свои рассуждения как для тех, кто вступает в жизнь, так и для дряхлых старцев.

Я согласен с Плутархом, что Аристотель занимался со своим великим учеником не столько премудростью составления силлогизмов и основами геометрии, сколько стремился внушить ему добрые правила по части того, что относится к доблести, смелости, великодушию, воздержанности и не ведающей страха уверенности в себе; с таким снаряжением он и отправил его, совсем еще мальчика, завоевывать мир, располагая всего лишь тридцатью тысячами пехотинцев, четырьмя тысячами всадников и сорока двумя тысячами экю. Что до прочих наук и искусств, то, как говорит Плутарх, хотя Александр и относился к ним с большим почтением и восхвалял их пользу и великое достоинство, все же, несмотря на удовольствие, которое они ему доставляли, не легко было побудить его заниматься ими с охотою.

Petite hinc, iuvenesque senesque,
Finem animo certum, miserisque viatica

canis[74].

Сходно говорит Эпикур в начале своего письма к Меникею: «Ни самый юный не бежит философии, ни самый старый не устает от нее». Кто поступает иначе, тот как бы показывает этим, что пора счастливой жизни для него либо еще не настала, либо уже прошла.

Поэтому я не хочу, чтобы нашего мальчика держали в неволе. Я не хочу оставлять его в жертву мрачному настроению какого-нибудь жестокого учителя. Я не хочу уродовать его душу, устраивая ему сущий ад и принуждая, как это в обычае у иных, трудиться каждый день по четырнадцати или пятнадцати часов, словно он какой-нибудь грузчик. Если же он, склонный к уединению и меланхолии, с чрезмерным усердием, которое в нем воспитали, будет корпеть над изучением книг, то и в этом, по-моему, мало хорошего: это сделает его неспособным к общению с другими людьми и оттолкнет от более полезных занятий. И сколько же на своем веку перевидал я таких, которые, можно сказать, утратили человеческий облик из-за безрассудной страсти к науке! Карнеад до

---

[74] Примечания: 74

Здесь, юноши и старцы, ищите истинной цели души и посох для несчастных седин (*лат.*). Персий, V, 64 сл.

такой степени ошалел от нее, что не мог найти времени, чтобы остричь себе волосы и ногти. Я не хочу, чтобы его благородный нрав огрубел в соприкосновении с дикостью и варварством. Французское благоразумие издавна вошло в поговорку, в качестве такого, однако, которое, хотя и сказывается весьма рано, но зато и держится недолго. И впрямь, трудно сыскать что-нибудь столь же прелестное, как маленькие дети во Франции; но, как правило, они обманывают наши надежды и, став взрослым, не обнаруживают в себе ничего выдающегося. Я слышал от людей рассудительных, что коллежи, куда их посылали учиться, — их у нас теперь великое множество, — и являются причиной такого их отупения.

Что касается нашего воспитанника, то для него все часы хороши и всякое место пригодно для занятий, будет ли то классная комната, сад, стол или постель, одиночество или компания, утро иль вечер, ибо философия, которая, образуя суждения и нравы людей, является главным предметом его изучения, имеет привилегию примешиваться решительно ко всему. Исократ-оратор, когда его попросили однажды во время пира произнести речь о своем искусстве, ответил — и всякий признает, что он был прав, — такими словами:

«Для того, что я умею, сейчас не время; сейчас время для того, чего я не умею». Ибо и в самом деле произносить речи или пускаться в словесные ухищрения перед обществом, собравшимся, чтобы повеселиться и попировать, значило бы соединить вместе вещи несоединимые. То же самое можно было бы сказать и о всех прочих науках. Но когда речь заходит о философии и именно о том ее разделе, где рассматривается человек, а также в чем его долг и обязанности, то, согласно мнению всех мудрецов, дело здесь обстоит совсем по-иному, и от нее не подобает отказываться ни на пиру, ни на игрищах — так сладостна беседа о ней. И мы видим, как, явившись по приглашению Платона на его пир, она изящно и сообразно месту и времени развлекает присутствующих, хотя и пускается в самые назидательные и возвышенные рассуждения:

> *Aeque pauperibus prodest, locupletibus aeque;*
>
> *Et neglecta, aeque pueris senibsuque nocebit*[75].

Таким образом, наш воспитанник, без сомне-

---

[75] Примечания: 75

Равно полезна бедным и богатым, оставленная в пренебрежении, повредит и юноше, и старцу (*лат.*). Гораций. *Послания*, I, 1, 25 сл.

ния, будет пребывать в праздности меньше других. Но подобно тому как шаги, которые мы делаем, прогуливаясь по галерее, будь их хоть в три раза больше, не утомляют нас в такой мере, как те, что затрачены на преодоление какой-нибудь определенной дороги, так и урок, проходя как бы случайно, без обязательного места и времени, в сочетании со всеми другими нашими действиями, будет протекать совсем незаметно. Даже игры и упражнения — и они станут неотъемлемой и довольно значительной частью обучения: я имею в виду бег, борьбу, музыку, танцы, охоту, верховую езду, фехтование. Я хочу, чтобы благовоспитанность, светскость, внешность ученика совершенствовались вместе с его душою. Ведь воспитывают не одну душу и не одно тело, но всего человека; нельзя расчленять его надвое. И как говорит Платон, нельзя воспитывать то и другое порознь; напротив, нужно управлять ими, не делая между ними различия, так, как если бы это была пара впряженных в одно дышло коней. И, слушая Платона, не кажется ли нам, что он уделяет и больше времени, и больше старания телесным упражнениям, считая, что душа упражняется вместе с телом, а не наоборот?

Вообще же обучение должно основываться на

соединении строгости с мягкостью, а не так, как это делается обычно, когда, вместо того чтобы приохотить детей к науке, им преподносят ее как сплошной ужас и жестокость. Откажитесь от насилия и принуждения; нет ничего, по моему мнению, что так бы уродовало и извращало натуру с хорошими задатками. Если вы хотите, чтобы ребенок боялся стыда и наказания, не приучайте его к этим вещам. Приучайте его к поту и холоду, к ветру и жгучему солнцу, ко всем опасностям, которые ему надлежит презирать; отвадьте его от изнеженности и разборчивости; пусть он относится с безразличием к тому, во что он одет, на какой постели спит, что ест и что пьет: пусть он привыкнет решительно ко всему. Пусть не будет он маменькиным сынком, похожим на изнеженную девицу, но пусть будет сильным и крепким юношей. В юности, в зрелые годы, в старости — я всегда рассуждал и смотрел на дело именно так. И наряду со многими другими вещами порядки, заведенные в большинстве наших коллежей, никогда не нравились мне. Быть может, вред, приносимый ими, был бы значительно меньше, будь воспитатели хоть немножечко снисходительней. Но ведь это настоящие тюрьмы для заключенной в них молодежи. Там развивают в

ней развращенность, наказывая за нее прежде, чем она действительно проявилась. Зайдите в такой коллеж во время занятий: вы не услышите ничего, кроме криков — криков школьников, подвергаемых порке, и криков учителей, ошалевших от гнева. Можно ли таким способом пробудить в детях охоту к занятиям, можно ли с такой страшной рожей, с плеткой в руках руководить этими пугливыми и нежными душами? Ложный и губительный способ! Добавим правильное замечание, сделанное на этот счет Квинтилианом: столь безграничная власть учителя чревата опаснейшими последствиями, особенно если учесть характер принятых у нас наказаний. Настолько пристойнее было бы усыпать полы классных комнат цветами и листьями вместо окровавленных ивовых прутьев! Я велел бы там расписать стены изображениями Радости, Веселья, Флоры, Граций, как это сделал у себя в школе философ Спевсипп. Где для детей польза, там же должно быть для них и удовольствие. Когда кормишь ребенка, полезные для него кушанья надо подсахаривать, а к вредным примешивать желчь.

Поразительно, сколько внимания уделяет в своих «Законах» Платон увеселениям и развлечениям молодежи в своем государстве; как

подробно говорит он об их состязаниях в беге, играх, песнях, прыжках и плясках, руководство которыми и покровительство коим, по его словам, в древности было вверено самим божествам — Аполлону, музам, Минерве. Мы найдем у него тысячу предписаний касательно его гимнасий; книжные знания его, однако, весьма мало интересуют, и он, мне кажется, советует заниматься поэзией только потому, что она связана с музыкой.

Нужно избегать всего странного и необычного в наших нравах и поведении, поскольку это мешает нам общаться с людьми и поскольку это вообще — уродство. Кто не удивился бы необычным свойствам кравчего Александра, Демофона, который обливался потом в тени и трясся от озноба на солнце? Мне случалось видеть людей, которым был страшнее запах яблок, чем выстрелы из аркебуз, и таких, которые до смерти боялись мышей, и таких, которых начинало мутить, когда они видели сливки, и таких, которые не могли смотреть, когда при них взбивали перину, подобно тому как Германик не выносил ни вида петухов, ни их пения. Возможно, что это происходит от какого-нибудь тайного свойства натуры: но, по-моему, все это можно побороть,

если вовремя взяться за дело. Я был воспитан так, что мой вкус, хоть и не без труда, приспособился ко всему, что подается к столу, за исключением пива. Пока тело еще гибко, его нужно упражнять всеми способами и на все лады. И если воля и вкусы нашего юноши окажутся податливыми, нужно смело приучать его к образу жизни любого круга людей и любого народа, даже, при случае, к беспутству и излишествам, если это окажется нужным. Пусть он приспосабливается к обычаям своего времени. Он должен уметь делать все без исключения, но любить делать должен только хорошее. Сами философы не одобряют поведения Каллисфена, утратившего благосклонность великого Александра из-за того, что он отказался пить так же много, как тот. Пусть юноша хохочет, пусть шалит, пусть беспутничает вместе со своим государем. Я хотел бы, чтобы даже в разгуле он превосходил выносливостью и крепостью своих сотоварищей. И пусть он никому не причиняет вреда не по недостатку возможностей и умения, а лишь по недостатку злой воли. Multum interest utrum peccare aliquis nolit aut nesciat[76]. Как-то раз, находясь в веселой компании, я обратил-

[76] Примечания: 76

Большая разница между нежеланием совершить грех и неспособностью (*лат.*). *Письма,* 90, 46.

ся к одному вельможе, который, пребывая во Франции, никогда не отличался беспорядочным образом жизни, с вопросом, сколько раз в жизни ему пришлось напиться, находясь на королевской службе в Германии. Задавая этот вопрос, я имел в виду выразить ему свое уважение, и он так это и принял. Он ответил, что это случилось с ним трижды, и тут же рассказал, при каких обстоятельствах это произошло. Я знаю лиц, которые, не обладая способностями подобного рода, попадали в весьма тяжелое положение, ведя дела с этой нацией. Не раз восхищался я удивительной натурой Алкивиада, который с такой легкостью умел приспособляться, без всякого ущерба для своего здоровья, к самым различным условиям, то превосходя роскошью и великолепием самих персов, то воздержанностью и строгостью нравов — лакедемонян, то поражая всех своих целомудрием, когда был в Спарте, то сладострастием, когда находился в Ионии.

> *Omnis Aristippum decuit color, et status, et res*[77].

Таким хотел бы я воспитывать и моего пи-

---

[77] Примечания: 77

Всякий цвет, и положение, и место к лицу Аристиппу (*лат.*). Гораций. *Послания*, III, 17, 23.

томца,

quem duplici panno patientia velat
Mirabor, vitae via si conversa decebit,
Personamque feret non inconcinnus utramque[78].

Вот мои наставления. И больше пользы извлечет из них не тот, кто их заучит, а тот, кто применит их на деле. Если вы это видите, вы это и слышите; если вы это слышите, вы это и видите.

Да не допустит Бог, говорит кто-то у Платона, чтобы занятия философией состояли лишь в усвоении разнообразных знаний и погружении в науку! Hanc amplissimam omnium artium bene vivendi disciplinam vita magis quam litteris persecuti sunt[79].

Леон, властитель Флиунта, спросил как-то Гераклида Понтийского, какой наукой или каким искусством он занимается. «Я не знаю ни наук, ни искусства, — ответил тот, — я — философ».

Диогена упрекали в том, что, будучи неве-

---

[78] Примечания: 78

Я увижу, как двойным плащом его укроет терпение, как он будет приспосабливать свой путь к обстоятельствам жизни, легко выполняя обе роли (*лат.*). Парафраз стихов Горация. *Послания,* I,17, 25–26 и 29.

[79] Примечания: 79

Высочайшую науку правильно жить они усвоили скорее из жизни, чем из книг (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* IV, 3.

жественным в науках, он решается браться за философию. «Я берусь за нее, — сказал он в ответ, — с тем большими основаниями». Гегесий попросил его прочитать ему какую-то книгу. «Ты смешишь меня! — отвечал Диоген. — Ведь ты предпочитаешь настоящие фиги нарисованным, — так почему же тебе больше нравятся не действительные деяния, а рассказы о них?»

Пусть наш юноша научится не столько отвечать уроки, сколько претворять их в жизнь. Пусть он повторяет их в своих действиях. И тогда будет видно, лежит ли благоразумие в основе его начинаний, проявляет ли он справедливость и доброту в своем поведении, ум и изящество в речах, стойкость в болезнях, скромность в забавах, умеренность в наслаждениях, неприхотливость в питье и пище, — будет ли то мясо или же рыба, вино или вода, — умеет ли соблюдать порядок в своих домашних делах: Qui disciplinam suam, non ostentationem scientiae, sed legem vitae putet, quique obtem-peret ipse sibi, et decretis pareat[80].

Подлинным зеркалом нашего образа мыслей является наша жизнь.

---

[80] Примечания: 80

Чтобы он считал свое учение не демонстрацией знаний, но законом жизни, чтобы он подчинялся себе и выполнял свои законы (*лат.*). Там же, II, 4.

Зевксидам ответил человеку, спросившему его, почему лакедемоняне не излагают письменно своих предписаний относительно доблести и не дают их в таком виде читать молодежи: «Потому, что они хотят приучить ее к делам, а не к словам». Сравните их юношу пятнадцати или шестнадцати лет с одним из наших латинистов-школьников, который затратил столько же времени только на то, чтобы научиться как следует говорить. Свет слишком болтлив; я не встречал еще человека, который говорил бы не больше, а меньше, чем полагается; во всяком случае, половина нашей жизни уходит на разговоры. Четыре или пять лет нас учат правильно понимать слова и строить из них фразы; еще столько же — объединять фразы в небольшие рассуждения из четырех или даже пяти частей; и последние пять, если они не больше, — уменью ловко сочетать и переплетать эти рассуждения между собой. Оставим это занятие тем, кто сделал его своим ремеслом.

Направляясь как-то в Орлеан, я встретил на равнине около Клери двух школьных учителей, шедших в Бордо на расстоянии примерно пятидесяти шагов один позади другого. Еще дальше, за ними, я увидел военный отряд во главе с

офицером, которым оказался не кто иной, как граф де Ларошфуко, ныне покойный. Один из сопровождавших меня людей спросил первого из учителей, кто этот дворянин. Тот, не заметив шедших подальше солдат и думая, что с ним говорят о его товарище, презабавно ответил: «Он вовсе не дворянин; это — грамматик, а что до меня, то я — логик». Но поскольку мы стараемся воспитать не логика или грамматика, а дворянина, предоставим им располагать своим временем столь нелепо, как им будет угодно; а нас ждут другие дела. Итак, лишь бы наш питомец научился как следует делам; слова же придут сами собой, — а если не захотят прийти, то он притащит их силой. Мне приходилось слышать, как некоторые уверяют, будто их голова полна всяких прекрасных мыслей, да только выразить их они не умеют: во всем, мол, виновато отсутствие у них красноречия. Но это — пустые отговорки! На мой взгляд, дело обстоит так. В головах у этих людей носятся какие-то бесформенные образы и обрывки мыслей, которые они не в состоянии привести в порядок и уяснить себе, а стало быть, и передать другим: они еще не научились понимать самих себя. И хотя они лепечут что-то как будто бы уже готовое родиться, вы ясно видите,

что это скорей похоже на зачатие, чем на роды, и что они только подбираются издали к смутно мелькающей перед ними мысли. Я полагаю, — и в этом я могу опереться на Сократа, — что тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на тарабарском наречии, а если он немой, то с помощью мимики:

> *Verbaque praevisam rem non invita sequentur*[81].

Как выразился — хотя и прозой, но весьма поэтически — Сенека: cum res animum occupavere verba ambiunt[82]. Или, как говорил другой древний автор: Ipsae res verba rapiunt[83]. Не беда, если мой питомец никогда не слышал о творительном падеже, о сослагательном падеже, и о существительном и вообще из грамматики знает не больше, чем его лакей или уличная торговка

---

[81] Примечания: 81

Когда дело обдумано, слова следуют сами собой (*лат.*). Гораций. *Наука поэзии,* 311.

[82] Примечания: 82

Когда дело занимает душу, слова сопутствуют (*лат.*). Сенека Старший. *Контроверзы,* 311.

[83] Примечания: 83

Сам предмет хватает слова (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* III, 5.

селедками. Да ведь этот самый лакей и эта торговка, лишь дай им волю, наговорят с три короба и сделают при этом не больше ошибок против правил своего родного языка, чем первейший магистр наук во Франции. Пусть наш ученик не знает риторики, пусть не умеет в предисловии снискать благоволение доверчивого читателя, но ему и не нужно знать всех этих вещей. Ведь, говоря по правде, все эти роскошные украшения легко затмеваются светом, излучаемым простой и бесхитростной истиной. Эти завитушки могут увлечь только невежд, неспособных вкусить от чего-либо более основательного и жесткого, как это отчетливо показано Апром у Тацита. Послы самосцев явились к Клеомену, царю Спарты, приготовив прекрасную и пространную речь, которою хотели склонить его к войне с тираном Поликратом. Дав им возможность высказаться, Клеомен ответил: «Что касается зачина и вступления вашей речи, то я их забыл, равно как и середину ее, ну а что касается заключения, то я не согласен». Вот, как мне представляется, прекрасный ответ, оставивший этих говорунов с носом.

А что вы скажете о следующем примере? Афинянам надлежало сделать выбор между двумя строителями, предлагавшими свои услуги для

возведения какого-то крупного здания. Один, более хитроумный, выступил с великолепной, заранее обдуманной речью о том, каким следует быть этому строению, и почти склонил народ на свою сторону. Другой же ограничился следующими словами: «Мужи афинские, что он сказал, то я сделаю».

Многие восхищались красноречием Цицерона в пору его расцвета; но Катон лишь подсмеивался над ним: «У нас, — говорил он, — презабавный консул». В конце ли, в начале ли речи полезное изречение или меткое словцо всегда уместно. И если оно не подходит ни к тому, что ему предшествует, ни к тому, что за ним следует, оно все же хорошо само по себе. Я не принадлежу к числу тех, кто считает, что раз в стихотворении безупречен размер, то, значит, и все оно безупречно; по-моему, если поэт где-нибудь вместо краткого слога поставит долгий, беда не велика, лишь бы стихотворение звучало приятно, лишь бы оно обладало глубоким смыслом и содержанием — и я скажу, что перед нами хороший поэт, хоть и плохой стихотворец:

Emunctae naris, durus componere

versus[84].

Удалите, говорил Гораций, из его стихотворения чередование долгих и кратких слогов, удалите из него размеры, —

Tempora certa modosque, et quod prius ordine verbum est,
Posterius facias, praeponens ultima primis,
Invenias etiam disiecti membra poetae[85],

оно не станет от этого хуже; даже отдельные части его будут прекрасны. Вот что ответил Менандр бранившим его за то, что он еще не притронулся к обещанной им комедии, хотя назначенный для ее окончания срок уже истекал: «Она полностью сочинена и готова; остается только изложить это в стихах». Разработав в уме план комедии и расставив все по своим местам, он считал остальное безделицей. С той поры, как Ронсар и Дю Белле создали славу нашей французской поэзии, нет больше стихоплетов, сколь бы

[84] Примечания: 84

Изощренный человек слагает грубые стихи (*лат.*). Гораций. *Сати- ры,* I, 4, 8.

[85] Примечания: 85

Перепутай слоги и ритмы, измени порядок слов и поставь последнее первым, все же найдешь растерзанные члены поэта (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* I, 4. У Горация: «не найдешь».

бездарными они ни были, которые не пучились бы словами, не нанизывали бы слогов, подражая им: Plus sonat quam valet[86]. Никогда еще не было у нас столько поэтов, пишущих на родном языке. Но хотя им и было легко усвоить ритмы двух названных поэтов, они все же не доросли до того, чтобы подражать роскошным описаниям первого и нежным фантазиям второго.

Но как же должен поступить наш питомец, если его начнут донимать софистическими тонкостями вроде следующего силлогизма: ветчина возбуждает желание пить, а питье утоляет жажду, стало быть, ветчина утоляет жажду? Пусть он посмеется над этим. Гораздо разумнее смеяться над подобными глупостями, чем пускаться в обсуждение их. Пусть он позаимствует у Аристиппа его остроумное замечание: «К чему мне распутывать это хитросплетение, если, даже будучи запутанным, оно изрядно смущает меня?» Некто решил выступить против Клеанфа во всеоружии диалектических ухищрений. На это Хрисипп сказал: «Забавляй этими фокусами детей и не отвлекай подобной чепухой серьезные мысли взрослого человека».

---

[86] Примечания: 86
Больше звону, чем смысла (*лат.*). *Письма*, 40, 5.

Если эти софистические нелепости, эти contorta et aculeata sophismata[87] способны внушить ученику ложные понятия, то это и в самом деле опасно; но если они не оказывают на него никакого влияния и не вызывают в нем ничего, кроме смеха, я не вижу никаких оснований к тому, чтобы он уклонялся от них. Существуют такие глупцы, которые готовы свернуть с пути и сделать крюк в добрую четверть лье в погоне за острым словцом: aut qui non verba rebus aptant, sed res extrinsecus arcessunt, quibus verba conveniant[88]. А вот с чем встречаемся у другого писателя: sunt qui alicuius verbi decore placentis vocentur ad id quod non proposuerant scribere[89]. Я охотнее изменю какое-нибудь хорошее изречение, чтобы вставить его в мои собственные писания, чем оборву нить моих мыслей, чтобы найти ему подходящее место. По-моему, это словам надлежит подчиняться и идти следом за мыслями, а не наоборот, и там,

[87] Примечания: 87

Запутанные и изощренные софизмы (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы*, I, II, 24.

[88] Примечания: 88

Или такие, что слово не соотносят с предметом, но ищут предметы, к которым подойдут слова (*лат.*). Квинтилиан, VIII, 3.

[89] Примечания: 89

Бывают и такие, которые, увлекшись красотой некоего слова, вставляют его повсюду, о чем бы ни писали (*лат.*). *Письма,* 59, 5.

где бессилен французский, пусть его заменит гасконский. Я хочу, чтобы вещи преобладали, чтобы они заполняли собой воображение слушателя, не оставляя в нем никакого воспоминания о словах. Речь, которую я люблю, — это бесхитростная, простая речь, такая же на бумаге, как на устах; речь сочная и острая, краткая и сжатая, не столько тонкая и приглаженная, сколько мощная и суровая:

Haec demum sapiet dictio, quae feriet[90]*;*

скорее трудная, чем скучная; свободная от всякой напыщенности, непринужденная, нескладная, смелая; каждый кусок ее должен выполнять свое дело; она не должна быть ни речью педанта, ни речью монаха, ни речью сутяги, но скорее солдатскою речью, как называет Светоний речь Цезаря, хотя, говоря по правде, мне не совсем понятно, почему он ее так называет.

Я охотно подражал в свое время той небрежности, с какой, как мы видим, наша молодежь носит одежду: плащ, свисающий на завязках, капюшон на плече, кое-как натянутые чулки — все это призвано выразить гордое презрение к этим

[90] Примечания: 90

В конце концов нравится только потрясающая речь (*лат.*). Эпитафия на могиле римского поэта Лукана (I в. н. э.), создателя новой поэзии.

иноземным нарядам, а также пренебрежение ко всякому лоску. Но я нахожу, что еще более уместным было бы то же самое в отношении нашей речи. Всякое жеманство, особенно при нашей французской живости и непринужденности, совсем не к лицу придворному, а в самодержавном государстве любой дворянин должен вести себя как придворный. Поэтому мы поступаем, по-моему, правильно, слегка подчеркивая в себе простодушие и небрежность.

Я ненавижу ткань, испещренную узелками и швами, подобно тому как и красивое лицо не должно быть таким, чтобы можно было пересчитать все его кости и вены. Quae veritati operam dat oratio, incomposita sit et simplex. Quis accurate loquitur, nisi qui vult putide loqui?[91]

Красноречие, отвлекая наше внимание на себя, наносит ущерб самой сути вещей.

Желание отличаться от всех остальных не принятым и необыкновенным покроем одежды говорит о мелочности души; то же и в языке: напряженные поиски новых выражений и малоизвестных слов порождаются ребяческим тщеславием педантов. Почему я не могу поль-

[91] Примечания: 91

Речь, стремящаяся к истине, пусть будет простой и неотделанной (*лат.*). *Письма*, 40, 4.

зоваться той же речью, какою пользуются на парижском рынке? Аристофан Грамматик, ничего в этом не смысля, порицал в Эпикуре простоту его речи и цель, которую тот ставил перед собой как оратор и которая состояла исключительно в ясности языка. Подражание чужой речи в силу его доступности — вещь, которой постоянно занимается целый народ; но подражать в мышлении и в воображении — это дается не так уж легко. Большинство читателей, находя облачение одинаковым, глубоко заблуждаются, полагая, что под ним скрыты и одинаковые тела.

Силу и сухожилия нельзя позаимствовать; заимствуются только уборы и плащ. Большинство тех, кто посещает меня, говорит так же, как написаны эти «Опыты»; но я, право, не знаю, думают ли они так же или как-нибудь по-иному.

Афиняне, говорит Платон, заботятся преимущественно о богатстве и изяществе своей речи, лакедемоняне — о ее краткости, а жители Крита проявляют больше заботы об изобилии мыслей, нежели о самом языке: они-то поступают правильнее всего. Зенон говорил, что у него было два рода учеников: один, как он именует их φιλολόγοι, жадные к познанию самых вещей, — и они были его любимцами; другие — λογοφίλοι, которые

заботились только о языке. Этим нисколько не отрицается, что умение красно говорить — превосходная и весьма полезная вещь; но все же она совсем не так хороша, как принято считать, и мне досадно, что вся наша жизнь наполнена стремлением к ней. Что до меня, то я прежде всего хотел бы знать надлежащим образом свой родной язык, а затем язык соседних народов, с которыми я чаще всего общаюсь. Овладение же языками греческим и латинским — дело, несомненно, прекрасное и важное, но оно покупается слишком дорогою ценой. Я расскажу здесь о способе приобрести эти знания много дешевле обычного — способе, который был испытан на мне самом. Его сможет применить всякий, кто пожелает.

Покойный отец мой, наведя тщательнейшим образом справки у людей ученых и сведущих, как лучше всего изучать древние языки, был предупрежден ими об обычно возникающих здесь помехах; ему сказали, что единственная причина, почему мы не в состоянии достичь величия и мудрости древних греков и римлян, — продолжительность изучения их языков, тогда как им самим это не стоило ни малейших усилий. Я, впрочем, не думаю, чтобы это была действительно единственная причина. Так или иначе, но мой

отец нашел выход в том, что прямо из рук кормилицы и прежде, чем мой язык научился первому лепету, отдал меня на попечение одному немцу, который много лет спустя скончался во Франции, будучи знаменитым врачом. Мой учитель совершенно не знал нашего языка, но прекрасно владел латынью. Приехав по приглашению моего отца, предложившего ему превосходные условия, исключительно ради моего обучения, он неотлучно находился при мне. Чтобы облегчить его труд, ему было дано еще двое помощников, не столь ученых, как он, которые были приставлены ко мне дядьками. Все они в разговоре со мною пользовались только латынью. Что до всех остальных, то тут соблюдалось нерушимое правило, согласно которому ни отец, ни мать, ни лакей или горничная не обращались ко мне с иными словами, кроме латинских, усвоенных каждым из них, дабы кое-как объясняться со мною. Поразительно, однако, сколь многого они в этом достигли. Отец и мать выучились латыни настолько, что вполне понимали ее, а в случае нужды могли и изъясниться на ней; то же можно сказать и о тех слугах, которым приходилось больше соприкасаться со мною. Короче говоря, мы до такой степени олатинились, что наша латынь добралась даже до

расположенных в окрестностях деревень, где и по сию пору сохраняются укоренившиеся вследствие частого употребления латинские названия некоторых ремесел и относящихся к ним орудий. Что до меня, то даже на седьмом году я столько же понимал французский или окружающий меня перигорский говор, сколько, скажем, арабский. И без всяких ухищрений, без книг, без грамматики и каких-либо правил, без розог и слез я постиг латынь, такую же безупречно чистую, как и та, которой владел мой наставник, ибо я не знал ничего другого, чтобы портить и искажать ее. Когда случалось предложить мне ради проверки письменный перевод на латинский язык, то приходилось давать мне текст не на французском языке, как это делают в школах, а на дурном латинском, который мне надлежало переложить на хорошую латынь. И Никола Груши, написавший «De comitiis Romanorum», Гильом Герант, составивший комментарии к Аристотелю, Джордж Бьюкенен, великий шотландский поэт, Марк-Антуан Мюре, которого и Франция и Италия считают лучшим оратором нашего времени, бывшие также моими наставниками, не раз говорили мне, что в детстве я настолько легко и свободно говорил по-латыни, что они боялись подступиться ко

мне. Бьюкенен, которого я видел и позже в свите покойного маршала де Бриссака, сообщил мне, что, намереваясь писать о воспитании детей, он взял мое воспитание в качестве образца; в то время на его попечении находился молодой граф де Бриссак, представивший нам впоследствии доказательства своей отваги и доблести.

Что касается греческого, которого я почти вовсе не знаю, то отец имел намерение обучить меня этому языку, используя совершенно новый способ — путем разного рода забав и упражнений. Мы перебрасывались склонениями вроде тех юношей, которые с помощью определенной игры, например шашек, изучают арифметику и геометрию. Ибо моему отцу, среди прочего, советовали приохотить меня к науке и к исполнению долга, не насилуя моей воли и опираясь исключительно на мое собственное желание. Вообще ему советовали воспитывать мою душу в кротости, предоставляя ей полную волю, без строгости и принуждения. И это проводилось им с такой неукоснительностью, что, — во внимание к мнению некоторых, будто для нежного мозга ребенка вредно, когда его резко будят по утрам, вырывая насильственно и сразу из цепких объятий сна, в который они погружаются гораздо глубже, чем

мы, взрослые, — мой отец распорядился, чтобы меня будили звуками музыкального инструмента и чтобы в это время возле меня обязательно находился кто-нибудь из услужающих мне.

Этого примера достаточно, чтобы судить обо всем остальном, а также чтобы получить надлежащее представление о заботливости и любви столь исключительного отца, которому ни в малой мере нельзя поставить в вину, что ему не удалось собрать плодов, на какие он мог рассчитывать при столь тщательной обработке. Два обстоятельства были причиной этого: во-первых, бесплодная и неблагодарная почва, ибо, хоть я и отличался отменным здоровьем и податливым, мягким характером, все же наряду с этим я до такой степени был тяжел на подъем, вял и сонлив, что меня не могли вывести из состояния праздности, даже чтобы заставить хоть чуточку поиграть. То, что я видел, я видел как следует, и под этой тяжеловесной внешностью предавался смелым мечтам и не по возрасту зрелым мыслям. Ум же у меня был медлительный, шедший не дальше того, докуда его довели, усваивал я также не сразу; находчивости во мне было мало, и, ко всему, я страдал почти полным — так что трудно даже поверить — отсутствием памяти. Поэтому

нет ничего удивительного, что отцу так и не удалось извлечь из меня что-нибудь стоящее. А во-вторых, подобно всем тем, кем владеет страстное желание выздороветь и кто прислушивается поэтому к советам всякого рода, этот добряк, безумно боясь потерпеть неудачу в том, что он так близко принимал к сердцу, уступил в конце концов общему мнению, которое всегда отстает от людей, что идут впереди, вроде того как это бывает с журавлями, следующими за вожаком, и подчинился обычаю, не имея больше вокруг себя тех, кто снабдил его первыми указаниями, вывезенными им из Италии. Итак, он отправил меня, когда мне было около шести лет, в гиеньскую школу, в то время находившуюся в расцвете и почитавшуюся лучшей во Франции. И вряд ли можно было бы прибавить еще что-нибудь к тем заботам, которыми он меня там окружил, выбрав для меня наиболее достойных наставников, занимавшихся со мною отдельно, и выговорив для меня ряд других, не предусмотренных в школах, преимуществ. Но как бы там ни было, это все же была школа. Моя латынь скоро начала здесь портиться, и, отвыкнув употреблять ее в разговоре, я быстро утратил владение ею. И все мои знания, приобретенные благодаря новому способу

обучения, сослужили мне службу только в том отношении, что позволили мне сразу перескочить в старшие классы. Но, выйдя из школы тринадцати лет и окончив, таким образом, курс наук (как это называется на их языке), я, говоря по правде, не вынес оттуда ничего такого, что представляет сейчас для меня хоть какую-либо цену.

Впервые влечение к книгам зародилось во мне благодаря удовольствию, которое я получил от рассказов Овидия в его «Метаморфозах». В возрасте семи-восьми лет я отказывался от всех других удовольствий, чтобы наслаждаться чтением их; кроме того что латынь была для меня родным языком, это была самая легкая из всех известных мне книг и к тому же наиболее доступная по своему содержанию моему незрелому уму. Ибо о всяких там Ланселотах Озерных, Амадисах, Гюонах Бордоских и прочих дрянных книжонках, которыми увлекаются в юные годы, я в то время и не слыхивал (да и сейчас толком не знаю, в чем их содержание), — настолько строгой была дисциплина, в которой меня воспитывали. Больше небрежности проявлял я в отношении других задаваемых мне уроков. Но тут меня выручало то обстоятельство, что мне приходилось иметь дело с умным наставником, который умел

очень мило закрывать глаза как на эти, так и на другие, подобного же рода мои прегрешения. Благодаря этому я проглотил последовательно «Энеиду» Вергилия, затем Теренция, Плавта, наконец, итальянские комедии, всегда увлекавшие меня занимательностью своего содержания. Если бы наставник мой проявил тупое упорство и насильственно оборвал это чтение, я бы вынес из школы лишь лютую ненависть к книгам, как это случается почти со всеми нашими молодыми дворянами. Но он вел себя весьма мудро. Делая вид, что ему ничего не известно, он еще больше разжигал во мне страсть к поглощению книг, позволяя лакомиться ими только украдкой и мягко понуждая меня выполнять обязательные уроки. Ибо главные качества, которыми, по мнению отца, должны были обладать те, кому он поручил мое воспитание, были добродушие и мягкость характера. Да и в моем характере не было никаких пороков, кроме медлительности и лени. Опасаться надо было не того, что я сделаю что-нибудь плохое, а того, что я ничего не буду делать. Ничто не предвещало, что я буду злым, но все — что я буду бесполезным. Можно было предвидеть, что мне будет свойственна любовь к безделью, но не любовь к дурному.

Я вижу, что так оно и случилось. Жалобы, которыми мне протрубили все уши, таковы: «Он ленив; равнодушен к обязанностям, налагаемым дружбой и родством, а также к общественным; слишком занят собой». И даже те, кто менее всего расположен ко мне, все же не скажут: «На каком основании он захватил то-то и то-то? На каком основании он не платит?» Они говорят: «Почему он не уступает? Почему не дает?»

Я буду рад, если и впредь ко мне будут обращать лишь такие, порожденные сверхтребовательностью, упреки. Но некоторые несправедливо требуют от меня, чтобы я делал то, чего я не обязан делать, и притом гораздо настойчивее, чем требуют от себя того, что они обязаны делать. Осуждая меня, они заранее отказывают тем самым любому моему поступку в награде, а мне — в благодарности, которая была бы лишь справедливым воздаянием должного. Прошу еще при этом учесть, что всякое хорошее дело, совершенное мною, должно цениться тем больше, что сам я меньше кого-либо пользовался чужими благодеяниями. Я могу тем свободнее распоряжаться моим имуществом, чем больше оно мое. И если бы я любил расписывать все, что делаю, мне было бы легко отвести от себя эти упреки. А иным из

этих господ я сумел бы без труда доказать, что они не столько раздражены тем, что я делаю недостаточно много, сколько тем, что я мог бы сделать для них значительно больше.

В то же время душа моя сама по себе вовсе не лишена была сильных движений, а также отчетливого и ясного взгляда на окружающее, которое она достаточно хорошо понимала и оценивала в одиночестве, ни с кем не общаясь. И среди прочего я действительно думаю, что она не способна была бы склониться перед силою и принуждением.

Следует ли мне упомянуть еще об одной способности, которую я проявлял в своем детстве? Я имею в виду выразительность моего лица, подвижность и гибкость в голосе и телодвижениях, умение сживаться с той ролью, которую я исполнял. Ибо еще в раннем возрасте,

> *Alter ab undecimo tum me vix ceperat annus*[92],

я справлялся с ролями героев в латинских трагедиях Бьюкенена, Геранта и Мюре, которые отлично ставились в нашей гиеньской школе.

---

[92] Примечания: 92

Едва пошел мне двенадцатый год (*лат.*). Вергилий. *Эклоги,* VIII, 39.

Наш принципал, Андреа де Гувеа, как и во всем, что касалось исполняемых им обязанностей, был и в этом отношении, без сомнения, самым выдающимся среди принципалов наших школ. Так вот, на этих представлениях меня считали первым актером. Это — такое занятие, которое я ни в какой мере не порицал бы, если бы оно получило распространение среди детей наших знатных домов. Впоследствии мне довелось видеть и наших принцев, которые отдавались ему, уподобляясь в этом кое-кому из древних, с честью для себя и с успехом.

В Древней Греции считалось вполне пристойным, когда человек знатного рода делал из этого свое ремесло: Aristoni tragico actori rem aperit; huic et genus et fortuna honesta erant; nec ars, quia nihil tale apud Graecos pudori est, ea deformabat[93].

Я всегда осуждал нетерпимость ополчающихся против этих забав, а также несправедливость тех, которые не допускают искусных актеров в наши славные города, лишая тем самым народ этого публичного развлечения. Разумные правители, напротив, прилагают всяческие усилия, чтобы

[93] Примечания: 93

Он поделился своим замыслом с трагиком Аристоном: тот был хорошего рода, имел состояние, а искусство, которое у греков не считается постыдным, нисколько его не унижало (*лат.*). Тит Ливий, XXIV, 24.

собирать и объединять горожан как для того, чтобы сообща отправлять обязанности, налагаемые на нас благочестием, так и для упражнений и игр разного рода: дружба и единение от этого только крепнут. И потом, можно ли было бы предложить им более невинные развлечения, чем те, которые происходят на людях и на виду у властей? И, по-моему, было бы правильно, если бы власти и государь угощали время от времени за свой счет городскую коммуну подобным зрелищем, проявляя тем самым свою благосклонность и как бы отеческую заботливость, и если бы в городах с многочисленным населением были отведены соответствующие места для представлений этого рода, которые отвлекали бы горожан от худших и темных дел.

Возвращаясь к предмету моего рассуждения, повторю, что самое главное — это прививать вкус и любовь к науке; иначе мы воспитаем просто ослов, нагруженных книжной премудростью. Поощряя их ударами розог, им отдают на хранение торбу с разными знаниями, но для того, чтобы они были действительным благом, недостаточно их держать при себе, — нужно ими проникнуться.

Глава XXVII
Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности

Не без основания, пожалуй, приписываем мы простодушию и невежеству склонность к легковерию и готовность поддаваться убеждению со стороны. Ведь меня, как кажется, когда-то учили, что вера есть нечто, как бы запечатлеваемое в нашей душе; а раз так, то чем душа мягче и чем менее способна оказывать сопротивление, тем легче в ней запечатлеть что бы то ни было. Ut necesse est lancem in libra ponderibus impositis deprimi, sic animum perspicuis cedere[94].

В самом деле, чем менее занята и чем меньшей стойкостью обладает наша душа, тем легче она сгибается под тяжестью первого обращенного к ней убеждения. Вот почему дети, простолюдины, женщины и больные склонны к тому, чтобы их водили, так сказать, за уши. Но, с другой сторо-

---

[94] Примечания: 94

По необходимости коромысло весов опускается под тяжестью, так и душа уступает очевидности (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы,* I, II, 12.

ны, было бы глупым бахвальством презирать и осуждать как ложное то, что кажется нам невероятным, а это обычный порок всех, кто считает, что они превосходят знаниями других. Когда-то страдал им и я, и если мне доводилось слышать о привидениях, предсказаниях будущего, чарах, колдовстве или еще о чем-нибудь, что было мне явно не по зубам,

> *Somnia, terrores magicos, miracula, sagas,*
> *Nocturnos*
> *lemures portentaque Thessala*[95],

меня охватывало сострадание к бедному народу, напичканному этими бреднями. Теперь, однако, я думаю, что столько же, если не больше, я должен был бы жалеть себя самого; и не потому, чтобы опыт принес мне что-нибудь новое сверх того, во что я верил когда-то, — хотя в любознательности у меня никогда не было недостатка, — а по той причине, что разум мой с той поры научил меня, что осуждать что бы то ни было с такой решительностью, как ложное и невозможное, — значит приписывать себе

---

[95] Примечания: 95

Сны, наваждения магов, необыкновенные явления, колдуньи, ночные призраки и фессалийские чудеса (*лат.*). Гораций. *Послания*, II, 2, 206 сл.

преимущество знать границы и пределы воли Господней и могущества матери нашей природы; а также потому, что нет на свете большего безумия, чем мерить их мерой наших способностей и нашей осведомленности. Если мы зовем диковинным или чудесным недоступное нашему разуму, то сколько же таких чудес непрерывно предстает нашему взору! Вспомним, сквозь какие туманы и как неуверенно приходим мы к познанию большей части вещей, с которыми постоянно имеем дело, — и мы поймем, разумеется, что если они перестали казаться нам странными, то причина этому скорее привычка, нежели знание —

iam nemo, fessus satiate videndi,
Suspicere
in coeli dignatur lucida tempea[96].

и что, если бы эти же вещи предстали перед нами впервые, мы сочли бы их столь же или даже более невероятными, чем воспринимаемые нами как таковые,

si nunc primum mortalibus absint
Ex improviso, ceu sint obiecta repente,

---

[96] Примечания: 96

И никто уже, утомившись зрелищем, не смотрит на сияющий храм небес (*лат.*). Лукреций, II, 1038 сл.

Nil magis his rebus poterat mirabile dici,

Aut minus ante quod auderent fore credere gentes[97].

Кто никогда не видел реки, тот, встретив ее в первый раз, подумает, что перед ним океан. И вообще вещи, известные нам как самые что ни на есть большие, мы считаем пределом того, что могла бы создать в том же роде природа, —

Scilicet et fluvius, qui non est maximus, ei est

Qui non ante aliquem maiorem vidit, et ingens

Arbor homoque videtur; et omnia de genere omni

Maxima quae vidit quisque, haec ingentia fingit[98].

Consuetudine oculorum assuescunt animi, neque admi-rantur, neque requirunt rationes earum rerum

---

[97] Примечания: 97

Если б они впервые внезапно предстали смертным, не было бы ничего более дивного и ни во что подобное не осмелились бы поверить люди прежде (*лат.*). Лукреций, II, 1033 сл.

[98] Примечания: 98

Даже не самая большая река покажется огромной тому, кто не видел большей, так и дерево и человек и все, что превосходит виденное раньше, кажется огромным (*лат.*). Лукреций, VI, 674 сл.

quas semper vident[99].

Не столько величественность той или иной вещи, сколько ее новизна побуждает нас доискиваться ее причины.

Нужно отнестись с большим почтением к этому поистине безграничному могуществу природы и яснее осознать нашу собственную невежественность и слабость. Сколько есть на свете маловероятных вещей, засвидетельствованных, однако, людьми, заслуживающими всяческого доверия! И если мы не в состоянии убедиться в действительном существовании этих вещей, то вопрос о них должен оставаться, в худшем случае, нерешенным; ибо отвергать их в качестве невозможных означает не что иное, как ручаться, в дерзком самомнении, будто знаешь, где именно находятся границы возможного. Если бы люди достаточно хорошо отличали невозможное от необычного и то, что противоречит порядку вещей и законам природы, от того, что противоречит общераспространенным мнениям, если бы они не были ни безрассудно доверчивыми, ни столь же безрассудно склонными к недоверию,

[99] Примечания: 99

Душа привыкает, как и глаза, и уже не удивляется и не доискивается причин того, что видит постоянно (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* II, 38.

тогда соблюдалось бы предписываемое Хилоном правило: «Ничего чрезмерного».

Когда мы читаем у Фруассара, что граф де Фуа, будучи в Беарне, узнал о поражении короля Иоанна Кастильского под Альхубарротой уже на следующий день после битвы, а также его объяснения этого чуда, то над этим можно лишь посмеяться; то же относится и к содержащемуся в наших анналах рассказу о папе Гонории, который в тот самый день, когда король Филипп-Август умер в Манте, повелел совершить торжественный обряд его погребения в Риме, а также по всей Италии, ибо авторитет этих свидетелей не столь уж значителен, чтобы мы безропотно подчинялись ему. Но так ли это всегда? Когда Плутарх, кроме других примеров, которые он приводит из жизни древних, говорит, что, как он знает из достоверных источников, во времена Домициана весть о поражении, нанесенном Антонию где-то в Германии, на расстоянии многих дней пути, дошла до Рима и мгновенно распространилась в тот же день, когда было проиграно это сражение; когда Цезарь уверяет, что молва часто упреждает события, — скажем ли мы, что эти простодушные люди, не столь проницательные, как мы, попались на ту же удочку, что и невежествен-

ная толпа? Существует ли что-нибудь столь же тонкое, точное и живое, как суждения Плиния, когда он считает нужным сообщить их читателю, не говоря уже об исключительном богатстве его познаний? Чем же мы превосходим его в том и другом? Однако нет ни одного школьника, сколь бы юным он ни был, который не уличал бы его во лжи и не горел бы желанием прочитать ему лекцию о законах природы.

Когда мы читаем у Буше о чудесах, совершенных якобы мощами святого Илария, то не станем задерживаться на этом: доверие к этому писателю не столь уж велико, чтобы мы не осмелились усомниться в правдивости его рассказов. Но отвергнуть все истории подобного рода я считаю недопустимой дерзостью. Св. Августин, этот величайший из наших святых, говорит, что он видел, как мощи святых Гервасия и Протасия, выставленные в Милане, возвратили зрение слепому ребенку; как одна женщина в Карфагене была исцелена от язвы крестным знамением, которым ее осенила другая, только что крещенная женщина; как один из его друзей, Гесперий, изгнал из его дома злых духов с помощью горсти земли с гробницы нашего Господа и как потом эта земля, перенесенная в церковь, мгновенно исцелила

параличного; как одна женщина, до этого много лет слепая, коснувшись своим букетом во время религиозной процессии руки святого Стефана, потерла себе этим букетом глаза и тотчас прозрела; и о многих других чудесах, которые, как он говорит, совершились в его присутствии. В чем же могли бы мы предъявить обвинение и ему, и святым епископам Аврелию и Максимину, на которых он ссылается как на свидетелей? В невежестве, глупости, легковерии? Или даже в злом умысле и обмане? Найдется ли в наше время столь дерзостный человек, который считал бы, что он может сравняться с ними в добродетели или благочестии, в познаниях, уме и учености? Qui, ut rationem nullam afferent, ipsa auctoritate me frangerent[100].

Презирать то, что мы не можем постигнуть, — опасная смелость, чреватая неприятнейшими последствиями, не говоря уж о том, что это нелепое безрассудство. Ведь установив, согласно вашему премудрому разумению, границы истинного и ложного, вы тотчас же должны будете отказаться от них, ибо неизбежно обнаружите, что приходится верить в вещи еще более стран-

[100] Примечания: 100

Даже если бы не привели доводов, они бы сокрушили меня своим авторитетом (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, I, 21.

ные, чем те, которые вы отвергаете. И как мне кажется, уступчивость, проявляемая католиками в вопросах веры, вносит немалую смуту и в нашу совесть, и в те религиозные разногласия, в которых мы пребываем. Им представляется, что они проявляют терпимость и мудрость, когда уступают своим противникам в тех или иных спорных пунктах. Но, не говоря уж о том, сколь значительное преимущество дает нападающей стороне то, что противник начинает подаваться назад и отступать, и насколько это подстрекает ее к упорству в достижении поставленной цели, эти пункты, которые они выбрали как наименее важные, в некоторых отношениях чрезвычайно существенны. Надо либо полностью подчиниться авторитету наших церковных властей, либо решительно отвергнуть его. Нам не дано устанавливать долю повиновения, которую мы обязаны ему оказывать. Я могу сказать это на основании личного опыта, ибо некогда разрешал себе устанавливать и выбирать по своему усмотрению, в чем именно я могу нарушить обряды католической церкви, из которых иные казались мне либо совсем незначительными, либо особенно странными; но, переговорив с людьми сведущими, я нашел, что и эти обряды имеют весьма глубокое

и прочное основание и что лишь недомыслие и невежество побуждают нас относиться к ним с меньшим уважением, чем ко всему остальному. Почему бы нам не вспомнить, сколько противоречий ощущаем мы сами в своих суждениях! Сколь многое еще вчера было для нас нерушимыми догматами, а сегодня воспринимается нами как басни! Тщеславие и любопытство — вот два бича нашей души. Последнее побуждает нас всюду совать свой нос, первое запрещает оставлять что-либо неопределенным и нерешенным.

Глава XXVIII
О дружбе

Присматриваясь к приемам одного находящегося у меня живописца, я загорелся желанием последовать его примеру. Он выбирает самое лучшее место посредине каждой стены и помещает на нем картину, написанную со всем присущим ему мастерством, а пустое пространство вокруг нее заполняет гротесками, то есть фантастическими рисунками, вся прелесть которых состоит в их разнообразии и причудливости. И, по правде говоря, что же иное и моя книга, как не те же гротески, как не такие же диковинные тела, слепленные как попало из различных частей, без определенных очертаний, последовательности и соразмерности, кроме чисто случайных?

Desinit
in piscem mulier formosa superne[101].

В последнем я иду вровень с моим живописцем, но что до другой, лучшей части его труда, то я

---

[101] Примечания: 101

Красивый облик женщины ниже превращается в рыбу (*лат.*). Гораций. *Наука поэзии,* 21.

весьма отстаю от него, ибо мое умение не простирается так далеко, чтобы я мог решиться задумать прекрасную, тщательно отделанную картину, написанную в соответствии с правилами искусства. Мне пришло в голову позаимствовать ее у Этьена де Ла Боэси, и она принесет честь всему остальному в этом труде. Я имею в виду его рассуждение, которому он дал название «Добровольное рабство» и которое люди, не знавшие этого, весьма удачно перекрестили в «Против единого». Он написал его, будучи еще очень молодым, в жанре опыта в честь свободы и против тиранов. Оно с давних пор ходит по рукам людей просвещенных и получило с их стороны высокую и заслуженную оценку, ибо прекрасно написано и полно превосходных мыслей. Нужно, однако, добавить, что это отнюдь не лучшее из того, что он мог бы создать; и если бы в том, более зрелом возрасте, когда я его знал, он возымел такое же намерение, как и я — записывать все, что ни придет в голову, мы имели бы немало редкостных сочинений, которые могли бы сравниться со знаменитыми творениями древних, ибо я не знаю никого, кто мог бы сравняться с ним природными дарованиями в этой области. Но до нас дошло, да и то случайно, только это его рассуждение,

которого, как я полагаю, он никогда после написания больше не видел, и еще кое-какие заметки о январском эдикте (заметки эти, быть может, будут преданы гласности где-нибудь в другом месте), — эдикте столь знаменитом благодаря нашим гражданским войнам. Вот и все — если не считать книжечки его сочинений, которую я выпустил в свет, — что мне удалось обнаружить в оставшихся от него бумагах, после того как он, уже на смертном одре, в знак любви и расположения, сделал меня по завещанию наследником и своей библиотеки, и своих рукописей. Я чрезвычайно многим обязан этому произведению, тем более что оно послужило поводом к установлению между нами знакомства. Мне показали его еще задолго до того, как мы встретились, и оно, познакомив меня с его именем, способствовало, таким образом, возникновению между нами дружбы, которую мы питали друг к другу, пока Богу угодно было, дружбы столь глубокой и совершенной, что другой такой вы не найдете и в книгах, не говоря уж о том, что между нашими современниками невозможно встретить что-либо похожее. Для того чтобы возникла подобная дружба, требуется совпадение стольких обстоятельств, что и то много, если судьба ниспосылает

ее один раз в три столетия.

Нет, кажется, ничего, к чему бы природа толкала нас более, чем к дружескому общению. И Аристотель указывает, что хорошие законодатели пекутся больше о дружбе, нежели о справедливости. Ведь высшая ступень ее совершенства — это и есть справедливость. Ибо, вообще говоря, всякая дружба, которую порождают и питают наслаждение или выгода, нужды частные или общественные, тем менее прекрасна и благородна и тем менее является истинной дружбой, чем больше посторонних самой дружбе причин, соображений и целей примешивают к ней.

Равным образом не совпадают с дружбой и те четыре вида привязанности, которые были установлены древними: родственная, общественная, налагаемая гостеприимством и любовная, — ни каждая в отдельности, ни все, вместе взятые.

Что до привязанности детей к родителям, то это скорей уважение. Дружба питается такого рода общением, которого не может быть между ними в силу слишком большого неравенства в летах, и к тому же она мешала бы иногда выполнению детьми их естественных обязанностей. Ибо отцы не могут посвящать детей в свои самые сокровенные мысли, не порождая тем самым

недопустимой вольности, как и дети не могут обращаться к родителям с предупреждениями и увещаниями, что есть одна из первейших обязанностей между друзьями. Существовали народы, у которых, согласно обычаю, дети убивали своих отцов, равно как и такие, у которых, напротив, отцы убивали детей, как будто бы те и другие в чем-то мешали друг другу и жизнь одних зависела от гибели других. Бывали также философы, питавшие презрение к этим естественным узам, как, например, Аристипп; когда ему стали доказывать, что он должен любить своих детей хотя бы уже потому, что они родились от него, он начал плеваться, говоря, что эти плевки тоже его порождение и что мы порождаем также вшей и червей. А другой философ, которого Плутарх хотел примирить с братом, заявил: «Я не придаю большого значения тому обстоятельству, что мы оба вышли из одного и того же отверстия». А между тем слово «брат» — поистине прекрасное слово, выражающее глубокую привязанность и любовь, и по этой причине я и Ла Боэси постоянно прибегали к нему, чтобы дать понятие о нашей дружбе. Но эта общность имущества, разделы его и то, что богатство одного есть в то же время бедность другого, все это до крайности ослабляет и

уродует кровные связи. Стремясь увеличить свое благосостояние, братья вынуждены идти одним шагом и одною тропой, поэтому они волей-неволей часто сталкиваются и мешают друг другу. Кроме того, почему им должны быть обязательно свойственны то соответствие склонностей и душевное сходство, которые только одни и порождают истинную и совершенную дружбу? Отец и сын по свойствам своего характера могут быть весьма далеки друг от друга; то же и братья. Это мой сын, это мой отец, но вместе с тем это человек жестокий, злой или глупый. И затем, поскольку подобная дружба предписывается нам законом или узами, налагаемыми природой, здесь гораздо меньше нашего выбора и свободной воли. А между тем ничто не является в такой мере выражением нашей свободной воли, как привязанность и дружба. Это вовсе не означает, что я не испытывал на себе всего того, что могут дать родственные чувства, поскольку у меня был лучший в мире отец, необычайно снисходительный вплоть до самой глубокой своей старости, да и вообще я происхожу из семьи, прославленной тем, что в ней из рода в род передавалось образцовое согласие между братьями:

et ipse

Notus in fratres animi paterni[102].

Никак нельзя сравнивать с дружбой или уподоблять ей любовь к женщине, хотя такая любовь и возникает из нашего свободного выбора. Ее пламя, охотно признаюсь в этом, —

neque enim est dea nescia nostri
Quae dulcem curis miacet amaritiem[103],

более неотступно, более жгуче и томительно. Но это — пламя безрассудное и летучее, непостоянное и переменчивое, это — лихорадочный жар, то затухающий, то вспыхивающий с новой силой и гнездящийся лишь в одном уголке нашей души. В дружбе же — теплота общая и всепроникающая, умеренная, сверх того, ровная, теплота постоянная и устойчивая, сама приятность и ласка, в которой нет ничего резкого и ранящего. Больше того, любовь — неистовое влечение к тому, что убегает от нас:

Come segue la lepre il cacciatore

---

[102] Примечания: 102

И сам известен отеческим чувством к братьям (*лат.*). Гораций. *Оды,* 2, 6.

[103] Примечания: 103

Небезызвестна и нам богиня, что к заботе примешивает сладкую горечь (*лат.*). Катулл, LXVIII, 17 сл.

Al freddo, al caldo, alla montagna, al lito;
Nè più l'estima poi che presa vede,
Et
sol dietro a chi fugge affretta il piede[104].

Как только такая любовь переходит в дружбу, то есть в согласие желаний, она чахнет и угасает. Наслаждение, сводясь к телесному обладанию и потому подверженное пресыщению, убивает ее. Дружба, напротив, становится тем желаннее, чем полнее мы наслаждаемся ею; она растет, питается и усиливается лишь благодаря тому наслаждению, которое доставляет нам, и так как наслаждение это — духовное, то душа, предаваясь ему, возвышается. Наряду с этой совершенною дружбой и меня захватывали порой эти мимолетные увлечения; я не говорю о том, что подвержен им был и мой друг, который весьма откровенно в этом признается в своих стихах. Таким образом, обе эти страсти были знакомы мне, отлично уживаясь между собой в моей душе, но никогда они не были для меня соизмеримы: первая величаво и горделиво совершала свой подобный полету

[104] Примечания: 104
Так охотник преследует зайца и в мороз, и в жару, через горы и долы, он горит желанием настичь зайца, пока тот убегает, а овладев добычей, уже не ценит (*ит.*). Ариосто. *Неистовый Роланд,* X, 7.

путь, поглядывая презрительно на вторую, копошившуюся где-то внизу, вдалеке от нее.

Что касается брака, то, — не говоря уж о том, что он является сделкой, которая бывает добровольной лишь в тот момент, когда ее заключают (ибо длительность ее навязывается нам принудительно и не зависит от нашей воли), и, сверх того, сделкой, совершаемой обычно совсем в других целях, — в нем бывает еще тысяча посторонних обстоятельств, в которых трудно разобраться, но которых вполне достаточно, чтобы оборвать нить и нарушить развитие живого чувства. Между тем в дружбе нет никаких иных расчетов и соображений, кроме нее самой. Добавим к этому, что, по правде говоря, обычный уровень женщин отнюдь не таков, чтобы они были способны поддерживать ту духовную близость и единение, которыми питается этот возвышенный союз; да и душа их, по-видимому, не обладает достаточной стойкостью, чтобы не тяготиться стеснительностью столь прочной и длительной связи. И конечно, если бы это не составляло препятствий и если бы мог возникнуть такой добровольный и свободный союз, в котором не только души вкушали бы это совершенное наслаждение, но и тела тоже его разделяли, союз, которому человек

отдавался бы безраздельно, то несомненно, что и дружба в нем была бы еще полнее и безусловнее. Но ни разу еще слабый пол не показал нам примера этого, и, по единодушному мнению всех философских школ древности, женщин здесь приходится исключить.

Распущенность древних греков в любви, имеющая совсем особый характер, при наших нынешних нравах справедливо внушает нам отвращение. Но кроме того, эта любовь, согласно принятому у них обычаю, неизбежно предполагала такое неравенство в возрасте и такое различие в общественном положении между любящими, что ни в малой мере не представляла собой того совершенного единения и соответствия, о которых мы здесь говорим: Quis est enim iste amor amicitiae? Cur neque deformem adolescentem quisquam amat, neque formosum senem?[105] И даже то изображение этой любви, которое дает Академия, не отнимает, как я полагаю, у меня права сказать со своей стороны следующее: когда сын Венеры поражает впервые сердце влюбленного страстью к предмету его обожания,

---

[105] Примечания: 105

Как связана дружба с любовью? Почему никто не любит безобразного юношу или красивого старца? (*лат.*) Цицерон. *Тускуланские беседы*, IV, 33.

пребывающему во цвете своей нежной юности, — по отношению к которой греки позволяли себе любые бесстыдные и пылкие домогательства, какие только может породить безудержное желание, — то эта страсть может иметь своим основанием исключительно внешнюю красоту, только обманчивый образ телесной сущности. Ибо о духе тут не могло быть и речи, поскольку он не успел еще обнаружить себя, поскольку он только еще зарождается и не достиг той поры, когда происходит его созревание. Если такой страстью воспламенялась низменная душа, то средствами, к которым она прибегала для достижения своей цели, были богатство, подарки, обещание впоследствии обеспечить высокие должности и прочие низменные приманки, которые порицались философами. Если же она западала в более благородную душу, то и приемы завлечения были более благородными, а именно: наставления в философии, увещания чтить религию, повиноваться законам, отдать жизнь, если понадобится, за благо родины, беседы, в которых приводились образцы доблести, благоразумия, справедливости; при этом любящий прилагал всяческие усилия, дабы увеличить свою привлекательность добрым расположением и красотой

своей души, понимая, что красота его тела увяла уже давно, и надеясь с помощью этого умственного общения установить более длительную и прочную связь с любимым. И когда усилия после долгих стараний увенчивались успехом (ибо если от любящего и не требовалось осторожности и осмотрительности в выражении чувств, то эти качества обязательно требовались от любимого, которому надлежало оценить внутреннюю красоту, обычно неясную и трудно различимую), тогда в любимом рождалось желание духовно зачать от духовной красоты любящего. Последнее для него было главным, а плотское — случайным и второстепенным, тогда как у любящего все было наоборот. Именно по этой причине любимого древние философы ставили выше, утверждая, что и боги придерживаются того же. По этой же причине порицали они Эсхила, который, изображая любовь Ахилла к Патроклу, отвел роль любящего Ахиллу, хотя он был безбородым юношей, только-только вступившим в пору своего цветения и к тому же прекраснейшим среди греков. Поскольку в том целом, которое представляет собой такое содружество, главная и наиболее достойная сторона выполняет свое назначение и господствует, оно, по их словам,

порождает плоды, приносящие огромную пользу как отдельным лицам, так и всему обществу; они говорят, что именно в этом заключалась сила тех стран, где был принят этот обычай, что он был главным оплотом равенства и свободы и что свидетельством этого является столь благодетельная любовь Гармодия и Аристогитона. Они называют ее поэтому божественной и священной. И лишь произвол тиранов и трусость народов могут, по их мнению, противиться ей. В конце концов, все, что можно сказать в оправдание Академии, сводится лишь к тому, что эта любовь заканчивалась подлинной дружбой, а это не так уже далеко от определения любви стоиками: Amorem conatum esse amicitiae faciendae ex pulchritudinis specie[106]. Возвращаюсь к моему предмету, к дружбе более естественной и не столь неравной. Omnino amicitiae corroboratis iam confirmatisque ingeniis et aetatibus, iudicandae sunt[107].

Вообще говоря, то, что мы называем обычно друзьями и дружбой, это не более чем короткие

---

[106] Примечания: 106

Любовь есть стремление добиться дружбы того, кто привлекает своей красотой (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, IV, 34.

[107] Примечания: 107

Правильно судить о дружбе может лишь человек с закаленной душой, в зрелом возрасте (*лат.*). Цицерон. *Лелий,* 20.

и близкие знакомства, которые мы завязали случайно или из соображений удобства и благодаря которым наши души вступают в общение. В той же дружбе, о которой я здесь говорю, они смешиваются и сливаются в нечто до такой степени единое, что скреплявшие их когда-то швы стираются начисто и они сами больше не в состоянии отыскать их следы. Если бы у меня настойчиво требовали ответа, почему я любил моего друга, я чувствую, что не мог бы выразить этого иначе, чем сказав: «Потому, что это был он, и потому, что это был я».

Где-то, за пределами доступного моему уму и того, что я мог бы высказать по этому поводу, существует какая-то необъяснимая и неотвратимая сила, устроившая этот союз между нами. Мы искали друг друга прежде, чем свиделись, и отзывы, которые мы слышали один о другом, вызывали в нас взаимное влечение большей силы, чем это можно было бы объяснить из содержания самих отзывов. Полагаю, что таково было веление неба. Самые имена наши сливались в объятиях. И уже при первой встрече, которая произошла случайно на большом празднестве, в многолюдном городском обществе, мы почувствовали себя настолько очарованными друг другом, настолько знако-

мыми, настолько связанными между собой, что никогда с той поры не было для нас ничего ближе, чем он — мне, а я — ему. В написанной им и впоследствии изданной превосходной латинской сатире он оправдывает и объясняет ту необыкновенную быстроту, с какой мы установили взаимное понимание, которое так скоро достигло своего совершенства. Возникнув столь поздно и имея в своем распоряжении столь краткий срок (мы оба были уже людьми сложившимися, причем он — старше на несколько лет), наше чувство не могло терять времени и взять себе за образец ту размеренную и спокойную дружбу, которая принимает столько предосторожностей и нуждается в длительном предваряющем ее общении. Наша дружба не знала иных помыслов, кроме как о себе, и опору искала только в себе. Тут была не одна какая-либо причина, не две, не три, не четыре, не тысяча особых причин, но какая-то квинтэссенция или смесь всех причин, вместе взятых, которая захватила мою волю, заставила ее погрузиться в его волю и раствориться в ней, точно так же, как она захватила полностью и его волю, заставив ее погрузиться в мою и раствориться в ней с той же жадностью, с тем же пылом. Я говорю «раствориться», ибо в нас не осталось

ничего, что было бы достоянием только одного или другого, ничего, что было бы только его или только моим.

Когда Лелий в присутствии римских консулов, подвергших преследованиям, после осуждения Тиберия Гракха, всех единомышленников последнего, приступил к допросу Гая Блоссия — а он был одним из ближайших его друзей — и спросил его, на что он был бы готов ради Гракха, тот ответил: «На все». «То есть как это на все? — продолжал допрашивать Лелий. — А если бы он приказал тебе сжечь наши храмы?» «Он не приказал бы мне этого», — возразил Блоссий. «Ну, а если бы он все-таки это сделал?» — настаивал Лелий. «Я бы повиновался ему», — сказал Блоссий. Будь он и в самом деле столь совершенным другом Гракха, как утверждают историки, ему все же незачем было раздражать консулов своим смелым признанием; ему не следовало, кроме того, отступаться от своей уверенности в невозможности подобного приказания со стороны Гракха. Во всяком случае, те, которые осуждают этот ответ как мятежный, не понимают по-настоящему тайны истинной дружбы и не могут постичь того, что воля Гракха была его волей, что он знал ее и мог располагать ею. Они были больше друзьями,

чем гражданами, больше друзьями, чем друзьями или недругами своей страны, чем друзьями честолюбия или смуты. Полностью вверив себя друг другу, каждый из них полностью управлял склонностями другого, ведя их как бы на поводу, и поскольку они должны были идти в этой упряжке, руководствуясь добродетелью и велениями разума, — ибо иначе взнуздать их было бы невозможно, — ответ Блоссия был таким, каким надлежало быть. Если бы их поступки не были сходными, они, согласно тому мерилу, которым я пользуюсь, не были бы друзьями ни друг другу, ни самим себе. Замечу, что ответ Блоссия звучал так же, как звучал бы мой, если бы кто-нибудь обратился ко мне с вопросом: «Убили бы вы свою дочь, если бы ваша воля приказала вам это?», и я ответил бы утвердительно. Такой ответ не свидетельствует еще о готовности к этому, ибо у меня нет никаких сомнений в моей воле, так же как и в воле такого друга. Никакие доводы в мире не могли бы поколебать моей уверенности в том, что я знаю волю и мысли моего друга. В любом его поступке, в каком бы виде мне его ни представили, я могу тотчас же разгадать побудительную причину. Наши души были столь тесно спаяны, они взирали друг на друга с таким

пылким чувством и, отдаваясь этому чувству, до того раскрылись одна перед другой, обнажая себя до самого дна, что я не только знал его душу, как свою собственную, но и поверил бы ему во всем, касающемся меня, больше, чем самому себе.

Пусть не пытаются уподоблять этой дружбе обычные дружеские связи. Я знаком с ними так же, как всякий другой, и притом с самыми глубокими из них. Не следует, однако, смешивать их с истинной дружбой: делающий так впал бы в большую ошибку. В этой обычной дружбе надо быть всегда начеку, не отпускать узды, проявлять всегда сдержанность и осмотрительность, ибо узы, скрепляющие подобную дружбу, таковы, что могут в любое мгновение оборваться. «Люби своего друга, — говорил Хилон, — так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь возненавидеть его; и ненавидь его так, как если бы тебе предстояло когда-нибудь полюбить его». Это правило, которое кажется отвратительным, когда речь идет о возвышенной, всепоглощающей дружбе, весьма благодетельно в применении к обыденным, ничем не замечательным дружеским связям. В отношении этих последних весьма уместно вспомнить излюбленное изречение Аристотеля: «О, друзья мои, нет больше ни одного друга!»

В этом благородном общении разного рода услуги и благодеяния, питающие другие виды дружеских связей, не заслуживают того, чтобы принимать их в расчет; причина этого — полное и окончательное слияние воли обоих друзей. Ибо подобно тому как любовь, которую я испытываю к самому себе, нисколько не возрастает от того, что по мере надобности я себе помогаю, — что бы ни говорили на этот счет стоики, — или подобно тому как я не испытываю к себе благодарности за оказанное самому себе одолжение, так и единение между такими друзьями, как мы, будучи поистине совершенным, лишает их способности ощущать, что они тем-то и тем-то обязаны один другому, и заставляет их отвергнуть и изгнать из своего обихода слова, означающие разделение и различие, как, например: благодеяние, обязательство, признательность, просьба, благодарность и тому подобное. Поскольку все у них действительно общее: желания, мысли, суждения, имущество жены, дети, честь и самая жизнь, и поскольку их союз есть не что иное, как — по весьма удачному определению Аристотеля — одна душа в двух телах, — они не могут ни ссужать, ни давать что-либо один другому. Вот почему законодатели, дабы возвысить брак каким-нибудь, хотя бы

воображаемым, сходством с этим божественным единением, запрещают дарения между супругами, как бы желая этим показать, что все у них общее и что им нечего делить и распределять между собой.

Если бы в той дружбе, о которой я говорю, один все же мог что-либо подарить другому, то именно принявший от друга благодеяние обязал бы этим его: ведь оба они не желают ничего лучшего, как сделать один другому благо, и именно тот, кто предоставляет своему другу возможность и повод к этому, проявляет щедрость, даруя ему удовлетворение, ибо он получает возможность осуществить свое самое пламенное желание. Когда философ Диоген нуждался в деньгах, он не говорил, что одолжит их у друзей; он говорил, что попросит друзей возвратить ему долг. И для того чтобы показать, как это происходит на деле, я приведу один замечательный пример из древности.

Эвдамид, коринфянин, имел двух друзей: Хариксена, сикионца, и Аретея, коринфянина. Будучи беден, тогда как оба его друга были богаты, он, почувствовав приближение смерти, составил следующее завещание: «Завещаю Аретею кормить мою мать и поддерживать ее старость,

Хариксену же выдать замуж мою дочь и дать ей самое богатое приданое, какое он только сможет; а в случае если жизнь одного из них пресечется, я возлагаю его долю обязанностей на того, кто останется жив». Первые, кто прочитал это завещание, посмеялись над ним; но душеприказчики Эвдамида, узнав о его содержании, приняли его с глубочайшим удовлетворением. А когда один из них, Хариксен, умер через пять дней и обязанности его перешли к Аретею, тот стал заботливо ухаживать за матерью Эвдамида и из пяти талантов, в которых заключалось состояние, два с половиной отдал в приданое своей единственной дочери, а другие два с половиною — дочери Эвдамида, которую выдал замуж в тот же день, что и свою.

Этот пример был бы вполне хорош, если бы не одно обстоятельство — то, что у Эвдамида было целых двое друзей, а не один. Ибо та совершенная дружба, о которой я говорю, неделима: каждый с такой полнотой отдает себя другу, что ему больше нечего уделить кому-нибудь еще; напротив, он постоянно скорбит о том, что он — только одно, а не два, три, четыре существа, что у него нет нескольких душ и нескольких воль, чтобы отдать их все предмету своего обожания. В обычных дру-

жеских связях можно делить свое чувство: можно в одном любить его красоту, в другом — простоту нравов, в третьем — щедрость; в том — отеческие чувства, в этом — братские, и так далее. Но что касается дружбы, которая подчиняет себе душу всецело и неограниченно властвует над нею, тут никакое раздвоение невозможно. Если бы два друга одновременно попросили вас о помощи, к которому из них вы бы поспешили? Если бы они обратились к вам за услугами, совместить которые невозможно, как бы вышли вы из этого положения? Если бы один из них доверил вам тайну, которую полезно знать другому, как бы вы поступили?

Но дружба единственная, заслоняющая все остальное, не считается ни с какими другими обязательствами. Тайной, которую я поклялся не открывать никому другому, я могу, не совершая клятвопреступления, поделиться с тем, кто для меня не «другой», а то же, что я сам. Удваивать себя — великое чудо, и величие его недоступно тем, кто утверждает, что способен себя утраивать. Нет ничего такого наивысшего, что имело бы свое подобие. И тот, кто предположил бы, что двух моих истинных друзей я могу любить с одинаковой силой и что они могут одинаково любить друг друга,

а вместе с тем и меня с той же силой, с какою я их люблю, превратил бы в целое братство нечто совершенно единое и единственное, нечто такое, что и вообще труднее всего сыскать на свете.

Конец рассказанной мной истории отлично подходит к тому, о чем я сейчас говорил, — ибо Эвдамид, поручая своим друзьям позаботиться о его нуждах, сделал это из любви и расположения к ним. Он оставил их наследниками своих щедрот, заключавшихся в том, что именно им дал он возможность сделать ему благо. И, без сомнения, в его поступке сила дружбы проявилась намного ярче, чем в том, что сделал для него Аретей. Словом, эти проявления дружбы непонятны тому, кто сам не испытал их. Вот почему я чрезвычайно ценю ответ того молодого воина Киру, который на вопрос царя, за сколько продал бы он коня, доставившего ему первую награду на скачках, и не согласен ли он обменять его на целое царство, ответил: «Нет, государь. Но я охотно отдал бы его, если бы мог такой ценой найти друга, достойного такого союза».

Он неплохо выразился, сказав «если бы мог найти», ибо легко бывает найти только таких людей, которые подходят для поверхностных дружеских связей. Но в той дружбе, какую я имею в виду,

затронуты самые сокровенные глубины нашей души; в дружбе, поглощающей нас без остатка, нужно, конечно, чтобы все душевные побуждения человека были чистыми и безупречными.

Когда дело идет об отношениях, которые устанавливаются для какой-либо определенной цели, нужно заботиться лишь об устранении изъянов, имеющих прямое отношение к этой цели. Мне совершенно безразлично, каких религиозных взглядов придерживается мой врач или адвокат. Это обстоятельство не имеет никакой связи с теми дружескими услугами, которые они обязаны мне оказывать. То же и в отношении услужающих мне. Я очень мало забочусь о чистоте нравов моего лакея; я требую от него лишь усердия. Я не так боюсь конюха-картежника, как конюха-дурака. По мне не беда, что мой повар сквернослов, знал бы он свое дело. Впрочем, я не собираюсь указывать другим, как нужно им поступать — для этого найдется много охотников, — я говорю только о том, как поступаю я сам.

> *Mihi sic usus est; tibi, ut opus est facto, face*[108].

---

[108] Примечания: 108

Мой обычай таков, а ты поступай, как тебе надо (*лат.*). Теренций. *Самоистязатель,* 80.

За столом я предпочитаю занимательного собеседника благонравному; в постели красоту — доброте; для серьезных бесед — людей основательных, но свободных от педантизма. И то же во всем остальном.

Некий отец, застигнутый скачущим верхом на палочке, когда он играл со своими детьми, попросил человека, заставшего его за этим занятием, воздержаться от суждения об этом до тех пор, пока он сам не станет отцом: когда в его душе пробудится отцовское чувство, он сможет более здраво и справедливо судить о его поведении. Точно так же и я; и мне хотелось бы говорить о дружбе лишь с теми, которым довелось самим испытать то, о чем я рассказываю. Но зная, что это — вещь необычная и редко в жизни встречающаяся, я не очень надеюсь найти судью, сведущего в этих делах. Ибо даже те рассуждения о дружбе, которые оставила нам древность, кажутся мне слишком бледными по сравнению с чувствами, которые я в себе ощущаю. Действительность здесь превосходит все наставления философии:

Nil ego contulerim iucundo sanus

amico[109].

Древний поэт Менандр говорил: счастлив тот, кому довелось встретить хотя бы тень настоящего друга. Он, конечно, имел основания это сказать, в особенности если сам испытал нечто подобное. И в самом деле, когда я сравниваю всю последующую часть моей жизни, которую я, благодарение Богу, прожил тихо, благополучно, и, — если не говорить о потере такого друга, — без больших печалей, в нерушимой ясности духа, довольствуясь тем, что мне было отпущено, не гоняясь за большим, — так вот, говорю я, когда я сравниваю всю остальную часть моей жизни с теми четырьмя годами, которые мне было дано провести в отрадной для меня близости и сладостном общении с этим человеком, — мне хочется сказать, что все это время — дым, темная и унылая ночь. С того самого дня, как я потерял его,

quem semper acerbum,
Semper honoratum (sic, di, voluistis)

[109] Примечания: 109

В здравом уме ни с чем не сравню доброго друга (*лат.*). Гораций. *Сатиры*, I, 5, 44.

habebo[110],

я томительно прозябаю; и даже удовольствия, которые мне случается испытывать, вместо того чтобы принести утешение, только усугубляют скорбь от утраты. Все, что было у нас, мы делили с ним поровну, и мне кажется, что я отнимаю его долю;

Nec fas esse ulla me voluptate hic frui
Decrevi, tantisper dum ille abest meus particeps[111].

Я настолько привык быть всегда и во всем его вторым «я», что мне представляется, будто теперь я лишь полчеловека.

Illam meae si partem animae tulit
Maturior vis, quid moror altera,
Nec carus aeque, nec superstes
Integer? Ille dies utramque

---

[110] Примечания: 110

Который я всегда буду считать горестным и всегда чтить — такова, о боги, была ваша воля (*лат.*). *Энеида,* V, 49–50.

[111] Примечания: 111

Не должно мне впредь ничем наслаждаться, когда не стало участника этих радостей (*лат.*). Теренций. *Самоистязатель,* 149 сл.

Duxit ruinam[112].

И, что бы я ни делал, о чем ни думал, я неизменно повторяю мысленно эти стихи, — как и он делал бы, думая обо мне; ибо насколько он был выше меня в смысле всяких достоинств и добродетели, настолько же превосходил он меня и в исполнении долга дружбы.

Quis desiderio sit pudor aut modus
Tam cari capitis?[113]

O misero frater adempte mihi!
Omnia tecum una perierunt gaudia nostra,
Quae tuus in vita dulcis alebat amor.
Tu mea, tu moriens fregisti commoda, frater;
Tecum una tota est nostra sepulta anima,
Cuius ego interitu tota de mente fugavi
Haec studia atque omnes delicias animi.
. . . . . .

---

[112] Примечания: 112

Поскольку необорная сила отняла половину моей души, стоит ли задерживаться здесь второй ее половине, не столь драгоценной и уже не цельной? Этот день погубил обоих (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, 17, 5 сл.

[113] Примечания: 113

Может ли быть мера или стыд в тоске по столь дорогой тени? (*лат.*) Гораций. *Оды,* I, 24, 1–2 сл.

Alloquar? audiero nunquam tua verba loquentem?

Nunquam ego te, vita frater amabilior,

Aspiciam posthac? At certe semper amabo?[114]

Но послушаем этого шестнадцатилетнего юношу.

Так как я узнал, что это произведение уже напечатано и притом в злонамеренных целях людьми, стремящимися расшатать и изменить наш государственный строй, не заботясь о том, смогут ли они улучшить его, — и напечатано вдобавок вместе со всякими изделиями в их вкусе, — я решил не помещать его на этих страницах. И чтобы память его автора не пострадала в глазах тех, кто не имел возможности познакомиться ближе с его взглядами и поступками, я их предупреждаю, что рассуждение об этом предмете было написано им в ранней юности, в качестве упражнения на ходячую и избитую тему, тысячу

[114] Примечания: 114

О, брат, отнятый у меня, несчастного, вместе с тобой погибли все мои радости, которые питала твоя любовь, пока ты жил. Брат, ты, умирая, разрушил все мое счастье, с тобой погребена моя душа, после твоей смерти я забыл об искусстве и о всех усладах души… Взываю, но неужто никогда не услышу твоих слов, никогда не увижу тебя, брат, который мне был жизни дороже? Но любить тебя буду вечно? (*лат.*) Катулл, LVIII, 20 сл. и LXV, 9 сл.

раз обрабатывавшуюся в разных книгах. Я нисколько не сомневаюсь, что он придерживался тех взглядов, которые излагал в своем сочинении, так как он был слишком совестлив, чтобы лгать, хотя бы в шутку. Больше того, я знаю, что если бы ему дано было выбрать место своего рождения, он предпочел бы Сарлаку Венецию, — и с полным основанием. Но вместе с тем в его душе было глубоко запечатлено другое правило — свято повиноваться законам страны, в которой он родился. Никогда еще не было лучшего гражданина, больше заботившегося о спокойствии своей родины и более враждебного смутам и новшествам своего времени. Он скорее отдал бы свои способности на то, чтобы погасить этот пожар, чем на то, чтобы содействовать его разжиганию. Дух его был создан по образцу иных веков, чем наш.

Поэтому вместо обещанного серьезного сочинения я помещу здесь другое, написанное им в том же возрасте, но более веселое и жизнерадостное.

Глава XXX
Об умеренности

Можно подумать, что наше прикосновение несет с собою заразу; ведь мы портим все, к чему ни приложим руку, как бы ни было оно само по себе хорошо и прекрасно. Можно и к добродетели прилепиться так, что она станет порочной: для этого стоит лишь проявить к ней слишком грубое и необузданное влечение. Те, кто утверждает, будто в добродетели не бывает чрезмерного по той причине, что все чрезмерное не есть добродетель, просто играют словами:

> *Insani sapiens nomen ferat, aequus iniqui,*
> *Ultra quam satis est virtutem si petat ipsam*[115].

Это не более как философское ухищрение. Можно и чересчур любить добродетель и впасть в крайность, ревнуя к справедливости. Здесь уместно вспомнить слова апостола: «Не будьте

---

[115] Примечания: 115

Мудрого назовут безумцем, справедливого — несправедливым, если их стремление к добродетели не знает меры (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 6, 15 сл.

более мудрыми, чем следует, но будьте мудрыми в меру».

Я видел одного из великих мира сего, который подорвал веру в свое благочестие, будучи слишком благочестив для людей его положения.

Я люблю натуры умеренные и средние во всех отношениях. Чрезмерность в чем бы то ни было, даже в том, что есть благо, если не оскорбляет меня, то, во всяком случае, удивляет, и я затрудняюсь, каким бы именем ее окрестить. И мать Павсания, которая первой изобличила сына и принесла первый камень, чтобы его замуровать, и диктатор Постумий, осудивший на смерть своего сына только за то, что пыл юности увлек того во время успешной битвы с врагами и он оказался немного впереди своего ряда, кажутся мне скорее странными, чем справедливыми. И я не имею ни малейшей охоты ни призывать к столь дикой и столь дорогой ценой купленной добродетели, ни следовать ей.

Лучник, который допустил перелет, стоит того, чья стрела не долетела до цели. И моим глазам так же больно, когда их внезапно поражает яркий свет, как и тогда, когда я вперяю их во мрак. Калликл у Платона говорит, что крайнее увлечение философией вредно, и советует не углубляться

в нее далее тех пределов, в каких она полезна; если заниматься ею умеренно, она приятна и удобна, но в конце концов она делает человека порочным и диким, презирающим общие верования и законы, врагом приятного обхождения, врагом всех человеческих наслаждений, не способным заниматься общественной деятельностью и оказывать помощь не только другому, но и себе самому, готовым безропотно сносить оскорбления. Он вполне прав, если предаваться в философии излишествам, она отнимает у нас естественную свободу и своими докучливыми ухищрениями уводит с прекрасного и ровного пути, который начертала для нас природа.

Привязанность, которую мы питаем к нашим женам, вполне законна; теология, однако, всячески обуздывает и ограничивает ее. Я когда-то нашел у святого Фомы, в том месте, где он осуждает браки между близкими родственниками, среди других доводов также и следующий: есть опасность, что чувство, питаемое к жене-родственнице, может стать неумеренным; ведь если муж в должной мере испытывает к жене подлинную и совершенную супружескую привязанность и к ней еще добавляется та привязанность, которую мы должны испытывать к родственникам,

то нет никакого сомнения, что этот излишек заставит его выйти за пределы разумного.

Науки, определяющие поведение и нравы людей, — как философия и теология, — вмешиваются во все: нет среди наших дел и занятий такого, — сколь бы оно ни было личным и сокровенным, — которое могло бы укрыться от их назойливых взглядов и их суда. Избегать их умеют лишь те, кто ревниво оберегает свою свободу. Таковы женщины, предоставляющие свои прелести всякому, кто пожелает: однако стыд не велит им показываться врачу. Итак, я хочу от имени этих наук наставить мужей (если еще найдутся такие, которые и в браке сохраняют неистовство страсти), что даже те наслаждения, которые они вкушают от близости с женами, заслуживают осуждения, если при этом они забывают о должной мере, и что в законном супружестве можно так же впасть в распущенность и разврат, как и в прелюбодейной связи. Эти бесстыдные ласки, на которые толкает нас первый пыл страсти, не только исполнены непристойности, но и несут в себе пагубу нашим женам. Пусть лучше их учит бесстыдству кто-нибудь другой. Они и без того всегда готовы пойти нам навстречу. Что до меня, то я следовал лишь естественным и простым

влечениям, внушаемым нам самой природой.

Брак — священный и благочестивый союз; вот почему наслаждения, которые он нам приносит, должны быть сдержанными, серьезными, даже, в некоторой мере, строгими. Это должна быть страсть совестливая и благородная. И поскольку основная цель такого союза — деторождение, некоторые сомневаются, дозволительна ли близость с женой в тех случаях, когда мы не можем надеяться на естественные плоды, например, когда женщина беременна или когда она вышла уже из возраста. По мнению Платона, это то же, что убийство. Некоторые народы и, между прочим, магометане гнушаются сношений с беременными женщинами; другие — когда у женщины месячные. Зенобия допускала к себе мужа один только раз, а затем в течение всего периода беременности не разрешала прикасаться к ней; и только тогда, когда наступало время вновь зачать, он снова приходил к ней. Вот похвальный и благородный пример супружества.

У какого-то истомившегося и жадного до этой утехи поэта Платон позаимствовал такой рассказ. Однажды Юпитер до того возгорелся желанием насладиться со своей женой, что, не имея терпения подождать, пока она ляжет на ложе, повалил

ее на пол. От полноты испытанного им удовольствия он начисто забыл о решениях, только что принятых им совместно с богами на его небесном придворном совете. Он похвалялся затем, что ему на этот раз было так же хорошо, как тогда, когда он лишил свою жену девственности тайком от ее и своих родителей.

Цари Персии хотя и приглашали своих жен на пиры, но когда желания их от выпитого вина распалялись и им начинало казаться, что еще немного и придется снять узду со страстей, они отправляли их на женскую половину, дабы не сделать их соучастницами своей безудержной похоти, и звали вместо них других женщин, к которым не обязаны были относиться с таким уважением.

Не всякие удовольствия и не всякие милости в одинаковой мере приличествуют людям разного положения. Эпаминонд велел посадить в темницу одного распутного юношу; Пелопид попросил его выпустить ради него узника на свободу; Эпаминонд ответил отказом, но уступил ходатайству одной из своих подруг, которая также об этом просила. Он следующим образом объяснил свое поведение: это была милость, оказанная приятельнице, но недостойная по

отношению к военачальнику. Софокл, будучи претором одновременно с Периклом, увидел однажды проходившего мимо красивого юношу. «Погляди, какой прелестный юноша!» — сказал он Периклу, на что Перикл ответил: «Он может быть желанен для всякого, но не для претора, у которого должны быть незапятнанными не только руки, но и глаза».

Элий Вер, император, когда его жена стала жаловаться, что он ищет любовных утех с другими женщинами, ей ответил, что делает это со спокойной совестью, так как брак есть исполненный достоинства, честный союз, а не легкомысленная и сладострастная связь. И наши старинные церковные авторы с похвалой вспоминают о женщине, которая дала развод своему мужу, потому что не пожелала терпеть его чрезмерно сладострастные и бесстыдные ласки. И, вообще говоря, нет такого дозволенного и законного наслаждения, в котором излишества и неумеренность не заслуживали бы нашего порицания.

Но, говоря по совести, до чего же несчастное животное — человек! Самой природой он устроен так, что ему доступно лишь одно только полное и цельное наслаждение, и однако же он сам старается урезать его своими нелепыми умство-

ваниями. Видно, он еще недостаточно жалок, если не усугубляет сознательно и умышленно своей горькой доли:

Fortunae miseras auximus arte vias[116].

Мудрость человеческая поступает весьма глупо, пытаясь ограничить количество и сладость предоставленных нам удовольствий, — совсем так же, как и тогда, когда она усердно и благосклонно пускает в ход свои ухищрения, дабы пригладить и приукрасить страдания и уменьшить нашу чувствительность к ним. Если бы я был главой какой-нибудь секты, я избрал бы другой, более естественный путь, который и впрямь является и более удобным и более праведным; и я, быть может, сумел бы увлечь людей на него.

Между тем наши врачеватели, и телесные и духовные, словно сговорившись между собой, не находят ни другого пути к исцелению, ни других лекарств против болезней души и тела, кроме мучений, боли и наказаний. Бдения, посты, власяница, изгнание в отдаленные и пустынные местности, заключение навеки в темницу, бичевание и прочие муки были введены именно ради

[116] Примечания: 116

Мы искусственно удлинили горестные пути судьбы (*лат.*). Проперций, III, 7, 32.

этого и притом с непременным условием, чтобы они были самыми что ни на есть настоящими муками и мы со всей остротой ощущали бы их горечь и чтобы не получалось так, как произошло с неким Галлионом, который, будучи отправлен в изгнание на остров Лесбос, как сообщили оттуда в Рим, жил там в свое удовольствие, и, таким образом, то, что предназначалось ему в наказание, превратилось для него в благоденствие; тогда сенат, изменив ранее принятое решение, возвратил его обратно к жене и приказал ему не отлучаться из дома, дабы он и в самом деле почувствовал, что наказан. Ибо, кому пост придает здоровья и бодрости, кому рыба нравится больше, для того пост уже не будет исцеляющим душу средством; и точно так же, при врачевании тела, лекарства не оказывают полезного действия на того, кто принимает их с охотою и удовольствием. Горечь и отвращение, которое они вызывают, являются обстоятельствами, содействующими их целительным свойствам. Человек, который мог бы употреблять ревень как обычную пищу, не испытывал бы никакой пользы от его применения: надо, чтобы ревень бередил желудок, — только тогда он может оказать полезное действие. Отсюда вытекает общее правило, что все исцеляется

своею противоположностью, ибо только боль врачует боль.

Это наводит на мысль о другом, весьма странном мнении, будто бы небесам и природе можно угодить кровопролитием и человекоубийством, как это признавалось всеми религиями. Еще на памяти наших отцов Мурад, захватив Коринфский перешеек, принес в жертву душе своего отца шестьсот молодых греков, чтобы их кровь искупила грехи покойного. И в новых землях, открытых уже в наше время, столь чистых и девственных по сравнению с нашими, подобный обычай имеет повсеместное распространение: все их идолы захлебываются в человеческой крови, причем нередки примеры невообразимой жестокости. Жертвы поджаривают живыми и наполовину изжаренными вытаскивают из жаровни, чтобы вырвать у них сердце и внутренности. У других, в том числе даже у женщин, сдирают заживо кожу и этой еще окровавленной кожей накрываются сами и облачают в нее других. И мы встречаем у этих народов не меньше, чем у нас, примеров твердости и мужества. Ибо эти несчастные — старики, женщины, дети, предназначенные в жертву, — за несколько дней перед священнодействием обходят, собирая

милостыню, дома, дабы принести ее в дар при жертвоприношении, и являются на эту бойню приплясывая и распевая вместе с сопровождающей их толпой. Послы мексиканского владыки, описывая Фердинандо Кортесу мощь и величие своего господина, сообщили ему прежде всего о том, что у него тридцать вассалов и каждый из них может выставить по сто тысяч воинов и что он обитает в самом красивом и самом укрепленном, какой только существует в мире, городе, и под конец добавили, что ему полагается ежегодно приносить в жертву богам пятьдесят тысяч человек. Он ведет, говорили они, непрерывные войны с некоторыми большими, живущими по соседству народами не только для того, чтобы доставить упражнение молодежи своей страны, но и с целью обеспечить в своем государстве жертвоприношения военнопленными. В другой раз, в одном из их городов, по случаю прибытия туда Кортеса, было единовременно принесено в жертву пятьдесят человек. Расскажу еще следующее: некоторые из этих народов, разбитые Кортесом, дабы признать себя побежденными и искать его дружбы, отправили к нему своих представителей; послы, передавая три вида подарков, сказали: «Господин, вот тебе пять рабов. Если

ты грозный бог и питаешься мясом и кровью, пожри их, и мы тебя еще больше возлюбим; если ты кроткий бог, вот ладан и перья; если же ты человек, прими этих птиц и эти плоды».

Глава XXXI
О каннибалах

Царь Пирр, переправившись в Италию и увидев боевой строй высланного против него римского войска, сказал: «Я не знаю, что тут за варвары (ибо греки называли так всех чужестранцев), но расположение войска, которое я пред собой вижу, нисколько не варварское». То же самое говорили и греки о войске, переправленном к ним Фламинием; то же мнение высказал и Филипп, рассматривая с холма порядок и расположение римского лагеря, разбитого на его земле Публием Сульпицием Гальбой. Это показывает, с какой осторожностью следует относиться к общепринятым мнениям, а также, что судить о чем бы то ни было надо, опираясь на разум, а не на общее мнение.

У меня довольно долго служил человек, проведший десять или двенадцать лет в том Новом Свете, который открыт уже в наше время; он жил в тех местах, где пристал к берегу Вильганьон, назвавший эту землю Антарктической Францией. Это открытие бескрайней страны является,

по-видимому, весьма важным. Я не мог бы, впрочем, поручиться за то, что в будущем не будет открыта еще какая-нибудь другая, ведь столько людей, гораздо ученее нас, ошибались на этот счет. Я опасаюсь, однако, что наши глаза алчут большего, чем может вместить желудок, а также что любопытство в нас превосходит наши возможности. Мы захватываем решительно все, но наша добыча — ветер.

Солон у Платона пересказывает слышанное им от жрецов города Саиса в Египте: некогда, еще до потопа, существовал большой остров, по имени Атлантида, расположенный прямо на запад от того места, где Гибралтарский пролив смыкается с океаном. Этот остров был больше Африки и Азии взятых вместе, и цари этой страны, владевшие не только одним этим островом, но утвердившиеся и на материке, — так что они господствовали в Африке вплоть до Египта, а в Европе вплоть до Тосканы, — задумали вторгнуться даже в Азию и подчинить народы, обитавшие на берегах Средиземного моря до залива его, известного под именем Большого моря. С этой целью они переправились в Испанию, пересекли Галлию, Италию и дошли до Греции, где их задержали афиняне. Однако некоторое время спустя и они, и

афиняне, и их остров были поглощены потопом. Весьма вероятно, что эти ужасные опустошения, причиненные водами, вызвали много причудливых изменений в местах обитания человека; ведь считают же, что море оторвало Сицилию от Италии,

Haec loca, vi quondam et vasta convulsa ruina,
Dissiluisse ferunt, cum protinus utraque tellus
Una foret[117],

Кипр от Сирии, остров Негрепонт от материковой Беотии и, напротив, воссоединило другие земли, которые прежде были отделены друг от друга, заполнив песком и илом углубления между ними:

sterilisque diu palus aptaque remis
Vicinas

[117] Примечания: 117
Эти земли, как говорят, были некогда разъединены великим землетрясением, а раньше это была единая страна (*лат.*). *Энеида,* III, 414 и 416 сл.

urbes alit, et grave sentit aratrum[118].

Но не похоже, чтобы этим островом и был Новый Свет, который мы недавно открыли, ибо вышеупомянутый остров почти соприкасался с Испанией, и трудно поверить, чтобы наводнение могло затопить страну протяжением более чем на тысячу двести лье; а кроме того, открытия мореплавателей нашего времени с точностью установили, что это не остров, но материк, примыкающий, с одной стороны, к Ост-Индии, а с другой — к землям, расположенным у того и другого полюса, — или, если он все-таки не смыкается с ними, то они отделены друг от друга настолько узким проливом, что это не дает основания называть новооткрытую землю островом.

По-видимому, этим огромным телам присущи, как и нашим, движения двоякого рода — естественные и судорожные. Когда я вспоминаю о переменах, произведенных, можно сказать, у меня на глазах моею родною Дордонью на правом ее берегу, если смотреть вниз по течению, и о том, что за двадцать лет она передвинулась до такой степени, что размыла фундаменты многих стро-

[118] Примечания: 118

Долго бывшая бесплодной гавань, где плавали корабли, теперь, взрытая тяжким плугом, питает соседние города (*лат.*). Гораций. *Наука поэзии,* 65 сл.

ений, я отчетливо вижу, что тут речь идет не об естественном, но о судорожном движении, ибо, если бы она и прежде перемещалась с подобной быстротой и впредь стала бы вести себя не иначе, то весь облик мира был бы изменен ею одной. Но реки, как правило, не всегда ведут себя одинаково: то они смещаются в одну сторону, то в другую, а то держатся своего старого русла. Я не говорю о внезапных наводнениях, причины которых нам хорошо известны. В Медоне море засыпало извергнутым им песком земли моего брата, господина д'Арсака; виднеются только коньки крыш каких-то строений; сдававшиеся им в аренду участки и его возделанные поля превратились в скудные пастбища. Обитатели этих мест говорят, что с некоторых пор море так стремительно наступает на них, что они потеряли уже целых четыре лье прибрежной земли. Эти пески как бы его квартирьеры, и мы видим огромные груды их, которые движутся на полулье впереди моря, завоевывая для него сушу.

Другое свидетельство древних, с которым также хотят связать открытие Нового Света, мы находим у Аристотеля, если только та книжечка, где повествуется о неслыханных чудесах, действительно принадлежит ему. В ней он рас-

сказывает, что несколько карфагенян, миновав Гибралтарский пролив и выйдя в Атлантический океан, после долгого плавания вдалеке от всякого материка открыли в конце концов большой плодородный остров, весь покрытый лесами и орошаемый полноводными и глубокими реками; впоследствии и они, и вслед да ними другие, привлекаемые красотой и плодородием этого острова, отправились туда вместе с женами и детьми и начали там обосновываться. Властители Карфагена, однако, увидев, что страна их мало-помалу становится все безлюднее, издали строгий приказ, которым под страхом смерти запрещалось переселяться туда кому бы то ни было; этим же приказом они изгнали оттуда всех раньше поселившихся там из опасения, как бы те, умножившись в числе, не подавили их и не разорили их государства. Но и этот рассказ Аристотеля не имеет ни малейшего отношения к недавно открытым землям.

Человек, который служил у меня, был человек простой и необразованный, а это как раз одно из необходимых условий достоверности показаний, ибо люди с более тонким умом наблюдают, правда, с большей тщательностью и видят больше, но они склонны придавать всему свое толкование

и, желая набить ему цену и убедить слушателей, не могут удержаться, чтобы не исказить, хоть немного, правду; они никогда не изобразят вещей такими, каковы они есть; они их переиначивают и приукрашивают в соответствии с тем, какими показались они им самим; и с целью придать вес своему мнению и склонить вас на свою сторону они охотно присочиняют кое-что от себя, так сказать, расширяя и удлиняя истину. Тут нужен либо человек исключительно добросовестный, либо настолько простой, чтобы его умение сочинять небылицы и придавать вид достоверности выдумкам превосходило его способности, и вообще человек без предвзятых мыслей. Именно таким и был мой слуга. А кроме того, он не раз приводил ко мне матросов и купцов, с которыми свел знакомство во время своего путешествия. Таким образом, меня вполне удовлетворяют сведения, которыми они снабдили меня, и я не стану справляться, что говорят об этих вещах космографы.

Нам нужны географы, которые дали бы точное описание местностей, где они побывали. Но имея перед нами то преимущество, что они собственными глазами видели, например, Палестину, они стремятся воспользоваться этою привилегией и порассказать, сверх того, обо всем в мире. Я хотел

бы, чтобы не только в этой области, но и во всех остальных каждый писал только о том, что он знает, и в меру того, насколько он знает, ибо иной может обладать точнейшими сведениями о свойствах какой-либо реки или источника, которые, может статься, он испытал на себе, а вместе с тем не знать всего прочего, что известно каждому. Но вместо того чтобы пустить в обращение малую толику своих знаний, он порождает многие весьма важные неудобства.

Итак, я нахожу — чтобы вернуться наконец к своей теме, — что в этих народах, согласно тому, что мне рассказывали о них, нет ничего варварского и дикого, если только не считать варварством то, что нам непривычно. Ведь, говоря по правде, у нас, по-видимому, нет другого мерила истинного и разумного, как служащие нам примерами и образцами мнения и обычаи нашей страны. Тут всегда и самая совершенная религия, и самый совершенный государственный строй, и самые совершенные и цивилизованные обычаи. Они дики в том смысле, в каком дики плоды, растущие на свободе, естественным образом; в действительности скорее подобало бы назвать дикими те плоды, которые человек искусственно исказил, изменив их природные

качества. В дичках в полной силе сохраняются их истинные и наиболее полезные свойства, тогда как в плодах, выращенных нами искусственно, мы только извратили эти природные свойства, приспособив к своему испорченному дурному вкусу. И все же даже на наш вкус наши плоды в нежности и сладости уступают плодам этих стран, не знавшим никакого ухода. Да и нет причин, чтобы искусство хоть в чем-нибудь превзошло нашу великую и всемогущую мать-природу. Мы настолько обременили красоту и богатство ее творений своими выдумками, что, можно сказать, едва не задушили ее. Но всюду, где она приоткрывается нашему взору в своей чистоте, она с поразительной силой посрамляет все наши тщетные и дерзкие притязания,

Et veniunt hederae sponte sua melius,
Surgit et in solis formosior arbutus antris,
. . . . . .
Et volucres nulla dulcius arte canunt[119].

Все наши усилия не в состоянии воспроизвести гнездо даже самой маленькой птички, его строе-

[119] Примечания: 119

Плющ лучше растет, предоставленный сам себе, краше в пустых пещерах кустарник… без всякого искусства слаще поют птицы (*лат.*). Проперций, I, 2, 10 сл.

ние, красоту и целесообразность его устройства, как равным образом и паутину жалкого паука. Всякая вещь, говорит Платон, порождена либо природой, либо случайностью, либо искусством человека; самые великие и прекрасные — первой и второй; самые незначительные и несовершенные — последним.

Итак, эти народы кажутся мне варварскими только в том смысле, что их разум еще мало возделан и они еще очень близки к первозданной непосредственности и простоте. Ими все еще управляют естественные законы, почти не извращенные нашими. Они все еще пребывают в такой чистоте, что я порою досадую, почему сведения о них не достигли нас раньше, в те времена, когда жили такие люди, которые могли бы судить об этом лучше, чем мы. Мне досадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платон; ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой век, и все ее выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества, но даже и самые представления и пожелания философии. Философы не были в состоянии вообразить себе столь простую и чистую непосредственность, как та, которую мы видим

собственными глазами; они не могли поверить, что наше общество может существовать без всяких искусственных ограничений, налагаемых на человека. Вот народ, мог бы сказать я Платону, у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со счетом, никаких признаков власти или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никаких занятий, кроме праздности, никакого особого почитания родственных связей, никаких одежд, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина или хлеба. Нет даже слов, обозначающих ложь, предательство, притворство, скупость, зависть, злословие, прощение. Насколько далеким от совершенства пришлось бы ему признать вымышленное им государство! Viri a diis recentes[120].

Hos natura modos primum dedit[121].

К тому же они обитают в стране с очень приятным и умеренным климатом, так что там, как

---

[120] Примечания: 120
Люди, близкие к богам (*лат.*). *Письма,* 90, 44.

[121] Примечания: 121
Природа дала такие первозаконы (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* II, 20.

сообщали мне очевидцы, очень редко можно встретить больного; и они уверяли меня, что им ни разу не пришлось видеть в этой стране старика, у которого тряслись бы от старости руки, гноились глаза, согнулась спина или выпали зубы. Они живут на морском побережье, и со стороны материка их защищают огромные и высокие горы, причем между горами и морем остается полоса приблизительно в сто лье шириной. У них великое изобилие рыбы и мяса различных животных, совершенно непохожих на наших, и едят они эту пищу без всяких приправ, лишь изжарив ее. Первый, кто появился у них верхом на коне, хотя они и знали этого человека по прежним его путешествиям, вызвал у них такой неописуемый ужас, что они убили его, осыпав стрелами, прежде чем смогли распознать. Их здания очень вытянуты в длину и вмещают от двухсот до трехсот душ; они обложены корою больших деревьев, причем полосы этой коры одним концом упираются в землю, а другим сходятся у вершины крыши, образуя конек и поддерживая друг друга, наподобие наших риг, кровля которых спускается до самой земли, служа одновременно и боковыми стенами.

Есть у них столь твердое дерево, что они из-

готовляют из него мечи и вертелы для жарения мяса. Их постели сделаны из бумажной ткани, и они подвешивают их к потолку, вроде того, как это принято у нас на кораблях, причем у каждого своя собственная постель, ибо жена у них спит отдельно от мужа. Встают же они вместе с солнцем и, как только встанут, принимаются за еду, наедаясь сразу на целый день, ибо другой трапезы у них не бывает. При этом они совершенно не пьют, подобно тому как и некоторые живущие на востоке народы, которые, по словам Свиды, никогда не пьют за едою; зато они пьют несколько раз в течение дня, и помногу. Их питье варится из какого-то корня и цветом напоминает наше легкое красное вино. Пьют они его только теплым; оно сохраняется не более двух-трех дней; на вкус оно несколько терпкое, нисколько не опьяняет и благотворно действует на желудок; на тех, однако, кто не привык к нему, оно действует как слабительное; но для тех, кто привык, это очень приятный напиток. Вместо хлеба они употребляют какое-то белое вещество, напоминающее сваренный в сахаре кориандр. Я отведал его; оно сладкое и чуть приторное на вкус. Весь день проходит у них в плясках. Те, кто помоложе, отправляются на охоту; охотятся же они на

зверей вооруженные луком. Часть женщин занимается в это время подогреванием их напитка, и это главное их занятие. Один из стариков по утрам, прежде чем все остальные примутся за еду, читает проповедь всем обитателям дома, двигаясь с одного конца его до другого и бормоча одно и то же, пока не обойдет всех (ведь их постройки в длину имеют добрую сотню шагов). Он внушает им только две вещи: храбрость в битвах с врагами и добрые чувства к женам, причем никогда не забывает прибавить, словно припев, что к женам должно питать благодарность за заботу о том, чтобы их питье было теплым и вкусным. У многих и, в частности, у меня можно увидеть образцы тамошних постелей, бечевок, мечей и деревянных запястий, которыми они прикрывают кисть руки во время сражений, а также длинных, выдолбленных с одного конца тростинок; дуя в них, они извлекают звуки, под которые пляшут. Они бреют лицо, голову и все тело, причем делают это чище нашего, хоть бритвы у них каменные или деревянные. Они верят в бессмертие души и полагают, что те, кто заслужил это перед богами, пребывают на той стороне неба, где солнце всходит, а осужденные — на той, где оно заходит.

Есть у них своего рода жрецы и пророки, которые, однако, очень редко показываются народу, ибо живут где-то в горах. В честь их появления устраивается большое празднество, на которое собираются обитатели нескольких деревень (каждое жилище, мною описанное, представляет собой деревню, и находятся они примерно на расстоянии французского лье одно от другого). Этот пророк держит речь перед жителями, призывая их к добродетели и к исполнению долга; впрочем, вся их мораль сводится к двум предписаниям, а именно: быть отважными на войне и любить своих жен. Такой пророк предсказывает им будущее и разъясняет, на какой исход своих начинаний они могут рассчитывать; он же побуждает их к войне или, напротив, отговаривает от нее. Он должен угадать правильно, потому что, если случится не так, как он предсказал, его объявят лжепророком и, поймав, изрубят на тысячу кусков. Поэтому тот из пророков, который ошибся в своих предсказаниях, старается навсегда скрыться с глаз своих земляков.

Дар прорицания — дар Божий: вот почему злоупотребление им есть обман, который подлежит наказанию. Когда у скифов случалось, что предсказание их прорицателя не оправдывалось,

они сковывали его по рукам и ногам, бросали на устланные вереском и влекомые быками повозки, а затем сжигали на них. Можно простить ошибки людей, берущихся судить о вещах, находящихся в пределах человеческого разума и способностей, если они сделали все, что в их силах. Но не следует ли карать за невыполнение обещанного и за дерзость обмана тех, кто хвалится необычайными способностями, превосходящими силу человеческого разумения?

Они ведут войны с народами, обитающими в глубине материка, по ту сторону гор, причем на войну они отправляются совершенно нагими, не имея другого оружия, кроме луков и стрел или деревянных мечей, заостренных наподобие железных наконечников наших копий. Поразительно, до чего упорны их битвы, которые никогда не заканчиваются иначе, как страшным кровопролитием и побоищем, ибо ни страх, ни бегство им не известны. Каждый приносит с собой в качестве трофея голову убитого им врага, которую и подвешивает у входа в свое жилище. С пленными они долгое время обращаются хорошо, предоставляя им все удобства, какие те только могут пожелать; но затем владелец пленника приглашает к себе множество своих друзей и

знакомых; обвязав руку пленника веревкою и крепко зажав конец ее в кулаке, он отходит на несколько шагов, чтобы пленник не мог до него дотянуться, а своему лучшему другу он предлагает держать пленника за другую руку, обвязав ее веревкою точно так же, после чего на глазах всех собравшихся оба они убивают его, нанося удары мечами. Сделав это, они жарят его и все вместе съедают, послав кусочки мяса тем из друзей, которые почему-либо не могли явиться. Они делают это, вопреки мнению некоторых, не ради своего насыщения, как делали, например, в древности скифы, но чтобы осуществить высшую степень мести. И что это действительно так, доказывается следующим: увидев, что португальцы, вступившие в союз с их врагами, казнят попавших к ним в плен их сородичей по-иному, а именно зарывая их до пояса в землю и осыпая открытую часть тела стрелами, а затем вешая, они решили, что эти люди, явившиеся к ним из другого мира, распространившие среди их соседей знакомство со многими неведомыми доселе пороками и более изощренные в злодеяниях, чем они, не без основания, должно быть, применяют такой вид мести, который, очевидно, мучительнее принятого у них, — и вот они

начали отказываться от своего старого способа и переходить к новому. Меня огорчает не то, что мы замечаем весь ужас и варварство подобного рода действий, а то, что, должным образом оценивая прегрешения этих людей, до такой степени слепы к своим. Я нахожу, что гораздо большее варварство пожирать человека заживо, чем пожирать его мертвым, большее варварство раздирать на части пытками и истязаниями тело, еще полное живых ощущений, поджаривать его на медленном огне, выбрасывать на растерзание собакам и свиньям (а мы не только читали об этих ужасах, но и совсем недавно были очевидцами их, когда это проделывали не с закосневшими в старинной ненависти врагами, но с соседями, со своими согражданами, и, что хуже всего, прикрываясь благочестием и религией), чем изжарить человека и съесть его после того, как он умер.

Хрисипп и Зенон, основатели стоической школы, полагали, что нет ничего зазорного в том, чтобы любым способом использовать наши трупы, если в этом есть надобность, и даже питаться ими; именно так поступили наши предки, которые во время осады Цезарем города Алезии решили смягчить голод, вызванный этой осадою, употребив в пищу тела стариков, женщин и всех

неспособных носить оружие.

Vascones, fama est, alimentis talibus usi
Produxere animas[122].

Да и врачи также не стесняются изготовлять из трупов различные снадобья для возвращения нам здоровья, то прописывая последние внутрь, то применяя их как наружные; но никогда никто не придерживался столь безнравственных взглядов, чтобы оправдывать измену, бесчестность, тиранию, жестокость, то есть наши обычные прегрешения.

Итак, мы можем, конечно, назвать жителей Нового Света варварами, если судить с точки зрения требований разума, но не на основании сравнения с нами самими, ибо во всякого рода варварстве мы оставили их далеко позади себя. Их способ ведения войны честен и благороден и даже извинителен и красив — настолько, насколько может быть извинителен и красив этот недуг человечества: основанием для их войн является исключительно влечение к доблести. Они начинают войну не ради завоевания новых земель, ибо все еще наслаждаются плодоро-

[122] Примечания: 122

Говорят, подобной пищей васконы продлили свою жизнь (*лат.*). Ювенал. *Сатиры,* XV, 93. Васконы — древнее население Гаскони.

дием девственной природы, снабжающей их, без всякого усилия с их стороны, всем необходимым для жизни в таком изобилии, что им незачем расширять собственные пределы. Они пребывают в том благословенном состоянии духа, когда в человеке еще нет желаний сверх вызываемых его естественными потребностями; все то, что превосходит эти потребности, им ни к чему. Всех своих единомышленников, которые примерно одинакового с ними возраста, они называют братьями, младших — своими детьми, стариков же — отцами. Эти последние оставляют свое имущество в наследство всей общине, без раздела и без всякого иного права на владение им, кроме того, какое дарует своим созданиям, производя их на свет, природа. Если их соседи, перейдя через горы, совершают на них нападение и одерживают победу, то вся добыча победителя — только в славе да еще в сознании своего превосходства в силе и доблести; им нет дела до имущества побежденных, и они возвращаются в свою область, где у них нет недостатка ни в чем, а главное — в том величайшем благе, которое состоит в умении наслаждаться своей долей и довольствоваться ею. Так же поступают, в свою очередь, и они сами, когда им случается

быть победителями. Они не требуют от своих пленных иного выкупа, кроме громко сделанного заявления, что те признали себя побежденными; но в течение целого столетия не нашлось среди них такого, который не предпочел бы умереть, нежели хоть сколько-нибудь поступиться в своих речах или действиях величием своего несокрушимого мужества; и не встретишь среди них такого, который из страха быть убитым и съеденным унизился бы до просьбы о помиловании. Они предоставляют пленникам полную свободу для того, чтобы жизнь приобрела для них тем большую цену, и постоянно напоминают им об их близкой смерти, о муках, которые им предстоит вытерпеть, о приготовлениях, производимых с этой целью, о том, как они разрубят их на кусочки и будут лакомиться ими на своем пиршестве. Все это делается исключительно для того, чтобы вырвать у них хотя бы несколько малодушных и униженных слов или пробудить в них желание бежать и таким образом, напугав их и сломив их стойкость, почувствовать свое превосходство над ними. Ибо, в сущности говоря, именно в этом и состоит подлинная победа:

victoria nulla est

Quam quae confessos animo quoque subiugat hostes[123].

Венгры, весьма воинственная нация, в былые времена никогда не добивали своих врагов, когда те начинали молить их о пощаде. Но, вырвав у них это признание в своем поражении, венгры, не причиняя им вреда, отпускали их без выкупа, самое большее, — взяв с них слово, что впредь те никогда уже не выступят против них.

Весьма часто своим превосходством над врагом мы бываем обязаны преимуществам внешним, случайным, а не таким, которые относятся к числу наших достоинств. Крепкие руки и ноги хороши для носильщика, но они не имеют никакого отношения к доблести; наше сложение — это качество бездушное и чисто телесное; если наш противник споткнулся или глаза его ослепило солнце, это подарок судьбы и ничего больше; умение хорошо фехтовать — не что иное, как знание и искусство, которые могут быть усвоены человеком трусливым и ничтожным. Ценность и достоинство человека заключены в его сердце и в его воле; именно здесь — основа его подлинной

[123] Примечания: 123

Победа будет подлинной, когда враги признают себя побежденными (*лат.*). Клавдиан. *О шестом консульстве Гонория,* 248 сл.

чести. Доблесть есть сила не наших рук или ног, но мужества и души; она зависит от качеств не нашего коня или оружия, но только от наших собственных. Тот, кто пал, не изменив своему мужеству, si succiderit, de genu pugnat[124], тот, кто пред лицом грозящей ему смерти не утрачивает способности владеть собой, тот, кто, испуская последнее дыхание, смотрит на своего врага твердым и презрительным взглядом, — тот сражен, но не побежден.

Самые доблестные бывают порой и самыми несчастливыми.

Бывают поражения, слава которых вызывает зависть у победителей. Четыре победы, эти четыре сестры, прекраснейшие из всех, какие когда-либо видело солнце, — при Саламине, Платеях, при Микале и в Сицилии, — не осмелились противопоставить всю свою славу, вместе взятую, славе поражения царя Леонида и его воинов в Фермопильском ущелье.

Устремлялся ли кто-нибудь когда-нибудь с таким великолепным и гордым мужеством навстречу своей победе, как Исхолай устремился навстречу верному поражению? Кто столь же

---

[124] Примечания: 124

Если падет, сражается на коленях (*лат.*). Сенека. *О провидении,* 2.

искусно и предусмотрительно действовал ради своего спасения, как он — ради гибели? Ему было поручено оборонять от аркадян одно из ущелий, ведущих в Пелопоннес. Выяснив, что это совершенно невыполнимо по причине условий местности и неравенства в силах, и понимая, что всякий, кто выступит против врага, неминуемо ляжет на месте, но считая вместе с тем недостойным своей доблести, величия и имени лакедемонянина не выполнить возложенной на него задачи, он принял следующее, среднее между двумя этими крайностями, решение. Наиболее сильных и молодых воинов, дабы сберечь их для служения и защиты родины, он отослал от себя, с остальными же, гибель которых была не столь ощутительна, он решил отстаивать это ущелье, чтобы своей и их смертью принудить врагов оплатить возможно дороже этот проход. Так оно и случилось, ибо, окруженные почти отовсюду аркадянами, среди которых они учинили страшное избиение, и он и все его воины были перебиты один за другим. Существует ли какой-нибудь трофей в честь победителей, который не подобало бы присудить скорее таким побежденным? Кто подлинный победитель, решается не исходом сражения, а ходом его; и честь воина

и доблесть его в том, чтобы биться; а не в том, чтобы разбить врага.

Но возвращаюсь к моему рассказу. Как бы пленников ни запугивали, так и не удается заставить их проявить малодушие; напротив, в течение двух-трех месяцев, пока их не трогают, они держатся бодро и весело, торопят своих победителей поскорее подвергнуть их последнему испытанию, поносят их, осыпают бранью и упреками в трусости, перечисляют битвы, проигранные ими их соплеменникам. У меня есть сочиненная одним из пленников песнь, в которой поется: пусть все они смело приходят и собираются, чтобы насытиться им; ведь они будут есть своих отцов и своих предков, которые послужили пищей для его тела и взрастили его. «Эти мышцы, — говорит он, — это мясо и жилы — ваши, жалкие вы глупцы! Вы не хотите признать, что в них еще сохраняется та же плоть, из которой состояли тела ваших предков? Так распробуйте же их хорошенько, и вы ощутите в них вкус своего собственного мяса».

Такая поэзия нисколько не отзывается варварством. Люди, видевшие, как они расстаются с жизнью, изображая картину их казни, рассказывают, что пленник плюет в лицо своим убийцам и

дразнит их. Поистине, до последнего своего вздоха они не перестают держать себя вызывающе и выказывать свое презрение словами и жестами. Право же, по сравнению с нами их можно назвать сущими дикарями, ибо, по совести говоря, одно из двух — либо они дикари, либо мы: так велико различие между их образом жизни и нашим.

Мужчины у них имеют по нескольку жен, и их бывает тем больше, чем больше мужчина славится своей доблестью. И вот прекрасная и изумительная особенность их брачных союзов: насколько наши жены стараются воспрепятствовать нам добиваться расположения и близости других женщин, настолько их жены сами стремятся к этому. Заботясь о чести своих мужей больше, чем о чем-либо ином, они прилагают все усилия к тому, чтобы у них было как можно больше товарок, ибо это свидетельствует о доблести их мужей.

Наши жены, пожалуй, скажут, что это чудо из чудес. Вовсе нет: это проявление истинной супружеской добродетели, но только в самой высокой ее форме. Загляните в Библию: Лия, Рахиль, Сарра и жены Иакова приводили к своим мужьям красивых рабынь; Ливия также, в ущерб себе, потворствовала вожделениям Августа, а

Стратоника, жена Дейотара, не только отдала мужу свою красивую молодую служанку, но даже заботливо воспитала ее детей и помогла им унаследовать царство отца.

Но дабы кто-нибудь не подумал, что все это не более как простая и рабская покорность общепринятым обычаям, внушенная им авторитетом давно установившегося уклада, который они принимают безропотно и без рассуждений, ибо ум их настолько не развит, что не в состоянии представить себе что-либо иное, я могу привести несколько доказательств их одаренности и ума. Выше я привел уже отрывок из песни их воина, теперь приведу другую, любовную песню, которая начинается так: «Остановись, змейка, остановись, чтобы сестра моя могла всмотреться в узор твоей шкурки и по образцу его сделать роскошную ленту, которую я мог бы подарить моей милой; и пусть твоей красоте, твоим формам будет навсегда отдано предпочтение перед всеми другими змейками». Таков первый куплет и он же припев этой песни. Я достаточно знаком с поэзией, чтобы утверждать, что в этой песне не только нет ничего варварского, но что это самое настоящее анакреонтическое произведение. Кстати сказать, их язык очень мягкий, прият-

ный на слух, напоминает своими окончаниями греческий.

Трое из этих туземцев прибыли в Руан в то самое время, когда там находился король Карл IX. Не подозревая того, как тяжело в будущем отзовется на их покое и счастье знакомство с нашей испорченностью, не ведая того, что общение с нами навлечет на них гибель, — а я предполагаю, что она уже и в самом деле очень близка, — эти несчастные, увлекшись жаждою новизны, покинули приветливое небо своей милой родины, чтобы посмотреть, что представляет собою наше. Король долго беседовал с ними; им показали, как мы живем, нашу пышность, прекрасный город. После этого кому-то захотелось узнать, каково их мнение обо всем виденном и что сильнее всего поразило их; они назвали три вещи, из которых я забыл, что именно было третьим, и очень сожалею об этом; но две первые сохранились у меня в памяти. Они сказали, что прежде всего им показалось странным, как это столько больших, бородатых людей, сильных и вооруженных, которых они видели вокруг короля (весьма возможно, что они говорили о швейцарских гвардейцах), безропотно подчиняются мальчику и почему они сами не изберут кого-нибудь из своей среды, кто

начальствовал бы над ними; во-вторых, — у них есть та особенность в языке, что они называют людей «половинками» друг друга, — они заметили, что между нами есть люди, обладающие в изобилии всем тем, чем только можно пожелать, в то время как их «половинки», истощенные голодом и нуждой, выпрашивают милостыню у их дверей; и они находили странным, как это столь нуждающиеся «половинки» могут терпеть такую несправедливость, — почему они не хватают тех других за горло и не поджигают их дома.

С одним из этих туземцев я очень долго беседовал, но мой толмач так плохо переводил мои слова, и ему, по причине его тупости, так трудно было улавливать мои мысли, что я не извлек никакого удовольствия из этого разговора. На мой вопрос: какие преимущества доставляет ему высокое положение среди соплеменников (ибо это был вождь и наши матросы называли его королем), он ответил: «Идти впереди всех на войну». Когда я просил, сколько же людей ведет он за собой, он жестом отмерил некоторое пространство, желая показать, что их столько, сколько может здесь поместиться; получалось примерно четыре или пять тысяч человек. Наконец, на вопрос, не прекращается ли его власть

вместе с войной, он ответил, что сохраняет ее и в мирное время и что заключается она в том, что, когда он посещает подчиненные ему деревни, жители их прокладывают для него сквозь чащу лесов тропинки, по которым он может пройти с полным удобством.

Все это не так уже плохо. Но помилуйте, они не носят штанов!

Глава XXXII
О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью

Истинным раздольем и лучшим поприщем для обмана является область неизвестного. Уже сама необычайность рассказываемого внушает веру в него, и, кроме того, эти рассказы, не подчиняясь обычным законам нашей логики, лишают нас возможности что-либо им противопоставить. По этой причине, замечает Платон, гораздо легче угодить слушателям, говоря о природе богов, чем о природе людей; ибо невежество слушателей дает полнейший простор и неограниченную свободу для описания таинственного.

Поэтому люди ни во что не верят столь твердо, как в то, о чем они меньше всего знают, и никто не разглагольствует с такой самоуверенностью, как сочинители всяких басен — например, алхимики, астрологи, предсказатели, хироманты, врачи, id genus omne[125]. Я охотно прибавил бы к их числу, если б осмелился, еще целую кучу

[125] Примечания: 125
Все люди подобного рода (*лат.*). Гораций. *Сатиры*, I, 2, 2.

народа, а именно присяжных толкователей и угадчиков намерений Божьих, которые считают своей обязанностью отыскивать причины всего, что случается, усматривать в тайнах воли Господней непостижимые побуждения Господних деяний; и хотя разнообразие и постоянная несогласованность происходящих событий и заставляют их метаться из стороны в сторону и из одной крайности в другую, они все же не бросают своей игры и той же самой кистью размалевывают все без разбора то в белый, то в черный цвет.

У одного индейского племени есть похвальный обычай: когда им не повезет в какой-нибудь стычке или в сражении, они всей общиной просят за это у солнца, своего бога, прощения, словно они совершили неправедное деяние; ибо свою удачу и неудачу они приписывают божественному разуму, ставя по сравнению с ним ни во что свои домыслы и суждения.

Для христианина достаточно верить, что все исходит от Бога, принимать все с благодарностью и признанием его неисповедимой божественной мудрости, считать благом все выпавшее на его долю, в каком бы обличии оно ни было ему ниспослано. Но я никоим образом не могу примириться с тем, что вижу повсюду, а именно,

со стремлением утвердить и подкрепить нашу религию ссылками на успех и процветание наших дел. Наша вера располагает достаточным количеством иных оснований, не нуждаясь в подобного рода ссылках на события; ведь существует опасность, что народ, привыкнув к этим, столь соблазнительным и пришедшимся ему по вкусу доводам, когда вдруг случится что-нибудь противоположное и ему неприятное, может поколебаться в своей вере. И вот вам пример из происходящих ныне у нас религиозных войн. Победители в битве при Ларошлабейле необычайно ликовали по поводу своей удачи и видели в ней доказательство правоты своего дела. Когда же им довелось испытать поражения при Монконтуре и при Жарнаке, им, чтобы как-нибудь объяснить свои неудачи, пришлось вспомнить и об отеческих розгах, и об отеческих наказаниях. И если бы народ не был всецело у них в руках, он бы сразу почуял, что это то же самое, что за помол одного мешка брать плату дважды или, дуя себе на пальцы, одновременно студить и согревать их. Было бы много лучше сказать ему чистую правду. Несколько месяцев тому назад под командованием Дон-Жуана Австрийского была одержана блестящая морская победа над турками; но Гос-

поду Богу не раз бывало угодно допускать также и победы турок над христианами. Короче говоря, трудно взвешивать на наших весах дела Божии, чтобы они не терпели при этом ущерба. И кто пожелал бы придать особый смысл тому, что Арий и близкий к нему по образу мыслей папа Лев, важнейшие главари ереси ариан, умерли хотя и в разное время, но столь сходной и странной смертью (оба они, покинув из-за резей в желудке диспут, внезапно скончались в отхожем месте), и, сверх того, особо подчеркнуть обстоятельства и самое место, где совершилось это божественное возмездие, — тому я мог бы указать в придачу и на Гелиогабала, который был убит также в нужнике. Но помилуйте! И святого Иринея постигла та же самая участь. Господь Бог, желая показать нам, что благо, на которое может надеяться добрый, и зло, которого должен страшиться злой, не имеют ничего общего с удачами и неудачами мира сего, располагает ими и распределяет их согласно своим тайным предначертаниям, отнимая тем самым у нас возможность пускаться на этот счет в нелепейшие рассуждения. И в дураках остаются те, кто пытается разобраться в этих вещах, опираясь на свой человеческий разум. За каждым удачным ударом у них следует по меньшей мере

два промаха. Это хорошо показал св. Августин на примере своих противников. Этот спор решается скорее оружием, чем оружием разума. Нужно довольствоваться тем светом, который солнцу угодно изливать на нас своими лучами; кто же поднимет взор, чтобы впитать в себя немного больше света, пусть не сетует, если в наказание за свою дерзость он лишится зрения. Quis hominum potest scire consilium dei? aut quis poterit cogitare quid velit dominus?[126]

[126] Примечания: 126

Какой человек может познать замысел Бога? И кто уразумеет, чего хочет Господь? (*лат.*) *Книга Премудрости Соломона,* 9:13.

Глава XXXIII
О том, как ценой жизни убегают от наслаждений

Я убедился в том, что мнения древних, в большинстве случаев, сходятся в следующем: когда в жизни человека больше зла, нежели блага, значит, настал час ему умереть; и еще: сохранять нашу жизнь для мук и терзаний — значит нарушать самые законы природы; о чем и говорят приводимые ниже древние изречения:

Ἢ ζῆν ἁλύπως, ἢ υανεῖν εὐδαιμόνως.
Καλόν τὸ υνῆσκειν οἷς ὕβριν τὸ ζῆν φέρει,
Κρεῖσσόν τὸ μὴ ζῆν ἐστίν ἢ ζῆν ἀυλίφς[127].

Но доводить презрение к смерти до такой степени, чтобы использовать ее в качестве средства избавиться от почестей, богатства, высокого положения и других преимуществ и благ, которые мы называем счастьем, возлагать на наш разум еще и это новое бремя, как будто ему и без того

---

[127] Примечания: 127
Либо жить без печалей, либо счастливо умереть. Лучше умереть тому, кому жизнь причиняет обиду. Лучше не жить, чем жить несчастливо (*греч.*). *Изречения из сборника «Гномические поэты»,* 1569 г.

не пришлось достаточно потрудиться, чтобы убедить нас отказаться от них, — ни таких советов, ни упоминания о действительных случаях подобного рода я не встречал, пока мне случайно не попал в руки следующий отрывок из Сенеки. Обращаясь к Луцилию, человеку весьма могущественному и имевшему большое влияние на императора, с советом сменить свою роскошную и исполненную наслаждений жизнь и суетность света на тихое и уединенное существование, заполненное философскими размышлениями, и, зная о том, что Луцилий ссылается на связанные с этим некоторые трудности, Сенека говорит: «Я держусь того мнения, что тебе надлежит либо отказаться от этого образа жизни, либо от жизни вообще; я советую, однако, избрать менее трудный путь и скорее развязать, нежели разрубить тот узел, который ты так неудачно завязал, при условии, разумеется, что, если развязать его не удастся, ты все же его разрубишь. Нет человека, каким бы трусом он ни был, который не предпочел бы упасть один-единственный раз, но уже навсегда, чем постоянно колебаться из стороны в сторону». Я склонен был думать, что такой совет подходит лишь к суровому учению стоиков; однако, удивительное дело, он оказался позаим-

ствованным у Эпикура, который по этому поводу писал Идоменею весьма сходные вещи.

Нечто подобное, как мне кажется, подметил я и между людьми нашего исповедания, правда, смягченное до некоторой степени христианством. Святой Иларий, епископ города Пуатье, этот знаменитый враг арианской ереси, находясь в Сирии, был извещен о том, что его единственная дочь Абра, которую он оставил дома вместе с ее матерью, окружена толпой поклонников, людей в тех краях весьма видных, домогающихся сочетаться с ней браком, так как была она девицей весьма хорошо воспитанной, красивой, богатой и в цвете лет. Он написал ей (как нам это известно), чтобы она отвратилась от всех соблазнов и наслаждений, которые ей предлагают; он добавлял, что во время своего путешествия подыскал ей супруга несравненно более высокого и достойного, обладающего неизмеримо большею властью и величием, который одарит ее бесценнейшими нарядами и украшениями. Его намерение состояло в том, чтобы искоренить в ней влечение и привычку к мирским удовольствиям и полностью обратить ее к Богу. Но так как ему казалось, что простейшим и самым верным средством для этого была бы смерть его дочери, он неустанно

обращался к Богу с просьбами и мольбами, чтобы он призвал ее к себе из этого мира; так оно и случилось, ибо вскоре после возвращения Илария его дочь скончалась, чему он был несказанно рад. Этот Иларий, пожалуй, превзошел своим рвением остальных, ибо прибегнул к подобному средству сразу же, тогда как другие прибегают к нему, когда уже нет иного исхода, а также потому, что он это сделал по отношению к единственной своей дочери. Однако мне хочется досказать эту историю до конца, хотя конец ее и не касается непосредственно предмета моего рассуждения. Жена святого Илария, узнав от него, что смерть их дочери была вызвана им намеренно и сознательно, а также, насколько она стала счастливее, покинув наш мир, вместо того чтобы и дальше томиться в нем, прониклась столь пылким влечением к вечному блаженству на небе, что, осаждая своего супруга непрестанными просьбами, умолила его сделать то же самое и для нее. И Господь, вняв мольбам их обоих, немного времени спустя призвал к себе и ее, и смерть эту оба они встретили с величайшей радостью.

Глава XXXIV
Судьба нередко поступает разумно

Непостоянство и шаткость судьбы приводят к тому, что ей приходится представать перед нами в самых разнообразных обличьях. Свершалось ли когда-нибудь правосудие с такой стремительностью, как в следующем случае? Герцог Валантинуа, решив отравить Адриана, кардинала Корнето, у которого в Ватикане собирались отужинать он сам и его отец, папа Александр VI, отправил заранее в его покои бутылку отравленного вина, наказав кравчему хорошенько беречь ее. Папа, прибыв туда раньше сына, попросил пить, и кравчий, думая, что вино было поручено его особому попечению только из-за своего отменного качества, предложил его папе. В этот момент появляется, к началу пира, и герцог; полагая, что к его бутылке не прикасались, он пьет то же самое вино. И вот, отца постигла внезапная смерть, а сын, долгое время тяжело проболев, выжил, чтобы претерпеть еще худшую участь.

Иногда кажется, что судьба дожидается определенного часа, чтобы сыграть с нами шутку.

Господин д'Эстре, в то время знаменосец в полку господина Вандома, и господин де Лик, заместитель начальника отряда герцога д'Аско, ухаживали одновременно, хотя и принадлежали к враждующим сторонам (как это бывает с соседями, которых разделяет граница), за сестрою господина де Фукероля, отдавшей в конце концов предпочтение второму из них. Но в день свадьбы и, что еще хуже, прежде чем разделить с новобрачной ложе, молодой супруг пожелал преломить копье в честь своей супруги и с этой целью засел в засаде близ Сент-Омера, где господин д'Эстре, оказавшись сильнее, захватил его в плен; и в довершение торжества д'Эстре случилось так, что молодая дама,

> *Coniugis ante coacta novi dimittere collum,*
>
> *Quam veniens una atque altera rursus hiems*
>
> *Noctibua in longis avidum saturasset amorem*[128],

лично обратилась к нему с просьбой оказать ей любезность и отпустить пленника, что он и

---

[128] Примечания: 128

Принужденные выпустить из объятий молодого супруга прежде, чем долгие ночи одной или двух зим утолят алчность их любви (*лат.*). Катулл, LVIII, 81.

сделал, ибо французский дворянин никогда и ни в чем не отказывает даме.

Не кажется ли порой, что судьба — остроумная выдумщица? Константин, сын Елены, основал Константинопольскую империю, и много столетий спустя Константином, сыном Елены, завершилось ее многовековое существование.

Иногда ей угодно бывает передразнивать совершаемые Богом чудеса. Передают, будто бы, когда король Хлодвиг осаждал Ангулем, стены его сами собой пали пред ним; кроме того, и Буше также сообщает, позаимствовав этот рассказ у какого-то автора, что король Роберт осадил некий город, а затем отлучился из войска, чтобы, выполняя обет, отправиться в Орлеан отпраздновать день святого Агнана; но когда он присутствовал на торжественном богослужении, то в какой-то момент мессы стены осажденного города без всякого усилия со стороны осаждающих сами собой развалились. Нечто совсем иное произошло во время наших войн за Миланское герцогство. Полководец Риенци, сражаясь на нашей стороне, осадил город Эронну и заложил мину под изрядный кусок крепостной стены. Когда пришел срок, часть стены целиком взлетела кверху, а затем — подобно пущенной прямо в небо и упавшей

обратно стреле — опустилась так же целиком на свое прежнее место, так что осажденные ничего от этого не потеряли.

Иногда судьба занимается и врачеванием: Ясон Ферский страдал нарывом в груди, и врачи от него отступились, считая, что он безнадежен. Страстно желая избавиться от страданий, хотя бы ценой смерти, он очертя голову бросился во время сражения в самую гущу врагов и был ранен, но так удачно, что нарыв его прорвался и он выздоровел.

Не превзошла ли судьба художника Протогена в его искусстве? Нарисовав в совершенстве усталую и измученную собаку, он был вполне удовлетворен своей работой, однако за одним исключением: ему никак не удавалось изобразить, как ему хотелось, слюну и пену у ее рта. Раздосадованный этим, он схватил губку, пропитанную разными красками, и запустил ею в картину, чтобы стереть все нарисованное; судьба, однако, весьма кстати направила удар прямо в морду собаки и выполнила таким путем то, что было не под силу искусству.

Не руководит ли порой судьба нашими замыслами и не исправляет ли она их? Изабелла, королева английская, переправляясь с войском

из Зеландии в свое королевство, чтобы оказать помощь сыну в борьбе против мужа, погибла бы, если бы прибыла в ту самую гавань, куда направлялась, ибо именно там-то ее и поджидали враги; но судьба, наперекор ее воле, отбросила ее корабли в другое место, где она благополучно высадилась. И не имел ли оснований тот древний, который, швырнув камень в собаку, попал в мачеху и убил ее, произнести следующий стих:

Ταὐτόματον ἠμῶν καλλίω βουλεύεταί,

то есть: судьба лучше нас знает, что надо делать.

Икет подговорил двух воинов, чтобы они убили Тимолеона, жившего в то время в Адране, в Сицилии. Они договорились, что сделают это, как только он приступит к жертвоприношению, и, замешавшись в толпу, уже перемигнулись между собой в знак того, что настало время выполнить их намерение. Но в это мгновение возле них появился третий воин, который хватил одного из них мечом по голове так, что тот упал замертво; свершив это, он пустился бежать. Товарищ убитого, считая, что все открылось и он погиб, бросился к алтарю и, моля о пощаде, обещал признаться во всем. Но в то время, как он рас-

сказывал о заговоре, удалось схватить третьего воина, и в страшной давке, осыпая ударами, его потащили как убийцу к Тимолеону и наиболее видным лицам, присутствовавшим на торжестве. Схваченный, моля о помиловании, заявил, что он совершил акт правосудия, умертвив убийцу своего отца; и свидетели, которых ему весьма кстати послал его счастливый жребий, подтвердили, что действительно в городе леонтинцев его отец был убит тем, кому он сейчас отомстил. Ему тут же было пожаловано десять аттических мин, ибо на его долю выпало счастье, мстя за смерть отца, избавить от смерти отца сицилийцев. Судьба, как мы видим, в этом случае превзошла хитроумием хитроумие наших расчетов.

И еще один, последний пример. Не проявилось ли в том, о чем я хочу рассказать, особая доброта, милость и человеколюбие судьбы? Игнации, отец и сын, внесенные римскими триумвирами в проскрипционные списки, приняли благородное решение отдать свою жизнь один другому, обманув тем самым жестокость тиранов; и вот, обнажив мечи, они ринулись один на другого. Судьбе было угодно направить острия мечей таким образом, что и сын и отец были поражены насмерть; и та же судьба, воздавая дань почте-

ния столь поразительной и прекрасной любви, позволила им сохранить достаточно сил, чтобы каждый из них, вырвав свой меч из тела другого, мог сжать своего близкого окровавленной и вооруженной рукой в столь цепком объятии, что палачам, отрубившим обе головы сразу, пришлось оставить тела в этом благородном сплетении, так что рана одного приникла к ране другого, и они любовно впивали в себя остатки крови и жизни друг друга.

Глава XXXV
Об одном упущении в наших порядках

Мой покойный отец, человек, руководствовавшийся всю свою жизнь опытом и природной сметкой, при этом обладавший ясным умом, говорил мне когда-то, что ему очень хотелось бы, чтобы во всех городах было известное место, куда сходились бы все имеющие в чем-либо нужду и где бы они могли сообщить о ней, чтобы приставленный к этому делу чиновник записал их пожелания, например: «Хочу продать жемчуг, хочу купить жемчуг»; «такой-то ищет спутника для поездки в Париж»; «такой-то — слугу, умеющего делать то-то и то-то»; «такой-то — учителя»; «такому-то нужен подмастерье»; одним словом, одному — одно, другому — другое, кому что нужно. И мне кажется, что подобная мера должна была бы в немалой степени облегчить общественные сношения, ибо всегда и везде имеются люди, обстоятельства которых складываются таким образом, что они ощущают нужду друг в друге, но, так и не отыскав один другого, испытывают крайние неудобства.

Мне известно, что, к величайшему стыду нашего века, у нас на глазах умерли с голоду два человека выдающихся знаний: Лилио Грегорио Джиральди в Италии и Себастиан Касталион в Германии; полагаю, что нашлось бы немало людей, которые пригласили бы их к себе на весьма хороших условиях или, во всяком случае, оказали бы помощь, где бы они ни жили, если бы знали об их бедственном положении. Мир не настолько еще испорчен, чтобы не нашлось человека — и я знаю такого, — который не пожелал бы от всего сердца расходовать унаследованные им от родителей средства, пока судьбе будет угодно, чтобы он ими располагал, на избавление от нищеты людей редкостных и выдающихся в какой-либо имеющей значение области, ибо нередко судьба преследует их по пятам и доводит до крайности. Этот человек создал бы им по меньшей мере такие условия, что если бы среди них и нашелся кто-нибудь, кто не был бы ими доволен, то это могло бы случиться лишь по причине его собственного неразумия.

И в делах хозяйственных мой отец установил порядки, которые я считаю похвальными, но которые, увы, я не в силах поддерживать. Ведь кроме записей, относящихся к ведению раз-

личных хозяйственных дел, куда заносились счета помельче, платежи, сделки, не требующие скрепления рукой нотариуса, — ибо регистрация таковых возлагается на правительственного сборщика податей, — он поручил тому из своих доверенных слуг, которого использовал как писца, вести также дневник, в котором полагалось отмечать все достойные внимания происшествия, а также день за днем решительно все события, относящиеся к истории нашего дома. И теперь, когда время начинает изглаживать в памяти живые воспоминания, заглянуть в эту летопись чрезвычайно приятно и столь же полезно, ибо она нередко разрешает наши сомнения: когда именно было задумано такое-то дело? Когда оно было закончено? Как оно шло? Как завершилось? Тут же мы можем прочесть о наших путешествиях, наших отлучках, браках, смертях, о получении счастливых или печальных известий, о смене важнейших из наших слуг и тому подобных вещах. Это — старинный обычай, и я думаю, что неплохо было бы каждому освежить его у своего камелька. А я себя считаю глупцом, что не придерживался его.

Глава XXXVI
Об обычае носить одежду

За что бы я ни брался, мне приходится преодолевать преграды, созданные обычаем, — настолько опутал он каждый наш шаг. В эту прохладную пору года я думал как-то о том, является ли для недавно открытых народов привычка ходить совершенно нагими следствием высокой температуры воздуха, как мы утверждаем это относительно индейцев и мавров, или же она первоначально была свойственна всем людям. Но поскольку все, что живет под небом, как говорит Писание, подвластно одинаковым законам, люди мыслящие, сталкиваясь с вопросами подобного рода, где нужно проводить различие между законами естественными и надуманными, имеют обыкновение обращаться к общему миропорядку, в котором не может быть никакой фальши. Итак, раз все сущее вооружено, так сказать, иголкой и ниткой, чтобы поддерживать свое бытие, право же, трудно поверить, что только одни мы созданы столь немощными и убогими, что не в состоянии поддержать себя без сторонней помощи. Я

полагаю поэтому, что, подобно тому как любое растение, дерево, животное, да и вообще все, что живет, самой природой обеспечено покровами; достаточными, чтобы защитить себя от суровой непогоды:

> *Proptereaque fere res omnes aut corio sunt*
> *Aut seta, aut conchis, aut callo, aut cortice tectae*[129],

точно так же было когда-то и с нами; но подобно тем, кто заменяет дневной свет искусственным, и мы заменили естественные средства заимствованными. И нетрудно убедиться, что этот обычай делает для нас невозможным то, что в действительности вовсе не является таковым. В самом деле, народы, не имеющие никакого понятия об одежде, обитают примерно в том же климате, что и мы; а, кроме того, наиболее чувствительные части нашего тела остаются открытыми, например, глаза, рот, нос, уши, а у наших крестьян, — как, впрочем, и наших предков, — сверх того еще грудь и живот. И если бы нам от рождения было предопределено носить штаны или юбки, то можно не сомневаться, что природа снабдила

---

[129] Примечания: 129

Вот почему почти все живое покрыто шкурой или шерстью, раковиной, наростами или корой (*лат.*). Лукреций, IV, 935 сл.

бы те части нашего тела, которые она оставила уязвимыми для суровостей погоды, более толстой кожей, как она это сделала на концах пальцев и на ступнях ног.

Почему же трудно поверить этому? Между моим способом одеваться и тем, как одет в наших краях крестьянин, я нахожу различие большее, чем между его одеждою и одеждою человека, прикрытого своею кожей.

А сколько людей, особенно в Турции, ходят нагими из благочестия!

Некто, увидев в разгаре зимы одного из наших нищих, который, не имея на себе ничего, кроме рубашки, чувствовал себя все же не хуже, чем тот, кто закутан по самые уши в куний мех, спросил его, как он может терпеть такой холод. «Ну, а вы, сударь, — ответил тот, — ведь и у вас тоже лицо ничем не прикрыто. Вот так и я — весь словно лицо». Итальянцы рассказывают о шуте, если не ошибаюсь, герцога Флорентийского, который на вопрос своего господина, как он может, столь плохо одетый, переносить холод, когда он, герцог, так от него страдает, ответил: «Последуйте моему совету, наденьте на себя все, что только у вас найдется, как это сделал я, и вы не больше моего будете страдать от мороза». Царя Масиниссу до

глубокой старости нельзя было убедить покрывать голову ни в мороз, ни в бурю, ни в дождь. То же передают и об императоре Севере.

Геродот рассказывает, что во время войн египтян с персами и им и другими было замечено, что головы убитых египтян гораздо крепче, чем головы персов, потому что первые бреют их и оставляют непокрытыми с детских лет, тогда как у вторых они постоянно покрыты в юные годы колпаками, а позднее — тюрбанами.

Царь Агесилай до преклонного возраста носил зимой и летом одинаковую одежду. Цезарь, как сообщает Светоний, выступал всегда впереди своего войска и чаще всего шел пешком, с непокрытой головой, все равно — палило ли солнце или лил дождь; то же самое рассказывают и о Ганнибале.

tum vertice nudo
Excipere
insanos imbres coelique ruinam[130].

Один венецианец, который прожил долгое время в царстве Перу и только недавно возвратился оттуда, пишет, что тамошние мужчины

[130] Примечания: 130

С непокрытой головой переносил неистовые ливни и грозы небесные (*лат.*). Силий Италик. *Пунические войны*, I, 250 сл.

и женщины, хотя и покрывают прочие части тела одеждой, ходят всегда босые и так же ездят верхом на лошади.

И замечательно, что Платон также советует ради здоровья всего нашего тела не давать ни ногам, ни голове никакого иного покрова, кроме того, которым их одарила сама природа.

Король, которого поляки избрали себе после нашего, — он и впрямь один из самых великих государей нашего века, — никогда не носит перчаток и не сменяет ни зимою, ни в непогоду той шапочки, что он носит у себя дома.

Если я терпеть не могу ходить нараспашку, не застегнув камзол на все пуговицы, то мои соседи-землепашцы почувствовали бы себя, напротив, очень стесненными, когда бы им пришлось ходить в таком виде. Варрон считает, что предписавшие римлянам обнажать голову в присутствии богов и должностных лиц сделали это скорее имея в виду здоровье граждан, а также желая закалить их от непогоды, чем из уважения к высшим.

И раз уж речь зашла о холодах и о французах, привыкших напяливать на себя целую кучу пестрого тряпья (я не говорю о себе, ибо, подражая моему покойному отцу, одеваюсь исключительно

в черное и белое), то добавлю, что, согласно рассказу нашего полководца Мартина Дю Белле, ему во время похода в Люксембург довелось испытать морозы настолько суровые, что вино в провиантском складе кололи топорами и клиньями, выдавая его солдатам по весу, и те уносили его в корзинах. Совсем так, как у Овидия:

> *Nudaque consistunt formam servantia testae*
>
> *Vina, nec hausta meri, sed data frusta bibunt*[131].

У устья Меотийского озера морозы бывают настолько суровы, что в том самом месте, где полководец Митридата дал бой врагам и разбил их в пешем строю, он же, когда наступило лето, выиграл у них еще и морское сражение.

Римлянам пришлось претерпеть много бедствий во время сражения с карфагенянами близ Плаценции, ибо, когда они бросились на врагов, у них от холода стыла кровь и коченели руки и ноги, тогда как Ганнибал велел развести костры, чтобы солдаты во всем его войске могли обогреваться у них, а также распределить по отрядам

---

[131] Примечания: 131

Вино сохраняет форму сосуда, его пьют не глотками, а разбив на куски (*лат.*). Овидий. *Скорбные песни,* III, 10, 23 сл.

масло, дабы, обмазав им свое тело, они придали мышцам больше гибкости и подвижности и защитили поры от морозного воздуха и порывов дувшего тогда студеного ветра.

Отступление греков из Вавилона на родину знаменито теми лишениями и трудностями, которые им потребовалось преодолеть. Застигнутые в горах Армении ужасной снежной бурей, они заблудились и потеряли дорогу; яростно, можно сказать, осаждаемые непогодой, они в течение суток ничего не ели и не пили, большая часть бывших с ними животных пала; многие воины умерли, многие были ослеплены градом и белизной снега; иные изувечили себе руки и ноги, иные закоченели до того, что остались неподвижными на месте, хотя и полностью сохранили сознание.

Александр видел народ, где плодовые деревья закапывают на зиму в землю, чтобы предохранить их таким способом от мороза.

Что касается одежды, то мексиканский царь менял четыре раза в день свои облачения и никогда не надевал снова уже хотя бы раз надетого платья. Он употреблял их для раздачи в качестве наград и пожалований; равным образом ни один горшок, блюдо или другая кухонная и столовая

утварь не были подаваемы ему дважды.

Глава XXXVII
О Катоне Младшем

Я не разделяю всеобщего заблуждения, состоящего в том, чтобы мерить всех на свой аршин. Я охотно представляю себе людей, не схожих со мной. И, зная за собой определенные свойства, я не обязываю весь свет к тому же, как это делает каждый; я допускаю и представляю себе тысячи иных образов жизни и вопреки общему обыкновению с большей готовностью принимаю несходство другого человека со мною, нежели сходство. Я нисколько не навязываю другому моих взглядов и обычаев и рассматриваю его таким, как он есть, без каких-либо сопоставлений, но меряя его, так сказать, его собственной меркой. Отнюдь не будучи сам воздержанным, я от чистого сердца восхищаюсь воздержанностью фельянтинцев и капуцинов, находя их образ жизни весьма достойным; и силой моего воображения я без труда переношу себя на их место.

И я тем больше люблю их и уважаю, что они иные, чем я. И ничего я так не хотел бы, как чтобы о каждом из нас судили особо и чтобы меня не

стригли под общую гребенку.

Моя собственная слабость нисколько не умаляет того высокого мнения, которое мне подобает иметь о стойкости и силе людей, этого заслуживающих. Sunt qui nihil laudant, nisi quod se imitari posse confidunt[132]. Пресмыкаясь во прахе земном, я тем не менее не утратил способности замечать где-то высоко в облаках несравненную возвышенность иных героических душ. Иметь хотя бы правильные суждения, раз мне не дано надлежащим образом действовать, и сохранять по крайней мере неиспорченной эту главнейшую часть моего существа, — по мне, и то уже много. Ведь обладать доброй волей, даже если кишка тонка, это тоже чего-нибудь стоит. Век, в который мы с вами живем, по крайней мере под нашими небесами, — настолько свинцовый, что не только сама добродетель, но даже понятие о ней — вещь неведомая; похоже, что она стала лишь словечком из школьных упражнений в риторике:

virtutem verba putant, ut

[132] Примечания: 132

Некоторые люди хвалят лишь то, чему, по собственному мнению, они могут подражать (*лат.*). Цицерон. *Оратор,* 7.

Lucum ligna[133].

Quam vereri deberent, etiamsi percipere non possent[134].

Это безделушка, которую можно повесить у себя на стенке, или на кончике языка, или на кончике уха в виде украшения.

Не заметно больше поступков, исполненных добродетели; те, которые кажутся такими, на деле не таковы, ибо нас влекут к ним выгода, слава, страх, привычка и другие столь же далекие от добродетели побуждения. Справедливость, доблесть, доброта, которые мы обнаруживаем при этом, могут быть названы так лишь теми, кто смотрит со стороны, на основании того облика, в каком они предстают на людях, но для самого деятеля это никоим образом не добродетель; он преследует совершенно иные цели, им руководят иные побудительные причины. А добродетель между тем признает своим только то, что творится посредством нее одной и лишь ради нее.

После великой битвы при Потидее, в которой

---

[133] Примечания: 133

Добродетель для них лишь слово, а священная роща — дрова (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 6, 31–32.

[134] Примечания: 134

Пусть бы чтили ее, хотя и не разумеют (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* V, 2.

греки под предводительством Павсания нанесли Мардонию и персам страшное поражение, победители, следуя принятому у них обычаю, стали судить, кому принадлежит слава этого великого подвига, и признали, что наибольшую доблесть в этой битве проявили спартанцы. Когда же спартанцы, эти отличные судьи в делах добродетели, стали решать, в свою очередь, кому из них принадлежит честь свершения в этот день наиболее выдающегося деяния, они пришли к выводу, что храбрее всех сражался Аристодем; и все же они не дали ему этой почетной награды, потому что его доблесть воспламенялась желанием смыть пятно, которое лежало на нем со времени Фермопил, и он жаждал пасть смертью храброго, дабы искупить свой прежний позор.

Следуя за общей порчею нравов, пошатнулись и наши суждения. Я вижу, что большинство умов моего времени изощряется в том, чтобы умалить славу прекрасных и благородных деяний древности, давая им какое-нибудь низменное истолкование и подыскивая для их объяснения суетные поводы и причины.

Велика хитрость! Назовите мне какое-нибудь самое чистое и выдающееся деяние, и я берусь обнаружить в нем, с полным правдоподобием,

полсотни порочных намерений. Одному Богу известно, сколько разнообразнейших побуждений можно при желании вычитать в человеческой воле! Но любители заниматься подобным злословием поражают при этом не столько даже своим ехидством, сколько грубостью и тупоумием.

С таким же усердием и готовностью, с каким глупцы стремятся унизить эти великие имена, я хотел бы приложить все силы, чтобы вновь их возвысить. Я не тешу себя надеждой, что мне удастся восстановить в их былом достоинстве эти драгоценнейшие образцы, могущие, по мнению мудрецов, служить примером для всего мира, но я все же постараюсь использовать для этого все доступные мне возможности и всю силу моей аргументации, как бы недостаточна она ни была. Ибо надо помнить, что все усилия нашего воображения не в состоянии подняться до уровня их заслуг.

Долг честных людей — изображать добродетель как можно более прекрасною, и не беда, если мы увлечемся страстью к этим священным образам. Что же до наших умников, то они всячески их чернят либо по злобе, либо в силу порочной склонности мерить все по собственной мерке, о чем я говорил уже выше, либо — что мне пред-

ставляется наиболее вероятным — от того, что не обладают достаточно ясным и острым зрением, чтобы различить блеск добродетели во всей ее первозданной чистоте: к таким вещам их глаз непривычен. Так, например, Плутарх говорит, что в его время некоторые считали причиной самоубийства Катона Младшего его мнимый страх перед Цезарем, и он, вполне основательно, возмущается этим; можно себе представить, какое негодование вызвали бы у него те из наших современников, которые приписывают самоубийство Катона его честолюбию! Глупцы! Он совершил бы прекрасное, благородное и возвышенное деяние даже в том случае, если бы его ожидал за это позор, а не слава. Этот человек был поистине образцом, избранным природой для того, чтобы показать нам, каких пределов может достигнуть человеческая добродетель и твердость.

Я не буду пытаться исчерпать здесь эту благородную тему. Мне хочется, однако, устроить своего рода соревнование между стихами пяти латинских поэтов, восхвалявших Катона и этим поставивших памятник не только ему, но, в известном смысле, и самим себе. Всякий мало-мальски развитой ребенок заметит, что первые два из высказываний, по сравнению с

остальными, немного хромают, а третье, хотя и будет покрепче, именно в силу избытка своей силы отличается некоторой сухостью; словом, целая ступень, или даже две, поэтического совершенства отделяют их от четвертого, прочитав которое, всякий всплеснет руками от восхищения. Наконец, прочитав последнее или, лучше сказать, первое, идущее впереди всех остальных на известном расстоянии, на таком, однако, что, готов поклясться, его не заполнить никаким усилием человеческого ума, — он будет поражен, он замрет от восторга.

Но странная вещь: у нас больше поэтов, чем истолкователей и судей поэзии. Творить ее легче, чем разбираться в ней. О поэзии, не превышающей известного, весьма невысокого уровня, можно судить на основании предписаний и правил поэтического искусства. Но поэзия прекрасная, выдающаяся, божественная — выше правил и выше нашего разума. Тот, кто способен уловить ее красоту твердым и уверенным взглядом, может разглядеть ее не более, чем сверкание молнии. Она нисколько не обогащает наш ум; она пленяет и опустошает его. Восторг, охватывающий всякого, кто умеет проникнуть в тайны такой поэзии, заражает и тех, кто слушает, как

рассуждают о ней или читают ее образцы; тут то же самое, что с магнитом, который не только притягивает иглу, но и передает ей способность притягивать, в свою очередь, другие иглы. И всего отчетливее это заметно в театре. Мы видим, как священное вдохновение муз, ввергнув сначала поэта в гнев, скорбь, ненависть, самозабвение, во все, что им будет угодно, потрясает затем актера через посредство поэта и, наконец, зрителей через посредство актера. Это целая цепь наших магнитных игл, висящих одна на другой. С самого раннего детства поэзия приводила меня в упоение и пронизывала все мое существо. Но заложенная во мне самой природой восприимчивость к ней с течением времени все обострялась и совершенствовалась благодаря знакомству со всем ее многообразием — я имею в виду не то чтобы поэзию прекрасную и дурную (ибо я избирал всегда наиболее высокие образцы в каждом поэтическом роде), а различие в ее оттенках; вначале это была веселая и искрометная легкость, затем возвышенная и благородная утонченность и, наконец, зрелая непоколебимая сила. Примеры скажут об этом еще яснее: Овидий, Лукан, Вергилий. Но вот мои поэты, — пусть каждый говорит за себя.

Sit Cato, dum vivit, sane vel Caesare maior[135], —

заявляет один.

Et
invictum, devicta morte, Catonem[136], —

вспоминает другой.

Третий, касаясь гражданских войн между Цезарем и Помпеем, говорит:

Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni[137].

Четвертый, воздав хвалу Цезарю, добавляет:

Et cuncta terrarum subacta,
Praeter atrocem animum Catonis[138].

И, наконец, корифей этого хора, перечислив всех наиболее прославленных римлян, которых

---

[135] Примечания: 135

Катон, пока жил, был превыше Цезаря (*лат.*). Марциал. *Эпиграммы,* VI, 32.

[136] Примечания: 136

И непобедимого, победившего смерть Катона (*лат.*). Манилий. *Астрономика,* IV, 87.

[137] Примечания: 137

Мил победитель богам, а побежденный — Катону (*лат.*). Лукан, I, 128.

[138] Примечания: 138

Все на земле подчинилось, кроме сурового духа Катона (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, I, 23.

он изобразил на своей картине, заканчивает именем Катона:

His dantem iura Catonem[139].

[139] Примечания: 139
Творящего над ними суд Катона (*лат.*). *Энеида,* VIII, 670.

Глава XXXVIII
О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же

Читая в исторических сочинениях о том, что Антигон разгневался на своего сына, когда тот поднес ему голову врага его, царя Пирра, только что убитого в сражении с его войсками, и что, увидев ее, Антигон заплакал, или что герцог Рене Лотарингский также оплакал смерть герцога Карла Бургундского, которому он только что нанес поражение, и облачился на его похоронах в траур, или что в битве при Оре, которую граф де Монфор выиграл у Шарля де Блуа, своего соперника в борьбе за герцогство Бретонское, победитель, наткнувшись на тело своего умершего врага, глубоко опечалился, — давайте воздержимся от того, чтобы воскликнуть:

Et cosi avven che l'animo ciascuna
Sua passion sotto'l contrario manto
Ricopre,

con la vista or'chiara, or bruna[140].

Историки сообщают, что, когда Цезарю поднесли голову Помпея, он отвратил от него взор, как от ужасного и тягостного зрелища. Между ними так долго царило согласие, они так долго сообща управляли государственными делами, их связывали такая общность судьбы, столько взаимных услуг и совместных деяний, что нет никаких оснований полагать, будто поведение Цезаря было не более как притворством, хотя такого мнения придерживается автор следующих стихов:

tutumque putavit

Iam bonus esse socer: lacrimas non sponte cadentes

Effudit, gemitusque expressit pectore laeto[141].

Ибо хотя большинство наших поступков и в самом деле не что иное, как маска и лицемерие, и поэтому иногда вполне соответствует истине,

---

[140] Примечания: 140

Так душа прикрывает сокровенные свои чувства противоположными: печаль — радостью, радость — печалью (*ит.*). Петрарка. Сонет 81.

[141] Примечания: 141

Решив, что теперь безопасно изобразить доброго тестя, он проливал неискренние слезы и исторгал вздохи из ликующего сердца (*лат.*). Лукан, IX, 1037 сл.

что

Haeredis fletus sub persona risus est[142],

все же, размышляя по поводу вышеприведенных случаев, нужно учитывать, до чего часто нашу душу раздирают противоположные страсти. В нашем теле, говорят врачи, существует целый ряд различных соков, среди которых господствующим является тот, который обычно преобладает в нас в зависимости от нашего телосложения; так и в нашей душе: сколько бы различных побуждений ни волновало ее, среди них есть такое, которое неизменно одерживает верх. Впрочем, его победа никогда не бывает настолько решительной, чтобы, из-за податливости и изменчивости нашей души, более слабые побуждения не отвоевывали себе при случае места и не добивались, в свою очередь, кратковременного преобладания. Именно по этой причине одна и та же вещь, как мы видим, может заставить и смеяться и плакать не только детей, с непосредственностью следующих во всем природе, но зачастую и нас самих; в самом деле, ведь ни один из нас не может похвастаться, что,

[142] Примечания: 142

Плач наследника — это смех под маской. Стих Публилия Сира приводит Авл Геллий (XVII, 14).

отправляясь в путешествие, сколь бы желанным оно для него ни было, и отрываясь от семьи и друзей, он не чувствовал бы, что у него щемит сердце; и, если у него тут же не выступят слезы, все же он будет вдевать ногу в стремя с лицом по меньшей мере унылым и опечаленным. И как бы ни согревало нежное пламя сердце благонравной девицы, ее приходится, можно сказать, насильно вырывать из объятий матери, дабы вручить супругу, что бы ни говорил на этот счет наш добрый приятель Катулл:

> *Estne novis nuptis odio Venus, anne parentum*
>
> *Frustrantur falsis gaudia lacrimulis,*
>
> *Ubertim thalami quas intra limina fundunt?*
>
> *Non, ita me divi, vera gemunt, iuverint*[143].

Итак, нет ничего удивительного, что иной оплакивает смерть человека, которого он вовсе не желал бы видеть живым.

Когда я браню моего слугу, я браню его от всего сердца, и проклятия мои искренние, а не притвор-

---

[143] Примечания: 143

Или новобрачным ненавистна Венера, или притворными слезами они отравляют радость родителей, проливая их обильно у порога спальни? Боги мне свидетели — неискренне плачут! (*лат.*) Катулл, LXVI, 15 сл.

ные; но пусть только уляжется мое раздражение, и у того же слуги будет нужда во мне, я охотно сделаю все, что в моих силах, словно я начал читать совсем новую главу. Когда я называю его болваном или ослом, у меня нет и в мыслях прилепить к нему навсегда эти прозвища, и я не считаю, что противоречу себе, когда, через короткое время, называю его славным малым. Нет таких качеств, которые целиком и полностью господствовали бы в нас. Если бы разговаривать с самим собой не было свойством сумасшедших, то каждый день можно было слышать, как я ворчу на себя, обзывая себя дерьмом. И все же я не считаю, что это слово точно определяет мою сущность.

Глупцом был бы тот, кто, видя меня то равнодушным, то влюбленным возле моей жены, счел бы, что я притворяюсь в обоих случаях. Нерон, прощаясь с матерью, когда ее уводили, чтобы по его приказанию утопить, испытал все же при этом сыновнее чувство; он содрогнулся и пожалел ее!

Говорят, что солнечный свет не представляет собой чего-то сплошного, но что солнце настолько часто мечет свои лучи один за другим, что мы не в состоянии заметить промежутки, которые их отделяют:

Largus enim liquidi fons luminis, aetherius sol

Inrigat assidue coelum candore recenti,

Suppeditatque novo confestim lumine lumen[144],

так и наша душа испускает различные лучи с неуловимыми переходами от одного из них к другому.

Артабан, заметив однажды внезапную перемену в выражении лица своего племянника Ксеркса, пожурил его за это. Ксеркс в это время смотрел на свои несметные полчища, переправлявшиеся через Гелеспонт, чтобы вторгнуться в Грецию. При виде стольких тысяч подвластных ему людей, он затрепетал от удовольствия, и на лице его появилось выражение торжества. Но вдруг в то же мгновение ему пришла в голову мысль, что не пройдет и ста лет, как из всего этого великого множества не останется в живых ни одного человека, — и тут на чело его набежали морщины, и он огорчился до слез.

Мы, не колеблясь, отомстили за нанесенное нам оскорбление и испытали глубокое удовлетво-

[144] Примечания: 144

Неиссякаемый источник жидкого света, солнце, неустанно заливает небо сиянием и шлет чередой луч за лучом (*лат.*). Лукреций, V, 281 сл.

рение, добившись своего; и вдруг мы залились слезами. Разумеется, не успех побудил нас заплакать, и все осталось по-прежнему; но душа наша смотрит теперь на дело другими глазами, и оно представляется ей в новом обличье, ибо всякая вещь многообразна и многоцветна. Теперь нашим воображением овладели воспоминания о родственных связях, давнем знакомстве и дружбе, и, в зависимости от их яркости, оно оказывается потрясено ими; но только образы эти проносятся в нашем сознании так стремительно, что мы не в состоянии задержаться на них:

> *Nil adeo fieri celeri ratione videtur*
> *Quam si mens fieri proponit et inchoat ipsa.*
> *Ocius ergo animus quam res se perciet ulla,*
> *Ante oculos quarum in promptu natura videtur*[145].

И по этой причине, желая объединить все эти последовательные переживания в нечто цельное, мы впадаем в ошибку. Когда Тимолеон оплакивает убийство, совершенное им после возвышенного и зрелого размышления, он опла-

---

[145] Примечания: 145

Ничто не совершается с такой быстротой, с какой замышляет и приводит в исполнение ум. Душа движется быстрее всех вещей, которые мы видим у себя перед глазами. Лукреций, III, 182.

кивает не свободу, возвращенную его деянием родине, он оплакивает не тирана, нет, он оплакивает брата. Часть своего долга он выполнил, предоставим же ему выполнить и другую.

Глава XL
Рассуждение о Цицероне

Вот еще одна черта, полезная для сравнения двух этих пар. Произведения Цицерона и Плиния (на мой взгляд, очень мало походившего по складу ума на своего дядю) представляют собой бесконечный ряд свидетельств о чрезмерном честолюбии их авторов. Между прочим, всем известно, что они добивались от историков своего времени, чтобы те не забывали их в своих произведениях. Судьба же, словно в насмешку, донесла до нашего времени сведения об этих домогательствах, а самые повествования давным-давно предала забвению. Но что переходит все пределы душевной низости в людях, занимавших такое положение, так это стремление приобрести высшую славу болтовней и краснобайством, доходящее до того, что для этой цели они пользовались даже своими частными письмами к друзьям, причем и в тех случаях, когда письмо своевременно не было отправлено, они все же предавали его гласности с тем достойным извинением, что не хотели, мол, даром потерять затраченный труд и часы

бдения. Подобало ли двум римским консулам, верховным должностным лицам государства, повелевающего миром, употреблять свои досуги на тщательное отделыванье красивых оборотов в письме, для того чтобы прославиться хорошим знанием языка, которому их научила нянька? Разве хуже писал какой-нибудь школьный учитель, зарабатывавший себе этим на жизнь? Не думаю, чтобы Ксенофонт или Цезарь стали описывать свои деяния, если бы эти деяния не превосходили во много раз их красноречие. Они старались прославиться не словами, а делами. И если бы совершенство литературного слога могло принести крупному человеку завидную славу, наверно, Сципион и Лелий не уступили бы чести создания своих комедий, блещущих красотами и тончайшими оттенками латинского языка, на котором они написаны, рабу родом из Африки: красота и совершенство этих творений говорят о том, что они принадлежат им, да и сам Теренций признает это. И я возражал бы против всякой попытки разубедить меня в этом.

Насмешкой и оскорблением является стремление прославить человека за те качества, которые не подобают его положению, хотя бы они сами по себе были достойны похвалы, а также за те,

которые для него не наиболее существенны, как если бы, например, прославляли какого-нибудь государя за то, что он хороший живописец или хороший зодчий, или метко стреляет из аркебузы, или быстро бегает наперегонки. Подобные похвалы приносят честь лишь в том случае, если они присоединяются к другим, прославляющим качества, важные в государе, а именно — его справедливость и искусство управлять народом в дни мира и во время войны. Так, в этом смысле Киру приносят честь его познания в земледелии, а Карлу Великому — его красноречие и знакомство с изящной литературой. Мне приходилось встречать людей, для которых уменье владеть пером было признанием, обеспечившим им высокое положение, но которые тем не менее отрекались от своего искусства, нарочно портили свой слог и щеголяли таким низменным невежеством, которое наш народ считает невозможным у людей образованных; они старались снискать уважение, избрав для себя более высокое поприще.

Сотоварищи Демосфена, вместе с ним отправленные послами к Филиппу, стали восхвалять этого царя за его красоту, красноречие и за то, что он мастер выпить. Демосфен же нашел, что такие похвалы больше подходят женщине, стряпчему

и хорошей губке, но отнюдь не царю.

Imperet bellante prior, iacentem
Lenis in hostem[146].

Не его дело быть хорошим охотником или плясуном,

Orabunt causas alii, coelique meatus
Describent radio, et fulgentia sidera dicent;
Hic regere imperio populos sciat[147].

Более того, Плутарх говорит, что обнаруживать превосходное знание вещей, не столь уж существенных, это значит вызывать справедливые нарекания в том, что ты плохо использовал свои досуги и недостаточно изучал вещи, более нужные и полезные. Филипп, царь македонский, услышав однажды на пиру своего сына, великого Александра, который пел, вызывая зависть прославленных музыкантов, сказал ему: «Не стыдно ли тебе так хорошо петь?» Тому же Филиппу некий музыкант, с которым он вступил в спор об

---

[146] Примечания: 146

Пусть будет грозен в бою, но милостив к побежденному (*лат.*). Гораций. *Юбилейный гимн,* 51 сл.

[147] Примечания: 147

Одни будут выступать в суде, другие изображать циркулем движение небес и исчислять сияющие звезды, а им пусть будет дано править народами (*лат.*). *Энеида,* VI, 849 сл.

искусстве, заметил: «Да не будет угодно Богу, государь, чтобы тебе когда-либо выпало несчастье смыслить во всем этом больше меня».

Царь должен иметь возможность ответить так, как Ификрат ответил оратору, который бранил его в своей речи: «А ты кто такой, чтобы так храбриться? Воин? Лучник? Копьеносец?» — «Я ни то, ни другое, ни третье, но я тот, кто умеет над ними всеми начальствовать».

И Антисфен считал доказательством ничтожности Исмения то обстоятельство, что его хвалили как отличного флейтиста.

Когда я слышу о тех, кто толкует о языке моих «Опытов», должен сказать, я предпочел бы, чтобы они помолчали, ибо они не столько превозносят мой слог, сколько принижают мысли, и эта критика особенно досадна, потому что она косвенная. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли другие больше меня заботились именно о содержании. Худо ли, хорошо ли, но не думаю, чтобы какой-либо другой писатель дал в своих произведениях большее богатство содержания или, во всяком случае, рассыпал бы его более щедро, чем я на этих страницах. Чтобы его было еще больше, я, в сущности, напихал сюда одни лишь главнейшие положения, а если бы я стал

их еще и развивать, мне пришлось бы во много раз увеличить объем этого тома. А сколько я разбросал здесь всяких историй, которые сами по себе как будто не имеют существенного значения! Но тот, кто захотел бы в них основательно покопаться, нашел бы материал еще для бесконечного количества опытов. Ни эти рассказы, ни мои собственные рассуждения не служат мне только в качестве примера, авторитетной ссылки или украшения. Я обращаюсь к ним не только потому, что они для меня полезны. В них зачастую содержатся, независимо от того, о чем я говорю, семена мыслей, более богатых и смелых, и, словно под сурдинку, намекают о них и мне, не желающему на этот счет распространяться, и тем, кто способен улавливать те же звуки, что и я. Возвращаясь к дару слова, я должен сказать, что не нахожу большой разницы между тем, кто умеет только неуклюже выражаться, и теми, кто ничего не умеет делать, кроме как выражаться изящно. Non est ornamentum virile concinnitas[148].

Мудрецы утверждают, что для познания — философия, а для деятельности — добродетель, вот то, что пригодно для любого состояния и звания.

---

[148] Примечания: 148
Изящество не украшает мужа (*лат.*). *Письма,* 115, 2.

Нечто подобное обнаруживается и у знакомых нам двух философов, ибо они тоже обещают вечность тем письмам, которые писали своим друзьям.

Но они делают это совсем иным образом, с благой целью снисходя к тщеславию ближнего. Ибо они пишут своим друзьям, что если стремление стать известными в грядущих веках и жажда славы еще препятствуют этим друзьям покинуть дела и заставляют опасаться уединения и отшельничества, к которым они их призывают, то не следует им беспокоиться об этом: ведь они, философы, будут пользоваться у потомства достаточной известностью и потому могут отвечать за то, что одни только письма, полученные от них друзьями, сделают имена друзей более известными и более прославят их, чем они могли бы достичь этого своей общественной деятельностью. И кроме указанной разницы это отнюдь не пустые и бессодержательные письма, весь смысл которых в тонком подборе слов, объединенных и размещенных согласно определенному ритму, — они полным-полны прекрасных и мудрых рассуждений, которые учат не красноречию, а мудрости, которые поучают не хорошо говорить, а хорошо поступать. Долой красноречие, которое

влечет нас само по себе, а не к стоящим за ним вещам! Впрочем, о цицероновском слоге говорят, что, достигая исключительного совершенства, он в нем и обретает свое содержание.

Добавлю еще один рассказ о Цицероне, который рисует его натуру с осязательной наглядностью. Ему предстояло публично произнести речь и не хватало времени, чтобы как следует подготовиться. Один из его рабов, по имени Эрот, пришел к нему с известием, что выступление переносится на следующий день. Он был до того обрадован, что за эту добрую весть отпустил раба на волю.

Насчет писем хочу сказать, что, по мнению моих друзей, у меня есть способность к сочинению их. И для распространения своих выдумок я охотно пользовался бы этой формой, если бы имел подходящего собеседника. Я нуждаюсь в таком общении с собеседником (некогда я его имел!), которое бы поддерживало и вдохновляло меня. Ибо бросать слова на ветер, как делают другие, я мог бы разве только во сне, а изобретать несуществующих людей для того, чтобы писать им о значительных вещах, мне тоже было бы противно, так как я заклятый враг всяких подделок. Если бы я обращался к хорошему другу, то был бы более внимателен и более уверен в себе,

чем теперь, когда вижу перед собой многоликую толпу, и вряд ли я ошибусь, если скажу, что в этом случае писал бы удачнее. Природа одарила меня слогом насмешливым и непринужденным, но эта свойственная мне форма изложения не годится для официальных сношений, как и вообще мой язык, слишком сжатый, беспорядочный, отрывистый. И я не отличаюсь уменьем писать церемонные послания, у которых нет другого смысла, кроме изящного нанизывания любезных слов. Нет у меня ни способности, ни склонности ко всякого рода пространным изъявлениям своего уважения и готовности к услугам. Я вовсе этого не чувствую, и мне неприятно говорить больше, чем я чувствую. В этом я очень далек от теперешней моды, ибо никогда еще не было столь отвратительного и низменного проституирования слов, выражающих почтение и уважение: «жизнь», «душа», «преданность», «обожение», «раб», «слуга» — все это до того опошлено, что, когда люди хотят высказать подлинно горячее чувство и настоящее уважение, у них уже не хватает для этого слов.

Я смертельно ненавижу все, что хоть сколько-нибудь отдает лестью, и поэтому, естественно, склонен говорить сухо, кратко и прямо, а это тем,

кто меня плохо знает, кажется высокомерием. С наибольшим почтением отношусь я к тем, кому не расточаю особо почтительных выражений, и если душа моя устремляется к кому-либо с радостью, я уже не могу заставить ее выступать шагом, которого требует учтивость. Тем, кому я действительно принадлежу всей душой, я предлагаю себя скупо и с достоинством и меньше всего заявляю о своей преданности тем, кому больше всего предан. Мне кажется, что они должны читать в моем сердце и что всякое словесное выражение моих чувств только исказит их.

Я не знаю никого, чей язык был бы так туп и неискусен, как мой, когда дело касается всевозможных приветствий по случаю прибытия, прощаний, благодарностей, поздравлений, предложений услуг и других словесных выкрутасов, предписываемых правилами нашей учтивости.

И ни разу не удавалось мне написать письмо с рекомендацией кого-либо или с просьбой об одолжении кому-либо так, чтобы тот, для кого оно писалось, не находил его сухим и вялым.

Величайшие мастера составлять письма — итальянцы. У меня, если не ошибаюсь, не менее ста томов таких писем; лучшие из них, по-моему, письма Аннибале Каро. Если бы вся та бумага,

которую я в свое время исписал, обращаясь к женщинам, была теперь налицо, то из написанного мной в те дни, когда руку мою направляла настоящая страсть, может быть, и нашлась бы страничка, достойная того, чтобы ознакомить с нею нашу праздную молодежь, обуреваемую пылом любви. Я всегда пишу свои письма торопливо и так стремительно, что, хотя у меня отвратительный почерк, я предпочитаю писать их своей рукой, а не диктовать другому, так как не могу найти человека, который бы поспевал за мной, и никогда не переписываю набело. Я приучил высоких особ, которые со мной знаются, терпеть мои кляксы и помарки на бумаге без сгибов и полей. Те письма, на которые я затрачиваю больше всего труда, как раз самые неудачные: когда письмо не далось мне сразу, значит, мне не удалось вложить в него душу. Приятнее всего для меня — начинать безо всякого плана: пусть одно влечет за собой другое. В наше время в письмах больше всяких отступлений и предисловий, чем делового содержания. Так как я предпочитаю написать два письма, чем сложить и запечатать одно, то это дело я всегда возлагаю на кого-нибудь другого. Точно так же, когда все, что нужно было сказать в письме, исчерпано, я охотно поручал

бы кому-нибудь другому добавлять к нему все эти длинные обращения, предложения и просьбы, которыми у нас принято уснащать конец письма, и очень желал бы, чтобы какой-нибудь новый обычай избавил нас от этого, а также от необходимости выписывать перечень всех чинов и титулов. Чтобы тут не напутать и не ошибиться, я не раз отказывался от намерения писать, особенно же к людям из судейского и финансового мира. Там постоянно возникают новые должности, царит путаница в распределении и присвоении высоких званий, а они покупаются настолько дорого, что нельзя забыть их или заменить одно другим, не нанеся обиды. Точно так же нахожу я неподходящим делом помещать посвящение с перечнем чинов и титулов на заглавных листах книг, которые мы посылаем в печать.

Глава XLII
О существующем среди нас неравенстве

Плутарх говорит в одном месте, что животное от животного не отличается так сильно, как человек от человека. Он имеет в виду душевные свойства и внутренние качества человека. И поистине, от Эпаминонда, как я себе его представляю, до того или иного из известных мне людей, хотя бы и не лишенного способности здраво рассуждать, столь же, по-моему, далеко, что я выразился бы сильнее Плутарха и сказал бы, что между иными людьми разница часто большая, чем между некоторыми людьми и некоторыми животными, —

Hem! vir viro quid praestat?[149] —

и что ступеней духовного совершенства столько же, сколько саженей отсюда до неба; им же несть числа.

Но, если уж говорить об оценке людей, то —

---

[149] Примечания: 149

Насколько же один человек превосходит другого? (*лат.*) Теренций. *Евнух,* 232.

удивительное дело — все вещи, кроме нас самих, оцениваются только по их собственным качествам. Мы хвалим коня за силу и резвость:

volucrem
Sic laudamus equum, facili cui plurima palma
Fervet, et exultat rauco victoria circo[150],

а не за сбрую; борзую за быстроту бега, а не за ошейник; ловчую птицу за крылья, а не за цепочки и бубенчики. Почему таким же образом не судить нам и о человеке по тому, что ему присуще? Он ведет роскошный образ жизни, у него прекрасный дворец, он обладает таким-то влиянием, таким-то доходом; но все это — при нем, а не в нем самом. Вы не покупаете кота в мешке. Приторговывая себе коня, вы снимаете с него боевое снаряжение, осматриваете в естественном виде; если же он все-таки покрыт попоной, как это делали в старину, приводя коней на продажу царям, то она прикрывает наименее существенное, для того чтобы вы не увлеклись красотой шерсти или шириной крупа, а обратили главное

[150] Примечания: 150
Мы восхваляем крылатого коня, который легко захватывает множество призов, вызывая рукоплескания в битком набитом цирке (*лат.*). Ювенал. *Сатиры,* VIII, 57 сл.

внимание на ноги, глаза, копыта — наиболее важное во всякой лошади:

> *Regibus hic mos est: ubi equos mercantur, opertos*
>
> *Inspiciunt, ne, si facies, ut saepe, decora*
>
> *Molli fulta pede est, emptorem inducat hiantem,*
>
> *Quod pulchrae clunes, breve quod caput, arbua cervix*[151].

Почему же, оценивая человека, судите вы о нем, облеченном во все покровы? Он показывает нам только то, что ни в коей мере не является его сущностью, и скрывает от нас все, на основании чего только и можно судить о его достоинствах. Вы ведь хотите знать цену шпаги, а не ножен: увидев ее обнаженной, вы, может быть, не дадите за нее и медного гроша.

Надо судить о человеке по качествам его, а не по нарядам, и, как остроумно говорит один древний автор, «знаете ли, почему он кажется вам таким высоким? Вас обманывает высота его каблуков».

---

[151] Примечания: 151

У царей есть обычай: когда они покупают коней они осматривают их покрытыми, поскольку внешняя красота порой опирается на слабые ноги, соблазняя восхищенного покупателя красивым крупом, небольшой головой и изогнутой шеей (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* I, 2, 86 сл.

Цоколь — еще не статуя. Измеряйте человека без ходулей. Пусть он отложит в сторону свои богатства и знания и предстанет перед вами в одной рубашке. Обладает ли тело его здоровьем и силой, приспособлено ли оно к свойственным ему занятиям? Какая душа у него? Прекрасна ли она, одарена ли способностями и всеми надлежащими качествами? Ей ли принадлежит ее богатство или оно заимствовано? Не обязана ли она всем счастливому случаю? Может ли она хладнокровно видеть блеск обнаженных мечей? Способна ли бесстрашно встретить и естественную и насильственную смерть? Достаточно ли в ней уверенности, уравновешенности, удовлетворенности? Вот в чем надо дать себе отчет, и по этому надо судить о существующих между нами громадных различиях. Если человек

sapiens, sibique imperiosus

Quem neque pauperies, neque mors, neque vincula terrent,

Responsare cupidinibus, contemnere honores

Fortis, et in se ipso totus teres atque rotundus,

Externi ne quid valeat per laeve morari,

In quem manca ruit semper fortuna?[152]

то он на пятьсот саженей возвышается над всеми королевствами и герцогствами, в самом себе обретая целое царство.

Sapiens… pol ipse fingit fortunam sibi[153].

Что ему остается желать?

Nonne videmus
Nil aliud sibi naturam latrare, nisi ut qui
Corpore seiunctus dolor absit, mente fruatur,
lucundo sensu cura semotus metuque?[154]

Сравните с ним толпу окружающих нас людей, тупых, низких, раболепных, непостоянных и беспрерывно мятущихся по бушующим волнам

---

[152] Примечания: 152

Если он мудр и сам себе господин, и его не пугают ни нищета, ни смерть, ни оковы; если, твердый духом, он умеет владеть страстями и презирать почести; если он весь гладкий и круглый, так что ничто внешнее не может его сбить с толку, то властны ли над ним превратности судьбы? (*лат.*) Гораций. *Сатиры,* II, 7,83 сл.

[153] Примечания: 153

Мудрец сам кует свое счастье (*лат.*). Плавт. *Три монеты,* II, 2.

[154] Примечания: 154

Не ясно ли видим, что природа наша требует одного: чтобы тело не испытывало страданий и чтобы мы могли наслаждаться размышлениями и приятными ощущениями, не зная страха и тревог (*лат.*). Лукреций, II, 16 сл.

различных страстей, которые носят их из стороны в сторону, целиком зависящих от чужой воли: от них до него дальше, чем от земли до неба. И тем не менее таково обычное наше ослепление, что мы очень мало или совсем не считаемся с этим. Когда же мы видим крестьянина и короля, дворянина и простолюдина, сановника и частное лицо, богача и бедняка, нашим глазам они представляются до крайности несходными, а между тем они, попросту говоря, отличаются друг от друга только своим платьем.

Во Фракии царя отличали от его народа способом занятным, но слишком замысловатым: он имел особую религию, бога, ему одному принадлежавшего, которому подданные его не имели права поклоняться, — то был Меркурий. Он же пренебрегал их богами — Марсом, Вакхом, Дианой. И все же это лишь пустая видимость, не представляющая никаких существенных различий. Они подобны актерам, изображающим на подмостках королей и императоров; но сейчас же после спектакля они снова становятся жалкими слугами или поденщиками, возвращаясь в свое изначальное состояние. Поглядите на императора, чье великолепие ослепляет вас во время парадных выходов:

Scilicet et grandes viridi cum luce smaragdi
Auro includuntur, teriturque Thalassina vestis
Assidue, et Veneris sudorem exercita potat[155].

А теперь посмотрите на него за опущенным занавесом: это обыкновеннейший человек и, может статься, даже более ничтожный, чем самый жалкий из его подданных: Ille beatus introrsum est. Istius bracteata felicitas est[156]. Трусость, нерешительность, честолюбие, досада и зависть волнуют его, как всякого другого:

Non enim gazae neque consularis
Summovet lictor miseros tumultus
Mentis et curas laqueata circum
Tecta volantes[157]*;*

---

[155] Примечания: 155

Он носит оправленные в золото и сияющие зеленым блеском огромные изумруды, постоянно облачен в одежду, дарованную морем, пропитанную потом любовных утех (*лат.*). Лукреций, IV, 1126.

[156] Примечания: 156

Этот поистине счастлив, а счастье другого — лишь внешность (*лат.*). *Письма,* 115.

[157] Примечания: 157

Ни роскошь, ни высокий сан консула не отгонят душевных тревог и печалей, витающих под золоченными украшениями потолка (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, 18, 16, 9 сл.

тревога и страх хватают его за горло, когда он находится среди своих войск.

> *Re veraque metus hominum, curaeque sequaces,*
>
> *Nec metuunt sonitus armorum, nec fera tela;*
>
> *Audacterque inter reges, rerumque potentes*
>
> *Versantur, neque fulgorem reverentur ab auro*[158].

А разве лихорадка, головная боль, подагра щадят его больше, чем нас? Когда плечи его согнет старость, избавят ли его от этой ноши телохранители? Когда страх смерти оледенит его, успокоится ли он от присутствия вельмож своего двора? Когда им овладеет ревность или внезапная причуда, приведут ли его в себя низкие поклоны? Полог над его ложем, который весь топорщится от золотого и жемчужного шитья, не способен помочь ему справиться с приступами желудочных болей.

---

[158] Примечания: 158

Поистине, людские страхи и преследующие заботы не боятся ни бряцанья оружия, ни смертоносных дротиков, и они дерзко витают между царей и властителей, не страшась блеска их золота (*лат.*). Лукреций, II, 48 сл.

Nec calidae citius decedunt corpore febres,
Textilibus si in picturis ostroque rubenti
lacteris, quam si plebeia in veste cubandum est[159].

Льстецы Александра Великого убеждали его в том, что он сын Юпитера. Однажды, будучи ранен, он посмотрел на кровь, текущую из его раны, и заметил: «Ну, что вы теперь скажете? Разве это не красная, самая что ни на есть человеческая кровь? Что-то не похожа она на ту, которая у Гомера вытекает из ран, нанесенных богам». Поэт Гермодор сочинил стихи в честь Антигона, в которых называл его сыном Солнца. Но Антигон возразил: «Тот, кто выносит мое судно, отлично знает, что это неправда». Царь — всего-навсего человек. И если он плох от рождения, то даже власть над всем миром не сделает его лучше:

puellae
Hunc rapiant: quicquid calcaverit hic, rosa fiat[160].

---

[159] Примечания: 159

Лихорадка не пройдет скорее оттого, что ты мечешься на пурпурном или тканом ложе, а не на самом обычном (*лат.*). Лукреций, II, 34 сл.

[160] Примечания: 160

Пусть девицы отнимают его одна у другой, и пусть везде, где бы он ни ступил, распускаются розы (*лат.*). Персий. *Сатиры,* II, 587 сл.

Что толку от всего этого, если как человек он душевно ничтожен и груб? Для наслаждения и счастья необходимы и душевные силы, и разум:

> *haec perinde sunt, ut illius animus qui ea possidet,*
>
> *Qui uti scit, ei bona: illi qui non utitur recte, mala*[161].

Каковы бы ни были блага, дарованные вам судьбой, надо еще обладать способностью ощущать их прелесть. Не владение чем-либо, а наслаждение делает нас счастливыми:

> *Non domus et fundus, non aeris acervus et auri*
>
> *Aegroto domini deduxit corpore febres,*
>
> *Non animo curas: valeat possessor oportet,*
>
> *Qui comportatis rebus bene cogitat uti.*
>
> *Qul cupit aut metuit, iuvat illum sic domus aut res,*
>
> *Ut lippum pictae tabulae, fomenta*

[161] Примечания: 161

Все вещи таковы, каков дух их владельца; для того, кто умеет ими пользоваться, они хороши, а для того, кто пользуется неправильно, плохи (*лат.*). Теренций. *Самоистязатель*, 195 сл.

podagram[162].

Кто глуп, чьи вкусы грубы и притуплены, тот способен наслаждаться ими не более, чем утративший обоняние и вкус — сладостью греческих вин или лошадь — роскошью сбруи, которой ее украсили. Верно говорит Платон, утверждая, что здоровье, красота, сила, богатство и все, что называется благом, для неразумного столь же плохо, как для разумного хорошо, и наоборот. К тому же если тело и душа недужны, к чему все эти внешние удобства жизни? Ведь малейшего укола булавки, малейшего душевного волнения достаточно для того, чтобы отнять у человека всякую радость обладания всемирной властью. При первом же приступе подагрических болей, каким бы он там ни был государем или величеством,

> *Totus et argento conflatus, totus et auro*[163], —

---

[162] Примечания: 162

Ни дом, ни поместье, ни груды бронзы и золота не изгонят из больного тела их владельца горячку, из души — печаль. Если обладатель всей этой груды вещей хочет хорошо ими пользоваться, ему следует быть здоровым. Кто жадничает или боится, тому его дом и богатства принесут столько же пользы, сколько картины тому, у кого гноятся глаза, или припарки — страдающему подагрой (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, II, 47 сл.

[163] Примечания: 163

Весь в серебро обряженный и в золото (*лат.*). Тибулл, I, 2, 69.

разве не забывает он о своих дворцах и о своем величии? А если он в ярости, то разве его царское достоинство поможет ему не краснеть, не бледнеть и не скрипеть зубами, как безумцу? Если же это человек благородный и обладающий разумом, царский престол едва ли добавит что-нибудь к его счастью.

Si ventri bene, si lateri est pedibusque tuis, nil
Divitiae
poterunt regales addere maius[164].

Он видит, что это только обманчивая личина. Быть может, он даже согласится с мнением царя Селевка, что «тот, кто знает, как тяжел царский скипетр, не стал бы его поднимать, когда бы нашел его валяющимся на земле»; он говорил так из-за великого и тягостного бремени, выпадающего на долю хорошего царя. И действительно, управлять другими нелегкое дело, когда и самим собою управлять нам достаточно трудно. Что же касается возможности повелевать, которая представляется столь сладостной, то, принимая

[164] Примечания: 164
Если у тебя все в порядке с желудком, с грудью, ногами, царские сокровища ничего не прибавят к твоему благоденствию (*лат.*). Гораций. *Послания*, I, 12, 5 сл.

во внимание жалкую слабость человеческого разумения и трудность выбора между вещами новыми и сомнительными, я придерживаюсь того мнения, что легче и приятнее следовать за кем-либо, чем предводительствовать, и что великое облегчение для души — придерживаться уже предписанного пути и отвечать лишь за себя:

Ut satius multo iam sit parere quietum,
Quam regere imperio res velle[165].

К тому же Кир говорил, что повелевать может только такой человек, который лучше тех, кем он повелевает. Но царь Гиерон у Ксенофонта утверждает, что даже в наслаждениях своих цари находятся в худшем положении, чем простые люди: ибо, с удобством и легкостью предаваясь удовольствиям, они не находят в них той сладостно-терпкой остроты, которую ощущаем мы.

Pinguis amor nimiumque potens in taedia nobis
Vertitur, et stomacho dulcis ut esca

[165] Примечания: 165

Гораздо лучше спокойно подчиняться, чем самому рваться к власти (*лат.*). Лукреций, V, 1027 сл.

nocet[166].

Разве детям, поющим в церковном хоре, музыка доставляет большое удовольствие? Пресыщенность ею вызывает у них скорее скуку. Празднества, танцы, маскарады, турниры радуют тех, кто не часто бывает на них и кого туда влечет. Но человеку, привычному к ним, они кажутся нелюбопытными и пресными. И общество дам не возбуждает того, кто может насладиться им до пресыщения; кому не приходится испытывать жажды, тот не станет пить с удовольствием. Выходки фигляров веселят нас, а для них они — тяжелая работа. Так и получается, что для высоких особ — праздник, наслаждение, если иногда они, переодевшись, могут предаться на некоторое время простонародному и грубому образу жизни:

Plerumque gratae principibus vices,
Mundaeque parvo sub lare pauperum
Cenae, sine aulaeis et ostro,

[166] Примечания: 166

Слишком горячая и пылкая любовь нагоняет в конце концов скуку и вредна точно так же, как слишком вкусная пища вредна для желудка (*лат.*). Овидий. *Любовные элегии,* II, 19, 25 сл.

Sollicitam explicuere frontem[167].

Ничто так не раздражает и не вызывает такого пресыщения, как изобилие. Какой сладострастник не почувствует отвращения, если во власти его окажутся триста женщин, как у султана в его серале? И какое влечение, какой вкус к охоте мог быть у того из его предков, который выезжал в поле, сопровождаемый не менее чем семью тысячами сокольничих? Помимо этого я полагаю, что самый блеск величия привносит немалые неудобства в наслаждении наиболее сладостными удовольствиями: владыки мира слишком освещены отовсюду, слишком на виду. И я не понимаю, как можно обвинять их больше, чем других людей, за старания скрыть или утаить свои прегрешения. Ибо то, что для нас только слабость, у них, по мнению народа, есть проявление тирании, презрение и пренебрежение к законам: кажется, что, кроме удовлетворения своих порочных склонностей, они еще тешатся тем, что оскорбляют и попирают ногами общественные установления. Действительно, Платон в «Горгии» определяет тирана как того, кто име-

[167] Примечания: 167

Все к услугам великих, но нередко простая пища в доме бедняка, без ковров и без роскоши, разглаживала морщины на их челе (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 29, 13 сл.

ет возможность в государстве делать все, что ему угодно. И часто по этой причине открытое выставление напоказ их пороков оскорбляет больше, чем самый порок. Никому не нравится, чтобы за ним следили и проверяли его поступки. С них не спускают глаз, отмечая их манеру держаться и стараясь проникнуть даже в их мысли, ибо весь народ считает, что судить об этом — его право и его законный интерес. Я уже не говорю о том, что пятна кажутся больше на поверхности выдающейся и ярко освещенной и что царапина или бородавка на лбу сильнее бросается в глаза, чем шрам в месте не столь заметном.

Вот почему поэты изображают, будто Юпитер в своих любовных похождениях принимал различные личины; и из всех любовных историй, которые ему приписываются, есть, мне кажется, только одна, где он выступает во всем своем царственном величии.

Но вернемся к Гиерону. Он также свидетельствует и о том, какие неудобства приходится испытывать от царской власти, не позволяющей ему свободно путешествовать и вынуждающей его, подобно пленнику, оставаться в пределах своей страны, и о том, что во всех своих действиях он подвергается самым досадным стеснениям. И

по правде сказать, видя, как наши короли сидят совсем одни за столом, а кругом толпится столько посторонних, которые глазеют на них и судачат, я часто испытываю больше жалости, чем зависти.

Король Альфонс говорил, что в этом отношении даже ослы находятся в лучшем положении, чем властители: хозяева дают им пастись на свободе, где им угодно, чего короли никак не могут добиться от своих слуг.

Я же никогда не воображал, что разумному человеку может показаться каким-либо особым удобством иметь двадцать надсмотрщиков за своим стульчаком, и не считал, что услуги человека, имеющего десять тысяч ливров дохода, либо взявшего Казале или отстоявшего Сьену, для него более удобны и приемлемы, чем услуги хорошего опытного лакея.

Преимущества царского сана — в значительной степени мнимые: на любой ступени богатства и власти можно ощущать себя царем. Цезарь называл царьками всех владетельных лиц, которые в его время пользовались во Франции правом суда и расправы. В самом деле, за исключением титула «величество» положение любого сеньора, в сущности, мало уступает королевскому. А посмотрите, в провинциях, отдаленных от двора

— назовем, к примеру, Бретань, — как живет там, уединившись в своем поместье, сеньор, окруженный слугами, посмотрите на его свиту, его подчиненных, на то, каким церемониалом он окружен, и посмотрите, куда заносит его полет воображения, — нет ничего более царственного: он слышит о своем короле и повелителе едва ли раз в год, словно о персидском царе, и признает лишь свое старинное родство с ним, которое удостоверено в бумагах, хранящихся у секретаря. По правде сказать, законы наши достаточно свободны, и верховная власть дает себя чувствовать французскому дворянину, может быть, раза два за всю его жизнь. Из нас всех подчиненное положение ощущают по-настоящему в действительности только те, кто сам на это идет, желая своей службой достичь почестей и богатств. Ибо тот, кто хочет тихо сидеть у себя дома и умеет вести свое хозяйство без ссор и судебных тяжб, так же свободен, как венецианский дож. Paucos servitus, plures servitutem tenent[168].

Сверх того, Гиерон особо подчеркивает, что царское достоинство совершенно лишает государя дружеских связей и живого общения с людьми,

[168] Примечания: 168

Мало кого связывает рабство, большинство людей сами цепляются за рабскую долю (*лат.*). *Письма,* 22.

а ведь именно в этом величайшая радость человеческой жизни. Ибо как я могу рассчитывать на выражение искренней приязни и доброй воли от того, кто — хочет он этого или нет — во всем от меня зависит? Могу ли я доверять его смиренным речам и учтивым приветствиям, раз он вообще не имеет возможности вести себя иначе? Почести, воздаваемые нам теми, кто нас боится, не почести: уважение в данном случае воздается не мне, а царскому сану:

> *maximum hoc regni bonum est,*
> *Quod facta domini cogitur populus sui*
> *Quam ferre tam laudare*[169].

Разве мы не видим, что и доброму и злому владыке, и тому, кого ненавидят, и тому, кого любят, воздается одно и то же? С такими же высшими знаками почтения, с тем же церемониалом служили моему предшественнику и будут служить моему преемнику. Если подданные не оскорбляют меня, это не является выражением их привязанности: какое право имел бы я думать, что это привязанность, когда они не могут быть

---

[169] Примечания: 169

Наибольшее преимущество царской власти в том, что народам приходится терпеть и прославлять дела своих властителей (*лат.*). Сенека. *Фиест,* 205.

иными, даже если бы захотели? Никто не следует за мной в силу дружеского чувства, возникшего между нами; ибо не может завязаться дружбы там, где так мало взаимных связей и соответствия в положении. Высота, на которой я пребываю, поставила меня вне общения с людьми. Они следуют за мной по обычаю или по привычке, или, точнее, не за мной, а за моим счастьем, чтобы приумножить свое. Все, что они мне говорят и для меня делают, — только прикрасы, ибо их свобода со всех сторон ограничена моей великой властью над ними. Все, что я вижу вокруг себя, прикрыто личинами.

Однажды придворные восхваляли императора Юлиана за справедливость. «Я охотно гордился бы, — сказал он, — этими похвалами, если бы они исходили от лиц, которые осмелились бы осудить или подвергнуть порицанию противоположные действия, буде я их совершил бы».

Все подлинные блага, которыми пользуются государи, общи у них с людьми среднего состояния: только богам дано ездить верхом на крылатых конях и питаться амброзией. Сон и аппетит у них такой же, как у нас; их сталь не лучшего закала, чем та, которой вооружаемся мы; венец не предохраняет их от солнца и дождя. Диоклетиан,

царствовавший так счастливо и столь почитавшийся всеми, в конце концов отказался от власти и предпочел радости частной жизни; когда же через некоторое время обстоятельства стали требовать, чтобы он вернулся к государственным делам, он отвечал тем, кто просил его об этом: «Вы бы не решились уговаривать меня, если бы видели прекрасные ряды деревьев, которые я сам посадил у себя в саду, и чудесные дыни, которые я вырастил».

По мнению Анахарсиса, лучшим управлением было бы такое, в котором при всеобщем равенстве во всем прочем, первые места были бы обеспечены добродетели, а последние — пороку.

Когда царь Пирр намеревался двинуться на Италию, Кинеад, его мудрый советчик, спросил, желая дать ему почувствовать всю суетность его тщеславия: «Ради чего, государь, затеял ты это великое предприятие?» — «Чтобы завоевать Италию», — сразу же ответил царь. — «А потом, — продолжал Кинеад, — когда это будет достигнуто?» — «Я двинусь, — сказал тот, — в Галлию и Испанию». — «Ну а потом?» — «Я покорю Африку, и наконец, подчинив себе весь мир, буду отдыхать и жить в свое полное удовольствие». — «Клянусь богами, государь, — продол-

жал Кинеад, — что же мешает тебе и сейчас, если ты хочешь, наслаждаться всем этим? Почему бы тебе сразу не поселиться там, куда ты, по твоим уверенъям, стремишься, и не избежать всех тяжелых трудов и всех случайностей, стоящих на пути к твоей цели?»

> *Nimirum, quia non bene norat quae esset habendi*
>
> *Finis, et omnino quoad crescat vera voluptas*[170].

Закончу это рассуждение кратким изречением одного древнего автора, поразительно, на мой взгляд, подходящим для данного случая: Mores cuique sui fingunt fortunam[171].

---

[170] Примечания: 170

И неудивительно, ибо он не знал точно, где следует остановиться, и не знал совершенно, доколе может возрастать наслаждение (*лат.*). Лукреций, V, 1432 сл.

[171] Примечания: 171

Каждому судьбу определяет его собственный нрав (*лат.*). Корнелий Непот. *Жизнеописание Аттика,* 13.

Глава XLIII
О законах против роскоши

Тот способ, которым законы наши стараются ограничить безумные и суетные траты на стол и одежду, на мой взгляд, ведет к совершенно противоположной цели. Правильнее было бы внушить людям презрение к золоту и шелкам, как вещам суетным и бесполезным. Мы же вместо этого увеличиваем их ценность и заманчивость, а это самый нелепый способ вызвать к ним отвращение. Ибо объявить, что только особы царской крови могут есть палтуса или носить бархат и золотую тесьму, и запретить это простым людям, разве не означает повысить ценность этих вещей и вызвать в каждом желание пользоваться ими? Пусть короли смело откажутся от таких знаков величия — у них довольно других; подобные же излишества извинительны кому другому, только не государю. Взяв пример с других народов, мы можем научиться гораздо лучшим способом внешне отличать людей по рангу (что, по-моему, в государстве действительно необходимо), не насаждая столь явной испорченности и изне-

женности нравов. Удивительно, как в этих, по существу безразличных, вещах легко и быстро сказывается власть привычки. И года не прошло с тех пор, как мы, следуя примеру двора, стали носить сукно в знак траура по королю Генриху II, а шелка настолько упали во всеобщем мнении, что, встречая кого-либо в шелковой одежде, вы тотчас же решали, что это не дворянин, а горожанин. Шелковые ткани достались в удел врачам и хирургам. И хотя все были одеты более или менее одинаково, оставалось достаточно внешних различий в положении людей.

Как быстро в наших войсках входят в честь засаленные куртки из замши и холста, а чистая и богатая одежда вызывает упреки и презрение!

Пусть короли прекратят это мотовство, и все будет сделано в один месяц, без постановлений и указов: мы сразу же последуем за ними.

Наоборот, закон должен бы объявлять, что красный цвет и ювелирные украшения запрещены людям всех состояний, за исключением комедиантов и куртизанок. Такими законами Залевк исправил развращенные нравы локрийцев. Его указы были таковы: «Женщине свободного состояния запрещается выходить в сопровождении более чем одной служанки, разве что она

пьяна. Запрещается ей также выходить из города по ночам, носить золотые драгоценности на своей особе и украшенные вышивкой одежды, если она не девка и не блудница. Ни одному мужчине, кроме распутников, не разрешается носить на пальцах золотые перстни и одеваться в тонкие одежды, как, например, сшитые из шерсти, вытканной в городе Милете». Благодаря таким постыдным исключениям он искусным образом отвратил граждан от излишеств и гибельной изнеженности.

Это было очень разумное средство — привлечь людей к выполнению долга и повиновению, соблазняя их почетом, и удовлетворением честолюбивых стремлений. Короли наши всемогущи в области таких внешних преобразований. Quidquid principes faciunt, praecipere videntur[172]. Вся Франция принимает за правило то, что является правилом при дворе. Пусть они откажутся от этих безобразных панталон, которые выставляют напоказ наши обычно скрываемые части тела; от камзолов на толстой подкладке, придающих нам вид, какого на самом деле мы не имеем, и очень неудобных для ношения оружия; от длинных, как

[172] Примечания: 172

Все, что государи делают, они словно и другим предписывают (*лат.*). Квинтилиан. *Упражнения в красноречии,* 3.

у женщин, кудрей; от обычая целовать предметы, которые мы передаем своим друзьям, или наши пальцы, перед тем как сделать приветственный жест, — в старину эта церемония была в ходу лишь в отношении принцев; от требования, чтобы дворянин находился в местах, в которых ему подобает держать себя достойно, без шпаги на боку, в расстегнутом камзоле, словно он только что вышел из нужника; от того, чтобы вопреки обычаю наших отцов и особым вольностям дворян нашего королевства, мы снимали головные уборы, даже стоя очень далеко от королевской особы, где бы она ни находилась, и даже не только в ее окружении, но и вблизи сотен других, ибо сейчас у нас развелось множество королей на одну треть или даже на одну четверть. Так обстоит и с другими подобными вредными нововведениями: они сразу потеряли бы всякую привлекательность и исчезли бы. Все это заблуждения поверхностные, но не предвещающие ничего доброго; ведь хорошо известно, что самая основа стен повергается порче, когда начинает трескаться краска и штукатурка.

Платон в своих «Законах» считает, что нет более гибельной для государства чумы, чем предоставление молодым людям свободы постоянно

переходить — и в манере одеваться, и в жестах, и в танцах, и в гимнастических упражнениях, и в песнях — от одной формы к другой, колебаться в своих мнениях то в одну сторону, то в другую, стремиться ко всяческим новшествам и почитать их изобретателей; ибо таким путем происходит порча нравов, и все древние установления начинают презираться и забываться. Во всем, что не является явно плохим, перемен следует опасаться: это относится и к временам года, и к ветрам, и к пище, и к настроениям. И только те законы заслуживают истинного почитания, которым Бог обеспечил существование настолько длительное, что никто уже того не знает, когда они возникли и были ли до них какие-либо другие.

Глава XLIV
О сне

Разум повелевает нам идти все одним и тем же путем, но не всегда с одинаковой быстротой; и хотя мудрый человек не должен позволять страстям своим отклонять его от правого пути, он может, не поступясь долгом, разрешить им то убыстрять, то умерять его шаг, и ему не подобает стоять на месте, словно он колосс, неподвижный и бесстрастный. Даже у добродетельнейшего из людей, я полагаю, пульс бьется сильнее, когда он идет на приступ, чем когда он направляется к обеденному столу; необходимо даже, чтобы он иногда погорячился и разволновался. По этому поводу я заметил как явление редкое, что иногда великие люди в своих возвышенных предприятиях и важнейших делах так хорошо сохраняют хладнокровие, что даже не укорачивают времени, предназначенного для сна.

Александр Великий в день, когда была назначена решающая битва с Дарием, спал таким глубоким сном и так долго, что Пармениону пришлось зайти в его опочивальню и, подойдя

к ложу, два или три раза окликнуть царя, чтобы разбудить его, ибо уже наступило время начинать битву.

Император Отон, задумавший покончить жизнь самоубийством, в ту самую ночь, когда он решил умереть, приведя в порядок свои домашние дела, разделив свои деньги между слугами, наточив лезвие меча и ожидая только известий о том, что все его сторонники успели укрыться в безопасных местах, погрузился в такой глубокий сон, что его приближенные слуги слышали, как он храпит.

Смерть этого императора имеет много общего со смертью великого Катона даже в подробностях: ибо Катон, собиравшийся покончить с собой и ожидавший сообщения, что сенаторы, которым он хотел обеспечить спасение, уже отплыли из гавани Утики, так крепко заснул, что из соседней комнаты было слышно его дыхание. И когда тот, кого он послал в гавань, разбудил его, чтобы сообщить, что сенаторы не могут выйти в открытое море из-за поднявшегося сильного ветра, он отправил в гавань другого, а сам, снова улегшись в постель, опять начал дремать, пока посланец не известил его об отъезде сенаторов.

Мы имеем право сравнить того же Катона с

Александром, когда в дни заговора Катилины над Катоном нависла великая и грозная опасность вследствие мятежа, поднятого трибуном Метеллом, который хотел обнародовать постановление о возвращении Помпея с его войсками. Так как один лишь Катон возражал против этого, у него с Метеллом в сенате дело дошло до резких слов и грубых угроз. Но окончательно решение надлежало принять лишь на другой день на площади, куда Метелл, и без того сильный поддержкой народа и Цезаря, тогда бывшего с ним в заговоре в пользу Помпея, должен был явиться в сопровождении большого количества рабов-чужеземцев и отчаянных рубак, Катон же — вооруженный только своей непреклонной твердостью. Поэтому его близкие, члены семьи и многие достойные люди находились в большой тревоге; среди них были такие, которые провели ночь вместе с ним, не желая ни спать, ни пить, ни есть из-за опасности, которой ему предстояло подвергнуться. Даже его жена и сестры только плакали да тревожились в его доме. Он же, наоборот, всех успокаивал и, отужинав как обычно, отправился спать и проспал глубоким сном до утра, пока один из его товарищей по трибунату не разбудил его, чтобы идти на предстоявшую схватку. То, что мы знаем

о величии и мужестве этого человека по его дальнейшей жизни, позволяет нам с уверенностью сказать, что все это исходило из души, так высоко вознесенной над подобными происшествиями, что он и не удостаивал мыслить о них иначе, как о чем-то самом обыкновенном.

Во время морского сражения у берегов Сицилии, в котором Август одержал победу над Секстом Помпеем, он в тот самый момент, когда надо было отправляться на битву, оказался погруженным в такой глубокий сон, что его друзьям пришлось разбудить его, чтобы он дал сигнал к началу сражения; это позволило Марку Антонию упрекнуть его впоследствии, будто у него не хватило храбрости своими глазами взглянуть на расположение войск и будто он не смел предстать перед солдатами, пока Агриппа не пришел к нему объявить о победе, одержанной над неприятелем. Но что касается Младшего Мария, то с ним вышло и того хуже, ибо в день своей последней битвы с Суллой, расставив войска и отдав приказ начать сражение, он прилег в тени дерева отдохнуть и так крепко заснул, что не без труда проснулся, когда его побежденные войска обратились в бегство, и даже не видел самой битвы; это случилось, говорят, потому, что он изнемог от

трудов и вынужденной бессонницы, и природа в конце концов взяла свое. Тут врачи должны решить, так ли необходим сон, что от него может зависеть жизнь: ибо мы знаем, например, что царя Македонского Персея в римском плену довели до смерти, не давая ему спать; впрочем, Плиний приводит в качестве примера других, долго живших без сна.

Геродот упоминает о племенах, где люди полгода спят и полгода бодрствуют.

А те, кто описал жизнь мудреца Эпименида, утверждают, что он проспал, ни разу не пробудившись, пятьдесят семь лет.

Глава XLV
О битве при Дрё

В битве при Дрё было много замечательных случаев. Но те, кому не по душе слава господина де Гиза, усиленно подчеркивают, что нет никакого извинения его задержке с подчиненными ему частями и проявленной им медлительности в то время, когда с помощью артиллерии был прорван фронт господина коннетабля, командующего армией; они также утверждают, что лучше было положиться на случай и ударить неприятелю во фланг, чем, дожидаясь благоприятного момента, когда он подставит под удар свой тыл, терпеть столь тяжкие потери. Но, помимо даже того, что показал исход сражения, всякий рассуждающий беспристрастно признает, по-моему, что целью и стремлением не только военачальника, но и каждого солдата должна быть окончательная победа и что любые частные и случайные успехи, какую бы выгоду они для них ни представляли, не могут отвлекать их от этой заботы. Филопемен в одном из своих столкновений с Маханидом выслал вперед для нападения сильный отряд, вооружен-

ный луками и дротиками; враги отбросили его, увлеклись стремительным преследованием и помчались вдоль всего фронта войск, где находился Филопемен. Хотя солдаты были чрезвычайно возбуждены, он решил не двигаться с места и не нападать на неприятеля, чтобы помочь своим людям; так позволил он отогнать их и уничтожить у себя на глазах, а затем напал на врага, обрушившись на пехоту, как только увидел, что конница оставила ее без прикрытия; и, поскольку ему удалось захватить врагов в то время, когда они, уверенные, что битва ими уже выиграна, расстроили свои ряды, он, хотя они и были лакедемоняне, быстро справился с ними и затем бросился преследовать Маханида. Этот случай во всем сходен с делом господина де Гиза.

В жестокой битве между Агесилаем и беотийцами, которую участвовавший в ней Ксенофонт считает самой тяжелой из всех виденных им когда-либо, Агесилай пренебрег возможностью, которую давало ему военное счастье, — пропустить мимо себя беотийские войска и ударить по их тылам, полагая, что сделать так — означало бы проявить больше искусства, чем доблести; чтобы показать свое геройство, он предпочел с изумительным пылом храбрости атаковать

их в лоб, но, разбитый и раненный в сражении, был вынужден отступить и принять решение, от которого сперва отказался, расступиться и пропустить весь этот поток беотийцев между своими частями; затем, после их прихода, убедившись, что они двигаются без всякого порядка, словно им уже ничто не грозит, он отдает приказ начать преследование и напасть на них с флангов. Но все же ему не удалось обратить их в беспорядочное бегство; и они отступали медленно, все время огрызаясь, до тех пор, пока не оказались в безопасности.

Глава XLVI
Об именах

Сколько бы ни было различных трав, все их можно обозначить одним словом: «салат». Так и здесь, под видом рассуждения об именах, я устрою мешанину из всякой всячины.

У каждого народа есть некоторые имена, которые, уж не знаю почему, не в чести: у нас это — Жан, Гильом, Бенуа.

Далее, в родословных государей есть имена, роковым образом встречающиеся постоянно: таковы Птолемеи в Египте, Генрихи в Англии, Карлы во Франции, Балдуины во Фландрии, а в нашей Аквитании в старину — Гильомы, откуда даже, как уверяют, произошло название Гиень: словопроизводство такого рода следовало бы признать очень натянутым, если бы даже у Платона не встречались столь же грубые его образчики.

Можно привести также случай пустяковый, но все же достойный быть отмеченным и описанным очевидцем; Генрих, герцог Нормандский, сын Генриха II, короля Англии, давал однажды во Франции пир, на котором присутствовало

столько знати, что забавы ради она разделилась на отряды по признаку имен: и в первом отряде — отряде Гильомов — оказалось сто десять рыцарей этого имени, сидящих за столом, не считая простых дворян и слуг.

Рассадить гостей за столами по именам было столь же забавной выдумкой, как со стороны императора Геты установить порядок подаваемых на пиру блюд по первым буквам названий: так, например, слуги подавали подряд блюда, начинающиеся на «б»: баранину, буженину, бекасов, белугу и тому подобное.

Далее, существует выражение: хорошо иметь доброе имя, то есть пользоваться доверием и хорошей славой. Но ведь, кроме того, приятно обладать и красивым именем, легко произносимым и запоминающимся. Ибо королям и вельможам тогда проще запомнить нас и труднее забывать. И мы сами чаще отдаем распоряжения и даем поручения тем из наших слуг, чьи имена легче всего слетают с языка.

Я сам наблюдал, как король Генрих II не мог правильно произнести фамилию некоего гасконского дворянина, и он же решил именовать одну из фрейлин королевы по названию местности, откуда она была родом, так как название ее ро-

дового поместья представлялось ему слишком трудным.

И Сократ также считал выбор красивого имени ребенку достойной заботой отца.

Далее, относительно постройки церкви Богоматери в Пуатье рассказывают, что некий развратный юноша, первоначально живший на том месте, приведя к себе однажды девку, спросил ее имя, а оно оказалось — Мария; тогда он внезапно проникся таким религиозным трепетом и уважением к пресвятому имени Девы, матери нашего Спасителя, что не только тотчас же прогнал блудницу, но каялся в своем грехе всю остальную жизнь. И в ознаменование этого чуда на месте, где находился дом юноши, построили часовню Богоматери, а впоследствии и стоящую сейчас церковь. Здесь благочестивое исправление произошло через слово и звук, проникший прямо в душу. А вот другой случай, в том же роде, когда воздействие на телесные вожделения оказали музыкальные звуки. Находясь однажды в обществе молодых людей, Пифагор почувствовал, что они, разгоряченные пиршеством, сговариваются пойти и учинить насилие в одном доме, где процветало целомудрие. Тогда Пифагор приказал флейтистке настроиться на другой лад и звуками

музыки мерной, строгой, выдержанной в спондейном ритме, понемногу заворожил их пыл и убаюкал его.

Далее, не скажет ли потомство о реформах, современниками которых мы являемся, что они показали свою проникновенность и правоту не только тем, что боролись с пороками и заблуждениями, наполнив весь свет благочестием, смирением, послушанием, миром и всякого рода добродетелями, но дошли и до того, что восстали против старых имен, которые нам давались при крещении, — Шарля, Луи, Франсуа, чтобы населить мир Мафусаилами, Иезекиилями, Малахиями, гораздо сильнее отдающими верой? Некий дворянин, мой сосед, который обычаи прошлого предпочитал нынешним, не забывал сослаться при этом и на великолепные, горделивые дворянские имена былых времен — дон Грюмедан, Кедраган, Агезилан, — утверждая, что даже по звучанию их чувствуется, что люди те были иного полета, чем какие-нибудь Пьер, Гильом и Мишель.

Далее, я весьма признателен Жаку Амио за то, что, произнося однажды на французском языке проповедь, он оставил все латинские имена в неприкосновенности, а не коверкал их и не из-

менял так, чтобы они звучали на французский лад. Сначала это немного резало слух, но затем, благодаря успеху его перевода «Жизнеописаний» Плутарха, вошло во всеобщее употребление и перестало представляться нам странным. Я часто высказывал пожелание, чтобы люди, пишущие исторические труды по-латыни, оставляли наши имена такими, какими мы знаем их, ибо когда Водемон превращается в Валлемонтануса и вообще не переиначивается на греческий или латинский лад, мы перестаем уже разбираться в чем-либо и что-либо понимать.

В заключение скажу, что обыкновение именовать каждого по названию его поместья или лена — очень дурной обычай, приводящий у нас во Франции к самым плохим последствиям: ничто на свете не способствует в такой мере генеалогической путанице и недоразумениям. Младший отпрыск благородного рода, получив во владение землю, а вместе с нею и имя, по которым он приобрел известность и почет, не может отказаться от него без ущерба для своей чести; через десять лет после его смерти земля переходит к совершенно постороннему человеку, который поступает точно так же; вы сами можете сообразить, легко ли будет разобраться в их родословной. Незачем

далеко ходить за примерами — вспомним о нашем королевском семействе, где сколько ветвей, столько и фамильных прозвищ, а корни фамильного древа теряются в неизвестности.

И все эти изменения происходят так свободно, что в наше время я не видел ни одного человека, достигшего прихотью судьбы исключительно высокого положения, который не обретал бы немедленно новых родовых званий, его отцу неизвестных и взятых из какой-либо знаменитой родословной; и легко понять, что незнатные фамилии особенно охотно идут на подобную подделку. Сколько у нас во Франции дворян, заявляющих права на происхождение от королевского рода! Я полагаю — больше, чем тех, которые на это не притязают. Один из моих друзей рассказал мне такой весьма забавный случай. Однажды собрались вместе несколько дворян, и они принялись обсуждать спор, возникший между двумя сеньорами. Один из этих сеньоров, благодаря своим титулам и брачным связям, имел известные преимущества перед простыми дворянами. Из-за этого его преимущества каждый, пытаясь сравняться с ним, приписывал себе — кто то, кто иное происхождение, ссылаясь на сходство своего фамильного имени с каким-либо

другим, либо на сходство гербов, либо на старую грамоту, сохранявшуюся у него в доме; и самый ничтожный из этих дворян оказывался потомком какого-нибудь заморского государя. Так как этот спор происходил за обедом, тот, кто рассказал мне о нем, вместо того чтобы занять свое место, попятился назад с нижайшими поклонами, умоляя собравшихся извинить его за то, что он до сих пор имел смелость пребывать среди них как равный; теперь же, узнав об их высоком происхождении, он будет чтить их согласно их рангам, и ему не подобает сидеть в присутствии стольких принцев. После этой шутовской выходки он крепко отругал их: «Будьте довольны, клянусь Богом, тем, чем довольствовались наши отцы, и тем, чем мы в действительности являемся; мы и так достаточно много собой представляем — только бы нам уметь хорошо поддерживать честь своего имени; не будем же отрекаться от доли и от судеб наших предков и отбросим эти дурацкие выдумки, только вредящие тем, кто имеет бесстыдство на них ссылаться.

Гербы не более надежны, чем фамильные прозвища. У меня, например, лазурное поле, усеянное золотыми трилистниками, и золотая львиная лапа держит щит, пересеченный красной поло-

сой. По какому особому праву эти изображения должны оставаться только в моей семье? Один из зятьев перенесет их в другую; какой-нибудь безродный, приобретший землю за деньги, сделает себе из них новый герб. Ни в чем другом не бывает столько изменений и путаницы.

Но это рассуждение заставляет меня перейти к другому вопросу. Подумаем хорошенько и, ради Господа Бога, приглядимся внимательно, на каких основаниях зиждется слава и почет, ради которых мы готовы перевернуть весь мир; на чем покоится известность, которой мы с таким трудом домогаемся. В конце концов, какой-нибудь Пьер или Гильом является носителем этой славы, ее защитником, и она его касается ближе всего. О, полная отваги человеческая надежда! Зародившись в какое-то мгновенье в ком-то из смертных, она готова завладеть необъятным, бесконечным, вечным! Природа одарила нас забавной игрушкой! А что такое эти Пьер или Гильом? Всего-навсего пустой звук, три или четыре росчерка пера, в которых — заметьте при этом! — так легко напутать. Право, я готов спросить: кому же, в конце концов, принадлежит честь стольких побед — Гекену, Глекену или Геакену? Здесь такой вопрос уместнее, чем у Лукиана, где

Σ спорит с Т, ибо

non levia aut ludicra petuntur
Praemia[173].

Здесь дело немаловажное: речь идет о том, какой из этих букв воздать славу стольких осад, битв, ран, дней, проведенных в плену, и услуг, оказанных французской короне этим ее прославленным коннетаблем. Никола Денизо дал себе труд сохранить лишь самые буквы, составлявшие его имя, но совершенно изменил их порядок, чтобы путем их перестановки создать себе новое имя — граф д'Альсинуа, которое и венчал славой своего поэтического и живописного искусства. А историку Светонию было дорого только значение его имени, и он сделал Транквилла наследником своей литературной славы, отказав в этом Ленису, как прозывался его отец. Кто поверил бы, что полководцу Баярду принадлежит только та честь, которую он заимствовал у деяний Пьера Террайля? И что Антуан Эскален допустил, чтобы на глазах его капитан Пулен и барон де Ла-Гард похитили у него славу стольких морских путешествий и трудных дел, совершенных на море

[173] Примечания: 173
Не о дешевой и простой речь идет награде (*лат.*). *Энеида,* XII, 764.

и на суше?

Кроме того, эти начертания пером одинаковы для тысяч людей. Сколько у того или иного народа носителей одинаковых имен и прозваний! А сколько таких среди различных народов в различных странах и на протяжении веков? История знает трех Сократов, пять Платонов, восемь Аристотелей, семь Ксенофонтов, двадцать Деметриев, двадцать Феодоров. А сколько еще их не сохранилось в памяти истории — попробуйте угадать! Кто помешает моему конюху назваться Помпеем Великим? Но в конце-то концов, какие способы, какие средства существуют для того, чтобы связать с моим покойным конюхом или тем другим человеком, которому в Египте отрубили голову, соединить с ними эти прославленные сочетания звуков и начертания букв так, чтобы они могли ими гордиться?

> *Id cinerem et manes credis curare sepultos?*[174]

Что знают оба великих мужа, одинаково высоко оцененных людьми, — Эпаминонд о том прославляющем его стихе, который в течение

---

[174] Примечания: 174

Неужели ты думаешь, что прах и души покойников пекутся об этом? (*лат.*) *Энеида,* IV, 34.

стольких веков передается из уст в уста:

Consiliis
nostris laus est attonsa Laconum?[175]

и Сципион Африканский о другом стихе, относящемся к нему:

A sole exoriente supra Maeotis paludesNemo
est qui factis me aequiparare queat?[176]

Людей, живущих после них, ласкает сладость подобных восхвалений, возбуждая в них ревность и жажду славы, и бессознательно, игрой воображения, они переносят на усопших эти собственные свои чувства; а обманчивая надежда заставляет их верить, что они сами способны на такие же деяния. Богу это известно. И тем не менее

ad haec se
Romanus,
Graiusque, et Barbarus induperator
Erexit, causas discriminis atque laboris

---

[175] Примечания: 175

Нашими стараниями поубавилась слава спартанцев (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, V, 17.

[176] Примечания: 176

От восхода солнца у Меотийского озера нет никого, кто бы сравнился со мной подвигами? (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, V, 17.

Inde habuit: tanto maior famae sitis est quam
Virtutis[177].

[177] Примечания: 177
Вот что воодушевляло полководцев греческих, римских и варварских, вот что побуждало бросить вызов опасности и вынести столько лишений, ибо поистине люди более жадны к славе, чем к добродетели (*лат.*). Ювенал. *Сатиры*, X, 138 сл.

Глава XLVII
О ненадежности наших суждений

Хорошо говорится в этом стихе:

Ἐπέων δὲ πολὺς νόμος ἔννα καὶ ἴννα[178].

Мы можем обо всем по произволу говорить и за и против. Например:

Vinse Hannibal, et non seppe usar poi
Ben la vittoriosa sua ventura[179].

Тот, кто разделяет это мнение и утверждает, что наши сделали ошибку в битве при Монконтуре, не развив своего успеха, или тот, кто осуждает испанского короля за то, что он не использовал своей победы над нами при Сен-Кантене, может сказать, что повинна в этих ошибках душа, опьяненная выпавшей ей удачей, и храбрость, которая, сразу насытившись первыми успехами, теряет всякую охоту умножать их и с трудом

---

[178] Примечания: 178

Большие возможности у слов и в ту и в другую сторону (*греч.*). Гомер. *Илиада,* XX, 249.

[179] Примечания: 179

Ганнибал победил, но не сумел воспользоваться плодами своей победы (*лат.*). Петрарка. Сонет 82.

переваривает достигнутое: она забрала в охапку сколько могла, больше ей не захватить, она оказалась недостойна дара, полученного от фортуны. Ибо какой смысл в нем, если врагу дана возможность оправиться? Можно ли надеяться, что осмелится вторично напасть на врага, сомкнувшего ряды, отдохнувшего и вновь вооружившегося своей досадой и жаждой мщения, тот, кто не решился преследовать его, когда он был разбит и ошеломлен,

> *Dum fortuna calet, dum conficit omnia terror*[180],

и разве дождется он чего-либо лучшего после такой потери? Это ведь не фехтование, где выигрывает тот, кто большее количество раз кольнул рапирой противника; пока враг не повержен, надо наносить ему удар за ударом; успех — только тогда победа, когда он кладет конец военным действиям. Цезарь, которому не повезло в схватке у города Орика, упрекал солдат Помпея, утверждая, что был бы уничтожен, если бы их военачальник сумел победить его до конца; сам же он по-иному взялся за дело, когда пришла его очередь. Но

---

[180] Примечания: 180

Пока пылает фортуна, пока все сокрушает ужас (*лат.*). Лукан, VII, 734.

почему, наоборот, не сказать, что неуменье положить конец своим жадным устремлениям есть проявление излишней торопливости и ненасытности? Что желание пользоваться милостями неба без меры, которую им положил сам Господь, есть злоупотребление благостью Божией? Что устремляться к опасности, уже одержав победу, значит снова испытывать судьбу? Что одно из мудрейших правил в воинском искусстве — не доводить противника до отчаяния? Сулла и Марий, разбившие марсов во время Союзнической войны и увидевшие, что один уцелевший отряд намеревается броситься на них с отчаянием диких зверей, не стали дожидаться и напали на него первыми. Если бы господин де Фуа, увлеченный своим пылом, не стал слишком яростно преследовать остатки разбитого у Равенны врага, он не омрачил бы победы своей гибелью: недаром этот недавний пример сослужил службу господину д'Ангиену и удержал его от подобной же ошибки в битве при Серизоле. Опасное дело — нападать на человека, у которого осталось только одно средство спасения — оружие, ибо необходимость — жестокая наставница: gravissimi sunt morsus

irritatae necessitatis[181].

> *Vincitur haud gratis iugulo qui provocat hostem*[182].

Вот почему Фаракс воспрепятствовал царю лакедемонян, одержавшему победу над мантинейцами, напасть на тысячу аргивян, которые избежали разгрома; он предоставил им отступить, чтобы не испытывать доблести этих людей, раздраженных и раздосадованных неудачей. Хлодомир, король Аквитании, одержав победу, стал преследовать разгромленного и обратившегося в бегство Гундемара, короля бургундского, и вынудил его принять бой; но собственное упорство отняло у Хлодомира плоды победы, ибо он погиб в этой схватке.

Точно так же, если кому-нибудь приходится делать выбор — давать ли своим солдатам богатое и роскошное военное снаряжение или же снаряжать их только самым необходимым — в пользу первого мнения, которого придерживались Серторий, Филопемен, Брут, Цезарь и

---

[181] Примечания: 181

Опаснее всего укусы неутоленной необходимости (*лат.*). Слова Порция Латрона в речи о Катилине. Саллюстий, фрагмент 11.

[182] Примечания: 182

Нелегко победить того, кто готов подставить грудь врагу (*лат.*). Лукан, IV, 275.

другие, можно сказать, что для солдата пышное снаряжение — лишний повод искать почестей и славы и проявлять большое упорство в бою, раз ему надо спасать ценное оружие как свое имущество и достояние. По этой же причине, говорится у Ксенофонта, азиатские народы брали с собою в походы своих жен и наложниц со всеми их богатствами и драгоценными украшениями. Но, с другой стороны, на это можно возразить, что гораздо правильнее искоренять в солдате мысль о самосохранении, чем поддерживать ее, что, заботясь о ценностях, он еще меньше склонен будет подвергаться риску, и что вдобавок возможная богатая добыча только увеличит в неприятеле стремление к победе; замечено было, что именно это удивительно способствовало храбрости римлян в битве с самнитами. Когда Антиох показал Ганнибалу войско, которое он готовил против римлян, великолепно и пышно снаряженное, и спросил его: «Придется ли по вкусу римлянам такое войско?», Ганнибал ответил ему: «Придется ли по вкусу? Еще бы, ведь они такие жадные». Ликург запрещал своим воинам не только надевать богатое снаряжение, но даже грабить побежденных, желая, как он говорил, чтобы бедность и умеренность украшали тех, кто

вернется после битвы.

Во время осады и в других случаях, когда нам удается сблизиться с противником, мы охотно разрешаем солдатам вести себя с ним заносчиво, выражать ему презрение и осыпать его всевозможными поношениями. И не без некоторого основания, ибо немалое дело отнять у них всякую надежду на пощаду или возможность договориться с врагом, показав, что не приходится ожидать этого от тех, кого они так жестоко оскорбили, и что единственный выход — победа. Так и получилось с Вителлием; ибо, имея против себя Отона, более слабого из-за того, что солдаты его отвыкли от войны и разнежились среди столичных утех, он так раздразнил их в конце концов своими едкими насмешками над их малодушием и тоской по женщинам и пирам, только оставленным в Риме, что одним этим вернул им мужество, которого не могли в них вдохнуть никакие призывы, и сам заставил их броситься на него, чего от них никак нельзя было добиться. И правда, когда оскорбления задевают за живое, они могут привести к тому, что воин, не слишком рвущийся в битву за дело своего владыки, ринется в нее с новым пылом, мстя за свою собственную обиду.

Если принять во внимание, что сохранность

жизни вождя имеет для всего войска особенное значение и что враг всегда старается поразить именно эту голову, от которой зависят все прочие, нельзя сомневаться в правильности решения, часто принимавшегося многими крупными военачальниками — переодеться и принять другой облик в самый час битвы. Однако же неудобство, проистекающее от этой меры, не меньше того, которого желательно было избежать. Ибо мужество может изменить солдатам, не узнающим своего полководца, чье присутствие и пример воодушевляли их, и, не видя его обычных отличительных признаков, они могут подумать, что он погиб или бежал с поля битвы, отчаявшись в ее исходе. Что же до проверки этого дела опытом, то мы видим, что он говорит в пользу то одного, то другого мнения. Случай с Пирром в битве, которая произошла в Италии между ним и консулом Левином, служит нам доказательством и того и другого. Ибо, одевшись в доспехи Демогакла и отдав ему свои, он, конечно, спас свою жизнь, но зато потерпел другую беду — проиграл битву. Александр, Цезарь, Лукулл любили в сражении отличаться от других богатством и яркостью своей одежды и вооружения. Наоборот, Агис, Агесилай и великий Гилипп шли в сражение

одетыми незаметно и безо всякого царственного великолепия.

В связи с битвой при Фарсале Помпей подвергался многочисленным нападкам и, в частности, за то, что он остановил свое войско, ожидая неприятеля. Тем самым — здесь я приведу собственные слова Плутарха, которые стоят больше моих, — «он умерил силу, которую разбег придает первым ударам, воспрепятствовал стремительному напору, с которым сражающиеся сталкиваются друг с другом и который обычно наполняет их особенным буйством и яростью в ожесточенных схватках, распаляя их храбрость криками и движениями, и, можно сказать, охладил, заморозил боевой пыл своих воинов». Вот что говорит он по этому поводу. Но если бы поражение потерпел Цезарь, разве нельзя было бы утверждать, что, наоборот, самая мощная и прочная позиция у того, кто неподвижно стоит на месте, сдерживая себя и накопляя силы для решительного удара, с большим преимуществом по сравнению с тем, кто двинул свои войска вперед, вследствие чего они запыхались от быстрого бега? К тому же войско ведь является телом, состоящим из многих различных частей; оно не имеет возможности в этом яростном напоре двигаться с такой точ-

ностью, чтобы не нарушать порядка и строя и чтобы самые быстрые из воинов не завязывали схватки еще до того, как их товарищи смогут им помочь. В злосчастной битве между двумя братьями-персами лакедемонянин Клеарх, командовавший греками в армии Кира, повел их в наступление без особой торопливости; когда же они приблизились на пятьдесят шагов, он велел им бежать, рассчитывая, что достаточно короткое расстояние не утомит их и не расстроит рядов, а в то же время они получат то преимущество, которое яростный напор дает и самому воину, и его оружию. Другие в своих армиях разрешили это сомнение таким образом: если враг двинулся вперед, жди его, стоя на месте, если же он занял оборонительную позицию, переходи в наступление.

Когда император Карл V решил вторгнуться в Прованс, король Франциск мог принять одно из двух решений: либо двинуться навстречу ему в Италию, либо ждать его на своей земле. Он, конечно, хорошо сознавал, насколько важно предохранить страну от потрясений войны, чтобы, полностью обладая своими силами, она непрерывно могла предоставлять средства для ведения войны и, в случае необходимости, по-

мощь людьми. Он понимал, что в обстановке войны поневоле приходится производить опустошения, чего следовало бы избегать у себя на родине, ибо крестьянин не станет переносить разорение от своих так безропотно, как от врага, и из-за этого среди нас могут вспыхнуть мятежи; что позволение грабить и разорять жителей, которого нельзя дать солдатам у себя дома, очень облегчает им тяготы войны и что трудно удержать от дезертирства того, кто не имеет иных доходов, кроме своего солдатского жалованья, и в то же время находится в двух шагах от своей жены и от своего дома; что тот, кто накрывает другому стол, сам и платит за обед; что нападение больше поднимает дух, чем оборона; что проиграть сражение внутри страны — дело ужасное, которое может поколебать все государство, принимая во внимание, насколько заразителен страх, как легко он одолевает людей и как быстро рапространяется, и что города, которые услышали раскаты этой грозы у своих стен, приняв к себе в качестве беглецов своих полководцев и солдат, еще дрожащих и задыхающихся, могут сгоряча пойти на что угодно. И тем не менее он предпочел вывести свои войска из Италии и ждать вражеского наступления. Ибо, с другой стороны, он мог

представить себе, что, находясь у себя дома среди друзей, он будет в изобилии получать припасы, так как по рекам и по дорогам к нему будут подвозить сколько понадобится провианта и денег без особой военной охраны; что сочувствие подданных будет тем вернее, чем ближе угрожающая им опасность; что, имея возможность всегда укрыться в стольких городах и укреплениях, он сможет выбирать выгодное и удобное время и место для столкновений с врагом и что, если бы ему захотелось выжидать, он мог бы, находясь в надежном укрытии, взять врага измором и добиться разложения его войск, поскольку перед неприятелем возникли бы непреодолимые трудности: он во вражеской стране, где все воюет с ним и спереди, и сзади, и вокруг; он не имеет никакой возможности ни освежить и пополнить свое войско, если в нем начнут свирепствовать болезни, ни укрыть где-либо раненых, он может лишь силой оружия добывать деньги и провиант; ему негде передохнуть и собраться с силами, у него нет достаточно ясного представления о местности, которое могло бы обезопасить его от засад и других случайностей, а в случае проигрыша битвы — никакой возможности спасти остатки разгромленной армии.

Таким образом, есть достаточно примеров, как в пользу одного, так и в пользу другого мнения. Сципион предпочел напасть на врага в его африканских владениях, вместо того чтобы защищать свои и оставаться у себя в Италии; это обеспечило ему успех. И, наоборот, в этой же самой войне Ганнибал потерпел поражение из-за того, что отказался от завоевания чужой страны ради защиты своей. Судьба оказалась немилостивой к афинянам, когда они оставили неприятеля на своей земле, а сами напали на Сицилию; но к Агафоклу, царю Сиракузскому, она была благосклонна, хотя он тоже отправился походом в Африку, оставив неприятеля у себя дома. Потому-то мы и говорим обычно не без основания, что и события и исход их, особенно на войне, большей частью зависят от судьбы, которая вовсе не намерена считаться с нашими соображениями и подчиняться нашей мудрости, как гласят следующие стихи:

Et male consultis pretium est: prudentia fallax,

Nec fortuna probat causas sequiturque merentes;

Sed vaga per cunctos nullo discrimine

fertur;

Scilicet est aliud quod nos cogatque regatque

Maius, et in proprias ducat mortalia leges[183].

Но в сущности, сами наши мнения и суждения, точно так же, по-видимому, зависят от судьбы, и она придает им столь свойственные ей смутность и неуверенность. «Мы рассуждаем легкомысленно и смело, — говорит у Платона Тимей, — ибо как мы сами, так и рассуждения наши подвержены случайности».

[183] Примечания: 183

И на долю неблагоразумия выпадает успех: благоразумие порой обманывает, а Фортуна, мало разбираясь в заслугах, не всегда благоприятствует правому делу. Непостоянная, она переходит от одного к другому, без различия. Есть, значит, над нами высшая власть, которая вершит дела смертных, руководствуясь собственными законами (*лат.*). Манилий. *Астрономика,* IV, 95 сл.

Глава XLIX
О старинных обычаях

Я охотно извинил бы наш народ за то, что для совершенствования своего он не имеет никаких других образцов и правил, кроме своих собственных обычаев и нравов. Ибо не одному лишь простонародью, но и почти всем людям свойствен этот порок — определять свои желания и взгляды по тем условиям жизни, в которые они поставлены от рождения. Я готов примириться с тем, что наш народ, если бы ему довелось увидеть Фабриция или Лелия, нашел бы их внешность и поведение варварскими, потому что их одежда и обращение не соответствуют нашей моде. Но меня приводит в негодование то исключительное легкомыслие, с которым наши люди позволяют ослеплять и одурачивать себя вкусам нынешнего дня до такой степени, что они способны менять взгляды и мнения каждый месяц, если этого требует мода, и всякий раз готовы судить о себе по-разному. Когда пряжку на своем камзоле они носили на высоте сосков, то самым убедительным образом доказывали, что это и есть

самое подходящее для нее место. Но вот прошло несколько лет, она опустилась и носится теперь почти что между бедрами, и люди смеются над прежней модой, находя ее нелепой и безобразной. Принятый сегодня способ одеваться тотчас же заставляет их осудить вчерашний, притом с такой решительностью и таким единодушием, что, кажется, ими овладела какая-то мания, перевернувшая им мозги.

Вкусы наши меняются так быстро и внезапно, что даже самые изобретательные портные не могут поспеть за ними и выдумать столько новинок. Поэтому неизбежно получается так, что отвергнутые формы зачастую снова начинают пользоваться всеобщим признанием, чтобы вскоре опять оказаться в полном пренебрежении. И выходит, что на протяжении пятнадцати — двадцати лет один и тот же человек по одному и тому же поводу высказывает два или три не только различных, но и прямо противоположных мнения, с непостоянством и легкомыслием поразительными. И нет среди нас человека, настолько разумного, чтобы он не поддался чарам всех этих превращений, ослепляющих и внутреннее и внешнее зрение.

Я хочу привести здесь примеры некоторых

древних обычаев, сохранившихся у меня в памяти — одни из них сходны с нашими, другие отличаются от них, — для того чтобы, имея все время перед глазами эту непрерывную изменяемость вещей, мы могли высказать о ней наиболее трезвое и основательное суждение.

То, что у нас называется фехтованием на шпагах с плащом, было известно еще римлянам, как говорит Цезарь: Sinistris sagos involvunt gladiosque distringunt[184]. Он же отмечает в нашем племени дурное обыкновение останавливать встречающихся нам по пути прохожих, выпытывать у них, кто они такие, и считать оскорблением и поводом для ссоры, если те отказываются отвечать.

Во время омовений, которые древние совершали перед каждой едой так же часто, как мы моем руки, они первоначально мыли только руки до локтей и ноги, но впоследствии установился обычай, сохранившийся в течение ряда веков у большинства народов тогдашнего мира, мыть все тело надушенной водой с различными примесями, так что мытье в простой воде стало считаться проявлением величайшей простоты в обиходе. Наиболее утонченные и изнеженные

[184] Примечания: 184

Они обертывают левую руку плащом и обнажают меч (*лат.*). *Цезарь. Записки о гражданской войне,* I, 75.

душили себе все тело три-четыре раза в день. Зачастую они выщипывали себе волосы на всей коже, подобно тому как с недавнего времени у французских женщин вошло в обычай выщипывать себе брови,

> *Quod pectus, quod crura tibi, quod bracchia vellis*[185],

хотя имели для этой же цели особые притирания:

> *Psilotro nitet, aut arida latet oblita creta*[186].

Они любили мягкие ложа и считали признаком особой выносливости спать на простом матрасе. Они ели, возлежа на ложе, приблизительно так, как это делают в наше время турки,

> *Inde toro pater Aeneas sic orsus ab alto*[187].

---

[185] Примечания: 185

Ты выщипываешь волосы на груди, на руках и ногах (*лат.*). Марциал, II, 62, 1.

[186] Примечания: 186

Вся блестит от мази или скрывает ее, обсыпав сухим кремом (*лат.*). Марциал, VI, 93, 9.

[187] Примечания: 187

И родитель Эней так начал с высокого ложа (*лат.*). *Энеида,* II, 2.

А о Катоне Младшем рассказывают, что после Фарсальской битвы он наложил на себя траур из-за дурного состояния общественных дел и принимал пищу сидя, так как начал вообще вести более суровый образ жизни. В знак уважения и привета они целовали руки вельмож, а друзья, здороваясь, целовались, как это делают венецианцы:

> *Gratatusque darem cum dulcibus oscula verbis*[188].

А приветствуя высокопоставленное лицо или прося его о чем-либо, притрагивались к его колену. Однажды, при таком случае, философ Пасикл, брат Кратета, коснулся не колен, а половых органов. Когда тот, к кому он обращался, резко оттолкнул его, Пасикл спросил: «Как, разве эти части не твои так же, как колени?»

Подобно нам, они ели фрукты после обеда.

Они подтирали себе задницу (незачем нам по-женски бояться слов) губкой: потому-то слово spongia по-латыни считается непристойным. О такой губке, привязанной к концу палки, идет речь в рассказе об одном человеке, которого вели,

---

[188] Примечания: 188

Поцеловал бы тебя, приветствуя ласковыми словами (*лат.*). Овидий. *Письма с Понта,* IV, 9, 13.

чтобы отдать на растерзание зверям на глазах народа. Он попросил отпустить его в отхожее место и, не имея другой возможности покончить с собой, засунул себе палку с губкой в горло и задохся. Помочившись, они подтирались надушенными шерстяными тряпочками.

> *At tibi nil faciam, sed lota mentula lana*[189].

В Риме на перекрестках ставились особые посудины и низкие чаны, чтобы прохожие могли в них мочиться.

> *Pusi saepe lacum propter, se ac dolia curta*
>
> *Somno*
> *devincti credunt extollere vestem*[190].

В промежутках между трапезами они закусывали. Летом у них продавали снег для охлаждения вин; а некоторые и зимой пользовались снегом, находя вино недостаточно холодным. У знатных людей были особые слуги, которые разливали вино и разрезали мясо, а также шуты, которые

---

[189] Примечания: 189

А тебе ничего, кроме утертого шерстью члена (*лат.*). Марциал, XI, 58, 11.

[190] Примечания: 190

Маленькие дети часто видят во сне, будто они поднимают край одежды перед ночным горшком (*лат.*). Лукреций, IV, 1025 сл.

их забавляли. Зимой кушанья подавали им на жаровнях, ставившихся на стол. Они имели и переносные кухни — я сам видел такие — со всеми приспособлениями для приготовления пищи: их употребляли во время путешествия;

Has vobis epulas habete lauti;
Nos offendimur ambulante cena[191].

Летом же они часто проводили в нижние помещения дома по особым каналам прохладную чистую воду, в которой было много живой рыбы, и присутствующие выбирали и собственными руками вынимали понравившихся им рыб, чтобы они были приготовлены по их вкусу. Рыба и тогда пользовалась привилегией, которую сохраняет доныне: великие мира сего лично вмешивались в ее приготовление, считая себя знатоками в этом деле. И действительно, на мой взгляд по крайней мере, — вкус ее гораздо более изысканный, чем вкус мяса. Но во всякого рода роскоши, распущенности, сладострастных прихотях, изнеженности и великолепии мы, по правде сказать, делаем все, чтобы сравняться с древними, ибо желания у нас извращены не меньше, чем у них; но достичь

[191] Примечания: 191

Угощайтесь, модники, подобными яствами, мне же по вкусу странствующий ужин (*лат.*). Марциал, VII, 48, 4 сл.

этого мы не способны: сил у нас не хватает, чтобы уподобиться им и в добродетелях и в пороках. Ибо и те и другие проистекают от крепости духа, которой они обладали в несравненно большей степени, нежели мы. Чем слабее души, тем меньше возможности имеют они поступать очень хорошо или очень худо.

Самым почетным местом за столом считалась у них середина. Первое или второе место ни в письменной, ни в устной речи не имело никакого значения, как это видно из их литературных произведений: «Оппий и Цезарь» они скажут так же охотно, как «Цезарь и Оппий», «я и ты» для них так же безразлично, как «ты и я». Вот почему я отметил в жизнеописании Фламиния во французском Плутархе одно место, где автор, говоря о споре между этолийцами и римлянами — кто из них больше прославился в совместно выигранной ими битве, — кажется, придает значение тому, что в греческих песнях этолийцев называли раньше римлянами, если только в переводе этого места на французский не допущена какая-нибудь двусмысленность.

Женщины принимали мужчин в банях; там же их рабы мужеского пола растирали их и умащали:

Inguina succinctus nigra tibi servus aluta
Stat, quoties calidis nuda foveris aquis[192].

Чтобы меньше потеть, женщины присыпали кожу особым порошком.

Древние галлы, свидетельствует Сидоний Аполлинарий, спереди носили длинные волосы, а затылок выстригали — этот обычай недавно перенял наш изнеженный и расслабленный век.

Римляне платили судовладельцам за перевоз при отплытии; мы же расплачиваемся по прибытии к месту назначения:

dum as exigitur, dum mula ligatur,
Tota abit hora[193].

Женщины ложились на краю постели. Вот почему Цезаря прозвали spondam regis Nicomedis[194].

Они пили вино меньшими глотками, чем мы, и разбавляли его водой:

quia puer ocius

---

[192] Примечания: 192

Раб, подпоясанный черным передником, прислуживает тебе, когда ты, нагая, обливаешься холодной водой (*лат.*). Марциал, VII, 35, 1 сл.

[193] Примечания: 193

Пока уплатили, пока впрягли мула, прошел час (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* I, 5, 13 сл.

[194] Примечания: 194

Краем ложа Никомеда (*лат.*). Светоний. *Божественный Юлий,* 49.

Restinguet ardentis falerni
Pocula praetereunte lympha?[195]

Наглые выходки наших лакеев были в ходу и у их слуг:

O Iane, a tergo quem nulla ciconia pinsit,
Nec manus auriculas imitata est mobilis albas,
Nec linguae quantum sitiat canis Apula tantum[196].

Аргивянки и римлянки носили траур белого цвета, как женщины и у нас делали в старину и, на мой взгляд, должны были бы делать и ныне.

Но обо всех этих вещах написаны целые тома.

---

[195] Примечания: 195

Какой мальчик быстрее охладит чаши пламенного фалерна влагой протекающего рядом ручья? (*лат.*) Гораций. *Оды,* II, 11, 18 сл.

[196] Примечания: 196

О Янус! Тебе никто б не мог показать сзади кукиш, или быстрым движением рук — ослиные уши, или язык, длинный, как у апулийской собаки, которой хочется пить (*лат.*). Персий. *Сатиры,* I, 58 сл.

Глава L
О Демокрите и Гераклите

Рассуждение есть орудие, годное для всякого предмета, и оно примешивается всюду. По этой причине в моих опытах я пользуюсь им при любом случае. Если речь идет о предмете, мне неясном, я именно для того и прибегаю к рассуждению, чтобы издали нащупать брод и, найдя его слишком глубоким для моего роста, стараюсь держаться поближе к берегу. Но уже понимание того, что переход невозможен, есть результат рассуждения, притом один из тех, которыми способность рассуждения может больше всего гордиться. Иногда же я применяю рассуждение к предмету возвышенному и часто разрабатывавшемуся; в этом случае ничего своего не найдешь — дорога уже настолько избита, что можно идти только по чужим следам. Тогда игра рассуждающего состоит в том, чтобы избрать путь, который ему представляется наилучшим, и установить, что из тысячи тропок надо предпочесть ту или эту. Я беру наудачу первый попавшийся сюжет. Все они одинаково хороши. И я никогда не стара-

юсь исчерпать мой сюжет до конца, ибо ничего не могу охватить в целом, и полагаю, что не удается это и тем, кто обещает нам показать это целое. Каждая вещь состоит из многих частей и сторон, и я беру всякий раз какую-нибудь одну из них, чтобы лизнуть или слегка коснуться, хотя порою вгрызаюсь и до кости. Я стараюсь по возможности идти не столько вширь, сколько вглубь, и порою мне нравится смотреть на вещи под необычным углом зрения. Если бы я знал себя хуже, то, может быть, и попытался бы досконально исследовать какой-нибудь вопрос. Я бросаю тут одно словечко, там другое — слова отрывочные, лишенные прочной связи, — не ставя себе никаких задач и ничего не обещая. Таким образом, я не обязываю себя исследовать свой предмет до конца или хотя бы все время держаться его, но постоянно перебрасываюсь от одного к другому, а когда мне захочется, предаюсь сомнениям, неуверенности и тому, что мне особенно свойственно, — сознанию своего неведения.

Каждое наше движение раскрывает нас. Та же самая душа Цезаря, которая проявилась в воинском искусстве во время битвы при Фарсале, обнаружила себя и в его досужих и любовных похождениях. О лошади мы должны судить не

только по тому, как она несется вскачь, но и по тому, как она идет шагом и даже как ведет себя, когда спокойно стоит в своем стойле.

Среди отправлений человеческой души есть и низменные: кто не видит и этой ее стороны, тот не может сказать, что знает ее до конца. И случается, что легче всего постичь душу человеческую тогда, когда она идет обычным своим шагом. Ибо бури страстей захватывают чаще всего наиболее возвышенные ее проявления. Вдобавок она предается вся целиком каждому затронувшему ее предмету, отдает ему все свои силы, никогда не увлекается сразу двумя предметами и всегда рассматривает то, что в данное время притягивает ее, исходя не из его сущности, а из своей собственной. Вещи, находящиеся вне ее, может быть, и обладают своим весом, своими мерами, своими свойствами, но внутри нас, в нашем душевном восприятии, мы перекраиваем их на свой лад. Смерть представляется ужасной Цицерону, желанной Катону, безразличной Сократу. Здоровье, сознание, власть, наука, богатство, красота и все, что им противоположно, совлекают с себя у порога все свои облачения и получают от нашей души новые одежды такой расцветки, какая ей больше нравится, — коричневой, зеленой, светлой, тем-

ной, яркой, нежной, глубокой, поверхностной. И притом каждая душа судит по-своему, ибо они не согласуют между собой свои стили, правила и формы: каждая сама себе госпожа. Поэтому не будем ссылаться на внешние свойства вещей: мы сами представляем их себе такими, а не иными. Наше счастье или несчастье зависят только от нас самих.

Вот куда нам следует обращаться с дарами и обетами, а не к судьбе. Наши нравы зависят не от нее, наоборот, они увлекают ее за собой и придают ей тот или иной облик по образу своему и подобию. Разве не могу я составить себе мнение об Александре на основании того, как ведет он себя за столом, как беседует и пьет или как он играет в шахматы? Каких только струн его души не затрагивала эта пустая детская игра? Я лично терпеть ее не могу и всячески избегаю именно за то, что она — недостаточно игра и захватывает нас слишком всерьез; мне совестно уделять ей столько внимания, которое следовало бы отдать на что-либо лучшее. Александр не больше ломал себе голову над планом похода на Индию, или какой-либо другой великий человек, — разыскивая путь, от которого зависит спасение человечества. Посмотрите, как наша душа при-

дает этой смешной забаве значение и смысл, как напрягаются все наши нервы и как благодаря этому она дает возможность любому человеку познать себя самого и непосредственно судить о себе. Какие только страсти не возбуждаются при этой игре! Гнев, досада, ненависть, нетерпение и пламенное честолюбивое стремление к победе в состязании, в котором гораздо извинительнее было бы гордиться поражением, ибо недостойно порядочного человека иметь редкие, выдающиеся над средним уровнем способности в таком ничтожном деле. То, что я говорю по поводу этого примера, может быть сказано о любом другом. Каждая мелочь, каждое занятие человека выдает его полностью и показывает во весь рост так же, как и всякий другой пустяк.

Демокрит и Гераклит — два философа; из коих первый, считая судьбу человека ничтожной и смешной, появлялся на людях не иначе как с насмешливым и смеющимся лицом. Напротив, Гераклит, у которого тот же удел человеческий вызывал жалость и сострадание, постоянно ходил с печальным лицом и полными слез глазами:

alter
Ridebat, quoties a limine moverat unum

Pronuleratque pedem; flebat contrarius alter[197].

Настроение первого мне нравится больше — не потому, что смеяться приятнее, чем плакать, а потому, что в нем больше презрения к людям, и оно сильнее осуждает нас, чем настроение второго; а мне кажется, что нет такого презрения, которого мы бы не заслуживали. Жалость и сострадание всегда связаны с некоторым уважением к тому, что вызывает их; тому же, над чем смеются, не придают никакой цены. Я не думаю, чтобы злонамеренности в нас было так же много, как суетности, и злобы так же много, как глупости: в нас меньше зла, чем безрассудства, и мы не столь мерзки, сколь ничтожны. Так, Диоген, который бездельничал в уединении, катая свою бочку и воротя нос от великого Александра, и считал нас чем-то вроде мух или надутых воздухом пузырей, был судьей более язвительным и жестоким, а следовательно, на мой взгляд, и более справедливым, чем Тимон, прозванный человеконенавистником. Ибо раз мы ненавидим что-либо, значит, принимаем это близко к сердцу.

---

[197] Примечания: 197

Один, едва выйдя за порог, смеялся и ускорял шаг, а другой, напротив, плакал (*лат.*). Ювенал. *Сатиры,* X, 28.

Тимон желал нам зла, страстно жаждал нашей гибели и избегал общения с нами, как с существами опасными, зловредными и развращенными. Диоген же ставил нас ни во что; общение с нами не могло ни смутить его, ни изменить его настроения; он не желал иметь с нами дела не из каких-либо опасений, но от презрения к нашему обществу, считая нас не способными ни к добру, ни ко злу.

Такого же рода был ответ Статилия Бруту, склонявшему его присоединиться к заговору против Цезаря: замысел этот он нашел справедливым, но не видел людей, достойных того, чтобы сделать ради них хоть малейшее усилие. Тут он следовал учению Гегесия, который утверждал, что мудрец должен заботиться только о себе самом, ибо лишь он один и достоин того, чтобы для него было что-нибудь сделано, а также учению Феодора, считавшего, что было бы несправедливо, если бы мудрец рисковал собой для блага своей родины и мудрость подвергал опасности ради безумцев.

Наши природные и благоприобретенные свойства столь же нелепы, как и смешны.

Глава LI
О суетности слов

Один ритор былых времен говорил, что его ремесло состоит в том, чтобы вещи малые изображать большими. Пригонять большие сапоги к маленькой ноге — искусство сапожника. В Спарте его подвергли бы бичеванию за то, что он сделал своим ремеслом обман и надувательство. Я думаю, что Архидам, который был царем Спарты, не без удивления выслушал ответ Фукидида на свой вопрос, кто сильнее в единоборстве — он или Перикл. «Это, — сказал Фукидид, — было бы трудно проверить; ибо если бы я свалил его на землю, он сумел бы убедить зрителей, что он не упал, а одержал верх». Те, кто изменяет и подкрашивает лица женщин, причиняет меньше вреда, ибо не видеть их природного облика — потеря небольшая. Люди, пытающиеся обмануть не глаза наши, а разум и извратить и исказить истинную сущность вещей, гораздо вреднее. Государства, в управлении которыми господствовал твердый порядок, как, например, критское или лакедемонское, не придавали большого значения

ораторам.

Аристон мудро определяет риторику: искусство убеждать народ; Сократ и Платон: искусство льстить и обманывать; а те, кто отвергает такое общее определение, подтверждают его правильность в своих частных наставлениях.

Магометане запрещают обучать своих детей риторике ввиду ее бесполезности. А афиняне, у которых она была в большом почете, заметив, сколь губительно оказываемое ею действие, предписали устранить из нее самое главное — все, что возбуждало волнение чувств, вместе со вступлениями и заключениями.

Это орудие, изобретенное для того, чтобы волновать толпу и управлять неупорядоченной общиной, применяется, подобно лекарствам, только в нездоровых государственных организмах. Ораторы во множестве расплодились там, где простонародье, невежды и вообще все без разбору пользовались властью, как, например, в Афинах, на Родосе, в Риме, и где вся общественная жизнь протекала бурно. И действительно, в этих государствах было мало влиятельных людей, которые выдвинулись бы без помощи красноречия: при его поддержке достигли, в конце концов, высших должностей такие люди, как Помпей, Цезарь,

Красс, Лукулл, Лентул, Метелл, и оно помогло им больше, чем сила оружия, вопреки воззрениям лучших времен. Ибо Луций Волумний, выступая публично в пользу избрания консулами Квинта Фабия и Публия Деция, сказал: «Это — мужи, рожденные для войны, великие в действии, суровые в словесных схватках, истинно консульские умы; утонченные, красноречивые и ученые, они хороши для городских должностей в качестве преторов, отправляющих правосудие».

Красноречие процветало в Риме больше всего тогда, когда его дела шли хуже всего, когда его потрясали бури гражданской войны, подобно тому как на невозделанном и запущенном поле пышнее всего разрастаются сорные травы. Из этого можно сделать вывод, что государства, где правит монарх, нуждаются в красноречии меньше, чем все другие. Ибо массе свойственны глупость и легкомыслие, из-за которых она позволяет вести себя куда угодно, завороженная сладостными звуками красивых слов и не способная проверить разумом и познать подлинную суть вещей. На подобном легкомыслии, говорю я, не так легко играть, когда речь идет об одном человеке, которого к тому же легче предохранить хорошим воспитанием и добрыми советами от

этого яда. Недаром из Македонии или Персии не вышло ни одного знаменитого оратора.

Все сказанное пришло мне в голову после недавнего разговора с одним итальянцем, который служил дворецким у кардинала Караффы до самой его смерти. Я попросил его рассказать мне о должности, которую он отправлял. Он произнес целую речь об этой науке ублаготворения глотки со степенностью и обстоятельностью ученого, словно толковал мне какой-нибудь важный богословский тезис. Он разъяснил мне разницу в аппетитах — какой у человека бывает натощак, какой после второго и какой после третьего блюда; изложил средства, которыми его можно или просто удовлетворить, или возбудить и обострить; дал обстоятельное описание соусов, сперва общее, а затем частное, остановившись на качестве отдельных составных частей и на действии, которое они производят; рассказал о различии салатов в зависимости от времени года, — какие из них следует подогревать, какие лучше подавать холодными, каким способом их убирать и украшать, чтобы они были еще и приятны на вид. После этого он стал распространяться о порядке подачи кушаний, высказав много прекрасных и важных соображений:

nec minimo sane discrimine refert

Quo

gestu lepores, et quo gallina secetur[198].

И все это в великолепных и пышных выражениях, таких, какие употребляют, говоря об управлении какой-нибудь империей. Этот человек привел мне на память следующие строки:

Hoc salsum est, hoc adustum est, hoc lautum est parum,

Illud recte: iterum sic memento; sedulo

Moneo quae possum pro mea sapientia.

Postremo, tanquam in speculum, in patinas, Demea,

Inspicere iubeo, et moneo quid facto usus sit[199].

Впрочем, даже греки весьма хвалили порядок и устройство пиршества, которое Павел Эмилий

---

[198] Примечания: 198

Небезразлично, каким образом разрезать курицу или зайца (*лат.*). Ювенал. *Сатиры,* V, 123.

[199] Примечания: 199

То пересолено, это подгорело, а то вышло слишком сухим, а вот это приготовлено правильно, запомни же, чтобы в другой раз так сделать. Так я учу их старательно, в меру собственного знания. И наконец, Демея, велю им смотреть в кастрюлю, словно в зеркало, и напоминаю, что нужно сделать (*лат.*). Теренций. *Братья,* 439.

дал им по своем возвращении из Македонии; но здесь я говорю не о существе дела, а о словах.

Не знаю, как у других, но когда я слышу, как наши архитекторы щеголяют пышными словами вроде: пилястр, архитрав, карниз, коринфский и дорический ордер и тому подобными из их жаргона, моему воображению представляется дворец Аполидона; а на самом деле я вижу здесь только жалкие доски моей кухонной двери.

Вы слышите, как произносят слова «метонимия», «метафора», «аллегория» и другие грамматические наименования, и не кажется ли вам, что обозначаются таким образом формы необычайной, особо изысканной речи? А ведь они могут применяться и к болтовне вашей горничной.

Подобный же обман — давать нашим государственным должностям великолепные римские названия, хотя наши должности по характеру выполняемых обязанностей имеют очень мало общего с римскими, а по размерам власти и могущества — еще меньше. Укажу еще на один обман, который, по-моему, когда-нибудь будет приводиться в доказательство исключительной умственной ограниченности нашего времени, — это наделять без всяких оснований кого угодно славными прозваниями, которыми древние

почтили только одного-двух выдающихся людей на протяжении целых столетий. Прозвание «божественный» было дано Платону всеобщим признанием, и никто не стал бы его у него оспаривать. Но итальянцы, которые не без основания могут похваляться тем, что ум у них более развит, а суждения более здравы, чем у других народов нашего времени, недавно почтили этим прозвищем Аретино, который, на мой взгляд, ничем не возвышается над средним уровнем писателей своего времени, если не считать его пышной и заостренной манеры, не лишенной изысканности, но искусственной и надуманной, и кроме того — обычного красноречия, а уж до «божественности» в том смысле, какой придавали этому слову древние, ему далеко. А прозвище «великий» мы часто даем государям, которые отнюдь не возвышаются над любым средним человеком.

Глава LII
О бережливости древних

Аттилий Регул, командовавший римскими войсками в Африке, в самый разгар своей славы и своих побед над карфагенянами обратился к республике с письмом, в котором сообщал, что слуга, которому он поручил управлять своим имением, состоявшим из семи арпанов земли, бежал, захватив с собой все земледельческие орудия; поэтому Регул просил предоставить ему отпуск, чтобы он мог вернуться и привести свое хозяйство в порядок, так как он боялся, что его жена и дети могут от этого пострадать. Сенат позаботился о том, чтобы в имение Регула был послан другой управляющий, велел возместить Регулу все убытки и, кроме того, распорядился, чтобы его жена и дети получали содержание от государства.

Катон Старший, возвращаясь из Испании, чтобы занять должность консула, продал лошадь, каковой пользовался, желая сберечь деньги, которые пришлось бы заплатить за ее перевозку морем в Италию. Будучи правителем Сардинии,

он по всем своим делам ходил пешком в сопровождении одного лишь служителя, состоявшего на жалованье у республики и носившего за ним его мантию и сосуд для совершения жертвоприношений; чаще всего, впрочем, свою поклажу он носил сам. Он хвалился тем, что никогда не имел одежды, стоившей дороже десяти экю, и никогда не тратил на рынке больше десяти су в день; хвалился он также и тем, что ни один из его деревенских домов не был оштукатурен и побелен снаружи. Сципион Эмилиан, после того как он получил два триумфа и дважды был избран консулом, отправился легатом в провинцию в сопровождении всего семи слуг. Утверждают, что у Гомера никогда не было больше одного слуги, у Платона более трех, а у Зенона, главы стоической школы, не было даже и одного.

Когда Тиберий Гракх, бывший тогда первым среди римлян, уезжал по делам республики, ему назначали содержание в размере всего пяти с половиной су в день.

Глава LIII
Об одном изречении Цезаря

Если бы мы хоть изредка находили удовольствие в том, чтобы присматриваться к самим себе, и время, которое мы затрачиваем на наблюдение за другими и ознакомление с вещами, до нас не касающимися, употребляли на изучение самих себя, то быстро поняли бы, какое ненадежное и хрупкое сооружение наше «я». Разве не является удивительным свидетельством несовершенства неспособность наша по-настоящему удовлетвориться чем-либо, равно как и то обстоятельство, что даже в желании и воображении не способны мы выбрать то, что нам нужнее всего? Об этом ясно свидетельствует извечный великий спор между философами — в чем заключается высшее благо для человека, — который еще продолжается и будет продолжаться вечно, не находя ни решения, ни примирения;

> *dum abest quod avemus, id exsuperare videtur*
>
> *Cetera; post aliud cum contigit illud avemus,*

Et sitis aequa tenet[200].

С чем бы мы ни знакомились, чем бы ни наслаждались, мы все время чувствуем, что это нас не удовлетворяет, и жадно стремимся к будущему, к неизведанному, так как настоящее не может нас насытить: не потому, на мой взгляд, что в нем нет ничего, могущего нас насытить, а потому, что сами способы насыщения у нас нездоровые и беспорядочные:

Nam, cum vidit hic, ad usum quae flagitat usus,
Omnia iam ferme mortalibus esse parata,
Divitiis homines et honore et laude potentes
Afiluere, atque bona natorum excellere fama,
Nec minus esse domi cuiquam tamen anxia corda,
Atque animum infestis cogi servire querelle:
Intellexit ibi vitium vas efficere ipsum,
Omniaque illius vitio corrumpier intus,
Quae colleta foris et commoda quaeque

[200] Примечания: 200
Пока у нас нет того, к чему мы стремимся, нам кажется, что эта вещь превосходит все прочие, а получив ее, мы начинаем столь же страстно желать чего-то другого (*лат.*). Лукреций, III, 1082 сл.

venirent[201].

Наше алкание неустойчиво и ненадежно: оно не способно ничего удержать, не способно дать нам чем-либо насладиться по-настоящему. Человек, полагая, что недостаток — в самих вещах, начинает вкушать и поглощать другие вещи, которых он доселе не знал, с которыми еще не ознакомился; к ним устремляет он свои желания и надежды, их он уважает и чтит, как об этом сказал Цезарь: Communi fit vitio naturae ut invisis, latitantibus atque incognitis rebus magis confidamus, vehementiusque exterreamur[202].

---

[201] Примечания: 201

Когда он (Эпикур) увидел, что смертные обладают почти всем необходимым, и даже те из них, кто наделен богатством, почестями и уважением и доброй славой своих детей, в душе все равно терзаются тревогой и предаются горестным жалобам, он понял, что все зло — в самом сосуде, имеющем некий изъян и портящем драгоценную влагу, которая вливается в него (*лат.*). Лукреций, VI, 9 сл.

[202] Примечания: 202

Таков общий порок нашей природы: невидимое, скрытое, непознаваемое порождает в нас большую веру и сильнейший страх (*лат.*). Цезарь. *Записки о гражданской войне,* II, 4.

Глава LIV
О суетных ухищрениях

Часто люди пытаются добиться одобрения путем легкомысленных суетных ухищрений. Таковы поэты, которые сочиняют длинные творения, состоящие из стихов, начинающихся с какой-либо одной буквы; так в древности греки подбирали размеры своих стихов, удлиняя или укорачивая строки таким образом, чтобы из сочетания этих строк образовывались какие-нибудь фигуры — яйца, шарики, крылья, топоры; такова же была мудрость и того человека, который увлекся вычислением, сколькими различными способами можно расположить буквы алфавита, обнаружив в конце концов, как рассказывает об этом Плутарх, что существует невероятное количество таких комбинаций. Я нахожу правильным мнение о подобных вещах одного человека, которому показали искусника, научившегося так ловко метать рукой просяное зерно, что оно безошибочно проскакивало через ушко иголки; когда этого человека попросили вознаградить столь редкое искусство каким-либо подарком, он

отдал забавное и, по-моему, вполне правильное приказание выдать искуснику две-три меры проса, чтобы он мог сколько угодно упражняться в своем прекрасном искусстве. И поразительное свидетельство немощности нашего разума заключается в том, что он оценивает всякую вещь с точки зрения ее редкости и новизны, а также малодоступности, хотя бы сама по себе она и не содержала в себе ничего хорошего и полезного.

Недавно у меня в доме мы занялись игрой — кто подберет большее количество слов, выражающих два совершенно противоположных значения, как, например, sire, которое обозначает титул, присвоенный самой высокой особе в нашем государстве — королю, но применимо также и к простым людям, например торговцам, не касаясь, однако, лиц, занимающих промежуточное между ними положение. Женщину высокопоставленную называют dame, женщину среднего сословия — demoiselle, а женщин самого низкого состояния опять-таки — dame.

Балдахины над столами допускаются только у особ королевской крови и в трактирах.

Демокрит утверждал, что боги и звери обладают более острой чувствительностью, чем люди, которые в этом отношении находятся на среднем

уровне. Римляне носили одинаковые одежды в траурные и в праздничные дни. Установлено с несомненностью, что предельный страх и предельный пыл храбрости одинаково расстраивают желудок и вызывают понос.

Прозвище «дрожащий», полученное двенадцатым королем Наварры Санчо, доказывает, что смелость заставляет наши члены дрожать, подобно страху. Однажды слуги, надевая на своего господина доспехи и видя его дрожь, пытались ободрить его и стали приуменьшать опасность, которой ему предстояло подвергнуться, но он сказал им: «Вы плохо меня знаете. Если бы тело мое представляло себе, куда увлечет его сейчас моя храбрость, оно бы, объятое смертным холодом, упало на землю».

Слабость, овладевающая нами вследствие холодности и отвращения к венериным играм, возникает у нас также и от чрезмерных желаний и необузданной пылкости. Слишком сильный холод и слишком сильный жар могут варить и жарить. Аристотель утверждает, что слитки свинца размягчаются и плавятся от холода и от зимних морозов так же, как от сильного жара. Вожделение и пресыщение в равной мере заставляют страдать нас и когда мы еще не достигли

наслаждения, и когда мы перешли его границы. Глупость и мудрость сходятся в одном и том же чувстве и в одном и том же отношении к невзгодам, которые постигают человека: мудрые презирают их и властвуют над ними, а глупцы не отдают себе в них отчета; вторые, если можно так выразиться, не доросли до них, первые их переросли. Мудрые, хорошо взвесив и рассмотрев свойства наших несчастий, измерив их и обсудив их истинную природу, возвышаются над ними мощным и мужественным порывом: они презирают их, попирают ногами, ибо обладают такой силой и крепостью духа, что стрелы злого рока, попадая в них, неизбежно должны отскакивать и притупляться, как от встречи с твердым телом, в которое им не проникнуть. Люди обыкновенные, средние, находятся между двумя этими крайностями — они сознают свои беды, ощущают их и не имеют силы их перенести. Детство и старческая дряхлость сходны умственной слабостью, алчность и расточительность — стремлением приобретать, увеличивать свое достояние.

Есть все основания утверждать, что невежество бывает двоякого рода: одно, безграмотное, предшествует науке; другое, чванное, следует за нею. Этот второй род невежества так же создается и

порождается наукой, как первый разрушается и уничтожается ею.

Простые умы, мало любознательные и мало развитые, становятся хорошими христианами из почтения и покорности; они бесхитростно веруют и подчиняются законам. В умах, обладающих средней степенью силы и средними способностями, рождаются ошибочные мнения. Они следуют за поверхностным здравым смыслом и имеют некоторое основание объяснять простотой и глупостью то, что мы придерживаемся старинного образа мыслей, имея в виду тех из нас, которые не просвещены наукой. Великие умы, более основательные и проникновенные, являют собой истинно верующих другого рода: они длительно и благоговейно изучают Священное Писание, обнаруживают в нем более глубокую истину и, озаренные ее светом, понимают сокровенную и божественную тайну учения нашей церкви. Все же мы видим, что некоторые достигают этой высшей ступени через промежуточную, испытав при этом величайшую радость и убежденность в том, что ими достигнута последняя грань христианского просвещения, и наслаждаются своей победой, нравственно перерожденные, исполненные умиления, благодарности и величайшей

скромности. Но в их число я не хотел бы включать тех людей, которые, желая очиститься от всякого подозрения в склонности к своим прежним заблуждениям и убедить нас в своей твердости, впадают в крайность, становятся нетерпимыми и несправедливыми в отстаивании нашего дела и пятнают его, вызывая постоянные упреки в жестокости.

Простые крестьяне — честные люди; честные люди также философы, натуры глубокие и просвещенные, обогащенные обширными познаниями в области полезных наук. Но метисы, пренебрегшие состоянием первоначального неведения всех наук и не сумевшие достигнуть второго, высшего состояния (то есть сидящие между двух стульев, как, например, я сам и многие другие), опасны, глупы и вредны: они-то и вносят в мир смуту. Что касается меня, то я стараюсь, насколько это в моих силах, вернуться к первоначальному, естественному состоянию, которое совсем напрасно пытался покинуть.

Народная и чисто природная поэзия отличается непосредственной свежестью и изяществом, которые уподобляют ее основным красотам поэзии, достигшей совершенства благодаря искусству, как свидетельствуют об этом гасконские вил-

ланели и поэтические произведения народов, не ведающих никаких наук и даже не знающих письменности. Поэзия посредственная, занимающая место между народною и тою, которая достигла высшего совершенства, заслуживает пренебрежения, недостойна того, чтобы ценить-ся и почитаться.

Однако, предавшись подобным умственным изысканиям, я увидел, как это часто бывает, что мы принимали за трудную и необычную работу то, что на самом деле не таково; находчивость наша, обострившись, обнаруживает бесконечное количество подобных примеров. Я приведу здесь только один: если стоит говорить об этих моих «Опытах», то может случиться, думается мне, что они не придутся по вкусу ни умам грубым и пошлым, ни умам исключительным и выдающимся. Те их не поймут, эти поймут слишком хорошо; и придется им удовольствоваться читателем среднего умственного уровня.

Глава LV
О запахах

О некоторых людях — к ним относится Александр Великий — говорят, что их пот издавал приятный запах, благодаря каким-то редким и исключительным особенностям их телесного устройства. Причину этого пытались выяснить Плутарх и другие. Но обычно человеческие тела устроены совсем по-иному: лучше всего, если они вовсе не имеют запаха. Самым чистым и сладостным дыханием — например, дыханием здорового ребенка — мы восхищаемся потому, что оно лишено какого бы то ни было неприятного запаха. Вот почему, как говорит Плавт,

Mulier tum bene olet, ubi nihil olet[203].

Лучше всего ведет себя та женщина, о поведении которой ничего не знают и не слышат. Что же касается приятных запахов, заимствованных извне, то мне кажется правильным мнение, что люди пользуются духами для того, чтобы

---

[203] Примечания: 203

Женщина пахнет хорошо, когда ничем не пахнет (*лат.*). Плавт. *Привидение,* I, 3.

скрыть какой-нибудь природный недостаток. Отсюда такое отождествление у древних поэтов: благоухание у них часто означает вонь —

Rides nos, Coracine, nil olentes
Malo quam bene olere nil olere[204],

и в другом месте:

Posthume, non bene olet, qui bene semper olet[205].

Тем не менее я очень люблю вдыхать приятные запахи и до крайности ненавижу дурные, ибо к ним я чувствительнее, чем кто-либо другой:

Namque sagacius unus odoror,
Polypus, an gravis hirsutis cubet hircus in alis.
Quam canis acer ubi lateat sus[206].

Самые простые и естественные запахи для ме-

---

[204] Примечания: 204

Ты смеешься надо мной, Корацин, потому что я ничем не пахну, но лучше ничем не пахнуть, чем благоухать (*лат.*). Марциал, VI, 55, 4.

[205] Примечания: 205

Постум, нехорошо пахнет тот, кто всегда хорошо пахнет (*лат.*). Марциал, II, 12, 4.

[206] Примечания: 206

Мое обоняние, Полип, различает козлиный запах волосатых подмышек лучше, чем собака — где спрятался вепрь (*лат.*). Гораций. *Эподы,* XII, 4 сл.

ня всего приятнее. И это в особенности касается женщин. Во времена самого грубого варварства скифские женщины, помывшись, пудрили и мазали себе лицо и тело ароматическим снадобьем, распространенным в их стране; перед тем как сблизиться с мужчиной, они снимали эти притирания, и тело их становилось гладким и благоухающим.

Удивительно, до какой степени пристают ко мне всевозможные запахи, до какой степени моя кожа обладает способностью впитывать их в себя. Тот, кто жалуется, что природа не наделила человека особым орудием для того, чтобы подносить запахи к носу, не прав, ибо запахи сами проникают в нос. Мне же, в частности, очень помогают в этом отношении мои пышные усы. Стоит мне поднести к ним мои надушенные перчатки или носовой платок, и запах будет держаться на них потом целый день. По ним можно обнаружить, откуда я пришел. Когда-то, в дни юности, крепкие поцелуи, сладкие, жадные и сочные, прилипали к ним и часами удерживались на них. И, однако, я мало подвержен тем повальным болезням, которые передаются при соприкосновении человека с человеком или чрез зараженный воздух. В свое время я счастливо избег таких заболеваний, сви-

репствовавших в наших городах и среди войск. О Сократе мы читаем, что хотя он не покидал Афин в то время, как их несколько раз посещала чума, он один ни разу ею не заразился. Я полагаю, что врачи могли бы лучше использовать запахи, чем они это делают, ибо часто замечал, что от запахов изменяется мое состояние, так они действуют на мое настроение в зависимости от своих свойств. И в этом я нахожу подтверждение моего взгляда, что употребление ладана и других ароматов в церквах, распространенное с древнейших времен среди всех народов и во всех религиях, имеет целью пробудить, очистить и возвеселить наши чувства, сделав нас тем самым более способными к созерцанию.

Чтобы лучше судить об этом, я хотел бы попробовать стряпню тех поваров, которые умеют приправлять кушанья различными ароматическими веществами, как это бросалось в глаза во время трапез короля тунисского, который в наши дни прибыл в Неаполь для свидания с императором Карлом. У него кушанья начинялись душистыми пряностями, и притом так щедро, что один павлин и два фазана, приготовленные по их способу, обходились в сотню дукатов. Когда их разрезали, то не только в пиршественной зале,

но и во всех комнатах дворца и даже в соседних домах распространялись сладостные испарения, которые улетучивались не скоро.

Отыскивая себе жилье, я прежде всего забочусь о том, чтобы избежать тяжелого и зловонного воздуха. Пристрастие, которое я питаю к прекрасным городам Венеции и Парижу, ослабляется из-за острого запаха стоячей воды в Венеции и грязи в Париже.

Глава LVI
О молитвах

Я предлагаю вниманию читателя мысли неясные и не вполне законченные, подобно тем, кто ставит на обсуждение в ученых собраниях сомнительные вопросы: не для того, чтобы найти истину, но чтобы ее искать. И подчиняю эти свои мысли суждению тех, кто призван направлять не только мои действия и мои писания, но и то, что я думаю. Мною принято будет и обращено мне же на пользу осуждение так же, как и одобрение, ибо сам я сочту нечестием, если окажется, что по неведению или небрежению позволил себе высказать что-либо противное святым установлениям католической апостольской римской церкви, в которой умру и в которой родился. И все же, отдаваясь всегда во власть их цензуры, которой целиком подчиняюсь, я имею дерзновение коснуться здесь подобных предметов.

Не знаю, ошибочно ли мое мнение, но, поскольку Богу угодно было по особой своей милости и благоволению предписать нам и продиктовать собственными устами особый вид молитвы, мне

всегда казалось, что мы должны были бы пользоваться ею чаще, чем это делаем. И по моему убеждению, перед едой и после еды, перед сном и после пробуждения и при всех обстоятельствах вообще, когда мы обычно молимся, христианам следовало бы читать «Отче наш», если не в качестве единственной молитвы, то, во всяком случае, неизменно. Церковь может увеличить количество молитв, разнообразить их, наставляя нас в том или ином отношении по мере надобности: ибо я хорошо знаю, что сущность их и предмет всегда одни и те же. Но этой именно молитве подобало бы отдать предпочтение, чтобы она постоянно была у всех на устах. Ибо не подлежит сомнению, что в ней сказано все необходимое и что она подходит для всех случаев жизни. Это единственная молитва, которой я пользуюсь неизменно, и я повторяю ее, вместо того чтобы заменить другой.

Благодаря этому ни одной молитвы я не помню так хорошо, как эту.

Теперь я думаю о том, откуда взялось у нас ошибочное стремление прибегать к Богу во всех наших намерениях и предприятиях, призывать его во всех наших нуждах и во всех делах, в которых нам по слабости нашей требуется помощь, не

заботясь о том, справедливы или несправедливы наши желания, и взывать к имени его и могуществу во всяком положении и во всяком деле, даже в самом порочном.

Конечно, он — единственный наш защитник, и в его власти все средства, чтобы нам помочь. Но, не говоря уже о том, угодно ли ему будет удостоить нас своей сладостной отеческой милости, он так же справедлив, как благостен и всемогущ. И справедливость свою он являет чаще, чем всемогущество, благодетельствуя нам в меру ее требований, а не согласно нашим просьбам.

Платон в своих законах указывает на три ошибочных суждения о богах: что их вовсе нет, что они не вмешиваются в наши дела и что они ни в чем не отказывают нам, когда мы прибегаем к ним с молитвами, обетами и жертвоприношениями. По его мнению, никогда не бывает, чтобы первое из названных заблуждений прочно укоренялось в человеке с детства до старости. Два других могут оказаться более упорными.

Справедливость Божия и его могущество нераздельны. Тщетно призываем мы силу его к себе на помощь в неправом деле. Хотя бы в то мгновение, когда мы обращаемся к нему с молитвой, душа у нас должна быть чистой и свободной от

порочных страстей; в противном случае мы сами подносим ему те бичи, которыми он нас карает. Вместо того чтобы очиститься от греха, мы удваиваем его, прибегая к тому, у кого должны просить прощения, с чувствами неблаговейными и полными ожесточения. Вот почему я не слишком восхищаюсь теми, кто молится Богу особенно часто и усердно, если их поступки, совершаемые после молитвы, не свидетельствуют о раскаянии и исправлении:

> *si, nocturnus adulter,*
>
> *Tempora santonico velas adoperta cucullo*[207].

И поведение человека, который сочетает гнусную жизнь с благочестием, кажется мне гораздо более достойным осуждения, чем поведение человека, верного себе во всем и всегда одинаково порочного. Вот почему наша церковь всегда отвергает человека, упорствующего в каком-нибудь важном грехе, и закрывает перед ним свои двери.

Молимся мы по обычаю и по привычке, или, вернее сказать, мы просто читаем или про-

---

[207] Примечания: 207

...если ты, ночной прелюбодей, скрываешь свое лицо под галльским плащом с капюшоном (*лат.*). Ювенал. *Сатиры,* VIII, 44 сл.

износим слова молитв. В конце концов, это всего-навсего личина благочестия.

Мне противно бывает, когда люди трижды осеняют себя крестом во время benedicite[208] и столько же раз во время благодарственной молитвы, а во все остальные часы дня упражняются в ненависти, жадности и несправедливости; и тем более противно мне это, что сам я весьма почитаю крестное знамение, постоянно осеняю себя крестом и даже, зевая, крещу себе рот. Порокам свой час, Богу — свой; так люди словно возмещают и уравновешивают одно другим. Просто диву даешься, как это столь разные дела совершают они одно за другим и с таким неизменным рвением, что при этом не заметно никакого перерыва, никакого изменения даже при переходе от одного к другому.

Поистине чудовищной должна быть совесть, которая остается невозмутимой, давая приют под одной кровлей, в столь согласном и мирном сообществе, и преступнику и судье! Что может говорить о делах своих Господу человек, у которого на уме одно только распутство и который знает, сколь мерзостно оно пред лицом Всевышнего? Он

---

[208] Примечания: 208
Благословите (*лат.*). Молитва перед едой.

обращается к Богу лишь для того, чтобы тотчас же снова пасть. Если, как он уверяет, мысль о Божьем правосудии и ощущение его во время молитвы поражают и потрясают его душу, то, как бы кратко ни было раскаяние, один страх божий так часто возвращал бы его мысль к покаянию, что он тотчас же побеждал бы угнездившиеся и укоренившиеся в нем пороки. Но что сказать о тех, вся жизнь которых основана на том, что они пожинают плоды и выгоды порока, зная, что это смертный грех? А сколько у нас занятий и должностей по самой природе своей порочных! Один человек, открывшись мне, признался в том, что всю свою жизнь исповедовал догматы религии и выполнял ее обряды, хотя и отвергал их в душе, для того чтобы не утратить своего высокого положения и почетных должностей. Как хватило у него духу сделать подобное признание? Каким языком говорят эти люди, обращаясь к правосудию Божию? Не дано им право перед Богом и перед нами ссылаться на свое раскаянье, ибо оно проявляется лишь в чисто внешнем и поверхностном исправлении. Или они дерзновенно решаются просить прощения, даже не помышляя об искуплении и раскаянии? Я полагаю, что с ними дело обстоит так же, как и с теми,

о которых я говорил раньше, только упорство их труднее побороть. Эта противоречивость, эта столь внезапная резкая переменчивость мнений, которую они выказывают, притворяясь перед нами, кажется мне каким-то чудом.

Они являют нам душу в состоянии невыносимой агонии. Каким извращенным представлялось мне воображение тех людей, которые в недавнее время имели обыкновение упрекать каждого, кто сохранял ясность мысли, исповедуя католическую веру, якобы в притворстве, да еще к тому же утверждать, — по-видимому, желая ему польстить, — что он лишь с виду католик, а в душе не может не признавать истинной религию, реформированную на их лад! Какое докучное и болезненное заблуждение — мнить себя столь мудрым, что даже не допускать мысли о возможности кому-либо другому думать совсем иначе! А еще хуже то, что подобные люди полагают, будто этот другой готов переменчивость земных судеб поставить выше надежд на вечное спасение и угрозы вечного проклятия. Они могут мне поверить. Ибо если в мои юные годы что-нибудь могло совратить меня, то честолюбивое стремление бросить вызов судьбе и преодолеть все опасности, связанные с недавними событиями, сыграло бы

здесь немаловажную роль.

Не без достаточных оснований, думается мне, церковь запрещает слишком свободно, смело и неосмотрительно пользоваться теми священными и божественными песнопениями, которые дух святой вложил в уста царя Давида. Примешивать Бога к делам нашим допустимо лишь с должным благоговением и осторожностью, проникнутой почитанием и уважением. Голос этот — слишком божественный, чтобы воспроизводить его только ради упражнения легких и удовольствия, доставляемого нашему слуху; эти слова должна повторять совесть наша, а не язык. Безрассудно было бы допускать, чтобы какой-нибудь приказчик из лавки забавлялся и развлекался ими вперемешку со своими суетными и пустыми помыслами.

Столь же неразумно было бы позволять, чтобы в общей зале или на кухне валялись священные книги, излагающие божественные тайны нашей веры. Предмет столь важный и достойный почитания нельзя изучать в сутолоке и мимоходом. К нему надо приступать сосредоточенно и степенно, предпосылая изучению, в качестве вступления, слова, которыми начинается церков-

ная служба: Sursum corda[209], и даже тело наше необходимо привести в положение, свидетельствующее об особом внимании и уважении.

Это занятие не для всех и каждого: оно подобает лишь тем, кто посвятил себя ему, кто призван для этого Богом. Дурным и невежественным людям оно принесет только вред. Священная история рассказывается не для развлечения — ей должно внимать благоговейно, смиренно и с почтением. Как смешны люди, возомнившие, что сделали ее доступной народу, изложив на народном языке! Словно ему достаточно разобраться в словах, чтобы понять все, что написано! Я сказал бы даже больше: вместо того чтобы приблизить простого человека к священной книге, они удаляют его от нее. Полное незнание, во всем полагающееся на других, было более спасительным и более мудрым, чем эта чисто словесная и пустая наука, питающая в людях самомнение и дерзость.

Я думаю также, что в предоставлении каждому свободы распространять слово Божие на всевозможных языках гораздо больше опасности, чем пользы. Евреи, магометане и почти все другие народы приняли и почитают тот язык, на котором

---

[209] Примечания: 209
Вознесите сердца (*лат.*).

впервые открылись им тайны их веры. И не без основания у них запрещено заменять его каким-либо другим. Можем ли мы сказать, что у басков или бретонцев найдутся судьи, достаточно сведущие для того, чтобы установить, правильно ли переведено Священное Писание на их язык? Для церкви вселенской вопрос этот самый насущный и трудный. В проповедях и словесных поучениях даются толкования менее определенные, более свободные и текучие, и к тому же — по отдельным вопросам, так что это совсем не одно и то же.

Один из греческих историков-христиан справедливо порицает свое время за то, что тайны христианской веры свободно распространялись тогда на площадях, попадая в руки каких-нибудь ничтожных ремесленников, и что каждый мог обсуждать их и толковать по-своему. Он говорит также, что для нас, по благодати Божией обладающих чистейшими тайнами благочестия, — величайший стыд допускать, чтобы тайны эти опошлялись в устах простых и невежественных людей, — ведь даже язычники запрещали Сократу, Платону и другим величайшим мудрецам говорить и рассуждать о предметах, порученных ведению дельфийских жрецов. Говорит он и о том, что, когда государи берут ту или иную сторо-

ну в богословских спорах, они бывают вооружены не религиозным рвением, но гневом, что рвение воодушевляется божественным разумом и справедливостью и потому всегда спокойно и умеренно в своих проявлениях, однако, увлекаемое страстью человеческой, может превратиться в ненависть и зависть, и тогда вместо пшеницы и винограда оно производит плевелы и крапиву. Другой историк, давая советы императору Феодосию, правильно указывал, что диспуты не столько устраняют несогласия в церкви, сколько возбуждают и воодушевляют еретические учения, и что поэтому следует избегать всяческих споров и словопрений и опираться исключительно на предписания и догматы, установленные древними. А император Андроник, встретив у себя во дворце двух вельмож, споривших с Лопадием по одному из важнейших вопросов нашей веры, сурово выбранил их и даже пригрозил утопить в реке, если они тотчас же не перестанут.

В наши дни дети и женщины оспаривают мнения людей самого почтенного возраста и наиболее умудренных в вопросах церковных законов, между тем как первый же закон Платона запрещал им даже осведомляться об основаниях гражданских законов, которые для них должны

были являться установлениями божественными. Разрешая старцам обсуждать вопросы законодательства между собой и с должностными лицами, этот платоновский закон добавляет: с тем чтобы это не происходило в присутствии молодежи или непосвященных.

Некий епископ писал, что на другом конце света есть остров, у древних называвшийся Диоскоридой, который отличается здоровым климатом, плодородием, изобилует всякого рода деревьями и плодами и населен племенем, исповедующим христианство, имеющим церкви и алтари, украшенные одним лишь крестом без всяких других изображений. Люди эти тщательно соблюдают посты и праздники, усердно платят десятину священникам и столь целомудренны, что ни один из них не может знать больше одной женщины за всю жизнь. Впрочем, они так довольны своей судьбой, что, живя на острове посреди моря, не имеют понятия о кораблях, и настолько простодушны, что ни слова не разумеют в религиозном учении, которому так старательно следуют. Это могло бы показаться невероятным тому, кто не знает, что некоторые язычники — ревностные идолопоклонники — о богах своих не ведают ничего, кроме их имен и статуй.

Старинное начало «Меланиппы», трагедии Эврипида, гласило:

О, Юпитер! Ибо ничего не знаю я о тебе,

Кроме одного твоего имени.

В наше время мне приходилось слышать жалобы на некоторые произведения, которые упрекают за то, что содержание их — слишком человеческое и философское без всякой примеси богословских рассуждений. Но на подобные жалобы можно не без основания возразить, что божественному учению гораздо лучше занимать особое место, подобающее ему, как царствующему и господствующему; что оно всюду должно быть главенствующим, а не играть подсобной и второстепенной роли; что рассуждения человеческого и философского характера подкреплять примерами из грамматики, риторики, логики гораздо уместнее, чем из предмета столь священного, и что их также лучше брать из области театра, игр и публичных зрелищ; что божественные установления рассматриваются с большим уважением и почитанием, взятые в отдельности и в соответствующих им выражениях, а не в связи с рассуждениями о человеческом; что гораздо

чаще грешат богословы, употребляющие слишком земные слова, чем гуманисты, пишущие недостаточно возвышенно (философия, говорит Иоанн Златоуст, изгонялась святой наукой, как бесполезная служанка, не достойная видеть даже мимоходом, с порога, хранилище священных сокровищ небесного учения); что человеческой речи свойственны формы более низменные и ей не подобает возвышенное достоинство, величие и царственность слова Божия. Я бы предоставил ей говорить verbis indisciplinatis[210] о судьбе, предназначении, случайности, счастье и несчастье, о богах и употреблять другие, свойственные ей выражения.

Я предлагаю домыслы человеческие, и в том числе мои собственные, просто как человеческие, взятые обособленно, а не как установленные и упорядоченные небесным повелением и потому не подлежащие сомнению и непререкаемые: это — дело взгляда на вещи, а не дело веры; как то, что я обсуждаю, согласно своему разумению, а не как то, во что я верю по слову Божию. Они подобны тем упражнениям, которые задают детям и которые никак не поучительны, а, наоборот,

---

[210] Примечания: 210

Словами простыми и грубыми (*лат.*). Августин. *О граде Божием,* X, 29.

сами нуждаются в поучении. Все это я обсуждаю с мирской точки зрения, а не церковной, хотя и в глубоко благочестивом духе.

И не следует ли считать основательным, во многих отношениях полезным и справедливым предписание о том, чтобы по вопросам религии лишь с чрезвычайной осторожностью писали все те, кто предназначен для этого по своему положению? Мне же, быть может, лучше всего не говорить о подобных вещах.

Меня уверяли, что даже те, кто не принадлежит к нашей вере, запрещают у себя употреблять имя Божие в повседневной речи. Они не желают, чтобы им пользовались для призывов и восклицаний, для клятв или сравнений, и я нахожу, что в этом они правы. При каких обстоятельствах ни призывали бы мы Бога среди наших мирских дел и в общении друг с другом, — это должно совершаться серьезно и благоговейно.

Кажется, у Ксенофонта есть одно место, где он говорит, что нам следует реже молиться Богу, поскольку не так легко привести свою душу в состояние сосредоточенности, чистоты и благоговения, в котором ей следует находиться во время молитвы. Иначе моления наши не только тщетны и бесполезны, но даже греховны. Прости

нам, говорим мы, как мы прощаем своим обидчикам. Что это значит, если не то, что мы отдаем ему свою душу, очищенную от вражды и жажды мщения? И тем не менее мы обычно взываем к помощи Божией даже в греховных своих стремлениях и молим его совершить несправедливость:

> *Quae, nisi seductis, nequeas committere divis*[211].

Скупец молится о сохранении своих суетных и излишних сокровищ, честолюбец — о победах, о возможности свободно отдаваться своей страсти; вор просит помочь ему преодолеть опасности и затруднения, противостоящие его зловредным замыслам, или же благодарит за легкость, с какой ему удалось ограбить прохожего. У порога дома, в который грабители пытаются проникнуть по приставной лестнице или взломав замок, возносят они молитвы, питая намерения и надежды, полные жестокости, жадности и сластолюбия:

> *Hoc ipsum quo tu Iovis aurem impellere tentas,*
>
> *Dic agedum Staio: Proh Iuppiter, o bone,*

[211] Примечания: 211

Ты просишь у богов того, о чем можешь сказать только тайком (*лат.*). Персий. *Сатиры,* II, 4.

clamet,

Iuppiter! at sese non clamet luppiter ipse[212].

Королева Маргарита Наваррская рассказывает о некоем молодом принце (и, хотя она не называет его, легко догадаться, кто это), что, направляясь на любовное свидание с женой одного парижского адвоката, он должен был проходить мимо церкви, и всякий раз, дойдя до этого святого места, он произносил молитву. Предоставляю вам самим судить, для чего ему, преисполненному столь благих помыслов, нужна была помощь Божия. Впрочем, королева Наваррская упоминает об этом в доказательство его исключительного благочестия. Но не один этот пример свидетельствует о том, что женщины совершенно не способны рассуждать на богословские темы.

Истинная молитва, истинное примирение с Богом не могут быть доступны душе нечистой, да еще в тот миг, когда она находится во власти сатаны. Тот, кто призывает помощь Божию в порочном деле, поступает так, как поступил бы

---

[212] Примечания: 212

То, чем хочешь поразить слух Юпитера, скажи Стаю, и он воскликнет: «О Юпитер! Преблагой Юпитер!» Да и сам Юпитер возопит (*лат.*). Персий. *Сатиры,* II, 21 сл.

вор, залезший в чужой кошелек и в то же время взывающий к правосудию, или как те, кто упоминает имя Божие, лжесвидетельствуя:

tacito mala vote susurro
Concipimus[213].

Мало найдется людей, которые решились бы открыто высказать то, о чем тайно просят Бога:

Haud cuivis promptum est murmurque humilesque susurros
Tollere de templis, et aperto vivere voto[214].

Вот почему пифагорейцы требовали, чтобы люди молились публично и вслух, дабы у Бога не просили они о вещах недостойных и неправедных, в таком, например, роде:

clare cum dixit: Apollo!
Labra movet, metuens audiri: Pulchra Laverna,
Da mihi fallere, da iustum sanctumque

---

[213] Примечания: 213

Потихоньку бормочем дурные молитвы (*лат.*). Лукан, V, 104.

[214] Примечания: 214

Кто же прекратит бормотанье и стыдливый шепот в храме и открыто вознесет свои молитвы богам? (*лат.*) Персий. *Послания,* I, 16, 59 сл.

videri.

Noctem peccatis et fraudibus obice nubem[215].

Боги выполнили неправедные молитвы Эдипа для того, чтобы жестоко покарать его за них. Он молил о том, чтобы дети его силою оружия решили между собою спор о наследовании его престола, и имел несчастье быть пойманным на слове. Не о том следует просить, чтобы все шло по нашему желанию, а о том, чтобы все шло согласно требованиям разума.

И в самом деле, кажется, что мы пользуемся нашими молитвами, словно каким-то условным языком, подобно тем, кто святые и божественные слова применяет для волшебства и магических целей, и что мы полагаем, будто действие молитвы зависит от расположения и последовательности слов, от их звучания или от движений, которые мы делаем во время молитвы. Ибо с душой, полной вожделений, не затронутой раскаяньем или подлинным желанием вновь при-

---

[215] Примечания: 215

Воззвав громким голосом к Аполлону, он затем едва шевелит губами, боясь, как бы его не услышали: «Благая Лаверна, помоги обмануть, помоги казаться честным и праведным. Прикрой мои прегрешения ночной тьмой, а плутни — облаком» (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 16, 59 сл.

мириться с Богом, мы обращаем к нему эти слова, которые подсказывает нам память, и надеемся таким образом искупить свои прегрешения. Нет ничего более кроткого, ласкового и милосердного к нам, чем божественный закон: он призывает нас к себе, как бы мерзостны и грешны мы ни были; он открывает нам объятия и принимает в лоно свое, как бы мы ни были гнусны, грязны и отвратительны и сейчас и в будущем. Но зато и мы должны взирать на него чистыми очами. Мы должны принимать это прощение с величайшей благодарностью, и хотя бы в то мгновение, когда обращаемся к Богу, ощущать всей душой своей отвращение к своим грехам и ненависть к страстям, которые заставили нас преступить Божий закон. Ни боги, ни благомыслящие люди, говорит Платон, не принимают даров от злых.

Immunis aram si tetigit manus,
Non sumptuosa blandior hostia,
Mollivit aversos Penates
Farre pio et saliente mica[216].

[216] Примечания: 216

Если коснуться алтаря чистой рукой, можно смягчить суровость богов не богатыми приношениями, а горсткой полбы, набожно смешанной с солью (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 23, 17 сл.

Книга вторая

Глава I
О непостоянстве наших поступков

Величайшая трудность для тех, кто занимается изучением человеческих поступков, состоит в том, чтобы примирить их между собой и дать им единое объяснение, ибо обычно наши действия так резко противоречат друг другу, что кажется невероятным, чтобы они исходили из одного и того же источника. Марий Младший в одних случаях выступал как сын Марса, в других — как сын Венеры. Папа Бонифаций VIII, как говорят, вступая на папский престол, вел себя лисой, став папой, выказал себя львом, а умер как собака. А кто поверит, что Нерон — это подлинное воплощение человеческой жестокости, — когда ему дали подписать, как полагалось, смертный приговор одному преступнику, воскликнул: «Как бы я хотел не уметь писать!» — так у него сжалось сердце при мысли осудить человека на смерть. Подобных примеров великое множество, и каждый из нас может привести их сколько угодно; поэтому мне кажется странным, когда разумные люди пытаются иногда мерить все че-

ловеческие поступки одним аршином, между тем как непостоянство представляется мне самым обычным и явным недостатком нашей природы, свидетельством может служить известный стих насмешника Публилия:

> *Malum consilium est, quod mutari non potest*[217].

Есть некоторое основание составлять себе суждение о человеке по наиболее обычным для него чертам поведения в жизни; но, принимая во внимание естественное непостоянство наших обычаев и взглядов, мне часто казалось, что напрасно даже лучшие авторы упорствуют, стараясь представить нас постоянными и устойчивыми. Они создают некий обобщенный образ и, исходя затем из него, подгоняют под него и истолковывают все поступки данного лица, а когда его поступки не укладываются в эти рамки, они отмечают все отступления от них. С Августом, однако, у них дело не вышло, ибо у этого человека было такое явное неожиданное и постоянное сочетание самых разнообразных поступков в течение всей его жизни, что даже самые смелые

[217] Примечания: 217

Плохо то решение, которого нельзя изменить (*лат.*). — цитата у Авла Геллия, XVII, 14.

судьи вынуждены были признать его лишенным цельности, неодинаковым и неопределенным. Мне труднее всего представить себе в людях постоянство и легче всего — непостоянство. Чаще всего окажется прав в своих суждениях тот, кто вникнет во все детали и разберет один за другим каждый поступок.

На протяжении всей древней истории не найдешь и десятка людей, которые подчинили бы свою жизнь определенному и установленному плану, что является главной целью мудрости. Ибо, как говорит один древний автор, если пожелать выразить единым словом и свести к одному все правила нашей жизни, то придется сказать, что мудрость — это «всегда желать и всегда не желать той же самой вещи». «Я не считаю нужным, — говорил он, — прибавлять к этому: лишь бы желание это было справедливым, так как, если бы оно не было таковым, оно не могло бы быть всегда одним и тем же». Действительно, я давно убедился, что порок есть не что иное, как нарушение порядка и отсутствие меры, и, следовательно, исключает постоянство. Передают, будто Демосфен говорил, что «началом всякой добродетели является взвешивание и размышление, а конечной целью и увенчанием ее — постоянство». Если

бы мы выбирали определенный путь по зрелом размышлении, то мы выбрали бы наилучший, но никто не думает об этом:

> *Quod petiit spernit; repetit, quod nuper omisit;*
>
> *Aestuat, et vitae disconvenit ordine toto*[218].

Мы обычно следуем за нашими склонностями направо и налево, вверх и вниз, туда, куда влечет нас вихрь случайностей. Мы думаем о том, чего мы хотим, лишь в тот момент, когда мы этого хотим, и меняемся, как то животное, которое принимает окраску тех мест, где оно обитает. Мы отвергаем только что принятое решение, потом опять возвращаемся к оставленному пути; это какое-то непрерывное колебание и непостоянство:

> *Ducimur,*
> *ut nervis alienis mobile lignum*[219].

Мы не идем, а нас несет, подобно предметам,

---

[218] Примечания: 218

Гнушается тем, чего добился, и вновь стремится к тому, что отверг; мечется, нарушая порядок своей жизни (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 1, 98.

[219] Примечания: 219

Нами, как деревянной куклой, за ниточку движут (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* II, 7, 83.

подхваченным течением реки, то плавно, то стремительно, в зависимости от того, спокойна она или бурлива:

> *Quid sibi quisque velit nescire, nonne videmus et quaerere semper,*
>
> *Commutare locum, quasi onus deponere possit*[220].

Каждый день нам на ум приходит нечто новое, и наши настроения меняются вместе с течением времени:

> *Tales sunt hominum mentes, quali pater ipse*
>
> *Iuppiter auctifero lustravit lumine terras*[221].

Мы колеблемся между различными планами: в наших желаниях никогда нет постоянства, нет свободы, нет ничего безусловного.

В жизни того, кто предписал бы себе и установил бы для себя в душе определенные законы

---

[220] Примечания: 220

Не видим ли мы, что человек сам не знает, чего хочет, и постоянно ищет перемены мест, словно это избавит его от бремени (*лат.*). Лукреций, III, 1071.

[221] Примечания: 221

Мысли людей меняются, как дни, которые сам отец Юпитер посылает земле (*лат.*). *Одиссея,* XVIII, 136 сл., в латинском переводе Цицерона.

и определенное поведение, должно было бы наблюдаться единство нравов, порядок и неукоснительное подчинение одних вещей другим.

Эмпедокл обратил внимание на одну странность в характере агригентцев: они предавались наслаждениям так, как если бы им предстояло завтра умереть, и в то же время строили такие дома, как если бы им предстояло жить вечно.

Судить о некоторых людях очень легко. Взять, к примеру, Катона Младшего: тут тронь одну клавишу — и уже знаешь весь инструмент; тут гармония согласованных звуков, которая никогда не изменяет себе. А что до нас самих, тут все наоборот: сколько поступков, столько же требуется и суждений о каждом из них. На мой взгляд, вернее всего было бы объяснять наши поступки окружающей средой, не вдаваясь в тщательное расследование причин и не выводя отсюда других умозаключений.

Во время неурядиц в нашем несчастном отечестве случилось, как мне передавали, что одна девушка, жившая неподалеку от меня, выбросилась из окна, чтобы спастись от насилия со стороны мерзавца солдата, ее постояльца; она не убилась при падении и, чтобы довести свое намерение до конца, хотела перерезать себе горло, но

ей помешали сделать это, хотя она и успела основательно себя поранить. Она потом призналась, что солдат еще только осаждал ее просьбами, уговорами и посулами, но она опасалась, что он прибегнет к насилию. И вот, как результат этого — ее крики, все ее поведение, кровь, пролитая в доказательство ее добродетели, — ни дать ни взять вторая Лукреция. Между тем я знал, что в действительности она и до и после этого происшествия была девицей не столь уж недоступной. Как гласит присловье, «если ты, будучи тих и скромен, натолкнулся на отпор со стороны женщины, не торопись делать из этого вывод о ее неприступности: придет час — и погонщик мулов свое получит».

Антигон, которому один из его солдат полюбился за храбрость и добродетель, приказал своим врачам вылечить его от болезни, которая давно его мучила. Заметив, что после выздоровления в нем поубавилось бранного пыла, Антигон спросил его, почему он так изменился и утратил мужество. «Ты сам, государь, тому причиной, — ответил солдат, — ибо избавил меня от страданий, из-за которых мне жизнь была не мила». Один из солдат Лукулла был ограблен кучкой вражеских воинов и, пылая местью, со-

вершил смелое и успешное нападение на них. Когда солдат вознаградил себя за потерю, Лукулл, оценив его храбрость, захотел использовать его в одном задуманном им смелом деле и стал уговаривать его, соблазняя самыми заманчивыми обещаниями, какие он только мог придумать:

> *Verbis quae timido quoque possent addere mentem*[222].

«Поручи это дело, — ответил тот, — какому-нибудь бедняге, обчищенному ими»:

> *quantumvis rusticus: Ibit,*
>
> *Ibit eo, quo vis, qui zonam perdidit, inquit*[223],

и наотрез отказался.

Мехмед однажды резко обрушился на предводителя своих янычар Гасана за то, что тот допустил, чтобы венгры обратили в бегство его отряд, и трусливо вел себя в сражении. В ответ на это Гасан, не промолвив ни слова, яростно бросился один, как был с оружием в руках, на первый

---

[222] Примечания: 222

Со словами, которые и трусу могли бы прибавить духу (*лат.*). Гораций. *Послания,* II, 2, 36.

[223] Примечания: 223

С присущей ему грубоватостью ответил: пойдет, куда хочешь, тот, кто потерял свой кушак с деньгами (*лат.*). Гораций. *Послания,* II, 2, 36.

попавшийся отряд неприятеля и был тотчас же изрублен. Это было не столько попыткой оправдаться, сколько переменою чувств, и говорило не столько о природной доблести, сколько о новом взрыве отчаяния.

Пусть не покажется вам странным, что тот, кого вы видели вчера беззаветно смелым, завтра окажется низким трусом; гнев или нужда в чем-нибудь, или какая-нибудь дружеская компания, или выпитое вино, или звук трубы заставили его сердце уйти в пятки. Ведь речь здесь идет не о чувствах, порожденных рассудком и размышлением, а о чувствах, вызванных обстоятельствами. Что удивительного, если человек этот стал иным при иных, противоположных обстоятельствах?

Эта наблюдающаяся у нас изменчивость и противоречивость, эта зыбкость побудила одних мыслителей предположить, что в нас живут две души, а других — что в нас заключены две силы, из которых каждая влечет нас в свою сторону: одна — к добру, другая — ко злу, ибо резкий переход от одной крайности к другой не может быть объяснен иначе.

Однако не только случайности заставляют меня изменяться по своей прихоти, но и я сам, кроме того, меняюсь по присущей мне внутрен-

ней неустойчивости, и кто присмотрится к себе внимательно, может сразу же убедиться, что он не бывает дважды в одном и том же состоянии. Я придаю своей душе то один облик, то другой, в зависимости от того, в какую сторону я ее обращаю. Если я говорю о себе по-разному, то лишь потому, что смотрю на себя с разных точек зрения. Тут словно бы чередуются все заключенные во мне противоположные начала. В зависимости от того, как я смотрю на себя, я нахожу в себе и стыдливость, и наглость; и целомудрие, и распутство; и болтливость, и молчаливость; и трудолюбие, и изнеженность; и изобретательность, и тупость; и угрюмость, и добродушие; и лживость, и правдивость; и ученость, и невежество; и щедрость, и скупость, и расточительность. Все это в той или иной степени я в себе нахожу в зависимости от угла зрения, под которым смотрю. Всякий, кто внимательно изучит себя, обнаружит в себе, и даже в своих суждениях, эту неустойчивость и противоречивость. Я ничего не могу сказать о себе просто, цельно и основательно, я не могу определить себя единым словом, без сочетания противоположностей. Distinguo[224] — такова

[224] Примечания: 224
Различаю (*лат.*).

постоянная предпосылка моего логического мышления.

Должен сказать при этом, что я всегда склонен говорить о добром доброе и толковать скорее в хорошую сторону вещи, которые могут быть таковыми, хотя, в силу свойств нашей природы, нередко сам порок толкает нас на добрые дела, если только не судить о доброте наших дел исключительно по нашим намерениям. Вот почему смелый поступок не должен непременно предполагать доблести у совершившего его человека; ибо тот, кто по-настоящему доблестен, будет таковым всегда и при всех обстоятельствах. Если бы это было проявлением врожденной добродетели, а не случайным порывом, то человек был бы одинаково решителен во всех случаях: как тогда, когда он один, так и тогда, когда он находится среди людей; как во время поединка, так и в сражении; ибо, что бы там ни говорили, нет одной храбрости на уличной мостовой и другой на поле боя. Он будет так же стойко переносить болезнь в постели, как и ранение на поле битвы, и не будет бояться смерти дома больше, чем при штурме крепости. Не бывает, чтобы один и тот же человек смело кидался в брешь, а потом плакался бы, как женщина, проиграв судебный процесс

или потеряв сына.

Когда человек, падающий духом от оскорбления, в то же время стойко переносит бедность, или боящийся бритвы цирюльника обнаруживает твердость перед мечом врага, то достойно похвалы деяние, а не сам человек.

Многие греки, говорит Цицерон, не выносят вида врагов и стойко переносят болезни; и как раз обратное наблюдается у кимвров и кельтиберов. Nihil enim potest esse aequabile, quod non a certa ratione proficiscatur[225]. Нет высшей храбрости в своем роде, чем храбрость Александра Македонского, но и она — храбрость лишь особого рода, не всегда себе равная и всеобъемлющая. Как бы несравненна она ни была, на ней все же есть пятна. Так, мы знаем, что он совсем терял голову при самых туманных подозрениях, возникавших у него относительно козней его приверженцев, якобы покушавшихся на его жизнь; мы знаем, с каким неистовством и откровенным пристрастием он бросался на расследование этого дела, объятый страхом, мутившим его природный разум. И то суеверие, которому он так сильно поддавался, тоже носит характер известного ма-

[225] Примечания: 225

Не может быть однородным то, что не вытекает из одной причины (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* II, 27.

лодушия. Его чрезмерное раскаяние в убийстве Клита тоже говорит за то, что его храбрость не всегда была одинакова.

Наши поступки — не что иное, как разрозненные, не слаженные между собой действия (voluptatem contemnunt, in dolore sunt molliores; gloriam negligunt, franguntur infamia[226]), и мы хотим, пользуясь ложными названиями, заслужить почет. Добродетель требует, чтобы ее соблюдали ради нее самой; и если иной раз ею прикрываются для иных целей, она тотчас же срывает маску с нашего лица. Если она однажды проникла к нам в душу, то она подобна яркой и несмываемой краске, которая сходит только вместе с тканью. Вот почему, чтобы судить о человеке, надо долго и внимательно следить за ним: если постоянство ему несвойственно (cui vivendi via considerata atque provisa est[227]), если он, в зависимости от разнообразных случайностей, меняет путь (я имею в виду именно путь, ибо шаги можно ускорять или, наоборот, замедлять), предоставьте его

[226] Примечания: 226

Брезгают наслаждением, но поддаются горю; презирают славу, но не выносят бесчестья (*лат.*).

[227] Примечания: 227

Кто размышлял над своим образом жизни и продумал его наперед (*лат.*). Цицерон. *Парадоксы,* V, 1.

самому себе — он будет плыть по воле волн, как гласит поговорка нашего Тальбота.

Неудивительно, говорит один древний автор, что случай имеет над нами такую огромную власть: ведь то, что мы живем, — тоже случайность. Тот, кто не поставил себе в жизни определенной цели, не может наметить себе и отдельных действий. Тот, кто не имеет представления о целом, не может распределить и частей. Зачем палитра тому, кто не знает, что делать с красками? Никто не строит цельных планов на всю жизнь; мы обдумываем эти планы лишь по частям. Стрелок прежде всего должен знать свою мишень, а затем уже он приспосабливает к ней свою руку, лук, стрелу, все свои движения. Наши намерения меняются, так как они не имеют одной цели и назначения. Нет попутного ветра для того, кто не знает, в какую гавань он хочет приплыть. Я не согласен с тем решением, которое было вынесено судом относительно Софокла и которое, вопреки иску его сына, признавало Софокла способным к управлению своими домашними делами на основании только одной его прослушанной судьями трагедии.

Я не нахожу также, что паросцы, посланные положить конец неурядицам милетян, сделали

правильный вывод из их наблюдений. Прибыв в Милет, они обратили внимание на то, что некоторые поля лучше обработаны и некоторые хозяйства ведутся лучше, чем другие; они записали имена хозяев этих полей и хозяйств и, созвав народное собрание, объявили, что вручают этим людям управление государством, так как они считают, что эти хозяева будут так же заботиться об общественном достоянии, как они заботились о своем собственном.

Мы все лишены цельности и скроены из отдельных клочков, каждый из которых в каждый данный момент играет свою роль. Настолько многообразно и пестро наше внутреннее строение, что в разные моменты мы не меньше отличаемся от себя самих, чем от других. Magnam rem puta unum hominem agere[228]. Так как честолюбие может внушить людям и храбрость, и уверенность, и щедрость, и даже иногда справедливость; так как жадность способна пробудить в мальчике — подручном из лавочки, выросшем в бедности и безделье, смелую уверенность в своих силах и заставить его покинуть отчий дом и плыть в утлом суденышке, отдавшись воле волн разгневанного

[228] Примечания: 228
Великое дело играть одну и ту же роль (*лат.*). *Письма,* 120, 20.

Нептуна, и в то же время жадность способна научить скромности и осмотрительности; так как сама Венера порождает смелость и решимость в юношах, еще сидящих на школьной скамье, и укрепляет нежные сердца девушек, охраняемых своими матерями, —

> *Hac duce, custodes furtim transgressa iacentes*
>
> *Ad iuvenem tenebris sola puella venit*[229],

то не дело зрелого разума судить о нас поверхностно лишь по нашим доступным обозрению поступкам. Следует поискать внутри нас, проникнув до самых глубин, и установить, от каких толчков исходит движение; однако, принимая во внимание, что это дело сложное и рискованное, я хотел бы, чтобы как можно меньше людей занимались этим.

---

[229] Примечания: 229

Под водительством Венеры юная девушка мимо уснувших стражей украдкой пробирается ночью к своему возлюбленному (*лат.*). Тибулл, II, 1, 75.

Глава II
О пьянстве

Мир — не что иное, как бесконечное разнообразие и несходство. Все пороки совершенно сходны между собой в том, что они пороки, и именно так их и толкуют стоики. Но хотя все они равно пороки, они пороки не в равной мере. Трудно допустить, чтобы тот, кто преступил установленную границу на сто шагов, —

> *Quos ultra citraque nequit consistere rectum*[230], —

не был более тяжким преступником, чем тот, кто преступил ее на десять; или что совершить святотатство не хуже, чем украсть на огороде кочан капусты:

> *Ne vincet ratio, tantundem ut peccet idemque*
>
> *Qui teneros caules alieni fregerit horti,*

---

[230] Примечания: 230

Вне этих пределов не может быть справедливости (*лат.*). Гораций. *Сатиры*, I, 1, 107.

Et qui nocturnus divum sacra legerit[231].

Во всех этих проступках столько же различий, сколько и в любом другом деле.

Очень опасно не различать характер и степень прегрешения. Это было бы весьма выгодно убийцам, предателям, тиранам. Не следует, чтобы их совесть испытывала облегчение от сознания, что такой-то вот человек лентяй, или похотлив, или недостаточно набожен. Всякий склонен подчеркивать тяжесть прегрешений своего ближнего и преуменьшать свой собственный грех. На мой взгляд, даже судьи часто неправильно оценивают их.

Сократ говорил, что главная задача мудрости в том, чтобы различать добро и зло; то же самое и мы, в чьих глазах нет безгрешных, должны сказать об умении различать пороки, ибо без этого точного знания нельзя отличить добродетельного человека от злодея.

Среди других прегрешений пьянство представляется мне пороком особенно грубым и низменным. В других пороках больше участвует ум; существуют даже пороки, в которых, если можно

---

[231] Примечания: 231

Разумом нельзя доказать, что заломать молодые кочаны капусты на чужом огороде такое же преступление, как ограбить ночью храм (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* I, 3, 115.

так выразиться, имеется оттенок благородства. Есть пороки, связанные со знанием, с усердием, с храбростью, с проницательностью, с ловкостью и хитростью; но что касается пьянства, то это порок насквозь телесный и материальный. Поэтому самый грубый из всех ныне существующих народов — тот, у которого особенно распространен этот порок. Другие пороки притупляют разум, пьянство же разрушает его и поражает тело:

> *cum vini vis penetravit*
>
> *Conseguitur gravitas membrorum, praepediuntur*
>
> *Crura vacillanti, tardescit lingua, madet mens,*
>
> *Nant oculi; clamor, singultus, iurgia gliscunt*[232].

Наихудшее состояние человека — это когда он перестает сознавать себя и владеть собой.

По поводу пьяных среди прочего говорят, что подобно тому как при кипячении вся муть со дна поднимается на поверхность, точно так же те, кто

---

[232] Примечания: 232

Когда вино окажет свое действие, все тело отяжелеет, начнут спотыкаться ноги, заплетаться язык, затуманится разум, глаза станут блуждать, и поднимутся, усиливаясь, крики, брань, икота. Лукреций, III, 475.

хватил лишнего, под влиянием винных паров выбалтывают самые сокровенные тайны:

tu sapientium
Curas et arcanum iocoso.
Consilium retegis Lyaeo[233].

Иосиф рассказывает, что, напоив направленного к нему неприятелем посла, он выведал у него важные тайны. Однако Август, доверившись в самых сокровенных своих делах завоевателю Фракии Луцию Пизону, ни разу не просчитался, как равным образом и Тиберий с Коссом, которому он открывал все свои планы; между тем известно, что оба они были столь привержены к вину, что их нередко приходилось уносить из сената совсем упившимися:

Hesterno
inflatum venas de more Lyaeo[234].

И ведь не побоялись же заговорщики посвятить Цимбра, который часто напивался, в свой

---

[233] Примечания: 233

Ты веселым вином раскрываешь думы мудрецов и зреющие втайне замыслы (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 21, 14.

[234] Примечания: 234

По обыкновению вены надуты вчерашним вином (*лат.*). Вергилий. *Эклоги,* VI, 25.

замысел убить Цезаря, как они посвятили в него Кассия, который пил только воду. Цимбр по этому поводу весело сострил: «Мне ли носить в себе тайну о тиране, — ведь я даже вино переношу плохо!» Известно также, что немецкие солдаты, действующие во Франции, даже напившись до положения риз, никогда не забывают, однако, ни о том, в каком полку числятся, ни о своем пароле, ни о своем чине:

nec facilis victoria de madidis et
Blaesis, atque mero titubantibus[235].

Я бы не мог себе представить такого беспробудного и нескончаемого пьянства, если бы не прочел у одного историка о следующем случае. Аттал, пригласив на ужин того самого Павсания, который впоследствии в связи с нижеописанным происшествием убил македонского царя Филиппа — царя, своими превосходными качествами доказавшего, какое прекрасное воспитание он получил в доме Эпаминонда и в его обществе, — желая нанести Павсанию чувствительное оскорбление, напоил его до такой степени, что Павсаний, совершенно не помня себя, как гуля-

[235] Примечания: 235

Хотя они захмелели, пошатываются и от вина языки их заплетаются, одолеть их нелегко (*лат.*). Ювенал, XV, 47.

щая девка, стал отдаваться погонщикам мулов и самым презренным слугам в доме Аттала.

Или вот еще один случай, о котором рассказала мне одна весьма уважаемая мною дама. Неподалеку от Бордо, возле Кастра, где она живет, одна деревенская женщина, вдова, славившаяся своей добродетелью, вдруг заметила у себя признаки начинающейся беременности. «Если бы у меня был муж, — сказала она соседям, — то я решила бы, что я беременна». С каждым днем подозрения относительно беременности все усиливались, и наконец дело стало явным. Тогда она попросила, чтобы с церковного амвона было оглашено, что она обещает тому, кто сознается в своем поступке, простить его и, если он захочет, выйти за него замуж. И вот один из ее молодых работников, ободренный ее заявлением, рассказал, что однажды в праздничный день он застал ее около очага погруженную после обильной выпивки в такой глубокий сон и в такой нескромной позе, что сумел овладеть ею, не разбудив ее. Они и поныне живут в честном браке.

Известно, что в древности пьянство не особенно осуждалось. Многие философы в своих сочинениях довольно мягко отзываются о нем; и даже среди стоиков есть такие, которые сове-

туют иногда выпивать, но только не слишком много, а ровно столько, сколько нужно, чтобы потешить душу:

Hoc quoque virtutum quondam certamine, magnum
Socratem palman promeruisse ferunt[236].

Того самого Катона, которого называли цензором и наставником, упрекали в том, что он изрядно выпивал:

Narratur et prisci Catonis
Saepe mero caluisse virtus[237].

Прославленный Кир, желая показать свое превосходство над братом Артаксерксом, в числе прочих своих достоинств ссылался на то, что он умеет гораздо лучше пить, чем Артаксеркс. У самых цивилизованных и просвещенных народов очень принято было пить. Я слышал от знаменитого парижского врача Сильвия, что для того, чтобы наш желудок не ленился работать,

---

[236] Примечания: 236

Говорят, что в состязании доблести пальма первенства досталась великому Сократу (*лат.*). Максимиан, I, 47.

[237] Примечания: 237

Рассказывают, что доблесть древнего Катона часто подогревалась вином (*лат.*).

хорошо раз в месяц дать ему встряску, выпив вина и пробудив этим его активность.

О персах пишут, что они совещались о важнейших своих делах под хмельком.

Что касается меня, то врагом этого порока является не столько мой разум, сколько мой нрав и мои вкусы. Ибо, кроме того что я легко поддаюсь авторитетным мнениям древних авторов, я действительно нахожу, что пьянство — бессмысленный и низкий порок, однако менее злостный и вредный, чем другие, подтачивающие самые устои человеческого общества. И хотя нет, как полагают, такого удовольствия, которое мы могли бы доставить себе так, чтобы оно нам ничего не стоило, я все же нахожу, что этот порок менее отягчает нашу совесть, чем другие, не говоря уже о том, что он не требует особых ухищрений и его проще всего удовлетворить, что также должно быть принято в соображение.

Один весьма почтенный и пожилой человек говорил мне, что в число трех главных оставшихся ему в жизни удовольствий входит выпивка. Но она не шла ему впрок: в этом деле надо избегать изысканности и нельзя быть чересчур разборчивым в выборе вина. Если вы хотите получать от вина наслаждение, смиритесь с тем, что оно

иногда будет вам не вкусно. Надо иметь и более грубый, и более разнообразный вкус. Кто желает быть настоящим выпивохой, должен отказаться от тонкого вкуса. Немцы, например, почти с одинаковым удовольствием пьют всякое вино. Они хотят влить в себя побольше, а не лакомиться вином. Это вещь более достижимая. Удовольствие немцев в том, чтобы вина было вволю, чтобы оно было доступным. Что касается французской манеры пить, то прикладываться к бутылке дважды в день за едой, умеренно, опасаясь за здоровье, — значит лишать себя многих милостей Вакха. Тут нужно больше постоянства, больше пристрастия. Древние предавались этому занятию ночи напролет, прибавляя часто сверх того еще и дни. И действительно надо, чтобы обычная порция вина была и более обильной, и более постоянной. Я знавал некоего сановника, на редкость удачливого во всех своих великих начинаниях, который без труда выпивал во время своих обычных трапез не менее двадцати пинт вина и после этого становился только более проницательным и искусным в решении сложных дел. Удовольствие, которое мы хотим познать в жизни, должно занимать в ней побольше места. Нельзя упускать ни одного представляющегося случая выпить и

следует всегда помнить об одном желании, надо походить в этом отношении на рассыльных из лавки или мастеровых. Похоже на то, что мы с каждым днем ограничиваем наше повседневное потребление вина и что раньше в наших домах, как я наблюдал в детстве, всякие угощения и возлияния были куда более частыми и обычными, чем в настоящее время. Значит ли это, что мы в каких-то отношениях идем к лучшему? Отнюдь нет! Это значит только, что мы в гораздо большей степени, чем наши отцы, ударились в распутство. Ведь невозможно предаваться с одинаковой силой и распутству, и страсти к вину. Воздержание от вина, с одной стороны, ослабляет наш желудок, а с другой — делает нас дамскими угодниками, более падкими к любовным утехам.

Какое множество рассказов довелось мне слышать от моего отца о добродетельности людей его времени! Добродетель, по его словам, как нельзя более соответствовала нравам тогдашних дам. Отец мой говорил мало и очень складно, уснащая свою речь некоторыми выражениями не из древних, а из новых авторов, в особенности из испанских; из испанских книг его излюбленной было сочинение, обычно именуемое у испанцев «Марком Аврелием». Он держался с приятным

достоинством, полным скромности и смирения. На нем лежал особый отпечаток честности и порядочности; он проявлял большую тщательность в одежде как обычного рода, так и для верховой езды. Он был поразительно верен своему слову, а в отношении религиозных убеждений скорее склонен был к суеверию, чем к другой крайности. Он был небольшого роста, но полон сил, имел хорошую выправку и был прекрасно сложен. У него было приятное смугловатое лицо. Он был ловок и искусен во всякого рода физических упражнениях. Я еще застал палки со свинцовым грузом, которые, как мне передавали, служили ему для упражнений рук при подготовке к игре в городки или фехтованию, и ботинки со свинцовыми набойками, в которых легче было бегать и прыгать. С самых ранних лет в моей памяти с ним связаны маленькие чудеса. Когда ему было уже за шестьдесят, мне не раз приходилось видеть, как он, посмеиваясь над нашей неловкостью, вскакивал в своем меховом плаще на коня, как он перепрыгивал через стол или как он, поднимаясь по лестнице в свою комнату, всегда перескакивал через три или четыре ступеньки. Он утверждал, что во всей нашей области вряд ли можно было найти хоть одну благородную женщину, которая

пользовалась бы дурной славой, и рассказывал о приключавшихся с ним случаях удивительной близости с почтенными женщинами, случаях, не вызывавших никаких сомнений в его безупречном поведении. Он клялся, что до самой своей женитьбы был девственником. Он провел многие годы в Италии, участвуя в итальянских походах, о которых оставил нам собственноручный дневник с подробнейшим описанием всего происходившего, описанием, предназначавшимся и для его личного, и для общественного пользования.

Поэтому он и женился довольно поздно, по возвращении из Италии, в 1528 году, когда ему было тридцать три года. Но вернемся к разговору о бутылках.

Докуки старости, нуждающейся в опоре и каком-то освежении, с полным основанием могли бы внушить мне желание обладать умением пить, ибо это одна из последних радостей, которые остаются после того, как убегающие годы украли у нас одну за другой все остальные. Знающие толк в этом деле собутыльники говорят, что естественное тепло прежде всего появляется в ногах: оно сродни детству. По ногам оно поднимается вверх, в среднюю область, и, водворясь здесь надолго, является источником, на мой взгляд,

единственных, подлинных плотских радостей (другие наслаждения меркнут по сравнению с ними). Под конец, подобно поднимающемуся и оседающему пару, оно достигает нашей глотки и здесь делает последнюю остановку.

Однако я не могу представить себе, как можно продлить удовольствие от питья, когда пить уже больше не хочется, и как можно создать себе воображением искусственное и противоестественное желание пить. Мой желудок был бы не способен на это: он может вместить только то, что ему необходимо. У меня привычка пить только после еды, и поэтому я под конец почти всегда пью самый большой бокал. Анахарсис удивлялся, что греки к концу трапезы пили из более объемистых чаш, чем в начале ее. Я полагаю, что это делалось по той же причине, по какой так поступают немцы, которые к концу начинают состязание — кто выпьет больше. Платон запрещал детям пить вино до восемнадцатилетнего возраста и запрещал напиваться ранее сорока лет; тем же, кому стукнуло сорок, он предписывает наслаждаться вином вволю и щедро приправлять свои пиры дарами Диониса, этого доброго бога, возвращающего людям веселье и юность старцам, укрощающего и усмиряющего страсти,

подобно тому как огонь плавит железо. В своих «Законах» он считает такие пирушки полезными (лишь бы для наведения порядка был распорядитель застолья, сдерживающий остальных), ибо опьянение — это хорошее и верное испытание натуры всякого человека; оно, как ничто другое, способно придать пожилым людям смелость пуститься в пляс или затянуть песню, чего они не решились бы сделать в трезвом виде. Вино способно придать душе выдержку, телу — здоровье. И все же Платон одобряет следующие ограничения, частью заимствованные им у карфагенян: «Следует отказаться от вина в военных походах; всякому должностному лицу и всякому судье надо воздерживаться от вина при исполнении своих обязанностей и решении государственных дел; выпивке не следует посвящать ни дневных часов, отведенных для других занятий, ни той ночи, когда хотят дать жизнь потомству».

Говорят, что философ Стильпон, удрученный надвинувшейся старостью, сознательно ускорил свою смерть тем, что пил вино, не разбавленное водой. По той же причине — только вопреки собственному желанию — погиб и отягченный годами философ Аркесилай.

Существует старинный, очень любопытный

вопрос: поддается ли душа мудреца действию вина?

Si munitae adhibet vim sapientiae[238].

На какие только глупости не толкает нас наше высокое мнение о себе! Самому уравновешенному человеку на свете надо помнить о том, чтобы твердо держаться на ногах и не свалиться на землю из-за собственной слабости. Из тысячи человеческих душ нет ни одной, которая хоть в какой-то миг своей жизни была бы недвижна и неизменна, и можно сомневаться, способна ли душа по своим естественным свойствам быть таковой? Если добавить к этому еще постоянство, то это будет последняя ступень совершенства; я имею в виду, если ничто ее не поколеблет, — а это может произойти из-за тысячи случайностей. Великий поэт Лукреций философствовал и зарекался, как только мог, и все же случилось, что он вдруг потерял рассудок от любовного напитка. Думаете ли вы, что апоплексический удар не может поразить с таким же успехом Сократа, как и любого носильщика? Некоторых людей болезнь доводила до того, что они забывали свое

[238] Примечания: 238

Не придает ли большую мощь ослабевшей мудрости (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 28, 4.

собственное имя, а разум других повреждался от легкого ранения. Ты можешь быть сколько угодно мудрым, и все же в конечном счете — ты человек; а есть ли что-нибудь более хрупкое, более жалкое и ничтожное? Мудрость нисколько не укрепляет нашей природы:

> *Sudores itaque et pallorem existere toto*
>
> *Corpore, et infringi linguam, vocemque aboriri*
>
> *Caligare oculos, sonere aures, succidere artus*
>
> *Denique concidere ex animi terrore videmus*[239].

Человек не может не начать моргать глазами, когда ему грозит удар. Он не может не задрожать всем телом, как ребенок, оказавшись на краю пропасти. Природе угодно было сохранить за собой эти незначительные признаки своей власти, которую не может превозмочь ни наш разум, ни стоическая добродетель, чтобы напомнить человеку, что он смертен и хрупок. Он бледнеет

---

[239] Примечания: 239

Если душа охвачена страхом, то мы видим, как тело покрывается потом, бледнеет кожа, цепенеет язык, голос прерывается, темнеет в глазах, в ушах звенит, колени подгибаются и человек валится с ног (*лат.*). Лукреций, III, 155.

от страха, краснеет от стыда; на припадок боли он реагирует если не громким отчаянным воплем, то хриплым и неузнаваемым голосом:

Humani a se nihil alienum putet[240].

Поэты, которые творят со своими героями все, что им заблагорассудится, не решаются лишить их способности плакать:

Sic fatur lacrimans, classique immitit habenas[241].

С писателя достаточно того, что он обуздывает и умеряет склонности своего героя; но одолеть их не в его власти. Даже сам Плутарх, — этот превосходный и тонкий судья человеческих поступков, — упомянув о Бруте и Торквате, казнивших своих сыновей, выразил сомнение, может ли добродетель дойти до таких пределов и не были ли они скорее всего побуждаемы какой-нибудь другой страстью. Все поступки, выходящие за обычные рамки, истолковываются в дурную сторону, ибо нам не по вкусу ни то, что

---

[240] Примечания: 240

Пусть ничто человеческое ему не будет чуждо (*лат.*). Теренций. *Самоистязатель*, 77.

[241] Примечания: 241

Так говорит он сквозь слезы и замедляет ход кораблей (*лат.*). *Энеида*, VI, 1.

выше нашего понимания, ни то, что ниже его.

Оставим в покое стоиков, явно кичащихся своей гордыней. Но когда среди представителей философской школы, которая считается наиболее гибкой, мы встречаем следующее бахвальство Метродора: «Occupavi te, Fortuna, atque cepi; omnesque aditus tuos interclusi, ut ad me aspirare non posses»[242]; или когда по повелению кипрского тирана Никокреона, положив Анаксарха в каменную колоду, его бьют железными молотами и он не перестает восклицать при этом: «Бейте, колотите сколько угодно, вы уничтожаете не Анаксарха, а его оболочку»; или когда мы узнаем, что наши мученики, объятые пламенем, кричали тирану: «С этой стороны уже достаточно прожарено, руби и ешь, мясо готово; начинай поджаривать с другой»; или когда у Иосифа мы читаем, что ребенок, которого по приказанию Антиоха рвут клещами и колют шипами, все еще смело противится ему и твердым, властным голосом кричит: «Тиран, ты попусту теряешь время, я прекрасно себя чувствую. Где то страдание, те муки, которыми ты угрожал мне? Знаешь ли ты, с чем ты имеешь дело? Моя стойкость причиняет

[242] Примечания: 242

Я поймал и обуздал тебя, Судьба; я закрыл все входы и выходы, чтобы ты не могла до меня добраться (*лат.*).

тебе большее мучение, чем мне твоя жестокость, о гнусное чудовище, ты слабеешь, а я лишь крепну; заставь меня жаловаться, заставь меня дрогнуть, заставь меня, если можешь, молить о пощаде, придай мужества твоим приспешникам и палачам — ты же видишь, что они упали духом и больше не выдерживают, — дай им оружие в руки, возбуди их кровожадность», — когда мы узнаем обо всем этом, то, конечно, приходится признать, что в душах всех этих людей что-то произошло, что их обуяла какая-то ярость, может быть, священная. А когда мы читаем о следующих суждениях стоиков: «Я предпочитаю быть безумным, чем предаваться наслаждениям» (слова Антисфена) — Μανείην μᾶλλον ἢ ἡσυείην; когда Секст уверяет нас, что предпочитает быть во власти боли, нежели наслаждения; когда Эпикур легко мирится со своей подагрой, отказывается от покоя и здоровья и, готовый вынести любые страдания, пренебрегает слабою болью и призывает более сильные и острые мучения, как более достойные его:

Spumantemque dari pecora inter inertia votis

Optat aprum, aut fulvum

descendere monte leonem[243],

то кто не согласится с тем, что это проявления мужества, вышедшего за свои пределы? Наша душа не в состоянии воспарить из своего обиталища до таких высот. Ей надо покинуть его и, закусив удила, вознестись вместе со своим обладателем в такую высь, что потом он сам станет удивляться случившемуся, подобно тому как это бывает при военных подвигах, когда в пылу сражения отважные бойцы часто совершают такие рискованные вещи, что, придя потом в себя, они первые им изумляются; и точно так же поэты часто приходят в восторг от своих собственных произведений и не помнят, каким образом их озарило такое вдохновение; это и есть то душевное состояние, которое называют восторгом и исступлением. И как Платон говорит, что тщетно стучится в дверь поэзии человек бесстрастный, точно так же и Аристотель утверждает, что ни одна выдающаяся душа не чужда до известной степени безумия. Он прав, называя безумием всякое исступление, каким бы похвальным оно ни было, превосходящее наше суждение и разуме-

[243] Примечания: 243

Он хочет, чтобы среди беззащитных животных ему явился, весь в пене, кабан или спустился с гор рыжий лев (*лат.*). *Энеида,* IV, 158.

ние. Ведь мудрость — это умение владеть своей душой, которой она руководит осмотрительно, с тактом и с чувством ответственности за нее.

Платон следующим образом обосновывает утверждение, что дар пророчества есть способность, превосходящая наши силы, ибо, говорит он, пророчествуя, надо быть вне себя, и наш рассудок должен быть помрачен либо сном, либо какой-нибудь болезнью, либо он должен быть вытеснен каким-то сошедшим с небес вдохновением.

Глава III
Обычай острова Кеи

Если философствовать, как утверждают философы, значит сомневаться, то с тем большим основанием заниматься пустяками и фантазировать, как поступаю я, тоже должно означать сомнение. Ученикам подобает спрашивать и спорить, а наставникам — решать. Мой наставник — это авторитет Божьей воли, которому подчиняются без спора и который выше всех пустых человеческих измышлений.

Когда Филипп вторгся в Пелопоннес, кто-то сказал Дамиду, что лакедемонянам придется плохо, если они не сдадутся ему на милость. «Ах ты, трус, — ответил он ему, — чего может бояться тот, кому не страшна смерть?» Кто-то спросил Агиса: «Как следует человеку жить, чтобы чувствовать себя свободным?» «Презирая смерть», — ответил он. Такие и тысячи им подобных изречений, несомненно, не означают, что надо терпеливо дожидаться смерти. Ибо в жизни случается многое, что гораздо хуже смерти. Подтверждением может служить тот спартанский мальчик, взятый Ан-

тигоном в плен и проданный в рабство, который, понуждаемый своим хозяином заняться какой-нибудь грязной работой, заявил: «Ты увидишь, кого ты купил. Мне было бы стыдно находиться в рабстве, когда свобода у меня под рукой» — и с этими словами он бросился на камни с вышки дома. Когда Антипатр, желая заставить лакедемонян подчиниться какому-то его требованию, обрушился на них с жестокими угрозами, они ему ответили: «Если ты будешь угрожать нам чем-то худшим, чем смерть, мы умрем с тем большей готовностью». А Филиппу, который написал им, что помешает всякому их начинанию, они заявили: «Ну а умереть ты тоже сможешь помешать нам?» Ведь говорят же по этому поводу, что мудрец живет столько лет, сколько ему нужно, а не столько, сколько он может прожить, и что лучший дар, который мы получили от природы и который лишает нас всякого права жаловаться на наше положение, это — возможность сбежать. Природа назначила нам лишь один путь появления на свет, но указала тысячи способов, как уйти из жизни. Нам может не хватать земли для прожития, но, чтобы умереть, человеку всегда ее хватит, как ответил Байокал римлянам. «Почему ты жалуешься на этот мир? Он тебя не

удерживает; если ты живешь в муках, причиной тому твое малодушие: стоит тебе захотеть — и ты умрешь»:

> *Ubique mors est: optime hac cavit deus;*
>
> *Eripere vitam, nemo non homini potest;*
>
> *At nemo mortem: mille ad hanc aditus patent*[244].

Смерть — не только избавление от болезней, она — избавление от всех зол. Это — надежнейшая гавань, которой никогда не надо бояться и к которой часто следует стремиться. Все сводится к тому же, кончает ли человек с собой или умирает; бежит ли он навстречу смерти или ждет, когда она придет сама; в каком бы месте нить ни оборвалась, это — конец клубка. Самая добровольная смерть наиболее прекрасна. Жизнь зависит от чужой воли, смерть же — только от нашей. В этом случае больше, чем в каком-либо другом, мы должны сообразоваться только с нашими чувствами. Мнение других в таком деле не имеет никакого значения; очень глупо считаться с ним. Жизнь превращается в рабство, если мы не

---

[244] Примечания: 244

Всюду смерть, с этим Бог распорядился наилучшим образом: каждый может лишить человека жизни, но никто не может отнять у него смерть: тысячи путей ведут к ней (*лат.*). Сенека. *Финикиянки,* 151.

вольны умереть. Обычно мы расплачиваемся за выздоровление частицами самой жизни: нам что-то вырезают или прижигают, или ампутируют, или ограничивают питание, или лишают части крови; еще один шаг — и мы можем исцелиться окончательно от всего. Почему бы в безнадежных случаях не перерезать нам, с нашего согласия, горло, вместо того чтобы вскрывать вену для кровопускания? Чем серьезнее болезнь, тем более сильных средств она требует. Грамматик Сервий, страдавший от подагры, не нашел ничего лучшего, как прибегнуть к яду, чтобы умертвить свои ноги. Пусть они останутся подагрическими, лишь бы он их не чувствовал! Ставя нас в такое положение, когда жизнь становится хуже смерти, Бог дает нам при этом достаточно воли.

Поддаваться страданиям — значит выказывать слабость, но давать им пищу — безумие.

Стоики утверждают, что для мудреца жить по велениям природы значит вовремя отказаться от жизни, хоть бы он и был в цвете сил; для глупца же естественно цепляться за жизнь, хотя бы он и был несчастлив, лишь бы он в большинстве вещей сообразовался, как они говорят, с природой.

Подобно тому как я не нарушаю законов, установленных против воров, когда уношу то, что мне

принадлежит, или сам беру у себя кошелек, и не являюсь поджигателем, когда жгу свой лес, точно так же я не подлежу законам против убийц, когда лишаю себя жизни.

Гегесий говорил, что все, что касается нашей смерти или нашей жизни, должно зависеть от нас.

Диоген, встретив уже много лет страдавшего от водянки философа Спевсиппа, которого несли на носилках и который крикнул ему: «Доброго здоровья, Диоген!», ответил: «А тебе я вовсе не желаю здоровья, раз ты миришься с жизнью, находясь в таком состоянии».

И действительно, некоторое время спустя Спевсипп покончил с собой, устав от такого тяжкого существования.

Однако далеко не все в этом вопросе единодушны. Многие полагают, что мы не вправе покидать крепость этого мира без явного веления того, кто поместил нас в ней; что лишь от Бога, который послал нас в мир не только ради нас самих, но ради его славы и служения ближнему, зависит дать нам волю, когда он того захочет, и не нам принадлежит этот выбор; мы рождены, говорят они, не только для себя, но и для нашего отечества; в интересах общества законы требуют от

нас отчета в наших действиях и судят нас за самоубийство, иначе говоря, за отказ от выполнения наших обязанностей нам полагается наказание и на том и на этом свете:

Proxima deinde tenent moesti loca, qui sibi laetum
Insontes peperere manu, lucemque perosi
Proiecere animas[245].

Больше стойкости в том, чтобы жить с цепью, которою мы скованы, чем разорвать ее, и Регул является более убедительным примером твердости, чем Катон. Только неблагоразумие и нетерпение побуждают нас ускорять приход смерти. Никакие злоключения не могут заставить подлинную добродетель повернуться к жизни спиной; даже в горе и страдании она ищет своей пищи. Угрозы тиранов, костры и палачи только придают ей духу и укрепляют ее:

Duris ut ilex tonsa bipennibus
Nigrae feraci frondis in Algido,
Per damna, per caedes, ab ipso

[245] Примечания: 245

Рядом занимают место несчастные, которые без вины покончили с собой и, возненавидев мир, лишили себя жизни (*лат.*). *Энеида,* VI, 434.

Ducit opes animumque ferro[246].

Или, как говорит другой поэт,

Non est, ut putas, virtus, pater,Timere vitam, sed malis ingentibus
Obstare, nec se vertere ac retro dare[247].

Rebus in adversis facile est contemnere mortem
Fortius ille facit qui miser esse potest[248].

Спрятаться в яме под плотной крышкой гроба, чтобы избежать ударов судьбы, — таков удел трусости, а не добродетели. Добродетель не прерывает своего пути, какая бы гроза над нею ни бушевала:

Si fracfus illabatur orbis

---

[246] Примечания: 246

Так и дуб, который растет в густых лесах на Алгиде: его подрубают жестоким топором, а он, вопреки ранам, закаляется от нанесенных ударов и черпает в них силу (*лат.*). Гораций. *Оды,* IV, 4, 57.

[247] Примечания: 247

Доблесть не в том, как ты полагаешь, отец, чтобы бояться жизни, а в том, чтобы противостоять большему несчастью, не отвернуться и не отступить перед ним (*лат.*). Сенека. *Финикиянки,* 190.

[248] Примечания: 248

В бедствиях легко не бояться смерти, но гораздо больше мужества проявляет тот, кто умеет быть несчастным (*лат.*). Марциал, XI, 56, 16.

Inpavidum ferient ruinae[249].

Нередко стремление избежать других бедствий толкает нас к смерти; иногда же опасение смерти приводит к тому, что мы сами бежим ей навстречу —

Hic, rogo, non furor est, ne moriare mori[250],

подобно тем, кто из страха перед пропастью сами бросаются в нее:

multos in summa pericula misit
Venturi timor ipse mali; fortissimus ille est,
Qui promptus metuenda pati, si cominus instent,
Et differre potest[251].
Usque adeo, mortis formidine, vitae

---

[249] Примечания: 249

Пусть рушится распавшийся мир: его обломки поразят бесстрашного (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 3, 7.

[250] Примечания: 250

Разве не безумие — умереть от страха перед смертью (*лат.*). Марциал, II, 80, 2.

[251] Примечания: 251

Самый страх перед возможной бедой ставил многих людей в опасное положение, но храбрейшим будет тот, кто легко переносит опасности, если они непосредственно угрожают, и умеет избежать их (*лат.*). Лукан, VII, 104.

Percipit
humanos odium, lucisque videndae,
Ut sibi consciscant maerenti pectore letum
Obliti
fontem curarum hunc esse timorem[252].

Платон в своих «Законах» предписывает позорные похороны для того, кто лишил жизни и всего предназначенного ему судьбой своего самого близкого и больше чем друга, то есть самого себя, и сделал это не по общественному приговору и не по причине какой-либо печальной и неизбежной случайности и не из-за невыносимого стыда, а исключительно по трусости и слабости, то есть из малодушия. Презрение к жизни — нелепое чувство, ибо в конечном счете она — все, что у нас есть, она — все наше бытие. Те существа, жизнь которых богаче и лучше нашей, могут осуждать наше бытие, но неестественно, чтобы мы презирали сами себя и пренебрегали собой; ненавидеть и презирать самого себя — это какой-то особый недуг, не встречающийся ни у какого другого создания. Это такая же нелепость,

[252] Примечания: 252
Из-за страха перед смертью людей охватывает такое отвращение к жизни и дневному свету, что они в тоске душевной лишают себя жизни, забывая, что источником их терзаний был именно этот страх (*лат.*). Лукреций, III, 79.

как и наше желание не быть тем, что мы есть. Следствие такого желания не может быть нами оценено, не говоря уже о том, что оно само по себе противоречит и уничтожает себя. Тот, кто хочет из человека превратиться в ангела, ничего не достигнет, ничего не выиграет, ибо раз он перестает существовать, то кто же за него порадуется и ощутит это улучшение?

> *Debet enim misere cui forte aegreque futurum est,*
> *Ipse quoque esse in eo tum tempore, cum male possit*
> *Accidere*[253].

Спокойствие, отсутствие страданий, невозмутимость духа, избавление от зол этой жизни, обретаемые нами ценою смерти, нам ни к чему. Незачем избегать войны тому, кто не в состоянии наслаждаться миром, и тот, кто не может вкушать покой, напрасно бежит страданий.

Среди философов, приверженцев первой точки зрения, были большие сомнения вот по какому поводу: какие причины достаточно вески, чтобы

---

[253] Примечания: 253

Тот, кому будущее представляется тяжелым и мучительным, еще должен быть в живых тогда, когда обрушатся эти невзгоды (*лат.*). Лукреций, III, 861.

заставить человека принять решение лишить себя жизни? Они называют это εὔλογον ἐξαγὴν[254]. Ибо они хотя говорят, что нередко приходится умирать из-за незначительных причин, так как те, что привязывают нас к жизни, не слишком вески, все же в этом должна быть какая-то мера. Существуют безрассудные и взбалмошные порывы, толкающие на самоубийство не только отдельных людей, а целые народы. Выше я уже приводил такого рода примеры, сошлюсь, кроме того, на девушек из Милета, которые, вступив в какой-то безумный сговор, вешались одна за другой до тех пор, пока в это дело не вмешались власти, издавшие приказ, что впредь тех, кого найдут повесившимися, на той же веревке будут волочить голыми по всему городу. Когда Терикион стал убеждать Клеомена покончить с собой из-за тяжелого положения, в котором тот оказался, избежав почетной смерти в только что проигранном сражении, и доказывать Клеомену, что тот должен решиться на эту менее почетную смерть, чтобы не дать победителю возможности обречь его ни на позорную жизнь, ни на позорную смерть, Клеомен с подлинно

[254] Примечания: 254
Разумный выход (*греч.*). См.: Лаэрт, VIII, 130.

спартанским стоическим мужеством отверг этот совет как малодушный и трусливый: «Этот выход, — сказал он, — от меня никогда не уйдет, но к нему не следует прибегать, пока остается хотя тень надежды». Жизнь, говорил он, иногда есть доказательство выдержки и мужества; он хочет, чтобы самая смерть его сослужила службу его родине, и потому он желает превратить ее в деяние доблести и добродетели. Терикиона это не убедило, и он покончил с собой. Клеомен спустя некоторое время поступил так же, но после того, как испробовал все. Все бедствия не стоят того, чтобы, желая избежать их, стремиться к смерти.

Кроме того, в судьбе человеческой бывает иной раз столько внезапных перемен, что трудно судить, в какой мере мы правы, полагая, будто не остается больше никакой надежды:

Sperat et in saeva victus gladiator arena
Sit licet infesto pollice turba minax[255].

Старинная пословица гласит: пока человек жив, он может на все надеяться. «Конечно, — отвечает на это Сенека, — но почему я должен

[255] Примечания: 255

И побежденный в жестоком бою гладиатор надеется, хотя толпа, угрожая, требует его смерти (*лат.*). Пентадий у Юста Липсия. *Сатурналии,* Т. III.

думать о том, что фортуна может все сделать для того, кто жив, а не думать о том, что она ничего не может сделать тому, кто сумел умереть?» У Иосифа мы читаем, что он находился на краю гибели, когда весь народ поднялся против него, и, рассуждая здраво, он видел, что для него не оставалось спасения; и все же, сообщает он, когда один из его друзей посоветовал ему покончить с собой, то он, к счастью, решил все же не терять надежды, — и вот, против всякого ожидания, судьбе угодно было распорядиться так, что он выпутался из затруднений без всякого для себя ущерба. А Брут и Кассий, наоборот, своей поспешностью и легкомыслием лишь способствовали гибели последних остатков римской свободы, защитниками которой они были, после чего покончили с собой раньше времени. Я видел, как сотни зайцев спасались, будучи почти уже в зубах борзых. Aliquis carnifici suo superstes fuit[256].

Multa dies variusque labor mutabilis aevi
Rettulit in melius; multo alterna revisens
Lusit,

---

[256] Примечания: 256
Есть и такие, что пережили своего палача (*лат.*). *Письма,* 70, 13.

et in solido rursus fortuna locavit[257].

Плиний утверждает, что есть лишь три болезни, из-за которых можно лишить себя жизни; из них самая мучительная — это камни в мочевом пузыре, препятствующие мочеиспусканию. Сенека же считает наихудшими те болезни, которые надолго повреждают наши умственные способности.

Некоторые, желая избежать худшей смерти, полагают, что они должны бежать ей навстречу. Вождю этолийцев Дамокриту, когда его вели пленником в Рим, удалось ночью бежать. Преследуемый стражей, он закололся мечом прежде, чем его поймали.

Антиной и Теодот, когда их город в Эпире доведен был римлянами до последней крайности, стали увещевать все население лишить себя жизни; но жители города, решив, что лучше умереть победителями, пошли на смерть и ринулись на врагов, словно не оборонялись, а наступали на них. Когда остров Гоцо несколько лет тому назад вынужден был сдаться туркам, один сицилиец, у которого были две красивые дочери на выданье,

---

[257] Примечания: 257

Нередко время и разнообразные труды переменчивого века улучшают положение дел; изменчивая фортуна, снова посещая людей, многих обманула, а затем снова укрепила (*лат.*). *Энеида,* XI, 425.

собственной рукой убил их, а вслед за тем и их мать, которая прибежала, узнав об их смерти. Выскочив затем на улицу с аркебузой и арбалетом, он двумя выстрелами убил наповал двух первых попавшихся ему навстречу турок, приближавшихся к его дому; потом с мечом в руке яростно кинулся в самую гущу врагов, которыми был тотчас же окружен и изрублен в куски; так он спас себя от рабства, избавив сначала от него своих близких.

Еврейские матери, совершив, несмотря на преследования, обрезание своим сыновьям, настолько страшились гнева Антиоха, что сами лишали себя жизни. Мне рассказывали про некоего знатного человека, что, когда он был посажен в одну из наших тюрем, его родители, узнав, что он наверняка будет осужден на казнь, желая избежать такой постыдной смерти, подослали к нему священника, внушившего ему, что наилучшим для него средством избавления будет отдаться под покровительство того или иного святого, принеся определенный обет, после чего он в течение недели не должен притрагиваться к пище, какую бы слабость ни чувствовал. Узник поверил священнику и уморил себя голодом, избавив себя этим и от опасности, и от жизни.

Скрибония, советуя своему племяннику Либону лучше лишить себя жизни, чем ждать приговора суда, убеждала его, что оставаться в живых для того, чтобы через три-четыре дня отдать свою жизнь тем, кто возьмет ее, в сущности, то же, что делать за другого его дело, и что это означает оказывать услугу врагам, сохраняя свою кровь, чтобы она послужила им добычей.

В Библии мы читаем, что гонитель истинной веры Никанор повелел своим приспешникам схватить доброго старца Разиса, прозванного за свою добродетель отцом иудеев. И вот когда этот добрый муж увидел, что дело принимает дурной оборот, что ворота его двора подожжены и враги готовятся схватить его, он, решив, что лучше умереть доблестной смертью, чем отдаться в руки этих злодеев и позволить всячески унижать себя и позорить, пронзил себя мечом. Но от поспешности он нанес себе лишь легкую рану, и тогда, взбежав на стену, он бросился с нее вниз головой на толпу своих гонителей, которая расступилась так, что образовалась пустота, куда он и упал, почти размозжив себе голову. Однако, чувствуя, что он еще жив, и пылая яростью, он, несмотря на лившуюся из него кровь и тяжкие раны, поднялся на ноги и пробежал, расталкивая

толпу, к крутой и отвесной скале. Здесь, собрав последние силы, он сквозь глубокую рану вырвал у себя кишки и, скомкав и разорвав их руками, швырнул их своим гонителям, призывая на их головы Божью кару.

Из насилий, чинимых над совестью, наиболее следует избегать, на мой взгляд, тех, которые наносятся женской чести, тем более что в таких случаях страдающая сторона неизбежным образом также испытывает известное физическое наслаждение, в силу чего сопротивление ослабевает, и получается, что насилие отчасти порождает ответное желание. Пелагея и Софрония — обе канонизированные святые — покончили с собой: Пелагея, спасаясь от нескольких солдат, вместе с матерью и сестрами бросилась в реку и утонула, Софрония же тоже лишила себя жизни, чтобы избежать насилия со стороны императора Максенция. История церкви знает много подобных примеров и чтит имена тех благочестивых особ, которые шли на смерть, чтобы охранить себя от насилий над их совестью.

К нашей чести, в будущих веках окажется, пожалуй, то, что один ученый автор наших дней, притом парижанин, всячески старается внушить нашим дамам, что лучше пойти на все, что угод-

но, только не принимать рокового, вызванного отчаянием, решения покончить с жизнью. Жаль, что ему осталось неизвестным одно острое словцо, которое могло бы усилить его доводы. Одна женщина в Тулузе, прошедшая через руки многих солдат, после говорила: «Слава Богу, хоть раз в жизни я досыта насладилась, не согрешив».

Эти жестокости действительно не вяжутся с кротким нравом французского народа, и мы видим, что со времени этого забавного признания положение дел весьма улучшилось; с нас достаточно, чтобы наши дамы, следуя завету прямодушного Маро, позволяли все, что угодно, но говорили при этом: «Нет, нет, ни за что!»

История полна примеров, когда люди всякими способами меняли несносную жизнь на смерть.

Луций Арунций покончил с собой, чтобы уйти разом, как он выразился, и от прошедшего, и от грядущего.

Граний Сильван и Стаций Проксим, получив помилование от Нерона, все же лишили себя жизни — то ли потому, что не захотели жить по милости такого злодея, то ли для того, чтобы над ними не висела угроза вновь зависеть от его помилования: ведь он был подозрителен и беспрестанно осыпал обвинениями знатных лиц.

Спаргаписес, сын царицы Томирис, попав в плен к Киру, воспользовался первой же милостью Кира, приказавшего освободить его от оков, и лишил себя жизни, так как он счел, что наилучшим применением свободы будет выместить на себе позор своего пленения.

Богу, наместник царя Ксеркса в Эйоне, осажденный афинской армией под предводительством Кимона, отверг предложение вернуться целым и невредимым со всем своим имуществом в Азию, так как не хотел примириться с потерей всего того, что было ему доверено Ксерксом. Он защищал поэтому свой город до последней крайности, но, когда в крепости кончились съестные припасы, он приказал бросить в реку Стримон все золото и ценности, которыми враг мог бы увеличить свою добычу. Затем он велел соорудить большой костер и, умертвив жен, детей, наложниц и слуг, бросил их в огонь, а после сам кинулся в пламя.

Индусский сановник Нинахтон, прослышав о намерении португальского вице-короля отрешить его без всякой видимой причины от занимаемого им в Малакке поста и передать его царю Кампара, принял следующее решение. Он приказал построить длинный, но не очень широкий помост, укрепленный на столбах, и роскошно

украсить его цветами, расставив курильницы с благовониями. Облачившись затем в одеяние из золотой ткани, усыпанное драгоценными камнями, он вышел на улицу и взошел по ступеням на помост, в глубине которого был зажжен костер из ароматических деревьев. Народ стекался к помосту, чтобы посмотреть, для чего делаются эти необычные приготовления. Тогда Нинахтон запальчиво и с негодующим видом стал рассказывать о том, чем ему обязаны португальцы, как преданно он служил им, как часто он с оружием в руках доказывал, что честь ему куда дороже жизни, но что сейчас он не может не подумать о себе, и так как у него нет средств бороться против оскорбления, которое ему хотят нанести, то его доблесть велит ему по крайней мере не покориться духом и сделать так, чтобы в народе сложилась молва о его торжестве над недостойными его людьми. Сказав это, он бросился в огонь.

Секстилия, жена Скавра, и Паксея, жена Лабеона, желая придать духу своим мужьям и избавить их от грозившей им опасности, которая им обеим вовсе не угрожала и тревожила их только из любви к мужьям, предложили добровольно пожертвовать своей жизнью, чтобы в том безвыходном положении, в каковом оказались их

мужья, послужить им примером и разделить их участь. То же самое, что эти женщины совершили для своих мужей, сделал и Кокцей Нерва для блага отечества, хотя и с меньшей пользой, но побуждаемый столь же сильной любовью. У этого выдающегося законоведа, наслаждавшегося цветущим здоровьем, богатством, славой и доверием императора, не было никаких других оснований лишить себя жизни, кроме удручавшего его положения дел в его отечестве. Но нет ничего благороднее той смерти, на которую обрекла себя жена приближенного Августа, Фульвия. До Августа дошло, что Фульвий проговорился о важной тайне, которую он ему доверил, и, когда Фульвий однажды утром пришел к нему, Август встретил его весьма неласково. Фульвий вернулся домой в отчаянии и дрожащим голосом рассказал жене, в какую беду он попал, добавив, что он решил покончить с собой. «Ты поступишь совершенно правильно, — ответила она ему смело, — ведь ты много раз убеждался в моей болтливости и все же не таился от меня. Позволь мне только покончить с собой первой». И без лишних слов она пронзила себя мечом.

Вибий Вирий, потеряв надежду на спасение своего родного города, осажденного римлянами,

и не рассчитывая на милость с их стороны, на последнем собрании городского сената, изложив все свои доводы и соображения на этот счет, заключил свою речь выводом, что лучше всего им будет покончить с собою своими собственными руками и так спастись от ожидавшей их участи. «Враги проникнутся к нам уважением, — сказал он, — и Ганнибал узнает, каких преданных сторонников он бросил на произвол судьбы». После этого он пригласил всех, согласных с его мнением, на пиршество, уже приготовленное в его доме, с тем, что, когда они насытятся яствами и напитками, они все также хлебнут из той чаши, которую ему поднесут. «В ней будет напиток, — заявил он, — который избавит наше тело от мук, душу от позора, а глаза и уши от всех тех мерзостей, которые жестокие и разъяренные победители творят с побежденными. Я распорядился и держу наготове людей, которые бросят наши бездыханные тела в костер, разложенный перед моим домом». Многие одобрили это смелое решение, но лишь немногие последовали ему. Двадцать семь сенаторов пошли за Вибием в его дом и, попытавшись утопить свое горе в вине, закончили пир условленным смертельным угощением. Посетовав вместе над горькой участью родного

города, они обнялись, после чего некоторые из них разошлись по домам, другие же остались у Вибия, чтобы быть похороненными вместе с ним в приготовленном перед его домом костре. Но смерть их оказалась мучительно долгой, ибо винные пары, заполонив вены, замедлили действие яда, так что некоторые из них умерли всего за час до происшедшего на другой день захвата римлянами Капуи и едва-едва спаслись от бед, за избавление от которых заплатили такой дорогой ценой.

Другой капуанец, Таврей Юбеллий, когда консул Фульвий вернулся после позорной бойни, учиненной им над двумястами двадцатью пятью сенаторами, дерзко окликнул его по имени и остановил его. «Прикажи, — сказал он ему, — после стольких совершенных тобой казней лишить и меня жизни; тогда ты сможешь похваляться, что убил человека много достойнее себя». И так как Фульвий не обращал на него, как на безумца, внимания (к тому же он только что получил из Рима предписания, шедшие вразрез с его бесчеловечно жестоким поведением и связывавшие ему руки), то Юбеллий продолжал: «Итак, теперь, когда мой край в руках врагов, когда мои друзья погибли, когда я собственной рукой лишил жизни жену

и детей, чтобы спасти их от этих бедствий, а я сам лишен возможности разделить участь моих сограждан, — пусть моя собственная доблесть избавит меня от этой ненавистной жизни». С этими словами он вытащил спрятанный под платьем кинжал и, пронзив себе грудь, замертво упал к ногам консула.

Александр осаждал какой-то город в Индии. Жители, доведенные до крайности, твердо решили лишить его радости победы; они подожгли город и вместе с ним все погибли в пламени, презрев великодушие победителя. Началось новое сражение: враги дрались за то, чтобы их спасти, а жители — за возможность покончить с собой, причем прилагали к этому такие же усилия, какие люди обычно делают, чтобы спасти свою жизнь.

Жители испанского города Астапы, видя, что его стены и укрепления недостаточно крепки, чтобы устоять против римлян, сложили на городской площади в виде огромной кучи все свои богатства и домашнюю утварь, посадив сверху жен и детей, и обложили эту груду хворостом и другими легковоспламеняющимися материалами, оставив там пятьдесят юношей для выполнения задуманного ими плана. После этого они сделали вылазку и,

убедившись в невозможности победить врага, все до последнего добровольно лишили себя жизни. А пятьдесят юношей, умертвив всех оставшихся в городе жителей, подожгли затем высившуюся на площади груду и сами бросились в этот костер. Так распрощались они со своей благородной свободой не с болью и позором, а скорее в бесчувственном состоянии, доказав врагам, что если бы судьбе угодно было, то у них хватило бы мужества лишить их победы с тем же успехом, с каким они сумели сделать для них эту победу бесплодной, отталкивающей, а кое для кого даже смертоносной. Ведь некоторые из противников, привлеченные блеском золота, плавившегося в этом пожарище, подбегали слишком близко к огню и либо задыхались от дыма, либо сгорали, ибо не могли уже податься назад, так как сзади напирала следовавшая за ними толпа. Такое же решение приняли и жители Абидоса, доведенные до крайности Филиппом. Но царь, внезапно взяв город и не желая быть свидетелем того, как это ужасное решение, принятое с безрассудной поспешностью, будет приводиться в исполнение, приказал захватить все те сокровища и утварь, которые они собирались сжечь или утопить, а затем отозвал своих солдат, предоставив жите-

лям три дня, в течение которых они могли бы свободно лишать себя жизни, как им заблагорассудится. Они и воспользовались этим, устроив такое кровопролитие и смертоубийство, которое превзошло всякую вражескую жестокость; не осталось в живых ни единой души, у которой была возможность свободно распорядиться своей участью. Известно множество случаев таких массовых самоубийств, которые кажутся нам тем более ужасными, чем большее число лиц в них участвовало. На самом же деле они менее ужасны, чем самоубийства единичные, ибо доводы, которые на каждого человека, взятого в отдельности, и не подействовали бы, на массу могут подействовать: в пылком порыве, охватывающем толпу, гаснет разум отдельных людей.

Во времена Тиберия те, кто был осужден и ожидал казни, лишались своего имущества и права на погребение; тех же, кто, предвосхищая события, сам лишал себя жизни, хоронили, и они могли составлять завещания.

Но иногда желают смерти в ожидании какого-то большего блага. «Имею желание разрешиться, — говорит святой Павел, — и быть со Христом»; и в другом месте он спрашивает: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» Клеомброт Амбра-

кийский, прочтя «Пир» Платона, так загорелся жаждой грядущей жизни, что без всяких других к тому поводов бросился в море. Отсюда явствует, что мы неправильно именуем отчаянием то добровольное решение, к которому нас часто побуждает пылкая надежда, а нередко и спокойное, ясное рассуждение. Суассонский епископ Жак дю Шатель, участник крестового похода Людовика Святого, видя, что король и вся армия собираются вернуться во Францию, не доведя до конца свое предприятие, решил, что лучше уж ему отправиться в рай. Простившись со своими друзьями, он на глазах у всех бросился в гущу врагов и был изрублен.

В одном из царств новооткрытых земель в день торжественной процессии, когда в огромной колеснице везут по улицам боготворимого ими идола, некоторые отрубают у себя куски тела и бросают ему, другие же ложатся посреди дороги, чтобы быть раздавленными под колесами и в награду за это после смерти быть причисленными к святым.

В смерти вышеназванного епископа больше благородного порыва, нежели рассудка, так как он был отчасти увлечен пылом сражения.

В некоторых странах государственная власть

вмешивалась и пыталась установить, в каких случаях правомерно и допустимо добровольно лишать себя жизни. В прежние времена в нашем Марселе хранился запас цикуты, заготовленный на государственный счет и доступный всем, кто захотел бы укоротить свой век, но при условии, что причины самоубийства должны были быть одобрены советом шестисот, то есть сенатом; наложить на себя руки можно было только с разрешения магистрата и в узаконенных случаях.

Такой же закон существовал и в других местах. Секст Помпей, направляясь в Азию, по дороге из Негропонта остановился на острове Кее. Как сообщает один из его приближенных, случилось как раз так, что, когда он там находился, одна весьма уважаемая женщина, изложив своим согражданам причины, по которым она решила покончить с собой, попросила Помпея оказать ей честь своим присутствием при ее смерти. Помпей согласился и в течение долгого времени пытался с помощью своего отменного красноречия и различных доводов отговорить ее от ее намерения, но все было напрасно, и под конец он вынужден был дать согласие на ее самоубийство. Она прожила девяносто лет в полном благополучии, и телесном, и духовном; и вот теперь, возлегши

на свое более чем обычно украшенное ложе, она, опершись на локоть, промолвила: «О, Секст Помпей, боги, — и, пожалуй, скорее те, которых я оставляю, чем те, которых я скоро увижу, — воздадут тебе за то, что ты не погнушался мной и сначала пытался уговорить меня жить, а затем согласился быть свидетелем моей смерти. Что касается меня, то фортуна всегда обращала ко мне свой благой лик, и вот боязнь, как бы желание жить дольше не принудило меня узреть другой ее лик, побуждает меня отказаться от дальнейшего существования, оставив двух дочерей и множество внуков». Сказав это, она дала наставления своим близким и призвала их к миру и согласию, разделила между ними свое имущество и поручила домашних богов своей старшей дочери; затем она твердой рукой взяла чашу с ядом и, вознеся мольбы Меркурию и попросив его уготовить ей какое-нибудь спокойное местечко в загробном мире, быстро выпила смертельный напиток. Но она продолжала следить за последствиями своего поступка; чувствуя, как ее органы один за другим охватывал леденящий холод, она заявила под конец, что холод этот добрался до ее сердца и внутренностей, и подозвала своих дочерей, чтобы те сотворили над ней последнюю молитву

и закрыли ей глаза.

Плиний сообщает об одном из северных народов, что благодаря мягкости тамошнего воздуха люди в тех краях столь долговечны, что обычно сами кончают с собой; устав от жизни, они обыкновенно, по достижении весьма почтенного возраста, после славной пирушки бросаются в море с вершины определенной, предназначенной для этой цели скалы.

По-моему, невыносимые боли и опасения худшей смерти являются вполне оправданными побуждениями к самоубийству.

Глава IV
Дела – до завтра!

Среди всех французских писателей я отдаю пальму первенства — как мне кажется, с полным основанием — Жаку Амио, и не только по причине непосредственности и чистоты его языка — в чем он превосходит всех прочих авторов, — или упорства в столь длительном труде, или глубоких познаний, помогших ему передать так удачно мысль и стиль трудного и сложного автора (ибо меня можно уверить во всем, что угодно, поскольку я ничего не смыслю в греческом; но я вижу, что на протяжении всего его перевода смысл Плутарха передан так превосходно и последовательно, что либо Амио в совершенстве понимал подлинный замысел автора, либо он настолько вжился в мысли Плутарха, сумел настолько отчетливо усвоить себе его общее умонастроение, что нигде по крайней мере он не приписывает ему ничего такого, что расходилось бы с ним или ему противоречило). Но главным образом я ему благодарен за находку и выбор книги, столь достойной и ценной, чтобы подне-

сти ее в подарок моему отечеству. Мы, невежды, были бы обречены на прозябание, если бы эта книга не извлекла нас из тьмы невежества, в которой мы погрязли. Благодаря его труду мы в настоящее время решаемся и говорить, и писать по-французски; даже дамы состязаются в этом с магистрами. Амио — это наш молитвенник. Если этому благодетелю суждено еще жить долгие годы, то я советовал бы ему перевести Ксенофонта: это занятие более легкое и потому более подходящее его преклонному возрасту. И потом, мне почему-то кажется, что, хотя он очень легко и искусно справляется с трудными местами, все же его стиль более верен себе, когда мысль его течет плавно, без стеснения, не преодолевая препятствий.

Я только что перечел то место, где Плутарх рассказывает о себе следующее. Однажды Рустик, слушая в Риме его публичную речь, получил послание от императора, но не стал вскрывать его, пока речь не была окончена. Все присутствующие, сообщает Плутарх, очень хвалили выдержку Рустика. Рассуждая о любопытстве и о том жадном и остром пристрастии к новостям, которое нередко побуждает нас нетерпеливо и бесцеремонно бросать все ради того, чтобы по-

беседовать с новым лицом, или заставляет нас, пренебрегая долгом вежливости и приличием, тотчас же распечатывать, где бы мы ни находились, доставленные нам письма, Плутарх имел все основания одобрить выдержку Рустика; он мог бы, кроме того, похвалить еще его благовоспитанность и учтивость: ведь тот не пожелал прерывать течения его речи. Но я сомневаюсь, можно ли хвалить Рустика за благоразумие, ибо при неожиданном получении письма, да притом еще от самого императора, легко могло случиться, что, не распечатав и не прочитав его сразу, он тем самым навлек бы на себя крупную неприятность.

Прямо противоположен любопытству другой недостаток — беспечность, к которой я склонен по своему нраву. Я знал многих лиц, беспечность которых доходила до того, что у них можно было найти в карманах нераспечатанные письма, полученные за три или четыре дня до того.

Я никогда не распечатываю не только писем, порученных мне для передачи другим, но и тех, которые случайно попадают мне в руки; и мне бывает совестно, если, находясь возле какого-нибудь высокопоставленного лица, я ненароком бросаю взгляд на какую-нибудь строку из важ-

ного письма, которое он читает. Нет человека, который бы меньше, чем я, интересовался чужими делами и стремился за ними подглядывать.

На памяти наших отцов господин де Бутьер чуть было не потерял Турин из-за того, что, сидя за ужином в приятной компании, не стал тотчас читать полученное им донесение об изменах, замышлявшихся в городе, обороной которого он руководил. Из того же Плутарха я узнал, что Юлий Цезарь избежал бы смерти, если бы, идучи в сенат в тот день, когда он был убит заговорщиками, прочел переданную ему записку. Плутарх еще рассказывает о фиванском тиране Архии, что накануне того дня, когда Пелопид привел в исполнение свой замысел убить его и вернуть свободу своему отечеству, некий другой Архий, афинянин, точнейшим образом изложил ему в письме все, что против него затевалось; но так как это сообщение было передано Архию во время ужина, то он отложил и не стал распечатывать письмо, произнеся слова, которые с тех пор вошли в Греции в пословицу: «Дела — до завтра!»

Разумный человек может, на мой взгляд, в интересах других — ради, например, того, чтобы не нарушить нескромным образом компанию, как это могло иметь место с Рустиком, или ради

того, чтобы не расстроить какое-нибудь важное дело, — отложить на время ознакомление с сообщаемыми ему новостями; непростительно делать это ради самого себя или какого-нибудь своего удовольствия, в особенности если это человек, занимающий высокий пост, и когда отсрочка делается для того, чтобы не нарушить обед или сон. Ведь существовало же в Древнем Риме за столом так называемое консульское место, которое считалось самым почетным и предназначалось главным образом для того, чтобы неожиданно зашедшим лицам было легче и доступнее поговорить с тем, кто сидел на нем. Это свидетельствует о том, что, находясь за столом, они не откладывали других дел на «после» и сразу же узнавали о случившемся.

Однако — договаривая до конца — очень трудно, в особенности когда дело идет о человеческих поступках, предписать какие-нибудь точные, продиктованные разумом правила и исключить действие случайности, всегда сохраняющей свои права в этих делах.

Глава V
О совести

Однажды, во время наших гражданских войн, я, путешествуя вместе с моим братом, сиром де Ла Бруссом, встретился с одним почтенным дворянином. Он был приверженцем противной нам партии, но я этого не знал, так как он подделывался под нашу. Хуже всего в этих войнах то, что карты в них до того перемешаны, что нет никакой определенной приметы, по которой можно было бы признать своего врага: он не отличается ни по языку, ни по внешнему виду, он дышит тем же воздухом, что и мы, вырос среди тех же законов и обычаев, так что трудно не ошибиться, не попасть впросак. Это заставляло меня самого опасаться, как бы мне не встретиться с нашим же отрядом в таких местах, где меня не знают и где мне пришлось бы назвать себя или натолкнуться на что-нибудь еще худшее, как это уже однажды со мной случилось. А именно, при одном из таких недоразумений я потерял своих лошадей и несколько людей, в том числе моего пажа, итальянского дворянина, которого

я заботливо воспитывал и который погиб в расцвете своих отроческих лет, не успев оправдать больших надежд, которые он подавал. Но тот дворянин, с которым мы на сей раз встретились, имел такой растерянный вид и так пугался при каждом появлении конных солдат или когда мы проезжали через города, стоявшие за короля, что под конец я догадался: то были муки его неспокойной совести. Этому бедняге казалось, что сквозь его маску и куртку для верховой езды можно прочесть тайные замыслы, которые он таил в душе. Вот какие удивительные вещи способна проделывать с нами совесть! Она заставляет нас изменять себе, предавать себя и самому же себе вредить. Даже когда нет свидетеля, она выдает нас против нашей воли —

Occultum
quatiens animo tortore flagellum[258].

Всем, вплоть до малых детей, известен следующий рассказ. Финикиец Бессий, которого упрекали в том, что он без причины разорил воробьиное гнездо и убил воробьев, оправдывался тем, что эти птички без умолку зря обвиняли его

[258] Примечания: 258

Душа, как палач, терзает их скрытым бичеванием (*лат.*). Ювенал, XIII, 195.

в убийстве отца. До этого мгновения никто ничего не знал об этом отцеубийстве, оно оставалось тайной, но мстящие фурии человеческой совести заставили раскрыть эту тайну именно того, кто должен был понести за нее наказание.

Гесиод в отличие от Платона, заявлявшего, что наказание следует по пятам за преступлением, утверждал, что наказание совершается вместе с преступлением, в тот же миг. Кто ждет наказания, несет его, а тот, кто его заслужил, ожидает его. Содеянное зло порождает терзания —

Malum
consilium consultori pessimum[259], —

подобно тому как пчела, жаля и причиняя боль другому, причиняет себе еще большее зло, ибо теряет жало и погибает:

vitasque in vulnere ponunt[260].

Шпанская муха носит в себе какое-то вещество, которое служит противоядием против ее собственного яда. Сходным образом одновременно с наслаждением, получаемым от порока,

---

[259] Примечания: 259
Дурной совет более всего вредит советчику (*лат.*). Авл Геллий, IV, 5.

[260] Примечания: 260
Свою жизнь оставляют в ране (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* IV, 233.

совесть начинает испытывать противоположное чувство, которое и во сне и наяву терзает нас мучительными видениями:

> *Quippe ubi se multi, per somnia saepe loquentes*
> *Aut morbo delirantes, procraxe ferantur*
> *Et*
> *celata diu in medium peccata dedisse*[261].

Аполлодору привиделось во сне, будто скифы сдирают с него кожу и варят его в котле, а сердце его при этом приговаривает: «это я причина всех этих зол». Эпикур говорил, что злодеям нигде нельзя укрыться, так как они не могут уйти от собственной совести.

> *…prima est haec ultio, quod se*
> *ludice nemo nocens absolvitur*[262].

Совесть может преисполнять нас страхом, так же как может преисполнять уверенностью и душевным спокойствием. О себе я могу сказать, что

---

[261] Примечания: 261

Ибо многие выдавали себя, говоря во сне или в бреду во время болезни, и разоблачали злодеяния, долго остававшиеся скрытыми (*лат.*). Лукреций, V, 1160.

[262] Примечания: 262

Первое наказание для виновного заключается в том, что он не может оправдаться перед собственным судом (*лат.*). Ювенал, XIII, 2.

во многих случаях я шел гораздо более твердым шагом, ибо ощущал тайное согласие со своей волей и сознавал чистоту моих помыслов:

> *Conscia mens ut cuique sua est, ita concipit intra*
>
> *Pectora pro facto spemque metumque suo*[263].

Такого рода примеров тысячи, я ограничусь, однако, только тремя, касающимися одного и того же лица.

Когда Сципиона однажды обвинили пред лицом римского народа в важном преступлении, он, вместо того чтобы оправдываться перед своими судьями или заискивать перед ними, сказал им: «Очень вам это к лицу — затевать суд и требовать головы человека, благодаря которому вы наделены властью судить весь мир». Другой раз в ответ на обвинения, которые бросил ему в лицо один народный трибун, он, вместо того чтобы защищаться, сказал, обращаясь к своим согражданам: «Давайте пойдем и воздадим хвалу богам за победу, которую они мне даровали над карфагенянами в такой же день, как сегодня», и

---

[263] Примечания: 263

Наши действия порождают в нас надежды или страх в зависимости от наших побуждений (*лат.*). Овидий. *Фасты*, I, 485.

когда он двинулся по направлению к храму, вся толпа, и в том числе его обвинитель, последовала за ним. Когда Петилий, по наущению Катона, потребовал у Сципиона дать отчет в деньгах, потраченных во время войны против Антиоха, Сципион, явившись по этому поводу в сенат, вынул принесенную им под платьем книгу записей и заявил, что в ней содержится полный отчет всех приходов его и расходов; но, когда ему предложили предъявить эту книгу для проверки, он наотрез отказался сделать это, заявив, что не желает подвергать себя такому позору, и собственноручно, перед лицом сенаторов, разорвал книгу в клочья. Я не думаю, чтобы человек с нечистой совестью мог изобразить подобную уверенность. Сципион обладал от природы благородным сердцем, говорит Тит Ливий, всегда устремленным к слишком высоким целям, чтобы он мог быть преступником или унизиться до того, чтобы защищать свою невиновность.

Изобретение пыток — опасное изобретение, и мне сдается, что это скорее испытание терпения, чем испытание истины. Утаивает правду и тот, кто в состоянии их вынести, и тот, кто в состоянии сделать это. Действительно, почему боль заставит меня скорее признать то, что есть, чем

то, чего нет? И наоборот, если человек, не совершавший того, в чем его обвиняют, достаточно терпелив, чтобы вынести эти мучения, то почему человек, совершивший это дело, не будет столь же терпелив, зная, что его ждет такая щедрая награда, как жизнь. Я думаю, что это изобретение в основе своей покоится на сознании нашей совести. Ведь виновному кажется, что совесть помогает пытке, понуждая его признать свою вину, и что она делает его более слабым, невинному же она придает силы переносить пытку. Однако, говоря по правде, пытка — весьма ненадежное и опасное средство.

Чего только не наговорит человек на себя, чего он только не сделает, лишь бы избежать этих ужасных мук.

Etiam innocentes coget mentiri dolor[264].

Вот почему бывает, что тот, кого судья пытал, чтобы не погубить невинного, погибает и невинным, и замученным пыткой. Сотни тысяч людей возводили на себя ложные обвинения. К числу их я отношу и Филоту, принимая во внимание условия суда, устроенного над ним Александром,

[264] Примечания: 264

Беда заставляет лгать даже невиновных (*лат.*). *Тит Ливий* — XXXVIII, 54 сл.

и то, как его пытали.

И тем не менее говорят, что это наименьшее из зол, изобретенных человеческой слабостью! Я, однако, нахожу пытку средством крайне бесчеловечным и совершенно бесполезным. Многие народы, менее варварские в этом отношении, чем греки и римляне, называющие их варварами, считают отвратительной жестокостью терзать и мучить человека, в преступлении которого вы еще не уверены. Чем он ответственен за ваше незнание? Разве это справедливо, что вы, не желая убивать его без основания, заставляете его испытывать то, что хуже смерти? Чтобы хорошенько вникнуть в это, заметьте только, как часто бывает, что испытуемый предпочитает лучше умереть без всяких оснований, лишь бы только не подвергаться этому испытанию, которое хуже казни и нередко своей жестокостью приводит к смерти, предвосхищая казнь. Не помню, откуда я взял этот рассказ, но он дает точное представление о совестливости нашего правосудия. Некая крестьянка обвинила перед полководцем и главным судьей армии одного солдата в том, что он отнял у ее маленьких детей ту малость вареного мяса, которая оставалась у нее для их пропитания, ибо эта армия разграбила

все деревни кругом. И действительно, нигде не осталось ни зернышка. Полководец приказал женщине сначала хорошенько обдумать свои слова, ибо она должна будет отвечать за них, если окажется, что это ложное обвинение. Но так как женщина твердо стояла на своем, то он приказал распороть солдату живот, чтобы удостовериться в истине. И тогда убедились, что женщина сказала правду. Поучительное наказание!

Глава VI
Об упражнении

Трудно надеяться, чтобы наш разум и наши знания, сколь бы усердно мы себя им ни вверяли, оказались настолько сильны, чтобы побудить нас к действию, если мы, кроме этого, не упражняем нашу душу и не приучаем ее к деятельности, предназначенной ей нами; в противном случае она может в надлежащий момент оказаться беспомощной. Вот почему те философы, которые стремились добиться более высокого совершенства, не довольствовались тем, чтобы, затаившись в каком-нибудь укрытии, ждать невзгод судьбы, а опасаясь, чтобы они не застали их неподготовленными и непривычными к борьбе, шли им навстречу и намеренно подвергали себя всяким трудным испытаниям. Одни отказывались от богатства и добровольно обрекали себя на бедность; другие стремились к тяжелой работе и суровым условиям жизни, чтобы закалиться и приучить себя к труду и нужде; некоторые же лишали себя самых ценных частей тела, как, например, глаз или половых органов, боясь, чтобы

пользование ими, дающее так много радости и наслаждения, не ослабило и не изнежило их души. Но упражнение не может приучить нас к самому большому делу, которое нам предстоит, — к смерти, здесь оно бессильно. Можно путем упражнения и с помощью привычки закалить себя и приобрести стойкость в перенесении боли, стыда, бедности и других подобных горестей; но что касается смерти, то мы можем испытать ее только раз в жизни, и потому все мы являемся новичками, когда подходим к ней.

В древние времена были люди, так превосходно умевшие пользоваться своим временем, что они пытались даже получить наслаждение от самой смерти и заставить свой ум понять, что представляет собой этот переход к смерти; но они не вернулись обратно, чтобы поделиться с нами этими сведениями:

> *nemo expergitus extat*
>
> *Frigida quem semel est vitae pausa secuta*[265].

Знатный римлянин Каний Юлий, отличавшийся добродетелью и исключительной твердостью,

---

[265] Примечания: 265

Тому не пробудиться, в ком оборвалась и застыла жизнь (*лат.*). Лукреций, III, 929.

будучи осужден на смерть злодеем Калигулой, кроме многих других поразительных доказательств своего мужества, дал еще следующее. Когда рука палача уже вот-вот должна была опуститься на его голову, один из его друзей, философ, спросил его: «Итак, Каний, как чувствует в эту минуту твоя душа? Что она делает? О чем ты думаешь?» «Я стараюсь, — ответил Каний, — быть наготове и напрячь все свои силы, чтобы постараться уловить в течение краткого мгновения смерти, произойдет ли какое-нибудь движение в моей душе и ощутит ли она свой уход из тела, с тем чтобы, если я что-нибудь подмечу, потом, по возможности, сообщить об этом моим друзьям». Вот человек, философствующий не только до самой смерти, но и в самый момент смерти. Какой стойкостью надо обладать, какой непоколебимостью духа, чтобы желать извлечь урок из самой смерти и быть в состоянии еще думать о чем-то постороннем в такой важный момент!

Ius hoc animi morientis habebat[266].

И все же мне кажется, что есть какой-то способ приучить себя к смерти и некоторым образом

---

[266] Примечания: 266

Такую власть он имел над своей умирающей душой (*лат.*). Лукан, VIII, 636.

испробовать ее. Хотя наш опыт в этом деле не может быть ни совершенным, ни полным, он, во всяком случае, может быть небесполезным для нас, придав нам сил и уверенности. Мы не можем погрузиться в смерть, но мы можем приблизиться к ней и рассмотреть ее; и хотя мы не в состоянии путем упражнения дойти в этом деле до конца, во всяком случае, мы можем кое-что разглядеть и ознакомиться с подступами к смерти. Ведь не без основания нам предлагают приглядываться даже к нашему сну, ввиду того что он походит на смерть.

Как легко совершается переход от бодрствования ко сну! Как незаметно мы перестаем сознавать себя и окружающее!

Можно было бы, пожалуй, признать сон, лишающий нас возможности действовать и чувствовать, чем-то ненужным и противоестественным, если бы не то, что с его помощью природа показывает нам, что она предназначила нас в такой же степени для жизни, как и для смерти, и если бы не то, что посредством сна она еще при жизни приоткрывает нам ту вечность, которая ждет нас после этой нашей жизни, для того чтобы приучить нас к ней и освободить нас от страха перед ней.

Но те, кому довелось из-за какого-нибудь несчастного случая лишиться сознания или упасть без чувств, те, по моему мнению, были весьма близки к тому, чтобы увидеть подлинный и неприкрашенный лик смерти; ибо, что касается самого момента перехода от жизни к смерти, то нечего опасаться, что он связан с каким-либо страданием или неприятным ощущением, если учесть, что для того, чтобы почувствовать что-нибудь, нужно какое-то время. Чтобы ощутить страдания, требуется время, а между тем момент смерти столь краток и стремителен, что он неизбежно должен быть безболезненным. У нас есть основания бояться только подготовительных мгновений к смерти, но они-то как раз и поддаются упражнению.

Многие вещи наше воображение рисует нам более ужасными, чем они есть в действительности. Большую часть моей жизни я наслаждался цветущим здоровьем, больше того, силы переполняли меня, они так и бурлили во мне.

Это радостное, ликующее ощущение здоровья заставляло меня думать о болезнях с таким ужасом, что, когда мне довелось на деле их испытать, я обнаружил, что они гораздо менее мучительны, чем это мне рисовалось под влиянием страха.

Вот что я постоянно испытываю: если ночью, хорошо укутанный, я нахожусь в уютной комнате, в то время как за окнами бушует буря и непогода, я не могу без страха и содрогания думать о тех, кого они застигли в пути; но если в такую минуту я сам нахожусь в дороге, мне и в голову не придет пожелать находиться в каком-нибудь другом месте.

Уже одно то, что быть запертым в четырех стенах, казалось мне нестерпимым; но вскоре я научился оставаться в таком положении неделю, даже месяц, изнемогая от боли, лишений и слабости, и тогда я понял, что, когда был здоров, я жалел больных в гораздо большей степени, чем сам заслуживаю сожаления теперь во время своей болезни, и что воображение заставляло меня почти вдвое преувеличивать истинное положение вещей. Надеюсь, что то же случится и тогда, когда я буду умирать, и что не стоит так много хлопотать, суетиться и готовиться к смерти, как это обычно делают люди. Но все же, на всякий случай, никакие меры предосторожности тут не могут быть лишними.

Во время нашей второй или третьей гражданской войны (не могу в точности припомнить, какой именно) я вздумал однажды покататься

на расстоянии одного лье от моего замка, расположенного в самом центре происходивших смут. Находясь поблизости от своего дома, я считал себя настолько в безопасности, что не взял с собой ничего, кроме удобного, но не очень выносливого коня. При возвращении случилось неожиданное происшествие, заставившее меня воспользоваться моим конем для дела, к которому он был непривычен. Один из моих людей, человек рослый и сильный, ехавший верхом на коренастом и тугоуздом жеребце, желая выказать отвагу и опередить своих спутников, пустил его во весь опор прямо по той дороге, по которой ехал я, и со всего размаха лавиной налетел на меня и мою лошадь, опрокинув нас своим напором и тяжестью. Оба мы полетели вверх ногами, моя лошадь свалилась и лежала совершенно оглушенная, я же оказался поодаль, в десятке шагов, бездыханный, распростертый навзничь; лицо мое было в сплошных ранах, моя шпага отлетела еще на десяток шагов, пояс разорвался в клочья, я лежал колодой, без движения, без чувств. Это был первый обморок в моей жизни. Мои спутники всеми силами тщетно пытались привести меня в чувство; и, наконец, решив, что я мертв, подняли меня и с огромным трудом на руках перенесли

в мой дом, отстоявший примерно в полумиле от места происшествия. По дороге, после того как в течение более двух часов меня считали мертвым, я стал слегка шевелиться и дышать; за это время столько крови попало в мой желудок, что мне необходимо было разгрузиться от нее. Меня поставили на ноги, и из меня вылилось целое ведро крови; и еще несколько раз, пока меня несли, мне пришлось повторить эту операцию. Благодаря этому я начал чуть-чуть оживать, но это происходило так медленно и с такими промежутками, что мои первые ощущения были скорее похожи на смерть, чем на жизнь:

Perche, dubbiosa anchor del suo ritorno,
Non s'assecura attonita la mente[267].

Это воспоминание, так сильно врезавшееся мне в память и давшее мне возможность увидеть лицо смерти почти вплотную и без прикрас, как-то примирило меня с нею. Когда глаза мои стали что-то разбирать и я стал что-то видеть, я видел так смутно, слабо и как бы в тумане, что сначала я мог различать только свет —

---

[267] Примечания: 267

Все еще сомневаясь в своем пробуждении потрясенный ум не уверен в себе (*ит.*). Тассо. *Освобожденный Иерусалим,* XII, 74.

come que ch'or apre or chiude

Gli occhi, mezzo tra'l sonno e l'esser desto[268].

Что касается моих душевных способностей, то они восстанавливались столь же медленно, как и физические. Я видел себя сплошь окровавленным, так как плащ мой весь был пропитан моей кровью. Первой моей мыслью было, что меня ранили из аркебузы в голову, так как в ту пору вокруг нас сильно постреливали. Мне казалось, что жизнь моя держится лишь на кончиках губ; я закрывал глаза, стараясь, как мне представлялось, помочь ей уйти от меня, и мне было приятно изнемогать и отдаваться течению. Это была мысль, еле брезжившая в моем сознании, такая же слабая и зыбкая, как и все остальные, но она не только не была мне неприятна, а, напротив, к ней примешивалось то сладостное ощущение, которое бывает, когда мы погружаемся в сон.

Мне сдается, что это и есть то состояние, которое мы наблюдаем у выбившихся из сил и находящихся в агонии людей, и я думаю, что мы напрасно оплакиваем их, считая, что их мучат

[268] Примечания: 268

Как тот, кто, одолеваемый сном, то закрывает, то открывает глаза (*um.*). Tasso, VIII, 26.

в это время жестокие боли или что душа их подавлена мрачными мыслями. Я всегда считал, расходясь во мнениях с другими и даже с Этьеном Ла Боэси, что те, кого мы видим лежащими, так же как и я, ничком и как бы отходящими ко сну в ожидании конца, или те, кто изможден долгими муками или разбит апоплексическим ударом, или в припадке падучей, —

> *vi morbi saepe coactus*
>
> *Ante oculos aliquis nostros, ut fulminis ictu,*
>
> *Concidit, et spumas agit; ingemit, et fremit artus.*
>
> *Desipit, extentas nervos, torquetur, anhelat,*
>
> *Inconstanter et in iactando membra fatigat*[269],

или те, что ранены в голову, — когда мы слышим, как они иногда вопят и отчаянно стонут, — я всегда считал, повторяю, что их душа и тело спят, окутанные саваном, хотя по некоторым призна-

---

[269] Примечания: 269

Часто человек, сраженный болезнью, словно от удара молнии, падает на наших глазах с пеной у рта; он стонет и дрожит всем телом, лишен сознания, мышцы его сведены судорогой, он дышит прерывисто и беспорядочными движениями изнуряет свои члены (*лат.*). Лукреций, III, 485.

кам мы и можем уловить, что в них есть еще проблески сознания, и мы еще замечаем какие-то движения их тел:

Vivit, et est vitae nescius ipse suae[270].

Я не могу поверить, чтобы в этом состоянии, когда все тело так пострадало и чувства ослаблены донельзя, у души хватало еще сил сознавать себя; мне кажется поэтому, что у этих людей не остается никакого проблеска мысли, которая бы мучила их и способна была ощутить и уяснить всю тяжесть их положения; из этого следует, что не к чему так уж сильно жалеть их.

Я не представляю для себя лично ничего более невыносимого и ужасного, чем, испытывая живое и острое страдание, не иметь возможности как-либо его выразить. Это можно было бы сказать про тех, кого отправляют на казнь, предварительно отрезав им язык, если бы не то, что для казнимого публично смерть без единого звука — наиболее пристойный исход, при условии, чтобы лицо при этом выражало твердость и достоинство. Вполне применимо сказанное мною к тем несчастным пленникам, которые по-

---

[270] Примечания: 270

Он жив, но не сознает этого. Овидий. *Скорбные песни,* I, 3, 12.

падают в руки мерзких палачей — солдат нашего времени, подвергающих их самым жестоким истязаниям с целью выжать из них какой-нибудь баснословный и необыкновенный выкуп, держа их в таких условиях и в таких местах, что они не имеют никакой возможности подать голос, заявить о постигшей их беде.

Поэты придумали некоторых богов, которые будто бы облегчают смерть людям, терпящим такие жестокие муки:

> *hunc ego Diti*
>
> *Sacrum iussa fero, teque isto corpore solvo*[271].

Но если окружающие, всячески тормоша таких умирающих и крича им в самое ухо, и могут подчас исторгнуть у них какие-то краткие и бессвязные ответы или уловить какие-то движения, которые как бы выражают согласие на то, о чем их спрашивают, — это еще не доказывает, что такие люди живы, во всяком случае, не доказывает, что они вполне живы. Ведь случается же с нами, когда нас клонит ко сну, хоть мы еще не вполне в его власти, что мы ощущаем, как во сне, все,

---

[271] Примечания: 271

По приказу Плутона я явилась освободить тебя от этого тела (*лат.*). *Энеида*, IV, 702.

что творится вокруг нас, и отвечаем спрашивающим нас смутным и неопределенным согласием, которое дается почти без сознания; мы даем эти ответы на последние долетевшие до нас слова, ответы случайные и часто бессмысленные.

Теперь, после того как я сам испытал это состояние, у меня нет никаких сомнений в том, что до сих пор я вполне правильно о нем судил! В самом деле, я прежде всего, еще не приходя в сознание, попытался разорвать свой камзол ногтями (ибо я был без оружия), а между тем я хорошо знаю, что вовсе не представлял себе, будто ранен. Ведь есть столько движений, которые совершаются без нашего ведома:

> *Semianimesque micant digiti ferrumque retractant*[272].

Так, например, при падении люди часто выбрасывают вперед руки, повинуясь естественному побуждению, заставляющему части нашего тела оказывать друг другу помощь, не дожидаясь предписаний нашего разума:

> *Falciferos memorant currus abscindere membra,*

---

[272] Примечания: 272
Полуживые пальцы дрожат и хватаются за меч (*лат.*). Энеида, X, 396.

Ut tremere in terra videatur ab artubus id quod
Decidit abscissum, cum mens tamen atque hominis vis
Mobilitate
mali non quit sentire dolorem[273].

Мой желудок переполнен был свернувшейся кровью, и мои пальцы сами устремились к нему, как это часто бывает против нашей воли с нашими руками, когда где-нибудь у нас зудит. У многих животных и даже у людей, когда они уже испустили дух, мышцы все еще продолжают сокращаться и распускаться. Всякий по опыту знает, что есть органы, которые приходят в движение, поднимаются и опускаются часто без нашего ведома. Про эти влечения, которые затрагивают нас лишь чисто внешним образом, нельзя сказать, что это наши влечения, так как для того, чтобы они стали нашими, человек должен быть всецело охвачен ими; нельзя, например, сказать, что боль, ощущаемая рукой или ногой во сне,

[273] Примечания: 273

Рассказывают, что снабженные косами колесницы рассекают тела и что можно увидеть валяющиеся на земле отсеченные руки и ноги в то время, как ум и сознание людей еще не в состоянии были почувствовать боли из-за внезапности стремительного удара (*лат.*). Лукреций, III, 643.

есть наша боль.

Когда мы уже подъезжали к моему дому, куда успело дойти известие о моем падении, и члены моей семьи с криками, как бывает в таких случаях, выбежали мне навстречу, я не только что-то ответил спрашивавшим, но рассказывают, будто я даже догадался приказать, чтобы подали лошадь моей жене, которая, как я смог заметить, выбивалась из сил, спеша ко мне по очень крутой и каменистой тропинке. Может показаться, что такой приказ должен был исходить от человека, уже совершенно пришедшего в сознание. Вовсе нет: то были лишь смутные и бессвязные мысли, исходившие от впечатлений, полученных от зрения и слуха, но не от меня. Я не соображал ни откуда двигаюсь, ни куда направляюсь; я не в состоянии был разобрать и понять, о чем меня спрашивают; это были очень слабые движения, которые мои чувства производили как бы по привычке; мой разум участвовал в этом сквозь дрему, подвергаясь легчайшему прикосновению, щекотанию со стороны чувств. Между тем мое самочувствие было поистине очень приятным и спокойным: я не испытывал тревоги ни за себя, ни за других, я ощущал какую-то истому и необычайную слабость, но никакой боли. Я видел свой

дом, но не узнавал его. Когда меня уложили в постель, я почувствовал несказанное блаженство от этого покоя, так как меня порядком растрясло, пока эти славные люди несли меня на руках по такой плохой и длинной дороге, что им пришлось раза два или три сменить друг друга, чтобы передохнуть. Мне стали насильно давать разные лекарства, но я не принял ни одного из них, так как был убежден, что смертельно ранен в голову. Это была бы поистине очень легкая смерть, ибо из-за бесконечной слабости разум мой не в состоянии был ни о чем судить, а тело ничего не чувствовало. Я тихонько отдался течению, и мне было так легко и спокойно, что, казалось, ничего не могло быть приятнее. Когда, спустя два или три часа, я начал приходить в себя и силы мои стали восстанавливаться,

Ut tandem sensus convaluere mei[274],

я вдруг сразу почувствовал сильнейшие боли, ибо от падения все члены мои были расшиблены и изранены. В течение двух или трех ночей после этого мне было очень плохо, и мне казалось, что я еще раз умираю, но только более мучительной

---

[274] Примечания: 274

Когда наконец я пришел в себя (*лат.*). Овидий. *Скорбные песни,* I, 3, 14.

смертью; я еще и сейчас ощущаю страшный удар, полученный при падении. И вот что примечательно: последней мыслью, сохранившейся у меня в сознании, было воспоминание о том, что со мной случилось; но прежде чем понять все как следует, я заставлял по нескольку раз повторять себе, куда я ехал, откуда возвращался, в котором часу со мной это произошло. Что касается обстоятельств моего падения, то от меня их скрывали, не желая выдавать виновника катастрофы, и придумывали для меня все новые и новые объяснения. Некоторое время спустя, уже на следующий день, когда память моя начала восстанавливаться и рисовать мне, в каком состоянии я был в момент, когда заметил обрушивающуюся на меня лошадь (ибо я увидел ее у самых ног и подумал, что пришла моя смерть; но эта мысль была так мимолетна, что не успела даже вызвать во мне страх), мне показалось, что меня поразила молния и что я возвращаюсь с того света.

Рассказ об этом малозначительном происшествии мог бы показаться не заслуживающим внимания, если бы не то поучение, которое я извлек для себя из него. Я действительно убедился, что для того, чтобы свыкнуться со смертью, нужно только приблизиться к ней вплотную.

Всякий из нас, по словам Плиния, может служить хорошим поучением для самого себя, лишь бы он обладал способностью пристально следить за собой. Рассказывая о случившемся со мной, я не поучаю других, а поучаюсь сам; это урок, извлеченный мною для себя, а не наставление для других.

И не следует ставить мне в укор, что я об этом рассказываю, ибо то, что полезно для меня, может при случае оказаться полезным и для другого. Как бы там ни было, я ничего ни у кого не отнимаю, а только извлекаю пользу из своего добра. А если я говорю глупости, то никто от этого не страдает, кроме разве меня самого; к тому же эти глупости со мной и кончаются, не имея дальнейшего продолжения. Так писали о себе всего лишь два или три древних автора, да и то, не зная о них ничего, кроме их имен, не берусь утверждать, что они писали совершенно в таком духе, как и я. С тех пор никто не шел по их стопам. И неудивительно, ибо прослеживать извилистые тропы нашего духа, проникать в темные глубины его, подмечать те или иные из бесчисленных его малейших движений — дело весьма нелегкое, гораздо более трудное, чем может показаться с первого взгляда. Это занятие новое и необычное,

отвлекающее нас от повседневных житейских занятий, от наиболее общепринятых дел. Вот уже несколько лет, как все мои мысли устремлены на меня самого, как я изучаю и проверяю только себя, а если я и изучаю что-нибудь другое, то лишь для того, чтобы неожиданно в какой-то момент приложить это к себе или, вернее, вложить в себя. И мне отнюдь не кажется ошибочным, если, подобно тому как это делается в других науках, несравненно менее полезных, чем эта, я сообщаю все добытое мною на этом поприще, хотя и не могу сказать, что доволен успехами, достигнутыми мною до этого времени. Нет описания более трудного, чем описание самого себя, но в то же время нет описания более полезного. Всегда надо хорошенько пообчиститься, приодеться, привести себя в порядок, прежде чем показаться на людях. Так вот и я постоянно привожу себя в порядок, ибо постоянно занят самоописанием. Говорить о себе считается дурной привычкой, решительно осуждаемой из-за оттенка хвастовства, которое обычно кажется неизбежно связанным с рассказами о себе.

Но это значило бы выплеснуть из ванны вместе с водой и ребенка:

In vitium ducit culpae fuga[275].

Я нахожу, что такое средство скорее вредно, чем полезно. Но если бы даже было верно, что рассказывать людям о себе есть обязательно тщеславие, то я все же не должен, будучи верен своей основной задаче, подавлять в себе это злосчастное свойство, раз уж оно мне присуще, и утаивать этот порок, который является для меня не только привычкой, но и призванием. Как бы то ни было, говоря по правде, я должен сказать по поводу этого обыкновения, что неправильно осуждать вино за то, что многие напиваются им допьяна. Злоупотреблять можно только хорошими вещами. Осудительное отношение к этому обычаю, по-моему, направлено против широко распространенной слабости. Это узда для коров, которой не связывали себя ни святые, так красноречиво говорившие о себе, ни философы, ни теологи. Не делаю этого и я, хотя и не принадлежу к числу как тех, так и других. Хотя они прямо в этом и не признаются, они никогда не упустят случая выставить себя напоказ. О чем больше всего рассуждает Сократ, как не о себе самом? К

[275] Примечания: 275

Стремление избегнуть ошибки ведет к промаху (*лат.*). Гораций. *Наука поэзии,* 31.

чему он постоянно направляет мысли своих учеников, как не к тому, чтобы они говорили о себе, но не на основании вычитанного ими из книг, а на основании движения их собственной души? Мы благоговейно исповедуемся перед Богом и нашим духовником, а наши соседи исповедуются публично. Но мне скажут, что мы исповедуемся только в прегрешениях; на это я отвечу, что мы исповедуемся во всем, ибо сама наша добродетель небезупречна и нуждается в покаянии. Жить — вот мое занятие и мое искусство. Тот, кто хочет запретить мне говорить об этом по моему разумению, опыту и привычке, пусть прикажет архитектору говорить о зданиях не своими мыслями, а чужими, на основании чужих знаний, а не своих собственных. Если говорить о своих качествах есть самомнение, то почему Цицерон не превозносит красноречия Гортензия, а Гортензий — красноречия Цицерона? Пожалуй, кто-нибудь скажет, что лучше было бы, если бы я свидетельствовал о себе делами и творениями, а не одними только словами. Но я изображаю главным образом мои размышления — вещь весьма неуловимую и никак не поддающуюся материальному воплощению. Лишь с величайшим трудом могу я облечь их в такую воздушную

оболочку, как голос. Многие более мудрые и более благочестивые люди прожили жизнь, не совершив никаких выдающихся поступков. Поступки говорят больше о моих удачах, чем обо мне самом. Они свидетельствуют скорее о своей роли, чем о моей, позволяя судить о последней лишь гадательно и очень неточно: всякий раз с какой-либо одной стороны. А тут я выставляю целиком себя напоказ: нечто вроде скелета, в котором с одного взгляда можно увидеть все — вены, мускулы, связки, все в отдельности и на своем месте. А кашель показал бы лишь одну часть картины, внезапная бледность или сердцебиение — другую, да и то не вполне достоверным образом. Тут я описываю не свои движения, а себя, свою сущность. Я считаю, что следует быть осторожным в суждении о себе и равным образом точным в показаниях о себе, независимо от того, делаются ли они вслух или про себя. Если бы мне казалось, что я добр и умен или что-нибудь в этом роде, я сказал бы об этом во весь голос. Говорить о себе уничижительно, хуже, чем ты есть на деле, — не скромность, а глупость. Расценивать себя ниже того, что ты стоишь, есть, по словам Аристотеля, трусость и малодушие. Никакая добродетель не улучшается от искажения, а истина никогда не

покоится на лжи. Говорить о себе, превознося себя, лучше, чем ты есть на деле, не только всегда — тщеславие, но также нередко и глупость. В основе этого порока лежит, по-моему, чрезмерное самодовольство и неразумное себялюбие. Лучшее средство для исцеления от этого порока — делать прямо противоположное тому, что предписывают те, кто, запрещая говорить о себе, тем самым еще строже запрещает о себе думать. Гордыня порождается мыслью, язык может принимать в этом лишь незначительное участие. Запрещающим говорить о себе кажется, что заниматься собой значит любоваться собой, что неотвязно следить за собой и изучать себя значит придавать себе слишком много цены. Это, конечно, бывает. Но такая крайность проявляется только у тех, кто изучает себя лишь поверхностно; у тех, кто обращается к себе, лишь покончив со всеми своими делами; кто считает занятие собой делом пустым и праздным; кто держится мнения, что развивать свой ум и совершенствовать свой характер — все равно что строить воздушные замки; и кто полагает, что самопознание — дело постороннее и третьестепенное.

Если кто-нибудь, оглядываясь на нижестоящих, кичится своей ученостью, пусть он обратит взор

к минувшим векам, тогда он сразу смирится, увидев, сколько было тысяч людей, стоявших неизмеримо выше его. А если он преувеличенного мнения о своей доблести, пусть припомнит жизнь обоих Сципионов и стольких армий, и стольких народов, до которых ему бесконечно далеко. Никакое особое достоинство не преисполнит гордостью того, кто осознает все великое множество присущих ему несовершенств и слабостей, и вдобавок ко всему — все ничтожество человеческого существования.

Именно потому, что Сократ сумел искренне принять наставление своего бога: «Познай самого себя», и в результате этого самопознания проникся презрением к себе, он удостоился звания мудреца. Тот, кто сумеет таким же образом познать себя, может не бояться говорить о результатах своего познания.

Глава VII
О почетных наградах

Описывающие жизнь цезаря Августа отмечают, что в воинском деле он был поразительно щедр в раздаче даров всем тем, кто этого заслуживал, но вместе с тем был столь же скуп в раздаче чисто почетных наград. Между тем сам он получил множество воинских наград от своего дяди, еще не успев ни разу побывать на поле сражения. Хорошей выдумкой, утвердившейся в большинстве стран мира, было установление некоторых малозначительных и ничего не стоящих знаков отличия для награждения и почтения добродетели, к числу которых относятся лавровые, дубовые, миртовые венки, особые виды одежды, привилегия проезжать на колесницах по городу или ночные шествия с факелами, право занимать особое место в публичном собрании, прерогатива носить известные титулы и прозвища, иметь определенные знаки в гербе и тому подобные вещи. Этот обычай в различных формах был принят у многих народов и до сих пор остается в силе.

Что касается нас, французов, и некоторых со-

седних с нами народов, то у нас для этого введены рыцарские ордена. Это поистине очень хороший и полезный обычай отмечать заслуги выдающихся и исключительных людей, выделять и награждать их при помощи пожалований, нисколько не обременяющих общество и ничего не стоящих государству. Между тем из опыта древних и нашего собственного известно, что выдающиеся люди больше домогались таких наград, чем денежных и доходных пожалований; это вполне понятно и имеет веские основания. Действительно, если к награде, которая должна быть только почетной, примешиваются другие блага и богатства, то это сочетание, вместо того чтобы усилить почет, снижает и уменьшает его. Издавна прославленный у нас орден Святого Михаила имел то огромное преимущество, что он не связан был ни с какими другими благами. Поэтому не было такого чина и звания, которого дворянство домогалось бы с большим рвением и пылом, чем этого ордена; не было положения, которое приносило бы больше уважения и почета, ибо в этом случае добродетель стремилась получить и получала наиболее подходящую награду, в которой было больше славы, нежели выгоды. Действительно, все остальные награды

не связаны с таким почетом, так как они даются по самым различным поводам. Деньгами награждают слугу за его заботы, гонца за его усердие; ими награждают за обучение танцам, фехтованию, красноречию, а также за самые низменные услуги; оплачивается даже и порок, как, например, лесть, сводничество, измена; поэтому нет ничего удивительного в том, что добродетель менее охотно принимает эту избитую монету и стремится к получению той вполне благородной и почетной награды, которая ей лучше всего подходит. Август поэтому с полным основанием был более расчетлив и скуп при раздаче почетных наград, чем обычных, тем более что почет — это не заурядное явление, а исключительное, так же как и добродетель:

> *Cui malus est nemo, quis bonus esse potest?*[276]

Желая рекомендовать какого-нибудь человека, не отмечают, что он заботится о воспитании своих детей, ибо это явление обычное, как бы похвально оно ни было. Я не думаю, чтобы какой-нибудь спартанец хвастался своей доблестью, ибо

---

[276] Примечания: 276

Кто может показаться добрым тому, кому никто не кажется злым? (*лат.*) Теренций. *Братья,* 65.

это была добродетель, широко распространенная среди этого народа; и столь же мало спартанцы склонны были хвастаться своей верностью и презрением к богатству. Как бы велика ни была добродетель, но если она вошла в привычку, то не стоит награды, и я даже не уверен, назовем ли мы ее великой, если она стала обычной.

Так как вся ценность и весь почет этих знаков отличия покоятся на том, что они присваиваются лишь небольшому числу людей, то широкая раздача их равносильна сведению их на нет. Если бы даже в наше время было больше людей, заслуживающих этот орден, чем в прошлые времена, то все же не следовало бы подрывать его ценность. Я вполне допускаю, что значительно большее число людей в настоящее время достойно этого ордена, ибо из всех добродетелей воинская доблесть распространяется с наибольшей быстротой. Существует другая доблесть — истинная, совершенная и философская, о которой я здесь не говорю (пользуясь словом «доблесть» в обычном, принятом у нас смысле); она более значительна, чем воинская доблесть, более полноценна и заключается в стойкости и силе нашей души, которая с одинаковым презрением относится ко всем враждебным ей обстоятельствам; эта доб-

лесть всегда себе равна, неизменна и постоянна, и обычная наша доблесть — лишь очень слабое отражение ее. Привычка, обычай, воспитание и пример играют огромную роль в укреплении воинской доблести и содействуют широкому распространению ее, в чем легко убедиться на опыте наших гражданских войн. И если бы кто-нибудь сумел объединить нас в настоящее время и направить весь наш народ на одно общее дело, то вновь могла бы расцвести наша древняя военная слава. Не подлежит сомнению, что награждение орденом в прежние времена имело в виду не только это соображение, оно предусматривало и более далекую цель. Присвоение ордена всегда было награждением не просто лишь доблестного воина, но прославленного военачальника. Умение повиноваться не заслуживало столь почетной награды. Для получения ордена в прежние времена требовался более всеобъемлющий военный опыт; военному человеку надо было обнаружить самые выдающиеся способности: Neque enim eadem militares et imperatoriae aites sunt[277], и, кроме того, он должен был по своему положению подходить к этому званию. Но если бы даже ока-

[277] Примечания: 277

У солдата и полководца не одно и то же искусство (*лат.*). Тит Ливий, XXV, 19.

залось, что в настоящее время найдется гораздо больше людей, заслуживающих этой награды, чем раньше, то все же я считаю, что не следовало бы раздавать ее с большей легкостью, и было бы даже предпочтительней не давать ее всем тем, кто заслужил эту награду, чем навсегда свести на нет — как это делается у нас — столь полезный обычай. Ни один благородный человек не сочтет возможным хвалиться тем, что у него есть общего со многими другими, и те, кто в настоящее время менее заслужил эту награду, делают вид, будто относятся к ней с пренебрежением, чтобы таким образом стать в ряды тех, кого обижают слишком частой раздачей этой обесцениваемой таким путем награды, которая только этим последним и подобает.

Но трудно рассчитывать на то, чтобы, ослабив и уничтожив этот орден, можно было создать и сделать высокопочетной другую, подобную ему награду. В тот смутный и испорченный век, в какой мы живем, новый, недавно учрежденный орден с самого же начала будет подточен действием тех же причин, которые разрушили орден Св. Михаила. Чтобы придать этому новому ордену авторитет, его следовало бы раздавать с величайшей осмотрительностью и в весьма

редких случаях; а между тем в наше бурное время невозможно вести это дело с большой строгостью, твердо держа его в руках. Кроме того, чтобы оно обрело популярность, нужно было бы вытравить память о первом ордене и о том пренебрежении, в которое он впал.

Этот вопрос мог бы послужить темой для рассуждения о доблести и ее отличии от других добродетелей; но так как Плутарх неоднократно возвращался к этой теме, я не стану ее касаться и приводить то, что он говорит по этому поводу. Но стоит отметить, что наш народ выделяет доблесть (vaillance) из других добродетелей и придает ей первостепенное значение, что явствует уже из самого ее названия, происходящего от слова «достоинство» (valeur). Равным образом, когда мы говорим, что такой-то весьма достойный или порядочный человек в стиле нашего двора или нашего дворянства, то это означает, что речь идет о храбром, доблестном человеке, то есть мы употребляем это название в том же смысле, как это принято было в Древнем Риме. Действительно, у римлян самое название «добродетель» (virtus) проистекало от слова «сила» (то есть храбрость). Военное призвание — самое важное, самое подходящее и единственное призвание французского

дворянства. Весьма возможно, что первой добродетелью, появившейся среди людей и давшей одним из них превосходство над другими, и была именно эта самая добродетель, с помощью которой более сильные и более храбрые приобрели власть над более слабыми и заняли особое положение: с тех пор за ними сохранилась эта честь и название. Однако возможно также, что эти народы, будучи весьма воинственными, особенно высоко оценили ту из добродетелей, которая была им наиболее близка и казалась наиболее достойной этого названия. Нечто подобное можно наблюдать у нас и в другой области: неусыпная забота о целомудрии наших женщин приводит к тому, что когда мы говорим «хорошая женщина», «порядочная женщина», «почтенная и добродетельная женщина», то имеем при этом в виду не что иное, как «целомудренная женщина», и похоже на то, что, стремясь заставить женщин быть целомудренными, мы придаем мало значения всем прочим их добродетелям и готовы простить им любой порок, лишь бы они за то соблюдали целомудрие.

Глава VIII
О родительской любви

Госпоже д'Этиссак

Сударыня, если меня не спасут новизна и необычность моей книги, нередко придающие цену вещам, то я никогда не выйду с честью из этой нелепой затеи; но она так своеобразна и столь непохожа на общепринятую манеру писать, что, может быть, именно это послужит ей пропускным листом. Первоначально фантазия приняться за писание пришла мне в голову под влиянием меланхолического настроения, совершенно не соответствующего моему природному нраву; оно было порождено тоской одиночества, в которое я погрузился несколько лет тому назад. И так как у меня не было никакой другой темы, я обратился к себе и избрал предметом своих писаний самого себя. Это, вероятно, единственная в своем роде книга с таким странным и несуразным замыслом. В ней нет ничего заслуживающего внимания, кроме этой особенности, ибо такую пустую и ничтожную тему самый искусный мастер не смог бы обработать так, чтобы стоило о

ней рассказывать. Однако, сударыня, задавшись целью изобразить в этой книге мой собственный портрет, я упустил бы в нем одну весьма важную черту, если бы не упомянул о том почтении, которое я всегда питал к вашим заслугам. Я хотел отметить это в посвящении этой главы, тем более что среди других ваших прекрасных качеств одно из первых мест занимает та привязанность, которую вы неизменно выказывали по отношению к вашим детям. Тот, кто знает, в каком молодом возрасте ваш муж, господин д'Этиссак, оставил вас вдовой; тот, кто знает, какие почетные и выгодные предложения делались с тех пор вам, как одной из знатнейших дам Франции; тот, кто знает твердость и постоянство, которое вы неизменно проявляли в течение всех этих лет в управлении имуществом и ведении дел ваших детей в самых различных уголках Франции, что бывало часто связано с огромными трудностями; тот, кто знает, как счастливо они разрешались только благодаря вашей предусмотрительности или удаче, — тот, несомненно, согласится со мной, что нет в наше время примера более глубокой материнской любви. Я благодарю Бога, сударыня, за то, что эта любовь принесла столь добрые плоды, ибо большие надежды, подаваемые вашим сыном,

господином д'Этиссаком, сулят, что, выросши, он выкажет вам признательность и повиновение. Но так как из-за своего малолетства он до сих пор еще не был в состоянии оценить те неисчислимые услуги, которыми он вам обязан, я хотел бы, чтобы эти строки, если они когда-нибудь попадут ему в руки, когда меня уже не будет и я не смогу сказать ему этого, я хотел бы, повторяю, чтобы он воспринял их как чистую правду; она будет ему еще убедительнее доказана теми благими последствиями, которые он ощутит на себе. Правда эта состоит в том, что нет дворянина во Франции, который был бы больше обязан своей матери, чем он, и что он не может дать в будущем лучшего доказательства своей добродетели, чем признав, насколько он вам обязан.

Если существует действительно какой-либо естественный закон, то есть некое исконное и всеобщее влечение, свойственное и животным, и людям (что далеко, впрочем, не бесспорно), то, по-моему, на следующем месте после присущего всем животным стремления оберегать себя и избегать всего вредоносного стоит любовь родителей к своему потомству. И так как природа как бы предписала ее нам с целью содействовать дальнейшему плодотворному развитию

вселенной, то нет ничего удивительного в том, что обратная любовь детей к родителям не столь сильна.

К этому надо еще добавить наблюдение Аристотеля, что делающий кому-либо добро любит его сильнее, чем сам им любим; и что заимодавец любит своего должника больше, чем тот его, совершенно так же, как всякий мастер больше любит свое творение, чем любило бы его это творение, обладай оно способностью чувствовать. Мы ведь дорожим своим бытием, а бытие состоит в движении и действии, так что каждый из нас до известной степени вкладывает себя в свое творение. Кто делает добро, совершает прекрасный и благородный поступок, а тот, кто принимает добро, делает только нечто полезное; полезное же гораздо менее достойно любви, чем благородное. Благородное твердо и постоянно; оно доставляет тому, кто сделал его, прочное чувство удовлетворения. Полезное легко утрачивается и исчезает; оно не оставляет по себе столь живого и отрадного воспоминания. Мы больше ценим те вещи, которые достались нам дорогой ценой; и давать труднее, чем брать.

Так как Богу угодно было наделить нас некоторой способностью суждения, чтобы мы не были

рабски подчинены, как животные, общим законам и могли применять их по нашему разумению и доброй воле, то мы должны до известной степени подчиняться простым велениям природы, но не отдаваться полностью ее власти, ибо руководить нашими способностями призван только разум. Что касается меня, то я мало расположен к тем склонностям, которые возникают у нас без вмешательства разума. Я, например, не могу проникнуться той страстью, в силу которой мы целуем новорожденных детей, еще лишенных душевных или определенных физических качеств, которыми они способны были бы внушить нам любовь к себе. Я поэтому не особенно любил, чтобы их выхаживали около меня. Подлинная и разумная любовь должна была бы появляться и расти по мере того, как мы узнаем их, и тогда, если они этого заслуживают, естественная склонность развивается одновременно с разумной любовью и мы любим их настоящей родительской любовью; но точно так же и в том случае, если они не заслуживают любви, мы должны судить о них, всегда обращаясь к разуму и подавляя естественное влечение. Между тем очень часто поступают наоборот, и чаще все мы больше радуемся детским шалостям, играм и продел-

кам наших детей, чем их вполне сознательным поступкам в зрелом возрасте, словно бы мы их любили для нашего развлечения, как мартышек, а не как людей. И нередко тот, кто щедро дарил им в детстве игрушки, оказывается очень скупым на малейший расход, необходимый им, когда они подросли. Похоже на то, что мы завидуем, видя, как они радуются жизни, между тем как нам необходимо уже расставаться с ней, и эта зависть заставляет нас быть по отношению к ним более скаредными и сдержанными: нас раздражает, что они идут за нами по пятам, как бы убеждая нас уйти поскорее. И если бы мы должны были этого бояться — ибо в силу извечного порядка вещей они действительно могут жить лишь за счет нашего существа и нашей жизни, — то нам не следовало бы становиться отцами.

Что касается меня, то я нахожу жестоким и несправедливым не уделять детям части нашего имущества, не делать их совладельцами наших благ и соучастниками в наших имущественных делах, когда они стали уже способными их вести; я нахожу, что мы обязаны урезывать наши блага в их пользу, ибо ведь для этого мы породили их на свет. Это величайшая несправедливость — когда старый, больной и еле живой отец один

пользуется, греясь у очага, доходами, которых хватило бы на содержание нескольких детей; когда он заставляет их, за недостатком средств, терять лучшие годы, не имея возможности продвинуться на государственной службе и узнать людей. Их приводят этим в отчаяние и побуждают стараться всякими путями, как бы дурны они ни были, обеспечить себя; и в самом деле, я видел на своем веку немало молодых людей из хороших семей, ставших такими закоренелыми ворами, что их ничем нельзя было уже вернуть на путь истинный. Я знаю одного такого человека из хорошей семьи, с которым я однажды говорил по этому поводу по просьбе его брата, весьма порядочного и почтенного дворянина. Бедняга прямо признался мне, что на этот злополучный и грязный путь его толкнула черствость и скупость его отца и что он теперь так привык к этому, что не может жить иначе; и действительно, вскоре после этого он был изобличен в том, что украл кольца у одной дамы, на утреннем приеме которой он находился вместе с другими людьми. Это напомнило мне рассказ, который мне довелось услышать от другого дворянина, так пристрастившегося с молодых лет к этому злосчастному занятию, что впоследствии, вступив во владение

своим имуществом и решив избавиться от своего порока, он не в состоянии был удержаться и пройти мимо лавки, не украв какой-нибудь вещи, которая была ему нужна, с тем чтобы потом послать деньги за нее. Я видел людей, до того пристрастившихся к этому пороку и погрязших в нем, что даже у своих товарищей они крали вещи, которые потом возвращали. Я — гасконец, но не знаю порока, который был бы мне более непонятен. Я его еще больше ненавижу чувством, чем разумом. Даже в помысле моем я не мог бы ни у кого ничего похитить. Гасконцы пользуются в этом отношении более дурной славой, чем другие народы Франции, хотя мы не раз видели в наши дни, что в руки правосудия попадали родовитые люди из других частей страны, уличенные в гнусных кражах. Я подозреваю, что в этом беспутстве отчасти повинен названный порок отцов.

Быть может, мне приведут в виде возражения то, что сказал один разумный вельможа, заявивший, что он копит богатства лишь для того, чтобы быть почитаемым и ценимым своими близкими, и, так как старость отняла у него все другие возможности, это единственное оставшееся ему средство поддержать свою власть в семье и избежать всеобщего презрения (напомним, что,

по словам Аристотеля, не только старость, но и всякая вообще умственная слабость порождает скупость). В этом есть некоторая доля истины, но ведь это лишь лекарство против болезни, самого возникновения которой не следует допускать. Жалок отец, если любовь детей к нему зависит лишь от того, что они нуждаются в его помощи. Да и можно ли вообще называть это любовью? Следует внушать уважение своими добродетелями и рассудительностью, а любовь — добротой и мягкостью. Даже прах благородного человека заслуживает уважения: мы привыкли воздавать почет и окружать поклонением даже останки выдающихся людей. У человека, достойно прожившего свою жизнь, не может быть настолько убогой и жалкой старости, чтобы она из-за этого не внушала уважения, в особенности его собственным детям, которых с малолетства надлежало приучить к исполнению своего долга убеждением, а не принуждением, грубостью, скупостью или суровостью:

Et errat longe, mea quidem sententia,

Qui imperium credat esse gravius aut stabilius

Vi quod fit, quam illud quod amicitia

adiungitur[278].

Я осуждаю всякое насилие при воспитании юной души, которую растят в уважении к чести и свободе. В суровости и принуждении есть нечто рабское, и я нахожу, что того, чего нельзя сделать с помощью разума, осмотрительности и уменья, нельзя добиться и силой. Такое воспитание получил я сам. Рассказывают, что в раннем детстве меня всего два раза высекли, и то лишь слегка. Своих детей я воспитывал в том же духе; к несчастью, все они умирали в младенческом возрасте; этой участи счастливо избежала лишь только дочь моя Леонор, к которой до шестилетнего возраста и позднее никогда не применялось никаких других наказаний за ее детские провинности, кроме словесных внушений, да и то всегда очень мягких (что вполне отвечало снисходительности ее матери). И если бы даже мои намерения в отношении воспитания и не оправдали себя на деле, это можно было бы объяснить многими причинами, не опорочивая моего метода воспитания, который правилен и естественен. С мальчиками в этом отношении я рекомендовал бы быть

[278] Примечания: 278

По моему мнению, глубоко заблуждается тот, кто считает более прочной и твердой власть, основанную на силе, чем ту, которая происходит из любви (*лат.*). Теренций. *Братья,* 65.

особенно сдержанными, ибо они еще в меньшей мере созданы для подчинения и предназначены к известной независимости; я поэтому постарался бы развить в них пристрастие к прямоте и непосредственности. Между тем от розог я не видел никаких других результатов, кроме того, что дети становятся от них только более трусливыми и лукаво упрямыми.

Если мы хотим, чтобы наши дети любили нас, если мы хотим лишить их повода желать нашей смерти, хотя никакой вообще повод для такого ужасного положения нельзя считать законным и простительным — nullum scelus rationem habet[279], то нам следует разумно сделать для них все, что в нашей власти. Поэтому нам не следует жениться очень рано, дабы не получалось, что наш возраст очень близок к возрасту наших детей, так как это обстоятельство создает для нас большие неудобства. Я особенно имею в виду наше дворянство, которое ведет праздную жизнь и живет, как выражаются, только своими рентами, ибо в тех семьях, где средства к существованию добываются трудом, наличие большого числа детей облегчает ведение хозяйства, так как оно

[279] Примечания: 279
Никакое злодеяние не имеет оправдания (*лат.*). Тит Ливий, XXVIII, 28.

означает наличие дополнительного числа рабочих рук или орудий.

Я женился, когда мне было тридцать три года, и поддерживаю приписываемое Аристотелю мнение, что жениться следует в тридцать пять лет. Платон требует, чтобы женились не ранее тридцати лет, но он прав, когда смеется над теми, кто вступает в брак после пятидесяти лет, и считает, что потомство таких людей не пригодно к жизни.

Фалес установил в этом вопросе наиболее правильные границы. Когда он был очень молод и мать убеждала его жениться, он отвечал ей, что еще не пришло время, а состарившись, заявлял, что уже поздно. Следует отказываться от всяких несвоевременных действий.

Древние галлы считали весьма предосудительным иметь сношения с женщиной, не достигнув двадцатилетнего возраста, и настойчиво советовали мужчинам, готовившимся к военному поприщу, по возможности дольше сохранять девственность, ибо близость с женщинами ослабляет мужество.

Ma hor congiunto à giovinetta sposa,
Lieto homai de'figli, era invilito

Ne gli affetti di padre e di marito[280].

Из истории Греции мы знаем, что Икк Тарентский, Крисон, Астил, Диопомп и другие, желая сохранить свои силы нерастраченными для Олимпийских игр, гимнастических и других состязаний, воздерживались во время подготовки к ним от всяких любовных дел.

Султан Туниса Мулей-Гасан, которого император Карл V восстановил на троне, не смог простить своему отцу даже после его смерти его непрестанных похождений с женщинами и называл его бабой, плодящей детей.

В некоторых областях Америки, завоеванных испанцами, мужчинам запрещалось жениться ранее сорокалетнего возраста, женщинам же разрешалось уже в десять лет вступать в брак. Тридцатипятилетнему дворянину еще не время уступать место своему двадцатилетнему сыну: это возраст, когда он еще сам может участвовать в военных походах и являться ко двору своего государя. Ему самому нужны для этого деньги; он, разумеется, должен уделять часть из них детям, но такую лишь, чтобы это не стесняло его самого.

---

[280] Примечания: 280

Теперь, соединившись с молодой супругой, он счастлив тем, что у него будут дети; отцовские и супружеские чувства изнежили его (*ит.*). Тассо. *Освобожденный Иерусалим,* X, 39.

Это положение правильно отражает тот ответ, который обычно на устах у отцов и который гласит: «Я не хочу раздеваться раньше, чем мне придется лечь спать».

Но отец, отягощенный годами и болезнями, лишенный из-за своих немощей и старости возможности занимать свое место в обществе, поступает несправедливо по отношению к своим детям, продолжая бесплодно оберегать свои богатства. Если он умен, то вполне уместно, чтобы у него явилось желание раздеться прежде, чем лечь спать, — раздеться не до рубашки, а вплоть до очень теплого халата; все же остальные роскошества, которые ему уже не по зубам, он должен с готовностью раздать тем, кому они должны по закону природы принадлежать. Вполне естественно, чтобы он предоставил детям пользоваться ими, поскольку природа лишает его самого этой возможности; иначе здесь проявится злая воля и зависть. Лучшим из поступков императора Карла V было умение признать (по примеру некоторых древних мужей под стать ему), что разум повелевает нам раздеться, если наше платье отягощает нас и мешает нам, и что следует лечь, если ноги нас больше не держат. Почувствовав, что он не в силах больше вести де-

ла с прежней твердостью и силой, он отказался от своих богатств, почестей и власти в пользу сына.

> *Solve senescentem mature sanus equum, ne*
> *Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat*[281].

Это неумение вовремя остановиться и ощутить ту разительную перемену, которая с возрастом естественно происходит в нашем теле и в нашей душе (причем, на мой взгляд, эта перемена в одинаковой мере относится и к телу, и к душе, а возможно, что к душе даже больше), погубило славу многих великих людей. Я видел на своем веку и близко знавал весьма выдающихся людей, у которых на моих глазах поразительным образом угасали былые качества, по слухам, отличавшие их в их лучшие годы. Я предпочел бы, чтобы они, ради их собственной чести, удалились на покой и отказались от тех государственных и военных постов, которые стали им не по плечу. Я когда-то, как свой человек, бывал в доме одного дворянина-вдовца, очень старого, но еще бодрого. У него было несколько дочерей на выданье

---

[281] Примечания: 281

Вовремя, если разумен, выпрягай стареющего коня, чтобы он не начал спотыкаться и задыхаться от усталости всем на потеху (*лат.*). Гораций. *Послания*, I, 1, 8.

и сын, которому пришло время показываться в свете, что было связано с множеством расходов и с посещениями разных посторонних людей, бывавших в отеческом доме. Все это вызывало неудовольствие отца, не столько по причине лишних расходов, сколько потому, что ввиду своего преклонного возраста он усвоил образ жизни, глубоко отличный от нашего. Однажды я довольно смело, как обычно, с ним говорил, заявил ему, что ему следовало бы освободить для нас место, что лучше ему было бы предоставить сыну главный дом (ибо только он один был хорошо расположен и обставлен), а самому устроиться в одном из соседних его поместий, где никто не будет нарушать его покоя, так как иначе он не сможет избавиться от тех неудобств, которые связаны с образом жизни его детей. Он последовал моему совету и остался доволен.

Я не хочу, однако, этим сказать, что нельзя взять назад уступленных детям прав. Я предоставил бы детям (и в ближайшем будущем намерен сам так поступить) возможность пользоваться моим домом и моими поместьями, но с правом отказать им в этом, если они дадут к тому повод. Я предоставил бы им пользование всем моим имуществом, когда это стало бы для меня обреме-

нительным; но общее управление им я сохранил бы за собой в той мере, в какой мне было бы это желательно, так как я всегда считал, что для состарившегося отца должно быть большой радостью самому ввести своих детей в управление своими делами и иметь возможность, пока он жив, проверять их действия, давать им советы и наставления на основании своего опыта; большой радостью должно быть для него иметь возможность самому поддерживать благополучие своего дома, перешедшего в руки его преемников, и укрепиться таким образом в надеждах, которые он может возлагать на них в будущем. Поэтому я не стал бы сторониться их общества, а, наоборот, хотел бы находиться около них и наслаждаться — в той мере, в какой мне это позволил бы мой возраст, — их радостями и их увеселениями. Если бы даже я не жил общей с ними жизнью (так как в этом случае я омрачал бы их общество печалями моего возраста и моих болезней, а кроме того, меня это вынудило бы нарушить мой новый образ жизни), я бы по крайней мере постарался жить около них в какой-нибудь части моего дома, не в самой парадной, но в наиболее удобной. Я не хотел бы повторить того, что мне пришлось видеть несколько лет назад на примере декана монасты-

ря Св. Илария в Пуатье; подавленный тяжелой меланхолией, он жил таким отшельником, что перед тем, как я вошел в его комнату, он двадцать два года ни разу не выходил из нее, и, несмотря на это, был в полном здравии, не считая того, что изредка страдал желудком. Очень неохотно разрешал он кому-нибудь хоть раз в неделю его проведать и всегда сидел взаперти, в полном одиночестве. Только раз в день к нему входил слуга, приносивший пищу, после чего сразу же уходил. Все его занятия состояли в том, что он расхаживал по комнате или читал какую-нибудь книгу — ибо он был не чужд литературе, — твердо решив так и окончить свою жизнь, что с ним в скором времени и случилось.

Я бы попытался в сердечных беседах внушить моим детям искреннюю дружбу и неподдельную любовь к себе, чего нетрудно добиться, когда имеешь дело с добрым существом; если же они подобны диким зверям (а таких детей в наш век тьма-тьмущая), их надо ненавидеть и бежать от них. Мне не нравится обычай некоторых отцов, запрещающих детям применять к ним обращение «отец» и вменяющих детям в обязанность называть их более уважительными именами, как если бы природа недостаточно позаботилась

о соблюдении нашего авторитета. Называем же мы Всемогущего Бога отцом, так почему же мы не хотим, чтобы наши дети так называли нас? Безрассудно и нелепо также со стороны отцов не желать поддерживать со своими взрослыми детьми непринужденно близкие отношения и принимать в общении с ними надутый и важный вид, рассчитывая этим держать их в страхе и повиновении. Но на деле это бессмысленная комедия, делающая отцов в глазах детей скучными или — что еще хуже — потешными: ведь их дети молоды, полны сил, и им, следовательно, море по колено, а потому им смешны надменные и властные гримасы бессильного и дряхлого старца, напоминающего пугало на огороде. Если бы речь шла обо мне, я бы скорее предпочел, чтобы меня любили, чем боялись.

Старость связана с множеством слабостей, она так беспомощна, что легко может вызывать презрение; поэтому наилучшее приобретение, какое она может сделать, это любовь и привязанность близких. Приказывать и внушать страх — не ее оружие. Я знал одного человека, который в молодости был необычайно властным; а теперь, состарившись, он, сохраняя превосходное здоровье, стал бросаться на людей, дико ругаться,

драться, словом, сделался величайшим буяном во Франции; денно и нощно его гнетут заботы о хозяйстве, и он зорко следит за ним. Но все это сплошная комедия, так как все его домашние в заговоре против него: хотя он бережет как зеницу ока ключи от всех замков, другие широко пользуются его житницами, его кладовой и даже его кассой. В то время как он скаредничает и старается выгадать на своей пище, в его доме, в разных частях его, расшвыривают, проигрывают и растрачивают его добро, посмеиваясь над его бессильным гневом и бдительностью. Все в доме на страже против него. Стоит кому-нибудь из слуг проявить преданность к нему, как тотчас же домашние стараются вызвать в нем к этому слуге подозрительность, которая старикам весьма свойственна. Он неоднократно похвалялся мне, что держит своих домашних в узде, что они полностью повинуются ему и относятся к нему с почтением, хвастался тем, как проницательно ведет свои дела, —

Ille solus nescit omnia[282].

Я не знаю человека, который обладал бы более

---

[282] Примечания: 282
Один только он ни о чем не знает (*лат.*). Теренций. *Братья,* 550.

подходящими природными или приобретенными качествами, необходимыми для управления имуществом, чем этот дворянин, и при всем том он беспомощен, как ребенок. Вот почему я и выбрал его как наиболее яркий пример среди многих других известных мне подобных же случаев.

Лишь предметом бесплодного школьного диспута мог бы явиться вопрос: что для этого старца лучше: знать ли правду или чтобы все обстояло так, как оно есть? С виду все ему повинуются. Мнимое признание его власти заключается в том, что ему никогда ни в чем не перечат: ему верят, его боятся, его всячески почитают. Если он выгоняет слугу, тот складывает свои пожитки и уходит, но в действительности только исчезает с его глаз. Старость так малоподвижна, зрение и прочие чувства у стариков так ослаблены, что слуга может целый год жить и исполнять свои обязанности в том же доме, оставаясь незамеченным. А когда наступает подходящий момент, то делают вид, будто откуда-то из дальних краев пришло жалобное, умоляющее письмо, полное обещаний исправиться, и слугу прощают и восстанавливают в должности. Если старик хозяин совершает какое-нибудь действие или отдает

письменное распоряжение, которые не угодны его домашним, то их не выполняют, а затем придумывают тысячу предлогов, оправдывающих это. Письма со стороны никогда не передаются ему тотчас же по их получении, кроме тех, которые считают возможным довести до его сведения. Если же какое-нибудь нежелательное письмо случайно попадет ему в руки, то — так как он всегда поручает кому-нибудь читать ему вслух — немедленно устраивается так, что он получает то, что желательно окружающим: например, что такой-то просит у него прощения, между тем как в письме содержатся самые оскорбительные вещи. Не желая огорчать старика или вызывать его гнев, ему представляют его дела в извращенном и приукрашенном виде, лишь бы только он был доволен. Я встречал довольно много семей, где в течение долгого времени, а иногда даже постоянно, жизнь шла подобным же образом, лишь с небольшими различиями.

Жены всегда склонны перечить мужьям. Они используют любой повод, чтобы поступить наоборот, и малейшее извинение для них равносильно уже полнейшему оправданию. Я знал одну женщину, которая утаивала от своего мужа изрядные суммы, чтобы, как она призналась своему духов-

нику, иметь возможность более щедро раздавать милостыню. Верь, кто хочет, этому благочестивому предлогу! Всякое распоряжение деньгами кажется им недостаточно почтенным, если оно совершается с согласия мужа; они должны обязательно захватить его в руки либо хитростью, либо упрямством, но всегда каким-нибудь способом: без этого они не почувствуют ни полноты своей власти, ни удовольствия от нее. И когда такие их действия — как в только что описанном случае — направлены против несчастного старика и в пользу детей, они хватаются за этот предлог и дают волю своей страсти, составляя заговор против господства главы дома. Если у него есть взрослые и полные сил сыновья, они быстро, лаской или таской, подчиняют себе домоправителя, казначея и всех прочих служащих. Если же у бедняги нет ни жены, ни сыновей, он не так легко попадает в эту беду, но зато, когда это случается, он страдает еще более жестоко и унизительно. Катон Старший говорил в свое время, что сколько у человека слуг, столько у него и врагов. Не хотел ли он нас предупредить, что у нас будет столько же врагов, сколько жен, сыновей и слуг: ведь его время славилось большей чистотой нравов, нежели наше. При старческой немощи большим облегчением

является благодетельная способность многого не замечать, не знать и легко поддаваться обману. Но что сталось бы с нами, если бы мы все это сознавали, особенно в наше-то время, когда судьи, призванные решать наши тяжбы, обычно становятся на сторону детей и потому бывают пристрастны.

Допуская даже, что я не замечаю этого надувательства, я, во всяком случае, отлично вижу, что могу стать его жертвой. Найдется ли достаточно слов, чтобы выразить, сколь ценен — по сравнению с такими общественными связями — истинный друг? Один образ такой дружбы, которую я наблюдаю в самом чистом виде среди животных, преисполняет меня чувством почтительности и благоговения.

Если другие меня обманывают, то я, во всяком случае, не обманываюсь и сознаю, что не способен уберечь себя от обмана. Однако я и не ломаю себе голову над тем, чтобы этого достигнуть. От подобных обманов я спасаюсь тем, что ухожу в себя, но побуждаемый к тому не смятением и тревожной любознательностью, а скорее по внутреннему решению и чтобы отвлечься. Когда мне рассказывают о делах какого-нибудь постороннего человека, я не смеюсь над ним, а

обращаю тотчас же свой взор на себя и смотрю, как обстоит дело у меня самого. Все, что касается другого, относится и ко мне. Приключившаяся с ним беда служит мне предупреждением и настораживает меня. Ежедневно и ежечасно мы говорим о других людях то, что мы скорее сказали бы о себе, если бы умели так же строго судить себя, как судим других.

Так поступают многие авторы: они вредят делу, которое защищают, безрассудно нападая сами на своих противников и бросая им такие упреки, которые должны были бы быть обращены против них же самих.

Покойный маршал де Монлюк, потеряв сына, смелого и подававшего большие надежды человека, погибшего на острове Мадейре, горько жаловался мне на то, что среди многих других сожалений его особенно мучит и угнетает то, что он никогда не был близок с сыном. В угоду личине важного и недоступного отца, которую он носил, он лишил себя радости узнать как следует своего сына, поведать ему о своей глубокой к нему привязанности и сказать ему, как высоко он ценил его доблесть. Таким образом, рассказывал Монлюк, бедный мальчик встречал с его стороны только хмурый, насупленный и

пренебрежительный взгляд, сохранив до конца убеждение, что тот не смог ни полюбить, ни оценить его по достоинству: «Кому же еще мог я открыть эту нежную любовь, которую я питал к нему в глубине души? Не он ли должен был испытать всю радость этого чувства и проявить признательность за него? А я сковывал себя и заставлял себя носить эту бессмысленную маску; из-за этого я лишен был удовольствия беседовать с ним, пользоваться его расположением, которое он мог выказывать мне лишь очень холодно, всегда встречая с моей стороны только суровость и деспотическое обращение». Я думаю, что эта жалоба была справедлива и основательна, ибо хорошо знаю по опыту, что когда умирают наши друзья, то нет для нас лучшего утешения, чем сознание, что мы ничего не забыли им сказать и находились с ними в полнейшей и совершенной близости.

Я открываюсь моим близким, насколько могу; с большой готовностью я выражаю им свое расположение и высказываю свое суждение о них, так же как я делаю это по отношению ко всякому человеку. Я спешу проявить и показать свое отношение, так как не хочу вводить на этот счет в заблуждение в каком бы то ни было смысле.

У наших древних галлов, по словам Цезаря, в числе других особенных обычаев был следующий: сыновья могли появляться перед отцами и находиться при народе около них только после достижения воинского возраста; этим самым как бы хотели сказать, что наступил момент, когда отцы должны принять их в свой круг и сблизиться с ними.

Мне пришлось столкнуться и с другого рода несправедливостью некоторых отцов в мое время: не довольствуясь тем, что они в течение долгой своей жизни лишали своих детей причитавшейся им доли имущества, они еще завещали своим женам всю власть над всем своим имуществом и право распоряжаться им по своему усмотрению. Я знал одного сеньора, из числа виднейших служителей короны, который должен был получить в наследство ренту более чем в 50 тысяч экю, а умер в нужде и обремененный долгами в возрасте свыше 50 лет, между тем как его совсем уже дряхлая мать пользовалась всем состоянием, ибо таково было распоряжение его отца, прожившего около 80 лет. Такое отношение к детям отнюдь не кажется мне разумным.

Я нахожу неразумным, когда человек, дела которого идут хорошо, ищет себе жену с большим

приданым: деньги со стороны всегда приносят в семью беду. Мои предки обычно придерживались этого правила, и я со своей стороны также последовал ему. Но те, кто не советует нам жениться на богатых невестах, ссылаясь на то, что с ними труднее иметь дело и что они менее признательны, ошибаются и упускают некое реальное благо ради сомнительной догадки. Взбалмошной женщине ничего не стоит менять свои намерения. Женщины больше всего довольны собой в тех случаях, когда они кругом не правы. Неправота привлекает их, подобно тому как хороших женщин подстрекает честь их добродетельных поступков; чем они богаче, тем они добрее, и, подобно этому, чем они красивее, тем более склонны к целомудрию.

Правильно оставлять управление всеми имущественными делами семьи в руках матери, пока дети не достигли требующегося по закону совершеннолетия; но плохо воспитал своих сыновей тот отец, который не питает уверенности, что, став взрослыми, они не смогут вести дела лучше и искуснее, чем его жена, представительница слабого пола. Однако было бы, разумеется, еще более противоестественно, если бы благополучие матери зависело от детей. Для матерей следует

щедро выделять средства, чтобы они могли жить, как того требует обстановка их дома и как им полагается по их возрасту, принимая во внимание, что они гораздо менее приспособлены к перенесению нужды и лишений, чем их мужское потомство; поэтому следует возложить это бремя скорее на детей, чем на мать.

Вообще наиболее разумным разделом нашего имущества перед смертью является, по-моему, раздел его согласно принятому в стране обычаю. Существующие на этот счет законы тщательно продуманы, так что уж лучше пусть они иной раз в чем-нибудь погрешат, нежели погрешим мы сами, действуя наобум. Наши блага не вполне являются нашими, ибо, согласно установлениям, сложившимся без нашего участия, они предназначены для наших преемников. И хотя мы обладаем некоторой свободой распоряжаться ими и за пределами нашей жизни, я считаю, что должны быть очень веские и убедительные причины, чтобы заставить нас лишить человека состояния, которое ему предназначено и полагается по установленному закону; иначе это будет злоупотреблением нашей свободой вопреки разуму и в угоду нашим случайным и пустым прихотям. Судьба была милостива ко мне в этом

отношении, избавив меня от поводов, которые могли бы меня соблазнить и заставить нарушить общепринятый закон. Но я знаю немало людей, в отношении которых длительная служба и помощь оказались впустую потраченным временем: одно неудачное и плохо воспринятое слово уничтожает иной раз заслуги десятка лет. Счастлив тот, кому удается загладить впечатление от такого слова в момент составления завещания! Обычно же последнее впечатление берет верх: не лучшие и обычные услуги, а самые последние, удержавшиеся в памяти жесты решают все. Такие люди играют своими завещаниями, словно кнутом и пряником, для наказания или награждения заинтересованных лиц за отдельные их поступки. Завещание — вещь слишком серьезная и имеющая слишком важные последствия, чтобы можно было позволить себе непрерывно менять его; вот почему люди умные составляют его раз и навсегда, сообразуясь с доводами разума и принятыми в стране установлениями.

Мы придаем чересчур большое значение наследованию по мужской линии и охвачены нелепым желанием увековечить наши имена. Мы возлагаем также слишком большие надежды на способности наших детей. В отношении меня мог-

ла быть ненароком учинена несправедливость и меня могли передвинуть с занимаемого мною по старшинству места, так как я был самым вялым и самым несмышленым ребенком, самым медлительным и самым ленивым не только из всех своих братьев, но и из всех детей моей округи, как в умственных занятиях, так и в физических упражнениях. Глупо производить необычные разделы наследства на основании таких предзнаменований, которые потом часто оказываются ошибочными. Если уж можно нарушить обычный порядок и исправить выбор, который судьбе угодно было установить в отношении наших наследников, то с большим основанием можно это сделать при наличии какого-нибудь значительного и заметного физического уродства, то есть постоянного и неисправимого недостатка, являющегося для рьяных ценителей красоты важным изъяном.

Нижеследующий занятный диалог между законодателем Платоном и его согражданами окажется здесь уместным. «Почему, — спрашивают они, чувствуя приближение смерти, — мы не можем распорядиться тем, что нам принадлежит, и отказать наше имущество тому, кому хотим? Какая жестокость, о боги, что мы не вправе от-

казать по нашему усмотрению нашим близким, одному больше, другому меньше, в зависимости от того, насколько плохо или хорошо они относились к нам в старости, во время наших болезней и при разных наших делах?» На что законодатель отвечает так: «Друзья мои, вам, которым, несомненно, предстоит вскоре умереть, трудно разобраться в вашем нынешнем имуществе, да и в самих себе, как это предписывает дельфийская надпись. Вот почему я, устанавливающий законы, говорю: вы не принадлежите себе, и это имущество, которым вы пользуетесь, не принадлежит вам; все нынешнее поколение и его имущество принадлежат всей совокупности предшествовавших и будущих поколений, а еще в большей мере государству. Поэтому я не позволю, чтобы какая-нибудь одолевшая вас страсть или какой-нибудь проныра, подольстившийся к вам в годы вашей старости или во время вашей болезни, внушали вам мысль составить несправедливое завещание. Но, относясь с уважением к тому, что наиболее полезно и государству в целом, и вашему роду, я установлю соответствующие законы и заставлю признать разумным, что частное благо отдельного гражданина должно подчиняться общему интересу. А вы шествуйте

смиренно и добровольно по пути, свойственному человеческой природе. Мне, который в меру сил охраняет общий интерес и для которого одна вещь не более важна, чем другая, надлежит позаботиться об оставляемом вами имуществе».

Возвращаясь к моему рассуждению, должен сказать следующее: мне представляется, что при всех условиях мужчины не должны находиться в подчинении у женщин — за исключением естественного подчинения материнской власти, — если только это не делается в наказание тем мужчинам, которые, поддавшись какому-то бурному порыву, сами добровольно подчинились женщинам. Но это не относится к старым женщинам, о которых здесь идет речь. Очевидность этого соображения побудила нас измыслить и начать применять тот самый закон, которого никто никогда не видел и на основании которого женщины лишаются права наследования французского престола. Нет в мире такой сеньории, где на этот закон не ссылались бы так же, как и у нас, в силу видимой его разумности, хотя в одних странах он получил случайно более широкое распространение, чем в других. Опасно представлять раздел нашего наследства на усмотрение женщин на основании того выбора между

детьми, который они сделают, ибо выбор этот всегда будет несправедливым и пристрастным. Те болезненные причуды и влечения, которые проявляются у женщин во время беременности, таятся в их душах всегда. Сплошь и рядом видишь, что они особенно привязываются к детям, более слабым и обиженным природой, или к тем, которые еще сидят у них на шее. Не обладая достаточной рассудительностью, чтобы выбрать того из детей, кто этого заслуживает, они легко отдаются природным влечениям и похожи в этом отношении на животных, которые знают своих детенышей лишь до тех пор, пока их кормят.

Между тем легко убедиться на опыте, что та естественная привязанность, которой мы придаем такое огромное значение, имеет очень слабые корни. Мы постоянно заставляем женщин за ничтожную плату бросать кормление своих детей, чтобы выкормить наших; мы заставляем их передавать своих детей какой-нибудь хилой кормилице, которой мы не хотим отдавать наших детей, или даже просто козе; мы запрещаем этим женщинам не только кормить грудью их собственных детей, как бы вредоносно это для них ни было, но и вообще сколько-нибудь заботиться о них, чтобы это не мешало кормилице полностью

отдаваться нашим детям. И в результате у многих из этих женщин в силу привычки появляется более сильная привязанность к выкормленным ими чужим детям, чем к своим собственным, и большая забота об их благополучии. Что же касается упомянутых мною коз, то это довольно распространенное явление в моих краях, где деревенские женщины, когда они сами лишены возможности кормить своих детей, пользуются для этой цели козами; у меня в настоящее время работают двое слуг, которые в младенчестве всего лишь неделю пробыли на женском молоке. Козы очень быстро приучаются давать вымя малышам, узнают их по голосу, когда они плачут, и спешат сами к ним. Если вместо их питомца им подкладывают другого, они отворачиваются от него, и так же поступает ребенок, когда к нему подводят другую козу. Я видел недавно ребенка, у которого отняли его козу, потому что его отец не мог больше получать ее от соседа; ребенок не смог привыкнуть к другой приставленной к нему козе и умер, несомненно, от голода. Животные с не меньшим успехом, чем люди, способны отклонить естественную привязанность от ее обычного пути.

Геродот рассказывает, что в одной из областей

Ливии мужчины свободно сходятся с женщинами, но как только родившийся от такой связи ребенок начинает ходить, он отыскивает в толпе своего отца и узнает его в том мужчине, к которому по естественной склонности устремляются его первые шаги. Но я думаю, что здесь часто бывали ошибки.

Мы любим наших детей по той простой причине, что они рождены нами, и называем их нашим вторым «я», а между тем существует другое наше порождение, всецело от нас исходящее и не меньшей ценности: ведь то, что порождено нашей душой, то, что является плодом нашего ума и душевных качеств, увидело свет благодаря более благородным органам, чем наши органы размножения; эти создания еще более наши, чем дети; при этом творении мы являемся одновременно и матерью и отцом, они достаются нам гораздо труднее и приносят нам больше чести, если в них есть что-нибудь хорошее. Ведь достоинства наших детей являются в большей мере их достоинствами, чем нашими, и наше участие в них куда менее значительно, между тем как вся красота, все изящество и вся ценность наших духовных творений принадлежат всецело нам. Поэтому они гораздо ярче представляют и отра-

жают нас, чем физическое наше потомство.

Платон замечает по этому поводу, что наши духовные творения — это бессмертные дети, они приносят своим отцам бессмертие и даже обожествляют их, как, например, случилось с Ликургом, Солоном, Миносом.

Страницы истории пестрят примерами любви отцов к своим детям, и мне представляется уместным привести здесь некоторые из них.

Гелиодор, добрейший епископ города Трикки, предпочел лишиться своего почтенного сана, доходов и всего связанного с его высокой должностью, чем отречься от своей дочери, которая жива и хороша еще поныне, хотя для дочери церкви, для дочери священнослужителя она и несколько вольна, и чересчур занята любовными похождениями.

Жил в Риме некий Лабиен, человек больших достоинств и весьма влиятельный, отличавшийся, помимо других качеств, своими литературными дарованиями; он был, как я полагаю, сыном великого Лабиена, являвшегося при Цезаре во время его войн в Галлии одним из виднейших военачальников, в дальнейшем же перешел на сторону великого Помпея и проявлял большую доблесть вплоть до момента, когда тот был разбит

наголову Цезарем в Испании. Добродетели того Лабиена, о котором я веду здесь речь, создали ему большое число завистников, но особенно, по-видимому, ненавидели его императорские придворные и фавориты за его приверженность к свободе и унаследованную от отца враждебность тирании. Этот образ его мыслей, должно быть, сказался в его писаниях. Враги преследовали его и добились постановления римского сената о сожжении многих опубликованных им сочинений. Именно с Лабиена начался тот новый вид наказания — карать смертью сами произведения, — который с тех пор утвердился в Риме по отношению ко многим другим авторам. Еще не были использованы все средства и достигнуты все пределы жестокости, пока люди не придумали простирать ее на то, что по самой природе своей лишено чувствительности и способности испытывать страдания, как наша посмертная слава и создания человеческого духа, и пока не придумали физически увечить и истреблять человеческие мысли и творения муз. Лабиен не мог примириться с этой утратой и пережить свои, столь дорогие ему создания; он велел отнести себя в гробницу предков и запереть там живым; так он зараз и покончил с собой, и похоронил себя.

Трудно найти пример более горячей родительской любви, чем эта. Кассий Север, выдающийся оратор и друг Лабиена, видя, как сжигают его книги, воскликнул, что в силу того же самого приговора следует и его самого сжечь живым, ибо он хранит в памяти содержание этих книг.

Подобное же произошло и с Кремуцием Кордом, обвиненным в том, что он в своих сочинениях отзывался с похвалой о Бруте и Кассии. Гнусный, пресмыкающийся и разложившийся сенат, достойный еще худшего повелителя, чем Тиберий, приговорил его писания к сожжению; Корд решил погибнуть вместе с ними и уморил себя голодом.

Славный Лукан, будучи осужден негодяем Нероном, приказал своему врачу вскрыть ему на руках вены, желая поскорее умереть. В последние минуты жизни, когда он совсем уже истекал кровью и тело его начало коченеть, объятое смертельным холодом, охватившим его жизненные органы, он принялся декламировать отрывок из своей поэмы о Фарсале; так он и умер с созданными им стихами на устах. Разве это не было нежным отцовским прощанием со своим детищем, подобным нашему прощанию и поцелую, какими мы обмениваемся с нашими детьми пе-

ред смертью? Разве это не было проявлением той естественной привязанности, вызывающей у нас в смертный час воспоминания о вещах, которые в жизни были нам дороже всего?

Когда Эпикур умирал, истерзанный, по его словам, невероятными страданиями, вызванными коликой, его единственным утешением было то, что он оставляет после себя свое учение. Но можно ли думать, что ему доставили бы такую же радость несколько одаренных и хорошо воспитанных детей — если бы они у него были, — как и создание его глубокомысленных творений? И что если бы он был поставлен перед выбором, оставить ли после себя уродливого и неудачного ребенка или же нелепое и глупое сочинение, то он — и не только он, но и всякий человек подобных дарований — не предпочел бы скорее первое, нежели второе? Если бы, например, святому Августину предложили похоронить либо свои сочинения, имеющие такое важное значение для нашей религии, либо же своих детей — в случае если бы они у него были, — то было бы нечестивым с его стороны, если бы он не предпочел второе.

Я не уверен, не предпочел ли бы я породить совершенное создание от союза с музами, чем от

союза с моей женой.

То, что я отдаю этому духовному созданию, я отдаю бескорыстно и безвозвратно, как отдают что-либо своим детям; та малость добра, которую я вложил в него, больше не принадлежит мне; оно может знать много вещей, которых я больше не знаю, и воспринять от меня то, чего я не сохранил, и что я, в случае надобности, должен буду, как совершенно постороннее лицо, заимствовать у него. Если я мудрее его, то оно богаче, чем я.

Немного найдется таких приверженцев к поэзии людей, которые не сочли бы для себя большим счастьем быть отцами «Энеиды», чем самого красивого юноши в Риме, и которые не примирились бы легче с утратой последнего, чем с утратой «Энеиды». Ибо, по словам Аристотеля, из всех творцов именно поэты больше всего влюблены в свои творения. Трудно поверить, чтобы Эпаминонд, хвалившийся, что он оставляет после себя всего лишь двух дочерей, но таких, которые в будущем окружат почетом имя их отца (этими дочерьми были две славные его победы над спартанцами), согласился обменять их на самых красивых девушек во всей Греции; и так же трудно представить себе, чтобы Александр Македонский или Цезарь согласились когда-нибудь отказаться от

величия своих славных военных подвигов ради того, чтобы иметь детей и наследников, сколь бы совершенными и замечательными они ни были. Я сильно сомневаюсь также, чтобы Фидий или какой-нибудь другой выдающийся ваятель был более озабочен благополучием и долголетием своих детей, чем сохранностью какого-нибудь замечательного своего произведения, художественного совершенства которого он добился в результате длительного изучения и неустанных трудов. Даже если вспомнить о тех порочных и неистовых страстях, которые вспыхивают иногда у отцов к своим дочерям или же у матерей к сыновьям, то и такие страсти загораются иной раз по отношению к духовным созданиям; примером может служить то, что рассказывают о Пигмалионе, который, создав статую женщины поразительной красоты, столь страстно влюбился в свое творение, что, снисходя к его безумию, боги оживили ее для него:

> *Tentatum mollescit ebur, positoque rigore*
> *Subsedit digitis*[283].

---

[283] Примечания: 283

Слоновая кость, к которой он прикасается, размягчается, утрачивает свою твердость и поддается под пальцами (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы*, X, 283.

Глава IX
О парфянском вооружении

Дурным обыкновением дворянства нашего времени, свидетельствующим о его изнеженности, является то, что оно облачается в доспехи лишь в момент крайней необходимости и снимает их тотчас же, как только появляются малейшие признаки того, что опасность миновала. Это ведет ко всякого рода непорядкам, ибо в результате того, что все бросаются к своему оружию лишь в момент боя, получается, что одни только еще облачаются в броню, когда их соратники уже разбиты. Наши отцы предоставляли оруженосцам нести только их шлем, копье и рукавицы, сохраняя на себе все остальное снаряжение до окончания военных действий. В наших войсках в настоящее время царит сильнейшая путаница из-за скопления боевого снаряжения и слуг, которые не могут отдаляться от своих господ, имея на руках их вооружение.

Тит Ливий писал про наших предков: «Intolerantissima laboris corpora vix arma humeris

gerebant»[284].

Многие народы в старину шли в бой — а некоторые идут еще и сейчас — совсем без оборонительного оружия или очень легко прикрытыми.

> *Tegmina gueis capitum raptus de subere cortex*[285].

Александр Македонский, храбрейший из всех полководцев, облачался в броню лишь в очень редких случаях, и те из них, кто пренебрегает латами, ненамного ухудшают этим свое положение. Если и случается человеку погибнуть из-за того, что на нем не было брони, то чаще бывало, что она оказывалась помехой и человек погибал, не в силах высвободиться из нее, либо придушенный ее тяжестью, либо скованный ею в своих движениях, либо еще как-нибудь иначе. При виде тяжести и толщины наших лат может показаться, что мы только и думаем, как бы защитить себя, но в действительности они больше обременяют нас, чем защищают. Мы заняты тем, что тащим на себе этот груз, спутанные и стес-

---

[284] Примечания: 284

Совершенно неспособные переносить физическую усталость, они с трудом влачили на себе доспехи (*лат.*). Тит Ливий, X, 28.

[285] Примечания: 285

Головы их защищены шлемами из коры пробкового дерева (*лат.*). *Энеида*, VII, 742.

ненные, как если бы наша задача заключалась в том, чтобы бороться с нашим оружием, которое на деле должно было бы нас защищать.

Тацит забавно описывает наших древних галльских воинов, которые были так тяжело вооружены, что только-только были в силах держаться на ногах, будучи не в состоянии ни защищаться, ни нападать, ни даже подняться, когда они бывали опрокинуты. Лукулл, заметив, что некоторые воины-мидийцы, составлявшие передовую линию в армии Тиграна, были столь тяжело и неуклюже вооружены, что казались заключенными в железную тюрьму, решил, что будет нетрудно их опрокинуть, и начал с этого свое нападение, увенчавшееся победой.

Я полагаю, что в настоящее время, когда в большой славе наши мушкетеры, будет сделано какое-нибудь изобретение, чтобы прикрыть и обезопасить нас стенами, и мы будем отправляться на войну, запертые в крепостях, подобных тем, которые древние укрепляли на спинах своих слонов.

Такого рода пожелание очень далеко от того, чего требовал Сципион Младший. Он сурово упрекал своих воинов за то, что они построили под водой западни в тех местах рва, через которые

солдаты осажденного им города могли совершать вылазки. Осаждающие должны думать о нападении, а не бояться, заявлял Сципион, справедливо опасаясь, чтобы эта предосторожность не усыпила бдительность его воинов.

Юноше, который однажды показывал Сципиону свой превосходный щит, он сказал: «Твой щит действительно хорош, сын мой, но римский воин должен больше полагаться на свою правую руку, чем на левую».

Тяжесть военного снаряжения невыносима для нас лишь потому, что мы не привыкли к ней.

L'husbergo in dosso haveano, e 1'elmo in testa,
Dui di quelli guerrier, de i quali io canto.
Ne notte o di, dopo ch'entraro in questa
Stanza, gli haveano mai messi da canto,
Che facile a portar comme la vesta
Era lor, perche in uso l'avean tanto[286].

Император Каракалла шел в походе впереди

---

[286] Примечания: 286

Двое из воинов, которых я воспеваю здесь, одеты были в кольчуги, а на головах у них были шлемы. С того мгновения, как они очутились в этой броне, они ни днем, ни ночью не снимали ее и до такой степени привыкли к ней, что носили ее как обыкновенную одежду (*ит.*). Ариосто. *Неистовый Роланд,* XII, 3.

своего войска в полном вооружении.

Римские пехотинцы не только имели на себе каску, щит и меч, — ибо, по словам Цицерона, они так привыкли иметь у себя на плечах оружие, что оно столь же мало стесняло их, как их собственные члены, — «arma enim membra militis esse dicunt»[287], но одновременно они еще несли на 15 дней продовольствия и несколько брусьев весом до 60 фунтов, необходимых им для устройства укрытий. С таким грузом солдаты Мария обязаны были за 5 часов пройти 5 миль или, в случае спешки, даже 6. Военная дисциплина была у них куда строже, чем у нас, и потому давала совсем иные результаты. В этой связи поразителен следующий случай: одного спартанского воина упрекали в том, что во время похода его видели однажды под крышей дома. Они были до такой степени приучены к трудностям, что считалось позором находиться под иным кровом, чем под открытым небом, и в любую погоду. Сципион Младший, перестраивая свои войска в Испании, отдал приказ, чтобы воины его ели только стоя и притом только сырое. При таких порядках мы недалеко ушли бы с нашими солдатами.

---

[287] Примечания: 287

Вооружение, говорят они, все равно что руки и ноги солдата (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* XI, 16.

Аммиан Марцеллин, воспитанный на войнах римлян, отмечает любопытную особенность вооружения у парфян, весьма отличную от системы римского вооружения. Они носили, сообщает он, броню, как бы сотканную из перышков, не стеснявшую их движений и вместе с тем столь прочную, что, попадая в нее, наши копья отскакивали от нее (это были чешуйки, которыми постоянно пользовались наши предки). В другом месте Марцеллин пишет: «Лошади у них были сильные и выносливые; сами всадники были защищены с головы до ног толстыми железными пластинами, так искусно прилаженными, что, когда надо было, они смещались. Можно было подумать, что это какие-то железные люди; на головах у них были надеты каски, в точности соответствовавшие форме и частям лица, настолько плотно пригнанные, что можно было поразить их только через маленькие круглые отверстия для глаз, пропускавшие свет, или через щели для ноздрей, через которые они с трудом дышали»:

Flexilis inductis animatur lamina membris
Horribilis visu; credas simulacra moveri
Ferrea, cognatoque viros spirare metallo,

Par vestitus equis: ferrata fronte minantur
Ferratosque movent, securi vulneris, armos[288].

Вот картина, которая очень напоминает описание снаряжения французского воина во всех доспехах.

Плутарх сообщает, что Деметрий приказал изготовить для себя и для Алкина, первого состоявшего при нем оруженосца, по сплошной броне для каждого, весом в сто двадцать фунтов, между тем как обычная броня весила всего шестьдесят фунтов.

[288] Примечания: 288

При взгляде на гибкий металл, получивший жизнь от тела, в него одетого, становится страшно: можно подумать, что это двигаются железные изваяния и что человек дышит через металл, сросшись с ним. Так же одеты и лошади; они угрожающе напирают своей железной грудью и передвигаются в полной безопасности под железным одеянием, прикрывающим их бока (*лат.*). Клавдиан. *Против Руфина,* II, 358.

Глава X
О книгах

Нет сомнения, что нередко мне случается говорить о вещах, которые гораздо лучше и правильнее излагались знатоками этих вопросов. Эти опыты — только проба моих природных способностей и ни в коем случае не испытание моих познаний; и тот, кто изобличит меня в невежестве, ничуть меня этим не обидит, так как в том, что я говорю, я не отвечаю даже перед собою, не то что перед другими, и какое-либо самодовольство мне чуждо. Кто хочет знания, пусть ищет его там, где оно находится, и я меньше всего вижу свое призвание в том, чтобы дать его. То, что я излагаю здесь, всего лишь мои фантазии, и с их помощью я стремлюсь дать представление не о вещах, а о себе самом; эти вещи я, может быть, когда-нибудь узнаю или знал их раньше, если случайно мне доводилось найти разъяснение их, но я уже не помню его.

Если я и могу иной раз кое-что усвоить, то уже совершенно не способен запомнить прочно. Поэтому я не могу поручиться за достоверность

моих познаний и в лучшем случае могу лишь определить, каковы их пределы в данный момент. Не следует обращать внимание на то, какие вопросы я излагаю здесь, а лишь на то, как я их рассматриваю.

Пусть судят на основании того, что я заимствую у других, сумел ли я выбрать то, что повышает ценность моего изложения. Ведь я заимствую у других то, что не умею выразить столь же хорошо либо по недостаточной выразительности моего языка, либо по слабости моего ума. Я не веду счета моим заимствованиям, а отбираю и взвешиваю их. Если бы я не хотел, чтобы о ценности этих цитат судили по их количеству, я мог бы вставить их в мои писания вдвое больше. Они все, за очень небольшими исключениями, принадлежат столь выдающимся и древним авторам, что сами говорят за себя. Я иногда намеренно не называю источник тех соображений и доводов, которые я переношу в мое изложение и смешиваю с моими мыслями, так как хочу умерить пылкость поспешных суждений, которые часто выносятся по отношению к недавно вышедшим произведениям еще здравствующих людей, написанным на французском языке, о которых всякий берется судить, воображая себя достаточно в этом деле

сведущим. Я хочу, чтобы они в моем лице поднимали на смех Плутарха или обрушивались на Сенеку. Я хочу прикрыть свою слабость этими громкими именами. Я приветствовал бы того, кто сумел бы меня разоблачить, то есть по одной лишь ясности суждения, по красоте и силе выражений сумел бы отличить мои заимствования от моих собственных мыслей. Ибо, хотя за отсутствием памяти мне самому зачастую не под силу различить их происхождение, я все же, зная мои возможности, очень хорошо понимаю, что роскошные цветы, рассеянные в разных местах моего изложения, отнюдь не принадлежат мне и неизмеримо превосходят мои собственные дарования.

Я обязан дать ответ, есть ли в моих писаниях такие недостатки, которых я не понимаю или не способен понять, если мне их покажут. Ошибки часто ускользают от нашего взора, но если мы не в состоянии их заметить, когда другой человек нам на них указывает, то это свидетельствует о том, что не способны рассуждать здраво. Мы можем, не обладая способностью суждения, обладать и знанием и истиной, но и суждение со своей стороны может обходиться без них; больше того: признаваться в незнании, на мой взгляд,

одно из лучших и вернейших доказательств наличия разума. У меня нет другого связующего звена при изложении моих мыслей, кроме случайности. Я излагаю свои мысли по мере того, как они у меня появляются; иногда они теснятся гурьбой, иногда возникают по очереди, одна за другой. Я хочу, чтобы виден был естественный и обычный ход их, во всех зигзагах. Я излагаю их так, как они возникли; поэтому здесь нет таких вопросов, которых нельзя было бы не знать или о которых нельзя было бы говорить случайно и приблизительно.

Я, разумеется, хотел бы обладать более совершенным знанием вещей, чем обладаю, но я знаю, как дорого обходится знание, и не хочу покупать его такой ценой. Я хочу провести остаток своей жизни спокойно, а не в упорном труде. Я не хочу ломать голову ни над чем, даже ради науки, какую бы ценность она ни представляла. Я не ищу никакого другого удовольствия от книг, кроме разумной занимательности, и занят изучением только одной науки, науки самопознания, которая должна меня научить хорошо жить и хорошо умереть:

Has

meus ad metas sudet oportet equus[289].

Если я при чтении натыкаюсь на какие-нибудь трудности, я не бьюсь над разрешением их, а, попытавшись разок-другой с ними справиться, прохожу мимо.

Если бы я углубился в них, то потерял бы только время и сам потонул бы в них, ибо голова моя устроена так, что я обычно усваиваю с первого же чтения, и то, чего я не воспринял сразу, я начинаю понимать еще хуже, если упорно бьюсь над этим. Я все делаю весело, упорство же и слишком большое напряжение действуют на мой ум удручающе, утомляют и омрачают его. При вчитывании я начинаю хуже видеть, и внимание мое рассеивается. Мне приходится отводить глаза от текста и опять внезапно взглядывать на него; совершенно так же, как для того, чтобы судить о красоте алого цвета, нам рекомендуют несколько раз скользнуть по нему глазами, неожиданно отворачиваясь и взглядывая опять.

Если данная книга меня раздражает, я выбираю другую и погружаюсь в чтение только в те часы, когда меня начинает охватывать тоска от

---

[289] Примечания: 289

Надо, чтобы мой конь напряг все силы для достижения этой цели (*лат.*). Проперций, IV, 1, 70.

безделья.

Я редко читаю новых авторов, ибо древние кажутся мне более содержательными и более тонкими, однако не берусь при этом за греческих авторов, ибо мое знание греческого языка не превышает познаний ребенка или ученика.

К числу книг просто занимательных я отношу из новых — «Декамерон» Боккаччо, Рабле и «Поцелуи» Иоанна Секунда, если их можно поместить в эту рубрику. Что касается Амадиса и сочинений в таком роде, то они привлекали мой интерес только в детстве. Скажу еще — может быть, смело, а может, безрассудно, — что моя состарившаяся и отяжелевшая душа нечувствительна больше не только к Ариосто, но и к доброму Овидию: его легкомыслие и прихоти фантазии, приводившие меня когда-то в восторг, сейчас не привлекают меня.

Я свободно высказываю свое мнение обо всем, даже о вещах, превосходящих иногда мое понимание и совершенно не относящихся к моему ведению. Мое мнение о них не есть мера самих вещей, оно лишь должно разъяснить, в какой мере я вижу эти вещи. Когда во мне вызывает отвращение, как произведение слабое, «Аксиох» Платона, то, учитывая имя автора, мой ум

не доверяет себе: он не настолько глуп, чтобы противопоставлять себя авторитету стольких выдающихся мужей древности, которых он считает своими учителями и наставниками и вместе с которыми он готов ошибаться. Он ополчается на себя и осуждает себя либо за то, что останавливается на поверхности явления, не в силах проникнуть в самую его суть, либо за то, что рассматривает его в каком-то ложном свете. Мой ум довольствуется тем, чтобы только оградить себя от неясности и путаницы, что же касается его слабости, то он охотно признает ее. Он полагает, что дает правильное истолкование явлениям, вытекающим из его понимания, но они нелепы и неудовлетворительны. Большинство басен Эзопа многосмысленны и многообразны в своем значении. Те, кто истолковывает их мифологически, выбирают какой-нибудь образ, который хорошо вяжется с басней, но для многих это лишь первый попавшийся и поверхностный образ; есть другие более яркие, более существенные и глубокие образы, до которых они не смогли добраться: так же поступаю и я.

Однако, возвращаясь к прерванной нити изложения, скажу: мне всегда казалось, что в поэзии издавна первое место занимают Вергилий, Лукре-

ций, Катулл и Гораций, в особенности «Георгики» Вергилия, которые я считаю самым совершенным поэтическим произведением; при сравнении их с «Энеидой» нетрудно убедиться, что в ней есть места, которые автор, несомненно, еще отделал бы, если бы у него был досуг. Наиболее совершенной мне представляется пятая книга «Энеиды». Люблю я также Лукана и охотно его читаю; я не так ценю его стиль, как его самого, правильность его мнений и суждений. Что касается любезного Теренция, нежной прелести и изящества его латинского языка, то я нахожу, что он превосходен в верном изображении душевных движений и состояния нравов; наши поступки то и дело заставляют меня возвращаться к нему. Сколько бы раз я его ни читал, я всегда нахожу в нем новую прелесть и изящество. Люди времен, близких к Вергилию, жаловались на то, что некоторые сравнивали его с Лукрецием. Я нахожу, что это действительно неравные величины, и особенно укрепляюсь в этом убеждении, когда вчитываюсь в какой-нибудь прекрасный стих Лукреция. Но если этих людей обижало сравнение Вергилия с Лукрецием, то что сказали бы они о варварской глупости тех, кто в настоящее время сравнивает Вергилия с Ариосто, и что сказал бы по этому

поводу сам Ариосто?

O saeculum insipiens et infacetum![290]

Я полагаю, что древние имели еще больше оснований обижаться на тех, кто равнял с Плавтом Теренция (ибо последний гораздо утонченнее), чем на тех, кто сравнивал Лукреция с Вергилием. Для истинной оценки Теренция и признания его превосходства важно отметить то, что только его — и никого другого из его сословия — постоянно цитирует отец римского красноречия, и большое значение имеет тот приговор, который вынес Теренцию первый судья среди римских поэтов. Мне часто приходило на ум, что в наше время те, кто берется сочинять комедии, — как, например, итальянцы, у которых есть в этой области большие удачи, — заимствуют три-четыре сюжета из комедий Теренция или Плавта и пишут на этой основе свои произведения. В одной комедии они нагромождают пять-шесть новелл Боккаччо. Такой способ добычи материала для своих писаний объясняется тем, что они не доверяют своим собственным дарованиям; им необходимо нечто прочное, на что они могли бы опереться, и, не

[290] Примечания: 290
О неразумный и неизящный век! (*лат.*) *Катулл,* XLIII, 8.

имея ничего своего, чем они могли бы нас привлечь, они хотят заинтересовать нас новеллой. Нечто обратное видим мы у Теренция: перед совершенством его литературной манеры бледнеет интерес к его сюжету; его изящество и остроумие все время приковывают наше внимание, он всегда так занимателен и так восхищает нашу душу своим талантом, что мы забываем о достоинствах его фабулы.

Liquidus puroque simillimus amni[291].

Это мое соображение приводит меня к другому замечанию. Я вижу, что прекрасные античные поэты избегали не только напыщенности и причудливой выспренности испанцев или петраркистов, но даже тех умеренных изощренностей, которые являются украшением всех поэтических творений позднейшего времени. Всякий тонкий знаток сожалеет, встречая их у античного поэта, и несравненно больше восхищается цветущей красотой и неизменной гладкостью эпиграмм Катулла, чем теми едкими остротами, которыми Марциал уснащает концовки своих эпиграмм. Это и побудило меня

---

[291] Примечания: 291
Ясен, подобен чистому ручью (*лат.*). Гораций. *Послания,* II, 2, 120.

высказать выше то же соображение, которое Марциал высказывал применительно к себе, а именно: minus illi ingenio laborandum fuit, in cuius locum materia successerat[292]. Поэты первого рода без всякого напряжения и усилий легко проявляют свой талант: у них всегда есть над чем посмеяться, им не нужно щекотать себя, поэты же другого толка нуждаются в посторонней помощи. Чем у них меньше таланта, тем важнее для них сюжет. Они норовят ездить верхом на коне, потому что чувствуют себя недостаточно твердо на собственных ногах. Точно так же у нас на балах люди простого звания, не обладая хорошими манерами дворянства, стараются отличиться какими-нибудь рискованными прыжками или другими необычными движениями и фокусами. Подобно этому и дамы лучше умеют держаться при таких танцах, где есть различные фигуры и телодвижения, чем во время торжественных танцев, когда им приходится только двигаться естественным шагом, сохраняя свое обычное изящество и умение непринужденно держаться. Мне приходилось равным образом видеть, как превосходные шуты, оставаясь в своем обычном

[292] Примечания: 292

Не приходилось делать больших усилий там, где ум заменен был сюжетом (*лат.*). Марциал. Предисловие к VIII книге.

платье и ничем не отличаясь в своих манерах от прочих людей, доставляли нам все то удовольствие, какое только может давать их искусство, между тем как ученикам и тем, кто не имеет такой хорошей выучки, чтобы нас рассмешить, приходилось пудрить себе лицо, напяливать какой-нибудь наряд и корчить страшные рожи. В правильности высказанного мною выше суждения можно лучше всего убедиться, если сравнить «Энеиду» с «Неистовым Роландом». Стих Вергилия уверенно парит в высоте и неизменно следует своему пути; что же касается Тассо, то он перепархивает с одного сюжета на другой, точно с ветки на ветку, полагаясь на свои крылья лишь для очень короткого перелета, и делает остановки в конце каждого эпизода, боясь, что у него слишком короткое дыхание и не хватит сил:

Excursusque breves tentat[293].

Вот авторы, которые мне больше всего нравятся в этих литературных жанрах.

Что же касается другого круга моего чтения, при котором удовольствие сочетается с несколько большей пользой, — так как с помощью этих

---

[293] Примечания: 293

Решаясь только на короткие перелеты (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* IV, 194.

книг я учусь развивать свои мысли и понятия, — то сюда относятся произведения Плутарха — с тех пор как он переведен на французский язык — и Сенеки. Оба эти автора обладают важнейшим для меня достоинством: та наука, которую я в них ищу, дана у них не в систематическом изложении, а в отдельных очерках, поэтому для одоления их не требуется упорного труда, к которому я не способен. Таковы мелкие произведения Плутарха и «Письма» Сенеки, составляющие лучшую и наиболее полезную часть их творений. Мне не надо делать никаких усилий, чтобы засесть за них, и я могу оборвать чтение, где мне захочется, ибо отдельные части этих произведений не связаны друг с другом. Оба эти автора сходятся в ряде своих полезных и правильных взглядов; сходна во многом и их судьба: оба они родились почти в одном веке, оба были наставниками двух римских императоров, оба были выходцами из иных стран, были богаты и могущественны. Их учение — это сливки философии, преподнесенной в простой и доступной форме. Плутарх более единообразен и постоянен, Сенека более изменчив и гибок. Сенека прилагает усилия, упорствует и стремится вооружить добродетель против слабости, страха и порочных

склонностей, между тем как Плутарх не придает им такого значения, он не желает из-за этого торопиться и вооружаться. Плутарх придерживается взглядов Платона, терпимых и подходящих для гражданского общества. Сенека же — сторонник стоических и эпикурейских воззрений, значительно менее удобных для общества, но, по-моему, более пригодных для отдельного человека и более стойких. Похоже на то, что Сенека до известной степени порицает тиранию императоров своего времени, ибо когда он осуждает дело благородных убийц Цезаря, то я убежден, что с его стороны это суждение вынужденное; Плутарх же всегда свободен в своих высказываниях. Писания Сенеки пленяют живостью и остроумием, писания Плутарха — содержательностью. Сенека вас больше возбуждает и волнует, Плутарх вас больше удовлетворяет и лучше вознаграждает. Плутарх ведет нас за собой, Сенека нас толкает.

Что касается Цицерона, то для моей цели могут служить те из его произведений, которые трактуют вопросы так называемой нравственной философии. Но, говоря прямо и откровенно (а ведь когда стыд преодолен, то больше себя не сдерживаешь), его писательская манера мне представляется скучной, как и всякие другие

писания в таком же роде. Действительно, подразделения, предисловия, определения, всякого рода этимологические тонкости занимают большую часть его писаний, и та доля сердцевины и существенного, что в них имеется, теряется из-за этих длинных приготовлений. Когда я, потратив час на чтение его, — что для меня много, — начинаю перебирать, что я извлек из него путного, то в большинстве случаев обнаруживаю, что ровным счетом ничего, ибо он еще не перешел к обоснованию своих положений и не добрался до того узлового пункта, который я ищу. Для меня, который хочет стать только более мудрым, а не более ученым или красноречивым, эти логические и аристотелевские подразделения совершенно ни к чему: я хочу, чтобы начинали с последнего, самого важного пункта; я достаточно понимаю, что такое наслаждение и что такое смерть, — пусть не тратят времени на копанье в этом: я ищу прежде всего убедительных, веских доводов, которые научили бы меня справляться с этими вещами. Ни грамматические ухищрения, ни остроумные словосочетания и тонкости здесь ни к чему: я хочу суждений, которые затрагивали бы самую суть дела, между тем как Цицерон ходит вокруг да около. Его манера хороша для школы,

для адвокатской речи, для проповеди, когда мы можем себе позволить вздремнуть немного и еще через четверть часа вполне успеем уловить нить изложения. Так следует разговаривать с судьями, которых не мытьем, так катаньем хотят склонить на свою сторону, с детьми и с простым народом, которому надо рассказывать обо всем, чтобы его пронять. Я не хочу, чтобы старались подстрекнуть мое внимание и пятьдесят раз кричали мне по примеру наших глашатаев: «Слушайте!» Римляне провозглашали в своих молитвах: «Hoc age!»[294], что соответствует нашему «Sursum corda!» — это тоже для меня совершенно излишние слова. Я приступаю к делу, будучи вполне готов: мне не нужно ни лакомой приманки, ни соуса, я охотно ем готовое мясо, а эти подготовки и вступления не только не возбуждают моего аппетита, а, наоборот, ослабляют и утомляют его.

Не послужит ли распущенность нашего века достаточным оправданием моего святотатства, если я позволю себе сказать, что нахожу также тягучими диалоги самого Платона? Ведь даже у него предмет исследования слишком заслонен формой изложения, и мне жаль, что этот человек,

---

[294] Примечания: 294
Делай это! (*лат.*)

который мог сказать столько замечательных вещей, тратил свое время на эти длинные, ненужные подготовительные разговоры. Мое невежество послужит мне извинением в том, что я ничего не понимаю в красоте его языка.

Я вообще отдаю предпочтение книгам, которые используют достижения наук, а не тем, которые созидают сами эти науки.

Писания Плутарха и Сенеки, а также Плиния и им подобных отнюдь не пестрят этими «Hoc age!»; они хотят иметь дело с людьми, которые сами себя предупредили, а в тех случаях, когда в них содержится такое «Hoc age!», оно относится к существу дела и имеет особое оправдание.

Я охотно читаю также «Письма к Аттику» Цицерона, и не только потому, что они содержат обширные сведения о делах и событиях его времени, но гораздо более потому, что в них раскрываются частные дела самого Цицерона. А я обладаю — как я указывал уже в другом месте — особого рода любопытством: я стремлюсь узнать душу и сокровенные мысли моих авторов. По тем писаниям, которые они отдают на суд света, следует судить об их дарованиях, но не о них самих и их нравах. Тысячи раз сожалел я о том, что до нас не дошла книга Брута о добродетели:

ведь так интересно узнать теорию тех, кто силен в практике. Но поскольку одно дело проповедь, а другое — проповедник, то мне столь же приятно познакомиться с Брутом по рассказу Плутарха, как и по его собственной книге. Я скорее предпочел бы знать доподлинно разговоры, которые он вел в своей палатке с кем-нибудь из частных лиц накануне сражения, чем речь, которую он держал перед армией на следующий день после него, и я больше хотел бы знать, что он делал в своем кабинете и в своей спальне, чем то, что он делал на площади и в сенате.

Что касается Цицерона, то я держусь того распространенного о нем мнения, что, кроме учености, в нем не было ничего особенно выдающегося; он был добрым и благонравным гражданином, какими часто бывают толстяки и говоруны, — каков он и был в действительности, — но что касается внутренней слабости и честолюбивого тщеславия, то, по правде признаться, этим он обладал в избытке. Я не знаю, чем можно извинить то, что он считал возможным опубликовать свои стихи. Нет большой беды в том, чтобы писать плохие стихи, но то, что он не понимал, насколько они недостойны славы его имени, свидетельствует о недостатке ума. Что касается

его красноречия, то оно вне всякого сравнения; я думаю, что никто никогда в этом отношении ему не уподобится. Когда Цицерон Младший, походивший на своего отца только тем, что носил то же имя, служил в Азии, однажды к нему, среди многих других гостей, затесался Цестий, сидевший у самого края стола, как это бывает на открытых пирах вельмож. Цицерон спросил, кто это, у одного из своих слуг, который сообщил ему, что это Цестий. Но когда Цицерон, который занят был другим и забыл, что ему ответили, еще два или три раза переспросил об этом слугу, тот, чтобы избавиться от необходимости повторять ему по нескольку раз одно и то же и желая указать какую-нибудь примету, сказал: «Это тот самый Цестий, о котором вам говорили, что он не очень-то ценит красноречие вашего отца по сравнению со своим собственным». Уязвленный этим, Цицерон приказал схватить несчастного Цестия и выпороть его в своем присутствии. Вот пример поистине неучтивого хозяина. Однако даже среди тех, кто в числе прочих вещей ценил несравненное цицероновское красноречие, были люди, отмечавшие в нем недостатки; так, например, друг Цицерона великий Брут говорил, что это было «волочащееся и спотыкающееся» крас-

норечие, fractam et elumbem. Ораторы, близкие к нему по времени, переняли у него манеру делать длинную паузу в конце отрывка и употреблять слова «esse videatur»[295], которыми он так часто пользовался. Что касается меня, то я предпочитаю более короткие фразы с ямбической каденцией. Иногда он примешивает и резче звучащие фразы, хотя и редко. Я обратил внимание на то, как звучит, например, следующее место: «Ego vero me minus diu senem esse mallem, quam esse senem, antequam essem»[296].

Историки составляют мое излюбленное чтение, занимательное и легкое; тем более что человек вообще, к познанию которого я стремлюсь, выступает в их писаниях в более ярком и более цельном освещении, чем где бы то ни было; мы видим разнообразие и действительность его внутренних свойств как в целом, так и в подробностях, многообразие средств, которыми он пользуется, и бедствий, которые ему угрожают. Больше всего мне по душе авторы жизнеописаний: их прельщает не само событие, а его подоплека, они

---

[295] Примечания: 295

Надо полагать (*лат.*).

[296] Примечания: 296

Я предпочитаю недолго быть старым, нежели состариться до наступления старости (*лат.*). Цицерон. *О старости*, 10.

задерживаются на том, что происходит внутри, а не на том, что совершается снаружи. Вот почему Плутарх — историк во всех отношениях в моем вкусе. Мне очень жаль, что у нас нет десятка Диогенов Лаэрциев или нет хотя бы одного более пространного и объемистого. Ибо меня в не меньшей степени интересует судьба и жизнь этих великих наставников человечества, чем их различные учения и взгляды.

В области истории следует знакомиться со всякого рода авторами, и старыми и новыми, и французскими и иноземными, чтобы изучать вещи в различном освещении, которое каждый из них дает. Но особенно достойным изучения представляется мне Цезарь, и не только ради знакомства с историей, но и ради него самого, настолько он превосходит всех других авторов, хотя Саллюстий относится к тому же числу. Признаюсь, я читаю Цезаря с несколько большим благоговением и подчинением, чем обычно читаются человеческие произведения; иногда сквозь его действия я вижу его самого и постигаю тайну его величия; иногда я восхищаюсь чистотой и неподражаемой легкостью его слога, в чем он не только превзошел, как признает Цицерон, всех историков, но и самого Цицерона. С большой

искренностью судит Цезарь о своих врагах, и я думаю, что кроме прикрас, которыми он старается прикрыть неправое свое дело и свое пагубное честолюбие, его можно упрекнуть только в том, что он слишком скупо говорит о себе. Ведь все эти великие дела не могли быть им выполнены без большей доли его участия, чем он изображает.

Я люблю историков либо весьма простодушных, либо проницательных. Простодушные историки, которые не вносят в освещение событий ничего своего, а заняты лишь тем, чтобы тщательно собрать все дошедшие до них сведения и добросовестно записать все события без всякого отбора, всецело предоставляют познание истины нам самим. Таков, например, в числе прочих, добрейший Фруассар, который подходит к своему делу с такой откровенной наивностью, что, совершив ошибку, отнюдь не боится ее признать и исправить там, где ее заметил; он приводит подряд самые разнообразные слухи об одном и том же событии или противоречивые объяснения, которые до него доходили. История Фруассара — это сырой и необработанный материал, который всякий может использовать по-своему, в меру своего понимания. Проницательные историки умеют отобрать то, что достойно быть отмеченным;

они способны выбрать из двух известий более правдоподобное; кроме того, они объясняют решения государей их характером и положением и приписывают им соответствующие речи. Они правы, ставя своей задачей склонять нас к своим взглядам, но, разумеется, на это способны лишь немногие. Историки, занимающие промежуточную позицию (а это наиболее распространенная разновидность их), все портят: они стремятся разжевать нам отрывочные данные, они присваивают себе право судить и, следовательно, направлять ход истории по своему усмотрению, ибо, если суждение историка однобоко, то он не может предохранить свое повествование от извращения в том же направлении. Такого рода историки занимаются отбором фактов, достойных быть отмеченными, и часто скрывают от нас то или иное слово или частное действие, которые могли бы объяснить нам значительно больше; они опускают, как вещи невероятные, то, чего не понимают, а иногда опускают кое-что, может быть, просто потому, что не умеют выразить этого на хорошем латинском или французском языке. Пусть они смело выставляют напоказ свое слабое красноречие и свои рассуждения, пусть высказывают какие угодно суждения, но пусть

оставят и нам возможность судить после них, пусть они не искажают своими сокращениями и своим отбором исторический материал, ничего из него не изымают, а предоставят нам его в полном объеме и в нетронутом виде.

Большей частью, в особенности в наше время, в качестве историков выбираются люди из простонародья единственно на том основании, что они хорошо владеют пером, как если бы мы стремились научиться у них грамматике! А они, заботясь лишь об этой стороне дела, по-своему правы, поскольку они продают только свое умение болтать, и им платят деньги именно за это. Поэтому, жонглируя красивыми словами, они преподносят набор всяких слухов, собранных ими на городских перекрестках. Единственно доброкачественные исторические сочинения были написаны людьми, которые сами вершили эти дела, либо причастны были к руководству ими, или теми, на долю которых выпало по крайней мере вести другие подобного же рода дела. Таковы почти все исторические сочинения, написанные греческими и римскими авторами. И так как о тех же делах писали многие очевидцы (как водилось в те времена, когда и знания, и высокое положение обычно сочетались в одном

лице), то если у них и встретится какая-нибудь ошибка, она должна быть очень незначительна и относиться к какому-нибудь весьма неясному случаю. Но чего можно ждать от врача, пишущего о делах войны, или от ученика, излагающего планы государей? Достаточно привести один пример, чтобы убедиться, насколько щепетильны были в своих писаниях римские авторы. Азиний Поллион обнаружил кое-какие неточности даже в исторических работах самого Цезаря; Цезарь допустил их либо потому, что не мог своими глазами уследить за всем, что происходило во всех частях его армии, и полагался на отдельных людей, нередко сообщавших ему недостаточно проверенные факты, либо потому, что его приближенные не вполне точно осведомляли его о делах, которые они вели в его отсутствие. На этом примере можно убедиться, до чего тонкое дело установление истины, раз при описании какого-нибудь сражения нельзя положиться на донесение того, кто им руководил, или на рассказ солдат о том, что происходило около них, а надо сопоставить — как это делается при судебном разбирательстве — показания свидетелей и учитывать возражения, даже по поводу мельчайших подробностей в каждом случае. Надо признать,

что наши познания в нашей собственной истории весьма слабы. Но об этом достаточно писал Боден в том же духе, что и я.

Чтобы помочь делу с моей плохой памятью, которая так изменяла мне, что мне приходилось не раз брать в руки как совершенно новые и неизвестные мне книги, которые несколько лет тому назад я тщательно читал и испещрил своими замечаниями, я с недавнего времени завел себе привычку отмечать в конце всякой книги (я имею в виду книги, которые я хочу прочитывать только один раз) дату, когда я закончил ее читать, и в общих чертах суждение, которое я о ней вынес, чтобы иметь возможность на основании этого по крайней мере припомнить общее представление, которое я составил себе о данном авторе, читая его. Я хочу здесь привести некоторые из этих заметок.

Вот что я записал около десяти лет тому назад на моем экземпляре Гвиччардини (ибо на каком бы языке книги ни говорили со мной, я всегда говорю с ним на моем языке): «Вот добросовестный историк, у которого, по-моему, с большей точностью, чем у кого бы то ни было, можно узнать истинную сущность событий его времени; к тому же в большинстве из них он сам принимал

участие и состоял в высоких чинах. Совершенно не похоже на то, чтобы он из ненависти, лести или честолюбия искажал факты: об этом свидетельствуют его независимые суждения о сильных мира сего, и в частности о тех, которые выдвигали и назначали его на высокие посты, как, например, о папе Клименте VII. Что касается той его особенности, которую он как будто желал вменить себе в наибольшую заслугу, а именно его отступлений и речей, то среди них есть меткие и удачные, но он чересчур увлекался ими: действительно, стараясь ничего не упустить и имея дело с таким обширным и почти необъятным материалом, он становится многословным и несколько болтливым на школьный манер. Я обратил также внимание на то, что о каких бы людях и делах, о каких бы действиях и замыслах он ни судил, он никогда не выводит их ни из добродетели, ни из благочестия и совести — как если бы этих вещей вовсе не существовало — и объясняет все поступки, какими бы совершенными они ни казались сами по себе, либо какой-нибудь выгодой, либо порочными побуждениями. Однако нельзя себе представить, чтобы среди всех тех бесчисленных действий, о которых он судит, не было хоть каких-нибудь продиктованных разумом. Никакое

разложение не может охватить настолько всех без исключения людей, чтобы не осталось ни одного не затронутого им человека; это вызывает у меня опасение, нет ли у Гвиччардини какого-то порока в этом его пристрастии и не судит ли он о других по себе».

В моем Филиппе де Коммине записано следующее: «Вы найдете у него изящный и приятный стиль, отличающийся простотой и непосредственностью; неприкрашенное повествование, сквозь которое явно просвечивает добросовестность автора, свободного от тщеславия, когда он говорит о себе, и от зависти и пристрастия, когда он говорит о других; его рассуждения и увещания проникнуты скорее искренностью и добрыми побуждениями, чем каким-нибудь выдающимся талантом; и на всем изложении лежит отпечаток авторитетности и значительности, свидетельствующих о высоком положении автора и его опыте в ведении больших дел».

В мемуарах братьев Дю Белле я записал: «Всегда приятно читать изложение событий в описаниях тех, кто пытался ими руководить, но нельзя не признать, что обоим авторам мемуаров очень недостает той искренности и независимости в суждениях, присущих старым авторам подобного

рода мемуаров, как, например, сиру Жуанвилю, слуге Людовика Святого, или приближенному Карла Великого, Эгингарду, или же Филиппу де Коммину, если взять автора более близкого по времени. Мемуары Дю Белле — это не история, а скорее апология Франциска I, направленная против Карла V. Я не хочу допустить, что они исказили самый смысл событий, но они весьма искусны в том, чтобы, нередко вопреки истине, истолковывать события в нашу пользу и скрывать все щекотливые моменты, касающиеся их повелителя; так, например, ни одним словом не упомянуты отступления Монморанси и Бриона, отсутствует даже самое имя госпожи д'Этамп. Можно умалчивать о тайных делах, но не говорить о том, что всем известно, и о вещах, которые повлекли за собой последствия большой государственной важности, — непростительный недостаток. Словом, чтобы составить себе полное представление о Франциске I и о событиях его времени, следует, по-моему, обратиться к какому-нибудь другому источнику; мемуары же братьев Дю Белле могут быть полезны вот в каком отношении: в них можно найти любопытное описание тех сражений и военных походов, в которых оба эти сеньора принимали участие; со-

общения о некоторых речах и частных поступках современных им государей и, наконец, известия о сношениях и переговорах, которые вел сеньор де Ланже; в них содержится множество сведений, заслуживающих известности, и некоторые незаурядные суждения».

Глава XI
О жестокости

Мне кажется, что добродетель есть нечто иное и более благородное, чем проявляющаяся в нас склонность к добру. Люди по природе своей добропорядочные и с хорошими задатками идут тем же путем и поступают так же, как люди добродетельные. Но добродетель есть нечто большее и более действенное, чем способность тихо и мирно, в силу счастливого нрава, подчиняться велениям разума. Тот, кто по природной кротости и обходительности простил бы нанесенные ему обиды, поступил бы прекрасно и заслуживал бы похвалы; но тот, кто, задетый за живое и разъяренный, сумел бы вооружиться разумом и после долгой борьбы одолеть неистовую жажду мести и выйти победителем, совершил бы, несомненно, нечто большее. Первый поступил бы хорошо, второй же — добродетельно; первый поступок можно назвать добрым, второй — добродетельным, ибо мне кажется, что понятие добродетели предполагает трудность и борьбу и что добродетель не может существовать без

противодействия. Ведь не случайно мы называем Бога добрым, всемогущим, благим и справедливым, но мы не называем его добродетельным, ибо все его действия непринужденны и совершаются без всяких усилий. Многие философы — и не только стоики, но и эпикурейцы — близки к такому пониманию добродетели. Я объединяю тех и других вопреки общераспространенному мнению, которое ложно, как бы ни расценивать остроумный ответ, данный Аркесилаем тому, кто упрекал его в том, что многие переходят из его школы к эпикурейцам, но никогда от эпикурейцев к стоикам. «Согласен! — ответил Аркесилай. — Многие петухи превращаются в каплунов, но каплуны никогда не становятся петухами». И действительно, по части твердости взглядов и строгости наставлений эпикурейцы отнюдь не уступают стоикам, если быть в отношении их добросовестными и не подражать тем спорщикам, которые, стремясь одержать легкую победу над Эпикуром, приписывают ему то, чего он никогда и не думал, и выворачивают его слова наизнанку, злоупотребляя грамматикой и вкладывая в его фразы совсем другой смысл, чем тот, какой эти фразы (равно как и его дела, как им хорошо известно) на самом деле имели. Недаром некий стоик за-

являет, что он перестал быть эпикурейцем по той причине — в числе прочих, — что эпикурейцы идут слишком возвышенным, недоступным путем et ii qui φιλήδονοι vocantur, sunt φιλόκαλοι omnesque virtutes et colunt et retinent[297]. Итак, повторяю: из философов многие стоики и эпикурейцы считали, что недостаточно обладать душой благонамеренной, уравновешенной и склонной к добродетели, что недостаточно быть способным высказывать суждения и принимать решения, ставящие нас выше всех жизненных невзгод и превратностей, но что необходимо, кроме того, самому искать случаев примешать их на практике. Они хотели испытать боль, нужду, презрение, чтобы с ними бороться и сохранять душу в боевой готовности: multum sibi adicit virtus lacessita[298]. Вот одна из причин, побудившая Эпаминонда, принадлежавшего к третьей школе, отказаться от богатства, которое судьба послала ему в руки самым законным путем, ибо он хотел, по его собственному выражению, сражаться с

[297] Примечания: 297

И те, кого вы называете любителями наслаждений, на самом деле являются любителями прекрасного и честного, и они чтут и блюдут все добродетели (*лат.*). Цицерон. *Письма к близким,* XV, 19, 536.

[298] Примечания: 298

Добродетель возрастает, подвергаясь испытаниям (*лат.*). *Письма,* 13, 3.

бедностью, и прожил в нужде до конца своих дней. Сократ подвергал себя еще более жестокому, на мой взгляд, испытанию, поскольку таким испытанием являлась для него злоба жены; это, по-моему, равносильно упражнению с остро отточенным ножом. Метелл, единственный из римских сенаторов, решил подвергнуть испытанию свою добродетель, чтобы положить предел насилию народного трибуна Сатурнина, старавшегося всеми силами провести несправедливый закон в пользу плебеев. Приговоренный за это к изгнанию — каре, которую Сатурнин ввел против отказавшихся признать этот закон, — Метелл обратился к тем, кто сопровождал его в этот тяжкий для него час, со следующими словами: «Делать зло — вещь слишком легкая и слишком низкая; делать добро в тех случаях, когда с этим не сопряжено никакой опасности, — вещь обычная; но делать добро, когда это опасно, — таково истинное призвание добродетельного человека». Эти слова Метелла ясно подтверждают мою мысль о том, что добродетель не вяжется с отсутствием трудностей и что легкий, удобный и наклонный путь, по которому направляется хорошая природная склонность, это еще не есть путь истинной добродетели. Последняя требует

трудного и тернистого пути, она, как в случае с Метеллом, должна преодолевать либо внешние трудности, которыми судьба старается отвлечь ее от нелегкого пути; либо трудности внутренние, вызываемые нашими необузданными страстями и несовершенством.

Вплоть до этой минуты я чувствовал себя в своем изложении совершенно уверенным. Но, когда я дописывал последнюю фразу, мне пришло в голову, что, согласно моей мысли, душа Сократа, самая совершенная из всех мне известных, должна быть отнесена не к самым образцовым, ибо я не могу представить себе в нем борьбы с каким бы то ни было порочным стремлением. Я не могу вообразить себе, чтобы его добродетель испытывала какие бы то ни было трудности или какое-нибудь принуждение. Я знаю могущество и власть его разума, который никогда не дал бы зародиться какому-нибудь порочному стремлению. Такой возвышенной добродетели, как у Сократа, я не могу ничего противопоставить. Мне кажется, я вижу, как, свободная, она ступает победоносным и торжествующим шагом, не встречая никаких помех, никаких трудностей. Если добродетель ярче сияет благодаря борьбе противоположных стремлений, то значит ли

это, что она не может обойтись без порока и что своей ценностью и почетом она обязана ему? Что скажем мы также об этом честном и благородном эпикурейском наслаждении, которое мимоходом, словно играючи, воспитывает добродетель, подчиняя ей в виде забавы стыд, лихорадки, бедность, смерть и узилища? Если я предположу, что совершенная добродетель познается лишь путем умения подавлять и терпеливо сносить боль, не моргнув глазом выдерживать жестокие приступы подагры; если я предпишу ей в качестве обязательного условия трудности и препятствия, то что же сказать о добродетели, поднявшейся на такую высоту, что она не только презирает страдание, но даже наслаждается им, упивается до степени восторженного экстаза, подобно некоторым эпикурейцам, оставившим нам весьма достоверные свидетельства подобных, испытанных ими переживаний?

Есть немало случаев, когда люди на деле превзошли требования, предъявляемые их учением. Доказательством этого служит пример Катона Младшего. Когда я представляю себе, как он умирал, вырывая из тела свои внутренности, я не могу допустить, что душа его в этот момент была лишь полностью свободна от страха и смятения,

не могу поверить, чтобы, совершая этот поступок, он только выполнял правила, предписываемые ему стоическим учением, иначе говоря, что душа его оставалась спокойной, невозмутимой и бесстрастной. Мне кажется, что в добродетели этого человека было слишком много пламенной силы, чтобы он мог удовольствоваться этим; я нисколько не сомневаюсь, что он испытывал радость и наслаждение, совершая свой благородный подвиг, и что он был им более удовлетворен, чем каким бы то ни было другим поступком в своей жизни. Sic abit e vita ut causam moriendi nactum se esse gauderet[299]. Я настолько убежден в этом, что сомневаюсь, пожелал ли бы он лишиться возможности совершить такое прекрасное деяние. Если бы меня не останавливала мысль о благородстве, побуждавшем его всегда ставить общественное благо выше личного, то я очень склонен был бы допустить, что он благодарен был судьбе за то, что она послала такое прекрасное испытание его добродетели, и за то, что она помогла «этому разбойнику» растоптать исконную свободу его родины. Мне кажется, что при совершении этого

[299] Примечания: 299

Ушел из жизни, радуясь, что нашел случай покончить с собой (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* I, 30. «Разбойником» Цицерон именовал Цезаря.

поступка его душа испытывала несказанную радость и мужественное наслаждение, ибо она сознавала, что благородство и величие его —

Deliberata morte ferocior[300] —

вдохновлены не мыслью о грядущей славе (как это бывает у некоторых слабых и заурядных людей; но для души столь благородной, сильной и гордой это был бы слишком низменный стимул), а красотой самого поступка. Эту красоту он видел во всем ее совершенстве и яснее, чем мы, ибо владел ею так, как нам не дано.

К моему большому удовольствию, философы считают, что такой замечательный поступок был бы неуместен во всякой другой жизни и только одному Катону можно было так закончить свою жизнь. Поэтому он с полным основанием рекомендовал своему сыну и окружавшим его сенаторам выйти из положения иначе. Catoni cum incredibilem natura tribuisset gravitatem, eamque ipse perpetua constantia robo-ravisset, semperque in proposito consilio permansisset, moriendum potius

[300] Примечания: 300

Она неустрашима, так как решила умереть (*лат.*). Гораций. *Оды*, I, 37, 29.

quam tyranni vultus aspiciendus erat[301]. Всякая смерть должна соответствовать жизни человека. Умирая, мы остаемся такими же, какими были в жизни. Я всегда нахожу объяснение смерти данного человека в его жизни. И, когда мне рассказывают о стойком по видимости конце человека, проведшего вялую жизнь, я считаю, что он был вызван какой-либо незначительной причиной, соответствующей жизни этого человека. Можно ли сказать, что легкость, с которой шел к смерти Катон, и та непринужденность, которой он достиг силой своего духа, должны как-то умалить красоту его добродетели? Кто из людей, хоть в малейшей степени причастных к истинной философии, может себе представить, что Сократ, когда на него обрушились осуждение, оковы и темница, всего-навсего лишь не испытал страха и оставался невозмутим? Кто не согласится признать, что он проявил не только стойкость и уверенность в себе (таково было его обычное состояние), но что в его последних словах и действиях сказались какое-то радостное веселие и

[301] Примечания: 301

Катон, наделенный от природы невероятной непреклонностью, которую он укрепил неизменным постоянством, и придерживавшийся принятого решения, должен был предпочесть смерть лицезрению тирана (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях*, I, 31.

совершенно новая удовлетворенность? Не доказывает ли то содрогание от удовольствия, которое он испытал от возможности почесать себе ногу, когда с нее сняли оковы, что подобная же радость была в его душе при мысли, что он освобождается от всех злоключений прошлого и находится на пороге познания будущего? Да простит меня Катон: его смерть была более стремительной и более трагической, но в смерти Сократа есть нечто более невыразимо прекрасное.

Аристипп говорил тем, кто сожалел о ней: «Да ниспошлют боги и мне такую смерть!»

На примере этих двух людей и их подражателей (ибо я сильно сомневаюсь, что существовали люди, им подобные) можно убедиться в такой необыкновенной привычке к добродетели, что она вошла в их плоть и кровь. Эта добродетель достигается у них не усилием, не предписаниями разума; им не нужно для соблюдения ее укреплять свою душу, ибо она составляет сущность их души, это ее обычное и естественное состояние. Они достигли этого путем длительного применения наставлений философии, семена которой пали на прекрасную и благодатную почву. Пробуждающиеся в нас порочные склонности не находят к ним доступа; силой и суровостью своей

души они подавляют их в самом зародыше.

Я думаю, нет сомнений в том, что лучше по Божьему изволению свыше подавлять искушения в зародыше и так подготовить себя к добродетели, чтобы самые семена искушения были уже вырваны с корнем, чем, поддавшись первым проявлениям дурных страстей, лишь после этого насильно мешать их росту и бороться, стараясь приостановить их развитие и преодолеть их; но я не сомневаюсь, что идти по этому второму пути лучше, чем обладать просто цельным и благодушным характером и питать от природы отвращение к пороку и распущенности. Ибо люди, относящиеся к этой третьей разновидности, люди невинные, но и не добродетельные, не делают зла, но их не хватает на то, чтобы делать добро. К тому же такой душевный склад так недалек от слабости и несовершенства, что я не в состоянии даже разграничить их. Именно по этой причине с самыми понятиями доброты и невинности связан некий оттенок пренебрежения. Я вижу, что некоторые добродетели, например целомудрие, воздержание и умеренность, могут быть обусловлены физическими недостатками. Стойкость в перенесении опасностей (если только ее можно назвать в данном случае стойкостью),

презрение к смерти и терпение в бедствиях часто встречаются у людей, не умеющих разбираться в злоключениях и потому не воспринимающих их как таковые. Поэтому отсутствие достаточного понимания и глупость иногда можно принять за добродетели, и мне нередко приходилось видеть, как людей хвалили за то, за что их следовало бы бранить. Один итальянский вельможа, нелюбезно отзывавшийся о своей нации, однажды в моем присутствии говорил следующее. Сообразительность и проницательность итальянцев — утверждал он — так велики, что они заранее способны предвидеть подстерегающие их опасности и бедствия, поэтому не следует удивляться тому, что на войне они часто спешат позаботиться о своем самосохранении еще до столкновения с опасностью, между тем как французы и испанцы, которые не столь проницательны, идут напролом, и им нужно воочию увидеть опасность и ощутить ее, чтобы почувствовать страх, причем даже и тогда страх не удерживает их; немцы же и швейцарцы, более вялые и тупые, спохватываются только в тот момент, когда уже изнемогают под ударами. Он, может быть, говорил все это шутки ради; однако несомненно верно, что новички в военном деле часто бросаются навстречу опасно-

сти, но, побывав в переделках, уже не действуют столь опрометчиво:

> *haud ignarus quantum nova gloria in armis,*
>
> *Et praedulce decus primo certamine possit*[302].

Вот почему, когда судят об отдельном поступке, то, прежде чем оценить его, надо учесть разные обстоятельства и принять во внимание всю сущность человека, который совершил его.

Несколько слов о себе. Мои друзья нередко называли во мне осмотрительностью то, что в действительности было случайностью, и считали проявлением смелости и терпения то, что было проявлением рассудительности и определенного мнения; словом, мне часто приписывали одно качество вместо другого, и иногда к выгоде для меня, иногда мне в ущерб. На деле же я далек как от той первой и более высокой степени совершенства, когда добродетель превращается в привычку, так и от совершенства второй степени, доказательств которого я не смог дать. Мне не приходилось прилагать больших усилий, чтобы

---

[302] Примечания: 302

Хоть и знал я, как много значат для первого сражения только что обретенная слава и сладостный почет (*лат.*). *Энеида,* IX, 154–155.

обуздать обуревавшие меня желания. Моя добродетель — это добродетель или, лучше сказать, невинность случайная и преходящая. Будь у меня от рождения более неуравновешенный характер, я представлял бы, наверное, жалкое зрелище, ибо мне не хватило бы твердости противостоять натиску страстей, даже не особенно бурных. Я совершенно не способен к внутреннему разладу и борьбе. Поэтому мне нечего особенно благодарить себя за то, что я лишен многих пороков:

> *si vitiis mediocribus et mea paucis*
> *Mendosa est natura, alioqui recta, velut si*
> *Egregio inspersos reprehendas corpore naevos*[303],

то я скорее обязан этим моей судьбе, чем моему разуму. Ей угодно было, чтобы я происходил из рода, прославившегося своей безупречной честностью, и был сыном замечательного отца; не знаю, унаследовал ли я от него некоторые его качества или на меня незаметно повлияли его примеры, которые я видел в семье, и хорошее

---

[303] Примечания: 303

Если моя природа, наделенная лишь небольшими недостатками, в остальном благополучно устроена и подобна прекрасному телу, которому можно поставить в укор несколько рассеянных по нему пятнышек (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* I, 6, 65.

воспитание, полученное мною в детстве, или что-нибудь иное —

Seu Libra, seu me Scorpius aspicit
Formidolosus pars violentior
Natalis horae, seu tyrannus
Hesperiae Capricornus undae[304], —

но, как бы там ни было, я питаю отвращение к большинству пороков. Антисфен ответил спросившему его, чему лучше всего научиться: «Отучиться от зла». Я питаю, говорю я, к порокам отвращение, столь естественное и глубоко мне присущее, что никакие обстоятельства не смогли заставить меня изменить это усвоенное с младенческих лет чувство; не смогли заставить меня изменить ему даже собственные суждения, несмотря на то что они, отклоняясь в некоторых отношениях от общепринятого пути, легко могли бы мне дозволить поступки, которые эта естественная склонность побуждает меня ненавидеть.

Не могу удержаться от весьма странного признания: я нахожу, что благодаря моему от-

[304] Примечания: 304
Преобладало ли в момент моего рождения влияние созвездия Весов или грозного Скорпиона, или же владыки западного моря, Козерога (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, 17, 17.

вращению к порокам в моих нравах больше постоянства и уравновешенности, чем в моих суждениях, и что моя похоть менее разнузданна, чем мой разум.

Аристипп высказал такие смелые мысли в защиту наслаждения и богатства, что философы всех направлений ополчились против него. Но что до его собственных нравов, то когда тиран Дионисий предоставил ему на выбор трех прекрасных женщин, Аристипп заявил, что выбирает всех трех и он не одобряет Париса за то, что тот отдал предпочтение одной из трех; но, приведя их к себе в дом, он отослал их обратно, не прикоснувшись к ним. Однажды, когда его слуга, который во время путешествия нес за ним деньги, выбился из сил из-за тяжести своей ноши, Аристипп приказал ему бросить все лишнее и оставить только то, что он в состоянии нести.

И Эпикур с его безбожным и утонченным учением в личной жизни был весьма благочестив и трудолюбив. Одному из своих друзей он пишет, что питается только черным хлебом с водой и просит прислать немного сыра на случай, если он захочет устроить роскошный обед. Верно ли, что для того, чтобы быть добрым до конца, надо быть им в силу какого-то тайного, естественного

и общего свойства, без всякого на то закона или основания, или примера?

Пороки, которым мне случалось поддаваться, слава Богу, не из худших. Я по достоинству осуждал их в себе, ибо мой разум оставался незатронутым ими; напротив, он строже осуждал их во мне, чем осудил бы в ком-нибудь другом. Но этим дело и ограничивалось, ибо я способен оказывать лишь слабое сопротивление и легко даю себя увлечь; однако я не допускаю, чтобы к имеющимся у меня порокам присоединялись еще и другие, что случается с теми, кто этого не остерегается, ибо пороки большей частью переплетаются между собой. Что касается моих пороков, то я их в меру моих возможностей ограничил, оставив себе очень немногие и самые простые,

nec ultra
Errorem foveo[305].

Между тем стоики утверждают, что когда мудрец совершает благое дело, он делает его с помощью всех своих добродетелей, хотя одна из них в зависимости от характера действия и преобла-

---

[305] Примечания: 305
И не потакаю другим слабостям (*лат.*). Ювенал, VIII, 164.

дает (доводом в пользу этого им могло служить до известной степени сходство с человеческим организмом, ибо действие гнева может происходить в нас лишь с помощью всех других чувств, хотя гнев и преобладает над ними); но если они отсюда хотят сделать вывод, что, когда порочный человек творит дурное дело, он совершает его при помощи всех своих пороков, то я им в этом не верю или не понимаю их в этом отношении, ибо в действительности я ощущаю прямо противоположное. Однако это несущественные тонкости, на которых иногда останавливаются философы.

Я поддаюсь кое-каким порокам, но других избегаю не менее усердно, чем святой.

Перипатетики так же не признают такой неразрывной связи между пороками, и Аристотель считает, что человек благоразумный и справедливый может быть и невоздержанным, и распутным.

Сократ охотно признавался перед теми, кто находил в чертах его лица некоторую склонность к пороку, что она действительно была ему свойственна от природы, но что благодаря самообладанию ему удалось обуздать ее.

Близкие к философу Стильпону люди утверждали, что он с ранних лет был привержен к вину

и питал слабость к женщинам, но в результате упорных усилий стал весьма воздержан в том и в другом.

Тем, что есть во мне хорошего, я, напротив, обязан своему происхождению. Хорошие качества не воспитаны во мне ни законом, ни наставлением, ни путем какого-нибудь другого обучения. Мне присуща естественная доброта, в которой немного силы, но нет ничего искусственного. И по природе своей, и по велению разума я жестоко ненавижу жестокость, наихудший из пороков. В этом отношении я до такой степени чувствителен, что не переношу, когда режут цыпленка или когда слышу, как верещит заяц в зубах моих собак, хотя и считаю охоту одним из самых больших удовольствий.

Те, кто осуждает наслаждение, желая доказать, что оно порочно и неразумно, охотно пользуются следующим доводом: когда оно достигает высшей точки, говорят они, то так безраздельно завладевает нами, что полностью вытесняет разум, и ссылаются на то, что мы испытываем при сношениях с женщинами:

cum iam praesagit gaudia corpus
Atque in eo est Venus ut muliebria conserat

arva[306].

Они находят, что в эти мгновения мы настолько бываем вне себя, что наш разум, полностью поглощенный наслаждением и потонув в нем, не в состоянии выполнять свое назначение. Я знаю, что бывает и иначе и что иногда, если захочешь, можно и в этот самый момент обратиться душой к другим мыслям, но для этого требуется душевное напряжение и предварительная подготовка. Я знаю, что можно обуздывать порыв этого наслаждения; я хорошо знаком с этим по опыту и не нахожу, что Венера — столь требовательная богиня, как считают многие и более чистые, чем я, люди. Мне, например, не кажется, как королеве Наваррской в одной из новелл ее «Гептамерона» (книге, прелестной по содержанию), ни невероятным, ни слишком трудным проводить весело и непринужденно целые ночи напролет с давно желанной возлюбленной, выполняя данное ей обещание ограничиваться только поцелуями и легкими прикосновениями. Я полагаю, что для доказательства того, что при сильном волнении мы иной раз теряем разум,

[306] Примечания: 306

Когда тело уже предчувствует наслаждения и в нем — Венера, что готовится оплодотворить женское лоно (*лат.*). Лукреций, IV, 1006.

лучше подходит пример охоты (ибо в этом случае меньше наслаждения, но больше восхищения и неожиданности, которые не дают разуму возможности быть наготове и во всеоружии): когда после долгих преследований животное внезапно показывается там, где мы меньше всего ожидаем его увидеть, то испытываемое нами потрясение, еще усиленное яростным гиканием, бывает настолько велико, что тем, кто любит такого рода охоту, невозможно в этот момент отвлечься мыслями куда-нибудь в сторону. Недаром поэты изображают Диану победительницей над факелом и стрелами Купидона:

Quis non malarum, quas amor curas habet
Haec inter obliviscitur?[307]

Возвращаясь к сказанному, замечу, что я горячо сочувствую чужим печалям и плакал бы вместе с горюющими, если бы умел плакать в каких бы то ни было случаях. Слезы, не только искренние, но и притворные, всегда вызывают у меня желание плакать. Я не жалею мертвецов, я скорее готов им завидовать, но от души жалею людей, находящихся при смерти. Меня возмущают не те

[307] Примечания: 307

Кто среди этих радостей не позабудет жестоких мук любви? (*лат.*) Гораций. *Эподы,* 2, 37.

дикари, которые жарят и потом едят покойников, а те, которые мучают и преследуют живых людей. Я не могу спокойно переносить казни, даже если они совершаются по закону и оправданны. Некто, желая подтвердить великодушие Юлия Цезаря, сообщает следующее. Он был великодушен, даже когда мстил: захватив тех пиратов, которые в свое время держали его в плену и заставили уплатить выкуп, Цезарь, ранее угрожавший распять их на кресте, все же приказал сначала удавить их, а потом уже распять. Своего секретаря, Филемона, который намеревался его отравить, Цезарь приказал просто умертвить, не наложив на него более тяжкого наказания. Кто бы ни был тот римский автор, который в доказательство великодушия Цезаря ссылается на то, что он осуждал своих обидчиков только на простую смерть, видно все же, что и он был потрясен гнусными и страшными примерами жестокости, свойственной римским тиранам.

Что касается меня, то всякое дополнительное наказание сверх обыкновенной смерти даже по закону есть, по-моему, чистейшая жестокость; это особенно относится к нам, христианам, которые должны заботиться о том, чтобы души отправлялись на тот свет успокоенными, что невозможно,

если их измучили и истерзали невыносимыми пытками.

В недавние дни некий пленный воин, заметив с высоты башни, в которую он был заточен, что на площади плотники начали уже свои приготовления и сюда же стал стекаться народ, решил, что все это готовится для него, и пришел в отчаяние. Не имея под руками ничего другого, чем себя убить, он схватил попавшийся ему ржавый гвоздь от старой повозки и нанес себе им два сильных удара в шею, но, чувствуя, что он еще жив, нанес себе еще третью рану в живот и потерял сознание. В таком состоянии его застал один из наведавшихся к нему надзирателей. Его привели в чувство, и, чтобы не терять времени, пока он не умер, ему тут же прочитали приговор, на основании которого ему должны были отрубить голову. Он очень обрадовался этому приговору, согласился выпить вино, от которого раньше отказывался, и, поблагодарив судей за неожиданно мягкое решение, заявил, что решил покончить с собой из страха перед более жестокой казнью и что страх его еще усилился, когда он увидел приготовления, из-за чего он и захотел избавиться от более жестокой смерти.

Я бы рекомендовал, чтобы суровые примерные

наказания, с помощью которых хотят держать народ в повиновении, применялись к трупам уголовных преступников, ибо когда видят, что их лишают права погребения, или бросают в кипящий котел, или четвертуют, то это должно производить не менее сильное действие, чем пытки, которым подвергают живых людей, хотя в действительности и этим достигают очень немногого, вернее сказать, ничего, ибо, как говорится в Евангелии: Qui corpus occidunt, et postea non habent quod faciant[308]. Недаром и поэты со своей стороны особенно подчеркивают страх перед этими картинами, перед дополнительными наказаниями, кроме смерти:

> *Heu! reliquias semiassi regis, denudatis ossibus,*
>
> *Per*
> *terram*
> *sanie delibutas foede divexarier!*[309]

Я находился однажды в Риме в тот момент, ко-

---

[308] Примечания: 308

Убивающих тело и больше ничего не могущих сделать (*лат.*). Лука, 12:4.

[309] Примечания: 309

Увы! Пусть не влачат с позором по земле окровавленные, с оголенными костями останки полусожженного царя! (*лат.*) Цицерон. *Тускуланские беседы*, I, 44.

гда расправлялись с известным вором, Катеной. Его задушили при полном молчании присутствующих, но когда его стали четвертовать, то при каждом ударе топора слышались жалобные восклицания, как если бы каждый из собравшихся хотел выразить трупу свое сочувствие.

Эти бесчеловечные зверства можно позволять себе не по отношению к живому человеку, а к его мертвой оболочке. Так и поступил в сходном до известной степени случае Артаксеркс, смягчив суровость старинных персидских законов и издав указ, чтобы сановников, которые совершили должностные преступления, раздевали и секли их одежду вместо них самих, как это водилось встарь, и, вместо того чтобы вырывать им волосы с головы, с них снимали только их высокие колпаки.

Благочестивые египтяне считали, что они вполне угождают божественному правосудию, принося в жертву ему изображения свиней: смелая выдумка — желать расплатиться с Богом, высшим в мире существом, изображением или тенью предмета.

Мне приходится жить в такое время, когда вокруг нас хоть отбавляй примеров невероятной жестокости, вызванных разложением,

порожденным нашими гражданскими войнами; в старинных летописях мы не найдем рассказов о более страшных вещах, чем те, что творятся сейчас у нас каждодневно. Однако это ни в какой степени не приучило меня к жестокости, не заставило с нею свыкнуться. Я не в состоянии был поверить, пока не увидел сам, что существуют такие чудовища в образе людей, которые готовы убивать ради удовольствия, доставляемого им убийством, которые рады рубить и кромсать на части тела других людей и изощряться в придумывании необыкновенных пыток и смертей; при этом они не получают от этого никаких выгод и не питают вражды к своим жертвам, а поступают так только ради того, чтобы насладиться приятным для них зрелищем умирающего в муках человека, чтобы слышать его жалобные стоны и вопли. Вот поистине вершина, которой может достигнуть жестокость: Ut homo hominis non iratus, non timens, tantum spectaturus, occidat[310].

Что касается меня, то мне всегда было тягостно наблюдать, как преследуют и убивают невинное животное, беззащитное и не причиняющее нам никакого зла. Я никогда не мог спокойно видеть,

[310] Примечания: 310

Чтобы человек, не побуждаемый гневом или страхом, убивал другого, только чтобы полюбоваться этим (*лат.*). *Письма,* 90, 45.

как затравленный олень — что нередко бывает, — едва дыша и изнемогая, откидывается назад и сдается тем, кто его преследует, моля их своими слезами о пощаде,

quaestuque cruentus
Atque imploranti similis[311].

Это всегда казалось мне невыносимым зрелищем.

Я никогда не держу у себя пойманных животных и всегда отпускаю их на свободу. Пифагор покупал у рыбаков рыб, а у птицеловов — птиц, чтобы сделать то же самое.

...primoque a caede ferarum
Incaluisse puto maculatum sanguine ferrum[312].

Кровожадные наклонности по отношению к животным свидетельствуют о природной склонности к жестокости.

После того как в Риме привыкли к зрелищу убийства животных, перешли к зрелищам с

---

[311] Примечания: 311

Обливаясь кровью и словно моля о пощаде (*лат.*). *Энеида,* VII, 501.

[312] Примечания: 312

Думаю, что обагренный кровью меч был впервые раскален убийством диких зверей (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы,* XV, 106.

убийством и осужденных, и гладиаторов. Боюсь сказать, но мне кажется, что сама природа наделяет нас неким инстинктом бесчеловечности. Никого не забавляет, когда животные ласкают друг друга или играют между собой, и между тем никто не упустит случая посмотреть, как они дерутся и грызутся.

Для того чтобы не смеялись над моим сочувствием к животным, напомню, что религия предписывает нам известное милосердие по отношению к ним, поскольку один и тот же владыка поселил нас в одном и том же мире, чтобы служить ему, и поскольку они, как и мы, суть его создания. Пифагор заимствовал идею метемпсихоза у египтян, но с тех пор она была воспринята многими народами, и в частности нашими друидами.

> *Morte carent animae; semperque priore relicta*
>
> *Sede, novis domibus vivunt, habitantque receptae*[313].

Религия древних галлов исходит из того, что души, будучи бессмертными, все время пребы-

[313] Примечания: 313

Души не умирают, но, покинув прежние места, живут вечно, поселяясь в новых обителях (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы,* XV, 158.

вают в движении и переходят из одного тела в другое. Они связывали, кроме того, с этой идеей известное представление о божественном правосудии: так, основываясь на переселениях душ, они утверждали, что когда душа находилась в Александре, то Бог приказал ей переселиться в другое тело, более или менее соответствующее ее способностям:

> *multa ferarum*
>
> *Cogit vincla pati, truculentos ingerit ursis,*
>
> *Praedonesque lupis, fallaces vulpibus addit;*
>
> *Atque ubi per varios annos, per mille figuras*
>
> *Egit, lethaeo purgatos flumine, tandem*
>
> *Rursus ad humanae revocat primordia formae*[314].

Если душа была храброй, то поселяли ее в тело льва, если сладострастной — то в тело свиньи, если трусливой — то в оленя или зайца, если хитрой — то в лису; и под конец душа, очистившись

---

[314] Примечания: 314

Он заключает души в бессловесных животных; грубияна вселяет в медведя, разбойника — в волка, обманщика — в лису. И, заставив их на протяжении многих лет принять тысячи обличий, очистив в летейском потоке, он вновь заставляет их родиться в человеческом облике (*лат.*). Клавдиан. *Против Руфина,* II, 482.

путем такого наказания, возвращалась в тело какого-нибудь другого человека:

Ipse ego nam memini, Troiani tempore bello

Panthoides Euphorbus eram[315].

Что касается нашего родства с животными, то я не придаю ему большого значения, как равно и тому, что многие народы — и в частности наиболее древние и благородные — не только допускали животных в свое общество, но и ставили их значительно выше себя; некоторые народы считали их друзьями и любимцами своих богов, которые будто бы почитают и любят их больше, чем людей; другие же не признавали никаких других божеств, кроме животных; belluae a barbaris propter beneficium consecratae[316].

Crocodilon adorat

Pars haec, illa pavet saturam serpentibus ibin;

Effigies sacri hic nitet aurea cercophitheci;

---

[315] Примечания: 315

Сам помню, что во время Троянской войны я был Эвфорбом, сыном Пандея (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы,* XV, 168.

[316] Примечания: 316

Варвары обожествляли животных за те услуги, которые они им оказывали (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* I, 36.

… hic piscem fluminis, illic
Oppida tota canem venerantur[317].

Для животных почетно и то истолкование этого явления, которое дано Плутархом и получило широкое распространение. Действительно, Плутарх утверждал, что египтяне почитали не кошку, например, или быка, а чтили в этих животных олицетворение некоторых божественных качеств: в быке — терпение и полезность, в кошке — живость или нежелание сидеть взаперти (вроде наших соседей-бургундцев вместе со всей Германией); под этим они разумели свободу, которую любили и почитали превыше всех других божественных качеств. Так же истолковывали они и почитание других животных. Но когда я встречаю у представителей самых умеренных взглядов рассуждения о якобы близком сходстве между нами и животными и описания великих преимуществ, которыми они по сравнению с нами будто бы обладают, и утверждения правомерности приравнивания нас к ним, то цена нашего самомнения в моих глазах сильно снижа-

[317] Примечания: 317

Одни почитают крокодилов, другие страшатся ибиса, наевшегося змей, здесь сверкает золотое изображение священной обезьяны, там поклоняются речной рыбе, в иных местах целые города обоготворяют собак (*лат.*). Ювенал, XV, 2.

ется, и я охотно отказываюсь от приписываемого нам мнимого владычества над всеми другими созданиями.

Но, как бы то ни было, все же существует долг гуманности и известное обязательство щадить не только животных, наделенных жизнью и способностью чувствовать, но даже деревья и растения. Мы обязаны быть справедливыми по отношению к другим людям и проявлять милосердие и доброжелательность ко всем другим созданиям, достойным этого. Между нами и ими существует какая-то связь, какие-то взаимные обязательства. Мне не стыдно признаться в такой моей ребяческой слабости: я не в силах отказать моей собаке в прогулке, которую она мне некстати предлагает или которой она от меня требует. У турок существуют больницы и учреждения по оказанию помощи животным. Римляне заботились в общественном порядке о пище для гусей, бдительность которых спасла Капитолий; афиняне приняли решение, чтобы мулы, работавшие на постройке храма под названием Гекатомпедон, были выпущены на волю и могли свободно пастись всюду.

У агригентцев существовал обычай по-настоящему хоронить животных, которые были им

дороги, например лошадей, отличившихся какими-нибудь редкими качествами, или собак, или полезных птиц, или даже животных, служивших для развлечения их детей. Пристрастие к роскоши, свойственное им и во всякого рода других вещах, особенно ярко проявилось в многочисленных пышных памятниках, воздвигнутых ими животным и сохранявшихся на протяжении многих веков.

Египтяне хоронили волков, медведей, крокодилов, собак и кошек в священных местах, бальзамировали их тела и носили по ним траур.

Кимон устроил торжественные похороны кобылам, которые трижды доставили ему победу в беге колесниц на олимпийских состязаниях. Старый Ксантипп похоронил свою собаку на утесе, высящемся на морском побережье и известном с тех пор под ее именем. Плутарх рассказывает, что ему было бы совестно продать за скромную сумму или послать на бойню вола, который ему долгое время служил.

Глава XIII
О том, как надо судить о поведении человека пред лицом смерти

Когда мы судим о твердости, проявленной человеком пред лицом смерти, каковая есть, несомненно, наиболее значительное событие нашей жизни, необходимо принять во внимание, что люди с трудом способны поверить, будто они и впрямь подошли уже к этой грани. Мало кто умирает, понимая, что минуты его сочтены; нет ничего, в чем нас в большей мере тешила бы обманчивая надежда; она непрестанно нашептывает нам: «Другие были больны еще тяжелее, а между тем не умерли. Дело обстоит совсем не так уже безнадежно, как это представляется; и в конце концов Господь явил немало других чудес». Происходит же это от того, что мы мним о себе слишком много; нам кажется, будто совокупность вещей испытает какое-то потрясение от того, что нас больше не будет, и что для нее вовсе не безразлично, существуем ли мы на свете; к тому же наше извращенное зрение воспринимает окружающие нас вещи неправильно, и мы считаем

их искаженными, тогда как в действительности оно само искажает их; в этом мы уподобляемся едущим по морю, которым кажется, будто горы, поля, города, земля и небо двигаются одновременно с ними:

> *Provehimur portu, terraeque urbesque recedunt*[318].

Видел ли кто когда-нибудь старых людей, которые не восхваляли бы доброе старое время, не поносили бы новые времена и не возлагали бы вину за свои невзгоды и горести на весь мир и людские нравы?

> *Iamque caput quassans, grandis suspirat arator,*
>
> *Et cum tempora temporibus praesentia confert*
>
> *Praeteritis, laudat fortunas saepe parentis,*
>
> *Et crepat antiquum genus ut pietate repletum*[319].

---

[318] Примечания: 318

Мы покидаем гавань, и города и земли скрываются из виду (*лат.*). *Энеида,* III, 72.

[319] Примечания: 319

Старик пахарь со вздохом качает головой и, сравнивая настоящее с прошлым, беспрестанно восхваляет благоденствие отцов, твердя о том, как велико было благочестие предков (*лат.*). Лукреций, II, 1165.

Мы ко всему подходим с собственной меркой, и из-за этого наша смерть представляется нам событием большой важности; нам кажется, будто она не может пройти бесследно, без того чтобы ей не предшествовало торжественное решение небесных светил: tot circa unum caput tumultuantes deos[320]. И чем большую цену мы себе придаем, тем более значительной кажется нам наша смерть: «Как! Неужели она решится погубить столько знаний, неужели причинит столько ущерба, если на то не будет особого волеизъявления судеб? Неужели она с тою же легкостью способна похитить столь редкостную и образцовую душу, с какою она похищает душу обыденную и бесполезную? И эта жизнь, обеспечивающая столько других, жизнь, от которой зависит такое множество других жизней, которая дает пропитание стольким людям, которой принадлежит столько места, должна будет освободить это место совершенно так же, как та, что держится на тоненькой ниточке?»

Всякий из нас считает себя в той или иной мере чем-то единственным, и в этом — смысл слов Цезаря, обращенных им к кормчему корабля, на

[320] Примечания: 320

Столько богов, суетящихся вокруг одного человека (*лат.*). Сенека Старший. *Контроверзы,* IV, 3.

котором он плыл, слов, еще более надменных, чем море, угрожавшее его жизни:

Italiam si, caelo auctore, recusas,

Me, pete: sola tibi causa haec est iusta timoris,

Vectorem non nosse tuum; perrumpe procellas,

Tutela secure mei[321]*;*

или, например, этих:

credit iam digna pericula Caesar

Fatis esse suis; tantusque evertere, dixit,

Me superis labor est, parva quem puppe sedentem

Tam magno petiere mari?[322]

а также нелепого официального утверждения, будто солнце на протяжении года, последовав-

---

[321] Примечания: 321

Если небо повелевает тебе покинуть берега Италии, повинуйся мне. Ты боишься только потому, что не знаешь, кого ты везешь; несись же сквозь бурю, твердо положившись на мою защиту (*лат.*). Лукан, V, 579.

[322] Примечания: 322

Цезарь счел тогда, что эти опасности достойны его судьбы. Видно, сказал он, Всевышним необходимо приложить такое большое усилие, чтобы погубить меня, если они насылают весь огромный океан на утлое суденышко, на котором я нахожусь? (*лат.*) Лукан, V, 653.

шего за его смертью, носило на своем челе траур по нем:

> *Ille etiam extincto miseratus Caesare Romam,*
>
> *Cum caput obscura nitidum ferrugine texit*[323],

и тысячи подобных вещей, которыми мир с такой поразительной легкостью позволяет себя обманывать, считая, что небеса заботятся о наших нуждах и что их бескрайние просторы откликаются на малейшие поступки: Non tanta caelo societas nobiscum est, ut nostro fato mortalis sit ille quoque siderum fulgor[324].

Итак, нельзя признавать решимость и твердость в том, кто, кем бы он ни был, еще не вполне уверен, что пребывает в опасности; и даже если он умер, обнаружив эти высокие качества, но не отдавая себе отчета, что умирает, то и этого недостаточно для такого признания: большин-

---

[323] Примечания: 323

Когда Цезарь угас, само солнце скорбело о Риме и, опечалившись, прикрыло свой сияющий лик зловещей темной повязкой (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* I, 466.

[324] Примечания: 324

Нет такой неразрывной связи между небом и нами, чтобы сияние небесных светил должно было померкнуть вместе с нами (*лат.*). Плиний Старший. *Естественная история,* II, 106.

ству людей свойственно выказывать стойкость и на лице и в речах; ведь они пекутся о доброй славе, которою хотят насладиться, оставшись в живых. Мне доводилось наблюдать умирающих, и обыкновенно не преднамеренное желание, а обстоятельства определяли их поведение. Если мы вспомним даже о тех, кто лишил себя жизни в древности, то и тут следует различать, была ли их смерть мгновенною или длительною. Некий известный своею жестокостью император Древнего Рима говорил о своих узниках, что хочет заставить их почувствовать смерть; и если кто-нибудь из них кончал с собой в тюрьме, этот император говаривал: «Такой-то ускользнул от меня»; он хотел растянуть для них смерть и, обрекая их на мучения, заставить ее почувствовать:

> *Vidimus et toto quamvis in corpore caeso*
>
> *Nil animae letale datum, moremque nefandae*
>
> *Durum saevitiae pereuntis parcere morti*[325].

И действительно, совсем не такое уж великое

---

[325] Примечания: 325

Видели мы, что, хотя все его тело было истерзано, смертельный удар еще не нанесен и что безмерно жестокий обычай продлевает его еле теплящуюся жизнь (*лат.*). Лукан, II, 178.

дело, пребывая в полном здравии и душевном спокойствии, принять решение о самоубийстве; совсем нетрудно изображать храбреца, пока не приступишь к выполнению замысла; это настолько нетрудно, что один из наиболее изнеженных людей, когда-либо живших на свете, Элагабал, среди прочих своих постыдных прихотей, возымел намерение покончить с собой — в случае если его принудят к этому обстоятельства — самым изысканным образом, так чтобы не посрамить всей своей жизни. Он велел возвести роскошную башню, низ и фасад которой были облицованы деревом, изукрашенным драгоценными камнями и золотом, чтобы броситься с нее на землю; он заставил изготовить веревки из золотых нитей и алого шелка, чтобы удавиться; он велел выковать золотой меч, чтобы заколоться; он хранил в сосудах из топаза и изумруда различные яды, чтобы отравиться. Все это он держал наготове, чтобы выбрать по своему желанию один из названных способов самоубийства:

Impiger et fortis virtute coacta[326].

И все же, что касается этого выдумщика, то

---

[326] Примечания: 326
Ретивый и смелый по необходимости (*лат.*). Лукан, IV, 798.

изысканность всех перечисленных приготовлений побуждает предполагать, что, если бы дошло до дела, у него бы кишка оказалась тонка. Но, говоря даже о тех, кто, будучи более сильным, решился привести свой замысел в исполнение, нужно всякий раз, повторяю, принимать во внимание, был ли нанесенный ими удар таковым, что у них не было времени почувствовать его следствия; ибо еще неизвестно, сохраняли бы они твердость и упорство в столь роковом стремлении, если б видели, как медленно покидает их жизнь, если б телесные страдания сочетались в них со страданиями души, если б им представлялась возможность раскаяться.

Во время гражданских войн Цезаря Луций Домиций, будучи схвачен в Абруццах, принял яд, но тотчас же раскаялся в этом. И в наше время был такой случай, что некто, решив умереть, не смог поразить себя с первого раза насмерть, так как страстное желание жить, обуявшее его естество, сковывало ему руку; все же он нанес себе еще два-три удара, но так и не сумел превозмочь себя и нанести себе смертельную рану. Когда стало известно, что против Плавция Сильвана затевается судебный процесс, Ургулания, его бабка, прислала ему кинжал; не найдя в себе

сил заколоться, он велел своим людям вскрыть ему вену. В царствование Тиберия Альбуцилла, приняв решение умереть, ранила себя настолько легко, что доставила своим врагам удовольствие бросить ее в тюрьму и расправиться с ней по своему усмотрению. То же произошло и с полководцем Демосфеном после его похода в Сицилию. Гай Фимбрия, нанеся себе слишком слабый удар, принудил своего слугу прикончить его. Напротив, Осторий, не имея возможности действовать собственной рукой, не пожелал воспользоваться рукой своего слуги для чего-либо иного, кроме как для того, чтобы тот крепко держал перед собой кинжал; бросившись с разбегу на его острие, Осторий пронзил себе горло. Это поистине такое яство, которое, если не обладаешь луженым горлом, нужно глотать не жуя; тем не менее император Адриан повелел своему врачу указать и очертить у него на груди то место возле соска, удар в которое был бы смертельным и куда надлежало метить тому, кому он поручит его убить. Вот почему, когда Цезаря спросили, какую смерть он находит наиболее легкой, он ответил: «Ту, которой меньше всего ожидаешь и которая наступает мгновенно».

Если сам Цезарь решился высказать такое

суждение, то и мне не зазорно признаться, что я думаю так же.

«Мгновенная смерть, — говорит Плиний, — есть высшее счастье человеческой жизни». Людям страшно сводить знакомство со смертью. Кто боится иметь дело с нею, кто не в силах смотреть ей прямо в глаза, тот не вправе сказать о себе, что он приготовился к смерти; что же до тех, которые, как это порою случается при совершении казней, сами стремятся навстречу своему концу, торопят и подталкивают палача, то они делают это не от решимости; они хотят сократить для себя срок пребывания с глазу на глаз со смертью. Им не страшно умереть, им страшно умирать.

> *Emori nolo, sed me esse mortuum nihil aestimo*[327].

Это та степень твердости, которая, судя по моему опыту, может быть достигнута также и мною, как она достигается теми, кто бросается в гущу опасностей, словно в море, зажмурив глаза.

Во всей жизни Сократа нет, по-моему, более славной страницы, чем те тридцать дней, в течение которых ему пришлось жить с мыслью о

---

[327] Примечания: 327

Не хочу умирать, а быть мертвым считаю ни во что (*лат.*). Эпихарм в Цицероне. *Тускуланские беседы*, I, 8.

приговоре, осуждавшем его на смерть, все это время сживаться с нею в полной уверенности, что приговор этот совершенно неотвратим, не выказывая при этом ни страха, ни душевного беспокойства и всем своим поведением и речами обнаруживая скорее, что он воспринимает его как нечто незначительное и безразличное, а не как существенное и единственно важное, занимающее собой все его мысли.

Помпоний Аттик, тот самый, с которым переписывался Цицерон, тяжело заболев, призвал к себе своего тестя Агриппу и еще двух-трех друзей и сказал им: так как он понял, что лечение ему не поможет и что все, что он делает, дабы продлить себе жизнь, продлевает вместе с тем и усиливает его страдания, он решил положить одновременно конец и тому и другому; он просил их одобрить его решение и уж, во всяком случае, избавить себя от труда разубеждать его. Итак, он избрал для себя голодную смерть, но случилось так, что, воздерживаясь от пищи, он исцелился: средство, которое он применил, чтобы разделаться с жизнью, возвратило ему здоровье. Когда же врачи и друзья, обрадованные столь счастливым событием, явились к нему с поздравлениями, их надежды оказались жестоко обманутыми; ибо,

несмотря на все уговоры, им так и не удалось заставить его изменить принятое решение: он заявил, что поскольку, так или иначе, ему придется переступить этот порог, то раз он зашел уже так далеко, он хочет освободить себя от труда начинать все сначала. И хотя человек, о котором идет речь, познакомился со смертью заранее, так сказать, на досуге, он не только не потерял охоты встретиться с нею, но, напротив, всей душой продолжал жаждать ее, ибо, достигнув того, ради чего он вступил в это единоборство, он побуждал себя, подстегиваемый своим мужеством, довести начатое им до конца. Это нечто гораздо большее, чем бесстрашие перед лицом смерти, это неудержимое желание изведать ее и насладиться ею досыта.

История философа Клеанфа очень похожа на только что рассказанную. У него распухли и стали гноиться десны; врачи посоветовали ему воздержаться от пищи; он проголодал двое суток и настолько поправился, что они объявили ему о полном его исцелении и разрешили вернуться к обычному образу жизни. Он же, изведав уже некую сладость, порождаемую угасанием сил, принял решение не возвращаться вспять и переступил порог, к которому успел уже так близко

придвинуться.

Туллий Марцеллин, молодой римлянин, стремясь избавиться от болезни, терзавшей его сверх того, что он соглашался вытерпеть, захотел предвосхитить предназначенный ему судьбой срок, хотя врачи и обещали если не скорое, то, во всяком случае, верное его исцеление. Он пригласил друзей, чтобы посовещаться с ними. Одни, как рассказывает Сенека, давали ему советы, которые из малодушия они подали бы и себе самим; другие из лести советовали ему сделать то-то и то-то, что, по их мнению, было бы для него всего приятнее. Но один стоик сказал ему следующее: «Не утруждай себя, Марцеллин, как если бы ты раздумывал над чем-либо стоящим. Жить — не такое уж великое дело; живут твои слуги, живут и дикие звери; великое дело — это умереть достойно, мудро и стойко. Подумай, сколько раз проделывал ты одно и то же — ел, пил, спал, а потом снова ел; мы без конца вращаемся в том же кругу. Не только неприятности и несчастья, вынести которые не под силу, но и пресыщение жизнью порождает в нас желание умереть». Марцеллину не столько нужен был тот, кто снабдил бы его советом, сколько тот, кто помог бы ему в осуществлении его замысла, ибо слуги боялись быть замешан-

ными в подобное дело. Этот философ, однако, дал им понять, что подозрения падают на домашних только тогда, когда осуществляются сомнения, была ли смерть господина вполне добровольной, а когда на этот счет сомнений не возникает, то препятствовать ему в его намерении столь же дурно, как и злодейски убить его, ибо

Invitum qui servat idem facit occidenti[328].

Он сказал, сверх того, Марцеллину, что было бы уместным распределить по завершении жизни кое-что между теми, кто окажет ему в этом услуги, напомнив, что после обеда гостям предлагают десерт. Марцеллин был человеком великодушным и щедрым: он оделил своих слуг деньгами и постарался утешить их. Впрочем, в данном случае не понадобилось ни стали, ни крови. Он решил уйти из жизни, а не бежать от нее; не устремляться в объятия смерти, но предварительно познакомиться с нею. И чтобы дать себе время основательно рассмотреть ее, он стал отказываться от пищи и на третий день, велев обмыть себя теплой водой, стал медленно угасать, не без известного наслаждения, как он говорил

[328] Примечания: 328

Спасти человека против воли — все равно что совершить убийство (*лат.*). Гораций. *Наука поэзии,* 467.

окружающим. И действительно, пережившие такие замирания сердца, возникающие от слабости, говорят, что они не только не ощущали никакого страдания, но испытывали скорее некоторое удовольствие, как если бы их охватывал сон и глубокий покой.

Вот примеры заранее обдуманной и хорошо изученной смерти.

Но желая, чтобы только Катон, и никто другой, явил миру образец несравненной доблести, его благодетельная судьба расслабила, как кажется, руку, которой он нанес себе рану. Она сделала это затем, чтобы дать ему время сразиться со смертью и вцепиться ей в горло и чтобы пред лицом грозной опасности он мог укрепить в своем сердце решимость, а не ослабить ее. И если бы на мою долю выпало изобразить его в это самое возвышенное мгновение всей его жизни, я показал бы его окровавленным, вырывающим свои внутренности, а не с мечом в руке, каким запечатлели его ваятели того времени: ведь для этого второго самоубийства потребовалось неизмеримо больше бесстрашия, чем для первого.

Глава XIV
О том, что наш дух препятствует себе самому

Забавно представить себе человеческий дух, колеблющийся между двумя равными по силе желаниями. Он, несомненно, никогда не сможет принять решение, ибо склонность и выбор предполагают неравенство в оценке предметов. И если бы кому-нибудь пришло в голову поместить нас между бутылкой и окороком, когда мы в одинаковой мере хотим и есть и пить, у нас не было бы, конечно, иного выхода, как только умереть от голода и от жажды. Чтобы справиться с этой трудностью, стоики, когда их спрашивают, что же побуждает нашу душу производить выбор в тех случаях, когда два предмета в наших глазах равноценны, или отбирать из большого числа монет именно эту, а не другую, хотя все они одинаковы и нет ничего, что заставляло бы нас отдать ей предпочтение, отвечают, что движения души такого рода произвольны и беспорядочны и вызываются посторонним, мгновенным и случайным воздействием. На мой взгляд, следовало

бы скорее сказать, что всякая вещь, с которой нам приходится иметь дело, неизменно отличается от подобной себе, сколь бы незначительным это различие ни было, и что при взгляде на нее или при прикосновении к ней мы ощущаем нечто такое, что соблазняет и привлекает нас, определяя наш выбор, даже если это и не осознано нами. Равным образом, если мы вообразим веревку, одинаково крепкую на всем ее протяжении, то решительно невозможно представить себе, что она может порваться, — ибо где же в таком случае она окажется наименее крепкой? Порваться же целиком она также не может, ибо это противоречило бы всему наблюдаемому нами в природе. Если кто-нибудь добавит к этому еще теоремы, предлагаемые нам геометрией и неопровержимым образом доказывающие, что содержимое больше, нежели то, что содержит его, что центр равен окружности, что существуют две линии, которые, сближаясь друг с другом, все же никогда не смогут сойтись, а сверх того, еще философский камень, квадратуру круга и прочее, в чем причины и следствия столь же несовместимы, — он сможет извлечь, пожалуй, из всего этого кое-какие доводы в пользу смелого утверждения Плиния: solum certum nihil esse certi,

et homine nihil miserius aut superius[329].

[329] Примечания: 329

Одно несомненно: что нет ничего несомненного и что человек — самое жалкое и самое великое существо (*лат.*). Плиний Старший. *Естественная история*, II, 5.

Глава XV
О том, что трудности распаляют наши желания

Нет ни одного положения, которому не противостояло бы противоречащее ему, говорит наиболее мудрая часть философов. Недавно я вспомнил замечательные слова одного древнего мыслителя, которые он приводит, дабы подчеркнуть свое презрение к смерти: «Никакое благо не может доставить нам столько же удовольствия, как то, к потере которого мы приготовились». In aequo est dolor amissae rei, et timor amittendae[330], — говорит тот же мыслитель, желая доказать, что наслаждение жизнью не может доставить нам истинной радости, если мы страшимся расстаться с нею. Мне кажется, что следовало бы сказать совершенно обратное, а именно: мы держимся за это благо с тем большей цепкостью и ценим его тем выше, чем мы неувереннее в нем и чем сильнее страшимся лишиться его. Ведь вполне очевидно, что подобно тому как огонь, войдя в

[330] Примечания: 330

Страшиться потерять какую-нибудь вещь — все равно что потерять ее (*лат.*). *Письма,* 98, 6.

соприкосновение с холодом, становится ярче, так и наша воля, сталкиваясь с препятствиями, закаляется и оттачивается:

> *Si nunquam Danaen habuisset aënea turris,*
> *Non esset Danae de love facta parens*[331]*;*

и что нет, естественно, ничего столь противоположного нашему вкусу, как пресыщение удовольствиями, и ничего столь для него привлекательного, как то, что редко и малодоступно: omnium rerum voluptas ipso quo debet fugare periculo crescit[332].

> *Galla, nega; satiatur amor, nisi gaudia torquent*[333]*.*

Желая оградить супругов от охлаждения любовного пыла, Ликург повелел спартанцам посещать своих жен не иначе как только тайком, и, найди их кто-нибудь вместе, это повлекло бы за собой

---

[331] Примечания: 331

Если бы Даная не была заточена в медную башню, она не родила бы Юпитеру сына (*лат.*). Овидий. *Любовные элегии,* II, 19, 27.

[332] Примечания: 332

Всякое удовольствие усиливается от той самой опасности, которая может лишить нас его (*лат.*). Сенека. *О благодеянии,* VII, 9.

[333] Примечания: 333

Галла, откажи: ведь если к радости не примешивается страдание, наступает пресыщение любовью (*лат.*). Марциал, IV, 38.

такой же позор, как если бы то были люди, не связанные брачными узами. Трудности в отыскании надежного места для встреч, опасность быть застигнутыми врасплох, страх перед ожидающим назавтра позором,

et languor, et silentium,
Et latere petitus imo spiritus[334],

это-то и создает острую приправу.

Сколько сладострастных забав порождается весьма скромными и пристойными рассуждениями о делах любви!

Сладострастие любит даже усиливать себя посредством боли; оно гораздо острее, когда обжигает и сдирает кожу. Куртизанка Флора рассказывала, что она никогда не спала с Помпеем без того, чтобы не оставить на его теле следов своих укусов:

Quod petiere, premunt arcte, faciuntque dolorem
Corporis, et dentes inlidunt saepe labellis:
Et stimuli subsunt, qui instigant laedere id ipsum

---

[334] Примечания: 334

И томность, и молчание, и вздох из глубины души (*лат.*). Гораций. *Эподы,* II, 11.

Quodcumque est, rabies unde illae germina surgunt[335].

Так же обстоит дело и со всем другим: трудность придает вещам цену. Тот, кто живет в провинции Анкона, охотнее дает обет совершить паломничество к святому Иакову Компостельскому, а жители Галисии — к Богоматери Лоретской; в Льеже высоко ценят луккские целебные воды, а в Тоскане — целебные воды в Спа; в фехтовальной школе, находящейся в Риме, почти вовсе не увидишь жителей этого города, но зато там сколько угодно французов. И великий Катон, уподобляясь в этом всем нам, был пресыщен своею женою до полного отвращения к ней, пока она принадлежала ему, и начал жаждать ее, когда ею стал обладать другой.

Я удалил с конского завода и отправил в табун старого жеребца, который, даже ощущая близ себя запах кобыл, оставался бессильным; доступность удовлетворения похоти вызвала в нем пресыщение своими кобылами. Совсем иначе обстоит дело с чужими, и при виде любой из них,

---

[335] Примечания: 335

Они неистово сжимают в объятиях предмет своих вожделений и, причиняя телу боль, нередко впиваются зубами в губы; тайное жало заставляет их терзать то, чем и вызвано их неистовство (*лат.*). Лукреций, IV, 1075.

появляющейся близ его пастбища, он разражается неистовым ржанием и загорается столь же бешеным пылом, как прежде.

Наши желания презирают и отвергают все находящееся в нашем распоряжении; они гонятся лишь за тем, чего нет:

> *Transvolat in medio posita, et fugientia captat*[336].

Запретить нам что-либо, значит придать ему в наших глазах заманчивость:

> *nisi tu servare puellam*
> *Incipis, incipiet desinere esse mea*[337]*;*

предоставить же его сразу, значит заронить в нас к нему презрение. И отсутствие, и обилие действуют на нас одинаково:

> *Tibi quod superest, mihi quod defit, dolet*[338].

---

[336] Примечания: 336

Пренебрегает тем, что перед глазами, и ловит ускользающее (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* I, 2, 108.

[337] Примечания: 337

Если ты перестанешь стеречь свою дочь, она перестанет быть моею (*лат.*). Овидий. *Любовные элегии,* II, 19, 47.

[338] Примечания: 338

Ты жалуешься на обилие, я на скудость (*лат.*). Теренций. *Формион,* 163.

И желание, и обладание в равной мере тягостны нам. Целомудрие любовниц несносно; но чрезмерная доступность и уступчивость их, говоря по правде, еще несноснее. Это оттого, что досада и раздражение возникают из высокой оценки того, что вызывает наше желание, ибо она обостряет и распаляет любовь; однако обладание вдосталь порождает в нас холодность, и страсть становится вялой, притупленной, усталой, дремлющей:

Si qua volet regnare diu, contemnat amantem[339].

… contemnite, amantes,
Sic hodie veniet si qua negavit heri[340].

Чего ради Поппея вздумала прятать под маской свою красоту, если не для того, чтобы придать ей в глазах любовников еще большую цену? Почему женщины скрывают до самых пят те прелести, которые каждая хотела бы показать и которые каждый желал бы увидеть? Почему под столькими покровами, наброшенными один на другой,

---

[339] Примечания: 339

Если кто хочет сохранить свою власть над возлюбленным, пусть презирает его (*лат.*). Овидий. *Любовные элегии,* II, 19, 33.

[340] Примечания: 340

Влюбленные, выказывайте презрение, и та, что вчера вас отвергла, сегодня сама придет (*лат.*). Проперций, II, 14, 19.

таят они те части своего тела, которые главным образом и являются предметом наших желаний, а следовательно, и их собственных? И для чего служат те бастионы, которые наши дамы начали с недавнего времени воздвигать на своих бедрах, если не для того, чтобы дразнить наши вожделения и, отдаляя нас от себя, привлекать к себе?

Et
fugit at salices, et se cupit ante videri[341].
Interdum tunica duxit operta moram[342].

К чему эти уловки девического стыда, эта неприступная холодность, это строгое выражение в глазах и на всем лице, это подчеркнутое неведение тех вещей, которые они знают лучше нас с вами, будто бы обучающих их всему этому, если не для того, чтобы разжечь в нас желание победить, преодолеть, разметать все эти церемонии и преграды, мешающие удовлетворению нашей страсти? Ибо не только наслаждение, но и гордое сознание, что ты соблазнил и заставил

---

[341] Примечания: 341

Убегает к ветлам, но жаждет, чтобы я ее увидел (*лат.*). Вергилий. *Эклоги,* III, 65.

[342] Примечания: 342

Нередко закрытая туника привлекает внимание (*лат.*). Проперций, II, 15, 6.

безумствовать эту робкую нежность и ребячливую стыдливость, обуздал и подчинил своему любовному экстазу холодную и чопорную бесстрастность, одержал верх над скромностью, целомудрием, сдержанностью, — в этом, по общему мнению, для мужчины и в самом деле великая слава; и тот, кто советует женщинам отказаться от всего этого, совершает предательство и по отношению к ним, и по отношению к себе самому. Нужно верить, что сердце женщины трепещет от ужаса, что наши слова оскорбляют ее чистый слух, что она ненавидит нас за то, что мы произносим их, и уступает лишь нашему грубому натиску, склоняясь перед насилием. Красота, сколь бы могущественной она ни была, не в состоянии без этого восполнения заставить поклоняться себе. Взгляните на Италию, где такое обилие ищущей покупателя красоты, и притом красоты исключительной; взгляните, к скольким уловкам и вспомогательным средствам приходится ей там прибегать, чтобы придать себе привлекательность! И все же, что бы она ни делала, — поскольку она продажна и доступна для всех, — ей не удается воспламенять и захватывать. Вообще — и это относится также и к добродетели — из двух равноценных деяний

мы считаем более прекрасным сопряженное с большими трудностями и большей опасностью.

Божественный промысел преднамеренно допустил, чтобы святая церковь его была раздираема столькими треволнениями и бурями. Он сделал это затем, чтобы разбудить этой встряскою благочестивые души и вывести их из той праздности и сонливости, в которые их погрузило столь длительное спокойствие. И если положить на одну из двух чаш весов потери, понесенные нами в лице многих заблудших, а на другую — выгоду от того, что мы вновь стали дышать полной грудью и, взбудораженные этой борьбой, обрели наше былое рвение и душевные силы, то, право, не знаю, не перевесит ли польза вреда.

Полностью устранив возможность развода, мы думали укрепить этим брачные узы; но, затянув узы, налагаемые на нас принуждением, мы в той же мере ослабили и обесценили узы, налагаемые доброй волей и чувством. В Древнем Риме, напротив, средством, поддерживавшим устойчивость браков, долгое время пребывавших незыблемыми и глубоко почитаемыми, была неограниченная свобода их расторжения для каждого выразившего такое желание; поскольку у римлян существовала опасность потерять своих

жен, они окружали их большей заботой, нежели мы, и, несмотря на полнейшую возможность развода, за пятьсот с лишним лет здесь не нашлось никого, кто бы ею воспользовался:

> *Quod licet, ingratum est; quod non licet acrius urit*[343].

К вышесказанному можно добавить мнение одного древнего автора, считавшего, что смертные казни скорее обостряют пороки, чем пресекают их; что они не порождают стремления делать добро (ибо это есть задача разума и размышления), но лишь стремление не попадаться, творя злые дела:

> *Latius excisae pestis contagia serpunt*[344].

Не знаю, справедливо ли это суждение, но по личному опыту знаю, что меры подобного рода никогда не улучшают положения дел в государстве: порядок и чистота нравов достигаются совершенно иными средствами.

Древнегреческие историки упоминают об ар-

---

[343] Примечания: 343

Дозволенное не привлекает, недозволенное распаляет сильнее (*лат.*). Овидий. *Любовные элегии,* II, 19, 3.

[344] Примечания: 344

Еще шире распространяется зло, которое считали выкорчеванным (*лат.*). Рутилий. *Путешествие,* I, 397.

гиппеях, обитавших по соседству со Скифией. Они жили без розог и карающей палки; никто между ними не только не помышлял о нападении на другие народы, но, больше того, если кто-нибудь спасался к ним бегством, он пользовался у них полной свободой — такова была чистота их жизни и их добродетель. И никто не осмеливался преследовать укрывшегося у них. К ним обращались за разрешением споров, возникавших между жителями окрестных земель.

Существуют народы, у которых охрана садов и полей, если они хотят их уберечь, осуществляется при помощи сетки из хлопчатой бумаги, и она оказывается более надежной и верной, чем наши изгороди и рвы: Furem signata sollicitant. Aperta effractarius praeterit[345]. Среди всего прочего, ограждающего мой дом от насилий, порождаемых нашими гражданскими войнами, его оберегает, быть может, и легкость, с какою можно проникнуть в него. Попытки как-то защититься распаляют дух предприимчивости, недоверие — желание напасть. Я умерил пыл наших солдат, устранив из их подвигов этого рода какой бы то ни было риск и лишив их тем самым даже

[345] Примечания: 345

Запертая дверь привлекает вора, открытыми грабитель пренебрегает (*лат.*). *Письма,* 68, 4.

крупицы воинской славы, которая обычно оправдывает и покрывает такие дела: когда правосудия больше не существует, все, что сделано смело, то и почетно. Я же превращаю захват моего дома в предприятие для трусов и негодяев. Он открыт всякому, кто постучится в него; весь его гарнизон состоит из одного-единственного привратника, как это установлено старинным обычаем и учтивостью, и привратник этот нужен не для того, чтобы охранять мои двери, но для того, чтобы пристойно и гостеприимно распахивать их. У меня нет никаких других стражей и часовых, кроме тех, которые мне даруют светила небесные. Дворянину не следует делать вид, будто он собирается защищаться, если он и впрямь не подготовлен к защите. Кто уязвим хоть с одной стороны, тот уязвим отовсюду: наши отцы не ставили своей целью строить пограничные крепости. Способы штурмовать — я имею в виду штурмовать без пушек и без большой армии, — захватывать наши дома с каждым днем все умножаются, и они совершеннее способов обороны. Изобретательность, как правило, бывает направлена именно в эту сторону: над захватом ломают голову все, над обороной — только богатые. Мой замок был достаточно укреплен по тем временам, когда его

возводили. В этом отношении я ничего к нему не добавил и всегда опасался, как бы крепость его не обернулась против меня самого; к тому же, когда наступит мирное время, понадобится уничтожить некоторые из его укреплений. Опасно отказываться от них навсегда, но трудно вместе с тем и полагаться на них, ибо во время междоусобиц иной из числа ваших слуг может оказаться приверженцем партии, которой вы всего больше и опасаетесь, и где религия доставляет благовидный предлог, там нельзя доверять даже родственникам, поскольку у них есть возможность сослаться на высшую справедливость.

Государственная казна не в состоянии содержать наши домашние гарнизоны; это ее истощило бы. Не можем содержать их и мы, ибо это привело бы нас к разорению или — что еще более тягостно и более несправедливо — к разорению простого народа. Государство от моей гибели нисколько не ослабеет. В конце концов, если вы гибнете, то в этом повинны вы сами, и даже ваши друзья станут в большей мере винить вашу неосторожность и неосмотрительность, чем оплакивать вас, а также вашу неопытность и беспечность в делах, которые вам надлежало вести. И если столько хорошо охраняемых замков

подверглось потоку и разграблению, тогда как мой все еще пребывает в полной сохранности, то это наводит на мысль, уж не погубили ли они себя именно тем, что тщательно охранялись. Ведь это порождает стремление напасть и оправдывает действия нападающего: всякая охрана связана с представлением о войне. Если того пожелает Господь, она обрушится, разумеется, и на меня, но я-то, во всяком случае, не стану ее призывать: дом мой — убежище, в котором я укрываюсь от войн. Я пытаюсь оградить этот уголок от общественных бурь, как пытаюсь оградить от них и другой уголок у себя в душе. Наша война может сколько угодно менять свои формы; пусть эти формы множатся, пусть возникают новые партии; что до меня, то я не пошевелюсь.

Во Франции немало укрепленных замков, но, насколько мне известно, из людей моего положения лишь я один всецело доверил небу охрану моего жилища. Я никогда не вывозил из него ни столового серебра, ни фамильных бумаг, ни ковров. Я не хочу ни наполовину бояться, ни наполовину спасаться. Если полное и искреннее доверие к воле Господней может снискать ее благосклонность, то она пребудет со мной до конца дней моих, если же нет, то я пребывал

под ее сенью достаточно долго, чтобы счесть длительность этого пребывания поразительной и отметить ее. Неужели? Да, вот уже добрых тридцать лет!

Глава XVI
О славе

Существует название вещи и сама вещь; название — это слово, которое указывает на вещь и обозначает ее. Название не есть ни часть вещи, ни часть ее сущности. Это нечто присоединенное к вещи и пребывающее вне вещи.

Бог, который в себе самом есть полная завершенность и верх совершенства, не может возвеличиваться и возрастать внутри себя самого, но имя его может возвеличиваться и возрастать через благословления и хвалы, воздаваемые нами явленным им делам. И поскольку мы не в состоянии вложить в него эти хвалы, ибо он не может расти во благе, мы обращаем их к его имени, которое есть нечто, хоть и пребывающее вне его сущности, но наиболее близкое к ней. Так обстоит дело лишь с одним Богом, и ему одному принадлежат вся слава и весь почет. И нет ничего более бессмысленного, чем домогаться того же для нас, ибо, нищие и убогие духом, обладая несовершенной сущностью и постоянно нуждаясь в ее улучшении, мы должны прилагать все

наши усилия только к этому и ни к чему больше. Мы совсем полые и пустые, и не воздухом и словами должны мы заполнить себя: чтобы стать по-настоящему сильными, нам нужна более осязательная субстанция. Не много ума проявил бы тот голодающий, который занялся бы добыванием нарядного платья, вместо того чтобы постараться добыть себе сытную пищу. Как гласит ежедневная наша молитва: Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus[346]. Нам недостает красоты, здоровья, добродетели и других столь же важных вещей; о внешних украшениях можно будет подумать позже, когда у нас будет самое насущное. Этот предмет более пространно и обстоятельно освещается теологией; я же осведомлен в нем недостаточно глубоко.

Хрисипп и Диоген были первыми авторами — и притом наиболее последовательными и непреклонными, — выразившими презрение к славе. Среди всех наслаждений, говорили они, нет более гибельного, чем одобрение со стороны, нет никакого другого, от которого нужно было бы так бежать. И действительно, как показывает нам опыт, вред, проистекающий от подобного

[346] Примечания: 346
Слава в вышних Богу и на земле мир людям (*лат.*). Лука, 2:14.

одобрения, необъятен: нет ничего, что в такой мере отравляло бы государей, как лесть, ничего, что позволяло бы дурным людям с такой легкостью добиваться доверия окружающих; и никакое сводничество не способно так ловко и с таким неизменным успехом совращать целомудренных женщин, как расточаемые им и столь приятные для них похвалы. Первая приманка, использованная сиренами, чтобы завлечь Одиссея, была такого же рода:

> *К нам Одиссей богоравный, великая слава ахеян,*
>
> *К нам с кораблем подойди…*

Эти философы говорили, что слава целого мира не заслуживает того, чтобы мыслящий человек протянул к ней хотя бы один палец:

> *Gloria quantalibet quid erit, si gloria tantum est?*[347]

Я говорю лишь о славе самой по себе, ибо нередко она приносит с собой кое-какие жизненные удобства, благодаря которым может стать желанной для нас: она снискивает нам всеобщее благоволение и ограждает хоть в некоторой мере

---

[347] Примечания: 347

Что толку в славе — это всего лишь слава? (*лат.*) Ювенал, VII, 83.

от несправедливости и нападок со стороны других людей и так далее.

Такое отношение к славе было одним из главнейших положений учения Эпикура. Ведь предписание его школы: «Живи незаметно», воспрещающее людям брать на себя исполнение общественных должностей и обязанностей, необходимо предполагает презрение к славе, которая есть не что иное, как одобрение окружающими наших поступков, совершаемых у них на глазах. Кто велит нам таиться и не заботиться ни о чем, кроме как о себе, кто не хочет, чтобы мы были известны другим, тот еще меньше хочет, чтобы нас окружали почет и слава. И он советует Идоменею не руководствоваться в своих поступках общепринятыми мнениями и взглядами, отступая от этого правила только затем, чтобы не навлекать на себя неприятностей, которые может доставить ему при случае людское презрение.

Эти рассуждения, на мой взгляд, поразительно правильны и разумны, но нам — я и сам не знаю почему — свойственна двойственность, и отсюда проистекает, что мы верим тому, чему вовсе не верим, и не в силах отделаться от того, что всячески осуждаем. Рассмотрим же последние слова Эпикура, сказанные им на смертном одре:

они велики и достойны такого замечательного философа, но на них все же заметна печать горделивого отношения к своему имени и того пристрастия к славе, которое он так порицал в своих поучениях. Вот письмо, продиктованное им незадолго перед тем, как от него отлетело дыхание.

«Эпикур шлет Гермарху привет.

Я написал это в самый счастливый и вместе с тем последний день моей жизни, ощущая при этом такие боли в мочевом пузыре и в животе, что сильнее быть не может. И все же они возмещались наслаждением, которое я испытывал, вспоминая о своих сочинениях и речах. Ты же возьми под свое покровительство детей Метродора, как того требует от тебя твоя склонность к философии и ко мне, которую ты питаешь с раннего детства».

Вот это письмо. И если я считаю, что наслаждение, ощущаемое им в душе, как он говорит, при воспоминании о своих сочинениях, имеет касательство к славе, на которую он рассчитывал после смерти, то меня побуждает к этому распоряжение, содержащееся в его завещании. Этим распоряжением он предписывает, чтобы Аминомах и Тимократ, его наследники, предоставляли

для празднования его дня рождения в январе месяце суммы, какие укажет Гермарх, и равным образом оплачивали расходы на угощение близких ему философов, которые будут собираться в двадцатый день каждой луны в честь и в память его и Метродора.

Карнеад был главой тех, кто держался противоположного мнения. Он утверждал, что слава желанна сама по себе, совершенно так же, как мы любим наших потомков исключительно ради них, не зная их и не извлекая из этого никакой выгоды для себя. Эти взгляды встретили всеобщее одобрение, ибо люди охотно принимают то, что наилучшим образом отвечает их склонностям. Аристотель предоставляет славе первое место среди остальных внешних благ. Он говорит: избегай, как порочных крайностей, неумеренности и в стремлении к славе, и в уклонении от нее. Полагаю, что, имей мы перед собой книги, написанные на эту тему Цицероном, мы нашли бы в них вещи, воистину поразительные. Этот человек был до того поглощен страстной жаждой славы, что решился бы, как мне кажется, и притом очень охотно, впасть в ту же крайность, в которую впадали другие, полагая, что сама добродетель желанна лишь ради почета, неизменно

следующего за ней:

Paulum sepultae distat inertiae
Celata virtus[348].

Это мнение до последней степени ложно, и мне просто обидно, что оно могло возникнуть в голове какого-нибудь человека, имевшего честь называться философом.

Если бы подобные взгляды были верны, то добродетельным нужно было бы быть лишь на глазах у других, а что касается движений души, в которых, собственно, и заключается добродетель, то нам не было бы никакой надобности подчинять их своей воле и налагать на них узы; это было бы необходимо только в тех случаях, когда они могли бы стать достоянием гласности.

Выходит, что обманывать допустимо, если это делается хитро и тонко! «Если ты знаешь, — говорит Карнеад, — что в таком-то месте притаилась змея и на это место, ничего не подозревая, собирается сесть человек, чья смерть, по твоим расчетам, принесет тебе выгоду, то, не предупредив его об опасности, ты совершишь злодеяние, и притом тем более великое, что твой поступок

[348] Примечания: 348

Скрытая доблесть мало чем отличается от безвестной лени (*лат.*). Гораций. *Оды,* IV, 19, 29.

будет известен лишь тебе одному». Если мы не вменим себе в закон поступать праведно, если мы приравняем безнаказанность к справедливости, то каких только злых дел не станем мы каждодневно творить. Я не считаю заслуживающим особой похвалы то, что сделал Секст Педуцей, честно возвратив вдове Гая Плоция те его сокровища, которые Гай Плоций доверил ему без ведома кого-либо третьего (подобные вещи не раз делал также я сам), но я счел бы гнусным и омерзительным, если бы кто-нибудь не сделал этого. И я нахожу уместным и очень полезным вспомнить в наши дни о Секстилии Руфе, которого Цицерон осуждает за то, что он принял наследство против своей совести, хотя и пошел на это не только не вопреки законам, но и на основании их, а также о Марке Крассе и Квинте Гортензии, равно осуждаемых Цицероном. Будучи людьми влиятельными и чрезвычайно могущественными, они были как-то приглашены в долю одним посторонним для них человеком, собиравшимся завладеть наследством по подложному завещанию и надеявшимся таким способом обеспечить себе свою часть. Красс и Гортензий удовольствовались сознанием, что они не являются соучастниками подлога, но не отказались, однако, воспользо-

ваться плодами его; они сочли, что, поскольку им не грозят ни обвинение по суду, ни свидетели, ни законы, они, стало быть, и не запятнали себя. Meminerint deum se habere testem, id est (ut ego arbitror) mentem suam[349].

Добродетель была бы вещью слишком суетной и легковесной, если бы ценность ее основывалась только на славе. И бесплодными были бы в таком случае наши попытки предоставить ей особое, подобающее ей место, отделив ее от удачи, ибо есть ли еще что-нибудь столь же случайное, как известность? Profecto fortuna in omni re dominatur; ea res cunctas ex libidine magis, quam ex vero, celebrat, obscuratque[350]. Распространять молву о наших деяниях и выставлять их напоказ — это дело голой удачи: судьба дарует нам славу по своему произволу. Я не раз видел, что слава опережает заслуги, и не раз — что она безмерно превышает их. Кто первый заметил ее сходство с тенью, тот высказал нечто большее, чем хотел; и та и другая необычайно прихотливы: и тень

[349] Примечания: 349

Следовало бы помнить, что свидетелем является Бог, то есть (как я полагаю) наша совесть (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 10.

[350] Примечания: 350

Без сомнения, всем управляет случай. Он скорее по прихоти, чем по справедливости, одни события покрывает славой, другие — мраком забвения (*лат.*). Саллюстий. *Заговор Катилины,* 8.

также порою идет впереди тела, которое отбрасывает ее, порою и она также намного превосходит его своею длиной. Те, которые поучают дворян быть доблестными только ради почета, — quasi non sit honestum, quod nobilitatum non sit[351], чему они учат, как не тому, чтобы человек никогда не подвергал себя опасности, если его не видят другие, и всегда заботился о том, чтобы были свидетели, которые могли бы потом рассказать о его храбрости — и это в таких случаях, когда представляется тысяча возможностей совершить нечто доблестное, оставаясь незамеченным? Сколько прекраснейших подвигов бесследно забывается в сумятице битвы! И кто предается наблюдению за другими в разгар такой схватки, тот, очевидно, остается в ней праздным и, свидетельствуя о поведении своих товарищей по оружию, свидетельствует тем самым против себя. Vera et sapiens animi magnitudo, honestum illud, quod maxime naturam sequitur, in factis positum non in gloria iudicat[352].

---

[351] Примечания: 351

Как если бы достохвальным было только то, что пользуется известностью (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях,* I, 4.

[352] Примечания: 352

Подлинное и истинное величие души видит честь в том, чтобы следовать своей природе в делах, а не славе (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях,* 1,19.

Вся слава, на которую я притязаю, это слава о том, что я прожил свою жизнь спокойно, и притом прожил ее спокойно не по Метродору, Аркесилаю или Аристиппу, но по своему разумению. Ибо философия так и не смогла найти такой путь к спокойствию, который был бы хорош для всех, и всякому приходится искать его на свой лад.

Чему обязаны Цезарь и Александр бесконечным величием своей славы, как не удаче? Скольких людей придавила фортуна в самом начале их жизненного пути! Сколько было таких, о которых мы ровно ничего не знаем, хотя они проявили бы не меньшую доблесть, если бы горестный жребий не пресек их деяний, можно сказать, при их зарождении? Пройдя через столько угрожавших его жизни опасностей, Цезарь, сколько я помню из того, что прочел о нем, ни разу не был ранен, а между тем тысячи людей погибли при гораздо меньшей опасности, нежели наименьшая, которую он преодолел. Бесчисленное множество прекраснейших подвигов не оставило по себе ни малейшего следа, и только редчайшие из них удостоились признания. Не всегда оказываешься первым в проломе крепостных стен или впереди армии на глазах у своего полководца, как если

б ты был на подмостках. Смерть чаще настигает воина между изгородью и рвом; приходится искушать судьбу при осаде какого-нибудь курятника: нужно выбить из сарая каких-нибудь четырех жалких солдат с аркебузами; нужно отделиться от войск и действовать самостоятельно, руководствуясь обстоятельствами и случайностями. И если внимательно приглядеться ко всему этому, то нетрудно, как мне кажется, прийти к выводу, подсказываемому нам нашим опытом, а именно, что наименее прославленные события — самые опасные и что в войнах, происходивших в наше время, больше людей погибло при событиях незаметных и малозначительных, например, при занятии или защите какой-нибудь жалкой лачуги, чем на полях почетных и знаменитых битв.

Кто считает, что напрасно загубит свою жизнь, если отдаст ее не при каких-либо выдающихся обстоятельствах, тот будет склонен скорее оставить свою жизнь в тени, чем принять славную смерть, и потому он пропустит немало достойных поводов подвергнуть себя опасности. А ведь всякий достойный повод поистине славен, и наша совесть не преминет возвеличить его в наших глазах. Gloria nostra est testimonium conscientiae

nostrae[353].

Кто порядочен только ради того, чтобы об этом узнали другие и, узнав, стали бы питать к нему большее уважение, кто творит добрые дела лишь при условии, чтобы его добродетели стали известны, — от того нельзя ожидать слишком многого.

Credo che'l resto di quel verno cose
Facesse degne di tenerne conto;
Ma fur sin'a quel tempo si nascose,
Che non è colpa mia s'hor'non le conto:
Perche Orlando a far 1'opre virtuose,
Più ch'a narrarle poi, sempre era pronto;
Ne mai fu alcun'de li suoi fatti espresso,
Se
non quando ebbe i testimoni appresso[354].

Нужно идти на войну ради исполнения своего долга и терпеливо дожидаться той награды, ко-

---

[353] Примечания: 353

Похвала наша — свидетельство совести нашей (*лат.*). Коринфянам, 1:12.

[354] Примечания: 354

Думается, до конца этой зимы Роланд совершал многие подвиги, достойные увековечения, но покрытые доныне такой тайной, что не моя вина, если я не могу рассказать о них. Роланд всегда стремился совершать дела, а не рассказывать о них, и из его подвигов нам известны только те, у которых были живые свидетели (*лат.*). Ариосто. *Неистовый Роланд,* XI, 81.

торая всегда следует за каждым добрым делом, сколь бы оно ни было скрыто от людских взоров, и даже за всякой добродетельной мыслью: эта награда заключается в чувстве удовлетворения, доставляемого нам чистой совестью, сознанием, что мы поступили хорошо. Нужно быть доблестным ради себя самого и ради того преимущества, которое состоит в душевной твердости, уверенно противостоящей всяким ударам судьбы:

Virtus, repulsae nescia sordidae,
Intaminatis fulget honoribus,
Nec sumit aut ponit secures
Arbitrio popularis aurae[355].

Совсем не для того, чтобы выставлять себя напоказ, наша душа должна быть стойкой и добродетельной; нет, она должна быть такою для нас, в нас самих, куда не проникает ничей взор, кроме нашего собственного. Это она научает нас не бояться смерти, страданий и даже позора; она дает нам силы переносить потерю наших детей, друзей и нашего состояния; и, когда представляется случай, она же побуждает нас дерзать среди

[355] Примечания: 355

Доблесть сияет неоспоримыми почестями и не знает позора от безуспешных притязаний; она не получает власти и не слагает ее по прихоти народа (*лат.*). Гораций. *Оды*, III, 2.

опасностей боя, non emolumento aliquo, sed ipsius honestatis decore[356]. Это — выгода гораздо большая, и жаждать, и чаять ее гораздо достойнее, чем тянуться к почету и славе, которые в конце концов не что иное, как благосклонное суждение других людей о нас.

Чтобы решить спор о каком-нибудь клочке земли, нужно выбрать из целого народа десяток подходящих людей; а наши склонности и наши поступки, то есть наиболее трудное и наиболее важное из всех дел, какие только возможны, мы выносим на суд черни, матери невежества, несправедливости и непостоянства! Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда глупцов и невежд? An quidquam stultius, quam, quos singulos contemnas, eos aliquid putare esse uiniversos? [357]Кто стремится угодить им, тот никогда ничего не достигнет; в эту мишень как ни целься, все равно не попадешь. Nil tam

[356] Примечания: 356

Не из какой-либо корысти, а ради чести самой добродетели (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* I, 10.

[357] Примечания: 357

Может ли быть что-нибудь более нелепое, чем придавать значение совокупности тех, кого презираешь каждого по отдельности? (*лат.*) Цицерон. *Тускуланские беседы,* V, 36.

inaestimabile est, quam animi multitudinis[358]. Деметрий сказал в шутку о гласе народном, что он не больше считается с тем, который исходит у толпы верхом, чем с тем, который исходит у нее низом. А другой автор высказывается еще решительнее: Ego hoc iudico, si quando turpe non sit, tamen non esse non turpe, cum id a multitudine laudetur[359].

Никакая изворотливость, никакая гибкость ума не могли бы направить наши шаги, вздумай мы следовать за столь беспорядочным и бестолковым вожатым; среди всей этой сумятицы слухов, болтовни и легковесных суждений, которые сбивают нас с толку, невозможно избрать себе мало-мальски правильный путь. Не будем же ставить себе такой переменчивой и неустойчивой цели; давайте неуклонно идти за разумом, и пусть общественное одобрение, если ему будет угодно, последует за нами на этом пути. И так как оно зависит исключительно от удачи, то у нас нет решительно никаких оснований считать, что мы

---

[358] Примечания: 358

Нет ничего презреннее мнения толпы (*лат.*). Тит Ливий, XXXI, 34.

[359] Примечания: 359

Я же полагаю, что вещь, сама по себе не постыдная, неизбежно становится постыдной, когда ее прославляет толпа (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* II, 15.

обретем его скорее на каком-либо другом пути, чем на этом. И если бы случилось, что я не пошел по прямой дороге, не отдав ей предпочтения потому, что она прямая, я все равно вынужден буду пойти по ней, убедившись на опыте, что в конце концов она наиболее безопасная и удобная: Dedit hoc provi-dentia hominibus munus, ut honesta magis iuvarent[360]. В древности некий моряк во время сильной бури обратился к Нептуну со следующими словами: «О, бог, ты спасешь меня, если захочешь, а если захочешь, то, напротив, погубишь меня; но я по-прежнему буду твердо держать мой руль». В свое время я перевидал множество изворотливых, ловких, двуличных людей, и никто не сомневался, что они превосходят меня житейскою мудростью, — и все же они погибли, тогда как я выжил:

Risi successu posse carere dolos[361].

Павел Эмилий, отправляясь в свой знаменитый македонский поход, с особой настойчивостью

[360] Примечания: 360

По милости провидения то, что служит к чести, в то же время является наиболее полезным для человека (*лат.*). Квинтилиан. *Воспитание оратора*, I, 12.

[361] Примечания: 361

Смеялся над тем, что расчет оказался бесполезным (*лат.*). Овидий. *Героиды*, I, 18.

предупреждал римлян, «чтобы в его отсутствие они попридержали языки насчет его действий». И в самом деле, необузданность людских толков и пересудов — огромная помеха в великих делах. Не всякий может противостоять противоречивой и оскорбительной народной молве, не всякий обладает твердостью Фабия, который предпочел допустить, чтобы праздные вымыслы трепали его доброе имя, чем хуже выполнить принятую им на себя задачу ради того, чтобы снискать себе славу и всеобщее одобрение.

Есть какое-то особенное удовольствие в том, чтобы слушать расточаемые тебе похвалы; но мы придаем ему слишком большое значение.

> *Laudari haud metuam, neque enim mihi cornea fibra est;*
>
> *Sed recti finemque extremumque esse recuso,*
>
> *Euge tuum et belle*[362].

Я не столько забочусь о том, каков я в глазах другого, сколько о том, каков я сам по себе. Я хочу быть богат собственным, а не заемным бо-

---

[362] Примечания: 362

Не уклонюсь от похвал, ведь я не рогом покрыт, но не приму твои восторги и похвалы за истинный смысл и конечную цель честных поступков (*лат.*). Персий, I, 47.

гатством. Посторонние видят лишь внешнюю сторону событий и вещей; между тем всякий имеет возможность изображать невозмутимость и стойкость даже в тех случаях, когда внутри он во власти страха и весь в лихорадке; таким образом, люди не видят моего сердца, они видят лишь надетую мною маску. И правы те, кто обличает процветающее на войне лицемерие, ибо что же может быть для ловкого человека проще, чем избегать опасностей и одновременно выдавать себя за первого смельчака, несмотря на то что в сердце он трус? Есть столько способов уклоняться от положений, связанных с личным риском, что мы тысячу раз успеем обмануть целый мир, прежде чем ввяжемся в какое-нибудь по-настоящему смелое дело. Но и тут, обнаружив, что нам больше не отвертеться, мы сумеем и на этот раз прикрыть нашу игру соответствующею личиною и решительными словами, хотя душа наша и уходит при этом в пятки. И многие, располагай они платоновским перстнем, делающим невидимым каждого, у кого он на пальце и кто обернет его камнем к ладони, частенько скрывались бы с его помощью от людских взоров — и именно там, где им больше всего подобало бы быть на виду, — горестно сожалея о том, что они занима-

ют столь почетное место, заставляющее их быть храбрыми поневоле.

Falsus honor iuvat, et mendax infamia terret

Quem, nisi mendosum et mendacem?[363]

Вот почему суждения, составленные на основании одного лишь внешнего облика той или иной вещи, крайне поверхностны и сомнительны: и нет свидетеля более верного, чем каждый в отношении себя самого. И скольких только обозников не насчитывается среди сотоварищей нашей славы! Разве тот, кто крепко засел в вырытом другими окопе, совершает больший подвиг, нежели побывавшие тут до него, нежели те полсотни горемык-землекопов, которые проложили ему дорогу и за пять су в день прикрывают его своими телами?

Non, quidquid turbida Roma

Elevet, accedas, examenque improbum in illa

Castiges trutina: nec tu quaesiveris

[363] Примечания: 363

Кто, кроме лжецов и негодяев, гордится ложной почестью и страшится ложных наветов? (*лат.*) Гораций. *Послания,* I, 16, 39.

extra[364].

Мы говорим, что, делая наше имя известным всюду и влагая его в уста столь многих людей, мы тем самым возвеличиваем его; мы хотим, чтобы оно произносилось с благоговением и чтобы это окружающее его сияние пошло ему на пользу — и это все, что можно привести в оправдание нашего стремления к славе. Но в исключительных случаях эта болезнь приводит к тому, что иные не останавливаются ни перед чем, только бы о них говорили. Трог Помпей сообщает о Герострате, а Тит Ливий о Манлии Капитолийском, что они жаждали скорее громкого, чем доброго имени. Этот порок, впрочем, обычен: мы заботимся больше о том, чтобы о нас говорили, чем о том, что именно о нас говорят; с нас довольно того, что наше имя у всех на устах, а почему — это нас отнюдь не заботит. Нам кажется, что если мы пользуемся известностью, то это значит, что и наша жизнь, и сроки ее находятся под охраною знающих нас. Что до меня, то я крепко держусь за себя самого. И если вспомнить о другой моей жизни, той, которая существует в представле-

[364] Примечания: 364

Не следуй за тем, что возвеличивает взбудораженный Рим, не исправляй неверную стрелку этих часов и не ищи себя нигде, кроме как в себе самом (*лат.*). Персий, I, 5.

нии моих добрых друзей, то, рассматривая ее как нечто совершенно самостоятельное и замкнутое в себе, я сознаю, что не вижу от нее никаких плодов и никакой радости, кроме, быть может, тщеславного удовольствия, связанного со столь фантастическим мнением обо мне. Когда я умру, я лишусь даже этого удовольствия и начисто утрачу возможность пользоваться той осязательной выгодой, которую приносят порой подобные мнения, и, не соприкасаясь больше со славою, я не смогу удержать ее, как и она не сможет затронуть или осенить меня. Ибо я не могу рассчитывать, чтобы мое имя приобрело ее, хотя бы уже потому, что у меня нет имени, принадлежащего исключительно мне. Из двух присвоенных мне имен одно принадлежит всему моему роду и, больше того, даже другим родам; есть семья в Париже и Монпелье, именующая себя Монтень, другая — в Бретани и Сентонже — де Ла Монтень; утрата одного только слога поведет к смешению наших гербов и к тому, что я стану наследником принадлежащей им славы, а они, быть может, моего позора; и если мои предки звались некогда Эйкем, то это же имя носит один известный род в Англии. Что до второго присвоенного мне имени, то оно принадлежит

всякому, кто бы ни пожелал им назваться; таким образом, и я, быть может, окажу, в свою очередь, честь какому-нибудь портовому крючнику. И даже имей я свой опознавательный знак, что, собственно, мог бы он обозначать, когда меня больше не будет? Мог ли бы он отметить пустоту и заставить полюбить ее?

Nunc levior cippus non imprimit ossa?
Laudat posteritas; nunc non e manibus illis,
Nunc non e tumulo, fortunataque favilla,
Nascuntur violae[365].

Но об этом я говорил уже в другом месте. Итак, после битвы, в которой было убито и изувечено десять тысяч человек, говорят лишь о каких-нибудь пятнадцати видных ее участниках. Отдельный подвиг, даже если он совершен не простым стрелком, а кем-нибудь из военачальников, может обратить на себя внимание только в том случае, если это деяние действительно выдающейся доблести или счастливо повлекшее за собой значительные последствия. И хотя убить одного врага или двоих, или десятерых для

[365] Примечания: 365
Не легче ли теперь надгробный камень давит на мои кости? Говорят, что потомство хвалит умершего: не родятся ли от этого фиалки из тени его, из надгробного холма и блаженного праха (*лат.*). Персий, I, 26.

каждого из нас и впрямь не безделица, ибо тут ставишь на карту все до последнего, — для мира, однако, все эти вещи настолько привычны, и он наблюдает их изо дня в день в таком несметном количестве, что их нужно по крайней мере еще столько же, чтобы произвести на него заметное впечатление. Вот почему мы не можем рассчитывать на особую славу,

casus multis hic cognitus ac iam
Tritus,
et e medio fortunae ductus acervo[366].

Среди множества отважных людей, с оружием в руках павших за пятнадцать столетий во Франции, едва ли найдется сотня таких, о ком мы хоть что-нибудь знаем. В нашей памяти изгладились не только имена полководцев, но и сами сражения и победы; судьбы большей половины мира из-за отсутствия поименного списка его обитателей остаются безвестными и не оставляют по себе никакого следа.

Если бы я располагал знанием неведомых доселе событий, то, какой бы пример мне ни потребовался, я мог бы заменить ими известные

[366] Примечания: 366

Это случай, многим знакомый, даже избитый, одна из многих превратностей судеб (*лат.*). Ювенал, XIII, 9.

нам. Да что тут говорить! Ведь даже о римлянах и о греках, хотя у них и было столько писателей и свидетелей, до нас дошло так немного!

> *Ad nos vix tenuis famae perlabitur aura*[367].

И еще хорошо, если через какое-нибудь столетие будут помнить, хотя бы смутно, о том, что в наше время во Франции бушевали гражданские войны.

Лакедемоняне имели обыкновение устраивать перед битвой жертвоприношения музам с тем, чтобы деяния, совершаемые ими на поле брани, могли быть достойным образом и красноречиво описаны; они считали, что если их подвиги находят свидетелей, умеющих даровать им жизнь и бессмертие, то это — величайшая и редкостная милость богов.

Неужели же мы и в самом деле станем надеяться, что при всяком произведенном в нас выстреле из аркебузы и всякой опасности, которой мы подвергаемся, вдруг неведомо откуда возьмется писец, дабы занести эти происшествия в свой протокол? И пусть таких писцов оказалась бы

---

[367] Примечания: 367

Слабый отзвук их славы едва донесся до нашего слуха (*лат.*). Энеида, VII, 646.

целая сотня, все равно их протоколам жить не дольше трех дней, и никто никогда их не увидит. Мы не располагаем и тысячной долей сочинений, написанных древними; судьба определяет им жизнь — одним покороче, другим подольше, в зависимости от своих склонностей и пристрастий; и, не зная всего остального, мы вправе задаться вопросом: уж не худшее ли то, что находится в нашем распоряжении? Из таких пустяков, как наши дела, историй не составляют. Нужно было возглавлять завоевание какой-нибудь империи или царства; нужно было, подобно Цезарю, выиграть пятьдесят два крупных сражения, неизменно имея дело с более сильным противником. Десять тысяч его соратников и несколько выдающихся полководцев, сопровождавших его в походах, храбро и доблестно отдали свою жизнь, а между тем имена их сохранялись в памяти лишь столько времени, сколько прожили их жены и дети:

quos fama obscura recondit[368].

И даже о тех, большие дела которых мы сами видели, даже о них, спустя три месяца или три года после их ухода от нас, говорят не больше, чем

---

[368] Примечания: 368
Те, кто умерли в безвестности (*лат.*). *Энеида,* V, 302.

если бы они никогда не существовали на свете. Всякий, кто, пользуясь правильной меркой и подобающими соотношениями, призадумается над тем, о каких делах и о каких людях сохраняются в книгах слава и память, тот найдет, что в наш век слишком мало деяний и слишком мало людей, которые имели бы право на них притязать. Мало ли знали мы доблестных и достойных мужей, которым пришлось пережить собственную известность, которые видели — и должны были это стерпеть, — как на их глазах угасли почет и слава, справедливо завоеванные ими в юные годы? А ради каких-то трех лет этой призрачной и воображаемой жизни расстаемся мы с живой, не воображаемой, но действительной жизнью и ввергаем себя в вечную смерть! Мудрецы ставят перед этим столь важным шагом другую, более высокую и более справедливую цель: Recte facti fecisse merces est[369].

Officii fructus, ipsum officium est[370].

Для живописца или другого художника, или

---

[369] Примечания: 369

Наградой за доброе дело служит свершение его (*лат.*). *Письма,* 81, 19.

[370] Примечания: 370

Вознаграждением за оказанную услугу является сама услуга (*лат.*). Там же.

также ритора, или грамматика извинительно стремиться к тому, чтобы завоевать известность своими творениями; но деяния доблести и добродетели слишком благородны по своей сущности, чтобы домогаться другой награды, кроме заключенной в них самих ценности, и в особенности — чтобы домогаться этой награды в тщете людских приговоров.

И все же это заблуждение человеческого ума имеет заслуги перед обществом. Это оно побуждает людей быть верными своему долгу; оно пробуждает в народе доблесть; оно дает возможность властителям видеть, как весь мир благословляет память Траяна и с омерзением отворачивается от Нерона; оно заставляет их содрогаться, видя, как имя этого знаменитого изверга, некогда столь грозное и внушавшее ужас, ныне безнаказанно и свободно проклинается и подвергается поношению любым школьником, которому взбредет это в голову; так пусть же это заблуждение укореняется все глубже и глубже; и пусть его насаждают в нас, насколько это возможно.

Платон, применявший решительно все, лишь бы заставить своих граждан быть добродетельными, советует им не пренебрегать добрым именем и уважением прочих народов и говорит, что

благодаря некоему божественному внушению даже плохие люди часто умеют как на словах, так и в мыслях своих отчетливо различать, что хорошо и что дурно. Этот муж и его наставник — поразительно ловкие мастера добавлять повсюду, где им не хватает человеческих доводов, божественные наставления и откровения, — ut tragici poetae confugiunt ad deum, cum explicare argumenti exitum non possunt[371]. Возможно, что именно по этой причине Тимон называет его в насмешку «великим чудотворцем».

Поскольку люди в силу несовершенства своей природы не могут довольствоваться доброкачественной монетой, пусть между ними обращается и фальшивая. Это средство применялось решительно всеми законодателями, и нет ни одного государственного устройства, свободного от примеси какой-нибудь напыщенной чепухи или лжи, необходимых, чтобы налагать узду на народ и держать его в подчинении. Вот почему эти государственные устройства приписывают себе, как правило, легендарное происхождение

[371] Примечания: 371

По примеру трагических поэтов, которые, не умея найти развязки, прибегают к богу (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* I, 20. Безнадежно запутанное положение в греческой трагедии часто разрешало явление бога (deus ex machina — «бог из машины»).

и начала их полны сверхъестественных тайн. Именно это и придавало вес даже порочным религиям и побуждало разумных людей делаться их приверженцами. Вот почему, стремясь укрепить верность своих подданных, Нума и Серторий пичкали их несусветным вздором, первый — будто нимфа Эгерия, второй — будто его белая лань сообщали им внушения богов, которым они и следовали.

И если Нума поднял авторитет своего свода законов, ссылаясь на покровительство этой богини, то то же сделали и Зороастр, законодатель бактрийцев и персов, ссылаясь на бога Ормузда, и Трисмегист египтян — на Меркурия, и Самолксис скифов — на Весту, и Харонд халкидян — на Сатурна, и Минос критян — на Юпитера, и Ликург лакедемонян — на Аполлона, и Драконт и Солон афинян — на Минерву; и вообще любой свод законов обязан своим происхождением кому-нибудь из богов, что ложно во всех случаях, за исключением лишь тех законов, которые Моисей дал иудеям по выходе из Египта.

Религия бедуинов, как рассказывает Жуанвиль, учит среди всего прочего и тому, что душа павшего за своего владыку вселяется в новую телесную оболочку — более удобную, более красивую и

более прочную, чем предыдущая, и он говорит, что из-за этого представления они с большей готовностью подвергают свою жизнь опасностям:

> *In ferrum mens prona viris, animaeque capaces*
>
> *Mortis, et ignavum est rediturae parcere vitae*[372].

Вот весьма полезное верование, сколь бы вздорным оно ни было. У каждого народа можно встретить похожие вещи; этот предмет, впрочем, заслуживает отдельного рассуждения.

Чтобы добавить еще словечко к сказанному вначале — я не советую женщинам именовать своей честью то, что в действительности является их прямым долгом: ut enim consuetudo loquitur, id solum dicitur honestum quod est populari fama gloriosum[373]; их долг — это, так сказать, сердцевина, их честь — лишь внешний покров. И я также не советую им оправдывать свой отказ пойти нам навстречу ссылкою на нее, ибо я напе-

---

[372] Примечания: 372

Воин стремится навстречу мечу и с готовностью приемлет смерть, не щадя возвращаемой жизни (*лат.*). Лукан, I, 461.

[373] Примечания: 373

Ведь, согласно обычному словоупотреблению, честью (honestum) называют только то, что признает славным народная молва (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* II, 15.

ред допускаю, что их склонности, их желания и их воля, к которым, пока они не обнаружат себя, честь не имеет ни малейшего отношения, еще более скромны, нежели их поступки:

> *Quae, quia non liceat, non facit, illa facit*[374].

Желать этого — не меньшее оскорбление Бога и собственной совести, чем совершить самый поступок. И поскольку дела такого рода прячутся ото всех и творятся тайно, то, не чти женщины своего долга и не уважай они целомудрия, для них не составило бы большого труда начисто скрыть какое-нибудь из них от постороннего взора и сохранить, таким образом, свою честь незапятнанной. Честный человек предпочтет скорее расстаться со своей честью, чем с чистой совестью.

---

[374] Примечания: 374

Та, что отказывает лишь потому, что запрещено, не отказывает (*лат.*). Овидий. *Любовные элегии,* III, 44.

Глава XVII
О самомнении

Существует и другой вид стремления к славе, состоящий в том, что мы создаем себе преувеличенное мнение о наших достоинствах. Основа его — безотчетная любовь, которую мы питаем к себе и которая изображает нас в наших глазах иными, чем мы есть в действительности. Тут происходит то же, что бывает с влюбленным, страсть которого наделяет предмет его обожания красотой и прелестью, приводя к тому, что, охваченный ею, он под воздействием обманчивого и смутного чувства видит того, кого любит, другим и более совершенным, чем тот является на самом деле.

Я вовсе не требую, чтобы из страха перед самовозвеличением люди принижали себя и видели в себе нечто меньшее, чем они есть; приговор во всех случаях должен быть равно справедливым. Подобает, чтобы каждый находил в себе только то, что соответствует истине; если это Цезарь, то пусть он смело считает себя величайшим полководцем в мире. Наша жизнь — это сплошная забота о приличиях; они опутали нас и заслонили

собой самую сущность вещей. Цепляясь за ветви, мы забываем о существовании ствола и корней. Мы научили женщин краснеть при малейшем упоминании о всех тех вещах, делать которые им ни в какой мере не зазорно; мы не смеем называть своим именем некоторые из наших органов, но не постыдимся пользоваться ими, предаваясь худшим видам распутства. Приличия запрещают нам обозначать соответствующими словами вещи дозволенные и совершенно естественные — и мы беспрекословно подчиняемся этому; разум запрещает нам творить недозволенное и то, что дурно, — и никто этому запрету не подчиняется. Я очень явственно ощущаю, насколько стеснительны для меня в данном случае законы, налагаемые приличиями, ибо они не дозволяют нам говорить о себе ни что-либо хорошее, ни что-либо дурное. Но довольно об этом.

Те, кому их судьба (назовем ее доброю или злою, как вам будет угодно) предоставила прожить жизнь, возвышающуюся над общим уровнем, те имеют возможность показать своими поступками, которые у всех на виду, что же они представляют собой. Те, однако, кому она назначила толкаться в безликой толпе и о ком ни одна душа не обмолвится ни словечком, если они сами

не сделают этого, — тем извинительно набраться смелости и рассказать о себе, обращаясь ко всякому, кому будет интересно послушать, и следуя в этом примеру Луцилия:

> *Ille velut fidis arcana sodalibus olim*
> *Credebat libris, neque, si male cesserat, usquam*
> *Decurrens alio, neque si bene: quo fit, ut omnis*
> *Votiva pateat veluti descripta tabella*
> *Vita senis*[375].

Как видим, он отмечал в своих записях и дела, и мысли свои, рисуя себя в них таким, каким представлялся себе самому: Nec id Rutilio et Scauro citra fidem aut obtrectationi fuit[376].

Вот и я припоминаю, что еще в дни моего раннего детства во мне отмечали какие-то особые, сам не знаю какие, повадки и замашки, говорившие о пустой и нелепой надменности. По этому поводу я

---

[375] Примечания: 375

Все тайны свои он поверял книгам, как верным друзьям: какое бы благо или зло с ним ни приключалось, он прибегал только к ним; таким образом старик начертал в своих сочинениях всю свою жизнь как на обетных дощечках (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* II, 1, 30.

[376] Примечания: 376

Это не вызвало ни доверия к Рутилию и Скавру, ни порицания (*лат.*). Тацит. *Жизнь Агриколы.*

прежде всего хотел бы сказать следующее: нет ничего удивительного, что нам присущи известные свойства и наклонности, вложенные в нас при рождении и настолько укоренившиеся, что мы не можем уже ни ощущать, ни распознавать их в себе; под влиянием таких естественных склонностей мы, сами того не замечая, непроизвольно усваиваем какую-нибудь привычку. Сознание своей красоты и связанное с этим некоторое жеманство явились причиной того, что Александр стал склонять голову несколько набок; они же придали речи Алкивиада картавость и шепелявость; Юлий Цезарь почесывал голову пальцем, а это, как правило, жест человека, одолеваемого тяжкими думами и заботами; Цицерон, кажется, имел обыкновение морщить нос, что является признаком врожденной насмешливости. Все эти движения могут совершаться неприметно для нас самих. Но наряду с ними есть другие, которые мы производим совершенно сознательно и о которых излишне распространяться; таковы, например, приветствия и поклоны, с помощью которых нередко добиваются чести, обычно незаслуженной, почитаться человеком учтивым и скромным, причем многих побуждает к этому честолюбие. Я очень охотно, особенно летом, сни-

маю в знак приветствия шляпу и всякому, кроме находящихся у меня в услужении, кто подобным образом поздоровается со мной, неизменно, независимо от его звания, отвечаю тем же. И все же я хотел бы высказать пожелание, обращенное к некоторым известным мне принцам, чтобы они были в этом отношении более бережливыми и расточали свои поклоны с большим разбором, ибо, снимая шляпу перед каждым, они не достигают того, чего могли бы достигнуть. Если это приветствие не выражает особого благоволения, оно не производит должного действия. Говоря о манере держаться, сознательно усваиваемой иными людьми, вспомним о величавой осанке, которой отличался император Констанций. Появляясь перед народом, он держал голову все время в одном положении: закинув ее немного назад, он не разрешал себе ни повернуть ее, ни наклонить, чтобы посмотреть на людей, стоявших на его пути и приветствовавших его с обеих сторон; тело его при этом также сохраняло полнейшую неподвижность, несмотря на толчки от движения колесницы; он не решался ни плюнуть, ни высморкаться, ни отереть пот с лица. Не знаю, были ли те замашки, которые когда-то отмечали во мне, вложены в меня самой природой и была

ли мне действительно свойственна некая тайная склонность к указанному выше пороку, что, конечно, возможно, так как за движения своего тела я отвечать не могу. Но что касается движений души, то я хочу рассказать здесь с полной откровенностью обо всем, что на этот счет думаю.

Высокомерие складывается из чересчур высокого мнения о себе и чересчур низкого о других. Что до первого из этих слагаемых, то, поскольку речь идет обо мне, необходимо, по-моему, прежде всего принять во внимание следующее: я постоянно чувствую на себе гнет некоего душевного заблуждения, которое немало огорчает меня отчасти потому, что оно совершенно необоснованно, а еще больше потому, что бесконечно навязчиво. Я пытаюсь смягчить его, но полностью избавиться от него я не могу. Ведь я неизменно преуменьшаю истинную ценность всего принадлежащего мне и, напротив, преувеличиваю ценность всего чужого, отсутствующего и не моего, поскольку оно мне недоступно. Это чувство уводит меня весьма далеко. Подобно тому как сознание собственной власти порождает в мужьях, а порой и в отцах достойное порицания пренебрежительное отношение к женам и детям, так и я, если передо мной два приблизительно равноценных творения,

всегда более строг к своему. И это происходит не столько от стремления к совершенству и желания создать нечто лучшее, не позволяющих мне судить беспристрастно, сколько в силу того, что обладание чем бы то ни было само по себе вызывает в нас презрение ко всему, чем владеешь и что находится в твоей власти. Меня прельщают и государственное устройство, и нравы дальних народов, и их языки. И я заметил, что латынь, при всех ее несомненных достоинствах, внушает мне почтение большее, чем заслуживает, в чем я уподобляюсь детям и простолюдинам. Поместье, дом, лошадь моего соседа, стоящие столько же, сколько мои, стоят в моих глазах дороже моих именно потому, что они не мои. Больше того, я совершенно не представляю себе, на что я способен, и восхищаюсь самонадеянностью и самоуверенностью, присущими в той или иной мере каждому, кроме меня. Это приводит к тому, что мне кажется, будто я почти ничего толком не знаю и что нет ничего такого, за выполнение чего я мог бы осмелиться взяться. Я не отдаю себе отчета в моих возможностях ни заранее, ни уже приступив к делу и познаю их только по результату. Мои собственные силы известны мне столь же мало, как силы первого встречного. Отсюда

проистекает, что если мне случится справиться с каким-нибудь делом, я отношу это скорее за счет удачи, чем за счет собственного умения. И это тем более, что за все, за что бы я ни взялся, я берусь со страхом душевным и с надеждой, что мне повезет. Равным образом мне свойственно, вообще говоря, также и то, что из всех суждений, высказанных древними о человеке как таковом, я охотнее всего принимаю те — и их-то я крепче всего и держусь, — которые наиболее непримиримы к нам и презирают, унижают и оскорбляют нас. Мне кажется, что философия никогда в такой мере не отвечает своему назначению, как тогда, когда она обличает в нас наше самомнение и тщеславие, когда она искренне признается в своей нерешительности, своем бессилии и своем невежестве. И мне кажется, что корень самых разительных заблуждений, как общественных, так и личных, это — чрезмерно высокое мнение людей о себе. Те, кто усаживается верхом на эпицикл Меркурия, чтобы заглянуть в глубины неба, ненавистны мне не меньше, чем зубодеры. Ибо, занимаясь изучением человека и сталкиваясь с таким бесконечным разнообразием взглядов на этот предмет, с таким неодолимым лабиринтом встающих одна за другой трудностей, с такой

неуверенностью и противоречивостью в самой школе мудрости, могу ли я верить — поскольку этим людям так и не удалось постигнуть самих себя и познать свое естество, неизменно пребывающее у них на глазах и заключенное в них самих, раз они не знают даже, каким образом движется то, чему они сами сообщили движение, или описать и изъяснить действие тех пружин, которыми они располагают и пользуются, — могу ли я верить их мнениям о причинах приливов и отливов на реке Нил? Стремление познать сущность вещей дано человеку, согласно Писанию, как бич наказующий.

Но возвращаюсь к себе. С великим трудом, мне кажется, можно было бы найти кого-нибудь, кто ценил бы себя меньше — или, если угодно, кто ценил бы меня меньше, — чем я сам ценю себя. Я считаю себя самым что ни на есть посредственным человеком, и единственное мое отличие от других — это то, что я отдаю себе полный отчет в своих недостатках, еще более низменных, чем общераспространенные, и нисколько не отрицаю их и не стараюсь придумать для них оправдания. И я ценю себя только за то, что знаю истинную цену себе. Если во мне и можно обнаружить высокомерие, то лишь самое поверхностное, и

происходит оно лишь от порывистости моего характера. Но этого высокомерия во мне такая безделица, что оно неприметно даже для моего разума. Оно, так сказать, слегка окропляет меня, но отнюдь не окрашивает.

И действительно, что касается порождений моего ума, то, в чем бы они ни состояли, от меня никогда не исходило чего-либо такого, что могло бы доставить мне истинное удовольствие; одобрение же других нисколько не радует меня. Суждения мои робки и прихотливы, особенно когда касаются меня самого. Я без конца порицаю себя, и меня всегда преследует ощущение, будто я пошатываюсь и сгибаюсь от слабости. Во мне нет ничего, способного доставить удовлетворение моему разуму. Я обладаю достаточно острым и точным зрением, но, когда я сам принимаюсь за дело, оно начинает мне изменять в том, что я делаю. То же самое происходит со мной и тогда, когда я предпринимаю самостоятельные попытки в поэзии. Я бесконечно люблю ее и достаточно хорошо разбираюсь в произведениях, созданных кем-либо другим, но я становлюсь сущим ребенком, когда меня охватывает желание приложить к ней свою руку; в этих случаях я бываю несносен себе самому. Простительно быть глупцом в чем

угодно, но только не в поэзии,

mediocribus esse poetis
Non di, non homines, non concessere columnae[377].

Хорошо было бы прибить это мудрое изречение на дверях лавок наших издателей, дабы преградить в них доступ такой тьме стихоплетов!

verum
Nil securius est malo poeta[378].

Почему нет больше народов, понимающих это так, как тот, о котором будет рассказано ниже? Дионисий-отец ценил в себе больше всего поэта. Однажды он отправил на Олимпийские игры вместе с колесницами, превосходившими своим великолепием все остальные, также певцов и поэтов, повелев им исполнять там его поэтические произведения; отправляя их, он дал им с собой по-царски роскошные, раззолоченные и увешанные коврами шатры и палатки. Когда дошла очередь до его стихов, изысканность и

[377] Примечания: 377

Ни боги, ни люди, ни книготорговцы не прощают поэту посредственности (*лат.*). Гораций. *Наука поэзии,* 372.

[378] Примечания: 378

Нет никого наглее плохого поэта (*лат.*). Марциал, XII, 63, 13.

красота декламации поначалу привлекли к себе внимание слушателей, но, раскусив, насколько беспомощны и бездарны эти стихи, народ исполнился к ним презрения, а затем, проникаясь все больше и больше досадой, устремился в ярости на шатры и сорвал свою злость, разметав их и изодрав в клочья. И то, что его колесницы также не показали на состязаниях ничего стоящего, и то, что корабль, на котором возвращались домой его люди, не достиг Сицилии и был выброшен на берег и разбит бурей близ Тарента, тот же народ счел достовернейшим знаком гнева богов, разъяренных, так же как он, плохими стихами. И даже моряки, избежавшие при кораблекрушении гибели, и те держались того же мнения, которое, как казалось, подтверждалось также и оракулом, предсказавшим Дионисию близкую смерть в таких выражениях: «Дионисий приблизится к своему концу, победив тех, кто лучше его». Сам Дионисий эти слова истолковал таким образом, будто тут подразумеваются карфагеняне, которые превосходили его своей мощью, и, ведя с ними войны, он нередко умышленно упускал из рук победу и останавливался на полпути, дабы не попасть в положение, на которое намекал оракул. Но он неправильно истолковал предсказанное,

ибо Бог имел в виду особые обстоятельства, а именно ту победу, которую он впоследствии несправедливо и при помощи подкупа одержал над более одаренными, нежели он, трагическими поэтами, поставив свою трагедию «Ленейцы» на драматическом состязании, происходившем в Афинах. Тотчас же после этой победы он умер, и это произошло отчасти от охватившей его безмерной радости.

То, что я нахожу в себе извинительным, не является таковым само по себе и не заслуживает, говоря по справедливости, оправдания; оно извинительно лишь в сравнении с еще худшим, что я вижу перед собой и что принимается всеми с одобрением. Я завидую счастью тех, кто умеет радоваться делам рук своих и испытывать от этого приятное удовлетворение. Ведь это весьма легкий способ доставлять себе удовольствие, ибо его извлекаешь из себя самого, в особенности если обладаешь известным упорством в своих оценках. Мне знаком некий поэт, которому и стар и млад, все вместе и каждый в отдельности, словом, и небо, и земля, в один голос кричат, что он ровно ничего не смыслит в поэзии. А он тем не менее продолжает мерить себя той же меркой, которую себе назначил. Он все снова и снова бе-

рется за старое, перекраивает и перерабатывает, и трудится, и упорствует, тем более неколебимый в своих суждениях, тем более несгибаемый, что твердостью их он обязан лишь себе самому.

Мои произведения не только не улыбаются мне, но всякий раз, как я прикасаюсь к ним, вызывают у меня досаду:

> *Cum relego, scripsisse pudet, quia plurima cerno,*
>
> *Me quoque, qui feci, iudice, digna lini*[379].

Пред моим мысленным взором постоянно витает идея, некий неотчетливый, как во сне, образ формы, неизмеримо превосходящий ту, которую я применяю. Я не могу, однако, уловить ее и использовать. Да и сама эта идея не поднимается, в сущности, над посредственностью. И это дает мне возможность увидеть воочию, до чего же далеки от наиболее возвышенных взлетов моего воображения и от моих чаяний творения, созданные столь великими и щедрыми душами древности. Их писания не только удовлетворяют и заполняют меня; они поражают и пронизывают меня

---

[379] Примечания: 379

Перечитывая, я стыжусь написанного, ибо вижу, что даже, по мнению самого сочинителя, большую часть следовало бы вычеркнуть (*лат.*). Овидий. *Письма с Понта,* I, 5, 15.

восхищением; я явственно ощущаю их красоту, я вижу ее, если не полностью, не до конца, то, во всяком случае, в такой мере, что мне невозможно и думать о достижении чего-либо похожего. За что бы я ни брался, мне нужно предварительно принести жертвы грациям, как говорит Плутарх об одном человеке, дабы снискать их благосклонность:

> *si quid enim placet,*
> *Si quid dulce hominum sensibus influit,*
> *Debentur lepidis omnia Gratiis*[380].

Они ни в чем не сопутствуют мне; все у меня топорно и грубо; всему недостает изящества и красоты. Я не умею придавать вещам ценность свыше той, какой они обладают на деле: моя обработка не идет на пользу моему материалу. Вот почему он должен быть у меня лучшего качества; он должен производить впечатление и блестеть сам по себе. И если я берусь за сюжет попроще и позанимательнее, то делаю это ради себя, ибо мне вовсе не по нутру чопорное и унылое мудрствование, которому предается весь свет. Я делаю

---

[380] Примечания: 380

Если что-нибудь нравится, если что-то приятно человеческим чувствам, то всем этим мы обязаны прелестным грациям (*лат.*). Источник неизвестен.

это, чтобы доставить отраду себе самому, а не моему стилю, который предпочел бы сюжеты более возвышенные и строгие, если только заслуживает названия стиля беспорядочная и бессвязная речь или, правильнее сказать, бесхитростное просторечие и изложение, не признающее ни полагающейся дефиниции, ни правильного членения, ни заключения, путаное и нескладное, вроде речей Амафания и Рабирия. Я не умею ни угождать, ни веселить, ни подстрекать воображение. Лучший в мире рассказ становится под моим пером сухим, выжатым и безнадежно тускнеет. Я умею говорить только о том, что продумано мною заранее, и начисто лишен той способности, которую замечаю у многих моих собратьев по ремеслу и которая состоит в уменье заводить разговор с первым встречным, держать в напряжении целую толпу людей или развлекать без устали слух государя, болтая о всякой всячине, и при этом не испытывать недостатка в темах для разглагольствования — поскольку люди этого сорта хватаются за первую подвернувшуюся им, — приспосабливая эти темы к настроениям и уровню тех, с кем приходится иметь дело. Принцы не любят серьезных бесед, а я не люблю побасенок. Я не умею приводить первые при-

шедшие в голову и наиболее доступные доводы, которые и бывают обычно самыми убедительными; о каком бы предмете я ни высказывался, я охотнее всего вспоминаю наиболее сложное из всего, что знаю о нем. Цицерон считает, что в философских трактатах наиболее трудная часть — вступление. Прав он или нет, для меня лично самое трудное — заключение. И вообще говоря, нужно уметь отпускать струны до любого потребного тона. Наиболее высокий — это как раз тот, который реже всего употребляется при игре. Чтобы поднять легковесный предмет, требуется по меньшей мере столько же ловкости, сколько необходимо, чтобы не уронить тяжелый. Иногда следует лишь поверхностно касаться вещей, а иной раз, наоборот, надлежит углубляться в них. Мне хорошо известно, что большинству свойственно копошиться у самой земли, поскольку люди, как правило, познают вещи по их внешнему облику, по коре, покрывающей их, но я знаю также и то, что величайшие мастера, и среди них Ксенофонт и Платон, снисходили нередко к низменной и простонародной манере говорить и обсуждать самые разнообразные вещи, украшая ее изяществом, которое свойственно им во всем.

Впрочем, язык мой не отличается ни просто-

той, ни плавностью; он шероховат и небрежен, у него есть свои прихоти, которые не в ладу с правилами; но каков бы он ни был, он все же нравится мне, если и не по убеждению моего разума, то по душевной склонности. Однако я хорошо чувствую, что иной раз захожу, пожалуй, чересчур далеко и, желая избегнуть ходульности и искусственности, впадаю в другую крайность;

brevis esse laboro,
Obscurus fio[381].

Платон говорит, что многословие или краткость не являются свойствами, повышающими или снижающими достоинства языка. Отмечу, что всякий раз, когда я пробовал держаться чуждого мне стиля, а именно ровного, единообразного и упорядоченного, я всегда терпел неудачу. И добавлю, что хотя каденции и цезуры Саллюстия мне более по душе, я все же считаю Цезаря и более великим, и менее доступным для подражания. И если мои склонности влекут меня скорее к воспроизведению стиля Сенеки, то это не препятствует мне гораздо выше ценить стиль Плутарха. Как в поступках, так и в речах я следую,

[381] Примечания: 381
стараясь быть кратким, я становлюсь непонятным (*лат.*). Гораций. *Наука поэзии,* 25.

не мудрствуя, своим естественным побуждениям, откуда и происходит, быть может, то, что я говорю лучше, чем пишу. Деятельность и движение воодушевляют слова, в особенности у тех, кто подвержен внезапным порывам, что свойственно мне, и с легкостью воспламеняется; поза, лицо, голос, одежда и настроение духа могут придать значительность тем вещам, которые сами по себе лишены ее, — и даже пустой болтовне. Мессала у Тацита жалуется на то, что узкие одеяния, принятые в его время, а также устройство помоста, с которого выступали ораторы, немало вредили его красноречию.

Мой французский язык сильно испорчен и в смысле произношения, и во всех других отношениях варварством той области, где я вырос; я не знаю в наших краях ни одного человека, который не чувствовал бы сам своего косноязычия и не продолжал бы тем не менее оскорблять им чисто французские уши. И это не оттого, что я так уж силен в своем перигорском наречии, ибо я сведущ в нем не более, чем в немецком языке, о чем нисколько не сожалею. Это наречие, как и другие, распространенные вокруг в той или иной области, — как, например, пуатуское, сентонжское, ангулемское, лимузинское, овернское

— тягучее, вялое, путаное; впрочем, повыше нас, ближе к горам, существует еще гасконская речь, на мой взгляд, выразительная, точная, краткая, поистине прекрасная; это язык действительно мужественный и воинственный в большей мере, чем какой-либо другой из доступных моему пониманию, язык настолько же складный, могучий и точный, насколько изящен, тонок и богат французский язык.

Что до латыни, которая в детстве была для меня родным языком, то, отвыкнув употреблять ее в живой речи, я утратил беглость, с какою некогда говорил на ней; больше того, я отвык и писать по-латыни, а ведь в былое время я владел ею с таким совершенством, что меня прозвали «учителем Жаном». Вот как мало стою я и в этом отношении.

Красота — великая сила в общении между людьми; это она прежде всего остального привлекает людей друг к другу, и нет человека, сколь бы диким и хмурым он ни был, который не почувствовал бы себя в той или иной мере задетым ее прелестью. Тело составляет значительную часть нашего существа, и ему принадлежит в нем важное место. Вот почему его сложение и особенности заслуживают самого пристального

внимания. Кто хочет разъединить главнейшие составляющие нас части и отделить одну из них от другой, те глубоко не правы; напротив, их нужно связать тесными узами и объединить в одно целое; необходимо повелеть нашему духу, чтобы он не замыкался в себе самом, не презирал и не оставлял в одиночестве нашу плоть (а он и не мог бы сделать это иначе, как из смешного притворства), но сливался с нею в тесном объятии, пекся о ней, помогал ей во всем, наблюдал за нею, направлял ее своими советами, поддерживал, возвращал на правильный путь, когда она с него уклоняется, короче говоря, вступил с нею в брак и был ей верным супругом, так чтобы в их действиях не было разнобоя, но, напротив, чтобы они были неизменно едиными и согласными.

Христиане имеют особое наставление относительно этой связи, ибо они знают, что правосудие Господне предполагает это единение и сплетение тела и души настолько тесным, что и тело, вместе с душой, обрекает на вечные муки или вечное блаженство; они знают также, что Бог видит все дела каждого человека и хочет, чтобы он во всей своей цельности получал по заслугам своим либо кару, либо награду.

Школа перипатетиков, из всех философских

школ наиболее человечная, приписывала мудрости одну-единственную заботу, а именно — печься об общем благе этих обеих живущих совместною жизнью частей нашего существа и обеспечивать им это благо. Перипатетики полагали, что прочие школы, недостаточно углубленно занимаясь рассмотрением вопроса об этом совместном существовании, в равной мере впадали в ошибку, уделяя все свое внимание одни — телу, другие — душе и упуская из виду свой предмет, человека и ту, кого они, вообще говоря, признают своей наставницей, то есть природу. Весьма возможно, что преимущество, даруемое нам природой в виде красоты, и повело к первым отличиям между людьми и к тому неравенству среди них, из которого и выросло преобладание одних над другими:

> *agros divisere atque dedere*
>
> *Pro facie cuiusque, et viribus ingenioque:*
>
> *Nam facies multum valuit viresque virebant*[382].

Что до меня, то я немного ниже среднего роста.

---

[382] Примечания: 382

Они поделили поля, одаряя всех согласно их красоте, дарованиям и силе, ибо красота тогда много значила и сила ценилась (*лат.*). Лукреций, V, 1109.

Этот недостаток не только вредит красоте человека, но и создает неудобство для всех тех, кому суждено быть военачальниками и вообще занимать высокие должности, ибо авторитетность, придаваемая красивой внешностью и телесной величавостью, — далеко не последняя вещь. Гай Марий с большой неохотой принимал в армию солдат ростом менее шести футов. «Придворный» имеет все основания высказывать пожелание, чтобы дворянин, которого он воспитывает, был скорее обычного роста, чем какого-либо иного; он прав также и в том, что не хочет видеть в нем ничего из ряда вон выходящего, что подавало бы повод указывать на него пальцем. Но если и нужна золотая середина, то в случае необходимости выбора между отклонениями в ту или другую сторону я предпочел бы — если бы речь шла о человеке военном, — чтобы он был скорее выше, чем ниже среднего роста. Люди низкого роста, говорит Аристотель, могут быть очень миловидными, но красивыми они никогда не бывают; в человеке большого роста мы видим большую душу, как в большом, рослом теле — настоящую красоту. Индийцы и эфиопы, говорит тот же автор, избирая своих царей и правителей, обращали внимание на красоту и высокий рост

избираемых. И они были правы, ибо, если во главе войска находится вождь могучего и прекрасного телосложения, его почитают те, кто идет за ним, и страшатся враги:

> *Ipse inter primos praestanti corpore Turnus*
>
> *Vertitur, arma tenens, et toto vertice supra est*[383].

Наш великий, божественный и небесный царь, каждая мысль которого должна быть тщательно, благочестиво и благоговейно принимаема нами, не пренебрег телесной красотой: speciosus forma prae filiis hominum[384].

Также и Платон наряду с умеренностью и твердостью требует, чтобы правители его государства обладали красивой наружностью. Чрезвычайно досадно, если, видя вас среди ваших людей, к вам обращают вопрос: «А где же ваш господин?», и если на вашу долю приходятся лишь остатки поклонов, расточаемых вашему цирюльнику или секретарю, как это случилось с беднягой

---

[383] Примечания: 383

Впереди всех мчится с оружием в руках, величавый с виду и на целую голову выше других, сам Турн (*лат.*). *Энеида,* VII, 783.

[384] Примечания: 384

Ты прекраснее сынов человеческих (*лат.*). Псалом, 44:3.

Филопеменом. Однажды он прибыл раньше сопровождавших его в тот дом, где его ожидали, и хозяйка, не зная его в лицо и видя, до чего он невзрачен собой, велела ему помочь служанкам натаскать воду и разжечь огонь, чтобы услужить Филопемену. Лица, состоявшие в его свите, прибыв туда и застав его за этим приятным занятием, — ибо он счел необходимым повиноваться полученному им приказанию, — спросили его, что он делает. «Я расплачиваюсь, — сказал он в ответ, — за мое уродство». Красота всех частей тела нужна женщине, но красота стана — единственная, необходимая мужчине. Там, где налицо малый рост, там ни ширина и выпуклость лба, ни белизна глазного белка и приветливость взгляда, ни изящная форма носа, ни небольшие размеры рта и ушей, ни ровные и белые зубы, ни равномерная густота каштановой бороды, ни красота ее и усов, ни округлая голова, ни свежий цвет лица, ни благообразие черт его, ни отсутствие дурного запаха, исходящего от тела, ни пропорциональность частей его не в состоянии сделать мужчину красивым.

В остальном я сложения крепкого и, что называется, ладно скроен; лицо у меня не то чтобы жирное, но достаточно полное; темперамент

— нечто среднее между жизнерадостным и меланхолическим, я наполовину сангвиник, наполовину холерик:

> *Unde rigent setis mihi crura, et pectora villis*[385]*;*

здоровье у меня крепкое, и я неизменно чувствую себя бодрым и, хотя я уже в годах, меня редко мучили болезни. Таким, впрочем, я был до сих пор, ибо теперь, когда перейдя порог сорока лет, я ступил уже на тропу, ведущую к старости, я больше не считаю себя таковым:

> *minutatim vires et robur adultum*
>
> *Frangit, et in partem peiorem liquitur aetas*[386]*.*

То, что ожидает меня в дальнейшем, будет не более чем существованием наполовину; это буду уже не я: что ни день, я все дальше и дальше ухожу от себя и обкрадываю себя самого:

> *Singula*

---

[385] Примечания: 385

У меня волосатые ноги и грудь (*лат.*). Марциал, XII, 56, 5.

[386] Примечания: 386

Мало-помалу силы и здоровье слабеют, и вся жизнь приходит в упадок (*лат.*). Лукреций, VII, 1130.

de nobis anni praedantur euntes[387].

Что до ловкости и до живости, то их я никогда не знал за собой. Я — сын отца, поразительно живого и сохранявшего бодрость вплоть до глубокой старости. И не было человека его круга и положения, который мог бы сравняться с ним в телесных упражнениях разного рода, в чем бы они ни состояли; точно так же не было человека, который не превзошел бы меня в этом деле. Исключение составляет, пожалуй, лишь один бег: тут я был в числе средних. Что касается музыки, то ни пению, к которому я оказался совершенно не способен, ни игре на каком-либо инструменте меня так и не смогли обучить. В танцах, игре в мяч, борьбе я никогда не достигал ничего большего, чем самой что ни на есть заурядной посредственности. Ну а в плаванье, искусстве верховой езды и прыжках я и вовсе ничего не достиг. Руки мои до того неловки, неуклюжи, что я не в состоянии сколько-нибудь прилично писать даже для себя самого, и случается, что, нацарапав кое-как что-нибудь, я предпочитаю написать то же самое заново, чем разбирать и исправлять свою мазню. Да и читаю

[387] Примечания: 387

Годы идут, похищая у нас одно за другим (*лат.*). Гораций. *Послания,* II, 2, 56.

вслух я нисколько не лучше: я чувствую, что усыпляю слушателей. Словом, я великий грамотей! Я не умею правильно запечатать письмо и никогда не умел чинить перья; не умел я также ни подобающим образом пользоваться ножом за едой, ни взнуздывать и седлать лошадь, ни носить на руке и спускать сокола, ни разговаривать с собаками, ловчими птицами и лошадьми. Моим телесным свойствам соответствуют в общем и свойства моей души. Моим чувствам также неведома настоящая живость, они также отличаются лишь силой и стойкостью. Я выносли́в и легко переношу всякого рода тяготы, но выносли́в я только тогда, когда считаю это необходимым, и только до тех пор, пока меня побуждает к этому мое собственное желание,

Molliter
austerum studio fallente laborem[388].

Иначе говоря, если меня не манит предвкушаемое мной удовольствие и если мной руководит нечто другое, а не моя собственная свободная воля, я ничего не стою, ибо я таков, что, кроме здоровья и жизни, нет ни одной вещи на свете,

---

[388] Примечания: 388

Рвение, заставляющее забывать тяжкий труд (*лат.*). Гораций. *Сатиры*, II, 2, 12.

ради которой я стал бы грызть себе ногти и которую готов был бы купить ценою душевных мук и насилия над собой,

tanti mihi non sit opaci

Omnis arena Tagi, quodque in mare volvitur aurum[389].

До крайности ленивый, до крайности любящий свободу и по своему характеру, и по убеждению, я охотнее отдам свою кровь, чем лишний раз ударю пальцем о палец. Душа моя жаждет свободы и принадлежит лишь себе и никому больше; она привыкла распоряжаться собой по собственному усмотрению. Не зная над собой до этого часа ни начальства, ни навязанного мне господина, я беспрепятственно шел по избранному мной пути, и притом тем шагом, который мне нравился. Это меня изнежило и сделало непригодным к службе другому.

У меня не было никакой нужды насиловать мой характер — мою тяжеловесность, любовь к праздности и безделью, — ибо, оказавшись со дня рождения на такой ступени благополучия, что я счел возможным остановиться на ней, и на такой

[389] Примечания: 389

Не настолько ценю я пески скрытого в тени Тага, что катит золото в море (*лат.*). Ювенал, III, 54.

ступени здравомыслия, что это оказалось возможным, я ничего не искал и ничего не обрел:

> *Non agimur tumidis velis Aquilone secundo,*
>
> *Non tamen adversis aetatem ducimus Austris:*
>
> *Viribus, ingenio, specie, virtute, loco, re,*
>
> *Extremi primorum, extremis usque priores*[390].

Я нуждался для этого лишь в одном — в способности довольствоваться своей судьбой, то есть в таком душевном состоянии, которое, говоря по правде, вещь одинаково редкая среди людей всякого состояния и положения, но на практике чаще встречающаяся среди бедняков, чем среди людей состоятельных. И причина этого, надо полагать, заключается в том, что жажда обогащения, подобно всем другим страстям, владеющим человеком, становится более жгучей, когда человек уже испробовал, что такое богатство, чем тогда, когда он вовсе не знал его; а, кроме того,

---

[390] Примечания: 390

Мы не летим на парусах, надутых попутным ветром, но и не влачим свой век под враждебными ветрами. По силе, дерзанию, красоте, добродетели, рождению и достатку мы последние среди первых, но вместе с тем и первые среди последних (*лат.*). Гораций. *Послания,* II, 2, 201.

добродетель умеренности встречается много реже, чем добродетель терпения. Я не нуждаюсь ни в чем, кроме того, чтобы мирно наслаждаться благами, дарованными мне Господом Богом от неисповедимых щедрот его. Мне никогда не случалось нести какого-нибудь тягостного труда. Мне почти всегда приходилось заниматься лишь собственными делами; а если порою и доводилось брать на себя чужие дела, то соглашался я на это только с тем условием, что буду вести их в удобное для меня время и по-своему. Так оно и бывало в действительности, поскольку дела эти поручали мне люди, исполненные ко мне доверия, знавшие, что я представляю собой, и не толкавшие меня в спину. Ведь люди умелые извлекают кое-какую пользу даже из строптивой и норовистой лошади.

Даже мое детство протекало в условиях весьма благоприятных и нестеснительных; мне было совершенно неведомо строгое подчинение чужой воле. Все это, вместе взятое, воспитало во мне мягкость характера и сделало меня неустойчивым пред лицом неприятностей, и я неизменно бываю рад, когда от меня скрывают мои убытки и неполадки в хозяйстве, способные задеть меня за живое. В графу моих расходов я вношу также

и то, что, по моей нерадивости, было истрачено лишнего на прокорм и содержание моих слуг:

> *haec nempe supersunt,*
>
> *Quae dominum fallant, quae prosint furibus*[391].

Я предпочитаю не вести счет тому, что имею, лишь бы не быть в точности осведомленным о понесенных мною убытках; и прошу тех, кто живет вместе со мной, чтобы в тех случаях, когда они не испытывают ко мне чувства признательности и обманывают меня, они делали это, хороня концы в воду. Не располагая достаточной твердостью, чтобы выносить докучливую возню с различными, обступающими нас со всех сторон заботами, не умея постоянно напрягать свою волю, чтобы устраивать и улаживать мои дела так, как мне бы хотелось, я, полагаясь во всем на судьбу, следую, насколько это для меня достижимо, такому правилу: «Ожидать всего самого худшего и, в случае если это худшее грянет, мужественно переносить его с кротостью и терпением». Только к этому я и стремлюсь, именно к этому клонятся все мои рассуждения.

---

[391] Примечания: 391

Немало есть и такого, что ускользает от хозяйского взора и идет на пользу ворам (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 6, 45.

Когда мне угрожает опасность, я думаю не столько о том, как избегнуть ее, сколько о том, до чего, в сущности, не важно, удастся ли мне ее избежать. Ну а если она настигнет меня, что из этого? Не имея возможности воздействовать на события, я воздействую на себя самого и покорно следую за ними, раз не могу заставить их идти за собой. Я никогда не был искусен в том, чтобы отводить от себя удары судьбы, уклоняться от них или заставлять ее силой делать угодное мне, как никогда не умел также устраивать свои дела подобающим образом, руководствуясь голосом благоразумия. Еще в меньшей мере я обладаю выносливостью, чтобы смиряться с мучительными и тягостными заботами, которые необходимы для этого. И наиболее мучительное для меня состояние — это пребывать в обстоятельствах, которые нависают надо мной и теснят меня, а также метаться между надеждой и страхом.

Долго раздумывать над каким-либо делом, хотя бы самым пустячным, — занятие, для меня совершенно несносное, и я ощущаю, что мой ум подавлен неизмеримо сильнее, когда ему приходится претерпевать шатания и толчки, порождаемые неуверенностью и сомнениями, чем когда, свободный от колебаний, он принимает,

полагаясь на счастье, то или иное окончательное решение, в чем бы оно ни состояло. Лишь немногие страсти нарушали мой сон, но что до раздумий, то даже самое легкое безнадежно расстраивает его. Точно так же я не люблю покатых и скользких обочин дороги, а охотнее всего пользуюсь ее самой наезженной частью, хотя она и наиболее грязная, и наиболее вязкая, ибо, стремясь к безопасности, я могу быть уверен, что отсюда я уже никуда не свалюсь. Равным образом я предпочитаю явные бедствия, ибо тут по крайней мере меня не томит неизвестность — пройдут ли они стороной или нет; лучше уж пусть судьба одним ударом ввергнет меня в страдание:

dubia plus torquent mala[392].

Когда приходит беда, я встречаю ее, как подобает мужчине, но во всех иных обстоятельствах веду себя как сущий младенец. Страх перед возможным падением причиняет мне более пагубную горячку, чем та, которую может причинить самый ушиб. Игра не стоит свеч. Скупцу его страсть доставляет мучения, которых не знает бедняк, а ревнивцу его страсть — муки, неизвест-

---

[392] Примечания: 392
Ибо мучительнее всего неизвестность (*лат.*). Сенека. *Агамемнон,* 480.

ные рогоносцу. И нередко меньшее зло потерять виноградник, чем тягаться из-за него в суде.

Самая низкая ступенька — самая прочная: она — основа устойчивости всей лестницы. Стоя на ней, можно ни о чем не тревожиться; будучи вделана накрепко, она служит опорой всему остальному. Не содержит ли в себе нечто философское следующий пример, явленный нам одним дворянином, пользовавшимся в свое время широкой известностью. Он женился уже в летах, проведя молодость изрядным повесой. Это был мастак поболтать и большой насмешник. Вспоминая, сколь удобной мишенью были для него рогоносцы и как часто он потешался над ними, этот дворянин, дабы оградить себя от того же, взял в жены женщину, которую подцепил в таком месте, где каждый мог иметь ее за деньги, и они начали совместную жизнь, обменявшись такими приветствиями: «Добрый день, потаскушка», «Добрый день, рогоносец». И ни о чем он чаще и откровеннее не беседовал со своими гостями, как о причинах, побудивших его жениться на этой особе. Благодаря этому он обуздывал шедшие за его спиной пересуды и отводил от себя острие попреков этого рода.

Что касается честолюбия, которое — ближай-

ший сосед самомнению или, скорее, дитя его, то для того, чтобы распалить во мне эту страсть, пришлось бы, пожалуй, самому счастью схватить меня за руку. Ибо навязать ради зыбкой надежды заботу на шею и подвергать себя бесчисленным тяготам, неизбежным вначале для всякого, кто жаждет возвыситься над другими, — нет, это отнюдь не по мне:

spem pretio non emo[393].

Я цепляюсь за то, что явственно вижу и чем обладаю, и никогда не удаляюсь от моей гавани.

Alter remus aquas, alter tibi radat arenas[394].

И к тому же мало кому удается достигнуть чего-нибудь, не рискуя предварительно своим кровным добром; и я считаю, что если его достаточно, чтобы поддерживать свое существование в тех же условиях, в каких ты родился и вырос, то совершеннейшее безумие терять то, что имеешь, в шатком расчете на возможность приобрести

---

[393] Примечания: 393

Задорого я надежду не покупаю (*лат.*). Теренций. *Братья,* 220.

[394] Примечания: 394

Одно весло у тебя загребает воду, одно — песок (*лат.*). Проперций, III, 3, 23.

большее. Тому, кому судьба отказала в местечке, где он мог бы обосноваться и обеспечить себе спокойную и беззаботную жизнь, тому простительно рисковать тем, чем он владеет, поскольку так ли, иначе ли, а нужда все равно заставит его пуститься в погоню за счастьем.

> *Capienda rebus in malis praeceps via est*[395].

И я скорее готов оправдать младшего сына, бросающего на ветер свою законную долю, чем старшего, который, являясь блюстителем чести своего рода, сам доводит себя до разорения.

Руководствуясь советами моих добрых друзей минувших времен, я нашел самый прямой и легкий путь, чтобы избавиться от подобных желаний и оставаться невозмутимо спокойным, —

> *Cui sit conditio dulcis sine pulvere palmae*[396], —

имея достаточно трезвое представление о своих силах, понимая, что на большие дела их не хва-

---

[395] Примечания: 395

В беде следует принимать опасные решения (*лат.*). Сенека. *Агамемнон,* 154.

[396] Примечания: 396

Если кому суждена без борьбы сладостная доля победителя (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 1, 51.

тит, и храня в памяти слова покойного канцлера Оливье, говорившего, «что французы похожи на обезьян, которые взбираются по деревьям, перескакивая с ветки на ветку, и успокаиваются только тогда, когда, добравшись до самой верхушки, показывают оттуда свои зады».

> *Turpe est, quod nequeas, capiti commitere pondus,*
>
> *Et pressum inliexo mox dare terga genu*[397].

Даже те черты моего характера, которые, вообще говоря, нельзя назвать плохими, в наш век, по-моему, ни к чему. Свойственные мне уступчивость и покладистость назовут, разумеется, слабостью и малодушием; честность и совестливость найдут нелепой щепетильностью и предрассудком; искренность и свободолюбие будут сочтены несносными, неразумными, дерзкими. Но нет худа без добра! Неплохо родиться в испорченный век, ибо по сравнению с другими вы без больших затрат сможете сойти за воплощение добродетели. Кто не прикончил отца и не

---

[397] Примечания: 397

Постыдно возлагать себе на голову непосильную тяжесть, а как только она надавит, тотчас же с дрожью в поджилках отступить (*лат.*). Проперций, III, 9, 5.

грабил церквей, тот уже человек порядочный и отменной честности:

Nunc si depositum non infitiatur amicus,
Si reddat veterem cum tota aerugine follem,
Prodigiosa fides et Tuscis digna libellis,
Quaeque
coronata lustrari debeat agna[398].

Не было еще такой страны и такого века, когда бы властители могли рассчитывать на столь несомненную и столь глубокую признательность в оплату за их милости и их справедливость. Первый из них, кто догадается искать народной любви и славы на этом пути, тот — или я сильно ошибаюсь — намного опередит своих державных товарищей. Сила и непринуждение кое-что значат, однако не всегда и отнюдь не во всем.

Купцы, сельские судьи, ремесленники, как мы легко можем убедиться, нисколько не уступают дворянам ни в доблести, ни в знании военного дела: они славно бьются как на полях сражений, так и на поединках; они отстаивают города в наших

[398] Примечания: 398

В наши дни, если друг не отречется, что взял на хранение твои деньги, и вернет тебе старый мешок с монетами, такая честность — просто чудо, заслуживающее увековечения в этрусских писаниях и принесения в жертву овцы с венком на шее (*лат.*). Ювенал, XIII, 60.

нынешних гражданских войнах. Среди этой сумятицы государь лишается своего ореола славы. Так пусть же он возблистает своей человечностью, правдивостью, прямотой, умеренностью и прежде всего справедливостью — достоинствами, в наши дни редкими, неведомыми, гонимыми. Лишь добрые чувства народов могут доставить ему возможность свершать значительные деяния, и никакие другие качества не в состоянии снискать ему эти добрые чувства, ибо именно эти качества наиболее полезны для подданных.

Nihil est tam populare, quam bonitas[399].

Сопоставляя себя с людьми моего времени, я готов находить в себе нечто значительное и редкостное, подобно тому как я кажусь себе пигмеем и самой обыденной личностью, сопоставляя себя с людьми неких минувших веков, когда было вещью самою что ни на есть обычною — если к этому не присоединялись другие более похвальные качества — видеть людей умеренных в жажде мести, снисходительных по отношению к тем, кто нанес им оскорбление, неукоснительных в соблюдении данного ими слова, не

[399] Примечания: 399

Ничто так не ценится народом, как доброта (*лат.*). Цицерон. *В защиту Лигария*, X.

двуличных, не податливых, не приспособляющих своих взглядов к воле другого и к изменчивым обстоятельствам. Я скорее предпочту, чтобы все мои дела пошли прахом, чем поступлюсь убеждениями ради своего успеха, ибо эту новомодную добродетель притворства и лицемерия я ненавижу самой лютой ненавистью, а из всех возможных пороков не знаю другого, который с такой же очевидностью уличал бы в подлости и низости человеческие сердца. Это повадки раба и труса — скрываться и прятаться под личиной, не осмеливаясь показаться перед нами таким, каков ты в действительности. Этим путем наши современники приучают себя к вероломству. Когда их вынуждают к лживым посулам и обещаниям, они не испытывают ни малейших укоров совести, пренебрегая их исполнением. Благородное сердце не должно таить свои побуждения. Оно хочет, чтобы его видели до самых глубин; в нем все хорошо или по меньшей мере все человечно.

Аристотель считает, что душевное величие заключается в том, чтобы одинаково открыто выказывать и ненависть, и любовь, чтобы судить и говорить о чем бы то ни было с полнейшей искренностью и, ценя истину превыше всего, не обращать внимания на одобрение и порицание,

исходящие от других. Аполлоний сказал, что ложь — это удел раба, свободным же людям подобает говорить чистую правду.

Первое и основное правило добродетели: ее нужно любить ради нее самой. Тот, кто говорит правду потому, что в силу каких-то посторонних причин вынужден к этому, или потому, что так для него полезнее, и кто не боится лгать, когда это вполне безопасно, того нельзя назвать человеком правдивым. Моя душа, по своему складу, чуждается лжи и испытывает отвращение при одной мысли о ней; я сгораю от внутреннего стыда, и меня точит совесть, если порой у меня вырывается ложь, а это иногда все же бывает, когда меня неожиданно принуждают к этому обстоятельства, не дающие мне опомниться и осмотреться.

Вовсе не требуется всегда говорить полностью то, что думаешь, — это было бы глупостью, но все, что бы ты ни сказал, должно отвечать твоим мыслям; в противном случае это — злостный обман. Я не знаю, какой выгоды ждут для себя те, кто без конца лжет и притворяется; на мой взгляд, единственное, что их ожидает, так это то, что, если даже им случится сказать правду, им все равно никто не поверит. Ведь с помощью лжи

можно обмануть людей разок-другой, но превращать в ремесло свое притворство и похваляться им, как это делают иные из наших властителей, утверждавшие, что «швырнули б свою рубаху в огонь, если б она была осведомлена об их истинных помыслах и намерениях» (что было сказано одним древним, а именно Метеллом Македонским), или утверждать во всеуслышание, что «кто не умеет как следует притворяться, тот не умеет и царствовать»[400], — это значит заранее предупреждать тех, кому предстоит иметь с ними дело, что всякое слово, слетевшее с уст подобных властителей, не что иное, как ложь и обман. Quo quis versutior et callidior est, hoc invisior et suspectior, detracta opinione probitatis[401]. Человек, который, подобно Тиберию, взял себе за правило думать одно, а говорить другое, может одурачить своей болтовней и притворной миной разве что настоящего болвана; и я не знаю, на что, собственно, могут рассчитывать такие люди в отношениях с другими людьми, раз все, что бы ни исходило

---

[400] Примечания: 400

Кто не умеет притворяться, не умеет царствовать (*лат.*). Изречение Секста Аврелия Виктора, римского историка IV в.

[401] Примечания: 401

Чем человек изворотливее и ловчее, тем больше в нем ненависти и подозрительности, когда он утратит свою репутацию честности (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях*, II, 9.

от них, не принимается за чистую монету. Кто бесчестен в отношении правды, тот таков же и в отношении лжи.

Те, кто уже в наше время в своих рассуждениях об обязанностях монарха толкуют лишь о способах извлечения выгоды при ведении им своих дел и пренебрегают при этом заботой о сохранении им добропорядочности и незапятнанной совести, быть может, и говорят кое-что дельное, но их советы пригодны лишь тому из монархов, дела которого устроены таким образом, что он может одним махом, раз и навсегда уладить их путем коварного нарушения своего слова. Но в действительности этого не бывает, ибо к уловкам такого рода государи прибегают постоянно: ведь не раз приходится заключать мир или какой-нибудь договор. Выгода — вот что толкает их на первую нечестность, — та выгода, которая манит людей на всякого рода злодейства, как, например, святотатство, убийства, мятежи и предательства, всегда предпринимаемые в каких-либо коварных целях. Но эта первая выгода влечет за собой бесчисленные невыгоды, поскольку, показав образец своего вероломства, такой монарх сразу нарушает добрые отношения с другими монархами и теряет возможность всту-

пать с ними в какие бы то ни было соглашения. Сулейман, государь оттоманской династии, не очень-то щепетильный в соблюдении обещаний и договоров, вступив в дни моего детства со своим войском в Отранто и узнав, что Меркурин де Гратинаро и обитатели Кастро, сдав эту крепость, задерживаются, вопреки условиям сдачи, заключенным с ними его людьми, в качестве пленных, повелел возвратить им свободу, ибо, задумав предпринять в этой стране другие значительные дела, он полагал, что эта бесчестность, хотя на первый взгляд она и казалась полезной, может навлечь на него дурную славу и недоверие, чреватые неисчислимыми бедами.

Я со своей стороны предпочитаю быть скорее докучным и нескромным, чем льстецом и притворщиком. Готов признать, что, когда держишься с такою искренностью и прямотой, невзирая на лица, как это свойственно мне, то тут, быть может, примешивается также немножко гордости и упрямства, и мне кажется, что я веду себя с большей непринужденностью именно там, где это меньше всего подобает, и что путы, налагаемые на меня необходимостью быть почтительным, горячат мою кровь. Впрочем, возможно и то, что я по своей простоте следую в этих случаях за сво-

ею природой. Позволяя себе в общении с власть имущими такую же вольность в речах и жестах, как если бы я имел дело с моими домашними, я очень хорошо понимаю, до чего это похоже на нескромность и неучтивость. Но, кроме того что я создан таким, я не обладаю достаточно гибким умом, чтобы вилять при поставленном мне прямо вопросе и уклоняться от него с помощью какого-нибудь ловкого хода или искажать истину, как не обладаю также и достаточной памятью, чтобы удерживать в голове искаженную мною истину, или уверенностью, чтобы упорно стоять на своем: короче говоря, я храбр от слабости. Вот почему я решаюсь уж лучше быть непосредственным и почитаю необходимым неизменно говорить то, что думаю, и поступаю таким образом как в силу моего душевного склада, так и на основании здравого размышления, предоставляя судьбе делать со мной все, что ей будет угодно. Аристипп говорил, что главная польза, извлеченная им из философии, это то, что благодаря ей он научился говорить свободно и откровенно со всяким.

Поразительные и бесценные услуги оказывает нам память, и без нее наш ум почти бессилен. Я, однако, лишен ее начисто. Если мне хотят что-нибудь рассказать, необходимо, чтобы это делали

по частям, ибо ответить на речь, в которой содержится много различных разделов, — это мне не по силам, и я не сумел бы выполнить ни одного поручения, не располагая записной дощечкой. И если мне требуется произнести сколько-нибудь значительную и длинную речь, я вынужден прибегать к убогой и жалкой необходимости выучивать наизусть, слово за словом, все, что я должен сказать; в противном случае я не смогу держаться подобающим образом и не буду обладать должной уверенностью в себе, испытывая все время страх, как бы моя слабая память не подвела меня. Но этот способ для меня нисколько не легче; три стиха я учу три часа, и затем, когда имеешь дело с собственным сочинением, то свойственная автору свобода, с какой можешь делать перестановки, заменять те или иные слова, вносить новое в содержание, приводят к тому, что вещи этого рода укладываются в памяти хуже. И чем большим недоверием я к ней проникаюсь, тем больше она мне изменяет; она служит мне гораздо лучше, когда я о ней вовсе не думаю. Нужно, чтобы я увещевал ее без нажима, ибо, когда я на нее наседаю, она начинает сдавать, а если уж она начала спотыкаться, то чем больше я понукаю ее, тем больше она хромает и путается; она служит

мне в свой час, а не в тот, когда нужна мне.

Все, что я замечаю в себе по части памяти, я замечаю и относительно многого другого: я не выношу подчинения, обязательств и насилия над собой. То, что я делаю легко и естественно, того мне больше не сделать, начни я побуждать себя к этому настойчивыми и властными понуканиями. То же самое могу я сказать и о моем теле, члены которого, если они обладают хоть малейшей свободой и возможностью распоряжаться собой, отказывают мне порою в повиновении, когда я заранее предписываю им послужить мне в определенных обстоятельствах и в определенный час. Это наперед отданное им приказание, твердое и властное, внушает им отвращение: они сжимаются от страха или неудовольствия и цепенеют.

Однажды, находясь в таком месте, где считалось варварской неучтивостью не отвечать согласием всякому приглашающему вас выпить, я попытался — хотя мне и была предоставлена свобода поступать по своему усмотрению — вести себя в угоду дамам согласно тамошним обычаям, присутствовавшим при этом, как подобает доброму собутыльнику, но тут со мной случилось нечто весьма забавное: эта угроза и приготовления к тому, чтобы пить сверх моей обычной и

естественной меры, сжали мне горло, да так туго, что я так и не смог проглотить ни капли, лишив себя даже того, что привык выпивать за обедом: я чувствовал себя пьяным и пресыщенным той выпивкой, которой было полно мое воображение. Это явление отчетливее всего наблюдается у людей, наделенных могучим и необузданным воображением, но оно все же естественно, и нет ни одного человека, который не был бы в той или иной мере подвержен ему. Один превосходный лучник был приговорен к смерти; ему предложили помилование с условием, что он должен сделать какой-то особенно ловкий выстрел и тем самым дать доказательство своего замечательного искусства. Он не пожелал, однако, подвергнуться этому испытанию, опасаясь, что от чрезмерного напряжения воли рука его дрогнет и, вместо того чтобы спасти себя, он утратит славу, завоеванную им меткой стрельбой. Человек, который часто прогуливается в одном и том же месте, углубившись в свои мысли, обязательно покроет одинаковое расстояние в точности одним и тем же количеством шагов всякий раз того же размера; но если бы он стал отсчитывать и отмеривать свои шаги, оказалось бы, что он, прилагая все свои старания, никогда не проделает

того, что ему удавалось проделывать естественно и без всяких усилий.

Моя библиотека, которая среди деревенских библиотек может считаться одной из лучших, расположена в дальнем конце моего дома. Когда мне приходит в голову навести в ней какую-нибудь справку или сделать выписку, то, опасаясь, как бы, пересекая двор, я не забыл того, за чем отправился, я бываю вынужден сообщить о своих намерениях кому-нибудь из домашних. Если я отважусь, выступая с речью, отклониться хоть на самую малость от моей путеводной нити, я непременно утрачу ее; вот почему в своих речах я крайне сух, сдержан и краток. И даже людей, находящихся у меня в услужении, мне приходится называть либо по занимаемой ими должности, либо по месту, откуда они родом, ибо мне чрезвычайно трудно запомнить их имена; я скорее скажу, что в таком-то имени три слога, что оно неблагозвучно, что оно начинается или заканчивается такой-то буквой. И если мне суждено еще пожить на свете, то я отнюдь не уверен, что не забуду своего имени, как это случалось с другими. Мессала Корвин на целых два года полностью утратил память; то же самое рассказывают и о Георгии Трапезундском. И я нередко прикиды-

ваю, какова же была жизнь этих людей, а также располагал ли бы я хоть чем-нибудь для поддержания мало-мальски сносного существования, если бы также потерял память; и, задумываясь над этим, я начинаю побаиваться, что этот изъян, дойдя до крайних своих пределов, может сгубить все проявления духовной жизни: Memoria certe non modo philosophiam, sed omnis vitae usum omnesque artes una maxime continet[402].

> *Plenus rimarum sum, hac atque illac perfluo*[403].

Мне случалось не раз и не два забывать пароль, за три часа до того данный мною самим или полученный от кого-либо другого; случалось забывать и о том, куда я спрятал свой кошелек, что бы ни говорил на этот счет Цицерон. Я помогаю себе терять то, за что держусь особенно цепко. Память есть склад и вместилище знаний, и, поскольку она у меня крайне слаба, я не имею никакого права сетовать на то, что решительно ничего, можно сказать, не знаю. Вообще говоря, я знаю

---

[402] Примечания: 402

Память объемлет не только философию, но и все науки, и применение их к жизни (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы,* II, 7.

[403] Примечания: 403

Кругом в дырах, я всюду протекаю (*лат.*). Теренций. *Евнух,* 105.

названия всех наук и чем они занимаются, но дальше этого ничего не знаю. Я листаю книги, но вовсе не изучаю их; если что и остается в моей голове, то я больше уже не помню, что это чужое; и единственная польза, извлекаемая моим умом из таких занятий, это мысли и рассуждения, которые он при этом впитывает. Что же касается автора, места, слов и всего прочего, то все это я сразу же забываю.

Я достиг такого совершенства в искусстве забывать все на свете, что даже собственные писания и сочинения забываю не хуже, чем все остальное; мне постоянно цитируют меня самого, а я этого не замечаю. Кто пожелал бы узнать, откуда взяты стихи и примеры, которые я нагромоздил здесь целыми ворохами, тот привел бы меня в немалое замешательство, так как я не смог бы ответить ему. А между тем я собирал подаяние лишь у дверей хорошо известных и знаменитых, не довольствуясь тем, чтобы оно было щедрым, но стремясь к тому, чтобы оно исходило от руки неоскудевающей и почтенной, ибо мудрость тут сочетается с авторитетностью. И нет ничего удивительного, что моя книга разделяет судьбу всех других прочитанных мною книг и что в моей памяти с одинаковой легкостью изглаживается

как то, что написано мной, так и то, что мною прочитано, как то, что мной дано, так и то, что получено мной.

Помимо того что у меня никуда не годная память, мне свойствен еще ряд других недостатков, усугубляющих мое невежество. Мой ум неповоротлив и вял; малейшее облачко снижает его проницательность, так что, к примеру сказать, не было случая, чтобы я предложил ему какую-нибудь загадку, сколь бы несложной она ни была, и он разгадал бы ее; какая-нибудь замысловатая пустяковина ставит его в тупик. В играх, требующих сообразительности, как, например, шахматы, карты, шашки и тому подобное, я способен усвоить лишь самое основное. Я воспринимаю медленно и неотчетливо, но если мне все же удалось что-нибудь уловить, я удерживаю воспринятое во всей его полноте, постигнув его всесторонне, точно и глубоко, пока оно удерживается во мне. Зрение у меня острое, отчетливое и без недостатков, но при работе оно легко утомляется и начинает сдавать. По этой причине я не могу поддерживать длительное общение с книгами и вынужден прибегать к посторонней помощи. Плиний Младший мог бы поведать тем, кто не знаком с этим на опыте, насколько велика

эта помеха для всякого, предающегося подобным занятиям.

Не существует на свете души, сколь бы убогой и низменной она ни была, в которой не сквозил бы проблеск какой-нибудь особой способности; и нет столь глубоко погребенной способности, чтобы она так или иначе не проявила себя. Каким образом получается, что душа, слепая и сонная во всем остальном, становится живой, прозорливой и возвышенной в каком-то частном своем проявлении, — за разъяснением этого надлежит обратиться к нашим учителям. Но истинно прекрасные души всеобъемлющи, открыты и готовы к познанию всего, что бы то ни было, и если они порой недостаточно просвещенны, то для них, во всяком случае, не закрыта возможность стать просвещенными. Все это я говорю в укор моей собственной душе, ибо — то ли по своей немощности, то ли по нерадивости (а нерадивое отношение к тому, что у нас под ногами, что в наших руках, что непосредственно касается нашего повседневного обихода, — это то, что я всегда осуждал в себе), — но она такова, что не найти другой столь же бездарной и столь же невежественной в вещах самых обыденных и привычных, не знать которые просто стыд. Я хочу

привести несколько примеров в подтверждение сказанного.

Я родился и вырос в деревне, среди земледельческих работ разного рода. У меня на руках дела и хозяйство, которые я веду с того дня, когда те, кто владел до меня всем тем, что теперь — моя собственность, уступили мне свое место. И все же я не умею считать ни в уме, ни на бумаге, не знаю большинства наших монет, и мне не под силу отличить один злак от другого ни в поле, ни в закроме, если различия между ними не так уж разительны; то же я должен сказать о капусте и салате в моем огороде. Я не разбираюсь в названиях наиболее необходимых в сельском хозяйстве орудий, и мне неведомы основы основ земледелия, известные даже детям. Еще меньше смыслю я в искусстве механики, в торговле, в различных товарах, в свойствах и сортах разнообразных плодов, вин, мяса, в натаскивании ловчих птиц, в лечении лошадей и собак. И чтобы окончательно посрамить себя, признаюсь, что не далее как месяц назад я был уличен в незнании, зачем нужны дрожжи при хлебопечении и что означает, когда говорят, что вину нужно перебродить. В Древних Афинах считали, что кто ловко укладывает и связывает вязанки валежника, тому свойственны

математические способности; обо мне, конечно, вынесли бы суждение прямо противоположное этому. Будь у меня полная кухня припасов, я все равно голодал бы. По тем недостаткам, в которых я признался, нетрудно представить себе и другие, столь же нелестные для меня. Но каким бы я ни был в собственном изображении, если это изображение отвечает действительности, я могу считать мою цель достигнутой. И если я не приношу извинений, осмелившись изложить письменно вещи столь ничтожные и легковесные, то единственная причина, удерживающая меня от этого шага, — ничтожность предмета, которым я занимаюсь. Пусть меня порицают, если угодно, за этот мой замысел, но не за то, как он выполнен. Как бы то ни было, я и без указаний со стороны отчетливо вижу незначительность и малоценность всего сказанного мною по этому поводу, равно как и нелепость моих намерений, и это доказывает, что мой ум, опыты которого — эти писания, еще не окончательно обессилен:

Nasutus sis usque licet, sis denique nasus,
Quantum noluerit ferre rogatus Atlas,
Et possis ipsum tu deridere Latinum,
Non potes in nugas dicere plura meas,

Ipse ego quam dixi: quid dentem dente iuvabit

Rodere? carne opus est, si satur esse velis.

Ne perdas operam: qui se mirantur, in illos

Virus habe; nos haec novimus esse nihil[404].

Мне отнюдь не запрещено говорить глупости, лишь бы я не обманывался насчет их настоящей цены; и впадать в ошибки сознательно — вещь для меня столь обычная, что я только так и впадаю в них; но я никогда не впадаю в них по вине случая. Сваливать вину за поступки нелепые, но маловажные, на безрассудство моего нрава — это сущие пустяки, раз я не могу, как правило, запретить себе сваливать на него вину и за поступки явно порочные.

Как-то в Бар-ле-Дюке в моем присутствии королю Франциску II поднесли портрет, присланный ему на память Рене, королем сицилийским, и исполненный им самим. Почему же нельзя поз-

---

[404] Примечания: 404

Будь у тебя какой угодно нюх, имей ты даже такой нос, какой не согласился бы таскать Атлант, и будь ты способен превзойти в насмешках шута Латина, ты не смог бы сказать о моих стишках больше, чем я сам сказал о них. Что толку грызть зубом зуб? Если хочешь насытиться, кидайся на мясо. Не трать зря усилий. Попридержи свой яд для тех, кто кичится собой; а я знаю, что все это — ничто (*лат.*). Марциал, XIII, 11, 1.

волить и каждому рисовать себя самого пером и чернилами, подобно тому как этот король нарисовал себя карандашом? Не хочу умолчать здесь и о гадком пятне, которое безобразит меня и в котором неловко признаваться во всеуслышание, а именно о нерешительности, представляющей собой недостаток, крайне обременительный в наших мирских делах. Мне трудно принять решение относительно той или иной вещи, если она, на мой взгляд, сомнительна:

Ne si, ne no, nel cor mi suona intero[405].

Я умею отстаивать определенные взгляды, но выбирать их — к этому я не пригоден. Ведь в делах человеческих, к чему бы мы ни склонялись, мы найдем множество доводов в пользу всякого мнения. Да и философ Хрисипп говорил, что он не хотел ничего перенимать у Зенона и Клеанфа, своих учителей, кроме самых общих положений; что же касается оснований и доказательств, то он и сам мог бы их найти в нужном количестве. Поэтому, в какую бы сторону я ни обратил свой взор, я всегда нахожу достаточно причин и весьма убедительных оснований, чтобы туда и

[405] Примечания: 405

Сердце не говорит мне решительно ни да, ни нет (*ит.*). Петрарка. Сонет 106.

устремиться. Таким образом, я пребываю в сомнении и сохраняю за собой свободу выбора, пока необходимость решиться не начинает теснить меня; тогда, должен признаться, я чаще всего отдаюсь, как говорят, на волю течения и поручаю себя произволу судьбы; малейшая склонность и обстоятельства подхватывают и увлекают меня:

> *Dum in dubio est animus, paulo momento huc atque illuc impellitur*[406].

Колебания моего разума в большинстве случаев настолько уравновешивают друг друга, что я был бы не прочь представлять решение жребию или костям, и я отмечаю себе, в оправдание нашей человеческой слабости, оставленные нам самой Священной историей примеры того же обычая отдавать на волю судьбы и случайности определение нашего выбора в том, что сомнительно: sors cecidit super Mathiam[407]. Разум человеческий — меч обоюдоострый и опасный. Взгляните-ка сами, о скольких концах эта палка даже в руках Сократа, ее наиболее близкого и

---

[406] Примечания: 406

Душе, обуреваемой сомнениями, достаточно ничтожнейшей мелочи, чтобы склонить ее в ту или другую сторону (*лат.*). Теренций. *Девушка с Андроса,* 266.

[407] Примечания: 407

и выпал жребий Матфею (*лат.*). Деяния, 1:26.

верного друга! Итак, я пригоден только к тому, чтобы следовать за другими, и легко даю толпе увлечь меня за собой. Мое доверие к своим силам вовсе не таково, чтобы я мог решиться брать на себя командование и руководство, и мне больше по сердцу, чтобы тропа для моих шагов была проложена другими. Если нужно идти на риск, производя гадательный выбор, я предпочитаю следовать тому, кто более уверен в своих суждениях, нежели я, и чьим суждениям я верю больше, нежели своим собственным, основания и корни которых я нахожу весьма шаткими.

И все же я не очень люблю менять раз принятые мнения, поскольку в противных мнениях я обнаруживаю подобные же слабые места. Ipsa consuetudo assentiendi periculosa esse videtur et lubrica[408]. Особенно дела политические предоставляют широкий простор для всяких столкновений и раздоров:

> *Iusta pari premitur veluti cum pondere libra*
>
> *Prona, nec hac plus parte sedet, nec surgit*

---

[408] Примечания: 408

Это обыкновение со всем соглашаться кажется мне опасным и сомнительным (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы,* II, 21.

ab illa[409].

Рассуждения Макиавелли, к примеру, были весьма обоснованны в отношении их предмета, и все же опровергнуть их не составляет большого труда; а рассуждения тех, кто сделал это, могут быть, в свою очередь, опровергнуты с неменьшей легкостью. На тот или иной довод всегда найдется где почерпнуть ответный довод, на возражение — новое возражение, на ответ — новый ответ, и так далее и так далее, до бесконечности; и отсюда — нескончаемые словопрения, затягиваемые нашими кляузниками и крючкотворами до пределов возможного.

> *Caedimur, et totidem plagis consumimus hostem*[410],

ибо всякое доказательство не имеет других оснований, кроме опыта, а многообразие дел человеческих снабжает нас бесчисленными примерами всякого рода. Один очень ученый человек нашего времени утверждает, что в наших

---

[409] Примечания: 409

Когда обе чаши весов нагружены одинаково, в то время как одна из них опускается, другая настолько же поднимается (*лат.*). Тибулл, IV, 1, 41.

[410] Примечания: 410

Мы бьемся и, отвечая ударом на удар, выматываем противника (*лат.*). Гораций. *Послания,* II, 2, 97.

календарях можно было бы свободно заменить все предсказания противоположными, вместо «зной» поставить «морозы», а вместо «великая сушь» — «дожди», и что любители биться об заклад могут с одинаковым успехом, не утруждая свой ум, делать ставку как на то, так и на другое, остерегаясь только утверждать вещи, заведомо невозможные, например, что будет зной на Рождество или что будут морозы в Иванову ночь. То же самое думаю я и о наших политических спорах; чью бы сторону вы ни взяли, ваша игра, если вы не нарушите первейших и очевидных основ, не хуже игры ваших противников; и все же, по моему разумению, в делах общественных нет ни одного столь дурного обыкновения, которое не было бы лучше, нежели перемены и новшества. Наши нравы до крайности испорчены, и они поразительным образом клонятся к дальнейшему ухудшению; среди наших обычаев и законов много варварских и просто чудовищных; и тем не менее, учитывая трудности, сопряженные с приведением нас в лучшее состояние, и опасности, связанные с подобными потрясениями, — если бы только я мог задержать колесо нашей жизни и остановить его на той точке, где мы сейчас находимся, я бы сделал это очень охотно:

numquam adeo foedis adeoque pudendis
Utimur
exemplis, ut non peiora supersint[411].

Худшее, на мой взгляд, в нашем нынешнем положении — это неустойчивость, это то, что наши законы, так же как наше платье, не могут закрепиться на чем-либо определенном. Чрезвычайно легко порицать пороки любого государственного устройства, ибо все, что бренно, кишмя кишит ими; чрезвычайно легко зародить в народе презрение к старым нравам и правилам, и всякий, кто поставит перед собой эту цель, неизменно будет иметь успех; но установить вместо старого, уничтоженного государственного устройства новое и притом лучшее — на этом многие из числа предпринимавших такие попытки не раз обламывали зубы. В своем поведении я не руководствуюсь соображениями благоразумия; я просто с готовностью подчиняюсь установленному в нашем мире общественному порядку. Счастлив народ, который, не тревожа себя размышлениями о причинах получаемых им приказаний, выполняет их лучше, чем те, кто

[411] Примечания: 411

Никогда не привести столь гнусных и столь постыдных примеров, чтобы не осталось еще худших (*лат.*). Ювенал, VIII, 183.

приказывает ему, и который кротко отдается на волю небесного круговращения. Кто мудрствует и спорит, тот никогда не оказывает безусловного и неукоснительного повиновения.

Короче говоря, если уж снова вернуться ко мне, единственное, за что я хоть сколько-нибудь ценю себя, так это только за то, в недостатке чего никогда не признался бы ни один человек: мое суждение о себе обыденно, свойственно решительно всем и старо, как мир, ибо кто же когда-нибудь думал, что ему не хватает ума? Такая мысль заключала бы в себе непримиримое противоречие. Глупость — болезнь, которой никогда не страдает тот, кто ее видит в себе: она очень упорна и, как правило, неизлечима, но достаточно одного проницательного взгляда больного, обращенного им на себя самого, чтобы пробить ее толщу и избавиться от нее, как достаточно одного луча солнца, чтобы рассеять густой туман. Обвинять себя в этом случае — значит отводить от себя всякое обвинение, осуждать себя — значит выносить себе оправдательный приговор. Не бывало еще на свете такого крючника или девки, которые не считали бы, что их ума для них достаточно. Мы готовы признать за другими превосходство в отваге, телесной силе, опытно-

сти, ловкости, красоте, но превосходства в уме мы никому не уступим. Что же касается доводов, исходящих у любого другого человека от простого здравого смысла, то нам кажется, что, взгляни мы на вещь с того же самого боку, и мы также не преминули б наткнуться на них. Знания, стиль и прочие качества, обнаруживаемые нами в чужих сочинениях, мы легко замечаем, если они превосходят наши. Другое дело — проявление самой человеческой мысли: тут каждый думает, будто и он способен на то же, и ему нелегко понять их значительность и каких трудов они стоят, если между ними и им нет огромного, скажем прямо, — гигантского расстояния. Но и в последнем случае он постигает это с большой неохотой. Кто ясно видит величие чужой мысли, тот и сам поднимается до того же уровня и возносит свою мысль на ту же самую высоту. Итак, это такого рода занятие, от которого нельзя ждать много чести и славы, и такой вид сочинительства, который не приносит громкого имени.

И наконец, для кого вы пишете? Ученые, которым подсудна всякая книга, не ценят ничего, кроме учености, и не признают никаких иных проявлений нашей умственной деятельности, кроме тех, которые свидетельствуют о начитан-

ности и обширности всякого рода познаний. Если вы смешаете одного Сципиона с другим, то что стоящее внимания можете вы еще высказать? Кто не знаком с Аристотелем, тот, по их мнению, не знаком и с собой самим. Души обыденные и грубые не видят ни изящества, ни значительности в тонком и возвышенном рассуждении. Но ведь два этих разряда заполняют собой наш мир. Третий разряд, тот, которому вы, в сущности, и отдаете себя, — души чистые и сильные собственной силой, — настолько немногочислен, что не пользуется у нас, и вполне заслуженно, ни влиянием, ни известностью, так что стремиться ему угодить — значит попусту терять время.

Обычно можно услышать, что, оделяя нас своими благами, природа справедливее всего поступила при распределении между нами ума, ибо нет никого, кто бы не довольствовался доставшейся ему долею. Но разумно ли это? Кто пожелал бы заглянуть дальше отведенного ему, тому пришлось бы преступить пределы возможностей своего зрения. Я считаю свои взгляды правильными и здравыми, но кто же не считает такими и свои собственные? Одно из лучших доказательств этого — невысокая цена, которой я оцениваю себя. Ведь если бы мои взгляды не

были достаточно твердыми, их могло бы ввести в заблуждение то чувство любви и привязанности, которое я испытываю к себе, чувство и впрямь исключительное, ибо я обращаю его почти целиком на себя и не растрачиваю на сторону. Все, что другие делят между множеством друзей и знакомых и отдают заботам о своей славе и своем возвеличении, я обращаю только на то, чтобы обеспечить спокойствие моему духу и мне, и если кое-что от меня все же уделяется посторонним, то это происходит отнюдь не по велению моего разума,

mihi nempe valere et vivere doctus[412].

Итак, что касается моих мыслей насчет себя, то они с бесконечной решительностью и столь же бесконечным упорством обвиняют меня в невежестве. Это и впрямь один из предметов, на котором я упражняю мой ум и чаще, и охотнее, чем на чем-либо другом. Люди обычно разглядывают друг друга, я же устремляю мой взгляд внутрь себя; я его погружаю туда, там я всячески тешу его. Всякий всматривается в то, что пред ним; я же всматриваюсь в себя. Я имею дело

[412] Примечания: 412
Моя наука — это жить и здравствовать (*лат.*). Лукреций, V, 980.

только с собой: я беспрерывно созерцаю себя, проверяю, испытываю,

nemo in sese temptat descendere[413],

а я — я верчусь внутри себя самого.

Этой способностью докапываться до истины — в сколь бы малой мере я такой способностью ни обладал, — равно как вольнолюбивым нежеланием отказываться от своих убеждений в угоду другим людям, я обязан главным образом себе самому, ибо наиболее устойчивые и общие мои взгляды родились, так сказать, вместе со мной: они у меня природные, они целиком мои. Я произвел их на свет сырыми и немудреными, и то, что я породил, было смелым и сильным, но несколько смутным и несовершенным; впоследствии я обосновал и укрепил эти взгляды, опираясь на тех, кто пользовался моим уважением, а также на безупречные образцы, оставленные нам древними, с которыми я сошелся в мнениях. Они-то и убедили меня в моей правоте, и благодаря им я придерживаюсь моих воззрений более сознательно и с большей твердостью.

Если всякий ждет похвалы за быстроту и жи-

---

[413] Примечания: 413
Никто не пытается углубиться в себя (*лат.*). Персий, IV, 23.

вость ума, то я притязаю на нее за его строгость, если — за какое-нибудь достойное быть отмеченным и выдающееся деяние или какую-либо исключительную способность, то я — за упорядоченность, согласованность и уравновешенность моих мнений и нравов. Omnino si quidquam est decorum, nihil est profecto magis quam aequabilitas universae vitae, tum singularum actionum, quam conservare non possis, si, aliorum naturam imitans, omittas tuam[414].

Итак, вот до каких пределов я чувствую за собой вину в том, что, как я сказал выше, есть первое слагаемое порока, носящего название самомнения. Что до второго слагаемого, состоящего в чрезмерно низком мнении о других, то я, право, не знаю, удастся ли мне привести столь же убедительные доводы в свое оправдание. Впрочем, чего бы это ни стоило, решусь выложить все, каким оно мне представляется.

Возможно, что непрерывно поддерживаемое мной общение с мудростью древних и сложившийся во мне образ этих беспредельно богатых

[414] Примечания: 414

Если вообще есть что-либо почтенное, то это, без сомнения, цельность всей жизни, всех отдельных поступков; ты не сможешь достигнуть этого, если, отказавшись от своего характера, будешь подражать другим (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях*, I, 31.

душ прошлого отвращают меня и от других, и от себя самого; быть может, мы и впрямь живем в век, не способный создать что-либо возвышающееся над самой что ни на есть посредственностью, но так ли, иначе ли, а я не знаю ничего заслуживающего подлинного восхищения. Правда, я не знаю людей с такой доскональностью, которая необходима, чтобы иметь право судить о них; но те, с кем мое положение чаще всего сталкивает меня, в большинстве своем, не утруждают себя чрезмерной заботой о просвещении своих душ; в их глазах наивысшее счастье — почести и наивысшее совершенство — мужество.

Если я вижу в других нечто хорошее, я глубоко уважаю это хорошее и очень охотно хвалю его.

Нередко я даже преувеличиваю его ценность и говорю не совсем то, что думаю, позволяя себе небольшую ложь; однако выдумывать то, чего я не вижу в действительности, этого я решительно не умею. Я охотно сообщаю моим друзьям, что, по-моему, подлежит в них одобрению, и их достоинства в один фут длиной с готовностью растягиваю до полутора футов; но приписывать им те качества, которых у них нет, этого я не могу, как не могу с пеной у рта защищать их недостатки.

Даже моим врагам — и им я воздаю сполна то, что должен, по чести, воздать. Мои чувства могут меняться, но мои суждения — никогда; и я не примешиваю своей личной неприязни к тому, что не имеет прямого касательства к ней. Я так ревниво оберегаю свободу своего ума, что мне не так-то просто пожертвовать ею ради страсти, сколь бы неудержимой она ни была.

Если я лгу, я оскорбляю себя в большей мере, чем того, о ком я солгал.

Рассказывают о следующем похвальном обычае у персов: они неизменно говорили о своих смертельных врагах, с которыми вели беспощадные войны, уважительно и соблюдая полную справедливость, так, как того заслуживала их доблесть.

Я знаю немало людей, обладающих различными замечательными чертами: кто остроумием, кто сердечностью, кто отвагой, кто чуткой совестью, кто красноречием, кто еще чем-либо другим, но человека великого в целом, совмещающего в себе столько отличных свойств или обладающего хотя бы одним из них, но в такой исключительной степени, чтобы он вызывал в нас восхищение и его должно было бы сравнивать с теми, кого мы чтим среди людей, обитавших

некогда на земле, — нет, с таким человеком моя судьба не дала мне встретиться. Самым великим из тех, кого я хорошо знал, — я говорю о природных дарованиях и способностях — и самым благородным был Этьен де Ла Боэси; это была душа, до краев полная достоинств, прекрасная, с какой стороны на нее ни взглянуть, душа, скроенная на древний лад; и он совершил бы великие и памятные дела, когда б того захотела судьба его, ибо к своим богатым природным данным он многое добавил с помощью размышлений и занятий науками.

Не знаю, как это так получилось, — а что так получается, это бесспорно, — но только в тех, кто ставит своей неизменной целью домогаться возможно большей учености, кто берется за писание ученых трудов и за другие дела, требующие постоянного общения с книгами, — в тех обнаруживается столько чванства и умственного бессилия, как ни в какой другой породе людей. Быть может, это получается оттого, что в них ищут и от них ожидают большего, чем от других людей, и им не прощаются обычные недостатки; или, может быть, сознание собственной учености придает им смелость выставлять себя напоказ и важничать, чем они выдают себя и сами себе при-

чиняют ущерб. Так и ремесленник обнаруживает свою неумелость гораздо явственнее тогда, когда в его руки попадает ценный материал, который он портит своей бестолковой и грубой работой, чем когда ему приходится иметь дело с простым материалом: недостатки в золотом изваянии раздражают нас гораздо сильнее, нежели в гипсовом. Точно так же поступают и те, кто, тыча всем в глаза вещи, которые сами по себе и на своем месте весьма хороши, пользуется ими без всякого толку и меры и, оказывая честь своей памяти за счет разума, оказывая честь Цицерону, Галену, Ульпиану и святому Иерониму, выставляет себя самого в смешном виде.

Я охотно возвращаюсь к мысли о пустоте нашего образования. Оно поставило себе целью сделать нас не то чтобы добропорядочными и мудрыми, а учеными, и оно добилось своего: оно так и не научило нас постигать добродетель и мудрость и следовать их предписаниям, но зато мы навсегда запомнили происхождение и этимологию этих слов; мы умеем склонять самое слово, служащее для обозначения добродетели, но любить ее мы не умеем. И если мы ни из наблюдения, ни на основании личного опыта не знаем того, что есть добродетель, то мы хорошо

знаем ее на словах и постоянно твердим о ней. Когда речь идет о наших соседях, нам недостаточно знать, какого они роду-племени, кто их ближайшие родичи и какими связями они обладают; мы хотим, чтобы они подружились с нами, хотим установить с ними близость и добрые отношения. А наше образование между тем забивает нам головы описаниями, определениями и подразделениями разных видов добродетели, как если бы то были фамильные прозвища и ветви генеалогического древа, нисколько не заботясь о том, чтобы установить между добродетелью и нами хоть какие-нибудь знакомство и близость. К тому же для нашего обучения отобраны не те книги, в которых высказываются здравые и близкие к истине взгляды, но написанные на отменном греческом языке или на лучшей латыни, и, заставляя нас затверживать эти красиво звучащие слова, нас принуждают загромождать память нелепейшими представлениями древности.

Подлинно разумное обучение изменяет и наш ум, и наши нравы, вроде того, как это произошло с Полемоном, распутным юношей греком, который, отправившись случайно послушать один из уроков Ксенократа, не только оценил полностью красноречие и ученость философа и не

только принес домой много полезных знаний, но и вынес оттуда плоды еще более ощутительные и более ценные, а именно то, что характер его внезапно изменился и нрав исправился. А кто из нас когда-нибудь почувствовал на себе подобное воздействие нашего обучения?

faciasne, quod olim
Mutatus Polemon? Ponas insignia morbi,
Fascilas, cubital, focalia, potus ut ille
Dicitur ex collo furtim carpsisse coronas,
Postquam est impransi correptus voce magistri?[415]

Наименее недостойным представляется мне то сословие, которое по причине своей простоты занимает последнее место; больше того, его жизнь кажется мне наиболее упорядоченной: нравы и речи крестьян я, как правило, нахожу более отвечающими предписаниям истинной философии, чем нравы и речи наших присяжных философов. Plus sapit vulgus, quia tantum, quantum

[415] Примечания: 415

Поступишь ли ты так, как поступил некогда преобразившийся Полемон? Бросишь ли признаки твоего безумия — все эти ленточки, подушечки, платочки? Рассказывают, что, хотя он и был пьян, Полемон украдкой сорвал со своей шеи украшения, настолько он был захвачен словами учителя (*лат.*). Гораций. *Сатиры,* II, 3, 253.

opus est, sapit.[416]

Самыми замечательными людьми, насколько я мог судить, наблюдая их издали (ибо, чтобы судить о них на мой лад, надо было бы к ним подойти ближе), были, если иметь в виду военные подвиги и познания в военной науке, герцог Гиз, скончавшийся в Орлеане, и покойный маршал Строцци. Если же говорить о людях ученых и отличавшихся выдающейся добродетелью, то я назову Оливье и Лопиталя, двух канцлеров Франции. Мне кажется, что наш век принес с собой расцвет поэзии, что у нас множество искуснейших знатоков своего дела в лице Дора, Беза, Бьюкенена, Лопиталя, Мондоре и Турнеба; что до пишущих по-французски, то я полагаю, что они подняли это искусство на такую ступень, на какой оно еще никогда у нас не было и, если вспомнить тот род его, в котором блистают Ронсар с дю Белле, то я никоим образом не считаю, что им далеко до совершенства древних поэтов. Адриан Турнеб знал больше — и если уж что-либо знал, то знал лучше, — чем кто бы то ни было из людей его века, да и не одного его века. Жизнь недавно умершего герцога Альбы, равно как и на-

[416] Примечания: 416

Народ мудрее, ибо он мудр настолько, насколько нужно (*лат.*). Лактанций. *Божественные установления,* III, 5.

шего коннетабля Монморанси, была благородной жизнью, причем судьба их во многом поразительно схожа. Впрочем, красота и величие смерти последнего, скончавшегося на глазах у Парижа и своего короля, служа им в борьбе против ближайшей своей родни во главе войск, обязанных своей победой его водительству и нанесенному им решительному удару, в столь преклонном возрасте, заслуживают, на мой взгляд, быть отмеченными в ряду наиболее достопамятных событий нашего времени. Достойны нашей памяти и неизменные добросердечие, мягкость нрава и разумная снисходительность господина Ла Ну, выдающегося и весьма опытного военачальника, хотя он, можно сказать, вырос и прошел воспитание в самой гуще бесчисленных беззаконий, творимых обоими взявшимися за оружие станами (этой подлинной школе предательства, бесчеловечности и разбоя).

Прочие добродетели в наш век очень редко или совсем не встречаются, но мужество стало, по причине наших гражданских войн, вещью весьма обычной, и в этом отношении нетрудно найти среди нас души, почти совершенные по своей твердости, и притом в столь большом количестве, что сделать выбор здесь крайне затруднительно.

Вот и все о выдающемся и незаурядном душевном величии, с каким я сталкивался вплоть до этого часа.

Глава XVIII
Об изобличении во лжи

Мне скажут, пожалуй, что намерение избрать себя предметом своего описания простительно людям незаурядным и знаменитым, которые благодаря своей славе могут вызвать у других желание познакомиться с ними поближе. Конечно, я это отлично знаю и не собираюсь этого оспаривать. Знаю также, что не всякий ремесленник удостоит поднять глаза от своей работы, чтобы взглянуть на человека, вылепленного из обыкновенного теста, хотя, чтобы поглазеть на въезд в город личности великой и примечательной, все они, как один, покидают свои лавки и мастерские. Лишь тем, в ком есть нечто достойное подражания и чья жизнь и взгляды могут служить образцом, подобает выставлять себя напоказ. У Цезаря или Ксенофонта было достаточно прочное основание, дававшее им право занимать других рассказом о себе: это было величие свершенного ими. Равным образом всякому было бы любопытно прочесть дневники великого Александра, записки Августа, Катона, Суллы, Брута и

прочих, повествующие об их деяниях, если бы такие записки остались после них. Образы подобных людей любят и изучают, даже когда они отлиты из меди или высечены из камня.

Это предостережение вполне справедливо, но меня оно, в сущности, едва ли касается:

> *Non recito cuiquam, nisi amicis, idque rogatus,*
>
> *Non ubivis, coramve quibuslibet. In medio qui*
>
> *Scripta foro recitent, sunt multi, quique lavantes*[417].

Я не высекаю здесь изваяния, чтобы установить его на городском перекрестке, в церкви или в каком-нибудь другом общественном месте:

> *Non equidem hoc studeo, bullatis ut mihi nugis*
>
> *Pagina turgescat.*
>
> *Secreti loquimur*[418].

---

[417] Примечания: 417

Я читаю свои стихи не всякому, а только по просьбе, и не везде, и не при всех. А многие готовы читать свои произведения на городской площади и даже в бане (*лат.*). Гораций. *Сатиры*, I, 4, 72.

[418] Примечания: 418

Я не стараюсь заполнить страницы напыщенным вздором… говорю только в тесном кружке (*лат.*). Персий, V, 19.

Нет, это изваяние предназначается для укромного уголка библиотеки и для того, чтобы развлечь соседа, родственника или друга, которому будет приятно снова увидеть мои черты и узнать меня в этом изображении. Другие решаются говорить о себе, потому что находят этот предмет заслуживающим внимания и благодарным; я же, напротив, делаю это лишь потому, что, находя его пустым и неблагодарным, могу не опасаться обвинения в похвальбе.

Я охотно обсуждаю дела, совершаемые другими; что до моих, то я подаю мало поводов к их обсуждению по причине ничтожности их. Я не нахожу в себе столько похвального, что мог бы позволить себе говорить о нем без краски стыда на лице. Каким удовольствием было бы для меня послушать кого-нибудь, кто рассказал бы мне о нравах, наружности, душевном складе, наиболее привычных речах и превратностях судьбы моих предков! С каким вниманием ловил бы я каждое его слово! И в самом деле, только безнадежно дурной человек может относиться с презрением к портретам своих друзей и предшественников, к покрою их платья, к их оружию. Что до меня, то я сохраняю бумаги, печать, часослов и особого вида шпагу, которая в свое время служила им. Я

не убрал из моего кабинета и длинной трости, которую не выпускал из рук мой отец. Paterna vestis et annulus, tanto carior est posteris, quanto erga parentes maior affectus[419].

Если мои потомки не обнаружат в отношении меня охоты к чему-либо подобному, у меня найдется чем отплатить им за это; ведь сколь бы мало они ни считались со мною, я к тому времени буду считаться с ними еще меньше. Все мои взаимоотношения с обществом сводятся в данном случае к тому, что я заимствую у него более удобные и быстродействующие орудия воспроизведения моих мыслей; в возмещение я предохраню, быть может, когда-нибудь кусок масла на рыночной стойке от таяния на солнцепеке.

Ne toga cordyllis, ne penula desit olivis[420],
Et laxas scombris saepe dabo tunicas[421].

И если даже случится, что ни одна душа так и

---

[419] Примечания: 419

Отцовская одежда тем дороже детям, чем сильнее они любили отца (*лат.*). Августин. *О граде Божием*, 1, 13.

[420] Примечания: 420

Чтобы тунцы и оливки не остались без прикрытия (*лат.*). Марциал, XIII, 1, 1.

[421] Примечания: 421

И часто буду служить удобным покровом макрелям (*лат.*). Катулл, XCIV, 8.

не прочитает моих писаний, потратил ли я понапрасну время, употребив так много свободных часов на столь полезные и приятные размышления? Пока я снимал с себя слепок, мне пришлось не раз и не два ощупать и измерить себя в поисках правильных соотношений, вследствие чего и сам образец приобрел большую четкость и некоторым образом усовершенствовался. Рисуя свой портрет для других, я вместе с тем рисовал себя и в своем воображении, и притом красками более точными, нежели те, которые я применял для того же ранее. Моя книга в такой же мере создана мной, в какой я сам создан моей книгой. Это — книга, неотделимая от своего автора, книга, составлявшая мое основное занятие, неотъемлемую часть моей жизни, а не занятие, имевшее какие-то особые, посторонние цели, как бывает обычно с другими книгами. Потерял ли я даром мое время, с такой настойчивостью и тщательностью отдавая себе отчет в том, что я такое? Ведь те, кто лишь изредка и случайно оглядывает себя мысленно, не записывая своих наблюдений, те не исследуют себя так обстоятельно и не проникают в себя так глубоко, как тот, кто делает это предметом своего постоянного изучения, своим жизненным делом, своим ремеслом, как тот, кто

ставит перед собой задачу начертать исчерпывающее свое описание и отдается ее выполнению со всей искренностью, со всем жаром своей души; ведь даже сладчайшие удовольствия, если переживаешь их лишь наедине с собою, уносятся, не оставляя никакого следа и ускользая от взгляда не только всего народа, но и окружающих нас людей.

Сколько раз отвлекала меня эта работа от докучных размышлений, — а докучными нужно считать все те размышления, которые бесплодны! Природа наделила нас драгоценной способностью беседовать с самим собой, и она часто приглашает нас воспользоваться этим, чтобы показать нам, что, хотя мы чем-то и обязаны окружающим, все же гораздо большим мы обязаны самим себе. Для того чтобы приучить мое воображение к некоторому порядку и плану даже тогда, когда оно предается фантазиям, и оградить его от беспорядочных блужданий и расточения сил попусту, нет лучшего способа, как закрепить на бумаге и зарегистрировать все даже самые ничтожные мысли, возникающие в уме. Я прислушиваюсь к своим мечтаниям потому, что мне надлежит занести их в мой протокол. Сколько раз, будучи огорчен чьим-либо поступ-

ком, порицать который во всеуслышание было бы и неучтиво, и неразумно, я облегчал свою душу на этих страницах не без тайной мысли о поучительности всего этого для других. И эти поэтические шлепки,

Трах под глаз, трах по уху,

Трах в спину грязнуху,

оставляют более длительный след на бумаге, нежели на живом теле.

Что же в том, что я стал немного внимательнее просматривать книги, выискивая, нельзя ли стянуть что-либо такое, чем я мог бы подпереть и принарядить мою собственную? Я ничего не изучал ради написания моей книги, но, написав ее, я все же кое-что изучил, если можно назвать хоть сколько-нибудь похожими на изучение выщипывание и выдергивание каких-то клочков то отсюда, то оттуда у различных авторов, — конечно, не для того, чтобы создать себе какие-то взгляды, но для того, чтобы помочь выработанным мной уже ранее, чтобы поддержать и подкрепить их.

Но кому в наше развращенное время можем мы верить, когда он говорит о себе, если вспомнить, что мало найдется таких людей, которым

можно верить, даже когда они говорят о других, хотя в этом случае ложь куда менее выгодна? Первый признак порчи общественных нравов — это исчезновение правды, ибо правдивость лежит в основе всякой добродетели, как говорил Пиндар, и является первым требованием, какое предъявлял Платон к правителю его государства. Правда, которая ныне в ходу среди нас, это не то, что есть в действительности, а то, в чем мы убеждаем других, — совершенно так же, как и с обращающейся между нами монетой: ведь мы называем этим словом не только полноценную монету, но и фальшивую. Наш народ издавна упрекают в этом пороке. Еще Сальвиан Марсельский, живший при императоре Валентиниане, указывал, что лгать и постоянно нарушать слово у французов отнюдь не порок; для них это то же, что манера разговаривать. Можно было бы выразиться об этом еще резче, сказав, что в глазах французов наших дней это — подлинная добродетель; ее выращивают и лелеют в себе, как нечто почетное, ибо двуличие — одна из главнейших черт нашего века.

Вот почему я часто задумываюсь над тем, откуда мог возникнуть обычай, соблюдаемый нами с таким рвением и состоящий в том, что мы счита-

ем себя задетыми гораздо сильнее обвинением в этом столь распространенном среди нас пороке, чем когда нас винят в чем-либо другом, и что тягчайшее оскорбление словом, какое только можно нанести нам, — это упрек в лживости. Ведь это так естественно — сильнее всего отрицать наличие у нас тех недостатков, в которых мы более всего повинны. Нам кажется, что, негодуя по поводу этого обвинения и отклоняя его, мы некоторым образом сбрасываем с себя самую вину: если мы и впрямь повинны в этом, мы по крайней мере осуждаем ее на словах. Не происходит ли это также и потому, что подобный упрек — это одновременно упрек в трусости и малодушии? Существует ли более явственное проявление малодушия, чем отказ от своих собственных слов, отрицание того, что слишком хорошо за собой знаешь?

Лживость — гнуснейший порок, и один древний писатель изображает ее как нечто крайне постыдное, говоря, что она свидетельствует как о презрении к Богу, так и о страхе перед людьми. Нельзя выразительнее обрисовать мерзость, низость и противоестественность этого порока, ибо можно ли представить себе что-либо более гадкое, чем быть трусом перед людьми и дерзким

перед Богом? Наше взаимопонимание осуществляется лишь единственно возможным для нас путем, а именно через слово; тот, кто извращает его, тот предатель по отношению к обществу: слово — единственное орудие, с помощью которого мы оповещаем друг друга о наших желаниях и мыслях, оно — толмач нашей души; если мы лишимся его, то не сможем держаться вместе, не сможем достигать взаимопознания; если оно обманывает нас, оно делает невозможным всякое общение человека с себе подобными, оно разбивает все скрепы государственного устройства.

Некоторые народы, обитавшие в Новой Индии (упоминать их имена излишне: ведь никто их больше не знает, ибо опустошения, произведенные завоеванием, привели к полному забвению и названий, и былого местонахождения их поселений — вещь поразительная и доселе неслыханная!), так вот, эти народы предлагали своим богам жертвоприношения из человеческой крови, и притом только такой, которая извлекалась ими из языков и ушей жертв, ибо они делали это во искупление греха лжи, оскверняющей нас и тогда, когда мы ее слышим, и тогда, когда произносим ее.

Один древний грек остроумно заметил, что

если дети тешатся бабками, то взрослые люди забавляются словами.

Что до различных принятых у нас способов изобличать друг друга во лжи, а также законов чести, соблюдаемых в делах этого рода, и изменений, которые они претерпели, то рассказ обо всем известном мне по этому поводу я отложу до другого раза. А пока что я хотел бы уточнить, с какого именно времени возникло обыкновение тщательно взвешивать и отмеривать наши слова, сообразуя их с понятием о чести. Нетрудно установить, что в древности, у греков и римлян, этого не было; и мне нередко казалось странным и непонятным, как это они уличали друг друга во лжи и отказывались от собственных слов, не вступая при этом в ссору. Законы, которыми определялось их поведение, сильно в этом отличались от наших. Цезаря нередко честили, называя прямо в лицо то вором, то пьяницей. Мы дивимся той свободе, с какой они обрушивали друг на друга потоки брани, — я имею в виду величайших полководцев обоих народов, — причем за слова у них расплачивались только словами, и словесная перепалка не влекла за собой иных последствий.

Глава XIX
О свободе совести

Дело обычное, что добрые намерения, если их приводят в исполнение не в меру усердно, толкают людей на весьма дурные дела. В той распре, из-за которой Францию наших дней терзают гражданские войны, лучшая и наиболее здравая партия, несомненно, та, что отстаивает и древнюю веру, и древнее государственное устройство этой страны. И все же между честными и добропорядочными людьми, взявшими ее сторону (ибо я никоим образом не говорю о тех, кто пользуется удобным случаем, чтобы свести личные счеты, насытить свою алчность или снискать благоволение принцев; я говорю лишь о тех, кто идет за ней, движимый искренней приверженностью к своей вере и стремлением к мирному существованию и благоденствию родины), так вот, говорю я, среди этих последних можно встретить довольно много таких, кого страсть увлекает за пределы разумного и заставляет принимать порою решения несправедливые, жестокие и вдобавок еще и безрассудные.

Известно, что в те далекие времена, когда впервые утверждалась наша религия и с нею начинали считаться законы, рвение к ней вооружило многих против языческих книг, от чего ученые люди понесли ни с чем не сравнимый ущерб; полагаю, что эти бесчинства причинили науке гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные варварами. И Корнелий Тацит — достоверный свидетель этому, ибо хотя император Тацит, его потомок, и заполнил благодаря особым указам его «Анналами» все книгохранилища мира, все же ни один полный экземпляр их так и не уцелел после старательных поисков тех, кто жаждет расправиться с ними из-за пяти или шести ничтожных замечаний, враждебных нашей вере. Эти люди повинны также и в том, что, не колеблясь, расточали лживые похвалы всем без исключения императорам, стоявшим за нас, и огульно осуждали действия и поступки тех из них, которые были против нас, как это нетрудно увидеть на примере императора Юлиана, прозванного Отступником.

А между тем это был человек и впрямь великий и редкостный, запечатлевший в своей душе наставления философии и почитавший обязанностью руководствоваться ими во всей

своей деятельности. И поистине нет ни одной добродетели, замечательные образцы которой он не оставил бы по себе. Что касается целомудрия (а о нем ясно свидетельствует вся его жизнь), то тут мы можем прочесть о нем нечто такое, что роднит его с Александром и Сципионом: имея в своей власти множество пленниц поразительной красоты, он не пожелал взглянуть ни на одну, и это произошло тогда, когда он был в полном расцвете сил: ведь ему минул всего лишь тридцать один год, когда он был убит парфянами. Что касается его правосудия, то он не гнушался брать на себя труд лично выслушивать тяжущихся, и, хотя из любознательности расспрашивал всех представших перед ним, какой они веры, все же, несмотря на враждебность, которую он испытывал к нашей, признание в принадлежности к ней нисколько не отягощало чаши его весов. Он сам придумал несколько хороших законов и отменил немало податей и налогов, введенных его предшественниками.

Мы располагаем показаниями двух превосходных историков, очевидцев его деяний. Один из них, Марцеллин, сетует во многих местах составленной им истории на тот из его указов, который запрещал христианам иметь свои школы

и строжайше возбранял христианским риторам и грамматикам всякое преподавание. Марцеллин говорит, что было бы хорошо, если бы этот его поступок остался неизвестным. Весьма вероятно, что если бы Юлиан принимал против нас какие-нибудь более жестокие меры, Марцеллин не забыл бы упомянуть об этом, ибо он был очень привержен нашей религии. Юлиан был суров по отношению к нам, это верно, но он не был нашим беспощадным врагом, ибо даже люди нашей веры рассказывают о нем следующую историю. Однажды, когда он прогуливался в окрестностях города Халкедона, Марис, епископ этого места, осмелился назвать его негодяем и христопродавцем. Юлиан ограничился тем, что сказал ему на это: «Поди прочь, несчастный, и оплакивай слепоту свою!» Епископ бросил ему в ответ: «Возношу благодарение Иисусу Христу, ибо он лишил меня зрения, дабы я не видел бесстыдной рожи твоей». Юлиан и тут проявил терпение истинного философа. Как бы там ни было, а этот случай не очень-то совместим с теми рассказами о жестокостях, которые он якобы творил по отношению к нам. «Он был, — говорит Евтропий, второй из моих свидетелей, — врагом христианского учения, но он не проливал крови христиан».

Возвращаясь к вопросу об отличавшей его справедливости, скажу, что нет ничего, пожалуй, такого, что можно было бы поставить ему в вину, кроме строгостей, применявшихся им в начале его правления, против тех, кто примыкал к партии, поддерживавшей его предшественника Констанция. Что касается присущей ему умеренности, то он неизменно вел солдатский образ жизни, как тот, кто готовится и приучает себя к тяготам и невзгодам войны. Его способность бодрствовать была такова, что, деля ночь на три или, порой, на четыре части, он отдавал отдыху лишь самую меньшую; остальное время он тратил на то, чтобы лично проверять состояние своих войск и несение службы дозорами, или на чтение, ибо наряду с прочими редкостными своими качествами он был к тому же превосходно осведомлен в любом роде литературы. Передают, что Александр Великий, ложась в постель, из опасения, как бы сон не помешал ему заниматься и думать, приказывал ставить у изголовья своего ложа чашу, над которой держал руку с зажатым в ней медным шариком; он делал это для того, чтобы в случае если дремота одолеет его и пальцы, ослабев, разожмутся, этот шарик, упав в чашу, разбудит его своим стуком. Душа Юлиана,

однако, бывала настолько поглощена тем, к чему он стремился, и винные пары, благодаря поразительной умеренности его образа жизни, так мало омрачали ее, что он отлично обходился и без этого ухищрения. Что касается его дарований в военном деле, то он блистал всеми качествами великого полководца. Почти всю свою жизнь он провел в непрерывных походах, и по большей части в союзе с нами, во Франции, против алеманнов и франков, и мы не находим упоминания о человеке, который повидал бы на своем веку столько опасностей, сколько пришлось изведать ему, и который чаще его выказывал бы личную доблесть.

Смерть его имеет черты сходства со смертью Эпаминонда, ибо он также был поражен стрелой и пытался вырвать ее, — и он достиг бы этого, если бы стрела, оказавшись по краям режущей, не поранила ему руку и не отняла у нее силу. Он настойчиво требовал, чтобы, несмотря на состояние, в котором он находился, его снова отнесли в гущу сражения и он мог бы одобрять своих воинов, хотя они и без него дрались на этот раз весьма храбро вплоть до того мгновения, когда ночь разъединила противников. Благодаря философии он усвоил себе презрение к жизни

и к делам человеческим. Он твердо верил в бессмертие души.

В делах религии он был кругом не прав и заслуживает порицания. Его прозвали Отступником потому, что он отрекся от нашей религии. Впрочем, мне кажется более правдоподобным, что она никогда и не была ему по сердцу, но что, подчиняясь законам, он притворялся, будто почитает ее, пока не захватил власть над всей империей. Он был настолько привержен своей религии, что современники, даже из числа его единоверцев, посмеивались над ним, утверждая, что, если бы ему удалось одолеть парфян, он истребил бы всех быков, какие только водятся на свете, беспрерывно принося их в жертву своим богам. Он был к тому же неравнодушен к искусству гадания и доверял всякого рода прорицаниям. Умирая, он, среди прочего, говорил, что испытывает к богам чувство великой признательности и благодарит их за то, что они не возымели желания убить его неожиданно, но заблаговременно оповестили о часе и месте кончины, причем послали ему не легкую и презренную смерть, подобающую лентяям и неженкам, и не томительную и медленную, полную страданий, но сочли его достойным умереть столь благородным образом,

посреди его победоносного шествия и в разгар его славы. Ему явился призрак, совсем так же, как Марку Бруту. В первый раз грозное видение предстало ему, когда он находился в Галлии; затем призрак снова явился ему в Персии, перед самой его смертью. Слова, которые Юлиан будто бы произнес, почувствовав, что поражен насмерть: «Ты победил, Назареянин!» или, как утверждают другие: «Радуйся, Назареянин!», — едва ли были бы забыты моими свидетелями, если бы они знали о них, а между тем они оба находились при войске и отметили все, даже ничтожнейшие поступки и слова Юлиана перед его смертью; то же можно сказать и о других чудесных явлениях, будто бы связанных с нею.

Но возвращаюсь к основной моей теме. Как говорит Марцеллин, Юлиан давно уже таил в своем сердце склонность к язычеству, но, так как его войско состояло почти сплошь из христиан, он не решался открыто признаться в этом. Наконец, когда он увидел себя достаточно сильным, чтобы открыто выразить свою волю, он велел открыть храмы древних богов и сделал все от него зависящее, чтобы идолопоклонство взяло верх над христианством. Обнаружив в Константинополе, что простой народ и христианские первосвя-

щенники плохо ладят между собой в вопросах веры, Юлиан, чтобы достигнуть желаемой цели, призвал обе стороны к себе во дворец и обратился к ним с настоятельным увещанием пресечь эти разногласия и предоставить каждому беспрепятственно и вполне свободно служить своей вере. Он убеждал их в этом очень горячо, рассчитывая, что такая неограниченная свобода умножит среди них число партий и сект и помешает народу объединиться, а следовательно, и укрепиться при помощи доброго согласия и единомыслия, чтобы оказать ему сопротивление. Он действовал так, убедившись, на основании примеров жестокости некоторых христиан, что «нет зверя на свете страшнее для человека, чем человек». Таковы примерно его собственные слова.

Тут заслуживает внимания то обстоятельство, что Юлиан пользовался для разжигания гражданских раздоров тем же самым средством, а именно свободой совести, какое было совсем недавно применено нашими королями, чтобы успокоить раздоры. Таким образом, с одной стороны, можно сказать, что снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов значит сеять и распространять между ними распри, значит способствовать умножению этих

распрей, поскольку нет больше преград в виде законов, способных обуздывать и останавливать их. Но с другой стороны, снять с партий узду и предоставить им беспрепятственно придерживаться их взглядов означает вместе с тем и усыпление, и расслабление их из-за легкости и удобства, с какими они могут отныне домогаться своего, означает притупление острия их воли, которая оттачивается в борьбе за что-либо необычное и труднодостижимое. И я склонен думать, воздавая честь добрым намерениям наших властителей, что, не достигнув желаемого, они сделали вид, будто желали достигнутого.

Глава XX
Мы не способны к беспримесному наслаждению

От слабости нашей природы проистекает, что нам не дано пользоваться вещами в их простом и естественном состоянии. Все, что бы мы ни употребляли, подверглось тем или иным изменениям. Это относится и к металлам: даже золото — и к нему приходится что-нибудь примешивать, чтобы сделать его пригодным для наших нужд. Ни столь простая и ясная добродетель, с какой мы сталкивались у Аристона, Пиррона и затем стоиков, провозгласивших ее целью жизни, ни наслаждение киренаиков и Аристиппа в чистом виде не достижимы для нас. Среди доступных нам удовольствий и благ не существует ни одного, которое было бы свободно от примеси неприятного и стеснительного,

medio de fonte leporum
Surgit amari aliquid, quod in ipsis floribus

angat[422].

Наше высшее наслаждение проявляется в таких формах, что становится похожим на жалобы и стенания. Разве мы не могли бы сказать, что это — предсмертные муки? И когда мы тщимся изобразить это наслаждение во всей его полноте, то приукрашаем его эпитетами и свойствами, связанными со страданием и болезнью, каковы, например, такие слова, как истома, спазмы, изнеможение, обмирание, morbidezza[423]. Не есть ли это вернейшее свидетельство кровной близости и единства наслаждения и боли? Глубокая радость заключает в себе больше суровости, чем веселья, крайнее и полное удовлетворение — больше успокоения, чем удовольствия. Ipsa felicitas, se nisi temperat, premit[424]. Блаженство истощает человека. Это то, о чем говорит один небольшой древнегреческий стих, содержание которого сводится к следующему: «боги продают всякое ниспосылаемое нам ими благо», что озна-

[422] Примечания: 422

Из источника наслаждений исходит нечто горькое, что удручает даже находящегося среди цветов (*лат.*). Лукреций, IV, 1129.

[423] Примечания: 423

Изнеможение (*ит.*).

[424] Примечания: 424

Слишком неумеренная радость угнетает нас (*лат.*). *Письма,* 74, 18.

чает: они не даруют нам ни одного совершенного и чистого блага, и мы покупаем его ценой содержащегося в нем зла.

Тяготы и удовольствия — вещи крайне различные по природе — каким-то образом соединяются природными узами. Сократ говорит, что некий бог сделал попытку сплотить в нечто целое и слить воедино страдание и наслаждение, но, так как ему не удалось осуществить этот замысел, он придумал связать их друг с другом хотя бы хвостами. Метродор говорил, что не бывает печали без примеси удовольствия. Не знаю, что именно имел он в виду, но я с легкостью представляю себе, что можно намеренно, добровольно и с охотой лелеять свою грусть, и настаиваю на том, что, кроме честолюбия, — а оно также может сюда примешиваться — во всем этом сквозит еще нечто приятное и заманчивое, которое тешит нас и льстит нашему самолюбию посреди самой безысходной и тягостной грусти. Разве не существует душ, которые, можно сказать, питаются ею?

est quaedam flere voluptas[425].

---

[425] Примечания: 425

Есть некое удовольствие и в плаче (*лат.*). Овидий. *Скорбные песни,* IV, 3, 37.

И некий Аттал заявляет у Сенеки, что воспоминание о потерянных нами друзьях нам столь же приятно, как горечь в очень старом вине, —

Minister vetuli, puer, Falerni
Ingere mi calices amariores[426] —

или как яблоко с легкой кислинкой. Природа раскрывает перед нами это смешение: живописцы показывают, что одни и те же движения и морщинки наблюдаются на лице человека и когда он плачет, и когда он смеется. И в самом деле, проследите за работой живописца, пока он не закончил изображения того или другого из этих двух состояний, — и вы так и не сможете установить, какое из них перед вами. Вспомним также, что безудержный смех порождает слезы. Nullum sine auctoramento malum est[427].

Мысленно представляя себе человека, испытывающего все желанные для него радости, — вообразим такой случай, когда все тело этого человека навеки охвачено наслаждением, подобным тому, какое бывает при акте оплодотворения, в

[426] Примечания: 426

Служитель старого фалерна, наполни мне чаши самым горьким (*лат.*). Катулл, XXVII, 1.

[427] Примечания: 427

Нет горя без услады (*лат.*). *Письма,* 99, 25.

момент наибольшей остроты ощущений, — я явственно вижу, как он изнемогает под бременем своего блаженства, и чувствую, что ему не под силу выдерживать столь беспримесное и столь всеобъемлющее непрерывное наслаждение. И действительно, едва насытившись им, он уже бежит от него и, побуждаемый естественным чувством, торопится спрыгнуть сам со ступеньки, на которой ему никоим образом не устоять и с которой он боится сверзиться вниз.

Когда я с предельной откровенностью исповедуюсь себе самому, я обнаруживаю, что даже лучшее, что только есть во мне, даже оно окрашено известным оттенком порочности. И я опасаюсь, как бы Платон, прислушайся он повнимательнее — что, несомненно, он делал не раз — к самой безупречной из своих добродетелей (а ведь я — искреннейший и преданнейший поклонник, какого только можно сыскать, как этой его добродетели, так и других, скроенных по такому же образцу), так вот, как бы Платон не уловил в этой своей добродетели некоего фальшивого тона, неизбежного в той совокупности, какую представляет собой человек, правда тона глухого и ощутимого лишь собственным слухом. Человек во всем и везде — ворох пестрых

лоскутьев. И даже законы, блюстители справедливости, не могли бы существовать, если б к ним не примешивалась несправедливость; Платон замечает, что кто притязает очистить их от непоследовательностей и неудобств, тот пытается отрубить голову гидре. Omne magnum exemplum habet aliquid ex iniquo, quod contra singulos utilitate publica rependitur[428], — говорит Тацит.

Равным образом верно и то, что наши умы бывают иногда слишком светлыми и прозорливыми в делах как частной, так и общественной жизни; ясности и проницательности подобных умов присуща чрезмерная утонченность и любознательность. Чтобы принудить их покоряться общепринятым правилам и обычаям, нужно отнять у них излишнюю пытливость и остроту; чтобы приспособить их к нашему смутному земному существованию, нужно придать им некоторую тяжеловесность и заставить их потускнеть. Но бывают также умы обыденные и менее яркие, которые более пригодны для ведения дел и лучше справляются с ними. Возвышенные и утонченные воззрения философии бесплодны в

[428] Примечания: 428

Всякое примерное наказание заключает в себе нечто несправедливое по отношению к отдельным лицам, что, однако, вознаграждается общественной пользой (*лат.*). Тацит. *Анналы,* XIV, 14.

приложении к повседневной действительности. Эта повышенная живость души, эта беспокойная подвижность и гибкость ее препятствуют нам в житейских занятиях. Нужно вести предприятия человеческие проще, не мудрствуя, и добрую долю в них оставлять на усмотрение и произвол судьбы. Освещать дела слишком тонко и глубоко нет никакой надобности: наблюдая столь противоречивое освещение и многообразие форм, теряешься: volutantibus res inter se pugnantes, obtorpuerant animi[429].

Вот что древние рассказывают о Симониде: так как его воображение, пытаясь ответить на предложенный царем Гиероном вопрос, — а на обдумывание ответа ему было дано несколько дней — предлагало ему множество все новых и новых остроумных и тонких решений, он, колеблясь, какое же из них счесть наиболее правильным, отчаялся в конце концов отыскать истину.

Кто пристально разглядывает и старается охватить все до одного обстоятельства и все следствия, тот сам себе затрудняет выбор: обычная смекалка с таким же успехом делает свое дело

[429] Примечания: 429

Разум терялся при размышлении о стольких противоречивых вещах (*лат.*). Тит Ливий, XXXII, 20.

и достаточна для разрешения как малых, так и больших вопросов. Оглянитесь вокруг себя, и вы увидите, что лучшие хозяева — это те, кто меньше всего мог бы ответить, каким образом они добиваются этого, и что велеречивые говоруны чаще всего не достигают ничего путного. Я знаю одного такого великого болтуна и превосходного мастера расписывать все, относящееся к любому виду хозяйственных дел; но он глупейшим образом пропустил сквозь пальцы сто тысяч ливров годового дохода. Знаю я и другого: этот уверяет, что разбирается в делах лучше, чем кто-либо другой; притом же на свете не сыщешь более благородной души и другого такого кладезя всяких знаний. А между тем слуги его утверждают, что, когда доходит до дела, он оказывается совсем не таким. При этом я отнюдь не ставлю этим господам в счет случайные бедствия разного рода.

Глава XXI
Против безделья

Император Веспасиан, страдая болезнью, которая и явилась причиною его смерти, не переставал выражать настойчивое желание, чтобы его осведомляли о состоянии государства. Больше того, даже лежа в постели, он непрерывно занимался наиболее значительными делами, и когда его врач, попеняв ему за это, заметил, что такие вещи губительны для здоровья, он бросил ему в ответ: «Император должен умирать стоя». Вот изречение, по-моему, воистину замечательное и достойное великого государя! Позднее, при подобных же обстоятельствах, оно было повторено императором Адрианом, и его надлежало бы почаще напоминать государям, дабы заставить их прочувствовать, что великая возложенная на них обязанность, а именно управлять столькими людьми, не есть обязанность тунеядца, а также что ничто, по справедливости, не может в такой же мере отбить у подданного охоту принимать на себя, ради служения своему государю, тяготы и невзгоды и подвергаться опасностям, чем воз-

можность видеть его в это самое время трусливо забившимся в угол за занятиями малодушными и ничтожными, и заботиться о его благополучии, в то время как он так равнодушен к нашему.

Если бы кто-нибудь вздумал доказывать, будто гораздо лучше, чтобы государь вел войны не сам, а поручал ведение их другим лицам, он нашел бы среди многообразия человеческих судеб немало примеров, когда назначенные государями полководцы успешно завершали за них великие предприятия; он натолкнулся бы и на таких государей, чье присутствие в войске приносило скорее вред, нежели пользу. Но ни один решительный и смелый монарх не потерпит, чтобы ему приводили столь постыдные доводы! Под предлогом желания уберечь свою жизнь ради блага всего государства — точно дело идет об изваянии какого-нибудь святого — иные из государей уклоняются от выполнения своего долга, который главным образом и состоит в военных деяниях, и тем самым уличают себя в неспособности к ним. Я же знаю одного государя, который, напротив, предпочитает быть битым, чем спать, пока за него бьются другие, и он даже не может смотреть без зависти на своих подчиненных, если те совершают в его отсутствие что-либо

выдающееся. Селим I говаривал — и, как мне кажется, с достаточным основанием, — что победы, одержанные без участия повелителя, не бывают полными и окончательными. И он сказал бы еще охотнее, что повелителю, который дрался в таком сражении лишь словами и мыслями, надлежит краснеть от стыда в том случае, если он домогается своей доли славы за достигнутую победу; и это тем более, что в подобных обстоятельствах советы и приказания могут доставлять честь только тогда, когда они подаются и отдаются на самом поле боя и в зависимости от положения дел. Ни один кормчий не выполняет своих обязанностей, сидя на берегу. Государи оттоманской династии, первой по военному счастью династии в мире, глубоко восприняли эту истину, и Баязид II, равно как и его сын, отошедшие от нее, развлекаясь науками и другими домашними занятиями, надавали тем самым здоровенных пощечин своей империи; да и тот, что царствует в настоящее время, Мурад III, следуя их примеру, начинает поступать точно так же. Не английский ли король Эдуард III сказал о нашем Карле V: «Не было короля, который брал бы в руки оружие реже, чем он, и не было короля, который причинил бы мне столько хлопот». И он был прав, находя это

странным и видя тут скорее прихоть судьбы, чем следствие разумного порядка вещей.

И пусть ищут сочувствия у других, но только не у меня, те, кому хочется видеть в числе воинственных и великих завоевателей королей Кастилии и Португалии лишь на том основании, что, сидя в своих покойных дворцах, за тысячу двести лье, они трудом своих подначальных сделались властителями обеих Индий и других стран, — а ведь большой еще вопрос, хватило ли бы у них храбрости даже съездить туда самолично, чтобы вступить во владение этими землями.

Император Юлиан настаивал на еще большем: он говорил, что «философу и честному человеку перевести дух и то возбраняется», то есть что им подобает отдавать дань потребностям нашего естества лишь настолько, насколько это безусловно необходимо, занимая всегда и душу и тело делами прекрасными, великими и добродетельными. Он испытывал стыд, если ему доводилось сплюнуть или вспотеть на виду у народа (то же самое рассказывают о молодежи лакедемонян, а Ксенофонт — и о персидской), ибо он полагал, что телесные упражнения, неустанный труд и умеренность должны выпарить и иссушить все эти излишние жидкости. То, о чем говорит

Сенека, также не окажется здесь неуместным; а он говорит, что древние римляне держали свою молодежь всегда на ногах: они не обучали своих детей, сообщает он, ничему такому, что нужно было бы изучать сидя.

Жажда умереть с пользой и мужественно весьма благородна, но утолить ее зависит не столько от наших благих решений, сколько от благости нашей судьбы. Тысячи людей ставили себе целью или победить или пасть в сражении, но им не удавалось достигнуть ни того ни другого. Ранения и темницы пересекали на полпути их намерения и вынуждали жить насильственной жизнью. Существуют, кроме того, болезни, которые обрушиваются на нас с такой яростью, что подавляют и наши желания, и нашу память. Молей Молук, властитель Феса, тот самый, который недавно разгромил Себастьяна, короля португальского, в битве, ставшей знаменитой по причине гибели трех королей и объединения великой португальской короны с кастильскою, этот Молей Молук тяжело заболел сразу после того, как португальцы вторглись в его страну. С каждым днем он чувствовал себя все хуже и хуже, и так продолжалось до самой его смерти, близость которой он ясно видел. Еще не было на свете человека,

который вел бы себя столь же мужественно и благородно в подобных обстоятельствах. Слишком слабый, чтобы вынести тяготы торжественного прибытия в лагерь, что, согласно принятому у них обычаю, происходит с великой пышностью и обставляется множеством утомительных церемоний, он уступил эту честь своему брату. И это была единственная обязанность военачальника, которую он уступил кому-либо другому; что до всех остальных, необходимых для пользы дела и весьма важных, то он выполнял их сам, и притом поразительно усердно и тщательно; хотя тело его было простерто на ложе, свой разум и свое мужество он принудил твердо стоять на ногах и не сдаваться вплоть до последнего вздоха, а в некотором смысле и после него. Он мог взять неприятельское войско измором, поскольку португальцы безрассудно углубились в его владения, но ему было весьма тягостно, что из-за краткости срока, который ему оставалось жить, из-за отсутствия подходящего человека, который мог бы заменить его в ведении этой войны, и, наконец, из-за смут в государстве он вынужден искать победы кровавой и чреватой опасностями, хотя в его руках был и другой способ одолеть врагов, простой и вполне бесспорный. Все же он

очень искусно использовал предоставленную ему болезнью отсрочку, всячески изматывая силы противника и завлекая его подальше от гаваней на побережье Африки и от его кораблей; и он делал это вплоть до последнего дня своей жизни, который приберег и предназначил для решительного сражения.

Свои войска он расположил в форме кольца, со всех сторон окружавшего армию португальцев. Сжимая и суживая это кольцо так, что врагам приходилось отбивать атаки одновременно со всех сторон, он не только затруднил им этим ведение боя — который был крайне жестоким, ибо юный португальский король непрерывно и доблестно пытался вырваться из кольца, — но и не дал им возможности спастись бегством, вернувшись назад тем же путем, каким они пришли. Так как все дороги оказались для них перехвачены и крепко заперты, португальцам пришлось топтаться на месте, тесня друг друга, — coacervanturque non solum caede, sed etiam fuga[430] — и, сбившись в кучу, уступить победителям, учинившим кровавую бойню, полную и окончательную победу. Уже умирающий, Молей приказал отнести себя на

[430] Примечания: 430
Они сбиваются в кучу не только в сече, но и в бегстве (*лат.*).

носилках к войску и переносить с места на место, туда, где его присутствие могло быть полезным; и когда его проносили вдоль рядов воинов, он воодушевлял на битву одного за другим своих военачальников и солдат. И так как на одном из участков его боевой порядок начал приходить в расстройство, он, как приближенные его ни удерживали от этого, сел на коня и пожелал ринуться с обнаженным мечом в самую гущу сражения. Окружающие, однако, не допустили его до этого, ухватившись кто за повод его коня, кто за платье, кто за стремена. Это усилие окончательно погасило еще тлевшую в нем искру жизни; его снова уложили на носилки. Он же, внезапно преодолев свое обморочное состояние и ввиду своей слабости не располагая никаким другим способом, чтобы отдать важнейшее в тот момент приказание — скрыть от всех его смерть, известие о которой могло бы вызвать смятение в рядах его войск, — приложил ко рту палец (как известно, общепринятый знак, приглашающий хранить молчание) и через мгновение испустил дух. Кто дольше его жил в самом преддверии смерти? И кто умер до такой степени стоя, как он?

Крайнее проявление мужества пред лицом смерти, и самое к тому же естественное, — это

смотреть на нее не только без страха, но и без тревоги, продолжая даже в цепких ее объятиях твердо придерживаться обычного образа жизни. Именно так и сделал Катон, продолжавший заниматься и не отказывавшийся от сна, когда голова и сердце его были уже полны смертью, которую он держал в своей руке.

Глава XXII
О почтовой гоньбе

Я был когда-то не из последних в делах этого рода, самых что ни на есть подходящих для людей моего сложения и моего роста — крепкого и невысокого. Но я больше не занимаюсь ими: слишком уж они изнурительны, чтобы предаваться им долгое время.

Я только что прочитал о том, что царь Кир, дабы с большей легкостью получать известия со всех концов своего царства — а оно было весьма обширным, — повелел выяснить, какое расстояние за день может покрыть без отдыха лошадь, и, исходя из этого, поместить на соответствующей дистанции друг от друга особых людей, у которых были бы всегда наготове кони, чтобы поставлять их прибывающим к ним гонцам. Некоторые передают, что быстрота передвижения этих гонцов достигала быстроты, с какой летят журавлиные стаи.

Цезарь рассказывает, что Луций Вибуллий Руф, торопясь доставить Помпею важное сообщение, мчался к нему день и ночь, меняя для скорости

лошадей. Да и сам Цезарь, по словам Светония, делал по сто миль ежедневно, пользуясь наемной повозкой; впрочем, это был бешеный ездок, ибо там, где ему преграждали дорогу реки, он переправлялся через них вплавь, никогда не сворачивая с прямого пути ради поисков моста или брода. Тиберий Нерон, отправившись повидаться со своим братом Друзом, заболевшим в Германии, трижды сменив повозку, проделал за двадцать четыре часа целые двести миль. Во время войны, которую римляне вели с Антиохом, Тиберий Семпроний Гракх, как сообщает Тит Ливий, per dispositos equos prope incredibili celeritate ab Amphissa tertio die Pellam pervenit[431], причем, если вчитаться внимательно в это место, то становится ясным, что речь идет о постоянных подставах, а не об учрежденных ради этой поездки.

Способ подавать весть о себе, который придумал Цецина, обеспечивал еще большую быстроту: покидая дом, он брал с собой ласточек и, когда хотел что-либо сообщить домой, отпускал их лететь в свои гнезда, причем метил их краской того цвета, который обозначал то-то и то-то, в

[431] Примечания: 431

На перекладных лошадях он с почти невероятной скоростью прибыл на третий день из Амфиссы в Пеллу (*лат.*). Тит Ливий, XXXVII, 7.

соответствии с тем, как он заранее уславливался с домашними.

Римские патриции, находясь в театре, держали за пазухой голубей, и, когда им приходило в голову переслать домой какое-нибудь приказание своим людям, они выпускали этих голубей на свободу, прикрепив к ним записку. Эти голуби были также обучены возвращаться с ответом; ими пользовался и Децим Брут, осажденный в Мутине, и другие в иных местах.

В Перу вестники для своих разъездов употребляли людей, которые взваливали их на свои плечи вместе с особым сиденьем, проделывая это до того ловко, что один носильщик, не останавливаясь и даже не замедляя бега, перебрасывал свою ношу другому.

Я слыхал, что валахи, гонцы султана, достигают изумительной скорости, и это происходит по той причине, что им дано право ссаживать первого встречного с приглянувшейся им лошади, отдавая взамен свою притомившуюся, и еще потому, что они, дабы предохранить себя от усталости, накрепко стягивают себе тело широким ремнем.

Глава XXIV
О величии римлян

Этому поистине неисчерпаемому предмету я намерен уделить всего несколько слов; моя цель — показать недомыслие тех, кто пытается сравнивать с величием римлян жалкое величие нашего времени. В седьмой книге «Дружеских писем» Цицерона (пусть филологи, если того пожелают, лишат их названия «Дружеских», ибо оно и в самом деле не очень-то подходит, и те, кто вместо «Дружеские» именует их письмами ad familiares, могут извлечь кое-какие доводы в свою пользу из того, что в своем «Жизнеописании Цезаря» сообщает Светоний, а именно, что и у Цезаря был целый том писем, написанных им ad familiares) — так вот в этой седьмой книге есть одно письмо Цицерона к Цезарю, находившемуся в то время в Галлии. В этом письме Цицерон воспроизводит слова, содержавшиеся в конце письма, полученного им перед тем от Цезаря. Вот они: «Что касается Марка Фурия, о котором ты отзываешься с такой похвалой, то я сделаю его, если такова твоя воля, царем Галлии. И вообще,

если ты хочешь выдвинуть кого-нибудь из своих друзей, присылай этого человека ко мне». Для простого римского гражданина, каким был тогда Цезарь, было уже не внове располагать по своему усмотрению целыми царствами, ибо к тому времени он успел отнять у Дейотара его престол, чтобы отдать его некоему знатному пергамцу по имени Митридат. И те, кто описывает нам жизнь Цезаря, перечисляют еще несколько проданных им государств; да и Светоний рассказывает, что Цезарь вытянул с одного раза из царя Птолемея три миллиона шестьсот тысяч экю, то есть почти столько же, за сколько тот мог бы продать свое царство:

> *Tot Galatae, tot Pontus eat, tot Lydia nummis*[432].

Марк Антоний говаривал, что величие римского народа проявляется не столько в том, что он взял, сколько в том, что он роздал; и все же за несколько веков до Антония этот народ отнял нечто настолько значительное, что во всей истории Рима я не знаю никакого другого события, которое сообщало бы его имени большую славу и

[432] Примечания: 432

За такую-то сумму Галатию, за такую-то — Понт, за такую-то — Лидию (*лат.*). Клавдиан. *Против Евтропия*, I, 203.

большее уважение. Антиох владел в те времена всем Египтом и готовился предпринять захват Кипра и прочих зависимых от него областей. В самый разгар одерживаемых этим царем побед к нему прибыл с поручением от сената Гай Попилий; он начал с того, что отказался коснуться царской руки, пока царь не прочтет врученного им послания. Антиох, прочитав это послание, заявил Попилию, что ему потребуется время на размышление. Тогда Попилий очертил находившимся у него прутиком место, на котором стоял Антиох, и сказал, обращаясь к нему: «Сообщи, не выходя из этого круга, ответ, который я мог бы доставить сенату». Антиох, пораженный решительностью столь безоговорочно предъявленного ему повеления, подумав немного, ответил: «Я выполню все, что приказывает сенат». После этого Попилий обратился к нему с приветствием, какое отныне подобало ему, как «другу римского народа». Отказаться от столь беспредельной власти, и притом тогда, когда судьба так благоприятствовала ему, — и все это под впечатлением каких-то трех строк послания! И он был, разумеется, прав, приказав, как он сделал, сообщить через своих послов сенату Римской республики, что он принял его приказания с таким же благоговением,

как если бы они исходили от бессмертных богов.

Все царства, завоеванные Августом по праву войны, он возвратил тем, кто владел ими прежде, или раздарил чужеземцам. И по этому поводу Тацит, рассказывая о Когидуне, короле бриттов, одной замечательно удачной черточкой дает нам почувствовать всю бесконечность могущества римлян. Римляне, говорит он, имели обыкновение еще с древнейших времен оставлять во владении побежденных царей, под их властью, принадлежавшие им ранее царства, «дабы располагать даже царями в качестве орудий порабощения» — ut haberent instrumenta servitutis et reges. Весьма вероятно, что Сулейман, который, как мы видели, весьма милостиво отнесся к венгерскому королевству и некоторым другим государствам, руководствовался при этом скорее указанными выше соображениями, а не тем, какое имел обыкновение приводить в объяснение своих действий, а именно — что «он пресыщен и обременен таким множеством монархий и владений».

Глава XXV
О том, что не следует прикидываться больным

У Марциала есть удачная эпиграмма (ибо не все его эпиграммы одинакового достоинства), в которой он рассказывает забавную историю о Целии. Последний, не желая быть на ролях придворного у некоторых римских вельмож — присутствовать при церемонии их вставания, находиться при них и сопровождать их, — притворился страдающим подагрой. Стремясь отвести всякие сомнения в подлинности своей болезни, он стал лечиться от подагры: ему смазывали и закутывали ноги, и он до того естественно подделывался своим внешним видом и манерой держаться под подагрика, что под конец судьба ниспослала ему это счастье на деле:

Tantum cura potest et ars doloris!
Desiit fingere Caelius podagram[433].

Где-то у Аппиана, насколько мне помнится, я

[433] Примечания: 433

Вот к чему приводит разыгрывание болезни! Целию уже не приходится притворяться подагриком (*лат.*). Марциал, VII, 39, 8.

прочитал о подобном же случае с одним римлянином, который, чтобы не попасть в проскрипционные списки, составлявшиеся триумвирами, и желая ускользнуть от бдительности своих гонителей, не только скрывался переодетым, но еще и притворялся одноглазым. Когда он обрел большую свободу действий и решил снять пластырь, которым долгое время был заклеен один его глаз, то обнаружил, что действительно потерял зрение на этот глаз. Возможно, что в связи с длительным бездействием этого глаза зрение в нем ослабело, но зато увеличилась зоркость другого глаза. Ибо нередко мы наблюдаем, что закрытый глаз передает работающему часть своих функций, благодаря ему глаз, принявший весь труд на себя одного, как бы увеличивается и расширяется за этот счет. Нечто подобное могло произойти и в случае, приводимом Марциалом: отвычка Целия от ходьбы, укутывания ног и другие лечебные средства могли вызвать у его мнимого подагрика первые признаки этой болезни.

Читая у Фруассара об одном отряде молодых английских рыцарей, которые, до переправы во Францию и до совершения каких-то там подвигов в войне с нами, все носили повязку на левом глазу, я часто весело смеялся при мысли, что с

ними должно было приключиться то же, что и в приведенных случаях, и при возвращении в Англию они все предстали кривыми перед своими возлюбленными, ради которых пустились в это предприятие.

Матери правы, когда бранят детей за то, что они подражают слепым, хромым, косоглазым, людям с какими-либо другими физическими недостатками, ибо, кроме того что это может причинить вред не сложившемуся еще организму ребенка, получается так, как будто судьба нас подстерегает, чтобы поймать на этом; мне довелось слышать о многих случаях, когда люди, изображавшие какую-нибудь болезнь, потом и в самом деле заболевали ею.

С давних пор я до того привык — хожу ли пешком, езжу ли верхом — держать в руках трость или палку, что даже нахожу в этом известное изящество и мне нравится опираться на палку. Многие пугали меня тем, что когда-нибудь судьба обратит мое щегольство в печальную необходимость. Я льщу себя поэтому надеждой, что буду в таком случае первым подагриком во всем моем роде.

Однако вернемся к затронутой теме и поговорим еще о слепоте. Плиний сообщает о случае,

когда человек, вообразив себя во сне слепым, на другой день действительно ослеп, совершенно не болев до этого. Сила воображения, как я утверждал в другом месте, могла при этом сыграть свою роль, и кажется, что это мнение разделяет и Плиний; но более вероятно, что внутренние ощущения потери зрения, которые испытывал организм и причину которых установят, если им угодно будет, врачи, явились поводом для такого сна.

Приведем еще один близкий к этому случай, о котором рассказывает в одном из своих писем Сенека. «Ты знаешь, — пишет Сенека Луцилию, — что Гарпаста, шутиха моей жены, осталась у меня в доме в этой должности, перешедшей к ней по наследству, ибо что касается меня, то я не выношу подобных уродов, и если мне хочется посмеяться над шутом, мне незачем для этого далеко ходить: я смеюсь над собой. И вдруг Гарпаста ослепла. Я рассказываю тебе о странном, но истинном происшествии; эта несчастная не сознает, что она ослепла, и непрерывно требует от своего слуги, чтобы он увел ее из моего дома, ссылаясь на то, что у меня слишком темно. Поверь мне: тот самый недостаток, который вызывает в нас улыбку по ее адресу, присущ каждому из нас; никто не

сознает, что он скуп или жаден. Слепые нуждаются в поводыре, мы же обязаны заботиться о себе сами. “Я не тщеславен”, — говорим мы, — но в Риме нельзя жить иначе; “я не мот”, но такой город обязывает к большим тратам; “не моя вина, если я вспыльчив и еще не выработал себе твердого уклада жизни”; в этом повинна молодость. Не будем искать причину зла вне нас, оно сидит в нас, в самом нашем нутре. И именно потому, что мы не сознаем своей болезни, нам так трудно исцелиться. Если не начать лечиться при первых признаках заболевания, то как справиться с таким количеством язв и недугов? Но у нас есть такое прекрасное лекарство, как философия: в отличие от других средств, радующих нас только после выздоровления, философия одновременно и радует и исцеляет нас».

Таковы слова Сенеки, который увел меня далеко от темы, но и в перемене есть польза.

Глава XXVI
О большом пальце руки

Тацит сообщает, что у некоторых варварских королей был такой обычай: два короля, чтобы скрепить заключаемый между ними договор, плотно прикладывали одну к другой ладони своих правых рук, переплетая вместе узлом большие пальцы; затем, когда кровь сильно приливала к кончикам туго стянутых пальцев, они делали на них надрез и слизывали друг у друга брызнувшую кровь.

Врачи утверждают, что большой палец руки — властелин остальных пальцев и что латинское название большого пальца происходит от глагола pollere[434]. Греки называли большой палец ἀντίχειρ[435], как если бы это была еще одна самостоятельная рука. Мне сдается, что и в латинском языке это слово иногда тоже обозначает всю руку:

Sed nec vocibus excitata blandis

---

[434] Примечания: 434
иметь силу (*лат.*). *Макробий,* VII, 13.

[435] Примечания: 435
«вместо руки» (*греч.*).

Molli pollice nec rogata surgit[436].

В Риме считалось знаком одобрения прижать один к другому оба больших пальца и опустить их:

Fautor utroque tuum laudabit pollice ludum[437],

признаком же немилости — поднять их и наставить на кого-нибудь:

converso pollice vulgi
Quemlibet occidunt populariter[438].

Римляне освобождали от военной службы раненных в большой палец на том основании, что они не могли уже достаточно крепко держать в руке оружие. Август конфисковал все имущество одного римского всадника, который отрубил обоим своим молодым сыновьям большие пальцы с целью избавить их от военной службы; а еще

---

[436] Примечания: 436

Ни ласковые слова, ни прикосновение нежного пальца, ни просьбы не могли пробудить его угасший пыл (*лат.*). Марциал, XII, 98, 8.

[437] Примечания: 437

Приверженец обоими большими пальцами одобрит твою игру (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 18, 66.

[438] Примечания: 438

Убивают любого, на кого народ укажет, повернув большой палец (*лат.*). Ювенал, III, 36.

до Августа, во время италийской войны, сенат осудил Гая Ватиена на пожизненное заточение с конфискацией имущества за то, что он умышленно отрубил себе большой палец левой руки, чтобы избавиться от этого похода.

Какой-то полководец — не могу припомнить, кто именно, — выигравший морское сражение, приказал отрубить побежденным врагам большие пальцы, дабы они не могли больше воевать и грести.

Афиняне отрубили эгинянам большие пальцы, чтобы лишить их превосходства в морском деле.

В Спарте учитель наказывал детей, кусая у них большой палец.

Глава XXVIII
Всякому овощу свое время

Те, кто сопоставляет Катона Цензора с умертвившим себя Катоном Младшим, сравнивают двух замечательных людей, у которых есть много общего.

Катон Цензор проявил себя в более разнообразных областях и превосходит Катона Младшего своими военными подвигами и более плодотворной государственной деятельностью. Но доблесть Катона Младшего — не говоря уже о том, что кощунственно сравнивать с ним кого бы то ни было в этом отношении, — куда более безупречна. Действительно, кто решится утверждать, что Катон Цензор был свободен от зависти и честолюбия, когда он отважился посягнуть на честь Сципиона, самого выдающегося по своим достоинствам человека своего времени? Мне не кажется особенно лестным для Катона Цензора то, что он, как сообщают, на старости лет принялся с величайшим усердием изучать греческий язык, словно стремясь утолить давнишнюю жажду. Это скорее говорит о том, что он стал впадать в

детство. Все вещи — и похвальные, и обыденные — хороши в свое время; даже молитва может быть несвоевременной: ведь обвиняли же Тита Квинкция Фламинина в том, что в бытность его командующим армией его застали в разгар боя в укромном месте молящимся Богу о сражении, в котором он одержал победу:

Imponit
finem sapiens et rebus honestis[439].

Евдамид, глядя на то, как совсем уже дряхлый Ксенократ спешил на занятия в школу, с удивлением спросил: «Когда же он будет знать, если до сих пор все еще учится?»

Точно так же и Филопемен, обращаясь к тем, кто превозносил царя Птолемея за то, что он закалял себя ежедневно военными упражнениями, сказал: «Не похвально, чтобы царь в его возрасте упражнялся в военном искусстве; он должен был бы уже применять его на деле».

По утверждению мудрецов, учиться надо смолоду, на старости же лет — наслаждаться знаниями. Самым большим пороком человеческой природы мудрецы считают непрерывное появление у нас

[439] Примечания: 439

Разумный человек ставит себе предел даже и в добрых делах (*лат.*). Ювенал, VI, 444.

все новых и новых желаний. Мы постоянно начинаем жить сызнова. Надо было бы, чтобы наше стремление учиться и наши желания с годами дряхлели, а между тем, когда мы уже одной ногой стоим в могиле, у нас все еще пробуждаются новые стремления:

Tu secanda marmora
Locas sub ipsum funus, et sepulchri
Immemor, struis domos[440].

Я никогда не загадываю больше, чем на год вперед, и думаю тогда только о том, как бы закончить свои дни; я гоню от себя всякие новые надежды, не затеваю никаких новых дел, прощаюсь со всеми покидаемыми мною местами и ежедневно расстаюсь с тем, что имею: Olim iam пес perit quicquam mihi nec acquiritur. Plus superest viatici quam viae[441].

Vixi et quem dederat cursum fortuna

[440] Примечания: 440

На самом пороге смерти, забыв о надгробье, ты готовишь мрамор, чтобы строить новый дом (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, 18, 17.

[441] Примечания: 441

Уже давно я ничего не трачу и ничего не приобретаю. У меня осталось больше запасов на дорогу, чем пути (*лат.*). *Письма,* 77, 3.

peregi[442].

В конце концов единственное облегчение, даваемое мне старостью, состоит в том, что она убивает во мне многие желания и стремления, которыми полна жизнь: заботу о делах этого мира, о накоплении богатств, о величии, о расширении познаний, о здоровье, о себе. Бывает, что человек начинает обучаться красноречию, когда ему впору учиться, как сомкнуть свои уста навеки.

Можно продолжать учиться всю жизнь, но не начаткам школьного обучения: нелепо, когда старец садится за букварь.

Diversos diversa iuvant, non omnibus annis
Omnia conveniunt[443].

Если надо учиться, будем изучать то, что под стать нашему возрасту; тогда мы сможем сказать, как тот, кто на вопрос, к чему ему эти занятия при его дряхлости, ответил: «Чтобы я мог лучше и легче уйти отсюда». Таков был смысл занятий Катона Младшего, когда он, почувствовав при-

---

[442] Примечания: 442

Я прожила жизнь и совершила путь, назначенный мне судьбой (*лат.*). *Энеида,* IV, 653.

[443] Примечания: 443

Люди любят разные вещи, не все подходит всем возрастам (*лат.*). Максимиан, I, 104.

ближение смерти, углубился в диалог Платона о бессмертии души. Он обратился к Платону не потому, что не был уже с давних пор подготовлен к уходу из жизни: непоколебимости, твердой воли и умения у него было не меньше, чем он мог почерпнуть из писаний Платона; его самообладание и его знания в этой области были выше всех требований, предъявляемых философией. Он погрузился в Платона не с целью получить наставление, как умирать, а как тот, кто, приняв столь важное решение, не желает ради него отказываться даже от сна; не меняя ничего в заведенном укладе жизни, он продолжал свои занятия наряду с другими своими привычными делами.

Ту самую ночь, когда его лишили претуры, он провел в игре, а ночь перед смертью провел за книгами. Утрата жизни и утрата должности равно казались ему чем-то незначительным.

Глава XXIX
О добродетели

Я знаю по опыту, что следует отличать душевный порыв человека от твердой и постоянной привычки. Знаю я также прекрасно, что для человека нет ничего невозможного, вплоть до того, что мы способны иногда, как выразился некий автор, превзойти даже божество, — и это потому, что гораздо больше заслуги в том, чтобы, преодолев себя, приобрести свободу от страстей, нежели в том, чтобы быть безмятежным от природы, и особенно замечательна способность сочетать человеческую слабость с твердостью и непоколебимостью Бога. Но это бывает только порывами. В жизни выдающихся героев древности мы нередко наталкиваемся на поразительные деяния, которые, казалось бы, значительно превосходят наши природные способности. Но в действительности это лишь отдельные проявления. Трудно себе представить, чтобы эти возвышенные устремления так глубоко вошли в нашу плоть и кровь, что стали обычной и как бы естественной принадлежностью нашей души.

Ведь даже нам, заурядным людям, удается иногда подняться душой, если мы вдохновлены чьими-нибудь словами или примером, превосходящими обычный уровень; но это бывает похоже на какой-то порыв, выводящий нас из самих себя; а как только этот вихрь уляжется, душа съеживается, опадает и спускается если не до самых низин, то, во всяком случае, до такого уровня, где она уже не та, какой только что была; и тогда по любому поводу — будь то разбитый стакан или упущенный сокол — наша душа приходит в ярость, подобно всякой самой грубой душе.

Я считаю, что даже весьма несовершенный и посредственный человек способен на любой возвышенный поступок; но ему всегда будет недоставать выдержки, умеренности и постоянства. Вот почему мудрецы утверждают, что судить о человеке надо, основываясь главным образом на его обыденных поступках, наблюдая его повседневное существование.

Пиррон, который из нашего неведения сделал такую веселую науку, старался, как всякий подлинный философ, сообразовать свою жизнь со своим учением. Он настаивал на том, что из-за крайней слабости человеческого суждения человек не может произвести выбора и склониться

на определенную сторону, и потому требовал, чтобы суждение всегда находилось в равновесии, чтобы все вещи были человеку безразличны. Поэтому он, как передают, держался всегда одинаково и невозмутимо: если он начинал что-то говорить кому-нибудь, то непременно доводил свою речь до конца, даже если тот, к кому он обращался, уже ушел; он не сворачивал с пути, если встречал какие-нибудь препятствия, так что друзья оберегали его от ям или каких-нибудь других неожиданных случайностей. Бояться или избегать чего-нибудь значило бы для него отступиться от своих убеждений, согласно которым даже чувства лишены достоверности и не способны производить выбор. Он, не моргнув глазом, с поразительной выдержкой переносил боль, когда ему делали прижигания или какой-нибудь надрез. Немалое дело — усвоить себе подобные взгляды, и еще труднее — хотя все же это в силах человеческих — добиться, чтобы слова не расходились с делами; но сообразовать их с такой твердостью и постоянством, чтобы они вошли в плоть и кровь (разумеется, когда речь идет о вещах необыденных), кажется невероятным. Вот почему, когда Пиррона однажды застали ссорящимся с сестрой и упрекнули в том, что

он изменяет своей невозмутимости, он ответил: «Как! Разве еще и эта ничтожная бабенка должна служить подтверждением моих правил?» В другой раз, когда Пиррона заставили отбиваться от злой собаки, он сказал: «Очень трудно освободиться от всего человеческого; приходится быть настороже и бороться с обстоятельствами прежде всего делами, а на худой конец — с помощью разума и размышлений».

Около семи или восьми лет тому назад один крестьянин, проживающий в каких-нибудь двух лье отсюда и здравствующий еще и поныне, жестоко страдал от своей жены, изводящей его своей ревностью. Однажды, когда он вернулся с работы и она стала угощать его своими обычными причитаниями, он разъярился до того, что отсек себе начисто косарем те части, которые так тревожили ее, бросив их ей в лицо.

Недавно в Бражераке, в пяти лье от моего дома, вверх по реке Дордони, одна женщина, которую накануне избил и истерзал муж, пришла в такое отчаяние от его несносного характера, что решила ценой жизни избавиться от его жестокостей. На другой день с утра она, поздоровавшись, как обычно, со своими соседками и промолвив несколько бодрых слов о своих делах, взяла за

руку свою сестру и отправилась с ней на мост; здесь она, как бы в шутку, простилась с сестрой и без всяких колебаний бросилась с моста в реку, где и погибла. В этом происшествии достойно внимания то, что женщина обдумывала свой план самоубийства в течение всей ночи.

Другое дело индийские женщины: согласно обычаю, мужья имеют не по одной, а по нескольку жен, и самая любимая из них лишает себя жизни после смерти мужа. Поэтому каждая из жен всю жизнь стремится завоевать это место и приобрести это преимущество перед остальными женами. За все заботы о своих мужьях они не ждут никакой другой награды, кроме как умереть вместе с ним:

> *… ubi mortifero iacta est fax ultima lecto,*
> *Uxorum fusis stat pia turba comis;*
> *Et certamen habent leti, quae viva sequatur*
> *Coniugium; pudor est non licuisse mori.*
> *Ardent victrices, et flammae pectora prasbent,*

Imponuntque suis ora perusta viris[444].

Один современный нам автор пишет, что у некоторых восточных народов существует обычай, согласно которому не только жены хоронят себя после смерти мужа, но и рабыни, являвшиеся его возлюбленными. Делается это вот каким образом. После смерти мужа жена может потребовать, если ей угодно (но лишь очень немногие пользуются этим), три-четыре месяца на устройство своих дел. В назначенный день она садится на коня, празднично разодетая и веселая, и отправляется, по ее словам, почивать со своим мужем; в левой руке она держит зеркало, в правой — стрелу. Торжественно прокатившись таким образом в сопровождении родных, друзей и большой толпы праздных людей, она направляется к определенному месту, предназначенному для таких зрелищ. Это огромная площадь, посередине которой находится заваленная дровами яма, а рядом с ямой возвышение, на которое она поднимается по четырем-пяти ступеням, и ей

[444] Примечания: 444

Когда на ложе почившего брошен последний факел, выступает толпа преданных ему жен с распущенными волосами и затевает спор, которой из них последовать за мужем, ибо для каждой позор, если не позволено умереть. Победительницы сгорают: они бросаются в огонь, приникая к мужьям (*лат.*). *Проперций,* III, 13, 17.

туда подают роскошный обед. Насытившись, она танцует и поет, затем, когда ей захочется, приказывает зажечь костер. Сделав это, она спускается и, взяв за руку самого близкого родственника мужа, отправляется вместе с ним к ближайшей речке, где раздевается донага и раздает друзьям свои драгоценности и одежды, после чего погружается в воду как бы для того, чтобы смыть с себя грехи. Выйдя из воды, она заворачивается в кусок желтого полотна длиной в четырнадцать локтей и, подав руку тому же родственнику мужа, возвращается вместе с ним к возвышению, с которого она обращается с речью к народу и дает наставления своим детям, если они у нее есть. Между ямой и возвышением часто протягивают занавеску, чтобы избавить женщину от вида этой горящей печи; но некоторые, желая подчеркнуть свою храбрость, запрещают всякие завешивания. Когда все речи окончены, одна из женщин подносит ей сосуд с благовонным маслом, которым она смазывает голову и тело, после чего бросает сосуд в огонь и сама кидается туда же. Толпа тотчас же забрасывает ее горящими поленьями, чтобы сократить ее мучения, и веселое празднество превращается в мрачный траур. Если же муж и жена — люди малосостоятельные, то труп покойника

приносят туда, где его хотят похоронить, и здесь усаживают его, а вдова его становится перед ним на колени, тесно прильнув к нему, и стоит до тех пор, пока вокруг них не начнут возводить ограду; когда ограда достигает уровня плеч женщины, кто-нибудь из ее близких сзади берет ее за голову и сворачивает ей шею; к тому времени, когда она испустит дух, ограда бывает закончена, и супруги лежат за ней, похороненные вместе.

Нечто подобное имело место в этой же стране с так называемыми гимнософистами, которые без всякого принуждения с чьей бы то ни было стороны и не под влиянием какого-то внезапного порыва, а лишь в силу усвоенного ими обыкновения, достигнув определенного возраста или почувствовав приближение какой-нибудь болезни, приказывали приготовить костер, а над ним роскошное ложе; весело попировав с друзьями и знакомыми, они укладывались на это ложе с такой непоколебимостью, что даже когда под ними занимался огонь, они и пальцем не шевелили; так умер один из них, Калан, на глазах у всего войска Александра Великого.

Они считали святыми и блаженными лишь тех, кто умер подобной смертью и отдал свою душу, предварительно очистив ее огнем и избавившись

от всего земного и тленного.

Самым поразительным в этом обычае является предумышленность всех действий, то, что весь замысел остается неизменным в течение всей жизни.

Среди разных ведущихся нами споров есть спор о фатуме; когда мы хотим подчеркнуть неизбежность каких-нибудь вещей и даже наших желаний, то до сих пор пользуемся старинным рассуждением: раз Бог знает наперед, что события произойдут именно так, а не иначе, то они и произойти должны в точности так, как он это предвидел. Но наши учителя отвечают на это: видеть, что данная вещь происходит, как видим мы и как видит сам Бог (ибо, поскольку Бог видит все, он, следовательно, не предвидит, а видит), еще не значит заставить ее совершиться, иначе говоря, мы видим потому, что данные вещи происходят, но это вовсе не значит, что они происходят потому, что мы их видим. Совершившееся обусловливает знание, но не знание предопределяет свершение тех или иных вещей. То, что мы видим происходящим, происходит, но оно могло совершиться и по-иному; в цепи причин, которые Бог предвидит, имеются и так называемые случайные причины, и добровольные причины,

зависящие от той свободы, которую он предоставил нашему выбору; он знает, что мы ошибаемся потому, что мы захотим ошибиться.

Мне приходилось видеть, что многие военачальники вселяли бодрость в своих солдат верой в эту фатальную необходимость, ибо если даже нашей погибели предназначен определенный час, то никакие вражеские пули, ни наша храбрость, ни наше бегство или трусость не в состоянии ни приблизить, ни отсрочить его. Это легко сказать, но попробуйте, как это сделать! Если верно, что сильная и пылкая вера влечет за собой решительные действия, приходится признать, что вера в наши дни стала очень слаба, — если только не допустить, что из презрения к каким-либо делам она склоняется к полному бездействию.

Именно об этом говорит сир Жуанвиль, очевидец, заслуживающий не меньшего доверия, чем другие, по поводу бедуинов, народа, смешавшегося с сарацинами, с которыми Людовик IX столкнулся во время пребывания своего в Святой земле. По его словам, бедуины твердо верили, что день смерти каждого из них по какому-то предопределению предустановлен от века, и потому шли в бой, не имея в руках ничего, кроме

турецкой сабли, и совершенно нагими, не считая легкого полотняного покрывала. Самым свирепым проклятием, когда они ссорились между собой, были в их устах следующие слова: «Будь ты проклят, как тот, кто вооружается из страха смерти!» Вот пример совсем иной веры, чем наша.

Такого же порядка и та вера, пример которой был явлен в дни наших дедов двумя флорентийскими монахами. Поспорив о каком-то научном вопросе, они договорились, что оба взойдут на костер на городской площади в присутствии всего честного народа, чтобы таким образом окончательно выяснить, кто из них прав. И когда все было уже готово для испытания, которое вот-вот должно было совершиться, только неожиданная случайность помешала этому.

Один молодой турецкий вельможа совершил геройский воинский подвиг пред лицом двух сошедшихся для боя армий Мурада и Гуниади. Когда Мурад спросил турка, кто в него, столь еще молодого и неопытного — ибо он в первый раз участвовал в сражении, — вселил такую беззаветную отвагу, турок ответил, что его главным наставником в доблести был заяц, и рассказал следующее: «Однажды, охотясь, я наткнулся на заячью нору, и, хотя со мной были две велико-

лепные борзые, я решил во избежание неудачи, что вернее будет прибегнуть к луку, которым я хорошо владел. Я выпустил одну за другой все сорок стрел, которые были у меня в колчане, но без всякого успеха: я не только не попал в зайца, но даже не смог выгнать его из норы. После этого я натравил на него обеих моих борзых, но столь же безуспешно. Тогда я понял, что зайца охраняла сама судьба и что стрелы и меч опасны лишь с благословения судьбы, и не в нашей власти ускорить или задержать ее решение». Этот рассказ показывает, между прочим, насколько ум наш подвержен действию воображения.

Один очень пожилой человек, славившийся своим происхождением, достоинствами и ученостью, хвалился мне, что какое-то необыкновенное внушение побудило его переменить веру, причем внушение это было до такой степени странным и невразумительным, что я истолковывал его прямо в противоположном смысле: и он, и я называли его чудом, но каждый понимал это слово по-разному. Турецкие историки утверждают, что широко распространенное среди турок убеждение в том, что сроки их жизни раз и навсегда предопределены, придает им необычайную уверенность в опасных случаях.

Я знаю одного великого государя, который умеет искусно пользоваться тем, что судьба к нему благосклонна.

Не было на нашей памяти более замечательного примера отваги, чем проявленная теми двумя лицами, которые покушались на принца Оранского. Поразительно, как мог решиться на это дело осуществивший его второй из покушавшихся после того, как первого, сделавшего все, от него зависящее, постигла полнейшая неудача! Как мог он решиться, действуя тем же оружием и на том же месте, напасть на человека, бдительность которого после недавнего урока была на страже и который находился в окружении целой свиты друзей у себя в зале, среди своих телохранителей, в преданном ему городе! Кинжал — вернейшее орудие смерти, но, поскольку он требует большей гибкости и силы в руке, чем пистолет, он легко может отклониться и изменить. Я не сомневаюсь в том, что второй заговорщик шел уверенно на смерть, так как ни один здравомыслящий человек не мог бы в таком положении тешить себя надеждами; и все поведение его в этом деле показывает, что у него не было недостатка ни в ясности мысли, ни в мужестве. Причины такой твердой убежденности могут быть разные, ибо

наше воображение проделывает с самим собой и с нами все, что угодно.

Покушение, которое осуществлено было около Орлеана, не имеет себе равных: решающую роль здесь сыграла удача, а вовсе не храбрость, и нанесенный удар не был бы смертельным, если бы не помогла случайность. Самая мысль стрелять издалека и сидя верхом на лошади в человека, который тоже сидит на коне и находится в движении, говорит о том, что покушающийся предпочитал лучше погибнуть, чем не достигнуть своей цели. Это подтверждается тем, что последовало. Стрелявший был до такой степени опьянен мыслью о своем блестящем подвиге, что совершенно потерял голову и не способен был думать ни о бегстве, ни о предстоящем допросе. Ему следовало просто-напросто присоединиться к своим, перебравшись через реку. Это средство, к которому я всегда прибегал при малейшей опасности и которое я считаю не сопряженным почти ни с каким риском, как бы широка ни была река, лишь бы только лошади было легко сойти в воду и на другой стороне виднелся бы удобный берег. Убийца принца Оранского, когда ему вынесли жестокий приговор, заявил: «Я был к этому готов; вы изумитесь моему терпению».

Ассасины, одно из финикийских племен, славятся среди магометан своим исключительным благочестием и чистотой нравов. Самым верным способом попасть в рай у них считается убить какого-нибудь иноверца. Нередко случалось поэтому, что один или два из них, ради столь важного дела презрев все опасности и обрекши себя на верную смерть, отправлялись убивать (слово assassiner — «убивать» происходит от названия этого народа) своего врага на глазах его соратников. Так был убит на улице своего города граф Раймунд Триполитанский.

Глава XXX
Об уродце

Рассказ мой будет очень простодушен, ибо судить о таких вещах я предоставляю врачам. Позавчера я видел ребенка, которого вели двое мужчин и кормилица, называвшие себя отцом, дядей и теткой ребенка. Они собирали подаяние, показывая всем его уродство. Ребенок имел обычный человеческий вид, стоял на ногах, мог ходить и что-то лопотал, так же примерно, как и все дети его возраста; он не хотел принимать никакой другой пищи, кроме молока своей кормилицы, а то, что в моем присутствии ему клали в рот, он немного жевал, а затем выплевывал, не проглотив; в его крике было что-то необычное, ему было еще только четырнадцать месяцев. Пониже линии сосков он был соединен с другим безголовым ребенком, у которого задний проход был закрыт, а все остальное в порядке; одна рука была у него короче другой, но это оттого, что она была у него сломана при рождении. Оба тела были соединены между собой лицом к лицу в такой позе, как если бы ребенок поменьше хотел

обнять большего. Соединявшая их перепонка была шириной не больше чем в четыре пальца, так что, если приподнять этого безголового ребенка, то можно было увидеть пупок второго; спайка проходила, таким образом, от сосков и до пупка. Пупка безголового ребенка не было видно в отличие от всей остальной видневшейся части его живота. Подвижные части тела безголового ребенка — руки, бедра, ягодицы, ноги — болтались вокруг второго ребенка, которому безголовый доходил до колен. Кормилица сообщала, что он мочится через оба мочевых канала; таким образом, органы безголового ребенка исправно действовали и находились на тех же местах, что и у того, другого, но только отличались меньшими размерами.

Это двойное тело, имевшее отдельные члены и заканчивавшееся одной головой, могло служить для нашего короля благоприятным предзнаменованием того, что под эгидой его законов могут объединяться различные части нашей страны, но, дабы не впасть в ошибку, пусть лучше вещи идут своим путем, ибо предпочтительно гадать о том, что уже произошло: Ut cum facta sunt, tum ad

coniecturam aliqua interpretatione revocantur[445]. Так и об Эпимениде говорили, что он угадывает задним числом.

Я видел недавно в Медоке одного пастуха лет тридцати, у которого не было ни малейшего намека на детородные органы; у него есть три отверстия, из которых у него беспрестанно выделяется моча; у него растет густая борода, и он любит касаться женского тела.

Те, кого мы называем уродами, вовсе не уроды для Господа Бога, который в сотворенной им вселенной взирает на неисчислимое множество созданных им форм; можно поэтому полагать, что удивляющая нас форма относится к какой-то другой породе существ, неизвестной человеку. Премудрость Божия порождает только благое, натуральное и правильное, но нам не дано видеть порядка и соотношения всех вещей.

Quod crebro videt, non miratur, etiam si cur fiat nescit. Quod ante non vidit, id, si evenerit, ostentum esse censet[446].

---

[445] Примечания: 445

Так с помощью какого-нибудь толкования произошедшее согласуется с предсказанным (*лат.*). Цицерон. *О гадании,* II, 31.

[446] Примечания: 446

Человек не удивляется тому, что часто видит, даже если не понимает его причины. Однако если происходит нечто такое, чего он никогда раньше не видел, он принимает это за чудо (*лат.*). Там же, II, 22.

Мы называем противоестественным то, что отклоняется от обычного; однако все, каково бы оно ни было, соответствует природе. Пусть же этот естественный и всеобщий миропорядок устранит растерянность и изумление, порождаемые в нас новшествами.

Глава XXXI
О гневе

О чем бы ни писал Плутарх, он всегда восхитителен, но особенно в своих суждениях о человеческих поступках. Взять, например, его замечательные суждения, высказанные в его сравнении Ликурга с Нумой по поводу того, как нелепо оставлять детей на попечении и воспитании родителей. В большинстве государств, как указывает Аристотель, всякому отцу семейства предоставляется — все равно как у циклопов — воспитывать жен и детей, как им вздумается, и только в Спарте и на Крите воспитание детей ведется по установленным законам. Кому не ясно, какое важнейшее значение имеет для государства воспитание детей? И тем не менее, без долгих размышлений, детей оставляют на произвол родителей, какими бы взбалмошными и дурными людьми они ни были.

Сколько раз, проходя по улицам, я испытывал желание устроить скандал, заступившись за какого-нибудь малыша, которого потерявшие от гнева голову отец или мать колошматят, дубасят,

избивают чуть ли не до смерти! Поглядите, как они вращают глазами от ярости:

rabie iecur incendente, feruntur

Praecipites, ut saxa iugis abrupta, quibus mons

Subtrahitur, clivoque latus pendente recedit[447].

А ведь, согласно Гиппократу, самые опасные болезни — это те, что искажают лица. Послушайте только, как неистово они орут на малютку, недавно, может быть, вышедшего из пеленок. В результате дети бывают покалечены или навсегда оглушены ударами; а наше законодательство не обращает на это ни малейшего внимания, словно эти вывихнутые суставы не принадлежат членам нашего общества:

Gratum est quod patriae civem populoque dedisti,

Si facis ut patriae sit idoneus, utilis agris,

Utilis

---

[447] Примечания: 447

Пылая бешенством, они несутся стремглав, словно камни, сорвавшиеся с горы, когда скала, что была под ними, выскальзывает, и у покатого склона оседает край (*лат.*). Ювенал, IV, 647.

et bellorum et pacis rebus agendis[448].

Ни одна страсть не помрачает в такой мере ясность суждения, как гнев. Никто не усомнится в том, что судья, вынесший обвиняемому приговор в припадке гнева, сам заслуживает смертного приговора. Почему же в таком случае отцам и школьным учителям разрешается сечь и наказывать детей, когда они обуреваемы гневом? Ведь это не обучение, а месть. Наказание должно служить для детей лечением, но ведь не призвали бы мы к больному врача, который пылал бы к нему яростью и гневом.

Мы сами, желая быть на высоте, никогда не должны были бы давать волю рукам по отношению к нашим слугам, пока мы обуреваемы гневом. До тех пор, пока пульс наш бьется учащенно и мы охвачены волнением, отложим решение вопроса; когда мы успокоимся и остынем, вещи предстанут нам в ином свете, а сейчас нами владеет страсть, это она подсказывает нам решение, а не наш ум.

Рассматриваемый сквозь призму этой страсти проступок приобретает увеличенные разме-

[448] Примечания: 448

Хорошо, что ты дал гражданина стране и народу, если ты создаешь его для служения родине, полезным для нив, годным для военных и для мирных занятий (*лат.*). Ювенал, XIV, 70.

ры, подобно очертаниям предметов, скрытых туманом. Голодный набрасывается на мясо, но желающий применить наказание не должен испытывать ни голода, ни жажды.

Кроме того, наказания, продуманные и взвешенные, воспринимаются наказуемыми как заслуженные и приносят ему большую пользу. В противном случае он не считает, что был справедливо наказан человеком, охваченным гневом и яростью; наказуемый ссылается в свое оправдание на взвинченность своего хозяина, на его горящие щеки, необычные бранные слова, на его возбуждение и неистовую стремительность:

Ora tument ira, nigrescunt sanguine venae,
Lumina Gorgoneo saevius igne micant[449].

Светоний сообщает, что, когда Луций Сатурнин осужден был Цезарем, ему удалось путем апелляции к народному собранию добиться пересмотра приговора, так как он ссылался на вражду и неприязнь Цезаря, которыми продиктовано было его решение.

Слово и дело — разные вещи, и надо уметь от-

[449] Примечания: 449
Лицо его пышет гневом, жилы набухают черной кровью, а глаза горят более свирепым огнем, чем у Горгоны (*лат.*). Овидий. *Искусство любви,* III, 503.

личать проповедника от его проповеди. Те, кто в настоящее время старается подорвать основы нашей религии, ссылаясь на пороки служителей церкви, бьют мимо цели; истинность нашей религии зиждется не на этом; такой способ доказательства нелеп и способен лишь все запутать. У добропорядочного человека могут быть ложные убеждения, а с другой стороны, заведомо дурной человек может проповедовать истину, сам в нее не веря. Разумеется, это прекрасно, когда слово не расходится с делом, и я не буду отрицать, что, когда словам соответствуют дела, слова более вески и убедительны; вспомним ответ Евдамида, который, услышав философа, рассуждавшего о военном деле, сказал: «Эти рассуждения превосходны. Плохо только то, что нельзя положиться на человека, который их высказывает, ибо его уши не привыкли к звуку военной трубы». Клеомен же, услышав ритора, разглагольствовавшего о храбрости, громко расхохотался и в ответ ритору, возмутившемуся его поведением, сказал: «Я повел бы себя так же, если бы о храбрости щебетала ласточка; но если бы это был орел, я с удовольствием послушал бы его». Мне кажется, что в писаниях древних авторов можно ясно различить следующее: автор, высказывающий

то, что он думает, выражает свои мысли более убедительно, чем тот, кто подделывается. Прислушайтесь к тому, как о любви и свободе говорит Цицерон и как о том же говорит Брут; сами писания Брута неопровержимо доказывают, что это был человек, готовый заплатить за свободу ценою жизни. Послушайте отца красноречия, Цицерона, рассуждающего о презрении к смерти, и Сенеку, рассуждающего о том же: Цицерон говорит об этом длинно и тягуче, вы чувствуете, что он хочет убедить вас в том, в чем сам не уверен, он не придает вам духу, ибо ему и самому его не хватает; Сенека же вдохновляет и зажигает вас. Я всегда стараюсь узнать, что за человек был автор, в особенности когда дело касается пишущих о доблести и об обязанностях.

Если в Спарте какому-нибудь человеку, известному распутным образом жизни, приходило в голову подать народу полезный совет, эфоры приказывали ему молчать и просили какого-нибудь почтенного человека приписать себе эту мысль и предложить ее.

Писания Плутарха, если внимательно вчитаться в них, раскрывают нам его с самых разных сторон, поэтому мне кажется, что я знаю его насквозь; и тем не менее я хотел бы, чтобы до нас

дошли какие-нибудь воспоминания о его жизни, горя этим желанием, я с жадностью набросился на тот стоящий особняком рассказ о нем, за который я необычайно благодарен Авлу Геллию, оставившему нам закрепленное на бумаге сообщение о нравах Плутарха, как раз относящееся к трактуемой мной здесь теме о гневе. Один из рабов Плутарха, человек дурной и порочный, имевший, однако, понаслышке кое-какое понятие о наставлениях философии, должен был за какой-то совершенный им проступок понести, по повелению Плутарха, наказание плетьми. Когда его стали бить, он сначала завопил, что его избивают зря, ибо он не виноват, но под конец пустился ругать и поносить своего хозяина, крича, что в нем нет ни на грош от философа, каковым он мнит себя; ведь твердил же он постоянно, что гневаться дурно, и даже написал об этом целую книгу, но то, что он сейчас, обуреваемый гневом, заставляет так свирепо избивать его, полностью опровергает его писания. На это Плутарх с полнейшим спокойствием ответил ему: «На основании чего, негодяй, ты решил, что я сейчас охвачен гневом? Разве на моем лице, в моем голосе, в моих словах есть какие-нибудь признаки возбуждения? Глаза мои не мечут молний, лицо

не дергается, и я не воплю. Разве я покраснел? Или говорю с пеной у рта? Сказал ли я хоть что-нибудь, в чем мог бы раскаяться? Трепещу ли я, дрожу ли от ярости? Ибо именно таковы, да будет тебе известно, подлинные признаки гнева». И, повернувшись к тому, кто хлестал провинившегося, Плутарх приказал: «Продолжай свое дело, пока мы с ним рассуждаем». Таков рассказ Авла Геллия.

Архит Тарентский, вернувшись домой из похода, где был главным военачальником, нашел свое хозяйство в полном расстройстве: земли оставались необработанными из-за нераспорядительности управляющего: «Убирайся с глаз моих, — сказал он ему. — Если бы я не был охвачен гневом, я бы отделал тебя как следует». Сам Платон, распалившись против одного из своих рабов, поручил Спевсиппу наказать его, не желая сам и пальцем тронуть раба, поскольку он был сердит на него. Спартанец Харилл, обращаясь к илоту, который слишком непочтительно, даже нагло, разговаривал с ним, сказал ему: «Боже милостивый, если бы я не был разъярен, я бы убил тебя, не сходя с места».

Гнев — это страсть, которая любуется и упивается собой. Нередко, будучи выведены из себя по

какому-нибудь ложному поводу, мы, несмотря на представленные нам убедительные оправдания и разъяснения, продолжаем упираться вопреки отсутствию вины. У меня удержался в памяти поразительный пример подобного поведения, относящийся к древности. Пизон, человек во всех отношениях отменно добродетельный, прогневался на одного своего воина за то, что он, вернувшись с фуражировки, не смог дать ему ясного ответа, куда девался второй бывший с ним солдат. Пизон решил, что вернувшийся солдат убил своего товарища, и на этом основании, долго не раздумывая, приговорил его к смерти. Когда осужденного привели к виселице, вдруг, откуда ни возьмись, появился потерявшийся солдат. Все войско необычайно обрадовалось его появлению, и после того, как оба приятеля крепко обнялись и по-братски расцеловались, палач повел их к Пизону, рассчитывая, что такой исход события доставит Пизону большое удовольствие. Но вышло как раз наоборот: со стыда и досады его еще не рассеявшийся гнев лишь еще более распалился, и с молниеносной быстротой, внушенной яростью, Пизон решил, что ввиду невиновности одного виноваты все трое, и отправил всех на тот свет, первого солдата во исполнение того смертного

приговора, который был ему вынесен, второго за то, что он своей отлучкой явился причиной присуждения к смерти его товарища, а палача за то, что он ослушался и не выполнил отданного ему приказа.

Те, кому приходится иметь дело с упрямыми женщинами, знают по опыту, в какое бешенство они приходят, если на их гнев отвечают молчанием и полнейшим спокойствием, не разделяя их возбуждения. Оратор Целий был по природе необычайно раздражителен. Однажды, когда он ужинал с одним знакомым, человеком мягким и кротким, тот, не желая волновать его, решил одобрять все, что бы он ни говорил, и во всем с ним соглашаться. Целий, не выдержав отсутствия всякого повода для гнева, под конец взмолился: «Во имя богов! Будь хоть в чем-нибудь не согласен со мной, чтобы нас было двое!» Точно так же и женщины: они гневаются только с целью вызвать ответный гнев — это вроде взаимности в любви. Однажды, когда один из присутствующих прервал речь Фокиона и обрушился на него с резкой бранью, Фокион замолчал и дал ему полностью излить свою ярость. После этого, ни словом не упомянув о происшедшем столкновении, продолжал свою речь с того самого места, на котором его

прервали. Нет ответа более уничтожающего, чем подобное презрительное молчание.

По поводу самого вспыльчивого человека во всей Франции (гневливость — всегда недостаток, но более извинительный для военного, ибо в военном деле бывают такие случаи, где без нее не обойдешься) я часто говорю, что это самый терпеливый из всех известных мне людей, умеющий обуздывать свой гнев: ибо гнев охватывает его с таким яростным неистовством —

> *magno veluti cum flamma sonore*
> *Virgea suggeritur costis undantis aheni,*
> *Exultantque aestu latices; furit intus aquai*
> *Fumidus atque alte spumis exuberat amnis;*
> *Nec iam se capit unda; volat vapor ater ad auras*[450], —

что ему приходится делать невероятные усилия, чтобы умерить его. Что касается меня, то я не знаю страсти, для подавления которой я способен был бы сделать подобное усилие. Столь дорогой

---

[450] Примечания: 450

Когда с великим треском разгорается пламя горящего хвороста, подложенного под медный котел, жидкость от жара закипает и клокочет; внутри неистовствует дымящаяся поверхность воды и вздувается высокою пеной; уже нельзя сдержать бурления, и густой пар поднимается в воздух (*лат.*). *Энеида,* VII, 462 сл.

ценой я не хотел бы обрести даже мудрость. Говоря об этом военном, я обращаю внимание не на то, что он делает, а на то, каких усилий ему стоит не поступать еще похуже.

Другой мой знакомый хвалился передо мной своим ровным и мягким нравом, и впрямь поразительным. В ответ я сказал ему, что в особенности для людей, занимающих, как он, высокое положение и находящихся у всех на виду, чрезвычайно важно всегда проявлять выдержку, но что главное все же в том, чтобы ощущать ее в себе, в глубине души; а потому, на мой взгляд, плохо поступает тот, кто тайком непрерывно гложет себя: можно опасаться, что он желает поддержать эту видимость сдержанности, сохранить эту надетую на себя личину.

Пытаясь скрыть гнев, его загоняют внутрь; это напоминает мне следующий случай: однажды Диоген крикнул Демосфену, который, опасаясь, как бы его не заметили в кабачке, поспешил забиться в глубь помещения: «Чем больше ты пятишься назад, тем глубже влезаешь в кабачок». Я рекомендую лучше даже некстати влепить оплеуху своему слуге, чем корчить из себя мудреца, поражающего своей выдержкой; я предпочитаю обнаруживать свои страсти, чем скрывать их в

ущерб самому себе: проявившись, они рассеиваются и улетучиваются, и лучше, чтобы жало их вышло наружу, чем отравляло нас изнутри. Omnia vitia in aperto leviora sunt; et tunc perniciosissima, cum simulata sanitate subsidunt[451].

Я предупреждаю тех моих домашних, которые имеют право раздражаться, о следующем. Во-первых, чтобы они сдерживали свой гнев и не впадали в него по всякому поводу, ибо он не производит впечатления и не оказывает никакого действия, если проявляется слишком часто. К бессмысленному и постоянному крику привыкают и начинают презирать его. Крик, который слышит от вас слуга, укравший что-нибудь, совершенно бесполезен; слуга знает, что это тот же крик, который он сотни раз слышал от вас, когда ему случалось плохо вымыть стакан или неловко подставить вам скамеечку под ноги. Во-вторых, я предупреждаю их, чтобы они не гневались на ветер, то есть чтобы их попреки доходили до того, кому они предназначены, ибо обычно они начинают браниться еще до появления виновника и продолжают кричать часами, когда его уже и след простыл;

---

[451] Примечания: 451

Все явные недуги менее опасны; самыми страшными являются те, что скрываются под личиной здоровья (*лат.*). *Письма,* 56, 10.

et secum petulans amentia certat[452].

Они воюют уже не с ним, а с тенью его, и эти громы разражаются уже там, где нет тех, против кого они направлены, где никто больше ничем не интересуется, кроме того, чтобы кончилась эта суматоха. Я также против тех, кто спорит и возмущается, не имея перед собой противника; следует обращать свои филиппики против тех, к кому они относятся:

Mugitus veluti cum prima in proelia taurus
Terrificos ciet atque irasci in cornua tentat,
Arboris obnixus trunco, ventosque lacessit
Ictibus, et sparsa ad pugnam proludit arena[453].

Когда на меня находит гнев, он охватывает меня со страшной силой, но вместе с тем мои вспышки носят весьма кратковременный и потаенный характер. Сила и внезапность порыва

---

[452] Примечания: 452

И в своем безумии горячо спорит сам с собой (*лат.*). Клавдиан. *Против Евтропия*, I, 237.

[453] Примечания: 453

Так бык, готовясь к первой схватке, издает ужасающий рев и в гневе пробует свои рога, упершись ими в ствол дерева; он то поражает ударами воздух, то, предвкушая бой, разбрасывает песок (*лат.*). *Энеида,* XII, 103 сл.

не доводят меня все же до такого помрачения рассудка, при котором я стал бы извергать без разбора всякие оскорбительные слова, совершенно не заботясь о том, чтобы мои стрелы попадали в самые уязвимые места, — ибо я обычно прибегаю только к словесной расправе. Мои слуги легче расплачиваются за крупные проступки, чем за мелкие, ибо мелкие проступки застают меня врасплох, и со мной в таких случаях происходит то же, что с человеком, находящимся на краю глубокого обрыва: стоит ему сорваться — и он сразу же покатится и, какова бы ни была причина его падения, будет продолжать катиться вниз со всевозрастающей скоростью, пока не достигнет дна оврага. В случае серьезных проступков я получаю то удовлетворение, что каждый считает оправданным вызываемый им гнев; в таких случаях я горжусь тем, что действую вопреки его ожиданиям: я беру себя в руки и накладываю на себя узду, ибо в противном случае, если я поддамся приступам гнева, они могут увлечь меня слишком далеко. Я стараюсь поэтому не поддаваться им, и у меня хватает силы, если я слежу за этим, отбросить повод к гневу, каким бы значительным он ни был; но если мне не удалось предупредить вспышку и я поддался ей, она

увлекает меня, каким бы пустячным поводом она ни была вызвана. Ввиду этого я сговариваюсь с теми, кто может вступить со мной в пререкания, о следующем: «Если вы заметите, — говорю я им, — что я вскипел первым, предоставьте мне нестись, закусив удила, а когда настанет ваша очередь, я поступлю так же». Буря разражается только из столкновения вспышек с двух сторон. Но это может произойти лишь добровольно с обеих сторон, ибо сами по себе вспышки эти возникают не в один и тот же момент. Поэтому, если одна сторона охвачена гневом, дадим ей разрядиться, и тогда мир всегда будет обеспечен. Полезный совет, но как трудно его выполнить! Мне случается иногда разыгрывать гнев ради наведения порядка в моем доме, не испытывая на деле никакого раздражения. По мере того как с годами я становлюсь более вспыльчивым, я учусь преодолевать такого рода настроения и буду стараться, если хватит сил, впредь быть тем более мягким и уступчивым, чем больше будет у меня законных оснований раздражаться и чем простительнее мне это будет; до настоящего же времени я был в числе тех, кому это наименее простительно.

В заключение еще несколько слов. Аристотель

утверждает, что иногда гнев служит оружием для добродетели и доблести. Это правдоподобно; но все же те, кто с этим не согласен, остроумно указывают, что это — необычное оружие: ведь обычно оружием владеем мы, а этот род оружия сам владеет нами; не наша рука направляет его, а оно направляет нашу руку, не мы держим его, а оно нас.

Глава XXXII
В защиту Сенеки и Плутарха

И Сенека, и Плутарх — настолько близкие мне авторы, такая незаменимая поддержка в моей старости и при писании этой книги, целиком созданной из взятых у них трофеев, что это обязывает меня вступиться за их честь.

Что касается Сенеки, то среди неисчислимого множества книжонок, выпускаемых приверженцами так называемой реформированной религии в защиту своего дела, — книжонок, иной раз выходивших из-под пера вполне почтенных авторов (приходится горько жалеть, что они не посвящены более достойным сюжетам), мне пришлось натолкнуться на следующий памфлет. Автор его, стремясь провести подробное сопоставление между правлением нашего покойного и злополучного короля Карла IX и правлением Нерона, сравнивает покойного кардинала Лотарингского с Сенекой. Он сопоставляет судьбы их обоих, каждый из которых был первым лицом при своем государе, сравнивает характер обоих, их поведение и образ действий. Проводя это

сравнение, он оказывает, на мой взгляд, слишком много чести названному кардиналу, ибо, хоть я и принадлежу к тем, кто высоко ценит его ум, красноречие, преданность своей религии и верную службу королю, а также признает, насколько удачно для себя он родился в такой век, когда человек, подобный ему, оказался явлением совершенно новым и необычным, а вместе с тем и весьма необходимым для общественного блага, — ибо чрезвычайно важно было появление духовного лица столь глубокого благородства и достоинства, богато одаренного и отвечающего своему высокому назначению, — несмотря на все это, если уж говорить начистоту, я считаю, что ему далеко до Сенеки, что его духовному облику недостает той цельности, твердости и законченности, которые присущи Сенеке.

Итак, возвращаясь к упомянутой книге, отмечу, что она содержит весьма оскорбительный отзыв о Сенеке, основанный на упреках, почерпнутых у Диона, — историка, показаниям которого я совершенно не доверяю. Ибо прежде всего Дион крайне непостоянен: то он называет Сенеку мудрецом и смертельным врагом пороков Нерона, то, в других местах, изображает его человеком скупым, жадным, низким, честолюбивым, распутным и

только прикидывавшимся настоящим философом. Однако же добродетель Сенеки так ярко и убедительно проступает в его писаниях, а опровержение некоторых обвинений, выдвигаемых Дионом против него, как, например, в чрезмерном богатстве или в слишком больших тратах, так и напрашивается само собой, что я не поверю ни одному свидетелю, пытающемуся убедить меня в обратном. Кроме того, гораздо разумнее полагаться в таких вещах на римских историков, чем на греческих или каких-либо других иноземных. Но Тацит и другие римские историки с глубоким почтением отзываются о жизни и смерти Сенеки и изображают его нам человеком весьма достойным и весьма добродетельным во всех отношениях. Против отзыва Диона о Сенеке я приведу лишь один неопровержимый довод: он настолько искаженно судит о римских делах, что решается защищать дело Юлия Цезаря против Помпея и Антония против Цицерона.

Перейдем к Плутарху.

Жан Боден, выдающийся современный писатель, выделяющийся из толпы писак нашего времени своим большим здравомыслием, заслуживает всяческого внимания и уважения. Я нахожу излишне резким одно из мест его сочи-

нения «Метод легкого изучения истории», где он обвиняет Плутарха не только в незнании (тут я спорить не берусь, так как это не по моей части!), но также и в том, что этот автор часто пишет о вещах невероятных, от начала до конца выдуманных (таковы подлинные слова Бодена). Если бы Боден просто сказал, что Плутарх изображает вещи не такими, каковы они в действительности, это было бы не очень серьезным упреком, ибо то, чего мы не видели своими глазами, мы берем из вторых рук и принимаем на веру, и я действительно замечаю, что Плутарх иногда сознательно рассказывает один и тот же эпизод различным образом; возьмем, например, его суждение о трех величайших полководцах, когда-либо живших на свете: в жизнеописании Ганнибала оно звучит совсем иначе, чем в жизнеописании Фламиния, и совершенно по-новому, на третий лад, в жизнеописании Пирра. Но обвинять Плутарха в том, что он принимал за чистую монету вещи невероятные и невозможные, это значит обвинять самого рассудительного автора на свете в неумении судить о вещах. В доказательство Боден приводит следующий пример. Плутарх рассказывает об одном спартанском мальчике, который, спрятав у себя под платьем украденную

лисичку, предпочел, чтобы она прогрызла ему живот, лишь бы не сознаться в краже. Я нахожу прежде всего пример этот неудачным, ибо трудно установить предел наших душевных сил, между тем как о физических силах нам судить легче; поэтому если бы выбор надлежало сделать мне, я скорее выбрал бы пример из этой второй области. И тут можно найти примеры еще менее правдоподобные, вроде описанного Плутархом случая с Пирром: будто последний, несмотря на то что он был весь изранен, с такой силой ударил мечом по вооруженному до зубов врагу, что рассек его надвое с головы до пят, так что тело его разлетелось пополам. Я не вижу никакого особого чуда в примере, сообщаемом Плутархом, и не признаю извинения, которым Боден пытается защитить Плутарха, предваряющего свой рассказ словами: «говорят, будто», как это делают в тех случаях, когда хотят набросить на рассказ тень сомнения. Плутарх и впрямь не хотел ни сам признавать невероятных вещей, ни побудить нас верить в них, за исключением тех случаев, когда дело касается вещей, принимаемых из уважения к древней традиции или из почтения к религии. Что же касается слов «говорят, будто», то нетрудно убедиться, что Плутарх употребляет их здесь

не с целью заронить в нас сомнение, так как сам же он в другом месте, касаясь вопроса о выдержке спартанских детей, приводит примеры событий, случавшихся в его время, в которые еще труднее поверить; так, если взять пример, о котором Цицерон сообщил еще до Плутарха, а именно, что в их времена можно было встретить юношей, которых для доказательства их выдержки испытывали перед алтарем Дианы: их бичевали до крови, а они не только не кричали, но даже не разрешали себе издать стон, некоторые же добровольно позволяли засечь себя насмерть. А вот еще пример, о котором также сообщает Плутарх наряду с сотней других упоминающих об этом случае свидетелей: во время жертвоприношения в рукав одного спартанского юноши попал горящий уголь; рукав воспламенился, и рука юноши стала гореть, но он терпел до тех пор, пока запах паленого мяса не ударил в нос присутствующим. Согласно понятиям спартанцев, ничто не могло в такой мере затронуть их честь, и в их глазах не было ничего более ужасного и позорного, как быть пойманным в момент кражи. Я до такой степени проникнут верой в величие этих людей, что рассказ Плутарха вопреки Бодену не только не кажется мне невероятным, но я не нахожу в

нем даже ничего необычного и поразительного.

В истории Спарты можно найти тысячи гораздо более потрясающих и исключительных примеров, ее история полна таких чудес.

Марцеллин сообщает по поводу воровства, что в его времена нельзя было придумать такой пытки, которая способна была бы заставить уличенных в этом весьма распространенном среди египтян преступлении хотя бы раскрыть свое имя.

Одного испанского крестьянина подвергли пытке, добиваясь, чтобы он выдал своих сообщников в убийстве претора Луция Пизона. В разгар своих мучений он завопил, что друзьям его нечего опасаться: пусть спокойно стоят на месте и смотрят на него; они тогда убедятся, что нет такой боли, которая могла бы вырвать у него хоть слово признания. В течение всего этого дня от него не могли добиться ничего другого. На следующий день, когда его привели, чтобы возобновить пытки, он с силой вырвался из рук стражи и, ударившись с размаху головой о стену, размозжил себе череп и пал мертвый.

Эпихарида, презрев жестокость приспешников Нерона и выдержав кандалы, бичевание и истязание колодками, не сказала в течение первого дня ни одного слова о заговоре, раскрытия ко-

торого от нее добивались. На другой день, когда ее несли в кресле (ибо она не могла держаться на переломанных ногах), чтобы возобновить пытки, она продела шнур от своего платья через ручку кресла и, сделав петлю, просунула в нее голову и, навалившись на шнур всей тяжестью тела, удавилась. Найдя в себе достаточно мужества, чтобы умереть подобной смертью, избежав продолжения пыток и дав такое удивительное доказательство своей выдержки, не посмеялась ли она тем самым над тираном и не подала ли она и другим пример противодействовать ему?

Порасспросите-ка наших конных стрелков о том, что им пришлось перевидать во время происходивших у нас гражданских войн, и они приведут вам замечательные примеры выдержки, упорства и сопротивления, проявленных в наш злосчастный век нашими современниками, гораздо более расслабленными и изнеженными, чем египтяне, — примеры, достойные сравнения с теми, какие мы сейчас привели относительно доблести спартанцев. Мне известно, что встречались простые крестьяне, которые шли на то, чтобы им поджаривали пятки, отрубали затвором ружья концы пальцев или так туго стягивали голову толстой веревкой, что глаза у них вылеза-

ли на лоб, лишь бы не платить требуемого от них выкупа. Я видел крестьянина, которого признали мертвым и оставили лежать голым во рву, шея у него совсем посинела и вздулась от веревки, которая все еще болталась на ней; накануне он был привязан ею к хвосту лошади, которая всю ночь волочила его за собой; на его теле было множество колотых ран, нанесенных кинжалом, — не для того, чтобы убить, а чтобы причинить ему боль и напугать; он все это вытерпел вплоть до того, что лишился чувств и способности речи, ибо решил, как он потом рассказывал мне, лучше претерпеть тысячу смертей (и в самом деле, его страдания были не легче смерти!), чем согласиться на уплату выкупа: а ведь это был один из самых богатых крестьян в наших местах. А сколько было людей, которые мужественно шли на костер умирать за чужие идеи, непонятные и неизвестные им!

Я знал сотни женщин — говорят, что в этом отношении жительницы Гаскони занимают особо почетное место, — которые скорее согласились бы, чтобы их жгли раскаленным железом, чем отказались от своих слов, брошенных в пылу гнева. От ударов или всякого иного принуждения их упорство лишь возрастает. Автор, сочинив-

ший рассказ о женщине, которая, несмотря ни на какие угрозы и избиения, продолжала обзывать своего мужа вшивым, а когда под конец ее бросили в реку, она, идя ко дну, все еще поднимала кверху руки, делая вид, будто щелкает вшей у себя на голове, — этот автор, повторяю, сочинил рассказ, который каждый день подтверждается примерами упорства женщин. А упорство — родная сестра выдержки, по крайней мере в отношении твердости и настойчивости.

Как я уже говорил в другом месте, не следует судить о том, что возможно и что невозможно, на основании того, что представляется вероятным или невероятным нашим чувствам, и грубая ошибка, в которую впадает большинство людей (в чем я, однако, не упрекаю Бодена), состоит в том, что они не хотят верить тому, чего не смогли бы сделать сами или не захотели бы сделать. Всякому кажется, что он совершеннейший образец природы, что он — пробный камень и мерило для всех других. Черты, не согласующиеся с его собственными, уродливы и фальшивы. Какая непроходимая глупость! Что касается меня, то я считаю множество людей стоящими значительно выше меня, особенно мужей древности; и, хотя ясно сознаю свою неспособность следовать их

примеру, стараюсь все же не упускать их из виду, пытаюсь разобраться в причинах, поднимающих их на такую высоту, и иногда мне удается найти у себя слабые зачатки таких же свойств. Точно так же я веду себя и по отношению к самым низменным душам: я не удивляюсь им и не считаю их чем-то невероятным. Я прекрасно вижу, какой дорогой ценой великие мужи древности платили за свое возвышение, и восхищаюсь их величием; я перенимаю те стремления, которые, на мой взгляд, прекрасны, и если у меня не хватает сил следовать им, то, во всяком случае, мое внимание пристально обращено к ним.

Другой пример, приводимый Боденом из области невероятных и полностью вымышленных вещей, сообщаемых Плутархом, касается Агесилая, который был приговорен эфорами к штрафу за то, что снискал себе расположение и любовь своих сограждан. Я не понимаю, что неверного усматривает Боден в этом сообщении Плутарха, но, во всяком случае, Плутарх сообщает здесь о вещах, которые ему были значительно лучше известны, чем нам; ведь в Греции было вполне обычным делом наказывать или изгонять людей только за то, что они чересчур потакали своим согражданам, доказательством чего служат ост-

ракизм и петализм.

У Бодена есть еще одно обвинение, которое я воспринимаю как не заслуженную Плутархом обиду; а именно, Боден утверждает, что Плутарх добросовестен, когда сравнивает римлян с римлянами и греков с греками, но не в своих параллельных жизнеописаниях греков и римлян; доказательством могут служить, говорит он, сравнения Демосфена с Цицероном, Катона с Аристидом, Суллы с Лисандром, Марцелла с Пелопидом, Помпея с Агесилаем. Боден считает, что Плутарх обнаружил свое пристрастие к грекам, сопоставив их с лицами, которые были им совсем не под стать. Бросать Плутарху такое обвинение — значит порицать в нем самое прекрасное, самое достойное похвалы: ибо в этих сопоставлениях (которые являются наилучшей частью творений Плутарха и которые, на мой взгляд, и сам он больше всего любил) верность и искренность его суждений не уступают их глубине и значительности. Здесь перед нами философ, наставляющий нас в добродетели. Посмотрим, сумеем ли мы снять с него приведенный выше упрек в предвзятости и искажении.

Поводом к такому суждению о Плутархе могло, мне кажется, послужить то великое преклоне-

ние перед именами римлян, которое тяготеет над нашими умами. Так, нам представляется, что Демосфен отнюдь не мог сравняться в славе с каким-нибудь консулом, проконсулом или квестором великой Римской державы. Но кто захочет разобраться в истинном положении дел и в самих этих людях — к чему и стремился Плутарх, — кто захочет сопоставить нрав этих людей, их характеры и способности, а не их судьбы, тот согласится, думаю, со мной и в отличие от Бодена признает, что Цицерон и Катон Старший во многом уступают тем людям, с которыми Плутарх их сравнивает. На месте Плутарха я скорее выбрал бы для осуществления его замысла параллель между Катоном Младшим и Фокионом, ибо при таком сопоставлении различие между сравниваемыми было бы более убедительным и преимущество было бы на стороне римлянина. Что касается Марцелла, Суллы и Помпея, то я охотно признаю, что их военные подвиги более доблестны, блестящи и значительны, чем подвиги тех греков, которых Плутарх сравнивает с ними. Однако в военном деле, как и во всяком ином, самые необычайные и выдающиеся подвиги отнюдь не являются самыми замечательными. Я нередко вижу, как имена полководцев меркнут

перед именами людей с меньшими заслугами; примером могут служить имена Лабиена, Вентидия, Телесина и многих других. Если бы я с этой точки зрения захотел вступиться за греков, то разве не мог бы я сказать, что Камилл куда менее годится для сравнения с Фемистоклом, братья Гракхи для параллели с Агисом и Клеоменом, Нума для сопоставления с Ликургом. Но ведь нелепо желать судить о столь многообразных вещах, сравнивая их лишь в одном отношении.

Когда Плутарх проводит сопоставление между ними, он не ставит между ними знака равенства. Кто в состоянии был бы с большей тщательностью и добросовестностью установить черты различия между ними? Сравнивая победы, воинские подвиги и мощь армий, возглавлявшихся Помпеем, с победами, подвигами и военной мощью Агесилая, Плутарх заявляет: «Я не думаю, чтобы даже Ксенофонт, если бы он был жив и если бы даже ему разрешили писать все, что угодно, в пользу Агесилая, отважился сравнить его с Помпеем». Сопоставляя Лисандра с Суллой, Плутарх пишет: «Между ними не может быть никакого сравнения: ни по числу одержанных побед, ни по числу сражений, ибо Лисандр выиграл лишь две морские битвы», и т. д. Такие

замечания Плутарха доказывают, что он ничего не отнимает у римлян; тем, что он просто сопоставляет их с греками, он нисколько не умаляет их, как бы ни велико было различие между ними. К тому же Плутарх не сравнивает их в целом и никому не отдает предпочтения: он сопоставляет события и подробности одно за другим и судит о каждом из них в отдельности. Поэтому, кто хочет упрекнуть его в пристрастии, тот должен разобрать какое-нибудь отдельное его суждение или сказать вообще, что он неудачно выбрал для сравнения такого-то грека с таким-то римлянином, так как есть другие, более подходящие для сравнения и более соизмеримые фигуры.

Глава XXXIV
Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря

О многих полководцах рассказывают, что у них были свои настольные книги; так, например, у Александра Великого — Гомер, у Сципиона Африканского — Ксенофонт, у Марка Брута — Полибий, у Карла V — Филипп де Коммин; говорят, что в наше время таким же успехом пользуется у многих Макиавелли. Однако, несомненно, наилучший выбор в этом отношении сделал покойный маршал Строцци, избравший «Записки» Юлия Цезаря, ибо это сочинение, являясь подлинным и высшим образцом военного искусства, поистине должно быть молитвенником всякого воина. К тому же Цезарь сумел облечь свой богатейший сюжет в столь изящную и прекрасную литературную форму и довести ее до такой ясности и совершенства, что, на мой взгляд, нет сочинения, которое могло бы с ним в этом отношении сравниться.

Я хочу отметить здесь некоторые примечательные особенности Цезаря в деле ведения войны,

которые врезались мне в память.

Когда на солдат Цезаря напал страх из-за распространившихся в его войске слухов об огромной армии, которую Юба ведет против Цезаря, последний, вместо того чтобы опровергнуть составившееся у его солдат представление и преуменьшить силы врага, собрал их на сходку с целью ободрить их и придать им мужества. Но он выбрал для этого совсем другой способ, противоположный обычно применяемому, а именно: он посоветовал солдатам прекратить расспросы о численности направляющихся против них неприятельских войск, ибо он имеет на этот счет весьма точные сведения, и тут он назвал им цифру, намного превосходившую ту, о которой шли слухи среди его солдат. Цезарь последовал в данном случае совету, который у Ксенофонта дает Кир; ибо обман не так страшен, когда враг оказывается на деле более слабым, чем ожидали, нежели тогда, когда враг оказывается более сильным, чем по слухам предполагали.

Цезарь прежде всего приучал своих солдат к беспрекословному повиновению, требуя, чтобы они не интересовались планами своего полководца и не обсуждали их; для этого он сообщал им свои планы лишь в момент их выполнения.

Ему доставляло удовольствие в тех случаях, когда солдаты угадывали его планы, сразу же менять их с целью обмануть солдат; он нередко так и делал: например, наметив стоянку в определенном месте, он, достигнув ее, продолжал идти вперед, удлиняя переход; такие вещи он особенно любил проделывать в ненастную погоду.

Когда гельветы, в самом начале его похода в Галлию, отправили к Цезарю послов, прося у него разрешения пройти через римские владения, то, хотя он и решил им помешать в этом силой, однако притворился сговорчивым и попросил у них несколько дней якобы для размышлений, в действительности же чтобы выиграть время и собрать свою армию. Несчастные гельветы и не подозревали, как искусно он умел использовать время. Цезарь неоднократно повторял, что умение вовремя воспользоваться случаем — одно из важнейших качеств полководца; быстрота, характерная для его военных действий, поистине неслыханна и невероятна.

Беззастенчиво используя преимущество, которое он получал над врагом, заключая с ним временное соглашение, Цезарь был беззастенчив и в том отношении, что от своих солдат не требовал никаких других качеств, кроме доблести,

и налагал наказания только за неповиновение и бунт. Нередко после одержанной победы он давал солдатам полную волю, предоставляя им делать что угодно и освобождая их на некоторое время от правил воинской дисциплины; при этом он говорил, что солдаты его так хорошо вышколены, что, даже надушенные и напомаженные, они яростно кидаются в бой. Цезарь действительно любил, чтобы солдаты его имели богатое вооружение; он давал им позолоченные, посеребренные и разукрашенные латы, считая, что боязнь потерять в сражении свои роскошные доспехи заставит их биться с еще большим ожесточением. Обращаясь к солдатам, он называл их «друзья мои», как это делаем мы еще до сих пор; однако преемник Цезаря Август отменил этот обычай, считая, что Цезарь ввел его лишь по необходимости, находясь в трудном положении, чтобы польстить солдатам, которые шли за ним по собственной доброй воле;

Rheni mihi Caesar in undis
Dux erat, hic socius: facinus quos inquinat,

aequat[454].

Считая, что это несовместимо с достоинством императора и вождя армии, Август восстановил прежний обычай называть их просто воинами.

Однако наряду с этим вниманием к солдатам Цезарь проявлял большую суровость при наказании их. Взбунтовавшийся у Плаценции девятый легион Цезарь без всякого колебания распустил с позором, несмотря на то что Помпей еще не был побежден, и принял этих солдат обратно лишь после их долгих и усиленных просьб. Он приводил их к повиновению не мягкостью, а скорее своим авторитетом и храбростью.

Говоря о его решении переправиться через Рейн в Германию, Цезарь заявляет, что считал несовместимым с достоинством римского народа, чтобы переправа его армии происходила на судах, и потому приказал построить мост, по которому должны были пройти его войска. Именно при таких обстоятельствах был воздвигнут этот великолепный мост, устройство которого он столь подробно рисует; нигде при изложении своих предприятий Цезарь не обнаруживает та-

---

[454] Примечания: 454

Полководцем был Цезарь для меня при переправе через Рейн, здесь он товарищ; злодейство равняет тех, кто им запятнан (*лат.*). Лукан, I, 289.

кой словоохотливости, как при описании своих изобретательных выдумок, осуществление которых требовало умелого применения рук.

Я обратил также внимание на то, что Цезарь придавал большое значение своим речам к солдатам перед боем, ибо в тех случаях, когда он хочет показать, что спешил или был застигнут врасплох, он всегда указывает на то, что не имел даже возможности обратиться со словами ободрения к своим солдатам. Так было, например, перед крупным сражением с жителями Турне. Отдав необходимые распоряжения, сообщает Цезарь, он поспешил со словами ободрения к солдатам там, где их заставал; попав к десятому легиону, он успел только кратко сказать воинам, чтобы они твердо помнили о своей прежней доблести, не падали духом и смело отражали натиск неприятельской армии. Так как враги подошли уже на расстояние полета стрелы, Цезарь дал сигнал к бою. Быстро направившись в другое место для осмотра других отрядов, он застал солдат уже в самом разгаре сражения. Вот все, что сам Цезарь рассказывает об этом в приводимом месте. И надо признать, что во многих случаях эти речи Цезаря оказали ему огромные услуги. Речи Цезаря перед солдатами даже в его время пользовались такой

популярностью, что многие его соратники собирали и хранили их; благодаря этому составились целые тома его речей, надолго его пережившие. Он говорил всегда так своеобразно, что близко знавшие его люди — и в том числе Август, — слушая чтение тех речей, которые были собраны, могли отличить в них отдельные фразы и даже слова, ему явно не принадлежавшие.

Когда Цезарь впервые отправился из Рима с государственным поручением, он за неделю достиг реки Роны, причем рядом с ним в повозке находились один или два непрерывно записывавших за ним писца, а сзади воин, который держал его меч. И правда, мало кто, даже непрерывно двигаясь, мог бы соперничать с Цезарем в быстроте. Благодаря ей он, всегда победоносный, оставив Галлию и преследуя Помпея, направился в Бриндизи; за девятнадцать дней он покорил Италию и вернулся из Бриндизи в Рим. Из Рима он отправился в самые отдаленные области Испании, где преодолел величайшие трудности в войне против Афрания и Петрея и во время долгой осады Марселя. Отсюда он двинулся в Македонию, разбил римскую армию при Фарсале, а затем, преследуя Помпея, переправился в Египет и покорил его. Из Египта он прибыл в Сирию и Понтийское цар-

ство, где нанес поражение Фарнаку. После этого он отправился в Африку, где разбил Сципиона и Юбу, и, вернувшись через Италию в Испанию, одержал победу над сыновьями Помпея.

Ocior et caeli flammis et tigride foeta[455].

Ac veluti montis saxum de vertice praeceps
Cum ruit avulsum vento, seu turbidus imber
Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustas,
Fertur in abruptum magno mons improbus actu,
Exultatque solo, silvas armenta virosque
Involvens secum[456].

Говоря об осаде Аварика, Цезарь сообщает, что он, по своему обыкновению, день и ночь находился при работавших солдатах. Во всех важных военных операциях он всегда производил разведку сам и никогда не направлял своей армии в

[455] Примечания: 455

Быстрей, чем небесное пламя или тигрица с детенышем. Лукан, V, 405.

[456] Примечания: 456

Как мчится обломок горы, свергающийся с вершины, оторванный ветром или смытый бурным ливнем, либо незаметно подточенный временем; неудержимо несется с кручи гора; она стремительно движется и подпрыгивает, ударяясь о землю и увлекая за собой леса, стада и людей (*лат.*). *Энеида,* XII, 684 сл.

такое место, которое не было бы предварительно обследовано. Если верить Светонию, то Цезарь, решив переправиться в Британию, сначала сам обследовал, где и как лучше высадиться.

Он неоднократно повторял, что победу, одержанную с помощью ума, он предпочитает победе, одержанной мечом. Во время войны против Петрея и Афрания Цезарь не пожелал воспользоваться одним явно благоприятным для него обстоятельством, заявив, что надеется доконать своих врагов с несколько большей затратой времени, но зато с меньшим риском.

Во время той же операции Цезарь придумал замечательную штуку, приказав всему своему войску без всякой к тому необходимости переправиться вплавь через реку:

rapuitque ruens in proelia miles,

Quod fugiens timuisset, iter; mox uda receptis

Membra fovent armis, gelidosque a gurgite, cursu

Restituunt artus[457].

Я нахожу, что Цезарь при проведении своих предприятий был более сдержан и рассудителен, чем Александр Македонский; тот как бы искал опасностей и бежал им навстречу, подобно бурному потоку, который без разбора крушит и сметает все на своем пути:

Sic tauriformis volvitur Aufidus,
Qui regna Dauni perfluit Appuli,
Dum saevit, horrendamque cultis
Diluviem meditatur agris[458].

Дело в том, что Александр начал свое поприще еще будучи очень молод, находясь в самом пылком возрасте, между тем как Цезарь вступил в игру уже будучи зрелым и опытным человеком. Кроме того, Александр обладал более горячим, вспыльчивым и необузданным характером, а пристрастие к вину еще усугубило его буйный

[457] Примечания: 457

Рвущийся в бой солдат совершает тот путь, который казался ему страшным в бегстве; весь мокрый, он согревается, вновь схватившись за оружие, и на бегу разминает застывшие в ледяной воде члены (*лат.*). Лукан, IV, 151.

[458] Примечания: 458

Как мчится подобный быку Авфид, орошающий царство Давна, и в гневе замышляет страшным наводнением затопить пашни Апулии (*лат.*). Гораций. *Оды,* IV, 14, 25.

нрав, Цезарь же был необычайно воздержан в употреблении вина. Однако в случае необходимости, если того требовали обстоятельства, не было человека, который щадил бы себя меньше, чем Цезарь.

Что касается меня, то во многих его подвигах я усматриваю готовность лучше погибнуть, чем снести позор поражения. Во время упомянутой битвы против обитателей Турне Цезарь, видя, что весь головной отряд его армии дрогнул, спешно пробрался в первые ряды своих солдат, представ перед врагом, как был, без щита; и такое случалось с ним не раз. Услышав, что солдаты его осаждены, он, переодетый, пробрался через передовые посты неприятельской армии, чтобы ободрить их своим присутствием. Переправившись в Диррахий с очень незначительным войском и видя, что остальная часть его армии, которую он поручил привести Антонию, замешкалась, он решил переплыть обратно и еще раз пересечь море, несмотря на неистовую бурю; он тайно направился в обратный путь с целью привести самому застрявшие войска, не считаясь с тем, что все тамошние порты и все участки моря контролировались флотом Помпея.

Что же касается подвигов Цезаря, совершенных

с оружием в руках, то многие из них по своей дерзости превосходят все, что предписывается военной наукой: например, с какими ничтожными силами он двинулся, чтобы покорить Египет, а вслед за тем напал на армии Сципиона и Юбы, в десять раз превышавшие численность его войск. Такие люди, как Цезарь, должны были обладать какой-то сверхчеловеческой верой в свою судьбу.

Говорил же он, что великие дела надо совершать, а не обдумывать бесконечно.

После битвы при Фарсале, отправив свои войска вперед в Азию и переправляясь на единственном судне через Геллеспонт, он встретил Луция Кассия с десятью большими военными кораблями. У Цезаря хватило духу не только не отступить перед ним, но пойти прямо на врага и потребовать у него сдачи; и Цезарь добился своего. Предприняв пресловутую жестокую осаду Алесии, где сосредоточено было 80 000 защитников, Цезарь фактически имел против себя всю Галлию, ибо галлы, все как один, поднялись против него, решив заставить его снять осаду и выставив армию из 18 000 человек конницы и 240 000 человек пехоты. Какой же надо было обладать беззаветной храбростью и безрассудной

верой в себя, чтобы не отказаться от своего замысла и решиться идти на преодоление двух таких гигантских трудностей одновременно. И все же он справился с обеими этими задачами: выиграв сначала крупнейшее сражение и сокрушив врага, находившегося вне Алесии, он вслед за тем заставил сдаться и осажденных. Так же поступил и Лукулл при осаде Тигранокерты в войне с Тиграном; разница, однако, заключалась в том, что Лукуллу пришлось иметь дело с неприятелем, гораздо менее мужественным.

Говоря об осаде Алесии, я хотел бы отметить две поразительные особенности, связанные с этим делом. Первая состояла в том, что галлы, собрав все, что они могли, против Цезаря и произведя смотр своих сил, на своем совете решили не вводить в бой часть этой массы людей, опасаясь, как бы при таком множестве воинов не произошло замешательства в их рядах. Этот страх перед чересчур многочисленным войском был явлением совершенно новым. Оценивая его по существу, следует признать правильным, что основной костяк армии должен быть не слишком велик: надо, чтобы он был ограничен сравнительно умеренными пределами, как принимая во внимание трудность организации снабжения такого

огромного войска, так и учитывая сложность руководства им и поддержания порядка. Во всяком случае, нетрудно доказать на примерах, что такие гигантские армии не совершали ничего значительного.

Надо признать правильным изречение Кира, приводимое у Ксенофонта, что перевес в сражении дает не общее число бойцов, а количество смелых воинов, — все же остальные — скорее помеха, чем подспорье.

Баязид, решив вопреки мнению всех своих военачальников дать сражение Тамерлану, построил весь свой расчет на том, что надеялся на замешательство в чересчур многочисленной неприятельской армии.

Очень опытный воин и знаток своего дела Скандербег любил повторять, что десяти — двенадцати тысяч преданных воинов достаточно, чтобы обеспечить полководцу славу во всяком военном деле.

Вторая особенность, которая противоречила принятому обычаю и способу ведения войны, состояла в том, что Верцингеториг, стоявший во главе объединенных сил всех частей восставшей Галлии, решил направиться к Алесии и подвергнуться там осаде. Ведь вождь целой

страны никогда не должен ставить себя в безвыходное положение, разве что в крайнем случае, когда речь идет о его последней крепости и единственной оставшейся надежде, — защищать ее до конца; во всех остальных случаях он должен быть свободен и иметь возможность приходить на помощь всем частям своей армии.

Возвращаясь к Цезарю, следует отметить, что, как сообщает близкий Цезарю человек — Оппий, с годами он стал более осмотрителен и не столь поспешен в своих действиях, полагая, что не должен рисковать славой, которую принесли ему его многочисленные победы, ибо достаточно одного поражения, чтобы погубить ее.

Именно эту сторону дела имеют в виду итальянцы, когда, порицая безрассудную смелость, нередко наблюдаемую у молодых людей, называют их «жаждущими славы» (bisognosi d'onore) и полагают, что они правы, если, страстно желая прославиться, добиваются этого любой ценой, но что так не должны поступать те, кто уже прославлен в достаточной мере. В стремлении к славе, как и во многом другом, должна соблюдаться какая-то мера, равно как и в утолении жажды; немало людей именно так себя и ведет.

Цезарю было очень далеко до щепетильно-

сти тех древних римлян, которые стремились достичь военной победы лишь своей простой и безыскусственной доблестью; но и он руководствовался в этом деле более возвышенными представлениями, чем это делается в наше время, и не все средства были для него хороши, лишь бы одержать победу. Во время войны с Ариовистом, в тот момент, когда Цезарь вел переговоры с ним, произошло столкновение между обеими армиями по вине всадников Ариовиста. Эта стычка была весьма на руку Цезарю, но он не пожелал ею воспользоваться из опасения, как бы его не стали упрекать в вероломстве.

Он имел обыкновение одеваться во время сражения в богатое платье яркого цвета, чтобы быть заметным.

Он был требователен по отношению к солдатам, но проявлял особую строгость к ним пред лицом врага.

Когда древние греки хотели изобличить кого-нибудь в полной бесталанности, они, по принятому изречению, говорили о таком человеке, что он не умеет ни читать, ни плавать. Цезарь тоже считал, что умение плавать весьма важно в военном деле, и извлекал из этого умения много преимуществ. Если ему нужно было спешить,

он обычно переправлялся через встречавшиеся ему на пути реки вплавь; в походе же любил шествовать пешком, как Александр Великий. Во время войны в Египте Цезарь принужден был, чтобы спастись, прыгнуть в небольшую лодку, но, когда он увидел, что в нее же устремились многие его солдаты и лодка рискует пойти ко дну, он предпочел броситься в море и вплавь достиг своего флота, переплыв расстояние в 200 с лишним футов, держа в поднятой над водой левой руке таблички, а в зубах — свое воинское снаряжение, чтобы оно не досталось врагу; и все это Цезарь проделал, будучи отнюдь не юношей.

Ни один полководец не мог похвалиться большей преданностью своих солдат. В начале гражданской войны центурионы всех легионов предложили ему выставить каждый по одному всаднику за свой счет, а все пехотинцы предложили служить ему бесплатно, причем солдаты побогаче брали на себя содержание менее достаточных. Покойный адмирал Шатильон явил нам подобный же пример во время наших гражданских войн: французские солдаты из его армии оплачивали из своих средств находившихся в их рядах иностранных наемников; подобных примеров горячей преданности и самоотверженности

нельзя было встретить в лагере католической партии, среди сторонников старой веры.

Чувство диктует нам более повелительно, чем разум.

Во время войны с Ганнибалом солдаты и военачальники, следуя примеру щедрости римского народа, отказались от жалованья, так что в лагере Марцелла тех, кто не отказывался от жалованья, называли наемниками.

Когда солдаты Цезаря в битве под Диррахием понесли поражение, они сами потребовали для себя наказания, и Цезарю пришлось скорее утешать их, чем наказывать. Одна-единственная его когорта в течение четырех часов выдерживала натиск четырех легионов Помпея и почти до последнего человека была истреблена неприятельскими лучниками, так что под конец во рву было найдено 130 000 стрел. Один из его воинов, Сцева, защищавший ворота укрепления, держался неколебимо, несмотря на то что у него был выбит глаз, а бедро и одно плечо пронзены насквозь и щит пробит ста двадцатью ударами. Многие его солдаты, попав в плен, предпочитали умереть, чем согласиться перейти на сторону врага. Граний Петроний был захвачен в Африке Сципионом; тот приговорил к смерти всех на-

ходившихся с Петронием, а ему самому обещал помилование, ввиду того что он человек знатный и квестор. В ответ на это Петроний заявил, что воины Цезаря привыкли давать пощаду, но не получать ее от других, и с этими словами тут же покончил с собой.

Можно привести бесчисленное количество примеров преданности, выказанной Цезарю его солдатами. Нельзя забыть поведение тех, кто был осажден в Салонах (городе, стоявшем на стороне Цезаря против Помпея), ввиду исключительности происшедшего здесь случая. Марк Октавий подверг Салоны блокаде; осажденные терпели нужду во всем до такой степени, что для того, чтобы пополнить недостаток в людях — ибо большинство их было либо перебито, либо ранено, — они отпустили на свободу всех своих рабов и, обрезав волосы у всех женщин, свили из них веревки для своих метательных орудий. Кроме всего этого, они терпели ужасные муки из-за полного отсутствия продовольствия, но тем не менее были полны решимости ни в коем случае не сдаваться. Затянув, таким образом, осаду надолго и добившись того, что Октавий стал более небрежен и менее внимателен, осажденные однажды в полдень улучили удобный момент. Они расста-

вили на стенах своих укреплений жен и детей, чтобы отвлечь внимание неприятеля, а сами с такой яростью набросились на осаждавших, что захватили один за другим первые четыре их лагеря, а потом и остальные, вытеснив их полностью из укреплений и заставив бежать на корабли. Сам Октавий спасся бегством в Диррахий, где находился Помпей. Я не могу припомнить другого подобного примера, чтобы осажденные наголову разбили осаждающих и взяли инициативу в свои руки; не помню я также случая, чтобы простая вылазка привела к столь полной и решительной победе.

Глава XXXV
О трех истинно хороших женщинах

Всем известно, что хороших женщин не так-то много, не по тринадцать на дюжину, а в особенности мало примерных жен. Ведь брак таит в себе столько шипов, что женщине трудно сохранить свою привязанность неизменной в течение долгих лет. Хотя мужчины в этом отношении и стоят намного выше, однако и им это нелегко дается.

Показателем счастливого брака, убедительнейшим доказательством его является долгая совместная жизнь в мире, согласии, без измен. В наше время — увы! — жены большей частью выказывают свои неустанные заботы и всю силу своей привязанности к мужьям, когда тех уже нет в живых; по крайней мере именно тогда жены стараются доказать свою любовь. Что и говорить — запоздалые, несвоевременные доказательства! Жены скорее, пожалуй, доказывают этим, что любят своих мужей мертвыми. Жизнь была наполнена пламенем раздоров, а смерть — любовью и уважением. Подобно тому как родители нередко таят любовь к детям, так и жены

часто скрывают свою любовь к мужьям, соблюдая светскую пристойность. Эта скрытность не в моем вкусе: такие жены могут сколько угодно неистовствовать и рвать на себе волосы, я же в таком случае спрашиваю какую-нибудь горничную или секретаря: «Как они относились друг к другу? Как они жили друг с другом?» Я всегда припоминаю по этому поводу чудесное изречение: iactantius maerent, quae minus dolent[459]. Их отчаяние противно живым и не нужно мертвым. Мы не против того, чтобы они радовались после нас, лишь бы они радовались вместе с нами при нашей жизни. Можно просто воскреснуть от досады, если та, кому наплевать было на меня при жизни, готова чесать мне пятки, когда я только-только испустил дух. Если, оплакивая мужей, жены проявляют благородство, то право на него принадлежит только тем, которые улыбались им при жизни; но жены, которые, живя с нами, грустили, пусть радуются после нашей смерти, пусть будет у них на лице то же, что и в душе. Поэтому не обращайте внимания на их полные слез глаза и жалобный голос: смотрите лучше на горделивую поступь, на цвет лица и округлившиеся щеки

[459] Примечания: 459

Кто меньше горюет, тот выказывает большую скорбь (*лат.*). Тацит. *Анналы,* II, 77.

под траурным покрывалом: эти вещи раскроют вам гораздо больше, чем любые слова. Многие из них, овдовев, начинают расцветать, — разве это не безошибочный показатель их самочувствия? Они блюдут установленные для вдов приличия не из уважения к прошлому, а в расчете на то, что их ждет: это — не уплата долга, а накопление для будущего. В дни моего детства некая почтенная и очень красивая дама, которая и сейчас еще жива, вдова одного принца, носила больше драгоценностей, чем положено по нашим обычаям для вдов. Когда ее упрекнули в этом, она ответила: «Но ведь я не завожу больше новых привязанностей и не собираюсь вновь выходить замуж».

Не желая идти вразрез с принятым у нас обычаем, я расскажу здесь лишь о трех женах, вся глубина любви и доброты которых по отношению к их мужьям тоже проявилась в момент смерти последних; однако эти примеры несколько отличны от приведенных: здесь имели место крайние обстоятельства и женщины пожертвовали своей жизнью.

У Плиния Младшего, около одной его усадьбы в Италии, был сосед, который невероятно страдал от гнойных язв, покрывавших его половые органы. Жена его, видя долгие и непрестанные

мучения своего мужа, попросила, чтобы он позволил ей самой осмотреть его, говоря, что никто откровеннее ее не скажет ему, есть ли надежда. Получив согласие мужа и внимательно осмотрев его, она нашла, что надежды на выздоровление нет и что ему предстоит еще долго влачить мучительное существование. Во избежание этого она посоветовала ему вернейшее и лучшее средство — покончить с собой. Но, видя, что у него не хватает духу для такого решительного поступка, она прибавила: «Не думай, друг мой, что твои страдания терзают меня меньше, чем тебя; чтобы избавиться от них, я хочу испытать на себе то самое лекарство, которое я тебе предлагаю. Я хочу быть вместе с тобой при твоем выздоровлении, так же как была вместе с тобой в течение всей твоей болезни. Отрешись от страха смерти и думай о том, каким благом будет для нас этот переход, который избавит нас от нестерпимых страданий: мы уйдем вместе, счастливые, из этой жизни». Сказав это и подбодрив своего мужа, она решила, что они выбросятся в море из окна своего дома, расположенного у самого берега. И, желая, чтобы муж ее до последней минуты был окружен той преданной и страстной любовью, какою она дарила его в течение всей жизни, она захотела,

чтобы он умер в ее объятиях. Однако боясь, чтобы руки его при падении и от страха не ослабели и не разомкнулись, она плотно привязала себя к нему и рассталась с жизнью ради того, чтобы положить конец страданиям своего мужа.

Это была женщина совсем простого звания, но именно среди простых людей нередко можно встретить проявления необыкновенного благородства:

extrema per illos
Iustitia excedens terris vestigia fecit[460].

Две другие женщины, о которых я собираюсь рассказать, были богатые и знатного происхождения, а среди таких людей примеры доблести — редчайшее явление.

Аррия, жена консула Цецины Пета, была матерью Аррии-младшей, жены того самого Тразеи Пета, что прославился своей добродетелью во времена Нерона, а через этого своего зятя Аррия-старшая была бабкой Фаннии (одинаковые имена у этих двух жен и двух мужей, а также сходная их судьба привели к тому, что многие потом их смешивали). Аррия-старшая, когда ее муж, Це-

[460] Примечания: 460

На них справедливость, покидая землю, оставила последние следы (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* II, 473.

цина Пет, был захвачен солдатами императора Клавдия после гибели Скрибониана (сторонником которого он был), стала умолять тех, кто увозил его в Рим, позволить ей ехать вместе с ним. Она будет стоить им дешевле — убеждала Аррия солдат — и будет меньшей помехой, чем рабы, которые понадобятся им для обслуживания ее мужа, ибо она одна будет убирать его комнату, стряпать и исполнять все другие обязанности. Но ей было отказано. Тогда она, не медля, наняла рыбачье суденышко и на нем последовала за мужем от самой Иллирии. Однажды, когда они были уже в Риме, в присутствии императора Клавдия, Юния, вдова Скрибониана, приблизилась к ней с выражением дружеского участия ввиду общности их судеб, но Аррия резко отстранила ее от себя со словами: «И ты хочешь, — сказала она, — чтобы я говорила с тобой или стала тебя слушать? У тебя на груди убили Скрибониана, а ты все еще живешь?» Из этих слов Аррии, так же как из многих других признаков, родные ее заключили, что она замышляет самоубийство и стремится разделить судьбу своего мужа. Ее зять, Тразея, умоляя ее не губить себя, сказал ей: «Если бы меня постигла такая же участь, как и Цецину, то разве ты захотела бы, чтобы моя

жена — твоя дочь — покончила с собой?» «Что ты сказал! — воскликнула Аррия. — Захотела ли бы я? Да-да, безусловно, захотела бы, если бы она прожила с тобой такую же долгую жизнь и в таком же согласии, как я со своим мужем». Ответ этот усилил бдительность ее близких, которые стали внимательно следить за каждым ее шагом. Однажды она сказала тем, кто ее стерег: «Это ни к чему: вы добьетесь лишь того, что я умру более мучительной смертью, но добиться, чтобы я не умерла, вы не сможете». С этими словами она вскочила со стула, на котором сидела, и со всего размаху ударилась головой о противоположную стену. Когда после долгого обморока ее, тяжело раненную, с величайшим трудом привели в чувство, она сказала: «Я говорила вам, что, если вы лишите меня возможности легко уйти из жизни, я выберу любой другой путь, каким бы трудным он ни оказался». Смерть этой благородной женщины была такова. У ее мужа Пета не хватало мужества самому лишить себя жизни, как того требовал приговор, вынесенный ему жестоким императором. Однажды Аррия, убеждая своего мужа покончить с собой, сначала обратилась к нему с разными увещаниями, затем выхватила кинжал, который носил при себе ее муж, и, дер-

жа его обнаженным в руке, в заключение своих уговоров промолвила: «Сделай, Пет, вот так». В тот же миг она нанесла себе смертельный удар в живот и, выдернув кинжал из раны, подала его мужу, закончив свою жизнь следующими благороднейшими и бессмертными словами: Paete, non dolet. Она успела произнести только эти три коротких, но бесценных по своему значению слова: «Пет, это вовсе не больно»:

Casta suo gladium cum traderet Arria Paeto

Quem de visceribus traxerat ipsa suis:

Si qua fides, vulnus quod feci, non dolet, inquit;

Sed quod tu facies, id mihi, Paete, dolet[461].

Слова Аррии в тексте Плиния производят еще более глубокое впечатление и еще более значительны. И правда, нужно было обладать беззаветным мужеством, чтобы нанести смертельную рану себе и побудить сделать то же самое мужа, но, чего бы это ей ни стоило, тут она

[461] Примечания: 461

Когда благородная Аррия подала своему Пету меч, который только что пронзил ее тело, она сказала: «Не болит, поверь мне, рана, которую я нанесла себе, но я страдаю от той, Пет, которую ты нанесешь себе» (*лат.*). Марциал, I, 14.

была и побудителем, и советчиком; однако самое замечательное в другом. Совершив этот высокий и смелый подвиг единственно ради блага своего мужа, она до последнего своего вздоха была преисполнена заботы о нем и, умирая, жаждала избавить его от страха последовать за ней. Пет, не раздумывая, убил себя тем же кинжалом; мне кажется, он устыдился того, что ему понадобился такой дорогой, такой невознаградимый урок.

Помпея Паулина, молодая и весьма знатная римская матрона, вышла замуж за Сенеку, когда тот был уже очень стар. В один прекрасный день воспитанник Сенеки, Нерон, послал своих приспешников объявить ему, что он осужден на смерть; делалось это так: когда римские императоры того времени приговаривали к смерти какого-нибудь знатного человека, они предлагали ему через своих посланцев выбрать по своему усмотрению ту или иную смерть и предоставляли для этого определенный срок, иногда очень короткий, а иной раз более длительный, сообразно степени их немилости. Осужденный имел, таким образом, иногда возможность привести за это время в порядок свои дела, но иной раз за краткостью срока не в состоянии был этого сделать; если же приговоренный не повиновался

приказу, императорские слуги присылали для выполнения его своих людей, которые перерезали осужденному вены на руках и на ногах или же насильно заставляли его принять яд; однако люди благородные не дожидались такой крайности и прибегали к услугам своих собственных врачей и хирургов. Сенека спокойно и уверенно выслушал сообщенный ему приказ и попросил бумаги, чтобы составить завещание. Когда центурион отказал ему в этом, Сенека обратился к своим друзьям со следующими словами: «Так как я лишен возможности отблагодарить вас по заслугам, то оставляю вам единственное, но лучшее, что у меня есть, — память о моей жизни и нравах; если вы исполните мою просьбу и сохраните воспоминание о них, вы приобретете славу настоящих и преданных друзей». Вместе с тем, стараясь облегчить страдания, которые он читал на их лицах, он обращался к ним то с ласковой речью, то со строгостью, чтобы придать им твердость, и спрашивал у них: «Где же те прекрасные философские правила, которых мы придерживались? Где решимость бороться с превратностями судьбы, которые мы столько лет сносили? Разве мы не знали о жестокости Нерона? Чего можно было ждать от того, кто

убил родную мать и брата? Разве ему не оставалось только прибавить к этому насильственную смерть своего наставника и воспитателя?» Сказав это, он обратился к жене и, крепко обняв ее, — так как, подавленная горем, она теряла и душевные, и телесные силы — стал умолять ее, чтобы она из любви к нему стойко перенесла удар. «Настал час, — сказал он, — когда надо показать не на словах, а на деле, какое поучение я извлек из моих философских занятий: не может быть сомнений, что я без малейшей горечи, а наоборот, с радостью встречу смерть». «Поэтому, друг мой, — утешал он жену, — не омрачай ее своими слезами, чтобы не сказали о тебе, что ты больше думаешь о себе, чем о моей доброй славе. Победи свою скорбь и найди утешение в том, что ты знала меня и мои дела; постарайся провести остаток своих дней в благородных занятиях, к которым ты так склонна». В ответ на это Паулина, собравшись немного с силами и укрепив свой дух благороднейшей любовью к мужу, сказала: «Нет, Сенека, я не могу оставить тебя в смертный час, я не хочу, чтобы ты подумал, что доблестные примеры, которые ты показал мне в своей жизни, не научили меня умереть как подобает; как смогу я доказать это лучше, чистосердечнее и добровольнее, чем

окончив жизнь вместе с тобой?» Тогда Сенека, не противясь столь благородному и мужественному решению своей жены и опасаясь оставить ее после своей смерти на произвол жестокости своих врагов, сказал: «Я дал тебе, Паулина, совет, как тебе провести более счастливо твои дни, но ты предпочитаешь доблестную кончину; я не стану оспаривать этой чести. Пусть твердость и мужество перед лицом смерти у нас одинаковы, но у тебя больше величия славы». Вслед за тем им обоим одновременно вскрыли вены на руках, но так как у Сенеки они были сужены и из-за возраста его, и из-за общего истощения, то он, очень медленно и долго истекая кровью, приказал, чтобы ему еще перерезали вены на ногах. Опасаясь, чтобы его муки не ослабили дух его жены, а также желая избавить самого себя от необходимости видеть ее в таком ужасном состоянии, он, с величайшей нежностью простившись с ней, попросил, чтобы она позволила перенести ее в соседнюю комнату, что и было исполнено. Но так как и вскрытие вен на ногах не принесло ему немедленной смерти, то Сенека попросил своего врача Стация Аннея дать ему яд. Однако тело его до такой степени окоченело, что яд не подействовал. Поэтому пришлось еще

приготовить ему горячую ванну, погрузившись в которую он почувствовал, что конец его близок. Но до последнего своего вздоха он продолжал излагать исполненные глубочайшего значения мысли о своем предсмертном часе. Находившиеся при нем секретари старались записать все, что в состоянии были расслышать, и долгое время после смерти Сенеки эти записи сказанных им в последний час слов ходили по рукам и пользовались величайшим почетом среди его современников. (Какая огромная потеря, что они не дошли до нас!) Почувствовав приближение кончины, Сенека, зачерпнув ладонью смешавшейся с кровью воды и оросив ею голову, сказал, что совершает этой водой возлияние Юпитеру Избавителю. Нерон, узнав обо всем этом и опасаясь, чтобы ему не поставили в вину смерть Паулины, которая принадлежала к именитейшему римскому роду и к которой он не питал особой вражды, приказал срочно перевязать ей раны, что и было исполнено его посланцами без ее ведома, ибо она была без чувств и наполовину мертвая. Оставшись вопреки своему намерению в живых, она вела жизнь похвальную, вполне достойную ее добродетели, а навсегда сохранившаяся бледность ее лица доказывала, как много

жизненных сил она потеряла, истекая кровью.

Вот три истинных происшествия, которые я хотел рассказать и которые я нахожу не менее увлекательными и трагическими, чем все то, что мы по обязанности измышляем для развлечения публики. Меня удивляет, что те, кто занимается этим, не предпочитают черпать тысячи таких замечательных происшествий из книг: это стоило бы им меньших усилий и приносило бы больше пользы и удовольствия. Тот, кто захотел бы создать из них единое и долговечное произведение, должен был бы со своей стороны только связать и скрепить их, как спаивают один металл с помощью другого. Подобным образом можно было бы соединить воедино множество истинных событий, разнообразя их и располагая так, чтобы от этого красота всего произведения в целом только выиграла, как, например, поступил Овидий, использовавший в своих «Метаморфозах» множество прекрасных сказаний.

В истории этой четы — Сенеки и Паулины — достойно внимания еще и то, что Паулина охотно готова была расстаться с жизнью из любви к мужу, подобно тому как Сенека в свое время из любви к ней отверг мысль о смерти. Нам может показаться, что расплата со стороны Сенеки была

не так уж велика, но, верный своим стоическим принципам, он, я думаю, полагал, что сделал для нее не меньше, оставшись в живых, чем если бы умер ради нее. В одном из своих писем к Луцилию Сенека сообщает, что, находясь в Риме и почувствовав приступ лихорадки, он тотчас же сел на колесницу и направился в один из своих загородных домов вопреки настояниям жены, пытавшейся удержать его. Сенека постарался уверить ее, что лихорадка гнездится не в его теле, а в Риме. Вслед за тем Сенека пишет в упомянутом письме: «Она отпустила меня, строжайше наказав мне заботиться о моем здоровье. И вот, так как я знаю, что ее жизнь зависит от моей, я начинаю заботиться о себе, заботясь тем самым о ней. Я отказываюсь от преимущества, которое дает мне моя старость, закалившая меня и научившая переносить многое, всякий раз, когда вспоминаю, что с этим старцем связана молодая жизнь, предоставленная моим заботам. Так как я не могу заставить ее любить меня более мужественно, то мне приходится заботиться о себе как можно лучше: ведь надо же расплачиваться за глубокие привязанности, и, хотя в некоторых случаях обстоятельства внушают нам совсем иное, приходится призывать к себе жизнь, как она ни

мучительна, приходится принимать ее, стиснув зубы, ибо закон велит порядочным людям жить не так, как хочется, а повинуясь долгу. Кто не настолько любит свою жену или друга, чтобы быть готовым ради них продлить свою жизнь, и упорствует в стремлении умереть, тот слишком изнежен и слаб. Наше сердце должно уметь принуждать себя к жизни, если это необходимо для блага наших близких, нужно иногда полностью отдаваться друзьям и ради них отказываться от смерти, которой мы хотели бы для себя. Оставаться в живых ради других — это доказательство великой силы духа, как об этом свидетельствует пример многих выдающихся людей; исключительное великодушие в том, чтобы стараться продлить свою старость (величайшее преимущество которой в том, что можно не заботиться о продлении своего существования и жить, ничего не боясь и ничего не щадя), если знаешь, что это является радостью, счастьем и необходимостью для того, кто глубоко тебя любит. И как же велика награда за это — ибо есть ли на свете большее счастье, чем представлять для своей жены такую ценность, что тебе приходится дорожить и собой. Наказав мне заботиться о себе, моя Паулина не только передала мне свой страх за меня, но и усу-

губила мой собственный. Я не мог больше думать о том, чтобы умереть с твердостью, а должен был думать о том, как невыносимо будет для нее это страдание. И я подчинился необходимости жить, ибо величие души иногда в том, чтобы предпочесть жизнь». Таковы слова Сенеки, столь же замечательные, как и его деяния.

Глава XXXVI
О трех самых выдающихся людях

Если бы меня попросили произвести выбор среди всех известных мне людей, я, мне кажется, счел бы наиболее выдающимися следующих трех человек.

Первый из них — Гомер; и не потому, чтобы Аристотель или, к примеру, Варрон были менее знающими, чем он, или чтобы с его искусством нельзя было сравнить, скажем, искусство Вергилия. Я не берусь этого решать и предоставляю судить тем, кто знает и того и другого. Мне доступен только один из них, и я, в меру отпущенного мне понимания в этом деле, могу лишь сказать, что, по-моему, вряд ли даже сами музы превзошли бы римского поэта:

> *Tales facit carmen docta testitudine quale*
> *Cynthius impositis temperat articulis*[462].

Однако же при этом сопоставлении следует помнить, что своим совершенством Вергилий

---

[462] Примечания: 462

Он слагает на своей ученой лире песни, подобные тем, что слагаются под пальцами Аполлона (*лат.*). *Проперций,* II, 34, 79.

больше всего обязан Гомеру; именно Гомер является его руководителем и наставником, и самый замысел «Илиады» послужил образцом, давшим жизнь и бытие непревзойденной и божественной «Энеиде». Но для меня в Гомере важно не это, мне Гомер представляется существом исключительным, каким-то сверхчеловеком по другим причинам. По правде говоря, я нередко удивляюсь, как этот человек, который сумел своим авторитетом создать такое множество богов и обеспечить им признание, не сделался богом сам. Слепой бедняк, живший во времена, когда не существовало еще правил науки и точных наблюдений, он в такой мере владел всем этим, что был с тех пор для всех законодателей, полководцев и писателей — чего бы они ни касались: религии, философии со всеми ее течениями или искусства, — неисчерпаемым кладезем познаний, а его книги — источником вдохновения для всех:

Qui quid sit pulchrum, quid turpe, quid utile, quid non,

Plenius ac melius Chrisippo ac Crantore

dicit[463]*;*

или, как утверждает другой поэт:

A quo, ceu fonte perenni
Vatum Pieriis labra rigantur aquis[464]*;*

или, как выражается третий:

Adde Heliconiadum comites, quorum unus Homerus
Astra potitus[465]*;*

или, как заявляет четвертый:

cuiusque ex ore profuso
Omnis posteritas latices in carmina duxit,
Amnemque in tenues ausa est deducere rivos,

---

[463] Примечания: 463

Что прекрасно и что постыдно, что полезно и что вредно — он учит об этом яснее и лучше, чем Хрисипп и Крантор (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 2, 3.

[464] Примечания: 464

Неиссякаемый источник, из которого поэты пьют пиэрийскую влагу (*лат.*). Овидий. *Любовные песни,* III, 9, 25.

[465] Примечания: 465

Вспомни спутников геликонских муз, из которых один лишь Гомер поднялся до светил (*лат.*). Лукреций, III, 1050.

Unius foecunda bonis[466].

Созданные им самые замечательные в мире произведения не укладываются ни в какие привычные рамки и почти противоестественны; ибо, как правило, вещи в момент их возникновения несовершенны, они улучшаются и крепнут по мере роста, Гомер же сделал поэзию и многие другие науки зрелыми, совершенными и законченными с самого их появления. На этом основании его следует назвать первым и последним поэтом, так как, согласно справедливому, сложившемуся о нем в древности изречению, у Гомера не было предшественников, которым он мог бы подражать, но не было зато и таких преемников, которые оказались бы в силах подражать ему. По мнению Аристотеля, слова Гомера — единственные слова, наделенные движением и действием, исключительные по значительности слова. Александр Великий, найдя среди оставленных Дарием вещей драгоценный ларец, взял этот ларец и приказал положить в него принадлежавший ему лично список поэм Гомера, говоря, что это его лучший и вернейший советчик во всех военных

[466] Примечания: 466

Все потомки наполнили свои песни влагой из этого обильного источника; они разделили реку на мелкие ручейки, обогатившись наследием одного человека (*лат.*). Манилий. *Астрономия,* II, 8.

предприятиях. На том же основании сын Александрида, Клеомен, утверждал, что Гомер — поэт лакедемонян, так как он наилучший наставник в военном деле. По мнению Плутарха, Гомеру принадлежит та редчайшая и исключительная заслуга, что он единственный в мире автор, который никогда не приедался и не надоедал людям, а всегда поворачивался к ним неожиданной стороной, всегда очаровывая их новой прелестью. Беспутный Алкивиад попросил некогда у одного писателя какое-то из сочинений Гомера и влепил ему оплеуху, узнав, что у писателя его нет; это все равно как если бы у какого-нибудь нашего священника не оказалось молитвенника. Ксенофан однажды пожаловался сиракузскому тирану Гиерону на свою бедность, которая доходила до того, что он не в состоянии был прокормить двух своих слуг. «А ты посмотри, — ответил ему Гиерон, — на Гомера, который, хоть и был во много раз беднее тебя, однако же и по сей день, лежа в могиле, питает десятки тысяч людей».

А что иное означали слова Панэция, когда он назвал Платона Гомером философов? Какая слава может сравниться со славой Гомера? Ничто не живет в устах людей такой полной жизнью, как его имя и его произведения, ничего не любят

они так и не знают так, как Трою, прекрасную Елену и войны из-за нее, которых, может быть, на самом деле и не было. До сих пор мы даем своим детям имена, сочиненные им свыше трех тысяч лет назад. Кто не знает Гектора и Ахилла? Не отдельные только нации, а большинство народов старается вывести свое происхождение, опираясь на его вымыслы. Разве не писал турецкий султан Мехмед II папе Пию II: «Я поражаюсь, почему сговариваются и объединяются против меня итальянцы? Разве мы не происходим от одних и тех же троянцев и не у меня ли та же цель, что и у них, — отомстить за кровь Гектора грекам, которых они натравливают на меня?» Разве не грандиозен спектакль, в котором цари, республиканские деятели и императоры в течение стольких веков стараются играть гомеровские роли? И не является ли ареной этого представления весь мир? Семь греческих городов оспаривали друг у друга право считаться местом его рождения; так, даже самая невыясненность его биографии служит к вящей славе его.

Smyrna, Rhodos, Colophon, Salamis, Chios,

Argos, Athenae[467].

Вторым наиболее выдающимся человеком является, на мой взгляд, Александр Македонский. Если учесть, в каком раннем возрасте он начал совершать свои подвиги, с какими скромными средствами он осуществил свой грандиозный план, каким авторитетом он с отроческих лет пользовался у крупнейших и опытнейших полководцев всего мира, старавшихся подражать ему; если вспомнить необычайную удачу, сопутствовавшую стольким его рискованным — чтобы не сказать безрассудным — походам, —

impellens quicquid sibi summa petenti
Obstaret, gaudensque viam fecisse ruina[468], —

если принять во внимание, что в возрасте тридцати трех лет он прошел победителем по всей обитаемой вселенной и за полжизни достиг такого полного расцвета своих дарований, что в дальнейшие годы ему нечего было прибавить ни

---

[467] Примечания: 467

Смирна, Родос, Колофон, Саламин, Хиос, Аргос, Афины (*лат.*). Авл Геллий, III, 11.

[468] Примечания: 468

Все разрушал, что стояло на его дороге, и с ликованием пролагал себе путь среди развалин (*лат.*). Лукан, I, 149.

в смысле доблести, ни в смысле удач, — то нельзя не признать, что в нем было нечто сверхчеловеческое. Его воины положили начало многим царским династиям, а сам он оставил после себя мир поделенным между четырьмя своими преемниками, простыми военачальниками его армии, потомки которых на протяжении многих лет удерживали затем под своей властью эту огромную империю. А сколько было в нем выдающихся качеств: справедливости, выдержки, щедрости, верности данному им слову, любви к ближним, человеколюбия по отношению к побежденным. Его поступки и впрямь кажутся безупречными, если не считать некоторых, очень немногих из них, необычных и исключительных. Но ведь невозможно творить столь великие дела, придерживаясь обычных рамок справедливости! О таких людях приходится судить по всей совокупности их дел, по той высшей цели, которую они себе поставили. Разрушение Фив, убийство Менандра и врача Гефестиона, одновременное истребление множества персидских пленников и целого отряда индийских солдат в нарушение данного им слова, поголовное уничтожение жителей Коссы вплоть до малых детей — все это, разумеется, вещи непростительные. В случае же

с Клитом поступок Александра был искуплен — и даже в большей мере, чем это было необходимо, — что, как и многое другое, свидетельствует о благодушном нраве Александра, о том, что это была натура, глубоко склонная к добру, и потому как нельзя более верно было о нем сказано, что добродетели его коренились в его природе, а пороки зависели от случая. Что же касается его небольшой слабости к хвастовству или нетерпимости к отрицательным отзывам о себе, или убийств, хищений, опустошений, которые он производил в Индии, то все это, на мой взгляд, следует объяснять его молодостью и головокружительными успехами. Нельзя не признать его поразительных военных талантов, быстроты, предусмотрительности, дисциплинированности, проницательности, великодушия, решимости, удачливости и везения. Даже если бы мы не знали авторитетного мнения Ганнибала на этот счет, то должны были бы признать, что во всем этом Александру принадлежит первое место. Нельзя не отметить его редчайших способностей и одаренности, почти граничащей с чудом; его горделивой осанки и всей его благороднейшей повадки при столь юном, румяном и бросающемся в глаза лице:

Qualis, ubi Oceani perfusus lucifer unda,
Quem Venus ante alios astrorum diligit ignes,
Extulit os sacrum caelo, tenebrasque resolvit[469].

Нельзя не оценить его огромных познаний, его незабываемой в веках славы, чистой, без единого пятнышка, безупречной, недоступной для зависти, славы, в силу которой еще много лет спустя после его смерти люди благоговейно верили, что медали с его изображением приносят счастье тем, кто их носит. Ни об одном государе историки не написали столько, сколько сами государи написали о его подвигах. Еще до настоящего времени магометане, с презрением отвергающие историю других народов, в виде особого исключения принимают и почитают единственно историю его жизни и деяний. Кто вспомнит обо всем этом, должен будет согласиться, что я был прав, поставив Александра Македонского даже выше Цезаря, единственного человека, относительно которого я мог на минуту

[469] Примечания: 469
Подобно тому как омытое волной океана светило, которое Венера предпочитает другим, поднимает свой священный лик к небу и рассеивает мрак (*лат.*). *Энеида,* VIII, 589.

заколебаться при выборе. Нельзя отрицать, что в деяния Цезаря вложено больше личных дарований, но удачливости было, несомненно, больше в подвигах Александра. Во многих отношениях они не уступали друг другу, а в некоторых Цезарь даже превосходил Александра.

Оба они были подобно пламени или двум бурным потокам, с разных сторон ринувшимся на вселенную:

> *Et velut immissi diversis partibus ignes*
> *Arentem in silvam et virgulta sonantia lauro;*
> *Aut ubi decursu rapido de montibus altis*
> *Dant sonitum spumosi amnes et in aequora currunt,*
> *Quisque suum populatus iter*[470].

И хотя честолюбие Цезаря было более умеренным, но оно являлось роковым в том смысле, что совпало с развалом его родины и общим ухудшением тогдашнего мирового положения; таким образом, собрав все воедино и взвесив, я не могу

---

[470] Примечания: 470

Как огни, что обнимают в различных частях леса и сухие стволы и шуршащие заросли лавра; или как мчатся с шумом и в пене падающие с высоких гор потоки, устремляющиеся к равнинам и производящие каждый на своем пути опустошения (*лат.*). *Энеида,* XII, 521 сл.

не отдать пальмы первенства Александру.

Третьим и наиболее, на мой взгляд, выдающимся человеком является Эпаминонд.

Он далеко не пользовался той славой, которая выпала на долю многим другим (но слава и не является решающим обстоятельством в этом деле); что же касается отваги и решимости — не тех, которые подстрекаются честолюбием, а порождаемых в добропорядочном человеке знанием и умом, — то нельзя представить себе, чтобы кто-либо обладал ими в более полной мере. Эпаминонд выказал, на мой взгляд, не меньше отваги и решимости, чем Александр и Цезарь, ибо, хотя его военные подвиги и не столь многочисленны и не так расписаны, как подвиги Александра и Цезаря, однако, если вникнуть во все обстоятельства, они были не менее сложны и трудны и требовали не меньшей смелости и военных талантов. Греки воздали ему должное, единодушно признав, что ему принадлежит первое место среди его соотечественников; но быть первым среди греков без преувеличения значит занимать первое место в мире. Что касается его знаний и способностей, то до нас дошло древнее суждение, гласящее, что ни один человек не знал больше и не говорил меньше его, ибо он был по

убеждениям своим пифагорейцем.

Но то, что Эпаминонд говорил, никто не мог сказать лучше его. Он был выдающийся оратор, умевший убеждать своих слушателей.

По части морали он далеко превосходил всех государственных деятелей. Именно в этом отношении, которое должно считаться важнейшим и первостепенным, — ибо только по нему мы можем судить, каков человек (и потому эта сторона перевешивает, по-моему, все остальные достоинства, вместе взятые) — Эпаминонд не уступает ни одному философу, даже самому Сократу.

Нравственная чистота — основное, наивысшее качество Эпаминонда, оно постоянно, неизменно, нерушимо, между тем как в Александре оно играет подчиненную роль, изменчиво, многолико, неустойчиво и податливо.

Древние считали, что если подробно разобрать деяния всех великих полководцев, то у каждого из них можно найти какое-нибудь особое достоинство, дающее ему право на известность. И только у Эпаминонда все его достоинства и совершенства являют некую полноту и единство во всех отношениях, в общественных или частных делах, на войне или в мирное время, в житейском его поведении или в славной, герои-

ческой смерти. Я не знаю никаких проявлений человеческой личности и никакой судьбы человеческой, к которым относился бы с большим уважением и преклонением. Правда, я нахожу чрезмерным его пристрастие к бедности, как оно было обрисовано нам его лучшими друзьями. И лишь это его свойство, каким бы благородным и достойным восхищения оно ни было, представляется мне слишком суровым, чтобы я — хотя бы только мысленно — мог стремиться подражать ему. Единственно между кем я затруднился бы произвести выбор, это между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, если бы последний ставил себе столь же возвышенную цель, как Эпаминонд, и обладал бы такими же разносторонними и глубокими познаниями. Какая досада, что из числа интереснейших параллельных биографий, написанных Плутархом, до нас не дошло сопоставление между Эпаминондом и Сципионом Эмилианом, которые, по единодушному признанию всех, занимают первое место — один у греков, другой у римлян. Какая благодарная тема и какое мастерское перо! Если же брать не праведника, а человека просто порядочного и вообще, и как гражданина, по величию души не выходившего из ряда вон, то, на мой взгляд, самая

яркая, богатая и достойная зависти жизнь выпала на долю Алкивиада. Но что касается Эпаминонда, то в качестве примера его непревзойденного благородства я приведу здесь некоторые его высказывания.

Он заявлял, что наибольшее удовлетворение, пережитое им в жизни, дала ему та радость, которую он доставил отцу и матери своей победой при Левктрах; их радость он ставил гораздо выше удовлетворения, полученного от столь славного подвига им самим.

Он не считал возможным допустить убийство хотя бы одного невинного человека, даже если бы дело шло о восстановлении свободы родины; вот почему он так холодно отнесся к замыслу своего соратника Пелопида, затеявшего освободить Фивы. Он считал также, что следует избегать в сражении столкновения с другом, находящимся в стане врагов, и что друг заслуживает пощады.

Человечность Эпаминонда даже по отношению к врагам была столь велика, что он был заподозрен беотийцами в измене на следующем основании. После блестящей, почти чудесной победы, принудив спартанцев открыть ему проход около Коринфа, через который можно было проникнуть в Морею, он ограничился тем, что

разбил их, но не стал преследовать до конца. За это он был смещен с поста главнокомандующего, что было для него весьма почетной отставкой, принимая во внимание причину ее, для соотечественников же его — весьма позорным делом, ибо им пришлось вскоре же восстановить его в прежнем звании и признать, что от него зависит их спасение и слава, поскольку победа тенью шла за ним повсюду, куда бы он их ни вел. Благоденствие его родины кончилось с ним так же, как с него началось.

Книга третья

Глава II
О раскаянии

Другие творят человека; я же только рассказываю о нем и изображаю личность, отнюдь не являющуюся перлом творения, и будь у меня возможность вылепить ее заново, я бы создал ее, говоря по правде, совсем иною. Но дело сделано, и теперь поздно думать об этом. Штрихи моего наброска нисколько не искажают истины, хотя они все время меняются, и эти изменения необычайно разнообразны. Весь мир — это вечные качели. Все, что он в себе заключает, непрерывно качается: земля, скалистые горы Кавказа, египетские пирамиды — и качается все это вместе со всем остальным, а также и само по себе. Даже устойчивость и она не что иное, как ослабленное и замедленное качание. Я не в силах закрепить изображаемый мною предмет. Он бредет наугад и пошатываясь, хмельной от рождения, ибо таким он создан природою. Я беру его таким, каков он предо мной в то мгновение, когда занимает меня. И я не рисую его пребывающим в неподвижности. Я рисую его в движении, и не в движении

от возраста к возрасту или, как говорят в народе, от семилетия к семилетию, но от одного дня к другому, от минуты к минуте. Нужно помнить о том, что мое повествование относится к определенному часу. Я могу вскоре перемениться, и не только непроизвольно, но и намеренно. Эти мои писания — не более чем протокол, регистрирующий всевозможные проносящиеся вереницей явления и неопределенные, а иногда и противоречащие друг другу фантазии, то ли потому, что я сам становлюсь другим, то ли потому, что постигаю предметы при других обстоятельствах и с других точек зрения. Вот и получается, что иногда я противоречу себе самому, но истине, как говорил Демад, я не противоречу никогда. Если б моя душа могла обрести устойчивость, попытки мои не были бы столь робкими, и я был бы решительнее, но она все еще пребывает в учении и еще не прошла положенного ей искуса.

Я выставляю на обозрение жизнь обыденную и лишенную всякого блеска, что, впрочем, одно и то же. Вся моральная философия может быть с таким же успехом приложена к жизни повседневной и простой, как и к жизни более содержательной и богатой событиями: у каждого человека есть все, что свойственно всему роду людскому.

Авторы, говоря о себе, сообщают читателям только о том, что отмечает их печатью особенности и необычности; что до меня, то я первый повествую о своей сущности в целом, как о Мишеле де Монтене, а не как о филологе, поэте или юристе.

Если людям не нравится, что я слишком много говорю о себе, то мне не нравится, что они занимаются не только собой.

Но разумно ли, что при сугубо частном образе жизни я притязаю на общественную известность? И разумно ли преподносить миру, где форма и мастерство так почитаемы и всесильны, сырые и нехитрые продукты природы, и природы к тому же изрядно хилой? Сочинять книги без знаний и мастерства не означает ли то же самое, что класть крепостную стену без камней, или что-либо в этом же роде? Воображение музыканта направляется предписаниями искусства, мое — прихотью случая. Но применительно к науке, которая меня занимает, за мной по крайней мере то преимущество, что никогда ни один человек, знающий и понимающий свой предмет, не рассматривал его досконально, чем я — свой, и в этом смысле я самый ученый человек изо всех живущих на свете; во-вторых, никто никогда не проникал

так глубоко в свою тему, никто так подробно и тщательно не исследовал всех ее частностей и существующих между ними связей и никто не достигал с большей полнотой и завершенностью цели, которую ставил себе, работая. Чтобы справиться с нею, мне потребна только правдивость; а она налицо, и притом самая искренняя и полная, какая только возможна. Я говорю правду не всегда до конца, но настолько, насколько осмеливаюсь, а с возрастом я становлюсь смелее, ибо обычай, кажется, предоставляет старикам большую свободу болтать и, не впадая в нескромность, говорить о себе. Здесь не может произойти то, что происходит, как я вижу, довольно часто, а именно, что сочинитель и его труд несоразмерны друг другу: как это человек, столь разумный в речах, написал столь нелепое сочинение? Или каким образом столь ученые сочинения вышли из-под пера человека, столь немощного в речах?

Если у кого-нибудь речь обыденна, а сочинения примечательны — это значит, что дарования его там, откуда он их заимствует, а не в нем самом. Сведущий человек не бывает равно сведущ во всем, но способный — способен во всем, даже пребывая в невежестве.

Здесь мы идем вровень и всегда в ногу — моя

книга и я. В других случаях можно хвалить или, наоборот, порицать работу независимо от работника; здесь — это исключено: кто касается одной, тот касается и другого. Кто возьмется судить о работе, не зная работника, тот причинит больше ущерба себе, нежели мне; кто предварительно узнает его, тот сполна удовлетворит меня. Но я буду сверх меры счастлив, если получу общественное одобрение хотя бы только за то, что дал почувствовать мыслящим людям свое умение с толком употреблять мои знания — если таковые у меня есть, — доказал им, что я стою того, чтобы память служила мне лучше.

Прошу меня извинить за слишком частые упоминания о том, что я редко раскаиваюсь в чем бы то ни было и что моя совесть в общем довольна собой, не так, как совесть ангела или, скажем, лошади, но так, как может быть довольна собой человеческая совесть; я постоянно повторяю нижеследующие слова не как пустую формулу вежливости, а как нечто, идущее от непосредственного ощущения мною своей ничтожности: все, что я говорю, я говорю как ищущий и не ведающий, бесхитростно и с чистой душой опираясь на общераспространенные и законные верования. Я отнюдь не поучаю, я только рассказываю.

Настоящим пороком нужно считать только такой, который оскорбляет сознание человека и безоговорочно осуждается человеческим разумом, ибо его уродство и вредоносность до того очевидны, что правы, пожалуй, те, кто утверждает, будто он является порождением в первую очередь глупости и невежества. Трудно представить себе, чтобы, познакомившись с ним, можно было бы не возненавидеть его. Злоба чаще всего впитывает в себя свой собственный яд и отравляется им. Подобно тому как язва на теле оставляет после себя рубец, так и порок оставляет в душе раскаяние, которое, постоянно кровоточа, не дает нам покоя. Ибо рассудок, успокаивая другие печали и горести, порождает горечь раскаяния, которая тяжелее всего, так как она точит нас изнутри; ведь жар и озноб, порожденные лихорадкой, более ощутительны, чем действующие на нас снаружи. Я считаю пороками (впрочем, каждый из них измеряется своей меркой) не только то, что осуждается разумом и природой, но и то, что признается пороком в соответствии с представлениями людей, пусть даже ложными и ошибочными, если законы и обычай подтверждают такую оценку.

Нет равным образом ни одного проявления

доброты, которое не доставляло бы радости благородному сердцу. Когда творишь добро, сам испытываешь некое радостное удовлетворение и законную гордость, сопутствующие чистой совести. Прочная, но смелая и решительная душа может при случае обеспечить себе спокойствие, но познать удовлетворение и удовольствие этого рода ей не дано. А это немалое наслаждение — чувствовать себя огражденным от заразы, распространяемой столь порочным веком, и говорить себе самому: «Кто заглянул бы мне в самую душу, тот и тогда не обвинил бы меня ни в несчастии и разорении кого бы то ни было, ни в мстительности и в зависти, ни в преступлении против законов, ни в жажде перемен или смуты, ни в нарушении слова; и хотя разнузданность нашего времени разрешает все это и учит этому каждого, я никогда не накладывал руку на имущество или на кошелек какого-либо француза, но всегда жил за счет своего собственного, как на войне, так и в мирное время, и никогда не пользовался ничьим трудом без должной его оплаты». Подобные свидетельства совести чрезвычайно приятны, и эта радость, эта единственная награда, которая никогда не минует нас, — великое благодеяние для души.

Искать опоры в одобрении окружающих, видя в нем воздаяние за добродетельные поступки, значит опираться на то, что крайне шатко и непрочно. А в наше развращенное, погрязшее в невежестве время добрая слава в народе, можно сказать, даже оскорбительна: ведь кому можно доверить оценку того, что именно заслуживает похвалы? Упаси меня Бог быть порядочным человеком в духе тех описаний, которые, как я вижу, что ни день каждый сочиняет во славу самому себе. Quae fuerant vitia, mores sunt[471].

Иные мои друзья по личному ли побуждению, или вызванные на это мною, не раз принимались с полною откровенностью журить и бранить меня, выполняя ту из своих обязанностей, которая благородной душе кажется не только полезнее, но и приятнее прочих обязанностей, возлагаемых на нас дружбою. Я всегда встречал эти упреки с величайшей терпимостью и искреннейшей признательностью. Но, говоря по совести, я частенько обнаруживал и в их порицаниях, и в их восхвалениях такое отсутствие меры, что не допустил бы, полагаю, ошибки, предпочитая впадать в ошибки, чем проявлять благоразумие на

[471] Примечания: 471
Что было пороками, стало нравами (*лат.*). *Письма,* 39, 6.

их лад. Нашему брату, живущему частною жизнью, которая на виду лишь у нас самих, особенно нужно иметь перед собой некий образец, дабы равняться на него в наших поступках и, сопоставляя их с ним, то дарить себе ласку, то налагать на себя наказание. Для суда над самим собой у меня есть мои собственные законы и моя собственная судебная палата, и я обращаюсь к ней чаще, чем куда бы то ни было. Сдерживая себя, я руководствуюсь мерою, предуказанной мне другими, но, давая себе волю, руководствуюсь лишь своей мерою. Только вам одному известно, подлы ли вы и жестокосердны, или честны и благочестивы; другие вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим. Tuo tibi iudicio est utendum[472]. Virtutis et vitiorum grave ipsius conscientiae pondus est: qua sublata, iacent omnia[473].

---

[472] Примечания: 472

Тебе надлежит руководствоваться собственным разумом (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* II, 26.

[473] Примечания: 473

Вес добродетели и греха находится в совести, а без нее все рухнет (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* III, 35.

Хотя и говорят, что раскаяние следует по пятам за грехом, мне кажется, что это не относится к такому греху, который предстает перед нами в гордом величии и обитает в нас, как в собственном доме. Можно отринуть и побороть пороки, которые иногда охватывают нас и к которым нас влекут страсти, но пороки, укоренившиеся и закосневшие вследствие долгой привычки в душе человека с сильной, несгибаемой волей, не допускают противодействия. Раскаяние представляет собой не что иное, как отречение от нашей собственной воли и подавление наших желаний, и оно проявляется самым различным образом. Так, оно может заставить человека сожалеть о своей былой добродетели и стойкости:

> *Quae mens est hodie, cur eadem non puero fuit?*
>
> *Vel cur his animis incolumes non redeunt genae?*[474]

Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем безупречна.

---

[474] Примечания: 474

Почему у меня в детстве не было такого же образа мыслей, что сейчас? Или почему при моем теперешнем умонастроении мои щеки не становятся снова гладкими? (*лат.*) Гораций. *Оды*, IV, 10, 7 сл.

Всякий может фиглярствовать и изображать на подмостках честного человека; но быть порядочным в глубине души, где все дозволено, куда никому нет доступа, — вот поистине вершина возможного. Ближайшая ступень к этому — быть таким же у себя дома, в своих обыденных делах и поступках, в которых мы не обязаны давать кому-либо отчет и где свободны от искусственности и притворства. И вот Биант, изображая идеальный семейный уклад, говорит, что глава семьи должен быть в лоне ее по своему личному побуждению таким же, каков он вне ее из страха перед законами и людскими толками. А Юлий Друз весьма достойно ответил работникам, предлагавшим за три тысячи экю переделать его дом таким образом, чтобы соседи не могли видеть, как прежде, что происходит за его стенами; он сказал: «Я не пожалею и шести тысяч, но сделайте так, чтобы всякий со всех сторон видел его насквозь». С уважением отмечают обыкновение Агесилая останавливаться во время разъездов по стране в храмах с тем, чтобы люди и сами боги наблюдали его частную жизнь. Бывали люди, казавшиеся миру редкостным чудом, а между тем ни жены их, ни слуги не видели в них ничего замечательного. Лишь немногие вызывали вос-

хищение своих близких.

Как подсказывает опыт истории, никогда не бывало пророка не только у себя дома, но и в своем отечестве. То же и в мелочах. Нижеследующий ничтожный пример воспроизводит все то, что можно было бы показать и на примерах великих. Под небом моей Гаскони я слыву чудаком, так как сочиняю и печатаю книги. Чем дальше от своих родных мест, тем больше я значу в глазах знающих обо мне. В Гиени я покупаю у книгоиздателей, в других местах — они покупают меня. На подобных вещах и основано поведение тех, кто, живя и пребывая среди своих современников, таится от них, чтобы после своей смерти и исчезновения завоевать себе славу. Что до меня, то я не гонюсь за ней. Я жду от мира не больше того, что он мне уделил. Таким образом, мы с ним в расчете.

Иного восхищенный народ провожает с собрания до дверей его дома; но вместе с парадной одеждой он расстается и с ролью, которую только что исполнял, и падает тем ниже, чем выше был вознесен: в глубине его души все нелепо и отвратительно, и, даже если в нем господствует внутренний лад, нужно обладать быстрым и трезвым умом, чтобы подметить это в его при-

вычных и ничем не примечательных поступках, в его обыденной жизни. Добавим к тому же, что сдержанность — мрачная и угрюмая добродетель. Устремляться при осаде крепости в брешь, стоять во главе посольства, править народом — все эти поступки окружены блеском и обращают на себя внимание всех. Но бранить, смеяться, продавать, платить, любить, ненавидеть и беседовать с близкими и с собою самим мягко и всегда соблюдая справедливость, не поддаваться слабости, неизменно оставаться самим собой — это вещь гораздо более редкая, более трудная и менее бросающаяся в глаза. Жизни, протекающей в уединении, что бы ни говорили на этот счет, ведомы такие же, если только не более сложные и тягостные обязанности, какие ведомы жизни, не замыкающейся в себе. И частные лица, говорит Аристотель, служат добродетели с большими трудностями и более возвышенным образом, нежели те, кто занимает высокие должности. Мы готовимся к выдающимся подвигам, побуждаемые больше жаждою славы, чем своей совестью. Самый краткий путь к завоеванию славы — это делать по побуждению совести то, что мы делаем ради славы. И доблесть Александра, явленная им на его поприще, намного уступает, по-моему,

доблести, которую проявил Сократ, чье существование было скромным и неприметным. Я легко могу представить себе Сократа на месте Александра, но Александра на месте Сократа я представить себе не могу. Если бы кто-нибудь спросил Александра, что он умеет делать, тот бы ответил: подчинять мир своей власти; если бы кто-нибудь обратился с тем же к Сократу, он, несомненно, сказал бы, что умеет жить, как подобает людям, то есть в соответствии с предписаниями природы, а для этого требуются более обширные, более глубокие и более полезные познания. Ценность души определяется не способностью высоко возноситься, но способностью быть упорядоченной всегда и во всем.

Ее величие раскрывается не в великом, но в повседневном.

Как те, кто судит о нас, проникая в глубины нашей души, не придают слишком большого значения блеску наших поступков на общественном поприще, понимая, что это не более чем струйки и капли чистой воды, пробивающиеся наружу из топкой и илистой почвы, так и те, кто судит о нас по нашему внешнему великолепию, заключают, исходя из него, и о нашей внутренней сущности, ибо в их сознании никак не укладывается, что

обычные людские свойства, такие же, как их собственные, совмещаются в нас с теми другими качествами, которые вызывают их удивление и так недостижимы для них. По этой причине мы и придаем бесам звериный облик. Кто же способен представить себе Тамерлана иначе, как с нахмуренными бровями, раздувающимися ноздрями, грозным лицом и неправдоподобно могучим станом, таким станом, каким наделяет его наше потрясенное славою этого имени воображение. И если бы кто-нибудь доставил мне в прошлом случай увидеть Эразма, мне было бы трудно не счесть афоризмом и апофтегмой любую фразу, с которой он обратился бы к своему лакею или экономке.

Мы гораздо легче можем представить себе восседающим на стульчаке или взгромоздившимся на жену какого-нибудь ремесленника, нежели вельможу, внушающего почтение своею осанкой и неприступностью. Нам кажется, что с высоты своих тронов они никогда не снисходят до прозы обыденной жизни.

Нередко случается, что порочные души под влиянием какого-нибудь побуждения извне творят добро, тогда как души глубоко добродетельные — по той же причине — зло. Таким образом, судить

о них следует лишь тогда, когда они в устойчивом состоянии, когда они в ладу сами с собой, если это порой с ними случается, или по крайней мере когда они относительно спокойны и ближе к своей естественной непосредственности. Природные склонности развиваются и укрепляются при помощи воспитания, но изменить и преодолеть их нельзя. Тысячи характеров в мое время обратились к добродетели или к пороку, хоть и были наставлены в противоположных правилах:

Sie ubi desuetae silvis in carcere clausae

Mansuevere ferae, et vultus posuere minaces,

Venit in ora cruor, redeunt rabiesque furorque,

Atque hominem didicere pati, si torrida parvus

Admonitaeque tument gustato sanguine fauces;

Fervet, et a trepido vix abstinet ira

magistro[475].

Эти врожденные свойства искоренить невозможно; их прикрывают, их прячут, но не больше. Латинский язык для меня как родной; я понимаю его лучше, чем французский, но вот уже сорок лет совершенно не пользуюсь им как языком разговорным и совсем не пишу на нем; и все же при сильных и внезапных душевных движениях, которые мне довелось пережить раза два-три за мою жизнь и особенно в тот раз, когда я увидел, что мой отец, перед тем совершенно здоровый, валится на меня, теряя сознание, первые вырвавшиеся из глубин памяти и произнесенные мною слова были латинскими: природа сама собой пробивается наружу и выражает себя вопреки долгой привычке. И этот пример может быть подкреплен множеством других.

Те, кто пытался с помощью новых воззрений преобразовать в мое время нравы людей, искореняют лишь чисто внешние недостатки; что же касается настоящих пороков, они их не затраги-

---

[475] Примечания: 475

Дикие звери, отвыкшие от лесов и запертые в неволе, смиряются, теряют черты свирепости и привыкают терпеть возле себя людей; но едва в их пересохшую пасть попадает хоть капля крови, в них просыпается ярость и бешенство; под действием отведанной крови у них разбухает глотка, и они распаляются гневом, готовым вот-вот обрушиться на перепуганного хозяина (*лат.*). Лукан, IV, 237.

вают, если только не усиливают и не умножают, и этого усиления и умножения нужно бояться; они охотно останавливаются на достигнутом и отказываются от других улучшений, ограничиваясь упомянутыми внешними и произвольными преобразованиями, которые немногого стоят, а между тем приносят им славу; таким образом, они за сходную плату оставляют в покое другие, подлинные, врожденные, глубоко укоренившиеся пороки. Обратитесь на миг к показаниям вашего опыта; нет человека, который, если только он всматривается в себя, не открыл бы в себе некоей собственной сущности, сущности, определяющей его поведение и противоборствующей воспитанию, а также буре враждебных ему страстей. Что до меня, то я не ощущаю никакого сотрясения от толчка; я почти всегда пребываю на своем месте, как это свойственно громоздким и тяжеловесным телам. Если я и оказываюсь порой вне себя самого, то все же нахожусь всегда где-то поблизости. Мои порывы не уносят меня чересчур далеко. В них нет ничего чрезмерного и причудливого, и мои увлечения, таким образом, нужно считать здоровыми и полноценными.

Но что действительно заслуживает настоящего осуждения — а это касается повседневного су-

ществования всех людей, — это то, что даже их личная жизнь полна гнили и мерзости, что их мысль о собственном нравственном очищении — шаткая и туманная, что их раскаяние почти столь же болезненно и преступно, как и их грех. Иные, связанные с пороком природными узами или сжившиеся с ним в силу давней привычки, уже не видят в нем никакого уродства. Других (я сам из их числа) порок тяготит, но это уравновешивается для них удовольствием или чем-либо иным, и они уступают пороку, предаются ему ценою того, что грешат пакостно и трусливо. И все же можно представить себе такую несоизмеримость удовольствия и греха, что первое — это можно сказать и относительно пользы — с полным основанием извиняет второй, и не только в том случае, когда удовольствие примешивается случайно и не имеет прямой связи с грехом, как при краже, но даже если оно неотделимо от греховного деяния, как при сближении с женщиной, когда вожделение безгранично, а порою, как говорят, и вовсе не одолимо.

Побывав недавно в Арманьяке и посетив поместье одного моего родственника, я видел там крестьянина, которого никто не называет иначе, как «вор». Он рассказывает о своей жизни

следующее: родившись нищим и считая, что зарабатывать хлеб трудом своих рук — значит никогда не вырваться из нужды, он решил сделаться вором и всю молодость безнаказанно занимался этим своим ремеслом, чему немало способствовала его огромная телесная сила; он жал хлеб и срезал виноград на чужих участках, проделывая это где-нибудь вдалеке от своего дома и перетаскивая на себе такое количество краденого, что никому в голову не приходило, будто один человек способен унести на плечах все это в течение одной ночи; к тому же он старался распределять причиняемый им ущерб равномерно, так, чтобы каждый в отдельности не испытывал слишком чувствительного урона. Сейчас он уже стар и для человека его сословия весьма состоятелен, чем обязан своему прошлому промыслу, в котором признается с полною откровенностью. Чтобы вымолить у Бога прощение за подобный способ наживы, он, по его словам, что ни день оказывает всевозможные благодеяния потомкам некогда обворованных им людей, дабы возместить свои былые хищения; и если он не успеет закончить эти расчеты (ибо наделить разом всех он не в силах), то возложит эту обязанность на наследников, принимая во внимание то зло, которое он

причинил каждому и размеры которого известны лишь ему одному. Если судить по его рассказу, правдивому или лживому — безразлично, он сам смотрит на воровство как на дело весьма бесчестное и даже ненавидит его, однако менее, чем нужду; он раскаивается в нем как таковом, но раз уж оно было уравновешено и возмещено описанным образом, он в нем отнюдь не раскаивается. В данном случае нет той привычки, что заставляет нас слиться с пороком и приноровлять к нему даже наше мышление; здесь нет и того буйного ветра, который время от времени проносится в нашей душе, смущая и ослепляя ее и подчиняя в это мгновение власти порока.

Всему, что я делаю, я, как правило, предаюсь всем своим существом и, пустившись в путь, прохожу его до конца: у меня не бывает ни одного душевного побуждения, которое таилось бы и укрывалось от моего разума; они протекают почти всегда с согласия всех составных частей моего «я», без раздоров, без внутренних возмущений, и если они бывают достойны порицания или похвалы, то этим обязаны только моему рассудку, ибо если он был достоин порицания хоть однажды, это значит, что он достоин его всегда, так как, можно сказать, от рождения он

неизменно все тот же: те же склонности, то же направление, та же сила. А что касается моих воззрений, я и теперь пребываю в той же точке, держаться которой положил себе еще в детстве.

Существуют грехи, которые увлекают нас стремительно, неодолимо, внезапно. Оставим их в стороне. Но что до других грехов, тех, в которые мы беспрестанно впадаем, о которых столько думали и говорили с другими, или грехов, связанных с особенностями нашего душевного склада, нашими занятиями и обязанностями, то я не в силах постигнуть, как это они могут столь долгое время гнездиться в чьем-либо сердце без ведома и согласия со стороны совести и разума познавшего их человека; и мне трудно понять и представить себе раскаяние, охватывающее его, как он похваляется, в заранее предписанный для этого час.

Я не разделяю взгляда приверженцев Пифагора, будто люди, приближаясь к изваяниям богов, чтобы выслушать их прорицания, обретают новую душу, разве только он хотел этим сказать, что она неизбежно должна быть какой-то иной, новой, на время обретенной, поскольку в собственной их душе незаметно того очищения и ничем не нарушаемого покоя, которые обязательны для совершающих священнодействие.

В этом случае учение пифагорейцев утверждает нечто прямо противоположное наставлениям стоиков, требующих решительно исправлять познанные нами в себе пороки и недостатки, но запрещающих огорчаться и печалиться из-за них. Пифагорейцы — те заставляют нас думать, что они в глубине души ощущают по той же причине сильную скорбь и угрызения совести, но что касается пресечения и исправления упомянутых пороков и недостатков, а также самоусовершенствования, то об этом они не упоминают ни словом. Однако нельзя исцелиться, не избавившись от болезни. Раскаяние только тогда возьмет верх над грехом, если перевесит его на чаше весов. Я считаю, что нет ни одного душевного качества, которое можно подделать с такою же легкостью, как благочестие, если образ жизни не согласуется с ним: сущность его непознаваема и таинственна, внешние проявления — общепонятны и облачены в пышный наряд.

Что до меня, то, вообще говоря, я могу хотеть быть другим, могу осуждать себя в целом и не нравиться сам себе и умолять Бога о полном моем преображении и о том, чтобы он простил мне природную слабость. Но все это, по-моему, я могу называть раскаянием не более, чем мое огор-

чение, что я не ангел и не Катон. Мои поступки по-своему упорядочены и находятся в соответствии с тем, что я есть, и с моими возможностями. Делать лучше я не могу. Раскаянье, в сущности, не распространяется на те вещи, которые нам не по силам; тут следует говорить только о сожалении. Я могу представить себе бесчисленное множество различных характеров, более возвышенных и упорядоченных, нежели мой, однако я не исправляю благодаря этому своих прирожденных свойств, как моя рука и мой ум не становятся более мощными оттого, что я рисую в своем воображении другую руку и другой ум, какими бы они ни были. Если бы, представляя себе более благородный образ действий, чем наш, и стремясь к нему всей душой, мы ощущали раскаянье, нам пришлось бы раскаиваться в самых невинных делах и поступках, — ведь мы хорошо понимаем, что человек с более выдающимися природными данными сделал бы то же самое лучше и благороднее, и мы постоянно желали бы поступить так же. И теперь, когда я на старости лет размышляю над своим разгульным поведением в молодости, я нахожу, что, принимая во внимание свойства моей натуры, оно было, в общем, вполне упорядоченным; на большее самообуздание я не был

способен. Я нисколько не льщу себе: при сходных обстоятельствах я всегда был бы таким же самым. Это отнюдь не пятно, скорее это присущий мне особый оттенок. Мне незнакомо поверхностное, умеренное и чисто внешнее раскаяние. Нужно, чтобы оно захватило меня целиком, и лишь тогда я назову его этим словом, нужно, чтобы оно переворачивало мое нутро, проникало в меня так же глубоко и пронизывало насквозь, как Божье око.

Что касается переговоров, которые мне приходилось вести, то из-за своего незадачливого поведения я не раз упускал благоприятные случаи. Мои советы, однако, бывали тщательно взвешены и отвечали потребностям обстоятельств: главная их черта — нужно избирать самый легкий и подходящий для себя путь. Полагаю, что на совещаниях, в которых я принимал когда-то участие, мои суждения о предметах, подвергавшихся рассмотрению, были, в соответствии с отмеченным правилом, неизменно благоразумными, — в подобных случаях я поступал бы в точности так же еще тысячу лет. Я имею в виду не нынешнее положение дел, а то, каким оно было тогда, когда я их обсуждал.

Всякий совет обладает действенностью лишь в течение определенного времени: обстоятельства

и самая сущность вещей непрерывно в движении и бесконечно изменчивы. За свою жизнь я допустил несколько грубых и значительных промахов, и не потому, что у меня не хватило ума, но вследствие невезения. В предметах, которыми приходится заниматься, таятся самые невероятные неожиданности — особенно изобилует ими человеческая природа, — немые, никак не проявляющиеся черты, порою неведомые даже самим носителям их, и все это обнаруживается и пробуждается от случайных причин. Если мой разум не смог предвосхитить и заметить их, то я нисколько не виню его в этом; круг его обязанностей строго определен; меня одолевает случай, и если он покровительствует тому образу действий, от которого я отказался, то тут ничем не поможешь; я себя не корю за это, я обвиняю мою судьбу, но не свое поведение, а это вовсе не то, что зовется раскаяньем.

Однажды Фокион подал афинянам некий совет, которому те не последовали. Между тем, вопреки его мнению, дело протекало весьма успешно для них, и кто-то сказал ему: «Ну что, Фокион, доволен ли ты, что все идет так хорошо?» «Конечно, доволен, — ответил тот, — доволен, что это случилось так, а не иначе, но я ничуточки не раскаиваюсь

в том, что советовал поступить так-то и так-то». Когда мои друзья обращаются ко мне за советом, я излагаю его свободно и четко, не останавливаясь на полуслове, как поступают в рискованных случаях почти все, дабы оградить себя от возможных упреков, если дела обернутся наперекор их рассудку; меня это нисколько не беспокоит. Ведь упрекающие будут кругом не правы, мне же не подобало отказывать им в этой услуге.

Я никоим образом не стремлюсь возлагать вину за мои ошибки или несчастья на кого-либо, кроме себя. Ибо, по правде говоря, я редко прислушиваюсь к чужим советам — разве что подчиняясь правилам вежливости или тогда, когда я могу почерпнуть из них недостающие мне познания, а также сведения о том или ином факте. Но где требуется лишь поразмыслить, доводы со стороны могут лишь подкрепить мои собственные суждения, но чтобы они опровергли их — такого никогда не бывает. Все, что мне говорят, я выслушиваю благожелательно и учтиво, но, сколько мне помнится, вплоть до этого часа я верил только себе самому. На мой взгляд, эти высказывания — не более чем мушки и крапинки, скользящие по поверхности моей воли. Я не очень-то ценю свои мнения, но так же

мало ценю и чужие. Судьба воздает мне за это полною мерой. Если я не гонюсь за советами, то еще меньше я их расточаю. Их у меня почти и не спрашивают и еще реже им доверяют, и я не знаю ни одного общественного или частного дела, которое было бы начато или доведено до конца по моему настоянию. Даже те, чьими судьбами я в некоторой мере распоряжаюсь, — и они охотнее подчиняются чьей-нибудь чужой воле, нежели моей. И, поскольку о влиянии своем я пекусь менее ревностно, чем о душевном покое, мне это гораздо приятнее: не обращая на меня внимания, люди предоставляют мне возможность жить в соответствии с моими желаниями, которые состоят в том, чтобы сосредоточиться и замкнуться в себе, и для меня великая радость пребывать в полном неведении относительно чужих дел и не чувствовать на себе обязанности устраивать их.

По своем завершении всякое дело, чем бы оно ни окончилось, перестает занимать мои мысли. Если его исход оказался печальным, меня примиряет с этим следующее соображение: он не мог быть иным, ибо таково его место в великом круговороте всего сущего и в цепи причин и следствий, о которых говорят стоики; ваше воображение, как бы вы ни старались и ни жаждали

этого, не в состоянии сдвинуть с места ни одной точки, не нарушив при этом установленного порядка вещей, и это касается как прошлого, так и будущего.

И вообще я не выношу тех приступов раскаяния, которые находят на человека с возрастом. Тот, кто заявил в древности, что он бесконечно благодарен годам, ибо они избавили его от сладострастия, держался на этот счет совсем иных взглядов, чем я: никогда я не стану превозносить бессилие за все его мнимые благодеяния. Nec tam aversa unquam videbitur ab opere suo providentia, ut debilitas inter optima inventasit[476]. В старости мы лишь изредка предаемся любовным утехам, и после них нас охватывает глубокое пресыщение; тут совесть, по-моему, ни при чем; горести и слабость навязывают нам трусливую и хлипкую добродетель. Мы не должны позволить естественным изменениям брать верх над нами до такой степени, чтобы от этого страдали наши умственные способности. Молодость и ее радости не могли в свое время скрыть от меня печати порока на сладострастии; так и ныне пришедшая ко

[476] Примечания: 476

Провидение никогда не окажется настолько враждебно своему творению, чтобы слабость была признана его лучшим свойством (*лат.*). Квинтилиан. *Воспитание оратора,* V, 12.

мне с годами пресыщенность не может скрыть от меня печати сладострастия на пороке. И теперь, когда оно больше не властвует надо мной, я сужу о нем точно так же, как тогда, когда пребывал в его власти. Энергично и тщательно стряхивая его с себя, я нахожу, что мой разум остался таким же, каким был в беспутные дни моей юности, — разве что ослабел и померк с приближением старости; и еще я нахожу, что, если он запрещает мне предаваться чувственным наслаждениям, заботясь о моем телесном здоровье, то и прежде он делал то же, заботясь о здоровье моего духа. Зная, что теперь он больше не борется за него, я не могу считать его более доблестным. Мои вожделения настолько немощны и безжизненны, что ему, в сущности, и не нужно обуздывать их. Чтобы справиться с ними, мне достаточно, так сказать, протянуть руку. И, случись ему столкнуться с былым моим вожделением, он, опасаюсь, справился бы с ним не в пример хуже, чем раньше. Я не вижу, чтобы он занимался чем-либо таким, чем не занимался тогда, как не вижу и того, чтобы он стал проницательнее. И если это — выздоровление разума, то как же оно для нас бедственно!

До чего ничтожно лекарство, исцеляющее посредством болезни!

Эту услугу должно было бы оказывать нам не несчастье, но наш собственный ум в пору своего расцвета. Напасти и огорчения не могут принудить меня ни к чему, кроме проклятий. Они полезны лишь тем, кто не просыпается иначе, как от ударов бича. Мой разум чувствует себя гораздо непринужденнее в обстановке благополучия. Переваривать несчастья ему гораздо труднее, чем радости: в этом случае его охватывает тревога и он начинает разбрасываться. При безоблачном небе я вижу много отчетливее. Здоровье подает мне советы и более радостные, и более полезные, чем те, которые мне может подать болезнь. Я очистил и упорядочил мою жизнь, как только мог, еще в те времена, когда наслаждался всеми ее дарами. И мне было бы досадно и стыдно, если бы оказалось, что убожество и печали моего заката имеют право предпочесть себя тем замечательным дням, когда я был здоров, жизнерадостен, полон сил, и что меня нужно ценить не такого, каким я был, но такого, каким я сделался, перестав быть собой. Счастье человеческое состоит вовсе не в том, чтобы хорошо умереть, как говорит Антисфен, а в том, по-моему, чтобы хорошо жить. Я никогда не вынашивал в себе чудовищной мысли напялить на голову и тело того, кто, в сущности,

уже мертв, — а что иное я представляю собой? — колпак и халат философа и никогда не стремился к тому, чтобы это жалкое рубище осудило и унизило самую яркую, лучшую и продолжительную часть моей жизни. Я хочу показать — и притом так, чтобы все это видели, — что всегда и везде я все тот же. Если бы мне довелось прожить еще одну жизнь, я жил бы так же, как прожил; я не жалею о прошлом и не страшусь будущего. И если я не обманываюсь, то как внутри, так и снаружи дело обстояло приблизительно одинаково. Больше всего я благодарен своей судьбе, пожалуй, за то, что всякое изменение в состоянии моего тела происходило в подобающее для моих лет время. Я видел себя в пору первых побегов, затем цветов и плодов, теперь наступила пора увядания. И это прекрасно, ибо естественно. Я гораздо легче переношу свои боли именно потому, что в мои годы они в порядке вещей, и потому, что, страдая от них, я с еще большей признательностью вспоминаю о долгом счастье прожитой мною жизни. И моя житейская мудрость равным образом остается, возможно, на том же уровне, что и прежде; впрочем, она была гораздо решительнее, изящнее, свежее, жизнерадостнее и непосредственнее, чем нынешняя, — закоснелая, брюзгливая, тя-

желовесная.

Итак, я отказываюсь от всех улучшений, зависящих от столь печальных обстоятельств и от возможных случайностей. Нужно, чтобы Бог пребывал в нашем сердце.

Нужно, чтобы совесть совершенствовалась сама собой благодаря укреплению нашего разума, а не вследствие угасания наших желаний. Сладострастие как таковое не становится бесцветным и бледным, сколь бы воспаленными и затуманенными ни были созерцающие его глаза. Следует любить воздержание само по себе и из уважения к Богу, который нам заповедал его, следует любить целомудрие. Что же касается воздержания, на которое нас обрекают наши катары и которым я обязан ни чему иному, как моим коликам, то это не целомудрие и не воздержание. Нельзя похваляться презрением к сладострастию и победой над ним, если не испытываешь его, если не знаешь его, и его обольщений, и его мощи, и его бесконечно завлекательной красоты. Я знал и то и другое, и кому, как не мне, говорить об этом. Но в старости, как мне кажется, наши души подвержены недугам и несовершенствам более докучным, чем в молодости. Я говорил об этом совсем молодым, но тогда меня неизменно

осаживали на том основании, что я безбородый юнец. Я говорю то же самое и сейчас, когда моя сивая борода придает моим словам вес. Мы зовем мудростью беспорядочный ворох наших причуд, наше недовольство существующими порядками. Но в действительности мы не столько освобождаемся от наших пороков, сколько меняем их на другие — и, как я думаю, худшие. Кроме глупой и жалкой спеси, нудной болтливости, несносных и непостижимых причуд, суеверий, смехотворной жажды богатств, когда пользоваться ими уже невозможно, я замечаю у стариков также зависть, несправедливость и коварную злобу. Старость налагает морщины не только на наши лица, но в еще большей мере на наши умы, и что-то не видно душ — или они встречаются крайне редко, — которые, старясь, не отдавали бы плесенью и кислятиной. Все в человеке идет вместе с ним в гору и под гору.

Принимая во внимание мудрость Сократа и кое-какие обстоятельства его осуждения, я решаюсь предполагать, что он сам некоторым образом способствовал совершившемуся, намеренно предоставляя всему идти своим чередом, — ведь он достиг семидесяти лет и знал, что его блестящему и деятельному уму предстоит в близком

будущем ослабеть, а свойственной ему проницательности — померкнуть.

Каким только метаморфозам не подвергает каждодневно старость — можно сказать, у меня на глазах — многих моих знакомых! Она — могущественная болезнь, настигающая естественно и незаметно. Нужно обладать большим запасом знаний и большою предусмотрительностью, чтобы избегнуть изъянов, которыми она нас награждает, или по крайней мере чтобы замедлить развитие их. Я чувствую, что, несмотря на все мои оборонительные сооружения, она пядь за пядью оттесняет меня. Я держусь сколько могу. Но я не знаю, куда в конце концов она меня заведет. Во всех случаях я хочу, чтобы знали, откуда именно я упал.

Глава III
О трех видах общения

Негоже всегда и во всем держаться своих нравов и склонностей. Наиважнейшая из наших способностей — это умение приспосабливаться к самым различным обычаям. Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости одного и того же образа жизни — означает существовать, но не жить. Лучшие души — те, в которых больше гибкости и разнообразия.

Вот поистине лестный отзыв о Катоне Старшем: Huic versatile ingenium sic pariter ad omnia fuit, ut natum ad id unum diceres, quodcumque ageret[477]. Если бы мне было дано вытесать себя по своему вкусу, то нет такой формы, — как бы прекрасна она ни была, — в которую я желал бы втиснуться, с тем чтобы никогда уже с нею не расставаться. Жизнь — это неровное, неправильное и многообразное движение. Неукоснительно следовать

[477] Примечания: 477

Его гибкий ум был настолько разносторонен, что, чем бы он ни занимался, казалось, будто он рожден только для одного этого (*лат.*). Тит Ливий, XXXIX, 40.

своим склонностям и быть настолько в их власти, чтобы не мочь отступаться от них или подчинять их своей воле, означает не быть самому себе другом, а тем более господином; это значит быть рабом самого себя. Я сейчас вспомнил об этом, потому что мне не так-то легко отделаться от одного несносного свойства моей души: обыкновенно ее захватывает только то, что для нее трудно и хлопотно, и лишь этому она предается с горячностью и целиком. Сколь бы несложен ни был предмет, которым ей предстоит заниматься, она охотно усложняет его и придает ему такое значение, что ей приходится тратить на него все свои силы. По этой причине ее незанятость для меня крайне мучительна и вредно отзывается на моем здоровье. Большинству умов, чтобы встрепенуться и ожить, нужны новые впечатления; моему, однако, они больше нужны для того, чтобы прийти в себя и успокоиться, vitia otii negotio discutienda sunt[478], ибо его главнейшее и наиболее ревностное занятие — самопознание. Книги для него своего рода отдых, отвлекающий его от этого всепоглощающего дела. Первые же явившиеся ему мысли сразу возбуждают его, он

[478] Примечания: 478

Пороки праздности необходимо преодолеть трудом (*лат.*). *Письма,* 56, 9.

стремится самым различным образом проявить свою мощь: он старается блеснуть то остротой, то строгостью, то изяществом; он сдерживает, соразмеряет и укрепляет себя. В себе самом обретает он побуждения к деятельности. Природа дала ему, как и всем, достаточно поводов к полезным раздумьям и широкий простор для открытий и рассуждений.

Для всякого, кто умеет как следует оценить свои возможности и в полной мере использовать их, размышление — могущественный и полноценный способ самопознания; я предпочитаю самостоятельно ковать себе душу, а не украшать ее позаимствованным добром.

Нет занятия более пустого и вместе с тем более сложного, чем беседовать со своими мыслями, — все зависит от того, какова беседующая душа. Самые великие души делают это занятие своим ремеслом — quibus vivere est cogitare[479]. Природа настолько покровительствует этой нашей особенности, что нет ничего, чем могли бы мы заниматься более длительно, и нет дела, которому отдавались бы с большим постоянством и большей готовностью. «В этом, — говорит Ари-

[479] Примечания: 479

Для кого жить — значит мыслить (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, V, 38.

стотель, — и состоит труд богов, созидающий и их счастье, и наше». Чтение служит мне лишь для того, чтобы, расширяя мой кругозор, будить мою мысль, чтобы загружать мой ум, а не память.

Лишь немногие беседы увлекают меня и не требуют от меня напряжения и усилий. Правда, прелесть и красота захватывают и занимают меня не меньше, если не больше, чем значительность и глубина. И, поскольку все прочие разговоры нагоняют на меня сон и я уделяю им лишь оболочку моего внимания, со мной нередко случается, что, присутствуя при подобном обмене словами, тягучем и вялом, поддерживаемом только ради приличия, я говорю или выпаливаю в ответ такой вздор и такие смешные глупости, которые не пристали бы даже детям, или упорно храню молчание, обнаруживая еще большую неловкость и нелюбезность. Часто я погружаюсь в мечтательность и углубляюсь в свои мысли; кроме того, мне свойственно непроходимое и совершенно ребяческое невежество во многих обыденных и общеизвестных вещах. По причине этих двух моих качеств я добился того, что обо мне могут рассказывать по меньшей мере пять или шесть забавных историй, выставляющих меня самым нелепым дурнем на свете.

Итак, возвращаясь к избранной мною теме, должен сказать, что эта неподатливость и негибкость моего душевного склада заставляют меня быть разборчивым по отношению к людям — мне приходится как бы просеивать их через сито — и делает меня малопригодным для дел, выполняемых сообща. Мы живем среди людей и вступаем с ними в разные отношения; если их повадки несносны для нас, если мы гнушаемся соприкасаться с душами низменными и пошлыми — а низменные и пошлые души часто бывают такими же упорядоченными, как самые утонченные (никчемна мудрость, не умеющая приноровиться к всеобщей глупости), — то нам нечего вмешиваться ни в наши собственные, ни в чужие дела: ведь и частные и общественные дела вершатся именно такими людьми. Самые прекрасные движения нашей души — это наименее напряженные и наиболее естественные ее движения. Господи Боже! Сколь драгоценна помощь благоразумия для того, чьи желания и возможности оно приводит в соответствие между собой! Нет науки полезнее этой! «По мере сил» было излюбленным выражением и присловьем Сократа, и это его выражение исполнено глубочайшего смысла. Нужно устремлять наши

желания на вещи легкодоступные и находящиеся у нас под рукой и нужно уметь останавливаться на этом. Разве не глупая блажь с моей стороны чуждаться тысячи людей, с которыми меня связала судьба, без которых я не могу обойтись, и тянуться к одному-двум, пребывающим вне моего круга, или, больше того, упрямо жаждать какой-нибудь вещи, заведомо для меня недосягаемой. От природы я мягок, чужд всякой резкости и заносчивости, и это легко может избавить меня от зависти и враждебности окружающих — ведь никто никогда не заслуживал в большей мере, чем я, не скажу быть любимым, но хотя бы не быть ненавидимым. Однако свойственная мне холодность в обращении не без основания лишила меня благосклонности некоторых, превратно и в худшую сторону истолковавших эту мою черту, что, впрочем, для них извинительно.

А между тем я, бесспорно, обладаю способностью завязывать и поддерживать на редкость возвышенную и чистую дружбу. Так как я жадно хватаюсь за пришедшиеся мне по вкусу знакомства, оживляюсь, горячо набрасываюсь на них, мне легко удается сближаться с привлекательными для меня людьми и производить на них впечатление, если я того захочу. Я не раз испы-

тывал эту свою способность и добивался успеха. Что касается обыкновенных приятельских отношений, то тут я несколько сух и холоден, ибо я утрачиваю естественность и сникаю, когда не лечу на всех парусах; к тому же судьба, обласкав меня в молодости дружбой неповторимой и совершенной и избаловав ее сладостью, и в самом деле отбила у меня вкус ко всем остальным ее разновидностям, прочно запечатлев в сознании, что настоящая дружба, как сказал один древний, — это «животное одинокое, вроде вепря, но отнюдь не стадное». Кроме того, мне по натуре претит общаться с кем бы то ни было, все время сдерживая себя, как претит и рабское, вечно настороженное благоразумие, которое нам велят соблюдать в разговорах с нашими полудрузьями или приятелями, и велят нам это особенно настоятельно в наше время, когда об иных вещах можно говорить не иначе как с опасностью для себя или неискренне.

При всем том я очень хорошо понимаю, что каждому, считающему, подобно мне, своею конечною целью наслаждение жизненными благами (я разумею лишь основные жизненные блага), нужно бежать, как от чумы, от всех этих сложностей и тонкостей своенравной души. Я го-

тов всячески превозносить того, чья душа состоит как бы из нескольких этажей, способна напрягаться и расслабляться, чувствует себя одинаково хорошо, куда бы судьба ее ни забросила, того, кто умеет поддерживать разговор с соседом о его постройке, охоте или тяжбе, оживленно беседовать с плотником и садовником; я завидую тем, кто умеет подойти к последнему из своих подчиненных и должным образом разговаривать с ним.

И я никоим образом не одобряю совета Платона, предписывающего нам обращаться к слугам неизменно повелительным тоном, не разрешая себе ни шутки, ни непринужденности в обращении как с мужчинами, так и с женщинами.

Ибо, кроме того, о чем я говорил выше, бесчеловечно и крайне несправедливо придавать столь большое значение несущественному, даруемому судьбой преимуществу, и порядки, установленные в домах, где различие между господами и слугами ощущается наименее резко, кажутся мне наилучшими.

Иные стараются подстегнуть и взбудоражить свой ум; я — сдержать и успокоить его. Он заблуждается лишь тогда, когда напряжен.

Narras et genus Aeaci,

Et pugnata sacro bella sub Ilio:
Quo Chium pretio cadum
Mercemur, quis aquam temperet ignibus,
Quo praebente domun, et quota
Pelignis caream frigoribus taces[480].

Как известно, доблесть лакедемонян нуждалась в обуздывании и в нежном и сладостном звучании флейт, укрощавших ее во время сражения, поскольку существовала опасность, как бы она не превратилась в безрассудство и бешенство, — а ведь другие народы используют пронзительные звуки и громкие выкрики, чтобы подстрекнуть и распалить храбрость солдат. Так и мы, как мне кажется, вопреки общераспространенному мнению, большей частью нуждаемся при нашей умственной деятельности скорее в свинце, чем в крыльях, скорее в холодности и невозмутимом спокойствии, чем в горячности и возбуждении. И самое главное: изображать из себя высокоученого мужа, находясь среди тех, кто не блещет ученостью, и непрерывно произносить высокопарные

[480] Примечания: 480

Ты мне рассказываешь и родословную Эака, и о битвах под стенами священного Илиона, но ты ничего не сообщаешь о том, сколько мы платим за бочку хиосского вина, кто будет греть воду для моей бани, кто и когда предоставит мне кров, чтобы я мог избавиться от холода, что ведом пелигнам (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 19, 3–8.

речи — favellar in punta di forchetta[481] — означает, по-моему, изображать из себя глупца. Нужно приспособляться к уровню тех, с кем находишься, и порой притворяться невеждой. Забудьте о выразительности и тонкостях; в повседневном обиходе достаточно толкового изложения мысли. Если от вас этого желают, ползайте по земле.

Ученым свойственно спотыкаться об этот камень. Они любят выставлять напоказ свою образованность и повсюду суют свои книги. В последнее время их писания настолько прочно обосновались в спальнях и ушах наших дам, что если последние и не усвоили их содержания, то по крайней мере делают вид, будто изучили его; о чем бы ни зашла речь, сколь бы ни был предмет ее низменным и обыденным, они пользуются в разговорах и в своих писаниях новыми и учеными выражениями,

> *Hoc sermone pavent, hoc iram, gaudia, curas,*
>
> *Hoc cuncta effundunt animi secreta; quid ultra?*

---

[481] Примечания: 481
Говорить на кончике вилки (*ит.*).

Concumbunt docte[482]*;*

и ссылаются на Платона и святого Фому, говоря о вещах, которые мог бы столь же хорошо подтвердить первый встречный и поперечный. Наука, которая не смогла проникнуть к ним в душу, осталась на кончике их языка. Если бы высокородные дамы соблаговолили поверить мне, им было бы совершенно достаточно заставить нас оценить их собственные и вложенные в них самою природой богатства. Они прячут свою красоту под покровом чужой красоты. А ведь это великое недомыслие — гасить свое собственное сияние, чтобы излучать свет, заимствованный извне; они погребли и скрыли себя под грудами ухищрений. De capsula totae[483]. Причина тут в том, что они недостаточно знают самих себя; в мире нет ничего прекраснее их; это они украшают собою искусства и румянят румяна. Что им нужно, чтобы быть любимыми и почитаемыми? Им дано и они знают больше, чем необходимо для этого. Нужно только немного расшевелить

[482] Примечания: 482

В таких словах они выражают свой страх, гнев, радость, озабоченность; пользуясь ими, они открывают все тайны своей души. Чего больше? Они и в обморок падают по-ученому (*лат.*). Ювенал, VI, 189 сл.

[483] Примечания: 483

Целиком из шкатулки (*лат.*).

и оживить таящиеся в них способности. Когда я вижу, как они углубляются в риторику, юриспруденцию, логику и прочую дребедень, столь никчемную, столь бесполезную и ненужную им, во мне рождается опасение, что мужчины, побуждающие их к занятиям ею, делают это с намерением заполучить власть над ними и на этом основании держать их в своей власти. Ибо какое другое оправдание этому мог бы я подыскать? Хватит с милых дам и того, что они умеют без нашей помощи придавать своим глазам прелесть веселости, нежности и суровости, вкладывать в свое «нет» строгость, колебание и благосклонность и понимают без толмача страстные речи, обращенные к ним их поклонниками. Владея этой наукой, они повелевают всем миром, и выходит, что ученицы властвуют над своими учителями со всей их ученостью. Если им неприятно уступать нам хоть в чем-нибудь и любопытство толкает их к книгам, то самое подходящее для себя развлечение они могут найти в поэзии: это искусство лукавое и проказливое, многоликое, говорливое, все в нем тянется к наслаждению, все показное, короче говоря, оно такое же, как они. Наши дамы извлекут много полезного и из истории. В философии, в том разделе ее, где рассматриваются

различные стороны жизни, они найдут рассуждения, которые научат их разбираться в наших нравах и душевных склонностях, препятствовать нашим изменам, умерять дерзость своих желаний, оберегать свою свободу от посягательств, продлевать радость жизни, с достоинством переносить непостоянство поклонника, грубость мужа и докучное бремя лет и морщин и многим другим тому подобным вещам.

Бывают характеры в высшей степени своеобразные, нелюдимые, ушедшие целиком в себя. Если говорить обо мне, то мое истинное призвание — общаться с людьми и созидать. Я весь обращен к внешнему миру, весь на виду и рожден для общества и для дружбы. Уединение, которое я люблю и которое проповедую, состоит главным образом в переносе моих привязанностей и мыслей на себя самого и в ограничении и сокращении не только моих усилий, но и моих забот и желаний; достигается это тем, что я слагаю с себя попечение о ком-либо, кроме как о себе, и бегу, словно от смерти, от порабощения и обязательств, и не столько от сонма людей, сколько от сонма обступающих меня дел. Что же касается физического уединения, то есть пребывания в одиночестве, то оно, должен признаться, скорее

раздвигает и расширяет круг моих интересов, выводя меня за пределы моего «я», и никогда я с большей охотой не погружаюсь в рассмотрение дел нашего государства и всего мира, как тогда, когда я наедине сам с собой. В Лувре и среди толпы я внутренне съеживаюсь и забиваюсь в свою скорлупу; толпа заставляет меня замыкаться в себе, и нигде я не беседую сам с собой так безудержно и откровенно, с таким увлечением, как в местах, требующих от нас сугубой почтительности и церемонного благоразумия. Наши глупости не вызывают у меня смеха, его вызывает наше высокомудрие. По своему нраву я не враг придворной сумятицы; я провел в самой гуще ее часть моей жизни и, можно сказать, создан для веселого времяпровождения в многолюдных собраниях, но при условии, чтобы они не были непрерывными и происходили в угодный для меня час. Однако повышенная раздражимость ума, которую я в себе отмечаю, обрекает меня на вечное уединение даже в кругу семьи и среди многочисленных слуг и навещающих меня посетителей, ибо мой дом принадлежит к числу весьма посещаемых. Я вижу вокруг себя достаточно много народа, но лишь изредка тех, с кем мне приятно общаться; вопреки принятому

обыкновению я предоставляю как себе самому, так и всем остальным неограниченную свободу. Я не терплю церемоний — постоянной опеки гостя, проводов и прочих правил, налагаемых на нас нашей обременительной учтивостью (о подлый и несносный обычай!); всякий волен располагать собой по своему усмотрению, и кто пожелает, тот углубляется в свои мысли; я нем, задумчив и замкнут, и это нисколько не обижает моих гостей.

Люди, общества и дружбы которых я постоянно ищу, — это так называемые порядочные и неглупые люди; их душевный склад настолько мне по душе, что отвращает от всех остальных. Среди всего многообразия характеров такой, в сущности говоря, наиболее редок; это — характер, созданный в основном природой. Для подобных людей цель общения — быть между собой на короткой ноге, посещать друг друга и делиться друг с другом своими мыслями; это — соприкосновение душ, не преследующее никаких выгод. В наших беседах любые темы для меня равно хороши; мне безразлично, насколько они глубоки и важны; ведь в них всегда есть изящество и приятность; на всем заметна печать зрелых и твердых суждений, все дышит добросердечием, искренностью, живостью и дружелюбием. Не только в разговорах о

новых законах наш дух раскрывает свою силу и красоту и не только тогда, когда речь идет о делах государей; он раскрывает те же самые качества и в непринужденных беседах на частные темы.

Я узнаю отвечающих моему вкусу людей даже по их молчанию и улыбке и успешнее нахожу их за пиршественным столом, чем в зале совета. Гиппомах утверждал, что, встречая на улице хороших борцов, он узнавал их по одной походке. Если ученость изъявляет желание принять участие в наших дружеских разговорах, мы отнюдь не отвергаем ее — разумеется, при условии, что она не станет высокомерно и докучливо поучать, как это обычно бывает, а проявит стремление что-то познать и чему-то научиться. Нам нужно хорошо провести время — большего мы не ищем; когда же настанет наш час выслушать ее поучения и наставления, мы благоговейно припадем к ее трону. А пока пусть она снизойдет до нашего уровня, если захочет, ибо, сколь бы полезной и желательной она ни была, я заранее убежден, что мы сможем при случае отлично обойтись без нее и сделаем свое дело, не прибегая к ее услугам. Благородная и повидавшая виды душа становится сама собой безупречно приятной. А наука — не что иное, как протокол и опись творений,

созданных подобными душами.

Сладостно мне общаться также с красивыми благонравными женщинами. Nam nos quoque oculos eruditos habemus[484]. Если душа в этом случае наслаждается много меньше, чем в предыдущем, удовольствия наших органов чувств, которые при втором виде общения гораздо острее, делают его почти таким же приятным, как и первый, хотя, по-моему, все же не уравнивают с ним. Но это общение таково, что тут всегда нужно быть несколько настороже, и особенно людям вроде меня, над которыми плоть имеет большую власть. В ранней юности я пылал от этого, как в огне, и мне хорошо знакомы приступы неистовой страсти, которые, как рассказывают поэты, нападают порою на тех, кто не желает налагать на себя узду и не слушается велений рассудка. Правда, эти удары бича послужили мне впоследствии хорошим уроком,

> *Quicunque Argolica de classe Capharea fugit,*
> *Semper ab Euboicis vela retorquet*

[484] Примечания: 484
И глаза у нас тоже ученые. Цицерон. *Парадоксы,* V, 2.

aquis[485].

Безрассудно отдавать этому все свои помыслы и вкладывать в отношения с женщинами безудержное и безграничное чувство. Но с другой стороны, домогаться их без влюбленности и влечения сердца, уподобляясь актерам на сцене, исключительно для того, чтобы играть модную в наше время и закрепленную обычаем роль, и не вносить в нее ничего своего, кроме слов, означает предусмотрительно оберегать свою безопасность, делая это, однако, крайне трусливо, как тот, кто готов отказаться от своей чести, своей выгоды или своего удовольствия из страха перед опасностью; ведь давно установлено, что подобное поведение не может дать человеку ничего, что бы тронуло или усладило благородную душу. Нужно по-настоящему жаждать тех удовольствий, которыми хочешь по-настоящему наслаждаться: я имею в виду тот случай, когда судьба вопреки справедливости благоприятствует мужскому лицемерию, а это бывает достаточно часто, ибо нет такой женщины, сколь бы нескладной она ни была, которая не мнила бы себя достойной

[485] Примечания: 485

Кто из арголийского флота избежал киферейских скал, тот всегда направляет свои паруса прочь от эвбейских вод (*лат.*). Овидий. *Скорбные песни,* I, 1, 83.

любви и не обладала бы обаянием юности, или улыбки, или телодвижений, ибо совершенных дурнушек между ними не больше, чем безупречных красавиц, и дочери брахманов, если они начисто лишены привлекательности, выходят на площадь к народу, собранному для этого криками городского глашатая, и выставляют напоказ свои детородные части, дабы попытаться хотя бы таким путем добыть себе мужа.

По этой причине нет такой женщины, которая не поверила бы с легкостью первой же клятве своего поклонника. За этим общераспространенным и привычным для нашего века мужским вероломством не может не следовать то, что уже ощущается нами на опыте, а именно, что женщины теснее сплачиваются между собой и замыкаются в себе или в своем кругу, дабы избегать общения с нами, или, подражая примеру, который мы им подаем, в свою очередь, лицедействуют и идут на такую сделку без страсти, без колебаний и без любви — neque affectui suo aut alieno obnoxiae[486], — считая, согласно утверждению Лисия у Платона, что они могут отдаваться нам с тем большей легкостью и выгодой для себя,

[486] Примечания: 486

Ни по влечению своего чувства, ни отзываясь на чувства другого (*лат.*). Тацит. *Анналы,* XIII, 45.

чем меньше мы в них влюблены.

И все тут пойдет, как в комедии, причем зрители будут испытывать столько же удовольствия, — а то и немного побольше, — сколько сами актеры.

Что до меня, то, на мой взгляд, Венера без Купидона так же невозможна, как материнство без деторождения, — это вещи взаимоопределяющие и дополняющие друг друга. Таким образом, этот обман бьет в конечном итоге того, кто прибегает к нему. Правда, он ему ничего не стоит, но и не дает ничего стоящего. Те, кто сотворил из Венеры богиню, немало пеклись о том, чтобы главное и основное в ее красоте было бестелесное и духовное; но любовь, за которой гоняются люди, не только не может быть названа человеческой, ее нельзя назвать даже скотскою. Животных и тех не влечет такая низменная и земная любовь! Мы видим, что воображение и желание зачастую распаляют и захватывают их прежде, чем разгорячится их тело; мы видим, как особи обоих полов отыскивают и выбирают в сумятице стада предметы своей привязанности и что знаются между собою те, кто проявлял друг к другу длительную склонность. Даже те из них, у кого старость отняла их былую телесную силу, и они также все еще продолжают дрожать, ржать и

трепетать от любви. Мы видим, что перед совокуплением они полны упований и пыла, а когда их плоть сделает свое дело, они горячат себя сладостными воспоминаниями; и мы видим, что иных с той поры распирает гордость, а другие — усталые и насытившиеся — распевают песни победы и ликования. Кому требуется освободить свое тело от бремени естественной надобности и ничего больше не нужно, тому незачем угощать другого столь изысканными приправами: это не пища для утоления лютого и не знающего удержу голода.

Нисколько не заботясь о том, чтобы обо мне думали лучше, чем каков я в действительности, я расскажу нижеследующее о заблуждениях моей юности. Не только по причине существующей здесь опасности для здоровья (все же я не сумел уберечь себя от двух легких и, так сказать, предварительных приступов), но и вследствие своего рода брезгливости я никогда не имел охоты сближаться с доступными и продажными женщинами. Я стремился усилить остроту этого наслаждения, а ее придают ему трудности, неугасающее желание и немножко удовлетворенного мужского тщеславия; и мне нравилось вести себя подобно императору Тиберию, которого в его

любовных делах в такой же мере воспламеняли скромность и знатность, как и все остальное, привлекающее нас в женщинах, и я одобрял разборчивость куртизанки Флоры, отдававшейся лишь тем, кто был никак не ниже, чем в ранге диктатора, консула или цензора, и черпавшей для себя усладу в высоком звании своих возлюбленных. Здесь, разумеется, кое-что значат и жемчуга, и парча, и титулы, и весь образ жизни. Впрочем, я отнюдь не пренебрегал духовными качествами, однако ж при том условии, чтобы и тело было, каким ему следует быть, ибо, по совести говоря, если бы оказалось, что надо обязательно выбирать между духовной и телесной красотой, я предпочел бы скорее пренебречь красотою духовной: она нужна для других, лучших вещей; но если дело идет о любви, той самой любви, которая теснее всего связана со зрением и осязанием, то можно достигнуть кое-чего и без духовных прелестей, но ничего — без телесных.

Красота — и впрямь могучая сила женщин. Она в такой же мере присуща им, как и нам; и хотя наша красота требует несколько иных черт, все же в пору своего цветения она мало чем отличается от их красоты: такая же отроческая — нежная и безбородая.

Говорят, что наложницы турецкого султана, услужающие ему своей красотой, — а их у него несметное множество — получают отставку самое большее в двадцать два года.

Разум, мудрость и дружеские привязанности чаще встречаются среди мужчин; вот почему последние и вершат делами нашего мира.

Эти оба вида общения зависят от случая и от воли других. Общение первого вида до того редко, что не может спасти от скуки; что же касается общения с женщинами, то оно с годами сходит на нет; таким образом, ни то ни другое не смогло полностью удовлетворить потребности моей жизни. Общение с книгами — третье по счету — гораздо устойчивее и вполне в нашей власти. Оно уступает двум первым видам общения в ряде других преимуществ, но за него говорит его постоянство и легкость, с которой можно его поддерживать.

Книги сопровождают меня на протяжении всего моего жизненного пути, и я общаюсь с ними всегда и везде. Они утешают меня в мои старые годы и в моем уединенном существовании. Они снимают с меня бремя докучной праздности и в любой час дают мне возможность избавляться от неприятного общества. Они смягчают приступы

физической боли, если она не достигает крайних пределов и не подчиняет себе все остальное.

Чтобы стряхнуть с себя назойливые и несносные мысли, мне достаточно взяться за чтение; оно легко завладевает моим вниманием и прогоняет их прочь. К тому же книги неизменно повинуются мне и не возмущаются тем, что я прибегаю к ним лишь тогда, когда не могу найти других развлечений — более существенных, живых и естественных; они всегда встречают меня с той же приветливостью.

Принято говорить, что кто ведет под уздцы свою лошадь, тому идти пешком — одно удовольствие, и наш Иаков, король Неаполя и Сицилии, — красивый, молодой и здоровый, — заставлявший носить себя по стране на носилках, в которых он лежал на жалкой перине, облаченный в серый суконный плащ и такую же шляпу, тогда как за ним следовала пышная королевская свита, состоявшая из дворян и придворных, конными носилками и верховыми лошадьми всевозможных пород являл собою пример половинчатого и еще неустойчивого самоуничижения: незачем жалеть хворого, если у него под рукой целительное лекарство. Проверка на опыте справедливости этого поразительно мудрого изречения — вот,

в сущности, и вся польза, извлекаемая мною из книг. Я и впрямь обращаюсь к ним почти так же часто, как те, кто их вовсе не знает. Я наслаждаюсь книгами, как скупцы своими сокровищами, уверенный, что смогу насладиться ими, когда пожелаю; моя душа насыщается и довольствуется таким правом на обладание. Я никогда не пускаюсь в путь, не захватив с собой книг, — ни в мирное время, ни на войне. И все же бывает, что я не заглядываю в них по нескольку дней, а то и месяцев. «Вот, возьмусь сейчас, — говорю я себе, — или завтра, или когда я того пожелаю». Между тем время бежит и несется, и я не замечаю его. Ибо нет слов, чтобы высказать, насколько я отдыхаю и успокаиваюсь при мысли о том, что книги всегда рядом со мной, чтобы доставить мне удовольствие, когда наступит мой час, и ясно сознавая, насколько они помогают мне жить. Они — наилучшее снаряжение, каким только я мог бы обзавестись для моего земного похода, и я крайне жалею людей, наделенных способностью мыслить и не запасшихся им. И развлечениям любого другого рода, сколь бы незначительны они ни были, я предаюсь с тем большей охотой, что мои книги никуда от меня не уйдут.

Когда я дома, я немного чаще обращаюсь к моей

библиотеке, в которой к тому же я отдаю распоряжения по хозяйству. Здесь я у самого въезда в мой замок и вижу внизу под собой сад, птичник, двор и большую часть моего дома. Тут я листаю когда одну книгу, когда другую, без всякой последовательности и определенных намерений, вразброд, как придется; то я предаюсь размышлениям, то заношу на бумагу или диктую, прохаживаясь взад и вперед, мои фантазии вроде этих.

Моя библиотека на третьем этаже башни. В первом — часовня, во втором — комната с примыкающей к ней каморкой, в которую я часто уединяюсь прилечь среди дня. Наверху — просторная гардеробная. Помещение, в котором я держу книги, было в прошлом самым бесполезным во всем моем доме. Теперь я провожу в нем большую часть дней в году и большую часть часов на протяжении дня. Ночью, однако, я тут никогда не бываю. Рядом с библиотекой есть довольно приличный и удобно устроенный нужник, который в зимнее время можно отапливать. И если бы я не страшился хлопот еще больше, чем трат, я мог бы легко добавить с обеих сторон на одном уровне с библиотекой по галерее длиной в сто и шириной в двенадцать шагов, ибо стены для них, возведенные до меня в других целях,

поднимаются до потребной мне высоты. Всякому пребывающему в уединении нужно располагать местом, где бы он мог прохаживаться.

Если я даю моим мыслям роздых, они сразу же погружаются в сон. Мой ум цепенеет, если мои ноги его не взбадривают. Кто познает не только по книгам, те всегда таковы. Моя библиотека размещена в круглой комнате, и свободного пространства в ней ровно столько, сколько требуется для стола и кресла; у ее изогнутых дугой стен расставлены пятиярусные книжные полки, и, куда бы я ни взглянул, отовсюду смотрят на меня мои книги. В ней три окна, из которых открываются прекрасные и далекие виды, и она имеет шестнадцать шагов в диаметре. Зимой я посещаю ее менее регулярно, ибо мой дом, как подсказывает его название, стоит на юру, и в нем не найти другой комнаты, столь же открытой ветрам, как эта; но мне нравится в ней и то, что она не очень удобна и находится на отлете, так как первое некоторым образом закаляет меня, а второе дает мне возможность ускользать от домашней сутолоки и суеты.

Это — мое пристанище. Я стремлюсь обеспечить за собой безраздельное владение им и оградить его от каких бы то ни было посяга-

тельств со стороны тех, кто может притязать на него в силу супружеских, семейных или общественных отношений. Повсюду, кроме как в нем, власть моя, в сущности, номинальна и стоит немногого. Жалок, по-моему, тот, кто не имеет у себя дома местечка, где бы он был и впрямь у себя, где мог бы отдаться личным заботам о себе или укрыться от чужих взглядов! За тщеславие нужно расплачиваться немалыми жертвами, ибо тех, кто одержим этой страстью, она заставляет быть всегда на виду, точно они — статуя на рыночной площади: Magna servitus est magna fortuna[487]. Даже уединение не приносит им одиночества. В том суровом образе жизни, которому предаются наши монахи, нет, на мой взгляд, ничего более тягостного, чем порядок, ставший, как видно, правилом в некоторых орденах, — я имею в виду постоянное сожительство всех в одном месте и присутствие многих при любом действии каждого из них. И я нахожу более предпочтительным пребывать всегда в одиночестве, чем не иметь возможности иногда остаться наедине с собою самим.

Кто заявляет, что видеть в музах только иг-

[487] Примечания: 487

Великая судьба — великое рабство (*лат.*). Сенека. *Утешение к Полибию,* 26.

рушку и прибегать к ним ради забавы означает унижать их достоинство, тот в отличие от меня, очевидно, не знает действительной ценности удовольствия, игры и забавы. Я едва не сказал, что преследовать какие-либо другие цели при обращении к музам смешно. Я живу со дня на день и, говоря по совести, живу лишь для себя; мои намерения дальше этого не идут. В юности я учился, чтобы похваляться своей ученостью; затем — короткое время — чтобы набраться благоразумия; теперь — чтобы тешить себя хоть чем-нибудь; и никогда — ради прямой корысти. Пустое и разорительное влечение к домашней утвари этого рода — я говорю о книгах, — направленное не только на удовлетворение потребности в знаниях, но на три четверти и на то, чтобы принарядиться и приукраситься в глазах окружающих, — такое влечение я уже давно поборол.

Книги (для умеющих их выбирать) обладают многими приятными качествами; но не бывает добра без худа; этому удовольствию столь же не свойственны чистота и беспримесность, как и всем остальным; у книг есть свои недостатки, и притом очень существенные; читая, мы упражняем душу, но тело, которое я также не должен оставлять своими заботами, пребывает в это

время в бездействии, расслабляется и поникает. Я не знаю излишеств, которые были бы для меня губительнее и которых на склоне лет мне следует избегать с большей старательностью.

Вот три моих излюбленных и предпочитаемых всему остальному занятия. Я не упоминаю о тех, которыми я служу обществу во исполнение моего гражданского долга.

Глава IV
Об отвлечении

Однажды мне пришлось утешать одну и впрямь огорченную даму — ведь в большинстве случаев их горести искусственны и наигранны:

> *Uberibus semper lacrimis, semperque paratis*
> *In statione sua, atque exspectantibus illam,*
> *Quo iubeat manare modo*[488].

Кто противодействует этой страсти, тот поступает весьма неразумно, ибо противодействие лишь раздражает их и усиливает их печаль; заводя спор, только обостряешь их горе. Мы замечаем на примере наших повседневных разговоров, что вздумай кто-нибудь возражать сказанному мной походя, тому, чему я сам не придавал никакого значения, я тотчас же становлюсь на дыбы и принимаюсь пылко отстаивать каждое мое слово; и я делаю это еще более горячо, когда речь идет о

---

[488] Примечания: 488

И женщина проливает обильные слезы, которые у нее всегда наготове по всякому поводу или в ожидании повода к тому, чтобы их проливать (*лат.*). Ювенал, IV, 273 сл.

вещах, которые для меня и в самом деле важны. И потом, действуя подобным образом, вы начинаете рубить сплеча, с грубой неловкостью, а между тем врач, впервые приступая к лечению своего пациента, должен делать это изящно, весело и с приятностью для больного; и никогда безобразный и хмурый врач не преуспевает в своем ремесле. Итак, напротив, сначала нужно помочь страждущим излить свои жалобы, ласково выслушать их и выразить им свое сочувствие и полное понимание. С помощью этой уловки вы завоюете их доверие и сможете пойти дальше и, легко и неприметно отклоняясь в сторону, перейти затем к речам и более твердым, и более пригодным для исцеления тех, кто удручен своим горем.

Если вернуться ко мне, то, стремясь преимущественно к тому, чтобы не ударить лицом в грязь перед присутствующими, которые смотрели на меня в оба, я задумал немного прикрыть скорбь упомянутой дамы тонким слоем румян и белил. Ведь я хорошо знаю на опыте, насколько тяжела и неуклюжа у меня рука и как я беспомощен в увещаниях. Или мои доводы бывают слишком замысловатыми и слишком сухими, или я обрушиваю их слишком внезапно, или делаю это слишком небрежно. Разобравшись по истечении

какого-то времени в сути ее страданий, я не предпринял попытки избавить ее от них при помощи веских и убедительных доводов, то ли потому, что у меня их не было, то ли потому, что рассчитывал на больший успех, действуя по-иному; при этом я не остановил своего выбора ни на одном из тех способов, которые предписывает нам философия, когда требуется доставить кому-нибудь утешение; я не утверждал, как Клеанф, что горе, на которое она жалуется, совсем не несчастье, или, как перипатетики, что это не такая уж большая беда, или, как Хрисипп, что жаловаться на это и несправедливо, и отнюдь не похвально; я не советовал, как Эпикур, — хотя его способ крайне близок моему, — перенестись мыслью с вещей тягостных на приятные; я не следовал также Цицерону, полагавшему, что все эти доводы нужно свалить в одну кучу и пользоваться ими по мере надобности; но, отклоняя мало-помалу нашу беседу от ее основной темы и переводя постепенно на предметы сначала близкие, а затем, по мере того как я овладевал вниманием моей собеседницы, и на более отдаленные, я незаметно отвлек в сторону грустные мысли моей дамы, и она взяла себя в руки и оставалась спокойной, пока я был возле нее. Те, кто после меня принял на себя те

же заботы, не смогли обнаружить в ее состоянии никаких улучшений, и причина этого в том, что топор не добрался до корней ее скорби.

Я уже касался, пожалуй, одного вида отвлечений в общественной жизни. Что до использования отвлечений в борьбе с врагами, применявшихся Периклом в Пелопоннесской войне, а многими другими в иное время и при иных обстоятельствах, то в истории различных народов это вещь слишком частая.

Поистине хитроумной была уловка, с помощью которой сьер д'Эмберкур спас себя и других в Льеже, куда его послал державший льежцев в осаде герцог Бургундский, чтобы он принял город на уже заключенных условиях капитуляции. А льежцы, собравшись ночью для обсуждения этих условий, принялись роптать, недовольные достигнутым соглашением, и многие задумали расправиться с парламентерами, находившимися в их власти. Сьер д'Эмберкур, почуяв угрозу по первой волне людского потока, подступившей к дверям его дома и готовой обрушиться на него, тотчас же выслал к народу двух местных жителей (ибо при нем их было несколько), поручив им огласить в народном собрании новые и более мягкие предложения, придуманные им тут же на

месте ввиду грозившей опасности. Эти двое остановили первый шквал бури и повели за собой возбужденную толпу в ратушу, где бы их могли выслушать и обсудить принесенные ими вести. Обсуждение было кратким, и вот разражается второй шквал, столь же бешеный, как первый, и сьер д'Эмберкур опять шлет навстречу ему четырех новых столь же мнимых посредников, утверждавших, что на этот раз им поручено сообщить о более выгодных для льежцев условиях, которые им, несомненно, придутся по вкусу и которыми они будут довольны; благодаря этим посулам народ снова был завлечен на собрание. Короче говоря, теша горожан такими забавами, отвлекая их гнев и понуждая их расточать его в бесплодных спорах и обсуждениях, он в конце концов усыпил его и благополучно дождался наступления дня, что и было его главной задачей.

Нижеследующий вымысел повествует примерно о том же. Аталанта, дева выдающейся красоты и редких дарований, желая отделаться от множества поклонников, домогавшихся вступить с нею в брак, объявила, что возьмет в мужья только того, кто сравняется с нею в скорости бега, причем потерпевшие неудачу заплатят жизнью. Несмотря на рискованность столь жестокого

договора, нашлось немало таких, которые сочли подобную цену соразмерной с обещанною наградой. Иппомен, которому предстояло испытать свои силы последним, обратился к богине — покровительнице любовной страсти — и воззвал к ее помощи, и она, вняв его просьбе, дала ему три золотых яблока и научила, как их использовать. Состязание началось, и Иппомен, почувствовав, что владычица его сердца, следующая за ним по пятам, вот-вот нагонит его, как бы нечаянно роняет одно из упомянутых яблок. Девушка, восхищенная красотой яблока, не может превозмочь искушение и задерживается, чтобы поднять его,

> *Obstipuit virgo nitidique cupidine pomi*
> *Declinat cursus, aurumque volubile tollit*[489].

То же самое сделал он в нужный момент и во второй раз и в третий, пока не добился, при помощи этого обмана и отвлечения, преимущества в беге.

Когда врачи не могут справиться с воспалением, они отвлекают его и отводят в какую-нибудь

---

[489] Примечания: 489

Девушка обомлела: желание завладеть сверкающим яблоком задерживает ее бег, и она поднимает катящееся золото (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы,* I, 667 сл.

другую, менее опасную область нашего тела. Я заметил, что этот прием чаще всего применяется и при болезнях души.

Abducendus etiam nonnumquam animus est ad alia studia, solicitudines, curas, negotia; loci denique mutatione, tanquam aegroti non convalescentes, saepe curandus est[490]. По ее недугам мало кто бьет сплеча; приступы их не поддерживают и не пресекают, их стараются отвести и сгладить.

Противоположный способ — слишком возвышенный и трудный. Только люди высшей породы способны постигать вещь во всей ее наготе, отчетливо видеть ее и исчерпывающе судить о ней. Лишь Сократу дано лицезреть смерть, не меняясь в лице, одному ему — приручить ее, шутить с нею. Он не ищет утешения вне самой смерти; она для него естественное и обычное явление; он останавливает свой взгляд прямо на ней и решается на нее, не озираясь по сторонам. Ученики Гегесия, вдохновляясь красивыми речами своего учителя, побуждали себя умирать голодною смертью, и они делали это так часто, что царь

[490] Примечания: 490

Иногда следует развлекать душу необычными для нее занятиями, волнениями, заботами, делами: наконец, нужно прибегать к перемене места, как поступают с больными, чей недуг не поддается исцелению (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* IV, 35.

Птолемей запретил ему услаждать свою школу этими человекоубийственными речами, — так вот, эти ученики Гегесия жаждали смерти не самой по себе и нисколько не задумывались над ее сущностью; не на ней останавливали они свою мысль; они торопились, они стремились к иному, новому существованию. А бедняги, которых мы иногда видим на эшафоте! Эти полны пылкой набожности; они отдают ей, по мере возможности, все свои чувства; превратившись в слух, они жадно ловят обращенные к ним напутствия, и, воздев к небу глаза и руки, возвысив голос в громких молитвах, охваченные суровым и неослабным волнением, они, конечно, являют пример отменно похвальный и подобающий их горькой участи. Их следует хвалить за религиозное рвение, но отнюдь не за твердость духа. Они бегут от борьбы; они не хотят думать о смерти и во многом напоминают детей, которых всячески забавляют, чтобы тем временем вскрыть им нарыв. Я наблюдал осужденных на казнь и видел, как их взгляд, опускавшийся порою на расставленные рядом ужасные орудия смерти, тотчас же отвращался от них, и они в исступлении заставляли себя перенестись мыслью на любые другие предметы. Переправляющимся через грозную

пропасть велят зажмуриваться или отводить от нее глаза.

Субрий Флавий был осужден Нероном на смерть, и умертвить его должен был своей рукою Нигер — и тот и другой были римскими военачальниками. Когда Флавия привели к месту казни, то, увидев безобразную яму с кривыми краями, вырытую для него по приказанию Нигера, он, повернувшись к присутствующим тут воинам, произнес: «Даже это сделано не по уставу», а Нигеру, обратившемуся к нему с увещанием держать голову твердо, сказал: «Обо мне не заботься. Лишь бы ты поразил меня с такой же твердостью!» И он предугадал правильно, потому что у Нигера тряслись руки, и он отрубил Флавию голову лишь после нескольких повторных ударов. Вот человек, который, как видно, и впрямь сосредоточенно думал о своей смерти и ни о чем больше.

Кто умирает в схватке, не выпуская из рук оружия, тот не присматривается заранее к смерти, не ощущает ее и не помышляет о ней: его увлекает боевой пыл. Один из моих знакомых, человек порядочный и правдивый, упав однажды во время поединка, зная, что его противник, пока он лежал на земле, нанес ему девять или десять ударов

кинжалом, и слыша, как он сам впоследствии мне рассказывал, голоса окружающих, наперебой умолявших его позаботиться о своей душе, не придавал этим крикам никакого значения и думал только о том, как бы вскочить на ноги и отомстить за себя. И он убил своего противника в этом же поединке.

Большую услугу оказал Луцию Силану тот, через кого ему была объявлена весть о его осуждении: услышав ответ Силана, что он готов умереть, но только не от преступной руки, этот глашатай императорской воли вместе со своими воинами устремился к Силану, чтобы схватить его, и так как тот упорно сопротивлялся, пустив в ход кулаки и ноги, убил его в этой борьбе; вызвав в нем внезапно вспыхнувший бурный гнев, он избавил его, таким образом, от тягостной мысли об уготовленной ему медленной и мучительной смерти.

В таких обстоятельствах мы всегда думаем о чем угодно, но не о ней: нас тешат и поддерживают надежды на иную, лучшую жизнь, или надежды, возлагаемые нами на наших детей, или предвкушение будущей славы нашего имени, или мысль о том, что мир, который мы покидаем, — не более как юдоль скорби, или мечты о возмездии, угрожающем тем, кто причиняет

нам смерть,

> *Spero equidem mediis, si quid pia numina possunt,*
>
> *Supplicia hausurum scopulis, et nomine Dido*
>
> *Saepe vocaturum…*
>
> *Audiam, et haec manes veniet mihi fama sub imos*[491].

Когда Ксенофонту сообщили о гибели в битве при Мантинее его сына Грилла, он, с венком на голове, приносил жертвы богам. Ошеломленный этим известием, он швырнул венок наземь, но затем, слушая повествование о происшедшем и постигнув, что эта смерть была поистине героической, поднял его и снова надел на голову.

Даже Эпикур — и он также — утешал себя перед своей кончиною мыслями о вечности и полезности написанных им сочинений. Omnes clari et nobilitati labores fiunt tolerabiles[492]. И Ксенофонт

---

[491] Примечания: 491

Я надеюсь, что если справедливые боги и в самом деле могущественны, то ты погибнешь, разбившись на скалах, не раз поминая имя Дидоны; я узнаю об этом, ибо слух о свершившемся дойдет до меня и в обители теней (*лат.*). *Энеида,* IV, 382–384 и 387.

[492] Примечания: 492

Трудности, доставляющие известность и славу, переносятся с легкостью (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* II, 26.

говорит, что точно такая же рана и такие же трудности и лишения тяготят полководца не в пример меньше, чем воина. Узнав, что победа осталась за ним, Эпаминонд воспрянул духом и принял смерть с поразительной твердостью. Haec sunt solatia, haec fomenta summorum dolorum[493]. И бесчисленные схожие с этими обстоятельства уводят, отвлекают и избавляют нас от размышлений о смерти как таковой.

Даже доводы философии лишь слегка прикасаются к ней, не добираясь до ее сущности и едва скользя по ее оболочке. Первейший мыслитель первейшей из всех философских школ, главенствующей над всеми другими, великий Зенон, понося смерть, сказал следующее: «Ни одно зло не заслуживает уважения; смерть заслуживает его; стало быть, она вовсе не зло»; а понося пьянство — следующее: «Никто не вздумает доверять свою тайну пьянице; всякий доверяет ее лишь разумному человеку; стало быть, разумный человек не может быть пьяницей». Бьют ли подобные доводы в цель? Мне приятно видеть, что эти образцовые души не могут отделаться от иных свойств, роднящих их с нами.

---

[493] Примечания: 493

В этом утешение, в этом облегчение при величайших страданиях (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* II, 24.

Сколь бы совершенными людьми они ни были, это, однако ж, всего-навсего люди и ничего больше.

Жажда мщения — страсть в высшей степени сладостная; ей свойственно некоторое величие, и она вполне естественна; я очень хорошо это вижу, хотя личного знакомства мы с нею и не свели. Чтобы отвлечь от нее одного юного государя, — это случилось совсем недавно, — я не стал распространяться о том, что ударившему вас по одной щеке следует смирения ради подставить другую; не стал я ему пересказывать и всевозможные трагические события, изображаемые поэтами, как следствия этой страсти. Обо всем этом я не обмолвился ни словечком и стремился только к тому, чтобы научить его чувствовать красоту совершенно иной картины, рисуя ему почет, любовь и благожелательность, которых он может достигнуть, проявляя снисходительность и доброту; и я отвратил его от тщеславия. Вот как делаются такие дела.

Если вас охватывает чрезмерно пламенная влюбленность, вам советуют рассеять ее; и советуют вполне правильно, в чем я не раз и с пользою для себя убеждался на опыте; распределите ее между несколькими желаньями, одно

из которых, если вы того захотите, может быть главным и основным, но из опасения, как бы оно не заслонило все остальные и безраздельно не властвовало над вами, ослабляйте и сдерживайте это желание, деля и отвлекая его все снова и снова:

> *Cum morosa vago singultiet inguine vena,*
> *Coniicito humorem collectum in corpora quaeque*[494].

И подумайте об этом заранее, чтобы не оказаться в беде, если оно еще раз нахлынет на вас,

> *Si non prima novis conturbes vulnera plagis,*
> *Volgivagaque vagus venere ante recentia cures*[495].

Однажды в дни молодости мне пришлось пережить сильное, чрезмерное для моей души огорчение, и оно было не только сильным, но — что важнее всего — и глубоко обоснованным;

---

[494] Примечания: 494

Когда в тебе вспыхнет буйное и неудержимое желание, излей накопившуюся жидкость в любое тело (*лат.*). Персий, VI, 73 и Лукреций, IV, 1065.

[495] Примечания: 495

Если ты не заглушишь свои первые раны новыми, если их, еще свежие, не излечишь легко доступной любовью (*лат.*). Лукреций, IV, 1070 сл.

положись я тогда попросту на свои силы, я бы, пожалуй, не выдержал. Нуждаясь, чтобы рассеяться, в каком-нибудь способном захватить меня отвлечении, я заставил себя, призвав на помощь рассудок и волю, влюбиться, чему немало помог мой возраст. Любовь облегчила меня и развеяла скорбь, причиненную дружбой. И повсюду мы наблюдаем все то же: меня одолевает какое-нибудь неприятное представление; я нахожу, что заменить его новым много проще, чем его побороть; и, если я не могу заместить его представлением противоположного свойства, я все же замещаю его каким-либо другим. Разнообразие всегда облегчает, раскрепощает и отвлекает.

Если я не могу одолеть засевшее во мне неприятное представление, я стараюсь улизнуть от него и, убегая, петляю из стороны в сторону, пускаюсь на всевозможные хитрости; переезжая с места на место, меняя занятия, общество, я спасаюсь в сумятице иных развлечений и мыслей, и так несносное представление теряет мой след, и я окончательно ухожу от него.

Корни этого — во вложенном в нас самою природой благодетельном непостоянстве, ибо время, приставленное к нам ею в качестве врача-исцелителя наших страстей, достигает успеха

в их лечении главным образом тем, что, давая нашему воображению все новую и новую пищу, расчленяет и нарушает наше первоначальное восприятие, сколь бы острым оно в свое время ни было. Мудрец по прошествии двадцати пяти лет столь же явственно видит своего друга в момент его смерти, как и в течение первого года после его кончины; и, согласно объяснению Эпикура, он видит его не менее явственно именно потому, что нисколько не смягчал горестности этой утраты ни тогда, когда предвидел ее, ни по прошествии многих лет после нее. Но столько прочих раздумий наслоилось на это воспоминание, что оно потускнело и в конце концов отошло вдаль.

Стремясь отвести от себя сплетни и пересуды, Алкивиад отсек своей великолепной собаке уши и хвост и в таком виде выпустил ее на городской рынок, с тем чтобы народ, получив отличную тему для болтовни, оставил в покое прочие его действия и поступки. И я также видел, как некоторые женщины, с той же целью — отвести от себя всевозможные домыслы и догадки и сбить с толку судачащих на их счет, прикрывали свои истинные любовные чувства чувствами поддельными и наигранными. Но я знал среди них и такую, которая в притворстве своем зашла так

далеко, что искренне увлеклась вымышленною страстью и забыла о своей истинной и изначальной любви ради притворной; и пример этой дамы воочию убедил меня, что когда те, кому повезло в любовных делах, соглашаются на подобную маскировку, они ведут себя не лучше отъявленных простаков. Неужели вы думаете, что после того как встречи и разговоры на людях становятся исключительным правом такого мнимого воздыхателя, он окажется настолько неловким, что не займет в конце концов вашего места и не оттеснит вас на свое? Это не что иное, как кроить и тачать башмаки, чтобы их обул кто-то другой.

Любая безделица отвлекает и уводит в сторону наши мысли, ибо задерживает их на себе тоже безделица. Мы никогда не видим предмета полностью и в отдельности; наше внимание останавливают на себе окружающая его обстановка или его несущественные, приметные с первого взгляда особенности и та тончайшая оболочка, в которую он заключен и которую сбрасывает с себя точно так же,

Folliculos ut nunc teretes aestate cicadae

Linquunt[496].

Даже Плутарх — и он, — оплакивая умершую дочь, распространяется о ее детских проказах. Нас печалят воспоминания о прощании, о какомнибудь поступке умершего, поразительной его примиренности перед кончиной, о последнем его поручении. Тога Цезаря взволновала весь Рим, чего не сделала его смерть. То же самое можно сказать и о горестных восклицаниях, которыми прожужжали нам уши: «О, мой бедный учитель!», или «О, бесценный друг мой!», или «Увы! мой любимый отец!», или «Моя милая дочь!», и, когда моего слуха касаются все эти извечные повторения и я приглядываюсь к ним ближе, я прихожу к выводу, что это — стенания, можно сказать, грамматические и чисто словесные. Меня задевает слово и тон, которым оно произносится. И все это — совсем как те выкрики, которыми проповедники часто пронимают свою паству гораздо сильнее, нежели увещаниями и доводами, или как жалобный вой и визг убиваемого нам в пищу животного; во всех этих случаях я не оцениваю по-настоящему и не постигаю истинной сущно-

[496] Примечания: 496

Как цикады, сбрасывающие с себя летней порой гладкую кожицу (*лат.*). Лукреций, V, 803 сл.

сти предмета или явления.

His se stimulis dolor ipse lacessit[497].

Таковы основания наших горестей и печалей.

Упорство моих камней, особенно при их прохождении по детородному члену, не раз причиняло мне длительную задержку мочи на три, на четыре дня, и я бывал так близок к смерти, что надеяться улизнуть от нее или даже попросту желать этого было чистым безумием — настолько невыносимы боли, вызываемые этим недугом. До чего же великим докой в искусстве мучительства и истязаний был добрый тот император, который приказывал туго-натуго перевязывать детородный член осужденным на смерть, дабы они умирали от невозможности помочиться. Пребывая в таком состоянии, я имел случай отметить, сколь легковесными доводами и какой чепухой пичкало меня мое воображение, побуждая сожалеть о расставании с жизнью; из каких мельчайших крупиц складывалось в моей душе представление о значительности и трудности этого переселения; сколькими вздорными мыслями занимаем мы наше внимание, готовясь к

[497] Примечания: 497
Этими уколами скорбь сама себе не дает покоя (*лат.*). Лукан, II, 42.

столь важному делу: собака, лошадь, книга, кубок — и чего-чего тут только не было! — включались мною в список моих потерь. Другие вносят в него свои честолюбивые чаяния, свой кошелек, свои знания, что, на мой взгляд, не менее глупо. Пока я рассматривал смерть отвлеченно, как конец жизни, я смотрел на нее довольно беспечно; в целом я не даю ей спуску, но в мелочах — она положительно подавляет меня. Слезы слуги, распределение остающихся после меня носильных вещей, прикосновение знакомой руки, всеобщие утешения расслабляют меня и приводят в отчаяние.

Вот почему волнуют нам душу и жалобы вымышленных героев, а стенания Дидоны и Ариадны трогают даже тех, кто, читая о них у Вергилия и Катулла, не верит тому, что они и вправду существовали на свете. Если мы вспомним даже о Полемоне, о котором рассказывают как о своего рода чуде и которого называют в качестве примера полнейшей бесчувственности и душевной неуязвимости, то не побледнел ли также и Полемон, когда его всего-навсего укусила злая собака, вырвавшая у него на ноге кусок мяса. И никакая мудрость не простирается так далеко, чтобы постигнуть рассудком причину

столь живой и глубокой скорби, возрастающей в еще большей мере при непосредственном наблюдении того или иного горестного события: ведь наблюдают наши глаза и уши — органы, способные отзываться лишь на внешнее и, стало быть, наименее существенное в явлении.

Справедливо ли, что даже искусства используют вложенные в нас самою природою легковерие и слабоумие и извлекают из них свои выгоды? Оратор, как утверждает риторика, лицедействуя в фарсе, именуемом его судебною речью, будет тронут звучанием своего голоса и своим притворным волнением и в конце концов даст обмануть себя страсти, которую старается изобразить. Он проникнется подлинной и нешуточною печалью, порожденною в нем фиглярством, нужным ему, чтобы заразить ею и судей, которым до нее еще меньше дела, чем ему самому. Подобное творится и с теми, кого нанимают для участия в похоронах с целью усугубить горестность этой торжественной церемонии и кто продает свои слезы и скорбь мерой и весом; ведь, несмотря на то что в выражении своего горя эти люди ограничиваются простым подражанием установленным образцам, все же, как достоверно известно, приноравливаясь и понуждая себя к

определенному поведению, они нередко с таким усердием предаются этому занятию, что впадают в неподдельную скорбь.

Мне пришлось в числе нескольких друзей господина де Граммона, убитого при осаде Ла-Фер, сопровождать его тело из лагеря осаждающих в Суассон. Во время этой поездки я заметил, что, где бы ни проходила наша процессия, народ повсюду встречал ее с причитаниями и плачем и что их вызывало лишь впечатление, производимое нашим печальным шествием, ибо в толпе не знали покойного даже по имени.

Квинтилиан говорит, что ему доводилось видеть актеров, настолько сживавшихся со своей ролью людей, охваченных безысходною скорбью, что они продолжали рыдать и возвратившись к себе домой; и о себе самом он рассказывает, что, задавшись целью заразить кого-нибудь сильным чувством, он не только заливался слезами, но и лицо его покрывала бледность, и весь его облик становился обликом человека, отягощенного настоящим страданием.

В одной местности у подножия наших гор деревенские женщины уподобляются тем священникам, которые одновременно исполняют свои обязанности и сами себе отвечают за пев-

чего, ибо, бередя в себе тоску об умершем муже перечислением всех его добрых и приятных им качеств, они вместе с тем вспоминают и оглашают во всеуслышание и его пороки, и недостатки, делая это как бы ради того, чтобы уравновесить вторыми первые и отвлечь себя от скорби к презрению; и они поступают не в пример лучше нас, когда мы стараемся изо всех сил в случае смерти едва известного нам человека воздать ему впервые пришедшие нам на ум и притом фальшивые похвалы: не видя его больше среди живых, мы превращаем его в совершенно иное существо по сравнению с тем, каким он нам представлялся, когда мы его видели среди нас, как если бы сожаление открыло нам в нем нечто такое, чего мы прежде не знали, и слезы, омыв наш рассудок, просветили его. Я наперед отказываюсь от любых похвал, которыми пожелают осыпать меня не потому, что я их заслужил, но потому, что я буду мертв.

Если спросить кого-либо из осаждающих крепость: «Что вам в этой осаде?» — он, конечно, ответит: «Решительно ничего, но я должен подавать пример остальным и повиноваться, как все, моему государю. Я не ищу никакой личной выгоды; что же до славы, то я очень хорошо понимаю,

сколь ничтожная крупица ее может выпасть на долю столь ничтожной особы, как я; и я не ощущаю в себе ни страсти, ни озлобления». Но взгляните на него следующим утром, и вы обнаружите, что перед вами совсем другой человек, что он весь кипит, бурлит и багровеет от гнева, стоя в своем ряду и готовый идти на приступ; это блеск повсюду сверкающей стали, и огонь, и грохот наших пушек и барабанов вселили в него такую непримиримость и ненависть. «Нелепейшая причина!» — скажете вы на это. Какая уж там причина! Чтобы возбудить нашу душу, и не требуется никаких причин: бесплотные и беспредметные образы безраздельно владеют ею и возбуждают ее. Едва я принимаюсь строить воздушные замки, как мое воображение преподносит мне радости и удовольствия, которые по-настоящему задевают и веселят мою душу. До чего же часто заволакивается наш ум гневом или печалью, которые насылает на нас какая-нибудь тень, и мы предаемся выдуманным страстям, действительно будоражащим нам и душу и тело! Какие только гримасы — удивления, смеха, смущения — не вызывают грезы на наших лицах! Какие судорожные движения в наших членах и какое волнение в голосе! Не кажется ли вам, что

этот пребывающий в одиночестве человек видит перед собою призрачную толпу людей и ведет с ними какие-то разговоры или что он одержим внутренним демоном, не оставляющим его ни на мгновенье в покое? Задайте себе вопрос, где же, собственно, то, что вызвало в нем эти изменения, и есть ли в природе еще что-нибудь, кроме нас, что питалось бы пустотой и над чем она была бы всесильна?

Камбиз велел умертвить своего брата лишь потому, что ему приснилось, будто тот должен стать персидским царем, а это был брат, которого он любил и которому всегда доверял! Аристодем, царь мессенцев, наложил на себя руки из-за сущего вздора, который он считал роковым предзнаменованием, — он совершил это лишь из-за того, что по какой-то невыясненной причине выли его псы. А царь Мидас сделал то же, встревоженный и испуганный неким тягостным сном, который ему привиделся. Лишить себя жизни из-за сновидения — значит и вправду ценить ее ровно во столько, сколько она стоит в действительности!

А теперь выслушайте, пожалуй, как издевается наша душа над беспомощностью тела, над его немощностью, над тем, что оно подвержено

всевозможным напастям и изменениям: она и впрямь имеет основание говорить обо всем этом!

O prima infelix fingenti terra Prometheo!
Ille parum cauti pectoris egit opus. Corpora disponens, mentem non vidit in arte;
Recta animi primum debuit esse via[498].

[498] Примечания: 498

О глина, столь неудачно изваянная Прометеем! Свое произведение он создал очень небрежно; соразмеряя члены, он не думал о духе, тогда как начать ему подобало с души (*лат.*). Проперций, III, 5, 7—10.

Глава VI
О средствах передвижения

Нетрудно удостовериться, что большие писатели, перечисляя причины того или иного явления, не ограничиваются теми из них, которые они сами считают подлинными, но наряду с ними приводят также причины, не внушающие доверия и им самим, лишь бы они привлекали внимание и казались правдоподобными. Они говорят достаточно правдиво и с пользою, если говорят умно. Мы не имеем возможности установить главную и основную причину; мы сваливаем их в одну кучу в надежде, что, быть может, случайно в их числе окажется и она,

> *namque unam dicere causam*
>
> *Non satis est, verum plures, unde una tamen sit*[499].

Вы спросите меня, откуда берет начало обычай желать здоровья чихающим? Мы производим

---

[499] Примечания: 499

Ибо указать одну-единственную причину недостаточно: нужно указать многие, из которых одна и окажется подлинной (*лат.*). Лукреций, VI, 703 сл.

три вида ветров: тот, который исходит низом, слишком непристоен; исходящий из нашего рта навлекает на нас некоторый упрек в чревоугодии; третий вид — это чихание; и так как оно исходит из головы и ничем не запятнано, мы и оказываем ему столь почетную встречу. Не потешайтесь над этими тонкостями; говорят, что они принадлежат Аристотелю.

Кажется, я прочел у Плутарха (а он лучше всех известных мне авторов умеет сочетать искусство с природою и рассуждение с знанием), там, где он разъясняет причину тошноты, возникающей у путешествующих по морю, что она вызывается у них якобы страхом, ибо, опираясь на некоторые доводы, Плутарх доказывает, что страх может производить подобные действия. Что до меня, то, весьма подверженный ей, я хорошо знаю, что это объяснение на меня отнюдь не распространяется, и я знаю это не умозрительно, а по своему личному опыту. Не стану приводить здесь того, о чем мне рассказывали, а именно, что морскою болезнью так же часто страдают животные, и особенно свиньи, хотя они, разумеется, не имеют ни малейшего представления об опасности, не стану передавать и рассказ одного из моих знакомых, также очень подверженного этой болезни, о том,

как у него раза два или три бесследно проходили позывы ко рвоте, подавленные обуявшим его во время разыгравшейся бури ужасом, совсем как у некоего древнего автора: Peius vexabar quam ut periculum mihi succurreret[500], укажу лишь на то, что, находясь на воде, как, впрочем, и в любых других обстоятельствах, я никогда не испытывал страха (а у меня было немало случаев, когда он был бы вполне оправдан, если грозящая тебе гибель — достаточное для него оправдание), который хотя бы немного меня смутил или заставил потерять голову. Иногда он рождается столько же от недостатка благоразумия, сколько от недостатка мужества. Всем опасностям, с которыми я сталкивался лицом к лицу, я всегда открыто смотрел в глаза взглядом ясным, зорким и ничем не стесненным; чтобы бояться, тоже потребна храбрость. И однажды это мне очень помогло, когда я бежал, ведя за собой моих людей и сохраняя во время бегства порядок, не в пример лучший, чем у других; бежали мы не то чтобы не зная боязни, но, во всяком случае, не объятые ужасом и не сломя голову; мы были, конечно, встревожены, но не ошалели от страха и не утратили

[500] Примечания: 500

Я слишком мучился, чтобы мне приходила в голову мысль об опасности (*лат.*). *Письма,* 53, 3.

способности соображать.

Люди великой души идут в этом гораздо дальше, и, если им приходится обращаться в бегство, они проявляют при этом не только сдержанность и уравновешенность, но, сверх того, даже гордость. Приведем рассказ Алкивиада о бегстве Сократа, его товарища по оружию: «Я увидел его, — говорит Алкивиад, — после поражения нашего войска, его и Лахеса, среди последних в толпе беглецов; я мог рассмотреть его спокойно и неторопливо, потому что был на хорошем коне, а он пешим, как мы и сражались в бою. Прежде всего я заметил, насколько в нем, по сравнению с Лахесом, больше рассудительности и решимости; затем я обратил внимание на непринужденность его походки, нисколько не отличавшейся от обычной, на его взор, твердый и сосредоточенный, на то, как он непрерывно наблюдал за происходившим вокруг и оценивал положение, обращая взгляд то на одних, то на других, на друзей и врагов, и ободряя им первых и предупреждая вторых, что он дорого продаст свою кровь и свою жизнь, если кому-нибудь вздумается на них посягнуть; так они и спаслись, ибо никто не жаждет напасть на подобного беглеца; гонятся только за обезумевшими от страха». Таково свидетельство

этого великого полководца, и от него мы слышим о том же, в чем убеждаемся на каждом шагу, а именно, что наибольшие опасности навлекает на нас именно неразумное стремление поскорее от них уйти. Quo timoris minus est, eo minus ferme periculi est[501]. Наш народ не прав, когда говорит, что такой-то боится смерти, в то время как хочет выразить в этих словах, что такой-то размышляет о ней и ее предвидит. Предвидение может равно относиться и к тому, что для нас зло, и к тому, что благо. Рассматривать и оценивать угрожающую опасность означает до некоторой степени не бояться ее.

Я не чувствую в себе достаточно сил, чтобы выдержать удары и натиск страсти, именуемой страхом, или какой-либо другой, столь же могущественной, как эта. Если бы она одолела меня и повергла наземь, я бы уже никогда не встал как следует на ноги. Кто сдвинул бы мою душу с того основания, на которое она опирается, тот никогда бы не смог водворить ее на прежнее место; она слишком рьяно исследует себя и в себе копается и никогда бы не дала зарубцеваться и зажить нанесенной ей ране. Какое счастье, что пока еще ни

[501] Примечания: 501

Обычно чем меньше испытываешь страх, тем меньше опасности (*лат.*). Тит Ливий, XXII, 5.

одна болезнь не проделала этого с моей душой! При всяком совершаемом на меня нападении я встречаю его и сопротивляюсь ему, облаченный во все доспехи; это значит, что, окажись я побитым, у меня не останется никаких средств к обороне. Я ничего не держу про запас, и, в каком бы месте наводнение ни прорвало мою плотину, я окажусь беззащитным и утону окончательно и бесповоротно. Эпикур говорит, что мудрый не может превратиться в безмозглого. Что до меня, то я считаю справедливой и изнанку этого изречения, а именно: кто хоть раз был по-настоящему глупым, тот никогда не станет по-настоящему мудрым.

Господь дает каждому крест по силам его — а мне он дал страсти по моим возможностям справиться с ними. Природа, обнажив меня с одной стороны, прикрыла с другой; лишив меня оружия силы, она вооружила меня нечувствительностью и ограниченной или притупленной восприимчивостью.

Так вот, я плохо переношу (а в молодости переносил еще хуже) длительную поездку в карете, конных носилках или на судне; я ненавижу всякий другой способ передвижения, кроме езды верхом, как в городе, так и среди полей. Впрочем,

носилки для меня еще несноснее, чем карета, и по той же причине я легче переношу сильное волнение на воде, вселяющее в нас страх, чем небольшое покачивание, ощущаемое нами при тихой погоде. От легких толчков, производимых веслами и словно бы вырывающих из-под нас лодку, я начинаю ощущать какое-то замешательство в голове и желудке, и я не выношу этого так же, как когда подо мной шаткое кресло. Но если судно, на котором я нахожусь, плавно уносят паруса или течение, или его ведут на буксире, однообразное покачивание этого рода на меня совершенно не действует; раздражает меня только прерывистое движение, и тем больше, чем оно медленнее. Лучше и обстоятельнее обрисовать его я не могу. Врачи велели мне стягивать тугой перевязкой низ живота, уверяя, что в таких случаях это хорошее средство; однако я ни разу не воспользовался этим их указанием, так как привык бороться с присущими мне недостатками и справляться с ними, ни к кому не обращаясь за помощью.

Будь моя память не такой немощной, я бы не пожалел времени, чтобы пересказать здесь все то, что сообщает история о бесконечно разнообразном использовании боевых колесниц, у

всякого народа и во всякий век имевших свои особенности в устройстве, и насколько они были полезны и, как мне кажется, даже необходимы; так что просто диву даешься, что мы утратили о них всякое представление. Я опишу только ту их разновидность, что совсем недавно, на памяти наших отцов, была с большим успехом применена венграми против турок; в каждой из таких колесниц помещались один щитоносец и один стрелок, и в ней было известное количество установленных, изготовленных к стрельбе и заряженных аркебуз; вся она со всех сторон была покрыта щитами, как это делается на галиотах. Венгры выстраивали на поле сражения лицом к неприятелю тысячи таких колесниц и по пушечному сигналу высылали вперед, чтобы они обрушили на противника, прежде чем начнут действовать в его гуще, залп своих аркебуз, что бывало для него не очень-то приятным задатком; или бросали эти свои колесницы на эскадроны врага, чтобы прорвать их и сделать в них брешь, не говоря уже о той помощи, которую извлекали из них, прикрывая с флангов в уязвимых местах войска, передвигавшиеся по открытому полю, или обороняя и спешно укрепляя полевой лагерь. В мое время некий дворянин, проживавший

поблизости от одной из наших границ, калека и до того тучный, что для него нельзя было подобрать лошадь, способную выдержать его вес, опасался мести со стороны человека, с которым у него произошла ссора, и потому разъезжал по округе в повозке, похожей на колесницы описанного устройства, и находил ее очень удобной. Но довольно об этих боевых колесницах. Короли нашей первой династии ездили по стране в колымаге, которую тащили две пары быков.

Марк Антоний первым пожелал прокатиться по Риму вместе с сопровождавшей его флейтисткой в колеснице, влекомой четырьмя львами. Впоследствии то же повторил и Элагабал, утверждая, что он — Сивилла, праматерь богов, а в другой раз, когда в колесницу были впряжены тигры, он изображал бога Вакха; иногда он также запрягал в свою колесницу пару оленей; однажды его везли четыре собаки, а еще как-то раз он приказал, чтобы его, совсем голого, торжественно провезли четыре обнаженные женщины. Император Фирм повелел впрячь в его колесницу страусов поразительной величины, так что казалось, будто она скорее летит по воздуху, чем катится по земле. Причудливость этих выдумок внушает мне следующую, не менее причудливую

мысль: стремление монархов возвеличиться в глазах окружающих, постоянно приковывать к себе внимание непомерными тратами есть род малодушия и свидетельствует о том, что эти государи не ощущают по-настоящему, что именно они собой представляют. Это — вещь простительная для государя, пребывающего в чужих краях, но поступать таким образом, когда он среди своих подданных, где ему все подвластно и все позволено, — значит низводить свое достоинство с наивысшей ступени почестей, какая только ему доступна. Точно так же и дворянину незачем, по-моему, особенно тщательно одеваться, когда он в своем кругу; его дом, образ жизни, кухня достаточно говорят за него.

Мне кажется не лишенным основания тот совет, который Исократ преподал своему государю. А сказал он ему вот что: пусть у него будет великолепная домашняя утварь и соответствующая посуда, ибо потраченные на это средства не вылетают на ветер, — все эти вещи останутся в наследство его преемникам; но пусть он вместе с тем избегает расходов на такие роскошества, которые тотчас выходят из употребления и улетучиваются из памяти.

Пока я жил на положении младшего сына, я

любил щегольнуть своими нарядами за невозможностью щеголять чем-либо другим, и это мне было на пользу: это бывает на пользу всем тем, кому идет красивое платье. Нам известны рассказы о поразительной бережливости наших королей в расходовании средств на себя и на подарки, — королей, великих своею славой, доблестью и удачливостью в делах. Демосфен с крайним ожесточением нападает на тот закон своего города, которым предусматривалось использование общественных денег на устройство торжественных игр и празднеств; он хотел бы, чтобы величие его города находило свое выражение в многочисленности хорошо снаряженного флота и в сильном, хорошо вооруженном войске.

И Теофраста не без оснований порицают за то, что в своем сочинении о богатстве он выдвигает противоположное мнение и утверждает, что траты подобного рода — естественный и неизбежный плод изобилия. Но эти удовольствия, говорит Аристотель, нравятся только самой низменной черни, и ни один положительный и здравомыслящий человек не придает им ни малейшей цены. Расходование всех этих средств, как мне кажется, было бы более под стать королям и более полезным, действенным и оправданным, если бы они

шли на постройку портов, гаваней, укреплений и городских стен, на роскошные здания, церкви, госпитали, учебные заведения, на благоустройство улиц и дорог; именно благодаря всему этому папа Григорий XIII в мое время оставил по себе благодарную память, и на все это наша королева Екатерина распространяла бы в течение долгих лет свою врожденную щедрость и свое стремление благотворительствовать, если бы ее средства были достаточны для удовлетворения ее пожеланий. Судьба преподнесла мне сильное огорчение, прервав работы над сооружением в нашей великой столице замечательного Нового Моста и отняв у меня надежду дожить до того времени, когда его откроют для общего пользования.

Кроме того, подданным, зрителям всех этих торжеств, кажется, что перед ними выставляют напоказ их же собственные богатства и что их потчуют празднествами за их собственный счет. Ибо народы смотрят в этом отношении на своих королей совсем так же, как мы — на услужающих нам, а именно: они должны взять на себя заботу о том, чтобы доставлять нам в изобилии все, что нам нужно, но никоим образом не должны уделять себе хотя бы крупицу из всего этого. И император Гальба, получив во время ужина удо-

вольствие от игры одного музыканта и повелев принести свой ларец, дал ему целую пригоршню извлеченных им оттуда золотых монет и сказал: «Это не государственное, это лично мое». Как бы там ни было, но чаще случается, что народ прав и что его глаза насыщают тем, чем ему полагалось бы насыщать свое брюхо. Щедрость в руках королей — не такое уж блестящее качество; частные лица имеют на нее больше права, ибо, в сущности, у короля нет ничего своего: он сам принадлежит своим подданным.

Судье вручается судебная власть не ради его блага, а ради блага того, кто ему подсуден. Высшего назначают не ради его выгоды, а ради выгоды низшего; врач нужен больному, а не себе. Цели, преследуемые как всякою властью, так равно и всяким искусством, пребывают не в них, а вне их: nulla ars in se versatur[502].

Вот почему наставники будущих государей, стараясь вложить в них с раннего детства пресловутую добродетель щедрости и внушая им, чтобы они никогда не отказывали в денежных просьбах и считали, что нет расходов полезнее, чем расходы на дары и раздачи (наставление, в

[502] Примечания: 502

Ни одно искусство не замыкается в себе самом (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* V, 6.

мое время считавшееся чрезвычайно разумным), или думают больше о своей выгоде, чем о выгоде своего господина, или не понимают того, о чем говорят. Очень легко приучить к щедрости того, кто может проявлять ее за чужой счет, сколько бы ему ни заблагорассудилось. И поскольку ее ценность определяется не размерами дара, а размерами доходов дарителя, щедроты, расточаемые столь могущественными руками, стоят немногого. Юные принцы превращаются в расточителей прежде, чем становятся щедрыми. По сравнению с другими королевскими добродетелями от щедрости мало проку, и она, как говорил тиран Дионисий, — единственная из них, которая хорошо уживается с тиранией.

Я бы с большей охотой научил этих принцев следующему присловью земледельца:

> *Τῇ κειρὶ δεῖ σπείρειν, ἀλλά μὴ ο᾽λῷ τῷ θυλάκῳ*[503],

означающему, что кто хочет собрать урожай, тому нужно сеять руками, а не сыпать семена из мешка (нужно зерно разбрасывать, а не бросать), и еще я бы им прибавил, что, будучи в необходи-

---

[503] Примечания: 503
Сеять рукой, а не целым мешком (*греч.*).

мости дарить или, правильнее сказать, платить и воздавать стольким людям по их заслугам, они должны беспристрастно и вдумчиво распределять эти блага. Если щедрость властителя прихотлива и чрезмерна, я предпочитаю, чтобы он был скупым.

Из всех добродетелей королям всего нужнее, по-моему, справедливость; а из всех частных ее проявлений — справедливость в пожаловании щедрот, ибо осуществление справедливости в этих случаях они полностью оставили за собой, тогда как во всем остальном охотно осуществляют ее с помощью других. Чрезмерная щедрость — плохое средство добиться расположения; она чаще отталкивает людей, чем их привлекает: Quo in plures usus sis, minus in multos uti possis. Quid autem est stultius quam quod libenter facias, curare ut id diutius facere non possis? [504]И если кого-нибудь незаслуженно осыпают щедротами, тому становится от этого стыдно, и они не порождают в нем благодарности. Сколько тиранов было отдано в жертву народной ненависти руками тех,

[504] Примечания: 504

Чем большему числу людей ты ее расточаешь, тем меньшему числу сможешь не расточать... Что может быть глупее старания лишать себя возможности делать то, что ты делаешь с такой охотой? (*лат.*) Цицерон. *Об обязанностях*, II, 15.

кого они несправедливо возвысили! Ведь люди этой породы считают, что они закрепляют за собой владение неправедно нажитым, выказывая свое презрение и свою ненависть к тому, кому они им обязаны, и присоединяясь к негодующей и выносящей приговор толпе.

Подданные государя, не знающего меры в щедротах, теряют меру в своих требованиях к нему: они руководствуются не разумом, а примером. И нам полагалось бы частенько краснеть за наше бесстыдство; нас оплачивают более чем справедливо, когда вознаграждают соответственно нашей службе, ибо ужели мы все-таки ничего не должны государю в силу наших естественных обязательств пред ним? Если он покрывает наши расходы, он делает для нас больше, чем нужно; вполне достаточно, если он нам помогает; ну а если мы получаем от него сверх наших трат, то очевидно, что это — благодеяние, которого нельзя требовать: ведь в нашем языке слова для обозначения щедрости и свободы образованы от одного корня. У нас, однако, повелось совсем по-другому: полученное в счет не идет; любят лишь будущие щедроты. Вот почему, чем более тощей делается мошна государева из-за его щедрых раздач, тем беднее он становится и по части друзей.

Как же ему удовлетворить желания своих подданных, если эти желания возрастают по мере того, как они выполняются? Кто думает только о том, как бы побольше ухватить для себя, тот не думает об уже ухваченном. Неотъемлемая черта жадности — неблагодарность. Здесь, пожалуй, уместно вспомнить о том, что некогда проделано Киром; его пример мог бы послужить пробным камнем и для королей нашего времени, чтобы выяснить, с пользой или без пользы осыпали они дарами своих приближенных, и они убедятся, что названный властелин раздавал их не в пример удачнее, чем они. А им из-за этого приходится обращаться за займами к своим подданным, которых они вовсе не знают и которым причинили скорее зло, чем добро. И в помощи, которую те им оказывают, нет ничего добровольного, кроме ее названия. А история с Киром заключается в следующем: однажды Крез упрекал его в расточительности и тут же прикинул, какой была бы его казна, если бы у того были бережливые руки. Кир пожелал доказать, что его щедрость вполне оправданна; разослав во все стороны гонцов к тем вельможам своей страны, которых он особенно облагодетельствовал, он попросил их помочь ему, кто сколько сможет, деньгами,

так как у него в них большая нужда, и сообщить, на что он может рассчитывать. Когда их письма были доставлены, выяснилось, что друзья Кира, все как один, сочтя недостаточным предложить ему только то, что получили из его рук, добавили к этому крупные суммы из своих собственных средств и что общая сумма значительно превышает итог, подведенный Крезом. И тогда Кир сказал: «Я люблю богатства не меньше других государей, но распоряжаюсь ими разумнее, чем они. Ты видишь, при каких ничтожных затратах я собрал с помощью столь многих друзей казну поистине баснословной ценности и насколько они более верные и надежные казначеи, нежели люди наемные, ничем мне не обязанные и не питающие ко мне ни малейшей любви; вот и получается, что мое добро помещено у них много лучше, чем если бы оно лежало в моих сундуках, навлекая на меня ненависть, зависть и презрение других государей».

Римские императоры оправдывали излишества своих общественных пиров и представлений тем, что их власть в некоторой мере зависит (по крайней мере формально) от воли римского народа, с незапамятных пор привыкшего к тому, что его привлекали на свою сторону подобными зре-

лищами и другими роскошными увеселениями. Ввели и закрепили этот обычай частные лица, чтобы ублажать сограждан и приближенных всем этим великолепием и изобилием, причем делали это главным образом за свой собственный счет; но когда им стали подражать в этом их повелители, дело обернулось совсем по-другому.

Pecuniarum translatio a iustis dominis ad alienos non debet liberalis videri[505]. Филипп, узнав о том, что его сын пытается подарками снискать благоволение македонян, отправил ему письмо, в котором следующим образом попенял ему: «Вот как! Тебе, стало быть, хочется, чтобы твои подданные считали тебя не своим царем, а своим казначеем. Если ты стремишься привлечь к себе благосклонность, привлекай ее благодеяниями твоих добродетелей, а не благодеяниями твоего сундука».

И все же это было великолепно — доставить и посадить на арене множество взрослых деревьев, раскидистых и зеленых, изображавших огромный тенистый лес, разбитый с необычайным искусством, и в первый день выпустить в него

---

[505] Примечания: 505

Раздача другим людям отнятого у законных владельцев не может рассматриваться как щедрость (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях,* I, 14. *Филипп* — Там же, 15.

тысячу страусов, тысячу оленей, тысячу вепрей и тысячу ланей, предоставив народу охотиться на этих животных и воспользоваться дичиной; назавтра перебить в его присутствии сто крупных львов, сто леопардов и триста медведей и на третий день заставить биться насмерть триста пар гладиаторов, как это было устроено императором Пробом. А что за наслаждение было видеть этот громадный амфитеатр, снаружи облицованный мрамором и украшенный изваяниями и статуями, а внутри сверкающий редким по богатству убранством;

> *Balteus en gemmis, en illita porticus auro*[506]*;*

и со всех сторон этого огромного пустого пространства заполняющие и окружающие его снизу доверху не то шестьдесят, не то восемьдесят рядов сидений, тоже из мрамора, покрытых подушками,

> *exeat, inquit,*
> *Si pudor est, et de pulvino surgat equestri,*

---

[506] Примечания: 506

Вот сверкающий золотом, весь в драгоценных камнях портик (*лат.*). Кальпурний. *Эклоги,* VII, 47.

Cuius res legi non sufficit[507]*;*

где могло разместиться со всеми удобствами сто тысяч человек, видеть, как сначала при помощи искусных приспособлений расступается самое дно амфитеатра, — где и даются игры, — и на нем образуются глубокие трещины и расщелины, изображающие пещеры, откуда появлялись дикие звери, назначенные к участию в представлении; как затем это же место заливают водой и оно превращается в глубокое море, которое бороздят бесчисленные морские чудовища, по которому плавают и вступают в сражения боевые суда; как после этого оттуда спускают воду, арена выравнивается и снова осушается для сражения гладиаторов и как напоследок ее вместо песка посыпают киноварью и стираксом, чтобы устроить на ней торжественное пиршество для этого бесконечного сонма людей; и это четвертая и последняя перемена в течение одного дня;

quoties nos descendentis arenae
Vidimus in partes, ruptaque voragine terrae

---

[507] Примечания: 507

Пусть встанет со всаднической подушки тот, кому она не полагается, и если не потерял совесть, пусть освободит ее (*лат.*). Ювенал, III, 153 сл.

Emersisse feras, et iisdem saepe latebris
Aurea cum croceo creverunt arbuta libro.
Nec solum nobis silvestria cernere monstra
Contigit, aequoreos ego cum certantibus ursis
Spectavi vitulos, et equorum nomine dignum,
Sed deforme pecus[508].

Иногда на той же арене вырастала высокая гора с посаженными на ней плодовыми и всевозможными другими деревьями, из чащи которых на самой вершине изливался ручей, как если б там было начало естественного источника. Иногда тут передвигался взад и вперед большой корабль, который сам собой раскрывался и разверзал свое чрево и, исторгнув из него четыреста или пятьсот диких зверей, назначенных к травле, так же самостоятельно, без чьей-либо помощи, закрывался и исчезал. Иногда снизу, с самого дна арены, начинали бить мощные фонтаны или тонень-

[508] Примечания: 508

Сколько раз мы смотрели, как опускаются отдельные части арены, как из открывшейся в земле бездны появляются дикие звери и как из тех же недр земных вырастают золотые земляничные деревья с ярко-желтой корою. И нам довелось видеть не только лесных чудовищ, но безобразных животных (*лат.*). Кальпурний. *Эклоги,* VII, 64.

кие струйки воды, вздымавшиеся высоко вверх, чтобы, вознесясь на эту невероятную высоту, рассыпаться там мельчайшими благовонными капельками, освежающими несметную людскую толпу. Чтобы укрыться от палящего солнца или от непогоды, над всем этим огромным пространством растягивали то навесы из пурпурной ткани с богатою вышивкой, то навесы из шелка того или иного цвета и по своему усмотрению ставили их или снимали в одно мгновение:

Quamvis non modico caleant spectacula sole,
Vela
reducuntur, cum venit Hermogenes[509].

Сетка, отделявшая амфитеатр от арены, чтобы оградить зрителей от ярости выпущенных на волю зверей, была выткана из чистого золота:

auro quoque torta refulgent
Retia[510].

---

[509] Примечания: 509

Хотя театр обжигало палящее солнце, когда пришел Гермоген, полог тут же раздвинули (*лат.*). Марциал, XII, 29, 15 сл.

[510] Примечания: 510

Даже сетка блестит крученой золотой нитью (*лат.*). Кальпурний. *Эклоги,* VII, 53 сл.

И если что во всех этих излишествах извинительно, так это вызывавшие всеобщее восхищение изобретательность и новизна, но отнюдь не издержки на них.

Даже на примере этих суетных и пустых забав мы видим, как много было в те времена умов, ничуть не похожих на современные. Подобное изобилие создается природой точно так же, как порою она создает изобилие во всем, что порождается ею. Я отнюдь не хочу сказать, что эти умы были наивысшим ее достижением. Мы не идем в одном направлении, мы скорее бродим взад и вперед, сворачивая то туда, то сюда. Мы топчем свои собственные следы. Боюсь, что наши познания крайне слабы во всех отношениях; мы ничего не видим ни перед собой, ни позади себя; наше познание обнимает очень немногое и видит очень немногое, оно крайне ограничено и во времени, и в охвате явлений:

Vixere fortes ante Agamemnona
Multi, sed omnes illacrimabiles
Urgentur ignotique longa

Nocte[511],

Et supera bellum Troianum et funera Troiae

Multi alias alii quoque res cecinere poetae[512].

И рассказ Солона о том, что ему сообщили египетские жрецы из истории длительного существования их государства и об их способе изучать и запечатлевать истории чужеземных народов, не кажется мне свидетельством, опровергающим только что высказанное мной мнение. Si interminatam in omnes partes magnitudinem regionum videremus et temporum, in quam se iniiciens animus et intendens ita late longeque peregrinatur, ut nullam oram ultimi videat in qua possit insistere: in hac immensitate infinita vis

[511] Примечания: 511

Жили многие храбрецы и до Агамемнона, но все они, никому не ведомые и никем не оплаканные, скрыты от нас в непроглядном мраке забвения (*лат.*). Гораций. *Оды,* IV, 9, 25–28.

[512] Примечания: 512

До Троянской войны и до гибели Трои много других поэтов воспевало другие подвиги (*лат.*). Лукреций, V, 326 сл.

innumerabilium appareret formarum[513].

Если бы все дошедшие до нас сведения о минувшем были действительно достоверными и какой-нибудь человек держал их все в своей голове, то и тогда это было бы меньше чем ничто по сравнению с тем, что нам неизвестно. До чего же ничтожно даже у людей наиболее любознательных знание того мира, который движется перед нами, пока мы проходим свой жизненный путь! От нас ускользает во сто раз больше, нежели та малость, которую мы постигаем, и это относится не только к отдельным событиям, становящимся порой по воле судьбы первостепенными и важными по последствиям, но и к положению целых государств и народов. Мы кричим, словно о чуде, о таких изобретениях, как артиллерия или книгопечатание; а между тем другие люди в другом конце света, в Китае, пользовались ими уже за тысячу лет до нас. Если бы мы видели такую же часть нашего мира, какой не видим, мы бы, надо полагать, поняли, насколько бесконечно разно-

[513] Примечания: 513

Если бы мы могли созерцать бесконечность простирающихся во все стороны пространства и времени, к которой устремляясь и направляясь странствует наш дух, не обнаруживая, сколь бы долго эти блуждания ни продолжались, никаких берегов, где бы он мог задержаться, перед нами в этой бесконечной безмерности предстало бы бесчисленное множество форм (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* I, 20.

образие и многоразличие форм. И если взглянуть на сущее глазами природы, то окажется, что на свете нет ничего редкого и неповторимого; оно существует только для нашего знания, которое является весьма ненадежной отправной точкой наших суждений и которое то и дело внушает нам крайне ложное представление о вещах. И подобно тому как мы ныне приходим к нелепым выводам о дряхлости и близком конце мира, опираясь на доводы, которые извлекаем из картины нашей собственной слабости и нашего собственного упадка,

> *Iamque adeo affecta est aetas, affectaque tellus*[514]*;*

точно так же к нелепым выводам о его недавнем рождении и его юности пришел и древний поэт, видевший столько мощи и живости в умах своего времени, щедрых на новшества и изобретения разного рода:

> *Verum, ut opinor, habet novitatam summa, recensque*
>
> *Natura est mundi, neque pridem exordia*

[514] Примечания: 514

И настолько обессилен век и истощена земля (*лат.*). Лукреций, II, 1150.

coepit;
Quare
etiam quaedam nunc artes expoliuntur,
Nunc etiam augescunt, nunc addita navigis sunt
Multa[515].

Наш мир только что отыскал еще один мир (а кто поручится, что это последний из его братьев, раз демоны, сивиллы и, наконец, мы сами до сих пор не имели понятия о существовании этого нового мира?), мир не меньший размерами, не менее плодородный, чем наш, и настолько свежий и в таком нежном возрасте, что его еще обучают азбуке; меньше пятидесяти лет назад он не знал ни букв, ни веса, ни мер, ни одежды, ни злаков, ни виноградной лозы. Он был наг с головы до пят и жил лишь тем, что дарила ему мать-кормилица, попечительная природа. Если мы пришли к правильным выводам о конце нашего века и не менее правильны выводы цитированного поэта о юности того века, в который он жил, то вновь

[515] Примечания: 515
Но, как я думаю, вселенная еще совсем новая, и мир только-только возник, и ранее он не возникал; вот почему некоторые искусства все еще развиваются и совершенствуются, и вот почему много улучшений достигнуто в мореплавании (*лат.*).

открытый мир только-только выйдет на свет, когда наш погрузится во тьму. Вселенная впадет в паралич; один из ее членов станет безжизненным, другой — полным силы. Я очень боюсь, как бы мы не ускорили упадка и гибели этого юного мира, продавая ему по чрезмерно высокой цене и наши воззрения, и наши познания. Это был мир-дитя. И все же нам до сих пор не удалось, всыпав ему порцию розог, подчинить его нашим порядкам, хотя мы и располагаем перед ним преимуществом в доблести и природной силе, не удалось покорить справедливостью и добротой, не удалось привлечь к себе великодушием. Большая часть ответов тамошних жителей и их речи во время переговоров, которые с ними велись, свидетельствуют о том, что они нисколько не уступают нам в ясности природного ума и в сообразительности. Потрясающее великолепие городов Куско и Мехико и среди прочих диковинок сад их короля, где все деревья, все плоды и все травы, расположенные так же, как они обычно произрастают в садах, и с соблюдением их натуральной величины, были поразительно искусно выполнены из золота, каковыми были в его приемной и все животные, которые водились на его землях и в водах его морей, и, наконец, красота их

изделий из камня, перьев и хлопка, а также произведения их живописи наглядно показывают, что они нисколько не ниже нас и в ремеслах. Но что касается благочестия, соблюдения законов, доброты, щедрости, честности, искренности, то нам оказалось весьма и весьма кстати, что всего этого у нас не в пример меньше, чем у них; из-за этого преимущества перед нами они сами себя погубили, продали и предали. Что до смелости и отваги, до твердости, стойкости, решительности перед лицом страданий, голода, смерти, то я не побоюсь сопоставить находимые мной среди них образцы с наиболее прославленными образцами античности, все еще бережно хранимыми памятью нашего мира по эту сторону океана. Но что касается тех, кто подчинил их своей власти, то пусть они примут во внимание хитрости и фиглярство, которые были ими использованы для обмана обитателей вновь открытых земель, и естественное изумление этих народов при виде нежданно-негаданно явившихся к ним бородатых существ, отличавшихся от них языком, верованиями, телосложением, всем своим обликом, явившихся к тому же из столь отдаленных мест, что они никогда и представить себе не могли, будто и там могут существовать какие-нибудь

поселения, и притом верхом на огромных, неведомых им чудовищах, к ним, не только никогда не видевшим лошади, но и не знавшим никакого иного животного, приученного носить на себе человека или другие тяжести; так вот, повторяю, пусть они примут во внимание их изумление при виде людей, облаченных в блестящую кожу и вооруженных сверкающим и разящим оружием и действующих им против тех, кто, потрясенный таким невиданным чудом, как зеркало или блестящий нож, отдавал за них целое богатство в золоте и жемчугах, против тех, кто не имел ни знаний, ни средств, чтобы пробивать по своему желанию нашу сталь; добавьте сюда также громы и молнии наших пушек и аркебуз, которые нагнали бы ужас на самого Цезаря, если бы он столкнулся с ними, так же не имея о них понятия и так же врасплох, как эти народы, и которые были пущены в ход против них, ходящих совсем нагишом, если не считать, что к этому времени они уже научились ткать кое-что из хлопковой пряжи, и к тому же не располагавших никаким другим вооружением, кроме лука, камней, копьев и деревянных щитов; к тому же народы эти были введены в заблуждение притворным простодушием и дружелюбием белых пришельцев

и охвачены любопытством и жаждой увидеть вещи, для них чуждые и неизвестные. Так вот, говорю я, отнимите у победителей все эти благоприятствующие им обстоятельства, и вы лишите их всякой возможности одерживать столько побед.

Наблюдая неукротимый пыл, с каким тысячи мужчин, женщин и детей столько раз выходили и устремлялись навстречу неизбежным опасностям, отстаивая своих богов и свою свободу; наблюдая их благородную стойкость в претерпевании всевозможных бедствий и трудностей и даже смерти, лишь бы не подпасть владычеству тех, кем они были так бесстыдно обмануты, причем некоторые, будучи захвачены в плен, предпочитали скорее умереть от голода и истощения, чем принять жизнь из рук врага, столь подлым образом добившегося над ними победы, я предвижу, что любому, кто пойдет на них при равных условиях — в смысле вооружения, боевой опытности и численности, — придется испытать все те же опасности, которыми, как мы видим, чревата всякая другая война.

Какая жалость, что это столь благородное приобретение не было сделано при Александре или при древних греках и римлянах и столь великие

преобразования и перемены в судьбе стольких царств и народов не произошли при тех, кто мог бы бережно смягчить и сгладить все, что тут было дикого, и вместе с тем поддержать и вырастить добрые семена, брошенные здесь самою природой, не только привнося в обработку земли и украшение городов искусство Старого Света, но также привнося в добродетели туземцев добродетели греческие и римские! Каким это было бы улучшением и каким усовершенствованием нашей планеты, если бы первые образцы нашего поведения за океаном вызвали в этих народах восхищение добродетелью и подражание ей и установили между ними и нами братское единение и взаимопонимание! До чего же легко было бы ей завоевать души столь девственные, столь жадные к восприятию всего нового, в большинстве своем с прекраснейшими задатками, вложенными в них природою! Мы же поступили совсем по-иному, воспользовались их неведеньем и неопытностью, чтобы тем легче склонить их к предательствам, роскоши, алчности и ко всякого рода бесчеловечности и жестокости по образу и подобию наших собственных нравов. Кто когда-нибудь покупал такою ценой услуги, доставляемые торговлей и обменом товарами?

Столько городов разрушено до основания, столько народов истреблено до последнего человека, столько миллионов людей перебито беспощадными завоевателями, и богатейшая и прекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли перцем и жемчугом: бессмысленная победа! Никогда честолюбие, никогда гражданские распри, толкавшие людей друг на друга, не приводили их к столь непримиримой вражде и не причиняли им столь ужасающих бедствий.

Плывя вдоль побережья в поисках золотых копей и серебряных рудников, несколько испанцев высадились на сушу в области плодородной и приятной. Здесь они представились местным жителям, как это делают обычно, а именно, заявляя, что они люди мирные, прибывшие из дальних стран, посланные по повелению и от имени короля кастильского, самого могущественного государя обитаемой земли, которому папа, наместник Бога на земле, отдал во владение всю Индию, и что если местные жители пожелают стать его данниками, с ними будут хорошо обращаться. Затем испанцы попросили съестных припасов и золота, якобы необходимого им для некоторых лекарств; они рассказали также о вере в единого Бога и говорили об истинности нашей

религии, которую советовали поскорее принять; ко всему этому они присовокупили и кое-какие угрозы. Выслушанный ими ответ был таков: что касается их заявления о том, что они люди мирные, то, если бы они и впрямь были такими, то выглядели бы совсем по-другому; что до их короля, то раз он обращается с просьбами, значит, он беден и терпит нужду; что до сделавшего ему этот подарок, то это человек, любящий сеять раздоры, ибо, отдавая третьему лицу то, что ему отнюдь не принадлежит, он вовлекает его в ссоры с давними собственниками; что до съестных припасов, то их они предоставят; золота у них очень мало, и это вещь совсем не ценимая ими, так как она бесполезна и не нужна им для жизни, ибо вся их забота заключается в том, чтобы прожить счастливо и приятно; тем не менее все, что пришельцы смогут найти, кроме того что требуется им самим для служения их богам, пусть смело забирают с собой; что до единого Бога, то речи о нем пришлись им по душе, но они не желают менять религию, поскольку она столь долгое время служила им с такою пользою; ну а что до угроз, то угрожать тем, чей характер и чьи средства защиты неведомы, — признак нерассудительности; итак, пусть пришельцы поторопятся очистить их землю,

ибо они не привыкли доверять любезности и посулам людей вооруженных и им неизвестных; в противном случае с ними обойдутся так же, как со всеми другими. И пришельцам показали несколько человеческих голов, объяснив, что это — головы казненных в их городе. Вот образец их якобы детского лепета. Но, как бы там ни было, ни здесь, ни в других местах, где испанцы не находили того, что искали, их не задержали и на них не напали, какие бы возможности к их истреблению ни представлялись, и сведетели этому — мои каннибалы.

Из двух наиболее могущественных монархов Нового Света, а может быть и Старого, двух владык над владыками, двух последних государей из многих свергнутых испанцами с тронов, государь Перу был захвачен ими в плен в одном из сражений, и за него был назначен настолько несоразмерный выкуп, что даже трудно поверить, который все же был полностью и честно внесен, и этот государь обнаружил в беседах и разговорах прямодушное, снисходительное и стойкое мужество и ум ясный и здравый. Однако, получив с него один миллион триста двадцать пять тысяч пятьсот золотых безамов, кроме серебра и других вещей, стоивших самое

малое столько же, так что после этого испанцы подковали своих лошадей тяжелыми золотыми подковами, победители возымели желание выяснить, не останавливаясь ни перед какими бесчестными средствами, каковы же оставшиеся у этого государя сокровища, и получить в свое распоряжение все, что ему удалось сохранить. Ради этого против него было выдвинуто лживое обвинение и собраны лжесвидетельства, якобы уличавшие его в том, что он собирается возмутить свои земли и вырваться на свободу. На этом основании по справедливому и нелицеприятному приговору тех же самых, кто состряпал этот поклеп, его присудили к публичному повешению и удавлению, заставив сожжение заживо на костре купить ценою крещения, которое и было совершено над ним на месте казни. Ужасный, неслыханный случай, но он вытерпел все эти муки, не унизив себя ни выражением лица, ни единым словом, и держался все время с поистине королевским достоинством. По совершении этой казни испанцы, чтобы успокоить оцепеневший от столь небывалой вещи и потрясенный народ, притворились, будто глубоко скорбят о его смерти, и устроили ему пышные похороны.

Другой государь, король Мексики, после того

как долго защищал свой осажденный город и выказал во время этой осады упорство и твердость, какие едва ли были когда-нибудь выказаны другими государями и другими народами, на свое несчастье, живым отдался в руки врагов при условии, что с ним будут обращаться по-королевски (и, пребывая в тюрьме, он не сделал ничего не достойного этого титула); не обнаружив после этой победы всего того золота, которое они сами себе обещали в мечтах, и перерыв и перекопав все на свете, испанцы принялись добывать желательные им сведения при помощи жесточайших пыток, какие только могли придумать, над томившимися у них узниками. Но, ничего от них не добившись, так как их мужество оказалось сильнее пыток, они впали в такую ярость, что в нарушение своего слова и международного права порешили подвергнуть пытке на глазах друг у друга самого короля и одного из его виднейших придворных.

Этот придворный, чувствуя, что ему не устоять перед болью, окруженный со всех сторон жаровнями с раскаленным углем, обратил на своего господина опечаленный взор, как бы прося у него прощения за то, что больше не может терпеть. Король, вперив в него надменный и

строгий взгляд, чтобы бросить ему упрек в трусости и малодушии, сказал всего несколько слов, произнеся их жестким и твердым голосом: «А я? или, быть может, я в бане? Или мне легче, чем тебе?» Этот придворный вскоре после этого был сломлен болью и умер тут же на месте. Короля же, наполовину изжаренного, унесли оттуда не из сострадания (ибо какое сострадание трогало когда-нибудь души людей, способных смотреть, как поджаривается у них на глазах человек, больше того — король, в сомнительной надежде выведать от него, где находится золотая ваза, которую они жаждут присвоить), но потому, что его стойкость все больше и больше вгоняла в стыд их жестокость. Впоследствии они его все же повесили, так как он предпринял отчаянную попытку с оружием в руках освободиться от длительного плена и рабства; он умер, как подобает умереть государю со столь возвышенною душой.

В другой раз они решили сжечь заживо на огромном костре четыреста шестьдесят человек — четыреста из простого народа и шестьдесят из наиболее знатных сановников той области, где это произошло, — самых обыкновенных военнопленных. Мы знаем об этом от самих испанцев, ибо они не только признаются во всех

этих зверствах, но и похваляются ими и всячески их превозносят. Было ли это свершением правосудия или проявлением религиозного рвения? Разумеется, подобный путь совершенно несовместим со столь священной целью и, больше того, уводит от нее в прямо противоположную сторону. Если бы они действительно стремились распространить нашу веру, они бы сообразили, что способствует этому не завоевание новых земель, а завоевание душ человеческих; они бы довольствовались теми убийствами, которые по необходимости приносит война, и не добавляли к ним истребления всех без разбора, словно перед ними — дикие звери. Они уничтожили столько людей, сколько можно было уничтожить огнем и мечом, намеренно сохраняя в живых только тех, кого они хотели превратить в своих жалких рабов для работы на рудниках. В конце концов дело дошло до того, что несколько испанских военачальников, справедливо возмущенных и пришедших в ужас от чинимых ими насилий по повелению королей Кастилии, были преданы смерти в местах, где они одерживали победы, и почти все другие военачальники подверглись немилости и опале. И, воздавая им по заслугам, Господь попустил, чтобы эти награбленные

ими сокровища неисчислимой ценности при перевозке были поглощены океанской пучиной и погибли в междоусобных войнах, в которых завоеватели безжалостно истребляли друг друга; и большая часть испанцев полегла в этих заморских землях, так и не вкусив плодов от своих побед.

Что же касается поступлений оттуда, то даже в руках столь бережливого и благоразумного государя, как нынешний, они не отвечают надеждам, которые обольщали его предшественников и основывались на первоначальном изобилии всевозможных богатств, сразу же обнаруженных на этих вновь найденных землях (ибо, хотя и сейчас из них извлекается достаточно много, все же это так ничтожно по сравнению с тем, чего можно было ожидать). Причина же в том, что народам Нового Света были совершенно неизвестны употребление и чеканка денег и вследствие этого все их золото собиралось где-нибудь в одном месте — ведь оно использовалось лишь для того, чтобы выставляться напоказ, как утварь, наследуемая от отца к сыну на протяжении многих поколений могущественных государей, опустошавших свои рудники исключительно с целью накапливать всю эту груду сосудов и статуй для украшения

дворцов и храмов, тогда как наше золото находится в обращении и в торговле. Мы его расточаем и портим в тысячах изделий, мы его разбрасываем и рассеиваем. Попробуем же представить себе, что получилось бы, если бы и наши короли так же в течение многих веков занимались накоплением золота, где бы они его ни находили, и так же сохраняли его без всякого употребления.

Жители мексиканского королевства были в некоторой мере цивилизованнее и искуснее, чем все остальные народы за океаном. Вот и они, подобно нам, полагали, что вселенная близится к своей гибели, и видели предзнаменование этого в опустошениях, которые мы им принесли. Они верили, что существование мира подразделяется на пять периодов и это связано с жизнью пяти последовательно сменявших друг друга солнц, из которых четыре уже прожили свои сроки, а то, что их освещает, — пятое. Первое погибло вместе со всем сущим при всеобщем потопе; второе — из-за падения на нас неба, раздавившего все живое, и этот век они отводят гигантам, чьи кости они показывали испанцам (исходя из пропорций нашего тела, можно предполагать, что рост этих людей достигал двадцати пядей); третье — от огня, охватившего и пожравшего

все; четвертое — от движения воздуха и от ветра, опрокинувшего даже многие горы, — на этот раз люди не умерли, а превратились в обезьян (каких только нелепостей не принимает за истину человеческое легковерие!); после гибели этого четвертого солнца мир в течение двадцати пяти лет был погружен в непрерывную тьму, причем на пятнадцатый год были созданы мужчина и женщина, восстановившие род человеческий, а спустя десять лет, в определенный по их счету день, появилось вновь сотворенное солнце, и с этого дня они и ведут свое летосчисление. На третий день по его сотворении умерли древние боги; новые появились позднее, рождаясь каждый день один за другим. Каким образом, по их мнению, погибнет последнее солнце, этого мой автор не выяснил. Но принятая у них дата гибели четвертого солнца совпадает по времени с тем сочетанием небесных светил, которое, как полагают наши астрологи, приблизительно восемьсот лет назад принесло миру великие и многочисленные новшества и изменения.

Что касается пышности и роскоши, с чего я и начал рассмотрение моего предмета, то ни Греция, ни Рим, ни Египет не могут сравнить ни одно из своих творений — ни в смысле полезно-

сти, ни в отношении трудности выполнения, ни в благородстве — с большой дорогой, которую можно увидеть в Перу и которую проложили прежние владыки этой страны от города Кито до города Куско (ее протяженность — триста лье), прямою, гладкой, мощеной, огражденной с обеих сторон прекрасными и высокими стенами, с текущими вдоль них с внутренней стороны двумя никогда не иссякающими ручьями, обсаженными красивыми деревьями, которые на их языке называются «молли».

Где они встречали на своем пути горы и скалы, они пробивали их и выравнивали, а где им попадались ямы, они закладывали их камнями, скрепленными известью. В начале каждого древнего перегона у них были большие дворцы, где хранились съестные припасы, одежда и оружие как для нужд путешественников, так и для проходящего войска. Воздавая должное этой работе, я принимаю в расчет трудности ее исполнения, которых в этих местах было особенно много. Они строили из камней размером не менее десяти квадратных футов; и у них не было других средств перемещения строительных материалов, кроме их собственных рук, и они тащили свои грузы волоком; и не было у них также способов

поднимать тяжести, кроме единственного приема, состоявшего в том, чтобы возле возводимого ими строения по мере его возрастания насыпать землю, а затем убирать ее прочь.

Коснемся вопроса об их средствах передвижения. Вместо всяких колесниц и повозок они пользовались для своих переездов людьми, которые и носили путешественников на плечах. Упомянутого выше короля Перу в тот день, когда он был захвачен испанцами, носили на золотых носилках, и, находясь в гуще сражения, он сидел на золотом кресле. По мере того как убивали его носильщиков, чтобы он упал наземь, — ибо его хотели захватить живым, — их место по собственному желанию занимали другие, так что его никак не могли ссадить с кресла, пока один всадник-испанец не схватил его и не опустил на землю.

Глава VII
О стеснительности высокого положения

Не имея возможности достичь высокого положения, давайте в отместку его очерним. Впрочем, найти в чем-либо известные недостатки не значит очернить; их можно найти в любой вещи, как бы хороша и вожделенна она ни была, тем более что у высокого положения есть то преимущество, что с ним можно по собственному желанию расстаться, и почти всегда есть возможность выбора более высокой или более низкой ступени: ведь не со всякой высоты непременно падаешь, гораздо чаще можно благополучно опуститься. Сдается мне, что мы вообще склонны переоценивать высокое положение, равно как и давать непомерную оценку решимости тех, кто на наших глазах презрел его, или же уверяет, что полон к нему презрения, или же добровольно от него отказался. Само по себе оно вовсе не так приятно, чтобы всякий отказ от него рассматривать как чудо.

Я считаю тягостными усилия, необходимые для того, чтобы перенести страдание, но не

усматриваю никакой доблести в удовлетворенности скромной долей и в бегстве от величия. По-моему, это добродетель, которой и я, не бог весть кто, достиг без особого напряжения. Что же сказать о тех, кто примет во внимание и славу, сопутствующую такому отказу, с которым может быть связано больше честолюбивых помыслов, чем со стремлением к высокому положению и с радостью от того, что оно достигнуто? Ведь честолюбие для удовлетворения своего часто избирает пути обходные и необычные.

Мужеством я вооружаюсь преимущественно для терпения, а не для достижения каких-либо желаний. Их у меня не меньше, чем у кого-либо другого, и предоставляю я им не меньше свободы и самостоятельности. Однако же мне и в голову не приходило мечтать ни о державе и престоле, ни о величии, которое обретаешь в столь высоком положении. Я на это не зарюсь, ибо слишком люблю себя. Если я и стремлюсь к росту, то не в высоту, и применяюсь ко всему, что ему препятствует: я хочу расти в том, что мне доступно, достигая большей решимости, рассудительности, привлекательности и даже богатства. Но всеобщий почет, но могущество власти подавляющим образом действуют на мое

воображение. И в противоположность одному великому человеку я предпочту быть вторым или третьим в Перигё, чем первым в Париже, или, во всяком случае, не кривя душой, — занимать в Париже скорее третье, чем самое первое место. Я не хочу быть ни таким жалким и никому не известным существом, чтобы мне приходилось вступать в споры с привратниками, ни с трудом пробивать себе дорогу среди обступившей меня с великим обожанием толпы. Я и самой судьбой, и личными склонностями предназначен к некоему среднему положению. И всем своим жизненным поведением и начинаниями своими я показал, что всегда скорее отступлюсь, чем стану перепрыгивать через ступень, определенную мне Господом Богом от рождения.

Всякое естественное состояние есть тем самым и справедливое, и наиболее удобное.

Будучи от природы осмотрительным, я в погоне за счастьем ищу не столько высоты, сколько легкости достижения.

Но если сердцу моему недостает мужества, то зато оно искренно, что и заставляет меня прямо говорить о его слабости. Если бы мне пришлось провести следующее сравнение: с одной стороны, жизнь Луция Тория Бальба, человека благородно-

го, красивого, образованного, здорового, который мог и умел пользоваться всеми радостями и наслаждениями жизни, вел существование спокойное и независимое, укрепив душу против страха смерти, суеверия, страдания и всех забот, неизбежно выпадающих на долю человека, и в конце концов встретил смерть в бою, с оружием в руках защищая отечество; с другой — жизнь Марка Регула, всем известная своим величием и доблестью, и ее достославный конец; одна — не отмеченная людской молвой и хвалами; другая — озаренный славой пример людям. Я, без сомнения, сказал бы о них так же, как Цицерон, если бы обладал в той же степени искусством слова. Но, мерь я их по своей мерке, я добавил бы также, что первая настолько же подходит мне и моим стремлениям, которые я соразмеряю со своей природой, насколько вторая от них далека, что ко второй я могу отнестись лишь с величайшим восхищением, а первой охотно подражал бы на деле. Примем же ту свою величину, которая нам дана в жизни и из которой мы исходим.

Противны мне и владычество, и покорность.

Отан, один из семи, имевших право притязать на трон Персии, принял решение, которое и мне было бы по сердцу: он передал сотоварищам свое

право достичь верховной власти путем избрания или же волей судьбы с тем лишь условием, что ему и его близким предоставлена будет возможность жить в персидской державе, не пользуясь властью, но и не подчиняясь ничему, кроме древних обычаев, и обладая всей той свободой, которая не нарушает их, — так, чтобы и не повелевать, и не выполнять никаких повелений. Самое, на мой взгляд, тягостное и трудное на свете дело — это достойно царствовать. Ошибки, совершаемые королями, я сужу более снисходительно, чем это вообще принято, ибо со страхом думаю о тяжком бремени, лежащем на властителях. Трудно соблюдать меру в могуществе столь безмерном. И надо сказать, что для добродетели тех из них, кто от природы менее благороден, величайшее испытание — занимать место, где нельзя сделать ничего хорошего так, чтобы это сразу же не было учтено и взвешено, где малейшее доброе дело, совершенное вами, касается стольких людей зараз и где своим поведением вы воздействуете прежде всего на народ, судью недостаточно справедливого, которого легко и обморочить и ублажить.

Мало есть на свете вещей, о которых мы способны высказать нелицемерное суждение, ибо

среди них мало таких, которые, так или иначе, не вызывали бы в нас корысти. Более высокое или более низкое положение, владычество или подчиненность естественным образом вынуждаются к соперничеству и спору, неизбежно и неизменно противостоят друг другу. Ни тому ни другому не могу я верить, когда они судят о правах соперника: пусть же говорит разум, ибо он непоколебим и беспристрастен, когда мы ему доверяемся. Без малого месяц назад я просмотрел две книги шотландских авторов, споривших по этому поводу. Сторонник народовластия считает, что король — ниже ломового извозчика; поклонник монархической власти возносит его по могуществу власти на несколько саженей над самим Господом Богом.

Между тем тягостность высокого положения, в которой я мог убедиться воочию, так как недавно мне представился для этого случай, состоит в следующем. В отношениях между людьми нет, может быть, ничего увлекательнее, чем то соревнование в чести и доблести, в которое мы вступаем друг с другом, упражняя свои физические и духовные силы, и в котором никогда не могут по-настоящему принять участие носители верховной власти. По правде сказать, мне часто

казалось, что при этом именно от великого почтения к ним относятся с обидным пренебрежением. Ибо в детстве, например, мне было всего оскорбительнее, если соревнующиеся со мною в чем-либо делали это вполсилы, считая меня не достойным их соперником; нечто подобное постоянно происходит с королями — никто не осмеливается вступать с ними в настоящее соревнование. Если становится заметным, что своей победе они придают большое значение, каждый старается им поддаться и, чтобы не нанести ущерба их славе, всегда готов поступиться своей, прилагая лишь столько усилий, сколько нужно для того, чтобы оказать им честь. Какое же участие принимают они в борьбе, где все — за них? Это напоминает мне паладинов былых времен, которые на состязания и битвы являлись наделенные волшебной силой или вооруженные заколдованным мечом. Бриссон, состязавшийся в беге с Александром, поддался; Александр выбранил его за это, а следовало всыпать ему плетей. Карнеад говорил, что дети царей лишь верховой езде учатся по-настоящему, ибо в любых других упражнениях им все уступают, чтобы они могли быть первыми, а конь, не будучи придворным льстецом, сбросит с себя царского сына так же просто, как сына како-

го-нибудь грузчика. Для того чтобы столь нежной богине, как Венера, придать черты мужества и храбрости, свойств, которые присущи лишь тем, кто может подвергнуться опасности, Гомер вынужден был изобразить, как в битве за Трою она была ранена. Богов заставляют испытывать гнев, страх, заставляют их обращаться в бегство, жаловаться, подпадать человеческим страстям, чтобы можно было наделить их доблестью, которую порождают в нас все эти несовершенства. Тот, кто не подвержен случайностям и трудностям, не может также притязать на честь и радость, вознаграждающие за смелый поступок. Жалостная участь — обладать такой властью, что все перед вами склоняется. Высокая доля слишком далеко отбрасывает от вас других людей, препятствует их общению с вами, и вы оказываетесь в стороне от всех. Легкая, без всяких усилий дающаяся возможность все себе подчинять враждебна какому бы то ни было удовольствию: это означает скользить, а не ходить, дремать, а не жить. Представьте себе человека, наделенного всемогуществом: оно бы умалило его; ведь он должен был бы, как милости, просить у вас, чтобы вы ставили ему препятствия и оказывали сопротивление; он обделен — и всем существом своим, и благами

жизни.

Добрые качества земных владык мертвы, не могут проявиться: ведь о них можно судить лишь по сравнению с чем-либо, а сравнение-то как раз и делают невозможным. Подлинного одобрения они почти вовсе не знают, постоянно осыпаемые одними и теми же неизменными хвалами. Даже имея дело с самым глупым из своих подданных, они не имеют возможности по-настоящему превзойти его в чем-либо. Тот скажет: «Ведь это же мой государь» — и, по его мнению, всем уже ясно, что он дал себя одолеть. Верховная власть — качество, которое подавляет все прочие, существенные и подлинные качества: они в ней растворяются, и им дано проявляться лишь в действиях, с ней непосредственно связанных и ей служащих, — в делах царствования и правления. Так велико королевское достоинство, что облеченный им — только государь. Окружающее его, извне идущее сияние скрывает от нас человека: взор наш ничего не различает — наполненный и отягощенный этим слишком ярким светом, он оказывается как бы отброшенным назад. Римский сенат присудил Тиберию первую награду за красноречие; тот отказался от нее, полагая, что, даже если она им заслужена, присуждение не

было сделано по свободному волеизъявлению и никакой чести оно ему не принесет.

Уступая государям во всем, что касается чести и славы, утверждают и укрепляют также их недостатки и пороки не только простым одобрением, но и подражанием. Каждый из свиты Александра старался держать, подобно ему, голову склоненной на сторону. А льстецы Дионисия в его присутствии натыкались друг на друга, толкали и опрокидывали все, что попадалось им под ноги, чтобы показать, будто они так же близоруки, как он. Иногда рекомендацией и средством войти в милость служила грыжа. Я наблюдал, как люди из лести изображали глухоту, а Плутарх рассказывает, что у властителя, возненавидевшего жену, придворные разводились со своими женами, хотя и любили их. Более того, по временам в моду входили разврат и всяческая распущенность, а также вероломство, кощунство, жестокость, а также ересь, а также суеверие, безверие, изнеженность и еще худшие пороки, если такие имеются. Можно привести пример гораздо более пагубный, чем тот, что явили льстецы Митридата, которые давали своему владыке, притязавшему на честь считаться хорошим врачом, резать и прижигать их члены: я имею в виду тех, кто позволяет кале-

чить себе душу, орган гораздо более благородный и нежный.

Но, дабы кончить тем же, с чего начал, приведу еще кое-что. Когда император Адриан спорил с философом Фаворином о значении некоторых слов, тот очень скоро с ним во всем согласился. Друзья его вознегодовали по этому поводу, но он ответил: «Смеетесь вы надо мной, что ли? Как может он, начальствуя над тридцатью легионами, не быть ученее меня?» Август писал эпиграммы на Азиния Поллиона. «А я, — сказал Поллион, — буду молчать. Неблагоразумно писать против того, кто может предписать мне отправиться в ссылку». И оба они были правы. Ибо Дионисий, не будучи в состоянии сравняться в искусстве поэзии с Филоксеном и в красноречии с Платоном, одного приговорил к работам в каменоломнях, а другого велел продать в рабство на остров Эгину.

Глава IX
О суетности

Пожалуй, нет суетности более явной, чем так суетно о ней писать. Люди разумные должны были бы усердно и тщательно размышлять надо всем, что так божественно было высказано об этом самим божеством.

Кто же не видит, что я избрал себе путь, двигаясь по которому безостановочно и без устали, я буду идти и идти, пока на свете хватит чернил и бумаги? Я не могу вести летопись моей жизни, опираясь на свершенные мною дела: судьба назначила мне деятельность слишком ничтожную; я занимаюсь ею, опираясь на вымыслы моего воображения. Знавал я одного дворянина, который оповещал о своей жизни не иначе, как отправлениями своего желудка; у него вы видели выставленные напоказ горшки за последние семь-восемь дней; в этом состояли его занятия, только об этом он говорил; любая другая тема казалась ему зловонной. И здесь (лишь чуточку попристойнее) — такие же испражнения стареющего ума, страдающего то запорами, то поносом

и всегда несварением. Где же смогу я остановиться, воспроизводя непрерывную сумятицу и смену моих мыслей, чего бы они ни касались, раз Диомед заполнил целых шесть тысяч книг только одним предметом — грамматикой? И чего только не породит болтливость, если даже лепет и едва заметные движения языка придавили мир столь ужасающей грудой томов? Столько слов ради самих слов! О, Пифагор, что же ты не заклял эту бурю!

Некогда Гальбу осуждали за то, что он живет в полной праздности. Он ответил, что каждый обязан отчитываться в своих поступках, а не в своем бездействии. Он заблуждался: правосудие преследует и карает также и тех, кто бездельничает.

Следовало бы иметь установленные законами меры воздействия, которые обуздывали бы бездарных и никчемных писак, как это делается в отношении праздношатающихся и тунеядцев. В этом случае наш народ прогнал бы взашей и меня, и сотни других. Я не шучу. Страсть к бумагомаранию является, очевидно, признаком развращенности века. Писали ли мы когда-нибудь столько же до того, как начались наши беды? А римляне до того, как начался их закат? Помимо того что в любом государстве утонченность умов

никоим образом не равнозначна их умудренности, пустое это занятие становится возможным лишь потому, что всякий начинает нерадиво отправлять свою должность и отбивается по этой причине от рук. В развращении своего века каждый из нас принимает то или иное участие: одни вносят свою долю предательством, другие — бесчестностью, безбожием, насилием, алчностью, жестокостью; короче говоря, каждый тем, в чем он сильнее всего; самые слабые добавляют к этому глупость, суетность, праздность, — и я принадлежу к числу этих последних. И когда нас гнетет нависшая над нами опасность, тогда, видимо, и наступают сроки для вещей суетных и пустых. В дни, когда злонамеренность в действиях становится делом обыденным, бездеятельность превращается в нечто похвальное. Я тешу себя надеждой, что окажусь одним из последних, против кого понадобится применить силу. И пока будут принимать меры против наиболее злокозненных и опасных, у меня хватит времени, чтобы исправиться. Ибо мне представляется, что было бы безрассудным обрушиваться на меньшие недостатки, когда нас одолевает столько больших. И прав был врач Филотим, сказавший тому больному, который протянул

ему палец, чтобы он сделал ему перевязку, и у которого он по лицу и дыханию распознал язву в легких: «Сейчас не время, дружок, заниматься твоими ногтями».

И все же я знал одного человека, чью память я высоко чту, который, несмотря ни на что, посреди величайших наших несчастий, когда у нас так же, как ныне, не было ни законности, ни правосудия, ни должностных лиц, честно выполняющих свои обязанности, носился с мыслью обнародовать некоторые свои предложения касательно пустячных нововведений в одежде, на кухне и в ходе судебного разбирательства. Все это — не более как забавы, которыми пичкают дурно руководимый народ, чтобы показать, что о нем не совсем забыли. Ничем иным не занимаются также и те, которые на каждом шагу запрещают погрязшему в гнуснейших пороках народу те или иные выражения, танцы и игры. Не время мыться и чиститься, когда тебя треплет беспощадная лихорадка. И одним спартанцам было по плечу причесываться и прихорашиваться перед тем, как броситься навстречу угрожающим жизни опасностям.

Что до меня, то мне свойственно противоположное и дурное обыкновение: если у меня

искривилась туфля, то я так же криво застегиваю и рубашку, и плащ; я ненавижу приводить себя в порядок наполовину. Когда я оказываюсь в плохом положении, то ухожу с головой в мои горести, предаюсь отчаянию и, даже не пытаясь устоять на ногах, падаю, согласно пословице, как топорище за топором; я убеждаю себя, что все идет как нельзя хуже и что бороться бессмысленно: все должно быть хорошо или все — дурно.

Мое счастье, что опустошение нашего государства совпадает по времени с опустошениями, производимыми во мне моим возрастом; если бы общественные несчастья омрачали радости моей юности, они были бы мне не в пример тягостнее, чем теперь, когда они только усугубляют мои печали. Вопли, которыми я разражаюсь в беде, — это вопли, внушенные мне досадой; мое мужество, вместо того чтобы съежиться, становится на дыбы. В противоположность всем остальным, я гораздо благочестивее в хороших, чем в дурных обстоятельствах, следуя в этом наставлениям Ксенофонта, хотя и не разделяя его оснований; и я охотнее обращаю умиленные взоры к небу, чтобы воздать ему благодарность, чем для того, чтобы выпросить себе его милости. Я больше забочусь об укреплении здоровья, когда

оно мне улыбается, чем о том, чтобы его вернуть, когда оно мною утрачено. Меня дисциплинирует и научает благополучие, подобно тому как других — невзгоды и розги. Люди обычно обретают честность в несчастье, словно счастье несовместимо с чистой совестью. Удача — вот что сильнее всего побуждает меня к умеренности и скромности. Просьба меня завоевывает, угроза отталкивает; благосклонность вьет из меня веревки, страх делает меня непреклонным. Среди человеческих черт широко распространена следующая: нам больше нравится непривычное и чужое, чем свое, и мы обожаем движение и перемены.

Ipsa dies ideo nos grato perluit haustu
Quod permutatis hora recurrit equis[516].

Эту склонность разделяю и я. Кто придерживается противоположной крайности, а именно — довольствоваться самим собой, превыше всего ценить то, чем владеешь, и не признавать ничего прекрасного сверх того, что видишь собственными глазами, те если не прозорливее нас, то, бесспорно, счастливее. Я ничуть не завидую их премудрости, но что касается безмятежности их

[516] Примечания: 516

И даже дневной свет обдает нас ласковою струей лишь потому, что каждый час прилетает к нам, сменив коней (*лат.*). Петроний. *Сатирикон.*

души, то тут, признаюсь, меня берет зависть.

Эта жажда нового и неведомого немало способствует поддержанию во мне страсти к путешествиям; впрочем, здесь действуют на меня и другие причины. Я очень охотно отвлекаюсь от управления моими хозяйственными делами. Конечно, есть известное преимущество в том, чтобы распоряжаться, будь то даже на риге, и держать в повиновении всех домашних, но такого рода удовольствие слишком однообразно и утомительно. И кроме того, с ним непрерывно связаны многочисленные и тягостные заботы: то вас гнетет нищета и забитость ваших крестьян, то ссора между соседями, то посягательства с их стороны на ваши права:

Aut verberatae grandine vineae,
Fundusque mendax, arbore nunc aquas
Culpante, nunc torrentia agros
Sidera, nunc hiemes iniquas[517]*;*

и к тому же, едва ли в полгода раз Господь ниспошлет погоду, которая вполне бы устраивала вашего земледельца, и притом, если она

[517] Примечания: 517

Или виноградники, побитые градом; земля коварна, и деревья страдают то от обилия влаги, то от солнца, иссушающего поля, то от суровых зим (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 1, 28 сл.

благоприятна для виноградников, то как бы не повредила лугам:

> *Aut nimis torret fervoribus aetherius sol,*
>
> *Aut subiti perimunt imbres, gelidaeque pruinae,*
>
> *Flabraque ventorum violento turbine vexant*[518].

Добавьте к этому «новый и красивый башмак» человека минувших времен, немилосердно жмущий вам ногу, и еще то, что посторонний не понимает, чего вам стоит и до чего хлопотно поддерживать, хотя бы внешне, порядок, наблюдаемый всеми в ваших домашних делах и покупаемый вами слишком дорогой ценой.

Я поздно принялся за хозяйство. Те, кого природа сочла нужным произвести на свет передо мной, долгое время избавляли меня от этой заботы. Я уже успел привыкнуть к другой деятельности, более подходившей к моему душевному складу. И все же на основании личного опыта я могу заявить, что это занятие — скорее докучное, нежели трудное: всякий, способный к другим

---

[518] Примечания: 518

Или небесное солнце иссушает поля чрезмерным зноем, или их губят внезапные ливни и студеные росы, или опустошают свирепые вихри и порывы ветров (*лат.*). Лукреций, V, 215 сл.

делам, легко справится также и с этим. Если бы я стремился разбогатеть, такой путь мне показался бы чересчур долгим; я предпочел бы служить королям, ибо это ремесло прибыльнее любого другого. Так как единственное, чего я хочу, — это приобрести репутацию человека, хотя и не сделавшего никаких приобретений, но вместе с тем и ничего не расточившего, и так как в оставшиеся мне немногие дни я не в состоянии совершить ни чего-либо очень хорошего, ни чего-либо очень дурного и стремлюсь лишь к тому, чтобы как-нибудь их прожить, я могу, благодарение Богу, достигнуть этого без особого напряжения сил.

На худой конец, ускользайте от разорения, урезывая свои расходы. Я это и делаю, одновременно стараясь поправить свои дела, прежде чем они заставят меня взяться за них. А пока я установил для себя различные ступени самоограничения, имея в виду довольствоваться меньшим, чем то, что у меня есть; и хотя я говорю «довольствоваться», это вовсе не означает, что я обрекаю себя на лишения. Non aestimatione census, verum victu atque cultu, terminatur pecuniae modus[519]. Мои действительные потребности не таковы, чтобы

[519] Примечания: 519

Размеры состояния определяются не величиною доходов, а привычками и образом жизни (*лат.*). Цицерон. *Парадоксы,* VI, 3.

поглотить без остатка мое состояние, и судьба — разве что она подомнет меня под себя — не найдет на мне такого местечка, где бы ей удалось меня укусить.

Мое присутствие, сколь бы несведущ и небрежен я ни был, все же немало способствует благополучному течению моих хозяйственных дел: я занимаюсь ими, хотя и не без досады. К тому же в моем доме так уж заведено, что, когда я расходую деньги где-нибудь на стороне, траты моих домашних от этого нисколько не уменьшаются.

Путешествия обременительны для меня лишь по причине связанных с ними издержек, которые велики и для меня непосильны. И так как я привык путешествовать не только с удобствами, но и с известной роскошью, мне приходится сокращать сроки своих поездок и предпринимать их не так уж часто, употребляя для этого только излишки и сбережения, выжидая и откладывая отъезд, пока не накопятся нужные средства. Я не хочу, чтобы удовольствие от путешествий отравляло мне душевный покой дома; напротив, я забочусь о том, чтобы они взаимно поддерживали и питали друг друга. Судьба мне в этом благоприятствовала, и так как мое главнейшее житейское правило состояло в том, чтобы жить спокойно и

беспечно и скорее в лености, чем в трудах, она избавила меня от нужды приумножать богатство ради обеспечения кучи наследников. А если моей единственной наследнице кажется недостаточным то, чего мне было достаточно сверх головы, то тем хуже для нее: ее безрассудство не заслуживает того, чтобы я сгорал от желания оставить ей побольше.

И кто по примеру Фокиона обеспечивает своих детей так, чтобы они жили не хуже его, тот обеспечивает их вполне достаточно.

Я никоим образом не одобряю поступка Кратеса. Он оставил свои деньги на сохранение ростовщику, оговорив следующие условия: если его дети окажутся дураками, пусть он им отдаст его вклад; если они окажутся рассудительными и деловыми, пусть распределит эти деньги среди самых несмышленых в народе. Словно дураки, меньше других умеющие обходиться без денег, лучше других сумеют ими распорядиться.

Как бы то ни было, пока я в состоянии выдержать проистекающий от моего отсутствия ущерб, он, по-моему, не стоит того, чтобы не воспользоваться возможностью отвлечься на время от докучных хлопот по хозяйству, где всегда найдется что-нибудь идущее вкривь и вкось. Постоянно

вас треплют заботы то об одном из ваших домов, то о другом. Все, что вы видите, — слишком близко от вас; ваша зоркость в таких случаях вам только вредит, как, впрочем, она вредит и во многом другом. Я закрываю глаза на многие вещи, которые могут меня рассердить, и не хочу знать о том, что обстоит дурно; и все же я не в силах устроить свои дела таким образом, чтобы не натыкаться на каждом шагу на то, что мне явно не нравится. Плутни, которые от меня утаиваются особо усердно, я понимаю лучше, чем любые другие, и вижу их насквозь. И получается, что я сам должен помогать прятать их концы в воду, если хочу, чтобы они меня меньше раздражали. Все это — ничтожные уколы, подчас сущие пустяки, но это все же всегда уколы. Мельчайшие и ничтожнейшие помехи — чувствительнее всего; и как мелкий шрифт больше, чем всякий другой, режет и утомляет глаза, так и любое дело: чем оно незначительней, тем назойливее и хлопотнее. Тьма крошечных неприятностей досаждает сильнее, чем если бы на вас навалилась какая-нибудь одна, сколь бы большой она ни оказалась. И чем многочисленнее и тоньше эти подстерегающие нас в нашем доме шипы, тем болезненнее и неожиданнее их уколы, застающие нас чаще

всего врасплох.

Я не философ: несчастья меня подавляют, каждое в зависимости от своей тяжести, а она зависит как от их формы, так и от их сущности и часто представляется мне больше действительной; я это знаю лучше других и поэтому терпеливее, чем они. Наконец, если иные несчастья не затрагивают меня за живое, все же они так или иначе меня задевают. Жизнь — хрупкая штука, и нарушить ее покой — дело нетрудное. Лишь только я поддался огорчению (nemo enim resistit sibi cum coeperit impelli[520]), как бы нелепа ни была вызвавшая его причина, я принимаюсь всячески сгущать краски и бередить себя, и в дальнейшем мое мрачное настроение начинает питаться за свой собственный счет, хватаясь за все, что придется, и громоздя одно на другое, лишь бы найти себе пищу.

Stillicidi casus lapidem cavat[521].

Эти непрестанно падающие капли точат меня.

Повседневные неприятности никогда не бывают мелкими. Они нескончаемы, и с ними не

---

[520] Примечания: 520
Кто начал тревожиться, тому себя не сдержать (*лат.*). *Письма,* 13, 13.

[521] Примечания: 521
Вода камень точит (*лат.*). Лукреций, I, 313.

справиться, в особенности если их источник — ваши домашние, неизменно все те же, от которых никуда не уйдешь.

Когда я рассматриваю положение моих дел издали и в целом, то нахожу — возможно, из-за моей не слишком точной памяти, — что до сих пор они процветали сверх моих расчетов и ожиданий. Впрочем, я вижу в таких случаях, как кажется, больше существующего на деле: их успешность вводит меня в заблуждение. Но когда я погружен в свои хлопоты, когда наблюдаю в моем хозяйстве каждую мелочь,

> *Tum vero in curas animum diducimur omnes*[522],

тысяча вещей вызывает во мне неудовольствие и тревогу. Отстраниться от них очень легко, но взяться за них, не испытывая досады, очень трудно. Сущая беда находиться там, где все, что вы видите, не может не занимать ваших мыслей и вас не касаться. И мне представляется, что в чужом доме я вкушаю больше радостей и удовольствий, чем у себя, и смакую их не в пример непосредственнее. И когда Диогена спросили,

---

[522] Примечания: 522
Тогда мы ввергаем нашу душу в заботу (*лат.*). *Энеида,* V, 720.

какой сорт вина, по его мнению, наилучший, он ответил совсем в моем духе: «Чужой».

Страстью моего отца было отстраивать Монтень, где он родился, и во всем ходе моих хозяйственных дел я люблю следовать его примеру и правилам и, насколько смогу, приучу к тому же моих преемников. И я сделал бы для него много больше, располагай я такою возможностью. Я горжусь, что его воля и посейчас оказывает через меня воздействие и неукоснительно выполняется. Да не дозволит Господь, чтобы в Монтене, пока он в моих руках, я по нерадивости упустил хоть что-нибудь из того, чем мог бы возвратить подобие жизни столь замечательному отцу. И если я взял на себя труд достроить какой-нибудь кусок старой стены или привести в порядок часть плохо отделанного фасада, то это было предпринято мной скорее из уважения к его замыслам, чем ради собственного удовольствия. Я виню себя за бездеятельность, за то, что не осуществил большего, не завершил прекрасных его начинаний в доме, и я тем более виню себя в этом, что, вернее всего, я последний из моего рода владею им и должен был бы закончить начатое. А что касается моих личных склонностей, то ни удовольствие строиться, которое считают таким завлекатель-

ным, ни охота, ни разведение плодовых садов, ни все остальные удовольствия уединенной жизни не имеют для меня притягательной силы. За это я зол на себя, как и за те из моих воззрений, которые мешают мне жить. Я забочусь не столько о том, чтобы они были у меня выдающимися и основанными на глубокой учености, сколько о том, чтобы они были необременительными и удобными в жизни: если они полезны и приятны, они в достаточной мере истинны и здравы.

Кто в ответ на мои сетования о полной моей неспособности заниматься хозяйственными делами нашептывает мне, что дело не в этом, а в моем пренебрежении к ним и что я и поныне не знаю сельскохозяйственных орудий, сроков полевых работ, их последовательности, не знаю, как делают мои вина, как прививают деревья, не знаю названий и вида трав и злаков, не имею понятия о приготовлении кушаний, которыми я питаюсь, о названиях и цене тканей, идущих мне на одежду, лишь потому, что у меня в сердце некая более возвышенная наука, — те просто меня убивают. Нет, это — глупость моя, вернее тупость, а не нечто достойное прославления. И я скорее предпочел бы видеть себя порядочным конюхом, чем знатоком логики:

Quin tu aliquid saltem potius quorum indiget usus,

Viminibus mollique paras detexere iunco?[523]

Мы забиваем себе голову отвлеченностями и рассуждениями о всеобщих причинах и следствиях, отлично обходящихся и без нас, и оставляем в стороне наши дела и самого Мишеля, который нам как-никак ближе, чем всякий другой. Теперь я чаще всего сижу безвыездно у себя дома, и я был бы доволен, если бы тут мне нравилось больше, чем где бы то ни было.

Sit meae sedes utinam senectae,

Sit modus lasso maris, et viarum

Militiaeque[524]*.*

Не знаю, выпадет ли это на мою долю. Я был бы доволен, если бы покойный отец взамен какой-нибудь части наследства оставил мне после

---

[523] Примечания: 523

Почему ты не предпочтешь заняться тем, что полезно? почему не плетешь корзин из прутьев и гибкого тростника? (*лат.*) Вергилий. *Эклоги,* II, 71 сл.

[524] Примечания: 524

О если бы нашлось место, где я мог бы провести мою старость, о если бы мне, уставшему от моря, странствий и войны, обрести наконец покой (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, 6, 6–8.

себя такую же страстную любовь к своему хозяйству, какую на старости лет питал к нему сам. Он был по-настоящему счастлив, ибо соразмерял свои желания с дарованными ему судьбою возможностями и умел радоваться тому, что имел. Сколько бы философия, занимающаяся общественными вопросами, ни обвиняла мое занятие в низости и бесплодности, может статься, и мне оно когда-нибудь так же полюбится, как ему. Я держусь того мнения, что наиболее достойная деятельность — это служить обществу и приносить пользу многим. Fructus enim ingenii et virtutis omnisque praestantiae tum maximus accipitur, cum in proximum quemque confertur[525]. Что до меня, то я отступаю от этого, частью сознательно (ибо, хорошо понимая, сколь великое бремя возлагает деятельность подобного рода, я так же хорошо понимаю, сколь ничтожные силы я мог бы к ней приложить; ведь даже Платон, величайший мастер во всем, касающемся политического устройства, и он не преминул от нее уклониться), частью по трусости. Я довольствуюсь тем, что наслаждаюсь окружающим миром, не утруж-

[525] Примечания: 525

Плоды таланта, доблести и всякого нашего дарования кажутся нам наиболее сладкими, когда они приносят пользу кому-либо из близких (*лат.*). Цицерон. *О дружбе,* 19.

дая себя заботой о нем; я живу жизнью, которая всего-навсего лишь извинительна и лишь не в тягость ни мне, ни другим.

Никто с большей охотой не подчинился бы воле какого-нибудь постороннего человека и не вручил бы себя его попечению, чем это сделал бы я, когда располагал бы таким человеком. И одно из моих теперешних чаяний состоит в том, чтобы отыскать себе зятя, который смог бы покоить мои старые годы и убаюкивать их и которому я передал бы полную власть над моим имуществом, чтобы он им управлял, и им пользовался, и делал то, что я делаю, и извлекал из него, без моего участия, доходы, какие я извлекаю, при условии, что он приложит ко всему этому душу поистине признательную и дружественную. Но о чем толковать? Мы живем в мире, где честность, даже в собственных детях — вещь неслыханная.

Слуга, ведающий в путешествиях моею казной, распоряжается ею по своему усмотрению и бесконтрольно: он мог бы плутовать и отчитываясь передо мной; и если это не сам сатана, мое неограниченное доверие обязывает его к добросовестности. Multi fallere docuerunt, dum timent

falli, et aliis ius peccandi suspicando fecerunt[526]. Свойственная мне уверенность в моих людях основывается на том, что я их не знаю. Я ни в ком не подозреваю пороков, пока не увижу их своими глазами, и я больше полагаюсь на людей молодых, так как считаю, что их еще не успели развратить дурные примеры. Мне приятнее раз в два месяца услышать о том, что мною издержано четыре сотни экю, чем каждый вечер услаждать свой слух докучными сообщениями о каких-нибудь трех, пяти или семи экю. При всем этом я потерял от хищений такого рода не больше, чем всякий другой. Правда, я сам способствую своему неведению: я в некоторой мере сознательно поддерживаю в себе беспокойство и неизвестность относительно моих денег, и в какой-то степени я даже доволен, что у меня есть простор для сомнений. Следует оставлять немного места и нечестности и неразумию вашего слуги. Если нам, в общем, хватает на удовлетворение наших нужд, то не будем мешать ему подбирать эти разбросанные после жатвы колосья, этот излишек от щедрот нашей фортуны. В конце концов,

[526] Примечания: 526

Многие подали мысль обмануть их, ибо обнаружили страх быть обманутыми и, подозревая другого, предоставили ему право на плутни (*лат.*). *Письма,* 3, 3.

я не столько рассчитываю на преданность моих людей, сколько не считаюсь с причиняемым ими уроном. О гнусное или бессмысленное занятие — без конца заниматься своими деньгами, находя удовольствие в их перебирании, взвешивании и пересчитывании! Вот поистине путь, которым в нас тихой сапой вползает жадность.

На протяжении восемнадцати лет я управляю моим имуществом и за все это время не смог заставить себя ознакомиться ни с документами на владение им, ни с важнейшими из моих дел, знать которые и позаботиться о которых мне крайне необходимо. И причина этого не в философском презрении к благам земным и преходящим; я вовсе не отличаюсь настолько возвышенным вкусом и ценю их, самое малое, по их действительной стоимости; нет, причина тут в лени и нерадивости, непростительных и ребяческих. Чего бы я только не сделал, лишь бы уклониться от чтения какого-нибудь контракта, лишь бы не рыться в пыльных бумагах, я, раб своего ремесла, или, еще того хуже, в чужих бумагах, чем занимается столько людей, получая за это вознаграждение. Единственное, что я нахожу поистине дорого стоящим, — это заботы и труд, и я жажду лишь одного: окончательно обленившись

и проникнуться ко всему равнодушием.

Я думаю, что мне было бы куда приятнее жить на иждивении кого-либо другого, если бы это не налагало на меня обязательств и ярма рабства. Впрочем, рассматривая этот вопрос основательнее и учитывая мои склонности, выпавший на мою долю жребий, а также огорчения, доставляемые мне моими делами, слугами и домашними, я, право, не знаю, что унизительнее, мучительнее и несноснее, — все это вместе взятое или подневольное положение при человеке, который был бы выше меня по рождению и располагал бы мной, не слишком насилуя мою волю. Servitus oboedientia est fracti animi et abiecti, arbitrio carentis suo[527]. Кратес поступил гораздо решительнее: чтобы избавиться от пакостных хозяйственных мелочей и хлопот, он избрал для себя убежищем бедность. На это я никогда бы не пошел (я ненавижу бедность не меньше, чем физическое страдание), но изменить мой нынешний образ жизни на более скромный и менее занятой — этого я страстно желаю.

Пребывая в отъезде, я сбрасываю с себя все мысли о моем доме; и случись в мое отсутствие

[527] Примечания: 527

Рабство — это покорность души слабой и низменной, не умеющей собой управлять (*лат.*). Цицерон. *Парадоксы,* V, 1.

рухнуть одной из моих башен, я бы это переживал не в пример меньше, чем, находясь у себя, падение какой-нибудь черепицы. Вне дома моя душа быстро и легко распрямляется, но когда я дома, она у меня в беспрерывной тревоге, как у какого-нибудь крестьянина-виноградаря. Перекосившийся у моей лошади повод или плохо закрепленный стремянной ремень, кончик которого бьет меня по ноге, на целый день портят мне настроение. Перед лицом неприятностей я умею укреплять мою душу, но с глазами это у меня не выходит.

Sensus, o superi, sensus[528].

Когда я у себя дома, я отвечаю за все, что у меня не ладится. Лишь немногие землевладельцы (говорю о людях средней руки вроде меня; и если эти немногие действительно существуют, они гораздо счастливее остальных) могут позволить себе отдых хотя бы на одну-единственную секунду, чтобы их не обременяла добрая доля лежащего на них груза обязанностей. Это в некоторой мере уменьшает мое радушие (если мне иногда и случается удержать у себя кого-нибудь несколько

[528] Примечания: 528
Чувства, о всевышние боги, чувства (*лат.*). Источник неизвестен.

дольше, то в отличие от назойливо любезных хозяев я бываю этим обязан скорее моему столу, нежели обходительности), лишая одновременно и большей части того удовольствия, которое я должен был бы испытывать в их кругу. Самое глупое положение, в какое может поставить себя дворянин в своем доме, — это, когда он явно дает понять, что нарушает установленный у него порядок, когда он шепчет на ухо одному из слуг, грозит глазами другому; все должно идти плавно и неприметно, так, чтобы казалось, будто все обстоит, как всегда. И я нахожу отвратительным, когда к гостям пристают с разговорами о приеме, который им оказывают, независимо от того, извиняются ли при этом или же хвалятся. Я люблю порядок и чистоту

et cantharus et lanx
Ostendunt mihi me[529]

больше чрезмерного изобилия; а у себя я забочусь лишь о самом необходимом, пренебрегая пышностью. Если вам приходится видеть, как чей-нибудь слуга мечется взад и вперед или как кто-нибудь из них вывернет блюдо, это вызывает

[529] Примечания: 529

И чаша, и кубок мне показывают меня (*лат.*). Гораций. *Послания,* III, 5, 23 сл.

у вас улыбку; и вы мирно дремлете, пока ваш гостеприимный хозяин совещается со своим дворецким относительно угощения, которым он вас попотчует на следующий день.

Я говорю лишь о моих вкусах; вместе с тем я очень хорошо знаю, сколько развлечений и удовольствий доставляет иным натурам мирное, преуспевающее, отлично налаженное хозяйство; я вовсе не хочу объяснять мои промахи и неприятности в деятельности этого рода существом самого дела, как не хочу и спорить с Платоном, полагающим, что самое счастливое занятие человека — это праведно делать свои дела.

Когда я путешествую, мне остается думать лишь о себе и о том, как употребить мои деньги; а это легко устраивается по вашему усмотрению. Чтобы накапливать деньги, нужны самые разнообразные качества, а в этом я ничего не смыслю. Но в том, чтобы их тратить, — в этом я кое-что смыслю, как смыслю и в том, чтобы тратить их с толком, а это поистине и есть важнейшее их назначение. Впрочем, я вкладываю в это занятие слишком много тщеславия, из-за чего мои расходы очень неровны и несообразны и выходят сверх того за пределы разумного, как в ту, так и в другую сторону. Если они придают мне блеску

и служат для достижения моих целей, я, не задумываясь, иду на любые траты — и, так же не задумываясь, сокращаю себя, если они мне не светят, не улыбаются.

Ухищрения ли человеческого ума или сама природа заставляют нас жить с оглядкою на других, но это приносит нам больше зла, чем добра. Мы лишаем себя известных удобств, лишь бы не провиниться перед общественным мнением. Нас не столько заботит, какова наша настоящая сущность, что мы такое в действительности, сколько то, какова эта сущность в глазах окружающих. Даже собственная одаренность и мудрость кажутся нам бесплодными, если ощущаются только нами самими, не проявляясь перед другими и не заслуживая их одобрения. Есть люди, чьи подземелья истекают целыми реками золота, и никто об этом не знает; есть и такие, которые превращают все свое достояние в блестки и побрякушки; таким образом, у последних лиар представляется ценностью в целый экю, тогда как у первых — наоборот, ибо свет определяет издержки и состояние, исходя из того, что именно выставляется ему напоказ. От всякой возни с богатством отдает алчностью; ею отдает даже от его расточения, от чрезмерно упорядоченной и нарочитой

щедрости; оно не стоит такого внимания и столь докучной озабоченности. Кто хочет расходовать свои средства разумно, тот постоянно должен себя останавливать и урезывать. Бережливость и расточительность сами по себе — ни благо, ни зло; они приобретают окраску либо того, либо другого в зависимости от применения, которое им дает наша воля.

Другая причина, толкающая меня к путешествиям, — отвращение к царящим в нашей стране нравам. Я легко бы смирился с их порчей, если бы они наносили ущерб только общественным интересам,

> *peioraque saecula ferri*
> *Temporibus, quorum sceleri non invenit ipsa*
> *Nomen*
> *et a nullo posuit natura metallo*[530],

но так как они затрагивают и мои интересы, смириться с ними я не могу. Уж очень они меня угнетают. Вследствие необузданности длящихся уже долгие годы гражданских войн мы

---

[530] Примечания: 530

Времена хуже железного века, и их преступлению сама природа не находит названия, и она не создала металла, которым можно было бы их обозначить (*лат.*). Ювенал, XIII, 28–30.

мало-помалу скатились в наших краях к такой извращенной форме государственной власти,

Quippe ubi fas versum atque nefas[531],

что поистине просто чудо, что она смогла удержаться.

Armati terram exercent, semperque recentes
Convectare iuvat praedas et vivere rapto[532].

Короче говоря, я вижу на нашем примере, что человеческие сообщества складываются и держатся, чего бы это ни стоило. Куда бы людей ни загнать, они, теснясь и толкаясь, в конце концов как-то устраиваются и размещаются, подобно тому как разрозненные предметы, сунутые кое-как, без всякого порядка, в карман, сами собой находят способ соединиться и уложиться друг возле друга, и притом иногда лучше, чем если бы их уложили туда даже наиболее искусные руки. Царь Филипп собрал однажды толпу самых

[531] Примечания: 531

Где понятия о дозволенном и запретном извращены (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* I, 505.

[532] Примечания: 532

Они обрабатывают землю вооруженные и все время жаждут новой добычи и жаждут жить награбленным (*лат.*). *Энеида,* VII, 748 сл.

дурных и неисправимых людей, каких только смог разыскать, и поселил их в построенном для них городе, которому присвоил соответствующее название. Полагаю, что и они из самих своих пороков создали политическое объединение, а также целесообразно устроенное и справедливое общество.

Предо мной не какое-нибудь единичное злодеяние, не три и не сотня, предо мной повсеместно распространенные, находящие всеобщее одобрение нравы, настолько чудовищные по своей бесчеловечности и в особенности бесчестности, — а для меня это наихудший из всех пороков, — что я не могу думать о них без содрогания, и все же я любуюсь ими, пожалуй, не меньше, чем ненавижу их. Эти из ряда вон выходящие злодеяния в такой же мере отмечены печатью душевной мощи и непреклонности, как и печатью развращенности и заблуждений. Нужда обтесывает людей и сгоняет их вместе. Эта случайно собравшаяся орда сплачивается в дальнейшем законами; ведь бывали среди подобных орд и такие свирепые, что никакое человеческое воображение не в силах измыслить что-либо похожее, и тем не менее иным из них удавалось обеспечить себе здоровое и длительное существование, так что потягаться

с ними было бы впору разве что государствам, которые были бы созданы гением Платона и Аристотеля.

И конечно, все описания придуманных из головы государств — не более чем смехотворная блажь, непригодная для практического осуществления. Ожесточенные и бесконечные споры о наилучшей форме общественного устройства и о началах, способных нас спаять воедино, являются спорами, полезными только в качестве упражнения нашей мысли; они служат тому же, чему служат многие темы, используемые в различных науках; приобретая существенность и значительность в пылу диспута, они вне него лишаются всякой жизненности. Такое идеальное государство можно было бы основать в Новом Свете, но мы и там имели бы дело с людьми, уже связанными и сформированными теми или иными обычаями; ведь мы не творим людей, как Пирра или как Кадм. И если бы мы добились каким-либо способом права исправлять и перевоспитывать этих людей, все равно мы не могли бы вывернуть их наизнанку так, чтобы не разрушить всего. Солона как-то спросили, наилучшие ли законы он установил для афинян. «Да, — сказал он в ответ, — наилучшие из тех, каким они

согласились бы подчиняться».

Варрон приводит в свое извинение следующее: если бы он первым писал о религии, он высказал бы о ней все, что думает; но раз она принята всеми и ей присущи определенные формы, он будет говорить о ней скорее согласно обычаю, чем следуя своим естественным побуждениям.

Не только предположительно, но и на деле лучшее государственное устройство для любого народа — это то, которое сохранило его как целое. Особенности и основные достоинства этого государственного устройства зависят от породивших его обычаев. Мы всегда с большой охотой сетуем на условия, в которых живем. И все же я держусь того мнения, что жаждать власти немногих в государстве, где правит народ, или стремиться в монархическом государстве к иному виду правления, — это преступление и безумие.

Уклад своей страны обязан ты любить:

Чти короля, когда он у кормила,

Республику, когда в народе сила,

Раз выпало тебе под ними жить.

Это сказано нашим славным господином Пибраком, которого мы только что потеряли,

человеком высокого духа, здравых воззрений, безупречного образа жизни. Эта утрата, как и одновременно постигшая нас утрата господина де Фуа, весьма чувствительны для нашей короны. Не знаю, можно ли найти в целой Франции еще такую же пару, способную заменить в Королевском Совете двух этих гасконцев, наделенных столь многочисленными талантами и столь преданных трону. Это были разные, но одинаково высокие души, и для нашего века особенно редкие и прекрасные, скроенные каждая на свой лад. Но кто же дал их нашему времени, их, столь чуждых нашей испорченности и столь не приспособленных к нашим бурям?

Ничто не порождает в государстве такой неразберихи, как вводимые новшества; всякие перемены выгодны лишь бесправию и тирании. Когда какая-нибудь часть займет неподобающее ей место, это дело легко поправимое; можно принимать меры и к тому, чтобы повреждения или порча, естественные для любой вещи, не увели нас слишком далеко от наших начал и основ. Но браться за переплавку такой громады и менять фундамент такого огромного здания — значит уподобляться тем, кто, чтобы подчистить, начисто стирает написанное, кто хочет устранить

отдельные недостатки, перевернув все на свете вверх тормашками, кто исцеляет болезни посредством смерти, non tam commutandarum quam evertendarum rerum cupidi[533]. Мир сам себя не умеет лечить; он настолько нетерпелив ко всему, что его мучает, что помышляет только о том, как бы поскорее отделаться от недуга, не считаясь с ценой, которую необходимо за это платить. Мы убедились на тысяче примеров, что средства, применяемые им самим, обычно идут ему же во вред; избавиться от терзающей в данное мгновение боли вовсе не значит окончательно выздороветь, если при этом общее состояние не улучшилось.

Цель хирурга не в том, чтобы удалить дикое мясо; это только способ лечения. Он стремится к тому, чтобы на том же месте возродилась здоровая ткань и чтобы тот же участок тела снова зажил нормальной жизнью. Всякий, кто хочет устранить только то, что причиняет ему страдание, недостаточно дальновиден, ибо благо не обязательно идет следом за злом; за ним может последовать и новое зло, и притом еще худшее, как это случилось с убийцами Цезаря, которые ввергли республику в столь великие бедствия,

[533] Примечания: 533

Стремясь не столько к изменению существующего строя, сколько к его извращению (*лат.*). Цицерон.

что им пришлось раскаиваться в своем вмешательстве в государственные дела. С того времени и вплоть до нашего века со многими произошло то же самое. Мои современники-французы могли бы на этот счет многое порассказать. Все крупные перемены расшатывают государство и вносят в него сумятицу. Кто, затевая исцелить его одним махом, предварительно задумался бы над тем, что из этого воспоследует, тот, конечно, охладел бы к подобному предприятию и не пожелал бы приложить к нему руку. Пакувий Колавий покончил с порочными попытками этого рода весьма примечательным способом. Его сограждане поднялись против своих правителей. Ему же, человеку весьма могущественному в городе Капуе, удалось запереть во дворце собравшийся туда в полном составе сенат, и, созвав на площадь народ, он сообщил ему, что пришел день, когда они без всякой помехи могут отомстить тиранам, которые так долго их угнетали и которые теперь в его власти, безоружные и лишенные всякой охраны. Он предложил, чтобы их выводили по жребию одного за другим, и народ принимал решение о каждом из них в отдельности, исполняя на месте вынесенный им приговор, — с тем, однако, чтобы на должность, которую занимал

осужденный, они тут же назначали кого-нибудь из добропорядочных граждан, дабы она не оставалась незамещенной. Едва был вызван первый сенатор, как поднялись крики, выражавшие всеобщую ненависть к этому человеку. «Вижу, — сказал Пакувий, — этого необходимо сместить, он бесспорный злодей; давайте заменим его кем-нибудь более подходящим». Внезапно воцарилась полнейшая тишина: всякий затруднялся, кого же назвать. Наконец кто-то осмелился выдвинуть своего кандидата, но в ответ на это последовали еще более громкие и единодушные крики, отказывавшие ему в избрании. Было перечислено множество присущих ему недостатков и были приведены сотни веских причин, по которым его следовало отвергнуть. Между тем страсти разгорались все сильнее и неукротимее, и дело пошло еще того хуже при появлении второго сенатора, а затем и третьего: столько же было разногласий при выборах, сколько согласия при отстранении от обязанностей. В конце концов, устав от этой бесплодной распри, народ стал мало-помалу — кто сюда, кто туда — разбегаться с собрания, унося в душе убеждение, что застарелое и хорошо знакомое зло всегда предпочтительнее зла нового и неизведанного. Чего мы только не делали,

чтобы дойти до столь прискорбного положения?

Eheu cicatricum et sceleris pudet,
Fratrumque: quid nos dura refugimus
Aetas? quid intactum nefasti
Liquimus? unde manus iuventus
Metu deorum continuit? quibus
Pepercit aris?[534]

И все же я не решаюсь сказать:

ipsa si velit Salus
Servare
prorsus non potest hanc familam[535].

Мы, пожалуй, еще не дошли до последней черты. Сохранность государств — это нечто такое, что находится за пределами нашего разумения. Государственное устройство, как утверждает Платон, — это нечто чрезвычайно могущественное и с трудом поддающееся распаду. Нередко

---

[534] Примечания: 534

Увы! Наши рубцы, наши преступления, наши братоубийственные войны покрывают нас позором. На что посягнул наш жестокий век? Оставили мы, нечестивцы, хоть что-то нетронутым? Удержал ли страх перед богами нашу молодежь хоть от чего-нибудь? Пощадила ли она хоть какие-нибудь алтари? (*лат.*) Гораций. *Оды,* I, 35, 33–38.

[535] Примечания: 535

Даже если бы сама богиня Спасения пожелала сохранить этот род, то и она не смогла бы это сделать (*лат.*). Теренций. *Братья, IV,* 344 сл.

оно продолжает существовать, несмотря на смертельные, подтачивающие его изнутри недуги, несмотря на несообразность несправедливых законов, несмотря на тиранию, несмотря на развращенность и невежество должностных лиц, разнузданность и мятежность народа.

Во всех наших превратностях мы обращаем взоры к тому, что над нами, и смотрим на тех, кому лучше, чем нам; давайте же сравним себя с тем, что под нами; нет такого горемычного человека, который не нашел бы тысячи примеров, способных доставить ему утешение. Наша вина, что мы больше думаем о грядущей беде, чем о минувшей. «Если бы, — говорил Солон, — все несчастья были собраны в одну груду, то не нашлось бы ни одного человека, который не предпочел бы остаться при своих горестях, лишь бы не принимать участия в законном разделе этой груды несчастий и не получить своей доли». Наше государство занемогло; но ведь другие государства болели, бывало, еще серьезнее и тем не менее не погибли. Боги тешатся нами, словно мячом, и швыряют нас во все стороны:

Enimvero dii nos homines quasi pilas

habent[536].

Светила роковым образом избрали Римское государство, дабы показать на его примере свое всемогущество. Оно познало самые различные формы, прошло через все испытания, каким только может подвергнуться государство, через все, что приносит лад и разлад, счастье и несчастье. Кто же может отчаиваться в своем положении, зная о потрясениях и ударах, которые оно претерпело и которые все-таки выдержало? Если господство на огромных пространствах есть признак здоровья и крепости государства (с чем я никоим образом не могу согласиться, и мне нравятся слова Исократа, советовавшего Никоклу не завидовать государям, владеющим обширными царствами, но завидовать тем из них, которые сумели сохранить за собой то, что выпало им в удел), то Рим никогда не был здоровее, чем в то время, когда он был наиболее хворым. Худшая из его форм была для него самой благоприятною. При первых императорах в нем с трудом прослеживаются какие-либо признаки государственного устройства: это самая ужасающая и

[536] Примечания: 536

Ведь боги обращаются с людьми, словно с мячами (*лат.*). Плавт. *Пленники,* 34.

нелепая мешанина, какую только можно себе представить. И все же он сохранил и закрепил это свое устройство, остался не какой-нибудь крошечной монархией с ограниченными пределами, но стал властителем многих народов, столь различных, столь удаленных, столь враждебно к нему настроенных, столь неправедно управляемых, столь коварным образом покоренных:

nec gentibus ullis
Commodat in populum terrae pelagique potentem
Invidiam fortuna suam[537].

Не все, что колеблется, падает. Остов столь огромного образования держится не на одном гвозде, а на великом множестве их. Он держится уже благодаря своей древности; он подобен старым строениям, из-за своего возраста потерявшим опору, на которой они покоились, без штукатурки, без связи, и все же не рушащимся и поддерживающим себя своим весом,

nec iam validis radicibus haerens,

[537] Примечания: 537
И ни одному племени не предоставит судьба покарать за нее народ, властвующий над сушей и морем (*лат.*). Лукан, I, 82–84.

Pondere tuta suo est[538].

К тому же никак нельзя одобрить поведение тех, кто обследует лишь внешние стены крепости и рвы перед ними; чтобы судить о ее надежности, нужно взглянуть, кроме того, откуда могут прийти осаждающие и каковы их силы и средства. Лишь немногие корабли тонут от своего веса и без насилия над ними со стороны. Давайте оглядимся вокруг: все распадается и разваливается; и это во всех известных нам государствах как христианского мира, так и в любом другом месте; присмотритесь к ним, и вы обнаружите явную угрозу ожидающих их изменений и гибели:

> *Et sua sunt illis incommoda, parque per omnes*
> *Tempestas*[539].

Астрологи ведут беспроигрышную игру, предвещая, по своему обыкновению, великие перемены и потрясения; их предсказания толкуют о том, что и без того очевидно и осязаемо; за ними незачем

---

[538] Примечания: 538

Этот дуб уже не стоит на прочных корнях, но держится благодаря своему весу (*лат.*). Лукан, III, 138 сл.

[539] Примечания: 539

У них свои беды; и над всеми бушует одинаково сильная буря (*лат.*). *Энеида,* XI, 422 сл.

отправляться на небеса.

И если это сочетание бедствий и вечной угрозы наблюдается повсеместно, то отсюда мы можем извлечь для себя не только известное утешение, но и некоторую надежду на то, что и наше государство устоит, как другие; ибо где падает все, там в действительности ничто не падает. Болезнь, присущая всем, для каждого в отдельности есть здоровье; единообразие — качество, противоборствующее распаду. Что до меня, то я отнюдь не впадаю в отчаянье, и мне кажется, что я вижу перед нами пути к спасению;

deus haec fortasse benigna
Reducet in sedem vice[540].

Кому ведомо, не будет ли Господу Богу угодно, чтобы и с нами произошло то же самое, что порою случается с иным человеческим телом, которое очищается и укрепляется благодаря длительным и тяжелым болезням, возвращающим ему более полное и устойчивое здоровье, нежели то, какое было ими у него отнято?

Но больше всего меня угнетает то, что, изучая симптомы нашей болезни, я нахожу среди них

---

[540] Примечания: 540

Быть может, Бог восстановит в прежнем виде то, что мы расточили (*лат.*). Гораций. *Эподы*, XIII, 7 сл.

столько же естественных и ниспосланных самим небом, и только им, сколько тех, которые привносятся нашей распущенностью и человеческим безумием. Кажется, что даже светила небесные и они считают, что мы просуществовали достаточно долго и уже перешли положенный нам предел. Меня угнетает также и то, что наиболее вероятное из нависших над нами несчастий — это не преобразование всей совокупности нашего еще целостного бытия, а ее распадение и распыление, — и из всего, чего мы боимся, это самое страшное.

Предаваясь этим раздумьям, я опасаюсь также предательства со стороны моей памяти: не заставляет ли она меня дважды говорить по рассеянности об одном и том же. Я не люблю себя перечитывать и никогда не копаюсь по доброй воле в том, что мною написано. Я не вношу сюда ничего такого, чему научился позднее. Высказанные здесь мысли обыденны: они приходили мне в голову, может быть, сотню раз, и я боюсь, что уже останавливался на них. Повторение всегда докучает, даже у самого Гомера; но оно просто губительно, когда дело идет о вещах малосущественных и преходящих. Меня раздражает всякое вдалбливание даже в тех случаях, когда оно ка-

сается вещей безусловно полезных, например, у Сенеки, как раздражает и обыкновение его стоической школы повторять по всякому поводу, и притом от доски до доски, все те же общие положения и предпосылки и приводить снова и снова общеизвестные, привычные доводы и основания. Моя память что ни день ужасающим образом ухудшается,

Pocula Lethaeos ut si ducentia somnos
Arente fauce traxerim[541].

И впредь — ибо до настоящего времени, слава Богу, больших неприятностей от нее не было — мне в отличие от других, стремящихся высказывать свои мысли в подходящее время и хорошо их обдумав, придется избегать какой бы то ни было подготовки из страха обременить себя известными обязательствами, от которых я буду всецело зависеть. Я путаюсь и сбиваюсь, когда меня что-нибудь связывает и ограничивает и когда я завишу от такого ненадежного и немощного орудия, как моя память.

Я не могу читать следующую историю, не возмущаясь и не переживая ее всею душой. Когда

[541] Примечания: 541

Словно, погибая от жажды, я выпил чашу с водой из Леты, наводящую сны (*лат.*). Гораций. *Эподы,* XIV, 3 сл.

некоего линкеста, обвиненного в злокозненном умысле на Александра, поставили по обычаю перед войском, чтобы оно могло выслушать его оправдания, он, припоминая заранее составленную им речь, невнятно и запинаясь, пробормотал из нее лишь несколько слов. Пока он бился со своей памятью, стараясь собраться с мыслями, его волнение все возрастало, и воины, стоявшие поблизости от него, сочтя, что он полностью себя уличил своим поведением, бросились на него и убили его ударами копий. Его оцепенение и безмолвие были восприняты ими как признание в предъявленном ему обвинении: ведь в темнице у него было довольно досуга, чтобы подготовиться к этому дню, и, на их взгляд, дело тут не в том, что ему изменила память, а в том, что совесть сковала ему язык и отняла у него последнее мужество. Вот поистине замечательный вывод! А между тем самое место, скопление стольких людей, ожидание вселяют в душу смятение, особенно если помыслы направлены только на то, чтобы говорить красноречиво и убедительно. Что тут поделаешь, если от этой речи зависит жизнь твоя или смерть?

Что до меня, то у меня земля уходит из-под ног при мысли о том, что на мне путы и я могу гово-

рить только о том-то и о том-то. Когда я вверяю и препоручаю себя моей памяти, я цепляюсь за нее с такой силой, что чрезмерно отягощаю ее, и она пугается своего груза. Пока я неотступно следую за нею, я выхожу из себя, и настолько, что едва не теряю самообладание, и мне не раз приходилось с превеликим трудом скрывать, что я раб моей памяти, причем это случалось со мной именно там, где для меня было необычайно важно произвести впечатление, что я говорю с полной непринужденностью, что выражения моих чувств случайны и заранее не продуманы, но порождены нынешними обстоятельствами. По-моему, не высказать ничего стоящего нисколько не хуже, чем обнаружить перед всеми, что явился сюда, подготовившись красно говорить, — вещь совершенно неподобающая, и тем более для людей моего ремесла, да и вообще возлагающая чрезмерные обязательства, непосильные для того, кто не в состоянии на себя положиться: от подготовки ждут большего, чем она может дать. Часто по глупости надевают на себя короткий камзол, чтобы прыгнуть не лучше, чем в обычном плаще.

Nihil est his qui placere volunt tam adversarium

quam expectatio[542]. Существует письменное свидетельство об ораторе Курионе, что, хотя он и разбивал свою речь на три или четыре части и определял количество своих основных положений и доводов, с ним все же нередко случалось, что он что-нибудь забывал или добавлял новое. Я всегда остерегался стеснений этого рода, ненавидя всяческие ограничения и предписания, и не только из недоверия к моей памяти, но также и потому, что все это слишком надуманно и искусственно. Simpliciora militares decent[543]. Хватит с меня и того, что я дал себе обещание никогда больше не выступать в почтенных собраниях. Если же читать свою речь по написанному, то помимо того, что этот способ просто чудовищен, он вдобавок крайне невыгоден всякому, кто благодаря своим данным мог бы кое-чего достигнуть и при помощи жестов. Еще меньше могу я рассчитывать в настоящее время на собственную находчивость: моя мысль тяжела на подъем и лишена гибкости, и мне не найтись в обстоятель-

[542] Примечания: 542

Ничто так не вредит желающим произвести хорошее впечатление, как возлагаемые на них надежды (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы,* II, 4.

[543] Примечания: 543

Военным людям к лицу простота (*лат.*). Квинтилиан. *Воспитание оратора,* XI, 1.

ствах сложных и значительных.

Прими же, читатель, и эти мои писания, и это третье восполнение к написанной мною картине. Я добавляю, но никоим образом не исправляю. Во-первых, потому, что тот, кто отдал в заклад всему свету свое сочинение, по-моему, начисто потерял на него права. Пусть, если может, говорит более складно где-нибудь в другом месте, но не искажает работы, которую продал. Покупать у таких людей нужно только после их смерти. Пусть они прежде хорошенько подумают и лишь потом берутся за дело. Кто их торопит?

Моя книга неизменно все та же. И если ее печатают заново, я разве что позволяю себе вставить в нее лишний кусочек, дабы покупатель не ушел с пустыми руками: ведь она не более чем беспорядочный набор всякой всячины. Это всего лишь довески, нисколько не нарушающие ее первоначального облика, но придающие с помощью какой-нибудь существенной мелочи дополнительную и особую ценность всему последующему. Отсюда легко может возникнуть кое-какое нарушение хронологии, но мои побасенки размещаются как придется и не всегда в зависимости от своего возраста.

Во-вторых, если дело идет обо мне, я боюсь

потерять при обмене; мой ум не всегда шагает вперед, иногда он бредет и вспять. Я ничуть не меньше доверяю своим измышлениям от того, что они первые, а не вторые или третьи, или потому, что они прежние, а не нынешние. Нередко мы исправляем себя столь же нелепо, как исправляем других. Впервые мое сочинение увидело свет в 1580 г. За этот длительный промежуток времени я успел постареть, но мудрости во мне, разумеется, не прибавилось даже на самую малость. Я тогдашний и я теперешний — совершенно разные люди, и какой из нас лучше, я, право, не взялся бы ответить. Если бы мы шли прямым путем к совершенству, старость была бы и лучшей порой человеческой жизни. Но наше движение — скорее движение пьяницы: шаткое, валкое, несуразное, как раскачивание тростинки, колеблемой по прихоти ветра.

Антиох с великой горячностью превозносил Академию; однако он же на старости лет примкнул к стану ее врагов; за каким из этих двух Антиохов я бы ни последовал, разве это не означало бы, что в любом случае я все же последовал за Антиохом? Внести во взгляды людей сомнение и затем пытаться внести в них же определенность — не означает ли, в конце концов, все

же внести сомнение, а не определенность, и не предвещает ли также, что, буде этому человеку было бы предоставлено прожить еще один век, он и тогда бы неизменно проявлял склонность к какому-нибудь новому увлечению, не столько лучшему, сколько другому.

Благосклонность читателей придала мне несколько больше смелости, чем я от себя ожидал. Но ничего я так не боюсь, как наскучить; я предпочел бы скорее навлечь на себя гнев, но только, упаси Боже, не опостылеть, как сделал один ученый моего времени. Похвала всегда и везде приятна, откуда б она ни исходила и что бы ее ни вызывало, но чтобы по-настоящему насладиться ею, нужно знать, чем она вызвана. Даже недостатки находят себе поклонников. Признание со стороны невежественной толпы редко бывает обоснованным, и я, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что писания, превыше всего поднятые в мое время на щит народной молвой, — наихудшие. Конечно, я глубоко благодарен почтенным и порядочным людям, отметившим своей благосклонностью мои немощные усилия. Погрешности в отделке никогда не сказываются так явственно, как тогда, когда материал не может сам за себя постоять. Не вини же меня,

читатель, за те из них, которые сюда просочились по прихоти и по небрежности кого-либо другого: каждый, кто прикасался к моему сочинению, вносил сюда свои собственные. Я не вмешиваюсь ни в орфографию — единственное мое желание, чтобы не отступали от общепринятой, — ни в пунктуацию: я мало сведущ как в той, так и в другой. Когда меня лишают всякого смысла, я не очень-то об этом печалюсь, ибо тут с меня снимается по крайней мере ответственность; но где его искажают или выворачивают на свой собственный лад, как это часто случается, там меня, можно сказать, окончательно губят. Во всяком случае, если то или иное суждение скроено не по моей мерке, порядочный человек должен считать его не моим. Узнав, до чего я ленив и своенравен, всякий легко поверит, что я охотнее продиктую еще столько же опытов, лишь бы не закабалять себя пересмотром этих ради внесения в них мелочных исправлений.

Я уже говорил, что, сойдя в глубочайший рудник, чтобы добывать этот новый металл, я не только лишен близкого общения с людьми другого склада, нежели мой собственный, и других взглядов, сплачивающих их в особую группу и отделяющих от всех остальных, но и подвер-

гаюсь также опасности со стороны тех, кому решительно все позволено и кто в таких дурных отношениях с правосудием, хуже которых и представить себе невозможно, что и делает их до последней степени наглыми и распущенными. Если иметь в виду все касающиеся меня особые обстоятельства, я не вижу никого среди нас, кому бы отстаивание законности обходилось дороже, чем мне, принимая во внимание и потерю возможных выгод, и прямые убытки, как говорят наши юристы. И хотя иные делают в этом смысле несомненно гораздо меньше моего, они все же корчат из себя храбрецов, похваляясь своей резкостью и горячностью.

Являясь домом, сохранившим во все времена независимость, широко посещаемым и открытым для всех (ибо я не позволил себя совратить и поставить его на службу войне, в которую я охотнее всего вмешиваюсь тогда, когда она дальше всего от меня), дом мой заслужил общую любовь и признательность, и было бы трудно поносить меня на моей же навозной куче; и все же я считаю подлинным и редкостным чудом, что он все еще сохраняет, так сказать, свою девственность, — ведь в нем ни разу не лилась кровь и он ни разу не был отдан на поток и разорение, несмотря на

столь продолжительную грозу, столькие перемены и волнения по соседству со мной. Говоря по правде, человек моего душевного склада мог бы изменить своей твердости и непреклонности, какими бы они ни были; но набеги, и вражеские вторжения, и перемены, и превратности военного счастья рядом со мною больше ожесточали до последнего времени, чем смягчали нравы моих земляков, и они по-прежнему угрожают мне всяческими опасностями и неодолимыми трудностями. Я изворачиваюсь, но мне не по нраву, что это удается скорее по счастливой случайности или даже благодаря моему собственному благоразумению, а не благодаря защите со стороны правосудия, и мне не по нраву, что я живу не под сенью законов и под иною охраной, чем та, которую они должны обеспечивать. Положение, во всяком случае, таково, что я на добрую половину, если не больше, существую благодаря чужой благосклонности, а это для меня тягостная зависимость. Я не хочу быть обязанным своей безопасностью ни доброте и благодеяниям сильных мира сего, которым угодно ограждать меня от насилий и предоставить мне свободу действий, ни простоте нравов моих предшественников или лично моих. Ну, а будь я другим? Если мои поступ-

ки и безупречность моего поведения налагают на моих соседей и родичей в отношении меня известные обязательства, то просто ужасно, что они вправе считать себя в расчете со мной, сохраняя мне жизнь, и вправе сказать: «Мы оставляем ему возможность свободно отправлять богослужение в его домашней часовне, хотя все остальные церкви в округе мы разорили или разрушили; мы оставляем ему возможность распоряжаться его имуществом и его жизнью, раз и он, когда это необходимо, оберегает наших жен и наших быков». В нашем доме так повелось уже издавна, и похвалы, расточавшиеся когда-то Ликургу, который был у своих сограждан чем-то вроде главного казначея и хранителя их кошельков, в некоторой мере распространяются и на нас.

Между тем, по-моему, нужно, чтобы мы жили под защитою права и власти, а не благодаря чьей-то признательности или милости. Сколько смелых людей предпочло распрощаться с жизнью, чем быть ею кому-то обязанными. Я избегаю брать на себя какие бы то ни было обязательства, и особенно те, которые связывают меня долгом чести. Для меня нет ничего драгоценнее, чем полученное мною как дар; вот почему моя воля попадает в заклад ко всякому, кто располагает

моей благодарностью, и вот почему я охотнее пользуюсь такими услугами, которые можно купить. Мой расчет вполне правилен; за последние я отдаю только деньги, за все остальное — самого себя. Узы, налагаемые на меня честностью, кажутся мне намного стеснительнее и тяжелее, чем судебное принуждение. Мне не в пример легче, когда меня душат при посредстве нотариуса, чем при моем собственном. Разве не справедливо, что моя совесть чувствует себя более скованной в тех случаях, когда мне оказывается безоговорочное доверие? В других условиях моя добропорядочность никому ничего не должна, потому что никто ей ничего не одалживал; пусть обращаются ко всевозможным обеспечениям и гарантиям, предоставляемым помимо меня. Мне было бы значительно проще вырваться из плена казематов и законов, чем из того плена, в котором держит меня мое слово. В отношении своих обещаний я щепетилен до педантизма и поэтому, чего бы то ни касалось, стараюсь, чтобы они были, насколько возможно, неопределенными и условными. Даже тем из них, которые сами по себе не важны, я придаю несвойственную им важность из ревностного стремления неизменно следовать моему правилу; оно мне мешает и

обременяет меня, и притом ради себя самого, а не во имя чего-либо иного. Больше того, если, затевая те или иные дела, даже сугубо личные, в которых я волен действовать всецело по своему усмотрению, я рассказываю кому-нибудь о моем замысле, то мне начинает казаться, что отныне я уже не вправе от него отступиться и что сообщить о нем кому-либо другому — означает сделать его своим непреложным законом; мне кажется, что, говоря, я тем самым даю обещание. Вот почему я редко делюсь моими намерениями.

Приговор, выносимый мною самому себе, гораздо строже и жестче судебного приговора, ибо судья применяет ко мне ту же мерку, что и ко всем, тогда как тиски моей совести крепче и беспощаднее. Я не очень-то рьяно исполняю обязанности, к которым меня бы принудили, если бы я их не нес. Hoc ipsum ita iustum est quod recte fit, si est voluntarium[544]. Поступки, которых не озаряет отблеск свободы, не доставляют ни чести, ни удовольствия.

Quod

---

[544] Примечания: 544

Праведный поступок по-настоящему праведен только тогда, когда он доброволен (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях*, I, 9.

me ius cogit, vix voluntate impetrent[545].

К чему меня побуждает необходимость, того мне не хочется, quia quicquid imperio cogitur, exigenti magis quam praestanti acceptum refertur[546]. И я знаю таких, которые доходят в этом до явной несправедливости: они охотнее дарят, чем возвращают, охотнее ссужают, чем платят, и всего расчетливее по отношению к тем, с кем связаны теснее всего. Я не иду этим путем, но не слишком далек от этого.

Я настолько люблю сбрасывать с себя бремя каких бы то ни было обязательств, что порою почитал прибылью различные проявления неблагодарности, нападки и недостойные выходки со стороны тех, к кому, по склонности или в силу случайного стечения обстоятельств, испытывал кое-какое дружеское расположение, ибо я рассматриваю их враждебные действия и их промахи как нечто такое, что целиком погашает мой долг и позволяет мне считать себя в полном расчете с ними. И хотя я продолжаю платить им дань

---

[545] Примечания: 545

Едва ли я стал бы по своей воле заниматься делами, которые вменяются мне в обязанность (*лат.*). Теренций. *Братья,* III, 202.

[546] Примечания: 546

Ибо всякое приказание доставляет больше удовольствия тому, кто его отдает, чем тому, кто его выполняет (*лат.*). Валерий Максим, II, 2, 6.

внешнего уважения, возлагаемую на нас общественною благопристойностью, все же я немало сберегаю на этом, так как, делая по принуждению то же самое, что делал и раньше, движимый чувством, я тем самым несколько ослабляю напряженность и озабоченность моей внутренней воли (est prudentis sustinere ut cursum, sic impetum benevolentiae[547]), которая у меня чрезмерно настойчива и беспокойна, во всяком случае, для человека, не желающего, чтобы его беспокоили; и эта экономия до некоторой степени возмещает ущерб, причиняемый мне несовершенствами тех, с кем мне приходится соприкасаться. Мне, разумеется, неприятно, что они теряют в моих глазах, но зато и я не очень внакладе, так как уже не считаю себя обязанным расточать им в такой мере свою внимательность и преданность. Я не порицаю того, кто меньше любит своего ребенка, потому что он покрыт паршою и горбат, и не только тогда, когда тот коварен и злобен, но и тогда, когда он попросту несчастлив и жалок (сам Господь этим способом обесценил его и определил ему место ниже естественного), лишь бы при этом охлаждении чувств соблюдалась

[547] Примечания: 547

Мудрому надлежит сдерживать порывы своей приязни, как сдерживают бег коня (*лат.*). Цицерон. *О дружбе,* 17.

мера и должная справедливость. По мне, кровная близость не сглаживает недостатков, напротив, она их скорее подчеркивает.

Итак, насколько я знаю толк в искусстве оказывать благодеяния и платить признательностью за те, что тебе оказаны, — а это искусство тонкое и требующее большого опыта, — я не вижу вокруг себя никого, кто до последнего времени был бы независимее, чем я, и менее моего в долгу перед кем бы то ни было. Да и вообще нет никого, кто был бы в этом отношении так же чист перед людьми, как я.

nec sunt mihi nota potentum
Munera[548].

Государи с избытком одаряют меня, если не отнимают моего, и благоволят ко мне, когда не причиняют мне зла; вот и все, чего я от них хочу. О сколь признателен я Господу Богу за то, что ему было угодно, чтобы всем моим достоянием я был обязан исключительно его милости, и также еще за то, что он удержал все мои долги целиком за собой. Как усердно молю я святое его милосердие, чтобы и впредь я не был обязан кому-нибудь

[548] Примечания: 548
И мне неведомы дары могущественных (*лат.*). *Энеида,* XII, 519 сл.

чрезмерно большой благодарностью!

Благодатная свобода, так долго ведшая меня по моему пути! Пусть же она доведет меня до конца!

Я стремлюсь не иметь ни в ком настоятельной надобности.

In me omnis spes est mihi[549]. Это вещь, доступная всякому, но она легче достижима для тех, кого Господь избавил от необходимости бороться с естественными и насущными нуждами.

Тяжело и чревато всевозможными неожиданностями зависеть от чужой воли. Мы сами — а это наиболее надежное и безопасное наше прибежище — не слишком в себе уверены. У меня нет ничего, кроме моего «я», но и этой собственностью я как следует не владею, и она к тому же мною частично признана. Я стараюсь воспитать в себе крепость духа, что важнее всего, и равнодушие к ударам судьбы, чтобы у меня было на что опереться, если бы все остальное меня покинуло.

Гиппий из Эллиды, водя дружбу с музами, запасся не только ученостью, чтобы в случае необходимости с радостью прекратить общение со всеми другими, и не только знанием философии,

---

[549] Примечания: 549

Вся моя надежда только на себя (*лат.*). Теренций. *Братья,* III, 168.

чтобы приучить свою душу довольствоваться собой и, если так повелит ее участь, мужественно обходиться без радостей, привносимых извне; он, кроме того, был настолько предусмотрителен, что научился стряпать для себя пищу, стричь свою бороду, шить себе одежду и обувь и изготовлять все необходимые ему вещи, дабы, насколько это возможно, рассчитывать лишь на себя и избавиться от посторонней помощи.

Гораздо свободнее и охотнее пользуешься благами, предоставленными тебе другим, в том случае, если пользование ими не вызывается горестною и настоятельною необходимостью и если в твоей воле и в твоих возможностях достаточно средств и способов обойтись и без них.

Я хорошо себя знаю. И все же мне трудно себе представить, чтобы где-нибудь на свете существовали щедрость столь благородная, гостеприимство столь искреннее и бескорыстное, которые не показались бы мне исполненными чванства и самодурства и были бы свободными от налета упрека, если бы судьба заставила меня к ним обратиться. Если давать — удел властвующего и гордого, то принимать — удел подчиненного. Свидетельство тому — выраженный в оскорбительном и глумливом тоне отказ Баязета от

присланных ему Тимуром подарков.

А те подарки, которые были предложены от имени султана Солимана султану Калькутты, породили в последнем столь великую ярость, что он не только решительно от них отказался, заявив, что ни он, ни его предшественники не имели обычая принимать чьи-либо дары, а, напротив, почитали своею обязанностью щедро их раздавать, но и бросил в подземную темницу послов, направленных к нему с упомянутой целью.

Когда Фетида, говорит Аристотель, заискивает перед Юпитером, когда лакедемоняне заискивают перед афинянами, они не освежают в их памяти то хорошее, что они для них сделали, напоминание о чем всегда неприятно, но вспоминают благодеяния, которые те оказали им самим. Люди, которые, как я вижу, пользуются без зазрения совести услугами всех и каждого, оставаясь тем самым в долгу перед ними, этого бы, конечно, не делали, если бы понимали, как все, кто не лишен рассудка, что значит связывать себя обязательством: его, пожалуй, можно иногда оплатить, но рассчитаться по нему невозможно. Это — мучительные оковы для каждого, кто любит всегда и везде класть локти так, как ему удобно. Моим знакомым — тем, кто выше меня

по своему положению, и тем, кто ниже, — отлично известно, что они еще не видели человека менее назойливого, чем я. Если я не подхожу под современную мерку, то это — не великое чудо, так как его основа — многочисленные свойства моего характера: немножко природной гордости, боязнь столкнуться с отказом, ограниченность желаний и намерений, неприспособленность к ведению каких бы то ни было дел и, наконец, излюбленные мои качества: приверженность к праздности и к свободе. Из-за всего этого я питаю смертельную ненависть и к тому, чтобы от кого-либо зависеть, и к тому, чтобы искать у кого-либо поддержки, если этот кто-либо не я сам. Прежде чем я позволю себе прибегнуть к чужой благосклонности, я прилагаю усилия, на какие только способен, чтобы обойтись без нее — и в пустяках, и в чем-либо важном. Мои друзья нестерпимо докучают мне, когда просят, чтобы я попросил за них кого-либо третьего. И для меня не менее затруднительно использовать и таким образом освободить от обязательств того, кто мне должен, чем обязаться ради них перед тем, кто у меня ни с какой стороны не в долгу. Если пренебречь этим — и еще при одном условии, а именно, чтобы от меня не хотели чего-нибудь

слишком хлопотного и сложного (ибо я объявил беспощадную войну всяким заботам), — я, в общем, охотно готов помочь в нужде каждому. Впрочем, я всегда в большей мере избегал брать, чем старался давать, — ведь, по Аристотелю, это гораздо приятнее. Моя судьба не очень-то позволяла мне благодетельствовать другим, но и то малое, что она мне позволила, пало на неблагодарную почву. Если бы она назначила меня родиться с тем, чтобы занять среди людей высокое положение, я бы стремился к тому, чтобы заставить себя полюбить, а не к тому, чтобы внушать страх и поражать воображение. Позволительно ли мне выразить это с еще большей самонадеянностью? Я бы столько же проявлял заботу о том, чтобы нравиться, как и о том, чтобы приносить пользу. Кир устами своего превосходного полководца и еще более выдающегося философа весьма мудро оценивает свою доброту и свои благодеяния не в пример выше, нежели свою доблесть и свои обширные завоевания. И Сципион Старший всюду, где хочет возвысить себя в людском мнении, ставит свою мягкость и человечность выше своей храбрости и побед, и у него всегда на устах прославленные слова о том, что он принудил своих врагов полюбить его так

же, как его любят друзья.

Итак, я хочу сказать, что если уж нужно быть всегда связанным каким-то долгом, то это должно иметь более твердые основания, нежели та зависимость, о которой я сейчас говорю и в которую меня ставят обстоятельства этой ужасной войны, а также, что мои обязательства не должны быть настолько тягостны, чтобы от них зависели моя жизнь и моя смерть: такая зависимость меня подавляет. Я тысячу раз ложился спать у себя дома с мыслью о том, что именно этой ночью меня схватят и убьют, и единственное, о чем я молил судьбу, так это о том, чтобы все произошло быстро и без мучений. И после своей вечерней молитвы я не раз восклицал:

> *Impius haec tam culta novalia miles habebit!*[550]

Ну, а где против этого средство? Здесь — место, где родился и я, и большинство моих предков; они ему отдали и свою любовь, и свое имя. Мы лепимся к тому, с чем мы свыклись. И в столь жалком положении, как наше, привычка — благословеннейший дар природы, притупляющий

---

[550] Примечания: 550

Все эти столь тщательно возделанные пашни захватит какой-нибудь грубый воин (*лат.*). Вергилий. *Эклоги,* I, 70.

нашу чувствительность и помогающий нам претерпевать всевозможные бедствия. Гражданские войны хуже всяких других именно потому, что каждый из нас у себя дома должен быть постоянно настороже.

Quam miserum porta vitam muroque tueri,
Vixque suae tutum viribus esse domus[551].

Величайшее несчастье ощущать вечный гнет даже у себя дома, в лоне своей семьи. Местность, в которой я обитаю, — постоянная арена наших смут и волнений; тут они раньше всего разражаются и позже всего затихают, и настоящего мира тут никогда не видно.

Tum quoque cum pax est, trepidant formidine belli[552],
quoties pacem fortuna lacessit
Hac iter est bellis. Melius, fortuna, dedisses
Orbe sub Eoo sedem, gelidaque sub Arcto

---

[551] Примечания: 551

Какая жалкая участь оберегать свою жизнь с помощью стен и ворот и не быть по-настоящему в безопасности, несмотря на прочность своего дома (*лат.*). Овидий. *Скорбные элегии,* IV, 1, 69 сл.

[552] Примечания: 552

Даже когда царит мир, люди дрожат от страха перед войной (*лат.*). Лукан, III, 256.

Errantesque domos[553].

Чтобы уйти от этих горестных размышлений, я впадаю порой в безразличие и малодушие; ведь и они некоторым образом прививают человеку решительность. Мне нередко случается, и притом не без известного удовольствия, представлять себе со всею наглядностью свою гибель и ждать своего смертного часа; опустив голову, в полном оцепенении, погружаюсь я в смерть, не рассматривая и не узнавая ее, словно в мрачную и немую пучину, которая тотчас смыкается надо мной и сковывает меня неодолимым, беспробудным, бесчувственным сном. И то, что последует, как я предвижу, за быстрой и насильственной смертью, утешает меня в большей мере, чем страшат обстоятельства, при которых она постигнет меня. Говорят, что если не всякая долгая жизнь — хорошая жизнь, то всякая быстрая смерть — хорошая смерть. Я не столько боюсь умереть, сколько свожу знакомство с тем, что предшествует смерти, — с умиранием. Я таюсь и съеживаюсь посреди этой грозы — она должна меня ослепить и похитить стремительным и внезапным поры-

[553] Примечания: 553

Всякий раз, когда судьба нарушает мир, здесь разражаются войны. О судьба, лучше бы ты назначила мне жить в стране Эос или в кочующем доме под студеной Медведицей (*лат.*). Там же, 251 сл.

вом, которого я даже не почувствую.

Если розы и фиалки, как утверждают некоторые садовники, произрастая поблизости от лука и чеснока, и вправду пахнут приятнее и сильнее, потому что те извлекают из земли и всасывают в себя все, что ни есть в ней зловонного, то почему бы и закоснелым в преступлениях людям моей округи также не всосать в себя всего яда из моего воздуха и моего неба и своим соседством со мной не сделать меня настолько чище и лучше, чтобы я не погиб окончательно и бесповоротно? В целом это не так, но кое-что в этом роде все же возможно: например, доброта прекраснее и привлекательнее, когда она — редкость, а враждебность и несхожесть всего окружающего усиливает и укрепляет стремление делать добро, воспламеняя душу и необходимостью бороться с препятствиями, и жаждою славы.

Грабители сами по себе не проявляют ко мне особой враждебности. А разве я не отвечаю им тем же? Вздумай я взяться за них, и мне бы пришлось иметь дело со множеством людей. Те, у кого одинаково злая воля, каково бы ни было различие в их положении, таят в себе одинаковую жестокость, бесчестность, грабительские наклонности, и все это в каждом из них тем от-

вратительнее, чем он трусливее, чем увереннее в себе и чем ловчее умеет прикрываться законами. Я в меньшей степени ненавижу преступление явное, совершенное в пылу борьбы, чем содеянное предательски, тихой сапой. Наша лихорадка напала на тело, которому она нисколько не повредила; в нем тлел огонь, и вот вспыхнуло пламя; больше шуму, чем настоящей беды.

Обращающимся ко мне с вопросом, что именно побуждает меня к путешествиям, я имею обыкновение отвечать: «Я очень хорошо знаю, от чего бегу, но не знаю, чего ищу». Если мне говорят, что и среди чужестранцев, быть может, так же мало истинного здоровья, как среди нас, и что их нравы не стоят большего, нежели наши, я отвечаю: во-первых, маловероятно, чтобы существовали

Tam multae scelerum facies[554],

и во-вторых, что изменить дурное положение на положение неопределенное — как-никак выигрыш и что чужие беды никогда не задевают нас так же, как наши.

Я никогда не забываю о том, что, сколько бы я ни ополчался на Францию, Париж мне по-преж-

---

[554] Примечания: 554

Столь многочисленные лики преступлений (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* I, 506.

нему мил; я отдал ему свое сердце еще в дни моего детства. И с ним произошло то, что всегда происходит с замечательными вещами: чем больше прекрасных городов я с той поры видел, тем больше красоты этого города властвуют надо мной и овладевают моей любовью. Я люблю его самого по себе, и больше в его естественном виде, чем приукрашенным чужеземною пышностью. Я люблю его со всей нежностью, даже его бородавки и родимые пятна. Ведь я француз только благодаря этому великому городу: великому — численностью своих обитателей, великому — своим на редкость удачным местоположением, но сверх всего великому и несравненному своими бесчисленными и разнообразнейшими достоинствами: это слава Франции, одно из благороднейших украшений мира. Да отвратит от него Господь наши раздоры! Целостный и единый, он огражден, по-моему, от всяких других напастей. Я убежден, что из всех наших партий наихудшей окажется именно та, которая ввергнет его в наши распри. И никакой враг, на мой взгляд, ему не опасен, кроме него самого. И я боюсь за него столько же, сколько за всякую другую часть нашего государства. Пока он стоит, я не буду иметь недостатка в убежище, где бы я мог испустить последний мой

вздох, убежище, способном вознаградить меня с лихвою за потерю любого другого.

Не потому, что так когда-то сказал Сократ, но потому, что и вправду таковы мои чувства, в чем я дохожу, пожалуй, иногда до чрезмерности, все люди, по мне, мои соотечественники, и я обнимаю поляка столь же искренне, как француза, отдавая предпочтение перед национальными связями связям всечеловеческим и всеобщим. Я не нахожу мой родной воздух самым живительным на всем свете. Знакомства, завязываемые впервые и чисто личные, стоят, по-моему, нисколько не меньше, чем случайные и обыденные, поддерживаемые мною с моими соседями. Бескорыстная дружба, возникающая по нашему побуждению, обычно на голову выше дружеских отношений, которыми связывают нас соседство или общность крови. Природа произвела нас на свет свободными и независимыми; это мы сами запираем себя в тех или иных тесных пределах, уподобляясь в известном смысле персидским царям, давшим обет не пить никакой воды, кроме как из реки Хоасп: отказавшись по неразумению от своего права употреблять любую другую воду, они обезводили для себя весь мир.

Что же касается совершенного Сократом под

конец его жизни, когда приговор об изгнании он счел более тягостным, чем смертный, то я, как кажется, никогда не дойду до такой расслабленности и никогда не буду настолько привязан к моему отечеству, чтобы поступить так же, как он. В житиях высоких духом людей много такого, что я скорее ценю, чем люблю.

И среди них бывают до того возвышенные и беспримерные, что я не могу как следует оценить их, ибо они для меня совершенно непостижимы.

Для человека, считавшего весь мир своим родным городом, отмеченные выше соображения были проявлением слабости. Правда, он презирал странствия, и его нога ни разу не переступила пределов Аттики. Как же рассматривать то, что он пожалел денег своих друзей, чтобы спасти себе жизнь, и отказался выйти с чужой помощью из темницы, чтобы не преступить законы, и притом в то время, когда эти законы были так чудовищно извращены? Эти образцы для меня превыше всего. Есть и другие, которые я помещаю на втором месте, и их я также могу отыскать в жизни и деяниях этого человека. Многие из этих редкостных образцов превосходят мои возможности, и подражать им я был бы не в силах, но иные из них превосходят и возможности моего понимания.

Кроме этих причин, путешествия, как мне кажется, — дело очень полезное. Душа непрерывно упражняется в наблюдении вещей для нее новых и доселе неведомых, и я не знаю — о чем уже не раз говорил — ничего более поучительного для человеческой жизни, как непрестанно показывать ей во всей их многоликости столько других человеческих жизней и наглядно знакомить ее с бесконечным разнообразием форм нашей природы. При этом тело не остается праздным, но вместе с тем и не напрягается через силу, и это легкое возбуждение оказывает на него бодрящее действие. Несмотря на мои колики, я не схожу с лошади по восемь — десять часов сряду и все же не ощущаю чрезмерной усталости.

Vires ultra sortemque senectae[555].

Никакое время года не бывает мне в тягость; только палящий зной отвесно стоящего солнца невыносим для меня, ибо зонтики, которыми со времен древних римлян пользуется Италия, больше мучают руку, чем облегчают мучения головы. Хотел бы я знать, с помощью каких ухищрений в столь давнюю пору, когда роскошь только на-

---

[555] Примечания: 555
Сверх сил и удела старости (*лат.*). *Энеида,* VI, 114.

чала зарождаться, персы умели поднимать по желанию свежий ветер и создавать тень, о чем рассказывает Ксенофонт. Я люблю дождь и грязь, как утка. Перемена воздуха и климата на мне совершенно не отражается; любое небо для меня равно хорошо. Меня тревожат лишь те перемены, что происходят внутри меня, да и они в путешествиях приключаются со мной много реже.

Я тяжел на подъем, но, пустившись в дорогу, могу ехать сколько угодно. Мелкие дела утомляют меня столько же, сколько большие, и собраться в непродолжительную поездку, чтобы побывать у соседа, составляет для меня не меньше труда, чем приготовиться к настоящему путешествию. Я привык совершать мои дневные прогоны на испанский лад, одним махом: это длительные и вполне оправдывающие себя прогоны; если днем слишком жарко, я проделываю их по ночам, от захода до восхода солнца. Принятое некоторыми обыкновение останавливаться в пути, чтобы покормить лошадей и пообедать в спешке и суете, никуда не годится, особенно когда стоят короткие дни. Моим лошадям это идет только впрок. Меня ни разу не подвела ни одна лошадь, коль скоро она выдерживала первый из подобных прогонов. Зато я пою моих лошадей повсюду, где только

возможно, и слежу лишь за тем, чтобы между двумя водопоями они прошли достаточный отрезок пути и выпитая ими вода вышла мочой. Моя нелюбовь вставать слишком рано доставляет возможность сопровождающим меня слугам пообедать, не торопясь, перед выездом. Что до меня, то я с едой не спешу: аппетит приходит ко мне во время еды и никак не иначе; я испытываю голод лишь за столом.

Некоторые упрекают меня за то, что я все еще не утрачиваю охоты к упражнениям этого рода, хотя женат и уже в летах. Они не правы. Ведь наилучшая пора для отлучек из дому тогда только и наступает, когда домашние могут обойтись и без вас, ибо в доме установлен твердый порядок, который ни в чем не будет нарушен. Гораздо легкомысленнее уезжать из дому, оставляя его на менее надежные руки, которые не станут особенно себя утруждать, чтобы заботиться о ваших делах.

Самая полезная и почетная наука для женщины — это наука, носящая название домоводства. Мне приходилось видеть женщин скупых и жадных, но хозяйственных — очень редко. А между тем этому качеству подобает быть у них основным, и его следует искать в женщине прежде других, ви-

дя в нем единственное приданое, которое может как разорить, так и сохранить наши дома. Пусть и не пытаются мне возражать; в соответствии с тем, чему меня научил опыт, я требую от замужней женщины, кроме всех других добродетелей, и хозяйственности, которая тоже есть добродетель. Я устраиваю ей испытание, оставляя на ее руки, пока нахожусь в отсутствии, управление всей моей собственностью. С досадой наблюдаю я во многих домах, как муж, угрюмый и измученный целой кучей дел, возвращается около полудня к себе, в то время как жена все еще причесывается и прихорашивается на своей половине. Вести себя так позволительно лишь королеве, да и то как сказать. Нелепо и несправедливо, что праздность наших жен оплачивается нашим трудом и потом. И я никогда не позволю, чтобы кто-нибудь пользовался моими средствами с большей свободой, чем я сам, более беспечно и бесконтрольно. Если муж занят существом дела, то сама природа велит, чтобы жены взяли на себя его форму.

Что же касается супружеских отношений, то, хотя и считается, что они страдают от этих отлучек, я с этим решительно не согласен. Напротив, эта близость такого рода, что непрерывное общение лишь охлаждает чувства и привычка их

убивает. Всякая женщина, которая с нами не связана, кажется нам безупречной. И каждый познал на опыте, что постоянное пребывание вместе не доставляет того удовольствия, какое испытываешь, то разлучаясь, то снова встречаясь. Эти перерывы наполняют меня обновленной любовью к моим домашним и делают для меня пребывание дома более сладостным и заманчивым; чередование усиливает мое влечение как к одному, так и к другому. Я знаю, что руки у дружбы достаточно длинные, чтобы касаться друг друга и сплетаться друг с другом, протягиваясь с одного конца света в другой; и это в особенности относится к супружеской дружбе, в которой имеет место непрестанный обмен услугами, порождающими привязанность и признательные воспоминания. По меткому слову стоиков, между мудрецами существует настолько тесная связь и такая родственность, что если один из них закусывает во Франции, то тем самым насыщает своего собрата в Египте, и что если кто-нибудь, где бы он ни был, протянет хотя бы палец, то все мудрецы, какие только не существуют в обитаемом мире, ощущают от этого помощь. Наслаждение и обладание опираются главным образом на воображение. А оно с большим пылом влечется

к тому, чего жаждет, чем к тому, что находится в наших руках. Припомните, как вы провели время в течение дня, и вы увидите, что дальше всего вы были от вашего друга, когда он был возле вас; его присутствие расслабляет ваше внимание и предоставляет вашим мыслям неограниченную свободу отвлекаться по каждому поводу и в любое мгновение.

Находясь в Риме, я не теряю власти над моим домом и управляю им и своим имуществом, которое в нем оставил: я вижу, как растут мои стены, мои деревья, мои доходы или как они понизились приблизительно на два пальца с тех пор, как я уехал:

> *Ante oculos errat domus, errat forma locorum*[556].

Если бы мы наслаждались лишь тем, что находится в наших руках, то прощай наши экю, как только мы заперли их в шкатулку, и прощай наши дети, если они на охоте. Мы хотим, чтобы они были поближе. А если они в саду, это далеко или нет? А на расстоянии полудневного перегона? А десять лье — это далеко или близко?

---

[556] Примечания: 556

Перед глазами встает дом, витают образы покинутых мест (*лат.*). Овидий. *Скорбные элегии,* III, 4, 57.

Если близко, то как же обстоит дело с одиннадцатью, двенадцатью или тринадцатью? И так шаг за шагом. Поистине, я полагаю, что та жена, которая вздумала бы предписать своему мужу: «на таком-то шагу кончается “близко”, а вот на этом начинается “далеко”», — должна была бы остановить его как раз посередине,

> *excludat iurgia finis.*
> *Utor permisso, caudaeque pilos ut equinae*
> *Paulatim vello, et demo unum, demo etian unum,*
> *Dum*
> *cadat elusus ratione ruentis acervi*[557]*;*

и пусть эта женщина смело обратится за помощью к философии, если кто-нибудь пожелает бросить ей упрек в том, что, не видя ни того ни другого кончика связующей нити между чрезмерным и малым, между длинным и коротким, легким и тяжелым, близким и далеким, не умея распознавать, где начало и где конец, она крайне неопределенно судит и о середине: Rerum natura

---

[557] Примечания: 557

Пусть установленный порядок исключит споры… Я пользуюсь разрешением и, словно из конского хвоста волос за волосом, вытяну то одно, то другое, пока другой не проиграет, одураченный, так как «куча» исчезнет (*лат.*). Гораций. *Послания,* II, 1, 39, 45–47.

nullam nobis dedit cognitionem finium[558]. А разве нет женщин, остающихся женами и подругами своих покойных мужей и возлюбленных, которые не где-нибудь на другом конце света, а в ином мире? Мы можем любить и тех, кого уже нет, и тех, кого еще нет, а не то что отсутствующих. Вступая в брак, мы не брали на себя обязательства быть такими же неразлучными, как некоторые букашки, которых нам случается видеть, или как бесноватые из Карентии, сцепившиеся друг с другом в совокуплении, подобно собакам.

Если жены и любят созерцать своих мужей спереди, то не должны ли они, если потребуется, столь же охотно смотреть им и в спину?

И не будет ли здесь уместно, чтобы показать истинную причину их жалоб, привести следующие слова поэта, так великолепно изображающего женские чувства и мысли:

Uxor, si cesses, aut te amare cogitat,

Aut tete amari, aut potare, aut animo obsequi,

[558] Примечания: 558

Природа не дала нам познания предела вещей (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы,* II, 29.

Et tibi bene esse soli, cum sibi sit male[559].

Разве не похоже на истину, что сопротивление и противоречие сами по себе их поддерживают и занимают и что они бывают довольны, когда вызывают ваше неудовольствие?

В истинной дружбе — а она мне известна до тонкостей — я отдаю моему другу больше, чем беру у него. Мне больше по душе, когда я сам делаю ему добро, чем когда он делает его мне; и больше всего добра он делает мне тогда, когда делает его самому себе. И если ему приятно или полезно куда-нибудь отлучиться, его отсутствие для меня еще сладостней, чем присутствие. Да и какое же это отсутствие, если располагаешь средствами с ним сноситься? Порою наша разлука бывала для меня не без приятности и не без пользы. Разлучаясь, каждый из нас жил более заполненной жизнью и видел ее шире и глубже: он жил, он наслаждался, он наблюдал для меня, я наблюдал для него, делая это с такой полнотой, как если бы он был со мною. Когда мы бывали вместе, какая-то наша часть оставалась празд-

[559] Примечания: 559

Твоя жена, когда ты отсутствуешь, либо полагает, что ты любишь другую, либо что тебя любит другая, или что ты пьешь вино или что как-нибудь развлекаешься и что тебе одному хорошо, когда ей самой плохо (*лат.*). Теренций. *Братья,* III, 1, 7–9.

ной: мы сливались в единое целое. Разъединение в пространстве обогащало нашу духовную связь. Жажда непосредственной близости говорит о недостатке способности к духовному общению.

Что касается моего пожилого возраста, на который мне также указывают, то я думаю об этом совершенно иначе; это юности подобает считаться с общественным мнением и ограничивать себя ради другого. Ее хватает на все: и на людей, и на себя; а у нас полно хлопот и забот и о самих себе. По мере того как мы лишаемся естественных удовольствий, мы возмещаем их удовольствиями искусственными. Несправедливо прощать молодости ее погоню за наслаждениями и мешать старости искать в них отраду. В юности я сдерживал свои бурные страсти благоразумием; в старости я добавляю к моим печальным утехам чуточку озорства. Да и законы Платона запрещают отлучаться за пределы страны до сорока или пятидесяти лет, дабы эти отлучки были полезнее и поучительнее; и еще больше сочувствия вызывает у меня второй пункт тех же законов, воспрещающий их после шестидесяти лет.

«Но в ваши лета вам не вернуться из дальнего путешествия». — «А что мне до этого?» Я предпринимаю его не для того, чтобы непременно

вернуться, и не для того, чтобы его завершить; я предпринимаю его лишь затем, чтобы встряхнуться, пока это встряхивание мне нравится. И я езжу для того, чтобы ездить. Кто бегает за доходным местом или за зайцем, тот, можно сказать, не бегает; бегает только тот, кто бегает взапуски, и для того, чтобы поупражняться в беге.

Мои желания таковы, что их можно считать осуществившимися в любое мгновение и в любом месте; они не сопряжены с особенными надеждами. Да и мое путешествие через жизнь происходит точно так же. Впрочем, я видел на чужбине достаточно мест, в которых был бы не прочь остаться. А почему бы и нет, если Хризипп, Клеанф, Диоген, Зенон, Антипатр и столько других мудрецов того же наиболее сурового философского направления покинули свою родину, не имея никаких оснований на нее жаловаться и единственно из желания подышать другим воздухом. И конечно, самое большое неудовольствие, какое мне приносят мои поездки, — это невозможность принять решение поселиться навсегда там, где мне это было бы по сердцу, ибо, приспособляясь к общепринятым нравам, я всегда должен думать о возвращении.

Если бы я боялся умереть где-нибудь в другом

месте, чем место моего рождения, если б я думал, что умирать вдали от домашних мне будет труднее, я бы едва отважился выезжать за пределы Франции, я бы не выезжал без душевного содрогания и за пределы моего прихода. Смерть всечасно дает мне о себе знать; она непрерывно сжимает мне грудь или почки. Но я скроен на иной лад; она для меня одна и та же повсюду. И если бы мне предоставили выбор, я бы, надо полагать, предпочел умереть скорее в седле, чем в постели, вне дома и вдалеке от домашних. В прощании с друзьями гораздо больше муки, чем утешения. Я охотно забываю об этом требовании наших приличий, ибо из всех обязанностей, налагаемых на нас дружбой, эта единственная для меня неприятна, и я так же охотно забыл бы произнести напоследок величавое «прощай навсегда». Если присутствие близких людей и доставляет умирающему кое-какие удобства, то оно же причиняет ему тьму неприятностей. Мне пришлось видеть умирающих, безжалостно осаждаемых всей этой толпой; множество присутствующих было им невмоготу. Считается нарушением долга и свидетельством недостаточной любви и заботы предоставить вам спокойно испустить дух; один терзает и мучает ваши глаза, другой — уши, тре-

тий — рот; нет такого чувства или такой части тела, которую нам бы при этом не теребили. Ваше сердце переполняет жалость к себе самому, когда вы слышите горестные стенания ваших друзей, и досада, когда вам доводится порою услышать другие стенания, лживые и лицемерные. Кто всегда был изнеженным и чувствительным, для того это еще мучительнее. В столь решительный час ему нужна ласковая, приноровившаяся к его чувствительности рука, чтобы почесать ему именно там, где у него зудит, или даже вовсе его не касаться. Если для того, чтобы мы появились на свет, нужно содействие повитухи, то для того, чтобы его покинуть, мы нуждаемся в человеке еще более умелом, чем она. Вот такого-то человека, и вдобавок ко всему расположенного к вам, и следует, не считаясь с расходами, нанимать для услуг этого рода.

Я отнюдь не дорос до той горделивой и презрительной твердости, которая, черпая силы сама в себе, обходится без чьей-либо помощи и которую ничто не может поколебать; я стою ступенькою ниже. Я попытаюсь улизнуть, словно кролик, и уклониться от этой публичной сцены — не из безотчетного страха перед ней, а совершенно сознательно. Я вовсе не намерен делать из

этого акта испытание или доказательство моей стойкости. К чему? Ведь, перейдя этот порог, я утрачу и права на добрую славу, и всякую заинтересованность в ней. Я удовольствуюсь смертью сосредоточенной, одинокой, спокойной, полностью моей, и только моей, соответствующей образу жизни, уединенному и обособленному, которого я придерживаюсь. Вопреки предрассудкам римлян, почитавших того, кто умирал, не произнеся речи, и у кого не было близких, которые закрыли б ему глаза, у меня хватит чем занять мое время, утешая себя и без того, чтобы заниматься еще утешением других, хватит мыслей в моей голове и без того, чтобы обстоятельства внушали мне новые, хватит тем для беседы с собой и без того, чтобы заимствовать их извне. Обществу здесь не уготовлено никакой роли; в этом акте лишь одно действующее лицо. Давайте жить и смеяться перед своими, умирать и хмуриться перед посторонними. Всегда можно сыскать за плату кого-нибудь, кто поправит вам голову или разотрет ваши ноги, но кто вместе с тем не станет беспокоить вас, когда вам не до этого, и с равнодушно-спокойным лицом предоставит вам беседовать с самим собою и жаловаться на свой собственный лад.

Побуждаемый доводами рассудка, я упорно стараюсь отделаться от ребяческой и бесчеловечной прихоти, в силу которой мы стремимся вызвать своими страданиями сочувствие и скорбь у наших друзей. Мы сверх всякой меры расписываем свои недуги, чтобы заставить наших друзей проливать о нас слезы. И ту самую сдержанность, которая так восхваляется в каждом, кто стойко переносит свое несчастье, мы поносим и осуждаем и ставим в упрек нашим близким, когда они проявляют ее по отношению к нам. Нам недостаточно, что они попросту соболезнуют нашим бедам, если при этом они по-настоящему не удручены ими. Нужно преувеличивать свою радость и по возможности преуменьшать свои огорчения. Кто без причины жалуется, тот не встретит отклика на свои жалобы и тогда, когда они не будут беспричинными. Жаловаться всегда — значит никогда не встречать отклика на свои жалобы; часто изображать страдание — значит ни в ком не пробуждать сострадания. Кто, полный жизни, изображает из себя умирающего, тому угрожает, что его сочтут полным жизни и тогда, когда он и впрямь будет при смерти. Я видел таких, которым словно вожжа под хвост попадала, если кто-нибудь находил, что у них

недурной цвет лица и размеренный пульс, и таких, что сдерживали улыбку, потому что она указывала бы, что они выздоравливают, и таких, кто лютой ненавистью ненавидел здоровье, так как здоровье не может вызывать жалость. Но всего любопытнее, что это не были женщины.

Я изображаю мои болезни самое большее такими, каковы они есть, и избегаю выражать озабоченность своим состоянием и сетовать на него. Если не веселость, то на худой конец спокойная сдержанность окружающих — вот что требуется рассудительному больному. Видя себя занемогшим, он не объявляет войны здоровым: ему приятно смотреть на того, кто пышет здоровьем и в ком оно нисколько не пошатнулось, и наслаждаться хотя бы его лицезрением. Чувствуя, что движется под уклон, он не отбрасывает начисто мыслей о жизни и не избегает привычных разговоров. Я хочу изучать болезнь, пока здоров, но, когда я болен, она полностью завладевает мною и без помощи моего воображения. Мы заранее приготовляемся к путешествию, которое задумали предпринять и решили осуществить; но последний час перед тем, как сесть на коня, мы предназначаем для окружающих, а порой ради них и удлиняем его.

Из этого предаваемого гласности повествования о моих нравах я неожиданно для себя извлекаю некоторым образом выгоду, так как обретаю в нем своего рода правило. Я нередко подумываю о том, что мне никоим образом не подобает приукрашивать историю моей жизни. Этот публичный рассказ обязывает меня не сходить с прямого пути и не искажать своей натуры и своих мыслей, как правило, менее извращенных и сбивчивых, чем это свойственно злобным и болезненным суждениям нашего времени. Устойчивость и простота моих нравов должны, казалось бы, ограждать их от толкования вкривь и вкось, но, поскольку они немного по-новому скроены и необычны, здесь открывается широкий простор для злословия. Пожелай кто-нибудь под личиной внешнего беспристрастия смешать меня с грязью, у него было бы более чем достаточно поводов куснуть меня за сознаваемые и признаваемые мною самим недостатки, он мог бы вдосталь натешиться, попадая, что называется, в самую точку. Если бы, однако, ему показалось, что, обличая и обвиняя самого себя, я лишаю жала его укусы, то ему было бы проще простого воспользоваться своим правом преувеличения и сгущения (право нападающего — пренебрегать

справедливостью). Корни пороков, которые я открываю в себе, пусть он превратит в раскидистые деревья; пусть обрушится не только на те пороки, которые держат меня в своей власти, но и на угрожающие мне в будущем — пороки постыдные и сами по себе, и потому, что их великое множество; этим оружием пусть он меня и побьет.

Я бы охотно последовал примеру философа Диона. Антигон хотел его уколоть низким происхождением; тот, однако, дал ему сдачи. «Я, — сказал он, — сын раба, мясника, заклейменного, и потаскухи, которую мой отец смог взять себе в жены только благодаря гнусности ее промысла. И отец, и мать были наказаны за какое-то преступление. Один оратор, которому я понравился, купил меня малым ребенком; умирая, он завещал мне все свое состояние, которое я переправил в Афины, где и посвятил себя изучению философии. Пусть историки не трудятся выискивать обо мне сведения; я сообщу им все как есть». Благородно и независимо высказанное признание ослабляет силу упрека и выбивает оружие из рук оскорбителя.

Так или иначе, но, взвесив все, я склонен считать, что нередко меня хвалят и порицают сверх меры. Мне также кажется, что с самого детства

я занимаю положение — и в отношении знатности, и в отношении оказываемых мне почестей — скорее выше того, которое мне причитается.

Я бы чувствовал себя лучше в тех странах, в которых эти различия были бы упорядочены или ничего бы не значили. Лишь только спор о праве первенства в какой-либо процессии или при рассаживании по местам затягивается сверх троекратного обмена разъяснениями и замечаниями, он становится неприличным. Я не боюсь ни уступать, ни преступать существующие на этот счет правила, лишь бы избегнуть столь недостойного препирательства; и всякому, выражавшему желание выказать передо мной свое превосходство, я всегда тотчас же уступал.

Кроме пользы, которую я для себя извлекаю, описывая самого себя, я также ласкаю себя надеждой, что, если моим нравам и взглядам еще при моей жизни доведется прийтись по душе какому-нибудь порядочному и достойному человеку, он не преминет меня разыскать, и мы с ним сойдемся, чтобы больше не расставаться; я даю ему немалую фору, так как то, что он смог бы узнать обо мне лишь после длительного знакомства и близости в течение многих лет, станет ему известно из этих моих протокольных записей

за какие-нибудь три дня, и к тому же с большею достоверностью и большей точностью. Забавная причуда: многие вещи, которые я не захотел бы сказать ни одному человеку, я сообщаю всему честному народу и за всеми моими самыми сокровенными тайнами и мыслями даже своих ближайших друзей отсылаю в книжную лавку.

Excutienda damus praecordia[560].

Знай я так же досконально кого-нибудь, кто был бы мне близок по духу, я бы непременно отправился на его розыски, будь то хоть на край света, ибо удовольствие от подходящего и приятного общества ни за какие деньги, по-моему, не купить. Ах, друг! До чего же справедливо древнее изречение, гласящее, что дружба еще насущнее и еще сладостнее, чем вода и огонь!

Возвращаюсь к моему рассуждению. Итак, не такое уж страшное зло умирать вдали от своих и наедине с собой. Считаем же мы совершенно необходимым уединяться для отправления наших естественных нужд, куда менее неприятных, чем эта, и менее отвратительных. Да и тем, кто значительную часть своей жизни проводит в

---

[560] Примечания: 560

Мы даем исследовать глубины нашего сердца (*лат.*). Персий, V, 22.

медленном угасании, также, пожалуй, не подобает, чтобы их несчастье мешало жить целой семье. И индусы в одной из своих провинций считали вполне справедливым умерщвлять всякого, кому досталась столь печальная доля; а в другой — они же оставляли его в одиночестве, предоставляя ему спасаться как может. Кому эти несчастные под конец не наскучивают и кому они не становятся нестерпимыми? Обычно наши обязанности не простираются так далеко. В своих лучших друзьях вы насильственно воспитываете жестокость, вы прививаете черствость и вашей жене и детям, привыкающим не замечать ваших страданий и не сочувствовать им. Стоны, которые я издаю во время одолевающих меня колик, никого больше не трогают. И если порой мы испытываем известное удовольствие от общения с нашими близкими, что, впрочем, бывает далеко не всегда, так как различие в условиях существования вызывает в нас досаду и зависть к любому человеку, то допустимо ли злоупотреблять этим удовольствием целый век? Чем больше я вижу, как ради меня они, по своей доброте, стесняют себя во всем, тем больше меня должны огорчать их мучения. Мы имеем право опираться иногда на другого, но вовсе не наваливаться на него всей

своей тяжестью и поддерживать себя ценой его гибели, как тот, кто велел зарезать младенцев, чтобы исцелиться от своей болезни их кровью. Или как тот другой, к которому приводили молодых девушек, чтобы они согревали по ночам его стынущее старое тело и смешивали свое сладостное дыхание с его зловонным и прерывистым. И если бы я оказался в положении такого расслабленного, я бы скорее всего удалился в Венецию, которую и избрал бы своим убежищем до конца дней.

Преклонному возрасту под стать одиночество. Я общителен до крайности. И тем не менее я считаю для себя обязательным избавить отныне мир от лицезрения моей немощи, таить ее про себя, съежиться и укрыться в своей скорлупе, как черепаха под своим панцирем. Я учусь видеть людей, удалившись от них; соваться к ним, когда твоя жизнь на волоске, означало бы оскорблять их чувство. Пришла пора повернуться спиною к обществу.

«Но в таком длительном путешествии вы можете, на свою беду, застрять в какой-нибудь жалкой лачуге, где будете лишены всяких удобств». Большая часть того, что мне может понадобиться, всегда со мной; и потом, нам все равно не уйти от

судьбы, если она задумала нас настигнуть; когда я болею, мне не требуется ничего сверх обычного; и раз сама природа бессильна прийти мне на помощь, я не хочу, чтобы это сделала какая-нибудь пилюля. В самом начале моих недомоганий или болезней, которые на меня накидываются, еще не осиленный ими и, можно сказать, почти здоровый, я примиряюсь с Господом, исполняя последний долг христианина, и чувствую себя после этого легко и свободно, точно с меня свалилось тяжелое бремя, так что мне начинает казаться, что теперь я уж справлюсь с моим недугом. Нотариус и стряпчий мне нужны еще меньше врачей. Пусть от меня не ждут, чтобы я больной занимался теми делами, которые не наладил, находясь в полном здравии. Все распоряжения, которые я наметил сделать на случай смерти, уже давно сделаны, — я бы не посмел отложить их хотя бы на один день; ну а если что мной и не сделано, то причина этого или в том, что колебания задержали мое решение, — ведь иногда лучшее решение не принимать никакого решения, — или в том, что я и вовсе не хотел этого делать.

Я пишу свою книгу для немногих и на немногие годы. Будь ее содержание долговечнее, его нуж-

но было бы изложить более твердым и четким языком. Принимая во внимание непрерывные изменения, которым наш язык подвергался до самого последнего времени, может ли кто рассчитывать, что и через полсотни лет его будут употреблять в том же виде, в каком употребляют сейчас? Он безостановочно течет через наши руки и уже при моей жизни стал наполовину другим. Мы говорим, что ныне он достиг совершенства. Но ведь каждый век говорил о своем языке то же самое. Я отнюдь не склонен находить его совершенным, пока он продолжает нестись без оглядки вперед и сам себя искажает. Закрепить язык бывает дано лишь полезным и выдающимся сочинениям, которые становятся для него образцами; ну а его значение среди других языков зависит от судеб нашего государства.

И все же я, не обинуясь, привношу сюда кое-какие отдельные выражения, исчезающие из обихода моих современников и вполне понятные только тем из них, кому они хорошо известны. Постоянно наблюдая, как тревожат память покойников, я решительно не хочу, чтобы после меня предавались спорам: он думал и жил так-то и так-то; он хотел того-то; если бы он говорил об этом под конец своей жизни, он сказал бы то-то

и то-то, он дал бы то и то; ведь я знал его лучше, чем всякий другой.

Итак, я здесь откровенно рассказываю, насколько позволяет благопристойность, о моих склонностях и пристрастиях, хотя свободнее и охотнее делаю это в беседах с теми, кто изъявляет желание узнать об этом подробнее. Как бы там ни было, заглянув в мои записи, каждый сможет удостовериться, что я сказал обо всем или по крайней мере всего коснулся. А чего я не мог произнести во весь голос, на то я указал пальцем:

> *Verum animo satis haec vestigia parva sagaci*
>
> *Sunt, per quae possis cognoscere cetera tute*[561].

В том, что я написал о себе, нет никаких недомолвок и ничего загадочного. Но если обо мне все-таки найдут нужным поговорить, я хочу, чтобы говорили только голую правду. Я охотно возвратился бы из потустороннего мира, чтобы изобличить во лжи всякого, кто стал бы изображать меня иным, чем я был, хотя бы он делал это с намерением воздать мне хвалу. Ведь даже

---

[561] Примечания: 561

Но для проницательного ума достаточно этих слабых следов, чтобы по ним достоверно узнать остальное (*лат.*). Лукреций, I, 402 сл.

живых, как я вижу, рисуют совсем иными, чем они есть. И если бы я не отстаивал изо всех сил одного моего умершего друга, его бы растерзали на тысячу совершенно несхожих образов.

Дабы покончить с перечнем моих слабостей, признаюсь, что я никогда не останавливаюсь в гостинице без того, чтобы не обратиться к себе с вопросом, а такое ли это место, где я мог бы болеть и умирать в приемлемых для меня условиях. Я стремлюсь располагаться в помещении, которое было бы отведено мне одному, было бы не шумным, не грязным, не дымным и не душным. Заботясь об этом, я стремлюсь облегчить себе смерть или, лучше сказать, избавиться от дополнительных неприятностей и сосредоточиться в ожидании ее часа, а это, надо думать, ляжет на меня достаточным грузом и без всяких довесков. Пусть и ей достанется ее доля от удобств и приятностей моей жизни. Она — большая и важная часть нашего бытия, и я надеюсь, что не посрамлю ею всего остального.

Бывают разновидности смерти, которые легче других; впрочем, степень их легкости определяется каждым по-своему. Между естественными смертями наиболее милостивой и беспечальной кажется мне наступающая от слабости и изну-

рения. Из насильственных смертей — упасть в пропасть, по-моему, более страшно, чем остаться под развалинами рухнувшего строения, и погибнуть от разящего удара меча страшнее, чем от выстрела из аркебузы. Я скорее проглотил бы питье Сократа, чем закололся бы так, как это сделал Катон. И хотя, в конце концов, все едино, моему воображению представляется, что между тем, брошусь ли я в пещь огненную или в воды спокойной реки, различие нисколько не меньшее, чем между жизнью и смертью. Вот до чего нелепа основа нашего страха, обращающего внимание не столько на результат, сколько на способ. Это всего лишь мгновение, но оно так существенно, что я бы охотно отдал немало дней моей жизни, лишь бы провести его по своему усмотрению.

Поскольку воображению каждого та или иная смерть рисуется более или менее тягостной и каждый в некоторой мере располагает свободой выбора определенной ее разновидности, давайте и мы приищем себе такую, которая была бы для нас наименее неприятной. Можно ли причинить себе смерть более сладостную, нежели та, которую приняли приближенные Антония и Клеопатры, пожелавшие умереть вместе с ними? Величавых и мужественных примеров,

явленных нам философией и религией, я не касаюсь. Но, оказывается, и среди людей среднего уровня можно указать еще на одну такую же замечательную, как уже упомянутая, — я имею в виду смерть Петрония и Тигеллина во времена Древнего Рима. Вынужденные покончить с собой, они приняли смерть, как бы предварительно усыпленную роскошью и изяществом, с какими они приготовились ее встретить. И они принудили ее неприметно подкрасться к ним в самый разгар привычного для них разгульного пира, окруженные девками и добрыми своими приятелями; тут не было никаких утешений, никаких упоминаний о завещании, никаких суетных разглагольствований о том, что ожидает их в будущем; тут были только забавы, веселье, острословие, общий и ничем не отличающийся от обычного разговор, и музыка, и стихи, прославляющие любовь. Почему бы и нам не проникнуться такой же решительностью, придав ей более благопристойную внешность? Если бывают смерти, которые хороши для глупцов и которые хороши для мудрых, давайте найдем и такие, что были бы хороши для находящихся посередине между первыми и вторыми. Мое воображение рисует мне облик легкой и, раз все равно предстоит

умереть, то, стало быть, и желанной смерти.

Римские тираны, предоставляя осужденным избирать для себя род смерти, считали, что тем самым как бы даруют им жизнь. Но не решился ли Теофраст, философ столь тонкий, скромный и мудрый, сказать по внушению разума нижеследующие слова, сохраненные нам в латинском стихе Цицероном:

Vitam regit fortuna, non sapientia[562].

И насколько же судьба облегчает мне расставание с жизнью, доведя ее до черты, у которой она становится никому не нужной и никому не мешает! Такого же положения дел я хотел бы для любого возраста моей жизни, но, когда пора сворачиваться и убираться отсюда, испытываешь особое удовлетворение при мысли, что никому своей смертью не доставляешь ни радости, ни печали.

Поддерживая безупречное равновесие везде и всюду, судьба установила его и здесь, и те, кто извлечет из моей смерти известную материальную выгоду, с другой стороны, понесут вместе со всеми и материальный ущерб.

---

[562] Примечания: 562

Жизнью правит не мудрость, но судьба (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, V, 9.

Подыскивая себе удобное помещение, я нисколько не думаю о пышности и роскоши меблировки; больше того, я их, можно сказать, ненавижу; нет, я забочусь только о простой чистоте, чаще всего встречающейся в местах, где все бесхитростно, и которые природа отмечает своей особенной, неповторимою прелестью: Non ampliter sed munditer convivium[563]. Plus salis quam sumptus[564].

И наконец, всякие дорожные затруднения и опасности постигают лишь тех, кто, побуждаемый своими делами, пускается в разгар зимы через швейцарские горы. Что до меня, то я чаще всего путешествую ради своего удовольствия и неплохо справляюсь с обязанностями проводника. Если небезопасно двигаться вправо, я забираю влево; если мне трудно держаться в седле, я останавливаюсь. И, поступая подобным образом, я, по правде говоря, никогда не сталкиваюсь с чем-либо таким, что казалось бы мне менее приятным и менее привлекательным, чем мой собственный

---

[563] Примечания: 563

Пир не роскошный, но пристойный (*лат.*). Юст Липсий. *Сатурналии,* I, 6.

[564] Примечания: 564

Больше веселья, чем роскоши (*лат.*). Корнелий Непот. *Жизнеописание Аттика,* 13.

дом. Правда, излишества я неизменно считаю излишними и в изысканности и изобилии даже усматриваю для себя нечто стеснительное. Я миновал что-то такое, на что следовало взглянуть? Прекрасно, я туда возвращаюсь: ведь и тут проходит моя дорога. Я не провожу для себя никакой точно обозначенной линии, ни прямой, ни кривой. А что, если там, куда я направился, я не обнаруживаю того, о чем мне говорили? Ну что ж! Очень часто случается, что мнения других не совпадают с моими, и чаще всего я находил их ошибочными; но я никогда не жалею потраченных мною трудов, — я узнал, что того, о чем мне говорили, в действительности там нет.

Мое тело выносливо, и мои вкусы неприхотливы, как ни у кого другого на свете. Различия в образе жизни народов не вызывают во мне никаких других чувств, кроме удовольствия, доставляемого разнообразием. Всякий обычай имеет свое основание. Будут ли тарелки оловянными, деревянными или глиняными, будут ли меня потчевать жареным или вареным, будет ли масло сливочным, оливковым или ореховым, мне безразлично, и до того безразлично, что, старея, я поругиваю это благородное свойство, и для меня было бы, пожалуй, полезнее, если

бы разборчивость и прихотливость пресекали нескромность моего аппетита, предохраняя желудок от переполнения. Когда я бываю за пределами Франции и у меня спрашивают, желая оказать мне любезность, не хочу ли я, чтобы мне подали французские блюда, я неизменно отшучиваюсь и усаживаюсь за стол, уставленный исключительно чужеземными кушаньями.

Мне стыдно за моих соотечественников, охваченных глупой привычкой пугаться всего, что им непривычно; едва они выберутся за пределы своей деревни, как им начинает казаться, что они перенеслись в другой мир. Всюду, куда бы они ни попали, они держатся на свой собственный лад и гнушаются чужестранцев. Наткнись они на француза где-нибудь в Венгрии, это радостное событие тотчас же отмечается пиршеством; они с ним тут же сходятся и, дружески облобызавшись, совместно принимаются поносить варварские нравы, наблюдаемые ими вокруг себя. А почему бы им и не быть варварскими, раз они не французские? И это еще самые смышленые между ними, ибо они все же познакомились с этими нравами, хотя бы чтобы позлословить о них. Большинство же французов предпринимают поездку, чтобы вернуться с тем, с чем уехали. Они

путешествуют, прикрытые и зажатые в тиски непроницаемым и молчаливым благоразумием, оберегаясь от заразы, носящейся в незнакомом им воздухе.

Только что сказанное о моих соотечественниках напоминает мне еще об одной черте, которую я нередко подмечал в молодых людях из числа наших придворных. Они считают людьми только тех, кто принадлежит к их узкому кругу, смотря на нас, всех остальных, как на существа из совершенно другого мира, с презрением или со снисходительной жалостью. Отнимите у них их придворные сплетни, и они окажутся ни при чем, с пустыми руками, такие же неловкие и невежественные, какими представляемся им мы сами. Правильно говорят, что порядочный человек — человек разносторонний.

Что до меня, то, отправляясь в странствия, сытый по горло нашим образом жизни, и, конечно, не для того, чтобы искать гасконцев в Сицилии (их довольно у меня дома), я ищу скорее, если угодно, греков или же персов; я с ними знакомлюсь, я их изучаю; вот к кому стараюсь я приспособиться и примениться. И что самое любопытное: я, кажется, ни разу не сталкивался с обычаями, которые хоть в чем-нибудь уступали

бы нашим. Впрочем, я на своем не настаиваю, ведь, можно сказать, я не терял из виду флюгера на моей крыше.

Впрочем, случайные компании, образующиеся в пути, чаще всего доставляют скорее неудобства, чем удовольствие; я никогда к ним не тянулся и еще меньше льну к ним теперь, когда старость обособляет меня от всех остальных и дарует мне кое-какие льготы по части следования общепринятым правилам вежливости. Вы страдаете из-за другого, или из-за вас страдает другой; и то и это стеснительно и тягостно, но последнее, по-моему, более неприятно. Редкая удача, но и необыкновенное облегчение — иметь возле себя порядочного во всех отношениях человека, с ясным умом и нравами, сходными с вашими, и с охотою вам сопутствующего. Во всех моих путешествиях мне этого крайне недоставало. Но такого спутника надо подыскивать и подбирать, еще не выезжая из дому. И всякий раз, как мне приходит в голову какая-нибудь славная мысль, а поделиться ею мне не с кем, меня охватывает сожаление, что я породил ее в одиночестве. Si cum hac exceptione detur sapientia, ut illam inclusam

teneam nec enuntiem, reiiciam[565]. А этому подавай еще выше: si contigerit ea vita sapienti ut, omnium rerum affluentibus copiis, quamvis omnia quae cognitione digna sunt summo otio secum ipse consideret et contempletur, tamen si solitudo tanta sit ut hominem videre non possit, excedat e vita[566]. Я одобряю мнение, высказанное Архитом, утверждавшим, что ему было бы не по душе даже на небе и на великих и божественных небесных телах, попади он туда без спутника.

Но лучше быть одному, чем среди докучных и глупых людей. Аристипп любил жить, чувствуя себя всегда и везде чужим.

> *Me si fata meis paterentur ducere vitam*
> *Auspiciis*[567],

---

[565] Примечания: 565

Если бы мудрость дарилась природою с обязательным условием держать ее про себя и ни с кем не делиться ею, я бы от нее отказался (*лат.*). *Письма,* 6, 4.

[566] Примечания: 566

Если бы мудрецу досталась в удел жизнь такого рода, что, живя среди полного изобилия и наслаждаясь безмятежным досугом, он имел бы возможность созерцать все достойное изучения и обдумывать про себя познанное, но при этом не мог бы нарушить свое одиночество и повидать хотя бы одного человека, то ему только и оставалось бы, что расстаться с жизнью (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях,* I, 43.

[567] Примечания: 567

Если бы судьба разрешила мне жить по моему усмотрению (*лат.*). *Энеида,* IV, 340 сл.

то я бы избрал для себя следующее: провести ее с задницею в седле;

visere gestiens
Qua parte debacchentur ignes,
Qua nebulae pluviique rores[568].

«Неужели у вас нет менее утомительных развлечений? Не стоит ли ваш дом в прелестной, здоровой местности? Не достаточно ли он обставлен и не более ли чем достаточно просторен? Ведь не раз пышность его обстановки вполне удовлетворяла его величество короля? Не занимает ли ваш род почетного положения, и не больше ли тех, кто ниже его, нежели тех, кто выше? Или вас гложет какая-нибудь чрезвычайная и неустранимая забота о домашних делах?

Quae te nunc coquat et vexet sub pectore fixa?[569]

Или вы предполагали прожить без помех и вол-

---

[568] Примечания: 568

Охваченный жаждой повидать те места, где царит сжигающий зной и где постоянно бывают туманы и изморось (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 3, 55 сл.

[569] Примечания: 569

Которая тебя терзает и мучит, затаившись в груди? (*лат.*)

нений? Nunquam simpliciter fortuna indulget[570]. Присмотритесь — и вы увидите, что единственно, кто вам мешает, — это вы сами, а куда бы вы ни отправились, вы всюду последуете за собою и всюду будете жаловаться на свою участь. Ведь на нашей бренной земле нет удовлетворения никому, кроме душ низменных или божественных. Кто не довольствуется столь благоприятными обстоятельствами, где же он думает найти лучшие? Тысячи и тысячи людей считали бы пределом своих мечтаний благосостояние, равное вашему. Изменитесь сами, ибо это вполне в вашей власти, а что до всего остального, то там вы обладаете единственным правом — терпеливо склоняться перед судьбой. Nulla placida quies est, nisi quam ratio composuit»[571].

Я сознаю всю справедливость этого увещания, и сознаю весьма хорошо; впрочем, было бы и короче и проще сказать то же самое в двух словах: «Будьте благоразумны». Но та душевная твердость, которой от меня требуют, ступенью выше благоразумия: она им порождается и выковы-

[570] Примечания: 570

Судьба никогда не благоволит открыто (*лат.*). Квинт Курций, IV, 14.

[571] Примечания: 571

Один только разум может обеспечить безмятежный покой (*лат.*). *Письма,* 56, 6.

вается. Точно так же поступает и врач, который докучает несчастному угасающему больному, требуя, чтобы он был веселым и бодрым; его совет был бы ненамного разумнее, говори он ему: «Будьте здоровым». Ну, а я из обыкновенного теста. Вот благодетельное, ясное и понятное изречение: «Будьте довольны своим», то есть тем, что в пределах ваших возможностей. Но и для более мудрых, чем я, это так же невыполнимо, как для меня. Это — общераспространенное изречение, но оно обнимает воистину необъятное. К чему только оно не относится! Все на свете переживает себя и подвержено изменениям.

Я очень хорошо знаю, что если подойти к делу с формальной меркой, то страсть к путешествиям говорит о внутреннем беспокойстве и нерешительности. Ничего не скажешь, таковы наши важнейшие качества, и к тому же главенствующие. Да, признаюсь, я не вижу вокруг себя ничего такого — разве что во сне и в мечтах, — к чему бы я мог прилепиться душой; меня занимает только разнообразие и постижение его бесчисленных форм, если вообще меня что-нибудь может занять. В путешествиях меня именно то и влечет, что я могу останавливаться повсюду, где мне вздумается, не руководясь никакими заранее

определенными целями, и так же свободно отступать от только что принятого решения. Я люблю частную жизнь потому, что устраиваю ее по своему усмотрению, а не потому, что общественная жизнь не по мне; и к ней я был бы, пожалуй, не меньше пригоден. Я с большей охотой служу своему государю из-за того, что делаю это по собственному избранию и убеждению моего разума, а не в силу каких-то особых, лежащих на мне обязательств или потому, что, нежелательный ни в какой другой партии и всеми отвергнутый, я был вынужден примкнуть к его стану. Так и со всем остальным. Я ненавижу куски, которые мне выкраивает необходимость. И любое преимущество комом стало бы у меня в горле, если бы я зависел исключительно от него:

> *Alter remus aquas, alter mihi radat arenas*[572].

Чтобы связать меня накрепко, нужна не одна веревка, а несколько. Вы скажете, что к такому развлечению, как путешествия, приметалась суетность. А почему бы ей и не быть? Ведь и прославленные и превосходные наставления —

---

[572] Примечания: 572

Пусть одно весло у меня задевает воду, а другое песок (*лат.*). Проперций, III, 3, 23.

суетность, и суетность — всякое мудрствование. Dominus novit cogitationes sapientium, quoniam vanae sunt[573]. Эти едва ощутимые тонкости годны лишь для проповедей; это все — речи, которые тщатся переправить нас в иной мир совсем готовенькими к нему. Жизнь — движение телесное и вещественное, всякая деятельность — несовершенна и беспорядочна по самой своей сущности; и я стремлюсь служить жизни в соответствии с ее требованиями.

Quisque suos patimur manes[574].

Sic est faciendum ut contra naturam universam nihil contendamus; ea tamen conservata, propriam sequamur[575].

К чему эти высоко взнесенные вершины философии, если ни одному человеческому существу все равно до них не добраться, и к чему эти правила, которым не подчиняются наши обычаи и

---

[573] Примечания: 573

Господь знает умствования мудрецов, что они суетны (*лат.*). 1 Коринфянам, 3:20.

[574] Примечания: 574

Каждый из нас претерпевает свои страдания (*лат.*). *Энеида,* VI, 743.

[575] Примечания: 575

Мы должны действовать таким образом, чтобы не идти наперекор всеобщим законам природы, но, соблюдая их, следовать вместе с тем своим склонностям (*лат.*). Цицерон. *Об обязанностях,* I, 31.

которые людям не по плечу? Я часто вижу, как нам предлагают такие образцы жизни, следовать которым не имеют ни малейшей надежды — и, что еще хуже, охоты — ни тот, кто их предлагает, ни его слушатели. От того же листа бумаги, на котором он только что начертал обвинительный приговор по делу о прелюбодеянии, судья отрывает клочок, чтобы написать любовное письмецо жене своего сотоварища, и та, к кому вы придете, чтобы насладиться с нею запретной любовью, вскоре затем, в вашем же присутствии, обрушится на точно такие же прегрешения какой-нибудь из своих товарок, да еще с таким возмущением, что куда до нее самой Порции. И такой-то осуждает на смерть за преступления, которые считает в душе не более чем проступками. В моей юности мне довелось видеть, как некий дворянин в одно и то же мгновение протянул народу одной рукой стихи, выдающиеся как своей прелестью, так и распущенностью, а другою — самое горячее обличение в безбожии и разврате, какого уже давно не доводилось выслушивать миру.

Таковы люди. Законам и заповедям предоставляется жить своей жизнью, мы же живем своею; и не только вследствие развращенности нравов, но зачастую и потому, что придерживаемся дру-

гих взглядов и смотрим на вещи иными глазами. Послушайте какое-нибудь философское рассуждение — богатство мысли, красноречие, точность высказываний потрясают ваш ум и захватывают вас, но в нем вы не обнаружите ничего такого, что бы всколыхнуло или хотя бы затронуло вашу совесть, — ведь обращаются не к ней. Разве не так? Аристон говорил, что и баня и урок — бесполезны, если они не смывают грязи и после них человек не становится чище. Отчего же! Можно грызть и самую кость, но сначала из нее следует высосать мозг: ведь и мы, лишь влив в себя доброе вино из превосходного кубка, принимаемся рассматривать вычеканенный на нем рисунок и судить о работе мастера.

Во всех философских сообществах древности всегда можно найти такого работника, который в поучении всем оглашает свои правила воздержности и умеренности и вместе с тем предает гласности свои сочинения, воспевающие любовь и распутство. И Ксенофонт, предаваясь любовным утехам с Клинием, написал против аристиппова учения о наслаждении. Это происходило с упомянутыми философами не потому, что они переживали какие-то чудесные превращения, находящие на них волнами. Нет, это то самое,

из-за чего Солон предстает перед нами то самим собой, то в облике законодателя; то он говорит для толпы, то для себя; и для себя он избирает правила естественные и нестеснительные, ибо уверен в крепости и незыблемости заложенных в нем добрых начал.

Curentur
dubii medicis maioribus aegri[576].

Антисфен разрешает мудрому любить, как он того пожелает, и делать все, что бы он ни счел полезным, не связывая себя законами; ведь он прозорливее, чем они, и ему лучше ведомо, что есть настоящая добродетель. Его ученик Диоген говорил, что страстям следует противопоставлять разум, судьбе — твердость, законам — природу.

Желудки, подверженные расстройству, нуждаются в искусственных ограничениях и предписаниях. Что до здоровых желудков, то они попросту следуют предписаниям своего естественного влечения. Так и поступают наши врачи, которые едят дыню, запивая ее молодым вином, между тем как держат своих пациентов на сахарной водице и хлебном супе.

---

[576] Примечания: 576
Пусть опасно больные лечатся у лучших врачей (*лат.*).

«Я не знаю, какие они пишут книги, — говорила куртизанка Лаиса, — в чем их мудрость, какие философские взгляды они проповедуют, но эти молодцы столь же часто стучатся ко мне, как и все остальные». Так как наша распущенность постепенно уводит нас за пределы дозволенного и допустимого, нашим житейским правилам и законам была придана, и во многих случаях без достаточных оснований, излишняя жестокость.

> *Nemo satis credit tantum delinquere quantum*
> *Permittas*[577].

Было бы желательно установить более разумное соотношение между требуемым и выполнимым; ведь цель, достигнуть которой невозможно, и поставлена, очевидно, неправильно. Нет ни одного честного человека, который, сопоставив свои поступки и мысли с велениями законов, не пришел бы к выводу, что на протяжении своей жизни он добрый десяток раз заслуживал виселицы, и это относится даже к тем, карать и казнить которых было бы и очень жалко, принимая во внимание приносимую ими пользу, и крайне

---

[577] Примечания: 577

Никто не считает, что грешит сверх или хотя бы в меру дозволенного (*лат.*). Ювенал, XIV, 233 сл.

несправедливо.

Olle, quid ad te
De cute quid faciat ille, vel illa sua?[578]

А иной, может статься, и не нарушает законов, и все же не достоин похвалы за свои добродетели, и философия поступила бы вполне справедливо, если бы его как следует высекла. Взаимоотношения тут крайне сложные и запутанные. Мы не можем и помышлять о том, чтобы считать себя порядочными людьми, если станем исходить из законов, установленных для нас Господом Богом; мы не можем притязать на это и исходя из наших законов. Человеческое благоразумие еще никогда не поднималось до такой высоты, которую оно себе предписало; а если бы оно ее и достигло, то предписало бы себе нечто высшее, к чему бы всегда тянулось и чего жаждало; вот до чего наша сущность враждебна всякой устойчивости. Человек сам себя заставляет впадать в прегрешения. Отнюдь не умно выкраивать для себя обязанности не по своей мерке, а по мерке кого-то другого. Кому же предписывает он то, что по его же собственному разумению никому не

[578] Примечания: 578

Что тебе, Олл, до того, как поступили со своей кожей такая-то и такая-то? (*лат.*) Марциал, VII, 10, 1 сл.

под силу? И неужели он творит нечто неправое, если не совершает того, чего не в состоянии совершить?

Законы обрекают нас на невозможность выполнять их веления, и они же судят нас за невыполнение этих велений. Если безобразная наша свобода выказывать себя с разных сторон — действовать по-одному, рассуждать по-другому — и простительна на худой конец тем, кто говорит о чем угодно, но только не о себе, то для тех, кто говорит исключительно о себе, как я, она решительно недопустима; моему перу подобает быть столь же твердым, как тверда моя поступь. Общественная жизнь должна отражать жизнь отдельных людей. Добродетели Катона были для его века чрезмерно суровыми, и, берясь наставлять других, как человек, предназначенный для служения обществу, он мог бы сказать себе, что его справедливость если и не окончательно несправедлива, то по меньшей мере слишком суетна и несвоевременна. И мои нравы, которые отличаются от общепринятых всего на какой-нибудь волосок, нередко восстанавливают меня против моего века и препятствуют моему сближению с ним. Не знаю, обоснованна ли моя неприязнь к обществу, в котором я должен вращаться, но зато

я очень хорошо знаю, насколько с моей стороны было бы необоснованно жаловаться на то, что оно относится ко мне неприязненнее, чем я к нему.

Добродетель, потребная для руководства мирскими делами, есть добродетель с выпуклостями, выемками и изгибами, чтобы ее можно было прикладывать и пригонять к человеческим слабостям, добродетель не беспримесная и не безыскусственная, не прямая, не беспорочная, не устойчивая, не незапятнанная. Одного из наших королей упрекают за то, что он слишком бесхитростно следовал добрым и праведным увещаниям своего исповедника. Государственные дела требуют более смелой морали:

exeat aula
Qui vult esse pius[579].

Как-то раз я попытался руководствоваться при исполнении моих служебных обязанностей воззрениями и набором жизненных правил — строгих, необычных, жестких и беспорочных, придуманных мною в моем углу или привитых мне моим воспитанием, которые я применяю в моей частной жизни если не без некоторых

[579] Примечания: 579

Кто хочет остаться честным, тот должен покинуть двор (*лат.*). Лукан, VIII, 493 сл.

затруднений, то все же уверенно; короче говоря, я попытался руководствоваться добродетелью отвлеченной и весьма ревностной. И что же! Я обнаружил, что мои правила совершенно неприемлемы и, больше того, даже опасны. Кто затесывается в толпу, тому бывает необходимо пригнуться, прижать к своему телу локти, податься назад или, напротив, вперед, даже уклониться от прямого пути в зависимости от того, с чем он столкнется; и ему приходится жить не столько по своему вкусу, сколько по вкусу других, не столько в соответствии со своими намерениями, сколько в соответствии с намерениями других, в зависимости от времени, от воли людей, в зависимости от положения дел.

Платон говорит, что кому удается отойти от общественных дел, не замарав себя самым отвратительным образом, тот, можно сказать, чудом спасается. И он же говорит, что, веля своему философу стать во главе государства, он имеет в виду не какое-нибудь развращенное государство вроде Афин — и тем более вроде нашего, в котором сама мудрость и та потеряла бы голову. Ведь и растение, пересаженное в совершенно непривычную и непригодную для него почву, скорее само приспособляется к ней, чем приспособляет ее к себе.

Я чувствую, что, если бы мне пришлось полностью отдаться подобным занятиям, я был бы вынужден во многом изменить себя и ко многому примениться. Даже если бы я смог это сделать (а почему бы и нет, будь только у меня достаточно времени и старания), я бы ни за что этого не захотел; небольшого опыта, который я имею в этих делах, оказалось достаточно, чтобы я проникся к ним отвращением. Правда, я ощущаю, как в душе у меня копошатся смутные искушения, порождаемые во мне честолюбием, но я одергиваю себя и не даю им над собой воли:

At tu, Catulle, obstinatus obdura[580].

Меня не призывают к подобной деятельности, и я нисколько этим не огорчаюсь. Свободолюбие и приверженность к праздности — мои основные свойства, а эти свойства совершенно несовместимы с упомянутым занятием.

Мы не умеем распознавать человеческие способности; их оттенки и их границы с трудом поддаются определению и едва уловимы. На основании пригодности кого-либо к частной жизни заключать о его пригодности к исполне-

---

[580] Примечания: 580

Но ты, Катулл, оставайся твердым (*лат.*). Катулл, VIII, 19.

нию служебных обязанностей — значит делать ошибочное заключение: такой-то прекрасно себя ведет, но он не умеет вести за собой других, такой-то творит «Опыты», но не очень-то горазд на дела; такой-то отлично руководит осадой, но не мог бы руководить сражением в поле; такой-то превосходно рассуждает в частной беседе, но он плохо говорил бы перед народом или перед лицом государя. И если кто-нибудь отлично справляется с тем-то и тем-то, то это говорит скорее всего о том, что с чем-либо другим ему, пожалуй, не справиться. Я нахожу, что души возвышенные не меньше способны на низменные дела, чем низкие — на возвышенные.

Можно ли поверить, что Сократ неизменно подавал афинянам повод к насмешкам на его счет из-за того, что никогда не умел правильно сосчитать черепки при голосовании своей филы и соответствующим образом доложить о результатах Совету?

Восхищение, с каким я отношусь к совершенствам Сократа, заслуживает того, чтобы судьба этого человека явила столь великолепный пример, извиняющий главнейшие мои недостатки.

Способности наши раздроблены, и каждая из них приурочена к чему-либо строго определен-

ному. Мои отнюдь не многообразны и ничтожны числом. Сатурнин заявил передававшим ему верховное начальствование над войском: «Друзья, вы лишились хорошего полководца и приобрели дурного главнокомандующего». Кто похваляется, что в наше занемогшее столь тяжким недугом время он отдает на служение обществу добродетель бескорыстную и искреннюю, тот или вовсе ее не знает, так как воззрения извращаются вместе с нравами (и в самом деле, послушайте, какою они рисуют свою добродетель, послушайте, как большинство из них хвастается своим мерзостным неведением и как они определяют свои житейские правила: вместо того чтобы изобразить добродетель, они рисуют самую очевидную неправедность, а также явный порок, и в таком искаженном виде преподносят в поучение государям), или, если он все же имеет о ней понятие, то похваляется ею без всяких к тому оснований и, что бы он об этом ни говорил, делает тысячи вещей, за которые его укоряет совесть.

Я охотно поверил бы Сенеке, обладавшему большой опытностью в делах этого рода, если бы он пожелал говорить со мною вполне чистосердечно и искренне. Наивысшая степень добропорядочности в таком сложном и затрудни-

тельном положении — это смело обнаружить как свои собственные ошибки, так и ошибки другого; противодействовать, используя свое влияние и могущество, дурным наклонностям государя и сдерживать их, насколько это возможно; уступать им лишь скрепя сердце; уповать на лучшее и желать лучшего. Я замечаю, что среди раздирающих Францию междоусобиц и распрей, в которые мы себя ввергли, каждый хлопочет только о том, чтобы отстоять свое дело, и что при этом даже самые лучшие лицемерят и лгут. И тот, кто стал бы писать о нем с полною откровенностью, написал бы что-нибудь дерзкое и безрассудное. Но и наиболее чистая наша партия — не что иное, как часть некоего тела, насквозь изъеденного червями и кишмя кишащего ими. Впрочем, наименее больную часть подобного тела называют здоровой — и с достаточным правом, ибо о наших качествах можно судить лишь путем сравнения с другими. Гражданская безупречность определяется в зависимости от места и времени. Я считал бы вполне справедливым, если бы Ксенофонт похвалил Агесилая за следующее: некий соседний царь, с которым Агесилай прежде сражался, попросил его позволить ему пройти на свои земли; Агесилай ответил на это согласием и предоставил

ему свободный проход через Пелопоннес; и он не только не бросил его в темницу и не поднес ему яду, хотя тот и был в его власти, но оказал ему любезный прием и ничем его не обидел. При воззрениях того времени в этом не было ничего особенного; но в другие времена и в другом месте на благородство и великодушие такого поступка обратили бы, несомненно, больше внимания. А наши прожженные молодцы без чести и совести подняли бы его на смех — вот до чего далеко спартанское простодушие от французских нравов!

И у нас не перевелись добродетельные мужи — правда, по нашей мерке. Если чья-нибудь нравственность подчинена правилам, возвышающимся над общим уровнем века, то пусть такой человек либо в чем-нибудь урежет и смягчит эти правила, либо, и это я бы ему скорее всего посоветовал, забьется в свою конуру и не толчется среди нас. Что он мог бы от этого выиграть?

Egregium sanctumque virum si cerno, bimembri

Hoc monstrum puero, et miranti iam sub aratro

Piscibus inventis, et foetae comparo

mulae[581].

Можно сожалеть о лучших временах, но нельзя уйти от своего времени; можно мечтать о других правителях, но повиноваться, несмотря ни на что, приходится существующим. И пожалуй, большая заслуга повиноваться дурным, чем хорошим. Пусть хоть какой-нибудь уголок нашего королевства озарится светом своих исконных и привычных законов, и я тотчас же устремлюсь туда. Но если эти законы начнут, на беду, противоречить себе самим и мешать друг другу и на этой почве возникнут две враждебные партии, выбор между которыми затруднителен и внушает сомнения, мое решение, вернее всего, будет состоять в том, чтобы как-нибудь улизнуть и укрыться от этой бури; а тем временем за мною, быть может, протянут руку сама природа или превратности гражданской войны. Я мог бы без околичностей высказаться, за кого я, за Цезаря или Помпея. Но при тех трех мошенниках, которые пришли вслед за ними, только и оставалось, что скрыться или отдаться на волю волн; и я

[581] Примечания: 581

Если я замечаю выдающегося и непорочного мужа, я сравниваю это чудо с двухголовым ребенком, или с рыбами, вдруг на удивление пахарю оказавшимися под плугом, или с беременным мулом (*лат.*). Ювенал, XIII, 64 сл.

это считаю вполне позволительным, если разум больше не в состоянии руководить государством.

Quo diversus abis?[582]

Начинка, которую я сюда напихал, отвлекла меня от моей темы. Я блуждаю из стороны в сторону, но скорее по собственной прихоти, чем по неумелости. Мои мысли следуют одна за другой, — правда, иногда не в затылок друг другу, а на некотором расстоянии, — но они все же всегда видят друг друга хотя бы краешком глаза. Я пробегаю взглядом некий диалог Платона, представляющий собой причудливую и пеструю смесь: начало его о любви, конец посвящен риторике. Древние ничуть не боялись такого переплетения и с невыразимым изяществом позволяли увлекать себя дуновениям ветра или, что тоже возможно, притворялись, будто дело обстоит именно так. Названия моих глав не всегда полностью охватывают их содержание; часто они только слегка его намечают, служа как бы вехами, вроде следующих заглавий, данных своим произведениям древними: «Андриянка», «Евнух», или таких заглавий-имен, как «Сулла»,

[582] Примечания: 582
Куда же ты отклоняешься? (*лат.*) *Энеида,* V, 166.

«Цицерон», «Торкват».

Я люблю бег поэзии, изобилующий прыжками и всякого рода курбетами. Это — искусство, как говорит Платон, легкокрылое, стремительное, лукавое. У Плутарха есть сочинения, в которых он забывает о своей теме, где предмет его рассуждения, погребенный под целой грудой побочного материала, появляется на поверхности лишь от случая к случаю; посмотрите, как он рассказывает о сократовом Демоне! О Боже, до чего пленительны эти внезапные отклонения в сторону, это неиссякаемое разнообразие, и они тем больше поражают нас своей красотой, чем более случайной и непредумышленной она представляется. И если кто теряет нить моих мыслей, так это нерадивый читатель, но вовсе не я; он всегда сможет найти где-нибудь в уголке какое-нибудь словечко, которого совершенно достаточно, чтобы все стало на свое место, хотя такое словечко и не сразу разыщешь. Всегда и везде я домогаюсь разнообразия, притом шумно и навязчиво. Мой стиль и мой ум одинаково склонны к бродяжничеству. Лучше немного безумия, чем тьма глупости, говорят наставления наших учителей и еще убедительнее — оставленные ими примеры.

Тысячи поэтов проходят свой путь, уныло

плетясь, и их поэзия насквозь прозаична: зато лучшая античная проза (а я рассыпаю ее здесь наравне со стихами) блещет поэтической силой и смелостью и проникнута той же вдохновенною одержимостью, которая отличает поэзию. Поэзии, и только поэзии, должно принадлежать в искусстве речи первенство и главенство.

Это — исконный язык богов. Поэт, по словам Платона, восседая на треножнике муз, охваченный вдохновением, изливает из себя все, что ни придет к нему на уста, словно струя родника; он не обдумывает и не взвешивает своих слов, и они истекают из него в бесконечном разнообразии красок, противоречивые по своей сущности, и не плавно и ровно, а порывами. Сам он с головы до пят поэтичен, и, как утверждают ученые, древняя теогоническая поэзия — это и есть первая философия.

Я считаю, что предмет изложения сам за себя говорит: хорошо видно, где начинается его рассмотрение, где заканчивается, где оно изменяется или возобновляется, и вовсе не нужно переплетать излагаемое всевозможными вставками, швами и связками, включенными в него только затем, чтобы помочь слабому и небрежному слуху, как не нужно и на каждом шагу пояснять себя

самого. Кто бы не предпочел, чтобы его лучше совсем не читали, чем читали, засыпая над ним или бегло проглядывая? Nihil est tam utile, quod in transitu prosit[583].

Если бы подержать книги в руках означало удержать их в голове, если бы взглянуть на них означало рассмотреть все, что в них заключается, если бы поверхностно ознакомиться с ними означало бы охватить их во всей полноте, то мне бы действительно не следовало выставлять себя, как я это делаю, круглым невеждой.

Раз я не могу привлечь внимания читателя своими достоинствами, manco male[584], если его привлекут мои запутанность и неясность. — Вот как! А если он потом пожалеет о потраченном времени? — Возможно, но время на меня он все же потратит. И потом встречаются души, глубоко презирающие все, что доступно их разумению; и они оценят меня тем выше, чем непонятнее для них будут мои слова; они заключат о глубине моих мыслей, исходя из их смутности, которую, по совести говоря, я ненавижу всем сердцем и

---

[583] Примечания: 583

Что приносит нам пользу походя, не так уж полезно (*лат.*). *Письма,* 2, 3.

[584] Примечания: 584

Не так уж плохо (*ит.*).

которой я бы с радостью избегал, если бы умел ее избежать. Аристотель где-то похваляется тем, что питает к ней слабость; вот уж поистине порочная слабость!

Так как дробление текста на чересчур короткие главы — чем я поначалу широко пользовался — отвлекает внимание, как мне кажется, прежде, чем оно успевает сосредоточиться, и оно рассеивается, не желая себя утруждать и задерживаться ради такой безделицы, я решил нарастить им длины с тем, чтобы за них принимались, лишь настроясь на чтение и отводя ему известное время. Если какому-нибудь занятию не хотят уделить и часа, это значит, что ему вообще ничего не хотят уделить. Если для кого-либо делают что-нибудь попутно и между прочим, это значит, что для него вообще ничего не делают.

Кроме того, в силу особых причин иногда я бываю вынужден говорить только наполовину, говорить только обиняками, говорить сбивчиво.

Я хотел сказать, что проклинаю тот разум, который убивает всякую радость, и что сумасбродные выдумки, которые усложняют жизнь, и необыкновенно тонкие мысли, даже если в них есть зерно истины, обходятся, на мой взгляд, слишком дорого и причиняют слишком много хлопот. Что

до меня, то я, например, стараюсь извлечь пользу даже из суетности и ослиной глупости, если они доставляют мне удовольствие, и следую вложенным в меня природою склонностям, не очень-то их стесняя и не придираясь к ним по мелочам.

И в других местах я видел развалины зданий, и статуи, и землю, и небо, и везде и всюду — людей. Все это так, но тем не менее как бы часто я ни посещал гробницу некогда столь великого и могучего города, я неизменно в восхищении от него и благоговею пред ним. Не забывать мертвых похвально. А с этими мертвыми я знаком с детства, вырос бок о бок с ними; я познакомился с историей Рима намного раньше, чем с историей моего рода. Я знал Капитолий и его план прежде, чем узнал Лувр, и Тибр — прежде, чем Сену. У меня в голове было больше сведений об образе жизни и богатствах Лукулла, Метелла и Сципиона, чем о ком-либо из моих соотечественников. Это покойники. Но ведь покойник и мой отец, и точно такой же, как эти. За восемнадцать лет он удалился от меня и от жизни на точно такое же расстояние, как они за шестнадцать столетий. А между тем, чтя его память и постоянно вспоминая о нем, я продолжаю пользоваться его дружбой и обществом, и у меня с ним на редкость близкие

отношения и исключительное единомыслие.

Что до моих личных склонностей, то я охотнее всего оказываю услуги умершим: они не могут себе помочь и тем больше, мне кажется, нуждаются в моей помощи. Это проявление благодарности, и притом в ее наиболее чистом виде. В благодеянии тем меньше истинного великодушия и благородства, чем больше вероятность, что оно будет возмещено. Аркесилай, посетив больного Ктесибия и застав его в крайней бедности, незаметно сунул под его изголовье деньги; сделав это украдкой, он сверх того как бы выдал ему расписку, подтверждающую, что они в полном расчете. Люди, заслужившие с моей стороны дружеское расположение и признательность, никогда не бывали внакладе от того, что их больше нет возле меня; с ними, отсутствующими и ничего не подозревающими, я всегда расплачивался и с большей щедростью, и с большей тщательностью, чем со всеми другими. И о своих друзьях я говорю с особой теплотою и любовью лишь тогда, когда у них больше нет ни малейшей возможности узнать об этом.

Я сотни раз затевал жаркие споры, защищая Помпея и вступаясь за Брута. Наши близкие отношения продолжаются и посейчас; ведь даже

события современности мы представляем себе не иначе как при посредстве нашего воображения. Считая, что моему веку я совершенно не нужен, я мысленно переношусь в далекое прошлое, и я настолько им покорен и пленен, что меня увлекает и страстно интересует решительно все, относящееся к древнему городу Риму, — свободному, справедливому и находящемуся в расцвете сил (ибо я не люблю ни его младенчества, ни его старости). Вот почему, как бы часто мне ни доводилось смотреть на места, где были проложены его улицы и где стояли его дома, и на эти развалины, уходящие так глубоко в землю, точно они простираются до антиподов, я неизменно испытываю все то же волнение. И внушено ли это нам самою природой или, быть может, прихотью нашего воображения, но только вид площадей, на которых собирались и где обитали те, чьи славные имена сохраняются в нашей памяти, волнует нас значительно больше, чем если бы нам рассказывали об их деяниях или мы сами читали их собственные творения.

Tanta vis admonitionis inest in locis. Et id quidem in hac urbe infinitum; quacunque enim ingredimur,

in aliquam historiam vestigium ponimus[585]. Мне нравится всматриваться в их лица, изучать их манеру держаться, их одежду. Я снова и снова твержу про себя их великие имена, и они непрерывно отдаются в моих ушах. Ego illos veneror et tantis nominibus semper assurgo[586]. И если что-либо хоть какой-нибудь частичкой своей величественно и замечательно, я восхищаюсь в нем всем, даже тем, что не представляет собой ничего выдающегося. С каким наслаждением наблюдал бы я этих людей за беседой, за трапезой, на прогулке! Было бы черной неблагодарностью относиться с пренебрежением к останкам и теням стольких доблестных и достойных мужей, которые жили и умирали, можно сказать, у меня на глазах и которые всей своей жизнью могли бы преподать нам столько полезного и поучительного, если бы мы умели следовать их примеру.

И потом тот Рим, который мы теперь видим, заслуживает нашей любви также и потому, что он в

---

[585] Примечания: 585

Насколько сильное впечатление производят на вас самые места! А в этом городе таких мест бесчисленное множество, ведь куда бы мы ни направились, мы всюду вступаем в какое-либо место, отмеченное молвой (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* V, 1 сл.

[586] Примечания: 586

Я благоговею перед ними и встаю, когда называют их имена (*лат.*). *Письма,* 64, 10.

течение столь долгого времени и столькими узами связан с нашей державою. Это единственный город, общий для всех и всесветный. Правящий им верховный владыка в одинаковой мере почитаем повсюду; этот город — столица всех христианских народов; испанец и француз — всякий в нем у себя дома. Чтобы быть подданным его государя, достаточно быть христианином, независимо от того, откуда ты родом и где находится твое государство. На нашей бренной земле нет другого такого места, которому небо дарило бы с таким постоянством свою благосклонность. Даже развалины этого города величавы и овеяны славой,

Laudandis pretiosior ruinis[587].

Даже в гробнице он сохраняет отличительные черты и облик времен империи. Ut palam sit uno in loco gaudentis opus esse naturae[588]. Иной мог бы себя обругать и возмутиться собой самим, заметив, что и он не остается бесчувственным к столь суетным удовольствиям. Но наши склонности,

---

[587] Примечания: 587

Еще более драгоценный благодаря своим достославным развалинам (*лат.*). Сидоний Аполлинарий. *Песни,* XX, 62.

[588] Примечания: 588

Только в одном этом месте природа явно осталась довольна своим творением (*лат.*). Плиний. *Естественная история,* III, 6.

если они даруют нам приятные ощущения, не так уже суетны. И какими бы они ни были, если они доставляют удовлетворение человеку, не лишенному здравого смысла, я не стану его жалеть.

Я бесконечно обязан судьбе, до последнего времени не причинившей мне особенно больших горестей, по крайней мере таких, вынести которые мне было бы не под силу. Не значит ли это, что она оставляет в покое тех, кто ничем ей не досаждает?

Quanto quisque sibi plura negaverit
A diis plura feret. Nil cupientium
Nudus castra peto…
…multa petentibus
Desunt multa[589].

Если и впредь она будет вести себя не иначе, я уйду из этого мира вполне довольным и удовлетворенным,

nihil supra

---

[589] Примечания: 589

Чем больше будет каждый себе отказывать, тем больше ему дадут боги. Ничего не имея, я тем не менее тянусь в стан ничего не желающих… Кто стремится ко многому, тому многого недостает (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 16, 21–23 и 42 сл.

Deos lacesso[590].

Но берегись толчка у причала! Тысячи людей погибают уже по прибытии в гавань.

Я заранее мирюсь со всем, что свершится, когда меня больше не будет; мне хватает забот, причиняемых событиями нашего времени,

fortunae cetera mando[591].

И к тому же я свободен от тех прочных уз, которыми, как говорят, человека связывают с будущим дети, наследующие его имя и его честь; ну что ж! Значит, мне тем более не к чему их желать, если они вообще так уж желательны. Я и через себя самого слишком крепко привязан к этому миру и к этой жизни. С меня совершенно достаточно, что я в руках у судьбы и мое существование всецело зависит от обстоятельств, находящихся в ее воле; а раз так, то я не хочу, чтобы она властвовала надо мной и в другом; и я никогда не считал бездетность несчастьем, обязательно лишающим человека радости и полноты жизни. Бесплодие также имеет свои

---

[590] Примечания: 590

Ни о чем больше я не прошу богов (*лат.*). Гораций. *Оды,* II, 18, 11 сл.

[591] Примечания: 591

Прочее я препоручаю судьбе (*лат.*). Овидий. *Метаморфозы,* II, 140.

преимущества. Дети — из числа тех вещей, которых не приходится так уж пламенно жаждать, и особенно в наши дни, когда столь трудно воспитать их добропорядочными. Bona iam nec nasci licet, ita corrupta sunt semina[592]; а вот оплакивать их потерю тем, у кого они были, приходится, и даже очень приходится.

Тот, кто оставил на мое попечение дом и поместье, неоднократно предсказывал, что я доведу их до полного разорения; он исходил из того, что во мне нет хозяйственной жилки. Он ошибся. Я такой же, каким вступил во владение ими, если только не стал чуточку побогаче; и это — без государственной должности и без сторонних доходов от бенефиция.

Если судьба не обрушила на меня никаких из ряда вон выходящих и особо сильных ударов, то вместе с тем она меня и не баловала. У меня нет ничего по-настоящему значительного и стоящего, за что я должен был бы благодарить ее щедрость. Если я и мои домашние и обласканы иными ее дарами, то все это приобретено более чем за век до меня. Впрочем, она мне подарила кое-какие легковесные милости, каковы, например, титу-

[592] Примечания: 592

Уже не может родиться ничто хорошее, настолько испортились семена (*лат.*). Тертуллиан. *Апологетика.*

лы и почет, не представляющие собой ничего существенного; да и их, по правде говоря, она мне не пожаловала, а всего-навсего предложила; Господи Боже! — и это мне, человеку с головы до пят земному и телесному, находящему для себя удовольствие только в вещественном и осязаемом, и притом лишь весомом и основательном, и считающему, если позволительно в этом признаться, жадность не менее извинительной, чем честолюбие, страх перед физической болью не менее уважительным, чем страх перед позором, здоровье не менее драгоценным, чем ученость, и богатство не менее желанным, чем знатность.

Среди ее суетных милостей я могу назвать единственную, которая и впрямь тешит одну из моих нелепых причуд; я говорю о грамоте, жалующей меня римским гражданством и выданной мне в мое последнее посещение этого города; нарядная, с золотыми печатями и выведенными золотом буквами, она была пожалована мне с милостивейшей щедростью. И так как подобные грамоты составляются в разном стиле, с выражением большей или меньшей благосклонности, и так как я сам был очень не прочь ознакомиться с ее текстом прежде, чем она будет мне вручена, я хочу привести ее здесь слово в слово, чтобы удо-

влетворить любопытство тех, кто — если такие найдутся — страдает этой болезнью не меньше моего:

Quod Horatius Maximus, Martius Cecius, Alexander Mutus, almae urbis conservatores, de Illustrissimo viro Michaele Montano, equite sancti Michaelis et a Cubiculo Regis Christianissimi, Romana civitate donando, ad senatum retulerunt, S. P. Q. R. de ea re ita fieri censuit:

Cum veteri more et instituto cupide illi semper studioseque suscepti sint, qui, virtute ac nobilitate praestantes,
magno Reip, nostrae usui atque ornamento fuissent vel esse aliquando possent. Nos, maiorum nostrorum exemplo atque auctoritate permoti, praeclaram hanc Consuetudinem nobis imitandam ac servandam fore censemus. Quamobrem, cum Illustrissimus Michael Montanus, Eques sancti Michaelis et a Cubiculo Regis Christianissimi, Romani nominis studiosissimus, et familiae laude atque splendore et propriis virtutum meritis dignissimus sit, qui summo Senatus Populique Romani iudicio ac studio in Romanam Civitatem adsciscatur, placere Senatui P. Q. R. Illustrissimum Michaelem Montanum, rebus omnibus ornatissimum atque huic inclyto populo carissimum, ipsum posterosque in Romanem Civitatem adscribi

ornarique omnibus et praemiis et honoribus quibus illi fruuntur qui Cives Patriciique Romani nati aut iure optimo facti sunt. In quo censere Senatum P. Q. R. se non tam illi Jus Civitatis largiri quam debitum tribuere, neque magis beneficium dare quam ab ipso accipere qui, hoc Civitatis munere accipiendo, singulari Civitatem ipsam ornamento atque honore affecerit. Quam quidem S. C. auctoritatem iidem Conservatores per Senatus P.Q.R. scribas in acta referri atque in Capitolii curia servari, privilegiumque huiusmodi fieri, solitoque urbis sigillo communiri curarunt. Anno ab urbe condita CXCCCCXXXI, post Christum natum M. D. LXXX, III Idus Martii. Horatius Fuscus, sacri S. P. Q. R. scriba. Vincen. Martholus, sacri S. P. Q. R. scriba[593].

Не являясь гражданином ни одного города, я

---

[593] Примечания: 593

По докладу о даровании прав римского гражданина преславному мужу Мишелю Монтеню, кавалеру ордена Святого Михаила и придворному кавалеру христианнейшего короля, представленному в Сенат блюстителями города Рима Орацио Массини, Марцо Чечо и Алессандро Мути, Сенат и народ Римский определяют:

«Поскольку, следуя давнему обычаю и установлению, мы всегда с благожелательностью и готовностью принимали тех, кто, отличаясь добродетелями и знатностью, оказывал значительные услуги вашему городу и служил ему украшением или мог бы стать таковым, то и теперь, побуждаемые примером и заветами наших предков, мы находим, что это похвальное обыкновение должно быть нами сохранено и поддержано. Посему, поскольку преславный Мишель Монтень, кавалер ордена Святого Михаила и придворный кавалер христианнейшего короля, известный своей ревностною приверженностью к римскому

народу, безусловно достоин, как благодаря славе и блеску своего рода, так и по личным своим заслугам, предоставления ему римского гражданства, Сенату и Римскому народу было угодно, чтобы вышеупомянутый достославный Мишель Монтень, наделенный выдающимися достоинствами и глубоко чтимый нашим славным народом как лично, так и в лице потомков своих, был пожалован римским гражданством и располагал всеми правами и преимуществами, которыми пользуются исконные римские граждане, или те, кто на законном основании стал таковым. Принимая это решение, Сенат и народ Римский считают, что они не столько даруют вышеуказанному Мишелю Монтеню римское гражданство, сколько воздают ему должное, и не столько оказывают ему благодеяние, сколько сами благодетельствуемы с его стороны, ибо, принимая от них звание римского гражданина, он оказывает их городу честь и именем своим послужит к его украшению. Вышеуказанные блюстители города повелели, чтобы через секретарей Сената и народа Римского настоящее решение Сената города Рима было внесено в протоколы и хранилось в Капитолийском архиве, а также, чтобы был составлен надлежащий акт и этот акт скреплен обычною городской печатью. Дано от основания Рима в году 2331, а от Рождества Христова 1580 в тринадцатый день месяца марта. Орацио Фуско, секретарь священного Сената и народа Римского, Винченцо Мартоли, секретарь священного Сената и народа Римского» (*лат.*).

был весьма рад сделаться гражданином самого благородного из всех, какие когда-либо были или когда-либо будут. Если бы и другие всматривались в себя так же пристально, как это делаю я, то и они нашли бы себя такими же, каков я, то есть заполненными всякой тщетой и всяким вздором. Избавиться от этого я не могу иначе, как избавившись от себя самого. Все мы проникнуты суетой, но кто это чувствует, тот все же менее заблуждается; впрочем, может быть, я и не прав.

Всеобщее обыкновение и стремление всматриваться во что угодно, но только не в самих себя, в высшей степени благодетельно для нашего брата. Ведь мы представляем собой не очень-то приятное зрелище: суетность и убожество — вот и вся наша сущность. Чтобы не отнять у нас бодрости духа, природа направила — и, надо сказать, весьма кстати — деятельность нашего органа зрения лишь на пребывающее вне нас. Мы плывем по течению, а повернуть в обратную сторону и возвратиться к себе — дело исключительно трудное; ведь и море злится и препятствует себе самому, когда, встретив преграду, отходит назад. Посмотрите, говорит каждый, как разыгрывается ненастье, посмотрите на окружающих, посмотрите на иск, предъявленный тем-то, посмотрите

на цвет лица того-то, на завещание, оставленное таким-то; короче говоря, посмотрите вверх или вниз, или вбок, или перед собой, или оглянитесь назад. Но повеление дельфийского бога, полученное нами от него в стародавние времена, предъявляет нам требования, идущие наперекор всем нашим повадкам. «Всмотритесь в себя, познайте себя, ограничьтесь самими собой; ваш разум и вашу волю, растрачиваемые вами вовне, направьте наконец на себя; вы растекаетесь, вы разбрасываетесь; сожмитесь, сосредоточьтесь в себе; вас предают, вас отвлекают, вас похищают у вас самих. Разве ты не видишь, что этот мир устремляет свои взоры внутрь себя и его глаза созерцают лишь себя самого? Суетность — вот твой удел и в тебе самом, и вне тебя, но, заключенная в тесных границах, она все-таки менее суетна. О, человек, кроме тебя одного, — говорит этот бог, — все сущее прежде всего познает самого себя и в соответствии со своими потребностями устанавливает пределы своим трудам и своим желаниям. И нет ни одного существа, которое было бы столь же нищим и одолеваемым нуждами, как ты, человек, жаждущий объять всю вселенную. Ты — исследователь без знаний, повелитель без прав и в конце концов всего-навсего шут из фарса».

Глава XI
О хромых

Года два или три тому назад во Франции календарный год сократили на десять дней. Сколько перемен должно было последовать за этой реформой! Казалось, и земля, и небо должны были бы перевернуться. Однако же ничто со своего места не сдвинулось; для моих соседей время посева и жатвы, время, подходящее для их дел, счастливые и несчастливые дни — все это падает как раз на те сроки, которые были от века установлены. Как ошибка в календаре нами не ощущалась, так не ощущается и исправление: ведь все кругом так недостоверно, а способность наша замечать то или иное так несовершенна, так слаба, так притуплена. Говорят, что это исправление можно было произвести гораздо менее хлопотным способом, отменив на протяжении ряда лет добавочные дни високосных годов, всегда связанные с неудобством и неурядицей, до той поры, пока вся эта задолженность не будет погашена (что введенным сейчас исправлением достигнуто не было, так что мы и теперь на несколько дней

отстаем). Тот же способ оказался бы весьма действенным и на будущее время, если было бы установлено, что по прошествии стольких-то лет добавочный день отменяется: тогда наша ошибка ни при каких обстоятельствах не превышала бы одних суток. У нас нет иного исчисления времени, как по годам. Весь мир употребляет этот способ уже много веков, и тем не менее он еще неокончательно упорядочен прежде всего потому, что мы постоянно пребываем в неведении — какую форму придали ему на свой лад другие народы и как они им пользуются. А может быть, как утверждают некоторые, светила небесные, старея, опускаются ниже к нашей земле и повергают нас в сомнения насчет длительности дней и годов? А насчет месяцев еще Плутарх говорил, что наука о звездах в его время не могла точно определить движение луны. Как удобно нам при таких условиях вести летопись минувших событий и дел!

В данном случае я, как это со мной часто бывает, размышлял о том, какое прихотливое и неосновательное орудие — человеческий разум. Мне постоянно приходится наблюдать, что когда людей знакомишь с чем-либо, они задумываются не над тем, насколько это само по себе верно, а

забавляются отыскиванием его основы: они пренебрегают вещами и увлекаются рассуждениями о причинах. Забавные рассуждения! Подлинное понятие о причинах может иметь лишь тот, кто направляет движение всех вещей, а не мы, которым дано лишь испытывать то или иное, которым дано лишь пользоваться вещами по мере надобности, не проникая в их происхождение и сущность. Тем, кому известны главнейшие свойства того или иного вина, оно не становится вкуснее. Напротив: наши тело и дух нарушают и ослабляют данное им право пользоваться миром вещей, когда присовокупляют сюда еще свои мнения и рассуждения. Определять и знать — дело правящего и господствующего; низшим, подчиненным, научающимся дано лишь принимать и пользоваться. Но возвратимся к вопросу о том, что нам привычно. Люди отмахиваются от явлений как таковых и принимаются дотошно исследовать их причины и следствия. Обычно они начинают так: «Как это происходит?» А надлежало бы выяснить: «Да происходит ли это на самом деле?» Ум наш способен вообразить сотни других миров, изыскать их начала и способ их устройства. Для этого не требуется никакого вещества, никакой основы. Пусть воображение

действует: на зыбком основании оно строит так же искусно, как на твердой почве, из ничего — так же ловко, как из подлинно сущего,

dare pondus idonea fumo[594].

Я полагаю, что почти на всякий вопрос надо отвечать: не знаю. И я бы часто прибегал к такому ответу, да не решаюсь: тотчас же подымается крик, что так отвечают лишь по слабости ума и невежеству. И мне приходится обычно заниматься болтовней вместе со всеми, рассуждать о всяких пустяках, в которые я нисколько не верю. К этому следует добавить, что действительно трудно просто-напросто отрицать то, что считается фактом, если не хочешь прослыть записным спорщиком. А ведь немногие люди, особенно когда речь идет о вещах, убедить в которых трудно, не станут утверждать, что они сами это видели, или же ссылаться на таких свидетелей, чей авторитет заставляет умолкнуть возражающего. Видя себя таким образом, мы якобы знаем основы и причины вещей, никогда не существовавших. Так и спорит весь мир по поводу тысячи вещей, коих все за и против одинаково ложны. Ita

[594] Примечания: 594
Способное придать тяжесть дыму (*лат.*). Персий, V, 20.

finitima sunt falsa veris, ut in praecipitem locum non debeat se sapiens committere[595]. Истина и ложь сходны обличьем, осанкой, вкусом и повадками: мы смотрим на них одними и теми же глазами. Я нахожу, что мы не только малодушно поддаемся обману, но и сами стремимся и жаждем попасть в его сети. Мы очень охотно даем себя опутать тщеславию, столь свойственному нашей природе.

За свою жизнь я неоднократно видел, как рождались чудеса. Даже в том случае, если они, едва успев родиться, снова превращаются в ничто, мы имеем возможность предугадывать, что получилось бы, если бы они выжили. Ибо нужно лишь ухватиться за свободный конец нити, и тогда размотаешь сколько понадобится. Между ничем и ничтожнейшей из существующих в мире вещей расстояние большее, чем между этой ничтожнейшей и величайшей. Так вот, те, кто первым прослышал о некоем удивительном явлении и начинает повсюду трезвонить о нем, отлично чувствуют, встречая недоверие, где в их утверждениях слабое место, и всячески стараются заделать прореху, приводя ложные свидетель-

[595] Примечания: 595

Ложное до такой степени соседствует с истиной, что мудрец должен остерегаться опасной близости (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы*, II, 21.

ства. Кроме того что insita hominibus libidine alendi de industria rumores[596], мы, естественно, считаем долгом совести вернуть то, что нам ссудили, без каких-либо изъятий, а также и не без добавлений со своей стороны. Спервоначалу чье-то личное заблуждение становится общим, а затем уж общее заблуждение становится личным. Вот и растет эта постройка, к которой каждый прикладывает руку так, что самый дальний свидетель события оказывается осведомленным лучше, чем непосредственный, а последний человек, узнавший о нем, — гораздо более убежденным, чем первый. Все это происходит самым естественным образом, ибо каждый, кто во что-то поверил, считает актом великодушия убедить в том же другого человека и ради этого, не смущаясь, добавляет кое-что собственного сочинения, если, по его мнению, это необходимо, чтобы во всеоружии встретить сопротивление другого и справиться с непониманием, которое тому, по ему мнению, свойственно.

Даже я сам, считающий долгом совести не лгать и не очень заботящийся о том, чтобы придавать особый вес и авторитет своим словам, замечаю,

[596] Примечания: 596

Из-за свойственной людям страсти умышленно распространять слухи (*лат.*). Тит Ливий, XXVIII, 24.

однако же, когда о чем-либо рассказываю, что достаточно мне распалиться от возражений или даже от своего собственного увлечения рассказом, — и я начинаю украшать и раздувать то, о чем у меня идет речь, повышая голос, жестикулируя, употребляя сильные и впечатляющие выражения и даже кое-что преувеличивая и добавляя, не без ущерба для первоначальной истины. Но делаю я это, соблюдая все же одно условие: первому, кто меня отрезвит и потребует лишь голой и чистой правды, я, презрев все свои усилия, скажу ее без малейших преувеличений, без каких-либо украшений велеречивости. Речь моя, обычно очень живая и громкая, охотно впадает в гиперболы.

Люди обычно ни к чему так не стремятся, как к тому, чтобы возможно шире распространить свои убеждения. Там, где нам это не удается обычным способом, мы присовокупляем приказ, силу, железо, огонь. Беда в том, что лучшим доказательством истины мы склонны считать численность тех, кто в нее уверовал, огромную толпу, в которой безумцы до такой степени превышают — количественно — умных людей. Quasi vero quicquam sit tam valde, quam nil sapere

vulgare[597].

Sanitatis patrocinium est, insanientium turba[598]. Трудное дело — сохранить в неприкосновенности свое суждение, когда общепринятые взгляды оказывают такое давление на него. Сперва предмет разговора убеждает простаков, после них убежденность, поддержанная численностью уверовавших и древностью свидетельств, распространяется и на людей весьма умных. Я же лично если в чем-либо не поверю одному, то и сто одного не удостою веры и не стану также судить о воззрениях на основании их древности.

Недавно один из наших принцев, которого подагра лишила приятной наружности и веселого расположения духа, прослышал о чудесах некоего священника, словами и движениями рук исцелявшего все болезни, и дал себя убедить настолько, что предпринял дальнее путешествие, чтобы до него добраться. Силой воображения он так воздействовал на свои ноги, что на несколько часов боль утихла, и они стали служить ему, как

---

[597] Примечания: 597

Словно есть что-то несомненнее, чем невежество толпы (*лат.*). Цицерон. *О гадании,* II, 39.

[598] Примечания: 598

Благоразумному должно руководить, ибо неразумных — толпы (*лат.*). Августин. *О граде Божием,* VI, 10.

давно уже не служили. Произойди то же самое еще пять или шесть раз, и все признали бы, что чудо это стало несомненным фактом. Впоследствии чудотворец оказался таким простаком, а действия его столь безыскусственными, что он был признан недостойным какой-либо кары. Так поступали бы при подобных обстоятельствах в большинстве случаев, если бы проникали в самую их сущность. Miramur ex intervallo fallentia[599]. Часто взгляду нашему предстают издали удивительные образы, которые исчезают, едва к ним приблизишься. Nunquam ad liquidum fama perducitur[600].

Диву даешься, как незначительны основания и легковесны причины, производящие столь глубокое впечатление. Именно потому и трудно отдать себе в них отчет. Ибо, ища причин и следствий, достаточно существенных и весомых для столь важного дела, теряешь из виду его действительные причины и следствия: они кажутся слишком ничтожными. И, по правде сказать, для подобных

---

[599] Примечания: 599

Глядя на обманчивую вещь издали, мы часто восхищаемся ею (*лат.*). *Письма,* 118, 7.

[600] Примечания: 600

Слава никогда не склоняется к бесспорному (*лат.*). Квинт Курций, IX, 2.

изысканий необходим исследователь крайне осторожный, внимательный и тонкий, беспристрастный и незаинтересованный. До настоящего времени всякие чудеса и сверхъестественные явления для меня оставались скрытыми. На этом свете я не видел чудища более диковинного, чем я сам. К любой странности привыкаешь со временем и благодаря постоянному с ней общению; но чем больше я сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше изумляюсь своей диковинности, тем меньше разбираюсь в том, что же я, собственно, такое.

Право порождать и производить всякого рода необычайные явления принадлежит случаю. Оказавшись позавчера в одной деревне в двух лье от моего имения, я обнаружил, что ее жители все еще взбудоражены чудом, которое здесь недавно произошло и уже в течение нескольких месяцев волнует всю округу и молва о котором доходит до соседних провинций, откуда начинают стекаться сюда многочисленные толпы людей всякого состояния и положения. Один молодой человек из местных однажды ночью у себя дома стал забавляться тем, что вещал таким загробным голосом, будто был не человек, а некий дух; при этом он не имел никакой иной цели, как только

подшутить над односельчанами. Так как это ему удалось сверх ожидания, он пожелал дать своей проказе больший размах и для этого привлек в качестве помощницы одну из деревенских девок, совершенную дурочку и тупицу. В конце концов их оказалось трое, одинаково юных и в равной степени нахальных. От вещаний в домашней обстановке они перешли к публичным, прячась в церкви под алтарем, говоря только ночью и не допуская, чтобы в это время зажигали свет. Сперва они говорили о покаянии и грозили Страшным судом (ибо этот предмет, всем внушающий уважение и благоговение, особенно удобен для всяческих обманщиков). Затем принялись устраивать явления духов и всевозможной чертовщины, притом так нелепо и смехотворно, что вряд ли малые дети в играх своих бывают столь неискусны. И однако же, прояви к ним хоть немного благосклонности судьба, неизвестно, как далеко могли бы зайти эти шутовские выходки. Сейчас бедняги в тюрьме, и, по всей вероятности, им одним придется искупить всеобщую глупость. Кто знает, как выместит на них свою собственную какой-нибудь судья! Этот обман раскрылся, и все увидели, в чем тут дело, но я полагаю, что относительно многих подобных вещей, превосходящих

наше разумение, мы в равной мере склонны и сомневаться и верить.

В мире возникает очень много злоупотреблений, или, говоря более смело, все в мире злоупотребления возникают оттого, что нас учат боязни открыто заявлять о нашем невежестве и что мы якобы должны принимать все, что не в состоянии опровергнуть. Обо всем мы говорим наставительно и уверенно. По римскому праву требовалось, чтобы свидетель, даже рассказывая о том, что он видел собственными глазами, и судья, даже вынося постановление о том, что он доподлинно знал, употребляли формулу: «Мне кажется». Начинаешь ненавидеть все правдоподобное, когда его выдают за нечто непоколебимое. Я люблю слова, смягчающие смелость наших утверждений и вносящие в них некую умеренность: «может быть», «по всей вероятности», «отчасти», «говорят», «я думаю» и тому подобные. И если бы мне пришлось воспитывать детей, я бы так усердно вкладывал им в уста эти выражения, свидетельствующие о колебании, а не о решимости: «что это значит?», «я не понимаю», «может быть», «возможно ли это?», что они и в шестьдесят лет стали бы держаться, как ученики, вместо того чтобы изображать, как это у них в обычае, докто-

ров наук, едва достигнув десятилетнего возраста. Если хочешь излечиться от невежества, надо в нем признаться. Ирида — дочь Фавманта. В начале всяческой философии лежит удивление, ее развитием является исследование, ее концом — незнание. Надо сказать, что существует незнание, полное силы и благородства, в мужестве и чести ничем не уступающее знанию, незнание, для постижения которого надо ничуть не меньше знания, чем для права называться знающим.

В детстве я был свидетелем процесса по поводу одного необыкновенного случая. Данные об этом процессе опубликовал Корас, советник тулузского парламента, и речь шла о том, что два человека выдавали себя за одно и то же лицо. Помнится (ничего другого я не помню), мне тогда показалось, что обман, совершенный тем из них, кого Корас признал виновным, выглядел так удивительно, настолько превосходил наше понимание и понимание самого судьи, что я нашел слишком смелым постановление суда, приговаривавшее обвиняемого к повешению. Предпочтительнее было бы, чтобы формула судебного заключения гласила: «Суд в этом деле разобраться не может». Это было бы и прямодушнее и честнее, чем решение ареопагитов, которые, будучи вынуж-

денными вынести заключение по делу, для них совершенно неясному, постановили, чтобы обе стороны явились для окончательного разбора через сто лет.

Ведьмы всей нашей округи оказываются в смертельной опасности каждый раз, как какой-нибудь новый автор выскажет мнение, признающее их бред за действительность. Для того чтобы несомненные и неопровержимые примеры подобных явлений, преподносимые Священным Писанием, приспособить к нам и связать с событиями нашего времени, причины и ход которых нам непонятны, необходимо иное разумение, чем у нас. Может быть, лишь этому всемогущему свидетельству дано сказать нам: «Вот это есть ведовство и это, а вон то — нет». Богу мы в этих делах должны верить — и с полным основанием, но не кому-либо из нас, дивящемуся своим собственным россказням (если сам он разума не утратил, они и должны вызывать у него удивление), сообщает ли он о чужом опыте или о своем собственном.

Я человек с умом грубоватым, со склонностью ко всему материальному и правдоподобному, стремящийся избежать упрека древних: Majorem fidem homines adhibent iis quae non

intelligunt[601]. Cupidine humani ingenii libentius obscura creduntur[602]. Я понимаю, что это вызывает гнев, что мне запрещают сомневаться в чудесах, грозя в противном случае самыми ужасными оскорблениями. Вот вам и новый способ убеждения. Но, слава Богу, верой моей нельзя руководить с помощью кулачной расправы! Пусть люди эти обрушиваются на тех, кто объявляет их убеждения ложными. Я считаю эти мнения лишь трудно доказуемыми и слишком смелыми и даже осуждаю противоположные утверждения, хотя и не столь властным тоном: Videantur sane, ne affirmentur modo[603]. Те, кто подкрепляет свои речи вызывающим поведением и повелительным тоном, лишь доказывают слабость своих доводов. Когда ведется спор чисто словесный и схоластический, пусть у них будет такая же видимость правоты, как у их противников. Но когда дело доходит до вещественных следствий, которые

[601] Примечания: 601

Люди охотно верят тому, чего не могут понять (*лат.*). Источник неизвестен.

[602] Примечания: 602

Человеческому уму свойственно охотнее верить непостижимому (*лат.*). Тацит. *История,* I, 22.

[603] Примечания: 603

Допустим, что это правдоподобно, но настаивать на этом недопустимо (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы,* II, 27.

из этого спора можно извлечь, у последних есть несомненное преимущество. Если речь идет о том, чтобы лишить кого-то жизни, необходимо, чтобы все дело представало в совершенно ясном и честном освещении. И жизнь наша есть нечто слишком реальное и существенно важное, чтобы ею можно было расплачиваться за какие-то сверхъестественные и воображаемые события. Что же касается отравления ядовитым зельем, то его я не имею в виду: это ведь человекоубийство, и притом самое гнусное. Однако говорят, что и в этих делах не всегда можно полагаться только на признание такого рода людей, ибо бывали случаи, когда они заявляли, что ими убиты люди, которые потом оказывались живыми и здоровыми.

Относительно же других необычайных обвинений я со всей прямотой сказал бы так: каким бы безупречно правдивым ни казался человек, ему можно верить лишь в том, что касается дел человеческих. Во всем же, что вне его разумения, что сверхъестественно, ему следует верить лишь в том случае, если слова его получают и некое сверхъестественное подтверждение. Богу угодно было удостоить им некоторые наши свидетельства, но не должно опошлять его и лег-

комысленно распространять на все решительно. У меня уши вянут от бесчисленных россказней вроде следующего: такого-то человека в такой-то день трое свидетелей видели на востоке, трое других на следующий день — на западе, в такой-то час, в таком-то месте, одетым так-то. Разумеется, я и себе самому в этом не поверил бы! Насколько естественней и правдоподобней допустить, что двое из этих свидетелей лгут, чем поверить, что какой-то человек мог за двенадцать часов с быстротою ветра перенестись с востока на запад! Насколько естественнее считать, что разум наш помутился от причуд нашего же расстроенного духа, чем поверить, будто один из нас в своей телесной оболочке вылетел на метле из печной трубы по воле духа потустороннего! И для чего нам, постоянным жертвам воображаемых домашних и житейских тревог, поддаваться обману воображения по поводу явлений сверхъестественных и нам неведомых. Мне кажется, что вполне простительно усомниться в чуде, если, во всяком случае, достоверность его можно испытать каким-либо не чудесным способом. И я согласен со святым Августином, что относительно вещей, которые трудно доказать и в которые опасно верить, следует предпочитать сомнение.

Несколько лет назад я проезжал через земли одного владетельного принца, который из внимания ко мне и для того, чтобы посрамить мое недоверие, был так милостив, что в некоем месте и в своем присутствии показал мне десять или двенадцать обвиняемых в колдовстве, среди которых была одна старуха, доподлинно, можно сказать, ведьма по уродливой своей внешности, издавна весьма знаменитая в колдовских делах. Я получил и всяческие доказательства, и добровольные признания, мне показаны были какие-то незаметные для непосвященных признаки ведовства у этой злосчастной старухи, я свободно расспрашивал ее и вдосталь наговорился с нею, вооружившись предельным вниманием и здравомыслием, как человек, который не позволит никакой предвзятой мысли ввести себя в заблуждение. И должен со всей прямотой заявить, что этим людям я прописал бы скорее чемерицу, чем цикуту. Captisque res magis mentibus, quam consceleratis similis visa[604]. Но у правосудия для таких болезней есть свое врачевание.

Что же до возражений и доводов, которые

[604] Примечания: 604

Было больше похоже, что дело сумасшедших, а не преступников (*лат.*). Тит Ливий, VIII, 18. Чемерицу предписывали от душевных болезней, цикута использовалась для казни (например, Сократа).

приводились мне разными вполне достойными людьми и там, и в других местах, то я не слышал таких, которые убедили бы меня и из которых нельзя было бы сделать выводов гораздо более правдоподобных, чем заключения моих противников. Правда и то, что нить доказательств и доводов, основанных на опыте и на фактах, я разматывать не стал бы: у нее нет конца, за который можно ухватиться. Этот клубок я часто разрубаю, как Александр — гордиев узел. Во всяком случае, заживо поджарить человека из-за своих домыслов — значит придавать им слишком большую цену. Приводят немало примеров такого рода, как рассказ Престанция о своем отце, которому, когда он был погружен в очень глубокий и тяжелый сон, пригрезилось, будто он вьючная лошадь, везущая пожитки его же солдат. А он и был тем, что ему привиделось. Если колдуны так же реально грезят наяву, если сны подобным образом могут порою превращаться в действительность, я все же не считаю, что воля наша за это ответственна. Говорю я это, как человек, не являющийся ни судьей, ни королевским советником и отнюдь не считающий себя достойным притязать на это, как обыкновенный человек, рожденный и предназначенный для того, чтобы и поступками

своими, и словами оказывать всяческое уважение общественным установлениям. Тот же, кто воспользуется этими моими размышлениями, чтобы нанести ущерб даже самому незначительному закону, или господствующему мнению, или обычаю своей деревни, причинит величайший вред самому себе, а кроме того, нисколько не меньший и мне. Ибо для обоснования того, что я говорю, я не могу добавить ничего, кроме заявления, что это мысли, которые тогда у меня возникли, а мысли мои — зачастую нетвердые и путаные.

Я говорю о чем угодно, ведя беспритязательную болтовню, а не занимаясь поучениями. Nec me pudet, ut istos, fateri nescire quod nesciam[605]. И я не говорил бы так смело, если бы считал себя человеком, чьим словам полагается верить. Такой ответ дал я одному из сильных мира, жаловавшемуся на резкость и горячность моих суждений. Когда я вижу, как прочно вы связаны с одной стороной и как упрямо ее держитесь, я показываю вам усерднейшим образом и другую — для того, чтобы просветить ваше разумение, а не для того, чтобы принудить вас с чем-то согласиться.

---

[605] Примечания: 605

Я не стыжусь, подобно этим людям, признаваться в незнании того, чего я не знаю (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, I, 25.

Сердце ваше и ум в руках Божьих, и Бог внушит вам правильный выбор. Я не так самоуверен и вовсе не желаю, чтобы лишь мои мнения склоняли чашу весов в столь существенном вопросе: судьба моя отнюдь не предопределила их выражать решения, столь возвышенные и важные. По правде сказать, у меня есть много не только таких черт характера, но и таких взглядов, от которых я желал бы отвадить своего сына, будь он у меня. Ведь человек по природе своей так упрям, что даже самые правильные суждения не всегда являются для него наиболее удобными.

К месту будь это сказано или не к месту, но есть в Италии распространенная поговорка: тот не познает Венеры во всей ее сладости, кто не переспал с хромоножкой. По воле судьбы или по какому-либо особому случаю словцо это давно у всех на устах и может применяться как к мужчинам, так и к женщинам. Ибо царица амазонок недаром ответила скифу, домогавшемуся ее любви: ἄριστα κολὸς οἰφεῖ [606]— «хромец это делает лучше». Амазонки, стремясь воспрепятствовать в своем женском царстве господству мужчин, с детства калечили им руки, ноги и другие орга-

[606] Примечания: 606
Схолия к «Идиллиям» Феокрита, IV, 5, 62.

ны, дававшие мужчинам преимущества перед ними, и те служили им лишь для того, для чего нам в нашем мире служат женщины. Я сперва думал, что неправильные телодвижения хромоножки доставляют в любовных утехах какое-то новое удовольствие и особую сладость тому, кто с нею имеет дело. Но недавно мне довелось узнать, что уже философия древних разрешила этот вопрос. Она утверждает, что, так как ноги и бедра хромоножек из-за своего убожества не получают должного питания, детородные части, расположенные над ними, полнее воспринимают жизненные соки, становясь сильнее и крепче. По другому объяснению, хромота вынуждает пораженных ею меньше двигаться, они расходуют меньше сил и могут проявлять больше пыла в венериных утехах. По этой же причине греки считали ткачих более пылкими, чем других женщин: из-за сидячего образа жизни, к которому вынуждает их это ремесло, не требующее расхода сил на ходьбу. Но к каким только выводам не придем мы, рассуждая подобным образом? О ткачихах я мог бы с таким же основанием сказать, что, сидя за своей работой, они вынуждены все время ерзать на месте, что возбуждает их и горячит, как знатных дам, разъезжающих в каретах,

тряска их экипажей.

Не доказывают ли примеры эти того, с чего я начал: что доводы наши часто притягиваются к выводам и притязают на такой охват явлений, что в конце концов мы начинаем судить и рядить о всевозможных нелепостях и небылицах? Кроме удивительной податливости нашего мышления, изобретающего доводы в пользу любой выдумки, и воображение наше с легкостью воспринимает ложные впечатления от весьма поверхностной видимости вещей. Ибо, доверившись тому, что упомянутая выше поговорка — старинная и общераспространенная, я в свое время убедил себя, будто получил особое наслаждение от близких отношений с одной женщиной, не ходившей прямо, и особенность эту отнес к ее прелестям.

Проводя сравнение между Францией и Италией, Торквато Тассо утверждает, будто он заметил, что ноги у нас более щуплые, чем у итальянских дворян, и причину этого он усматривает в том, что мы постоянно ездим верхом. Но из той же причины Светоний вывел совершенно противоположное следствие, ибо он, наоборот, говорит, что у Германика ноги стали гораздо мускулистее также из-за постоянной верховой езды. Нет ничего более гибкого и податливого, чем наше

разумение: это туфля Ферамена, которая каждому по ноге. Оно двусмысленно и постоянно меняет значения, так же как двусмысленны и самые вещи. «Дай мне серебряную драхму», — сказал некий философ-киник Антигону. «Это подарок, недостойный царя», — ответил тот. «Ну так дай мне талант». — «Это подарок, неподходящий для киника».

Seu plures calor ille vias et caeca relaxat
Spiramenta, novas veniat qua succus in herbas;
Seu durat magis et venas astringit hiantes,
Ne tenues pluviae, rapidive potentia solis
Acrior, aut Boreae penetrabile frigus adurat[607].

Ogni medaglia ha il suo riverso[608]. Вот почему Клитомах говорил в древности, что Карнеад превзошел труды Геркулеса, ибо доказал, что люди не

---

[607] Примечания: 607

Или это тепло открывает многочисленные пути и скрытые поры, по которым к молодым растениям могла бы поступить влага, или оно придает растениям крепость и сжимает их чрезмерно раскрывшиеся жилки, оберегая нежные стебли и листья от моросящих дождей, зноя палящего солнца или пронизывающей стужи Борея (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* III, 89 сл.

[608] Примечания: 608

Всякая медаль имеет оборотную сторону (*ит.*). Пословица.

способны познавать истину, и тем самым отнял у них право на смелость и непререкаемость суждений. Эта смелая мысль возникла у Карнеада, по-моему, из-за бесстыдства тех, кто воображает, будто им все известно, и их непомерной заносчивости. Эзопа выставили на продажу вместе с двумя другими рабами. Покупатель спросил у одного из них, что он умеет делать. Тот, желая набавить себе цену, наговорил с три короба, что он и то умеет, и это. Второй сказал о себе столько же, если не больше. Когда же настала очередь Эзопа и у него спросили, что умеет делать он, Эзоп ответил: «Ничего, ведь все уже забрали те двое: они все умеют». Так произошло и с философскими школами. Гордость тех, кто приписывает человеческому разуму способность познавать все, заставила других, вызывая в них досаду и дух противоречия, проникнуться убеждением, что разум совершенно бессилен. В утверждении невежества одни держатся такой же крайности, какой другие — в утверждении знания. Да не решится кто-либо отрицать, что человек ни в чем не знает меры и останавливается лишь по необходимости, когда у него уже нет сил идти дальше.

Глава XII
О физиогномии

Почти все наши мнения опираются на некий авторитет и на веру. В этом нет беды: ибо в наш слабый духовно век мы, руководствуясь лишь своим разумением, сделали бы самый плачевный выбор. Поучения Сократа, сохраненные в писаниях его друзей, восхищают нас лишь потому, что их чтят и уважают все, а не потому, что мы ими прониклись: в жизни мы их не применяем. Возникни что-либо подобное в наши дни, весьма немногие одобрили бы его.

Красоту и изящество мы замечаем лишь тогда, когда они предстают искусственно заостренными, напыщенными и надутыми. Если же они скрыты за непосредственностью и простотой, то легко исчезают из поля столь грубого зрения, как наше. Прелесть их — неброская, потаенная: лишь очень ясный и чистый взор может уловить это тихое сияние. Разве непосредственность, по-нашему, не родственна глупости и не является пороком? Душевным движениям Сократа свойственны естественность и простота. Так

говорит крестьянин, так говорит женщина. На устах у него одни возчики, плотники, сапожники и каменщики. Формулы и сравнения свои он заимствует из простейших, повседневнейших человеческих действий. Каждому они понятны. Мы никогда не распознали бы в столь жалкой оболочке благородства и великолепия его философских построений, мы, считающие пошлым и низменным все не сдобренное ученостью, мы, способные усмотреть богатство лишь в показной пышности. Наш мир создан словно лишь для чванства: людей, надутых воздухом, кто-то подбрасывает вверх, как воздушные шары. Сократ же не тешит себя суетными выдумками; цель его состояла в том, чтобы дать нам поучения и предписания, которые самым непосредственным и действенным образом послужили бы нам в жизни,

servare modum, finemque tenere
Naturamque sequi[609].

Он оставался всегда цельным, верным себе и поднимался до предельных высот силы духовной не случайными скачками, а неуклонным ростом

[609] Примечания: 609

Сохранять меру, исполнять свой долг, следовать природе (*лат.*). Лукан, II, 381.

всего своего существа. Или, лучше сказать, он вовсе не поднимался, а скорее спускался и возвращался к своему врожденному и естественному душевному складу, ставя его превыше силы, препятствий, трудностей. Ибо на примере Катона мы ясно видим стремление ввысь, за пределы общедоступного: подвиги его жизни, его кончина показывают нам, как высоко он парил. Сократ же не покидает земли; невысокоплив, размерен шаг его на путях мудрого философствования, и тем же шагом идет он к смерти по терниям самых тяжких испытаний, какие могут встретиться в человеческой жизни.

Как хорошо, что о человеке, наиболее достойном известности и того, чтобы служить для всех примером, мы все знаем достоверно. Нам поведали о его жизни самые мудрые и проницательные люди, которые когда-либо существовали: свидетельства о нем, дошедшие до нас, удивительны по своей правдивости и точности.

Большое это дело — так направить ничем не запятнанное воображение ребенка, не угнетая его и не напрягая, чтобы оно могло порождать самые прекрасные душевные движения. Душу человеческую Сократ не изображает возвышенной и особо щедро одаренной. В его представлении основное

качество ее — здоровье, но здоровье, полное силы и ясности. Пользуясь самыми обычными и естественными средствами, всем понятными и доступными образами, раскрыл он перед нами не только наиболее свойственные природе человека, но и наиболее возвышенные взгляды, основы поведения и нравы, какие только известны от начала времен. Это Сократ вернул разум человеческий с неба, где ему нечего было делать, на землю, чтобы он вновь стал достоянием людей и действовал в положенной ему области наиболее прилежным и полезным образом. Посмотрите, как Сократ защищает себя перед своими судьями, какими доводами укрепляет он свое мужество в превратностях войны и какими воспитывает в себе терпенье перед лицом клеветы, угнетения, смерти и, наконец, даже перед злонравием своей жены. Ничего не заимствует он у искусства или науки, самые простые люди видят, что учит он посильному и возможному для них, доходит до самых темных, опускается до самых малых. Величайшее благо оказал он природе человеческой, показав, как много может она сама по себе.

Любой из нас гораздо богаче, чем ему кажется, но мы приучены жить займами или подаянием, мы воспитаны так, чтобы охотнее брать у других,

чем извлекать нечто из самих себя. Ни в чем не умеет человек ограничиться лишь тем, что ему необходимо. Любовных утех, богатства, власти — всего этого он хочет получить больше, чем в состоянии насладиться ими. Алчность его не знает удержу. Я полагаю, что то же самое налицо и в стремлении к знанию. Человек притязает на то, чтобы сделать больше, чем ему по силам и чем это вообще нужно, считая в науке полезным для себя все без исключения, что она охватывает. Ut omnium rerum sic litterarum quoque intemperantia laboramus[610].

И Тацит прав, когда хвалит мать Агриколы за то, что она обуздывала у своего сына чрезмерно кипучую жажду знания. Если к последней отнестись трезво, то убедишься, что к ней, как и к прочим благим устремлениям, примешивается немало тщеславия, а также свойственной всем нам естественной слабости, и что обходится она порою весьма дорого.

Питаться ею гораздо более рискованно, чем каким-либо другим яством или питьем. Ибо то, что нами куплено, мы относим к себе домой в какомнибудь сосуде и там обязательно разбираемся в

[610] Примечания: 610

В изучении наук мы отличаемся такою же невоздержанностью, как и во всем остальном (*лат.*). *Письма,* 106, 12.

ценности приобретенного, в том, какое количество этой пищи мы примем и когда именно. Но что касается наук, их-то мы не можем заключить с самого начала в сосуд иной, чем наша душа: мы поглощаем эти яства, как только приобрели их, и из рынка выходим уже или отравленными, или насыщенными как должно. А среди них есть такие, которые не питают нас, а лишь отягощают нам желудок и препятствуют пищеварению, и такие, которые отравляют нас под видом излечения.

Я не без удовольствия наблюдал, как кое-где люди из благочестия давали обет невежества, как дают обет целомудрия, бедности, покаяния. Точно таким же укрощением необузданных желаний является способность смирять жадное увлечение книжной наукой и отказывать душе своей в тех сладостных утехах, которыми соблазняет ее чрезмерно высокое мнение об этой науке. Обет нищеты еще полнее, когда к нему добавляется нищета духовная. Для благополучного существования ученость совершенно не нужна. Сократ наставляет нас, что она — в нас самих и что от нас зависит извлечь ее из себя и пользоваться ею. Ученость же, которая за пределами естественности, всегда более или менее суетна

и излишня. Хорошо еще, если она не отягощает нас и не сбивает с толку в еще большей степени, нежели приносит нам пользу. Paucis opus est litteris ad mentem bonam[611]. Все это — ненужная лихорадка ума, орудие, создающее лишь путаницу и беспокойство. Сосредоточьтесь мыслями, и в самом себе обретете вы доводы против страха смерти, доводы истинные и наиболее способные послужить вам в нужде: именно благодаря им простой крестьянин, да и целые народы, умирают столь же мужественно, как философы. Разве для того, чтобы примириться со смертью, мне необходимо было прочесть «Тускуланские беседы»? Полагаю, что нет. И если я призадумаюсь, то увижу, что язык мой обогатился, но сердце — нисколько: оно осталось таким, каким создала его природа, и в предстоящей борьбе пользуется лишь теми средствами защиты, которыми владеют все.

Книги не столько обучили меня чему-то, сколько послужили мне для упражнения моих умственных способностей. А что, если наука, вооружая нас новыми защитными средствами против неизбежных жизненных превратностей,

---

[611] Примечания: 611
Для хорошей души не требуется много науки (*лат.*). *Письма,* 106, 12.

тем самым представляет превратности эти нашему воображению гораздо более существенными и грозными, чем те доводы и ухищрения, которыми она пытается нас защитить? Ибо это действительно ухищрения, и нередко ученость наша тревожит нас ими совершенно зря. Обратите внимание, как писатели, даже самые осторожные и мудрые, окружают некое истинное положение многими легковесными и, если приглядеться, даже бессодержательными доводами. Вот это лишь обманчивые плетения словес. Но, так как среди них попадаются и полезные, я не стану больше заниматься их разоблачением. Ими у нас увлекаются повсюду, либо заимствуя, либо подражая. Поэтому пусть каждый сам остерегается называть сильным то, в чем есть лишь приятность, крепким то, что является лишь острым, и благим то, что лишь красиво: quae magis qustata quam potata delectant[612]. Не все золото, что блестит. Ubi non ingenii sed animi negotium agitur[613].

Видя, каких усилий стоило Сенеке подготовиться к смерти, как он обливался кровавым потом,

---

[612] Примечания: 612

Что приятнее отведать, чем выпить (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* V, 5.

[613] Примечания: 613

Где важен не ум, а душа (*лат.*). *Письма,* 106.

старяясь держаться крепче, уверенней и как можно дольше на своей жердочке, я усомнился бы в его славе, если бы в смертный час он не оправдал ее столь блистательно. Страстное возбуждение, так часто находившее на него, показывает лишь, как пылок и неукротим он был по своей природе. Magnus animus remissius loquitur et securius[614]. Non est alius ingenio, alius animo color[615]. Победа далась ему дорого, и видно, что противник едва не одолел его. Рассуждения Плутарха, более спокойные и бесстрастные, на мой взгляд, мужественнее и убедительнее: я склонен считать, что душевные движения у него уверенней и гармоничней. Первый острее, и, внезапно поражая нас, он более волнует нашу душу. Второй хладнокровнее, он учит, обосновывает свои положения и тем самым постоянно укрепляет нас, обращаясь скорее к разуму. Первый покоряет наш рассудок, второй убеждает его.

Точно так же в других, еще более чтимых творениях усмотрел я, что, рисуя борьбу души с плотскими соблазнами, они изображают последние столь жгучими, властными и неодолимыми,

---

[614] Примечания: 614

Великая душа изъясняется спокойно и уверенно (*лат.*). Там же, 105, 2.

[615] Примечания: 615

Ум и душа окрашены одинаково (*лат.*). Там же, 114, 3.

что нам, людям простым, приходится изумляться необычности и силе искушения не меньше, чем сопротивлению подвижников.

Для чего нам призывать себе в помощь силу науки? Обратим взор свой к земле, на бедных людей, постоянно склоненных над своей работой, не ведающих ни Аристотеля, ни Катона, никаких примеров, никаких философских поучений: вот откуда сама природа каждодневно черпает примеры твердости и терпения, более чистые и более ясные, чем те, которые мы так любознательно изучаем в школе. Сколько приходится мне видеть бедняков, не боящихся своей бедности! Сколько таких, что желают смерти или принимают ее без страха и скорби! Человек, работающий у меня в саду, похоронил нынче утром отца или сына. Даже слова, которыми простой человек обозначает болезни, словно смягчают и ослабляют их тяжесть. О чахотке он говорит «кашель», о дизентерии — «расстройство желудка», о плеврите — «простуда», и, именуя их более мягко, он и переносит их легче. Болезнь для него по-настоящему тяжела тогда, когда из-за нее приходится прекращать работу. Эти люди ложатся в постель лишь для того, чтобы умереть. Simplex illa et aperta virtus in obscuram et sollertem

scientiam versa est[616].

Я писал это в то время, когда на меня всей тяжестью навалились беды, связанные с нашей смутой. С одной стороны, у дверей моих стоял неприятель, с другой — донимали меня мародеры, враги еще более зловредные — non armis sed vitiis certatur[617], — и я терпел одновременно всевозможные невзгоды военного положения.

> *Hostis adest dextra levaque a parte timendus,*
>
> *Vicinoque malo terret utrumque latus*[618].

О чудовищная война! Другие войны врываются к нам извне, эту мы ведем сами против себя, калеча свое собственное тело и отравляя себя своим же ядом. По природе своей она так мерзостна и губительна, что как бы сама себя уничтожает вместе со всем прочим, сама себя раздирает в исступленной ярости. И чаще всего мы видим, что она выдыхается сама по себе, а не из-за недостат-

---

[616] Примечания: 616

Эта простая и понятная добродетель превратилась в таинственную и мудреную науку (*лат.*). *Письма,* 95, 13.

[617] Примечания: 617

Сражаются не оружием, а пороками (*лат.*). Источник неизвестен.

[618] Примечания: 618

Страшный враг подходит и слева и справа, и близкая беда угрожает с обеих сторон (*лат.*). Овидий. *Письма с Понта,* I, 4, 57 сл.

ка в необходимых припасах или из-за силы врага. Какая бы она ни была, воинская дисциплина ей совершенно чужда. Она стремится справиться с мятежом, но мятеж в ней самой, она хочет покарать неповиновение и сама же дает пример его, ведущаяся в защиту законов — превращается в восстание против них же. К чему мы пришли? Лечебные средства наши только распространяют заразу:

Хвораем мы, и нет спасенья —
Мы помираем от леченья.

Exsuperat
magis aegrescitque medendo[619].

Omnia fanda, nefanda, malo permixta furore,
Justificam
nobis mentem avertere deorum[620].

В этих общественных недугах поначалу еще можно разобрать, кто здоров, кто болен; но когда болезнь затягивается, как это произошло у нас,

---

[619] Примечания: 619

От лечения болезнь только усиливается (*лат.*). *Энеида,* XII, 46.

[620] Примечания: 620

Добро и зло — все смешалось из-за нашей преступной ярости, и боги отвратили от нас свою благосклонность (*лат.*). Катулл. *Свадьба Пелея и Фетиды,* 405 сл.

то она охватывает все тело, с головы до пят: ни один орган не остается незатронутым. Ибо нет дуновения, которое вдыхалось бы людьми с такой жадностью, которое распространялось бы так быстро и широко, как всяческая разнузданность. Для наших войск единственным скрепляющим раствором являются теперь иноземцы: из французов нельзя набрать ни одной упорядоченно действующей регулярной воинской части. Какой позор! Дисциплина существует только у иностранных наемников. Что до нас самих, то мы ведем себя по случайной прихоти, и притом не по прихоти начальника, а именно как кому взбредет в голову. И бороться нам приходится не столько с внешним врагом, сколько с внутренним. Командиру только и приходится, что тащиться в хвосте, льстить и уступать, только он должен подчиняться: все остальные свободны и разнузданны. Мне даже забавно видеть, как много подлости и малодушия в честолюбце, какими гнусными и низменными способами он пользуется, чтобы достичь цели. Но горько наблюдать, как люди, по природе своей великодушные и справедливые, все время развращаются от того, что в этой смуте им приходится быть вождями и начальниками. Длительно перенося что-либо,

начинаешь привыкать, а привычка порождает примирение со злом и даже подражание ему. И без того хватало нам низменных душ, — теперь растление коснулось благонамеренных и благородных. Если так пойдет дальше, некому будет руководить государством, коль скоро по воле судьбы мы обретем его вновь.

> *Hunc saltem everso iuvenem succerrere saeclo*
> *Ne prohibite*[621].

Что сталось со старинным правилом, по которому солдаты должны бояться своего начальника больше, чем врага? И с поучительнейшим примером яблони, случайно оказавшейся в центре лагерной стоянки римского войска и, после того как на другой день солдаты ушли, возвращенной владельцу со всеми своими спелыми сочными плодами? Я предпочел бы, чтобы наша молодежь, вместо того чтобы без толку скитаться по городам и весям да обучаться бог знает чему, тратила половину своего времени на участие в морских походах под началом какого-нибудь хорошего капитана, командора родосских рыцарей, а другую

[621] Примечания: 621

По крайней мере не мешайте этому юноше прийти на помощь извращенному веку (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* 505 сл.

половину на изучение дисциплины, принятой в турецком войске, как имеющей большие преимущества по сравнению с нашей. У нас солдаты становятся в походе разнузданней, там — смирней и сдержанней. Ибо если обиды, чинимые обывателям, и мародерство караются в мирное время палочными ударами, то в военное время это очень серьезные проступки: за одно яйцо, взятое без уплаты, положено пятьдесят ударов, за любую другую вещь, даже пустяковую, если это не съестные припасы, виновного сажают на кол или обезглавливают на месте преступления. В истории Селима, самого жестокого из завоевателей, я с удивлением прочел, что, когда он шел походом на Египет, замечательные сады, окружающие Дамаск, густые, искусно возделанные, остались не тронутыми его воинами, хотя стояли ничем не огороженные и доступ в них был открыт.

Но можно ли в управлении каким-либо государством усмотреть такие недостатки, которые допустимо было бы излечивать столь смертоносным лекарством? Нет, говорит Фавоний, узурпация власти в государстве и в этом случае недопустима. Платон также не соглашается, чтобы мир в его стране нарушался ради того, чтобы усовершенствовать ее управление, и не принимает никаких

улучшений, если цена их — кровопролитие и разорение граждан. Он полагает, что человек доброй воли должен в этом случае все оставить, как оно есть, и только молить Бога о чудодейственном спасении. Похоже, что он не одобрял и своего любимого друга Диона, когда тот поступил по-иному. В этом смысле я был платоником еще до того, как узнал, что на свете был Платон. А если мы не можем считать своим даже Платона, человека, который благородством своих помыслов заслужил милость Божию — провидеть свет христианского учения сквозь духовный сумрак своего времени, — то, по-моему, нам тем более не подобает учиться у настоящего язычника. До чего же нечестиво предполагать, что Господь не поможет нам, если мы не окажем ему содействия. Часто дивлюсь я, может ли среди стольких людей, вмешивающихся в подобные дела, найтись глупец, способный искренне поверить, что он идет к переустройству через всеобщее расстройство, что он обеспечивает душе своей спасение средствами, которые бесспорно навлекают на нас вечное проклятие, что, разрушая государственное управление, свергая власти предержащие, уничтожая законы, которые сам Бог повелел ему защищать, рассекая на части тело матери-ро-

дины и бросая их на съедение былым врагам, наполняя отцеубийственной ненавистью сердца своих братьев, призывая на помощь чертей и фурий, он споспешествует всесвятейшей любви и правде слова Божия. Честолюбие, стяжательство, жестокость, мстительность сами по себе еще недостаточно яростны: раздуем же пламень как можно жарче, присвоив им славные имена праведности и благочестия. Худшее обличье принимают вещи тогда, когда зло объявляется законным и с согласия власть имущих облекается в мантию добродетели. Nihil in speciem fallacius quam prava religio ubi deorum numen praetenditur sceleribus[622]. По Платону, неправда достигает предела, когда несправедливое почитается справедливым.

Народу пришлось тогда немало выстрадать, и не только от настоящих бедствий,

undique totis

Usque adeo turbatur agris[623],

---

[622] Примечания: 622

Нет ничего более лживого, чем порочное суеверие, оправдывающее преступления волей богов (*лат.*). Тит Ливий, XXIX, 16.

[623] Примечания: 623

Повсюду разоряют поля (*лат.*). Вергилий. *Эклоги,* I, 11 сл.

но и от грядущих. Страдали живые, страдали и те, кто еще не родился. У народа — и в частности у меня — отнимали все вплоть до надежды, ибо он лишался того, чем собирался жить долгие годы.

> *Quae nequeunt secum ferre aut abducere perdunt,*
>
> *Et*
> *cremat insontes turba scelesta casas*[624].
>
> *Muris nulla fides, squallent populatibus agri*[625].

Кроме этого потрясения, претерпел я и другие. На меня посыпались неприятности, которые при всяких общественных неустройствах выпадают на долю людей умеренных. Притесняли меня со всех сторон: гибеллин считал меня гвельфом, гвельф — гибеллином. Один из любимых моих поэтов хорошо об этом говорит, да сейчас не припомню, где именно. Дом мой и связи с соседями придавали мне один облик, жизнь моя и поступки — другой. Никто не мог предъявить

---

[624] Примечания: 624

Чего не могут увезти или унести с собой, то беспощадно уничтожают, и преступная толпа сжигает ни в чем не повинные хижины (*лат.*). Овидий. *Скорбные элегии,* III, 10, 65 сл.

[625] Примечания: 625

Стены не дают никакой защиты, и поля из-за опустошений остаются невозделанными (*лат.*). Клавдиан. *Против Евтропия,* I, 244.

мне определенных обвинений — не за что было уцепиться. Я всегда соблюдаю законы и сумел бы постоять за себя, пожелай кто-нибудь преследовать меня по суду. Все это были безмолвные подозрения, наветы исподтишка. В смутное время им всегда хватает правдоподобия, как хватает в такое время людей завистливых и тупых. Обычно я содействую оскорбительным предубеждениям на мой счет, которыми донимает меня злой рок, ибо всегда избегаю оправдываться, извиняться и объясняться, считая, что защищать свою совесть — значит вступать относительно ее в недостойную сделку. Perspicuitas enim argumentatione elevatur[626]. И, словно каждый видит мою душу насквозь не хуже меня самого, я, вместо того чтобы опровергать обвинение, иду ему навстречу и только усиливаю его своим ироническим, насмешливым признанием, если не попросту отмалчиваюсь, как на нечто не достойное ответа. Но те, кто расценивает такое поведение как высшую степень самоуверенности, возмущаются им не меньше, чем те, кто видит в нем признание моей слабости и невозможности защищать безнадежное дело: таковы прежде всего сильные

[626] Примечания: 626

Очевидность умаляется доказательствами (*лат.*). Цицерон. *О природе богов,* III, 4.

мира сего, считающие неподчинение себе высшим преступлением и беспощадные ко всякому, кто, сознавая свою правоту, не намерен смиренно и покорно молить о прощении. Я нередко натыкался на эту стену. Из-за того, что мне в таких случаях выпадало, честолюбец повесился бы, равно как и стяжатель. Но я меньше всего жажду обогащения.

> *Sit mihi quod nunc est, etiam minus, ut mihi vivam*
>
> *Quod superest aevi, si quid superesse volent dii*[627].

Однако потери, которые я терплю от воровства или разбоя, по чьей-то злой воле, для меня так же мучительны, как для человека, страдающего скупостью, ибо обида бесконечно горше простой утраты.

Тысячи различных бедствий обрушивались на меня одно за другим; легче мне было бы перенести их все сразу. Часто возникала у меня мысль, на кого из моих друзей смог бы я рассчитывать

---

[627] Примечания: 627

Пусть я располагаю тем, чем располагаю сейчас, и даже меньшим, лишь бы я мог прожить в свое удовольствие тот срок, что мне осталось прожить, если боги захотят подарить меня этой отсрочкой (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 18, 107 сл.

в старости, немощный и нищий, — но, поглядев вокруг себя, я убеждался, что наг и бос. Чтобы уцелеть, падая камнем с большой высоты, надо попасть в объятия настоящего друга, притом человека сильного и благополучного. А такие друзья если и бывают, то очень редко. И в конце концов я убедился, что самое верное — рассчитывать в нужде на самого себя и, если фортуна поглядит на меня немилостиво, довериться своим собственным силам, в себе самом обрести опору и своими глазами присматривать за собой. Люди же всегда склонны прибегать к чужой помощи, щадя собственные силы, единственные подлинно надежные, если умеешь ими пользоваться.

Каждый бежит от себя, надеясь на будущее, и никто еще не стремился к самому себе. И я пришел к выводу, что бедствия бывают полезны. Во-первых, плохих учеников наставляют розгой, когда не помогают увещания, а кривую деревяшку для выпрямления обжигают и обстругивают. Давно уже я внушаю себе держаться лишь себя самого, отвращаться от вещей посторонних и тем не менее продолжаю глядеть по сторонам: доброжелательность, благосклонное слово вельможи, ласковая улыбка соблазняют меня. Один Бог знает, дорого ли все это по нынешним временам

стоит и что за этим кроется! Не хмурясь, выслушиваю я льстивые речи тех, кто хочет задешево купить меня, и так вяло обороняюсь, что может показаться, будто я готов уже поддаться им. Так вот, натура столь ленивая нуждается в хорошей встряске, бочку, которая разваливается на части, надо заново сбить крепким молотом, чтобы из нее ничего не брызгало и не растекалось. Во-вторых, беда может послужить мне для того, чтобы подготовить к еще худшим испытаниям на тот случай, если я, рассчитывающий благодаря своим хорошим обстоятельствам и мирному нраву быть одним из последних, кого заденет буря, оказался бы вдруг одним из первых: тогда я заблаговременно научусь всячески ограничивать себя в жизни и приспосабливаться к невзгодам. Подлинная свобода состоит в том, чтобы иметь над собою полную власть. Potentissimus est qui se habet in potestate[628].

Во времена мирные и спокойные человек готовится к случайностям, не выходящим за пределы обычного. Но в нашей смуте, длящейся вот уже тридцать лет, все французы вообще и каждый в отдельности должны быть в любой миг готовы к

[628] Примечания: 628

Наиболее могуществен тот, кто имеет власть над собой (*лат.*). *Письма,* 90, 34.

полному перевороту в своей судьбе. Тем крепче следует нам закалить и вооружить свое сердце. Возблагодарим же рок, судивший нам жить в такое время, когда нельзя быть мягким, изнеженным и бездеятельным: тот, кто не достиг бы славы иным путем, прославится своим несчастьем.

Читая в истории о смутах в других государствах, я всегда жалел, что не мог наблюдать их собственными глазами. Вот и теперь настолько велико мое любопытство, что я радуюсь возможности созерцать гибель нашего государства, наблюдать признаки ее и формы, какие она принимает. И раз я не в силах воспрепятствовать ей, то доволен хотя бы тем, что могу, присутствуя при этих событиях, извлечь из них полезный урок.

Недаром так жадно стараемся мы в образах, появляющихся пред нами в театре, познать подлинную трагедию человеческих судеб. Необычайность жалостных событий, происходящих на сцене, вызывает в нас волнение и сочувствие, от которых мы испытываем наслаждение. Что щекочет, то и щиплет. И хорошие историки избегают повествований о мирной жизни, словно стоячей воды или мертвого моря, и постоянно обращаются к смутам, к войнам, ибо знают, что этого-то мы от них и требуем. Более половины своей

жизни провел я среди бедствий родной страны и уже не знаю, пристойно ли будет признаться, как мало пришлось мне при этом поступиться своим покоем. По правде сказать, не много стоит мне терпеливо переносить события, которые не затрагивают меня лично. Прежде чем сожалеть о своей горькой участи, я стараюсь разобраться не столько в том, что у меня отнято, сколько в том, что у меня — и внешне, и внутренне — сохранилось. Есть некое утешение в том, чтобы, избегая то одного, то другого из обрушивающихся на нас бедствий, наблюдать, как они свирепствуют кругом. Точно так же и в делах общественных: чем шире распространяется затронувшая меня беда, тем меньше я ее ощущаю.

К тому же почти с полным правом можно сказать, что tantum ex publicis malis sentimus, quantum ad privatas res pertinet[629].

А здоровье, которого мы лишились, было такого рода, что оно само облегчает сожаления, которые мы должны были ощущать от его утраты. Это было здоровье, но лишь по сравнению с последовавшим недугом. Не с такой уж большой высоты мы пали. Хуже всего, на мой взгляд, —

[629] Примечания: 629

Мы ощущаем общественные бедствия лишь настолько, насколько они отражаются на наших личных делах (*лат.*). Тит Ливий, XXX, 44.

растление и разбой находящихся в чести и при должности. Гораздо обиднее, когда тебя обирают в безопасном месте, чем в темном лесу. Наш мир представлял какую-то совокупность органов, один немощнее другого, и гнойники большей частью настолько застарели, что их нельзя было излечить, да они и не желали этого. Вот почему всеобщее крушение скорее воодушевило меня, чем пришибло; ведь совесть моя была не только спокойна, но даже горда и не могла меня ни в чем упрекнуть. К тому же, так как Господь Бог никогда не посылает людям одни только бедствия, как не посылает одних только благ, здоровье мое в то время было на редкость крепкое, а хотя, не будучи здоровым, я не способен ни к чему, мало есть вещей, которых я не мог бы сделать, когда я здоров. Оно дало мне возможность собрать все свои силы и собственной рукой излечить язвы, которые иначе распространились бы по всему телу. Тогда я убедился, что у меня хватает выдержки и я могу противостоять ударам судьбы и что выбить меня из седла можно лишь очень уж мощным ударом. Говорю я это не для того, чтобы искушать судьбу, не для того, чтобы бросить ей вызов. Я — слуга ее и с мольбой протягиваю к ней руки: пусть, во имя Божие, она будет довольна!

Чувствую ли я удары ее? Конечно. Как те, кто, будучи охвачен тяжкой скорбью, иногда поддаются соблазнам какого-либо удовольствия и способны улыбнуться, так и я достаточно владею собой, чтобы сохранять обычно мирное состояние духа и отгонять от себя докучные помыслы. Тем не менее порою я испытываю внезапные укусы этих пагубных мыслей, которые нападают на меня как раз тогда, когда я вооружаюсь, чтобы одолеть их и отогнать.

Но вот, после всех обрушившихся на меня зол, претерпел я нечто еще худшее. И во внешнем мире, и у себя дома стал я жертвой чумы, а беда эта покруче всех других. Здоровое тело подвержено гораздо более тяжким болезням, ибо только они могут с ним справиться; так животворный воздух моего окружения, куда не проникало никакое, даже очень близкое поветрие, оказавшись вдруг зараженным, причинил нам множество неслыханных бед.

Mixta senum et juvenum densantur funera, nullum

Saeva caput Proserpina

fugit[630].

Пришлось очутиться мне в таком приятном положении, когда вид собственного дома внушает ужас. Все, что в нем было, осталось без всякой защиты, так что любой человек мог присвоить себе любую приглянувшуюся ему вещь. Я, всегда отличавшийся гостеприимством, оказался вынужденным искать крова для себя и своей семьи, несчастной растерянной семьи, внушавшей страх и своим друзьям, и себе самой, внушавшей отвращение всюду, где она пыталась найти убежище, и вынужденной поспешно сниматься с места всякий раз, как у кого-либо из ее членов начинал болеть хоть кончик пальца. Все болезни принимают за чуму: никто не дает себе труда разобраться в них. Лучше же всего то, что, по правилам врачебного искусства, вы после соприкосновения с больным должны в течение сорока дней выжидать, не заразились ли, а в это время воображение ваше работает вовсю и может даже здорового человека довести до болезни.

Все это гораздо меньше тронуло бы меня, если бы мне не пришлось страдать за других и в тече-

---

[630] Примечания: 630

Смешиваются похоронные процессии стариков и юношей; никому не убежать от безжалостной Прозерпины (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 28, 19 сл.

ние полугода самым злосчастным образом быть вожаком этого каравана. Ибо при мне всегда находятся средства защиты — твердость и терпеливость. Ожидание и боязнь заразы, которых в этом случае особенно опасаются, не могли бы меня смутить. Если бы я был одинок и заразился, то считал бы болезнь лишь довольно легким и быстрым способом уйти из этого мира. По-моему, такая смерть не из худших: обычно она скорая, теряешь сознание без мучений, причем утешением тебе может служить то, что это общая беда, все происходит без торжественных обрядов, без траура, без похоронной сутолоки. Но что касается окрестного люда, то спаслась едва ли сотая часть.

Videas desertaque regna
Pastorum,
et longe saltus lateque vacantes[631].

Основное имущество мое — труд крестьян: поле, на котором работали сто человек, теперь надолго осталось под паром.

И каких только примеров твердости духа не давал нам в этих обстоятельствах простой народ!

---

[631] Примечания: 631

Ты мог бы увидеть покинутые пастухами земли и везде и повсюду пустынные пастбища (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* II, 476 сл.

Почти все отказывались от какой-либо заботы о своем существовании. Неубранные гроздья висели на виноградных лозах, главном богатстве нашего края, ибо все ожидали смерти, если не нынче вечером, так назавтра, но лицо их и голос выражали так мало страха, что казалось — эти люди осознали необходимость своей гибели и приняли ее как неизбежный приговор, одинаково касающийся всех. Но как мало нужно, чтобы человек проникся решимостью умереть! Расстояние, разница во времени на несколько часов, одна мысль, что ты не один, и смерть принимает совсем другое обличье. Взгляните на наших людей: видя, сколько детей, молодежи, стариков умерло за один месяц, они уже не поражаются, не плачут. Я знал таких, которые даже боялись выжить, чтобы не остаться в ужасном одиночестве, и мне приходилось заботиться лишь о погребении умерших: людям горько было видеть трупы, лежащие прямо в поле, ставшие добычей диких зверей, которые в то время сильно расплодились. (Как различны у людей представления обо всем этом! Неориты, один из покоренных Александром народов, бросали тела мертвецов в самую глубь лесной чащи, на съедение зверям — единственный, по их взглядам, достойный

способ погребения!) Можно было видеть, как совсем здоровый еще человек роет себе могилу. Другие живьем укладывались в ямы. А один из моих крестьян, умирая, старался руками и ногами набросать на себя побольше земли: не так ли человек натягивает на себя одеяло, чтобы ему удобнее было спать? И разве деяние это нельзя по величию сравнить с тем, как поступили римские воины после битвы при Каннах, когда они вырыли ямы, засунули туда головы и сами засыпали их землей, чтобы таким образом задохнуться. Словом, целый народ за самое короткое время приучился к поведению, которое по твердости и мужеству не уступало никакой заранее обдуманной и взвешенной решимости.

В тех уроках мужества, которые мы черпаем из книг, больше видимости, чем подлинной силы, больше красивости, чем настоящей пользы. Мы отошли от природы, которая так удачно и правильно руководила нами, и притязаем на то, чтобы учить ее. И все же кое-что из того, чему она нас учила, сохраняется; не совсем стерся у людей, чуждых нашей учености, и образ ее, отпечатлевшийся в той жизни, которую ведут сонмы простых крестьян. И ученость вынуждена постоянно заимствовать у природы, создавая для

своих питомцев образцы стойкости, невинности и спокойствия. Даже радуешься, видя, как эти питомцы, напичканные самыми расчудесными познаниями, вынуждены подражать глупой простоте, и притом подражать в самых основах добродетельной жизни. Радуешься, видя, как наша наука даже от животных получает полезнейшие в самых важных и существенных жизненных делах уроки: в том, как нам жить и умирать, как нам обращаться со своим добром, как любить и воспитывать детей, как соблюдать справедливость. Изумительное свидетельство человеческой слабости, а также того, что разум, который мы приспосабливаем к своим потребностям и который всегда изобретает что-нибудь особенное, новое, не оставляет в нашей жизни никаких ощутительных следов природы. Люди обращаются с разумом, как составители духов с оливковым маслом: они насыщают его таким количеством всевозможных аргументов и домыслов, привлеченных извне, что он становится противоречивым и начинает приспосабливаться к каждому отдельному человеку, утратив свою постоянную всеобщую сущность. Вот и приходится нам искать примеров у животных, которые не знают предвзятости, испорченности и противоре-

чий во взглядах. Ибо хотя звери тоже не всегда и не во всем точно следуют природе, их отклонения от нее так незначительны, что всегда можно заметить правильную колею. Так же и лошади, когда их ведешь на поводу, прыгают, рвутся в разные стороны, но не дальше, чем позволяет длина повода, и все же при этом идут туда, куда идешь ты. Так же и птица на шнуре может летать, но только по радиусу шнура. Exilia, tormenta, bella, morbos, naufragia meditare, ut nullo sis malo tiro[632]. Для чего мы с таким усердием изучаем все препятствия развитию нашей человеческой природы и так усиленно готовимся к борьбе даже с теми из них, которые, по всей вероятности, не встанут у нас на пути? Parem passis tristitiam facit, pati posse[633]. Нас поражает не только нанесенный нам удар, но даже резкий порыв ветра или громкий треск. Или какой смысл, поддавшись порыву безумия (ибо это самое настоящее безумие), напрашиваться на порку только потому, что когда-нибудь нам, может быть, придется ее перенести, или же

[632] Примечания: 632

Размышляй об изгнании, пытках, войнах, болезнях, кораблекрушениях, чтобы не быть новичком ни при каком бедствии (*лат.*). *Письма,* 107, 4.

[633] Примечания: 633

Предчувствие страдания похоже на само страдание (*лат.*). Там же, 74, 32.

с Иванова дня доставать шубу, потому что она понадобится на Рождество? Старайтесь заранее познакомиться с бедами, которые могут вас постигнуть, даже с самыми тяжкими, говорят эти безумцы, испытывайте себя, укрепляйте свои силы. Напротив, естественнее и проще всего даже не помышлять об этом. Для нас же они как бы недостаточно рано приходят и недостаточно долго одолевают нас в подлинном своем существе. Ум наш стремится увеличить их, удлинить и еще до того, как они возникнут, впитать в себя и все время занимать себя ими, как будто они и так недостаточно тяготят наши чувства. Когда настанет их час, они себя покажут, говорит один из мудрецов, принадлежащий к секте отнюдь не изнеженной, а наоборот — к одной из самых суровых. Но до того — щади себя, верь в то, что тебе больше по сердцу. Для чего предвосхищать беду и терять настоящее из страха перед будущим и быть несчастным сейчас, потому что должен стать им со временем? Так учит этот мыслитель. Наука часто оказывает нам хорошую услугу тем, что весьма точно определяет истинные размеры наших бед,

Curis acuens mortalia corda[634].

Жаль было бы, если бы наши чувства и разум не полностью отдавали себе отчет в том, насколько они могущественны.

Нет сомнения, что большинству людей приуготовление себя к смерти было мучительнее самих страданий. Правильно сказал в свое время некий весьма рассудительный автор: minus afficit sensus fatigatio quam cogitatio[635].

Ощущение близости смерти часто само по себе преисполняет нас внезапной решимостью идти навстречу неизбежному. В древности многие гладиаторы, трусливо бившиеся в поединке, мужественно встречали смерть, подставляя горло под меч врага и призывая его нанести последний удар. Предвидение же смерти еще не столь близкой требует мужества длительного и потому весьма редкого. Не беспокойтесь, что не сумеете умереть: сама природа, когда придет срок, достаточно основательно научит вас этому. Она сама все за вас сделает, не занимайте этим своих

---

[634] Примечания: 634

Совершенствуя заботами сердца людей (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* III, 123.

[635] Примечания: 635

Усталость изнуряет чувства меньше, чем размышление (*лат.*). Квинтиллиан. *Воспитание оратора,* I, 12.

мыслей.

Incertam frustra, mortales, funeris horam
Quaeritis, et qua sit mors aditura via[636].
Paena minor certam subito perferre ruinam,
Quod timeas gravius sustinuisse diu[637].

От мыслей о смерти более тягостной становится жизнь, а от мыслей о жизни — смерть. Первая нам не дает покоя, а вторая нас страшит. Не к смерти мы подготовляем себя, это ведь мгновение. Каких-нибудь четверть часа страданий, после чего все кончается и не воспоследует никаких новых мук, не стоят того, чтобы к ним особо готовиться. По правде говоря, мы подготовляемся к ожиданию смерти. Философия предписывает нам постоянно иметь перед глазами смерть, предвидеть ее и созерцать еще до наступления смертного часа, а затем внушает нам те правила предосторожности, благодаря которым предвидение смерти и мысль о ней нас уже не мучат.

---

[636] Примечания: 636

Напрасно, смертные, вы хотите узнать час своих похорон и какой дорогой к вам явится смерть (*лат.*). Проперций, II, 27.

[637] Примечания: 637

Меньшая мука — претерпеть внезапную гибель, чем пребывать в длительном страхе (*лат.*). Максимиан. *Элегии,* I, 278 сл.

Так поступают врачи, ввергающие человека в болезнь, чтобы получить возможность испытать свое искусство и свои зелья. Если мы не сумели по-настоящему жить, несправедливо учить нас смерти и усложнять нам конец всего. Если же мы способны были прожить свою жизнь стойко и спокойно, то сумеем и умереть точно так же. Философы могут хвалиться этим сколько пожелают. Tota philosophorum vita commentatio mortis est[638]. Но я остаюсь при том мнении, что смерть действительно конец, однако не венец жизни. Это ее последняя грань, ее предел, но не в этом смысл жизни, которая должна ставить себе свои собственные цели, свои особые задачи. В жизни надо учиться тому, как упорядочить ее, должным образом прожить, стойко перенося все жизненные невзгоды. Среди многих других обязанностей, перечисленных в главном разделе науки о жизни, находим мы и положение о том, как надо умирать, которое является одним из самых легких, когда мы не отягощаем его страхом.

С точки зрения пользы и бесхитростной правды простые уроки ни в чем не уступают тем, которые преподносит нам ученость; напротив. Люди

[638] Примечания: 638

Вся жизнь философов есть приготовление к смерти (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* I, 30.

отличаются друг от друга и способностями и склонностями. Их следует вести ко благу различными путями, исходя из их нрава. Quo me cunque rapit tempestas, deferor hospes[639]. Никогда не видел я, чтобы кто-либо из крестьян моей округи задумывался о том, сколько твердости и терпения понадобится ему в смертный час. Природа учит его думать о смерти лишь тогда, когда приходит время умирать. И тогда ему лучше, чем Аристотелю, которому смерть вдвойне тягостна — и сама по себе, и из-за столь длительного ее предвидения. А ведь недаром Цезарь высказывал мнение, что самая блаженная и легкая смерть — та, о которой меньше всего думалось. Plus dolet quam necesse est, qui ante dolet quam necesse est[640].

Мучительное это предвосхищение возникает у нас от нашего любопытства. И всегда мы все сами себе усложняем, стремясь опережать природу и законы ее заменяя своими правилами. Предоставим ученым мужам терять охоту к еде, даже когда они здоровы, и с угрюмым видом размышлять о

[639] Примечания: 639

Где меня застанет буря, там мой дом. Я тот же самый повсюду (*лат.*). Гораций. *Послания,* III, 1, 15.

[640] Примечания: 640

Кто страдает заранее, страдает сверх необходимого (*лат.*). *Письма,* 98, 8.

смерти. Простые люди нуждаются в лекарствах и утешениях лишь тогда, когда гром уже грянул, и о беде они думают лишь в той мере, в какой ощутили ее. Разве это не то, о чем мы и говорим всегда: тупость и невежество простонародья помогают ему терпеливо переносить навалившиеся на него испытания и с глубочайшим безразличием относиться к тому, что может грозить в будущем; душа его, более грубая, неотесанная, менее уязвима и чувствительна. Ей-богу же, если это так, будем учиться в школе глупости! Вот последняя цель, которую обещает нам наука, вот куда она полегоньку ведет своих питомцев.

У нас не окажется недостатка в хороших руководителях, способных преподать нам простую мудрость природы. Один из них — Сократ. Ибо, насколько мне помнится, он приблизительно в таком смысле говорил своим судьям: «Если бы я стал, господа, просить вас пощадить мою жизнь, то боюсь, что тем самым подтвердил бы наветы моих обвинителей, будто я изображаю себя человеком, знающим больше, чем все другие, ведающим о том, что скрыто от нас в небесах и в преисподней. Могу сказать, что со смертью я не знаком, что ничего о ней мне не известно и что я не видел ни одного человека, который

на собственном опыте познал бы ее и мог бы просветить меня на этот счет. Те, кто боится смерти, полагают, видимо, что знают ее. Что до меня, то я не ведаю, что она собою представляет и что делается на том свете. Смерть может быть безразличной, а может быть и желанной. (Можно, впрочем, предполагать, что если это переселение из одного места в другое, то есть даже некое преимущество в том, чтобы существовать в общении со всеми ушедшими из этого мира великими людьми и быть избавленным от произвола неправедных и нечестивых судей. Если же смерть есть уничтожение нашего существа, то вечный ненарушимый покой тоже является благом. Ведь в жизни для нас нет ничего сладостнее отдыха, глубокого, спокойного сна без всяких видений.) Я стараюсь избегать того, что, как мне ведомо, дурно, — например, обижать ближнего или не подчиняться тому, кто выше тебя, будь то Бог или человек. Но того, о чем я не знаю, хорошо оно или дурно, я не страшусь. Если я умру, а вы останетесь среди живых, то одни боги ведают, кому из нас будет лучше. Поэтому решайте, как вам заблагорассудится. Но, следуя своему обыкновению давать советы о том, что справедливо и полезно, я сказал бы, что вам по

совести своей лучше было бы оправдать меня, если в моем деле вы разбираетесь не лучше, чем я сам. Судя обо мне на основании моей прежней деятельности, и общественной и частной, на основании моих намерений и на основании той пользы, которую ежедневно извлекают из бесед со мною многие наши граждане, и молодые и старые, той пользы, которую я приношу вам всем, вы могли бы воздать мне по заслугам, лишь распорядившись, чтобы меня, ввиду моей бедности, кормили на общественный счет в Пританее, — милость, которую, как мне случалось видеть, вы с гораздо меньшим правом жаловали другим. Не считайте упорством и высокомерием с моей стороны, если я не следую обычаю умолять вас о пощаде и стараться растрогать ваши сердца. У меня есть друзья и родичи (ибо, как говорит Гомер, я, подобно всем прочим людям, рожден не от камня и не от дерева), которые могут предстать перед вами в слезах и в трауре, есть у меня и трое плачущих детей, способных вызвать у вас жалость. Но я опозорил бы свой родной город, если бы в моем возрасте, и к тому же слывущий мудрецом, сам опустился до столь недостойного поведения. Что стали бы говорить о других афинянах? Всех собиравшихся, чтобы

слушать меня, я всегда наставлял не жертвовать честью ради сохранения жизни. И во время войн, которые вела моя родина, при Амфиполисе, при Потидее, при Делии и в других сражениях, где я принимал участие, мне случалось всем поведением своим доказывать, как далек был я от того, чтобы покупать безопасность ценой позора. Вдобавок, обращаясь к вам с мольбами, я пытался бы склонить вас к измене своему долгу и к совершению весьма непохвального дела, ибо не мольбам моим подобало убедить вас, а беспорочным и крепким доводам справедливости. Вы же клялись богам судить по правде: значит, выходило бы, что я подозреваю и укоряю вас в том, будто вы в них не верите. Да я и сам свидетельствовал бы против себя, обнаружив, что не верю в них как должно, раз сомневаюсь в их промысле и не желаю просто-напросто вручить им свою судьбу. Между тем я во всем полагаюсь на них и твердо верю, что они совершат все к лучшему и для вас, и для меня. Людям благонамеренным — и на этом, и на том свете — нечего бояться богов. Вот, не правда ли, защитительная речь, немногословная и здравая, но в то же время полная простоты и непосредственности, необычайно возвышенная, правдивая, искренняя, беспримерно справедли-

вая и к тому же произнесенная в столь роковой час? Сократ имел полное основание предпочесть ее той, которую написал для него великий оратор Лисий, отлично составленной по всем правилам судебного красноречия, но не достойной такого благородного узника. Можно ли было бы услышать из уст Сократа голос, звучащий мольбой? Могла ли в полном своем блеске унизиться столь высокая добродетель? Мог ли человек, по природе своей такой великодушный и сильный, прибегнуть для защиты к ораторскому искусству и в час величайшего испытания отказаться от непосредственной правдивости, лучшего украшения своих речей, ради витиеватых и ловких приемов речи, написанной кем-то другим и заученной наизусть? Он поступил мудро и согласно своей природе, не изменив поведению, которого придерживался в течение всей своей безупречной жизни, и не осквернив столь святого человеческого облика ради того, чтобы на какой-нибудь год продлить свое старческое существование и запятнать неумирающую память о своей славной кончине. Жизнь Сократа принадлежала не ему, она должна была служить примером для всего мира. Разве не было бы ущербом для человечества, если бы она завершилась неприглядным и

малодушным образом? И конечно, его безразличие и презрение к своей смерти заслужили того, чтобы потомство придало ей за то особое значение, как на самом деле и произошло. Среди самых справедливых воздаяний нет ничего справедливее посмертной славы Сократа. Ибо афинянам стали так ненавистны виновники его гибели, что все стали избегать их, как людей отверженных: все, к чему они прикасались, считали нечистым, в общественных банях никто вместе с ними не мылся, никто не приветствовал их и не заговаривал с ними, так что в конце концов, не в силах будучи выносить этого всеобщего отвращения, они повесились.

Если кто найдет, что в поисках примеров для своего рассуждения об учении Сократа я остановился на примере неудачном и что эта речь слишком уж возвышенна по сравнению с воззрением большинства людей, я отвечу, что сделал это намеренно. Ибо я придерживаюсь совершенно иного мнения и полагаю, что речь эта по своей непосредственности находится на уровне даже как бы более низком, чем воззрения большинства: в своей безыскусственной, простоватой смелости, в своей детской уверенности она раскрывает нам первичные, чистые впечатления

бездумного естества. Ибо вполне можно представить себе, что врожденной является у нас боязнь страданий, но не боязнь смерти самой по себе: ведь это такая же необходимая сторона нашего бытия, как и жизнь. Почему бы стала природа наделять нас отвращением и ужасом перед смертью, если та ей столь полезна для порождения и взращивания новых поколений, если в устройстве вселенной она больше служит рождению и прибавлению вещей, чем их разрушению и утрате?

Sic rerum summa novatur[641].
Mille animas una necata dedit[642].

Гибель одной жизни есть источник тысячи других жизней. Природа вложила в животных свойство заботиться о себе и своем благополучии. Животные опасаются того зла, которое они причиняют себе в своих столкновениях, боятся они также неволи у людей и насилий, которые мы чиним над ними. Но они не могут испытывать страха быть убитыми, не могут иметь и никакого

[641] Примечания: 641
Так обновляется совокупность вещей (*лат.*). Лукреций, II, 75.

[642] Примечания: 642
Одна пресекшаяся жизнь породила тысячу других (*лат.*). Овидий. *Фасты*, I, 380.

представления о смерти. Говорят, что они порою с радостью принимают ее (лошади, умирая, большей частью ржут, лебеди — поют) и даже ищут смерти, испытывая в ней потребность, как это бывает у слонов.

Вдобавок ко всему этому разве не изумительны простота и одновременно пылкость, с которыми Сократ старается убедить своих судей? Поистине, легче говорить, как Аристотель, и жить, как Цезарь, чем говорить и жить, как Сократ. Здесь именно предел трудности и совершенства: никакое искусство ничего сюда не прибавит. Нашим же способностям не хватает такой выучки. Мы их не знаем и не умеем ими пользоваться, стараемся усвоить чужие и оставляем в пренебрежении свои собственные.

Кто-нибудь, пожалуй, скажет, что и я здесь только собрал чужие цветы, а от меня самого — только нитка, которой они связаны. И правда, подчиняясь вкусам общества, выступил я в этих заимствованных уборах, но при этом отнюдь не допускаю, чтобы они заслоняли и скрывали меня самого. Это совершенно противно моим намерениям, ибо я хочу показать лишь свое, лишь то, что свойственно моей натуре, и если бы я с самого начала поступил, как мне хотелось, то

говорил бы только от себя. И, несмотря на первоначальный свой замысел и способ изложения, я каждый раз взваливаю на себя все больший груз, уступая природе своего времени и различным побуждениям со стороны. Если меня самого эти ссылки не украшают, как я и думаю, — пускай: другие могут извлечь из них пользу. Есть люди, которые цитируют Платона и Гомера, а между тем творений их и в глаза не видели. Да и сам я нередко черпаю отнюдь не из первоисточника. Обложенный тут, где я пишу, бесчисленными томами, я мог бы, если бы захотел, без труда и без особых познаний надергать у доброй дюжины этих начетчиков, которых даже не перелистываю, сколько угодно цитат, чтобы разукрасить свой трактат о физиогномии. Достаточно мне прочесть предисловие какого-нибудь ученого немца, и я уже буду весь напичкан цитатами. Многие из нас любят лакомиться славой, которую добывают таким способом, мороча дураков.

Эти заимствованные у других общие фразы, из которых составляется вся ученость очень многих людей, служат лишь для выражения самых обыденных мыслей и, кроме того, не для настоящего полезного наставления, а лишь для красивого пустословия — смехотворный плод

учености, который был так забавно использован Сократом против Эвтидема. На моих глазах люди писали книги о вещах, которых они никогда не изучали и даже не могли бы понять. При этом автор поручал кое-кому из своих ученых друзей изыскания в той или иной области для своего труда, а сам довольствовался только тем, что набрасывал общий план и ловко соединял в одну связку различные наброски о вещах, ему неведомых. Чернила и бумагу он на худой конец для всего этого давал. Но, по совести говоря, это значит не создать труд, а купить его или позаимствовать. Это значит не доказать людям свою способность написать книгу, а обнаружить перед ними полнейшую неспособность сделать что-либо подобное, если они паче чаяния в этом сомневались. Некий председатель парламента хвастался в моем присутствии тем, что в одном из своих постановлений использовал более двухсот чужих мнений. Выбалтывая это всем и каждому, он, по-моему, сам у себя отнимал славу, которую ему воздавали: хвастовство это для такого лица и по поводу таких вещей, на мой взгляд, — крайне ребяческое и нелепое. Я же если и заимствую многое, то радуюсь каждой возможности скрыть это, всячески переряжая и переиначивая заим-

ствованное для нового употребления. Даже идя на то, что могут подумать, будто я плохо понял чужой текст, я стараюсь видоизменить его таким образом, чтобы он не слишком резко выделялся из всего прочего. А есть такие люди, которые хвалятся своим воровством и гордятся им; судят о них поэтому гораздо благожелательней, чем обо мне. Мы, сторонники природы, полагаем, что слава изобретателя несравненно выше славы ловкого начетчика.

Если бы я стремился говорить как ученый, я заговорил бы раньше: я начал бы писать в годы, более близкие к годам моего учения, когда ум мой был изощреннее, а память лучше, и если бы труд писателя я пожелал сделать своим ремеслом, то задача эта была бы моему юному возрасту более по силам, чем теперешнему. И кроме того, если бы благодаря моему труду мне улыбнулось счастье, оно бы выпало в гораздо более благоприятное для меня время. Двое моих знакомых, люди в этой области выдающиеся, наполовину, по-моему, потеряли, не выступив со своими произведениями, когда им было сорок лет, а предпочтя дожидаться шестидесятилетнего возраста.

Зрелость имеет свои темные стороны, как и юность, и даже худшие. И для этого рода деятель-

ности старость так же неблагоприятна, как и для любого другого. Тот, кто рассчитывает выжать что-нибудь из своей дряхлости, — безумец, если надеется, что полученное им масло не будет затхлым, заплесневелым и безвкусным. Ум наш к старости коснеет и тяжелеет. О невежестве я рассуждаю велеречиво и красно, о знании — мелко и убого. Одно я как бы случайно, мимоходом затрагиваю, о другом говорю всерьез и по существу. Ничто я не обсуждаю так основательно, как Ничто, и единственное знание, о котором я говорю, — это неведение. Я выбрал время, когда жизнь моя, которую я стремился изобразить, вся у меня перед глазами. Все, что мне остается прожить, уже больше касается смерти. И если, умирая, я окажусь таким же болтливым, как многие другие, то и о смерти своей охотно сообщу людям все, что только смогу.

Как жаль мне, что Сократ, являющийся величайшим примером всех добродетелей, был, как утверждают, безобразен лицом и фигурой, — это так не соответствовало красоте его души: ведь он был до безумия влюблен во все прекрасное. Природа оказалась несправедливой к нему.

Ибо вероятнее всего, что между духом и плотью существует некое соответствие. Ipsi animi

magni refert quali in corpore locati sint: multa enim e corpore existunt quae acuant mentem, multa quae obtundant[643]. В данном случае речь идет о противоестественном уродстве, об искажении членов человеческого тела. Но мы называем безобразием и те недостатки, которые заметны с первого взгляда, портят прежде всего лицо и очень часто вызваны малосущественными причинами: плохим цветом лица, родимым пятном, грубостью лепки, наконец — каким-то неуловимым недостатком в соотношении отдельных черт лица, даже если они в общем правильны и не искалечены. Такого именно рода была некрасивость Ла Боэси, скрывавшая полную красоты душу. Это поверхностное безобразие, хотя оно и очень бросается в глаза, может меньше всего соответствовать состоянию души, и люди могут быть о ней различного мнения. Другое, которое гораздо правильнее называть уродством, значительно более существенно и чаще затрагивает глубины нашего существа. Не всякая обувь, будь она даже из тонкой кожи, хорошо облегает ногу, а вот всякая ловко скроенная приходится впору.

---

[643] Примечания: 643

Для самих душ весьма важно, в каком теле они заключены; ведь от тела исходит много такого, что либо возвышает, либо притупляет душу (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы,* I, 33.

Сократ говорил о своем безобразии, что оно отражает пороки его души, от которых он избавился благодаря самовоспитанию. Но я полагаю, что в данном случае он, по обыкновению, шутил, и никогда душа человека не обретала своей собственной волей более совершенной красоты.

Я без конца готов повторять, что чрезвычайно ценю красоту, силу могучую и благородную. Сократ называл ее благостной тиранией, Платон — величайшим преимуществом, которым может наделить природа. Среди свойств человеческих нет ни одного, которое бы так ценилось всеми. Она имеет первостепенное значение во взаимоотношениях между людьми: ее замечают раньше всего; производя на нас неотразимое впечатление, она властно завладевает нашими помыслами. Фрина проиграла бы свое дело, хотя оно находилось в руках отличного адвоката, если бы, сбросив одежды, не покорила судей блеском своей красоты.

И я убедился, что Кир, Александр, Цезарь, эти три повелителя вселенной, не пренебрегали ею, творя свои великие дела. Не пренебрегал ею и Сципион.

По-гречески два понятия — красота и добро — обозначаются одним словом. И в Писании святой

дух часто называет благими тех, кого он хочет назвать прекрасными.

Я готов принять иерархию ценностей, содержащуюся в одной песне некоего древнего поэта, которую еще Платон считал общеизвестной: здоровье, красота, богатство. Аристотель говорил, что красивым принадлежит право повелевать, а тем из них, чья красота уподобляется ликам богов, подобает оказывать такое же поклонение, как богам.

Тому, кто его спросил, почему с красивыми людьми общаются чаще и дольше, чем с другими, Аристотель ответил: такой вопрос подобало бы задать только слепому. Большинство великих философов могли оплачивать свое учение и приобретать мудрость благодаря своей красоте и через ее посредство. Не только в людях, которые мне служат, но и в животных красота, на мой взгляд, почти так же важна, как доброта.

Однако я полагаю, что не следует по чертам и выражению лица определять внутреннюю сущность человека и предугадывать его судьбу; это вещи, не зависящие прямо и непосредственно от красоты или безобразия, точно так же, как не всякий благоухающий и чистый воздух обязательно хорош для здоровья и не всякий тяжелый

и зловонный непременно вызывает заразу во время какого-либо поветрия. Те, кто считает, что у некоторых дам красота вступает в противоречие с безнравственным поведением, нередко ошибаются: ибо и лицо не слишком привлекательное может порою быть открытым и честным, как и наоборот, — мне случалось видеть красивые глаза, взглядом своим выдававшие натуру коварную и злонамеренную. Есть лица, внушающие доверие, и в толпе победоносных врагов вы сразу же выберете среди неизвестных вам людей того, которому сдадитесь и доверите свою жизнь скорее, чем кому-либо другому, отнюдь не руководствуясь при этом соображениями о красоте.

Внешний облик сам по себе мало что доказывает, хотя некоторое значение ему придавать все же можно. И если бы мне пришлось кого-то бичевать, я бы гораздо сильнее хлестал тех злодеев, которые своим поведением нарушают обещания, начертанные, казалось бы, природой на их лицах: я бы жестче карал зло, скрывающееся за привлекательной внешностью.

По-видимому, есть лица располагающие и есть отталкивающие. И думается мне, что нужно уметь разбираться, где доброе выражение лица, а где глупое, где строгое, а где жестокое, где злое, а

где скорбное, где высокомерное, а где задумчивое — и так далее в отношении других свойств характера, которые легко спутать. Бывают красивые лица не только гордые, но и надменные, не только кроткие, но и маловыразительные. Делать на этом основании какие-либо предположения о дальнейшей судьбе этих людей я бы не решился.

Я уже имел случай говорить, что для себя лично принял просто и без обиняков древнее правило: мы никогда не ошибемся, следуя природе; высшая мудрость в том, чтобы ей повиноваться. Я никогда не исправлял, подобно Сократу, силою разума своих природных наклонностей, никогда ни в чем не ставил им искусственных преград. Я плыву по течению, ни с чем не борюсь, обе мои главные страсти живут между собою в мире и согласии, но с молоком моей кормилицы, слава Богу, я впитал здравомыслие и умеренность. Скажу между прочим: по-моему, мы слишком высоко оцениваем некий весьма распространенный среди нас тип честного ученого, раба правил и предписаний, придавленного надеждой и страхом. Такого рода ученость я одобряю в том случае, если она умеет поддерживать себя без помощи извне, если она естественно укоренилась в нас, зародившись от семени всеобщего разума,

которое таится в душе каждого неизвращенного человека. Это тот разум, который сгладил в душе Сократа последние складки порочности, заставил его покориться людям и богам, властвующим в его родном городе, и мужественно встретить смерть, притом не потому, что душа его бессмертна, а именно потому, что он смертен.

Учение, убеждающее народы, что божественному правосудию от нас ничего не надо, кроме веры, даже без добрых нравов, для любого государства вредно, и тем вреднее, чем оно изощреннее и утонченнее. В делах человеческих отчетливо проявляется, как бесконечно мало общего имеют между собой благочестие и совесть.

Внешность моя и сама по себе недурна и производит благоприятное впечатление.

> *Quid*
> *dixi, habere me? Imo habui, Chreme!*[644]
> *Heu tantum attriti corporis ossa vides*[645].

Вследствие этого для меня все обстоит иначе,

---

[644] Примечания: 644

Что я сказал? Я сказал, что имею? Имел, Хремет, — так будет правильнее (*лат.*). Теренций. *Самоистязатель*, I, 42.

[645] Примечания: 645

Увы! Ты видишь лишь кости изнуренного тела (*лат.*). Максимиан, I, 238.

чем для Сократа. Часто случалось, что лишь благодаря моему присутствию и моей наружности люди, совершенно меня не знавшие, полностью доверялись мне во всем, что касалось их собственных дел или же моих. И в чужих странах мне поэтому выпадала необыкновенная, редкая удача.

Но два примера из многих стоят того, чтобы о них рассказать особо.

Некий человек задумал ограбить мой дом, застигнув меня врасплох. С этой целью он один подъехал к моему дому и принялся настойчиво колотить в дверь. Я знал его по имени и полагал, что могу доверять ему, как соседу и даже до некоторой степени родичу. Я велел впустить его, как делаю обычно для всех. Он перепуган, конь его задыхается, весь в мыле. Рассказывает он мне следующую небылицу: на расстоянии полумили от нас ему повстречался один его враг, о котором я тоже знал, а также слышал об их ссоре. Враг этот вынудил его пришпорить коня, и он, подвергшись внезапному нападению и имея под своим началом численно гораздо более слабый отряд, устремился к моему дому искать у меня спасения. При этом он добавил, что очень обеспокоен судьбой своих людей, считая, что все они перебиты

или захвачены в плен. Я по простоте душевной старался утешить его, успокоить и накормить с дороги. Но вот вскоре появляются четверо или пятеро его солдат, изображающие такой же испуг, и тоже просятся в дом, затем еще и еще другие, все исправно одетые и в полном вооружении, в количестве двадцати пяти — тридцати человек, с таким видом, будто за ними по пятам гонятся враги. Таинственная эта история уже начала возбуждать во мне подозрения. Я хорошо понимал, в какое время мы живем, как можно позариться на мой дом, и мне было известно, что кое с кем уже случались подобные злоключения. Как бы то ни было, но я решил, что ничего не выиграю, если, начав проявлять гостеприимство, стану в нем отказывать, и что мне невозможно идти на попятный без решительного разрыва. Поэтому я избрал самый естественный и простой выход, как всегда делаю, и велел впустить всех. Должен признаться, что вообще я доверчив и подозрительностью не отличаюсь, всегда готов оправдать человека и истолковать его действия в хорошую сторону, считаю большинство людей не слишком добрыми, не слишком злыми и, если не вынужден к тому очевидностью, верю в какие-то особо злодейские наклонности человека не более

чем в чудовищ и чудеса. К тому же я из тех людей, что охотно полагаются на судьбу и без оглядки предаются на ее волю. До настоящего времени я от этого больше выигрывал, чем проигрывал, убеждаясь, что судьба устраивает мои дела гораздо умнее и лучше, чем мог бы устроить я сам. За всю мою жизнь мне приходилось несколько раз выпутываться из сложных обстоятельств, по справедливости говоря, с трудом — или, если угодно, с умом. Но и тут, если успехом я на одну треть обязан самому себе, то две трети уж наверно приходятся на долю счастливой случайности. Я считаю ошибкой с нашей стороны, что мы недостаточно полагаемся на провидение и рассчитываем на свои силы больше, чем имеем на то право. Потому-то начинания наши так редко венчаются успехом. Судьба ревниво относится к тому, что мы чрезмерно расширяем права человеческого разумения за счет ее прав, и урезывает их тем сильнее, чем обширнее наши притязания. Упомянутые выше солдаты расположились со своими лошадьми во дворе, начальник их сидел со мною у меня в зале. Он не захотел, чтобы его лошадь поставили в конюшню, заявляя, что уедет сейчас же после того, как узнает о судьбе своих солдат. Теперь он был хозяином положе-

ния, оставалось только осуществить злодейский замысел. Впоследствии он часто говорил (ибо рассказывал мне об этом без малейшего стыда), что мое лицо и мое чистосердечное обращение так поразили его, что кулаки у него разжались сами собой и коварные намерения отступили. Он снова вскочил в седло, а солдаты между тем не спускали с него глаз, ожидая, какой знак он им подаст, и с удивлением видя, что он уезжает, не воспользовавшись своим преимуществом.

В другой раз, доверившись очередному перемирию, о котором сообщили нашим войскам, я отправился в поездку по местности, где было еще в высшей степени неспокойно. Я не успел далеко отъехать, как три-четыре конных отряда устремились с разных сторон за мною в погоню. Один из них нагнал меня на третий день, и я подвергся нападению со стороны пятнадцати — двадцати замаскированных дворян, за которыми следовал отряд солдат с ружьями. Меня захватили, увели в чащу ближайшего леса, стащили с коня, отняли мои вещи, стали рыться в моих сундуках, забрали шкатулку с деньгами, а лошадей и слуг поделили между собой новые хозяева. Долгое время спорили мы в этом лесу насчет моего выкупа: не зная, по-видимому, кто я такой, они назначили

очень большую сумму. Много спорили и о том, оставлять ли меня в живых. И правда, несколько раз дело оборачивалось так, что нависшая надо мною опасность уже грозила гибелью.

Tunc animis opus, Aenea, tunc pectore firmo[646].

Я же твердо стоял на своем условии: им остается все, что было у меня отнято, не такая уж малая толика, но никакого другого выкупа они у меня не требуют. Так прошли два или три часа. Они велели мне сесть верхом на лошадь, на которой я не смог бы от них бежать, и поручили стеречь меня пятнадцати или двадцати солдатам с аркебузами, а людей моих распределили между другими солдатами и приказали им везти нас в качестве пленников по разным дорогам. Я удалился уже на расстояние двух-трех аркебузных выстрелов,

Iam
prece Pollucis, iam Castoris implorata[647],

как вдруг в настроении моих похитителей

---

[646] Примечания: 646

Тогда, Эней, нужна отвага и душевная твердость (*лат.*). Энеида, VI, 261.

[647] Примечания: 647

Уже воззвав в молитве к Кастору и Поллуксу (*лат.*). Катулл, XIII, 65. Кастор и Поллукс спасали в бурю.

произошла неожиданная и резкая перемена. Ко мне подъехал предводитель этой банды с гораздо более мирными речами, принялся собирать у своих людей мои уже растащенные пожитки и возвращать мне все, что можно было найти, вплоть до шкатулки. Лучшим даром с их стороны была, однако, моя свобода: остальное по тем временам для меня весьма мало значило. До сих пор я не ведаю истинных причин этой внезапной, как будто бы ничем не вызванной перемены, этого столь чудесного раскаянья в такое время, в деле, заранее обдуманном, обсужденном и даже оправданном тогдашними обычаями (ибо я с самого начала открыто признался, к какой партии принадлежу и куда направляюсь). Предводитель этих людей, который снял маску и назвал свое имя, повторил мне тогда несколько раз, что освобождением я обязан выражению моего лица и тому, что говорил с ним так твердо и так свободно, ибо все это свидетельствовало, что я не заслужил подобного злоключения. Расставаясь со мной, он просил меня при случае отплатить ему тем же. Быть может, милость Божия употребила это ничтожное орудие для моего спасения. Она же защитила меня и на другой день от еще большей опасности, насчет которой эти самые люди

меня предупредили. Второй из них был еще жив и может подтвердить мои слова, первый был не так давно убит.

Если бы лицо мое не свидетельствовало в мою пользу, если бы по глазам моим и по голосу нельзя было убедиться в чистоте моих намерений, я не прожил бы так долго без раздоров и обид, принимая во внимание полнейшую свободу, с которой я направо и налево говорю все, что мне взбредет на ум, и высказываю самые дерзкие суждения о вещах. Такой способ вести себя может с полным основанием считаться неучтивым и не соответствующим принятому у нас обычаю. Однако я не встретил пока никого, кто считал бы его злонамеренным и оскорбительным, а также никого, кто обиделся бы на свободные речи, услышанные из моих уст. Слова же, переданные от одного человека к другому, имеют и иное звучание, и иной смысл. К тому же я ни к кому не испытываю ненависти, и мне так тягостно кого-нибудь оскорбить, что я не могу этого сделать даже во имя правды. Ut magis peccari nolim, quam satis animi ad vindicanda peccata habeam[648]. Говорят, что Аристотеля как-то упрекали за излишнее мягкосердечие к од-

[648] Примечания: 648

Я хотел бы, чтобы люди были виноваты передо мной лишь настолько, насколько у меня хватит духу их покарать (*лат.*). Тит Ливий, XXIX, 21.

ному злодею. «Верно, — ответил он, — я проявил мягкосердечие, но к человеку, а не к злодейству». Обычно люди со всем пылом помышляют о возмездии из отвращения к совершенному преступлению. Но именно это охлаждает мой пыл: отвращение к одному убийству заставляет меня бояться другого, ненависть к жестокому поступку — ненавидеть подражание ему. Ко мне, хоть я не король, я всего-навсего трефовый валет, можно отнести то, что говорилось о спартанском царе Харилае: «Его нельзя считать добрым, ибо он не суров со злыми». Можно, впрочем, сказать и по-другому, ибо Плутарх дает оба варианта, как он это очень часто делает, высказывая об одних и тех же вещах самые различные и даже противоположные суждения: «Он уж, наверно, добрый человек, раз он добр и к злодеям». Мне претит совершать вполне законные деяния, если они неприятны людям, которых затрагивают, но, по правде говоря, совесть не позволяет мне творить беззакония, даже когда они идут кому-то на пользу.

Глава XIII
Об опыте

Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию. Мы прибегаем к любому средству овладеть им. Когда для этого нам недостает способности мыслить, мы используем жизненный опыт,

Per varios usus artem experientia fecit:
Exemplo monstrante viam[649],

средство более слабое и менее благородное, но истина сама по себе столь необъятна, что мы не должны пренебрегать никаким способом, могущим к ней привести. Существует столько разнообразных форм мышления, что мы затрудняемся, какую избрать. Столь же многочисленны виды опыта. Выводы, к которым мы пытаемся прийти, основываясь на сходстве явлений, недостоверны, ибо явления всегда различны: наиболее общий для всех вещей признак — их разнообразие и несходность. Стараясь привести

---

[649] Примечания: 649

Благодаря всевозможным поискам опыт создал искусство, путь к которому указывают примеры (*лат.*). Манилий. *Астрономика,* 61 сл.

самый яркий пример сходства между вещами, и греки, и латиняне, и мы вспоминаем о яйцах. Однако же находились люди, и, между прочим, был один такой в Дельфах, которые обнаруживали различие между яйцами: этот человек никогда не принимал одно яйцо за другое и, имея несколько кур, умел разбираться, какое яйцо снесено той или иной курицей. Произведения же наших рук в основе своей несходны: в искусстве ничто никогда не бывает одинаково. Ни Перрозе, ни любой другой фабрикант игральных карт не в состоянии отполировать и выбелить их рубашку, чтобы хоть некоторые игроки не сумели обнаружить различие между этими картами, увидев их в руках своих партнеров.

Сходность между вещами, с одной стороны, никогда не бывает так велика, как несходность между ними — с другой. Природа словно поставила себе целью не создавать ничего, что было бы тождественно ранее созданному.

Тем не менее я не одобряю мнения того человека, который рассчитывал при помощи дробности законов обуздать произвол судей, назначив каждому сверчку свой шесток: он не понимал, что возможностей свободно и широко толковать любой закон столько же, сколько самих законов. И

насмешкой звучат притязания людей, рассчитывающих уменьшить или даже вовсе прекратить наши споры, приводя нам те или иные слова Библии. Тем более что ум наш для опровержения чужих взглядов находит поле не менее широкое, чем для изложения своих собственных, и что толкование старых текстов вызывает такие же острые и гневные споры, как появление новых трудов. Мы видим, как ошибался человек, рассчитывавший на дробность законов. Ибо у нас во Франции законов больше, чем во всем остальном мире, и больше даже, чем понадобилось бы, чтобы навести порядок во всех мирах Эпикура: ut olim flagitiis, sic nunc legibus laboramus[650]. И нашим судьям приходится прибегать к столь разнообразным толкованиям и решениям, что, кажется, ни у кого никогда не было такой свободы и такой возможности для произвола. Чего достигли наши законодатели, когда выбрали сто тысяч каких-то примеров и отдельных фактов и к ним пристегнули сотню тысяч законов? Это количество ни в какой мере не соответствует бесконечному разнообразию человеческих деяний. Сколько бы новых суждений и взглядов

[650] Примечания: 650

Подобно тому как мы когда-то страдали от преступлений, так страдаем теперь от законов (*лат.*). Тацит. *Анналы*, III, 25.

у нас ни вырабатывалось, жизнь породит еще большее разнообразие явлений. Добавьте еще в сто раз больше: все равно в числе событий и дел будущего не найдется ни одного, которое среди тысяч уже отобранных и классифицированных нами явлений нашло бы себе настолько полное соответствие, что между ними не обнаружилось бы таких различий, которые потребовали бы и особого суждения. Наши всегда различные и переменчивые действия не имеют почти никакого отношения к твердо установленным и застывшим законам. Наиболее подходящи для нас — и наиболее редки — самые из них простые и общие. Да и то я считаю, что лучше обходиться совсем без законов, чем иметь их в таком изобилии, как мы.

Природа всегда рождает законы гораздо более справедливые, чем те, которые придумываем мы. Доказательство тому — золотой век, каким он изображается у поэтов, а также то состояние, в котором живут народы, не ведавшие иных законов, кроме естественных. Среди этих народов есть такие, которые не имеют никаких постоянных судей и за решением возникающих у них споров обращаются к любому страннику, путешествующему в их горах. А другие в дни

торга назначают кого-либо из своей среды, и тот на месте разбирает их споры. Разве плохо было бы, если бы и у нас самые мудрые решали все споры в зависимости от обстоятельств, на глаз, без непременной оглядки на уже бывшие случаи и без того, чтобы их решение стало примером для будущего? Обувь должна быть каждому по ноге. Король Фердинанд, посылая колонистов в Индию, мудро предусмотрел, чтобы среди них не было ученых законников, опасаясь, что и в Новом Свете расплодятся суды, ибо юриспруденция как наука естественно порождает споры и разногласия. Король, как в свое время Платон, полагал, что любая страна только терпит от юристов и медиков.

Почему наш язык, которым мы говорим в обыденной жизни, столь удобный во всех других случаях, становится темным и малопонятным в договорах и завещаниях, и почему человек, умеющий ясно выражаться, что бы ни говорил и ни писал, не находит в юридических документах такого способа изложить свои мысли, который не приводил бы к сомнениям и противоречиям? Единственно потому, что великие мастера этого искусства, особенно прилежно стараясь отбирать торжественно звучащие слова и изысканно фор-

мулировать оговорки, так тщательно взвесили каждый слог, так основательно обработали все виды литературного стиля, что завязли и запутались в бесчисленных риторических фигурах и в таких мелких подразделениях юридических казусов, которые уже не подпадают ни под какие нормы и правила и разобраться в которых нет возможности. Confusum est quidquid usque in pulverem sectum est[651]. Кто не видел, как дети пытаются собрать в крупные капли некоторое количество ртути? Чем больше они ее давят, сжимают, стараются подчинить своему желанию, тем настойчивее рвется на свободу этот своевольный металл: он не поддается их стараниям, дробится на мельчайшие капельки, которых и не сосчитать. Так же и с языком юриспруденции: чем больше в нем тонкостей, тем больше сомнений порождают они в умах людей. Нас толкают на то, чтобы мы увеличивали и разнообразили возникающие затруднения: их удлиняют, их сеют повсюду. Создавая все новые и новые вопросы, перетасовывая их и так и этак, приводят к тому, что колебания и споры множатся, кишат: так почва становится плодороднее, если ее глубо-

[651] Примечания: 651
Смешано все, что истолчено в порошок (*лат.*). *Письма,* 89, 3.

ко вспахивать, дробя при этом крупные комья. Difficultatem facit doctrina[652]. Ульпиан порождал в нас сомнения; читая Бартоло и Бальдо, мы станем еще больше сомневаться. Надо было всячески сглаживать следы этого бесконечного разнообразия мнений, а не хвалиться ими и не морочить голову потомкам.

Не знаю, право, что можно сказать по этому поводу, но сам опыт показывает, что от множества толкований истина как бы раздробляется и рассеивается. Аристотель писал так, чтобы быть понятным. Если ему это не удалось, то какой-то другой человек, которому не сравняться с Аристотелем, или третий, наверное, достигнут еще меньшего успеха, чем тот, кто излагает свои собственные мысли. Раскрывая содержание предмета, мы льем столько воды, что он словно растекается у нас из-под рук. Из одного делаем тысячу и, беспрестанно дробя его, превращаем в бесконечные рои Эпикуровых атомов. Никогда не бывает, чтобы два человека одинаково судили об одной и той же вещи, и двух совершенно одинаковых мнений невозможно обнаружить не только у двух разных людей, но и у одного и того

[652] Примечания: 652

Ученость создает трудности (*лат.*). Квинтиллиан. *Воспитание оратора*, X, 3.

же человека в разное время. Обычно меня одолевают сомнения как раз по поводу того, на что комментатор не соизволил обратить внимание. Я чаще спотыкаюсь на гладком месте, подобно тем лошадям, которые, как мне известно, начинают хромать на ровной дороге.

Кто усомнится, что глоссы лишь увеличивают сомнения и невежество, когда никакие толкования не облегчили понимания ни одной написанной человеком или боговдохновенной книги, важной и нужной для всех? Сотый комментатор отсылает нас к своему продолжателю, а у того узел оказывается запутанным еще сложнее и хитрее, чем у первого.

Бывает ли, чтобы мы решили: для этой книги хватит, о ней уже все сказано? В судебных тяжбах это еще очевиднее. Нет числа ученым юристам, их определениям и толкованиям, которым придают авторитет и силу закона. Но способны ли мы положить конец охоте нагромождать толкования? Приближаемся ли мы хоть немного к спокойному взаимопониманию? Нуждаемся ли мы теперь в меньшем числе адвокатов и судей, чем тогда, когда весь этот тяжкий груз законов едва начинал накапливаться? Напротив, мы затемняем, погребаем свое разумение; мы

обретаем его вновь, лишь совладав с бесчисленными замками и засовами. Люди не замечают естественного недуга, терзающего их разум: он все рыщет да ищет, колобродит, что-то строит и путается в собственных построениях, как шелковичные черви, и под конец задыхается в них. Mus in pice[653]. Ему кажется, что он усмотрел вдалеке свет некоей воображаемой истины, но пока он стремится туда, путь ему преграждают такие препятствия, трудности и новые задачи, что он шалеет и сбивается с дороги. Совершенно то же самое произошло с собаками из басни Эзопа, которые, увидев, что в море плавает нечто похожее на мертвое тело, и будучи не в состоянии до него добраться, задумали вылакать отделявшую их от добычи воду и захлебнулись. Сюда же относятся и слова Кратеса о произведениях Гераклита, что для них нужен читатель, умеющий хорошо плавать, дабы глубина и сложность Гераклитова учения не поглотила и не доконала их.

Если мы бываем довольны тем, что другие или же мы сами добыли в этой погоне за знанием, то лишь по слабости своих способностей: человек более пытливого ума не будет доволен. За ним

---

[653] Примечания: 653
Мышь в смоле (*лат.*). Пословица.

пойдет кто-то другой (пойдем и мы сами), открывая новые пути. Пытливости нашей нет конца: конец на том свете. Удовлетворенность ума — признак его ограниченности или усталости. Ни один благородный ум не остановится по своей воле на достигнутом: он всегда станет притязать на большее, и выбиваться из сил, и рваться к недостижимому. Если он не влечется вперед, не торопится, не встает на дыбы, не страдает — значит, он жив лишь наполовину. Его стремления не знают четкой намеченной цели и строгих рамок, пища его — изумление перед миром, погоня за неизвестным, дерзновение. То же было и в оракулах Аполлона, всегда двусмысленных, темных, уклончивых; они не давали настоящего удовлетворения, а только заполоняли и тревожили сознание. Все это — беспорядочное, но непрерывное движение вперед, по неизведанным путям и к неясной цели. Мысли наши воспламеняются, бегут друг за другом, одна порождает другую.

Так видим мы, склонившись у ручья:
Струю сменяет новая струя,
Друг с другом слиты, вдаль они текут,
Но друг от друга без конца бегут.
Одна другую мчаться заставляет,

Другая третью в беге обгоняет,
Погоня их и бегство – труд напрасный:
Ручей един, хоть струи вечно разны.

Гораздо больше труда уходит на перетолкование толкований, чем на толкование самих вещей, и больше книг пишется о книгах, чем о каких-либо иных предметах; мы только и делаем, что составляем глоссы друг на друга.

Комментаторы повсюду так и кишат, а настоящих писателей — самая малость.

Разве самая первая и самая славная ученость нашего времени не в том, чтобы уметь понимать ученых? Разве это не общая и последняя цель обучения наукам?

Мнения наши перерастают одно в другое: первое служит стеблем для второго, второе для третьего. Так мы и поднимаемся со ступеньки на ступеньку. И получается, что тому, кто залез выше всех, часто выпадает больше чести, чем он заслужил, ибо, взобравшись на плечи предыдущего, он лишь чуточку возвышается над ним.

Как часто я глупейшим, может быть, образом говорил в своей книге о ней самой! Глупейшим хотя бы по той причине, что должен же был я помнить, как отзывался о тех, кто поступает точ-

но так же, а именно: эти столь частые оглядки на собственный труд свидетельствуют, что сердце их трепещет от любви к нему и что даже самые резкие и презрительные слова, которыми они его бичуют, не что иное, как жеманное притворство материнской нежности. Ведь, по Аристотелю, самовосхваление и самоуничижение часто бывают порождены одною и той же гордыней. Ибо мое извинение, что в этом случае я имею право на большую свободу, чем другие, так как пишу ведь о себе и о своих произведениях, как о прочих своих делах, и что моя тема — это я сам, это мое извинение, может быть, примут далеко не все.

В Германии я убедился, что после Лютера его учение вызвало не меньше и даже больше раздоров и споров, чем сам он высказал сомнений насчет истин Священного Писания. Наши разногласия чисто словесные. Я спрашиваю: что есть природа, сладострастие, круг, субстанция? Вопрос выражен словами, и в словах же дается ответ. «Камень есть тело». Но тот, кто станет спрашивать дальше: «А что такое тело?» — «Субстанция». — «А субстанция?» — в конце концов припрет отвечающего к стене. Одно слово разменивают на другое, часто еще менее известное. Я лучше разумею, что такое человек, чем что та-

кое животное, смертное ли, разумное ли. Чтобы разрешить одно мое сомнение, мне предлагают три новых: это же головы гидры. Сократ спросил у Мемнона, что есть добродетель. «Существует, — ответил Мемнон, — добродетель мужская и добродетель женская, добродетель должностного лица и частного человека, ребенка и старца». «Вот хорошо! — вскричал Сократ. — Мы искали одну добродетель, а у тебя их оказывается уйма». Мы задаем один вопрос, а вместо ответа получаем их целый рой. Как ни одно событие и ни один предмет не бывают совершенно похожи на другое событие и другой предмет, так не может быть между ними и полного различия. Природа в этом смешении проявила необычайную мудрость. Если бы во внешности у нас не было ничего общего, человека нельзя было бы отличить от животного; если бы мы были во всем схожи, нас нельзя было бы отличить друг от друга. Все вещи взаимосвязаны некими общими признаками, никакое подобие не бывает полным, отношения, познающиеся из опыта, всегда не вполне достоверны и совершенны, и однако же сравнению всегда есть за что уцепиться. Вот почему можно пользоваться законами, которые в какой-то мере подходят к любому нашему делу, благодаря

различным окольным, притянутым за волосы и сомнительным толкованиям.

Поскольку моральные предписания, относящиеся к личному долгу каждого человека, устанавливаются, как мы видим, с таким трудом, удивительно ли, что законы, упорядочивающие отношения между людьми, вырабатывать еще труднее? Поразмыслите о юридических нормах, которым мы подчиняемся: это же подлинное свидетельство человеческого неразумия — столько в них противоречий и ошибок. В нашем праве обнаруживается так много несправедливости и в смысле мягкости, и в смысле строгости, что я, право, не знаю, часто ли можно найти правильный средний путь между ними. И все это больные органы и уродливые члены самого тела, самого существа правосудия. Вот приходят ко мне крестьяне, торопясь сообщить, что они только что нашли в принадлежащем мне лесу человека, избитого до смерти, но еще дышащего, который попросил их сжалиться над ним, дать ему напиться и поднять его. При этом они добавляют, что не решились подойти к нему и поскорее убежали, боясь, как бы слуги закона не увидели их на этом месте и как бы им не пришлось, подобно всем тем, кого застают у тела убитого, отвечать

за это дело и окончательно погибнуть: у них ведь нет ни денег, ни иных средств защитить себя от обвинения. Что я мог им сказать? Несомненно, им пришлось бы пострадать, прояви они человечность.

Сколько было случаев, когда невиновного постигала кара, и притом не по вине судей? А сколько было таких же случаев, никем никогда не обнаруженных? На моих глазах произошел такой случай. Несколько человек были присуждены к смертной казни за убийство, причем приговор этот не был еще объявлен, но о нем вынесли твердое согласное решение. И вот судьи получают от чиновников одной находящейся по соседству низшей судебной инстанции извещение, что у них есть заключенные, добровольно сознавшиеся в этом преступлении и пролившие ясный свет на все дело. Тем не менее судьи начинают совещаться, следует ли отложить приведение в исполнение приговора, вынесенного первым обвиняемым. Высказывают разные соображения о необычности данного случая, о том, что он может явиться прецедентом для отсрочек в других случаях, что обвинительный приговор вынесен по всем юридическим правилам и судьям не в чем себя упрекать. Одним словом, бедняги были при-

несены в жертву юридической формуле. Филипп или кто-то другой разрешил подобную же задачу следующим способом. После того как он весьма решительно присудил одного человека к уплате другому очень большого штрафа, обнаружилось, что это его решение было неправильным. С одной стороны, приходилось считаться с доводами справедливости, с другой — с доводами юридических норм. Он принял и те и другие, оставив приговор в силе и из своих средств вернув осужденному уплаченный им штраф. Но тут дело оказалось поправимым; люди же, о которых я говорю, были самым непоправимым образом повешены. Мало ли приходилось мне видеть приговоров более преступных, чем само преступление?

Все это вызывает у меня в памяти мнение древних: тот, кто стремится к некоей общей правде, вынужден допускать неправду в частностях, и тому, кто хочет справедливости в делах великих, приходится совершать несправедливость в мелочах, а правосудие человеческое действует на манер медицины, с точки зрения которой все полезное тем самым правильно и честно. Припоминается мне и положение стоиков о том, что в своем творчестве природа большей частью попирает справедливость, и учение киренаиков,

что не существует вещей, которые были бы справедливы сами по себе, ибо правосудие создают обычаи и законы, и воззрения феодорян, полагающих, что для мудрого воровство, святотатство и всякого рода разврат вполне допустимы, если он убежден, что они ему на пользу.

Тут ничем не поможешь. Я, подобно Алкивиаду, никогда, насколько это было бы в моих силах, не вручил бы свою судьбу одному человеку, так чтобы жизнь моя и честь зависели от ума и ловкости моего защитника больше, чем от моей невиновности. Я скорее доверился бы трибуналу, способному отдать должное и моим добрым делам, и моим проступкам, на который я могу надеяться, даже опасаясь его решения. Безнаказанность — недостаточное воздаяние человеку, который делает больше, чем просто не совершает преступления. Наше правосудие протягивает нам лишь одну руку, да и то левую. Кем ты ни будь, без ущерба не обойдешься.

Китайское царство, не имевшее с нами общения и не ведавшее наших законов и наших искусств, тем не менее во многом их превзошло: история его учит, насколько мир обширнее и разнообразнее, чем древние и даже мы сами полагали. Так вот, в Китае чиновники, которых

государь посылает обследовать состояние провинций, не ограничиваются наказанием тех, кто недобросовестно выполняет свои обязанности, но и весьма щедро раздают награды тем, кто делает возложенное на него дело особенно ревностно и с большим тщанием, чем того требует простой долг. Люди являются к этим посланцам государя не только чтобы защищаться, но и чтобы получать поощрение, не только за вознаграждением, но и за подарком.

Слава Богу, еще ни один судья не говорил со мною в качестве именно судьи по какому бы то ни было делу — моему лично или другого лица, уголовному или гражданскому. Не бывал я и ни в какой тюрьме — даже хотя бы из любопытства. Воображение у меня так развито, что даже один вид тюрьмы мне неприятен. Моя потребность в свободе так велика, что если бы мне вдруг запретили доступ в какой-то уголок, находящийся где-нибудь в индийских землях, я почувствовал бы себя в некоторой степени ущемленным. И я не стал бы прозябать там, где вынужден был бы скрываться, если бы где-то в другом месте можно было обрести свободную землю и вольный воздух. Боже мой, как трудно было бы мне переносить участь стольких людей, прикован-

ных к какому-то определенному месту в нашем государстве, лишенных доступа в главные города и королевские замки и права путешествовать по большим дорогам за то, что они не желали повиноваться нашим законам! Если бы те законы, под властью коих я живу, угрожали мне хоть кончиком мизинца, я немедленно постарался бы укрыться под защиту других законов, куда угодно, в любое место. В наше время, когда кругом свирепствуют гражданские распри, все мое малое разумение уходит на то, чтобы они не препятствовали мне ходить и возвращаться куда и когда мне заблагорассудится.

Однако законы пользуются всеобщим уважением не в силу того, что они справедливы, а лишь потому, что они являются законами. Таково мистическое обоснование их власти, и иного у них нет. Впрочем, этого им вполне достаточно. Часто законы создаются дураками, еще чаще людьми, несправедливыми из-за своей ненависти к равенству, но всегда людьми — существами, действующими суетно и непоследовательно.

Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок, как законы. Тот, кто повинуется им потому, что они справедливы, повинуется им не так, как должен. Наши французские законы по

своей неупорядоченности и нечеткости весьма содействуют произволу и коррупции у тех, кто их применяет. Сформулированы они так темно и неопределенно, что это некоторым образом даже оправдывает и неподчинение им, и все неправильности в их истолковании, применении и соблюдении. Поэтому можно сказать, что, как ни полезен для нас опыт вообще, не много пользы принесет нашему жизнеустройству тот, который мы черпаем у иноземцев, если мы оказываемся не способными извлечь выгоду из нашего собственного: ведь свое нам все-таки ближе и, конечно, в достаточной мере может научить нас тому, что нам насущно необходимо.

Тот предмет, который я изучаю больше всякого иного, — это я сам. Это моя метафизика, это моя физика.

Qua deus hanc mundi temperet arte domum,

Qua venit exoriens, qua deficit, unde coactis

Cornibus in plenum menstrua luna redit;

Unde salo superant venti, quid flamine captet

Eurus, et in nubes unde perennis aqua.

Sit ventura dies mundi quae

subruat arces[654].

Quaerite quos agitat mundi labor[655].

В этом университете я, невежественный и беспечный, всецело подчиняюсь общему закону, управляющему вселенной. Я знаю о нем достаточно, если чувствую его. Сколько бы я ни познавал, он не отклонится от своего пути, он не изменится ради меня. Безумием было бы надеяться на это, а еще худшим безумием — огорчаться, ибо закон этот по необходимости единообразен, всеобщ и очевиден.

Благонамеренность и одаренность правящего должны начисто освободить нас от забот о делах управления. Философские изыскания и помышления служат лишь пищей нашей любознательности. С полным основанием отсылают нас философы к законам природы, но им самим эта высокая наука не очень-то по плечу. Они ложно толкуют их и лик ее являют нам слишком

---

[654] Примечания: 654

Каким образом Бог управляет мирозданием, как появляется новая луна, как она убывает, как, соединив вместе свои половинки, ежемесячно вырастает в полную; каким образом ветры властвуют над морем, за чем гонится порывистый Эвр, откуда в тучах неиссякаемая вода, и придет ли день, когда рухнут своды вселенной (*лат.*). Проперций, III, 5, 26–31.

[655] Примечания: 655

Ищите на это ответ, вы, кого занимает устройство мира (*лат.*). Лукан, I, 417.

уж ярко расписанным, слишком искаженным, отчего единый предмет и предстает перед нами в столь различных видах.

Природа наделила нас ногами для хождения, она же с умом руководит нами на жизненном пути. Разум ее не столь искусный, тяжеловесный и велеречивый, как тот, что изобрели философы, но зато он легок и благодатен и во всем, что обещает разум философов на словах, хорошо помогает на деле тому, кто, к счастью своему, умеет подчиниться природе бесхитростно и безмятежно, иначе говоря — естественно.

Самый мудрый способ довериться природе — сделать это как можно более просто. О, какой сладостной, мягкой, удобной подушкой для разумно устроенной головы является незнание и нежелание знать! Я предпочел бы хорошо понимать самого себя, чем Цицерона. Если я буду прилежным учеником, то мой собственный опыт вполне достаточно умудрит меня. Кто восстановит у себя в памяти все неистовство своей недавней гневной вспышки, припомнит, куда она его завела, тот уразумеет лучше, чем из творений Аристотеля, как безобразна страсть, и с более глубоким основанием отвратится от нее. Кто вспоминает о постигавших его бедствиях, о

тех, что ему угрожали, о незначительных случайностях, так резко изменивших его жизненные обстоятельства, тот подготовляется к будущим переменам в своей судьбе и к осознанию своего истинного положения. В жизни Цезаря мы не найдем большего числа поучительных примеров, чем в нашей собственной. И жизнь правителя, и жизнь простолюдина — это всегда человеческая жизнь, полная обычных для нее превратностей. Не будем упускать этого из виду. Мы всегда говорим друг с другом о наших самых насущных нуждах. Разве со стороны того, кто помнит, как часто он ошибочно судил о вещах, не глупо доверять постоянно и неизменно своему суждению? Когда доводы другого человека убеждают меня в ложности моего мнения, я не столько узнаю от него нечто новое, узнаю, что проявил невежество именно в данной области (это было бы не такое уж ценное приобретение), сколько убеждаюсь в своей слабости вообще и в шаткости своего рассудка, вследствие чего и стараюсь исправить все в целом. Так же точно поступаю я и в отношении других своих заблуждений, и следование этому правилу приносит мне большую пользу. Каждый данный случай и все, к чему он относится, я рассматриваю не просто как камень, о который

споткнулся: я понимаю, что в походке моей не все вообще ладно, и стараюсь выправлять свой шаг. Уразуметь, что сказал или сделал какую-то глупость, — это еще пустяки: надо понять, что ты по сути своей глуп, — вот наука куда более значительная и важная. Ложные шаги, на которые наталкивала меня моя память, даже когда она была особенно уверена в себе, не остались без пользы: теперь в ответ на все ее клятвы и заверения я затыкаю уши. Первые же возражения, которые встречает ее свидетельство, настораживают меня, и я уже не решаюсь слепо довериться ей в чем-либо существенно важном и положиться на нее в деле, где замешан кто-то другой. И хотя другие, может быть, гораздо чаще совершают по недобросовестности те ошибки, в которых я повинен из-за недостатка памяти, все же в том или ином деле я охотнее поверю словам, исходящим из уст другого человека, чем своим собственным. Если бы каждый так же пристально изучал последствия и воздействия страстей, которым он подвластен, как я поступал в отношении тех, которым поддался сам, он мог бы предвидеть их прилив и несколько умерять его бурное неистовство. Не всегда они внезапно обрушиваются на нас, вцепляясь нам в глотку: тут наблюдается и

отдаленная угроза, и постепенное нарастание.

> *Fluctus uti primo coepit cum albescere vento,*
>
> *Paulatim sese tollit mare, et altius undas*
>
> *Erigit, inde imo consurgit ad aethera fundo*[656].

В душевной жизни моей рассудок занимает важнейшее место, во всяком случае, он всячески старается его занять. Он не препятствует свободному развитию моих влечений, моим враждебным и дружеским чувствам, даже моей любви к самому себе, но они не задевают и не замутняют его. Если он не способен исправить прочие мои душевные свойства по своему подобию, то, во всяком случае, он не поддается их вредному влиянию: он живет сам по себе.

Призыв «познай самого себя» имеет, видно, существеннейшее значение, если бог знания и света начертал его на фронтоне своего храма как всеобъемлющий совет, который он мог нам дать. Платон говорит, что осуществление этой

---

[656] Примечания: 656

Подобно тому как на морской поверхности появляются белые гребни, а затем море постепенно вздувается и вздымает все выше волны, пока наконец из самых глубин не возносится к небу (*лат.*). *Энеида,* VII, 528–530.

заповеди и есть следование разуму, и Сократ у Ксенофонта подтверждает это различными примерами. Трудности и темные места любой науки заметны лишь тем, кто ею овладел. Ибо нужно обладать некоей степенью разумения, чтобы заметить свое невежество, и надо толкнуть дверь, чтобы удостовериться, что она заперта. Отсюда и хитроумное платоновское положение, что знающим незачем познавать, раз они уже знают, а незнающим тоже незачем, ибо для того, чтобы познать, надо разуметь, что именно познаешь. Точно так же обстоит с познанием самого себя. Каждый уверен, что в этом отношении у него все в полном порядке, каждый думает, что отлично сам себя понимает, но это-то и означает, что решительно никто о самом себе ничего не знает, как показал Сократ Эвтидему у Ксенофонта. Я, не занимающийся ничем иным, нахожу в этой науке такую глубину и столь бесконечное разнообразие, что все мои изыскания приводят меня лишь к ощущению того, как много мне еще надо узнать. Своей многократно признававшейся мною слабости обязан я склонностью к скромной самооценке, к подчинению предписанным мне верованиям, обязан моим неизменным хладнокровием, умеренностью во взглядах и

отвращением к докучной и бранчливой наглости самодовольных всезнаек — главным врагам истины и подлинной учености. Послушайте-ка их речи: любую чепуху городят они торжественным слогом заповедей и законов. Nil hoc est turpius quam cognitioni et perceptioni assertionem approbationemque praecurrere[657]. Аристарх сказал, что в древние времена с трудом можно было насчитать семь мудрецов, а в его время трудно было найти семь невежд. Разве мы в наше время можем сказать это не с большим основанием, чем он? Самоуверенность и упрямство — явные признаки глупости. Такой-то сто раз на дню зарывался носом в землю, но вот он опять в седле, столь же решительный и невозмутимый, как и прежде. Можно подумать, что в него вселили новую душу, силу разумения и что с ним произошло то же, что с древним сыном земли, который, падая и соприкасаясь с землею, обретал новую мощь,

cui, cum tetigere parentem,
Iam defecta vigent renovato robore

[657] Примечания: 657

Нет ничего постыднее, чем предварять утверждением и одобрением познание и восприятие (*лат.*). Цицерон. *Академические вопросы*, I, 12.

membra[658].

Уж не рассчитывает ли этот неугомонный упрямец заново воодушевиться для новой словесной распри? На основании собственного опыта говорю я так о людском невежестве: оно, на мой взгляд, и есть самое точное знание, какое можно получить в школе жизни. Те, кто не хочет признать этого, исходя из столь жалкого примера, как мой или их собственный, могут опереться на Сократа, учителя учителей. Ибо философ Антисфен сказал своим ученикам: пойдемте послушаем Сократа, вместе с вами стану я у него учиться. И, утверждая положение стоической школы о том, что одной добродетели достаточно, чтобы сделать жизнь счастливой и ничего больше не желать, он добавлял: кроме Сократовой силы духа.

Неустанное внимание, с которым я сам себя изучаю, научило меня довольно хорошо разбираться и в других людях, и мало есть на свете вещей, о которых я говорил бы более успешно и удачно. Часто случается, что жизненные обстоятельства своих друзей я вижу и понимаю лучше, чем они сами. Правильность моего изложения изумила

[658] Примечания: 658

У которого, когда он прикасался к родительнице, исполнялись новою силою истомленные мышцы (*лат.*). Лукан, IV, 599 сл.

кое-кого из них и заставила их обратить внимание на многое в их собственных обстоятельствах. Приучившись с детства созерцать свою жизнь в зеркале других жизней, я приобрел в этом деле опытность и искусство, и когда я думаю над этими вещами, от меня ускользает очень немногое из того, что к ним относится, — из человеческого поведения, настроений, речей. Я изучаю все: и то, чего мне надо избегать, и то, чему я должен следовать. Так и друзьям своим на основании их дел и поступков объясняю я их внутренние склонности, и не просто для того, чтобы распределить эти бесконечно разнообразные действия по определенным видам и рубрикам, а затем четко распределить все, что приведено мною в порядок, по существующим типам и классам.

Sed neque quam multae species, et nomina quae sint,
Est numerus[659].

Ученые находят для своих построений гораздо более дробные и детальные обозначения. Я же, не проникающий во все эти вещи глубже, чем мне нужно в данный момент, не руководствуюсь

[659] Примечания: 659

Но невозможно исчислить, сколько видов и каковы их названия (*лат.*). Вергилий. *Георгики,* II, 103 сл.

никакими правилами и свои построения формулирую лишь в общих чертах и, так сказать, на ощупь. Так же обстоит дело и с этой книгой: я высказываю свои взгляды в отдельных фразах, как если бы речь шла о чем-то таком, что не может рассматриваться как единое целое. Взаимосвязанности и единообразия не найти в душах столь обычных и низменных, как наши. Мудрость есть здание прочное и цельное, каждая часть которого занимает строго определенное место и имеет свой признак. Sola sapientia in se tota conversa est[660]. Я предоставляю художникам распределять по клеткам все бесконечное многообразие обликов, закреплять и упорядочивать нашу переменчивость, но не знаю, удастся ли им справиться с предметом столь сложным, состоящим из такого количества случайных мелочей. Я считаю крайне затруднительным не только увязывать наши действия одно за другим, но и правильно обозначать каждое из них по одному главному признаку, настолько двусмысленны они и пестры и пребывают в зависимости от освещения.

То, что в царе македонском Персее считали

[660] Примечания: 660

Лишь одна мудрость целиком обращена на себя (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* III, 7.

странностью, а именно, что дух его, никогда не пребывая в некоем определенном состоянии, стремился проявить себя в различных образах жизни, в необычных и переменчивых нравах и благодаря этому ни сам Персей, ни другие не в состоянии были понять, что же он за человек, — эти черты представляются мне свойственными всем людям. Особенно хорошо знаю я другого такого же человека, к которому, по-моему, с еще большим правом можно отнести нижеследующее заключение: ему чужд какой бы то ни было средний путь, он по самому неожиданному поводу бросается из одной крайности в другую, он, даже двигаясь куда-то, беспрестанно сворачивает в сторону или возвращается обратно, все его свойства противоречивы, так что наиболее правильное мнение сведется когда-нибудь к тому, что он старался и стремился стать известным из-за того, что его невозможно познать.

Надо иметь очень чуткие уши, чтобы выслушивать откровенные суждения о себе. И так как мало таких людей, которые могут выносить это, не оскорбляясь, те, кто решается высказывать нам, что они думают о нас, проявляют тем самым необыкновенно дружеские чувства. Ибо ранить и колоть для того, чтобы принести пользу, — это

и есть настоящая любовь. Мне тягостно судить человека, у которого дурных свойств больше, чем хороших. Платон говорит, что у того, кто хочет познать чужую душу, должны быть три свойства: понимание, благожелательность и смелость.

Меня иногда спрашивали, к какой деятельности я считал бы себя наиболее способным, если бы кому-нибудь пришло в голову применить к чему-либо мои силы, когда я был еще в подходящем для этого возрасте.

> *Dum melior vires sanguis dabat, aemula necdum*
>
> *Temporibus geminis canebat sparsa senectus*[661].

«Ни к какой», — отвечал я. И я даже рад, что не умею делать ничего, что бы могло превратить меня в раба другого человека. Но я сумел бы высказать моему господину всю правду о нем и ясно обрисовать ему его нрав, если бы он этого захотел. Не в общих суждениях, по схоластическому способу, чего я делать не умею (впрочем, уменье это не приносит никакой пользы тем, у кого оно есть), но, наблюдая его шаг за шагом,

---

[661] Примечания: 661

Пока более быстрая кровь давала мне силы и пока завистливая старость не посеребрила мне виски (*лат.*). *Энеида,* V, 415 сл.

поскольку для этого у меня имелась бы полная возможность, и внимательным взглядом оценивая их во всех подробностях; и я излагал бы ему это просто и естественно, разъясняя, что о нем думают на самом деле люди, и всячески опровергая его льстецов. Каждый из нас стоил бы куда меньше, чем короли, если бы его постоянно портили лестью, как портит властителей окружающая их сволочь. Да что говорить, если даже Александр, этот великий государь и великий мыслитель, был беззащитен перед лестью! У меня хватило бы верности, и разума, и внутренней свободы для того, чтобы говорить правду. Это была бы служба, не дающая славы: иначе она утратила бы всю свою действенность, все свои благодатные свойства. И подобную роль может сыграть не каждый человек. Ибо даже истине не дано преимущество быть высказываемой в любое время и при любых обстоятельствах: как ни благородно быть ее глашатаем, и это дело требует определенных условий, определенных рамок. Мир так устроен, что нередко ее доводят до слуха властителя не только без всякой пользы, но даже с дурными последствиями и к тому же неоправданно. И меня никто не убедит в том, что даже самый справедливый укор не может

оказаться несвоевременным и что суть дела не должна порою уступать форме. Я полагаю, что такая деятельность больше всего подобала бы человеку, довольному своей участью,

Quod sit esse velit, nihilque malit[662],

и рожденному в среднем состоянии. Ибо, с одной стороны, он не побоялся бы слишком глубоко затронуть сердце властителя и тем самым повредить своей карьере, а с другой, как человек среднего состояния, находился бы в постоянном общении со всякого рода людьми. Я считаю, что в подобной роли должен был бы выступать лишь один человек, ибо даровать право на такую свободу и близость к государю многим людям означало бы породить весьма пагубное неуважение к верховной власти. И кроме того, от такого человека я потребовал бы прежде всего верности и молчания.

Нельзя верить королю, хвалящемуся тем, что ради славы своей он стойко дожидался нападения неприятеля, если он не способен ради своей пользы и назидания выслушать откровенные речи друга, которые могли бы лишь оскорбить

[662] Примечания: 662

Который хочет быть тем, что он есть, и не хочет ничего другого (*лат.*). Марциал, X, 47, 12.

его слух, так как всякое другое их действие зависит только от его доброй воли. А между тем из всех людей именно облеченные властью более всего нуждаются в правдивом и свободном слове. Жизнь их протекает на глазах у всех, и им приходится домогаться симпатии огромного количества зрителей. Но так как принято скрывать от них все, что может заставить их свернуть с предначертанного пути, они, даже не сознавая того, становятся порою ненавистными своим народам по причинам, которых они часто могли бы избежать, не пожертвовав при этом ни одним из своих удовольствий, если бы их вовремя предупредили и подали им добрый совет. Обычно их любимцы заботятся больше о себе, чем о своем повелителе, и ничего на этом не теряют, ибо, говоря по правде, подлинно дружеские чувства к государю подвергаются всегда суровым и опасным испытаниям, так что такая дружба требует не только привязанности и искренности, но и мужества.

В общем же все состряпанное мною здесь кушанье есть лишь итог моего жизненного опыта, который для всякого здравомыслящего человека может быть полезен как призыв действовать совершенно противоположным образом. Но что

до здоровья телесного, то ничей опыт не будет полезнее моего, ибо у меня он предстает в чистом виде, не испорченном и не ущемленном никакими ухищрениями, никакой предвзятостью. В отношении медицины опыт — как петух, роющийся в своем же помете: разумное он обретает в самом себе. Тиберий говорил, что каждый, проживший двадцать лет, должен сам понимать, что для него вредно, а что полезно, и уметь обходиться без врачей. Эту мысль он мог позаимствовать у Сократа, который, советуя своим ученикам прилежно изучать, как важнейшую вещь, свое здоровье, добавлял, что было бы невероятно, если бы рассудительный человек, следящий за тем, чтобы правильно упражнять свое тело, есть и пить сколько нужно, не понимал бы лучше всех врачей, что для него хорошо, что плохо. Да и медицина всегда заявляет, что во всех предписаниях исходит из опыта. Следовательно, Платон был прав, когда говорил, что настоящему врачу, стремящемуся усовершенствоваться в своем искусстве, следовало бы испытать все болезни, которые он намеревается лечить, все случаи и обстоятельства, на основании которых он должен принимать решения. И правильно: если они хотят лечить сифилис, пусть переболеют

им. Такому врачу я бы доверился, ибо все прочие, руководя нами, уподобляются тому человеку, который рисует моря, корабли, гавани, сидя за своим столом и в полной безопасности водя перед собою взад и вперед игрушечный кораблик. А когда им приходится взяться за настоящее дело, они ничего не могут и не знают. Они описывают наши болезни, как городской глашатай, выкрикивающий приметы сбежавшей лошади или собаки: такой-то масти шерсть, такой-то рост, такие-то уши, — но покажите им настоящего больного, и они не распознают болезни.

Дал бы Бог, чтобы медицина хоть раз в жизни оказала мне настоящую ощутимую помощь, и я с открытой душой вскричал бы:

Tandem efficaci do manus scientiae![663]

Искусства, сулящие нам телесное и душевное здоровье, обещают много, но именно они реже всего исполняют свои обещания. И в наше время те, кто считает врачевание своей профессией, действуют в этой области хуже, чем любой другой человек. Самое большее, что о них можно сказать, — это, что они продают лекарствен-

[663] Примечания: 663

Наконец-то я подаю руку этой могущественной науке! (*лат.*) Гораций. *Эподы,* XVII, 1.

ные средства, но сказать, что они врачи, никак нельзя.

Я прожил достаточно долго, чтобы оценить те навыки, которые обеспечили мне столь продолжительное существование. Так как они мною уже испробованы, на меня могут опираться все, кто захотел бы к ним прибегнуть. Вот кое-что из них, насколько мне помнится. У меня не было таких навыков, которые не изменялись бы в зависимости от обстоятельств, но здесь я указываю наиболее постоянные и свойственные мне до настоящего времени. И здоровый, и больной, я веду один и тот же образ жизни: сплю на одной и той же кровати, придерживаюсь того же распорядка дня, ем и пью одно и то же. Ничего к этому не добавляется, я меняю только количество пищи и часов сна, в зависимости от своих сил и аппетита. Я блюду свое здоровье, следуя без изменений привычному жизненному распорядку. Болезнь выбила меня из него с одной стороны? Если я доверюсь врачам, они выбьют меня из него и с другой, так что и волею обстоятельств, и из-за медицинского искусства я окажусь вне своей обычной колеи. А между тем больше всего я верю в то, что мне никак не могут повредить вещи, к которым я издавна привык.

Именно привычка сообщает нашей жизни ту форму, какая ей заблагорассудится. Здесь она всемогуща: это волшебный напиток Цирцеи, придающий существу нашему любой облик. Многие народы в трех шагах от нас считают нелепостью бояться столь явно мучительной для нас вечерней прохлады; наши моряки и крестьяне тоже над этим смеются. Немец плохо себя чувствует, лежа на матраце, итальянец — на перине, а француз — если он спит без штор и без огня в камине. Желудок испанца не выносит нашего способа питаться, а наш — швейцарской манеры пить.

Один немец, к великому моему удовольствию, поносил неудобство наших каминов, используя те же доводы, какими мы осуждаем их печи. И правда, жар в замкнутом пространстве и запах раскаленного кирпича, из которого сложены печи, тягостны для большинства тех, кто к этому не приучен. Для меня, впрочем, нет. Вообще же это устойчивое и равномерно распределенное всюду тепло, без пламени, без дыма, без ветра, задувающего через широкие зевы наших каминов, вполне выдерживает сравнение с нашим способом обогревания комнат. Но почему мы не подражаем архитектуре римлян? Ибо говорят, что в древности дома их обогревались снаружи

и снизу, откуда тепло распространялось по всему жилью с помощью труб, положенных внутри стен и проходящих через все помещения, которые надо было обогревать: обо всем этом очень ясно говорится где-то у Сенеки. Вышесказанный немец, слыша, как я нахваливаю удобства и красоты его города, вполне заслуживающего похвал, принялся жалеть меня по поводу моего отъезда: одним из первых неудобств, с которыми мне, по его мнению, пришлось бы столкнуться, явилась бы тяжесть в голове из-за каминного угара во Франции. Говорил он с чьих-то чужих слов и, не имея случая столкнуться с этим неприятным явлением у себя, считал его характерной чертой нашего обихода. Всякий жар от горящего пламени действительно вызывает у меня слабость и тяжесть в голове. Хотя Эвен и говорил, что лучшая утеха жизни — огонь, я предпочитаю любой другой способ избегать холода.

Мы не любим пить вино со дна бочки. Для португальцев же винный осадок — наслаждение, царский напиток. В общем, каждый народ имеет свои обычаи и привычки, не только не известные другим народам, но диковинные и странные с их точки зрения.

Что сказать о народе, который уважает лишь

печатное свидетельство, доверяет только тем людям, о которых можно прочесть в книге, и верит только в истины очень почтенного возраста? Отливая свои глупости в металлическом шрифте, мы как бы придаем им некое благородство. Когда говоришь «я прочел», кажется, что это звучит более веско, чем «я слышал». Но я, придающий устам человеческим не меньшее значение, чем рукам, знающий, что писать можно так же легкомысленно, как говорить, я, уважающий наш век не менее, чем любой из минувших, так же охотно сошлюсь на кого-либо из своих друзей, как на Авла Геллия или Макробия, и на то, что я видел, как на то, что они написали. И как принято считать, что добродетель отнюдь не выше от того, что ей предавались дольше, так и я полагаю, что та или иная истина не становится мудрее от своего возраста. Я часто говорю, что погоня наша за примерами чужеземными и книжными — чистейшее недомыслие. Опыт нашего времени так же плодотворен, как опыт времен Гомера или Платона. Но разве не правда, что звонкая цитата соблазняет нас больше, чем правдивая речь? Как будто доказательства, которые можно почерпнуть в книжной лавке Васкосана или Плантена, стоят больше, чем те, которые приводит нам

жизнь нашего села? Или, может быть, нам не хватает ума, чтобы исследовать то, что происходит у нас перед глазами, дать ему правильную оценку и составить о нем решительное суждение, чтобы извлечь некий пример? Ибо, когда мы утверждаем, что мнения наши недостаточно вески, чтобы люди придавали веру нашему свидетельству, говорится это впустую. Тем более что, на мой взгляд, если пролить настоящий свет на самые обыкновенные, общеизвестные и всем привычные вещи, они могут предстать как величайшие чудеса мира, и из них можно извлечь удивительнейшие примеры, в особенности касательно дел человеческих.

Но вернемся к моему предмету. Оставив в стороне книжные свидетельства и то, что Аристотель говорит об Андроне, аргийце, который пересекал пески ливийской пустыни и при этом ничего не пил, хочу упомянуть об одном дворянине, достойным образом отправлявшем различные должности, который рассказывал в моем присутствии, что он в самый разгар лета ездил из Мадрида в Лиссабон и ничего не пил в дороге. Он отличается превосходным для своего возраста здоровьем и ведет самый обычный образ жизни — за исключением того, что в течение

двух-трех месяцев, а иногда и года, ничего не пьет, как он мне сам говорил. Он испытывает жажду, но ждет, чтобы она прошла, считая, что это ощущение само по себе ослабевает, и вообще он пьет лишь по случайному побуждению, а не по нужде или ради удовольствия.

А вот еще пример. Недавно я видел, как один из ученейших мужей Франции, и притом один из наиболее состоятельных, занимается у себя в углу залы, отделенной от остального помещения портьерой. Кругом совершенно беззастенчиво кричали и суетились его слуги. Он же сказал мне — до него это говорил и Сенека, — что весь этот шум ему даже полезен, ибо, оглушенный им, он еще глубже погружается в созерцание: громкие голоса помогают ему сосредоточиться. Будучи студентом в Падуе, он занимался в помещении, куда с площади доносился звон колоколов и уличный гвалт, и не только приучился переносить шум, но у него даже выработалась привычка к шуму в часы занятий. Когда Алкивиад спрашивал Сократа, как это он выносит беспрестанную сердитую воркотню жены, тот отвечал: «Привыкают же к скрипу колес, с помощью которых вытягивают из колодца ведра с водой». Для меня все обстоит иначе. Дух мой чувствителен и легко

возбудим: когда он погружен в себя, даже жужжание мухи для него мучительно.

Сенека с молодых лет увлекся примером Секстия, который никогда не ел мяса убитых или умерших животных, и уже через год Сенека с удовольствием обходился без мясной пищи. Он отказался от этой привычки лишь потому, что опасался, как бы его не заподозрили в склонности к новой религии, проповедовавшей такое воздержание. Одновременно он следовал совету Аттала не спать на мягких матрацах и до самой старости пользовался твердыми, не сгибающимися под тяжестью человеческого тела. И если нравы его времени побуждали Сенеку искать сурового образа жизни, то обычаи наших дней заставляют нас стремиться к удобствам.

Обратите внимание на образ жизни мой и моих слуг: даже скифы и индийцы не более отличаются от меня силой и обликом, чем они. Я брал к себе на службу нищенствующих детей, которые вскоре покидали меня и мою кухню, сбрасывали с себя мою ливрею, чтобы возвратиться к своему прежнему существованию. Среди них был один, который, уйдя от меня, питался ракушками, разысканными среди отбросов, и ни уговорами, ни угрозами я не добился, чтобы

он отверг радости и блага полуголодной жизни. У нищих бродяг есть и своя роскошь, и свои наслаждения, как у богатых, и даже, говорят, свое особое общественное устройство с должностями и званиями. Все зависит от привычки. Она может не только отливать нас в любую форму (но мудрецы говорят, что нам все же следует выбирать лучшую, и привычка облегчит нам это дело), но даже приучить к любым переменам, что является благороднейшей и полезнейшей из наук. Лучшее из моих природных свойств — гибкость и податливость: я обладаю некоторыми склонностями, более для меня подходящими, привычными и приятными, чем другие, но без особых усилий могу отказаться от них и с легкостью перейти к навыкам совершенно противоположным. Молодой человек должен нарушать привычный для него образ жизни: это вливает в него новые силы, не дает ему закоснеть и опошлиться. Самые нелепые и жалкие жизненные навыки — те, что целиком подчиняют человека каким-то неизменным правилам и жестокой дисциплине.

Ad primum lapidem vectari cum placet, hora

Sumitur ex libro; si prurit frictus ocelli

Angulus,
inspecta genesi collyria quaerit[664].

На мой взгляд, юноша должен порою быть невоздержанным: иначе для него окажется губительной любая буйная шалость и в веселой беседе он окажется неудобным и неприятным обществу. Самое неблаговидное для порядочного человека свойство — это чрезмерная щепетильность и приверженность к какой-то особой манере держаться: неподатливость и негибкость и составляют ее особенность. Постыдно, когда человек отказывается от чего-то из-за своего бессилия или не осмеливается делать то, что делают его товарищи. Пусть подобные люди плесневеют у себя на кухне. Такое поведение неприлично для каждого человека, но особенно пагубно и недопустимо оно для воина, который, по словам Филопемена, должен приучаться к любым жизненным превратностям и переменам.

В свое время я был в достаточной мере приучен к свободе и готовности менять свои привычки, но, старея, поддался слабости и стал усваивать

[664] Примечания: 664

Если она собирается выехать куда-то недалеко за город, то время устанавливается по астрологической книге; если зачешется уголок глаза, который она только что потерла, то она не приложит примочки, пока не заглянет в свой гороскоп (*лат.*). Ювенал, VI, 577–579.

определенные постоянные навыки (в моем возрасте переучиваться уже не приходится, надо думать лишь о том, чтобы сохранить себя в какой-то форме). Теперь уже привычка к некоторым вещам незаметным образом так властно завладела мною, что нарушение ее представляется мне просто разгулом. Без тягостного для себя ощущения я не могу ни засыпать среди дня, ни есть что-нибудь в неустановленные для трапез часы, ни лишний раз позавтракать, ни ложиться спать раньше, чем пройдет по крайней мере три часа после ужина, ни делать детей иначе как только перед сном и только лежа, ни ходить вспотевшим, ни пить одну воду или же неразбавленное вино, ни оставаться долгое время с непокрытой головой, ни бриться после обеда. Обходиться без перчаток мне теперь так же трудно, как без рубашки, трудно не помыть рук после обеда и, встав ото сна, трудно обходиться без полога и занавесок на кровати, как вещей совершенно обязательных. Пообедать без скатерти я могу, но на немецкий манер, без чистой салфетки — очень неохотно. Я пачкаю салфетки гораздо больше, чем немцы или итальянцы, и редко пользуюсь ложкой и вилкой. Жаль, что у нас не привился обычай, принятый при дворе: менять салфетки

вместе с тарелками, с каждым блюдом. О таком суровом воине, как Марий, известно, что с возрастом он стал очень брезглив в питье и пользовался только своей собственной чашей. Я тоже предпочитаю особой формы стаканы и неохотно пью из любого, так же как и из поданного любой рукой. Я не признаю металла — прозрачное, ясное стекло мне приятнее. Пусть глаза мои наслаждаются, как могут, когда я пью.

Кое-какими чертами изнеженности я обязан привычке, но постаралась тут со своей стороны и природа. Так, я не могу основательно поесть дважды в день, не отягчив желудка, но не могу и всю дневную порцию съедать в один присест, иначе меня начинает пучить, пересыхает во рту, нарушается аппетит. Не могу я и проводить долгое время на воздухе в ночную пору, ибо если в походе — как это нередко бывает — приходится всю ночь бодрствовать под открытым небом, с некоторых пор у меня в таких случаях часов через пять или шесть начинается расстройство желудка, сильные головные боли, а к утру — обязательно рвота. Когда другие идут завтракать, я заваливаюсь спать, а выспавшись, встаю как ни в чем не бывало. Я всегда слыхал, что вредоносная сырость распространяется лишь

с ночной темнотой. Но за последние годы мне пришлось близко и длительно общаться с одним господином, проникнутым уверенностью в том, что сырость особенно въедлива и опасна под вечер, за час или два до захода солнца. Господин этот старательно избегает выходить именно в это время, а ночной сырости совсем не боится, и на меня он тоже повлиял в этом смысле — не столько, правда, своими доводами, сколько силой убежденности. Что ж, значит, сомнение и исследование могут настолько поразить наше воображение, что мы способны измениться? Кто поддается такому направлению мыслей, сам себя губит. Я очень жалею некоторых известных мне дворян, которые из-за глупости своих врачей еще в молодом возрасте и в добром здоровье стали жить, как в больнице. Лучше перенести простуду, чем, отвыкнув от жизни в обществе, навсегда отказаться от нее и от всякой нужной и полезной деятельности. Одна беда от этой науки, лишающей нас самых сладостных в жизни часов! Надо полностью использовать все предоставленные нам возможности. Упорство чаще всего закаляет и лечит, — так исцелился Цезарь от падучей тем, что не обращал на нее внимания и не поддавался ей. Следует руководствоваться разумными пра-

вилами, но не подчиняться им слепо — разве что тем, если такие существуют, рабская приверженность которых благодетельна.

Короли и философы ходят по нужде, а также и дамы. Жизнь людей, находящихся на виду, связана со всяческими церемониями; моя же независима; к тому же солдату и гасконцу свойственно говорить свободно. Вот почему я и скажу: по нужде надо ходить в определенные часы, лучше ночью, приучить себя к такому порядку, как я это сделал, но не стать рабом его, как случилось со мной, когда я постарел, так что теперь мне для этого дела необходимо определенное место и сиденье, и оно связано для меня с неудобствами и проволочками из-за вялости моего кишечника. Но разве не извинительно стараться соблюдать при отправлении самых грязных функций самую тщательную чистоту? Natura homo mundum et elegans animal est[665].

Когда я отправляю именно эту естественную потребность, всякий перерыв мне особенно неприятен. Мне приходилось встречать немало военных, которые страдали от расстройства пищеварения. Я же и мое пищеварение никогда

---

[665] Примечания: 665

Человек по своей природе животное чистое и изящное (*лат.*). *Письма,* 92, 12.

не бываем в разладе, встречаясь как раз в тот момент, когда надо вставать с постели, разве что нам в этом помешает какое-нибудь очень важное дело или болезнь.

Как мне уже приходилось говорить, я не вижу, что лучшего может сделать больной, если не придерживаться своего обычного образа жизни, своей привычной пищи. Какое бы то ни было изменение всегда мучительно. Попробуйте доказывать, что каштаны вредны жителям Перигора или Лукки, а молоко и сыр — горцам. А им станут предписывать не только новый, но и совсем противоположный образ жизни; такой перемены не вынесет и здоровый человек. Заставьте семидесятилетнего бретонца пить одну родниковую воду, заприте моряка в ванную комнату, запретите лакею-баску гулять, лишите его движения, воздуха и света.

An vivere tanti est?[666]

Cogimur a suetis animum suspendere rebus,

Atque, ut vivamus, vivere desinimus.

Hos superesse reor, quibus et spirabilis aer

---

[666] Примечания: 666

Стоит жизнь такой цены? (*лат.*) Источник неизвестен.

Et lux qua regimur redditur ipsa gravis?[667]

Если врачи не делают ничего хорошего, то они хоть подготовляют заблаговременно своих больных к смерти, подтачивая постепенно их здоровье и понемногу ограничивая их во всех жизненных проявлениях. И здоровый, и больной, я всегда готов был поддаться обуревавшим меня влечениям. Я очень считаюсь со своими желаниями и склонностями. Я не люблю лечить одну беду с помощью другой и ненавижу лекарства, еще более докучные, чем болезнь. Страдать от колик и страдать от того, что лишаешь себя удовольствия есть устрицы, — это две беды вместо одной. Мучит нас болезнь, мучит и режим. Раз мы и так и этак вынуждены идти на печальный риск, давайте, рискуя, получать хоть какое-то удовольствие. Люди же обычно поступают наоборот, считая, что полезным может быть только неприятное: все, что не тягостно, кажется им подозрительным. Аппетит мой во многих случаях обходился без постороннего вмешательства, во всем завися от

[667] Примечания: 667

Нас заставляют отучить душу от привычных вещей, и, чтобы жить, мы перестаем жить. Можно ли считать живущими тех, кого лишают и воздуха, которым мы дышим, и света, столь много значащего для нас? (*лат.*) Максимиан, I, 155–156, 247–248.

состояния моего желудка. Острые приправы и соусы я любил, когда был молод. Затем они стали вредить моему желудку, и я тотчас же потерял к ним всякий вкус. Вино вредно больным: когда я болен, первое, к чему я начинаю испытывать непреодолимое отвращение, — это именно к вину. Все, что мне противно, является и вредным для меня, как не причиняет вреда ничто из того, к чему у меня есть влечение и вкус. Никогда не приходилось мне страдать, если я делал нечто для меня приятное, и я всегда смело жертвовал врачебными предписаниями ради своего удовольствия. В молодости,

> *Quem circumcursans huc atque huc saepe Cupido*
>
> *Fulgebat, crocina splendidus in tunica*[668],

я предавался обуревавшему меня желанию с таким же безудержным сладострастием, как любой другой юноша,

> *Et militavi non sine gloria*[669],

---

[668] Примечания: 668

Когда порхающий взад и вперед Купидон блистал возле меня, облаченный в великолепную пурпурную тунику (*лат.*). Катулл, XVIII, 133 сл.

[669] Примечания: 669

И сражался не бесславно (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 26, 2.

но выражалось это у меня больше в длительности и непрерывности его, чем в количестве любовных приступов:

Sex me vix memini sustinuisse vices[670].

Мне даже стыдно признаться, в каком необычайно юном возрасте познал я впервые власть желания. Вышло это случайно, ибо событие совершилось задолго до того, как я вступил в возраст сознания и разума. Никаких других воспоминаний о тех годах у меня нет, и мою судьбу можно сравнить с судьбою Квартиллы, не помнившей времени, когда она была еще девственницей.

Inde tragus celerèsque pili, mirandaque matri

Barba meae[671].

Часто врачи весьма благотворно согласуют свои предписания с теми сильными желаниями, которые возникают у больных: такая сила потребности в чем-то внушается самой природой, и в ней не может быть ничего вредного. И

---

[670] Примечания: 670

Помню, что счет у меня едва доходил до шести (*лат.*). Овидий. *Любовные элегии,* III, 7, 26.

[671] Примечания: 671

Вот почему я стал похотлив и рано оброс волосами, и мать была поражена моей бородой (*лат.*). Марциал, XI, 27, 7.

затем, как важно утолить свою фантазию! На мой взгляд, все зависит от этого, во всяком случае, больше, чем от чего-либо другого. Самые частые и тяжкие болезни — те, которыми мы обязаны своему воображению. Мне во многих отношениях чрезвычайно нравится испанская поговорка: Defienda me dios de mi[672]. Когда я болен, то очень жалею, если у меня нет желания, удовлетворив которое, я мог бы получить удовольствие, и врачам было бы нелегко отвратить меня от этого. Так же обстоит со мной и когда я здоров: самое лучшее для меня — надеяться и хотеть. Плохо, когда и желания твои слабы и хилы.

Искусство врачевания еще не имеет столь твердо установленных правил, чтобы мы, делая что угодно, не могли сослаться на какой-либо авторитет: предписания медицины меняются в зависимости от климата, от лунных фаз, от теорий Фернеля или Скалигера. Если ваш врач не дает вам спать вволю, пить вино, есть такой-то сорт мяса, не тревожьтесь: я найду вам другого, который выскажет противоположное мнение. Различия во мнениях и доводах у врачей принимают любого рода формы. На моих глазах некий

[672] Примечания: 672
Защити меня, Боже, от меня самого (*исп.*). Поговорка.

больной изнемогал и мучился от жажды, чтобы выздороветь, а после другой врач смеялся над ним, осуждая этот совет, как пагубный. На пользу ли ему пошла его мука? Недавно от камней в почках умер один человек того же ремесла, прибегнувший для борьбы со своей болезнью к самой крайней воздержанности. Сотоварищи его утверждают, что, напротив, голодовка только иссушила ему ткани и песок у него в почках спекся.

Я заметил, что при ранениях и во время болезни говорить мне вредно, так как это возбуждает меня не меньше, чем беспорядочные движения. Голос у меня громкий, резкий, я напрягаюсь и утомляюсь, когда говорю. Доходило до того, что когда я являлся к сильным мира беседовать о важных делах, им приходилось просить меня умерить мой голос. Вот рассказ, который меня позабавил: в одной греческой школе кто-то говорил очень громко, как я; наблюдавший за порядком велел передать ему, чтобы он говорил потише. «Пусть он мне покажет, — возразил тот, — каким тоном должен я говорить». Ему ответили, чтобы он равнялся на слушающего. Ответ неплохой, но при условии, что смысл его был таков: говорите так или иначе в зависимости от сути того, что хо-

тите сказать своему собеседнику. Ибо если совет означал: достаточно, чтобы он вас услышал, — или: соразмеряйтесь с его слухом, — я не считаю его правильным. На мой взгляд, тон, высота голоса всегда что-то выражают и обозначают. Я и должен пользоваться им так, чтобы он меня представлял. Один голос поучает, другой льстит, третий бранит. Я хочу, чтобы мой голос не только дошел до слушающего, но чтобы он, когда нужно, поразил его и пронзил. Когда я распекаю своего слугу резким и язвительным голосом, ему подобает сказать мне: «Хозяин, говорите-ка потише, я вас отлично слышу». Est quaedam vox ad auditum accommodata, non magnitudine, sed proprietate[673]. Произнесенные слова принадлежат наполовину говорящему, наполовину слушающему. Последний должен принимать их так, как они ему брошены, подобно тому как во время игры в мяч принимающий делает те или иные движения в зависимости от движений бросающего или от характера броска.

Опыт научил меня и тому, что мы губим себя нетерпением. Беды наши имеют свою жизнь и

[673] Примечания: 673

Есть некий голос, который хорошо доходит до слушателя не потому, что громок, а в силу присущих ему особых свойств (*лат.*). Квинтилиан. *Обучение оратора,* XI, 3.

свой предел, свои болезни и свое здоровье. Болезни обладают тем же строением, что и живые существа. Едва зародившись в нас, они следуют своей строго определенной судьбе, им тоже дается некий срок. Тот, кто хочет во что бы то ни стало насильственно сократить или прервать их течение, только удлиняет его, только усиливает недуг, вместо того чтобы его затушить. Я согласен с Крантором, что не следует ни упорно и безрассудно сопротивляться болезни, ни безвольно поддаваться ей, а надо предоставить ее естественному течению в зависимости и от ее свойств, и от наших. Пусть болезни проходят сами собой, и я нахожу, что они меньше длятся у меня, не вмешивающегося в их течение. Даже от самых упорных и стойких недугов я избавлялся благодаря их естественному прекращению, без помощи врачевания и вопреки правилам медицины. Предоставим природе действовать по ее усмотрению: она лучше знает свое дело, чем мы. «Но, — говорят мне, — такой-то умер от этой болезни». Вы тоже умрете, не от этой, так от другой. А сколько людей умерло от нее, хотя за ними и ходили три врача? Пример — зеркало довольно неясное: все в него смотрятся и все, что угодно, в нем видят. Если вам предлагают приятное лече-

ние, соглашайтесь на него: на этом вы ничего не потеряете. Меня не смутят ни название, ни цвет лекарства, если оно приятно на вкус и вызывает аппетит.

Удовольствие — одно из главных видов пользы. Сколько раз нападали на меня и сами собою проходили простуда, флюс, подагрические и сердечные приступы, мигрени, которые оставили меня, когда я уже почти примирился с тем, что надолго буду их жертвой. С ними легче справляться, потакая им, чем сопротивляясь. Мы должны кротко подчиняться установленному для нас самой судьбой закону. Ведь мы и созданы для того, чтобы стареть, слабеть, болеть, несмотря ни на какое врачевание. Это первый урок, который мексиканцы преподают своему потомству; едва оно успеет появиться из материнского чрева, как они приветствуют его словами: «Дитя, ты явилось в мир, чтобы терпеть: терпи же, страдай и молчи».

Несправедливо жаловаться на то, что с кем-то случилось нечто такое, что может случиться с каждым, indignare si quid in te inique proprie constitutum est[674]. Взгляните на старика, кото-

[674] Примечания: 674

Возмущайся, если несправедливость совершена только по отношению к тебе (*лат.*). *Письма,* 91, 15.

рый молит Бога, чтобы он даровал ему полноту сил и здоровья, то есть вернул ему молодость.

> *Stulte, quid haec frustra votis puerilibus optas?*[675]

Разве это не глупость, противная естественным условиям возраста? Подагра, почечные колики, несварение желудка — признаки пожилых лет, как зной, дождь и ветер — неизменные спутники длительных путешествий. Платон не считает, что Эскулап озабочен тем, чтобы благодаря его предписаниям сохранить жизнь в разрушенном, ослабевшем теле, бесполезном отечеству, бесполезном делу, которым оно занималось, бесполезном и для производства здорового, крепкого потомства. Не считает он также, что божественной мудрости и справедливости, все ведущей ко благу, подобало бы об этом заботиться. Милейший старик, ничего не поделаешь: тебя уже не поставить на ноги. Можно немножко починить, немножко подправить, продлить еще на несколько часов твое жалкое существование,

> *Non secus instantem cupiens fulcire*

---

[675] Примечания: 675

Глупец! Что ты тщетно предаешься ребяческим мечтам? (*лат.*) Овидий. *Скорбные элегии,* III, 8, 11.

ruinam,
Diversis contra nititur obicibus,
Donec certa dies, omni compage soluta,
Ipsum cum rebus subruat auxilium[676].

Надо уметь переносить то, чего нельзя избежать. Наша жизнь, подобно мировой гармонии, слагается из вещей противоположных, из разнообразных музыкальных тонов, сладостных и грубых, высоких и низких, мягких и суровых. Что смог бы создать музыкант, предпочитающий лишь одни тона и отвергающий другие? Он должен уметь пользоваться всеми вместе и смешивать их. Так должно быть и у нас с радостями и бедами, составляющими нашу жизнь. Само существование наше немыслимо без этого смешения; тут необходимо звучание и той и другой струны. Пытаться восставать против естественной необходимости — значит проявлять то же безумие, что и Ктесифонт, который бил своего мула ногами, чтобы с ним справиться.

Я редко обращаюсь к врачам, когда чувствую

---

[676] Примечания: 676

Не иначе как тот, кто старается поддержать разрушающуюся стену и для этого ставит всякого рода подпорки, пока в один прекрасный день его сооружение не развалится и не рухнет со всеми подпорками (*лат.*). Максимиан, I, 171–174.

себя плохо, ибо люди эти, видя, что вы в их власти, становятся заносчивыми. Они забивают вам уши своими прогнозами, а недавно, найдя меня ослабевшим от болезни, они гнуснейшим образом донимали меня своими догматами и своей ученой напыщенностью, угрожая мне то тяжкими страданиями, то близкой смертью. Я не был этим ни угнетен, ни потрясен, но меня охватило раздражение и возмущение. И хотя мысли мои не ослабели и не помутились, им все же пришлось преодолеть какие-то препоны, а это всегда означает волнение и борьбу.

Между тем я стараюсь, чтобы воображение мое ничем не омрачалось, и если бы я только мог, то избавил бы его от малейшей неприятности, малейшего смятения. Ему надо по возможности приходить на помощь, ласкать его, обманывать. Разум мой к этому весьма склонен — у него наготове любые доводы, и он оказывал бы мне большую услугу, если бы его проповеди всегда убеждали.

Хотите пример? Он говорит, что камни в почках для меня даже к лучшему; что вполне естественно в моем возрасте немного страдать от подагры (моим органам уже пришло время слабеть и портиться; это для всех неизбежно, и не могу же

я рассчитывать, что ради меня произойдет чудо? Тем самым я плачу дань старости и даже довольно дешево отделываюсь); что я не один в таком положении и должен этим утешаться: болезнь эта — самая в моем возрасте обычная (повсюду вижу я людей, страдающих от того же самого, и для меня даже почетно находиться в их обществе, тем более что подагра чаще всего одолевает знатных людей и по самой природе своей обладает неким благородным достоинством); что мало кто из людей, страдающих ею, получал облегчение так легко, как я: им это стоило строгого режима и повседневной докуки принимать лекарства, мне же в данном случае просто повезло, ибо я без всякого отвращения проглотил несколько бесполезных, на мой взгляд, настоек чертополоха и грыжника исключительно ради дам, тем более любезных, чем болезнь моя жестока, которые предлагали мне половину своей порции. Для того чтобы без особых болей избавиться от большого количества песка, им приходится тысячу раз взывать к Эскулапу и выплачивать такое же количество экю своему врачу, а у меня это зачастую происходит само собой. Мне даже нетрудно при этом соблюдать приличие в обществе, и я могу задерживать мочу хоть десять часов подряд

и, во всяком случае, так же долго, как человек вполне здоровый. Страх перед этой болезнью, говорит мне разум, овладевал тобой в то время, когда ты с ней не был знаком: ужас внушали тебе отчаянные вопли тех, кто усугубляет недуг своим нетерпением. Болезнь эта поразила те твои члены, которыми ты более всего грешил. Ты ведь сознательный человек!

> *Quae venit indigne poena, dolenda venit*[677].

Кара, постигшая тебя, еще очень мягка по сравнению с тем, что терпят другие: это поистине отеческое наказание. Пришла она поздно, мучит и донимает тебя в том возрасте, который сам по себе бесплоден и никчемен, предоставив, словно по соглашению, твоей молодости предаваться всем радостям и удовольствиям. Страх этой болезни и сострадание, которое люди испытывают к пораженным ею, дают тебе право на известную гордость. Если ты в мыслях и свободен от нее, если она не проявляется в твоих речах, то друзья твои все же не могут не замечать мужества и достоинства в том, как ты держишься. Нельзя не

---

[677] Примечания: 677

Незаслуженное наказание особенно мучительно (*лат.*). Овидий. *Героиды*, V, 8.

испытывать удовлетворения, когда слышишь о себе: «Какая сила духа, какое терпение!» Люди видят, как на лбу у тебя выступает пот, как ты бледнеешь, краснеешь, дрожишь, как у тебя начинается кровавая рвота, жестокие судороги, как у тебя порою выступают слезы и то появляется густая, темная, ужасающего вида моча, то, напротив, она задерживается из-за какого-нибудь острого шероховатого камня, который режет и разрывает тебе ткани у входа в мочеиспускательный канал, но видят они также, что ты одновременно ведешь любезный разговор с посетителями, иногда даже шутишь со своими людьми, принимаешь участие в длительной беседе, стараясь словами заглушить боль и не показывать, что страдаешь. Припомни людей древности, жаждавших, чтобы их постигали бедствия и они тем самым могли непрерывно упражняться в добродетели. Подумай и о том, что в этом случае сама природа посодействовала твоему вступлению в эту славную философскую школу, приверженцем которой ты никогда не стал бы по доброй воле. Ты, может быть, скажешь мне, что болезнь эта — опасная и смертельная, но разве другие не таковы? Ибо когда врачи уверяют, что некоторые болезни отнюдь не ведут к смерти,

это с их стороны чистейший обман. Не все ли равно, наступает конец благодаря внезапному приступу или же к смертному исходу приводит нас ровное течение болезни? Но ты умираешь не потому, что ты болеешь, а потому, что ты живешь. Смерть покончит с тобой и без помощи болезни. А некоторых болезнь даже избавляла от скорой смерти, и они жили дольше, думая, что вот-вот умрут. К тому же болезни, как и раны, бывают лечебными и спасительными. Каменная болезнь часто бывает не менее живучей, чем ты сам. Есть люди, у которых она была с детства и до глубокой старости, и если бы некоторые не избавились от нее, она бы и дальше сопровождала их на жизненном пути. Люди убивают ее чаще, чем она их, а если бы даже она и являла тебе образ близкой смерти, то разве это не добрая услуга — внушать человеку преклонных лет помыслы о кончине? А хуже всего, что тебе-то уже незачем держаться за жизнь. Так или иначе, но в некий день и тебя постигнет неизбежная участь. Подумай, как искусно и с какой постепенностью внушает она тебе отвращение к жизни и отдаляет от мира. Она не терзает тебя своей тиранической властью, как многие другие болезни старческих лет, которые не дают своим жертвам передышки между при-

ступами слабости и болей. Она приучает к мысли о смерти медленно, с перерывами, с длительными паузами между приступами, словно для того, чтобы ты мог сколько угодно обдумывать и повторять урок. А чтобы дать тебе возможность здраво рассуждать обо всем и мужественно примириться с неизбежным, она представляет тебе твое состояние в целом, и с хорошими и с дурными сторонами, и в один и тот же день делает жизнь твою то довольно легкой, то невыносимой. Если ты и не попадаешь прямо в объятия смерти, то, во всяком случае, раз в месяц пожимаешь ей руку. Благодаря этому ты можешь даже надеяться, что однажды она завладеет тобою незаметно: ты так часто бывал уже почти в гавани, что и тут будешь думать, будто все обстоит как обычно, а между тем в одно прекрасное утро тебя с твоей доверчивостью переправят на ту сторону так, что ты и осознать этого не успеешь. Нечего жаловаться на болезнь, которая честно чередуется со здоровьем.

Я благодарен судьбе за то, что она так часто нападает на меня с одним и тем же оружием, так что я приучаюсь переносить его удары, закаляюсь, приобретаю навык к сопротивлению и, во всяком случае, знаю, чего мне ожидать. Не обладая хо-

рошей памятью, я прибегаю к помощи бумаги и записываю каждый новый симптом моего недуга. Так как я испытал на себе почти все возможные проявления его, то, чувствуя начало приступа, я перелистываю свои записи, не связанные между собой, как изречение сивиллы, и почти всегда нахожу в своем прошлом опыте какое-нибудь утешительное для себя благоприятное предсказание. Привычка помогает мне и надеяться на будущее, ибо камни у меня выходят уже в течение долгого времени одинаковым образом, и я имею основание думать, что природа ничего тут не изменит и хуже того, что я обычно ощущаю, не будет. К тому же условия, при которых протекает эта болезнь, довольно хорошо согласуются с моей склонностью к быстроте и решительности. Когда приступы болезни не очень мучительны, это меня даже тревожит, ибо в таком случае они гораздо продолжительнее. Обычно же болезнь проявляется в сильных, но кратких приступах и дает мне в течение одного-двух дней основательную встряску. Мои почки действовали исправно столько времени, сколько в среднем живет человек; и почти столько же времени я ими страдаю.

В жизни и хорошему и дурному положен определенный срок: может быть, и эта беда подходит

к концу. С возрастом ослабел жар моего желудка: он варит уже не так хорошо и передает почкам полусырой материал. Почему через некоторое время не уменьшится и жар почек, так что они уже не смогут превращать мою желчь в камень и природе придется искать какой-нибудь другой способ выведения отбросов из организма? В течение прожитых лет в нем, очевидно, иссякли источники ревматических болей. Почему не может случиться то же самое с выделениями, порождающими почечные камни?

Но есть ли на свете что-либо приятнее внезапного облегчения, когда после невыносимых болей камень наконец выходит и ко мне с быстротой молнии свободно и полностью возвращается сладостный свет здоровья, как это бывает после внезапных и наиболее мучительных приступов? Разве перенесенные страдания хоть в чем-то перевешивают блаженство столь быстрого улучшения? Насколько сладостнее для меня здоровье после болезни, только что миновавшей, еще совсем близкой, так что я могу противопоставить их друг другу в самом ярком их проявлении, когда они словно красуются друг перед другом, соперничают и борются! Вслед за стоиками, которые говорят, что и у пороков есть своя польза, — они

придают цену добродетелям и как бы поддерживают их, — мы можем с еще большим основанием и гораздо менее дерзновенно утверждать, что природа даровала нам боль в помощь и славу наслаждению и истоме. Когда с Сократа сняли оковы и он ощутил приятный зуд там, где тяжесть их раздражала кожу его ног, он порадовался, что имеет возможность испытать, как тесно связаны страдание и удовольствие, как неизбежна эта их взаимная связь, при которой они следуют друг за другом и порождают друг друга. И он воскликнул, что доброму Эзопу следовало бы извлечь из этого наблюдения подходящий сюжет для басни.

На мой взгляд, в других болезнях самое худшее то, что они менее тяжелы по своим проявлениям, чем по своему исходу: целый год ты не можешь поправиться, охваченный слабостью и страхом; на путях к выздоровлению столько случайностей, и оно может происходить лишь так постепенно, что никак его не завершить; прежде чем тебе позволят снять головную повязку, а затем ермолку, прежде чем тебе дадут снова подышать свежим воздухом, выпить вина, переспать с женой, поесть дыни — редко, редко, если на тебя не навалится какая-нибудь новая хворь. У моей же то преимущество, что проходит она начисто, то-

гда как другие оставляют в нашем теле какой-то след, какой-то изъян, из-за чего оно становится подверженным еще иным болезням, которые все время словно помогают друг другу. Мы можем извинить те недуги, что довольствуются своей властью над нами, не распространяются и не приводят за собою свою свиту, но по-настоящему любезны и милостивы те, что, посетив нас, принесли нам и некую пользу. Заболев каменной болезнью, я, как мне кажется, стал гораздо реже подвергаться всякой другой хвори, — так, с тех пор меня никогда не лихорадит. Думается мне, что частые сильные рвоты, которыми я страдаю, очищают мои внутренности, а с другой стороны, отвращение к пище и необычное воздержание содействуют перевариванию вредных соков, и сама природа выводит вместе с этими камнями все лишнее и пагубное. Пусть не говорят мне, что плата за подобное врачевание непомерно велика: а что сказать обо всех этих зловонных зельях, прижиганиях, разрезах, потогонных средствах, заволоках, диетах и других способах лечения, часто доводящих нас до смерти из-за того, что мы не можем вынести тягот и мучений, которых они нам стоят? Таким образом, когда я мучаюсь болями, то считаю их своего рода лекарством,

когда же они меня отпускают, то полагаю, что излечен раз и навсегда.

Вот еще одно особое преимущество моего недуга: он делает свое дело и, в общем, не препятствует мне делать мое, вмешиваясь в него лишь настолько, насколько у меня не хватает мужества терпеть. В самый острый его период я десять часов провел верхом на коне. Надо только терпеливо переносить боль, никакого другого режима не требуется: играйте, обедайте, бегайте, делайте и то и это, если можете, — разгул вам скорей пойдет на пользу, чем повредит. То же самое можно посоветовать сифилитику, подагрику, больному грыжей. С другими болезнями приходится считаться больше: они гораздо сильнее стесняют наши действия, нарушают наш привычный распорядок, и из-за них нам приходится менять весь образ жизни. Моя же болезнь только щиплет кожу, не влияя ни на разум, ни на волю, не отнимая у больного ни языка, ни ног, ни рук и скорее возбуждая его, чем погружая в оцепенение. Душу человека потрясает лихорадочный жар, ввергает в беспамятство падучая, разрывает острая мигрень и, наконец, сокрушают другие болезни, поражающие все наше тело или самые благородные его члены. А здесь душа остается

незатронутой. Если ей плохо, то по ее же вине; она сама себя предает, сама себя развинчивает, сама себя лишает мужества. Только глупцы способны поверить, что твердое и плотное вещество, образующееся у нас в почках, может раствориться от лекарств. Поэтому, как только оно сдвинулось с места, надо обеспечить ему проход, да, впрочем, оно и само это сделает.

Отмечаю еще одно преимущество: при этой болезни нам ни о чем гадать не приходится. Мы свободны от волнения, в которое повергают нас прочие недуги из-за неясности причин, обстоятельств и течения, а волнение это мучительно. Нам ни к чему советы и толкования врачей: по собственным ощущениям узнаем мы, что это и где.

Убедительны или нет эти мои доводы, подобные тем, которыми пользовался Цицерон, говоря о болезни старости, но ими я пытаюсь успокоить и развлечь свое воображение, пролить бальзам на его раны. Если завтра они сильнее воспалятся, постараемся найти новые уловки.

Да будет так. С тех пор как я все это написал, у меня стала снова при малейшем движении выступать из мочевого канала кровь. И несмотря на это, я продолжаю двигаться, как всегда, и с

юношеским пылом и дерзостью скачу верхом за своими охотничьими псами. Я нахожу, что отлично справлюсь с этой крупной неприятностью, которая стоит мне лишь тупой боли и жжения в этой части тела. Наверно, крупный камень терзает и разрывает ткани моих почек, отчего понемногу с мочой и кровью вытекает из меня жизнь, как ненужные, даже вредные нечистоты, и я испытываю при этом нечто вроде приятного чувства. Есть ли у меня ощущение какого-то конца? Во всяком случае, не ждите, что я стану щупать себе пульс и изучать свою мочу, для того чтобы получить какое-нибудь неприятное предсказание; я уж успею почуять беду и не предваряя ее страхом. Кто боится страданий, тот страдает уже от своей боязни.

Добавлю, что неуверенность и невежество тех, кто притязает на истолкование законов природы и ее внутренних сил, а также их частые ошибки в предсказании должны убедить нас, сколько у природы неизвестных нам возможностей: и в том, что она нам сулит, и в том, чем она нам угрожает, много темного, неясного, противоречивого. Ни в каких случайностях и событиях нашей жизни, кроме старости, — несомненного признака надвигающейся кончины, — не могу я усмотреть

никаких законов, по которым мы могли бы строить догадки о своем будущем.

О себе самом я могу судить лишь по своему непосредственному чувству, а не по догадкам. Но к чему и это, раз я не призываю на помощь ничего, кроме терпеливого ожидания? Хотите знать, что я на этом выигрываю? Посмотрите на тех, кто поступает иначе, ставя себя в зависимость от стольких разнообразных советов и уговоров: как часто заболевают они в воображении, когда тело еще здорово! Нередко я, хорошо себя чувствуя после опасного приступа болезни, с удовольствием расписывал врачам его симптомы, якобы начавшие у меня появляться. Я совершенно безмятежно выслушивал их ужасные заключения и еще больше благодарил Бога за его милосердие и еще глубже постигал всю суетность врачебного искусства.

Деятельность и бдительность — вот качества, которые больше всего необходимо воспитывать в молодежи. Жизнь наша в сплошном движении. Мне расшевелиться трудно, и я все делаю с запозданием: и встаю, и ложусь, и принимаю пищу. Семь часов для меня — раннее утро, и там, где я распоряжаюсь, я не обедаю раньше одиннадцати, а ужинаю всегда после шести вечера. Прежде я

усматривал причину донимавших меня лихорадок и других недугов в осоловелом и дурманном состоянии, в котором находился после долгого сна, и всегда раскаивался, что сплю по утрам. Злоупотребление сном Платон считал более пагубным, чем злоупотребление вином. Я люблю спать на твердом ложе и один, даже без своей жены, по-королевски и под плотным одеялом. Я не позволяю согревать мне постель, но с тех пор, как я стал стар, мне по мере необходимости кладут лишние простыни на ноги и на живот. Великого Сципиона попрекали за то, что он любил долго спать, но, по-моему, лишь потому, что людям было досадно — как это в нем самом нечего осудить. В моем жизненном обиходе важнее всего для меня, пожалуй, постель, но и тут я, как всякий другой человек, без труда приспосабливаюсь к обстоятельствам. Много времени уделял я сну в течение всей моей жизни, да и теперь, в пожилом возрасте, сплю восемь — десять часов подряд. Однако я с пользой для себя преодолеваю эту склонность к лени и чувствую себя лучше: сперва, правда, испытываешь неприятные ощущения, но через три дня привыкаешь. Я не знаю человека, который довольствовался бы меньшим в случае необходимости, который бы так много двигался

и для которого физический труд был бы менее тяжел. Тело мое может выдерживать и тяжкие усилия, если они не порывисты и не внезапны. Я избегаю слишком резких телесных упражнений, вызывающих пот. Мое тело устает еще до того, как успеет разогреться. Я могу целый день оставаться на ногах и с удовольствием гуляю, но по мостовой я еще с детских лет предпочитал ездить верхом: идя пешком, я всегда оказываюсь вымазанным в грязи. Вдобавок людей невысокого роста на улицах постоянно пинают и толкают, так как они малозаметны. Отдыхать я любил лежа или сидя, но так, чтобы ноги были выше сиденья.

Нет занятия более привлекательного, чем военное дело. Благородно оно и в своем внешнем проявлении (ибо самая мощная, самоотверженная и блистательная добродетель — отвага), и в основе своей не существует дела более правого и более важного для всех, чем защита родины и охрана ее величия. Есть нечто веселящее сердце в обществе стольких молодых, деятельных, благородных людей, в том, что трагическое зрелище становится привычным, в свободной и безыскусственной беседе, в суровой простоте образа жизни и отношений между людьми, в пестром разнообразии того, что приходится делать, в

порождающих отвагу звуках военной музыки, возбуждающе действующей и на слух и на душу, в чести, связанной с воинской долей, и даже в жестоких тяготах этой доли, которую Платон ценит так мало, что в своем «Государстве» делает ее доступной даже женщинам и детям. Добровольно становясь солдатом, возлагаешь на себя те или иные задачи, подвергаешься тем или иным опасностям, смотря по тому, насколько все это, на твой взгляд, доблестно и значительно, и с полным основанием жертвуешь даже своей жизнью:

pulchrumque mori sucurrit in armis[678].

Страшиться опасностей, которым подвергается на войне столько людей, не отваживаться на то, на что отваживаются сердца столь различные, — значит проявлять крайнее, низменнейшее малодушие. В сотовариществе с другими и дети проявляют мужество. Если кто-то превзошел тебя в знаниях, изяществе, силе, удачливости, можно ссылаться и на причины, от тебя не зависящие. Но если ты уступаешь себе подобным в твердости духа, то никого, кроме себя, обвинять не можешь. Смерть более отвратительна, медленна и тягост-

[678] Примечания: 678
Прекрасно умереть в сражении (*лат.*). *Энеида,* II, 317.

на в постели, чем на поле битвы, лихорадочное состояние или всевозможные катары так же мучительны, как рана от аркебузного выстрела. Тот, кто способен стойко переносить тяготы нашего повседневного существования, не имеет нужды усиливать свое мужество, берясь за оружие.

Vivere, mi Lucile, militare est[679].

Не помню, чтобы у меня когда-либо была чесотка.

Чесаться — одно из самых приятных и доступных удовольствий, какие даровала нам природа. Но за удовольствием этим слишком уж быстро следует искупление. Занятию этому я предаюсь главным образом, когда — временами у меня это бывает — ощущаю зуд в ушах.

Природа наделила меня всеми пятью чувствами без малейшего ущерба и почти в совершенстве. Желудок у меня достаточно хороший, голова ясная, и так бывает почти всегда, даже когда я болен; дышу я легко. Прошло уже шесть лет с тех пор, как я достиг пятидесятилетнего возраста, который многие народы не без основания считали пределом жизни, не допуская даже, чтобы кто-либо его переступал. У меня и теперь

---

[679] Примечания: 679

Жить, мой Луцилий, значит бороться (*лат.*). *Письма,* 96, 5.

бывает вполне хорошее самочувствие: правда, оно продолжается недолго, но тогда мне бывает настолько хорошо, что я вспоминаю о здоровье и беззаботности моей юности. О силе и бодрости я не говорю: нет никаких причин, чтобы они оставались при мне в моем возрасте.

Non haec amplius est liminis, aut aquae
Coelestis, patiens latus[680].

Лицо и глаза сразу выдают мой возраст и самочувствие. Именно в них с самого начала отражается каждая перемена в моем состоянии, и даже гораздо более резко, чем она ощущается мною на деле. Частенько мои друзья начинают выражать свою жалость ко мне до того, как я сам пойму, в чем дело. Глядясь в зеркало, я не тревожусь, так как и в молодости мне не раз случалось иметь плохой вид и цвет лица, которые могли внушить опасения, но ничего худого при этом не случалось. Врачи, не находившие в моем внутреннем состоянии ничего, что соответствовало бы внешним изменениям, приписывали их душевным волнениям или какой-либо тайной страсти, подтачивающей меня изнутри.

[680] Примечания: 680

Это тело больше не в силах переносить пребывание под открытым небом или терпеть ливни (*лат.*). Гораций. *Оды,* III, 10, 19 сл.

Но они ошибались. Если бы телом можно было управлять так же, как, на мой взгляд, управляют своими чувствами и мыслями, нам было бы куда легче жить. В то время в моей душе не только не было смятения, но напротив — она полна была мира и веселья, как это ей вообще свойственно наполовину от природы, наполовину по сознательному намерению.

> *Nec*
> *vitiant artus aegrae contagia mentis*[681].

Я убежден, что эта сила души неоднократно поднимала и слабеющее тело: оно у меня часто в упадке, она же если и не весела, то, во всяком случае, полна ясности и покоя. В течение четырех-пяти месяцев болел я четырехдневной лихорадкой, совершенно исказившей мой внешний облик, дух же оставался не только спокойным, но даже радостным. Если я не ощущаю никаких болей, то слабость и истома не порождают во мне уныния. Существует множество телесных страданий, их и называть-то страшно, но я опасаюсь их меньше, чем бесчисленных страстей и треволнений души, которые я вижу вокруг себя.

---

[681] Примечания: 681

Тревоги моей больной души не вредят телу (*лат.*). Овидий. *Скорбные элегии,* III, 8, 25.

Я мирюсь с тем, что мне уже не бегать, — с меня довольно и того, что я влачусь, — и не стану жаловаться на естественный упадок своих телесных сил.

> *Quis*
> *tumidum guttur miratur in Alpibus?*[682]

Не жалею я и о том, что проживу не столь долгой и мощной жизнью, как дуб. Нет у меня причин для жалоб и на свое воображение: в жизни я редко тревожился мыслями, способными лишить меня сна, разве что они связаны были с желанием, которое заставляло меня бодрствовать, не омрачая души. Я редко вижу сны, и большей частью то бывают фантастические образы и химеры, обычно порождаемые мыслями приятными и скорее смешными, чем грустными. По-моему, верно, что в снах хорошо проявляются наши склонности, но чтобы соединить в одно разрозненные сонные грезы и истолковать их, требуется особое искусство.

> *Res quae in vita usurpant homines, cogitant, curant, vident,*

---

[682] Примечания: 682

Кто удивится, увидев в Альпах зобатого? (*лат.*) Овидий, XIII, 25. Жители Альп часто страдали заболеваниями щитовидной железы, вызванными недостатком йода.

Quaeque agunt vigilantes, agitantque, ea sicut

in somno accidunt,

Minus mirandum est[683].

Платон идет еще дальше. Он полагает, что разум наш должен извлекать из снов предвещание будущего. Мне на этот счет нечего сказать, могу лишь напомнить удивительные примеры, приводимые Сократом, Ксенофонтом, Аристотелем, — людьми, чье свидетельство безукоризненно. История говорит, что атланты никогда не видят снов, они же не едят ничего, что претерпело смерть; могу добавить, что, возможно, по этой-то причине они не ведают сновидений. Ибо Пифагор советовал принимать определенную пищу для того, чтобы видеть те или иные сны.

У меня грезы легкие, они не выводят моего тела из состояния покоя и не заставляют меня говорить во сне. А в свое время мне приходилось видеть многих людей, которые из-за тревожных видений очень беспокойно спали. Философ Теон

---

[683] Примечания: 683

Неудивительно, что в сновидениях перед людьми проходит все то, чем они занимаются в жизни, о чем думают и заботятся, что видят, и делают, и замышляют, пока бодрствуют (*лат.*). Стих из трагедии Аттика, процитированный Цицероном: *О гадании,* III, 22. Примеры Сократа и т. д. — там же, 25.

бродил во сне взад и вперед, а слуга Перикла ходил даже по черепицам и гребню крыши.

Сидя за столом, я не выбираю кусков, а беру первый попавшийся, который поближе, и редко меняю свои вкусы в пище. Чрезмерное обилие блюд и мисок на столе неприятно мне, как любая чрезмерность. Я легко довольствуюсь малым количеством яств и решительно не согласен с мнением Фаворина, что на пиру нужно отнимать у человека блюдо, к которому он пристрастился, и подсовывать ему все время новые и что жалок тот ужин, где гостей не потчуют гузками различных птиц, ибо лишь дрозд стоит того, чтобы съесть его целиком. Я охотно ем солонину, но предпочитаю хлеб без соли, и в противоположность обычаю наших мест булочник поставляет к моему столу только такой хлеб.

Когда я был ребенком, взрослым приходилось всячески бороться с моим нежеланием есть именно то, что дети обычно любят: сласти, варенье, пирожные. Мой воспитатель старался отучить меня от этого отвращения к тонким яствам, как от своего рода утонченности. Но это и есть изысканность вкуса, в чем бы она ни проявлялась. Тот, кто борется с особенным, упорным пристрастием ребенка к черному хлебу, салу, чесноку,

лишает его лакомства. Есть люди, которые хотят прослыть простыми и неприхотливыми, вздыхая о говядине и свином окороке, когда им подают куропаток. Пусть стараются: они-то и есть самые прихотливые, у них вкус настолько изнежен, что им уже не хочется того, что они могут иметь когда угодно, per quae luxuria divitiarum taedio ludit[684]. Сущность этого порока в том и состоит, чтобы отказываться от изысканной пищи, потому что она есть у кого-то другого, чтобы придумывать для своего стола нечто необычайное:

> *Si modica coenare times olus omne patella*[685].

Тут, правда, есть та особенность, что лучше уж баловать себя вещами, которые легко достать, но любое баловство — порок. Я в свое время считал изнеженным одного из моих родственников, который, служа на наших галерах, разучился пользоваться обычными постелями и раздеваться для сна.

Если бы у меня были сыновья, я пожелал бы для

---

[684] Примечания: 684

Это забавы пресытившейся богатством роскоши (*лат.*). *Письма,* 18, 7.

[685] Примечания: 685

Если боишься отведать овощи, поданные в простой миске (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 5, 2.

них своей собственной доли. Добрый отец, которого дал мне Бог (и который от меня не получил ничего, кроме благодарности за свою доброту, но, правда, великой благодарности), почти из колыбели послал меня в одну из принадлежавших ему деревушек и держал меня там, пока мне нужна была кормилица, и даже еще дольше, приучая меня к самому простому и бедному образу жизни: Magna pars libertatis est bene moratus venter[686]. Не берите на себя самих, а тем более не поручайте женам заботу о питании своих детей. Пусть они растут как придется, подчиняясь общему для всех естественному закону, пусть они приучаются и привыкают к воздержанию и простоте, пусть они лучше идут от суровой жизни к легкой, чем обратно. Отец мой преследовал еще и другую цель: он хотел, чтобы я узнал народ, познакомился с участью простых людей, нуждающихся в нашей поддержке, и полагал, что мне лучше глядеть туда, откуда ко мне протягивают руки, чем туда, где мне поворачивают спину. По той же причине он избрал в качестве моих восприемников у купели людей самого скромного звания, чтобы между ними и мной возникли тесные отношения

[686] Примечания: 686

Свобода в значительной степени зависит от нетребовательного желудка (*лат.*). *Письма,* 123, 3.

и привязанность.

В надеждах своих он не обманулся. Я люблю дружить с маленькими людьми — как потому, что в этом есть нравственная заслуга, так и по природной своей сострадательности, во многом руководящей мною. В наших гражданских распрях я склонен более резко осуждать партию победоносную и процветающую, и она сразу завоюет мое сочувствие, когда я увижу ее несчастной и угнетенной. Как по сердцу мне душевное благородство Хелониды, дочери и супруги спартанских царей! Когда во время разразившейся в их городе смуты муж Хелониды Клеомброт одержал верх над ее отцом Леонидом, она показала себя хорошей дочерью и разделила участь отца в его беде и в изгнании, противостоя победителю. Но когда переменилось счастье, изменилась и ее воля, и она мужественно приняла сторону своего супруга и сопровождала его всюду, куда его бросала злая судьба, считая, видимо, что единственный для нее правильный выбор — быть с тем, кому она больше нужна и кто больше нуждается в ее сострадании. Натуре моей более свойственно следовать примеру Фламинина, которому ближе были те, кто в нем нуждался, чем те, кто мог его облагодетельствовать, нежели примеру Пирра,

унижавшегося перед сильными и надменного со слабыми.

Я не люблю продолжительного застолья, и оно мне вредно. Ибо я, видимо, с детства привык, не имея за столом иного занятия, есть все время, пока длится трапеза. Однако у себя дома, где, впрочем, не засиживаются за трапезой, я люблю приходить к столу немного позже других, как это делал Август, но я не подражаю ему в привычке выходить из-за стола раньше всех. Напротив, я люблю длительный отдых за столом после еды и рассказы сотрапезников, только бы мне самому не приходилось говорить, ибо я устаю и плохо себя чувствую, если говорю на полный желудок, хотя нахожу, что крики и споры перед едой очень полезны и приятны. Древние греки и римляне поступали правильнее, чем мы, посвящая, если их не отвлекало какое-нибудь другое чрезвычайное дело, принятию пищи — главному событию повседневной жизни — много часов и даже добрую половину ночи: они ели и пили не так быстро, как мы, привыкшие во всем, что нами делается, мчаться, словно на почтовых, уделяли этому естественному удовольствию больше времени и предавались ему более утонченно, сопровождая его поучительной и приятной беседой.

Те, кто обо мне заботится, легко могут не подавать мне пищи, которую считают для меня вредной: ибо я никогда не желаю и не требую ничего такого, чего не вижу на столе. Но зато они даром теряли бы время, проповедуя мне воздержание от стоящих передо мной кушаний. Так что, возымев намерение попоститься, я должен не выходить к общему столу, и мне надо подавать ровно столько, сколько в данном случае положено, ибо едва я усядусь за стол, как сразу забываю о своем намерении. Когда я отдаю распоряжение, чтобы какое-нибудь блюдо было приготовлено по-другому, слуги мои уже знают, что я потерял к нему аппетит и не стану есть его в прежнем виде.

Мясо, если оно подходящего сорта, я люблю недоваренное, а предпочтительнее провяленное и в некоторых случаях даже с легким душком. Не переношу лишь, когда оно жесткое, что же касается всяких других свойств, то здесь я не привередлив и меня легче удовлетворить, чем любого из моих знакомых. Вопреки общему вкусу я даже рыбу нахожу иногда чрезмерно свежей и твердой. Дело не в моих зубах — они у меня всегда были превосходные, и даже возраст мой начинает угрожать им только сейчас. С детства я

приучился вытирать их салфеткой и по утрам, и перед едой, и после.

Бог милостив к тем, у кого проявление жизни он отнимает постепенно: это единственное преимущество старости. Тем менее тяжкой и мучительной будет окончательная смерть: она унесет лишь пол- или четверть человека. Вот у меня только что выпал зуб — без усилий, без боли: ему пришел естественный срок. И эта частица моего существа и многие другие уже отмерли, даже наиболее деятельные, те, что были самыми важными, когда я находился в расцвете сил. Так-то я постепенно истаиваю и исчезаю. Я опустился уже настолько низко, что было бы нелепо, если бы последнее падение ощутилось мною так, словно я упал с большой высоты. Надеюсь, что этого не будет.

По правде говоря, при мысли о смерти главное мое утешение состоит в том, что явление это естественное, справедливое и что если бы я требовал и желал от судьбы какой бы то ни было милости в этом отношении, такая милость была бы чем-то незаконным. Люди воображают, что некогда род их обладал и более высоким ростом, и большим долголетием. Но Солон, живший в те древние времена, считает крайним пределом существования

семьдесят лет. Я, всегда безраздельно чтивший ἄριστον μέτρον [687]древности и считавший самой совершенной мерой золотую середину, могу ли притязать на чрезмерную, противоестественную старость? Все, что противостоит естественному течению вещей, может быть пагубным, но то, что ему соответствует, всегда должно быть приятным. Omnia quae secundum naturam fiunt, sunt habenda in bonis[688]. И Платон говорит в одном месте, что смерть от ран и болезней насильственна и мучительна, та же, к которой нас приводит старость, — наиболее легкая и даже восхитительная! Vitam adolescentibus vis aufert, senibus maturitas[689].

Ко всему в нашей жизни незаметно примешивается смерть: закат начинается еще до своего часа, а отблеск его освещает даже наше победное шествие вперед. У меня есть изображения мои в возрасте двадцати пяти и тридцати пяти лет. Я сравниваю их с моим нынешним обликом:

---

[687] Примечания: 687

Наилучшая мера (*греч.*).

[688] Примечания: 688

Все, что делается по природе, считай правильным (*лат.*). Цицерон. *О старости,* 19.

[689] Примечания: 689

Молодых лишает жизни насилие, стариков — преклонный возраст (*лат.*). Там же.

насколько эти портреты уже не я и насколько я такой, каким стал сейчас, дальше от них, чем от того облика, который приму в миг кончины. Мы слишком много требуем от природы, надоедая ей так долго, что она вынуждена лишать нас своей поддержки, оставлять наши глаза, зубы, ноги и все остальное на милость чуждых ей помощников, которых нам приходится умолять о помощи: устав от наших домогательств, природа препоручает нас искусству.

Я не очень большой любитель овощей и фруктов, за исключением дынь. Мой отец терпеть не мог соусов, я же люблю соусы всякого рода. Пресыщение для меня тягостно, но не могу сказать, чтобы какой-либо сорт мяса был мне вреден. Безразлично мне также, полная ли светит луна или ущербная, осень ли на дворе или весна. От времени до времени в нас рождаются случайные и бессознательные причуды. Так, например, редьку я сперва находил полезной для себя, потом вредной, теперь она снова приносит мне пользу. Во многом желудок мой меняет свои склонности, появляется аппетит то к одному, то к другому: от белого вина я перешел к кларету, потом опять вернулся от кларета к белому. Я охотник до рыбы и постные дни превращаю в скоромные, празд-

ником для меня становятся посты. Я согласен с теми, кто считает, что рыба переваривается легче мяса. Признавшись, что в постные дни я ем мясо, добавлю, что вкус мой побуждает меня перемежать рыбные и мясные блюда: резкое различие между ними для него приятно.

С юных лет я порою нарочно лишал себя какой-нибудь трапезы: либо для того, чтобы с большей охотой поесть на следующий день (ибо в противоположность Эпикуру, который постничал, чтобы отучить свой вкус от изобилия яств, я это делал для того, чтобы потом с особенным удовольствием излишествовать); либо для того, чтобы сохранить для какого-нибудь дела телесные или умственные силы, ибо у меня пресыщение весьма тягостно отражается и на том и на другом, и мне особенно противно недостойное совокупление богини столь бодрой и веселой с этим божком плохого пищеварения и отрыжки, раздувшимся от винных паров; либо ради излечения больного желудка; либо из-за того, что у меня не было подходящего общества, ибо я согласен с тем же Эпикуром, что важно не столько то, какую пищу ты вкушаешь, сколько то, с кем ты ее вкушаешь, и одобряю Хилона, который не захотел обещать, что придет на пир к Периандру, пока ему не стало

известно, кто будут другие сотрапезники. Приятное общество для меня — самое вкусное блюдо и самый аппетитный соус.

Я полагаю, что правильнее есть зараз меньше, но вкуснее, и чаще принимать пищу. Однако я хочу удовлетворить при этом и свой аппетит, и голод: мне не доставило бы никакого удовольствия поглощать унылую пищу три или четыре раза в день насильно, по предписанию врача. Кто может обещать мне, что охота к еде, которую я испытываю сегодня утром, вернется ко мне и в час ужина? Нам, старикам, надо особенно стараться не упустить времени, когда нам вдруг захотелось поесть. Предоставим составителям календарей и врачам советы и предсказания. Самый ценный плод здоровья — возможность получать удовольствие: будем же пользоваться первым попавшимся удовольствием. Я избегаю упорно следовать одним и тем же правилам воздержания. Если вы хотите, чтобы привычка к тому или иному роду пищи пошла вам на пользу, не надо злоупотреблять ею. В противном случае ваша чувствительность, восприимчивость слабеет, и через каких-нибудь полгода желудок у вас до такой степени освоится с этой пищей, что достигнете вы лишь одного: он уже не способен будет

переварить что-либо иное без вреда для себя.

И летом и зимою ноги и ляжки у меня одеты одинаково: на них натягиваются обыкновенные шелковые чулки. Чтобы не простуживаться, я принужден был потеплее закрывать голову, а также и живот из-за своих почечных колик. Болезни мои быстро применились к этому, и обычные меры, которые я принимал, перестали их удовлетворять. В качестве головного убора я стал носить колпак на теплой подкладке, а поверх него еще и шляпу. Стеганый камзол служит мне теперь только для осанки: для тепла я должен подбивать его шкуркой зайца или пухом и перьями коршуна, а на голове постоянно носить ермолку. Продолжайте в том же духе, и вы далеко зайдете. Я этого не сделаю и даже отказался бы и от того, с чего начал, если бы только мог решиться на это. Ну а если с вами еще что-нибудь приключится? Принятые уже меры окажутся недостаточными — вы к ним привыкли, надо выдумать новые. Так губят себя те, кто следует насильственно навязанному себе же режиму и суеверно держится за него: им нужно идти тем же путем все дальше и дальше, так что конца этому не видно.

Для наших дел и удовольствий было бы гораздо удобнее поступать, как древние, — не обедать

среди дня и тем прерывать его, а основательно принимать пищу под вечер, когда наступает время отдыха. Когда-то и я так делал. В отношении здоровья я на собственном опыте убедился, что, напротив, следует обедать днем, так как пищеварение происходит лучше, когда человек бодрствует.

Жажда на меня нападает редко — и когда я здоров, и когда я болен: в последнем случае у меня нередко сохнет во рту, но пить при этом не хочется. Обычно я пью только за едой и не в начале ее. Для человека мало чем отличного от других я пью не так уж мало. Летом и за хорошей трапезой я держусь в границах, установленных для себя Августом, который пил всего три раза в день. Но, не желая нарушить правило Демокрита, не советовавшего делать что-либо четыре раза, ибо это число несчастливое, я в зависимости от потребности пью до пяти раз и осушаю около трех стопок, так как люблю пить из небольших стаканов и притом до дна, хотя многие избегают этого, как чего-то не вполне пристойного. Вино я разбавляю наполовину, иногда на треть водой. У меня дома, по старому предписанию нашего врача моему отцу и себе самому, вино мое разбавляют за два-три часа до того, как его надо подать.

Говорят, что обычай разбавлять вино водой введен был Кранаем, царем Афинским. Хорошо это или нет — вопрос, как я убедился, для многих спорный. Я считаю более приличным и более здоровым, чтобы дети начинали пить вино лишь после того, как им минет шестнадцать — восемнадцать лет. Самый обычный и распространенный образ жизни и есть самый прекрасный, и немец, разбавляющий вино водой, был бы мне так же неприятен, как француз, пьющий вино неразбавленным. Общераспространенность обычая превращает его в закон.

Я не люблю спертого воздуха, а дым для меня — просто смерть (первое, что я привел в порядок у себя дома, были камины и отхожие места в старых зданиях, постепенно приходящие в негодность и невыносимо отравляющие воздух), а к тяготам войны надо отнести и густую пыль, в которой мы целыми днями маршируем по жаре. Дышу я вообще свободно, легко, и простуды у меня большей частью проходят без осложнений в легких и без кашля.

Невзгоды летнего времени мне более тягостны, чем зимнего. Кроме жары, от которой уберечься труднее, чем от холода, кроме возможных солнечных ударов, мучителен и яркий свет, который

глаза мои плохо переносят: я, например, не мог бы обедать, сидя напротив ярко пылающего очага. Когда я еще много читал, то закрывал страницу кусками стекла, чтобы белизна бумаги не так резала мне глаза, и получал от этого облегчение. До сих пор я не употребляю очков, и зрение у меня сейчас не хуже, чем в былое время и чем у любого здорового человека. Правда, на склоне дня читать мне становится труднее, но, впрочем, чтение всегда утомляло мне глаза, особенно ночью. Это, конечно, шаг назад, однако едва заметный. Затем я отступлю еще на один шаг, второй, затем на третий, с третьего на четвертый — с такой постепенностью, что, видно, буду уже совсем слеп, когда старческая слабость моего зрения сделается для меня ощутимой. Так искусно распускают Парки пряжу нашей жизни. Я до сих пор не могу убедить себя, что становлюсь туговат на ухо, и вы увидите, что, даже наполовину потеряв слух, я буду уверен, что это собеседники недостаточно громко говорят. Чтобы душа наша почувствовала, как она истекает из тела, ей надо дать очень резкий толчок.

Шаг у меня быстрый и твердый, и я даже не знаю, чье движение мне труднее задержать — тела или мысли. Для того чтобы я до конца со

вниманием выслушал речь проповедника, он должен быть очень близким моим другом. Во время торжественных церемоний, когда каждый внимателен и сосредоточен, когда, как я замечал, даже глаза дам устремлены в одну точку, я не могу справиться с собой и не делать хоть каких-нибудь телодвижений: даже когда я сижу, я непоседлив. Прислужница философа Хрисиппа говорила о своем господине, что у него только ноги хмелеют (ибо у него была привычка шевелить ими, в каком бы положении он ни находился, и она говорила это, как раз когда вино, разгорячившее сотрапезников Хрисиппа, на него самого совершенно не подействовало). Так и обо мне в детстве говорилось, что в ногах у меня бешенство или что они налиты ртутью, и доныне, куда и как бы я ни поставил или ни положил ноги, они у меня в непрерывном движении.

Ем я с большой жадностью, что и неприлично, и вредно для здоровья, и отнимает часть удовольствия: поспешность при еде у меня такая, что я нередко прикусываю себе язык и порою даже пальцы. Диоген, встретив однажды ребенка, который так ел, дал за это оплеуху его воспитателю. В Риме были люди, обучавшие пристойно жевать, как учат пристойно ходить. Эта моя привычка

мешает мне принимать участие в беседе, а она является одним из приятнейших удовольствий застолья, если, конечно, речи ведутся недлинные и о вещах приятных.

Наши удовольствия частенько испытывают друг к другу зависть и вражду: между ними происходят столкновения и распри. Алкивиад, любивший хорошо поесть, не допускал за столом даже музыки, чтобы она не мешала приятной беседе; объяснял он это, по свидетельству Платона, тем, что звать на пиры певцов и музыкантов — обычай простонародья, не способного вести занимательной беседы и складно говорить: этим угощать друг друга умеют только люди просвещенные. Варрон считал, что подлинный пир предполагает общество людей привлекательной внешности, умеющих приятно побеседовать, не молчаливых, но и не болтливых, отменно приготовленную вкусную пищу, красивое убранство помещения, погожее время. Хорошая трапеза — празднество, требующее умелой подготовки и доставляющее немалое наслаждение: и великие полководцы, и великие философы не считали ниже своего достоинства участвовать в пирах и уметь их устраивать. В воображении моем и в памяти запечатлелись три таких празднества,

доставивших мне большое наслаждение в разное время, когда я находился в более цветущем возрасте. Ибо каждый из пирующих делится с сотрапезниками лучшим, что в нем есть, в зависимости от своего телесного и душевного самочувствия. В нынешнем моем состоянии я для пира не гожусь.

Мне, преданному земной жизни, враждебна бесчеловечная мудрость, стремящаяся заставить нас презирать и ненавидеть заботу о своем теле.

Я полагаю, что пренебрегать всеми естественными наслаждениями так же неправильно, как и слишком страстно предаваться им. Ксеркс, которому доступны были все наслаждения жизни, но который обещал награду тому, кто придумает для него другие, небывалые, был просто самодовольным хлыщом. Но такой же самодовольный пошляк тот, кто отвергает радости, дарованные ему природой. Не надо бежать ни за ними, ни от них, но надо их принимать. Я же принимаю их восторженней, радостней, чем многие другие, охотно предаваясь своим естественным склонностям. Незачем нам преувеличивать их суетность, она и без того все время чувствуется и сказывается. Мы можем благодарить свой дух, болезненный, унылый, внушающий нам отвра-

щение и к ним, и к себе самому: он обращается и с собой, и со всем, что ему дается раньше или позже, по причудам своего ненасытного, неуверенного, вечно колеблющегося существа.

> *Sincerum est nisi vas, quodcunque infundis, acessit*[690].

Я, похваляющийся тем, что так усердно, с таким упоением тешу себя всеми прелестями жизни, даже я, приглядываясь к ним повнимательнее, нахожу, что они — всего-навсего дуновение ветра. Но и мы-то сами — всего-навсего ветер. А ветер, более мудрый, чем мы, любит шуметь, волноваться и довольствуется теми проявлениями, какие ему свойственны, не стремясь к устойчивости и прочности, которые ему чужды.

Чистые радости воображения, так же как и его страдания, по мнению некоторых, — самые для нас важные, как показали весы Критолая. Это неудивительно: оно само творит их, выкраивая из целого куска. Ежедневно приходится наблюдать примеры того, как это совершается, примеры убедительные и даже достойные подражания. Но я, состоящий из вещества смешанного и грубого,

---

[690] Примечания: 690

Если сосуд недостаточно чист, скиснет все, чего бы ты в него ни влил (*лат.*). Гораций. *Послания,* I, 2, 54.

не могу удовольствоваться одним воображением. Я так прост, что не могу не влечься тяжелой поступью к наслаждениям, сужденным нам общим законом, которому подвластно человечество, ощутимым для нашего разума и разумным для ощущения.

Философы киренской школы считают, что как страдания, так и радости плоти являются более сильными, как бы удвоенными и более подлинными.

Есть люди, которые по своей, как говорит Аристотель, дикости и тупости испытывают к ним отвращение. Я же знаю людей, которые отказываются от них из честолюбия. Почему людям не отказаться и от дыхания? Почему бы им не жить лишь тем, что они могут извлечь из себя, и не отказаться также от света — ведь он дается им даром, они не изобрели его, не тратили на его приобретение никаких усилий? Посмотрим, как бы их поддержали в жизни только Марс, Паллада или Меркурий — вместо Венеры, Цереры и Вакха. Или, может быть, они станут искать квадратуру круга в объятиях своих жен? Терпеть не могу, чтобы дух наш призывали витать в облаках, в то время как наше тело сидит за столом. Я не хочу, чтобы дух был пригвожден к наслаждению,

чтобы он барахтался в нем, я хочу, чтобы и там он бдил, чтобы на пирах жизни он был в сидячем, а не в лежачем положении. Аристипп выступал лишь в защиту плоти, словно у нас нет души; Зенон считался только с душой, словно мы бестелесны. И оба ошиблись. Говорят, что Пифагор предавался лишь созерцательной философии, Сократ учил только о нравственности и поведении человека, Платон нашел некий средний путь между этими крайностями. Но все это одни сказки. Истинный путь обрел Сократ, Платон же в гораздо большей степени последователь Сократа, чем Пифагор, и это ему гораздо больше подходит.

Когда я танцую, я занят танцами, когда я сплю, я погружаюсь в сон. Когда же я одиноко прогуливаюсь в красивом саду и мысли мои некоторое время заняты бывают посторонними вещами, я затем возвращаю их к прогулке, к саду, к сладостному уединению, к самому себе. Природа с материнской заботливостью устроила так, чтобы действия, которые она предписала нам для нашей пользы, доставляли нам также и удовольствие, чтобы к ним нас влек не только разум, но и желание; и неправильно было бы искажать ее закон.

Когда я убеждаюсь, что Цезарь и Александр в

самом разгаре своей великой деятельности не ограничивали себя в наслаждениях естественных и тем самым нужных и необходимых, я не считаю, что они себя баловали, напротив, — я скажу, что они тем самым укрепляли свою душу, мужественным усилием воли подчиняя эту свою напряженную деятельность, свою пытливую мысль нуждам повседневной жизни. Они были мудрыми, если считали, что последнее является их обычной жизненной рутиной, а первое — призванием к делам чрезвычайным. Все мы — великие безумцы. «Он прожил в полной бездеятельности», — говорим мы. «Я сегодня ничего не совершил». Как? А разве ты не жил? Просто жить — не только самое главное, но и самое замечательное из твоих дел. «Если бы мне дали возможность участвовать в больших делах, я показал бы, на что способен». А сумел ты обдумать свою повседневную жизнь и пользоваться ею как следует? Если да, то ты уже совершил величайшее дело. Природа не нуждается в какой-либо особо счастливой доле, чтобы показать себя и проявиться в деяниях. Она одна и та же на любом уровне бытия, одна и та же за завесой и без нее. Надо не сочинять умные книги, а разумно вести себя в повседневности, надо не выигрывать

битвы и завоевывать земли, а наводить порядок и устанавливать мир в обычных жизненных обстоятельствах. Лучшее наше творение — жить согласно разуму. Все прочее — царствовать, накоплять богатства, строить — все это, самое большее, дополнения и довески. Мне приятно видеть, как полководец под стеной, в которой его войскам сейчас предстоит совершить пролом, спокойно и с удовольствием предается трапезе и беседе с друзьями, как Брут, несмотря на то что против него и римской свободы ополчились и земля и небо, отрывает у своего ночного бдения несколько часов, чтобы спокойно почитать Полибия и сделать из него выписки. Лишь мелкие люди, которых подавляет любая деятельность, не умеют из нее выпутаться, не умеют ни отойти на время от дел, ни вернуться к ним.

O fortes peioraque passi
Mecum saepe viri, nunc vino pellite curas;
Cras ingens iterabimus aequor[691].

Насмешка ли, что богословское и сорбоннское вино и пиршества ученых мужей превратились в

[691] Примечания: 691

О храбрые мужи, часто претерпевавшие со мной бедствия, вином отгоните заботы; завтра мы пустимся в бескрайнее море (*лат.*). Гораций. *Оды*, I, 7, 30–32.

пословицу, или за этим есть какая-то правда, но я считаю, что им и подобает трапезовать тем приятнее и спокойнее, чем плодотворнее и серьезнее поработали они днем со своими учениками. Сознание, что остальное время было проведено с пользой, — отличная, вкусная приправа к вечерней трапезе. Мудрые именно так и жили. И это неподражаемое рвение к добродетели, которое так изумляет нас в обоих Катонах, и почти чрезмерная строгость их нравов покорно и охотно подчинялись законам человеческого естества, законам Венеры и Вакха, согласно правилам философского учения, требовавшего, чтобы подлинный мудрец был так же опытен и искусен в пользовании естественными радостями жизни, как в любом другом жизненном деле. Cui cor sapiat, ei sapiat et palatus[692].

Готовность развлечься и позабавиться весьма подобает, на мой взгляд, душам сильным и благородным и даже делает им честь. Эпаминонд не считал, что участвовать в пляске юношей его родного города, петь, играть на музыкальных инструментах и предаваться всему этому с увлечением — значит заниматься вещами, не

[692] Примечания: 692

У кого ученое сердце, у того и нёбо ученое (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* II, 8.

достойными одержанных им побед и его высоких нравственных качеств. Среди стольких поразительных деяний Сципиона Старшего, человека, по мнению современников, достойного происходить от небожителей, особенную прелесть облику его придает склонность к забавам и развлечениям: приятно представить себе, как он с ребяческой радостью собирает ракушки и играет в рожки с Лелием на морском берегу, как в дурную погоду он пишет комедии, где с веселым лукавством изображаются самые распространенные и низменные свойства человеческой натуры; как, занятый мыслями об африканских делах, о Ганнибале, он посещает школы Сицилии и просиживает на уроках философии так долго, что на этом оттачивает себе зубы слепая зависть его врагов в Риме. А в Сократе примечательнее всего то, что уже в старости он находит время обучаться танцам и игре на музыкальных инструментах и считает, что время это отнюдь не потеряно даром.

Именно Сократ на глазах у всего греческого войска простоял в экстазе целый день и целую ночь, целиком охваченный и взволнованный какой-то глубокой мыслью. Первый среди стольких доблестных воинов, устремился он на помощь

окруженному врагами Алкивиаду, прикрыл его своим телом и силой своего оружия оттеснил врагов. Первым среди всего афинского народа, возмущенного, как и он, недостойным зрелищем, попытался он спасти Ферамена, которого вели на казнь по приказу тридцати тиранов. И хотя ему помогали только два человека, он отказался от своей попытки лишь после того, как его попросил об этом сам Ферамен. Некая красавица, в которую он был влюблен, стремилась в его объятия, но обстоятельства сложились так, что ему надо было отказаться от счастья, и у него хватило на это сил. Все видели, как в битве при Делии он поднял и спас Ксенофонта, сброшенного с коня, как на войне он постоянно ходил босой по льду, одевался зимой так же, как летом, превосходил всех своих товарищей терпением в труде и на пирах ел ту же пищу, что в обычное время. Всем известно, что двадцать семь лет он с невозмутимым выражением лица переносил голод, бедность, непослушание своих детей, злобный нрав жены и под конец клевету, угнетение, темницу, оковы и яд. Но если этого же человека призывали к учтивому состязанию с чашей в руках — кто кого перепьет, — ему первому во всем войске выпадала победа. Он не отказывался ни играть в

орешки с детьми, ни забавляться вместе с ними деревянной лошадкой и делал это очень охотно. Ибо, учит нас философия, всякая деятельность подобает мудрецу и делает ему честь. Образ этого человека мы должны неустанно приводить как пример всех совершенств и добродетелей. Мало существует столь целокупных примеров ничем не запятнанной жизни, и ничуть не поучительны для нас постоянно предлагаемые нам другие примеры, нелепые, неудачные, ценные, может быть, какой-нибудь отдельной чертой, которые скорей лишь сбивают нас с толку и больше портят дело, чем помогают ему.

Народ ошибается: гораздо легче ехать по обочинам дороги, где края указывают возможную границу и как бы направляют едущего, чем по широкой и открытой середине, безразлично — природой ли она создана или настлана людьми. Но конечно, в езде по обочинам меньше и благородства и заслуги. Величие души не столько в том, чтобы без оглядки устремляться вперед и все выше в гору, сколько в том, чтобы уметь посчитаться с обстоятельствами и обойти препятствия. Она считает подлинно великим именно достаточное и возвышенность свою проявляет в том, что средний путь предпочитает лазанью по верши-

нам. Нет ничего более прекрасного и достойного одобрения, чем должным образом хорошо выполнить свое человеческое назначение. Нет науки, которой было бы труднее овладеть, чем умением хорошо и согласно всем естественным законам прожить эту жизнь. А самая зверская из наших болезней — это презрение к своему естеству. Кто хочет дать душе своей независимость, пусть, если сможет, смело сделает это, когда телу придется худо, чтобы избавить ее от заразы. Но в других случаях, напротив, пусть душа помогает телу, содействует ему и не отказывается участвовать в его естественных утехах, а наслаждается вместе с ним, привнося в них, если обладает мудростью, умеренность, дабы они по опрометчивости человеческого естества не превратились в неудовольствие. Невоздержанность — чума для наслаждения, а воздержанность отнюдь не бич его, а, наоборот, — украшение. Евдокс, почитавший наслаждение высшим жизненным благом, и его единомышленники, так высоко ценившие это благо, вкушали его особенно сладостно благодаря своей сдержанности, которая у них была исключительной и примерной. Я предписываю душе своей созерцать и страдание, и наслаждение взором равно спокойным (eodem enim vitio est

effusio animi in laetitia quo in dolore contractio[693]) и мужественным, но в одном случае радостным, а в другом суровом, и, насколько это в ее силах, приглушать одно и давать распускаться другому. Здраво смотреть на хорошее помогает и здраво рассматривать дурное. И в страдании, в его кротком начале, есть нечто, чего не следует избегать, и в наслаждении, в его крайнем пределе, есть нечто, чего избежать можно. Платон связывает их друг с другом, полагая, что сила духа должна противостоять как страданию, так и чрезмерной, чарующей прелести наслаждения. Это два источника, благо тому, кто черпает из них, где, когда и сколько ему надо, будь то город, человек или зверь. Из первого надо пить для врачевания, по мере необходимости и нечасто, из второго следует утолять жажду, однако так, чтобы не охмелеть. Страдание, наслаждение, любовь, ненависть — вот первые ощущения, доступные ребенку. Если со вступлением разума в свои права эти чувства подчиняются ему, возникает то, что мы именуем добродетелью.

Есть у меня свой собственный словарь: время я провожу, когда оно неблагоприятно и тягост-

[693] Примечания: 693

Как безмерная радость, так и безмерная скорбь равно заслуживают порицания (*лат.*). Цицерон. *Тускуланские беседы*, IV, 31.

но. Когда же время благоприятствует, я не хочу, чтобы оно просто проходило, я хочу овладеть им, задержать его. Надо избегать дурного и утверждаться в хорошем. Этими обычными словами «времяпрепровождение» и «время проходит» обозначается поведение благоразумных людей, считающих, что от жизни можно ждать в лучшем случае, чтобы она текла, проходила мимо, что надо быть в стороне от нее и, насколько это возможно, не вникать ни во что, словом, бежать от жизни, как от чего-то докучного и презренного. Я знаю ее иной и считаю ценной и привлекательной даже на последнем отрезке, который сейчас прохожу. Природа даровала нам ее столь благосклонно обставленной, что нам приходится винить лишь самих себя, если она для нас жестока и если она бесполезно протекает у нас между пальцами. Stulti vita ingrata est, trepida est, tota in futurum fertur[694]. Тем не менее я готовлюсь потерять ее без сожаления, но потому, что она по сути своей является преходящей, а не потому, что она мучительна и докучна. Так что лишь тем подобает умирать без горечи, кто умеет наслаждаться жизнью, а это можно делать более или

[694] Примечания: 694

Жизнь глупца неблагодарна, пуглива, обращена в будущее (*лат.*). *Письма,* 15, 9.

менее осмотрительно. Я наслаждаюсь ею вдвойне по сравнению с другими, ибо мера наслаждения зависит от большего или меньшего прилежания с нашей стороны. Особенно сейчас, когда мне остается так мало времени, я хотел бы сделать свою жизнь полнее и веселее. Быстроту ее бега хочу я сдержать быстротой своей хватки и тем жаднее пользоваться ею, чем быстрее она течет. Мне уже недолго предстоит обладать жизнью, и это обладание я хочу сделать как можно более глубоким и полным.

Иные ощущают сладость удовольствия — сладость благополучия. Я ощущаю то же самое, но не потому, что она проносится и ускользает. Сладость эту надо познавать, смаковать, обдумывать, чтобы ощущение наше стало достойным того, что ее породило. Есть люди, которые и другими удовольствиями пользуются так же, как сном, — не осознавая их. Для того чтобы даже наслаждение сном не ускользало от меня столь нелепым образом, я в свое время любил, чтобы его иногда прерывали, — и это давало мне возможность оценить его. Я обсуждаю сам с собою каждое удовольствие, я не скольжу по его поверхности, а проникаю до самой сердцевины и заставляю свой унылый и уже ко всему равнодушный разум

познать его до конца. Нахожусь ли я в состоянии приятной умиротворенности? Тешит ли меня какая-нибудь плотская радость? Я не растрачиваю попусту своих ощущений, но вкладываю в них душу, не для того, чтобы погружаться в эти ощущения до конца, но чтобы радость моя была полнее, не для того, чтобы раствориться в них, а для того, чтобы найти себя. Я прибегаю к помощи души, чтобы она полюбовалась собою в зеркале благоденствия, чтобы она смогла взвесить, оценить и обогатить миг блаженства. Пусть душа осознает, как должна она благодарить Бога за то, что он умиротворил ее совесть и снедавшие ее страсти, за то, что она владеет телом, упорядоченно и благоразумно выполняющим все приятные и сладостные отправления, которыми Богу по милости его угодно было вознаградить нас за страдания, бичующие нас по его же правосудию. Пусть она ощутит, какая благость для нее пребывать в месте, где над нею повсюду ясное небо: никакое желание, никакая боязнь или сомнение не туманят воздуха, нет никаких трудностей — минувших, настоящих и будущих, — которых не пересилило бы без малейшего ущерба ее воображение. Высказанные мной мысли приобретают особую убедительность от сравнения

противоположных человеческих судеб. Так возникают передо мною бесчисленные лики тех, кого несчастье или же их собственные заблуждения унесли прочь, словно порыв бури, а также и тех, более близких, кто выпадающее им счастье принимает вяло и нерадиво. Это именно те люди, которые просто проводят время. Они пренебрегают настоящим, пренебрегают тем, чем владеют, ради каких-то чаяний, ради смутных и тщетных образов, рисующихся в их воображении, —

> *Morte obita quales fama est volitare figuras,*
>
> *Aut quae sopitos deludunt somnia sensus*[695] —

и быстро ускользающих от преследования. Задача и цель стремления таких людей состоят в самом стремлении: так и Александр говорил, что цель трудов в том, чтобы трудиться,

> *Nil actum credens cum quid superesset agendum*[696].

---

[695] Примечания: 695

Призраки, которые говорят, витают после смерти или являются во сне, обманывая чувства (*лат.*). *Энеида,* X, 641 сл.

[696] Примечания: 696

Считал, что ничего не сделано, если надо делать что-то еще (*лат.*). Лукан, II, 657.

Что до меня, то я люблю ту жизнь и действую в той жизни, которую Богу угодно было нам даровать. Я не склонен желать, чтобы ей пришлось жаловаться на нужду в куске хлеба, и столь же непростительной ошибкою было бы стремиться к тому, чтобы она обладала вдвое большим, чем ей нужно (Sapiens divitiarum naturalium quaesitor acer-rimus[697]); не хотел бы я также поддерживать свои силы лишь небольшими дозами зелья, с помощью которого Эпименид отбивал у себя охоту к еде и необходимость принимать пищу, не хотел бы и того, чтобы зачатие потомства происходило без всякого чувства и смысла с помощью пальцев или пятки: пусть уж лучше, не говоря худого слова, это зачатие через пальцы и пятку тоже сопровождается сладострастным ощущением. Не хотел бы я также, чтобы плоть наша не ведала желаний и не испытывала раздражений. Требовать чего-либо подобного — неблагодарно и безбожно. Я от чистого сердца и с благодарностью принимаю то, что сделала для меня природа, радуясь ее дарам, и славлю их. Неблаговидно по отношению к столь щедрому даятелю отказываться от таких даров, уничтожать их или искажать. Всеблагой,

[697] Примечания: 697
Мудрый усердно ищет естественного богатства (*лат.*). *Письма,* 119, 5.

он и все содеял благим. Omnia quae secundum naturam sunt, aestimatione digna sunt[698].

Охотнее всего склоняюсь я к тем философским воззрениям, которые наиболее основательны, то есть наиболее человечны и свойственны нашей природе: и речи у меня в соответствии с моим нравом скромны и смиренны. Философия, на мой взгляд, ведет себя очень ребячливо, когда из кожи вон лезет, проповедуя нам, что противоестественно сочетание небесного и земного, разума и безрассудства, суровости и снисходительности, честности и бесчестия, что сладострастие есть ощущение грубое и недостойное того, чтобы его вкушал мудрец, единственное удовольствие, которое может получить философ, сочетавшись браком с красивой молодой женщиной, — это сознание того, что он совершил весьма полезное действие, как если бы он натянул на ноги ботфорты для поездки верхом по важному делу. Пусть же последователи такого философа, лишая невинности своих жен, делают это столь же хорошо, столь же мощно, столь же пылко, сколь добра, мощи и огня в его учении.

Не то говорит Сократ, его и наш наставник.

---

[698] Примечания: 698

Все, согласное с природой, заслуживает уважения (*лат.*). Цицерон. *О высшем благе и высшем зле,* III, 6.

Он ценит как должно плотское наслаждение, но предпочитает духовное, ибо в нем больше силы, постоянства, легкости, разнообразия, благородства. И отнюдь не в том смысле, что оно — единственное (Сократ не такой чудак), а лишь в том, что ему отводится первое место.

По его мнению, воздержание не противостоит удовольствиям, а удерживает их в известных границах.

Природа — руководитель кроткий, но в такой же мере разумный и справедливый. Intrandum est in rerum naturam et penitus quid ea postulet pervidendum[699]. Я всячески стараюсь идти по ее следу, который мы запутали всевозможными искусственно протоптанными тропинками. И вот высшее благо академиков и перипатетиков, состоящее в том, чтобы жить согласно природе, оказывается понятием, которое трудно определить и истолковать, равно как родственное ему высшее благо стоиков, состоявшее в том, чтобы уступать природе. Не ошибочно ли считать некоторые действия менее достойными лишь потому, что они необходимы? У меня из головы не вышибить мысль, что весьма подходящим делом

[699] Примечания: 699

Нужно проникнуть в природу вещи и тщательно рассмотреть, чего она требует (*лат.*). Цицерон. Там же, III, 6.

является брак между наслаждением и необходимостью, с помощью которой, как говорит один писатель древности, боги все доводят до вожделенного конца. Для чего же нам разрушать и расчленять строение, возникшее благодаря столь тесному, братскому соответствию частей? Напротив, его следует общими усилиями укреплять. Qui velut sum-mum bonum laudat animae naturam, et tanquam malum naturam carnis accusat, profecto et animam carnaliter appetit et carnem carnaliter fugit, quoniam id vanitate sentit humana non veritate divina[700]. В этом божьем даре нет ничего, что не было бы достойно наших забот. Мы должны отчитаться в нем до последнего волоска. И не по своей воле человек возложил на себя обязанности вести человека по жизненному пути, согласно его природе: сам Создатель со всей строгостью предписал ее нам как непосредственно важную, вполне ясную и существенную. А так как разуму обыкновенного человека необходимо опереться на какое-либо авторитетное мнение, особенно действенное, если оно высказано на непонят-

[700] Примечания: 700

Кто восхваляет как высшее благо природу души и осуждает природу плоти, видя в ней зло, тот, конечно, и душу любит по-плотски и по-плотски бежит от плоти, потому что судит о них, руководствуясь не Божьей правдой, а человеческой суетностью (*лат.*). Августин. *О граде Божием,* XIV, 5.

ном языке, приведем таковое: stultitiae proprium quis non dixerit, ignave et contumaciter facere quae facienda sunt, et alio corpus impellere alio animum, distrahique inter diversissimos motus[701].

Так вот, попробуйте расспросить такого-то человека, ради каких мыслей и фантазий, гнездящихся у него в голове, он не желает думать о хорошей трапезе и сожалеет о времени, потраченном на еду: вы обнаружите, что за столом у вас нет ни одного яства безвкуснее содержимого его души (в большинстве случаев нам лучше крепко заснуть, чем бдеть, размышляя о том, о чем мы размышляем), вы убедитесь, что все его речи и замыслы не стоят вашей говядины в соусе. Будь это даже возвышенные построения Архимеда — что из того? Здесь мы отнюдь не затрагиваем и не смешиваем с ребячливой толпой обыкновенных людей и с развлекающими нас суетными желаниями и треволнениями высокочтимые души, поднятые жаром своего благочестия и веры в области неизменного глубокомысленного созерцания божественных вещей. Эти души, полные

[701] Примечания: 701

Кто не признает, что глупости свойственно вяло и против воли делать то, что следует сделать, увлекать в одну сторону тело, в другую душу и отрывать их друг от друга, направляя в противоположные стороны (*лат.*). *Письма,* 74, 32.

живого и пламенного чаяния вкушать небесные яства, души, устремленные к главной конечной цели всех желаний подлинного христианина, к единственному непресыщенному, чистейшему наслаждению, не уделяя внимания мирским нуждам, суетным и преходящим, равнодушно предоставляют телу заботу о потреблении земной материальной пищи. Это духовные занятия избранных. Говоря между нами, я всегда наблюдал удивительное совпадение двух вещей: помыслы превыше небес, нравы — ниже уровня земли.

Эзоп, этот великий человек, увидел как-то, что господин его мочится на ходу. «Неужели, — заметил он, — нам теперь придется испражняться на бегу?» Как бы мы ни старались сберечь время, какая-то часть его всегда растрачивается зря. Духу нашему не хватает часов для его занятий, и он не может расставаться с телом на тот незначительный период времени, который нужен для удовлетворения его потребностей. Есть люди, старающиеся выйти за пределы своего существа и ускользнуть от своей человеческой природы. Какое безумие: вместо того чтобы обратиться в ангелов, они превращаются в зверей, вместо того чтобы возвыситься, они принижают себя. Все эти потусторонние устремления внушают мне такой

же страх, как недостижимые горные вершины. В жизни Сократа мне более всего чужды его экстазы и божественные озарения. В Платоне наиболее человечным было то, за что его прозвали божественным. Из наших наук самыми земными и низменными кажутся мне те, что особенно высоко метят. А в жизни Александра я нахожу самыми жалкими и свойственными его смертной природе чертами как раз укоренившиеся в нем вздорные притязания на бессмертие. Филота забавно уязвил его в своем поздравительном письме по поводу того, что оракул Юпитер-Аммона объявил Александра богоравным: «За тебя я весьма радуюсь, но мне жалко людей, которые должны будут жить под властью человека, превосходящего меру человека и не желающего ею довольствоваться». Diis te minorem quod geris imperas[702]. Мне очень нравится приветственная надпись, которой афиняне почтили прибытие в их город Помпея:

Себя считаешь человеком ты, —
И в этом – божества черты.

Действительно, умение достойно проявить себя

[702] Примечания: 702

Ты властвуешь, потому что подвластен богам (*лат.*). Гораций. *Оды*, III, 6, 5.

в своей природной сущности есть признак совершенства и качество почти божественное. Мы стремимся быть чем-то иным, не желая вникнуть в свое существо, и выходим за свои естественные границы, не зная, к чему мы по-настоящему способны. Незачем нам вставать на ходули, ибо и на ходулях надо передвигаться с помощью своих ног. И даже на самом высоком из земных престолов сидим мы на своем заду.

Самой, на мой взгляд, прекрасной жизнью живут те люди, которые равняются по общечеловеческой мерке, в духе разума, но без всяких чудес и необычайностей. Старость же нуждается в более мягком обращении. Да будет к ней милостив бог здоровья и мудрости, да поможет он ей проходить жизнерадостно и в постоянном общении с людьми:

Frui paratis et valido mihi,
Latoe, dones, et, precor, integra
Cum mente, nec turpem senectam
Degere, nec cythara carentem[703].

[703] Примечания: 703

Дозволь, сын Латоны, мне во здравии насладиться приобретенным, молю тебя, оставь мне здравый ум, чтобы я не постыдно провел старость и не расстался со своей лирой (*лат.*). Гораций. *Оды,* I, 31, 17–20.

Содержание

К читателю 5
Книга первая
перевод А. С. *Бобовича*

Глава II. О скорби 9
Глава III. Наши чувства устремляются за пределы нашего «я» 13
Глава VII. О том, что наши намерения являются судьями наших поступков 21
Глава VIII. О праздности 22
Глава IX. О лжецах 24
Глава X. О речи живой и о речи медлительной 30
Глава XI. О предсказаниях 32
Глава XII. О стойкости 37
Глава XIII. Церемониал при встрече царствующих особ 40
Глава XV. За бессмысленное упрямство в отстаивании крепости несут наказание 42
Глава XVI. О наказании за трусость 43
Глава XVII. Об образе действий некоторых послов 45
Глава XVIII. О страхе 48

Глава XIX. О том, что нельзя судить, счастлив ли кто-нибудь, пока он не умер 51
Глава XXI. О силе нашего воображения 54
Глава XXII. Выгода одного — ущерб для другого 66
Глава XXIII. О привычке, а также о том, что не подобает без достаточных оснований менять укоренившиеся законы 67
Глава XXVI. О воспитании детей 86
Глава XXVII. Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности 127
Глава XXVIII. О дружбе 132
Глава XXX. Об умеренности 147
Глава XXXI. О каннибалах 153
Глава XXXII. О том, что судить о божественных предначертаниях следует с величайшею осмотрительностью 167
Глава XXXIII. О том, как ценой жизни убегают от наслаждений 169
Глава XXXIV. Судьба нередко поступает разумно 171
Глава XXXV. Об одном упущении в наших порядках 175
Глава XXXVI. Об обычае носить одежду 176
Глава XXXVII. О Катоне Младшем 180

Глава XXXVIII. О том, что мы смеемся и плачем от одного и того же 185
Глава XL. Рассуждение о Цицероне 188
Глава XLII. О существующем среди нас неравенстве 194
Глава XLIII. О законах против роскоши 206
Глава XLIV. О сне 208
Глава XLV. О битве при Дрё 210
Глава XLVI. Об именах 212
Глава XLVII. О ненадежности наших суждений 217
Глава XLIX. О старинных обычаях 224
Глава L. О Демокрите и Гераклите 229
Глава LI. О суетности слов 232
Глава LII. О бережливости древних 236
Глава LIII. Об одном изречении Цезаря 237
Глава LIV. О суетных ухищрениях 238
Глава LV. О запахах 242
Глава LVI. О молитвах 244
Книга вторая
перевод Ф. А. *Коган-Бернштейн (гл. I–XI и XXV–XXXVI) А. С. Бобовича (гл. XIII–XXIV)*

Глава I. О непостоянстве наших поступков 257
Глава II. О пьянстве 265
Глава III. Обычай острова Кеи 275
Глава IV. Дела — до завтра! 290

Глава V. О совести 293
Глава VI. Об упражнении 297
Глава VII. О почетных наградах 309
Глава VIII. О родительской любви 313
Глава IX. О парфянском вооружении 333
Глава X. О книгах 337
Глава XI. О жестокости 351
Глава XIII. О том, как надо судить о поведении человека пред лицом смерти 368
Глава XIV. О том, что наш дух препятствует себе самому 375
Глава XV. О том, что трудности распаляют наши желания 376
Глава XVI. О славе 384
Глава XVII. О самомнении 400
Глава XVIII. Об изобличении во лжи 439
Глава XIX. О свободе совести 445
Глава XX. Мы не способны к беспримесному наслаждению 449
Глава XXI. Против безделья 453
Глава XXII. О почтовой гоньбе 457
Глава XXIV. О величии римлян 459
Глава XXV. О том, что не следует прикидываться больным 461
Глава XXVI. О большом пальце руки 463
Глава XXVIII. Всякому овощу свое время 464

Глава XXIX. О добродетели 467
Глава XXX. Об уродце 474
Глава XXXI. О гневе 476
Глава XXXII. В защиту Сенеки и Плутарха 484
Глава XXXIV. Замечания о способах ведения войны Юлия Цезаря 491
Глава XXXV. О трех истинно хороших женщинах 500
Глава XXXVI. О трех самых выдающихся людях 509
Книга третья
перевод А. С. *Бобовича (гл. II–VI, IX) Н. Я. Рыковой (гл. VII, XI–XIII)*
Глава II. О раскаянии 519
Глава III. О трех видах общения 535
Глава IV. Об отвлечении 550
Глава VI. О средствах передвижения 563
Глава VII. О стеснительности высокого положения 585
Глава IX. О суетности 590
Глава XI. О хромых 661
Глава XII. О физиогномии 672
Глава XIII. Об опыте 703